Архив Российской академии наук
Центральный исторический архив г. Москвы
Российская политическая энциклопедия

М.М. Ковалевский

МОЯ ЖИЗНЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

Москва
РОССПЭН
2005

ББК 66.1(2)5
К 56

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 05-01-16355

Редакционный совет:

В.Ю. Афиани, кандидат исторических наук;

О.В. Волобуев, доктор исторических наук, профессор;

В.В. Журавлев, доктор исторических наук, профессор;

В.П. Козлов, член-корреспондент РАН;

С.В. Мироненко, доктор исторических наук, профессор;

А.П. Ненароков, доктор исторических наук, профессор;

А.К. Сорокин, кандидат исторических наук;

В.В. Шелохаев (руководитель проекта), доктор
исторических наук, профессор.

Составители и авторы комментариев:
доктор исторических наук **Ю.С. Воробьева;**
кандидат исторических наук **Т.Т. Гиоева**

Автор предисловия
кандидат исторических наук **Н.Б. Хайлова**

К 56 **Ковалевский М.М. Моя жизнь: Воспоминания.** М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. — 784 с.

Творческое наследие М.М. Ковалевского (1851—1916), крупного ученого и общественного деятеля, всегда привлекало внимание историков, социологов, этнографов, юристов, экономистов. По словам П.Н. Милюкова, «Ковалевский есть наше общее национальное богатство, которым мы горды, которого у нас никому не отнять».

Воспоминания М.М. Ковалевского «Моя жизнь» представляют несомненный интерес для исследователей, так как ему пришлось общаться со многими видными учеными, политиками, литераторами, что нашло отражение в воспоминаниях. Мемуары охватывают период от детства до событий лета 1914 г. Они никогда ранее не издавались полностью, публиковались лишь отдельные фрагменты глав. Дополняют воспоминания письма М.М. Ковалевского к своему другу А.И. Чупрову, профессору политэкономии и статистики Московского университета, чл.-корр. Петербургской Академии наук.

В Приложение включены путевые заметки М.М. Ковалевского «В горских обществах Кабарды» и «В Сванетии».

© Хайлова Н.Б., предисловие, 2005.
© Воробьева Ю.С., Гиоева Т.Т. — комментарии, 2005.
© Архив РАН , 2005.
© Центральный исторический архив г. Москвы, 2005.
© «Российская политическая энциклопедия», 2005.

ISBN 5-8243-0638-9

Н.Б. Хайлова

Максим Максимович Ковалевский

Деятельность незаурядной исторической личности обычно еще при жизни порождает самые разнообразные мнения — от восторженной апологетики до откровенных насмешек и более того — осуждения и развенчания. Приговор, который История выносит своему избраннику устами кого-либо из персонажей ушедшей эпохи — далеко не всегда справедлив и, к счастью, подлежит пересмотру... Судьба М.М. Ковалевского, крупного ученого и общественного деятеля на рубеже XIX—XX вв. — один из многочисленных примеров, подтверждающих эту закономерность.

Первой, наиболее заметной попыткой осмысления его исторической роли стал сборник статей «М.М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин» (Пг., 1917). Для характеристики лейтмотива публикаций, помещенных в этом издании, приведем два фрагмента из книги. «Его жизнь была столь интересна, красочна и поучительна, а деятельность столь исключительно сложна и многосторонна, что для их достойного изображения потребуются годы труда и, быть может, совместная работа многих лиц, — писал профессор Петербургского университета И.И. Ивановский. — М.М. Ковалевский столько сделал в разных областях науки, так поработал в деле народного просвещения, оставил по себе такой след в нашей общественной и государственной жизни.., что бесспорно имя его должно принадлежать истории»[1]. П.Н.Милюков, определяя «двойную культурническую роль» Ковалевского («европейца в России и русского в Европе и в Новом свете»), отводил ему в русском общественном движении место «вождя-знаменосца»: «Если он не отрицал ни социалистического, ни «буржуазного» взгляда на задачи настоящего и будущего, то это потому, что, оставляя будущему решение принципиального спора между обоими мировоззрениями, он в настоящем объединял их в общем «западническом» взгляде на сущность и направление нашей общественной эволюции... Смотря на меняющийся калейдоскоп жизни поверх текущего момента, Ковалевский... твердо держал общее направление, зная, куда идет дорога. Большинство из нас копошатся в злобах дня... Но, как отдельные работники оркестра, все мы смотрим на то высокое место, где стоит дирижер. Он знает темп, и оркестр идет дружно... Ковалевский есть наше общее национальное богатство, которым мы горды, которого у нас никому не отнять»[2].

Однако не авторам данного сборника суждено было определить на многие десятилетия посмертную судьбу имени Ковалевского. Приговор был вынесен В.И. Лениным, заклеймившим своего политического оппонента как «краснобая либерализма», пособника сил реакции. Не раз вождь большевиков высмеивал «школьные уроки» государствоведения и конституционализма отечественных либеральных деятелей, имея в виду в том числе и Ковалевского: «...наши профессора знают книжки, да не знают жизнь»[3]. Заметим, что в унисон с ленинской оценкой выступала и черносотенная пресса: «Профессор Ковалевский великолепно знает прошлое, без ошибки предсказывает будущее и только не имеет никакого понятия о настоящем»[4].

Известные идеологические установки большевистской партии способствовали тому, что о Ковалевском-политике в исторической литературе упоминалось крайне редко, и, как правило, в одной связке с прочими т.н. «защитниками интересов либеральной буржуазии, либеральных помещиков, купцов и капиталистов, пошедшими на сделку с самодержавием против народной свободы».

Тем не менее, многогранность научных интересов и значительные достижения во всех отраслях знания, которые были объектом его изучения, — причины того, что теоретическое наследие Ковалевского, несмотря ни на что, всегда привлекало внимание историков, этнографов, социологов, юристов, экономистов. Особенно заметно проявился интерес исследователей к трудам Ковалевского с конца 1950-х годов. В 1984 г. был опубликован наиболее полный библиографический обзор, включающий как работы самого ученого, в т.ч. газетные и журнальные статьи, так и литературу о нем[5]. К середине 1980-х годов большая часть публикаций была посвящена Ковалевскому — социологу, исследователю общины, историку европейского средневековья, французской и английской буржуазных революций, юристу-государствоведу. В диссертации Г.А. Федотовой и монографии Н.Я. Куприца была сделана заявка на оценку Ковалевского как политика[6]. И хотя авторы этих работ по-прежнему находились в рамках господствующей концепции, тем не менее в конце 1960-х — 1970-е годы явно обозначился процесс приближения к реальному Ковалевскому. В журнале «История СССР» была начата публикация его воспоминаний из Архива РАН[7]. Показательным примером тенденции к расширению круга источников и в целом исследовательской тематики стала статья О.В. Волобуева, где впервые была рассмотрена деятельность Ковалевского в качестве публициста и издателя[8].

В последнее десятилетие интерес исследователей к личности Ковалевского развивается по нарастающей; публикуются его труды, переписка. В работах ученых заметно стремление к объективной, многомерной оценке научной и общественной деятельности Ковалевского[9]. Однако точки над «i» расставлять еще рано. Предлагаемый читателю краткий очерк — еще один штрих к «недорисованному портрету» Ковалевского.

На заре жизни: первые впечатления и учителя

Максим Максимович Ковалевский родился 27 августа (8 сентября) 1851 г. в Харькове в богатой семье. Род Ковалевских — старинный, казацкий. Среди фамильных реликвий хранились духовные завещания, датированные XVII в. Дворянский титул был пожалован представителям рода Екатериной II. Бабушка Ковалевского по отцовской линии была близкой родственницей адмирала П.С. Нахимова. Со стороны матери Ковалевский происходил из польского рода Познанских, причем его бабушка была немкой из рода Мюнстеров. «После этого предоставляю решить, к какой я собственно принадлежу национальности, — не без иронии замечал Ковалевский. — Прибавьте окружавших меня с детства немецких гувернанток и французских гувернеров, изучение многих предметов, в том числе истории и мифологии на французском языке, более раннее знакомство с Шиллером и Мармонтелем, чем с Пушкиным и Гоголем — и вам легко будет придти к тому заключению, что в украинской обстановке потомок малороссийских казаков, с примесью польской и немецкой крови, приобщался с самого детства к общеевропейской культуре»[10].

Его отец (тоже Максим Максимович) — полковник, участник Отечественной войны 1812 г. — в течение 25 лет был предводителем дворян Харьковского уезда и фактически исполнял обязанности предводителя Харьковского губернского дворянства. Он отличался независимым нравом, считал службу при царском дворе ниже своего достоинства. Вполне в его духе был отказ от предложения представить его в камергеры. Максим Максимович был умен, красив, пользовался успехом у дам и женился уже «пожилым» человеком на молоденькой девушке (разница в возрасте супругов составляла 25 лет). Их первый сын умер в младенчестве. Вторым и единственным ребенком стал М.М. Ковалевский. Воспитание его всецело взяла на себя мать, Екатерина Игнатьевна, так как отец был слишком занят делами по общественной службе и управлению хозяйством в имении. Судьба Ковалевского сложилась так, что ему не удалось создать собственную семью. На всю жизнь он сохранил горячую любовь к своей матери, женщине умной, необыкновенно сердечной, с развитым эстетическим вкусом. Она была поклонницей оперного искусства, театра, ценительницей живописи, знатоком французской литературы. Именно матери, как считал сам Ковалевский, он был обязан удачным выбором первых книг для чтения, рано развившимся в нем интересом к истории и этнографии[11]. До четырнадцати лет Ковалевский получал домашнее образование, затем поступил в пятый класс 3-й Харьковской гимназии. По окончании ее с золотой медалью в 1868 г. он стал студентом юридического факультета Харьковского университета.

1860—1870-е годы в России были временем появления первых народнических организаций, острых диспутов между сторонниками различных взглядов на обновление жизни. В студенческую

пору Ковалевский — член кружка во главе с Е.Н. Солнцевой, занимавшегося культурно-просветительной работой, пропагандой идей мирного постепенного прогресса. Под впечатлением от знакомства с опубликованным курсом лекций киевского профессора (будущего министра финансов) Н.Х. Бунге, посвященным новейшим социально-экономическим учениям, Ковалевский увлекся изучением истории социалистических идей, особенно теории «критического социализма» П.-Ж. Прудона, согласно которой изменения в общественном строе должны происходить не путем насильственного переворота, а в результате эволюции нравственных понятий людей, развития человеческой солидарности («взаимности», по Прудону). «Свобода», «равенство», «взаимность» — эти принципы, сформулированные Ковалевским в юности, определяли его взгляды и деятельность на протяжении всей дальнейшей жизни. На склоне лет Ковалевский с улыбкой вспоминал свой юношеский порыв, когда, желая дать внешнее выражение своим мыслям, заказал себе печать с выгравированными на ней тремя дорогими ему словами. Но печать, которая предназначалась Ковалевским для того, чтобы скреплять письма к друзьям, была отобрана почти сразу матерью. «И, разумеется, к лучшему, — заключал он, — а то, пожалуй, возникло бы дело о студенте Ковалевском, его печати и ряде скомпрометированных им лиц. Трудно ведь допустить, что за этой печатью ничего не скрывается, кроме чисто теоретических пристрастий»[12]. До конца своих дней Ковалевский сохранял уверенность в том, что «вообще социализму, не как отвлеченной доктрине, а как общему уклону в развитии социальных и хозяйственных отношений, принадлежит будущее»[13].

Заметным событием в жизни кружка Солнцевой стал доклад Ковалевского с изложением социального учения Прудона — его первое научное выступление. Оно наделало в Харькове шуму и привлекло внимание жандармов. Ковалевский был близок также к харьковскому «Товариществу потребителей», которое, по его воспоминаниям, «не преследовало никаких запретных целей... оказывало широкий кредит в своей столовой людям недостаточным и потому погибло преждевременной смертью». Революционная деятельность этой организации, по признанию Ковалевского, свелась к разгрому полицейской части, «с каланчи которой в качестве красного знамени был вывешен кусок материи того же цвета», отчего «начальство пришло в большой переполох», а «за Харьковом установилась репутация «красного города». Ковалевский в этом деле не участвовал, проявив, как и другие члены кружка Солнцевой, «большую политическую проницательность и дальновидность». Не поддались они и на агитацию московских агентов, вербовавших в ряды нечаевского движения. Результатом был ряд сфабрикованных доносов на кружковцев, в том числе и на Ковалевского, со стороны сочувствовавших заговору. Вообще же, по его собственному признанию, в студенческие годы он был «настолько увлечен заботой о саморазвитии, что так называемой повседневной политикой занимался весьма слабо»[14].

В центре внимания Ковалевского-студента — «вопрос о поступательном ходе развития человечества», «история учреждений и история общественности»: «тесная зависимость между ростом государственных учреждений и изменениями общественного уклада, в свою очередь вызванными эволюцией экономических порядков»[15]. Среди университетских преподавателей, сыгравших заметную роль в становлении Ковалевского как ученого, сам он называл правоведов П.П. Цитовича, Л.Е. Владимирова, А.Г. Станиславского, А.Н. Стоянова, С.В. Пахмана, К.К. Гаттенбергера, филолога А.А. Потебню и др. Отдав предпочтение с первых шагов в науке социологической доктрине О. Конта, Ковалевский неизменно проявлял исключительную терпимость к любым другим точкам зрения. Глубокое впечатление на него в студенческие годы произвели труды Дж. Милля, Г. Спенсера, Ф. Лассаля, А. Смита, К. Маркса, Ч. Дарвина, Т.Р. Мальтуса, венгерского экономиста Ю. Кауца, английских, французских, немецких юристов (Э.-В. Кокс, А.Н. Батби, А.А. Эскирос, К.И.А. Миттермейер, Ф.-А. Бинер, К.-Л. Арндт), а также работы по западноевропейской истории Г. Галлама, Ф. Гизо, «Гражданская община древнего мира» Фюстель де Куланжа, «Дух римского права» Р. фон Иеринга, «Древнее право» Г.С. Мэна, «Этюды по истории человечества» Ф. Лорана, «История цивилизации в Англии» Г.Т. Бокля, «О демократии в Америке», «Старый порядок и революция» А. Токвиля, «Общественный быт Англии. Очерки земства, города и суда с характеристикой соответствующих учреждений Франции и современных преобразований в России» М.И. Зарудного и др.

Еще в студенческие годы, во время посещения Вены, Ковалевский на лекции немецкого юриста, экономиста и государствоведа Л. фон Штейна был поражен попыткой последнего «орлиным взглядом пройтись по всей истории законодательств древних и новых народов, ставя их характерные особенности в зависимость от физических условий страны»[16]. Тогда же, на лекциях немецкого политического деятеля, экономиста и социолога А.Э.Ф. Шеффле, произошло знакомство Ковалевского со взглядами катедер-социализма.

Знаменательным событием в судьбе будущего ученого стала встреча в 1869 г. с профессором Харьковского университета, специалистом по международному праву Д.И. Каченовским, близко знавшим А.И. Герцена, Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева. В университетском Совете Каченовский возглавлял прогрессивное меньшинство, выступавшее с «либерально-конституционно-представительной проповедью». Его квартира была одним из «центров притяжения» для харьковской интеллигенции и студенчества. Ковалевский был постоянным участником «пятниц» у Каченовского. Это — человек, «зародивший во мне первые семена политического свободомыслия, давший мне первые сведения о конституционных порядках западноевропейских стран, вызвавший во мне желание посвятить себя проповеди... начал гражданской свободы, местного самоуправления, народного представительства и судебной ответст-

венности всех органов власти от высших до низших...», — вспоминал Ковалевский о своем учителе[17]. Именно под влиянием Каченовского Ковалевский с 3-го курса специализировался по государственному праву европейских стран.

Начало научной карьеры: командировка в Европу

В 1872 г. по окончании университета Ковалевский был оставлен при нем для подготовки к магистерскому экзамену по государственному и международному праву. Вплоть до 1876 г. он продолжал образование за границей. *В Берлине* он слушал лекции юристов: Г. Гнейста, Г. Дернбурга, Э.В.Э. Экка, Ю. Барона, Г. Безелера, П. Гиншиуса, специалиста по истории права Г. Бруннера; историков: К.В. Нича, Т. Моммзена, И.Г. Дройзена, Г.-Г. фон Трейчке; философов: Э. Целлера, Е.К. Дюринга; физиков и физиологов: Г.Л.Ф. фон Гельмгольца, Э. Дюбуа-Реймонда и др. Среди берлинских знакомых Ковалевского — катедер-социалисты экономисты Л.И. Брентано, Г.Ф. Кнапп, А. Гельд, А. Вагнер, Э. Нассе, Г. Шмоллер, Г. Шонберг и др., члены Эйзенахского съезда (6—7 октября, 1872 г.), основатели Союза социальной политики, преследовавшего цели: 1) пропаганда идей постепенных социальных реформ в интересах рабочего класса путем проведения соответствующих законодательных мер и программ в области страхования, 2) поиск среднего пути между радикализмом представителей манчестерской научной школы, не допускавших вмешательства государства в сферу экономики, и революционными устремлениями левого крыла социал-демократов. Ковалевский отмечал значительное влияние идей катедер-социализма на русских ученых своего поколения. Под влиянием немецкой школы политической экономии и истории права зародился интерес Ковалевского к изучению «хозяйственных порядков, предшествующих торжеству капитализма, или уцелевших в более или менее вымирающем виде и после наступления этого торжества»[18].

Ковалевский вспоминал, что его умственная жизнь была особенно деятельна в годы ученичества в Лондоне и Париже[19]. Именно тогда были намечены почти все те темы, которые ученый разрабатывал в последующие годы. *В Париже* он посещал лекции юристов П.Ф. Жирара, Л. Рено, Ж.П. Эсмена; историков Э. Бутми, Э.-Р.-Л. Лабулэ; философов П. Жане, А. Франка и др. Общался с И.И. Мечниковым, П.Л. Лавровым; познакомился с И.С. Тургеневым, социологом Г.Н. Вырубовым; под влиянием историка И.В. Лучицкого занялся изучением французских административных учреждений.

В Лондоне Ковалевский познакомился со многими известными современниками — философами Дж. Г. Льюисом, Г. Спенсером, Ф. Энгельсом, Т.Г. Грином, политэкономом У. Бэджготом, юристом, историком права Г.С. Мэном, профессором права Дж. Брайсом, историками Э.О. Фриманом, В. Стеббсом, писателем, адвокатом Ф. Гаррисоном, который ввел Коваленского в кружок позити-

вистов, и др. Среди лондонских знакомств Ковалевского — экономист И.И. Янжул, философ В.С. Соловьев. Особое значение для молодого ученого имели встречи с К. Марксом в 1874—1876 гг. Несмотря на неприятие Ковалевским марксистской социально-исторической концепции с ее идеей о неизбежности обострения социальных противоречий и необходимости их насильственной ликвидации, до конца своих дней он сохранял благодарную память о Марксе как о «дорогом учителе: «Очень вероятно, что без знакомства с Марксом я бы не занялся ни историей землевладения, ни экономическим ростом Европы, и сосредоточил бы свое внимание в большей степени на ходе развития политических учреждений». Ковалевский подчеркивал, что в лице Маркса он «имел счастье встретиться с одним из тех умственных и нравственных вождей человечества, которые по праву могут считаться его великими типами, так как в свое время являются самыми крупными выразителями прогрессивных течений общественности»[20].

В Лондоне Ковалевский интенсивно работал над своей магистерской диссертацией «История полицейской администрации и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III. К вопросу о возникновении местного самоуправления в Англии» (Прага, 1877), а также занимался изучением землевладения и сословного строя в средневековой Англии, что впоследствии послужило основой для его докторской диссертации — «Общественный строй Англии в конце средних веков» (М., 1880). Именно в лондонский период под влиянием трудов английских, американских, французских ученых (Д.Ф. Мак-Ленан, Л.Г. Морган, Г.-С. Мэн, Дж. Леббок, Э. Тейлор, Д.Д. Фразер, Э. Дюркгейм и др.) сформировался исследовательский интерес Ковалевского к этнологии, первобытной культуре, ранним формам общественности. Тогда же определились контуры масштабного научного проекта, реализацией которого он занимался все последующие годы. Всецело поглощенный тем, что сам ученый называл «различными проявлениями в истории закона причинности», Ковалевский поставил перед собой цель — выяснить происхождение и проследить эволюцию основных общественных учреждений и институтов, различных форм общественного сознания и отношений (община, семья, собственность, государство, право, религия, мораль и т.д.), а также изучить закономерности и специфику перехода различных народов к гражданскому обществу и правовому государству.

В Лондоне Ковалевский посещал заседания кружка позитивистов, где наряду с научными обсуждались и злободневные вопросы политики. Однако сам он впоследствии признавался, что по-прежнему все, что лежало вне сферы научных интересов, его тогда мало волновало[21]. Неудивительно, что это иногда приводило к курьезам. Так, например, слабо разбираясь в направлениях российской прессы, Ковалевский попытался опубликовать заметку в газете «Гражданин» кн. В.П. Мещерского. Опыт, естественно, закончился неудачей... Лишь после того, как один из соотечественников

стал снабжать Ковалевского «Русскими ведомостями», он «постепенно стал уделять внимание не только тому, что творилось в Париже и Лондоне, но и все более и более овладевавшей Россией реакции»[22].

По возвращении на родину Ковалевский в 1877 г. — доцент, с 1880 по 1887 гг. — доктор, профессор юридического факультета Московского университета (кафедра государственного права европейских держав).

В Московском университете

В Московском университете Ковалевскому принадлежало, по общему признанию, одно из первых мест. Он был чрезвычайно популярен среди учащейся молодежи, разночинной интеллигенции, в литературных кругах. Дом Ковалевского являлся своеобразным культурным, духовным центром. Обычно по четвергам в его квартире собирался большой круг знакомых. Это прежде всего участники кружка молодых профессоров, стремившихся «послужить своим знанием и своей энергией не отвлеченной науке, а запросам жизни» (экономисты И.И. Иванюков, И.И. Янжул, А.И. Чупров, юрист Ю.С. Гамбаров и др.). Среди знакомых Ковалевского — члены московских славянофильских кружков — А.И. Кошелев, И.С. Аксаков, С.А. Юрьев, О.А. Новикова; историк К.Д. Кавелин, адвокат В.И. Танеев, писатели Н.Н. Златовратский, А.И. Эртель, П.Д. Боборыкин, Г.И. Успенский; литературоведы А.Н. Веселовский и Н.И. Стороженко, фольклорист, языковед, этнограф, археолог В.Ф. Миллер; литературные критики Н.В. Шелгунов, Н.К. Михайловский; члены редакций газеты «Русские ведомости» и журнала «Русская мысль»; профессора юридического и историко-филологического факультетов Московского университета, сотрудники журналов «Критическое обозрение» и «Юридический вестник» (историки С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, филологи Ф.И. Буслаев, Ф.Е. Корш, юрист С.А. Муромцев, публицист Г.Б. Иоллос и др.).

К Ковалевскому приезжали из провинции, среди его гостей часто оказывались иностранные ученые и общественные деятели, путешественники и т.д. Причинами общественного успеха Ковалевского, помимо огромной эрудиции, смелого, независимого характера, являлись удивительное обаяние его личности, выдающиеся чисто человеческие качества. Определяющей чертой характера ученого была терпимость. «Терпимость — это религия будущего. Терпимость основана на уважении к ближнему, как к равному себе. Без терпимости нет свободы»[23], — этими словами немецкого поэта начала XX в., лауреата Нобелевской премии Г. Гауптмана выражалось и жизненное кредо его современника — Ковалевского. Терпимость — свойство натуры, далекое от всепрощения, — в глазах Ковалевского являлось подлинной заповедью мудрости: ведь все равно, различие человеческих характеров и темпераментов не уложить в прокрустово ложе «единоспасающих» доктрин. «Всякое

бывает», — так характеризовал Ковалевский свой способ суждения о людях и вещах, не приемля слишком категорических утверждений[24]. Ковалевский всегда старался следовать наставлению Иоанна Златоуста: «Убеждай с кротостью». «Можно ненавидеть ложное учение, но не человека, его исповедующего. Любовь — высшая учительница; она одна может содействовать освобождению людей от заблуждения», — к такому выводу пришел и сам ученый[25].

Ковалевский буквально излучал жизнерадостность, приветливость, доброту. Все, кто хоть раз сталкивался с Ковалевским в своей жизни, отмечали его необыкновенный дар общительности. Друзья вспоминали, как во время путешествия по Кавказу он, беседуя с «туземцами», буквально очаровывал их своим обращением. Дело дошло до того, что один князь, в аул к которому заехал Ковалевский, проникся к нему такими симпатиями, что предложил в жены свою 13-летнюю дочь, а в качестве приданого 300 баранов и одну из снежных шапок Казбека[26]. Ковалевский постоянно оказывал нуждающимся поддержку и помощь (в т.ч. материальную). Привычной для него была роль ходатая перед властями за преследуемых, высылаемых, арестованных. В нем начисто отсутствовало «психическое лицедейство» — не было ничего искусственного, показного. Недаром М.И. Туган-Барановский позднее отзывался о Ковалевском, как о «совершенно исключительной нравственной личности»[27].

Преподавательская деятельность Ковалевского совпала с периодом контрреформ. Своей важнейшей задачей правительство Александра III считало насаждение в высшей школе «верноподданнических настроений». Автономия университетов после введения в 1884 г. нового университетского устава была фактически уничтожена. Однако внешние обстоятельства не могли заставить Ковалевского отказаться как от своих убеждений, так и от стремления проповедовать близкие ему взгляды. Он ставил перед собой цель «подготовить россиян к конституции», с университетской кафедры фактически проповедовал основные принципы реформ, необходимых для России, обосновывая приоритет общечеловеческих ценностей и свободы личности. В доносах на Ковалевского неоднократно подчеркивалось его «тлетворное» влияние на умы молодежи. Кампания против Ковалевского, начатая по инициативе министра народного просвещения И.Д. Делянова, завершилась увольнением его из университета 6 июня 1887 г.[28]

Ковалевский не ограничивался преподавательской деятельностью в университете. В московский период он опубликовал свой первый фундаментальный труд — «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» (М., 1879). «Не плакать, не смеяться, а понимать», — эти слова Спинозы, избранные Ковалевским в качестве эпиграфа к монографии, определяли суть его научной методологии, основанной на строгой объективности. Совместно с В.Ф. Миллером Ковалевский в 1879—1880 гг. издавал «Критическое обозрение» («журнал научной критики и библиографии в области наук историко-филологических, юридических, эко-

номических и государственных»). Вместе с С.А. Муромцевым, В.А. Гольцевым и другими Ковалевский редактировал журнал «Юридический вестник», орган либеральной профессуры юридического факультета Московского университета. Он также участвовал в газетах «Порядок», «Земство» и др. Ковалевский совершил три этнографические экспедиции на Кавказ (1883 г. — с В.Ф. Миллером, 1885 г. — с И.И. Иванюковым, 1887 г. — с Ю.С. Гамбаровым). Материалы этих поездок легли в основу его многочисленных исследований о родовых отношениях и формах их распада.

Вдали от Родины

После вынужденной отставки Ковалевский вскоре уехал из России. Период его пребывания за границей (1887—1905) — еще одна блестящая страница биографии Ковалевского. «Русский ученый, устраненный от кафедры в своем Отечестве, стал культурным «гражданином мира», «аккредитованным представителем передовой мыслящей России в умственных центрах Европы», — вспоминал известный литературовед Д.Н. Овсянико-Куликовский[29].

Круг зарубежных знакомств Ковалевского постоянно расширялся. В него входили литераторы, ученые, государственные и общественные деятели. Среди них — экономист Г. Дени; социологи Г. де Греф, Э. Реклю; юристы Э. Вандервельде, Э. Пикар; этнограф М.-Э. Реклю; один из лидеров австрийской социал-демократии О. Бауэр и др. Однако «центром интереса» для Ковалевского, по его собственному признанию, стала «знаменитая однофамилица» — С.В. Ковалевская, в то время профессор математики Стокгольмского университета. Именно ей Ковалевский был во многом обязан своим приглашением в 1887 г. в Стокгольм для организации там преподавания общественных наук. Вместе они провели много времени в Швеции, позже — Англии, Франции, Италии, Швейцарии. Ковалевский подчеркивал однако, что ему «в ее (Ковалевской. — *Н.Х.*) жизни приписана преувеличенная роль»: «...Мы сошлись приятельски потому, что оба были одиноки и на чужбине»[30].

Спустя год после прочтения курса лекций в Стокгольме, Ковалевский был приглашен в Оксфорд и, таким образом, стал первым русским, призванным говорить о России на английском языке, так как до этого времени приглашали немцев и датчан[31]. Тематика его лекций в Европе и Америке включала в себя самые разнообразные темы (генезис общества, права, морали, семьи, собственности, политических учреждений; история экономического развития Европы, общественных отношений в Англии и т.д.). Особый интерес западные слушатели проявляли к России — истории становления ее хозяйственного уклада, формирования государственно-правовых институтов.

В Европе Ковалевский жил на вилле, купленной им в конце 1880-х годов в окрестностях Ниццы, в Болье. Время ученого было распределено между работой в библиотеках, архивах и чтением

лекций в крупнейших научных и учебных центрах по обеим сторонам Атлантики. Однако реальная жизнь со всеми ее противоречиями представляла источник для работы мысли Ковалевского не менее ценный, чем архивные рукописи и книжные редкости. С пристальным вниманием следил он за работой конгрессов по рабочему законодательству, лично участвовал в заседаниях Общества социальных реформ (Брюссель) и т.д. Искренний, глубокий интерес к людям, постоянное общение с представителями разных социальных групп помогали Ковалевскому в поиске новых подходов к объяснению общественных явлений.

Так, во время поездок в США (1881, 1901) Ковалевский прежде всего искал ответ на вопрос о том, «как сложилась американская гражданственность и создался особый психический тип американца», определивший характер общественных и политических учреждений. Исходя из поставленной задачи, Ковалевский сосредоточил свой исследовательский интерес, прежде всего, на посещении «высших, средних и низших школ, картинных галерей, музеев, библиотек, литературных клубов, наконец, выдающихся деятелей в сфере литературы и журналистики»[32]. Под влиянием публициста и политэконома Генри Джорджа, автора книги «Прогресс и бедность» (1879), а также историка Г.Б. Адамса Ковалевский занялся также изучением земельной политики и истории местного самоуправления в США. Сама жизнь приносила ученому все новые доказательства его вывода *о взаимосвязи демократических институтов и политической культуры народа*, его «национального характера», познание которого, по убеждению Ковалевского, есть «первый шаг к правильному пониманию той духовной силы, которая приводит в действие правительственную машину и без которой лучшая конституция есть не более как мертвый механизм»[33].

В годы пребывания за рубежом Ковалевский завершил работу над своими основными трудами (Очерк происхождения и развития семьи и собственности. СПб., 1895; Происхождение современной демократии. В 4-х т. М., 1895—1897; Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. В 3-х т. М., 1898—1903) и стал признанным авторитетом в мировой науке. Его работы широко публиковались на Западе. Маркс причислял Ковалевского к кругу своих «научных друзей». Труды Ковалевского изучали Ф. Энгельс, Г. Спенсер, Э.Б. Тейлор и др. В то же время сам ученый весьма скромно оценивал свою литературную деятельность: «Мне кажется, что я всего ближе отвечаю представлению об английском эссеисте, который не ставит себе задачей исчерпать свой предмет и, работая над материалом, не всегда состоящим из одних прямых источников, старается провести по возможности самостоятельный, оригинальный взгляд»[34].

Ковалевский избирался почетным членом Академии законодательства (Academie de legistation) в Тулузе, действительным членом «Societe de l'histoire Revolution francaise», почетным членом исторического общества в Венеции «Societa de historia patria» и т.д. В 1880 — начале 1900-х годов он — неизменный участник между-

народных конгрессов (съезд Британской ассоциации историков в Оксфорде, съезд ориенталистов в Лондоне, первый международный конгресс сравнительной истории права и съезд Международного института социологии в Париже и др.). Позднее, после смерти К.П. Победоносцева в 1907 г., Ковалевский был избран членом-корреспондентом Французского института («Академии нравственных и политических наук»). «Это была своего рода манифестация, знаменовавшая переход симпатий на сторону представителя обновленной России», — так оценивал это событие сам ученый[35].

Уже в период пребывания за рубежом Ковалевский проявил себя как *крупный организатор науки и социологического образования*. В 1888 г. он был одним из основателей высшей школы общественных наук в Стокгольме. С 1895 г. Ковалевский — вице-председатель Британской ассоциации наук, с 1894 г. член (с 1907 г. — президент) Международного института социологии (Париж). Сотрудничая во многих научных изданиях, ученый оказывал им порой и материальную поддержку (как это было, например, в случае с «Revue internationale de sociologie»).

Важнейший вклад Ковалевского в науку — *создание т.н. «генетической социологии»*, направления, занимающегося изучением зарождения, становления и развития общественных институтов. Ученый выступил против монистического подхода в теории социологии. Опираясь на контовскую идею о взаимозависимости факторов исторического процесса, он разработал собственную *теорию социальных факторов* (плюралистическую концепцию социальной причинности), настаивая на «равноправии» всех факторов и условий, возможности каждого из них выступать в качестве «независимой переменной»: «Нельзя сводить истории той или другой эпохи к решению уравнения с одной неизвестной»[36]. Отмечая важную роль демотического фактора (фактор народонаселения) в установлении форм собственности, развитии экономики, Ковалевский подчеркивал, что он не признает приоритета ни за одним из факторов, а придерживается принципа всестороннего воздействия всех, признавая в то же время больший вес какого-либо одного из них в определенных аспектах исторического процесса.

Изучая законы социальной эволюции, Ковалевский активно развивал *сравнительно-исторический и сравнительно-этнографический методы*. Он отстаивал *необходимость тесных связей социологии с психологией*, указывая, в частности, на материал фольклора как ценнейший источник изучения духовной жизни народа. Работы Ковалевского — одна из первых попыток *исследования процессов обыденного и массового сознания («коллективной психологии»)*. Взяв за основу принципы, разработанные Контом, Ковалевский внес в них ряд корректив (заменил понятие «социальный порядок» понятием «социальная организация», вместо термина «прогресс» ввел другой — «поступательное движение вперед»), определяя социологию как науку о социальной организации и социальном изменении, призванную выявлять законы, управляющие социальными процессами. Изучая историю в социологическом разрезе, Ковалев-

ский пришел к выводу: «Не единство расы и начальной культуры обусловливает собою сходство учреждений разных народов, а прохождение ими одинаковых ступеней экономического и общественного развития, что, в свою очередь, обусловливается ускоряющим или замедляющим влиянием физических факторов и того биосоциального, каким является рост населения и его густота»[37].

Движущей силой прогресса он считал единый для всего человечества внутренний закон, определяющий социальное развитие в сторону роста общественной солидарности. Наглядным примером этой закономерности, по Ковалевскому, служит экономическая эволюция: переход от «хозяйства орды и племени» к «национальному хозяйству», а в будущем — установление «всемирного хозяйства»[38]. Вместе с тем, ученый признавал: «Прямолинейного прогресса история не знает ни в чем. Поступательный ход человечества идет по кривой линии с частыми поворотами назад»[39]. Ковалевский, как и бельгийский социолог Г. де Греф («Экономическая эволюция»), допускал существование законов, ограничивающих процесс развития человеческой солидарности. Так, главную причину Первой мировой войны Ковалевский видел в развитии империализма как стремления отдельных народов к мировому господству: «Почва, на которой развился империализм новейшего типа, — почва по преимуществу мирового хозяйства... мировые войны, прежде всего... соперничество из-за мировой торговли». Вместе с тем, Ковалевский был убежден: войны «можно было избежать путем мирного улаживания спорных вопросов»[40].

Новаторский подход Ковалевского к *проблеме соотношения традиций и новаций* в развитии различных человеческих сообществ нашел выражение в полемике русского ученого с французским социологом Г. Тардом. В отличие от зарубежного коллеги, Ковалевский полагал, что развитие общества не сводится к постоянному заимствованию народами друг у друга разнообразного опыта. По убеждению Ковалевского, *заимствование* (за исключением области науки и техники) скорее является *приспособлением* новшеств и представляет собой не прямое подражание, а своего рода «второстепенное творчество» того или иного народа в русле его саморазвития, лишь вдохновляемого иностранными образцами. При этом последние «только в том случае пускают в стране корни, когда находят здесь благоприятную среду». Ковалевский пришел к выводу, что «процесс заимствования чужого опыта у всех народов начинается с подражания не внутренней, а внешней стороне того или иного явления» и лишь на следующей — продолжительной по времени — стадии происходит «приспособление» новых порядков, в том числе на уровне законодательства, к конкретно-историческим условиям страны-реципиента. «Приспособление достигается не сразу и не благодаря изобретательности того или другого бюрократа или действующей при нем канцелярии, — разъяснял ученый. — Оно является последствием постепенно проникающего сознания, что чужой кафтан сшит не по мерке, что надо его удлинить или укоротить, расшить в известных частях, укрепить в других. Все не-

достатки «неладно скроенного» сказываются «по мере носки», и я не отчаиваюсь поэтому, что те заимствования, которые не привились в жизни или стесняют правильный ход ее, со временем не то что отпадут, а подвергнутся перестройке по указаниям самой жизни»[41].

Основные положения собственной «теории заимствования» Ковалевский успешно развивал и конкретизировал на обширных материалах всемирной истории. Буквально россыпи примеров заимствования иностранного опыта представлены и проанализированы в его публикациях по российской тематике. Полемизируя с приверженцами идеи о «полной самобытности» российских порядков, Ковалевский замечал: «Когда нам говорят о том, что те или другие порядки не наши, что необходимо выработать самостоятельные, национальные, истинно русские, мы вправе ответить, что утверждать нечто подобное — значит идти против уроков мировой истории, знакомящей нас с *мировым процессом подражания*»[42].

Ковалевский сформулировал мысль *о важности применения опыта мировой науки в практических целях.* Он был убежден в том, что различные теории, пройдя проверку временем, могут и должны быть приведены социологами в состояние гармонии. Так, сравнивая двух «антиподов» — Маркса и Спенсера, Ковалевский замечал: «Один стоял на страже индивидуальности, другой поднимал голос в защиту прав трудящихся масс. Оба были наиболее последовательными и резкими выразителями тех двух направлений, гармоническое сочетание которых одно может обеспечить, в моих глазах, счастливое развитие человечества»[43].

Впоследствии идеи Ковалевского развивали его ученики, среди которых выдающиеся ученые XX в. — П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, Н.Д. Кондратьев, Н.С. Тимашев, Г.Д. Гурвич и др. Его труды оказали влияние на формирование мировоззрения Г.В. Плеханова, который причислял Ковалевского к тем немногим русским авторам, «сочинения которых могут быть признаны серьезными социологическими исследованиями»[44]. Отметим «перекличку» этого отзыва с мнением одного из современных исследователей научного наследия Ковалевского: «В многосторонней теоретической деятельности ученого получили развитие идеи классического позитивизма вплоть до той черты в истории этого течения, за которой последовал переход в новое качество и появилось течение неопозитивизма. Его приход во многом был подготовлен трудами Ковалевского в области методологии и воспитанием реальных носителей новых идей... Он как бы был призван самой историей для завершения фундаментальных тем, над которыми долгое время трудилась мировая наука.., и определения ориентиров будущего развития»[45].

По воспоминаниям русского ученого Д.Н. Анучина, Ковалевский в период пребывания за рубежом представлял собой едва ли не самый крупный центр притяжения как для русской эмиграции, так и для приезжавших из России. За границей Ковалевский встречался с Г.Н. Вырубовым, И.И. Мечниковым, П.Л. Лавровым.

В течение ряда лет он состоял посредником редакции «Русских ведомостей» в ее отношениях с литераторами-эмигрантами и сам был постоянным сотрудником газеты[46].

Научные интересы Ковалевского входили во все более тесное соприкосновение с насущными потребностями русской жизни. Разнообразие и характер вопросов, живо обсуждавшихся на родине Ковалевского, убеждали его в том, что Россия, «быть может, больше всех других европейских государств заслуживает внимания социолога»[47]. Очевидно, что научные труды Ковалевского, хотя и создавались в большинстве своем на зарубежном материале, тем не менее одновременно служили и своеобразным ответом на запросы трансформирующегося русского общества. Откликом такого рода стало и увлечение Ковалевского идеей качественно новой постановки дела высшего образования.

Он всегда предупреждал об опасности чрезмерной специализации обучения в ущерб общему образованию, проводил мысль о единстве науки, недопустимости какого-либо одностороннего подхода к изучению общества. Наиболее широко реализовать принципы свободы преподавания и самоуправления ему удалось в 1901—1906 гг. в Русской высшей школе общественных наук, созданной им в Париже совместно с юристом, знатоком гражданского права Ю.С. Гамбаровым, социологом Е.В. де Роберти и др. Школа должна быть вне политики, — в этом Ковалевский был убежден, видя главную цель преподавания в подготовке широко и свободно мыслящих людей. Неизбежным следствием этого должно было стать не менее важное для Ковалевского и его единомышленников «смягчение резких противоположностей между крайними мнениями, сближение политических групп, способных действовать на общей почве»[48]. А.Л. Шанявский, в то время вынашивавший свою идею Вольного Университета в Москве, с большим интересом следил за деятельностью Ковалевского в Париже. Взгляды Ковалевского по вопросам высшего образования нашли отражение в проекте народного университета, разработанном Шанявским и воплощенным им в Москве в 1908 г. Имя Ковалевского значилось среди десяти пожизненных членов попечительного Совета университета, назначенных самим Шанявским[49].

Поглощенный научной и просветительской деятельностью, Ковалевский следил за событиями в России. Обращаясь в письмах к друзьям, он спрашивал их мнение по поводу тех или иных новостей на родине. С болью в сердце воспринимал Ковалевский сообщения о победах японцев, не разделяя ликования отдельных представителей либеральных кругов в России по этому поводу.

Возвращение в революционную Россию: от науки к политике

Возвращение Ковалевского в Россию состоялось в августе 1905 г., когда революция стремительно набирала силу. Не прошло и месяца после его приезда, вспоминал В.Д. Кузьмин-Караваев,

«как имя его стало буквально каждый день встречаться на столбцах газет, — то в виде подписи под статьями, то как инициатора или устроителя того или другого общественного дела... М.М. исключительно быстро сделался центром, к которому стремились люди, бесконечно разнообразные по положению, по убеждению, по профессии»[50].

Характерная черта общественной жизни в России в начале XX в. — вера в близость «новой эры» социальной справедливости, утверждения гуманистических начал. Предельно политизированное общество стремилось получить практические рецепты переустройства жизни. Ковалевский не мог не откликнуться на призыв жаждущей просвещения публики. Практически отказавшись от продолжения самостоятельных научных исследований, он занялся составлением обобщающих лекционных курсов и научно-популярных обзоров. Ковалевский-ученый считал своим профессиональным и гражданским долгом способствовать мирному, в демократическом русле, обновлению русской жизни путем указания — с позиций научного знания — на точки разумного приложения опыта Западной Европы к российской действительности. Тем более, что, по его наблюдению, эволюция политического и экономического строя России поражала многочисленными аналогиями с прошлым народов европейского Запада[51].

В лекциях, многочисленных брошюрах и энциклопедических изданиях, публикациях в прессе Ковалевский разъяснял суть происходивших в России перемен, подготавливал сознание россиян к восприятию необходимых демократических преобразований.

Предвидеть проблемы, ожидающие Россию в недалеком будущем, по возможности сгладить их остроту рядом предупредительных государственных мероприятий — достижение этих целей, по убеждению Ковалевского, было невозможно без знания устоев русской национальной экономики, прежде всего — аграрного строя, основанного на общинном землевладении.

«Я всей душой стремился очистить этот вопрос (об общине. — *Н.Х.*) от доктринерства и метафизики.., проанализировать различные точки зрения... и кроме того, изучить судьбу подобных же учреждений в других странах», — так характеризовал Ковалевский свой научный метод. Выводы, к которым пришел ученый, были неоднозначны. Не случайно одни современники видели в нем критика общинных порядков, другие обвиняли в избытке «лиризма» по отношению к общине. «Я не страшусь признать справедливость этих двух мнений, которые ничуть друг другу не противоречат», — замечал Ковалевский[52].

Действительно, именно он одним из первых указал на процесс разрушения русской общины и объективные причины, подтачивающие ее основы, причем — как на общую закономерность, прослеживающуюся в истории разных народов (Англия, Франция, Швейцария, Индия, Мексика, Перу, Алжир и др.).

С другой стороны, Ковалевский приводил убедительные факты, свидетельствовавшие о жизнеспособности русской общи-

ны, способности ее «перейти к более интенсивной культуре и удовлетворять потребностям не только местного потребления, но и международного рынка»[53]. Настаивая на необходимости мер, направленных к сохранению общинного землевладения, Ковалевский подчеркивал не только их экономическое значение. По его признанию, «самой положительной стороной» общины являлась ее воспитательная функция, выражавшаяся в развитии чувства солидарности между людьми. «Я думаю, — писал он, — что исчезновение строя, существовавшего многие столетия и олицетворявшего идеи справедливости и братства, не может быть безразлично для каждого из нас»[54].

Ковалевский, опираясь на свой опыт изучения земских учреждений на Западе, пришел к выводу: основой мелкой земской единицы (волости) в России должна стать именно община[55].

Еще до начала столыпинских преобразований Ковалевский предлагал основные направления аграрной реформы: организация государством переселенческой политики, образование государственного земельного фонда (путем частичного отчуждения — при условии выкупа за счет государства — помещичьих латифундий, а также передачи в него казенных земель) для наделения крестьян землей (как в долгосрочную аренду, так и на правах собственности), законодательное обеспечение прав как общины, так и сельского хозяина-собственника, уменьшение налогового бремени на крестьянство, расширение сельскохозяйственного кредита и др. Приветствуя стремление России стать «страной промышленной, торговой, страной кредитных операций, банков и биржи», Ковалевский настаивал на том, что «прогресс промышленности может совершаться лишь рядом с прогрессом земледелия», а не в ущерб последнему[56]. Очевидно, что позиция Ковалевского по аграрно-крестьянскому вопросу является одним из характерных примеров *либерально-демократического синтеза*, представленного в русском общественном движении начала XX в.

Ответом Ковалевского на запросы русского общества стали и выступления ученого в печати по вопросам *реформы государственного управления*. Основываясь на собственных результатах сравнительно-исторического изучения государственных учреждений Западной Европы, он компетентно заявлял: «...государственные порядки не являются предметом свободного выбора.., ни о какой из существующих форм политического устройства нельзя говорить как о наилучшей при всех условиях»[57]. Широко известна его фраза на земском съезде (1905¦ ноябрь): «Во Франции я — республиканец, в России — монархист»[58].

Как перспективный тип государственного устройства, «примиряющий» обе модели ограниченной монархии (конституционной и парламентарной), определявшие политическое развитие в XIX в., Ковалевский характеризовал *представительную демократию*, основанную на самоуправлении народа (парламентаризм) и равенстве всех граждан перед законом[59]. Движение России в сторону утверждения представительной демократии Ковалевский как *либерал-эво-*

люционист предполагал через целый ряд последовательных изменений, рассматривая в качестве необходимого начального этапа строй конституционной монархии. Он отводил этой форме правления роль верховного посредничества между классами для защиты интересов народных масс путем более решительного вмешательства государства в экономическую и социальную сферы.

Очевидно, что Ковалевский-политик «вырос» из Ковалевского-ученого. Материалы собственных научных изысканий он нередко использовал впоследствии для мотивировки и аргументации тех или иных положений своих выступлений в Государственной думе и Государственном совете.

Ковалевский — политик-центрист

Ковалевский сочетал в себе качества ученого-энциклопедиста и политика-прагматика. С высоты своего научного знания он, может быть, как никто другой из российских политиков представлял, сколь многотрудным и длительным будет путь России от самодержавия к демократии. Однако политический реализм Ковалевского существенно отличался от узконаправленческих, своекорыстных подходов большинства «игроков» на политическом поле. Ковалевский, по нашему мнению, представлял собой выкристаллизовывавшийся в событиях российской Смуты начала XX в. новый тип политика, не понятый большинством современников (что, заметим, вовсе не умаляет ценности его опыта). Это — тип *политика-центриста*, высшей ценностью для которого является «общественная солидарность», а руководством к действию — здравый смысл и забота об «общем благе».

По отзывам современников, Ковалевский по возвращении на родину «стал знаменем, символом русской культуры и всех русских культурных начинаний». Ему была свойственна безграничная вера в силу просвещения и культуры, их спасительную миссию. В разговоре с друзьями он сказал как-то: «Я не сомневаюсь в том, что гораздо действеннее писать статьи, чем бросать бомбы...»[60] В переписке с А.И. Чупровым он откровенно признавал, что «благописание книг» занимает его «больше всего прочего»[61].

Сразу же по приезде в Москву Ковалевский попал на съезд профессоров, где ему была устроена овация. На этом съезде предложение Ковалевского добиваться представительства от университетов и Академии наук в Государственном совете не встретило сочувствия и поддержки. Ему ответили, что защищать эту мысль придется ему одному. Он так и сделал, поместив соответствующую статью в «Русских ведомостях». В результате усилий Ковалевского защита интересов науки и высшего образования в верхней палате парламента была обеспечена[62].

Многое дала Ковалевскому для оценки ситуации в провинции поездка в Харьков. Он выступил с докладом о Булыгинской думе в юридическом обществе Харьковского университета. «Мне было известно враждебное отношение широких общественных слоев к

крайне несовершенному и по ограниченности своих функций, и по своему составу законосовещательному органу... — вспоминал Ковалевский. — Но я никак не ожидал того, что в провинциальной среде отношение к Булыгинской конституции было бы столь отрицательно... Фактически она, разумеется, давала мало. Но в ней были зародыши дальнейшего развития. Мне казалось, что уж этим одним Булыгинская дума могла привлечь к себе некоторые симпатии... Все это я хотел передать моей аудитории». Появление Ковалевского в зале было встречено громкими рукоплесканиями. Однако по ходу выступления аплодисменты раздавались все реже. Смысл же прений сам Ковалевский сформулировал так: «Докладчик — почтенный профессор, но умственно ограниченный и не понимает, что все дело во всеобщем голосовании и законодательной автономии Думы». Подытоживая свои впечатления, Ковалевский писал: «...в Харькове я впервые встретился с тою демократической и конституционной волной, которая вынесла на своих плечах Думу первого призыва и отложила на ней свой определенный отпечаток»[63]. В Москве и впоследствии в Петербурге Ковалевский встретился вскоре с теми же настроениями, но в несравненно большем масштабе.

В конце осени 1905 г. Ковалевский уехал в Париж, не исключая возможности задержаться там на длительное время и продолжить преподавание в Русской высшей школе общественных наук. В письме к своему давнему другу А.И. Чупрову от 14 декабря 1905 г. Ковалевский описывал ситуацию в России, пережитую им недавно: «Я вынес впечатление дома умалишенных, в котором одни стачечники знают, что делают, а революционеры к ним примазываются, уверяя, что они пахали. Сами же стачечники добиваются вовсе не восьмичасового рабочего дня, так как наиболее умные дают себе отчет, что последствием будет закрытие фабрики, что, впрочем, уже и оправдывается. Они рассчитывают на психическое воздействие, какое их стачка произведет на правительство, которое кажется им преувеличенно слабым и потерявшим всякую нить. Либеральные земцы все протягивают руку налево, несмотря на причиняемые им обиды, боятся обнаружить классовый интерес, жалуясь, что их грабят или собираются грабить, повторяют, как попугаи, взятую напрокат формулу «всеобщий, равный, прямой и тайный», не понимая или не желая понять, что при ней выбор обеспечен тем, кто посулит крестьянам землю даром. Вся эта либерально-демократическая комедия с торжественно-надутым Муромцевым в роли председателя и каркающим Кокошкиным в роли конституционного советника, с Милюковым, пробирающимся в дамки, и Петрункевичем, мечтающим пока только о портфеле, производит впечатление сплошной мерзости. Господа эти всего боятся — даже того, чтобы называть вещи по имени: бунт матросов — бунтом, а грабеж усадеб — грабежом. Я тщетно предлагал им... подобного рода резолюции. У них не хватало смелости принять их... У кого есть деньги, перевозят их за границу, торопясь... Паника и умиление перед собственным великодушием! А народ,

озлобленный экономическими нестроениями, порождаемыми стачками, набрасывается с яростью на студентов, жидов и интеллигенцию, которая в свою очередь ничего не находит другого, как обзывать его черной сотней и хулиганами, или еще заявлять, что все неистовства черни вызваны подстрекательствами полиции». Отголоском всего этого, по выражению Ковалевского, «бедлама» явилось поведение русской колонии в Париже. «По моем приезде студенты школы попросили меня прочесть им лекцию о русских событиях, — продолжал Ковалевский, — а затем потребовали от меня отчета, как я смею не быть республиканцем в России. Лекция закончилась аплодисментами и свистками... Я прекратил чтения, и школа закрыта не то временно, не то навсегда. И к лучшему. Теперь уже никто не хочет учиться и все заняты только тем, чтобы внедрять в других честные убеждения клеветою и физическим насилием. Красные хулиганы стоят черных...»[64]

Пребывание Ковалевского в Париже зимой 1905/1906 г. оказалось недолгим. Сложные перипетии общественной жизни вновь втянули его в круговорот событий на родине. Вернувшись в Петербург, Ковалевский, как и прежде, «сразу очутился в центре всего движения». Первым делом он основал в Петербурге газету «Страна», издававшуюся с 19 февраля 1906 г. по январь 1907 г. В редколлегии активно работали приглашенные Ковалевским профессор политэкономии И.И. Иванюков, видный экономист А.С. Посников, правовед Ю.С. Гамбаров, юрист, историк, известный в России либеральный публицист К.К. Арсеньев, литературоведы Н.А. Котляревский и Д.Н. Овсянико-Куликовский. К началу издания газеты многие члены редакции уже состояли в Партии демократических реформ. Они предложили Ковалевскому вступить в ее ряды. Заметим, что собственные политические симпатии ученого неизменно были на стороне «*партии здравого смысла*, избегающей всяких крайностей, выше всего ставящей науку и свободное исследование, считающей утопией всякую попытку вызвать переворот в общественном укладе, по крайней мере, переворот быстрый и внезапный, и подготовляющей лучшее будущее распространением в массах знания и уравнением... условий борьбы и конкуренции из-за приобретения необходимого достатка»[65]. Ковалевский посчитал для себя возможным примкнуть к Партии демократических реформ, явившейся, по сути, первым опытом организационного оформления политических сил отечественных «центристов».

Ковалевский — депутат I Государственной думы

Достойным местом самовыражения Ковалевского как политика и общественного деятеля могла стать Государственная дума. Работа в комиссиях первого русского парламента предоставляла возможность оказывать непосредственное влияние на формирование государственной политики. Посоветовавшись с В.О. Ключевским, политические воззрения которого были ему близки, Ковалевский

принял решение выставить свою кандидатуру в Думу от Харьковской губернии. Ситуация для избрания Ковалевского складывалась благоприятно. Он вспоминал: «Так как никто особенно не стремился сделаться депутатом, опасаясь, как бы не навлечь тем самым на себя беды, то отношение было более или менее следующее: «Хочешь лезть в петлю, ступай — мы тебе препятствовать не будем»»[66].

Выступления Ковалевского в I Думе начались с обсуждения адреса в ответ на тронную речь царя в день открытия работы народного представительства 27 апреля 1906 г. С каждым днем его крупная фигура все чаще появлялась за думской кафедрой. «С верхних скамей, на которых я расположился с прочими членами от Харьковской губ[ернии], меня пригласили пересесть на нижние, чтобы не тратить времени и быть поближе к трибуне», — вспоминал Ковалевский[67]. «Учитель-депутат» — так отзывались о нем соратники. Неоднократно в заседаниях Ковалевский выступал со справками по истории парламентаризма и практике народных представительств в западных странах. Эти речи порой вызывали неоднозначную реакцию среди депутатов как «справа», так и «слева», однако были обусловлены самой жизнью. Они являлись по сути насущной необходимостью в работе первого русского парламента, не искушенного в тонкостях законотворчества. Ковалевский разъяснял депутатам ущербность («слабый зародыш») права законодательного почина, признанного за Государственной думой верховной властью по закону 20 февраля 1906 г. Тем не менее, исходя из опыта западных демократий, Ковалевский предлагал включить в ответный адрес выражение признательности монарху со стороны народных представителей за дарованную им возможность участия в законодательной деятельности. По его мнению, это «прорвало бы тот лед, который сразу установился в отношении Думы к высшему правительству». Он настаивал на необходимости включения в ответный адрес также выражения готовности Государственной думы к рассмотрению вопросов внешней политики. «Предложенная мною формула была весьма скромна, — пояснял Ковалевский. — В ней шла речь о нашей готовности жить в мире с соседями и одновременно о сочувствии единокровным и единоверным народностям Европы. Но и она показалась слишком смелой и даже опасной таким, напр., передовым бойцам, как Родичев... Нужно ли говорить, — заключал Ковалевский, — что формула была отвергнута и что адрес ни словом не обмолвился по вопросу об отношении русской Думы к иностранной политике»[68].

Характерной чертой Ковалевского была настойчивость в проведении своих мнений и взглядов. Его постоянное стремление обратить внимание Думы в сторону внешней политики имело, по воспоминаниям В.Д. Кузьмина-Караваева, весьма своеобразное отражение в умах трудовиков-крестьян: «Когда в думских кулуарах шли разговоры о министерстве из членов Думы, крестьяне с большой тщательностью перебирали имена возможных и желательных кандидатов, и вокруг тех или других имен часто велись оживлен-

ные споры. Но кто должен быть министром иностранных дел, они решили в один голос и об этой кандидатуре не спорили. «Кому же как не Максиму Максимовичу с иностранцами возиться», — говорил, формулируя мысли думских крестьян, киевский депутат Грабовецкий[69].

Обстоятельства сложились так, что именно Ковалевскому пришлось в I Думе произнести наиболее резкое слово против той отповеди, которую правительство в лице председателя Совета министров И.Л. Горемыкина дало в ответ на требование депутатов о государственном выкупе помещичьих земель. Возмущенный назидательным тоном главы правительства по отношению к народным избранникам, Ковалевский настаивал на правомерности государственного выкупа помещичьих земель «в интересах общественной пользы и общественной необходимости». Свою речь он закончил заявлением, что депутаты собрались в Думе для отстаивания интересов русского народа и не уйдут оттуда иначе, как уступая грубому насилию. «Говорить против моих убеждений никогда не приходило мне в голову», — верность Ковалевского этому принципу не раз подтверждалась в период его депутатских полномочий[70].

Пытаясь приостановить применение смертной казни на то время, пока соответствующий законопроект прорабатывался в Думе, Ковалевский предложил депутатам обратиться с соответствующей петицией к царю. «К.-д. и трудовики почему-то сочли унизительной форму петиции, но я нашел поддержку в более консервативной части Думы», — вспоминал Ковалевский. Собрав несколько тысяч подписей, он отвез петицию в Петергоф — летнюю резиденцию Николая II. «Никакого ответа на нее не последовало, — констатировал Ковалевский. — По слухам, государь остался недоволен упоминанием о том, что с казнями надо повременить до выработки Думой нового закона».

Речи Ковалевского в Думе часто служили ему материалом для статей в «Стране». Желая оказать воздействие на ход прений, он бесплатно рассылал свою газету значительному числу депутатов без различия партий. «К.-д. относились ко мне с оглядкой, не всегда уверенные в том, что я буду голосовать с ними в унисон», — писал Ковалевский[71]. Тем не менее он был избран председателем и членом многих думских комиссий. Ковалевский возглавлял комиссию по составлению закона о личной свободе. Ею было принято предложение Ковалевского придерживаться в своей деятельности английской системы Habeas corpus. Он был также членом комиссий по составлению законопроектов о гражданском равноправии, свободе собраний и т.д. Ковалевский являлся горячим сторонником политической амнистии, неоднократно высказывался в Думе в защиту прав печати.

Известие о роспуске I Думы настигло Ковалевского в Лондоне, куда он прибыл во главе думской делегации на конференцию Межпарламентской ассоциации мира. Политическая деятельность Ковалевского в России получила высокую оценку и признание международной общественности. «Когда бюрократическое само-

державие превратится в конституционную монархию, когда революция уляжется и начнется эволюция, Максим Ковалевский будет фигурировать в первом ряду обновителей русского отечества», — отмечалось в парижском издании «Siecle» («Век») в мае 1906 г.

По возвращении в Россию Ковалевский ответил отказом на предложение кн. П.Н. Долгорукова поддержать Выборгское воззвание. По словам Ковалевского, иное решение лишило бы его перед собственной совестью права считать себя доктором по государствоведению. «Никто из специалистов этой науки не может допустить призыва подданных к неплатежу налогов и к отказу нести воинскую повинность», — заявлял Ковалевский[72]. Вместе с тем он был обеспокоен судьбой «выборжцев».

Осуждая роспуск I Государственной думы, Ковалевский считал неприемлемым для общественных деятелей вхождение в состав правительства, возглавляемого Столыпиным. Ковалевский ответил письменным отказом на приглашение Столыпина участвовать в политическом рауте у него на дому, мотивировав свое решение тем, что намерен провести со своими товарищами по первой Думе вечер, предшествующий начатому против них правительством процессу. Столыпин счел себя крайне задетым этим письмом. Текст его стал вскоре общеизвестным и обошел столичную и провинциальную печать. Позднее, 18 декабря 1907 г., в день окончания суда над «выборжцами», Ковалевский устроил у себя собрание представителей различных партий «с целью выразить сочувствие осужденным».

Напряженнейшая работа Ковалевского в I Думе не прошла бесследно для его здоровья. «Очень утомленный», по свидетельству Арсеньева, Ковалевский в конце июля — начале августа 1906 г. выехал за границу. Там выяснилось, что за месяцы волнений в России он «нажил» сахарный диабет[73]. Крайнее физическое утомление усугублялось нравственным угнетением под впечатлением событий «междудумья». Однако, несмотря на все трудности, Ковалевский не собирался отступать со своих позиций, «опускать руки».

Пропагандируя свои взгляды, Ковалевский издал сборник речей членов ПДР в I Думе и способствовал его широкому распространению. Он активно участвовал в избирательной кампании по выборам во II Думу. В обстановке, когда, по словам Ковалевского, политические партии в России еще не стали «деловыми общественными течениями» по типу западных партий, его занимал вопрос: «Как быть тем простым ратникам за свободу и право, которые не сочли нужным подчинить свою деятельность «деспотизму» центральных и иных комитетов и не отказались думать по-своему»? «Неужели они на этот раз, как и полгода назад, будут вотировать кружками, свидетельствуя тем о чистоте своих намерений и отсутствии практического смысла? — писал Ковалевский в «Стране». — Не думайте, однако, что я стану призывать кого-либо изменить своему знамени и стать под чужое. Я хочу только развернуть над знаменами отдельных партий одно великое знамя русской свободы и законности»[74].

В унисон с этими словами Ковалевского прозвучал спустя несколько дней со страниц той же газеты и призыв к единению, с которым обратился к русскому обществу один из учредителей Партии мирного обновления в I Думе И.Н. Ефремов. В то время, «когда не определилось еще господствующее течение, по которому пойдет преобразовательная деятельность ближайшего законодательного периода, преобладающее значение имеют общее направление и дух партий, а также их тактика, — писал Ефремов. — Теперь, с одной стороны, возможна попытка восстановить старый строй полицейского абсолютизма, а с другой — стремление немедленно осуществить мечты радикальнейшей политической и социальной революции; и там, и тут не хотят считаться ни с уроками истории, ни с действительными воззрениями большинства, ни с правом и законностью, а средством борьбы признают насилие». Завершалось воззвание лидера мирнообновленцев такими словами: «Всем тем, кому претит всякий гнет и произвол, кто сознает, что спасение Родины только в окончательном разрыве со старым порядком бюрократического самовластия, необходимо сбросить на время сравнительно мелкие программные споры, объединиться около людей, которые внушали бы безусловное доверие к своему испытанному конституционализму, и идти на защиту России — от всякого деспотизма под общим флагом полного обновления ее на началах свободы и законности»[75].

Трудно судить о резонансе, вызванном публикациями политиков-единомышленников — Ковалевского и Ефремова. Известно, что ни один из них во II Думу не был избран.

Так, Ковалевскому на выборах в Харьковской губернии не хватило всего трех голосов для того, чтобы пройти в выборщики, «да и тех не оказалось только потому, что крестьян убедили в невозможности голосовать за членов I Думы без всякого отношения к тому, подписано ли было кандидатом Выборгское воззвание или нет». Неудачу на выборах во II Думу Ковалевский в значительной степени связывал также со своей предвыборной деятельностью. Ковалевский считал ниже своего достоинства «корректировать» убеждения в зависимости от ситуации. На поставленный ему в предвыборном собрании прямой вопрос о том, допускает ли он обязательный выкуп помещичьих земель правительством, последовал столь же прямой ответ. Ковалевский признал, что не исключает возможность правительственного выкупа латифундий при условии, если переселенческая кампания и передача крестьянам в собственность казенных земель не будут способны удовлетворить земельный голод. Но и с этими ограничениями идея выкупа показалась землевладельцам Харьковского уезда настолько революционной, что они открыто стали агитировать против Ковалевского, используя также в своих интересах недоброжелательное отношение правительства к нему[76].

Возвратившись в Петербург, Ковалевский принял предложение П.Б. Струве выставить свою кандидатуру от Петербурга по кадетскому списку. Ковалевский выступил на нескольких предвыбор-

ных собраниях с речами, свидетельствовавшими о том, что, не являясь членом конституционно-демократической партии, он по многим вопросам вполне разделял ее программу. Ситуация на этот раз складывалась поначалу благоприятно для Ковалевского. Однако выбор его от Петербурга вскоре был кассирован властями под тем предлогом, что ему недостает нескольких дней для того, чтобы считаться проживавшим в Петербурге целый год[77].

Ковалевский — член Государственного совета

Не имея возможности попасть в Думу, Ковалевский связывал надежды на продолжение своей общественной деятельности с участием в работе Государственного совета. Несмотря на сопротивление властей, 8 февраля 1907 г. он был избран членом верхней палаты парламента от академической курии[78]. В Государственном совете Ковалевский стал лидером «левых» («прогрессивной группы»). В нее входили: профессора — Д.И. Багалей, А.В. Васильев, Д.Д. Гримм, И.Х. Озеров, С.Ф. Ольденбург, представители земств — Н.В. Марин, Е.В. Рыков, гр. А.П. Толстой, В.П. Энгельгардт. И.Г. Каменский, представитель торговых кругов Е.Л. Зубашев. С ними почти всегда голосовали А.Ф. Кони, М.А. Стахович.

Роспуск II Государственной думы Ковалевский воспринял как личную трагедию. «...Нигде, кажется, не найду убежища от тягостного чувства, что дело свободы в России проиграно, — делился он мрачными мыслями с А.И.Чупровым, — что желание одних всякими средствами добиться сразу создания социальной республики и неискренность других — привели к восстановлению порядков Плеве. Долго ли еще предстоит мне маяться в Петербурге, не знаю. «Столыпинская банда» меня терпеть не может; черносотенцы, разумеется, идут так же далеко в своей ненависти. А так как ближайшее будущее принадлежит тем или другим, то мои дни в России сочтены», — заключал автор письма. Как возможный вариант он рассматривал свое возвращение во Францию и возобновление там научных занятий. Однако в этом же послании несколькими строчками ниже Ковалевский замечал: «Уйти теперь, не сразившись снова, как-то неловко...»[79] Никуда из России он не уехал и по-прежнему оставался заметной фигурой в общественно-политической жизни страны.

Осознавая бесперспективность выставления своей кандидатуры на выборах в III Думу, Ковалевский сосредоточился на деятельности в Государственном совете. До конца своих дней он ежегодно избирался в комиссию законодательных предположений Государственного совета. Он являлся также членом комиссии по рассмотрению указа от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Ковалевский и его единомышленники в Государственном совете выступали против аграрной политики П.А. Столыпина, в защиту свободы печати, по вопросам со-

циального законодательства, отстаивали необходимость коренных реформ в сфере образования и т.д.

Известный юрист и общественный деятель А.Ф. Кони вспоминал о Ковалевском: «Высказывая на кафедре свои взгляды, он говорил сильно, с резкими жестами и обращениями преимущественно к той стороне, откуда он ожидал или слышал возражения и противоположное мнение. В интонациях его могучего голоса слышалась сдерживаемая сила. Но его слово никогда не было резким и не содержало в себе личных выпадов. Он даже неоднократно заявлял, что поставил себе за правило, опровергая доводы «инакомыслящих», никогда не называть последних»[80].

Ковалевский продолжал и в Государственном совете разъяснять права законодательных учреждений и условия их работы. Он считал, что путем соглашения верхней и нижней палат парламента (распределив по отдельным вопросам сам почин между ними) можно было бы значительно ускорить процесс законотворчества. Необходимое оживление подобной деятельности, по его мнению, не имело ничего общего с поспешностью, проявленной в ряде случаев. Ковалевский возражал против замены закона местными обязательными постановлениями: «Государственные пользы и нужды обдумываются и решаются органами законодательной власти и не должны затем снова оцениваться и рассматриваться как открытый вопрос, семью-десятью или восемнадцатью администраторами. Целость и единство Империи требуют, чтобы закон, действующий в Петербурге, считался законом и в Ялте, и в Вологде. В этом состоит различие закономерного строя и строя революционного. Только необыкновенным смешением понятий можно объяснить призывы к отступлению от законов в интересах мнимого спасения государства, как это делалось в эпоху террора и коммуны»[81].

Ковалевский выступал также против поспешного и слишком широкого применения ст. 87 Основных законов (о применении чрезвычайных мер). Горячо отстаивая преимущества закона перед временными мерами, он говорил: «Все установленное прочно в юридической литературе отправляется от той мысли, что при управлении государством, какова бы ни была его форма, надо класть в основу закон, а не широко и произвольно толкуемую необходимость». Вместе с тем Ковалевский постоянно подчеркивал необходимость безотлагательного решения давно назревших нужд, «своевременное внимание к которым могло бы предотвратить многие печальные явления в настоящем и будущем». На примере вопроса о страховании рабочих, возникшего еще в 1893 г., Ковалевский критиковал обычную в России практику откладывания рассмотрения важных задач «на потом» под предлогом необходимости разрешить проблему сразу — одним «махом» и во всем объеме[82].

Выступая в Государственном совете, Ковалевский оставался верен своим взглядам на разрешение аграрно-крестьянского вопроса. Ковалевский не стоял безусловно за сохранение сельской общины. Напротив, он высказывался за свободный выход из нее. Однако Ковалевского смущало то, что он называл «разрухой сель-

ской земельной общины и семейной собственности». Первая из этих «разрух» должна была, по его мнению, «пойти на пользу того сельского мещанства, которое еще недавно, следуя народному говору, уничижительно называли кулаками и мироедами, которых теперь называют хозяйственными мужичками, которых мы скоро назовем помещиками, у которых, если не в первое, то во второе поколение, окажутся несомненные заслуги предков и которых поэтому переведут в ряды дворянства. Да, число дворян будет увеличено, и многие из этих дворян обогатятся не только за счет крестьян, у которых они могут скупать по закону шесть наделов, а на практике скупят, разумеется, несравненно больше, но и за счет помещиков более ранней формации, у которых обезземеление началось уже давно». Возражая против заявления, что усиленное, сопряженное с упразднением общины создание мелких личных собственников «подорвет несогласные с сохранением порядка стремления, пробудившиеся в русском крестьянстве», он приводил ряд подобных опытов, предпринятых в различные эпохи и в различных странах, оказавшихся совершенно бесплодными. Рисуя картину перехода крестьян от малоземелья к безземелью под влиянием массы неблагоприятных экономических и бытовых условий и при отсутствии законодательных мер для предотвращения безработицы, следствием чего явится чрезвычайное развитие пролетариата, он спрашивал: «Готовы ли мы в настоящее время считаться с последствиями этого обстоятельства?» Подобные взгляды Ковалевского расценивались в определенных кругах как неожиданно консервативные для него — человека, всегда стоявшего за свободолюбивые решения. Речи Ковалевского по аграрному вопросу были сведены им самим к следующему конечному выводу: «Предоставьте самим заинтересованным, сообразно обстоятельствам самым различным, столько же климатического, сколько и общественного характера, связанным также с уровнем их умственного развития и подготовкой, полученной ими в сельском хозяйстве, — предоставьте им самим решить — выйти ли им в собственники или, по крайней мере, в семейные совладельцы или остаться им в составе мира. Пойти далее и продолжать систему правительственной опеки было бы опасно, — опасно и для тех, над которыми мы будем мудрить, опасно и для мудрящих»[83].

Современники отмечали речи Ковалевского в Государственном совете *о судебной реформе*. В них он выступал сторонником суда присяжных, отстаивал принцип подсудности должностных лиц на общих основаниях и т.д. Позиции здравого смысла определяли его подход *к решению проблем национально-государственного устройства*, в основе которого — принцип равенства всех граждан перед законом и необходимость обеспечения интересов России как единого целого. Выражая мнение «прогрессистов» по вопросам *отношений церкви и государства*, Ковалевский неоднократно заявлял: «Мы такие же сторонники церковной, как и вероисповедной свободы. Мы не допускаем мысли об обращении православия в орудие пра-

вительственной политики, как и подчинения последней «видам и целям Синода»[84].

Ковалевский не чувствовал реальной отдачи от своей деятельности в Государственном совете, в этой, по его меткому определению, «усыпальнице». Единственная возможность — «злить бюрократическую сволочь откровенной беседой» — не могла удовлетворять его[85]. Однако Ковалевский не просил об отставке, так как само звание члена Государственного совета облегчало ему влиятельное воздействие на различные общественные круги.

С конца 1905 г. Ковалевский преподавал на кафедре государственного права в Петербургском политехническом институте. Он возглавил (совместно с Е.В. де Роберти) первую в России кафедру социологии, созданную на базе Психоневрологического института. С 1910 г. в этом институте, получившем по новому уставу название частного Петроградского университета, Ковалевский стал деканом юридического факультета. В 1906—1916 гг. он преподавал также в Петербургском университете и на Высших женских курсах. Ковалевский был первым директором высших курсов биологической лаборатории П.Ф. Лесгафта, где он читал лекции по социологии на общеобразовательном отделении. В 1908 г. Ковалевский был избран президентом Педагогической академии в Петербурге. Признание своих научных заслуг Ковалевский получил еще при жизни не только за рубежом, но и в России. В марте 1914 г. он был избран действительным членом Российской Академии наук по отделению политических наук.

Научный и общественный авторитет Ковалевского признавался не только в среде коллег и единомышленников, но и в самых верхних эшелонах российской власти. Доверительные отношения существовали у Ковалевского с С.Ю. Витте, о чем, в частности, свидетельствуют записи Ковалевского об их встречах и беседах, датированные 1907 г. и озаглавленные самим автором «Для будущего историка современной Смуты»[86]. «Разумный консерватор», — так с нескрываемой симпатией отзывался Ковалевский о Витте: «Консерватор, как показывает пример всей Европы, не тот, кто довольствуется защитой и проведением в жизнь положения: «так было, так и будет», а тот, кто, приноровляясь к требованиям жизни, делает благоразумные уступки духу времени»[87]. Примечательно, что сам Витте характеризовал себя точно так же[88].

Мнением Ковалевского интересовался и Николай II. Так, незадолго до отставки С.Ю. Витте царь поручил генералу Д.Ф. Трепову связаться с Ковалевским и узнать мнение известного специалиста по государственному праву по поводу только что обнародованных правительством законопроектов: текста «Основных законов» и положения о Государственном совете. С этой просьбой Трепов послал к Ковалевскому от своего имени посредников. Ковалевский не посчитал возможным уклониться от возложенного на него поручения. «Едва ли, за исключением совершенно ничтожных поправок, мои замечания имели какой-либо практический результат», — вспоминал Ковалевский, отмечая, что никакие соображе-

ния не могли помешать ему и на этот раз «подать голос за то, чтобы в России созданы были настоящие, а не мнимоконституционные порядки»[89].

Массу времени и сил отнимало у Ковалевского его участие в деятельности огромного количества общественных организаций, «имена коих, — по образному выражению одного из современников, — ты един, Господи, веси». В сентябре 1907 г. Ковалевский явился инициатором создания в Петербурге Общества помощи бывшим депутатам I и II Государственных дум, пострадавшим в связи с их политической деятельностью. Ковалевский был президентом Вольного экономического общества, председателем Петербургского юридического общества, Петербургского отделения международного общества «Мир», комитета Общества английского флага, членом Общества имени Т.Г. Шевченко, литературно-политического кружка имени А.И. Герцена, петербургского отделения Общества толстовского музея, Петроградского общества народных университетов, Общества сближения России с Америкой, Общества англо-русского сближения и т.д. Положение Ковалевского, как члена Государственного совета, защищало организации, в деятельности которых он участвовал, от чрезмерного внимания полиции. По этой же причине Ковалевский не раз устраивал у себя дома собрания представителей различных партий и оппозиционной печати с целью обсуждения коллективных действий. Такие собрания происходили накануне запроса в Думе о провокаторах, в т.ч. Азефе, перед оглашением приговора по делу Бейлиса и т.д. Летом 1915 г. у Ковалевского велись переговоры между членами Государственной думы и Государственного совета об организации прогрессивного блока. Такие неформальные встречи являлись, по сути, попыткой найти внепартийные формы объединения оппозиционных сил. Начало этому процессу было положено зимой 1907—1908 гг. Тогда усилия Ковалевского встретили значительное сочувствие среди рядовых членов всех партий, начиная от ПДР и продолжая «влево» вплоть до самых радикальных. По воспоминаниям современников, в доме у Ковалевского искренняя беседа объединяла людей, еще недавно считавших, что у них нет и не может быть ничего общего. Однако руководители большинства партий отнеслись к почину отрицательно, и найти желаемой формы единения тогда не удалось[90]. Но несмотря ни на что Ковалевский вплоть до конца своих дней не отступал от своей «линии» на сплочение всех здравомыслящих людей в России на основе широкой либерально-демократической платформы с тем, чтобы усилить влияние общественных сил на верховную власть, призванную последовательно осуществлять назревшие в стране реформы.

Особое значение придавал он пропаганде этой идеи в период выборов в Государственную думу. Один из ярких примеров агитации Ковалевского — его, по сути, программная статья «Задача прогрессивных партий на будущих выборах», опубликованная в газете «Русское слово» 28 февраля 1912 г. «Надо быть лишенным

всякого знакомства с историей, чтобы думать о проведении всех намеченных реформ в две-три парламентские сессии», — разъяснял Ковалевский, подчеркивая *постепенный* характер необходимых преобразований. В то же время он считал ошибочным представление о том, что «реформы сами собой делаются под влиянием каких-то независимых от людей изменений в хозяйственном строе или народной психике». Ковалевский обосновывал *необходимость активного, сознательного отношения русских избирателей* к выполнению своего общественного долга: «Пора, наконец, дать себе отчет в том, что всякая социологическая теория, предполагающая наступление известных политических последствий от роста идей, техники и соответственных изменений в народной психике, народном производстве и обмене, неизменно отправляется от той мысли, что люди приложат сознательные усилия к улучшению своего материального и духовного состояния, а не будут сидеть, сложа руки, в ожидании, что ход событий повернется в их сторону и сыграет для них ту же роль, какую добрая погода играет в быте земледельца. Пассивность есть черта народа, призванного не к самоопределению своих судеб, а к подчинению начальству. Она непримирима с самим существованием представительной системы, все значение которой и заключается в том, что она открывает для подвластных возможность самодеятельности... Оставить выборы на произвол судьбы равнозначительно передаче бюрократии прежнего руководительства делами государства, равнозначительно признанию своего умственного и нравственного убожества, своей неспособности быть гражданином, а не простым обывателем. Отказ от борьбы за то, с чем мы связываем благо нашей родины, есть акт измены народу, измены собственному убеждению, измены и всему своему прошлому. Это — акт презренный, в котором нельзя будет обелиться никакими ссылками на то, что депутаты беспомощны против чиновной запруды, совершаемой членами Государственного совета, против неуловимого влияния каких-то высших сфер и самозванных спасителей Отечества, всяких блаженных, воинствующих монахов, гипнотизеров-шарлатанов, обойденных повышением честолюбцев и всех тех паразитов, которые живут предательством народных интересов и угодничеством перед высшими мира сего. Но сдаваться, не испытав всех средств борьбы, равносильно позорному бегству с того поля сражения, каким являются выборы». В качестве «боевых вопросов», призванных объединить оппозицию на выборах в IV Думу, Ковалевский провозгласил: «Равенство перед законом, господство права, свобода совести»[91].

Подобный настрой Ковалевского, богатый опыт политической деятельности обусловили его тесные контакты с «прогрессистами» — представителями интеллектуальной элиты и предпринимательских кругов — приверженцами идеи сочетания сильной государственной власти и либеральной политики как необходимого условия российских реформ. В 1912—1914 гг. Ковалевский входил в состав ЦК партии прогрессистов.

Пацифистские взгляды Ковалевского, неизменная приверженность триединому принципу «свобода, равенство, братство», исповедуемая им этика нравственного созидания, человеколюбия, глубокая вера в социальный прогресс на путях просвещения и культуры — эти основы мировоззрения Ковалевского стали причиной его сближения с масонскими кругами. Посвящение самого ученого в масонство произошло 14 марта 1888 г. в Париже в ложе «Космос»[92]. С именем Ковалевского связано возрождение масонства в России, начиная с 1905 г. В одной из своих статей он приходил к выводу: «Знакомясь с ролью масонства в истории, трудно придти к иному заключению, кроме того, что оно стремилось к осуществлению на деле того идеала всечеловека, о котором мечтал Достоевский, полагая, что русские более всех других народов призваны проникнуться им...»[93] Несмотря на существовавшее в среде русских либералов предубеждение против масонства, Ковалевскому удалось привлечь в ряды «вольных каменщиков» не только интеллектуалов, готовых к просветительно-философской работе в ложах, но и лиц, стремящихся к активной политической и общественной деятельности (В.А. Маклаков, Е.И. Кедрин, А.В. Амфитеатров, Е.В. Аничков и др.). Примечательно, что рассуждая о причинах, приведших его в масонство, А.В. Амфитеатров, в частности, отмечал, прежде всего, обаяние имени М.М. Ковалевского, который пользовался огромным уважением и в русских, и в зарубежных кругах, и за которым можно было идти всюду, куда бы он ни позвал[94].

По инициативе и при непосредственном участии Ковалевского в 1906 г. были открыты ложи «Возрождение» (Москва) и «Полярная звезда» (Петербург). Деятельность этих лож отличалась упрощенным характером обрядности и установкой на активное участие в политической жизни России. Современный исследователь русского масонства А. Серков отмечает быстрый рост числа масонов в России в 1906—1908 гг., главным образом, в среде политических деятелей, либеральных профессоров и адвокатов, их стремление стать «основой для объединения политических сил в борьбе с самодержавием, добиваться реальных результатов в этой борьбе.., способствовать примирению народов в многонациональном государстве»[95]. Заметную роль в русском масонстве той поры играли единомышленники Ковалевского из ПДР — И.И. Иванюков, В.Д. Кузьмин-Караваев, С.Д. Урусов и др. К лету 1912 г. в России сложился новый масонский союз — Великий Восток народов России. Ковалевский оказывал активную помощь и этой организации, оформившейся к 1915—1916 гг., по сути, в самостоятельное политическое объединение.

С обострением ситуации на Балканах в 1912 г. Ковалевский продолжал отстаивать в лекциях и печати идею мирного разрешения международных конфликтов, выступал защитником интересов славян. Внимание Ковалевского к славянскому вопросу нашло выражение в его деятельности в Обществе «Славянской взаимности», московском Обществе славянской культуры, Обществе славянско-

го научного единения и т.д. По воспоминаниям Ковалевского, начало неославянскому движению было положено посещением Петербурга депутацией от австрийских славян во главе с К. Крамаржем в мае 1908 г.[96] Неославизм был основан на идее политического объединения всех славянских народов против германизма. Главная задача этого движения, по словам одного из ведущих идеологов неославизма А.Л. Погодина, состояла в том, чтобы «защитить славянство от поглощения враждебным миром, заставить уважать в нем равноправного члена европейской семьи и этим содействовать большему объединению ее»[97]. «Первое заседание сторонников сближения славян между собою, их культурной взаимности последовало у меня на дому...» — вспоминал Ковалевский[98].

Начало Первой мировой войны застало Ковалевского в Карлсбаде, где он находился на лечении. Такой поворот событий в международных отношениях явился для него, всю жизнь верившего в то, что «разум управляет миром», тяжелым ударом. Ковалевский был интернирован австрийскими властями. Благодаря усилиям международной общественности он был освобожден и в феврале 1915 г. вернулся в Россию. Ковалевский поддержал призыв М. Горького, А.И. Куприна, В.Д. Набокова и других к русской интеллигенции посвятить свои силы служению «общерусской свободе, без различия партий и направлений».

Австрийский плен, длительное отсутствие полноценного отдыха, обилие ответственной работы и общее напряженное психическое состояние оказались роковыми для организма Ковалевского. С осени 1915 г. у него стала стремительно развиваться болезнь сердца. Превозмогая недуг, 10 февраля 1916 г. Ковалевский в последний раз выступил с речью в Государственном совете в защиту законопроекта о подоходном налоге, отстаивая интересы малоимущих слоев населения. Тревога за его здоровье проникла в прессу и общество. В газетах появились официальные бюллетени о ходе болезни. Отовсюду в его дом шли телеграммы и письма с пожеланиями здоровья. Предчувствуя близость смерти, Ковалевский исповедался и принял причастие по православному обряду. Прощаясь с теми, кто находился рядом с ним в последние минуты, Ковалевский произнес: «Надо любить Бога, свободу, равенство и прогресс!»[99] Скончался Ковалевский 13 марта 1916 г. Его смерть стала значительным общественным событием. Русская и зарубежная печать расценивали случившееся как огромную утрату не только для России, но и европейской науки, либерального движения в целом. М.И. Туган-Барановский замечал, что со времени смерти Толстого русское общество не переживало другой столь же крупной потери[100]. Похороны Ковалевского носили грандиозный характер. В них приняли участие десятки тысяч людей. На улицах Петрограда, по которым двигалась траурная процессия, направлявшаяся к Александро-Невской лавре, пришлось приостановить движение транспорта. На гранитном памятнике, установленном на могиле Ковалевского, высечена надпись: «Историку и учителю права, борцу за свободу, равенство и прогресс».

Примечания

[1] М.М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Пг., 1917. С. 109.

[2] Там же. С. 136—143.

[3] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 112—113; Т. 22. С. 245; Т. 24. С. 76.

[4] См.: Виттова пляска. 1907. 21 апреля. № 29.

[5] История и историки: Историографический ежегодник. 1980. М., 1984. С. 303—337.

[6] Федотова Г.А. Политическое учение М.М. Ковалевского: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М., 1973; Куприц Н.Я. Ковалевский. М., 1978.

[7] Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского «Моя жизнь» // История СССР. 1969. № 4, 5.

[8] Волобуев О.В. Революция 1905—1907 гг. в публицистике русских буржуазных историков // Исторические записки. Т. 102. М., 1978. С. 287—325.

[9] Ковалевский М.М. Сочинения. В 2-х т. / Отв. ред. и авт. вступ. статьи А.О. Бороноев. СПб., 1997; «Слушателей будет много...» Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского. 1901—1905 / Публ. Воробьевой Ю.С. // Исторический архив. 1993. № 6. С. 171—179; К истории народного университета им. А.Л. Шанявского / Публ. Воробьевой Ю.С. // Российский архив. 1999. Т. IX. С. 430—443; Соколов А.С. Американская тема в научно-литературном наследии М.М. Ковалевского // Американский ежегодник. 1989. М., 1990. С. 155—173; Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993. С. 119—162; Кукушкина Е.И. Русская социология XIX — начала XX века. М., 1993. С. 93—107; Бороноев А.О., Ермакович Ю.М. М.М. Ковалевский и институционализация социологии в России // Социологические исследования. 1996. № 8. С. 120—126; Погодин С.Н. «Русская школа» историков: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский. СПб., 1997; Хайлова Н. Ковалевский Максим Максимович // Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 255—256; и др.

[10] Воспоминания М.М. Ковалевского «Моя жизнь» // Архив РАН (г. Москва). Ф. 603. Оп. 1. Д. 126. Л. 7. (См. наст. изд., с. 51.)

[11] См.: Ковалевский М.М. Мое научное и литературное скитальчество // Русская мысль. 1895. № 1. С. 61.

[12] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 55. (См. с. 78.)

[13] М.М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин... С. 126.

[14] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 50—55.

[15] Там же. Л. 56. (См. с. 78.)

[16] Там же. Л. 93. (См. с. 100.)

[17] Там же. Л. 76. (См. с. 90.)

[18] Там же. Л. 114. (См. с. 111.)

[19] Там же. Л. 260. (См. наст. изд., гл. II и гл. III.)

[20] Ковалевский М. Две жизни // Вестник Европы. 1909. № 7. С. 19—22. (См. с. 198 и с. 200.)

[21] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 185. (См. с. 165.)

[22] Там же. Л. 194—195. (См. с. 170.)

[23] Гауптман Г. Терпимость // Запросы жизни. 1912. № 45. Стлб. 2579.

[24] Поль Дешанель и М.М. Ковалевский о синдикализме и парламентаризме // Там же. 1912. № 5. С. 284.

[25] Ковалевский М. Русская конституция. Вып. 5. СПб., 1906. С. 10.

[26] М.М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель... С. 21.

[27] Там же. С. 51.

[28] Сватиков С.Г. Опальная профессура 80-х годов // Голос минувшего. 1917. № 2. С. 35—48.

[29] Овсянико-Куликовский Д.Н. Воспоминания. Пгр., 1923. С. 165.

[30] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 225. (См. с. 241.) Подробнее о взаимоотношениях М.М. Ковалевского и С.В. Ковалевской см.: Погодин С.Н. Несостоявшийся брак // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 142—146.

[31] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 251. (См. с. 256.)

[32] Там же. Л. 334. (См. с. 306.)

[33] Ковалевский М.. История американской конституции. М., 1887. С. 1.

[34] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 260. (См. с. 261.)

[35] Там же. Л. 258. (См. с. 260.)

[36] Ковалевский М.М. Современные социологи. М., 1905. С. 321.

[37] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 175—176. (См. с. 159.)

[38] Ковалевский М. Краткий обзор экономической эволюции и подразделение ее на периоды. СПб., 1899. С. 28.

[39] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 62. (См. с. 81.)

[40] Там же. Л. 604. (См. с. 459.)

[41] Ковалевский М.М. Законодательные заимствования и приспособления // Вестник Европы. 1912. № 5. С. 49—50.

[42] Ковалевский М.Социология и конкретные науки об обществе // М.М. Ковалевский. Соч. в 2-х т. Т. 1. Социология. СПб., 1997. С. 68.

[43] Ковалевский М.М. Две жизни // Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1969. С. 77 (см. с. 200).

[44] Плеханов Г.В. Философско-литературное наследие. В 3-х т. М., 1973—1974. Т. 1. С. 27.

[45] Кукушкина Е.И. Русская социология XIX — начала XX века. С. 107.

[46] Анучин Д.Н. Памяти М.М. Ковалевского. М., 1916. С. 16.

[47] Ковалевский М. Экономический строй России. СПб., 1900. С. 44.

[48] Подробнее об этом см.: Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук в Париже // Исторические записки. Т. 107. М., 1982.

[49] См.: Русские ведомости. 1906. 6 мая. № 121.

[50] Кузьмин-Караваев В.Д. М.М. Ковалевский (некролог) // Вестник Европы. 1916. № 4. С. 306.

[51] Ковалевский М. Экономический строй России... С. 4.

[52] Там же. С. 148.

[53] Там же. С. 139.

[54] Там же. С. 148.

[55] См.: Ковалевский М. Чем Россия обязана Союзу объединенного дворянства? СПб., 1914. С. 44.

[56] Ковалевский М. Экономический строй России... С. 65.

[57] Ковалевский М. Общий ход развития политической мысли во второй половине XIX века. СПб., 1905. С. 27—28.

[58] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 427—428.

[59] См.: Ковалевский М. Общий ход развития политической мысли... С. 27—28.

[60] Ковалевский М.М. Ученый, государственный и общественный деятель... С. 116.

[61] ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 130 (письмо М.М. Ковалевского А.И. Чупрову).

[62] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 390. (См. с. 338—339.)

[63] Там же. Л. 396. (См. с. 340—341.)

[64] «Слушателей будет много...» Русская высшая школа общественных наук в Париже... С. 176.

[65] См.: Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 271.

[66] Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского «Моя жизнь // История СССР. 1969. № 4. С. 66. (См. с. 353.)

[67] Там. же. С. 73. (См. с. 363.)

[68] Там же. С. 73—74. (См. с. 364—365.)

[69] Кузьмин-Караваев В.Д. М.М.Ковалевский (некролог)... С. 312—313.

[70] Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского «Моя жизнь» // История СССР. 1969. № 4. С. 74. (См. с. 366.)

[71] Там же. С. 75. (См. с. 367.)

[72] Там же. № 5. С. 76. (См. с. 373.)

[73] ОР ИРЛИ. Ф. 293. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 398—398 об. (письмо К.К. Арсеньева М.М. Стасюлевичу); Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского «Моя жизнь» // История СССР. 1969. № 4. С. 78. (См. с. 372.)

[74] Ковалевский М. Под общим знаменем // Страна. 1906. 14 октября. № 186.

[75] Ефремов И. Призыв к единению (письмо в редакцию) // Там же. 1906. 18 октября. № 189.

[76] Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского «Моя жизнь» // История СССР. 1969. № 5. С. 82—83. (См. с. 386.)

[77] Там же. С. 83. (См. с. 386.)

[78] См.: Русские ведомости. 1907. 21 марта. № 65.

[79] ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 129 об. 130 (письмо М.М. Ковалевского А.И. Чупрову). (См. с. 530.)

[80] Ковалевский М.М. Ученый, государственный и общественный деятель... С. 73.

[81] Там же. С. 74.

[82] Там же. С. 76—77.

[83] Там же. С. 79—80.

[84] Ковалевский М.М. Задача прогрессивных партий на будущих выборах // Русское слово. 1912. 28 февраля. № 48.

[85] ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 129 об. — 130 (письмо М.М. Ковалевского А.И. Чупрову).

[86] Ковалевский М.М. Для будущего историка современной Смуты // Петербургский филиал Архива РАН (ПФА РАН). Ф. 103. Оп. 1. Д. 426.

[87] Ковалевский М.М. Граф С.Ю. Витте (некролог) // Вестник Европы. 1915. № 4. С. 366.

[88] Ковалевский М.М. Для будущего историка современной Смуты... Л. 4.

[89] Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского // История СССР. 1969. № 4. С. 69. (См. с. 357, 358.)

[90] Кузьмин-Караваев В.Д. М.М. Ковалевский (некролог)... С. 308.

[91] Ковалевский М.М. Задача прогрессивных партий на будущих выборах // Русское слово. 1912. 28 февраля. № 48.

[92] См.: Серков А.И. История русского масонства. 1845—1945. СПб., 1996. С. 57.

[93] Ковалевский М.М. Масонство // Русские ведомости. 1907. 21 октября. № 241.

[94] Серков А.И. История русского масонства... С. 62.

[95] Там же. С. 99.

[96] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 545. (См. с. 426.)

[97] Цит. по: Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907—1914 гг. М., 1991. С. 136.

[98] Воспоминания М.М. Ковалевского... Л. 545. (См. с. 426.)

[99] Ковалевский М.М. Ученый, государственный и общественный деятель... С. 47.

[100] Там же. С. 51.

Ю.С. Воробьева

Археографическое предисловие

Многогранность научных интересов М.М. Ковалевского и значительность его достижений во всех отраслях знаний, которые были объектом его изучения, являются причинами того, что теоретическое наследие Ковалевского всегда привлекало внимание историков, этнографов, социологов, юристов и экономистов. Большой интерес у исследователей вызвали воспоминания М.М. Ковалевского «Моя жизнь», которые через советское торгпредство в Париже в 1947 г. были переданы его родственником П.Е. Ковалевским в архив Академии наук. Воспоминания представляют собой 646 страниц машинописного текста, которые никогда полностью не издавались. Впоследствии были предприняты попытки публикаций отдельных глав воспоминаний.

В.М. Шевырин на страницах «Истории СССР» в 1969 г. опубликовал некоторые разделы из XIII и IX глав воспоминаний[1]. В 1975 г. в «Историческом ежегоднике» М.А. Алпатов и Ю.Н. Емельянов опубликовали третий раздел первой главы этого автобиографического труда М.М. Ковалевского[2].

В 1961 г. были изданы воспоминания и письма С.В. Ковалевской, где в приложении даны воспоминания различных лиц о ней. В числе этих воспоминаний имеются воспоминания М.М. Ковалевского под названием «Воспоминания друга»[3]. В творческом наследнии М.М. Ковалевского работы под таким названием нет. Изучение текста воспоминаний «Моя жизнь» позволило установить, что «Воспоминания друга» представляют собой компоновку частей текста, взятых из VI главы. Таким образом, они не являются самостоятельным произведением М.М. Ковалевского.

Фрагмент воспоминаний М.М. Ковалевского, посвященный Московскому университету конца XIX в. и изданный в 1910 г. «Вестником Европы», был снова опубликован (с купюрами) в 1956 г. в книге «Московский университет в воспоминаниях современников»[4].

Таким образом, до настоящего времени не существует полного издания воспоминаний М.М. Ковалевского «Моя жизнь». В связи с неуклонно возрастающим интересом ученого сообщества не только к трудам М.М. Ковалевского, но и к его жизни, Архив Российской академии наук и Центральный исторический архив г. Москвы подготовили к выходу в свет воспоминания М.М. Ковалевского «Моя жизнь» и его письма к А.И. Чупрову.

К созданию мемуаров, как к жанру, М.М. Ковалевский обратился довольно рано. На 44-м году жизни им были написаны небольшие по объему воспоминания «Мое научное и литературное скитальчество»[5], в которых сжато излагались события его жизни, начиная с детства и заканчивая началом преподавательской деятельности в Московском университете.

Жизнь М.М. Ковалевского сложилась так, что ему пришлось общаться с видными учеными, общественными деятелями, литераторами. В 1908 г. он опубликовал свои впечатления от встреч с И.С. Тургеневым[6]. В статье «Две жизни» дал характеристику двум великим ученым — Герберту Спенсеру (1820—1903) и Карлу Марксу (1818—1883), показал их влияние на формирование своего научного мировоззрения[7]. В 1910 г. он продолжил изложение событий своей жизни в статье «Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века (Личные воспоминания)»[8].

Разнообразная педагогическая и общественная деятельность не предоставляла М.М. Ковалевскому возможность постоянно уделять достаточное время для написания воспоминаний. Первая мировая война застала его в Карлсбаде, где он был интернирован австрийскими властями. Таким образом М.М. Ковалевский получил вынужденный досуг. У него не было ни книг, ни источников, ни даже газет, поэтому продолжать научную работу он не мог. Единственное, что ему оставалось, это подведение итогов прожитой жизни. Так начали создаваться воспоминания «Моя жизнь». При их написании М.М. Ковалевский вынужден был апеллировать лишь к своей памяти, что привело к некоторым неточностям в воспроизведении событий.

По замыслу М.М. Ковалевского, текст воспоминаний должен был состоять из десяти глав, названия их были даны в оглавлении. Большинство глав в тексте не имеют названий, они лишь пронумерованы. Составители в данном издании дали главам в тексте названия согласно оглавлению автора. Разделы глав получали названия только тогда, когда они имелись в самом тексте. В том случае, когда глава имела заголовок, составители сохраняли его, даже, несмотря на имевшиеся различия с теми, которые даны в оглавлении. Например, название второй главы «Прага и Вена. Берлин», данное в оглавлении Ковалевским, в тексте воспоминаний получило иное звучание: «Годы заграничного ученичества и странствий». Название «Прага и Вена. Берлин» осталось в заголовке раздела.

Мемуары охватывают период от детства автора до событий лета 1914 г. и представляют собой цельный самостоятельный текст, в котором автор не повторял ранее написанные воспоминания. Да он и не мог этого сделать, так как не имел изданных текстов. Поэтому он только отмечал, что эти тексты в будущем будут им вставлены в воспоминания.

Так, в конце раздела «Париж» главы третьей М.М. Ковалевский указывал, что далее в мемуары необходимо включить «Мои воспоминания о И.С. Тургеневе». Аналогичная запись имелась в

конце раздела «Лондон»[9]: «Далее идет перепечатка всего относящегося к моему знакомству с Марксом из моих «Скитальчеств» и «Двух жизней»»[10].

М.М. Ковалевский главу, посвященную его преподавательской деятельности в Московском университете, не писал. Он исходил из того, что этот сюжет уже отражен в фрагменте, опубликованном на страницах «Вестника Европы» за 1910 г., а в воспоминаниях «Моя жизнь» эта публикация должна была стоять главой четвертой.

Пятую главу «Поездки на Кавказ» Ковалевский также не стал писать. Он считал, что она должна базироваться на основе серии его статей — «В горских обществах Кабарды», «В Сванетии»[11]. Отсутствие необходимых материалов заставило его отложить написание главы до лучших времен.

Подобное положение вынудило составителей произвести реконструкцию текста, согласно указаниям самого М.М. Ковалевского. В предлагаемый читателям текст были включены воспоминания об И.С. Тургеневе и К. Марксе. Четвертая глава представлена статьей о Московском университете, опубликованной в «Вестнике Европы». При характеристике Поля Жансона и Гектора Дени в шестой главе воспоминаний «Моя жизнь» М.М. Ковалевский указывал на необходимость включения в текст статьи «Две смерти»[12]. Это указание также выполнено составителями. В связи с тем, что М.М. Ковалевский не указал, какие части статей («В горских обществах Кабарды», «В Сванетии»), написанных в форме путевых очерков, стилистика которых явно не сочетается с общим стилем воспоминаний, должны войти в пятую главу, составители не включили их в текст мемуаров, а дали в приложении.

В результате читатели получают текст воспоминаний, более полный, чем тот вариант, который хранится в архиве Российской академии наук.

Несмотря на то, что воспоминания М.М. Ковалевского представляют собой машинописный текст, у составителей работа с ним вызвала большие затруднения. С 1900-х годов в связи с артритом и экземой М.М. Ковалевский начал диктовать свои работы секретарю, так же писались и мемуары «Моя жизнь». Отсюда в тексте присутствуют элементы разговорного языка. М.М. Ковалевский не только не успел обработать напечатанный текст, но даже его считать и выверить. Это привело к часто встречающимся в тексте искажениям фамилий общественных деятелей, ученых. Так, например, археолог Монтелиус назван Монтериус, анархист Вайян — Вальяном и т.д. Некоторые фамилии не поддаются расшифровке. Искажения коснулись также и названий работ. Например, произведение Виктора Гюго «Бюг Жаргаль» названо «Бюрг Джаргалем» и т.п. Нередко написание одной и той же фамилии встречается в пяти вариантах на одной и той же странице. Перед составителями постоянно возникала задача по определению правильного варианта, иногда приходилось делать оговорку, что прочтение фамилии предположительное.

Отсутствие рукописного текста мемуаров неизбежно ставит вопрос об их подлинности, на что составители со всей ответственностью отвечают положительно. Для подтверждения подлинности мемуаров в издание включены 67 рукописных, трудно читаемых писем М.М. Ковалевского А.И. Чупрову, которые хранятся в фонде А.И. Чупрова (ф. 2244, оп. 1, д. 716; оп. 2, д. 131) Центрального исторического архива г. Москвы (ЦИАМ). 64 письма составляют одно дело — № 716, и только 3 из них вошли в дело № 131. Стилистика писем и мемуаров убеждает исследователей в том, что их автор одно и то же лицо.

Александр Иванович Чупров (1842—1908) — профессор кафедры политэкономии и статистики Московского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук, характерной чертой которого было стремление сочетать теоретические положения политэкономии с практическим способом решения насущных задач хозяйственной жизни России. Он выступал против столыпинской аграрной реформы, рассматривал общину как основу добровольной крестьянской кооперации. А.И. Чупров полагал, что необходимо так организовать крестьян и их хозяйство, «чтобы помещикам не оставалось никакого исхода, кроме передачи земель крестьянам»[13].

По словам М.М. Ковалевского, «сила Чупрова, несомненно, лежала в редкой отзывчивости на нужды времени, в готовности во всякое время пойти им навстречу с данными науки и практического опыта»[14]. С этим человеком М.М. Ковалевского связывала многолетняя дружба. Они не только читали лекции на одном факультете, но совместно устраивали публичные лекции, выступали одновременно в литературных и ученых обществах, писали в одной и той же газете и в одних и тех же журналах, обменивались мыслями на заседаниях Советов университета и факультета, делились впечатлениями, получаемыми от пережитых ими событий. Когда обстоятельства разлучали друзей, обмен мыслями продолжался в письмах.

В письмах М.М. Ковалевский высказывается очень откровенно, по горячим следам событий, не заботясь о форме. Написанные по конкретному поводу, они менее субъективны, чем мемуары. Письма как бы задерживают мгновения жизни и наиболее приближены к действительности. Из писем видно, что поводом к закрытию Русской высшей школы общественных наук в Париже послужили события, происходившие в России. Политика ворвалась в жизнь школы. В своих воспоминаниях, написанных спустя десять лет, автор убедительно доказывает, что Русская высшая школа общественных наук в Париже была вне политики.

Через все письма красной нитью проходит неослабевающий интерес М.М. Ковалевского к событиям, происходившим тогда на его родине. По сравнению с мемуарами в письмах в более резкой форме даны очерки отдельных политических деятелей России. Кроме того, письма раскрывают творческую лабораторию Макси-

ма Максимовича, показывают процесс подготовки его к лекциям. Благодаря им, становится понятно, почему его лекции пользовались таким успехом у слушателей.

Необходимо отметить, что письма приоткрывают завесу над личной жизнью М.М. Ковалевского, рисуют его как человека, способного сильно и красиво любить. В мемуарах М.М. Ковалевский обходит эти вопросы. Соединение в одном издании воспоминаний и писем дает читателю всестороннее представление о М.М. Ковалевском не только как об ученом, но и как об удивительном человеке.

Публикуемый комплекс писем впервые вводится в научный оборот. Только 7 писем было опубликовано в периодике[15]. Для предлагаемого издания характерно наличие самых разнообразных комментариев, в том числе историографических, которые встречаются не часто. Включение в издание воспоминаний также и писем позволило составителям в ряде случаев не писать комментарии, а отсылать читателя к письмам, в которых отражаются события, освещенные в мемуарах.

Публикация сделана согласно «Правилам издания исторических документов в СССР» (М., 1990). М.М. Ковалевский знал несколько иностранных языков, поэтому в тексте воспоминаний имеются фразы, написанные на этих языках. В машинописи эти фразы вписаны от руки. Составители перевод этих фраз дают под строкой. В научно-справочный аппарат входят: историческое предисловие, написанное Н.Б. Хайловой, канд. ист. наук; археографическое предисловие и комментарии к главам 1, 4, 6, 8—10, подготовленные Ю.С. Воробьевой, докт. ист. наук; комментарии к главам 2, 3, 7, подготовленные Гиоевой Т.Т., канд. ист. наук. Научное руководство изданием осуществлено Шелохаевым В.В., докт. ист. наук.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из воспоминаний Мак. М. Ковалевского «Моя жизнь» // История СССР. 1969. № 4, 5.

[2] Ковалевский М.М. Моя жизнь. Глава 1. Университет // Исторический ежегодник. 1973. М., 1975.

[3] Ковалевская С.В. Воспоминания и письма. М., 1961.

[4] Ковалевский М.М. Московский университет в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века (Личные воспоминания) // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956.

[5] Русская мысль. 1895. № 1.

[6] Ковалевский М.М. Воспоминания о И.С. Тургеневе // Минувшее. 1908. № 8.

[7] Вестник Европы. 1909. № 6, 7.

[8] Ковалевский М.М. Московский университет в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века (Личные воспоминания) // Вестник Европы. 1910. № 5.

[9] Минувшее. 1905. № 1.

[10] Вестник Европы. 1908. № 6—7; Русская мысль. 1895. № 1.

[11] Там же. 1884. № 4; 1886. № 8, 9.

[12] Там же. 1913. № 6.

[13] ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 716. Л. 7 об.

[14] Ковалевский М.М. Александр Иванович Чупров // Вестник Европы. 1908. № 4. С. 777.

[15] См., например: Слушателей будет много... Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского 1901—1905 // Исторический архив. 1993. № 6; К истории народного университета им. А.Л. Шанявского // Российский архив. М., 1999. Т. IX.

МОЯ ЖИЗНЬ

1. Вместо вступления

Драматического интереса читатель не найдет в настоящей книге. Жизнь моя прошла больше в наблюдении жизни других, чем в смене сильных ощущений, вызываемых особенно радостными или особенно горестными событиями. По мере приближения к старости потеря близких людей причиняла наибольшее горе, а меньшая впечатлительность, более слабая отзывчивость на внешние явления уменьшала сумму довольства и радости. Но интерес к людям и событиям не ослабевал. Живя в весьма различных странах, я живо принимал к сердцу их условия быта, разделяя желания и пристрастия той прогрессирующей части человечества, в ряды которой я записался еще на студенческой скамье.

Нужно ли прибавлять, что настоящая книга не имеет ни малейших притязаний на художественность, на изображение живыми красками внешних картин природы или характеров людей. Кто читал «Семейную хронику» Аксакова, «Юность и отрочество» Толстого, «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина и начальные главы из автобиографии Кропоткина, у того не хватит смелости сделать даже слабую попытку соперничания с ними в изображении их прошлого.

Моя книга не является также психологическим этюдом — историей развития моей нравственной личности. Читатель увидит, что о себе самом я говорю немного. Целая сторона моей жизни — сторона наиболее интимная — вовсе не затронута в этой книге. До моих отношений к тем или другим, очень близким мне людям, никому помимо меня, нет никакого дела. Как человек, уплативший немалую дань страстным увлечениям, я испытывал, разумеется, и большой подъем жизнерадостности, и большие разочарования. Но то и другое может интересовать самое большее тех, кто влиял на изменения моего настроения.

С какою же целью написана эта книга [?]. Исторической роли в событиях моего времени я, разумеется, не играл. Но я видел многое на своем веку, поставлен был в благоприятные условия, чтобы узнать некоторые стороны европейской и русской жизни, которые остаются скрытыми от людей, почерпающих свои сведения из газет и журналов. Мне бы хотелось, чтобы эти наблюдения, эти встречи, это иногда тесное общение с учеными, литераторами, политиками не пропало даром. В моих книгах более или менее специального характера я всего менее делился с читателем тем материалом по конкретной психологии, какой мне пришлось накопить во время моего скитальчества по белу свету. Я делаю это теперь, делаю потому, что у меня неожиданно оказался досуг, на который я не вправе был рассчитывать. Внезапно обрушившаяся на

Европу война застала меня в австрийском курорте и закрепила в нем на неопределенный ряд месяцев, надеюсь не годов. Так как в интересах высшей политики мне приказано венским начальством не выходить из дому с 8 ч. вечера до 8 ч. утра, то у меня оказался немалый запас часов для воспоминаний. Книг под рукой мало, ни о какой научной работе не может быть и речи, остается перебирать прошлое. Занимаясь этим, я нашел, что в этом прошлом найдутся страницы, не лишенные значения и для оценки настоящего. Я живу под свежим впечатлением внезапно развернувшихся событий, а они развиваются с головокружительной быстротой. Чудится наступающий упадок вековой культуры. Не пора ли припомнить, чем была эта культура в разных странах, в которых мне пришлось жить по годам. Не время ли также показать, в какой степени односторонность или недостаток самой этой культуры и подготовили тот ужасный катаклизм, среди которого живет Европа. Но прежде чем говорить о том, какую «гражданственность» я нашел в разных странах, с которыми на время связала меня судьба, мне необходимо познакомить читателя в самых, разумеется, общих чертах с тем, под какими влияниями созрел во мне тип наблюдателя чуждой жизни. Вот почему первою главою настоящего труда будет то, что, с большой натяжкой впрочем, можно назвать автобиографией. Это будет короткий рассказ о детстве и юности, о начальном развитии в семье и школе, о разных влияниях, каким я подвергся в стенах университета и вне этих стен, наконец, о первых годах странствий с научной целью, предпринятых в молодом возрасте, когда впечатлительность особенно сильна и окружающие вас люди налагают неизменный отпечаток на ваш характер и дают направление всей будущей жизни.

Глава I

Детство и юность. Семья и школа. Университет. Первые странствия

I.

Когда я впервые представился в Москве известному русскому историку Серг[ею] Михайловичу Соловьеву, выборному ректору, он спросил меня, не происходит ли мой род от того войскового писаря времен Хмельницкого, на которого гетман Украины возлагал всю ответственность за препирательства с московскими боярами, говоря: «Кому же неизвестно, что казаки слушаются не меня, а войскового писаря Ковалевского». Признаюсь, я не сумел ответить на этот вопрос, но, заглянув в деревне на сохраненные моим отцом фамильные бумаги, я нашел в них ряд духовных завещаний, которые тянутся еще с XVII века. Некоторые из них печатные. По этим документам легко было придти к заключению, что ветвь Ковалевских, осевших в Харьковской губернии, происходит от владельца обширных поместий и хуторов в Полтавщине, где и имел свое местопребывание отмеченный Соловьевым в его истории войсковой писарь. Целый ряд моих предшественников носил уже имя Максим, так что в соседних моему имению казацких слободах их называли, особенно старики, и в числе их и меня самого, не Ковалевским, а Максименко. Сказание, но не более, как сказание, гласит, что род Ковалевских происходит от польских шляхтичей и имеет один герб с Доленгами — исчезнувшим литовским родом. От него идет и целый ряд других русских семей, в том числе род Арцимовичей, у которых один герб с нашим[1]. Вся польза, какую я извлекал от этих мифологических предков, сводится к следующему. Когда, после смерти Петра Лавровича Лаврова, осталась незаконченной рукопись по истории человеческой мысли и я счел себя обязанным издать ее на свой счет, то представилась одна трудность — Лавров был эмигрант, а русская цензура неумолима; пришлось искать псевдоним, я остановился на имени Доленга в том расчете, что в случае придирчивости цензуры мне не трудно будет доказать, что я автор этой книги.

По сказанию, род Ковалевских сперва жил в Черниговской губернии, а оттуда уже переселился в Полтавщину и Слободскую Украину. Есть и другой род Ковалевских — из Витебской губ[ернии]. К нему принадлежал знаменитый русский естествоиспытатель Александр Онуфриевич и его менее известный брат — геолог Владимир Онуфриевич, женой которого была математик Софья Васильевна Ковалевская. Есть и третий род Ковалевских — поляки. К ним принадлежал небезызвестный профессор физиологии в Казанском университете и его сын — художник Ковалевский, автор картины «Развалины бань Каракаллы», картины, получившей премию в Риме.

Наконец, недавно, читая австрийские газеты, я узнал, что в Венской академии сделан был доклад каким-то химиком Ковалевским — приват-доцентом из Праги.

Слово коваль значит то же, что кузнец. Нет поэтому ничего удивительного, если фамилия Ковалевского так же распространена среди белорусов и малорусов, как фамилия Кузнецовых в Великороссии.

Что наш род казацкий, доказательство этому у меня налицо. В числе земель, мною унаследованных, оказалось и 32 десятины «старшинских земель» в слободе Ольшаны, в которой в XVIII веке имелся казацкий полк. Ольшаны выбирала из поколения в поколение своих старшин и ряд своих попов из того же рода Ковалевских. Проф[ессор] Амфиан Степанович Лебедев разыскал в архиве Харьковской консистории документы из XVIII века, в которых говорится о том, как священник Ковалевский, сказавший слово против «вечерниц», должен был укрыться в доме старшины Ковалевского от «хлопцев», собиравшихся его побить. В детстве я еще жил в старой усадьбе, построенной моим дедом в слободе Ольшаны. Это был деревянный домик, который показался моему отцу слишком тесным, так что он рядом с ним поставил более обширный, также деревянный дом, но уже под железной крышей. От дома террасами спускался вниз к реке Ольшанке тенистый вишневый сад. Сад этот, видимо, разведен был уже давно. Дуб и ясень росли на его опушке и своим возрастом свидетельствовали об отдаленной старине. Унаследовал я также вековые леса, в которых были дубы такого объема, что три человека едва могли охватить их. Один ботаник говорил мне, что им не менее 500—600 лет. Они были современниками, а, может быть, и предшественниками тех казаков, которые тут же в лесу устроили род крепостцы для защиты от набегов кочевников. Соседние селения, в том числе Пересечное, считали себя владельцами «старозаимочных земель»[2], несправедливо отобранных у них в казну. Они, таким образом, принадлежали к древнему оседлому населению, считавшемуся, как известно, не отдельными хуторами, а обширными слободами, вероятно, с целью более легкой защиты от выходцев из Крымского ханства. От этих слобод Харьковская губ. и получила свое первоначальное название «Слободской* Украины». Дворянством казацкие старшины наделены были от Екатерины II. В моей спальне в Петербурге в числе фамильных портретов висит и портрет моего деда, — в парике и с красными нашивками на мундире — вероятно, доказательство его принадлежности к российскому дворянству[3]. Как мало сохранилась и в казацких семьях чистота малороссийской крови доказывают висящие рядом портреты моей бабки из рода Нахимовых — рода великорусского. Она была близкой родственницей адмирала Нахимова, — героя Синопского сражения. Со стороны матери я происхожу из польского рода Познан-

* Так в тексте. Следует: «Слободской».

ских, а мать моей матери была немка из рода Мюнстеров. По сохранившимся в семье сказаниям, она была проиграна в карты ее родителем, еще носившим, как видно из висящего у меня портрета, латы немецкого рыцаря. После этого предоставляю решить, к какой я собственно принадлежу национальности. Прибавьте окружавших меня с детства немецких гувернанток и французских гувернеров, изучение многих предметов, в том числе истории и мифологии на французском языке, более раннее знакомство с Шиллером и Мармонтелем, чем с Пушкиным или Гоголем — и вам легко будет придти к тому заключению, что в украинской обстановке потомок малороссийских казаков, с примесью польской и немецкой крови, приобщался с самого детства к общеевропейской культуре.

Отец мой — полковник, служивший еще в Турецкий поход 1811 года в кирасирах, участник Освободительной войны, дважды побывавший в 1813 и 14-м гг. в Париже, исполнял в течение нескольких десятилетий обязанности предводителя дворянства[4]. Он был умен, красив, пользовался успехом у женщин и женился поздно на молодой девушке, воспитывавшейся при бабушке-немке. Ее звали Екатериной Юрьевной. Она очень баловала меня, и ее смерть была первым моим большим горем. Я был 2-м сыном в семье. Мой старший брат родился без неба, а я — с одной только заячьей губой. Без неба жить труднее, и он умер младенцем. Мать моя боялась, что со мною повторится то же, что и с ее первым сыном, поэтому на 2-й день после моего рождения приглашен был в дом тогдашний профессор хирургии в Харьковском университете — итальянец Ванцетти. Он сделал более глубокий разрез и сшил мне обе части верхней губы. Мне пришлось видеться с ним 40 лет спустя. Ванцетти, как горячий сторонник объединения Италии, вернулся на родину только после того, как Ломбардо-Венецианская область перешла от Австрии под власть короля Виктора-Эммануила. Он занял кафедру в Падуанском университете и одно время был его ректором. При встрече со мной он предложил мне повторить операцию, говоря, что на этот раз она будет удачнее. Но я был уже в том возрасте, когда прозвище «трехгуб», которым дразнили меня в гимнании, более не обижает, и я поэтому отклонил его предложение.

В своих воспоминаниях детства и отрочества автобиографы обыкновенно начинают чуть ли не с младенческих лет. Но я чистосердечно сознаюсь, что об этих годах я ничего не помню, как не помнят о них, по всей вероятности, и более обстоятельные, чем я, бытописатели. Если они и вспоминают, то чужой памятью, передавая то, что слышали об этих годах от своих близких. Я помню себя мальчиком 7—8 лет, каким я и изображен на одной уцелевшей у меня фотографии. Артисту, сделавшему мой портрет, угодно было снять меня в широких шелковых шароварах, в бархатной рубашке, с завитыми кудрями. Таким я предстал и в мастерской знаменитого мюнхенского живописца Каульбаха, во время моего первого путешествия за границу. Каульбаху этот костюм очень понравился, и он попросил родителей привесть меня вторично в мастер-

скую, что и позволило ему сделать набросок карандашом, который, по всей вероятности, затерялся в массе других. Как мальчик, я никогда не поражал своими способностями. Будучи сыном человека пожилых лет и молодой женщины, уже лишившейся 1-го сына, я признан был владеющим слабою жизнеспособностью, — меня откармливали бифштексами, вливали в меня ненавистный мне бульон и заставляли глотать столь же противные мне яйца всмятку. С науками не спешили, зато приставили сперва немку, затем француженку. Обе обучили меня своим языкам, разбирая со мною игрушки. С гувернантками я вздорил, нередко доводя их до слез. Мое отношение к француженке или, вернее, бельгийке Генриетте Гейзер изменилось после того, как мне пришлось присутствовать при получении ею неожиданного известия о смерти ее матери. Я принял участие в ее горе, заметил вскоре, что она миловидна и пристрастился к ней всем сердцем. Нанимая гувернанток своим подросткам, родители, вероятно, и не подозревают, что близкое общение с ними может иметь совершенно неожиданные последствия — пробуждение тайной чувственности. Из детства у меня сохранилось еще одно воспоминание — о первой исповеди. Мне сказали, что надо рассказать священнику о всех своих грехах. Мне показалось, что у меня их так много, что мне их и не подумают отпустить. Ревел я дня два и затем, во время первого причастия, чувствовал себя как-то особенно счастливым. Понадобилось нелепое обучение в гимназии непонятному катехизису, чтобы задушить во мне в корне эти семена религиозного настроения. Гувернанток сменили гувернеры. Один, француз monsieur Лизиар, учил меня всему шутя, и, разумеется, ничему не научил. Так как он имел привычку часто отлучаться по вечерам, то его скоро рассчитали. Более удачен был выбор 2-го гувернера — молодого швейцарца из Фрибурга. Он читал мне отрывки из «Исповеди» Руссо, напевал республиканские песни и вообще развивал меня в таком направлении, что отец однажды, не шутя, спросил мать: «Что, ты его готовишь на виселицу?» Умный и сердечный малый, monsieur Гранжан, по имени Исидор Морисович, на самом деле вовсе не имел этих злостных намерений. Любя историю и литературу и озабоченный сам пополнением своих знаний, он в своих уроках делился тем, что было прочитано им у Дюрио, руководства которого были в то время во всеобщем ходу во Франции. Дюрио, как известно, был министром народного просвещения при Наполеоне III и, разумеется, позаботился о распространении своих учебников. Единственным недостатком их было излишество сообщаемых фактов. Талантливый человек, каким был мой гувернер, мог, не затрудняя памяти ученика, передать ему много полезных знаний и нарисовать перед его взором ряд поучительных картин из жизни Греции и Рима. Гранжан заставлял меня читать в дополнение к его словесным сообщениям отрывки из жизнеописаний Плутарха. Много времени он уделял также ознакомлению меня с греческими легендами, с рассказами про Троянскую войну, на основании упрощенной передачи «Иллиады» с странствованиями

Улиса и с жизнью его образцового сына Телемака. Фенелоном[5] я зачитывался. Предметы преподавания разбиты были на две группы — французские и русские. К французским отнесена была грамматика, всеобщая история, мифология, французская литература; к русским — Закон Божий, география и арифметика. Закон Божий состоял в затверживании молитв, в изучении Ветхого Завета, география — в зазубривании наизусть Ободовского: «Земля есть шар, тому имеется 4 доказательства» и т.д. Эти упражнения памяти продолжались и при переходе к «отечествоведению», заучивались имена уездных и заштатных городов. Благодаря таким педагогическим приемам, география вскоре сделалась для меня ненавистнейшим предметом. Не могу сказать, чтобы вкус к ней возрос и впоследствии, при поступлении в гимназию, где нам читали ее по Смирнову и Белову. Первому я обязан тем, что, прибыв несколько десятков лет спустя в Цинциннати, я пресерьезно уверял своих американских знакомых, что их город занимается, главным образом, обработкой щетины, а они тщетно убеждали меня, что он занят и многим другим. Мне засела эта щетина в голову от изучения географии по Смирнову. Учитель арифметики был доволен мною, так как я скоро превозмог и дроби и простое тройное правило. Русской грамматики меня почему-то не обучали, а заставляли писать под диктовку, ставили мне дурные отметки за скверную каллиграфию и за редкую способность украшать страницы чернильными кляксами. Кому-то из родственников пришла счастливая мысль подарить мне хрестоматию Галахова. Я стал зачитываться ее первым томом стихов и не только быстро заучивал целые страницы из «Полтавы» и «Цыган», но с восторгом декламировал и «Торквато Тассо» Батюшкова и даже отрывки из «Освобожденного Иерусалима»: «Купит бульон»... Чтобы пробудить меня к доброму поведению, мне обещали, что в конце недели мне будут читать Пушкина, Лермонтова и Гоголя в оригинале. Суббота была лучшим из моих вечеров, так как это чтение приходилось на нее.

Выбор награды был удачный, несравненно удачнее, чем те полковничьи эполеты, которые при добром поведении привязывал мне на плечи отец Ильи Ильича Мечникова, живший в одном с нами доме, приходившийся родственником моему отцу и часто игравший с ним в карты. По верному замечанию Ивана Сергеевича Тургенева, дворянских детей в России обучают музыке и всякого рода художествам, по-видимому, только для того, чтобы доказать, что таланты не присущи необходимо первенствующему сословию. Мой учитель рисования Безперга*, тот самый, у которого обучался на первых порах Семирадский, был человек честный и искренний. Помучив меня в течение 2-х месяцев и убедившись, что при всем старании я никак не могу нарисовать древесной листвы так, чтобы она не казалась локонами, он пришел к моим родителям и сказал:

* Фамилия неразборчива. Прочтение предположительное.

«Мальчик у вас милый и внимательный, но никакого призвания к живописи у него нет, к чему тратить попусту время и деньги», — и я от живописи был отставлен. К сожалению, того же не сделано было с музыкой. Меня обучали ей всерьез, обучали долго и мучительно. Чех Вильчек — сам превосходный исполнитель, но человек с разбитыми нервами, не выносил моих фальшивых аккордов и бил меня нередко линейкой по пальцам; ни за что другое я в жизни бит не был. И это страдание продолжено было во все время прохождения мною гимназии и первых двух курсов в университете[6]. Оно, вероятно, растянулось бы и на следующие затем годы, если бы не одно счастливое обстоятельство. В Харьков приехал молодой Антон Рубинштейн, дать первый свой концерт. Чтобы показать мне, до каких высот я могу добраться, если буду ежедневно играть гаммы и этюды, а не увлекаться постоянным повторением на рояли полюбившихся мне мотивов, мой учитель взял меня с собою на концерт. Получился, однако, неожиданный результат. Рубинштейн исполнил разучиваемый мною тогда марш Бетховена «Развалины Афин» в собственной аранжировке, таким образом, что я даже не узнал сразу, что он играет. То же повторилось и с «Лесным царем» Шуберта. Вернувшись домой, я объявил матери, что больше учиться музыке не намерен, и сдержал мое слово. Еще меньше способностей я обнаружил в танцах. Так как после перенесенного мною тифа я стал быстро толстеть, то мой учитель, поляк Строцкий, не принадлежавший к числу трезвенников, на общих танцклассах, устраиваемых для детей дворянских семей, к немалому моему смущению не обращался ко мне иначе, как со словами: «Поворачивай, медведь». По природе рассеянный, я всегда не вовремя производил «шассе-круазе», а из «батю-балансе» мне не удалось ни одно. И эта природная неуклюжесть в связи с рассеянностью была причиной тому, что и впоследствии, в разгар юности, я на провинциальных балах попадал только в запасные кавалеры, да и много лет спустя я никак не мог удачно проделать тех движений ногами, какие доказывают принадлежность к одному, столько же духовному, сколько и политическому обществу, одно время весьма распространенному в России, а затем преследуемому полицией. Итак, из светских талантов у меня не оказалось ни одного, за исключением разве любви к звучному стиху. Эта любовь не связана, однако, со способностью подыскивать рифмы и излагать мои мысли иначе, как прозой.

Если прибавить, что обучение наукам и художествам прерывалось на месяцы добросовестным соблюдением рождественских и пасхальных праздников, длинными летними каникулами и двумя поездками за границу — на воды, в Швейцарию и Италию, то неудивительно, что к 13-ти годам, когда поднят был вопрос об определении меня в гимназию, приглашенный произвести пробный экзамен в начале осени мой родственник проф[ессор] Рындовский[7] нашел, что я гожусь самое большее для 3-го класса. И действительно, из того, что требуется в гимназии, я знал очень мало: русской грамматики не проходил, катехизиса не учил, не знал ни

одного слова на латыни, о геометрии и алгебре не имел ни малейшего представления, зоология и ботаника для меня так и не существовали. Но зато я мог многое рассказать и про Перикла, и про Алквиада, и даже про Готфрита Бульонского. Перспектива идти в третий класс мне не улыбалась. Так как для подготовки оставалось еще шесть месяцев, то я впервые в моей жизни признался и с большим успехом выдержал экзамены в пятый класс. Получив из всех предметов высшую отметку, я на экзамене Закона Божия едва не провалился, так как в изложении Символа веры никак не мог перейти от Первой Упостаси* ко Второй. Законоучитель это запомнил и, услыхав много лет спустя о том, что мне не без желания начальства пришлось покинуть преподавание, говорил от себя: «Да чего же было ждать от него, — он и на экзамене не знал Символа веры».

Так называемое воспитание, т.е. сообщение всех этих нужных и ненужных знаний, а также обучение способу держать себя прилично, как в домашнем кругу, так и в гостях, пало всецело на мою мать. Отец был слишком занят делами, чтобы находить время для этих деталей. Он был прекрасным хозяином, вел успешно дела и приобрел, наполовину в кредит, платя высокие проценты, разумеется, родственникам, хорошее имение в Харьковском уезде, прилегавшее к его родовому наследию. Управление им отнимало все его время. В имении был и сахарный завод — огневой, и два винокуренных, и кирпичный завод, и добывание торфа и селитры. Имение было запущенное, так как прежними владельцами были люди богатые, жившие себе в удовольствие, затрачивая безумные деньги на постройку обширных каменных палат, оранжерей, теплиц, на заведение хора музыкантов из собственных крепостных и свор собак для охоты. Вечный праздник сменился в один прекрасный день необходимостью ликвидировать родовое имение. От дяди оно перешло к племяннику, который в видах экономии приказал отнесть паркетные полы на сахарный завод и сжечь их, а затем, затратив не менее 20 000 руб. на деревянный флигель, повесился в его зале.

Снова имение, не выходя из рода, перешло к дяде, но только другому. Этим дядей оказался проживавший уже вторично свое состояние государственный сановник, близкий ко двору одной великой княгини и знакомый моего отца. Он упросил его купить доставшееся ему имение. Отец затратил на это приданное матери и признанял у родственников недостовавшую сумму. Весь остаток жизни ему пришлось выплачивать из дохода этот долг. И когда он умер, имение все-таки оказалось далеко не чистым. Отец мой умер, когда мне было менее 13-ти лет, умер в Москве в моем присутствии, по возвращении из Карлсбада, благодаря несоблюдению диеты. Тело его отвезли в Харьков и похоронили с подобающими почестями. Харьковское дворянство отнесло на руках в могилу

---

* Так в тексте. Следует: Ипостаси.

своего бывшего предводителя. Он несколько десятков лет предводительствовал дворянами своего уезда и, так как губернский предводитель предпочитал жить в Париже, то на моего отца падало исполнение его должности. Последние годы были временем переходным: готовилось освобождение крестьян, дворяне разбились на партии, члены выборного губернского комитета не все были за эмансипацию, в числе их можно было назвать либералов и даже радикалов, как Пимен Лялин[8] и хорошо известный Хрущов[9], впоследствии дослужившийся до министра или товарища министра государственных имуществ. Но большинство скорбело о сокращении своих доходов и, не смея прямо высказать причины своего недовольства, жаловалось на то, что семейным его отношениям к крестьянству настанет конец. Я еще был слишком молод для того, чтобы сознательно относиться к подготовлявшейся реформе. Могу сказать только одно, что в окружавшей меня среде мне трудно припомнить что-либо близкое к той картине дикого и бессмысленного тиранства, какую можно найти в воспоминаниях Аксакова, Салтыкова и Толстого. «Аннибаловой клятвы» мне, подобно Тургеневу, не пришлось бы давать, клятвы всю жизнь бороться с крепостным бесправием. Объясняется это, как мне кажется, весьма просто. Поместные гнезда были разбросаны в Харьковском уезде довольно редко среди массы слободского казачества, приписанного к числу государственных крестьян. Помещики, разумеется, во всей России имели равные права, и эти права были весьма неограниченны, обращая их, по выражению Николая Павловича, в даровых полицеймейстеров. Но проявление самодурства или жестокости с их стороны вызвало бы в Слободской Украине такой отпор от соседей — государственных крестьян, который, вероятно, сразу заставил бы всех войти в норму. Мой отец не был из числа людей, которые бы отнеслись безразлично или даже старались бы прикрыть проявления дворянского самодурства. Для этого он слишком дорожил сословною честью. Он дорожил ею настолько, что считал ниже себя отправление каких-либо придворных должностей, и, когда друживший с ним генерал-губернатор Долгоруков[10] вздумал представить его в камергеры, отец убедил его заменить эту награду присылкой ему царского перстня, который доселе хранится у меня. К Александру Павловичу он относился с умилением и ежегодно присутствовал на поминальной службе о павших воинах 1812 года. Я обыкновенно сопровождал его. По окончании службы его и некоторых других однолеток окружали и приветствовали. Ряды их с каждым годом редели и, наконец, остался в живых один мой отец. Существование крепостного права ознаменовывалось наличностью многочисленной дворни и так называемой «девичьей». Последняя особенно притягивала меня присутствием многих молодых и красивых девушек, готовых приласкать барчука. Эти девушки плели кружева, вышивали в пяльцах, а во время постов вместе с моей матерью занимались изготовлением церковной утвари. Мать моя была слишком добра, чтобы обращаться с ними грубо, а отец в своей снисходительности дошел до

того, что, застав своего камердинера Федора, вскрывающим его шкатулку с деньгами, только пригрозил отдать его в солдаты. Хозяйство велось натуральное. Всего в избытке поставляемо было из деревни в город, начиная от масла и оканчивая дровами и сеном. Прикупать приходилось только одежду, мебель и предметы роскоши, да и то не всегда, так как были свои столяры, токари и обойщики. Большого дохода имение не давало, так как все производимое потреблялось неумеренно в своих издержках дворней. Доход шел от дворов, причем, разумеется, львиная часть отходила к казне. Помещики жили в довольстве: вино, не особенно обычное за их трапезой (русские вина были плохи, а заграничные — дороги), заменялось наливками и всякого рода водицами. За чайным столом появлялись домашние печенья, за обедом — доставленные из деревни поросенок и барашек, а также всякая деревенская овощь и фрукты, не исключая артишоков, спаржи и персиков. В расходных деньгах, однако, чувствовался недостаток, так как весь заработок поступал, прежде всего, на оплату акциза. Жил мой отец открытым домом. На праздниках собиралась масса гостей, на Пасху — длиннейший стол уставлялся всякими яствами. Я часто страдал несварением желудка от непомерной пищи. Меня за это наказывали — ставили в станок, лишали последнего блюда. Но эти педагогические приемы действовали на меня слабо. Большее впечатление произвел на меня разнос, однажды сделанный мне Пименом Лялиным. «Ты бы дал себе отчет, — сказал он мне, — в какое время ты обжираешься. Настает конец рабства, ты подрастешь и будешь призван к широкой деятельности. Но на что ты будешь годен при такой неумеренности». Лялин был большим авторитетом в моих глазах. Ходили слухи о том, что он не в ладах с начальством, что его подозревают в каких-то сношениях с заграничными вольнодумцами. Эти слухи впоследствии оправдались. Лялин, служа в восточной Сибири, встретился там с сосланным в нее Бакуниным, близко сошелся с ним и, как говорили, содействовал его бегству. Ему пришлось впоследствии поплатиться за свою сострадательность заточением в Петропавловскую крепость. Он провел в ней достаточно времени, чтобы успеть составить каталог ее богатой библиотеки. Пользуясь ею, многие, попавшие в крепость, вероятно, не знают, кому они обязаны возможностью разумно проводить свое время.

Настало, наконец, 19 февраля. Меня не без опаски пустили прогуляться по улицам, разумеется, в сопровождении гувернантки. Было мне всего 10 лет, так как я родился 27 авг[уста] 1851 года. Я помню расклеенные по улицам манифесты и ничего, кроме этого — никакого скопления народа и никаких ожидаемых беспорядков. Крестьяне далеко не сразу пошли на выкуп. Имение успело перейти за смертью отца к матери, а за ее кончиной — ко мне, прежде чем произошла полная разверстка помещичьих и крестьянских земель, да и то лишь после того, как я подарил крестьянам третью часть выкупа. Дорожили они возможной близостью своих наделов к селению. Я уступил им расположенные на реке торфя-

ники, которые с тех пор и не дают торфа, так как крестьяне запустили их под огороды и конопляники. Значительного сокращения дохода мы от отмены «несвободы» не ощутили. Затраты на содержание дворни сократились больше, чем наполовину, исчезли девичьи и в лакейской перестали заседать 2—3 ничего не делающих человека. Отца огорчило то, что проворовавшийся у него Федор все-таки от него отошел. Но за исключением его почти вся старая прислуга продолжала служить почти до смерти. Отцовского повара я увез с собою еще в Москву, при поступлении моем в профессора Московского университета. Он продолжал налагать на себя крестное знамение, когда я просил его подать к обеду почки, говоря, что такой дряни за отцовским столом не подавали. Приобрел он известность в Москве тем, что едва не вытолкал из кухни званого гостя — Ив[ана] Сер[геевича] Тургенева, обозвав его предварительно старым чертом. Тургенев вошел ко мне по ошибке с черного хода. В один прекрасный день Григорий Дубовик — таково было имя этого служителя кулинарного искусства — покинул меня, несмотря на все мои уговоры, так как получил известие, что пчелы его разлетелись. Заведенные им колодки стояли в моем лесу, но этим обстоятельством он не стеснялся.

До самого поступления в гимназию я оставался на попечении матери. Как единственного сына, она очень баловала меня и приучила к женской ласке. Во всю мою жизнь я не мог отвыкнуть от нее. Мать моя была не только женщиной умной, но и женщиной со вкусом и талантом. Она недурно рисовала, играла на фортепьяно и пела приятным меццо-сопрано. Она сохранила культ к итальянской оперной музыке, так как в ранней молодости, проведши зиму в Петербурге, имела возможность слышать Рубини, Альбони, Виардо. И впоследствии, живя со мною в Берлине и в Париже, она находила большое удовольствие в посещении опер и концертов. Во время моих первых поездок еще мальчиком за границу я в ее обществе посещал картинные галереи Берлина, Дрездена и Мюнхена и мастерские художников. Мы закупали с нею фотографические снимки с наиболее известных картин. Наградой за хорошее поведение, не всегда обычное, служили мне разного рода Мадонны, начиная с Сикстинской Рафаэля и оканчивая мурильевской. Вкус и уменье принять у себя моя мать обнаруживала и в своих светских отношениях. Но особенного пристрастия к поездкам в гости она не имела. Ее сестра, замужем за проф. медицины Рындовским[11], отличалась большой начитанностью. В ранней молодости, под влиянием брата, офицера генерального штаба, побывавшего в Париже, она стала зачитываться не одними только романами Жорж Санд, страсть к которым перешла и к моей матери, но и сочинениями социалистов. От нее я получил известную книгу Консидерана — ученика Фурье. Ее автора я встречал впоследствии в Париже, уже после его возвращения из Алжира. Редкое сочинение произвело на меня большое впечатление. Надо отметить, что, предоставляя мне большой простор в чтении французских книг, мать очень обеспокоилась тем, когда я однажды, забравшись в ее

библиотеку, достал в ней «Русский Вестник» с только что появившейся в нем повестью Тургенева «Отцы и дети». Меня застигли на месте преступления, отобрали книгу, долго стыдили за злоупотребление доверием и взамен, по совету дяди Рындовского, вручили мне «Путешествия» Вышеславцева. Но этой книгой я только прикрывал другой запретный плод — сочинения Писарева, и снова был накрыт. Полились слезы матери, распеканция* дяди и холодное упорство неисправимого мальчика. Перебрал я постепенно весь шкаф с французскими книгами. Увлекался и Бюрг-Джаргалем** и Ганд-Дисландом Виктора Гюго, что не мешало мне также читать с удовольствием детский журнал «Рассвет», романы Вальтер Скотта и Купера. «Квентин Дорвард» и «Последний из могикан» исторгли из меня не одну слезу. Я с меньшим интересом читал рассказы из русской истории бабушки Ишимовой. Карамзина приходилось заучивать наизусть: «Народы дикие любят независимость, народы образованные предпочитают порядок». Нравилось мне у него одно описание царствования Ивана Грозного. Удельная система и родословная князей Рюриковичей интересовала меня весьма слабо. Меня стыдили тем, что по этому вопросу мой дядя — важный сановник в Петербурге — написал целую статью, но я все же не находил никакой прелести в решении вопроса, чьи притязания на киевский престол были основательнее — Ольговичей или Мономаховичей.

Смерть отца вызвала некоторый поворот в моей жизни. Мать испугалась массы неуплаченных долгов, ответственности за личное управление имением. За обедом завели черный хлеб и решили определить сына в гимназию. Но приехавший помогать сестре разобраться дядюшка Познанский стал рубить вековые дубы на клепку и постепенно выплачивать кредиторам. Тревога оказалась излишней. Денег было более, чем достаточно. Я стал помогать матери в составлении опекунских отчетов и вручать десятирублевки служащим при опеке, чтобы дать ближайший ход делу. Из отчетов я приходил к заключению, что дела мои обстоят далеко не худо. Жизнь вскоре вошла в прежнюю колею, но пережитая тревога все-таки принесла свою пользу. Мальчик взялся за ум и, убедившись на домашнем экзамене, что он полный недоросль, из самолюбия принялся серьезно за учебники. Пригласили учителей из гимназии, пошло изучение латинской грамматики и затверживание наизусть: «os — же — кость — и os — уста — рода среднего всегда». Общему развитию не более содействовало изучение последовательности мхов, лишаев, грибов и водорослей, что носило название ботаники, а камнем преткновения долго служила: «Вера есть уповаемых извещение — вещей обличение невидимых». Но все эти препоны были преодолены, и я принят был с отличием в 5-й класс 3-й Харьковской гимназии.

---

* Так в тексте.

** Имеются в виду романы Гюго: «Бюг Жаргаль» и «Ганс исландец».

II.

Гимназия, в которую я поступил, была гимназией демократической, разночинец преобладал в ней над дворянином. Меня, как «маменькина сынка», приняли «в пиньки». Я сперва от недоумения только улыбался, а затем, почувствовав боль, стал платить равным за равное. Однажды в увлечении этой «распределительной справедливостью» я дошел до потери человеческого образа, как выразился наш инспектор, и препровожден был поэтому в карцер. По расследовании оказалось, что не я был зачинщиком. Из карцера меня выпустили, но с назиданием: «Ваше поведение, — сказал мне по этому случаю директор, который был словесником, — доведет вас до выведения из заведения». Пророческие слова, которым суждено было, однако, осуществиться только 20 лет спустя, когда за поведение меня честью попросили удалиться из «научного заведения», именуемого Московским университетом. Поведение на этот раз вызвано было тоже увлечением «распределительной справедливостью», желанием воздать каждому должное, оборвать нахала и воспрепятствовать распространению «научной лжи».

Мои гимназические товарищи недолго дрались со мною, убедившись в том, что они каждый раз получат сдачу; они оставили меня в покое, а некоторые из них сошлись со мной очень дружественно. Я до сих пор сохраняю теплое чувство к памяти одного из них — сына профессора Черняева. До этого я жил одиноко, не имея с кем поделиться своими мыслями и желаниями. Черняев отнесся ко мне душевно. Это была натура пылкая и талантливая. Обиженный природой, он, как все горбуны, был влюбчив и студентом, увлеченный красавицей-кокеткой, сгорел в несколько месяцев. И в его привязанности ко мне было нечто более близкое к любви, чем к дружбе. Как ни кажется это смешным, но он был в меня влюблен, находил, что все, что я делаю, прекрасно, открывал во мне качества, которых не было, ревновал к другим и мучил постоянным требованием объяснений. В промежутках между уроками мы были неразлучны, вместе гуляли по двору и, взамен другого завтрака, ели покупаемые у разносчика колбасу и рахат-лукум. Последствием такого неправильного питания вскоре сделалось то, что я к 3 часам возвращался домой обыкновенно с головной болью. Годы пребывания в гимназии были для меня годами мигрени. Врачи объясняли мне впоследствии, что это было первое проявление артретизма, от которого я страдал всю жизнь. Мигрень позднее, уже в университете, сменилась почечной коликой, а последняя, — годы спустя — ишиасом и подагрой. С нею я не расстался вполне и теперь. О гигиене в гимназии нашей имели представление слабое, — до 40 человек помещалось в небольшой комнате. Когда открывали форточку, схватывали насморк, почему директор благоразумно распорядился забить ее наглухо.

Большинство уроков проходило в том, что учитель отмечал карандашом, что нужно приготовить к следующему уроку. Сделав это, он вызывал учеников и ставил им отметки, соответственно их незнанию. Гимназисты отвечали вяло, из них нужно было вытягивать чуть не каждую фразу. Смотря по темпераменту, учитель или молча ставил единицы, или пускался в назидания. Один даже расчувствовался однажды и сказал нам: «Вы забываете, что вы — оазисы среди пустыни», — пустыней рисовалась ему его некультурная родина. Учитель алгебры, объясняя урок или решая за нас задачу, обыкновенно сам путался в своих объяснениях, часто стирал с доски им же написанное и при этом неизменно краснел. Учитель геометрии, только что издавший свой учебник, упрощал решение теорем до того, что мы, в сущности, вышли с полузнанием «Евклидова открытия». Учитель латинского языка заставлял нас выучивать целые страницы исключений, причем мы не вполне разбирались в том, что правило, а что исключение. К чтению Салюстиевой войны с Югуртой мы приступали без всяких предварительных объяснений, кроме того, что она происходила в Африке. Немало времени занимали переводы с русского на латинский язык, исправленные затем тетради мы затверживали наизусть к экзамену, а учитель, не желая ударить лицом в грязь перед начальством, устраивался так, чтобы каждый мог блеснуть знанием того, что он затвердил наизусть. Таким образом мне пришлось продекламировать знаменитый ответ Леонида гонцу спартанскому: Hospes dic Sparte te nos hic viduse jacentes, quod Sanatis patriae legibus obseguabamus*. На этом тусклом фоне педагогов, несших свое ярмо, как повинность, выгодно выделялись два человека — учитель истории, поляк Годзяцкий, и учитель русской литературы — Алексеев. Оба были молоды, помнили университетские записки, многое приводили из них, кое-что почитывали сами. Годзяцкий любил восполнять учебник Шульгина подробностями про культуру Древнего Востока и Греции. К сожалению, мы удержали его недолго. До сведения высшего начальства дошло, что, говоря о Сардонапале и Валтасаре, он, будто бы, любил вставлять слова: «Приятно пощипать императорского орла». Сам я этих слов от него не слышал, и он, может быть, никогда их и не произносил, но так как на гимназическом совете он представлял собою неспокойный элемент, то его «подвели» и «упекли», т.е. попросту выгнали со службы. На место его был назначен учитель молчаливый, который по тому самому не мог подвергнуться подозрению в произнесении лишнего. Мы прошли с ним и средние века, и новое время все по тому же Шульгину, но с разметками, портившими этот в общем хороший

* Так у Ковалевского. Очевидно, имеется в виду ответ Леонида послу: «Путник, поведай спартанцам о нашей кончине! Верны заветам своим, здесь мы в бою полегли».

учебник. Иногда учитель, будучи в духе, и в то же время не желая утруждать себя, вызывал лучших учеников и заставлял их отвечать урок. «Ковалевский, — говорил он, обращаясь ко мне, — расскажите нам о Вольтере и Руссо, вас этому, вероятно, обучил французский гувернер». И услышав от меня то немногое, что я знал об Эмиле или о Генриаде, он прочил мне в заключение блестящее будущее. Учитель Алексеев был человек иного плана. Он увлекался своим предметом, но, к сожалению, предметом его увлечений было раскрытие «солярной системы»[12] в нашем народном эпосе. Идя по следам Ореста Миллера[13], в свою очередь увлекшегося более знаменитым Максом Мюллером[14] из Оксфорда, он убеждал нас в том, что Илья Муромец не кто другой, как сам Перун, а Владимир Красное Солнышко — бог, озаряющего землю светила — Хорс или Дажбог. Разделяя его уверенность, я все это с большой убежденностью изложил на экзамене в присутствии известного слависта Петра Лавровского и прибывшего для контроля попечителя Воскресенского. Последний был химик и, услышав нечто для его ушей необычное, он громко расхохотался, прибавляя: «Да вы с ума сошли». Лавровский вступился за меня и стал шептать что-то на ухо Воскресенскому. Последний смутился, покраснел и замолк, а мне поставили полную отметку. Вспоминая об этом на расстоянии чуть ли не полустолетия, я с удовольствием отвожу душу на этом смехе попечителя. На этот раз, вопреки поговорке, победа осталась на стороне смеющегося. Целый год мы посвятили изучению старых и новых богатырей, да еще проповедям Луки Жидяты[15] и Илариона Киевского[16]. Многие из нас твердили наизусть «Слово о полку Игореве», а некоторые, зараженные, подобно мне, уже стремлением к ученому педантизму, знали, что рассказать и про Даниила Заточника и про Вассиана Рыло. Немудрено, если, отведши столько времени на изучение былинного эпоса и древней письменности, наш учитель словесности принужден был по новой литературе довольствоваться одним литографированным учебником Линиченко, написанным, правда, слогом возвышенным и благородным, но мало рассудительным. Время выпускного экзамена приближалось, а мы все еще сидели на «Россияде» Хераскова и «Душеньке» Богдановича. Приближавшийся юбилей Карамзина заставил нас заняться и «Бедной Лизой» и «Марьиной рощей». В качестве образца слога некоторые из нас заучивали следующие, невероятные по своей «напомаженности» периоды, доселе засевшие в моей памяти: «Она родилась тогда, когда природа, подобно любезной кокетке, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее платье, белилась, румянилась пестрыми цветами, смотрела в зеркало вод прозрачных и завивала себе кудри на вершинах древесных» (т.е. май месяц). Карамзинский юбилей мне памятен не только потому, что мне пришлось выслушать действительно замечательное слово, произнесенное в университетской церкви Харьковским архиеп[ископом] Макарием — будущим мит-

рополитом Московским и известным историком Русской Церкви, но и потому, что сам я читал на гимназическом акте пренелепейшее рассуждение на тему: «О любви к отечеству и народной гордости», уверяя собравшихся, вслед за Карамзиным, что любовь к отечеству есть привязанность к его учреждениям и, очевидно, не давая себе отчета о том, что этими учреждениями во время Карамзина были помещичья саморасправа и крепостная неволя. Так мало почат* был я в то время либеральной проповедью. За нами следили внимательно, не давая читать ни Белинского, ни Добролюбова. А когда однажды в сочинении я проявил страшное вольнодумство, порицая басни Сумарокова и Хемницера, ради вящего восхваления Крылова, то директор обратился ко мне со словами: «Неприятно слышать от молодого человека отрицательное отношение к столпам отечественной словесности». Темы, раздаваемые нам для сочинений, пестрели разнообразием и в большинстве случаев превосходили наши способности. Так, мне пришлось писать и об ап[остоле] Павле, и о Лисе в русских народных сказках, а на экзамене нам задали сочинение «о характере Хлестакова». Гимназия, в которой я учился, считалась полуклассической, но ни о каком ни целом, ни половинчатом классицизме в применении к ней говорить нельзя. Древней культуры мы не знали, не было даже сделано попытки приподнять завесу, скрывающую от глаз современника этого отдаленного прошлого. Я полагаю, что если бы моих товарищей кто-нибудь на экзамере вздумал спросить, чем отличается римский консул от новгородского посадника, то не нашли бы, вероятно, другого ответа, что консулов было — 2, а посадник — 1. Ни одного латинского писателя мы в тексте не прочли. Переводили отдельные главы и из Цезаря, и из Цицерона, выучивали наизусть некоторые оды Горация, знали «Филемона и Бавкиду» Овидия. «Энеида» доставляла нам так же мало радостей, как и «Метаформозы». Учитель воздерживался от всякого исторического и литературного комментария, заставлял нас карандашом отмечать употребление автором ablativus absolutus и accusatu**. Менее откровенные старались скрыть зевоту, более искренние открывали рот до ушей. Я не получил ни малейшего представления о римском быте, ранее занятия римским правом и в особенности его историей. Тут только я увидел, как недостаточна моя подготовка и принужден был прочесть 2—3 книги, из которых ни одна не произвела на меня более сильного впечатления, чем «Гражданская община древнего мира» Фюстель де Куланжа, «Дух римского права» Иеринга и «Древнее право» Мэна. О древней Греции мы, пожалуй, были более начитаны, но только о Греции легендарной. Нам давали читать отрывки из «Илиады» и «Одиссеи» и пересказывать в русских переводах немецких книг «Сказание о Ясоне и

---

* Так в тексте.

** Грамматических, свойственных латинскому языку, самостоятельных выражений.

Тезее». Всему этому я, впрочем, научился еще дома на французских уроках моего гувернера. Об афинской жизни, о росте демократии, о спартанских учреждениях, об панэллинизме со времен Александра Македонского, — обо всем этом мы получили лишь слабое представление. И на этот раз мне с благодарностью приходится вспомнить университет, который в лекциях проф[ессора] Стоянова[17] по истории греческого права дал мне впервые некоторое понимание культуры Эллады и ее значения для сравнительного истолкования хода общественного и политического развития современной Европы.

Но если гимназия 60-х годов прошлого столетия в таком университетском городе, как Харьков, не давала ни обстоятельного знания древних языков (о чтении латинских авторов без помощи лексикона не могло быть и помину), ни знакомства с бытом дохристианской Европы, то не открывала она нам и возможности более серьезного знакомства с точными науками. Я сказал уже о том, как поставлено было преподавание математики. В алгебре мы доходили до бинома Ньютона с предшествующим ему изложением теории соединения и сочетания. Позднее сочли возможность освободить учащихся и от этой повинности. Курс заканчивался логарифмами, которые, впрочем, мы знали весьма плохо. О том, чтобы дать, как это делается во французских лицеях, какое-либо представление кончающим среднее образование о дифференциалах и интегралах, не было и нет помину и по настоящие дни. Еще хуже было поставлено преподавание геометрии, особенно сферической. На тригонометрию отводился всего один час, в течение не более года. Но всего печальнее была судьба космографии: из нее мы едва успевали познакомиться с законами Гершеля, Кеплера и Ньютона.

Такой развивающийся предмет, как физика, преподавался нам почти без опытов, благодаря недостаточности физического кабинета, или, что хуже, с опытами, которые не удавались, вероятно, по причине «недостаточности» самого преподавателя. Химия вовсе не читалась. Из естественных наук нас изводили заучиванием классификаций, родов и видов растений и животных. На минералогию и кристаллографию отводился один час, да и какое могло быть преподавание ее без знакомства с химией. К счастью, наш учитель вносил в свои уроки сообщение некоторых данных об анатомии и физиологии человека, что по программе вовсе не полагалось, иначе мы вышли бы из гимназии без способности отличать печень от селезенки и незнакомыми даже с процессом кровообращения. Если такие порядки «истолкования законов природы» доселе удержались в наших гимназиях, то у меня невольно возникает сомнение, насколько осуществимо рекомендованное недавно нашим законодательством преподавание «о вреде пьянства». Нашелся товарищ министра народного просвещения, не отступивший перед совершенно голословным утверждением, что такое преподавание давно существует. Ему, к счастью, не поверили и настояли на своем. Но все же остается непонятным, какую пользу

может дать такое преподавание без знакомства с строением человеческого тела и отправлением отдельных органов.

Итак, что же мы собственно знали, выходя из гимназии. — славянскую грамматику Востокова, русскую — Говорова, латинскую — Кюнера, — обо всем остальном приходится повторить известное двустишие Пушкина: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Но Евгений Онегин, вышедший из такой школы, обучен был, по крайней мере, иностранным языкам, но за моих товарищей я готов поручиться, что только немногие, бравшие домашние уроки, способны были на выпускном экзамене перевести 3 фразы из немецкой или французской книги. Три года я просидел в этом среднеобразовательном заведении и, если бы не занятия по вечерам немецкой литературой и английским языком, если бы не чтение по воскресеньям французских и немецких авторов, — Руссо, Шатобриана, Шиллера и Гете, то я бы вышел, хотя и с золотой медалью, но без малейшего развития, не то, что научного (о нем не было и помину), — то, по крайней мере, развития художественного вкуса и способности найти пути к дальнейшему образованию, благодаря знакомству с иностранными языками. Мне почти целую жизнь пришлось считаться с недочетами моего среднего образования. Когда, уже в зрелом возрасте, я вздумал читать курс «Положительной философии» Конта, 1-й том его оказался для меня «книгой за семью печатями». Не ранее, как после удаления с кафедры Московского университета, у меня нашелся необходимый досуг, чтобы прочесть несколько книг по физике, химии, биологии и геологии. Недостаточное знание латинского языка отчасти сделалось причиной того, что и в моих исторических работах я остановился на средних веках. Их латинский язык, после некоторых месяцев упражнения над печатными источниками, сделался для меня вполне доступным. Я не дерзнул заняться Грецией, не желая полагаться на чужие передачи греческих текстов, а последние были мне недоступны.

Недавно в Государственном Совете поднят был графом Алексеем Бобринским[18] неожиданный поход против обременения юношей чрезмерными требованиями в гимназиях. Если это обременение и существует, то только потому, что преподаватели не умеют отличить нужного от ненужного. Среднее образование должно познакомить с элементами общечеловеческой культуры и дать оканчивающему свое обучение возможность продолжать его впоследствии, указав ему метод и наделив его средством к чтению древних источников и иностранных книг. Последнее — тем более, что русская научная литература еще бедна и страдает избытком плохо переведенных курсов и учебников. Рассуждать, как это делал гр[аф] Бобринский, о том, что загружают голову ребенка геометрическими теоремами, алгебраическими формулами или грамматическими правилами — то же, что отказываться от мысли сделать из них образованных людей, владеющих хорошо русской речью, способных прочесть в подлиннике Фукидида и Тацита и продолжить независимо от учителя изучение точных наук. Силу европей-

ского образования, все равно, идет ли речь о Франции, Англии или Германии, составляет, главным образом, средняя школа. В Англии, как я покажу это впоследствии, лекционная система играет сравнительно слабую роль. Во Франции более читаются конференции[19], нежели курсы. Но и в Англии, и во Франции, как и в Германии, классическое образование предполагает необходимое ознакомление с культурой древности и чтение в подлиннике авторов, а реальное знакомство с основными законами физики и химии в такой же мере, как и с математикой, включая в нее, как мы видим, по крайней мере, во Франции, и великое открытие Декарта, и Лейбница. Когда русские, окончившие на родине даже реальную гимназию, попадают на лекции парижских профессоров математики, они поставлены в необходимость, прежде чем понять излагаемое, посвятить ряд месяцев на обстоятельное усвоение геометрии и алгебры, которая преподавалась лишь в упрощенном виде. А сколько месяцев затрачивается на то, чтобы понимать самого лектора, хотя в гимназии и отводится ряд часов на занятия французским и немецким языками. Я слышал от людей, ближе меня стоящих к средней школе, что со времен ген[ерала] Ванновского, освободившего детей от греческой грамматики, гимназическое образование ни на волос не подвинулось вперед. За исключением столиц и, может быть, нескольких университетских городов, где не трудно найти подходящих учителей в нужном числе, преподавание по-прежнему носит форму разметки учебников. Как профессор, я еще в бытность мою в Москве и господства так называемого толстовского классицизма[20], счел своим долгом присоединиться к коллективному заявлению университетского Совета, что преподавание отдельных наук затруднено недостаточной подготовкой лиц, выдержавших экзамен зрелости. В мое время существовал еще некоторый контроль за преподаванием, благодаря присутствию того или другого командированного профессора на выпускном экзамене. Впоследствии и этот контроль отпал. Известный физик Столетов обратился к Совету с заявлением, что ему трудно преподавать 1-му курсу медиков физику, благодаря недостаточному знакомству их с самими элементами этой науки. Я должен был по совести сказать, что часть моих лекций по истории учреждений уходит на передачу исторических событий, с которыми мои слушатели должны были бы познакомиться ранее, в гимназии. Когда я этого не делал, на экзаменах происходила невероятная путаница имен и веков. Профессор Герье, в свою очередь, жаловался на то, что преподавание римской истории терпит* от недостаточной способности его аудитории читать латинских авторов. Если бы в настоящее время мне пришлось высказаться по тому же вопросу, я принужден был бы сказать, что сумма сообщаемых гимназисту сведений по всеобщей истории не только не возросла, но уменьшилась. Нам, по крайней мере, преподавали историю по Шульги-

* Так в тексте. Видимо, пропущено слово «урон».

ну, который в свое руководство включал обширные отрывки из Грановского и Кудрявцева и мог заинтересовать умелым подбором фактов не из одной только военной или политической летописи событий, но и из культурной жизни народов Запада. Целый ряд поколений учился по Иловайскому с его упрощенным истолкованием мировых событий. Учебник Виноградова по древней истории оказался слишком пространным и малодоступным гимназисту, как недостаточно знакомому с греческими и латинскими писателями. Учебники Трачевского пестрят фактическими ошибками и слывут почему-то чрезмерно либеральными. Я слышал, что в последнее время многие учителя стали преподавать по учебникам Кареева и Платонова, что, разумеется, представляет большой шаг вперед. О географии, если судить по ответам слушателей на университетских экзаменах, можно сказать только одно, что она не вышла из числа добавочных предметов, читаемых, за отсутствием специалистов, учителями словесности или истории. Да и как могут выработаться эти специалисты, когда география не занимает подобающего ей места ни в одном университете, за исключением столичных, где она связана с антропологией и часто уступает ей первенство. Из того обстоятельства, что студенты «Политехнического института императора Петра», на экономическом отделении, несмотря на то, что все они вышли из реальных гимназий, и большинство с медалями, затрудняются усваивать курсы физики и химии, — по-видимому, трудно сделать другой вывод, кроме того, что и в нашей реальной школе подготовка по этим предметам остается недостаточной. Никакая реформа университета не кажется мне способной повысить уровень знания, пока наша средняя школа не будет давать нам студентов, обладающих элементами европейской культуры. Спор идет не о том, быть ли гимназии классической или реальной, а о том, чтобы ей перестать учить «чему-нибудь», и «как-нибудь». Существование бок о бок обоих видов гимназий мне кажется желательным. Трудно быть историком, филологом или лингвистом без знания древних языков, но мне совершенно непонятно, почему то же следует сказать о математике, физике, химике или биологе. Закрывать реалистам доступ на естественный или медицинский факультет только потому, что они не прошли латинской грамматики, мне кажется верхом безумия. Серьезное изучение математики способно приучить к логическому мышлению не меньше усвоения грамматики и синтаксиса. Новые языки надо или совершенно оставить, или преподавать их иначе, чем это делается теперь. Пока у нас не будет существовать богатой научной литературы, мы не можем обойтись без знания, по крайней мере, одного из трех языков — английского, французского или немецкого. Надо, чтобы, выходя из гимназии, молодой человек способен был передать смысл прочитанной им страницы из иностранной книги. О том, чтобы он мог свободно говорить на чужом языке, нечего, разумеется, и думать. Да в этом и нет большой необходимости. Если он готовится к практической деятельности, ему не трудно будет впоследствии научиться, хотя бы и неправильному

произношению чужой речи: для этого существуют школы Берлица. Для филолога же или историка явится возможность восполнить свои знания в университете, где имеются лекторы по всем трем языкам.

Если я остановился сколько-нибудь подробно на моих гимназических воспоминаниях, то потому, что считаю нашу среднюю школу настолько косной, что ее настоящее мало уклонилось от прошлого. Воспитательного значения она не имела и не имеет. Я встречаю людей, которые даже считают такую задачу для нее неосуществимой. Если бы это было так, то почему бы лежал особый отпечаток на людях, выходящих из Оксфорда и Кембриджа или из парижской «Нормальной школы». Ведь его кладут не последние, а первые года ученичества. О физическом воспитании в мое время тоже не было и помину, не было даже уроков гимнастики, и все бы засмеялись, если бы кто вздумал рекомендовать занятие спортом. Удовлетворит ли задачам физического воспитания игра в солдатики, для меня остается сомнительным. Средняя школа не даром создавалась веками на Западе со времен Карла В[еликого] и Альфреда, и ее опыт должен быть принят нами во внимание. А этот опыт говорит за то, что школа должна служить не только средством сообщения элементов европейской культуры, но и восполнением к тому нравственному и физическому воспитанию подрастающих поколений, главным очагом которого, несомненно, была и остается семья.

III.

После выпускного экзамена с отличием я настолько был пресыщен тем, что нам выдавали за науку, что первые месяцы только играл в карты и посещал провинциальные балы, рауты и обеды. Мне было меньше 17-ти лет, и я далеко не решил еще, какой факультет мне избрать. Единственные предметы, меня увлекшие больше, благодаря домашим урокам, чем гимназическому преподаванию, были история и литература. Записавшись на юридический факультет, я думал одно время перевестись на словесный. От этого решения я отказался, попав на лекции проф[ессора] Рославского-Петровского[21]. Этот старик, украшенный не одними сединами, но и звездами, в молодости написал недурной курс статистики. При мне он читал историю Древнего Востока. Во вступительной лекции он объявил нам, что содержанием его курса будет изучение имен фараонов 32-х династий, причем он будет пользоваться в одинаковой мере иероглифическими надписями и историком Манефоном. Эта интересная перспектива сразу отрезала у меня всякую охоту. От лекции Рославского-Петровского, которого, кстати, сказать, скоро не стало, так как он внезапно сошел с ума (не была ли сумасшествием и самая мысль читать первокурсникам намеченный им предмет), я попал в аудиторию Каченовского[22]. Плавной речью он излагал свои соображения о влиянии международного права на изменение судеб человечества. Свидетель современной

войны*, в течение которой попраны не одно право, но и всякая нравственность, я, пожалуй, не прочь думать, что оба понятия стоят, скорее, в обратном отношении: не международное право изменяет судьбы человечества, а судьбы последнего влияют на изменение международного права. Но тогда я еще был слишком мало искушен событиями, чтобы не поверить на слово талантливому лектору, не разделить его восторга к предмету, правильное понимание которого будет иметь своим последствием людское счастье. Этот обзор всей истории с птичьего полета заставил работать мою фантазию. Лектор обещал доказать свою основную мысль в ближайших лекциях по истории международных отношений — с древности и до наших дней. Параллельно этому росту складывались и те нормы разума и справедливости, к которым сводится, в конце концов, все международное право. Голландский правовед Бинкерсхук[23] не даром сказал: «Ratuo opsa inquam ratio est qirus ogentum anima»**. Я стал посещать лекции Каченовского, читавшего студентам 4-го курса пять раз в неделю. Это заставило меня пропускать лекции собственных профессоров и посвящать свободное время, свободное от беспутной светской жизни, чтению исторических книг. Я поглотил несколько томов Лорана[24] — «Этюды по истории человечества», я прочел «Средние века» Галамма[25], «Истории цивилизации Европы и Франции» Гизо и «Историю цивилизации Англии» Бокля. Все эти книги заставили работать мою научную фантазию, но не в направлении к изучению догмы права. Лекции Стоянова по сравнительной истории законодательства, которые я также посещал с интересом, только поддерживали во мне эти исторические пристрастия. История римского права читалась только на 2-м курсе, но запрос на широкое освещение хода развития человеческой культуры побудил меня наброситься и на этот предмет. Его читал Станиславский[26] — один из самых начитанных юристов, каких мне пришлось слушать в России. Он одновременно занимал и кафедру энциклопедии права. О возвышенности его умственного полета можно судить хотя бы по начальным словам его литографированного курса: «В жизни рода человеческого всегда и везде встречаются глубоко укоренившиеся в людях вера в бытие Верховного Существа, в добро и нравственность, право, справедливость и правду». Курс продолжался установлением различия между моралью и правом, изучением источников права, сжатым образом основ гражданского, уголовного, государственного и международного права. Так как он был литографирован и лектор довольно близко держался составленного им текста, то я освободил себя от обязанности сидеть в аудитории. Только со второй половины года, когда лектор перешел к истории естественного права и стал с особым вниманием излагать политические доктри-

* Т.е., первой мировой войны.

** «Разум, говорю я вам, есть рациональное зерно международного права» (*лат.*).

ны древних и новых философов, начиная с Платона и оканчивая Гегелем, он своей ясной и в то же время изящной передачей оригинальных сторон отдельных учений снова привлек меня в свою аудиторию. К этому времени усталость моя прошла, я стал понимать, что есть наука, более забирающая вас, чем та, какою питали меня в гимназии. Пустота провинциальной среды и той золотой молодежи, среди которой я вращался на расстоянии немногих месяцев, стала для меня очевидной. Я сблизился с несколькими товарищами, также искавшими не столько науки, сколько, как они говорили, выработки самостоятельного миросозерцания, стал показываться в их кружках, читать рефераты и участвовать в вызываемых ими прениях, — одним словом, зажил жизнью несколько забегающего вперед студента, более озабоченного общим саморазвитием, чем изучением специальности. Не скажу, чтобы в то время в среде профессоров, по крайней мере Харьковского университета, замечалось бы течение, враждебное такому широкому пониманию задач университетского образования. Станиславский, напр[имер], в своей вступительной лекции, говоря о том, какое преимущество имеет университет над специальной школой, настаивал на возможности для студента пополнить факультетское преподавание посещением лекций по общеобразовательным предметам: философии, истории, естествознанию. Прослышав, что молодой доцент Потебня[27] предпосылает своему курсу по истории русского языка обширное вступление методологического содержания, я и некоторые мои товарищи стали ходить на его лекции. Здесь впервые я услышал имена Конта и Джона Стюарта Милля, и когда в ближайшем году доцент по гражданскому праву Цытович[28] снабдил меня отдельными томами Конта, посвященными социологии, я набросился на них с жадностью, так как знал наперед, что найду в них ответ на всего более волновавший меня вопрос о поступательном ходе развития человечества. Спешу прибавить, что другой молодой ученый экономист Гаттенбергер[29], которого мне пришлось слышать уже на 3-м курсе, только укрепил во мне это научно-философское направление своим обширным изложением методов общественных наук. Оно в значительной степени опиралось на логику Милля, но заключало в себе также и следы серьезного знакомства лектора с книгами Книса[30] — этой исключительно логической головы в среде критиков классической школы.

К немалому изумлению моих товарищей по карточной игре и дворянским вечеринкам я с большим успехом перешел на 2-й курс, в то время, как все они провалились на экзамене. До сих пор мне памятно их комическое появление в мою квартиру с громкой жалобой, что я их обманул, — запирался, мол, на ночь и зубрил записки. Так как они отстали от меня на год, то я постепенно вышел из их среды и зажил уже полной студенческой жизнью. В начале 2-го года моего пребывания в университете я у приват-доцента Леонида Евстафиевича Владимирова[31] впервые встретился с Каченовским, который пригласил меня бывать на его пятницах. С этого времени я в течение 3-х лет был неоднократно посетителем

его скромной гостиной. Он жил со своей старушкой матерью[32], окружая ее уважением и заботами. К нему приходили многие профессора из числа так называемых левых. В его квартире впервые встретился я с физиком Шимковым[33], с химиком Бекетовым[34], с окулистом Гиршманом[35]. Я сохранил с последним прекрасные отношения и по настоящий день. В прошлом году мы праздновали пятидесятилетний юбилей со времени его вступления в ряды преподавателей университета. Еще совсем молодым человеком, по окончании курса медицины в Харькове, он попал в Гейдельберг и оставил здесь настолько сильное впечатление, что, когда известный Патенкофер*/[36] узнал от моего дяди Рындовского, что он был в числе его учителей, он пригласил его к себе на обед, желая выразить тем уважение человеку, содействовавшему созданию такого ученого. Гиршмана я помню красавцем брюнетом, с задумчивыми восточными глазами. На него смотрели, как на восходящее светило, и он оправдал вполне возложенные на него надежды. 50 лет он продолжает свою практику, живя сравнительно скромно, не заглядывая даже в то, что, уходя, оставляют на столе пациенты. Из близких и отдаленных мест стекаются к нему больные. Его имя популярно на всем юге России. Если случайно попадет к нему больной, не имеющий средств, то он купит ему и лекарства. Не такие люди, как он, способны обострить** наши отношения к «инородцам». Да ничего подобного этой племенной ненависти в то время нельзя было заметить ни в среде студентов, ни между профессорами. Были у меня товарищи поляки и евреи, караимы и черкесы; между ними мы не устанавливали различия. Донские казаки одни слыли за удалую молодежь, иногда сводившую счеты с полицией. Один из любимых лекторов был еврей, принявший протестантизм. Его звали Леонидом Евстафиевичем Владимировым. Он был красив, хорошо владел словом, выступал иногда в уголовных процессах, и мы шли за ним в суд столько, чтобы слышать его, сколько и молодого товарища прокурора, прибывшего из Москвы и скоро завоевавшего все симпатии. Это был не кто другой, как известный ныне всей России Анатолий Феодорович Кони. Мне удалось слышать его в одном из громких процессов, положивших начало его репутации. Ум, красота и благородство речи, богатство образов, тонкий, столько же психологический, сколько и юридический анализ, умение вовремя сделать удачную цитату — и выше всего этого искреннее искание судебной правды, готовность найти смягчающее обстоятельство, желание не повредить подсудимому погоней за ораторскими эффектами и способность в блестящей импровизации, особенно выступавшей в ответных речах — все это вместе взятое заставляло смотреть на него, как на некое «чудо» столько же природы, сколько и искусства. Он не произносил громоносных речей по образцу публичных обвинителей Франции, он не насило-

* Так в тексте. Следует: Петенкофер.
** Так в тексте.

вал также своего голоса, но сам этот голос был настолько звучен, произношение так отчетливо, что стоя даже в отдаленных рядах, легко было слышать всякое его слово. Я говорю: «стоя», так как публики набивалось так много, что негде было пасть яблоку. Новые суды только что вводились в Харькове. Они приковывали к себе всеобщее внимание. Судоустройство и судопроизводство сделались впервые в России популярными предметами. Мы живо интересовались судом присяжных, судебной экспертизой и в меньшей мере теорией прямых и косвенных улик. На все эти вопросы давал нам ответ в своих лекциях и книгах молодой приват-доцент Владимиров, задумавший устроить и примерное разбирательство процессов в самом здании университета. Я выступал на них то в роли обвинителя, то в роли защитника и, наконец, судьи с беспристрастным резюме председателя. В свободное время мы читали — кто в подлиннике, а кто в переводе — книгу Миттермейера[37] о судопроизводстве в Англии и Бинера[38] — о суде присяжных. Почти одновременно с новыми судами стали пускать у нас корни и земские учреждения. Профессора умели приспособить свои лекции к этим новым явлениям жизни, давая нам широкую картину системы местного самоуправления в других странах и прежде всего — в Англии. Когда, по желанию самого императора Александра II, введено было преподавание государственного права важнейших европейских держав[39], эту кафедру, за неимением специалиста, занял Дим[итрий] Ив[анович] Каченовский. В своем историко-догматическом курсе он отводил немало места и местному самоуправлению. Мы знакомились из его лекций и с развитием института мировых судей и с историей суда присяжных, и с приходским управлением в Англии, с его главной заботой об общественном призрении бедных. Кто владел, подобно мне, иностранными языками, тому Каченовский советовал достать или просто давал прочесть книгу. Первое сочинение, из которого я более подробно познакомился со строем английского графства, английского города и прихода, была забытая теперь книга двух голландских писателей — Финка и Фанстретена; она вышла на французском языке и давала весьма живое описание английских порядков. Так как Каченовский не был из числа тех юристов, которых интересует одна структура и механика тех или других учреждений, так как он ясно понимал зависимость их от общественных условий и психологии того народа, среди которого они развились, то он наделил меня одновременно и книжкой Эскироса[40], наблюдательного француза, пожившего в Англии и нарисовавшего яркую картину ее местной жизни. На русском языке имелась в это время только одна книга по тому же предмету. Это книга известного судебного деятеля, участника выработки основных положений к нашим судебным уставам, — Зарудного «Местное самоуправление и местные суды в Англии»[41]. Она ходила у нас по рукам. Сочинение кн[язя] Васильчикова «О местном самоуправлении»[42] вышло многими годами спустя.

Другой талантливый лектор, оч[ень] любимый аудиторией, несмотря на отсутствие внешнего блеска, был хорошо известный

впоследствии Петр Павлович Цытович. Он был сын сельского дьячка из Борэны Черниговской губ[ернии], прошел гимназию и университет, содержа себя уроками, был горд, самолюбив, замкнут в себе. Я еще гимназистом встретил его в первый раз у моей тетки Рындовской, где он был репетитором. В моем присутствии она пригласила его однажды остаться на обед. «Не имея сам средств угощать знакомых, поставил себе правилом не принимать приглашений», — таков был ответ. Этого бирюка я на 2-м курсе увидел перед собой на кафедре. Он читал нам гражданское право и догму римского. Станиславский в это время уже перешел в Казанский университет, где его выбрали ректором. Цытович интересовался взаимоотношением гражданского права и политической экономии и известен своим переводом Данкварта[43]. Его курс был отчасти построен на «теории приобретенных прав» Лассаля[44]. Он подробно останавливался на вещном праве и «Учении о собственности». Для тех, к счастью еще немногих, кого на лекциях беспокоила только судьба будущих экзаменов, его курс был не из легкоусваиваемых. В полученном им анонимном письме ряд грубостей заканчивался обещанием помять ему ребра в случае провала. С этим письмом он пришел однажды в аудиторию и прочел его нам по окончании лекции, говоря, что предоставляет нам самим расправиться с этим Ноздревым и не имеет в виду дать делу дальнейшего хода. Этим он сразу завоевал наши симпатии. Нечего прибавлять, что Ноздрев не объявился. Цытович устраивал у нас примерное разбирательство сложных гражданских процессов. Я пробовал принять в них участие и был посрамлен. К судебной казуистике у меня не оказалось ни малейших способностей. Я мог бы сделаться только «совестным судьею».

Читая догму римского права, Цытович придерживался курса венского профессора Арндта[45]. Цивилисты говорили мне впоследствии, что эта книга не дает верного понятия о пандектном праве в его первой начальной чистоте, а скорее о том понимании, какое дано было ему в Германии[46]. Я недостаточно знаком с цивилистикой, чтобы иметь самому определенное суждение на этот счет. Я могу засвидетельствовать только то, что ни одна книга по римскому праву не казалась мне столь приближающейся к юридической логике или, выражаясь проще, к логике вообще, так как она, в конце концов, едина. Я прочел Арндта в подлиннике с большим удовлетворением и приготовился по нем к экзамену. Историю римского права читал нам Стоянов[47], менее удачно выбравший свое руководство. Мы заучивали в угоду Рудорфу*/[48] один мудреный закон за другим, с указанием года и нередко консулов, при котором этот закон вышел. Все, что задерживалось у меня в голове — это довольно полный очерк римского аграрного законодательства, в котором закон Лициния Столона[49] играет, самое большее, роль звучного аккорда.

---

* Так в тексте. Следует: Рудольф.

Я не сказал пока ни слова о преподавании у нас экономических наук. Одно время оно было всецело в руках Сокальского[50] — филолога по образованию, который с грехом пополам и на расстоянии многих лет собрался напечатать, наконец, диссертацию под заглавием: «Англо-саксонская община». Этот предмет стал мне со временем довольно близок. Достаточно будет сказать об этой книге, что, читая ее, так же трудно придти к мысли о том, что англичанам когда-либо было известно общинное землевладение, как и при чтении «Нормандского завоевания» Фримана[51] или книги Кемпбеля[52] об «Англо-саксах». Нассе[53] был первый, заговоривший о том, что еще до завоевания положено было начало системе открытых полей и крестьянских наделов. Сэбому*/[54] и Виноградову пришлось только углубить и своеобразно развить эту тему в двух отличных друг от друга направлениях. В Сокальском не было и следа самостоятельного исследования, но это был человек умный, хорошо образованный, с заметными симпатиями к социализму, скорее английскому и французскому, нежели немецкому. Да и книга Маркса в то время только что появилась[55]. Сокальский прочел нам довольно интересный курс о статистике населения, ничего не сказал по вопросам нравственной статистики и запрудил нашу память ненужными подробностями по сельскохозяйственной статистике, статистике промышленной и торговой. Мы обязаны ему также изложением в течение целого года истории экономических доктрин. Курс его не был самостоятельным. Он читал, главным образом, на основании книги Кауца, которая в то время была почти единственной в своем роде[56]. Как историк, он, к сожалению, слишком долго останавливался на экономических порядках Древнего Востока и, в частности, Вавилона, о которых в то время знали еще мало. Ведь сколько лет прошло, прежде чем открыта была стела в Сузе с начертанным на ней законом Гаммураби**, современника Авраама, и обнародованы изложенные клинообразным письмом древние вавилонские договоры. Сам Илеринг***/[57] в своем посмертном сочинении более фантазирует на тему древневавилонского экономического и общественного или юридического уклада, чем дает анализ неоткрытых еще в то время источников. Нельзя же винить Сокальского в том, если он до разбора клинообразных надписей из библиотеки Асурбанипала давал нам только ученые à pen près, то есть по-русски — «взгляд и нечто». Это проникновение в дебри истории было, к сожалению, причиной того, что с новейшими экономическими и социальными доктринами нам пришлось уже знакомиться по данному нам руководству, а им были лекции Николая Христофоровича Бунге[58] — киевского профессора и впоследствии министра финансов. Эти лекции написаны были тяжелым языком и передавали различные доктрины в отталкивающем

* Так в тексте. Следует: Сибом.
** Так в тексте. Следует: Хаммурапи.
*** Так в тексте. Следует: Иеринг.

виде. Интересна в них была одна передача мыслей Прудона. Она свидетельствовала о глубоком впечатлении, произведенным на будущего министра финансов тем, что он называл критическим социализмом. Этот критический социализм привлек и меня. Я добыл себе не только «Экономические противоречия», но и «Федеративный принцип» и многие другие томики талантливого французского публициста. Начитавшись его, я в тесном кружке студентов разных факультетов прочел первую свою писаную работу. Это был доклад, озаглавленный «Теория анархии Прудона», в действительности, изложение его «теории взаимности»[59]. «Странный почин для человека, желающего специализироваться по государственному праву», — сказал мне с улыбкой Каченовский, до сведения которого дошло одно заглавие моего реферата. Мой доклад наделал в Харькове достаточно шуму, чтобы привлечь на наши дальнейшие собрания и жандармского генерала Ковалинского[60]. Сходились мы в доме одного молодого и талантливого человека, специализировавшегося по физике[61]. Его жена[62], красивая молодая женщина, очень передовых взглядов, составляла предмет моего нежного восторга, и я старался поделиться с нею тем, что знал о французских социалистах, останавливаясь особенно подробно на теории свободной любви. Она нередко прерывала меня, говоря: «Покажите книжку». Все мои рассуждения разбивались, как об утес, об ее привязанности не к супругу, а к молодому и в высшей степени талантливому врачу, за которого она одно время думала выйти замуж. Но этот олимпиец платил ей за страсть одной холодной дружбой, что глубоко возмущало меня и заставило прозвать его Тентениниковым[63]. Этим прозвищем он нисколько не обиделся и признал его подходящим. Я в своей жизни встречал мало более разносторонних натур: хороший знаток естественных наук — анатомии и физиологии, он вызывал в известном харьковском хирурге Грубе[64] большие надежды и был им оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Мой приятель и одновременно соперник был в то время прекрасный музыкант, любил читать книги по философии и общественным наукам, был красив, говорил хорошо, производил на всех чарующее впечатление. И при всех этих качествах, — при несомненном уме, большой памяти, способности к талантливому изложению — из него не вышло ни ученого, ни профессора, ни сколько-нибудь выдающегося практического врача, ни писателя, ни журналиста, ни музыканта. Должно быть, данное мною прозвище заключало в себе некоторое предсказание. Шабельский — таково было имя этого выдающегося человека. Умер он, состоя на службе в Палате мер и весов, куда определил его Менделеев. При встрече с последним в Париже, я стал распрашивать его о моем старом знакомом и услышал о нем только доброе. И по мнению Менделеева, он был умен и талантлив. Что же помешало ему занять в жизни то положение, какое естественно должно принадлежать уму и таланту[?] — Излишняя скромность. Но она в нем не была заметна. Отсутствие материальных средств[?] Но оно никогда не выступало в резкой форме. Не лежит ли действительный источ-

ник в том, что он не сумел вовремя специализироваться, что, имея разнообразные вкусы и наклонности, он стремился удовлетворить всем им в равной степени, оставаясь дилетантом в то время, как он мог бы сделаться творцом, оставить след, и может быть, глубокий, в естествознании или медицине. Люди несравненно менее способные, принадлежавшие к тому же кружку, но, к счастью для них, односторонние, пробились же на места профессоров и в течение десятков лет загромождали собою кафедры и в провинциальных, и в столичных университетах.

Каченовский не был доволен моим сближением с людьми, которых он заподазривал в готовности идти далее либерально-конституционно-представительной проповеди. При встрече с моей матерью он посоветовал ей держать меня подальше от всех этих «истов». Она и без того была настороже, узнав, что я принимаю участие в каком-то «товариществе потребителей», возникшем несколько лет до нашего вступления в число студентов в Харькове. Это товарищество не преследовало никаких запретных целей, грешило альтруизмом. Оно оказывало широкий кредит в своей столовой людям недостаточным и потому погибло преждевременной смертью. На собрания управлявшего им совета являлся и я, нередко с желчной критикой того порядка ведения дел, которого я был свидетелем. Но люди, стоявшие во главе предприятия, были людьми бессребренными и, если производили иногда нажим на казну, то в чужих интересах. Одного из них я встретил позднее в Москве. Он только что вернулся из административной ссылки с больною женою и без средств. Другие приняли участие в том, что только с большой натяжкой можно назвать революционным движением в Харькове. Все дело ограничивалось разгромом одной полицейской части, с каланчи которой в качестве красного знамени был вывешен кусок материи того же цвета. Начальство пришло в большой переполох. Мнимые революционеры обрили свои бороды, завели синие очки. Кое-кого из глазящей публики забрали. Действительные виновники произведенного переворота исчезли бесследно и даже заняли впоследствии довольно выгодное положение, не имевшее ничего общего ни с социализмом, ни с коммунизмом. Единственным последствием всей этой передряги было то, что за Харьковом установилась репутация «красного города». Последовавшее несколько лет спустя убийство генерал-губернатора князя Крапоткина* еще более упрочило за ним эту несчастную известность[65]. Говоря об этой «вспышке», весьма напугавшей доброго харьковского обывателя и усилившей в нем готовность покоряться предержащим властям, я считаю нужным прибавить, что наш кружок остался ей совершенно чуждым. Благодаря Шабельскому, он обнаружил даже большую политическую проницательность и дальновидность. Я смутно слышал, что какие-то агенты из столиц приехали в Харьков, с целью расположить студентов к затевавшемуся

* Так в тексте. Следует: Кропоткина.

в то время нечаевскому движению[66]. Шабельский пустился с ними в продолжительное собеседование и, распросив их обо всем, пришел к тому верному заключению, что все так называемые центральные комитеты и общие собрания, на существовании которых настаивали прибывшие, сводятся к Нечаеву и кучке его сторонников, что ни один класс русского общества не поддерживает этой затеи, и что было бы, следовательно, безумием связывать с нею улучшение быта рабочих или крестьян. Быть может, ввиду этого отпора, лица, сочувствовавшие заговору, сочли нужным скомпрометировать кое-кого из нас фальшивым доносом. В один прекрасный день моя мать была перепугана появлением на квартиру частного пристава, принесшего для меня повестку от следователя по особо важным делам. Явившись к нему, я узнал, что мне присланы были какие-то прокламации для дальнейшего их распространения. В действительности, я никаких прокламаций не получал. Впоследствии выяснилось, что на меня сделан был донос каким-то студентом Э., фамилии его не привожу, так как он, может быть, еще в живых. Так как ничего другого, кроме этого одностороннего заявления, не было в руках следователя, и он сам, по-видимому, был порядочный человек, то делу не дано было дальнейшего хода, и я не подвергся даже тайному надзору полиции. Когда, несколько месяцев спустя, я вздумал сопровождать мою мать на воды в Карлсбад, мне без всякого замедления выдан был заграничный паспорт. Вспоминаю об этом, с целью показать, что в эпоху так называемых великих реформ произвол администрации введен был в некоторые рамки и что она не разделяла тех взглядов, которые мне еще недавно пришлось выслушать из уст одного товарища министра внутренних дел. Я ходатайствовал перед ним о разрешении бывшему члену Первой Государственной Думы жить в своем имении в Харьковской губ[ернии] и в доказательство сослался на тот факт, что прокурор не счел возможным продолжить начатое против него судебное преследование за так называемую преступную пропаганду. Судебная палата согласилась с прокурором, и дело было прекращено. «Хвалю за это наши суды, — ответил мне сановник, — но тех улик, которые для них недостаточны, для нас более, чем достаточно. Если бы не то глупое время, которое вы, вероятно, называете освободительным, ваш протеже уже давно сослан был бы в Туруханский край, разумеется, в административном порядке, вместо этого, его выбрали в члены Думы и дали ему возможность галдеть». Я ухватился за это последнее завление и честным словом удостоверил, что мой протеже за все время существования Думы не открывал рта. — «Ввиду этого нового и важного сообщения, — ответил мне успокоившийся сановник, — я снесусь с местными властями и, если они ничего не имеют против возвращения вашего помещика в свое имение, ему дана будет возможность сделать это». Оказалось, что местные власти решительно ничего не имеют, и мой товарищ по представительству Харьковской губ[ернии] благополучно мог вернуться восвояси[67].

Лично я в течение моего пребывания в университете был настолько увлечен заботой о саморазвитии, что так называемой повседневной политикой занимался весьма слабо. Меня интересовали общие теоретические вопросы, и в них я шел весьма далеко, склоняясь, как я уже сказал, к учениям так называемого «критического социализма» Прудона. Это социализм не боевой, он ждет изменений в общественном строе не от насильственного переворота, а от медленного изменения самих нравственных понятий людей, от развития человеческой солидарности или от того, что Прудон называл взаимностью (mutualite). Я настолько проникся этими мыслями, что, желая дать им внешнее выражение, заказал себе в Карлсбаде печать, на которой выгравированы были три дорогих мне принципа: свобода, равенство, взаимность. Но моя заботливая мать отобрала эту печать, которою я в моем юношеском энтузиазме вздумал было скреплять мои письма. И, разумеется, к лучшему, а то, пожалуй, возникло бы дело о студенте Ковалевском, его печати и ряде скомпрометированных им лиц. Трудно ведь было допустить, что за этой печатью ничего не скрывается, кроме чисто теоретических пристрастий.

Последние два года моего пребывания в университете прошли в усиленной работе. Под влиянием Каченовского, я уже на 18-м году жизни более или менее остановился на выборе специальности. Я стал серьезно заниматься государственным правом европейских держав. Каченовский склонял меня, правда, в сторону международного права, но оно казалось мне еще настолько висящим в воздухе, так мало обособившимся от общечеловеческой нравственности и вылившимся в общеобязательные нормы, что мне хотелось сосредоточиться на изучении чего-нибудь более положительного. Меня интересовала тогда, как и теперь, тесная зависимость между ростом государственных учреждений и изменениями общественного уклада, в свою очередь вызванными эволюцией экономических порядков. История учреждений и история общественности — таковы были наиболее притягивавшие меня темы. Я прочел довольно много книг, преимущественно на иностранных языках, по истории английского и французского государственного права, а также по вопросам народного представительства. Рассуждения Милля[68] на этот счет, книги Токвиля о «демократии в Америке» и его же «Старый порядок и революция» были в числе моих любимейших сочинений[69]. Я прочел и книгу Чичерина «О народном представительстве», но она мало удовлетворила меня. Англичанин Кокс[70] и француз Батби[71], которыми Каченовский немало пользовался в своем курсе, также прочитаны были мною с большим вниманием. Каченовский не переставал давать мне книги из своей библиотеки, но она не была особенно богата по вопросам государственного права; зато университетская, в которую сочинения выписывались непосредственно из-за границы, по рекомендации профессоров и, по-видимому, минуя цензуру, заключала в себе более, чем достаточно материала для первоклассного ознакомления с европейскими порядками. Книги позволялось брать на дом;

библиотекарь Балясный, родственник Каченовского и которого я часто встречал на его пятницах, с большой обязательностью разыскивал для меня все новую и новую умственную пищу. Частые свидания с дорогим учителем и у него на дому, и во время прогулок по окрестностям счастливо направляли мой выбор, ставили передо мной все новые и новые темы и указывали средства удовлетворить моей любознательности. В провинциальном университете нет той беготни по лекциям, от которой страдают столичные профессора. Каченовский не имел других обязательных занятий, кроме читаемого им в университете курса. Остальное время уходило у него на чтение, подготовку лекций и писательство случайных статей. Они появлялись в «Вестнике Европы» и задевали иногда весьма широкие темы. Так, когда вышло сочинение бывшего министра Пасси[72] «О формах правления и законах, управляющих их выбором» (Des formes de gouvernement et des lois qui les régissent), он посвятил этой замечательной книге подробный разбор, напечатанный им одновременно и на французском языке в журнале «Международного права и сравнительного законодательства», выходившем в Бельгии. Ни книга Пасси, ни разбор Каченовского, однако, не удовлетворяли меня. Бывший министр Людовика Наполеона, которому справедливо ставили в вину, что он остался в кабинете и после насильственного переворота 24-го декабря, проводил красной нитью ту мысль, что большая или меньшая сила правительства и соответственно меньшая или большая сумма свободы, оставляемая в руках граждан, зависит от того, имеются или не имеются налицо так называемые им «разлагающие государство силы» (forces du déroute). Этими силами он признавал одинаково и национальную и классовую рознь. Вся история человечества подводилась им под один знаменатель. Периклова демократия искусственно вводилась в эту схему наряду с аграрным переворотом, затеянным Гракхами, и с социальной революцией 48 года, с целью показать, что за ними необходимо следует олигархия и цезаризм. Каченовский спорил с Пасси в частностях, но принимал его основную мысль; она исключала возможность признания поступательного порядка в развитии государства. Она противоречила идее политического прогресса и косвенно противилась допущению дальнейшего развития демократии наряду с свободой. Я не удержался от того, чтобы не высказать Каченовскому моих сомнений. Он, разумеется, нимало не разделил их, но его научная терпимость была настолько велика, что он нисколько не поставил мне в вину моего юношеского задора и охотно обсуждал в наших общих прогулках частности широкой темы, нас разделявшей.

Иногда в своих работах он далеко уклонялся от своей специальности, увлекаясь, напр[имер], эпохой итальянского Возрождения и посвящая целый ряд статей флорентийским рабочим, предшественникам и современникам Джотто, — тем рабочим, которым мы обязаны постройкой Собора «Божией Матери с Цветком» и других флорентийских храмов, в том числе Сан-Димиато, ныне кладбищенской церкви.

Каченовский был большим любителем Шекспира и, говоря нам о веке Елизаветы, умел использовать его трагедии и комедии для характеристики тогдашнего английского общества. Не меньшую разносторонность обнаруживал и другой наш профессор — Станиславский, известный своим переводом Данте на польский язык.

Так как для меня знакомство с Каченовским имело большое воспитательное значение и так как его личность, по-моему, доселе не получила той оценки, какую она заслуживает, то я позволю себе сообщить о нем несколько подробностей, не лишенных интереса для истории нашей культуры. Я однажды уже писал о Каченовском, но мои воспоминания появились в «Записках» более не существующего Харьковского Юридического Общества[73]. Я бы мог ограничиться перепечаткой ранее сказанного, но этих «Записок» нет у меня под рукою. Постараюсь припомнить то, что я слышал от него и что говорили мне о нем знавшие его лица. Он был сыном мелкого чиновника Орловской губ[ернии]. С большим трудом проведен был через гимназию и университет рано овдовевшей матерью, если не ошибаюсь, при некоторой денежной поддержке богатой купеческой семьи Кузиных в Харькове. Еще в университете он научился английскому языку, а также французскому и немецкому, — научился настолько, что мог свободно писать на первых двух. Побывал в Москве, он познакомился с Грановским и Кудрявцевым[74], которые, по-видимому, оказали на него воспитательное влияние. Отправленный за границу для приготовления к профессорскому званию, он побывал не только в Париже, но и в Лондоне, и в Оксфорде. Здесь он прочет лекцию «О новейших успехах международного права», — лекцию, преисполненную имен, кратких и метких характеристик. Она составляла для нас камень преткновения, так как включаема была в более распространенном виде в курс, вообще отводивший немалое место литературе международного права. В Оксфорде и Лондоне, а также в Брюсселе и Льеже Каченовский завязал сношения с многими профессорами и специалистами по его предмету. Некоторыми его знакомствами я и сам воспользовался впоследствии. Адвокат Вестлек[75], занявший уже при мне кафедру международного права в Кембридже, восторженно отзывался о Каченовском и охотно поместил в журнале «Международного Права» в Брюсселе, которого он был одним из редакторов, мою заметку о его курсе. Из той же английской среды вышел со временем и переводчик известной докторской диссертации Каченовского «О каперах и призовом судопроизводстве — доктор Пратт[76]. В Лондоне Каченовский познакомился и с Герценом, в то время издававшим «Колокол»[77]. Впоследствии, в разговоре со мною, душеприказчик Герцена Вырубов[78] рассказывал мне, как часто молодой ученый, хорошо принятый в доме великого русского публициста, спорил с ним, между прочим, по вопросу о том, насколько народное право может считаться таковым. «Поезжайте мирить итальянцев с австрийцами, — говорил ему шутя Герцен, — увидите тогда, много ли вы добьетесь с вашим международным

правом». Жив был бы Каченовский, он, вероятно, разделил бы скорбь людей, которые, как Лист[79], не теряя веры в том, что в отношениях государств рано или поздно установятся нормы права, являются ныне беспомощными свидетелями самого грубого нарушения элементарнейших начал международной справедливости. К чему было вписывать в закончивший Крымскую войну Парижский мир[80], что впредь не должно существовать другой блокады, кроме реальной. К чему было заключать новую Лондонскую конференцию 1907 г. для установления правил морской войны[81]. Ведь ни Англия, ни Германия не считаются ни с чем при проведении в жизнь весьма спорного начала, что владычество над морями должно принадлежать им одним. Подумаешь, мы снова вернулись к тем временам, когда Гуго де Гроту[82] приходилось писать свое рассуждение о «Свободном море» (Mare liberum), в опровержение притязаний столько же Португалии, сколько и самой Англии, знаменитый юрист которой Сельден[83] истолковывал ее* взгляды в своем Mare clausam. К чему также все рассуждения о правах нейтральных государств, когда Германия, нарушая принятое Пруссией еще в 30-х годах обязательство, вводит свои войска в Бельгию, милостиво предлагая вознаградить ее за причиненные тем убытки. Какое также противоречие представляет то положение, что война ведется только между враждебными армиями и то метание бомб на частные жилища с высоты аэро- и гидропланов, которыми так бесстыдно гордится народ — носитель культуры, каким считают себя немцы. Мне припоминается, как, склоняя меня к занятию международным правом, Каченовский рекомендовал избрать темой для диссертации разбор всех тех нарушений, какие Наполеон и его маршалы позволили себе по отношению к признаваемым уже в их время общеобязательным нормам военного права и нейтралитета. Я говорил ему, шутя, что этих нарушений, пожалуй, больше, чем самих правил и что меня пугает безбрежность возлагаемой на меня задачи. Но разве не то же самое повторяется и ныне на расстоянии более 100 лет. Разумеется, все это не доказывает того, чтобы скептицизм Герцена был последним и решающим словом — быть или не быть праву международному. Многое, перед чем останавливаются воюющие в наши дни, не стесняло бы совести ни крестоносцев, ни тех варварских народов, которые положили конец существованию Римской империи. Прямолинейного прогресса история не знает ни в чем. Поступательный ход человечества идет по кривой линии с частыми поворотами назад.

Каченовский в течение всей жизни, несмотря на свои препирательства с Герценом, не из-за одного международного права, но и ввиду его поворота в сторону социализма и идеализации русской сельской общины с ее уравнительными переделами, остался горячим поклонником редактора «Полярной Звезды» и «Колокола». В одну из последних прогулок, какую мне пришлось сделать с ним,

* Так в тексте. Следует: его.

за несколько месяцев до его кончины, он, сообщая мне о пришедшем известии, что Герцен умер в Париже[84], почти машинально снял шляпу. Мы шли рядом. Никто не мешал свободному обмену мыслей между нами, и я услышал из уст моего дорогого учителя нередко прерываемую кашлем блестящую импровизацию. В немногих фразах он передал все значение Герцена для нашей еще молодой гражданственности: его протест против крепостной неволи, его поход против могущества бюрократии, прикрывающейся фактически несуществующим самодержавием, его проповедь религиозной терпимости, свободы мысли и слова, наконец, ту самостоятельность, какую он обнаружил в оценке самой европейской культуры, в которой далеко не все казалось ему заслуживающим подражания. Один только человек пошел, как мне кажется, еще дальше Каченовского в своем понимании того, что был для нас Герцен, — это его душеприказчик Григорий Николаевич Вырубов, провозгласивший Герцена нашим Вольтером, т.е. воспитателем целых поколений, а не ограниченным временем и пространством политиком, — вождем партий.

По возвращении из-за границы Каченовский отдался своему одновременно ученому и общественному служению. Он воспитал длинный ряд поколений в идеях гражданского равенства, публичной свободы, народного самоуправления. Когда на очередь поставлен был вопрос об отпущении крестьян на волю, Каченовский стал отводить в своем курсе десятки лекций историческому очерку возникновения, развития и падения рабства и крепостного права на Западе и, в частности, торга неграми. Когда русское общество заинтересовалось новыми судами и местным самоуправлением, из его лекций студенты имели возможность познакомиться и с мировым институтом, и с учреждением присяжных, и с земскими порядками, как Англии, так и континентальных государств Европы. Происходивший во Франции спор о централизации и децентрализации, — спор, в котором на одной стороне стояли Тьер[85] и Дюпон-Уайт[86], а на другой — Токвиль и Право-Парадоль[87], излагаем был с кафедры, с целью ввести русских юристов в сферу тех интересов, из-за которых насаждались у нас новые порядки губернского и городского управления. Кто хотел ближе познакомиться с делом, тот получал из рук Каченовского не одни указания книг и брошюр, но нередко и самые сочинения. Под его влиянием я стал интересоваться и ходом развития административного права во Франции со времен, когда Ришелье положены были начала централизации в лице интендантов[88] и до тех, когда Кормен[89] и Вильмену[90] удалось поднять сперва в печати, а затем и в законодательных собраниях вопрос о необходимости ограничить власть префекта — этого нового интенданта, вызванного к жизни Наполеоном I, выборными советами, так называемыми общими советами департаментов. Каченовский сильно настаивал также на необходимости порвать с традицией административной опеки, сделать возможным судебный контроль за чи-

новниками, создав у нас подобие того contonteux administratifs*, тех административных судов, какие стали не столько возникать, сколько возрождаться во Франции с эпохи Реставрации и июльской монархии. Он, разумеется, ничего бы не имел и против того, чтобы правительственные агенты подлежали той же подсудности, что и обыкновенные граждане, как это имеет место в Англии. Но, считаясь с действительностью, с веками созданным всемогуществом дьяков-чиновников, он готов был помириться и с привитием к нам французских порядков административной юстиции. Но так как ни местное самоуправление, ни институт присяжных, ни несменяемость судей, — этот лучший залог их независимости, немыслимы при самоуправстве чиновников, то Каченовский прежде всего стал за систему народного представительства, за существование ограничивающих административный произвол избираемых палат, законодательствующих, голосующих ежегодно государственную роспись и осуществляющих контроль за органами исполнения. Назвать его сторонником парламентаризма в тесном смысле слова я бы не решался, но он стоял одинаково и за солидарность, и за ответственность всех членов кабинета, ответственность судебную столько же, сколько и политическую. При тогдашних условиях он не мог прямо высказывать своих мыслей, а воплощал их в исторические очерки судеб английского парламента, венгерского сейма, представительных палат Франции, Пруссии и Австрии. Занятие им дополнительной кафедры государственного права европейских держав открывал для него возможность такой косвенной проповеди идей конституционализма и публичной свободы граждан. Но как самостоятельный исследователь, он выступал только в сфере своей ближайшей специальности — международного права. Его магистерская диссертация «О свободе плавания на морях»[91] осталась ненапечатенной, но того же нельзя сказать о том прекрасном исследовании по источникам первых рук, каким является его монография «О каперах и призовом судопроизводстве»**/[92]. Она, как я уже сказал, была переведена на английский язык и ссылки на нее можно встретить во многих заграничных руководствах, между прочим, в известном курсе англичанина Лоримера[93] «О международном праве». Статьями Каченовского дорожили в международном журнале по тому же праву, выходившем и доселе продолжающем выходить в Брюсселе***. Свой курс Каченовский стал печатать отдельными выпусками. Их вышло всего 2. Но курс заключал в себе достаточно материала для целого десятка их. Из ненапечатанных

---

* Юридическая администрация, административные суды (*франц.*).

** Каченовский. О каперах и призовом судопроизводстве в отношении к нейтральной торговле. М., 1855.

*** «Revue de droit international et de législation comparéé» («Журнал международного права и сравнительного законодательства».

отделов весьма интересным представляется очерк итальянской дипломатии эпохи Возрождения и выработки в Италии некоторых основ того международного права, которое впоследствии нашло себе признание при заключении Вестфальского мира. Дальнейшая судьба того же права изложена была Каченовским частью по работам Лорана, частью по известной книге Витона[94]. Обширный отдел отводим был им анализу сочинений старых юристов, начиная с предшественников Гуго де Грота и оканчивая представителями нового принципа в международных сношениях, — принципа национальности. Слушатели могли познакомиться, таким образом, и с теорией естественных границ и с учением о европейском равновесии не только в сочинениях отдельных писателей, но и в попытках реального проведения их в жизнь. Догматическую часть курса Каченовского составляли обычные отделы о самодержавии, равенстве государств и т.д., и т.д. Но он вводил также в свое изложение попытки международного решения авторского права, почтовые и телеграфные конвенции и торговые договоры. Особенно обстоятельно обработан был им отдел военного права и нейтралитета, а всего слабее — частное международное право, так как Каченовский нимало не был цивилистом. Отпечатанные выпуски касались вопроса о положении международного права в ряду других юридических дисциплин и истории его зарождения в древности и в средние века. Одно время Каченовский собирался издать вместе с профессором Капустиным[95] обширный трактат по международному праву, но вскоре оказалось, что их взгляды несогласимы и каждый пошел своей дорогой. Немало также ценных статей напечатал Каченовский в журнале, издаваемом в 60-х годах Евгенией Тур (графиня Самас[96]). Я помню заглавие одной из этих статей: «О характере французов и англичан». Это своего рода опыт сравнительной народной психологии, отразивший на себе влияние того раздражения, какое вызвало в передовых кругах всей Европы переход Франции от республиканских порядков [18]48 г. к цезаризму Наполеона III. И Каченовский уплатил дань тому довольно распространенному в 60-х годах воззрению, что чрезмерное увлечение идеей равенства заставило французов пожертвовать своей свободой, так что у читателя могло составиться то неправильное представление, что всеобщее право голосования в такой же мере ведет к тирании, как представительство одних владельных классов — к ограниченному, конституционному образу правления. Французскому народу не могли простить плебесцита, давшего, так сказать, отпущение грехов виновникам кровавого переворота 24 декабря 1851 года[97]. Не знаю, по какой причине сочинения Каченовского до сих пор не нашли издателя. Некоторое объяснение я нахожу в том обстоятельстве, что Стоянов, сменивший его на кафедре международного права, вместо того, чтобы издать, как мы ожидали, его лекции с некоторыми библиографическими указаниями, переработал их в самостоятельный курс, который и вышел с предисловием, гласившим, что читателю самому предоставляется решить, что внесено им нового в лекции Каченовского[98]. Я не мог одобрить тако-

го приема и открыто высказался на этот счет в статье, напечатанной мною в брюссельском «Журнале международного права», и это испортило наши отношения и заставило перенести мой магистерский экзамен в Москву. Вместо того, чтобы сделаться харьковским профессором, я благодаря этому стал в течение 10 лет преподавать государственное право в первопрестольной. Но об этом я еще буду иметь случай сказать более подробно впоследствии. Последние годы своей жизни Каченовский провел в упорной борьбе с медленно подтачивавшей его чахоткой. Он не хотел оставить преподавание, да и не мог этого сделать по недостатку средств. Нередко голос настолько изменял ему, что он просил меня читать со скамьи, частью составленную, частью только исправленную мною запись его курса. Он изредка прерывал меня, чтобы внести нужные дополнения и разъяснения. Этот курс перед моим отъездом передан был мною Стоянову и более ко мне не вернулся. Мы отнесли дорогого учителя на руках в его усыпальницу. Много речей было произнесено на его могиле, появилось несколько коротких отзывов о его жизни и затем он был забыт на долгие года, если не навсегда. А между тем, он вправе считаться у нас первым и, как я полагаю, самым блестящим представителем кафедры международного права. Мартенс приобрел, правда, более громкое имя своей деятельностью в «Международном институте» в Генте[99]. Его курс переведен был на все языки. Он принимал участие, как служащий в дипломатическом корпусе, в заключении международных договоров. Он связал свое имя с изданием многотомного сборника «Трактатов России с иностранными державами»*. Он прожил достаточно долго, чтобы дать все то, что может дать человек, поставленный в самые выгодные условия для научной, преподавательской, дипломатической и журнальной деятельности. Каченовский не имел такого простора. Он всю жизнь свою оставался провинциальным профессором. Начальство косилось на него, заподазривая в либерализме. Как руководитель левого меньшинства в университетском Совете и как убежденный западник, он подвергался гонениям со стороны националистов. Одно время поставлен был вопрос о том, чтобы отставить его от кафедры, ввиду резкого отношения к славянскому съезду в Москве[100]. В помещичьей среде его не любили, считая горячим противником крепостного права, чем он и был на самом деле. Я в детстве слышал его имя, сопровождаемое эпитетами интригана и заговорщика. Мне в то время и в голову не могло придти, что этому человеку суждено будет сделаться моим настоящим воспитателем и определить мою дальнейшую деятельность.

Я не сказал пока ни слова о некоторых других профессорах, которых мне пришлось слышать на 3 и 4 курсе. В числе их был всеми уважаемый старик Палюмбецкий[101], профессор уголовного

* Собрание трактатов и конференций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. I—XV. Спб., 1874—1909.

права. Его курс отличался большой отвлеченностью и потому с трудом был усваиваем студентами, но о редком профессоре можно сказать, что он доводил свои лекции до такой законченности и полноты. Палюмбецкий почти ничего не писал, но он внимательно следил за литературой своего предмета, постоянно совершенствуя свой курс. Нужно ли прибавлять, что он был представителем классической школы. В то время еще не было речи о каких-либо сомнениях насчет ее незыблемости. Ламброзо[102] и его последователи вызвали настоящий переворот в постановке уголовного права только много лет спустя. Следуя немецким авторитетам, Палюмбецкий посвящал изложению различных теорий наказания целые десятки лекций. Мы затверживали, что наказание, как определил его Гегель, есть отрицание отрицания, которым, в свою очередь, признавалось преступление. О необходимости считаться с наследственностью или с общественной средою, как с ближайшими факторами преступности, нам с кафедры не говорилось. Самое большее, если лектор затрагивал эти темы в своем учении об увеличивающих и уменьшающих вину обстоятельствах. Зато догматический анализ преступности производим был очень тонко, и лектор нередко высказывал соболезнование о том, что положительные законодательства не принимали в расчет всех тех различий, какие теоретикам угодно было установить, напр[имер], в таких вопросах, как пьянство. Он насчитывал три его ступени: первая определялась им таким образом: «Неумеренная веселость и увеличенная деятельность фантазии, которая переходит в быструю, беспорядочную смену представлений и соединяется с некоторым потемнением самосознания». Третья тем существенно отличалась от предшествующих, что «завершалась глубоким сном». За исключением православного катехизиса, ни один предмет не требовал от нас большего упражнения памяти, как эта уголовная метафизика. Лектор был строгим экзаменатором и требовал от нас близкого к тексту ответа.

Политическая экономия преподаваема была Сокальским, — человеком с исторической начитанностью и несомненным тяготением к французскому социализму, но без достаточной эрудиции в собственной специальности. На экзамене он попрекнул меня тем, что я не вполне вдумался в его систему. Но на самом деле никакой самостоятельной системы у него не было, а были только попытки примирения классической теории английских экономистов с критикой Сисмонди[103], сен-симонистов и отчасти Прудона.

Факультет постепенно стал обогащаться новыми силами, которых Сокальский сумел привлечь к преподаванию как прикладной части политической экономии, так и финансового права. Первая читалась под именем права полицейского молодым приват-доцентом Гаттенбергером, который при мне начал свою карьеру, к сожалению кончившуюся преждевременно, благодаря ранней смерти. Мы научились у него многому, что совершенно оставлено было втуне Сокальским, а именно: теории кредита, банков и денежного обращения; теории биржевых сделок, теории железнодо-

рожного обращения. Финансовое право одно время стал читать у нас немец Валькер. Но он так плохо владел русским языком, что скоро остался без слушателей и предпочел уйти. Его заменил известный в настоящее время всей России председатель бюджетной комиссии Михаил Мартынович Алексеенко[104]. Он был еще очень молод, преувеличивал нашу способность к усвоению цифровых данных и отводил, к сожалению, чересчур много места в своем курсе истории русской налоговой системы со времен Московского царства. В числе обязательных предметов для всех студентов было и богословие, и судебная медицина, и русская история. Богословие читалось даже два года, — апологетическое и догматическое. Лекции слабо посещались: профессор не мог, к сожалению, забыть собственной диссертации «О религиозном органе»*/[105], излагал нам ее в подробностях, отводя много места полемике с Фейербахом, Штраусом и Ренаном. Почти никто не готовился у него к экзамену. Подметив его слабость к разносу материалистов, мы, обыкновенно, довольствовались ожесточенными нападками на них в наших ответах и получали за то удовлетворительную отметку.

Гимназическая подготовка к естественным наукам была настолько слаба, что преподавателю судебной медицины Залесскому[106], очень способному и многообещавшему лектору, приходилось уделять чуть ли не половину своего курса сообщению нам необходимых сведений по анатомии и физиологии. К экзамену мы готовились по Шайнштейну**/[107], книга которого незадолго перед тем была переведена на русский язык.

Всего неудачнее было поставлено преподавание русской истории. Ученик Соловьева Ген[надий] Карпов[108], уверяя нас, что следует методу своего учителя, читал нам летопись Нестора с слабыми комментариями и старался заинтересовать нас спорами князей из-за занятия Киевского стола. Мы не в состоянии были разделить его пристрастие, и он, уступая нашему нескрываемому желанию расстаться с ним, как можно скорее, покинул кафедру, не доведя своего курса до конца.

И вот, настала для меня пора окончательного экзамена. Его приходилось сдавать по всем предметам, прочитанным нам за 4 года. В короткий срок мы должны были перечитать массу тетрадей; некоторые изнемогали от непомерных усилий и не довели дело до конца. К числу их едва не присоединился и я. Но мать пригрозила мне, что уедет за границу одна, и я, не дочитав некоторых билетов, решился пойти на экзамен к Каченовскому. Судьба отнеслась ко мне жестоко, но справедливо. Я вынул нечитанный мною билет о влиянии международного права на исторические судьбы человечества. Выслушав мой ответ, Каченовский заметил мне, что я говорил не на тему и развивал перед ним свои мысли о

---

* Добротворский В.И. О религиозном органе в душе человека // Духовный вестник. 1895. Кн. 10—12.

** Так в тексте. Следует: Шауэнштейн.

влиянии исторических судеб человечества на изменение международного права. Эти мысли он считает, однако, правильными и отвечающими историческим данным, но так как они все же не могут считаться ответом на поставленный вопрос, то он, к сожалению, принужден уменьшить отметку. Чтобы исправить ее, мне пришлось затем уже по сдаче всех экзаменов дать письменный ответ по одному из вопросов международного права, и на этот раз мне не повезло. Пришлось писать на тему: «О влиянии христианства и отцов Церкви на установление понятий о международной справделивости». Я пустился в общие соображения и в одном месте приписал одному духовному отцу то, что было сказано другим. Исправив эту ошибку, Каченовский назвал свое поведение последней придиркой, поставил мне желанное «5» и дал мне возможность выйти из университета первым кандидатом.

Если я спрошу себя в настоящую минуту, что дал мне университет за 4 года моего пребывания в нем, то я должен буду по чистой совести сказать, что он не сделал из меня юриста. Любой немецкий студент выходит с большими познаниями в области цивилистики и криминалистики. Но зато он свободен от обременения своей памяти целым рядом данных, без которых может обойтись юрист-практик, как и юрист-теоретик. Для него не обязательны ни статистика, ни богословие, ни даже отечественная история. Зато он знает не только римское, но и каноническое право, которого у нас вовсе не читают. Стать доктором utriusque juri* можно было в Германии только под этим условием. Университету я обязан, если не говорить о специальной подготовке по государственному и международному праву, прежде всего и главным образом, моим общим развитием. Он вызвал во мне известные запросы, породил определенные научные воззрения, дал направление моей не только теоретической, но и практической деятельности, оказал на меня не только образовательное, но и воспитательное влияние. И всего этого он достиг не одними лекциями и практическими занятиями, но и открытием мне возможности тесного товарищеского общения, возможности кружковой жизни с людьми, для которых не менее меня было дорого выработать себе определенное миросозерцание с помощью чтений и живого обмена мыслей. Вот почему сводить роль университетов к одним лекциям и семинариям, относиться к студентам как к посторонней публике, с которой профессор входит в непосредственное общение только на экзамене, препятствовать образованию между слушателями научных кружков и сходок, запрещать им посещение лекций на других факультетах, кроме избранного ими, отказываться от всякого личного обмена мнений с ними, от подачи им советов и литературных указаний, — равнозначно сведению университета к роли специальной школы, роли, при которой он не может служить воспитанию и всестороннему развитию подрастающих поколений. Ранняя специ-

* Обоих прав (*лат.*).

ализация в моих глазах является не полезною, а вредною. Те, кто пожелает посвятить себя научной работе и углублению в избранный ими предмет, найдут для этого достаточно времени в годы, предшествующие магистерскому экзамену и работе над диссертацией. Но кто в годы, когда не сформировавшийся еще ум ищет для себя решения основных вопросов жизни и духа, не найдет средств удовлетворить этому вполне естественному желанию на студенческой скамье, — останется навсегда недоконченным в своем развитии человеком. Даже для специальности необходима возможно широкая общая подготовка. А она особенно нужна там, где, как в России, средняя школа оставляет значительный пробел. Харьковский университет оказал мне ту услугу, что позволил мне заполнить эти пробелы и дал мне направление для моей дальнейшей деятельности. И за это, пожалуй, более воспитательное, чем образовательное, влияние, я сохранил о нем добрую память.

Глава II
Годы заграничного ученичества и странствий

А) Прага и Вена. Берлин

I.

Моего учителя более не было в живых. Каченовский умер на моих руках. Я провел с ним последний день его жизни. С Каченовским исчез человек, в значительной степени определивший мою дальнейшую судьбу, зародивший во мне первые семена политического свободомыслия, давший мне первые сведения о конституционных порядках западноевропейских стран, вызвавший во мне желание посвятить себя проповеди тех начал гражданской свободы, местного самоуправления, народного представительства и судебной ответственности всех органов власти от высших до низших, исторический рост которых он так умело излагал в своих лекциях об английской конституции. Я был оставлен при Харьковском университете для подготовления к профессорскому званию уже после его кончины, но на основании его рекомендации. Моя кандидатская диссертация — «О национальных движениях в Австрии и о соглашении чехов с немцами в министерстве Гогенварта»[1], вероятно, вызвала бы с его стороны немало возражений. Он был западник в довольно узком смысле. Славянофильское движение[2] он не прочь был смешивать с панславизмом[3]. Его интересовал не подъем народностей из-за отстаивания их вековой культуры, а мирное сожитие подданных без различия национальностей и веры под кровом свободных учреждений. Австрия получила их в 1861 г., благодаря либеральной, но централистической конституции Шмерлинга[4]. Она восполнила и исправила ее односторонность признанием исторического права Венгрии на автономное существование под кровом общей династии и без разрыва политического единства с землями Габсбургской короны. Соглашение, состоявшееся при ближайшем участии Деака в 1867 г.[5], положило начало той системе дуализма, на которой доселе держится строй Австрийской империи. Каченовский весьма сочувственно относился к этой системе. Он видел в ней признание не права отдельных национальностей на политическое самоопределение, а торжество вековой венгерской конституции, одной из тех, которая вместе с шведской сохранила, подобно английской[6], свои глубокие исторические корни и обеспечила народу голос в делах страны. В своих лекциях по государственному праву европейских держав Каченовский охотно отводил значительное место изложению исторического развития венгерской конституции. Благодаря ему, мы впервые узнали, какую роль сословные палаты средних веков, и в числе их венгерский сейм, сыграли в отстаивании прав народа на самообложение и на законодательство. Нас пленяла та смелость, с которой

венгерские магнаты умели отклонять неприемлемые в их глазах предложения имперского правительства своим гордым ответом, превратившимся постепенно в конституционную формулу и гласившим на латинском языке до 1848 г., употребительном в сеймовом делопроизводстве: «panemus ad asta», что, в сущности, значило — «сдаем в архив». С тех пор, как венгерская конституция была признана Австрией и сейм получил ту же самостоятельность, какой в Цислейтании[7] пользуется рейхсрат, с тех пор, как над обоими возвысилось новое политическое здание обеих «делегаций», призванных обсуждать вопрос войны и мира и имперских финансов с общим для обеих половин империй министерством, Каченовский считал законченным дело преобразования абсолютной и бюрократической монархии, какой Австрия осталась и после революции 1848 г., в конституционную и до некоторой степени федеративную империю. Под ее кровом, полагал он, легко могли ужиться немцы, чехи, поляки и хорваты. Оставалось только отказаться от национального сепаратизма и исторической романтики, побуждавшей их говорить о восстановлении короны св. Венцеслава[8], или о слитии всех южных славян в одно сербское королевство, которое бы с перерывом в несколько столетий вернуло их ко временам Стефана Душана[9], или еще о возрождении Речи Посполитой[10], что было немыслимо при нежелании одинаково Пруссии и России отказаться от своего польского наследия. Каченовский, разумеется, не был сторонником раздела Польши и охотно приводил в своих лекциях, говоря о Священном союзе[11] то прозвище, которое дали ему французские либералы, назвав его «уксусом трех воров» (vinaigre de trois voleurs)*, но прошлое должно было остаться прошлым, а вызвать его снова к жизни обещало только море крови. С Косцюшко[12] настал им же признанный конец Польши (finis Polonize). Да и сама эта Польша была, ведь, в действительности не более, как аристократической анархией, с ее подавлением крестьянства, с ее отсутствием среднего сословия, с ее liberum veto**, или правом каждого члена сейма тормозить своим отказом принятые большинством решения. Недаром же русское, французское и саксонское золото не раз было решающим фактором в ее исторических судьбах. Говорить о возрождении таких порядков и предпочитать их конституционной свободе с признанием представительства на Галицийском сейме и «неотъемлемых вольностях» казалось Каченовскому более, чем неблагоразумным. Это значило в его глазах идти против духа времени, не считаться с историческим ходом событий, не сознавать преимущества конституционной системы над сословными делегациями.

---

* Так у Ковалевского. Видимо, он имеет в виду «Vinaigre guatre brigand» — «уксусный настой четырех разбойников» — очень крепкий настой на полыни, лаванде, руте — в переносном смысле — «заморочивание мозгов».

** Либеральное вето (*лат.*).

Слушая Каченовского, я и мои товарищи, нисколько не початые* проповедью славянофильства, которое в Харьковском университете, однако, было представлено братьями Лавровскими[13], вожаками правого крыла университетского совета и не переставшими враждовать с нашим дорогим учителем, мы в то же время не могли отказаться от мысли о явной несправедливости, какую представляло признание права политического самоопределения за венграми и немцами и отказ в нем самой культурной из всех славянских национальностей Австрии — чехам. Мои частые поездки в Карлсбад, куда я сопровождал свою мать и сам начинал уже лечиться от невыгодных последствий унаследованной от родителей полноты и не вполне здоровой печени, открывали мне возможность бывать и в соседней Праге.

В год, предшествовавший франко-прусской войне[14], я не удовольствовался посещением одной чешской столицы, но предпринял путешествие по всей Богемии, побывал в Пильзене, прошел пешком из Карлштадта в Бераун, наконец, на целые недели поселился в Праге. Здесь мне пришлось встретиться с двумя русскими профессорами — Малышевым и Кочубинским[15], которые и ввели меня в чешскую среду. Малышев одно время был дипломатом, а затем занялся изучением истории южных славян и, в частности, долматинцев. Он занимал кафедру в Варшавском университете и приехал для научных работ в Прагу. Кочубинский был славистом и занимал кафедру в Одессе. Из двух мне всего более по вкусу пришелся 1-й. Это был человек светского обхождения, довольно независимый в своих взглядах, не тянувший, подобно Кочубинскому, к редакции «Московских ведомостей»[16] и не проникнутый, подобно тому же Кочубинскому, мыслью, что вне России и православия для чехов нет спасения. Палатского[17] и Ригера[18] в это время не было в Праге. Из глав старочехов[19] один Браунер[20], как городской голова, не мог отлучиться на лето и жил на даче в окрестностях города. Я очень любезно был принят им и остался у него обедать. Жена его, родом немка, не в состоянии была овладеть своими чувствами и сказала мне с горечью, что рознь немцев и чехов так велика, что ей невозможно было пригласить за одну с нами трапезу 2-х своих братьев, служивших в австрийской армии. Знакомство с Патера[21], со временем сделавшимся директором Чешского музея и жившим в дружеском согласии с многими выдающимися деятелями и журналистами, ввело меня в круг старочешской партии. В ней можно было встретить людей, так сильно русофильствующих, что они, как напр[имер], если не ошибаюсь, Панкас[22], корреспондент «Московских ведомостей», в интересах славянского единства сочли нужным даже перейти в лоно православной церкви. Старочехи дружили и с крупными собственниками Богемии, как, напр[имер], с гр. Туном[23]. Земельная аристократия чешской части Богемии была проникнута национальным при-

* Так в тексте.

страстием и поддерживала движение, созданное Палатским и Ригером. Палатский в это время был предметом всеобщего культа. Его «История чешского народа» была своего рода откровением. Она напомнила современникам о величии и славе, окружившей собою корону св. Венцеслава, о жестоких утратах, понесенных чешским народом со времен Белогорского сражения[24] и о необходимости восстановить подавленную немцами чешскую самобытность под кровом Габсбургского дома[25]. Палатский был, как известно, душою созванного в 1848 г. в Праге Славянского съезда[26] и автором проекта конституционного устройства Австрии на началах национальной автономии. Богемия, Силезия и Моравия должны были составить, по его проекту, триединое королевство. Ведь входили же они когда-то в состав короны св. Венцеслава.

Ригер, женатый на дочери Палатского, примыкал к нему всецело. Но было бы большой ошибкой, несмотря на их симпатии, высказываемые обоими по отношению к России, как самому могущественному славянскому государству, считать вожаков старочехов русофилами и панславистами. Ригер весьма определенно высказался в обратном смысле на Славянском съезде в Москве[27] и протестовал не хуже Крамаржа[28] в наши дни против подавления в России польской национальности. Оба также мало стремились к отпадению от Австрии, как и уцелевшие эпигоны старочехов, с которыми мне не далее, как в прошлом году пришлось разговаривать в Карлсбаде. Один из них, профессор истории в Чешском университете, недоумевал, как может Крамарж высказываться против присоединения Боснии и Герцоговины. Ведь интересы реальной политики для славян Австрии лежат, прежде всего, в приумножении их числа. Чем больше будет последнее, тем легче будет и чехам добиться признания своей автономии под кровом Габсбургского дома и равноправия своего языка с немецким. Старочешское движение озабочено было, прежде всего, развитием в народе самосознания, столько же чешского, сколько и славянского. И в этом отношении деятельность Палатского и Ригера была вполне успешной. Я поражен был во время моих странствий по Чехии, как жутко относится население к малейшему национальному успеху. При мне в Пильзене в число директоров знаменитой пивоваренной компании избран был чех на место немца. И это подало повод к ликованиям и к устройству подобия банкета, на который был приглашен и я, разумеется, банкета с националистическими речами и тостами в честь чешского народа.

Во время моей прогулки пешком из Карлштадта в Бераун мне пришлось с моим проводником сделать полуденный привал у опушки леса, где собрались и работавшие в поле крестьяне. Узнав, что я русский, они приветствовали во мне брата-славянина и пригласили распить с ними бутылку пива. В Праге в то время, когда я посетил ее в конце лета 1870 г., только и было речи, что о расширении Чешского музея, о постройке Чешской оперы, об увеличивающемся спросе на чешские газеты и на передававшую на немецком языке их точку зрения газету «Politik».

Мои старочешские знакомые несколько чуждались шедшей в это время быстро в гору младочешской партии[29]. Ей ставили в вину ее польские симпатии и ее демократизм. Мне удалось, тем не менее, познакомиться с одним из выдающихся лидеров — младочехом. Его звали Наперстек[30]. Он долгое время прожил в Америке, составил себе там некоторое состояние, проникся, как говорил мне Патера с некоторым осуждением, американским демократизмом и не прочь был заразить им и чешскую среду. «Народные листы» — орган младочешской партии, руководимый в то время Сладковским[31], имел уже большой тираж.

Гогенварт, стоявший в более близком отношении к старо-, чем к младочехам, задумал покончить с их оппозицией отказом от всякого участия в рейхстаге путем прямого соглашения с главами старочехов и, в частности, с чешской землевладельческой аристократией. Доктор Шефле*/[32] — известный немецкий экономист и социолог, исполнявший некоторое время обязанности профессора политической экономии в Венском университете наряду с знаменитым Лоренсом Штейном[33], был уполномочен в качестве одного из членов Цислейтанского кабинета, войти в Праге в сношение с Клам-Мартинецом, Шварценбергом, Лео Туном и другими чешскими аристократами, действовавшими в данном случае заодно с Ригером. Он выработал с ними основы того соглашения (Ausgleich), при котором чехи готовы были принять участие одинаково в местном сейме и в Цислейтанском парламенте.

Бывая раньше в Вене, я не раз заходил на лекции профессора Шефле, который слыл под шутливым названием социал-аристократа за свое известное сочинение: «Капитализм и социализм»[34]. Еще в Харькове студент Ил[ларион] Игнат[ович] Кауфман, теперешний профессор статистики в Петербургском университете, отзывался мне с большой похвалой об этой книге. Т[ак] к[ак] Кауфман уже в то время обратил на себя внимание сочинением, писанным на золотую медаль и озаглавленным — «Теория колебания цен», то его рекомендация запала мне в голову и я с любопытством пошел во время проезда через Вену на лекции человека, которому вскоре затем пришлось играть и выдающуюся политическую роль, к сожалению, окончившуюся неудачей. Как лектор, Шефле во многом уступал своему коллеге Лоренцу Штейну и не собирал поэтому особенно большой аудитории, но он уже в то время имел европейскую репутацию, европейское имя. Катедр-социализм[35] приблизительно к этому времени стал заявлять о себе в Германии работою молодых ученых, группировавшихся около статистика Энгеля[36] в Берлине. Совершенно независимо от них Шефле поднимал на своих лекциях вопросы рабочего законодательства и, не в пример манчестерианцам[37], относился сочувственно к организации рабочих союзов. Его связи с двором облегчили ему карьеру, и когда, после поражения под Садовой или Кениггрецом[38], Австрия, вышедшая из

* Так в тексте. Следует: Шеффле.

состава Германского союза[39], стала искать для себя новых путей под главенством бывшего саксонского министра, теперь сделавшегося членом общего для Венгрии и Австрии кабинета, — я разумею известного противника Бисмарка[40], Байета, — Шефле был призван в составе правительства Цислейтании, сперва в звании руководителя всего министерства, а затем с портфелем министра торговли. Его товарищем сделан был Гогенварт, некоторое время исполнявший обязанности губернатора Нижней Австрии, имевший большие связи с главами аристократической партии в Моравии, а потому пользовавшийся некоторым весом и среди богемской знати, настроенной в национальном старочешском духе. Шефле, как я уже сказал, принял на себя миссию открыть в Праге переговоры с чешскими магнатами и действовавшими с ним заодно националистами. В то время, о котором идет речь, эти переговоры сохранялись в тайне, содержание их стало известно впоследствии из обнародованных самим Шефле мемуаров[41]. На основании их один из новейших историков внутренней жизни Австрии, в период времени с 1848 г. по 1907 г., Р. Шармац пишет следующее об этих переговорах. «Благодаря изучению австрийских государственных порядков, Шефле пришел к заключению о невозможности сохранить в силе дуалистическую систему, установившуюся в 1867 г. По его мнению, Австро-Венгрия должна была опереться одновременно в своих государственных порядках не только на немцев и венгерцев, но и на западных и южных славян, которые, по его выражению, готовы были дать самостоятельное развитие своей национальной культуры под кровом Австрии и в полном противоположении к России. Таким образом, империи Габсбургов предстояло, по его мнению, сделаться федерацией. Ярый противник крупных капиталистов и централистов-либералов из среды немцев Шефле, — говорит Шармац, — тем самым становился человеком особенно желательным в придворных кругах». В мае месяце, по поручению самого императора, он прибыл в Прагу и открыл здесь переговоры с дюжиной чешских аристократов, а также с главами чешского национального движения из среды, тянувшей к аристократии старочешской партии. Совещания происходили во дворце графа Гарлаха; последствием их был императорский рескрипт от 12 сент[ября] 1871 г., обращенный к богемскому ландтагу. В нем значилось буквально: «принимая во внимание государственно-правовое положение богемской короны, тот блеск и ту мощь, какую она даровала Габсбургам, император намеревается дать признание прав Богемии возложением на себя богемской короны и принесением по этому случаю коронационной присяги». В то же время богемский ландтаг призывался положить конец конституционному конфликту, «действуя в духе умеренности и примирения». Под конституционным конфликтом разумелось систематическое воздержание чехов от посещения, как венского рейхсрата, так и богемского сейма. От имени правительства богемскому ландтагу представлен был проект закона об отношениях национальностей — немецкой и чешской. В первом же параграфе этого проекта говорилось о том,

что обе национальности имеют одинаковое и равное уважение, сохранение и развитие своих национальных особенностей и, в частности, языка. Ни один чиновник, ни один судья, согласно параграфу 9-му того же законопроекта, не может быть определен на должность, если он не владеет в равной степени устно и письменно обоими языками. Для охраны равенства обеих национальностей ландтаг делится на 2 национальные курии. Законопроект, отвергнутый $^2/_3$-ми голосов любой из этих курий, не может стать законом.

Наряду с законом о национальностях богемскому ландтагу предложены были и основные положения. По принятии их ландтагом, они должны были поступить к императору вместе с адресом. В этих-то основных положениях и заключались те решения, какие приняты были на совещании Шефле с членами богемской аристократии и главами старочехов. В них давалось признание состоявшемуся соглашению с Венгрией и в то же время высказывалось желание, чтобы в делегацию от Цислейтании приходящиеся на Богемию уполномоченные избираемы были самим ландтагом. Статья 9-я гласила, что все те дела, которые не имеют общего значения для всей Австро-Венгрии и касаются одной только Богемии, должны впредь быть рассматриваемы богемским ландтагом. Если же те или другие вопросы интересуют одинаково все земли Цислейтании, то они подлежат рассмотрению конгресса делегатов, избранных отдельными ландтагами. Размер участия Богемии в покрытии государственных издержек подлежал также решению этого конгресса делегатов. Особый сенат создавался для рассмотрения вопросов, интересовавших все земли империи, как, напр[имер], для заключения договоров с иностранными государствами. Тот же сенат призывался к решению споров между отдельными землями и к постановке приговоров над министрами. Этому проекту, с поддержкой которого выступало министерство Шефле—Гогенварта, не суждено было сделаться законом, ввиду противодействия, которым он был встречен немцами Богемии, сошедшимися для протеста в Теплице.

Но в то время, когда я собрался писать кандидатскую диссертацию, такой исход еще нельзя было предвидеть. Я горячо стал на сторону преобразования Австрии в правильную федерацию, уважительно относящуюся к историческим правам Богемии и обеспечивающую мирное сожитие национальностей равным признанием их культурных особенностей и, в частности, языка. Расширяя свою тему, я поставил в связь предложенный Гогенвартом проект со всем предшествовавшим националистическим движением в Австрии, начиная с 1848 г. Увлеченный своей темой, я постарался ознакомиться с довольно значительной уже в то время литературой по вопросам исторического права Богемии, национального движения не одних только чехов и вообще славян Австрии, но также и венгерцев. Сочинение Этвеша[42], бывшего министра народного просвещения в Пеште, в кабинете знаменитого патриота Кошута[43], одно время стало для меня настольной книгой. Оно озаглавлено «О влиянии господствующих идей нашего времени на

строй государства и администрации». В нем с большим блеском развивается тот взгляд, что к двум началам, выдвинутым французской революцией, — началу свободы и гражданского равенства, в наше время прибавилось еще 3-е — уважение к историческому праву и национальным особенностям. Автор развил те же мысли в более специальной брошюре, озаглавленной «Национальный вопрос в Австрии». История внутренней жизни империи Габсбургов, в настоящее время обогатившаяся столькими сочинениями, в том числе известными томами Фридъюнга, в то время представлена была, главным образом, сочинением Шерингера. Спасович[44] умело использовал его в статье, появившейся в сборнике его этюдов и речей по заглавием: «За 10 лет». Исторические права Богемии нашли истолкователя в лице известного чешского юриста и политического деятеля Каляузека[?]. Всеми этими книгами я запасся во время моего пребывания в Вене. С каждым месяцем выходили все новые и новые книги и брошюры по отдельным вопросам, касавшимся то политических прав Галиции, то положения, какое в самой Венгрии должна была занять населенная хорватами Кроатия. Что не было забрано мною, было заказано у книготорговцев австрийской столицы. Но ни одна из посланных ими книг и брошюр не дошла по адресу, благодаря условиям русской цензуры. Я тщетно ждал их в течение ряда месяцев, почему и самое составление моей диссертации затянулось почти на целый год.

II.

Когда диссертация была закончена, Каченовского уже не было в живых. Моя диссертация поступила на рассмотрение к профессору Стоянову[45], занимавшему кафедру сравнительной истории права. Это был человек с весьма широкой и разносторонней подготовкой. В течение многих* он писал свою диссертацию «О методах разработки положительного права». По отзыву некоторых цивилистов эта книга не потеряла значения и в наше время. В своем двухгодовом курсе он знакомил нас с законодательствами Древнего Востока, древней Греции и современной Франции в красивом и общедоступном изложении. Смерть Каченовского заставила его перейти к другой специальности — к праву международному. После colloquiuma**, я предложен был им к оставлению при университете, разумеется, без стипендии, т.к. в материальных средствах я не нуждался. Не желая тратить времени, я тотчас же принялся за изучение тех книг, которые были рекомендованы мне для приготовления к магистерскому экзамену. И тут-то оказалось, что за смертью Каченовского и при отсутствии в составе факультета специалиста по истории русского права и русского государственного права, у меня в Харькове не нашлось настоящего руководи-

* Так в тексте. Видимо, пропущено слово «лет».

** Разговор, беседа (*лат.*).

теля. Я всегда буду жалеть о том, что в начале моих научных занятий мне пришлось, как в потемках, самому прокладывать себе путь к уяснению судеб русской общественности и государственности. Трудно поверить, что в 70-х годах в факультете, в общем весьма богатом научными силами, считавшими в своей среде, кроме Каченовского, Пахмана[46], Станиславского[47], позднее Цытовича[48], Гатенбергера[49] и Леон[ида] Владимирова[50], не имелось специалистов ни по истории русского права, ни по русскому государственному, ни по праву каноническому и, что, за совершенным неуспехом Геннадия Карпова[51], в конце концов, отказавшегося от дальнейших чтений, сама кафедра русской истории осталась незанятой. Если принять во внимание, что в то время, о котором идет речь, в научной литературе имелось всего навсего одно сочинение, обозревавшее во всем ее объеме историю русского права, и что этим сочинением были лекции Михайлова[52], то легко будет понять, как трудно было ориентироваться молодому человеку в той массе разнородных монографий, к которым, в сущности, сводилось все сколько-нибудь существенное по вопросам истории русского права. Мы набрасывались на бесподобную книгу Сергеевича — «Вече и князь»[53], на «Областные учреждения в XVI в.» — Чичерина[54], на «Уезд Московского государства» — Градовского[55], на «Источники права и суд в России» — Дювернуа[56], на «Историю судебных инстанций» — Димитриева[57], но от всего этого, разумеется, не получалось ничего подобного общей картине исторических судеб Московского царства и Русской империи. 13-й том «Истории России» — Соловьева[58] был в это время, пожалуй, наиболее разносторонней картиной допетровской Руси, и мы пользовались им для покрытия многочисленных прорех, оставляемых чтением отдельных диссертаций.

Не лучше обстояло дело и с литературой русского государственного права. Другого полного сочинения, кроме весьма недостаточной книги Андреевского[59], мы не знали. «Начало русского государственного права» А.Д. Градовского появилось много лет спустя, а равно и лекции Беляева[60], которые, при всей их односторонности, были первым по времени полным и содержательным обзором истории русского права. Со всей только что указанной литературой я познакомился еще на студенческой скамье или в год писания диссертации. Предстояло заняться общим государственным правом и историей политических учений. Я попробовал одно время найти пищу для ума в чтении «Энциклопедии государственных наук» Роберта Моля[61] и 1-го тома «Истории политических учений» Чичерина, единственного из 5-ти томов, уже появившегося в то время в печати. Но признаюсь, этого искуса я не выдержал. На 600 страницах Моль знакомил с сотнями и тысячами противоречивых теорий, от которых в голове образовывался какой-то нестерпимый хаос. Я пробовал, было, восполнить чтение его «Энциклопедии» его же 3-мя томами по истории государственных наук, но вскоре изнемог. От этого подобия записной книги, в которую знаменитый немецкий юрист-политик вместил всю свою безбрежную

начитанность, пришлось снова обратиться к чтению монографий, их же — тьма... Чичерин, при всей своей добросовестности, нестерпим, особенно для начинающего, нестерпим, прежде всего тем, что не приводит излагаемые им учения в связь с той исторической обстановкой, среди которой они возникли, а затем потому, что руководствуется совершенно априорным представлением, будто эти учения должны чередоваться в известном порядке. Тогда как один писатель, по его мнению, из всех элементов государственности оттеняет всего более элемент власти, следующий за ним непременно подчеркивает значение свободы, затем необходимо появляется 3-й, ставящий выше всего закон, и цикл заканчивается 4-м, для которого руководящей нитью является общая цель государства. Завершился этот цикл, и он возобновляется снова в той же последовательности, и так — из поколения в поколение. После ряда месяцев, в которые, оставленный совершенно без руководительства, я переходил от одного томительного руководства к другому, не способный использовать разношерстного и противоречивого материала для какой-нибудь общей схемы, я в один прекрасный день заявил моей матери, что намерен немедленно уехать за границу и искать нового интереса к науке в преподавании немецких и французских профессоров. Кое-кого из них мне и раньше приходилось слышать. Я говорил уже о том впечатлении, какое произвели на меня лекции Лоренца Штейна. Я знал Л. Штейна в то время как автора «Социальной истории французской революции»[62]. Карл Маркс сообщил мне впоследствии, что книга эта выходила отдельными главами в руководимом им периодическом издании. Такой же гегельянец, как и автор «Капитала», Штейн в это время увлекался социализмом или, точнее, тем освещением истории, как борьбы классов, которая нашла выражение себя в сочинениях С.-Симона[63] и еще больше его учеников, в частности Базара[64]. Предпосланное к этой «Социальной истории» рассуждение под заглавием «Понятие общества» есть одно из ранних выражений той доктрины, которая слывет под названием «Исторического материализма». К сожалению, во всех не чисто исторических главах Л. Штейн напускает метафизический туман. Диалектический метод Гегеля с его чередованием тез, антитез и синтезов отразился у него во всем, даже в построении особой от управления исполнительной власти. Между волею, отвечающей власти законодательной и действием, представляемым властью административной, посредствующим звеном должно быть, по его мнению, «желание воли» (das Wollen des Willens), после чего управление уже может найти следующее определение: «Делание желаемого» (tuhn des Wollens). Эта триада лежит в основе его наиболее известного сочинения: «Об исполнительной власти» и служит подводным камнем для многих магистрантов, не раскрывших секрета диалектической игры с троичностью. В это время я еще не был знаком с этим наиболее капитальным сочинением Штейна. Он постоянно менял предмет своих чтений, но его темы неизменно носили общий характер. Более всего поразила меня лекция или, точнее, ряд лекций, в ко-

торых он сделал попытку орлиным взглядом пройтись по всей истории законодательства древних и новых народов, ставя их характерные особенности в зависимость от физических условий страны. Несмотря на свою односторонность, эта попытка пойти по стопам Бодена[65], Монтескье[66] и Бокля[67] была настолько ярко выражена и до некоторой степени подкреплена весьма удачно выбранными примерами, что слушатели, особенно из молодых, некоторое время оставались под ее обаянием. Л. Штейн, по собственному признанию Гнейста[68], со своим «Понятием общества» явился его учителем. Он заимствовал у него теорию борьбы классов, отражающейся в ходе законодательства, и приложил ее к толкованию исторических судеб английского государственного права, местного и центрального управления, а впоследствии и парламента.

На мой взгляд, Гнейст только исказил эту доктрину, заимствуя у Шталя[69] вполне прусскую точку зрения о короле, как спасителе общества от несчастных последствий социальной розни. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Der Konig ist der Relter der Gesellschaft von dem Klassenkampf»*.

Т.к. я уже имел случай познакомиться с характером преподавания Штейна, во время неоднократного посещения Вены, по дороге в Карлсбад, или по возвращении из него, т.к. другие профессора, которыми справедливо гордилась в это время столица Австрии, в числе их и знаменитый Геринг, посвящали себя преподаванию предметов, далеких от моей специальности, то я решил поехать в Берлин.

III.

Меня привлекала в особенности наличность в составе его профессоров лучшего в то время на континенте знатока английского государственного права — Гнейста. Каченовский в своем изложении мало придерживался его. Блестящий очерк конституционного развития английского народа, какой он давал нам в своем курсе, опирался исключительно на английскую литературу, а она сводилась в это время, главным образом, к Галламу с его «Средними веками» и «Конституционной историей Англии»[70] и к двум томам Эрскина Мея, являвшегося прямым продолжением Галлама. Иллар[ион] Игн[атьевич] Кауфман оказал мне большую услугу, порекомендовав восполнить те сведения, которые давал нам Каченовский, изучением исторической части сочинений Гнейста. В то время вышли только его книги о местном и центральном управлении Англии с обширными экскурсами в область истории. Все ждали выхода 3-ей части, посвященной истории парламента. Я имел поэтому основание надеяться, что найду в лекциях Гнейста изложение этой еще недоставшей части общего здания. Расчет мой не оказался ошибочным. В год моего пребывания в Берлине

* «Король — спаситель общества от классовой борьбы» (*нем.*).

Гнейст посвятил свой необязательный курс, — курс неоплачиваемый и на который свободно допускался каждый, — историческим судьбам английского парламента. Я поражен был только одним обстоятельством: число посетителей этого курса сводилось не более как к двум десяткам человек. Все это были более или менее иностранцы, из которых многие затем проявили себя в науке и преподавании. Особенно значительно было число итальянцев и греков. Назову некоторых из них: Кузумано[71]. Он приобрел со временем известность своей «Историей древнейших банков Сицилии». Когда много лет спустя я посетил Палермо, он встретил меня как старого знакомого, в звании профессора политической экономии в главнейшем из университетов острова. Феррарист. Он занял впоследствии кафедру в Падуанском университете, также по политической экономии. Зелеа — племянник известного итальянского министра и естествоиспытателя — занялся впоследствии историей учреждений в Северной Италии, в частности, городским правом некоторых средневековых коммун Пьемонта. Этот альбинос снабжен был своим дядей рекомендациями ко многим научным и политическим деятелям и вызывал в нас зависть тем, что его часто приглашали на обеды к Максу Дункеру[72], хорошо известному историку и политическому деятелю. Из греков припомню Ламброса[73], — одного из специалистов по средневековой истории Греции, одно время ректора Афинского университета, и Миноса, избравшего дипломатическую карьеру. Из немцев, бывавших на лекциях Гнейста, самым выдающимся со временем сделался Польман. Этот, несколько месяцев назад скончавшийся эллинист, известен в особенности своими 2-мя томами, посвященными изложению социальных доктрин Греции. На этом сочинении отразилось открыто признаваемое им влияние Гнейста. Он называет его своим Altmeister* и, подобно ему, приводит постоянно излагаемое им учение в связи с историческим развитием древнегреческого общества и с ростом его учреждений. Менее широкие круги читателей знают Польмана по другой его монографии, ранее написанной. Она посвящена истории экономических отношений в древней Тоскане. Я в значительной степени пользовался ею при изложении поземельного строя Средней Италии в эпоху Возрождения во 2-ом томе моего «Экономического роста Европы». Упомяну еще об одном молодом и талантливом немце Филиппе. Это был совсем молодой человек, на которого я, как старший по возрасту, способен был оказать некоторое влияние. Провожая меня на вокзал при отъезде из Берлина, он благодарил меня за то, что по моему настоянию он принялся за чтение французских авторов и познакомился с философией Огюста Конта[74]. Года 3 спустя я встретил его в Женеве уже приват-доцентом по философии, и он пригласил меня на свою вступительную лекцию о Шопенгауэре[75]. Но в Женеве он просидел недолго. Вскоре я увидел его в Париже

* Наставником (*нем.*).

уже корреспондентом «Франкфуртской газеты», в которой он продолжал печатать статьи и впоследствии. Профессор Чупров[76] однажды обрадовал меня присылкой большой вырезки из этой газеты, в которой доктор философии Филипп вспоминает о своей встрече на лекциях Гнейста со всем кружком, только что поименованным мною, писателей и ученых, вспоминал с товарищеским благорасположением и несколько преувеличенной оценкой.

Незначительность числа слушателей или избыток занятий, заставили Гнейста прервать свой курс. Тщетны были наши усилия побудить его к дальнейшим чтениям. От имени многих товарищей я написал ему письмо, в котором, между прочим, значилось, что наш приезд в Берлин вызван был в значительной степени желанием познакомиться под его руководством с английским государственным правом. Прочитав мое письмо, Гнейст ответил решительным отказом, ссылась на то, что все его время занято. И действительно, можно было только удивляться, как этот старик справлялся со всеми принятыми на себя обязанностями. Он был одновременно членом прусского ландтага, немецкого рейхстага и президентом Верховного административного суда. Он читал обязательные курсы по истории государственного права Германии и Пруссии, по римскому наследственному праву и, если не ошибаюсь, по гражданскому процессу. Где ему было еще найти вечерние часы для преподавания слабопосещаемых лекций по истории английского парламента. Когда, несколько месяцев спустя, я представлен был ему нашим финансовым агентом Куманиным, то он сказал мне, что в будущем зимнем семестре он возобновит свои чтения об Англии, приглашал остаться в Берлине и отсоветовал ехать в Париж, говоря: «Да кого же там слушать[?] Пожалуй, Лабуле[77], — но он весь ушел в политику и ему теперь не до лекций».

Не имея возможности сосредоточить свои занятия на одном английском государственном праве, как я сперва намеревался это сделать, я стал посещать лекции Гнейста и по германскому государственному праву. У меня сохранилась сделанная мною запись лекций. В позднейшие годы я не раз заглядывал в них. Таких курсов в Германии, вероятно, больше не читают. В 1872 г. — год моего пребывания в Берлине, империя Гогенцоллернов[78] считала всего год с месяцами существования. Гнейст, преисполненный патриотического желания найти ей близких и отдаленных предков, начинал свой курс с изложения судеб империи во времена Гогенштауфенов[79], показывал постепенный упадок немецкого единства и рост независимости отдельных земель империи, переходил затем к эпохе ее упразднения по державному приказу Наполеона, давал нам характеристику Рейнского[80] и Германского союзов[81] и рядом с этим историю государственных порядков Пруссии, ее попыток к восстановлению германского единства, ознаменовавшихся созданием Северо-Германского союза[82]. Курс заканчивался восстановлением империи и краткой характеристикой ее учреждений, в выработке которых сам Гнейст принимал, по-видимому, участие. В весьма систематическом и обстоятельном изложении Гнейст

передавал нам содержание многих и многих сочинений, которых самому нелегко было одолеть. Таковы, напр[имер], томы Геберлина и Пюттера[83] — о порядках священной Римской империи. Он довольно свободно критиковал неудачные проекты Ланциозоля[84], — взамен конституционных порядков наградить Пруссию сословным ландтагом, с некоторой иронией относился к деятельности Франкфуртского парламента[85] и с патриотическим жаром, лишенным исторического беспристрастия, бичевал сепаратизм Баварии, напоминая о том, что своим поднятием на уровень королевства она обязана была врагу Германии и Пруссии — Наполеону, осыпал похвалами Бисмарка и творцов возрожденной империи, которым ставил в вину только одно — введение начала всеобщего голосования, и, излагая основы нового политического строя Германии, всячески поддерживал необходимость укрепления ее единства и ограничительного толкования тех сепаратных прав, которые удерживаемы были в ней в пользу некоторых южногерманских княжеств и прежде всего Баварии.

Чтобы пополнить мои сведения по германскому государственному праву, я записался также и на лекции тогда еще молодого профессора, ныне хорошо известного всему ученому миру — Бруннера[86]. Он изложил нам историю древнейшего германского права эпохи Меровингов[87] и Карловингов[88], познакомил нас с ростом феодализма и возникновением Священной Римской империи[89]. В то время основными сочинениями по этим вопросам являлись многотомный труд Вайца[90], далеко еще не законченный, и «История бенефициальной системы до X столетия включительно» известного мюнхенского ученого Рота[91]. Бруннер, как в этом легко убедиться и из его классического труда по истории германского права, в котором он только более обстоятельно развил свои основные взгляды, излагаемые им на лекциях, с большой критикой и превосходным знанием источников отнесся к критическим взглядам обоих писателей, внес много нового и самостоятельного в ту яркую картину общественных и политических порядков древней Германии, которая так далека одновременно и от романтики Эйхгорна[92] и Роггэ — этих сторонников, первый — общинного, второй — родового быта древних германцев, и от того систематического отрицания всяких государственных порядков в зарождающихся на правом берегу Рейна германских политических союзах, на чем настаивал впоследствии Фюстель де Куланж[93], связывавший с этим свое положение о развитии Меровингских и Карловингских учреждений, под влиянием унаследованных от Рима порядков. Бруннер своим преподаванием удовлетворил меня вполне. В конце лекции он диктовал нам источники и довольно полную библиографию. У него учился не один русский исследователь. Для примера укажу на Павла Гавриловича Виноградова[94], по моему мнению, обязанного ему не меньше, чем своему русскому учителю Герье[95] и знаменитому Момзену[96]. У Виноградова можно найти применение к английскому материалу того же строгого критического приема, каким отличался Бруннер. Он, впрочем, проявил

себя не в одной области германского права. Его «Происхождение института присяжных» свидетельствует о хорошем знакомстве и с франко-нормандскими учреждениями, и с сочинениями древнейших английских юристов времен Эдуардов[97]. Бруннер принадлежит, несомненно, к числу наиболее разносторонне образованных юристов-историков. Прибавьте к этому блестящий ум, редкую проницательность и историческую фантазию, позволяющую ему, подобно Иерингу[98], но только более осторожно, восстановлять те или другие юридические порядки прошлого на основании уцелевших обломков.

Мне не пришлось жалеть также о том, что, не довольствуясь одним юридическим факультетом, я записался также на лекции по общей истории учреждений, которые филологам преподавал в этом году Нич[99], со временем сделавшийся весьма известным своей «Германской историей». В 4-часовом курсе, благодаря удивительной способности отмечать только существенное и пренебрегать деталями, давать одну общую картину тем или другим государственным порядкам, Нич умудрялся изложить нам историю учреждений, начиная со времен древних греков и заканчивая Французской революцией. Он умел при этом сближать порядки разных эпох, вспоминая картину древнегерманской жизни по Тациту, [с] характеристикой родовых отношений, удержавшихся в позднее средневековье в Дитмаршене, отношений, которым посвящена была одна из его монографий.

В данной мне инструкции рекомендовалось слушать лекции профессоров по государственному и международному праву, т.к. магистерский экзамен должен был коснуться обоих предметов. Но меня мало тянуло в сторону детального изучения права международного. Прослушав у Каченовского обширный курс по 6 лекций в неделю, к которым присоединялись еще для экзамена 2 отпечатанных им выпуска, я не рассчитывал узнать много нового из элементарного курса в 4 лекции в неделю, в течение 1-го только семестра, какие читались в это время в Берлине. Заглянувши 2—3 раза в аудиторию по международному праву и убедившись в том, что дело более сводится к диктовке, чем к преподаванию, я решил отвести свободные часы посещению лекций по политической экономии, благо этот предмет преподавал Адольф Вагнер[100] — молодой в то время ученый, успевший уже побывать в Дерпте и известный мне своим сочинением: «О русских бумажных деньгах». Но А. Вагнер был чем-то несравненно более значительным, чем автором хороших монографий по специальным вопросам. Он затевал уже в то время не более не менее, как пересмотр всей экономической доктрины классической школы. Сам ученик Рау[101], он одновременно переработал его известный курс финансового права в несравненно более полную систему. Много училось у него и иностранных экономистов, приехавших в Берлин со специальной целью работать под руководством. Внешний вид его не заключал в себе ничего притягательного. Не знавшие могли принять его за офицера прусской службы, благодаря военной выправке и спокойному самодо-

вольству, которое не сходило с его лица. Когда я был ему представлен, он, прежде всего, постарался убедиться в том, владею ли я достаточно немецким языком, чтобы вполне использовать его лекции. Пришедши к утвердительному решению, он поспешил заметить, что раз в немецкой науке имеется притягательная сила, он не понимает причины, по которой хотят изгнать ее из Дерпта. Закончил он свой короткий монолог словами: «Русские всегда были нашими учениками и, по-видимому, останутся ими надолго». С этими милостивыми словами я отпущен был домой. Репутация Вагнера давно установилась. Его тома, число которых приумножилось с того времени (тогда в продаже имелся всего 1-й том «Трактата по политической экономии»), переведены на все языки. Давать им какую бы то ни было оценку, разумеется, не входит в мою задачу, но я хочу еще сказать два слова о Вагнере как лекторе. При большой ясности и простоте изложения он не отличался ораторским талантом. Острил он не умно, употребляя выражения вроде следующего: «Китайская запутанность французской политики». Но что составляло его несомненное достоинство — это желание искать научную истину одинаково в сочинениях социалиста, как К. Маркс, или манчестерианца, как любой представитель английской школы. Он хорошо знаком был с сочинениями по истории экономических явлений и умело пользовался монографиями для своих обобщений. Со Шмоллером[102], с которым он разорвал впоследствии, у него были в то время весьма близкие товарищеские отношения. Когда этот известный, недавно назначенный в Страсбург историк-экономист прибыл в Берлин, для него, по почину Вагнера, устроен был ужин по подписке в одном из ресторанов, помещающихся «под липками». В числе подписавшихся был и я. За трапезой сидели молодые люди, получившие с тех пор громкую известность. В статье, отпечатанной им 25 декабря 1914 г. в «Neue Freie Presse», Шмоллер признается, что ему стукнуло 76 лет. Ужин, о котором я упоминаю, состоялся в конце 1872 г. или в начале 1873 г., т.е. 42 года тому назад. За столом сидели все члены недавно состоявшегося в Эйзенахе съезда тех, которые впоследствии стали известны под именем катедр-социалистов. Был тут молодой, черноволосый и красивый Брентано[103], юбилей которого недавно справляли в Мюнхене, были тут и профессора Кнапп[104], и Гельд[105], и Нассе[106]. Отсутствовал, кажется, всего один профессор Гнейст, лицо слишком чиновное, чтобы участвовать в затянувшейся далеко за полночь товарищеской пирушке. А между тем, Гнейст и был председателем того Эйзенахского съезда, который объединил молодых экономистов Германии под знаменем социальной реформы. Один из участников этого ужина, Кнапп, по случаю наступления семидесятилетия Брентано, напечатал в южнонемецком «Ежемесячнике» от декабря 1914 г. любопытные воспоминания о том, чем был юбиляр как раз в год моего пребывания в Берлине, в год 1872-ой. Позволю себе сделать несколько заимствований из этой любопытной статьи. «В его жизни, — пишет Кнапп о Брентано, — надо отметить необыкновенно быстрый подъем

на ту высоту, на которой он удержался и по настоящий день. Он совершился в 1871—72 году. Этот подъем всецело стоит в связи с так называемым рабочим вопросом. Лассаля[107] уже много лет не было в живых. Он убит был на дуэли в 1864 г. 1-й том «Капитала» Маркса появился в 1868 г.[108] и использован Либкнехтом[109], с целью дать демократии ее настоящую доктрину. «Либералы» были по большей части манчестерианцами, старавшимися убедить рабочих в своих благожелательных, но малопоучительных лекциях, что им не следует разрывать с учением свободной конкуренции, что они ничего не выиграли бы выступлением как самостоятельная партия. С этой целью им указывали на призрак Луи Блана[110]. В университетах профессора преподавали так называемую теорию политической экономии, в лучшем случае, по Джону Стюарту Миллю[111]. Последний продолжал давать рабочим совет рождать поменьше детей и надеяться на то, что уменьшение числа рабочих рук возвысит спрос на труд и обеспечит им большее вознаграждение. Ни о чем другом не было речи, как о повышении или, наоборот, понижении заработной платы, об организации труда во всей его широте никто и не думал, а тем более о зависимости этой организации от исторических условий. Попытки, сделанные, прежде всего, в Англии самими рабочими, чтобы, помимо революции, своим собственным поведением поставить себя на некоторую высоту, были мало известны. Существовали, правда, рабочие союзы, но отношение к ним континентальных экономистов, интересовавшихся судьбою английских «тред-юнионов»[112] было, как показывает пример Леона Фоша[113] с его этюдами об Англии, более или менее отрицательно... Луйо Брентано — родственник поэта Климента Брентано[114], был в Мюнхене учеником известного представителя исторической школы Германа. В Геттингене он слушал профессора Гельфериха, и получив степень доктора философии, определился на службу в Прусское статистическое бюро в Берлине. Директор этого бюро, знаменитый Эрнст Энгель устроил в нем вечерний семинарий по статистике. На этом семинарии, кроме служащих, допускаемы были и молодые ученые. Когда Энгель предпринял поездку с ученой целью в Англию, он пригласил и своих учеников сопровождать его в этом путешествии. В Англии в это время несколько независимых людей занимались изучением тред-юнионса, к числу их примкнул и сопровождавший Энгеля молодой Брентано. Он занялся историей этих новых социальных образований и выступил вскоре в свете с 2-х томным сочинением, озаглавленным: «Рабочие гильдии нашего времени» (Лейпциг, 1871 и 72 г.)[115]. Здесь я позволю себе открыть скобки и сообщить некоторые дополнительные подробности. Посетив сам на расстоянии нескольких лет Англию, я познакомился в Лондоне с госпожею Люси Туль Мин-Смис. Я узнал от нее, что ее отцом приготовлен был к печати сборник статутов средневековых гильдий Англии. Сборник этот был уже готов, когда скончался работавший над ним много лет труженник. Брентано узнал о существовании этого сборника и предложил снабдить его вступлением. В таких

условиях появилась на английском языке в изданиях Кэмпденевского общества привлекшее общее внимание сочинение «Об английских гильдиях». Вступительный очерк, написанный Брентано, мне хорошо известен, т.к. в 3-м томе «Экономического роста Европы» я пользуюсь и английским материалом при характеристике средневековых цеховых порядков.

В своем кратком очерке исторического развития корпоративной организации труда в Англии молодой Брентано подчинился вполне той точке зрения, какую на ход развития гильдейского устройства в Германии составил себе известный Вильда[116]. Подобно последнему, он старался найти доказательство тому, что между гильдиями купцов и ремесленными цехами происходило соперничество и открытая борьба за власть, что далеко не все ремесла сразу были допущены к осуществлению политической власти над городом, к участию в его совете и что равенство между ними было также продуктом истории. Над всей этой концепцией столько же Вильда, сколько и Брентано, витает тень итальянских и, в частности, флорентинских «старших» и «младших» цехов. В действительности, никакой борьбы купечества с ремесленниками в Англии не было, а было только, как показал впоследствии Гросс, выделение из общей купцам и ремесленникам торговой гильдии (gilda mercatoria) специальных видов труда, организовавшихся в самостоятельные корпорации. И о том, чтобы городское управление с самого начала перешло в руки торговых гильдий, а затем ремесленных союзов, в свою очередь распадающихся на старших и младших и борющихся из-за участия во власти, в английской истории не заходит речь. Города получают вместе с корпоративным устройством и свою ограниченную автономию непосредственно от королей, за исключением Лондона и немногих из королевских городов, т.е. расположенных в пределах доменов, т.е. земель, не входящих в состав частных поместий; английские города, как общее правило, получают свои «инкорпоративные грамоты» в течение XV и XVI вв. Ни о каких столкновениях, подобных тем, какое в конце XIV в. представило восстание чомпи во Флоренции[117], мы в Англии не слышим. Городская олигархия включает в свою среду столько же купцов, сколько и ремесленников разных видов труда, не устраняя в то же время от общих выборов, где всех домовладельцев, а где и всех плательщиков местного налога.

Историческая часть сочинения Брентано, перешедшая и в текст его немецкой книги, заключает в себе много погрешностей и в настоящее время вполне устарела. Но не в ней лежит общественное значение его книги. Кнапп верно определяет его, говоря: «Брентано указывает на то, что гильдии и цехи были союзами защиты слабых против сильных. Не могло ли бы то же повториться и в наши дни и не чувствуется ли в этом необходимости». Она несомненна, отвечает Брентано. Тред-юнионс в английской промышленности являются такими союзами. В них участвуют не купцы и мелкие ремесленники, как раньше в цехах, а простые наймиты — рабочие. Они обращаются к этому средству, чтобы,

при заключении своих договоров с предпринимателями, отстоять свои интересы.

Читатель мог придти к тому заключению, пишет Кнапп, что рабочее движение нетождественно с демократией и тем менее — с революцией. Возможно поэтому создание рабочего законодательства и в современных государствах без всякого переворота в них. Сочинение Брентано, по мнению Кнаппа, оказало невероятное влияние по той причине, что молодые экономисты в Германии старались принять в рабочем вопросе положение независимое и от манчестерианства, и от демократии. В ряду этих молодых экономистов нужно назвать Густава Шмоллера, Эрвина Нассе, Адольфа Гельда и Густава Шонберга[118]. Им удалось привлечь на свою сторону престарелого и почтенного юриста Гнейста и они положили основание союзу, впоследствии известному под названием «Союза социальной политики», своим собранием в Эйзенахе 6-го и 7-го октября 1872 г. Приглашения на эти собрания посланы были Г. Шмоллером, который и держал на нем вступительную речь. Председателем избран был Гнейст, а на очередь поставлен был вопрос о фабричном законодательстве. Докладчиком выступил 27-летний приват-доцент Луйо Брентано, которому предстояло занять кафедру в Бреславле. Его весьма содержательный доклад, свидетельствовавший об обстоятельном знакомстве с вопросом, вызвал шумное одобрение. Телеграф разнес во все концы мира и о самом собрании, и о роли, какую сыграл на нем Брентано. Молодой бреславльский профессор сразу сделался всюду известной личностью, предметом поклонения одних и предметом опасения для других, самым волнующим умы катедр-социалистом. Но разделял ли он революционные страсти, как его в том обвиняли. — Нимало. И этим объясняется сочувственное отношение к нему с[оциал]-демократов. Он весь отдался изучению рабочего вопроса, уделил ему столько времени и проявил в нем столько самостоятельности, что его деятельность, по мнению Кнаппа, в этой области должна быть признана «монументальной». Под руководством Гнейста, Нассе и Шмоллера созданный в Эйзенахе «Союз социальной политики» повел немецкое рабочее законодательство по совершенно новому пути.

Если я остановился с некоторою подробностью на том направлении, какое немецкая экономическая политика приняла вскоре после франко-прусской войны, то, главным образом, потому, что так называемое катедр-социалистическое движение нашло значительный отголосок в среде того поколения русских ученых, к которому принадлежу и я. Можно сказать, что манчестерианцев между русскими экономистами почти не было. Я, по крайней мере, не мог бы назвать ни одного человека с именем, который примыкал бы в России к направлению, представленному Жан-Батистом Сэем[119], или Бастиа[120]. Многие из молодых профессоров, между прочим, мой учитель и друг, профессор Гаттенбергер в Харькове, примыкал к чистым теоретикам, производившим свое учение непосредственно от английских классиков, но в то же время относив-

шимся к ним с значительной критикой. Говоря это, я имею в виду Книса[121], которого я еще и в позднейшие годы имел случай слушать несколько раз, как профессора в Гейдельберге. Другие, как Александр Ив[анович] Чупров или проф[ессор] Ив[ан] Ив[анович] Иванюков[122], не разрывали вполне с Джоном Стюартом Миллем, т.е. с тем из английских экономистов, который более всех своих предшественников счел нужным считаться с критикой, выдвинутой против Адама Смита[123], Мальтуса[124] и Рикардо[125], социалистами, предшественниками Маркса. Даже сам Бунге[126] испытал на себе влияние экономических противоречий Прудона[127], как показывает его «Курс истории экономических доктрин», по которому мне пришлось готовиться к экзамену в Харькове. Отрешенным от всякого влияния социалистических учений остался, пожалуй, один профессор Пихно[128], работавший в специальной области железнодорожного хозяйства, прежде чем сделаться редактором консервативной и националистической газеты «Киевлялин». Другие русские экономисты или подчинились теории добавочной прибыли К. Маркса, как это можно сказать о проф. Зибере[129], или, принимая с оговорками доктрину «Капитала», пошли по стопам катедр-социалистов, проверяя основы теоретической экономии теми выводами, какие дает изучение экономического прошлого и экономической действительности. Несомненно, что и ранее катедр-социалистов историческая школа имела своих представителей в Германии. Наиболее выдающимся из них считался Рошер[130]. Но он пользовался данными истории только для иллюстраций, выведенных дедуктивным путем экономических теорем. Катедр-социалистам мы обязаны в большей степени, чем кому-либо другому, за исключением разве Маркса, установлением того общего взгляда, что каждая эпоха в хозяйственной жизни нации строит свою систему производства, распределения и обращения богатств в связи и в полном соответствии с характером своих общественных институтов, в свою очередь столько же обусловливаемых, сколько и обуславливающих собою то, что называют термином «народной психологии». Охотничий образ жизни, при слабом развитии скотоводства и земледелия, еще не выходящего из сферы переложного хозяйства, предполагает отсутствие обменов, а потому и необходимости запасов этого эмбриона-капитала. Он мирится с отсутствием или, по меньшей мере, с слабым развитием частной собственности на землю. При нем не существует резкого противоположения бедности и богатства. Феодальный строй с его поместной системой и зависимой сельской общиной уже строит производство, обмен и распределение богатств на иных началах, заставляя крестьянина оплачивать своим трудом выгоды, получаемые от хозяйственного пользования своими наделами и общинными угодьями. Обособление собственника и пользователей сопровождается противоположением земельного капиталиста, отправляющего на рынок часть своих урожаев, и простого потребителя производимых его трудом ценностей — крестьянина-общинника.

Городское хозяйство с его цеховым устройством является уже начальным типом денежного с обменом, ограниченным нередко районом города и его ближайшей округи, благодаря запрету вывозить припасы и, прежде всего хлеб иначе, как в города и поместья, состоящие в мире и союзе с данным городом. В городе еще нет или только начинается противоположение капиталиста, обыкновенно в форме ростовщика, с самостоятельным торговцем и ремесленником, передающим свою профессию определенному числу воспитанных в цехе учеников, и, наконец, пролетарию, живущему одним заработком и стоящему вне всякой цеховой организации.

Государство-нация при широком господстве запретительной и протекционной системы непосредственно примыкает к типу городского хозяйства и только по мере перехода к системе более свободных обменов, в свою очередь вызываемой ростом его промышленности и земледелия, создает условия, благоприятные развитию капитализма. Политическая экономия в том изложении, какое она нашла в сочинениях экономистов-классиков, есть теория одного капиталистического хозяйства, теория, притом односторонняя, т.к. имеет в виду одно размножение богатств, а не более или менее равномерное распределение их в массе населения. Для достижений этой последней цели полезно в новом виде воскресить ту корпоративную организацию труда, которая сложилась еще в эпоху городского хозяйства, и задаться, подобно государствам эпохи протекционизма, мыслью об организации труда, средством к чему является рабочее законодательство, защита слабых против сильных, простых исполнителей заказов по отношению к предпринимателям и капиталистам.

Эти различные эпохи в росте экономической жизни отмечены были задолго до появления книги Бюхера[131], например, у Гильдебрандта[132]. Но тогда как у последнего установлены лишь главные вехи на всем пути развития производства и обмена признанием смены натурального хозяйства сперва денежным, а потом кредитным, катедр-социалистам, пошедшим по их следам историко-экономической жизни, удалось выяснить, что скрывается под метафизическим понятием натурального, т.е. в действительности самодовлеющего хозяйства, — хозяйства, производящего ценности для собственного употребления. Ими указаны различные фазисы этого хозяйства, начиная от первобытных промыслов и оканчивая господством не бродячего, как ранее, а оседлого земледелия и скотоводства, призванного доставлять питательные продукты и материал для обрабатывающей промышленности. Тем же катедр-социалистам мы обязаны выяснением и тех отличий, какие представляет денежное хозяйство от капиталистического, построенного на кредите и стремящегося сделаться мировым. Своей задачи катедр-социалисты не могли бы достигнуть без того содействия, какое доставила им предварительная или одновременная работа историков права. Маурер[133] и Отто Горке познакомили нас и с строем средневекового поместья, и с бытом сельской общины, и с организацией города, гильдии и цеха на различных ступенях их историчес-

кого развития. Работа некоторых из катедр-социалистов, в том числе уже упомянутого мною Эдвина Нассе, непосредственно примкнула к изысканиям Маурера, указывая на наличность и в Англии поместной общины в средние века и постепенное ее разложение, начиная с XVI века, благодаря округлению поместий и в особенности с эпохи систематического упразднения порядков «открытого поля», или так называемых «огораживаний».

Мои собственные работы, начавшиеся со скромных монографий и завершившиеся обнародованием 3-х томного, а в немецком издании 7-ми томного сочинения под общим заглавием: «Экономический рост Европы», — примыкают и в значительной степени пользуются соединенным трудом историков права и историков-экономистов. Ограничиваясь часто простой передачей результатов, достигнутых ими при истолковании судеб экономической жизни Германии, я посвящаю более распространенные отделы моего сочинения производству параллельной и часто самостоятельной работы на основании английского, французского, итальянского и испанского материала. В немецком издании прибавлены изложения и оценка результатов недавней законодательной деятельности в России в отношении к упразднению мировых порядков землевладения. В то время, когда я учился в Берлине, я далек еще был от мысли сделаться автором сочинения, ставящего себе задачей характеристику хозяйственных порядков, предшествующих торжеству капитализма, или уцелевших в более или менее вымирающем виде и после наступления этого торжества. Но полагаю, что здесь уже заложен был интерес к этим вопросам и что этим я обязан в такой же степени занятиям по истории права, как и по политической экономии. Запросы, близкие к тем, какие зарождались во мне под влиянием немецкой школы, разделяли и другие мои сверстники, в числе их профессор Янжул[134], весьма мало испытавший на себе влияние Маркса. Его первое сочинение «Об истории соляного налога в Англии» свидетельствует не только о большом знакомстве с источниками, приобретенном, благодаря упорной работе в библиотеке Британского музея, но также и о непрестанном желании ввести изучаемый им вопрос в общие рамки экономического развития Англии, противоположением в ней интересов отдельных классов и торжества того или другого из них. Близость его к катедр-социалистам и немецким историкам хозяйственной жизни и экономических доктрин еще определеннее выступает в другой его работе: «Протекционизм и свободная торговля» — этом очерк экономических доктрин Англии, начиная с XVI столетия и оканчивая XIX-ым. В этой книге проф. Янжул постоянно приводит в связь отдельные учения с современным строем хозяйственной жизни. Это позволяет ему смотреть на эти учения столько же, как на отражение фактов действительности, сколько как и на бродило, вызывающее к жизни новые запросы. Так, напр[имер], учение Додленорса о свободной торговле почти за столетие предупреждает наступление тех явлений быстрого роста промышленности и необходимости приобретения все новых и новых рынков, и которая

определяет переход Англии от протекционизма[135] к фритредерству[136]. Дальнейшие работы Янжула, его 2 тома о фабричном законодательстве разных стран уже могут быть прямо поставлены в параллель с деятельностью Брентано, в смысле подготовления общественного мнения Германии к принятию рабочих законов. Участие Янжула в выработке и в проведении в жизнь норм защиты труда женщин и детей, длины рабочего дня, порядка расплаты с фабричными тружениками и т.д., и т.д. уже прямо напоминает по своим результатам влияние, оказанное кружком Социальной Реформы в Германии на решение рабочего вопроса. Как первый по времени старший фабричный инспектор Московского округа, Янжул своими годовыми отчетами создал тип систематического описания и критики действующих порядков нашей промышленной жизни и нашего промышленного законодательства, тип, которому следовали затем в течение некоторого времени, к сожалению, очень короткого, фабричные инспектора во всей империи.

Более молодое поколение русских экономистов в лице Туган-Барановского и Струве, уплатив дань увлечению историческим материализмом К. Маркса и немецкой социал-демократией, перешли одни к учениям психологической школы, с ее инициатором Бем-Баверком, или к доктринам английских классиков. Среди русских социал-демократов уцелело несколько теоретиков марксизма, но они в земельном вопросе приблизились к учениям народников-экономистов, идя по следам А.С. Посникова. Влияние катедр-социализма в России дает себя чувствовать ныне в меньшей степени в лагере экономистов. Иное дело, если говорить об историках и, в частности тех, которые склонны поднимать вопросы, связанные с ростом хозяйственной жизни. В этой сфере немецкая экономическая наука с ее тенденцией исторической проверки экономических теорем, находит еще немало последователей.

IV.

Быть в Берлине и не слушать курсов по философии казалось мне чем-то недопустимым. Я записался поэтому на лекции Целлера[137] и Гармса[138]. Первый дал мне систематический очерк всякого рода философских систем с древности до эпохи критиков гегельянства. Большой живости в этом изложении не было. Преподавание напоминало собою скорее диктовку, чем красивую импровизацию, которая вообще редкость в среде немецких лекторов. Но как вступление к самостоятельному изучению отдельных систем, лекции Целлера могли доставить большую пользу. Я не скажу того же об Гармсе, который излагал нам доктрину Канта повышениями и понижениями голоса, с претензией, что ему одному известно связующее звено между «Критикой чистого разума» и «Критикой разума практического» и который, в конце концов, скорее убил во мне желание заняться изучением кантовой философии. Философия была представлена в Берлинском университете еще некоторыми профессорами, одним стариком, имени которого я теперь не

припомню, и который в ранней своей молодости был учеником Гегеля. Его не столько ходили слушать, сколько любоваться его фраком «гегелевского покроя». Дюринг[139], на правах приват-доцента, читал «Критико-исторический курс», в котором рассматривал важнейшие философские системы со времен Лейбница. Я попал на одну из его заключительных лекций, на которой он пытался провести тот взгляд, что Конт был каким-то предшественником материалистической философии нашего времени, Конт, так охотно провозглашавший эту философию новым видом метафизики. Тот же лектор собирал однажды в неделю, вечером, обширную аудиторию на своих лекциях по истории социализма. В этой аудитории появились и некоторые из вожаков рабочего движения. Дюринг был слеп. Его приводил в аудиторию семи-восьмилетний сын. Не зная, кто сидит у него на лекциях и не стесняясь в выражении своих мыслей, он нередко задевал того или другого из своих слушателей. О фурьеризме он выражался неодобрительно, называя его социализмом идиотов. В споре К. Маркса с Бакуниным он становился на сторону последнего. К «социал-аристократам», представленным в Берлине Руд. Майером[140], автором довольно распространенной книги «Борьба четвертого сословия из-за его эмансипации», он относился насмешливо. Но что всего более пленяло меня и возмущало других, это та независимость, с которой он обсуждал последствия недавней победоносной войны Германии с Францией[141]. Однажды, обращаясь своими слепыми глазами в сторону окна, из которого открывался вид на дворец, он позволил себе фразу вроде следующей: «Многого достигли вы, укрепили власть этого бранденбургского помещика». На лекции сидело несколько офицеров и они сочли себя задетыми. Но чего не вызвали выходки Дюринга против правительства, то достигнуто было, годы спустя, его неуважительным отношением к ректору университета, которым в то время был Гельмгольц[142]. Дюрингу пришлось оставить преподавание и ограничиться одной литературной деятельностью, которая ему, как слепому, вероятно, давалась нелегко. Этот разносторонний человек, экономист и философ, в молодости получивший от одного из южных университетов Германии премию за сочинение по механике, отличаясь большим полемическим жаром, создал себе немало врагов. Задетые им главы социал-демократии ответили ему разросшейся в целую книгу брошюрой. Она написана была Энгельсом по несомненному внушению Маркса, от которого я затем слышал: «Дюринг уверяет, что все в Энгельсе происходит от меня». Это заявление сопровождалось самодовольной улыбкой, свидетельствовавшей, что Маркс не считает такую точку зрения ошибочной[143]. Сочинение Энгельса озаглавлено: «Низвержение науки Дюрингом» и переведено на многие языки. Зибер посвятил ему обстоятельный анализ[144] в издававшемся мною в конце 70-х годов «Критическом обозрении»[145].

По вечерам читали также свои лекции Гельмгольц и Дюбуа-Реймонд[146] по основным вопросам естествознания. В аудитории, одной из обширнейших в университетском здании, не всегда легко

было найти место. Гельмгольц, в отличие от Дюбуа-Реймонда, не был оратором. Его внешность напоминала собою прусского полковника. Голос был звучный и повелительный, изложение отличалось хрустальной ясностью и простотой. О лекциях обоих профессоров можно было сказать словами Монтескье: «Дело не в том только, чтобы сообщить знание, но и в том, чтобы заставить мыслить».

Я, разумеется, в этом беглом очерке не мог обозреть преподавательской деятельности не только всего Берлинского университета за 72-ой год, но и его профессоров-юристов. Если прибавить, что в это время по цивилистике выступали со своими курсами Дернбург[147], Экк[148] и Барон[149], наряду с стариком Безелером[150], отцом теперешнего военного губернатора Антверпена, что по уголовному праву можно было слышать Борнера, которого мой харьковский учитель Палюмбецкий[151] ставил в число «новейших реформаторов» и которому, как я мог убедиться, было в то время не менее 70 лет, что каноническому праву и философии права можно было учиться у Гиншиуса[152] и что многие юристы по утрам посещали лекции Моммзена по римским государственным древностям, то легко будет согласиться, что в столице Германии кандидату Харьковского университета было чему поучиться. Я обнаруживал вполне понятную в моем возрасте (было мне всего 22 года) научную невоздержанность или, вернее, обжорство. Мне хотелось вполне использовать мои месяцы пребывания в Берлине и для занятий историей. Недостаток серьезного классического образования и, в частности, незнакомство с греческим языком помешало мне слушать лекции Курциуса[153], имя которого справедливо гремело на весь мир. Я более интересовался новой и новейшей историей и записался поэтому в число слушателей Дройзена[154], известного автора «Истории Фридриха Великого». Он прочел нам курс по общей истории Европы, начиная с Венского конгресса и оканчивая Франкфуртским миром. Дройзен был превосходным лектором, но лектором предубежденным. Он нападал на Францию, боролся с южногерманским сепаратизмом, высказывал явное нерасположение к России. Один Николай Павлович вызывал его симпатии и он невольно смешил нас, уверяя, что в создании генерал-губернаторств русский император приблизился к Карлу В[еликому] с его misse dominici*. Наиболее интересную часть курса представляло описание стремлений немецкого народа к объединению и соперничество Австрии и Пруссии из-за того, под чьим знаменем соберется «рассеянная храмина». В [18]72 г. в Берлине еще не было Трейчке[155], но в позднейшие годы, проезжая через столицу Германии и заглядывая в ее университеты, я побывал и на лекциях этого популярнейшего профессора. Трейчке был глух и, как часто бывает с глухими людьми, не говорил, а кричал. Это не мешало ему привлекать обширную аудиторию, которую пленяли его патриотические выходки против

* Посланник владетельной особы или государства (*лат.*).

действительных или мнимых врагов германского единства. Ни на каких лекциях не выступала в большей степени встревоженная психология немцев и, в частности, пруссаков, как на лекциях профессоров-историков. Эту психологию можно поставить в параллель с тою, которая проявляется в публичных выступлениях немецких профессоров в наши дни. По примеру Фихте[156], они обращаются со своими речами к немецкому народу, печатают подробные отчеты о них в газетах, собирают о них сборники и пользуются каждым случаем, чтобы преломить копья с французскими, английскими и бельгийскими обличителями «варварства» немецкого народа. В одной, недавно появившейся статье Эрнста Траумана в сборнике, озаглавленном «Старая Германия», и представляющем собою декабрьский номер «Южно-Немецкого ежемесячника», проводится параллель между тем отношением, в какое становились в Германии французские писатели в годы, следовавшие за франко-прусской войною, и тем, какое занимают по отношению к ней писатели из лагеря тройственного соглашения в переживаемую нами войну. Тогда Эрнест Ренан[157], полемизируя с Давидом Штраусом[158] по вопросу о том, кому должен принадлежать Эльзас[159], в своем обмене мыслей не считал возможным отступать от правил вежливости. Несмотря на ряд «галльских софизмов», какими испещрено было письменное обращение Ренана и которое, подчеркнул в своем ответе глубокомысленный и склонный к борьбе «шваб», Ренан высказывал свое удивление к немецкому народу, признавался в том, что он много ему обязан, писал, что, знакомясь с Гете и Гердером[160], он еще молодым семинаристом считал себя входящим в «великий храм». «Этот католик и француз, — пишет Трауман, — признавал за Германией великую и историческую роль и считал ее реформацию величайшей революцией нового времени. А что мы видим ныне. Сравните только с поведением Ренана то, что позволяют себе Бергсон[161] и Бутми. Я не говорю уже о бреде Ришепена[162], Ролланда и им подобных. В какую бездну бесхарактерности должен был впасть философ, который еще в нынешнем году одинаково в Берлине и Вене открыто признавал себя принадлежащим к одному миру идей с немецкими метафизиками и который теперь клеймит нас прозвищем варваров. Подумаешь, что эта война не только вырвала всякую любовь и верность из мира, как сорную траву, но и отняла у людей память и чувство благодарности. Безумие овладело умами. То, что Верхарн[163] или Метерлинк[164] еще несколько лет назад, назвавший Германию в речи, произнесенной им в Берлине, «нравственной совестью мира», говорят о ней в настоящее время, это не суждение, а какие-то нерасчлененные крики ярости и сумасшествия. А что сказать об «экспекторациях» извращенного д'Аннунцио[165] и ему подобных, как не назвавши их доказательствами беспомощной страсти и подозрительного ослепления...» (стр. 332, 333).

Автор приведенного отрывка, по-видимому, забывает, как одновременно немцы отзываются о своих врагах. Не говорю уже о русских, которых они хотели бы оставить за границами цивилизо-

ванного света, но и об англичанах, уподобляемых ими морским разбойникам, сознательно ведущим свою войну, чтобы погубить немецкую торговлю. Обвинения, которыми они осыпают англичан, касаются всего их прошлого. Англия никогда не руководствовалась великодушными мотивами. Она всегда преследовала одни материальные выгоды своей плутократии и т.д., и т.д., в том же роде. Один из немецких ученых, в патриотическом азарте не потерявший смысла истории, счел даже нужным дать отповедь этим пристрастным обличителям. В статье, напечатанной им в рождественском номере в «Neue Freie Press», Луйо Брентано пишет: «Несомненно, что весь английский народ должен держать ответ за то, что дозволил своим правителям вести пагубную политику, как для всего света, так и для него самого. Но из этого не следует, чтобы мы могли хотя бы на минуту забывать, что не весь английский народ повинен в этом притворстве и насилии. Я считаю почти преступным и близким к безумию поведение тех известных писателей, которые проповедуют ненависть к Англии и для обоснования этой ненависти ссылаются на утилитарную философию англичан со времен Бэкона и до наших дней. Говорить, что в противоположении немецкого идеализма английскому утилитаризму коренится вполне справедливая ненависть наша к Англии, свидетельствует только о пустой фразеологии, невежестве и беспримерном легкомыслии.

Различие в том отношении, какое в 1871 и [18]72 гг. встречала Германия, только что достигшая своего единства, ценою стольких пожертвований, и тем, которое оно встречает ныне из-за поддержки какого-то средневекового отмщения на целом народе действительного или мнимого заговора немногих его членов против наследника Габсбургского престола, лежит в причинной зависимости и от различия преследуемых ею целей и тех условий, среди которых происходила война. Немецкий народ боролся в 1871 г. за торжество национального принципа. Миру неизвестна была еще та сознательная подделка Эмской депеши[166], виновником которой впоследствии с самохвальством признавал себя Бисмарк. Противником германского народа считался не французский народ, а вторая империя[167], созданная насильственным переворотом, вызывавшая к себе ненависть во всей передовой части нации с Виктором Гюго[168] во главе, все еще не желавшим жить под кровом узурпатора. Император Вильгельм заявлял, что воюет только с правительством Франции, а не с ее народом. Руководимые им полки не нарушали границ нейтрального государства. Их успехи объяснялись во Франции неподготовленностью армии и неумелым руководством ею со стороны императора, которого и делали ответственным за все неудачи. Наконец, важнейшей причиной катастрофы считали то, что с большим или меньшим основанием признаваемо было изменой маршала Базена[169]. Ненависть к немцам была до некоторой степени парализована не только ненавистью к империи, от которой избавились, благодаря поражениям, но и взаимной ненависти парижан и версальцев, Коммуны[170] и правительства Тьера.

Россия не только не поддерживала Францию, но своим «благоприятным» нейтралитетом развязывала руки пруссакам. Не даром Вильгельму I приписывают послание к Александру II, в котором он признавал его одним из виновников своего удачного похода. Англия также не вмешивалась в войну и Гладстон[171] довольствовался одной только посылкой французам жизненных припасов. В таких условиях не было причин к тому подъему всеобщего негодования среди культурных вождей человечества, какое вызывает грубое нарушение нейтралитета Бельгии и затем жестокое разрушение городов и селений, жители которых охраняют свою жизнь и имущество от беспричинно напавших на них врагов. Самая война велась в то время в иных условиях, чем теперь. Цеппелины и «голуби» не метали из воздуха своих бомб на ни в чем неповинное гражданское население, 42-х сантиметровые ядра не сносили крепости и не распространяли смерти на далекое расстояние создаваемым ими удушливым воздухом, исторические достопримечательности, произведения искусства оставались святыми и неприкосновенными для обеих наций. Теперь все изменилось. Воюет уже не один народ против другого, а половина мира против другой половины. Если англичане и французы повинны в том, что привлекли на поле битвы и желтых и черных, то немцы ответили своим врагам, направив против них весь мусульманский мир. Чтобы племена сэнусси вели войну более культурными средствами, чем гуркасы, остается еще вопросом. Кто повинен будет в том, что Азия откажется в дальнейшем в признании европейского господства над нею, — англичане ли, или немцы, решит ближайшее будущее, которое, вероятно, разделит ответственность между обоими противниками.

В таких условиях психология враждующих сторон, очевидно, не может удержаться на нормальном уровне. Неприятель в пылу борьбы приобретает характер врага всего человеческого рода, врага всей, нажитой веками, культуры, варваром, Атиллою[172]. Если англичане для немцев то же, чем финикиянин был в глазах Гомера — «обманщик, коварный, злой кознодей, от которого много людей пострадало», то для англичан и французов немец — воплощение милитаризма, при котором немыслимо сохранение нормального гражданского оборота и европейской культуры. Обе оценки, разумеется, одинаково превратны. Страна Шекспира, Мильтона[173] и Герберта Спенсера[174], разумеется, озабочена не одним захватом рынков и истреблением чужих судов, но также торжеством веротерпимости, политической свободы и самоуправления. С другой стороны, нация с народной организацией войска не может быть надолго нарушительницей европейского мира, что она, впрочем, и доказала, сохраняя его в продолжении 44-х лет.

Тогда как в теперешнем отношении Германии к враждующим с нею нациям господствует тот же обличительный тон, каким отличались ее противники в 1871 и [18]72 гг., преобладающей чертой немецкой психологии было в [18]70 г. самодовольство, сознание достигнутой цели, радость по случаю совершившегося объедине-

ния, желание убедить прежде всего самих себя в том, что Германия стоит выше других наций столько же в мире, сколько и на войне, что ее политика, ее наука, ее искусство не имеют себе равных. Ведь только у нее нашлись такие военачальники, как Мольтке[175] или принц Фридрих-Карл[176], такой политик, как Бисмарк, такие ученые, как Гельмгольц, Вирхов[177] или Моммзен, такие музыканты, как Рих[ард] Вагнер. Увлечение последним достигало своего апогея. Театр в Барейте не был еще достроен и лучшие исполнители вагнеровских опер выступали в Берлине. Живя с матерью и не зная, как развлечься, я часто отправлялся с нею слушать Тангейзера, Лоэнгрина, Нюренбергских Майстерзингеров, Улетающего Голландца. Мне пришлось слышать тенора Нимана и баритона Бэка, контральто Малингер и сопрано Фогенгубер. Первый не был превзойдет ни Фогелем, с которым я впервые познакомился в позднейшие годы в Мюнхене, когда голос его уже далеко не отличался свежестью, ни теми исполнителями, которые выступали в главных ролях в вагнеровских нибелунгах в Байрейте. Я позволю себе сделать только одно исключение: бельгиец Вандик очаровал меня еще больше Нимана. Несмотря на то, что тому же Ниману пришлось выступать в «Тангейзере» в Париже, он, как оказывается, не имел никакого успеха. Но в этом виновата была уже нетерпимость французов к Вагнеру как автору имперского триумфального марша, нетерпимость, заставлявшая их освистывать в моем присутствии увертюры Вагнера, на концертах классической музыки, устраиваемых по воскресеньям в зимнем цирке воинствующих Паделю. Все это, разумеется, не помешало тому, что «Кольцо нибелунгов» и даже «Парсифаль» за последнее время не сходили с афиши Парижской оперы, и что на представления в Байрейте добрая часть публики, как я сам имел возможность убедиться в этом, не раз состояла из французов. Берлин был уже тогда одним из музыкальнейших городов в мире. С небольшими затратами можно было приятно провести время, слушая исполнение оркестром симфонии Моцарта и Бетховена и выпивая кружку пива. Раза 2 или 3 мои товарищи увлекли меня и на студенческий комерш, где мы распевали песни, сложенные студенчеством Германии и собранные в целый томик. По временам председатель приглашал нас осушить большую кружку пива. Не повиновавшиеся его призыву подвергались, в качестве наказания, обязательству выпить добавочное количество, нечто вроде «великого орла», с которым связана память о Петре В[еликом]. С одной из таких комершей меня полуживым доставили на дом к великому ужасу матери. Помню я и другое, еще более многочисленное собрание студенчества, на которое явился и фельдмаршал Мольтке. Пили за его здоровье и заставили выслушать ряд невероятно нелепых речей. Имперские власти не только не чуждались молодежи, но, как показывает только что приведенный пример, пользовались любым случаем, чтобы войти с нею в сношение и поддержать патриотический жар. Из творцов империи мне в этот год пребывания в Берлине пришлось видеть и слышать Бисмарка. Новое здание рейхстага было

еще в проекте. Он заседал во временном помещении недалеко от Бернштрассе, на которой я снимал свою квартиру. Достать входной билет было не трудно. Достаточно было обратиться за этим к привратнику и заплатить ему за это 1—2 талера (3—6 марок). В день моего прихода в рейхстаг депутаты от Эльзаса впервые заняли в нем свои места, и представитель Страсбурга по имени Дойч, что значит немец, взошел на трибуну и попробовал говорить по-французски, заявляя, что немецкий язык ему неизвестен. Досказать своей речи ему не удалось. Бисмарк потребовал слова и пообещал, что они эльзасцев снова научат говорить на их родном языке. Сколько помню, в поддержку Дойчу выступили своим вставанием только 2—3 депутата, в числе их Зоннеман[178] — редактор «Франкфуртской Газеты», который, как рассказывал мне впоследствии Маркс, сам хвастался тем, что половина любого номера его органа служит бирже, а половина социализму. Протестовал также и известный историк еврейства Эвальд, которого мне и пришлось в этот день увидать единственный раз в моей жизни. Его имя мне хорошо было известно еще из лекций Стоянова в Харькове по древнееврейскому праву. Из депутатов я узнал, несколько времени спустя, почти восьмидесятилетнего Роберта фон Моля, — автора той с трудом одолеваемой «Энциклопедии государственных знаний» и «Истории государственных наук», которых я не в состоянии был осилить в Харькове. Сын Моля был секретарем императицы Августы. Я достал от него рекомендацию к отцу и снабжен был советом обращаться к нему не иначе, как называя его превосходительством. Старик обошелся со мной оч[ень] ласково и поделился своей озабоченностью тем, какое место ему занять в рейхстаге. Ни одна партия его не удовлетворяла, а сидеть одному в величавом одиночестве не хотелось. Из его квартиры я поспешил в рейхстаг, что позволило мне быть свидетелем довольно комической сцены: старик плохо видел, с трудом нашел отведенное ему место и встреченный улыбкой соседей, опустился на него.

Я жил в Берлине в самый разгар «Kulturkampf»[179], т.е. похода, предпринятого Бисмарком при содействии министра народного просвещения Фалька[180] против католической партии или партии центра. Прежние союзники Бисмарка, в молодости шедшего заодно с юнкерами, напали на него в лице Гарлаха[181], выглядевшего несравненно большим стариком, чем сам железный канцлер. Обороняясь от них, Бисмарк намекнул на то, что люди в преклонном возрасте могут иногда спятить с ума. Одно место его речи, мне особенно понравившееся, я затем списал со стенограммы и до сих пор помню его наизусть. Оно заключало в себе то, что французы называют profession de foi*. Это было не столько изложение Бисмарком его политической программы, сколько передача его правил поведения. В переводе этот отрывок гласит: «Я государственный деятель, подчиняющий мои личные взгляды благу моей стра-

* Кредо, изложение взглядов, убеждений (*франц.*).

ны и требованиям мирного сожития». Это мог сказать человек, которого даже конституционалисты типа Гнейста обвиняли в чрезмерной уступчивости духу времени, ввиду принятия им системы всеобщего голосования, как основы для имперских выборов. Распространен был слух, что в этом отношении он подчинился убеждениям Лассаля. В действительности было, разумеется, не так. С 1848 г. стремление к объединению Германии пошло рука об руку с демократическим течением и вынесено было им, в конце концов, на поверхность. Избирательные законы отдельных земель империи расходились в требовании большего или меньшего ценза. Прусская система, с ее отдельными куриями, более или менее обложенными, самому Бисмарку казалась «нелепейшим из всех избирательных порядков». Удивительно ли, если в таких условиях Бисмарк, желая привлечь симпатии народа к империи и имея в виду равное участие всех в несении воинской повинности, всем же дал доступ к избирательным урнам.

Проведши весь зимний семестр в Берлине, я после Пасхи решил отправиться в Париж. Моя мать уехала на лето в деревню и я впервые зажил без родительского присмотра на полной свободе.

Глава III

Годы заграничного ученичества и странствий (продолжение)

Б) Париж и Лондон

I.

В Париже я зажил еще более студенческой жизнью. Поместился я напротив Сорбонны, ходил обедать в небольшой ресторан на бульваре С.-Мишель, встречался здесь с русскими студентами и лицами, оставленными при русских университетах для подготовления к профессорскому званию. Только раза два в неделю я проводил вечера в театрах и Опере. В воскресенье мы отправлялись целыми компаниями за город, в богатые окрестности Парижа, в Севр, С.-Клю, в Белльвю и Версаль, а иногда даже так далеко, как Фонтенебло и прилегающие к нему леса. Впечатлениям не было конца, но было также чему и поучиться. Ни один город, по-моему, не представляет такого разнообразия педагогических средств, как столица Франции. Кроме университета, т.е. Сорбонны и Школы правоведения, доступ к которым свободен для всех, в Коллеж де Франс[1] историку и юристу открывалась возможность слушать таких профессоров, как Лабуле[2], Альфред Мори[3], Мишель Шевалье[4]. Во вновь созданной при ближайшем участии Тэна[5] школе политических наук[6] можно было при 3-х годовом курсе обстоятельно познакомиться и с государственным, и с административным, и международным правом, не только из общих курсов, но и из ряда конференций, обнимавших собою те или другие периоды в развитии учреждений французских и иностранных, те или другие эпохи дипломатической истории, те или другие политико-философские системы. Здесь обучение не было свободным в том смысле, что приходилось оплачивать отдельные курсы или всю совокупность тех, которые читались на одном из двух отделений — административном или дипломатическом. Я записался на лекции двух профессоров — Бутми[7] и Поля Жане[8]. Первый читал нам очерки по конституционному праву. Они вышли впоследствии в печати, касаются Англии, Франции и Соединенных Штатов и свидетельствуют о том, что уже в это время Бутми, завоевавший себе ранее известность в совершенно другой области, истории искусства, был тем глубоким народным психологом, каким он выступает в своих позднейших трудах, хорошо известной «Психологии английского и психологии американского народа». Что касается до Жане, то он читал нам продолжение своих двух томов по «Истории политики в ее отношениях к нравственности». Это сочинение, как известно, доведено до начала XIX века. Лектор посвящал свой курс истории политических учений в первой половине XIX столетия, излагал нам системы Жозефа де Мэстра[9] и Бональда[10], учение

С[ен]-Симона и с[ен]-симонистов, Фурье и его последователей и доводил свои чтения до 48 года. Так как одновременно я слушал в Коллеже де Франс Франка, говорившего нам о Гоббсе[11], Спинозе[12] и Локке[13], и Лабуле, посвятившего целый курс Монтескье[14], то я вправе был надеяться на выполнение, по крайней мере, части рекомендованной мне программы по так называемой истории политических учений. Каждый лектор вносил в свои чтения характерные особенности. Франк[15] являлся пережитком тех профессоров-ораторов, которые в середине столетия очаровывали свою аудиторию удачным выбором полнозвучных фраз и красотою образов. Кто читал серию его томов о реформаторах и публицистах средних веков по XVIII столетие, тот, разумеется, не упрекнет его в бессодержательности и недостаточном знакомстве с предметом. Но он в то же время вынесет впечатление, что с таким трудом читаемые в подлиннике писатели, как Спиноза, отличаются общедоступностью своих систем благодаря увлекательности его изложения. Для Лабуле курс служил только ширмой, за которой автор «Парижа в Америке» в остроумной и иногда резкой форме критиковал различные политические направления, находившие в то время выражение себе в дебатах Французской камеры[16]. Это было в 1874 г. Палаты заседали в Версале. На очередь поставлены были вопросы о монархии и республике. Лабуле принимал ближайшее участие в подготовке тех основных законов 1875 г., которые только потому слывут в просторечии Валлоновской конституцией, что сенатору и историку Валлону[17] пришлось приложить руку к последней. Я много в жизни слышал хороших лекторов, но такого рассказчика, каким был Лабуле, я другого не знаю. Он поистине был больше causeer'ом*, чем профессором. Он беседовал с кафедры с какими-то невидимыми противниками, старался убедить их в ошибочности проводимой точки зрения, повышал и понижал голос и нередко обрывал свою речь на междометии. В качестве его, как рассказчика, я имел вскоре случай убедиться. Биограф Монтескье Виан[18], постоянно посещавший лекции Лабуле, предложил представить меня ему. Лабуле был в это время директором Коллеж де Франс. Когда мы прибыли в назначенный день, он не успел еще вернуться из Версаля. Нам пришлось ждать его некоторое время. Сконфуженный этой невольной неаккуратностью, Лабуле постарался очаровать нас. В течение более часа он говорил, редко прерываемый нашими вставками, с умом и блеском, какие мне редко приходилось встречать в беседах не менее его выдающихся ученых и политических деятелей. Я узнал впоследствии от Виана, что произвел на Лабуле настолько хорошее впечатление, что он порекомендовал биографу Монтескье привлечь меня к сотрудничеству при переработке его сочинения для 2-го издания. Я должен был написать главу о предшественниках Монтескье и, не восходя так далеко, как это сделал Виан, поднявшийся до времен древней Индии, ука-

* Собеседником (*франц.*).

зать на то, в какой мере мысль Монтескье развилась под влиянием чтения таких писателей, как Боден или Локк. Я дал мое согласие. Но последовавшая вскоре кончина Виана помешала осуществлению нашего сотрудничества.

На лекциях Альфреда Мори, — одного из разностороннейших историков, каких в то время можно было встретить во Франции, я познакомился в сжатом, но крайне систематическом очерке с историей французской администрации в дореволюционный период. Мне захотелось больших подробностей, непосредственного знакомства с источниками. И по совету одного молодого профессора, встреченного мною в аудитории, я пошел за этим в Школу хартий[19]. Она помещалась в то время при центральном архиве. Ее профессора, в числе которых был не один известный всему миру специалист по палеонтологии и средневековому быту, имели в виду подготовить молодых людей, посещавших их лекции, к званию архивистов и библиотекарей. Служа сами или, по крайней мере, часть из них — в Центральном архиве, они приносили с собою в аудиторию самые грамоты, заставляли слушателей читать и разбирать их, тут же давали свои объяснения, и лекция часто затягивалась далеко за час. Работать по источникам не научили меня ни в Харькове, ни в Вене, ни в Берлине, ни в высших школах Парижа. Научил меня этому впервые проф[ессор] Бутарик, читавший нам историю французских учреждений в средние века, как научил теперь Поль Виолле, читающий в той же школе и пользующийся широкой известностью благодаря своему трехтомному труду: «История французских учреждений»[20], а специалистам еще более знакомый тем, что с редкой проницательностью он сумел, путем внутренней критики текста «Установления Св[ятого] Людовика» (Людовика IX), открыть два источника, на основании которых они возникли. Одним из них был уже обнародованный в то время древнейший сборник обычного права Нормандии, а другим — еще не открытый сборник обычного права Анжу. Последний вскоре был разыскан и подтвердил, таким образом, догадку пытливого исследователя. Упоминаю об этом, с целью показать, какая научная работа велась и доселе ведется в этой Школе хартий, открытой для всех, и которой, сколько мне известно, мало пользуются молодые ученые из России, подготовляющиеся к профессорскому званию. Годы спустя, уже в бытность мою преподавателем в Москве, Нил Попов[21], затевавший в то время открытие при архиве министерства юстиции школы палеографии и древностей, через мое посредство обратился к тогдашнему директору Школы хартий в Париже, известному знатоку провансальского языка, как и всех вообще романских, Артуру Мейеру, с просьбой прислать данные о внутреннем устройстве этой школы. Русское правительство одно время задумало сделать нечто подобное в Москве. Но из всего этого предприятия ничего не вышло. Имеется, правда, в Петербурге Археологический институт, но в Петербурге, который сам возник в начале XVIII века, нет, разумеется, в архивах ни одной рукописи, восходящей к более отдаленной эпохе, а, следовательно, о

той непосредственной работе над источниками средневековья, какая происходит в Париже, не может быть и речи. Бутарик, например, желая на своих лекциях объяснить нам, чем были так называемые lettres de cachet[22], или приказы о личном задержании, приносил с собою пачку их из разных эпох и по возможности разного типа. Он вызывал из среды двух десятков лиц, окружавших его кафедру, тех, которые слыли у нас — и с полным основанием — лучшими палеографами и приглашал их прочесть принесенный им материал. Ими весьма часто бывали Roiy и Havet. Один в настоящее время занимает его кафедру, другой служит в рукописном отделении Национальной библиотеки в Париже. Когда материал был прочитан, Бутарик спрашивал тех же лиц, какое впечатление получается от него. Каждый сообщал свою точку зрения. Лектор подвергал выслушанное критике, соглашался с известным мнением, оспаривал другое, сообщал новые дополнительные данные и в заключение делал общий обзор всему вопросу.

Прослушав в течение ряда месяцев лекции Бутарика, я решился попробовать и свои силы над самостоятельной работой и из Школы хартий стал заглядывать в Центральный архив. В числе учреждений, мало обследованных и между тем вполне заслуживающих внимания, старая Франция знала так называемые cours de aides*. Это были верховные палаты с такими же правами критики и протеста против новых законов, идущих вразрез с принципами всего предшествующего законодательства, какими были французские парламенты, т.е. верховные гражданские и уголовные судилища. Все финансовое законодательство Франции подлежало, таким образом, их контролю. Представляемые ими протесты заключают в себе интереснейший материал для экономической и налоговой истории, материал, идущий со второй половины XIV века до момента упразднения самих палат французской революцией. Палаты несли также судебные функции. В их высшей инстанции разбирались споры о неправильном или неравномерном обложении. В низшей те же споры подлежали ведению сперва избираемых, а потом назначаемых членов особого административного судилища, известного под наименованием Elections**. В самом названии еще сохранилась память об избираемости этих разбирателей тяжб. Одно существование такой возможности обжаловать действия чиновников, посягающих на право собственности, доказывает как нельзя лучше, что старая Франция уважительно относилась, по крайней мере, к некоторым из неотъемлемых прав подданных. Только со времени торжества абсолютизма с эпохи Ришелье[23] и создания им в провинциях при губернаторах независимых от них «интендантов», переименованных Наполеоном I в префектов, стали исчезать эти гарантии. Интендант сделался своего рода фактотумом, стал заведовать и полицией, и юстицией, и финансами;

---

* Высший податной суд (*франц.*).

** Выборный (*франц.*).

чрезмерно или неправильно обложенные должны были обращаться к нему со своими жалобами и апеллировать на его решение в Совете короля, ставшим со временем Наполеона Государственным Советом, т.е. опять-таки в административный, а не судебный орган.

Мне показалось заслуживающим внимания изучить историю этих учреждений, целой сетью покрывших собою провинции старой Франции, кое-где слившихся с местным парламентом, а кое-где с местной счетной палатой. Для общей картины необходимо был не ограничиваться Центральным архивом Парижа, но посетить и некоторые департаментские архивы. Я решил проехаться по Франции, в Руане, Монпелье, Экс в Провансе и Дижон. Меня поддерживал в этом намерении проф[ессор] Лучицкий[24], с которым я встретился в Париже. Он пополнял работами в Архиве и в Национальной библиотеке тот материал, который по истории кальвинизма во Франции был найден им в Петербурге и обнародован в приложении к его первой диссертации. Лучицкий был тот из русских историков, который ранее других сумел оказать на меня благотворное влияние вовремя данным советом. Более двух лет я посвятил собиранию материалов и их обработке. Обнародован же мною всего один том, под названием: «История юрисдикции налогов во Франции». Он вышел в Москве и разошелся в количестве 17-ти экземпляров. Немудрено, если я не решился восполнить его следующими томами. Если я когда-нибудь осуществлю свою мысль, хотя бы в более скромных размерах, то, разумеется не иначе, как на французском языке. Для таких тем не найдется в России достаточного круга читателей. И тут мне приходит на ум, насколько производительнее затрачены были бы время и силы, если бы я проделал работу такого же или приблизительно такого же характера на русском материале. Но для этого необходимо было бы, чтобы русские архивы представили хоть отдаленное подобие с Центральным архивом Парижа и департаментскими архивами, т.е. чтобы в них исторический материал был бы так же точно классифицирован и описан и чтобы исследователю не приходилось делать работу архивиста. Необходимо также, чтобы у начинающего свои работы исследователя нашелся такой руководитель, как те, какими располагают во Франции, ученики Школы хартии. А я сказал уже, что в родном университете я не мог найти не только специалиста по истории русского права, но и специалиста по русской истории. Я вышел из университета с бóльшим знанием истории средневековых порядков Франции, нежели русского средневековья. Да и какими архивами мог я располагать на месте в Харькове. Теперь, правда, завелся в нем некоторый архивный материал для истории юга России, приведенный в порядок проф[ессором] Багалеем с его учениками и использованный тем же ученым для истории колонизации Слободской Украины. Но в то время, когда я учился, ничего подобного не было и никакая работа по источникам в Харькове не была мыслима. А было ли лучше в других местах? От людей, занимавшихся в Московском

архиве министерства юстиции я слышал в годы моего пребывания профессором в первопрестольной, что значительная часть материалов совершенно не каталогирована* и им приходится работать в пыли. В одном только архиве министерства иностранных дел в той же Москве, в который мне самому приходилось заглядывать, материал приведен в некоторый порядок и запросы работающих удовлетворяются сравнительно быстро.

В настоящее время еще продолжается описание Сенатского архива и архива Государственного Совета в Петербурге. Новым поколениям работа над отечественным материалом будет легче, чем нам. И это надо принять во внимание, чтобы не осуждать огулом тех из моих сверстников, которые, подобно Янжулу и ли профессорам Виноградову[25] и Кареева[26], подымали в своих работах вопросы об истории французского или английского крестьянства, или историю тех или других форм налогового обложения на Западе, а не работали над русским материалом.

Непроизводительно мое время, в конце концов, не было затрачено. Я не только познакомился с разнообразнейшими вопросами внутренней администрации Франции в течение ряда веков, на которые распространились мои розыски в архивах и библиотеках, не только вошел в сношение с рядом выдающихся ученых, каких можно встретить и в провинциальных университетах, но и научился работать, т.е. извлекать из первоисточников определенные выводы, приводить их в систему, строить гипотезы на счет причинной зависимости, существующей между обследованными мною явлениями и самостоятельно выяснить, прежде всего для самого себя, развитие отдельных учреждений в связи с той средою, в которой совершается это развитие. Мои занятия в библиотеке и архиве настолько поглощали мое время, что я постепенно приучился смотреть на посещение лекций, как на добавочное занятие. И это было, разумеется, к лучшему. Проводить годы заграничного ученичества в пассивном восприятии тех по необходимости общих обзоров, какие представляют собою сколько-нибудь систематические курсы, служит доказательством не столько трудолюбия, сколько отсутствия самостоятельного научного почина. При массе руководств, какие имеются на иностранных языках, сидеть по часам на лекциях, записывать то, что давно уже стоит в учебниках и довольствоваться такой пережеванной другими научной пищей, не есть ли это лучшее доказательство того, что из молодого специалиста не выйдет в будущем ничего другого, как хорошего педагога, но отнюдь не ученого исследователя. Я, к сожалению, видел немало людей подобного типа, и как раз в годы, проведенные мною в Париже. Многие из них так и вернулись на родину только с тетрадями записанных лекций. Годы прошли затем в мучительном собирании на родине материала, который в таком изобилии мог быть в их распоряжении во время заграничного ученичества. Материал

* Так в тексте. Следует: «каталогизирована».

по необходимости оказывался неполным, диссертация откладывалась, возможность быть преподавателем и по выдержании одного магистерского экзамена и необходимость уделять подготовлению лекций большую часть свободного времени, — все это вместе взятое неизбежно вело к тому, что наши высшие учебные заведения принуждены были удовольствоваться включением в состав своих преподавателей не докторов, а магистров и даже магистрантов. У нас обычны жалобы на то, что многие кафедры остаются не заняты. По закону, занятой кафедра считается только тогда, когда на ней сидит доктор преподаваемой им науки. От этих докторов требуется: не как в Германии: представления скромной по своим размерам работы по источникам, а тома в 500 и 600 страниц компиляции. Один том идет на магистерскую, а другой на докторскую диссертацию. На диспуте оппоненты говорят обыкновенно о неполном освещения вопроса диссертантом, и этот упрек в большинстве случаев справедлив потому, что взятый им для обработки вопрос слишком обширен для самостоятельного исследования и недостаточно обследован другими, чтобы опирающаяся на их трудах компиляция была бы полной. Это заколдованный круг, из которого нет выхода. Не пора ли изменить самую систему. Не пора ли удовольствоваться, как это делают за границей, требованием одной лишь, но самостоятельной и основанной на источниках работы. Не пора ли также настаивать не столько на объеме диссертации, сколько на ее внутренних качествах. Не пора ли, прежде всего, не судить об ученом по одной лишь его диссертации, но по всей совокупности работ, из которых многие могут быть мелкими и в то же время пролагающими новые пути. Никто не решится отрицать, напр., за Делилем[27] права считаться одним из лучших знатоков французского средневековья, а между тем, из каталога его работ, составленного его учениками, легко узнать, что всего навсего одна его книга: «История земледелия в Нормандии» заключает в себе с небольшим 500 страниц. Прилагая наши способы оценки, Делил никогда не мог бы сделаться, как теперь выражаются, «хозяином кафедры», т.е. ее законным заместителем.

Наши университеты далеко не настолько бедны силами, как угодно было утверждать политиканствующему министру народного просвещения Кассо[28]. В приват-доцентуре имеются серьезные научные силы, не успевшие только заявить о себе толстыми томами. Вместо того, чтобы препятствовать параллельному преподаванию ими с профессорами общих курсов, что не делается нигде, как только у нас, да и то лишь со времени затеянного Кассо разгрома наших высших учебных заведений, необходимо было бы, напротив, допустить к выгоде науки конкуренцию между опытными и начинающими преподавателями-специалистами. Уровень университетских чтений от этого только бы поднялся, но разумеется, под условием, чтобы курсы приват-доцентов не являлись каким-то сокращенным или упращенным изложением предмета для целей экзамена, чем они неизбежно останутся в том случае, если на них отводимо будет, как теперь, недостаточное число часов в неделю.

Во Франции имеется прекрасное, на мой взгляд, средство удостовериться, что молодой ученый созрел для преподавания, это так называемый «экзамен аггрегации». Я познакомился с ним еще в первый год моего пребывания в Париже. В числе профессоров, к которым я запасся рекомендациями, был известный Шарль Жиро[29], автор двухтомного сочинения: «История собственности у римлян». Жиро принадлежит к числу разностороннейших ученых юристов, какими вправе была гордиться Франция и, в частности, Парижская Школа правоведения в эпоху «второй империи». По выбору своих товарищей он исполнял в год моего приезда в Париже обязанности декана и назначен был правительством председателем комиссии, производивший экзамены тем молодым ученым, которые желали приобрести право на преподавание на юридических факультетах. Ш. Жиро пригласил меня явиться на этот конкурс. Он производился целой комиссией, в состав которой входили, кроме профессоров-юристов, еще член кассационного суда, командированный специально для этой цели. Далеко не все представлявшиеся на конкурс уходили с него благополучно. Требования были немалые и состояли в том, что каждый из представлявшихся должен был прочесть сорокаминутную лекцию или, точнее, две лекции, из которых тема одной выбиралась коллегией. Автор узнавал об этой теме за час до прочтения лекции. Ему позволяли в принадлежащей школе библиотеке сделать необходимые справки. Другую лекцию допущенный к конкурсу читал на им самим избранную тему. В течение 40 минут весь предмет должен был быть исчерпан. Перед председателем коллегии ставились часы с песком — дань, платимая французами любви к старине. Как только песок из верхнего отделения целиком попадал в нижнее, президент произносил страшные слова: «L'heure est écoulée» — «Час истек». Тот, кто не сумел довести лекцию до конца, мог пенять на себя. Его могли допустить к новому конкурсу, но не раньше года. При мне один из известных теперь профессоров политической экономии прочел лекцию о теории ренты. Он изложил учение Рикардо, указал на его предшественников и критиков, представил картину современного решения вопроса крупнейшими представителями важнейших школ, столько же во Франции, сколько и за границей, и остановился, заметив, что председатель вздремнул. Но, к немалому его огорчению, не прошло и минуты, как из уст проснувшегося старика послышалась сакраментальная формула: «Час истек». Лектор удалился. Коллегия, после некоторого обмена мыслей между ее членами, решила, что он достойно исполнил возложенную на него задачу. На конкурсе присутствовал и министр народного просвещения — Фурту[30], член того кабинета «нравственного порядка», который организован был герц. Брольи[31], и который, как известно, был самым реакционным правительством, пережитым Францией со времени Третьей Республики. На моих глазах Ш. Жиро, обращаясь к молодому министру, сказал ему с саркастической улыбкой: «Посещайте у нас почаще, Вы еще молоды и можете многому у нас научиться». Сопоставьте с таким кон-

курсом тот, который происходит у нас и в котором я сам участвовал. Факультету поручено было наметить кандидатов для занятия кафедры по Политической экономии, Энциклопедии права и Праву финансовому. Образована была комиссия, в состав которой вошел и я. В этой комиссии были, разумеется специалисты по Политической экономии и статистике и по Государственному праву, а также два профессора-цивилиста. Мы разделили между собою труд, и на мою долю выпало представление кандидата на кафедру энциклопедии. В комиссии мое мнение, после прочитанного мною отчета, было принято большинством всех против одного, затем последовал доклад факультету, который опять-таки утвердил наш выбор большинством всех голосов против того, кто ранее высказался в отрицательном смысле и предложил от себя желательного министру кандидата. Не буду говорить о том, что министр кончил назначением именно этого кандидата, что и легко было предвидеть, так как министром был враждовавший с университетом Кассо. Для меня в данную минуту имеет значение не то обстоятельство, что вся процедура была сведена к простой комедии, а то, что и при нормальном исходе, т.е. утверждении факультетского выбора, вопрос был бы, в сущности, все же решен одним человеком. Но у этого человека могли быть свои пристрастия и свои антипатии, желание свести старые счеты, наконец, искреннее нерасположение к тому или другому направлению, к той или другой школе. Прибавлю, что, когда я высказывался в пользу определенного лица, мне известны были только его труды, отнюдь не его качества лектора. Правда, от него бы потребовали пробной лекции, но был ли хоть один случай, когда бы такая лекция, прочитанная доктором или магистром, а не человеком, только что выдержавшим экзамены на магистра, послужила основанием к отказу ему факультетом в праве преподавания. Я, по крайней мере, вынес такое впечатление, что пробные лекции, которые в Петербурге, не в пример тому, что делается в Москве, читаются в отсутствии публики, перед одним факультетом, очень часто в десятом или одиннадцатом часу ночи, сводятся к чистой формальности. Пока все эти порядки останутся прежними, сохранится и то отношение студентов к преподаванию, которого мы являемся печальными свидетелями за последние годы. На лекциях большинства лекторов сидят один-два десятка слушателей, к экзаменам готовятся по конспектам, весьма часто безграмотным, на обучение затрачивают возможно мало времени, на экзаменах председательствующие озабочены тем, чтобы все происходило гладко-валко и студенты на университетских скамьях не засиживались бы, а то, пожалуй, снова вздумают волноваться. И выходят из университетов неучи, для которых потом в некоторых министерствах устраиваются дополнительные экзамены, без чего не принимают на службу. А цвет профессуры уходит в коммерческие академии, в народные университеты типа Шанявского[32], на Бестужевские женские курсы[33], на курсы при лаборатории Лесгафта[34] или в Психоневрологический институт, где еще не пущены в ход все средства душить неофициальную

науку, как научились уже душить официальную. «Назад от культуры» — начало чему так успешно положено настоящей войной, продолжится на целые поколения, если останутся при университетах порядки, заведенные г. Кассо. А людей, готовых делать себе карьеру походом на высшую школу, всегда найдется немало в рядах нашей бюрократии, даже в той, которая снабжена дипломами магистров и докторов.

Мое знакомство с Ш. Жиро доставило мне возможность завязать интересные для меня и крайне поучительные сношения с профессорами многих провинциальных университетов во время моих передвижений по архивам и библиотекам Франции. Моя поездка совпала с поворотным моментом в судьбах французских университетов. Третья Республика переходила к децентрализации и в этой области. Число факультетов, расселенных по провинциям, восполнялось новыми. Они объединяемы были в университеты, иногда в таком виде, что одни факультеты оставляемы были там, где они существовали прежде, а другие впервые открываемы были в более многолюдном центре, причем те и другие входили в состав одного университета. Это можно сказать об университете Экс-Марсель[35]. Некоторые его факультеты, в том числе медицинский, помещаются в Марселе, другие, более старинные, — в Эксе. Число кафедр в самих факультетах увеличилось. Курс преподавания с трехлетнего становится четырехгодичным. Мне ближе знакомы перемены, происшедшие на юридических факультетах. Они коснулись одинаково и Школы правоведения в Париже, и соответствующих ей факультетов в провинциях. Государственное право отделялось от административного и образовывало самостоятельную дисциплину. Вводилось преподавание политической экономии для юристов, создавались кафедры статистики, на четвертом курсе начинали читать то, что ныне известно под названием cours approfondis, буквально — углубленные курсы, т.е. курсы, охватывающие хотя бы часть предмета, но с восхождением к источникам и их критике, курсы, на которых лежит печать индивидуальности самого лектора и которые могут служить прекрасной подготовкой для тех, кто собирается держать докторский экзамен и писать докторскую диссертацию. Такие курсы теперь явление обычное и стоят на высоком научном уровне в лучших юридических факультетах Франции — в Париже, Лионе, Нанси, Луэ, Реймсе, Бордо и Тулузе. Мне хорошо известно, как поставлено дело в Париже. Располагая такими силами, как Планиол[36], Жирар[37], Эсмен[38], Лионкан, Шарль Жид[39] и т.д., и т.д. французская Школа правоведения может с большим успехом подготовлять молодых ученых и преподавателей. Но так было еще в год моего приезда в Париж. Многие кафедры еще были заняты людьми, попавшими на них по рекомендации. Во всеуслышание говорили, что, когда принцесса Матильда[40] пожелала избавиться от дорогооплачиваемого ею библиотекаря Шанбелана, для него создана была особая кафедра — обычного права. В изучении последнего всего менее, разумеется,

нуждается страна, в которой со времен Наполеона I произошла кодификация. На лекциях Шанбелана число слушателей доходило до minimum'a. С его смертью исчезла и сама кафедра. Молодые профессора, которыми славится парижская Школа правоведения, в то время только начинали свою карьеру в провинции. Кафедра истории права, на которой с таким успехом выступал впоследствии Глассон[41], была занята еще Вальроже[42], читавшим нечто вроде всемирной истории права и вполне оправдывавшим французскую поговорку: «Qui trop embrasse, mal étreint» («Кто хочет чересчур много охватить, плохо овладевает своим предметом»). Как теперь, помню его лекции о влиянии ярмарок на развитие торгового законодательства. Лектор посвятил сообщению данных, которые легко найти в любом учебнике истории и географии, и банальным рассуждениям о пользе обмена столько времени, что аудитория не выдержала и с разных концов раздались возгласы: «Повторите сказанное, это так ново»... Профессоров, являющихся на лекции в красных мантиях и таких же колпаках, сопровождает украшенный черной скуфьею педель. Ему приходится вступать в препирательства с нарушителями порядка. Несколько минут продолжалась перебранка, и профессор, наконец, в состоянии был продолжить свою лекцию, но в полуопустевшей аудитории. Кафедру административного права в конце Империи и начале Республики занимал Батби[43], — автор хорошо известного семитомного курса. Государственное право читалось вместе с административным и служило как бы кратким вступлением к нему. Занятый в Палате и в тридцатичленной комиссии по выработке конституции, Батби воспользовался правом иметь заместителя, а последний, не блистая сам ни ораторским талантом, ни солидной научной репутацией, привлекал мало слушателей. Преподавание государственного права, как самостоятельной научной дисциплины, пошло своим нормальным ходом несколько лет спустя, когда кафедру занял перешедший из факультета Дуэ историк Эсмен[44]. Разносторонность и глубина этого ученого была поистине поразительна. Молодым человеком он уже заслужил известность и своим сочинением «Брак по каноническому праву», и своей «Историей французского права», и своим «Этюдом по древнейшему обязательственному праву». Как государствовед, он еще не выступал. Его перевели в Париж ввиду его общеизвестности ученого юриста, а не как человека, специализировавшегося по праву публичному. Так как он обладал знанием всех иностранных языков, в том числе и русского, то этому историку не мудрено было поставить свое преподавание на широкую ногу. Предметом своих чтений он избрал историю французских учреждений со времени революции. Первые тома моего «Происхождения современной демократии» в это время уже вышли в печати. Он прочел их и нередко цитировал на лекциях. Когда я впервые встретился с ним на обеде у Род. Дареста[45] — члена Кассационного суда и одного из редакторов «Обозрения французского и иностранного права», в котором я также участвовал, Эсмен сообщил мне о своем знакомстве с моими книгами и критиковал не-

которые из высказанных мною взглядов. Не дальше, как в прошлом году, сошедшись с некоторыми депутатами у Гранмезон, — члена парламентской депутации, приезжавшей в Петербург, я от некоторых из них услышал, что мое имя им хорошо известно, так как оно часто произносилось на лекциях Эсмена. Кто прочел его курс конституционного права, постоянно им исправляемый и достигший 6-го издания, тот, конечно, знает, как хорошо было известно этому неутомимому труженнику одинаково английская, итальянская и немецкая литература по его предмету. Где он находил время для всей своей работы — на это мне ответить трудно. Он часто читал мемуары в Академии нравственных и политических наук, посвящая их за последние годы реформам парламентского строя, затеянным и отчасти проведенным в жизнь английским кабинетом Асквита[46]. Он печатал ученейшие статьи по истории права в упомянутом уже мною «Обозрении по праву государственному» — в журнале «Политических наук», издаваемом ныне Жезом, по праву гражданскому — в основанном им же в сотрудничестве с французскими цивилистами специальном органе. Предмет его лекций менялся ежегодно. Он готовил трехтомный трактат по Истории французских государственных учреждений старого порядка. Не довольствуясь одной Школой правоведения, он состоял также профессором в Свободной школе политических наук, принимал участие в комиссии по производству экзаменов для будущих профессоров и только раз в жизни уклонился от исполнения поручения, возложенного на него доверием и уважением его товарищей — он отказался быть деканом.

В числе молодых профессоров, постепенно вошедших в состав преподавателей парижской Школы правоведения, следует упомянуть хорошо известного теперь Рено[47]. Кафедра международного права в год моего прибытия в Париж занята была временно Шарлем Жиро. Его широкая и разносторонняя подготовка позволяла ему пополнять недочеты в программе и переходить от преподавания римского права к лекциям по праву публичному. Я по временам показывался в его аудитории, но ничего такого, чего бы я не слышал раньше от Каченовского, или не читал в общераспространенных курсах, нам Жиро не сообщил. Преподавание международного права оживилось только со времени занятия этой кафедры Рено. В настоящее время этот труд делят с ним 2, 3 других профессора, в числе их специалисты по истории дипломатических сношений, по истории литературы международного права, по частному международному праву. А так как преподавание того же предмета обставлено весьма широко и в Школе политических наук, то молодой ученый, посланный из России для приготовления к профессорскому званию, может найти в этой области желательное руководство. Я касаюсь преподавания только тех предметов, которые прямо или косвенно относятся к моей специальности, иначе мне пришлось бы наставивать на том, что в области цивилистики, римского и торгового права французская школа может дать такую же подготовку, как и немецкие университеты, в кото-

рых, со времени выхода общего гражданского кодекса, стали меньше заниматься римским правом и, в частности, Пандектами[48]. По своей широкой начитанности Жирар, например, выдержит сравнение с любым немецким лектором по истории римского права. По его курсу можно готовиться прямо к магистарскому экзамену, знакомясь так же хорошо с результатами, добытыми немецкой эрудицией и, в частности, Моммзеном, переводчиком которого на французский язык был Жирар. В настоящее время, когда немецкие университеты стали недоступными для русской учащейся молодежи, особое значение приобретает посещение ею лекций французских профессоров. Те, которые не имеют возможности устроиться в Париже, найдут также в других городах средства удовлетворить своим научным запросам. Лионский юридический факультет, например, благодаря Гаро, слывет едва ли не лучшей во Франции школой криминалистов, выдерживающей сравнение даже с Парижской, несмотря на то, что в ней читают лекции не только Гарсон[49], но и Пуатевен. Но не пора ли вообще отказаться от мысли, что к магистерскому экзамену можно подготовиться только за границей. Не пора ли самим профессорам, по крайней мере столичных университетов, последовать примеру парижских и организовать нечто подобное тем «углубленным курсам», о которых я говорил выше. Когда я однажды обратился, разумеется, неофициально с таким заявлением к членам нашего факультета, бывший его декан, сам превосходный лектор, высказал сомнение в том, чтобы у нас были научные для того силы. Не есть ли это чрезмерная скромность и недостаточное доверие к себе. Не является ли также возможность увеличить самое число этих сил допущением к преподаванию по одной и той же кафедре нескольких профессоров.

В Москве и в Петербурге число слушателей доходило одно время до 10 000, из них от $^1/_3$ до $^1/_2$ и более были юристы. Университет с таким числом посетителей должен был бы иметь возможность включить в свои стены цвет русской науки, а при таких условиях легко было бы устроить более специальные курсы для тех, кто пожелал бы усвоить тот или другой предмет не в размерах общего очерка, а с восхождением к источникам и к их критике. Для этого недостаточно так называемых практических упражнений, руководительство которыми у нас, сказать мимоходом, поручается обыкновенно приват-доцентам, т.е. сравнительно менее опытным и во всяком случае менее начитанным педагогам. Необходимо, чтобы так называемые семинарии или, что то же, практические занятия, знакомили с методами исследования, каких придерживаются наиболее выдающиеся русские ученые. В Петербурге есть Академия наук. Ее профессора пользуются правом открывать курсы в университете. Как не использовать этой возможности? Как не организовать эту помощь профессорской коллегии таким образом, чтобы наши молодые люди приобрели возможность, не в пример нам, испытывать свои силы на научной разработке русского материал под руководством наиболее известных русских специалистов. Это, разумеется, нисколько бы не помешало лицам, уже

приобретшим диплом, дающий им право на занятие кафедры, воспользоваться двухгодичной иностранной командировкой, как воспользовался ею и я уже в звании ординарного профессора Московского университета. Вполне овладев своим предметом и, прежде всего научившись тому, как следует работать самостоятельно над сырым материалом, они, разумеется, несравненно лучше используют свое двухгодичное пребывание в центрах европейской культуры и не ограничатся одним пассивным усвоением чужого знания.

II.

Годы, проведенные мною в Париже в эпоху ученичества, были поворотным моментом в истории Третьей Французской Республики[50]. Я прибыл в Париж в президентство Тьера[51], можно сказать, в последние дни его пребывания у власти. Я пережил в нем «кабинет нравственного порядка» и, после временных отъездов на месяцы и годы в Россию и Англию, снова вернувшись в Париже, имел случай присутствовать на похоронах 1-го президента Республики[52]. Об оставлении маршалом Мак-Магоном[53] президенства я услышал уже по приезде своем в Москву на вечере у историка Серг[ея] Мих[айловича] Соловьева и вот в каком виде. Соловьев напал на своего же ученика Ключевского[54], позволившего себе сказать: «Ушел вовремя, избегая развязки». С старческой раздражительностью почтенный Серг[ей] Михайл[ович] стал доказывать, что молодое поколение не умеет относиться беспристрастно к людям, заслуживающим полного уважения, раз они не принадлежат к их партии. А как не уважать человека, который сам отказывается от власти в том расчете, что не может более полезно служить стране.

Мои воспоминания, таким образом, охватывают тот период, какой представляет собою история «второго президентства». Я, разумеется, в то время стоял далеко от деятелей французской Республики и могу поэтому отразить в моих воспоминаниях только то отношение, в каком стояли к правительственной политике передовые демократы, группировавшиеся вокруг редакции «Republique français»[55] — органу Гамбетты[56] и «Revue de philosophie positive»[57], органам Литтре[58] и нашего соотечественника Григ[ория] Ник[олаевича] Вырубова.

Париж носил еще следы недавнего нашествия пруссаков и пережитой им междоусобной войны[59]. Часть Булонского леса, прилегающая к Сене, была срублена и пошла на отопление квартир. На площади Карусселя подымались развалины Тюильрийского дворца. Там, где ныне стоит громадное здание вокзала Орлеанской дороги, красовалось полуразрушенное и кое-где обросшее мхом здание Счетной палаты. Дворец в С.-Клю также представлял одни развалины. Ездили осматривать те части парка Бютт-Шамон и кладбище Пер-ла-Шез, где происходили последние кровавые столкновения коммунаров с версальцами. Два моих знакомых Кориест и Ланжале провели в Париже все время, пока длилась осада

его сперва немцами, а затем начальствовавшим над французскими войсками маршалом Мак-Магоном. Они могли сообщить не одну подробность о тех ужасах, какие ежедневно совершались на их глазах. Они были точно осведомленными очевидцами недавних событий, так как во время, пока длилось восстание, снабженные пропускными свидетельствами воюющих сторон, они с утра до вечера обходили отдельные квартиры, занося в свой дневник все ими виденное. Дневник вышел в печати на расстоянии нескольких дней, после входа в Париж версальских войск. Ходил слух, что беспристрастные в своих оценках авторы будут привлечены к судебной ответственности торжествовавшим свою победу правительством. Слухи, к счастью для обоих, оказались только слухами. Но один лишился частного места, им занимаемого, а другой, наоборот, приглашен был сотрудничать в тогдашнем органе Гамбетты «Французская Республика». Книга моих приятелей озаглавлена: «Революция 18-го марта». Она переведена была и на русский язык. Все последующие историки Коммуны пользовались ею. Мне пришлось услышать два отзыва, ее касающиеся. Один из членов Коммуны Лефрансе[60], сам написавший о ней свои мемуары, говорил мне о том, что показания, сделанные моими знакомыми, никогда не грешат против истины. Писатель Маргири, прислав Кориесту экземпляр своего романа, озаглавленного «Коммуна», сопровождал его лестным письмом, с признанием, что он не раз пользовался его объективным отчетом о событиях. Кориест, оставшийся моим приятелем до самой своей кончины, был человеком с большой индивидуальностью. Сын восторженного поклонника Жан-Жака Руссо[61], вздумавшего воспитываться по Эмилю, он рано проникся ненавистью к демократической фразеологии, рано стал на ноги и привык зависеть от себя одного. Недовольный полученным им образованием, он решился восполнить его или, вернее, начать обучение снова. Познакомившись с Литре и прочитав курс «Положительной философии» Конта[62], он прошел сызнова математику, астрономию, физику и химию и естественные науки в размере, достаточном для понимания того, что пишет о них французский мыслитель. Все это он проделывал по вечерам, посвящая день службе в конторе биржевого маклера. Кориест был женат и имел двух детей. Один вечер в неделю уходил у него на прием друзей и товарищей не по службе, а по направлению. На этих вечерах изредка показывался и Вырубов, с которым я сошелся, таким образом, с первого же года моего пребывания в Париже. У Вырубова также по временам сходились сотрудники издаваемого им журнала; в числе других я встретил здесь теперешнего президента сената Дюбоста, — автора появившейся сперва в форме статей книги о «Правительстве, наиболее отвечающем условиям Франции» — «Des conditions du gouvernement qui conviennent à la France». Я вскоре сделался постоянным читателем журнала моего соотечественника, а затем и напечатал в нем две небольшие критические статьи, — одну о «Древнейшей истории учреждений известного английского юриста Мэна», а другую о книге одного из глав анг-

лийского позитивизма — Фредерика Гаррисона[63]. Книга эта озаглавлена: «Порядок и прогресс». Если я упоминаю об этих статьях, то только потому, что они были для меня первой пробой пера, если не считать кандидатской диссертации, отпечатанной в отрывке, много лет спустя после ее представления. О Вырубове я не дальше, как в прошлом году, напечатал некролог, содержание которого позволяю себе воспроизвести в этих воспоминаниях (см. некролог о Вырубове в «Русских Ведомостях» за 1913 и 14-ый год)[64].

Очень занятый своей работой и посещением лекций, я проводил свободное время только в среде моих ближайших приятелей. В числе их были, как поименованные уже мною лица, так и несколько русских молодых профессоров и оставленных при университете. Из них единственно выдающимся был Ив[ан] Васильевич Лучицкий, — ум пытливый, характер сангвиничный, увлекавшийся столько же политикой, сколько и научной работой. Интересуясь французской историей, он живо принимал к сердцу недавние бедствия, перенесенные Францией и ее столицей. Его ненависть к немцам, кажется, не исчезла и по настоящий день. Кареев, шутя, рассказывал мне недавно, что Лучицкий выражает ее своеобразно, — никогда не останавливаясь в Берлине при проездке в Париж. Лучицкий был также горячим позитивистом и, будучи значительно старше и потому, разумеется, несравненно начитаннее меня, он вскоре стал по отношению ко мне в положении некоторого ментора, очень ревниво относившегося к своему ученику за всякого рода «случаи неверности», хотя бы последние и вызывались ухаживаниями за молодыми девушками и женщинами. Мне приходилось объясняться с ним не раз и извинять свое поведение естественными увлечениями молодости.

Большинство оставленных при университетах, с которыми мне пришлось встретиться в Париже, не вызывали к себе особого сочувствия. Прибыв со своими семьями, они жили как-то далеко от французской среды, занимались больше критикой всего происходившего на их глазах, о чем, впрочем, они осведомлены были одною радикальною печатью, пользовались удовольствиями Парижа, изредка показываясь на лекциях и в библиотеке и более положительно относились только к тому, что происходило в их родной Москве или чиновном Петербурге. За немногими исключениями эти молодые ученые так и остались молодыми на всю жизнь. Один ссылался впоследствии на то, что его диссертация погибла вместе с чемоданом, другой не считал и нужным прибегать к такой фикции в оправдание своей лени, третий, вместо университета, попал в сумасшедший дом, четвертый, хотя и поразил на магистерском экзамене знанием хронологии пап, но ни в чем не проявил впоследствии своей научной индивидуальности и не пошел дальше преподавания в гимназиях, заканчивая свою карьеру в роли директора, пятый сделал лучшее, что мог сделать — умер, давая, таким образом, возможность говорить о нем, как о потерянной научной силе, которой он, по всей вероятности, никогда бы не сделался. Я и тогда вынес впечатление, что оставляемые при университете

должны обладать качествами, хорошо передаваемыми русской поговоркой: «Ласковая телятка двух маток сосет». Не часто приходится им, я уверен, повторять гордые слова Чацкого: «Служить готов, прислуживаться тошно». С Лучицким мы составляли то, что французы называют «bande à part», т.е. людей, сторонящихся от других. И это было к лучшему, так как позволяло нам жить условиями французской жизни. Будучи большим театралом, я уделял не один свободный вечер посещению «Французской Комедии», где в то время еще играли Брессон, Го, Мадлен Броган, Наптам Арно, оба братья Коклены, Делоне и начинала свою блестящую карьеру Сара Бернар[65]. Я увидел ее впервые в пьесе «Сфинкс». Обе главные роли были заняты молодыми актрисами, — красавицей Круазет и сравнительно некрасивой Сарой. Но весь интерес публики привлекала последняя, не только своим дивным голосом и красивой декламацией, но и необыкновенно реальной игрою, которая в то время не так-то была в ходу. Никаких завываний, даже в предсмертных монологах я от Сары Бернар не слыхал, а умирала она бесподобно, вызывая во мне горячие слезы, которые нередко обращали внимание моих соседей. Помню, как один, не скрывая своей улыбки, сказал мне: «Да ведь это только на сцене». Припоминаю один вечер, на котором старший из Кокленов выступил в роли Тартюфа, припоминаю не только потому, что эта роль была исполнена им необыкновенно тонко, но и по следующим обстоятельствам, имеющим уже ближайшее отношение к политике. В близкой к сцене ложе сидел глава реакционного министерства герцог Брольи, пользовавшийся заслуженною непопулярностью в среде парижан. Ему приписывали с полным основанием тайные интриги в пользу восстановления монархии, в лице наследника Орлеанской династии, и успешной попытки тормозить завершение Национальным собранием его работы над конституцией. Брольи пользовался всяким успехом республиканцев на выборах, чтобы бить в набат по поводу, якобы, приближающегося нового социального переворота. Едва актер, игравший роль Дон-Базилио произнес фразу: «Клевещите, клевещите, от всякой клеветы что-нибудь да останется», как вся публика, точно сговорившись, встала со своих мест и повернулась к ложе, занятой министром. Актера заставили повторить несколько раз свою фразу. Герц[ог] Брольи не выдержал и ушел из театра. Эта находчивость парижан представляет разительный контраст с нашим неумением воспользоваться случаем для мирных и не влекущих за собой судебной ответственности демонстраций. Несколько лет спустя мне пришла на мысль эта пережитая мною сцена, и вот в каких условиях. Мне предстояло читать доклад на археологическом съезде в Одессе. С вечера пришло известие из Москвы о том, что С[ергея] Ан[дреевича] Муромцева[66] без всякого объяснения причин отставили от должности. Я решился произнесть в моем докладе с большою похвалою его имя и остановился, рассчитывая, что публика подхватит сказанное мною и выскажет свое сочувствие. Но мой расчет оказался ошибочным. Мне много аплодировали в конце моего доклада, но ни-

кому в голову не пришло воспользоваться им для мирной демонстрации. А между тем, публика была настроена в пользу отставленного профессора, и не было разговора ни о чем, как об этой вынужденной отставке, недаром говорят: «Русский человек задним умом крепок». Нужна была вся непопулярность Брольи и сменившего его главы правительства Бюффе[67], чтобы изменить прежнее отношение демократических и республиканских кругов к Тьеру. Когда я прибыл в Париж, Тьер считался новым homme age rouge*, прозвище, какое современники давали кардиналу Ришелье; оно воспроизведено Виктором Гюго в заключительных словах известной драмы: «Марион де-Лорм»**. Тьера звали также le vieillard nefaste, за кровавую расправу с Коммуной. Его заподозривали в желании вызвать реставрацию, если не старшей, то младшей линии Бурбонов[68]. Те, кто сколько-нибудь примыкал к направлению, представленному газетой «Французская Республика», не прощал Тьеру и его отрицательного отношения к Гамбетте. Уверяли, что в разговорах он называл его не иначе, как «fou furieux» — беснующийся сумасшедший или буйнопомешанный. Только со временем выяснилось его желание сохранить и укрепить республику. Он не был ее сторонником, как наилучшей формы правления, но относился к ней терпимо, как к существующему уже правительству, справедливо утверждая, что всякая попытка ниспровергнуть его вызовет новые потоки крови. Он сказал также однажды с трибуны: «Во Франции имеется только один трон, и, по меньшей мере, три претендента, нельзя же разделить его между ними»[69].

Тьер пал, благодаря заговору монархических партий, в котором далеко не последнюю роль сыграл герц[ог] Брольи. Мне пришлось посетить Национальное Собрание во время «Правительства нравственного порядка». Собрание заседало в театре Версальского дворца. Публика живо следила за всем происходившим в это время в среде народного представительства, опасаясь, что большинство не сегодня-завтра произведет государственный переворот в пользу Шамбора или, по меньшей мере, в пользу графа Парижского. Получить билет на хоры было нелегко. Представившаяся моим глазам картина стояла в резком противоречии с тою, какую я видел на заседании германского рейхстага. Настроение было приподнятое; ораторы сильно жестикулировали, их постоянно прерывали резкими окриками; казалось, что характер места, в котором происходило заседание, налагал свою печать и на ход прений.

На расстоянии нескольких дней все мои приятели были встревожены известием, что какой-то агент бонапартистов грубо оскорбил Гамбетту в так называемом зале «Потерянных шагов» на станции С[ен]-Лазар, по возвращении его из Версаля. Мы поспешили отправиться на встречу «благородной жертвы», и мне в первый раз в моей жизни представилась возможность увидеть «трибуна». Он в

---

* Роковой старик (*франц.*).

** Имеется в виду драма «Марион Делорм».

это время еще не был тем толстяком, с начинавшими седеть волосами, каким он восстает теперь в моем воображении, благодаря впечатлению, произведенному им на меня годы спустя в С[ен]-Жермене за чайным столиком, в обществе Жюльет Адам[70] — редакторши журнала «XIX-ое столетие»[71]. Трудно было сразу дать себе отчет, что он видит только одним глазом, а что второй — стеклянный. Это обстоятельство сыграло некоторую роль в так раздутой «Новым Временем»[72] истории его однажды невежливого обращения с Тургеневым. Тургенев, встретившись в салоне Жюльет Адам с Гамбеттою, явился перед ним ходатаем за Флобера — знаменитого писателя, только что лишившегося своего состояния и желавшего занять открывшуюся вакансию в библиотеке Мазарини[73]. Тургенев подошел к Гамбетте со стороны его стеклянного глаза, и тот, не заметив, кто говорит с ним, сидя ответил, что место это уже обещано, не помню, кому, кажется Изамберу. Этот рассказ я слышал от самого Тургенева. Таким образом, не имеет никакого смысла та позиция, какая причтена* была Тургеневу «Новым Временем» за вмешательство не в свои дела, вмешательство, получившее, якобы, заслуженную кару в грубом обращении с ним главы французского правительства (Гамбетта стоял в это время во главе его). Статью «Нового Времени» надо отнести к числу тех грубостей, какими осыпали печатно и письменно Ив[ана] Сергеевича его многочисленные враги и завистники, не прощавшие ему ни его либерализма, ни постоянного пребывания за границей. Помню, когда, при одном из посещений мною Тургенева, он в моем присутствии распечатал письмо, письмо анонимное, в котором говорилось: «Не пора ли Вам перестать обивать пороги у Виктора Гюго?» Тургенев рассмеялся, когда в ответ я рассказал ему, что с ним поступают, как калмыки со своими идолами: то подносят сметану к губам, то бьют по щекам.

Я закончу этот очерк первых лет, проведенных мною в Париже воспоминаниями об Иване Сергеевиче не потому, что наши отношения стали близки уже в то время, а потому, что к этим годам относится моя первая встреча с ним. Я был представлен ему сыном писателя Писемского[74]. Тургенев собирался писать свою «Новь» и попросил Писемского приводить к нему возможно больше молодых русских передового направления. Выбор Писемского пал в числе других и на меня. Я застал у Ив[ана] Сергеевича графа Алексея Толстого[75] и моего харьковского знакомого князя Димитрия Цертелева[76], известного впоследствии реакционера, а в то время обещавшего стать поэтом. Тургенев любил Толстого, который, сколько мне помнится, использовал свои близкие отношения ко Двору, чтобы замолвить слово об освобождении Тургенева от обязательства жить в деревне за статью, вызванную кончиной Гоголя. Когда я вошел в кабинет Ив[ан] Сергеевича, Толстой декламировал свое шуточное стихотворение о римских кардиналах. Мне

* Так в тексте.

засел в памяти часто повторяющийся в нем мотив: «Ах кастраты, ах кастраты, почему вы не женаты?!» Все произведение носило, несомненно печать пошлости, и меня коробило от того, что Тургенев громко смеялся, прося повторить еще и еще раз. Я напомнил об этом Ив[ану] Серг[еевичу] много лет спустя, не скрыв от него моего тогдашнего настроения. «Толстой любил свои стихи, — сказал мне Тургенев, — я знал, что доставляю ему удовольствие, хваля их. Поэтом он, конечно, не был, самое большее — стихослогателем».

Насколько мое первое впечатление, вынесенное из встречи с Тургеневым, было скорее отрицательным, насколько же и он подверг меня с самого начала беспощадной критике. «Выдумали привести мне Ковалевского, — сказал он с упреком Писемскому, — посмотрите, мол, на новый тип нашей молодежи. — Какой тут новый тип?! Это россиянин, старающийся казаться европейцем». Мне припоминается по этому случаю другой отзыв обо мне киевского профессора Котляревского — отца теперешнего литературного критика и академика. «Тело у него русское, — сказал обо мне Котляревский, — а душа французская». Кто из двух прав? Я лично думаю, что ни тот, ни другой.

Начавшееся так неудачно знакомство с Ив[аном] Серг[еевичем] Тургеневым было настолько далеким, что, годы спустя, уже профессором Московского университета я попросил П[авла] Дм[итриевича] Боборыкина[77] снова представить меня Тургеневу, с которым встретился на I всемирном конгрессе литераторов и журналистов, собранных в Париже, по случаю всемирной выставки в конце 70-х годов*.

Воспоминания об И.С. Тургеневе**

Я встретился с Тургеневым в 1878 году, в Париже. Боборыкин повел меня к нему, и мы целое утро пробеседовали о предстоявшем литературном конгрессе[78] и о том, стоять ли русским писателям «за» или «против» признания литературной собственности иностранцев. Из всех нас один Тургенев мог быть лично заинтересован в том, чтобы вопрос этот был решен в утвердительном смысле. Притом, подобно Боборыкину, он полагал, что грубое, безграничное отрицание этого права иностранных авторов было бы явной несправедливостью. Несмотря на все это, он согласился в конце концов с Полонским и мною, что безусловное признание за переводчиками обязанности вознаграждать литераторов сделало бы немыслимым появление на русском языке целого ряда ученых

* Далее Ковалевский дает следующие указания о расположении текстов воспоминаний: «Далее воспроизвести мои воспоминания о Тургеневе во второй их редакции в журнале «Былое». Вслед за воспоминаниями о Тургеневе идет глава о Лондоне, а потом — «Московский университет в конце 70-х годов», а за ними глава о моем 18-летнем пребывании за границей, после вынужденной отставки, данной мне Деляновым. Глава начинается параграфом, озаглавленным — «Стокгольм»».

** Печатается по публикации в журнале «Былое», 1908. № 1.

сочинений, так как последние и без того едва окупаются переводчикам. Тургенев не только примкнул к этому мнению, но и добровольно принял на себя защищать его на конгрессе, что при тогдашнем настроении французских газет и литературных кружков было своего рода героизмом.

Два дня спустя я встретил Ивана Сергеевича на конгрессе, который, по предложению Абу, избрал его своим действительным президентом (почетным считался Виктор Гюго). Как председатель Тургенев был из рук вон плох. Абу постоянно дергал его сзади, напоминая ему об его обязанностях. Я не видал его никогда в более затруднительном положении. Он просто недоумевал, что ему делать, чтобы прекратить шум и разговоры в разных концах залы (собрание заседало в Grand Orient — парижском храме масонов). Он то вставал, собираясь что-то сказать, и не говорил ничего, то давал голос не в очередь и, наконец, к довершению собственного смущения, уронил звонок. «Что это за председатель, — послышались ему голоса соседей, — когда он не умеет даже держать звонка». Бедный Иван Сергеевич стал извиняться, ссылаясь на то, что обстановка, в которой он провел большую часть жизни, не могла приучить его к практике «дебатирующих собраний» (assemblées délibérantes). Когда в ближайшем заседании ему самому пришлось высказаться по вопросу о гарантиях французской литературной собственности в России и он открыто стал на сторону переводчиков против авторов, то в собрании поднялся такой гам, что Ивану Сергеевичу не удалось и досказать до конца своей мысли. Всего более шумел кн. Любомирский, утверждая, что переводчики просто наживаются его романами, теми самыми романами, которые только и можно встретить что в фельетонах мертворожденных газет. Если, как председатель, Тургенев потерпел полное фиаско, то, как литератор, он мог похвалиться большим успехом. В начале и конце сессии его окружали писатели разных стран, уверяя его, например, — как он сам мне это рассказывал, — что в Бразилии имя его столь же популярно, как имя Виктора Гюго и Ксавье де Монтепена*/79.

Торжественное заседание Литературного конгресса, состоявшееся в Шателэ, было также для него триумфом. За исключением речи Гюго, ни одна не была покрыта такими дружными аплодисментами, как коротенькая, просто написанная и еще проще прочтенная аллокуция Тургенева. Иван Сергеевич вспоминал в ней о том, как сто лет назад в Париже Фонвизин был свидетелем овации, устроенной Вольтеру в театре, и ставил этот факт в параллель с приемом, какой литераторы всего мира делают в его присутствии Гюго. Отправляясь от этого, он обозревал в немногих словах весь ход развития русской словесности от Фонвизина и до Льва Толстого включительно и указывал, что внесено ею нового в литера-

* Весь смысл иронии, конечно, в сопоставлении этих двух имен. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

турный капитал человечества[80]. Безыскусственность и искренность, с какой Тургенев произнес все это, сделали на собрание тем большее впечатление, что перед этим ему только и слышались что громоносные раскаты Гюго — ambassadeurs de l'esprit humain, rois de la pensée (послы человеческого разума, цари мысли), эпитеты, правда, весьма лестные, но которых все же не могли принять за чистую монету девять десятых присутствовавших. Слишком уже были они далеки от представительства, а тем более от царения над человеческой мыслью.

В том же году мне привелось встретиться с Тургеневым в Лондоне. Аштон Дильк, переводчик «Нови», пригласил его к себе завтракать. Сколько помнится, кроме меня и одного молодого американца, не было никого.

Тургенев с обычной своей приветливостью раскрыл мне при встрече свои широкие объятия, и мы троекратно облобызались по русскому обычаю. Англичане с улыбкой следили за нами, как бы отмечая характерную народную черту. Иван Сергеевич говорил по-английски грамматически правильно, но с нескончаемыми запинками: он, видимо, подыскивал слова и выражался уже «чересчур книжно». Я узнал от него, что он приехал в Лондон прямо из Кембриджа. В окрестностях этого города он охотился у своего приятеля Голя, от него заехал к Льюису и провел целый день на его даче в обществе Джорж Элиот[81]. «Даниель Деронда», предпоследний роман знаменитой английской писательницы, появился в печати за шесть месяцев до приезда Тургенева в Англию. Льюис был в восторге от него, уверяя всех и каждого, что никогда ничего лучшего не выходило из-под пера его жены. Английская критика между тем отнеслась к роману сдержанно и холодно. Джорж Элиот упрекали в том, что главный герой ее романа не живое лицо, а какая-то ходячая пропись, что это не общественный деятель, каким хотели выставить его писательница, а холодный резонер, с умом рассуждающий о самых разнообразных вопросах «жизни и духа». Не находя отголоска своим восторгам даже в тесном кружке ближайших приятелей, Льюис с жадностью набросился на Тургенева, желая разузнать, что он думает о романе. «Представьте себе, — сказал он ему, — что вы назначены в присяжную комиссию и что вашему решению подлежит вопрос о том, какое из произведений моей жены должно быть поставлено во главе остальных? Скажите, в пользу какого из ее романов подали бы вы ваш голос?» — «Несомненно в пользу «Мельницы на Флоссе», — ответил Тургенев, — это самое безыскусственное и художественное из сочинений вашей жены». Льюис начал спорить, утверждать, что Тургенев недостаточно вчитался в «Даниеля Деронду», что сам он как следует оценил это произведение только после неоднократного чтения. Все было бесполезно: наш художник остался непреклонен в своем предпочтении простоты и безыскусственности, с которой Элиот в «Мельнице на Флоссе» рисует нам жизнь английского простонародья и средних классов.

Американец, позванный на завтрак Аштоном Дильком, сам оказался писателем и поклонником литературных произведений Тургенева. В этот день я в первый раз узнал, что наш писатель хорошо известен и по ту сторону океана.

В Англии, как говорила мне Джорж Элиот, Тургенева читали мало, хотя и ценили много. Слишком уже далека от нас ваша жизнь, говорила мне по этому случаю английская писательница; ценить в Тургеневе мы можем только его художественность, а эта сторона писателя понятна лишь немногим истинным любителям и знатокам дела.

В Америке, наоборот, недавнее освобождение негров из неволи как бы породнило общество с тем из русских писателей, который всего громче подымал голос за свободу крестьян: «Записки охотника», как я сам имел случай убедиться в бытность мою в Соединенных Штатах, хорошо известны там читателям не только высшего, но и среднего общества. Тургеневу удалось даже создать нечто вроде маленькой школы в среде американских романистов.

Генри Джеймс ставит его открыто выше всех современных беллетристов. Кебль не скрывает того, что Тургенев для него образец[82]. Бойесен признает в нашем великом писателе ту же художественность, что и у Гете, которого он так любит и так хорошо знает*.

Тургенев рассказывал нам за завтраком много интересных подробностей о пребывании его в Оксфорде и Кембридже. (Прежде, чем посетить Голя, он заехал в Оксфорд.) Очень утешало его то обстоятельство, что в Оксфорде известный математик Смис упомянул ему о Чебышеве и о Коркунове, так рано погибшем для науки, как о величайших математических гениях.

В Оксфорде Тургенева принимал Макс Мюллер, и об этом приеме я узнал впоследствии довольно интересные подробности от Рольстона. Незадолго до приезда в Англию Тургенев, уступая охватившему всех русских чувству негодования против своекорыстной политики Англии на Востоке, написал стихотворение под названием «Крокет в Виндзоре»; в этом стихотворении рассказывалось, между прочим, что королева, думая поднять шар, подымает окровавленную голову болгарского мальчика. Как назначенный королевой (Regions professor), Макс Мюллер недоумевал, принять ли ему у себя Тургенева или нет, и, не зная, как поступить, обратился к Рольстону с вопросом: правда ли, что Тургенев недавно печатно задел английскую королеву? Рольстон поручился за Тургенева, что он ее никогда не задевал.

Иван Сергеевич принят был в Оксфорде как нельзя лучше: ночевал в доме у Макса Мюллера и так очаровал всех своею манерой, что на следующий год выбран был оксфордским сенатом в почетные доктора гражданского права. Тургенева очень забавляло то обстоятельство, что он, не знавший, как заключить наипростей-

* Бойесен — автор очень распространенного не только в Америке, но и в Германии комментария к «Фаусту». (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

шую сделку, на старости лет попал в доктора гражданского права. Этой чести он был удостоен за ту роль, какую на Западе вообще приписывают ему в деле освобождения крестьян. Некоторые англичане и французы до сих пор не прочь думать, что крестьян освободили у нас потому, что Тургенев написал свои «Записки охотника».

Помню я рассказ Ивана Сергеевича о том, как провозглашали его доктором. Явился он в освященной обычаем мантии, прикрывая свои седины докторским колпаком. Вошел он не без некоторого волнения, опасаясь, что публика начнет свистать ему, так как торжество совпало с эпохой самого враждебного настроения англичан против России. Ничуть не бывало. В двух-трех местах залы послышались даже слабые аплодисменты[83].

Тургеневу еще раз пришлось побывать в Англии, за год до смерти. Его переводчик Рольстон воспользовался этим случаем, чтобы устроить ему маленькую овацию. Он созвал на банкет тех немногих писателей, которые не успели еще покинуть Лондона вместе с окончанием «сезона». (Тургенев на этот раз приехал в Англию в начале сентября.)

Иван Сергеевич встретился за обедом с покойным Тролопом, Блеком и целым рядом сотрудников «Times» и «Daily News». Последние, по его словам, уверяли его в том, что очень уважают его за содействие, оказанное им освобождению крестьян, но что, к сожалению, ничего не читали из его произведений.

Рольстон не только угостил Тургенева хорошим обедом и приятным обществом, но и заставил его выслушать целый ряд писем и телеграмм, полученных им от разных английских знаменитостей, с извинением, что, по домашним обстоятельствам, они не могут присутствовать на банкете.

В заключение добрый хозяин навел решительный ужас на своего гостя, объявив, что при ближайшем посещении им Англии банкет будет дан ему в Экзетер-Голе и что на него приглашены будут сотни человек.

В 1879 году, в феврале, Тургенев, по случаю смерти брата, вызван был в Москву. Узнавши о его приезде, я пригласил его к себе и представил ему ближайших сотрудников редактируемого мною в то время «Критического обозрения». Было нас человек 20. На правах хозяина я провозгласил первый тост за Тургенева как за любящего и снисходительного наставника молодежи.

Тургенев не дослушал этого приветствия и разрыдался! На следующий день я получил от него записку, в которой он, между прочим, писал мне: «Вчерашний день надолго останется в моей памяти как нечто еще не бывалое в моей литературной жизни...» Вот как балует наше общество своих гениальных художников!

Помню я, как Тургенев, как бы в ответ на мой тост, предложил нам молчаливо выпить в память Белинского. С каким жаром, с какой любовью говорил он о своем приятеле: «Сколько задушевной искренности и теплоты было в этом человеке. За то же и ценили мы каждое его слово. Получить одобрение от Белинского

было нелегко, и кто удостоился этой чести, мог назвать себя счастливым. Вы не судите о Белинском по одним его статьям. Он принадлежит к числу тех людей, которые стоят выше своих произведений. Его слог тягуч и подчас скучен, в разговоре же было столько живости и огня. Я мало читал Белинского, он повлиял на меня своими беседами. Сильная эта натура, большой талант. Вспомните, что намногих страницах было достаточно, чтобы сразу развенчать Марлинского. А перед Марлинским преклонялись ведь сплошь и рядом все. Белинский дунул на него и ничего не осталось от Марлинского».

Впоследствии Тургенев неоднократно возвращался в своих разговорах к Белинскому. По его мнению, Белинский метко определил с самого начала характер его таланта, его чуткость и наблюдательность, с одной стороны, и относительную слабость фантазии — с другой. В доказательство этого Тургенев приводил то соображение, что большая часть развитых им литературных тем даны были самой жизнью. В «Первой любви» канвою рассказа является личная история его отца, в Джеме «Вешних вод» изображена молодая еврейка, с которой он встретился во Франкфурте и благодаря которой он едва не остался там навсегда. В «Рудине», как известно, воспроизведены некоторые стороны в характере Бакунина. В «Отцах и детях» частью переданы разговоры Тургенева с одним провинциальным доктором*. Нежданов в «Нови», это О., хороший знакомый Тургенева, человек слабохарактерный, увлекающийся и непрактичный.

Два дня спустя Тургенев явился на публичное заседание Общества любителей российской словесности. Прием, сделанный ему, превзошел все мои ожидания. При его появлении в зале (заседание происходило в физической аудитории) поднялся буквально гром рукоплесканий и не стихал несколько минут[84]. Едва смолкнул шум аплодисментов, как послышался с хоров голос студента Викторова. «Вас приветствовал недавно кружок молодых профессоров, — сказал он. — Позвольте теперь приветствовать вас нам, — нам, учащейся русской молодежи, — приветствовать вас, автора «Записок охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения». Викторов подробно развил ту мысль, что Тургенев никогда не стоял так близко к пониманию общественных задач и стремлений молодежи, как именно в эту юношескую эпоху своей литературной деятельности. Сказанные им слова: «Вам не написать более «Записок охотника», были поняты многими в том смысле, будто Викторов вздумал прочесть Тургеневу какую-то нотацию. В действительности же он, повидимому, хотел сказать только то, что эпоха сороковых — пятидесятых годов была понята Тургеневым глубже и всестороннее, нежели последующая. Ответ Тургенева был как нельзя более кстати:

* Лицо и поныне здравствующее. (*Прим. редакции журнала.*)

«Я отношу ваши похвалы более к моим намерениям, нежели к исполнению, — сказал он, — от всей души благодарю вас!»[85].

Толпа проводила Тургенева с такими же овациями, с какими он был принят. Те же овации сопровождали каждый его шаг в Москве. По просьбе студентов он согласился прочесть отрывок из «Записок охотника» на музыкально-литературном вечере, данном Обществом пособия нуждающимся студентам[86]. Толпы студентов провожали его при разъезде, не прекращая своих аплодисментов, пока один из полицейских, под предлогом защитить Тургенева от натиска толпы, схватил его под руку и буквально вывел из залы, в то же время, говорил мне потом Тургенев, уверяя его, что сам принадлежит к числу горячих почитателей его таланта.

У председателя Общества любителей российской словесности и у целого ряда московских знакомых Тургенева возникла мысль почтить его приглашением на литературный банкет. Мне пришлось распоряжаться устройством этого праздника.

Приглашения были разосланы самым разнообразным лицам, сколько-нибудь прикосновенным к литературному делу. Исключение было сделано для одних лишь сотрудников «Московских ведомостей». Их присутствие могло бы быть сочтено Тургеневым за оскорбление. Банкет удался как нельзя лучше, несмотря на изобилие тостов и плохих стихов. Наш известный адвокат Плевако в этот день был в ударе и весьма удачно импровизировал речь, в которой сравнивал русскую литературу с «Преторским эдиктом», впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду, а самого Тургенева величал претором. Тургенев отвечал на все эти тосты коротеньким словом, в котором старался оттенить свое отношение к молодежи, объявлял о своей солидарности с ее лучшими стремлениями, с ее исканием истины и добра, за что на следующий же день получил выговор от «Московских ведомостей»[87].

Между москвичами оказалось так много старых знакомых Тургенева, и их желание видеть его у себя и показать своим близким было так сильно, что я почти не видел Ивана Сергеевича иначе, как в торжественной обстановке... И у кого ему не пришлось только побывать! И кого только не заставал я у него по утрам! И студентов, и актеров, и учениц консерватории, и живописцев, которые добивались позволения снять с него портрет и придавали затем кирпичный цвет его коже, и членов Английского клуба, которые так-таки и расстроили ему желудок и сложили его в постель. Едва оправившись от подагры, Тургенев уехал в Петербург, где его снова чествовали, снова закармливали и, наконец, отпустили больным и разбитым в Париж[88].

Год спустя Тургенев приехал в Москву для присутствия на праздниках, устроенных по случаю открытия памятника Пушкину. Комитет, назначенный обществом для устройства этих торжеств, обратился к Тургеневу с просьбой — написать что-нибудь о Пушкине для простонародья. Как ни старался Тургенев исполнить эту просьбу, ему все же не удалось этого сделать. Очень уж не простонародный поэт — наш великий Пушкин. Тургенев несколько раз

присутствовал в комитете общества, помогал нам своими советами, писал по нашей просьбе в разные концы Европы, приглашая своих товарищей по перу отозваться на наш первый общественно-литературный праздник.

В ответ на это воззвание получены были письма и телеграммы от Виктора Гюго, Теннисона, Флобера и целого ряда других заграничных писателей[89]. Я никогда не видел Тургенева более умиленным, как в ту минуту, когда с памятника упала завеса и пред ним предстал Пушкин, приветствуемый громким «ура», тот самый Пушкин, которого Тургенев помнил живо лежащим в гробу и локон которого он носил на себе. В то же утро сам Иван Сергеевич сделался предметом самой неподготовленной, самой неожиданной для него овации. Выстроенные в ряд ученики наших классических и реальных гимназий узнали проходившего мимо них Тургенева и разразились громким «ура». На обед, устроенный городской думой, приглашены были вместе с московскими и приехавшие из Петербурга литераторы. Многих из них смущало то обстоятельство, что им волей-неволей придется встретиться на обеде с лицом, с которым давным-давно прерваны всякие связи, т.е. с Катковым.

Тургенев стоял решительно за то, чтобы всем приглашенным идти непременно на устроенный думой обед, невзирая на неприятность неизбежной встречи; «...если Катков, — писал он в письме к одному из лиц, державшемуся противоположного взгляда, — что-нибудь себе позволит, мы встанем и удалимся». Катков позволил себе протянуть бокал в его направлении, но при всем своем добродушии Иван Сергеевич уклонился от этой дерзкой попытки возобновить старые отношения. «Ведь есть вещи, которых нельзя забыть, — доказывал он в тот же вечер Достоевскому, — как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?..» Слово, сказанное Тургеневым на публичном заседании, устроенном в память Пушкина, по содержанию своему было рассчитано не столько на большую, сколько на избранную публику.

Не было в нем речи ни о русском человеке как «всечеловеке», ни о необходимости человеку образованному смириться пред народом, перенять его вкусы и убеждения. Тургенев ограничился тем, что охарактеризовал в нем Пушкина как художника, отметил редкие особенности его таланта, между прочим способность «брать быка за рога», как говорили древние греки, то есть сразу, без подготовления, приступать к главной литературной теме. Не ставя Пушкина в один ряд с Гете, он в то же время находил в его произведениях многое, достойное войти в литературную сокровищницу всего человечества. Сказанное им было слишком тонко и умно, чтобы быть оцененным всеми. Его слова направлялись более к разуму, нежели к чувству толпы. Речь была встречена холодно, и эту холодность еще более оттенили те овации, предметом которых сделался говоривший вслед за Тургеневым Достоевский[90].

Выходя из залы, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому; в числе их были и дамы. Одна из них в на-

стоящее время живет вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: «Не вам, не вам!»

Со времени Пушкинских праздников мне не суждено было более встретиться с Тургеневым в России. Я уехал на два года за границу и неоднократно виделся с ним в Париже. В одном доме со мною жил М.Е. Салтыков, и мы несколько раз сходились обедать втроем, а однажды вместе с Арапетовым и Демонтовичем были приглашены Тургеневым в Буживаль[91]. Мне остался памятным этот день. Салтыков был в духе, юморизировал нескончаемо и все же кончил тем, что под конец рассердился на Арапетова, заметившего ему, что в его глазах автор «Головлевых» и «Истории одного города» перерос головою самого Гоголя. «Что вы, Гоголя? Страшно и подумать!» — отвечал ему решительно Салтыков и взглянул на него так грозно, что дальнейший разговор на эту тему сделался невозможным. Не помню, в этот ли день или при другом случае мне пришлось услышать и от Тургенева личную оценку его литературной роли в России. Если не ошибаюсь, тот же Арапетов на правах старого приятеля стал нападать на него за излишнюю скромность. «Право, — отвечал ему Тургенев, — я иногда читаю во французских журналах похвалы своим повестям и сам спрашиваю себя: «Будто бы это уже так хорошо? Не много ли в этих похвалах условного, того, что французы называют «cliché». Ведь не Гете же я какой-нибудь? И фантазии-то большой у меня нет, и фабулу-то выдумать мне не легко, особенно теперь, когда воображение уже не действует, как прежде. Мне всегда нужна встреча с живым человеком, непосредственное знакомство с каким-нибудь жизненным фактом, прежде чем приступить к созданию типа или к составлению фабулы; конечно, я не какой-нибудь фотограф, я не срисовываю своих образцов, но уже Белинский заметил, что что-нибудь выдумать, взять что-нибудь из головы, я совершенно не способен, а впрочем, цену себе знаю не хуже другого; у меня нет силы таланта, какой обладает Лев Толстой, я бы никогда не мог написать ничего подобного сцене свидания Анны Карениной с ее детьми. Я не поставлю себя также в ряд с Островским. Разве за ними? Разумеется, я не говорю о Салтыкове — это особый талант. Как сатирик, он не имеет себе равного». (Тургенев сам читал однажды на литературном утре в Париже «Двух генералов» Салтыкова и позаботился о переводе их на французский язык)[92].

Из разговоров с Иваном Сергеевичем я узнал, как сложилась его литературная репутация в Париже. Более всего содействовал ей Мериме[93], а за ним Ламартин. О знакомстве с последним Тургенев рассказал мне следующий любопытный анекдот: Ламартин в последние годы своей жизни стал знакомить французскую публику с иностранными писателями; он издавал отрывки из их произведений, снабжая их своими предисловиями и послесловиями. однажды очередь дошла и до Тургенева[94]. Узнавши об этом, Мериме посоветовал Тургеневу заявить лично свою благодарность Ламартину. Тургенев послушался совета, превозмог свою лень и отправился к Ламартину. «Дорогой я стал придумывать, что мне сказать ему, —

рассказывал мне Иван Сергеевич, — и придумал следующее: как муха, попавши раз в янтарь, переживает столетия, так и я обязан им тем, что не сразу исчезну из памяти французских читателей. Фраза-то была придумана недурно, — говорил по этому случаю Иван Сергеевич, — да мало было в ней правды. Ведь не муха же я, да и он не янтарь. И что же вышло? Как стал я говорить ему свою фразу, так и смешался; твердил: муха... янтарь... Но кто муха и кто янтарь — этого Ламартин так себе и не выяснил».

О Мериме Тургенев выражался обыкновенно как об очень умном человеке и прекрасном стилисте... «Что же мне недостает?» — спросил его однажды Мериме. «Теплоты и фантазии!» — отвечал ему Тургенев.

Из новейших французских писателей Тургенев был всего ближе с Флобером. Они сошлись и как реалисты в искусстве, и как великие художники, и как старые холостяки. По рассказам Тургенева, Флобер был добродушнейшим человеком и ненавидел только одно: всякое, даже мельчайшее проявление того, что он называл буржуазностью. Бувар и Пекюше с их самодовольной ограниченностью и банальностью — воплощение того, что в глазах Флобера было связано с понятием о буржуазности. Флобер был не только великий писатель, но и необыкновенно начитанный человек[95]. Знакомство его с иностранными литературами было весьма основательное. «Золя, — говорил мне Тургенев, — коробил нас обоих своей необразованностью. Однажды стал он говорить о себе как о первом решительном противнике романтизма». — «Ну, а Гейне?» — спросил я его; но оказалось, что об этой стороне деятельности Гейне Золя ничего не слыхал.

Никто из французских писателей, по мнению Тургенева, не обращал такого внимания на форму своих произведений, как Флобер. «Однажды принес я ему, — рассказывал Тургенев, — одну из повестей Белкина, переведенную мною на французский язык[96]. (Тургенев был превосходнейшим знатоком французского языка, так что Тэн говорил о нем, что его язык — язык французских салонов XVIII века.)

Прочитавши мой перевод, Флобер сказал мне: «Нет, так нельзя! Это все надо пересмотреть! Вы слишком часто употребляете одно и то же слово, а если не одно и то же, то однозвучное», — и тут же на моих глазах принялся за пересмотр рукописи. Он вычеркивал целые строчки, снабжал поля собственной редакцией; затем, недовольный своими поправками, вычеркивал все снова, восстановлял прежний текст и на этот раз уже с озлоблением принимался за вторичную его переделку. «Нет! Сегодня ничего не выйдет! — сказал он мне в заключение. — Нужно время! Дайте мне подумать!» Когда через две недели я зашел к нему за рукописью, я не узнал собственного перевода. Но что же это был за слог! Нет, таким слогом во Франции никто не пишет!..

Из молодых приятелей Флобера Тургенев никого не ценил в такой степени, как Ги де Мопассана. «Из начинающих писателей

у нас в России нет ему равного, — сказал он мне однажды. — Пожалуй Гаршин», — прибавил он, несколько подумавши[97].

Когда Флобер впал в бедность, что случилось с ним за год до его смерти, Тургенев стал убеждать его занять какую-нибудь должность в Париже. Услышавши, что Гамбетта открыто высказался в пользу замещения Флобером вакантного места библиотекаря в Мазаринской библиотеке, Тургенев, по настоянию общих друзей Флобера, поехал в Руан убедить автора «Мадам Бовари» принять это предложение. Флобер согласился; а между тем, по чисто личным соображениям, та же должность была обещана друзьями Гамбетты, если не ошибаюсь, Иснару; Тургенев написал Гамбетте о результате своих переговоров с Флобером и не получил ответа. Написал другой раз — тоже молчание. Тогда он решился действовать на него чрез г-жу Adam, на вечерах которой бывал Гамбетта. Газеты передали в свое время о довольно неуважительном отношении Гамбетты к этой просьбе. Но, насколько мне известно из слов самого Тургенева, дело было не совсем так, как рассказал это «Figaro». Зная, что место уже обещано другому, Гамбетта с нетерпением заметил m-me Adam: «Не настаивайте, пожалуйста! Это невозможно!»[98]. И когда хозяйка подвела к нему Тургенева, ища как бы поддержки собственному ходатайству, Гамбетта не поднялся с кресла только потому, что не заметил Тургенева, так как в это время смотрел в другую сторону своим одиноким глазом. (Известно, что Гамбетта потерял правый глаз еще в школе.) Когда умер Флобер, Тургенев согласился на назначение его в комиссию по устройству памятника великому французскому писателю. Исполняя возложенные на него обязанности, он, между прочим, обратился и к русским читателям с приглашением принять участие в подписке на сооружение памятника. Флобер был и доселе остается весьма популярным писателем в России. Я знаю о существовании в Петербурге целого кружка, поставившего себе целью изучение произведений Флобера. Так как никто больше П.Д. Боборыкина не содействовал распространению этой известности, то Тургенев счел нужным обратиться с письмом к нему. Многим памятен еще тот ряд обвинений, который посыпался за это на Тургенева со стороны наших московских народолюбцев, увидевших чуть не измену русским интересам в этом вполне понятном желании: привлечь к чествованию человека ему близкого и дорогого всех его почитателей, где бы они ни жили[99]. Но чего русские читатели, вероятно, не знают — это то, что одновременно Тургенев получил из Москвы несколько анонимных писем, в которых его называли «лакеем и прихлебателем Виктора Гюго». Влияние Флобера, как мне кажется, сказывается в последних произведениях Тургенева, в тщательности, с которой он стал отделывать свой слог, в преобладающем значении, какое мало-помалу приобрела у него форма над содержанием, и в равнодушии, с которым он стал относиться к самой фабуле. Последнее, впрочем, объясняется еще и меньшей живостью воображения, на которую года за три до смерти стал жаловаться Тургенев. «Помню я, как живо рисовались предо мною в

прежнее время выводимые мною типы, — говорил он. — Когда я писал заключительные строки «Отцов и детей», я принужден был отклонять голову, чтобы слезы не капали на рукопись. Теперь уже не то!» Как тонкий наблюдатель, как человек, зорко следивший за переменой в общественных течениях, Тургенев чуял зарождение чего-то нового в нашем обществе, еще не изображенного им в «Нови». Но неопределенность, с которой высказывалось это новое течение к концу царствования Александра II, сама служила препятствием к художественному его воспроизведению. До многих, вероятно, дошел слух о подготовляемом Тургеневым новом романе. Этот роман не был даже начат Иваном Сергеевичем.

Правда, его приятели надеялись, что автор «Отцов и детей» снова подарит русскую публику поистине общественным романом. Однажды пишущий эти строки позволил себе даже открыто обратиться к Тургеневу с просьбой написать этот роман и в общих чертах отметил те стороны нашей общественной жизни, которые не были еще затронуты Тургеневым. Признавая существование этих сторон, Тургенев в то же время ответил: «Слушая вас и соглашаясь с вами, все же недоумеваю, какое художественное произведение может выйти из попытки изобразить еще не вполне определившиеся течения. Вы сами говорите об их слабости и отсутствии под ними твердой почвы. Уж не назвать ли мне мой новый роман «Трясиною»? Нет! Вы требуете от художника невозможного! Вы требуете, чтобы он дал бесформенности форму!» До последнего времени Тургенев не переставал интересоваться отношением к нему русских читателей. Не ожидая беспристрастной оценки себе со стороны некоторых враждебных ему органов нашей печати, он в то же время желал знать, какое впечатление производят его новые повести на близких приятелей и на некоторые литературные кружки. Всего выше ставил он мнение П.В. Анненкова и не печатал ничего без его совета. Рукописи отправлялись из Парижа в Баден и возвращались обратно, снабженные примечаниями Анненкова. До последнего времени также Тургенев обращался и к живущим в России приятелям с просьбой откровенно сказать ему, что думают о его новых вещах. В одном из своих писем ко мне он говорит о сочувствии, высказанном ему с отдаленнейших концов России по случаю его болезни, как о той «волне», которая поддерживает его на поверхности и не дает ему пойти ко дну. Уведомляя о близком появлении его «Стихотворений в прозе», он прибавляет: некоторые, быть может, придутся вам по нутру; если не поленитесь, то передайте мне впечатления ваше и ваших товарищей. «Für das grosse Publicum das ist Caviar»*. Ну, а для немногих?

Я хотел бы еще сказать два слова о будничной жизни Тургенева. Жил он, как известно, в Париже в семействе Виардо, с которым связывала его старая дружба. Преданность его этому семейству была безгранична. Когда приятели упрашивали его вернуться и

* Для неискушенных — это деликатес (*нем.*). (*Прим. редакции журнала.*)

навсегда поселиться в России, он обыкновенно отвечал им: «Не думайте, что меня удерживает за границей привычка или пристрастие к Парижу; не думайте, что у меня здесь много друзей или близких знакомых. Я не в состоянии указать ни одного дома, в котором бы мог запросто провести вечер; но жить вдали от своих мне тяжело. Переезжай они завтра в самый невозможный город: Копенгаген, что ли, я последую за ними».

Помню я, как часто Тургенев бросал нас среди обеда, чтобы, как он выражался, проводить своих дам (г-жу Виардо и ее дочерей) в оперу или в театр. Помню, как отказывался он от целого ряда приглашений, не желая пропустить вечернего чтения или партии экарте. Не обедать или не завтракать дома было для него лишением, и он соглашался на него только ради свидания с соотечественниками. Живя по личным причинам в Париже, он в то же время служил русским интересам. Мы называли его шутя «послом от русской интеллигенции». Не было русского или русской, сколько-нибудь прикосновенных к писательству, живописи или музыке, о которых так или иначе не хлопотал бы Тургенев. Он интересовался успехами русских учениц г-жи Вирдо, вводил русских музыкантов в ее кружок, состоял секретарем парижского клуба русских художников, заботился о выставке их картин, рассылал в парижские редакции рекламы в их пользу, снабжал обращавшихся к нему личными рекомендациями, ссужал нуждающихся соотечественников деньгами, нередко без отдачи, хлопотал лично и через приятелей о своевременной высылке денег заграничным корреспондентам и не отказывался даже от непосредственного ходатайства пред властями за эмигрантов, не настолько скомпроментированных, чтобы не иметь возможности рано или поздно вернуться на родину. Помню еще об одном случае, резко очерчивающим всю доброту Ивана Сергеевича. В числе прибывших в Париж молодых эмигрантов был еврей, племянник Гинцбурга. До бегства его из России, Гинцбург давал ему средства к образованию, после же приезда в Париж, в этих средствах ему было отказано и он остался без угла. Тургенев сам поехал к Гинцбургу и лично упросил его оказать молодому человеку, по крайне мере, некоторую денежную поддержку[100].

В отличие от Достоевского и Григоровича, Тургенев никогда не искал доступа ко двору. Он знаком был с некоторыми из великих князей, но этим знакомством он был обязан их собственному желанию.

Первый шаг к знакомству сделан был не им. Бывая в Петербурге, он несколько раз показывался в мраморном дворце Екатерины Михайловны. Отношения с ним были завязаны еще при жизни Елены Павловны и продолжались и после ее смерти — при ее дочери Екатерине Михайловне.

С покойным государем Александром III Тургенев познакомился в Париже. Желая видеть его, государь обратился к Орлову и просил запросто пригласить на завтрак в посольство. Тургенев рассказывал мне следующее об этом свидании: Александр Александрович спросил его, почему он не присутствовал на юбилее

Крашевского. Тургенев сослался на болезнь Его собеседник посмотрел на него многозначительно и сказал: «Хорошо сделали, Иван Сергеевич! Хорошо сделали!» Действительная же причина, почему Тургенев не был на юбилее, та, что сам Крашевский, любивший Тургенева, просил его не приезжать, так как не рассчитывал на хороший прием русского со стороны своих соотечественников[101].

Когда я спрашивал Тургенева об его последней поездке в Россию и о том, являлся ли он ко двору, он отвечал мне: «Что бы я там стал делать?»

Григорович неоднократно старался заманить его туда, но на этот раз Тургенев обнаружил несвойственное ему упорство. С тем же упорством отклонил он предложение повидаться с Аксаковым, несмотря на старинные отношения с ним[102]. «Не могу же я искренне беседовать с человеком, который считает меня чуть не поджигателем», — заметил он по этому случаю.

Нечего и говорить, что Тургенев не мало не сочувствовал терроризму. Он постарался даже оттенить свое отношение к событию 1 марта 1881 года личным присутствием на панихиде. Когда крестьяне села Спасского обратились к нему с просьбой о денежной помощи на открытие часовни в память Александра II, он не отказал им в их ходатайстве. С другой стороны, он не отказывал также в ссудах без отдачи тем из русских, которые на чужбине оставались без денег, не спрашивая их об их убеждениях.

В Лондоне

I.

Я прибыл в Лондон с рекомендациями от Вырубова. Первый дом, в который я явился, был дом известного английского философа Джорджа Льюиса[103], хорошо известного и у нас своей «философией обыденной жизни», весьма ценимого в Германии за свою «Жизнь Гете». Он одно время был редактором известного радикального журнала — «Двухнедельное обозрение»[104]. К кружку французских позитивистов, руководимых Литтре, он был близок, так как подобно им ценил в Конте философа наук и инициатора социологии, далеко не творца новой религии, религии человечества. Многие у нас знакомились и доселе знакомятся с позитивизмом по небольшой сводной книжке Милля и Льюиса. В то время, когда я познакомился с Льюисом, он, будучи свободен от других занятий, отдался всецело построению собственной философской системы, которая вышла почти накануне его смерти под названием «Проблемы жизни и духа». Один из томов этого сочинения, посвященный психологии, переведен был на русский язык П[авлом] Дм[итриевичем] Боборыкиным. Льюис, при всей его известности, не был любим в Англии, благодаря его открытому сожитию с уведенной им от мужа знаменитой английской писательницей, романы которой появлялись с подписью Джордж Элиот[105]. Это была самая замечательная женщина, какую мне пришлось встретить в

своей жизни. Я прочел большую часть ее романов еще в России, правда в переводах. «Адам Бид» и «Мельница на Флоссе» появились в приложении к одному из наших толстых журналов, если не ошибаюсь, к «Современнику»[106]. Джордж Элиот почти разделила у нас популярность Диккенса и Теккерея. По моему мнению, она превосходила обоих. Это была некрасивая женщина, с головою, напоминающею всем известный лик Данте, и с портившими ее большими длинными зубами. Она была высокого роста, худая и «несграбная»*. Льюис был еще уродливее ее: низенький, щуплый, с большим широким лбом и с глазами, по которым можно было судить, что он страдает желтухой; зубы его были также непомерной величины. Льюисы жили в отдаленном квартале Лондона Сен-Джонс-Вуд, снимали целый дом с садом. Их усадьба носила наименование «Priory», что значит в переводе — жилище приора. Здесь, очевидно столетия назад, до времен Генриха VIII был расположен монастырь Иоанна Апостола, а на месте, где стоял дом Льюиса, помещалось жилище приора или настоятеля монастыря. Гостиная была поместительная, большие окна давали возможность проникать в нее свету, что, разумеется, было далеко не лишним в городе, в котором осенью и зимою туманы обычны. Не в пример другим англичанам, которые воскресенье проводят в домашней среде, Льюисы в этот именно день принимали своих гостей. Ввиду нелегальности их брака, женщин почти не бывало на этих приемах. Один позитивист Фредерик Гарриссон, о котором я еще скажу многое впереди, привозил с собою свою молодую, красивую и умную жену. Говорили еще о смелом поведении одного члена Тайного Совета короля, который также являлся в сопровождении своей супруги. Льюисам было каждому более 50 лет. Брачное сожитие их было, по всей вероятности, делом прошлого. Английская чопорность, уважение к приличиям и заурядной морали казались поэтому особенно смешными. По воскресенья частым посетителем бывал и сын Льюиса, которому было уже более 30 лет. Это был сын от первого брака. Джордж Элиот, прежде чем сойтись с Льюисом, была замужем за английским священником, что позволило ей изучить нравы духовной среды и дать им яркое описание в своих «Сценах из клерикальной жизни». Джордж Элиот отличалась редко приятным голосом, не уступавшим по своей прелести голосу Сары Бернар. Она была музыкантшей, любила Шумана и, уступая нашим просьбам, иногда садилась за рояль. Льюис предупреждал попадавших впервые в его гостиную, что его жена просит об одном — не говорить о ее таланте. Льюис понимал, что обязанность доброго хозяина лежит в том, чтобы поддерживать живой разговор. Едва «тихий ангел» пролетал в его гостиной, как он придумывал средство развлечь собравшихся. Однажды я застал его изображавшим игру знаменитых трагиков: Кина[107] и Макреди[108]. Он только что перед тем выпустил небольшую книгу под за-

* Так в тексте.

главием: «Об актерах и их искусстве». В ней были отдельные главы о том, как играли Шекспира Кин и Макреди и как играет его пользовавшийся в то время большим успехом во всем мире и, между прочим, в Англии Сальвини[109]. Я был в числе лиц, увлекавшихся его игрою. Он давал свои представления во втором по величине Лондонском театре: Drury Lane. Несмотря на то, что, за исключением его, все прочие актеры говорили по-английски, его игра в «Отелло» отличалась такой реальностью, такой жизненной правдой, что я, к немалому смущению своих соседей, вскочил со своего места и готов был поспешить на помощь Яго, в ту минуту, когда ревнивец, впервые понявший намек на неверность своей дорогой Дездемоны, охватывает его за шиворот, подымает в воздух и бросает на пол. Льюис, подобно мне, восхищался Сальвини и ставил его выше не только Макреди, выкрикивавшего свои роли по рецепту:

«Когда главою помавал*,
Как некий древний магик,
И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик».

Мне понравилось также в книге Льюиса, что он ставил гораздо ниже Сальвини входившего в то время в моду Ирвинга[110]. Он играл в театре «Lyceum» (Лицея) с прекрасной труппой, украшением которой сделалась Елена Терри[111], неподражаемая Офелия. У Ирвинга были уродливые жесты и далеко не тот приятный голос, что у Сальвини. Но это был актер вдумчивый и оригинальный. В Гамлете он передавал лучше характер северного скептика, чем Сальвини, неспособный отказаться от роли первого любовника, даже при изображении такой сложной натуры, как Гамлет. Для Сальвини более подходящими ролями были Макбет и Король Лир. В роли последнего он едва ли вызвал бы ту улыбку, которая появилась на моих устах при произнесении Самойловым[112] фразы: «Я царь от головы до ног».

Когда моя соотечественница Ольга Алексеевна Новикова[113], о которой я буду иметь случай говорить впоследствии, узнала о том, как хорошо Льюис изображает знаменитых актеров, он** в одно из воскресений стала приставать к нему, чтобы он повторил при ней это даровое представление. Но Джордж Элиот на этот раз вступилась за своего мужа, настаивая на том, что это несколько выходит из сферы его обычных занятий.

Льюисы приняли меня, как нельзя лучше. «Мы прошлое воскресенье имели удовольствие видеть у себя вашу однофамилицу, Софью Ковалевскую, — сказала мне Джордж Элиот. — Она очень горячо отстаивала перед Спенсером право женщины на самостоятельность и получение высшего образования». Я должен был признаться, что никогда не видел этой мнимой родственницы. В то

* Так в тексте.
** Так в тексте. Следует: «она».

время я еще далек был от мысли, что мы со временем сделаемся большими друзьями и что Софье Васильевне придется сыграть большую роль в моей жизни. Льюисы настаивали на ее очаровательности, на том, сколько ума и жизни в ее глазах, и сколько огненности в ее речи. Я слышал впоследствии от самой Софьи Васильевны, что, споря с Спенсером у Льюисов, она не знала имени своего антагониста. По природе конфузливая и, сколько я мог заметить, весьма ценившая автора «Первых принципов», она, вероятно, не внесла бы столько горячности в живо задевавший ее вопрос. А что этот вопрос был именно таковым, можно судить по тому, что в молодости она от своего отца генерала Корвина-Круковского слышала только осуждение женщин, «подобно Жорж Санд[114], стремившихся к эмансипации». Ведь, Софье Васильевне, чтобы выйти на научную дорогу и поступить в заграничный университет для занятия математикой, пришлось даже прибегнуть к фиктивному браку, который долгое время существовал только на бумаге. У Льюисов я перевидал много выдающихся людей, из них упомяну о редакторе «Экономиста»[115] Бэджготе[116], вызвавшем своей небольшой книгой «Об английской конституции» целый переворот в ее толковании. Бэджгот первый указал, что о теории противовесов, как понимал ее Монтескье в применении к Англии, более говорить нельзя, так как с тех пор Палата Общин взяла решительный перевес и над лордами, и над королем, и правительство перешло в руки комитета от обеих палат, или так называемого кабинета. От Бэджгота идет новое толкование основ английского парламентаризма как системы самоуправления общества. К нему примыкает один из лучших современных ее теоретиков — Дайси.

Я познакомился также у Льюисов с Браунингом и Грином[117]. Первый был накануне своего отъезда в Италию. Разговор зашел о ней, и Джордж Элиот, прожившая во Флоренции и Риме немало месяцев, имела возможность обнаружить в разговоре свое глубокое понимание итальянского Возрождения. Незначительные города Италии, как, например, Сиэна, с ее удивительным собором остановили на себе ее особое внимание. Она настаивала на необходимости молодому историку посетить все очаги итальянского Возрождения, не исключая из их числа ни Перуджии, ни Ассизи, ни Орветто*. В другой раз я застал Джордж Элиот, говорящую с большим раздражением о том, как мало оценена самой Англией оригинальная философия Герберта Спенсера. Один из экзаменаторов в Оксфорде, услышав в ответе экзаменующегося имя Спенсера, счел возможным заметить, что такого философа он не знает. Оксфорд уже в то время становился одним из очагов возрождения немецкой метафизики, — очагом английского гегельянства. Под влиянием Льюиса Джордж Элиот сумела воспитать свою мысль чтением серьезных трактатов по философии и истории философии. Однажды она поразила меня верностью своего замечания,

* В оригинале слово неразборчиво. Прочтение предположительное.

что Боклю, известному историку «Цивилизации в Англии»[118], надо поставить в вину, что за влиянием климата, почвы и вообще физических условий он упускает из виду, что прогресс прежде всего является продуктом сознательной энергии людей, и что ничего нельзя достигнуть иначе, как ценою упорных усилий. Чтобы дать понятие о себе, я преподнес Льюису вышедший в Цюрихе немецкий перевод моей небольшой брошюры «О разложении общинного землевладения во французской Швейцарии». Книга Лавелэ «О первобытных формах собственности» была в то время весьма непопулярна. Автор коснулся в ней и судеб швейцарской[119] «Альменды», т.е. земельной общины. Но он сделал это на основании популярной брошюры швейцарского социалиста Беккера, который далеко не использовал довольно богатой литературы по этому предмету, вышедшей из-под пера швейцарских историков права.

Проведши лето среди Альп, я в Цюрихе познакомился с Георгием Виссом[120], редактором «Zeitschrift für Schweizerische Reichsgeschichte», прочел его выдающиеся статьи об истории общинных угодий в немецкой Швейцарии и, попав в кантон Ваадт, посетил многие его сельские общины. Вышедший в то время сборник древнейших грамот романской Швейцарии побудил меня искать в них материала и для истории общинного владения, которое в то время обыкновенно отрицали за племенами, населившими романскую часть Швейцарии. Поселившись в Лондоне, я должен был отпечатать свою брошюру тем самым шрифтом, каким пользовался Герцен при издании «Колокола». Шрифт этот сохранился у книгопродавца Трюбнера. Свое первое литературное произведение я послал Виссу, который, желая ознакомиться с его содержанием, обратился к Мейеру фон Кнонау. Этот житель Цюриха научился русскому языку с целью заняться историей отечественной войны 1812 года. Но сделать этого ему не было суждено, и приобретенные им знания послужили только для перевода моей брошюры. Скоро нашелся для нее и издатель в лице Цезаря Шмидта.

Брошюра не даром побывала в руках Льюиса. Он передал ее Спенсеру, занятому в то время подготовлением своей «Социологии». И вот каким путем мое имя попало в число тех писателей, трудами которых пользуется Спенсер для доказательства широкого распространения коллективных форм землевладения и неверности того взгляда, будто оно составляет особенность одних славянских народов. Я заметил некоторую перемену и в отношении ко мне самого Льюиса. Однажды он сказал мне, что вопрос, мною поднятый, один из самых глубоких вопросов социологии и философии. Я тщетно искал несколько лет тому назад экземпляров моей книги. Книгоиздательство Шмидта исчезло и все поиски не повели ни к чему. Моя первая работа оставила след только в сочинении Спенсера, у которого французский философ Фулье[121] и заимствовал приводимые мною факты, направленные им затем против Фюстель де Куланжа и его теории частной собственности, как господствующей у древних германцев.

Так как в то время, о котором я говорю, вышло и в Англии сочинение, посвященное тому же вопросу о первобытном земельном коммунизме, сочинение Генриха Сомнера Мэна[122], то я попросил Льюиса рекомендации к нему. Оказалось, что автор — очень важный чиновник, вице-президент Управления Индии и одновременно Оксфордский профессор. Льюис не знал его лично и снабдил меня письмом к нему его ученика [—] журналиста Фредерика Гарриссона. Гарриссон записывал лекции Мэна; по этой записи и отпечатано первое сочинение, обратившее на него внимание далеко не в одной только Англии. Я разумею его «Древнее право». В то время, когда я познакомился с Мэном, он был уже автором двух других книг: «Деревенские общины на востоке и западе» и «Древнейшая история учреждений». Эта последняя книга, с которой я впервые познакомился в Лондоне, привела меня в восторг. И действительно, надо обладать из ряда вон выходящей научной фантазией, чтобы нарисовать такую яркую картину древнеирландской и вообще кельтической жизни на основании столь смутного материала, как тот, какой представляют записи древнейших посреднических судов и их часто затемняющие комментарии из разных эпох. Обращаясь постоянно к сравнениям, Мэн, при скромной эрудиции и без знакомства с кельтическими языками сумел дать руководящую нить всем исследователям древнейших общественных и государственных порядков. Для примера укажу хотя бы на свет, проливаемый им на возникновение феодальных отношений. В самом термине «феод» оказывается упоминание о скоте (fe-Viel)*, как о предмете юридической сделки. Но по немецким источникам нельзя было подняться до эпохи, когда связь помещика с зависимым от него человеком вызывалась ссудою скота, а не земли. В ирландских памятниках такая ссуда является обычной и имеет своим последствием крестьянский отработок и крепостные отношения. Развитие высшего сословия из среды владельцев скота — этого древнейшего капитала — также впервые нашло обоснование себе в «Ранней истории учреждений» Мэна. Возникновение особого жреческого класса из отношений учителя к ученику и позднейший, за введением христианства, переход этого класса в класс посреднических судей и рапсодов есть также одна из тех новых идей, которые способны бросить свет и на весьма сложный вопрос происхождения касты вообще и жреческой — в частности. Появление книги Мэна почти совпало во временем с выходом в свет «Сравнительной политики» Фримана[123]. Под этим странным заглавием скрывается попытка параллельного изучения начальных эпох в развитии эллинского, римского и германского государств. Автор старается показать, что они были сходны, и видит причину этого сходства в принадлежности всех трех народов к арийской расе. Чертами сходства он считает наличность у каждого из сравниваемых народов зародышей королевской власти, на-

* «Fehu-ðol» (*франкское*) — скот (как имущество). Viel (*нем.*) — корова.

родного собрания и совета старейшин. В лесах Германии он, следуя Монтескье, находит уже зачатки будущего парламента с королем, лордами и общинами. «Недостает только «Таймса» и «Дейли Ньюс», — говорил мне шутя, критикуя эту книгу, Джордж Льюис. Признаюсь, я не сразу мог отделаться от очарования, произведенного на меня широкой схемой автора и его, как мне показалось, совершенно убедительными данными. Одно занятие сравнительной этнологией позволило мне придти к тому убеждению, что не единство расы и начальной культуры обусловливает собою сходство учреждений разных народов, а прохождение ими одинаковых ступеней экономического и общественного развития, что, в свою очередь, обусловливается ускоряющим или замедляющим влиянием физических факторов и того биосоциального, каким является рост населения и его густота. Чтение Мак-Ленана[124] и Моргана[125] пролило для меня совершенно новый свет и на исходные моменты всякого общественного союза, не исключая и семейного. Занятие историей римского и германского права приучили меня к мысли, что семья является той ячейкой, из которой со временем развивается род и племя. Власть отца семьи является прообразом власти родового и племенного старейшины. От всех этих мыслей пришлось отказаться, ввиду существования еще в наши дни, как и в среде некоторых древних народов, счета родства по матери, сосредоточения семейнего авторитета в руках дядей по матери и унаследование власти не в отцовской, а в материнской линии. С этой точки зрения, некоторые положения, защищаемые Мэном, в свою очередь, не выдерживали критики. Он пытался поддержать их в позднейших своих сочинениях, в полемике с Мак-Ленаном и Морганом, но вся последующая литература и в особенности изучение этнографического материала, представляемого народностями индейского Архипелага, Австралии, Меланезии и Полинезии только подтвердили в основных чертах ту схему, какую построил Морган, на основании изучения быта американских краснокожих.

Едучи в Англию, я далек был от мысли заняться изучением древнейшей культуры, но эти новые перспективы, открытые любознательности социолога, трудами английских и американских этнологов, увлекли меня в неменьшей степени, чем Спенсер. Сделавшись преподавателем в Москве, я параллельно с государственным правом стал читать лекции и по древнейшей истории и учреждений, посвящая целые курсы истории семьи и рода, собственности, древнейшему обязательственному* праву, древностям права уголовного и происхождению княжеской власти, совета старейшин и народного собрания. Эти курсы, из которых многие остались ненапечатанными, доставили мне в позднейшей обработке, на которую ушли не годы, а десятилетия, возможность издания ряда сочинений. Из них наиболее устаревшими надо считать мои два выпуска, под заглавием: «Первобытное право» — один посвящен на-

* Так в тексте.

чальной истории семьи, другой — истории рода. В переработанном виде они предложены были мною впоследствии моей стокгольмской аудитории и вышли в изданиях «Лоренского фонда» на французском языке, под заглавием: «Происхождение семьи и собственности»[126]. Эта книга переведена была затем, с моего разрешения, на русский язык*; английский перевод не был доведен до конца, за преждевременной кончиной переводчика, испанский вышел два года тому назад. Те же взгляды я подверг затем проверке, на основании материала, доставленного мне изучением быта кавказских горцев, частью по печатным источникам, частью благодаря распросам на местах стариков и изучению решений горских судов, во время моих троекратных поездок по Кавказу.

В 80-х годах появились мои два тома, озаглавленные: «Современный обычай и древний закон»**, в которых главным материалом явилось право осетинское, в широком освещении, на основании параллельного изучения и древнегреческого права, и славянского, в том числе русского, а также права кельтического, германского, французского и итальянского. Эти два тома переведены были на французский язык. О них напечатаны были весьма подробные отчеты в Германии известным этнологом Постол в журнале «Глобус», — во Франции — Родольфом Дарестом в «Журнале ученых». На расстоянии нескольких лет, уже после перерыва моей университетской карьеры в России, а обнародовал новых два тома, под заглавием: «Закон и обычай на Кавказе»***. Они нашли довольно обстоятельную передачу на английском языке в работе Моргана, а на французском: в новых двух статьях, посвященных им Родольфом Дарестом в том же «Журнале ученых»[127]. Материал, доставленный мне изучением, как русского обычного права, так и древних памятников нашего законодательства, использован был впоследствии мною в лекциях, прочитанных в Оксфорде и появившихся на английском языке отдельною книгою, под заглавием: «Современный обычай и древний закон в России»****. Знакомство с Мэном дало мне возможность проникнуть в архив и библиотеку Верховного «Управления Индией» (Indian office), где я нашел богатый и еще мало использованный материал по вопросу о сельской общине и той роли, какую в ее судьбе играла земельная политика англичан. Я счел полезным сопоставить эти судьбы с судьбами земельной общины краснокожих в испанских колониях

---

* Ковалевский М.М. Взгляд на происхождение и развитие семейства и собственности. СПб., 1890.

** Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении. М., 1886. Т. 1—2.

*** Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890. Т. 1—2.

**** Ковалевский М.М. Этюды о современном обычае и древнем законе России. Этюд 1. Брачные обычаи и нравы русского народа и эволюция брака в их освещении // Всемирный вестник. 1903. № 1. Этюд 2. О современной русской семье и главным образом о так называемой большой семье или семейной общине у великороссов // Всемирный вестник. 1903. № 2.

и арабов во Французском Алжире. Эти параллельные картины составили содержание особой книги, озаглавленной: «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения»*. Я намеревался продолжить мое сочинение изучением коллективных форм собственности в германо-романском мире и процесса их разложения. Но эта тема, развитая мною в курсах, читанных в Москве, выросла постепенно в несколько томов, после многолетней разработки ее в течение 18 лет, проведенных мною за границей. Под названием: «Экономический рост Европы»** отпечатаны были мною на русском языке два обширных тома, в которых изложена история землевладения на западе в период, предшествующий возникновению капитализма. К этим томам я впоследствии прибавил сравнительный очерк организации промышленности и рабочего вопроса на протяжении всей средневековой Европы. Он составил третий том моего «Экономического роста». За последние годы это сочинение в несколько распространенном виде вышло и на немецком языке в семи томах, включенных Прагером в издаваемую им в Берлине «Библиотеку политической экономии и обществоведения» (это тома 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й и 20-й).

Если я поместил в отделе о научных годах, проведенных в Лондоне, перечень моих главнейших научных работ, то потому, что мысль о них впервые зародились во мне под влиянием неожиданного знакомства с английской и американской литературой по этнологии, древнейшей культуре и ранним формам общественности. Я не был наведен на этот путь моими предшествующими университетскими занятиями ни в России, ни в Берлине, ни в Париже... Немцы не вскоре заинтересовались этой новой областью знаний, для которой, как мне кажется, наиболее удачным названием было бы — генетическая социология. Бахофен[128], выступивший почти одновременно с Мак-Ленаном и даже раньше его со своим «Материнским правом», приобрел, пожалуй, раньше известность за границей, чем у себя на родине, в Базеле. Я имел случай убедиться в этом однажды на водах в Тараспе. Базельские знакомые представили меня г-же Бахофен, как хорошей музыкантше. Я просил ее, не в родстве ли она с знаменитым автором «Материнского права». — «Я его вдова», — последовал ответ. Я высказал искреннее сожаление в смерти человека, оставившего столь глубокий след в науке. Мои базельские знакомые объявили мне впоследствии, что они в первый раз услышали, что Бахофен, весьма уважаемый банкир, был одновременно и издателем каких-то ученых книг. Такое соединение в одном лице двух, столь различных специальностей, вероятно, вызвало бы меньшее изумление в Англии,

---

* Ковалевский М.М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. М., 1879. Ч. 1. Общинное землевладение в колониях и влияние поземельной политики на его разложение.

** Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. М., 1898—1903. Т. 1—3.

где лучшая история Греции написана банкиром Гротом[129] и самые оригинальные книги о средневековой сельской общине и родовом быте кельтов и англосаксов принадлежат также банкиру из небольшого городка Гитчина — Себом. Когда Пост[130] стал издавать свои замечательные для его времени томики по этнологии, они в среде юристов скорее вызывали смущение, чем восторг. Даже много лет спустя, когда одновременно с моими чтениями в Стокгольме, Колер[131] в Берлине приступил к своему курсу по этнографической юриспруденции, он был освистан своей аудиторией. В Париже Флак[132] едва ли не первый выступил с кафедры сравнительной истории права в Коллеж де Франс с лекциями по сравнительной этнологии. Научившись русскому языку, он прочел и мои книги. Но к теории так называемого материнства он отнесся с решительным отрицанием, и все его преподавание было направлено к доказательству того, что новое учение англо-американской школы не в силах поколебать давно установившейся схемы семьи, рода, племени и государства, по крайней мере, у арийских народов. В 1900 г. на съезде сравнительных историков права, составившем отдельную секцию Международного исторического конгресса, известный египтолог Ревилью[133], избранный председателем секции, покинул зал заседания после того, как проф. Жерар, ссылаясь на мои «Современные обычаи и древний закон»*, стал доказывать ему, что сходство в нормах права у двух разных народов не вызывается исключительно заимствованием, а может быть последствием прохождения ими на расстоянии веков одинаковых стадий развития. Ревилью утверждал не более не менее, как следующее весьма спорное положение, будто римские законы 12-ти таблиц заимствованы из свода египетского фараона Амазиса II[134]. По-видимому, новизна такой мысли предполагала в нем некую терпимость к теме, кто ищет новых путей для выяснения причин сходства и различия между учреждениями разноплеменных и нередко разновременных народов. Но Ревилью закричал, что ему хорошо известно то направление, которое ищет у «petit negre», т.е. у негритян, источника правовых норм исторических народов, и негодуя ушел из зала. Ни о каких негритянах и ни о каком-либо заимствовании в заявлениях Жерара не было и речи. Ревилью в карикатурной форме спешил высказаться против сравнительного этнографического метода в юриспруденции, который ставит себе более серьезные задачи, чем отмечать действительные или, в большинстве случаев, мнимые переносы юридических норм из одной стороны в другую. Несомненно, что одной из причин, по которым, прежде всего, юристы-догматики, а затем и юристы римского и германского права отнеслись с явной враждебностью к сравнительно-этнографическим приемам исследования, лежит в том, что ими колебались давно установившиеся понятия о том, что семья и част-

* Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон... М., 1886. Т. 1—2.

ная собственность лежат, так сказать, в природе человека и что ими поэтому открывается правовое развитие любого народа. На этой мысли настаивала школа естественного права, ее не отрицала и историческая школа[135], основанная Савиньи, Эйхгорном и Роггэ, с ней мирилась и сравнительная историческая юриспруденция в лице Иеринга, Мэна, Фюстель де Куланжа. Можно судить после этого, как должны были встретить новаторов, позволявших себе утверждать, что семья и собственность не являются чем-то первобытным, а приобретенным последствием векового развития. Горячие нападки, какие посыпались на Лавелэ и тех, кто, подобно Полю Виолле, считал возможность писать о «Коллективном характере древнейших форм недвижимой собственности», вызваны были, разумеется, опасением, чтобы новое учение не было использовано, как это и случилось на самом деле, социалистами и коммунистами. **По моему экземпляру «Древнего общества» Моргана Энгельс с совета Маркса присупил к своей монографии о происхождении семьи и собственности***[136]. Правда, и между сравнительными этнографами нашлись люди, как Даргун, сделавшие попытку найти частную земельную собственность у близких к первобытности дикарей. Но чем ближе мы знакомимся с их бытом на основании не одних заметок путешественников, незнакомых часто с их языком, а благодаря тем систематически произведенным анкетам, образцы которых представляют нам командированные разными учеными обществами, преследующими этнографические задачи, вполне подготовленные специалисты, тем более и более оказывается невозможным поддерживать это, опирающееся на немногие примеры положение. Разумеется, и доселе не смолкли голоса, утверждающие, что частная собственность возникает с первыми видами скотоводства и земледелия. Голландский этнограф Штайнмец, напр[имер], еще поддерживает учение Даргуна. Удивляться этому трудно, раз мы примем во внимание, что такое определенное заявление Юлия Цезаря о германцах, как то, что у них нет обособленного частного поля (sed privati ac separati agri apud eos nihil est), не мешает, напр[имер], Фюстель де Куланжу, не говоря уже об американце Россе, считать всякое учение, идущее наперекор признанию частной земельной собственности, исходным моментом в истории развития племен, поселившихся со временем в пределах Римской империи, немецкой ересью, занесенной, как он пишет, во Францию мною и нашедшей услужливое признание в лице французского юриста Родольфа Дареста.

Когда я вспоминаю тот прием, какой — не печать, а так называемые «авторитеты» — оказали моим попыткам распространить сферу сравнений исследователя ранней культуры и на те народы, которыми интересуется этнография, когда я вспоминаю, что Борис Николаевич Чичерин, как мне передавали, отзывался обо мне, как о «молодом человеке, читающем под названием государственного

* Фраза подчеркнута автором.

права об умыкании жен», когда мне приходит на ум, что в своем открытом письме ко мне, напечатанном мною же в «Критическом обозрении», он настаивал на невежественности того взгляда, будто земельная община предшествовала индивидуализации недвижимой собственности, я, на расстоянии стольких лет нахожу в себе достаточно объективности, чтобы увидеть в этом походе совершенно искренний отпор тем новшествам, какие вносили в историческое понимание ревнители сравнительной этнологии. Я не прочь думать, что и мой бывший товарищ Боголепов[137] в роли министра народного просвещения действовал согласно со своей совестью, когда объявлял моему приятелю Стороженко, что он потому не желает вернуть меня на кафедру, что считает меня, за одно с другими, всеми уважаемыми авторитетами, за совершенного неуча. А мои книги подымали вопрос о прирожденности или неприрожденности человеку влечения к семье и частной собственности. Можно судить, какова была судьба тех, которые, пользуясь одинаково и сравнительно-историческим и сравнительно-этнографическим методом, ставили вопрос о том, не следует ли искать источника понятия о душе и загробной жизни в галлюцинациях и сновидениях и видеть прообраз жертвоприношений и одного из таинств те пиршества, какие устраивают дикари, съедающие на них тело животного, избранного ими патроном. Если подумать, что даже такой гениальный, крайне осторожный и обладающий большим тактом исследователь, как Эдуард Тейлор, автор «Первобытной культуры»[138], не без сильного противодействия успел занять положение профессора по антропологии в Оксфордском университете, что гораздо более смелый Фразер[139], занимая кафедру в Кембридже, постоянно встречает нападки на свое учение о тотемизме, учение, которого надо искать еще в известной книге Робертсона Смиса «О религии семитов»[140], то не удивительным покажется заявление, сделанное мне известным социологом Эспинасом[141], что Дюркгейм[142] своей недавней книгой по вопросу о происхождении религий вызвал целую бурю в среде французских ученых и является в настоящую минуту наименее возможным кандидатом для занятия кресла во Французском институте. А между тем, едва ли кто не согласится с тем, что Дюркгейм по своим работам имеет право считаться одним из наиболее выдающихся и плодотворных работников в сфере науки об обществе.

Весь этот длинный экскурс не есть простое отступление от главной нити моего рассказа. Он вызван желанием поставить в причинную зависимость дальнейший ход моей научной деятельности от случайного, в сущности, обстоятельства, — приезда в Англию на 23-ем году жизни, когда научная фантазия работает быстро, возбуждаемость, производимая общением с людьми и с циклом тех или других идей особенно сильна и когда, благодаря этому, на расстоянии немногих месяцев определяется направление литературной работы на долгие и долгие годы.

II.

Ив[ан] Ив[анович] Янжул, как раз в это время познакомившийся со мною, в своих воспоминаниях отмечает тот факт, что меня весьма мало интересовали политические вопросы, что я невнимательно следил за газетами и журналами и всецело был поглощен тем, что можно было бы назвать различными проявлениями в истории закона причинности. Выбор этого термина принадлежит мне. Сам Янжул не употребляет его и говорит только о моих научных интересах. Подобно ему, я проводил большую часть дня в библиотеке «Британского музея», как известно, самой богатой в мире и обладавшей уже в то время обширным подвижным каталогом. Число сообщаемых читателям сочинений не было ограничено, как в других европейских книгохранилищах. Нужна была рукопись, ее принесли на столик читателя, не требуя его перехода в особое помещение. Я занят был писанием диссертации по истории местного самоуправления в Англии. Вопросы, интересовавшие меня в то время, стояли в некоторой, но отдаленной связи с начальными моментами общественного развития, раскрываемыми сравнительной историей права и сравнительной этнографией.

Я задался мыслью о происхождении власти на местах, о первых путях и средствах к обеспечению внешнего порядка, тишины и спокойствия, — понятий, обнимаемых в Англии одним общим термином мира. Английская жизнь, как известно, подверглась перелому, благодаря так называемому нормандскому завоеванию[143]. Этот перелом расслоил одно время население на две части: покоренных саксов и пришлых завоевателей норманно-французов; последние были в меньшинстве. Какими мерами можно было обеспечить сохранение между ними мира. Если в ранний период английской жизни — период саксов или англосаксов — ответственным за порядок в Англии, как и на континенте, являлся помещик, носивший характерное прозвище глафорда, своего рода «кормильца», не только крепостных, но и свободных поселенцев, если законы англосаксонских королей требовали от каждого, чтобы он имел своего «поручителя», то с нормандского завоевания, когда важнейшие поместья перешли в обладание ненавистных пришельцев, которых и нужно было охранять, прежняя система оказалась практически неосуществимой. Естественно было перейти к системе круговой поруки, — связать сперва личные, а затем и территориальные союзы обязательством взаимной ответственности и поставкой нарушителей мира на суд королевский. В таких условиях и должна была возникнуть та система связанных круговой порукой «десятина» (decenae) и тот институт избираемых ими верховных попечителей (capitales plegii), с которым мы встречаемся в протоколах судебных разъездов XIII в. Эти протоколы, впоследствии напечатанные в значительном числе профессором Метландом, оставались еще неизданными. Мне пришлось читать некоторые из них в рукописи и приложить их в печатном виде к тексту моей диссертации. Связать происхождение форм круговой ответственности за

нарушение мира с нормандским завоеванием, значило идти против установленного преимущественно немецкими исследователями положения, что эта круговая порука существовала еще у англосаксов. Ходячая точка зрения находила оправдание себе в том факте, что в так называемых «Законах Эдуарда Исповедника»[144] уже говорится о взаимной ответственности членов десятен. К какому времени отнести происхождение этого юридического памятника, в то время было спорным вопросом. Сочинение Либенама[145], вполне разобравшегося в хронологии саксонских и нормандских источников английского права, вышло десятки лет спустя. Я построил гипотезу, что так называемые законы Эдуарда Исповедника появились уже после завоевания, что в них включены нормы, принятые Вильгельмом I и его ближайшими преемниками, что круговой поруке десятен Завоевателем присоединена была еще другая мера безопасности — ответственность всех жителей «сотни» (hundred) — подразделение графства, отвечающего нашему понятию области, за все случаи убийств норманов. Я связал также происхождение встречающегося в одной Англии института обвинительных присяжных с этой системой круговых порук и с сотенной ответственностью. Старшие поручители (capitales plegii), упоминаемые протоколами «разъездных судов» XIII в. в моих глазах и были древнейшим типом «жюри обвинения».

Рядом с этой первоначальной организацией внешнего порядка, поставленного под контроль старшего чиновника графства-области, англо-саксонского по своему источнику «шерифа», возникла со времен Ричарда I Львиное Сердце[146] целая категория избираемых властей, разделивших с шерифом его обязанности полицейского характера. Такими властями были избираемые пристава (констебли, следователь в делах об убийствах — коронер и охранители мира (conservatores pacis). Из избираемых последние сделались назначаемыми. Из полицейских чиновников они стали местными судебными органами. Рядом с лично отправляющими свою службу возникли съезды их на правах апелляционной инстанции. Охранители мира перешли в мировых судей. Этот процесс завершился уже при Эдуарде III[147]. Когда возникали новые потребности, как например, потребность в регулировании заработной платы, ввиду большой смертности, вызванной моровой язвою 1348 года, на тех же мировых судей возлагались новые обязанности, в данном случае разбирательство споров между предпринимателями и рабочими. Самоуправление английского графства с развитием мирового института в середине XIV века может считаться почти законченным. К прежним его органам королевой Елизаветой[148] прибавлена только должность начальника над графской милицией, так называемого лорда-лейтенанта.

Генезису английского самоуправления, таким образом, была посвящена та работа, за которую года два спустя я получил магистерскую степень[149]. Написана она была по образцу немецких диссертаций с цитатами из текстов, с обширными примечаниями и приложениями. Это обстоятельство, вероятно, содействовало тому,

что ее мало кто читал. Однажды мой приятель, проф[ессор] Гатгенбергер[150] из Харькова, подал мне даже совет проредактировать ее вновь, сделать ее доступной для более широкого круга читателей. Но занятый другими трудами я не нашел времени сделать это. Книга появилась в 1876 г. в Праге. Живя за границей и желая сам вести корректуру, я, по совету Патера, обратился в типографию «Народных листов», известного младочешского органа. Патера с большой обязательностью предложил читать последнюю корректуру. Несмотря на все это, книга вышла с огромным множеством опечаток. Есть и описки. В одном месте Симон де Монфор[151] стоит там, где следовало бы поставить — архиепископ Лангтон[152]. Упоминаю об этом обстоятельстве, так как бесжалостный молодой оппонент, который был не кто иной, как известный ныне всему миру оксфордский профессор Павел Гаврилович Виноградов, язвил меня немало этой опечаткой на диспуте. Она, кажется, продолжала играть роль пугала и при недавнем выборе меня в Академию. По словам покойного Янжула, один из подписавших представление меня в академики очень часто возвращался к вопросу о многочисленных «лапсусах»* в моих книгах. Я их не отрицаю. Объяснение им дает моя нервность и связанная с нею рассеянность. Я и в разговоре часто ставлю одно слово вместо другого. Английские ученые, страдающие теми же прижитыми или природными недостатками, избегают их вредных последствий тем, что до выхода в свет своей книги дают ее прочесть в корректурах тому или другому специалисту-приятелю. Об этом легко встретить упоминание в самом тексте, обыкновенно в предисловии. Хорошо было бы завести ту же практику и у нас. Это затруднило бы, может быть, оппонентов и заставило бы их критиковать самые положения защищаемой диссертации вместо того, чтобы довольствоваться указанием на описки. Но я не вижу в этом беды.

Я почему-то необыкновенно спешил с выходом в свет моей первой ученой книги и в то же время не раз задумывался о том, стоит ли мне искать ученой степени, терять время на магистерский экзамен. Не лучше ли было бы посвятить себя всецело работам исследователя. Когда книга моя была отпечатана, я, поэтому, нисколько не поспешил возвращением в Россию, продолжая работать в Лондонском «Центральном Архиве» над историей английских земельных порядков в средние века и на той связи, с какой эти порядки стоят со строем английских сословий — высшего и низшего дворянства, крепостных крестьян и свободных владельцев. Один из чиновников архива Сельби, помогавший Себому в подыскании материала для его книги о «Сельской общине в Англии», обратил мое внимание на то, что по истории крестьянского восстания во времена Ричарда II[153], восстания, связанного с именем Уота Тайлера, имеются почти никем не тронутые документы, а именно протоколы судебного расследования действий мятежни-

* Так в тексте. Следует: «ляпусах».

ков по отдельным графствам. Я с жадностью набросился на эту неожиданную добычу и еще в 1876 году сделал все нужные мне выдержки. Прошли годы, прежде чем я воспользовался моею записью в отдельной главе II тома моего «Экономического роста Европы». Отмечаю этот факт, чтобы показать, что моя работа была сделана совершенно независимо от работы Ревиля[154] или проф[ессора] Петрушевского[155], хотя первая и появилась уже в печати раньше выпуска II тома, в котором имеется обширный отдел о крестьянских движениях в средние века. Если впоследствии я мог одновременно с лекциями, на подготовку к которым уходило у меня немало времени, написать в два года докторскую диссертацию на тему: «Общественный строй Англии в конце средних веков»*, то объясняется это тем, что вчерне она была написана еще в годы моего ученичества в Лондоне. По своей теме она совпала с книгой львовского проф[ессора] Охеньковского. С нею я познакомился уже тогда, когда большая часть моего сочинения была набрана. Я мог поэтому только заимствовать у него некоторые выдержки, в том числе из неизвестной мне летописи Руфуса, заключающей в себе, между прочим, интересные данные о ранних огораживаниях общих полей (common fields).

Работа моя в архиве и в библиотеке была налажена. Я с увлечением проводил в них целые утра, обыкновенно с 10 ч., с коротким перерывом для завтрака. Библиотека, смотря по времени года, закрывалась не ранее 4—5 часов. Я успевал сделать короткую прогулку до обеда. Если кто-нибудь из моих лондонских знакомых не звал меня к себе, я вечер также проводил в чтении книг или в черновом наброске результатов моих исследований. Приглашения на обеды повторялись не часто. Англичане имеют похвальную привычку сосредоточивать их зимою около праздника Рождества, а летом [—] в период парламентской сессии, когда обыкновенно в конце мая или в начале июня открывается светский сезон, заканчивающийся в середине августа. Воскресенье они обыкновенно проводят в тесном семейном кругу и не ждут к себе гостей. Это прибавляло лишний день в неделю к моим занятиям. Я обыкновенно проводил все время в чтении и только в послеобеденное время заглядывал к Льюису. Вечер уходил у меня на общение с немногими русскими профессорами, одновременно прибывшими в Лондон для занятий. Однажды ко мне пришел на квартиру (жил я в то время недалеко от Британского музея на улице, выходящей на площадь Россельского сквера (10, Woburn Place)), молодой профессор Московского университета Ив[ан] Ив[анович] Янжул. Он в то время был уже автором диссертации, обратившей на него внимание в среде русских экономистов. Его книга «О соляном налоге в Англии» является весьма полным и оригинальным исследованием, сделанным по источникам первых рук. Ею заинтересовался не-

* Ковалевский М.М. Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880.

мецкий экономист Штудниц, впоследствии профессор в Ростоке. Он был в числе моих лондонских приятелей. По его просьбе я познакомил его с книгой Янжула, написанной на недоступном для него языке. Штудниц напечатал свой этюд о русском экономисте в весьма распространенной в Германии «Аугбургской газете»[156]. Профессор Градовский, прочитав этот лестный отзыв, поделился им с читателями «Голоса», и научная известность Янжула от этого только выиграла. Работая чуть ли не за одним столом в Британском музее и часто разделяя вместе скромный завтрак в одной из соседних таверн, мы скоро сошлись довольно близко. Янжул прибыл в Англию с молодой женой, помогавшей ему в его работах, благодаря прекрасному знанию английского языка. Оба они были весьма гостеприимны. Янжул производил приятное впечатление живостью ума, разносторонностью, обычным в москвиче благодушием и разговорчивостью. С виду, как это отметил впоследствии наш общий приятель В.И. Танеев[157], он походил на Прудона, по крайней мере в том изображении, какое дает ему весьма распространенный портрет, на котором Прудон сидит, опираясь на палку: та же большая голова, тот же широкий лоб, те же вдумчивые и несколько удивленные глаза. Кто знал Янжула в последние годы его жизни, когда ранняя глухота и всякого рода недуги сделали его малообщительным и критически настроенным, не может составить себе понятия о его прежней жизнерадостности. Это не была какая-то напускная или природная смешливость, а вызываемая глубоким интересом к жизни и всем ее проявлениям готовность по часам обмениваться мыслями с приятелем: спорить, горячиться, настаивать на правильности своей точки зрения и, в конце концов, назидать своего противника. Янжул имел вкус ко всему, за исключением одних метафизических вопросов. В этом отношении он резко расходился с тем типом москвичей 40-х годов, с которым познакомила нас русская беллетристика. Он, видимо, мало принимал участия в тех кружках, о которых Тургенев, шутя, говорит: «Das schrecklichste von allen Schrecken ist ein Krougok in der Stadt Moskau» — «ужаснейший из всех ужасов — это кружок в Москве». Да и не было ему времени проводить долгие часы за чтением немецких философов и спорить по целым вечерам о том, кто прав — Шеллинг[158] или Гегель[159]. Человек не богатый, принужденный давать уроки, чтобы содержать себя во время прохождения университетского курса и ездить на летние кондиции, он рано стал пополнять свой доход газетными статьями. Когда редакция «Русских Ведомостей» перешла в руки Скворцова, сумевшего расширить этот орган и сделать его постепенно университетской газетой, Янжул стал сотрудничать в ней под псевдонимом Юренева, получая не более 3-х копеек за строчку. Это сотрудничество заставило его рано заинтересоваться вопросами политики и одновременно набить руку, приобрести живой и легкий слог. Он изумлялся моим равнодушием к тому, что происходило вне сферы научных интересов. Проведши молодость в провинции, в которой, взамен газет, выходили Губернские ведомости, и прожив за границей около 4-х

лет, я так мало был посвящен в различие направлений нашей столичной печати, что, заинтересовавшись конгрессом «Тред-Юнионс» (английских рабочих синдикатов), я вздумал послать отчет о нем в новую в то время газету, благо она носила заманчивое название «Гражданина». Князь Мещерский через своего корреспондента в Лондоне вернул мне статью обратно, говоря, что она не вполне отвечает направлению его органа, а посредник, призаняв у меня денег, — разумеется, без отдачи, — сразу отнял у меня охоту к публицистической деятельности. Узнав о моем злоключении, Янжул много смеялся и кончил тем, что пожурил меня за равнодушие к отечественным судьбам. Да и было за что. В видах моего исправления, он стал давать мне получаемые им номера «Русских Ведомостей». И я постепенно стал уделять внимание не только тому, что творилось в Париже и Лондоне, но и все более и более овладевавшей Россией реакции. Не могу сказать, чтобы это открытие усилило во мне желание вернуться на родину. Но впечатление, производимое на таком расстоянии тусклыми и недоговоренными отчетами русской либеральной печати о понятых* движениях на родине, было не настолько сильно, чтобы зародить во мне желание деятельной политической борьбы. Когда Влад[имир] Соловьев[160], познакомившись со мною по приезде своем в Лондон, предложил мне вместе с ним посетить Лаврова[161], издававшего в то время в Лондоне свой «Вперед»[162], я отклонил это предложение, имея лишь самое смутное представление о том, чем может быть такой заграничный орган в руках бывшего полковника русской службы. С Лавровым мне пришлось случайно встретиться месяцы спустя у К. Маркса[163], который в это время интересовал [меня], разумеется, несравненно больше любого русского уравнителя. Я только что упомянул о Влад[имире] Соловьеве. Я слышал заочно, что в нем позитивизм имеет противника не только горячего, но и задорного. Его магистерская диссертация была озаглавлена: «Кризис философии» с прибавкой в скобках «против позитивистов». Мне сообщили также, что этот поход против Огюста Конта, в такой же степени, как и родственная связь с великим русским историком были причиной того, что значительное число профессоров Московского университета готово было дать Соловьеву предпочтение при замещении кафедры пред варшавским профессором Троицким, высоко стоявшим в моих глазах, так как он показал влияние шотландской философии Юма[164], этого предшественника позитивизма, на Конта. Я поэтому не обнаружил большой горячности при первой встрече с молодым русским метафизиком. Но его наружность была настолько обаятельна, его манера держать себя с другими так очаровывала своею простотой и естественностью и его детский смех был настолько заразителен, что лед между нами скоро растаял и мы сделались приятелями. Соловьев занимался в то время изучением «Кабалы». Целые дни он проводил в библиотеке, а вечером,

* Так в тексте.

не зная, куда деваться, после более чем скромного обеда у итальянского кондитера, приходил ко мне или Янжулу. Спиритизмом он интересовался не на шутку. В это время почти напротив Британского музея на Great Russel Street помещалось «Метафизическое общество», устраивавшее, между прочим, оплачиваемые 5-ю шиллингами с человека, спирические сеансы. По просьбе Соловьева мы пошли с ним на одно из таких собраний, захватив с собой бывшего новгородского предводителя дворянства, позднее поселившегося в Неаполе на правах корреспондента русских газет и журналов. Нас поставили в круг, заставили не вынимать рук из цепи и посоветовали не тревожиться всем тем, что мы увидим и услышим. Газ потушили; несколько минут спустя послышались звуки арфы над нашими головами. Соловьев внезапно разорвал цепь и схватил в темноте обшлаг неизвестного «материализованного духа», который отбиваясь от него, ударил по голове своей арфой новгородского предводителя. Тот, разумеется, заорал, произошла тревога. Газовые рожки зажгли снова и объявили нам, что при новом нарушении порядка и тишины нас выставят на улицу. В программу входила также более внушительная материализация духа какого-то морского пирата (вероятно, с помощью волшебного фонаря). Но видение на этот раз удостоило нас только частью своей наружности, а именно бородою, и на все наши просьбы показать его во весь рост, последовал наивный ответ, что в собрании слишком много скептицизма и что дух поэтому не желает явиться. Я хохотал от всей души, но Вл[адимир] Соловьев не на шутку рассердился и объявил, что он дело так не оставит. На следующий день он представил в «Метафизическое общество» формальное заявление с рассказом обо всем случившемся и с требованием, чтобы ему вернули 5 шиллингов. Нужно ли прибавлять, что никакого ответа не воспоследовало и деньги возвращены не были.

Несколько месяцев спустя К. Маркс предложил мне отправиться с ним на улицу Пикадилли, где в особом здании, известном под наименованием «Египетского дворца» Маскулин и Кук давали каждый вечер сеансы с материализацией духов[165], предупреждая собравшихся, что все, ими показанное, будет сплошным обманом, что они научились этим приемам у спиритов, и только потому не раскроют секрета, чтобы не потерять публики на ближайших сеансах. То, что я увидел здесь из первых рядов кресел, было несравненно более изумительно, чем все то, что обещали нам проделать и не проделали члены Лондонского Метафизического общества. Для меня спиритизм потерял с этого времени всякий интерес, и я никогда больше не являлся ни на какие приглашения даром или за деньги присутствовать на его сеансах. Но Вл[адимир] Соловьев продолжал относиться к нему с большой любознательностью. «Что в том, — говорил он, — если к спиритизму пристроилось несколько мошенников или шалунов. Я сам, бывая в Москве в дамских кругах при верчении столиков, забавлялся тем, что приподымал их на воздух». Возможность общения с каким-то загробным миром его не удивляла, и он искренно желал найти случай убедиться в

своих мечтаниях. Иногда он сообщал мне, что ночью его мучил злой дух «Питер», пророча ему всякие несчастья. Однажды я прервал его замечанием, что я не старая московская дева, которую можно дурачить всякими сказками. На это он ответил мне детским, почти истерическим смехом. В тот же вечер, просидев у меня до 12 часов и увидев, что я хочу спать, он ушел к себе на квартиру. Я улегся в постель, оставив дверь в гостиную открытой и, разумеется, сразу заснул. Вдруг послышался шум, я открыл глаза и увидел в кресле Соловьева в его обычном черном одеянии с высокой шляпой на голове. Это зрелище было так неожиданно, что я заорал благим матом. «А еще не верите в материализацию духов», — услышал я его голос. Дело объяснилось очень просто. Соловьев забыл ключ от своей квартиры и, не желая провести ночь на улице, постучался ко мне, его впустили, он расположился на ночь в мое кресло. Я, признаюсь, до сих пор не могу разобраться, относился ли он серьезно, или шутя к модному в то время увлечению спиритизмом. Когда приехал Аксаков[166] искать медиума, Соловьев познакомил меня с ним и помогал ему в его затее. Медиум нашелся в Ньюкастле. Его повезли в Петербург. Он должен был убедить в числе других Менделеева в возможности материализации духов и доказать ему, таким образом, что его товарищ по занятию химией Бутлеров[167] не ошибается, принимая на себя защиту спиритизма. Как многим памятно, Менделеев[168] уличил медиума в явном обмане. Однажды, уже после отъезда Аксакова, я разговорился о нем с Влад[имиром] Сергеевичем. «Аксаков, — сказал он мне, — был очень счастлив в первом браке и несчастлив во втором. Вот он и пытается свидеться снова с любимой им женой». Другой раз, уже накануне его отъезда в Египет, я увидел Соловьева весьма озабоченным. Ему снова ночью были видения, смущал его Питер, предсказывая скорую гибель. Я слышал потом, что пророчество едва не осуществилось. Где-то в пустыне, в окресностях пирамид, какие-то арабы приняли Соловьева с его изможденным лицом, огненными глазами и обильными черными кудрями за черта и один из них готов был наброситься на него с кинжалом в руках, но был остановлен проводником. Слышал я позднее от друзей Соловьева, что в Неаполитанском заливе он бросал в море мелкую монету, чтобы задобрить чертей. Делал ли он это шутя, или серьезно, я до сих пор не могу решить, — сложная была это натура. В гимназии он, говорят, был в высших классах совершенным материалистом и неуважительно относился к иконам. Одно время он занимался почти исключительно естественными науками, затем круто повернул в сторону немецкой метафизики и богословия. Его отец, Сергей Михайлович Соловьев, был из духовной семьи, а мать принадлежала к княжескому роду и имела тоже красивые и задумчивые глаза, как и ее сын. И в своем поведении Вл[адимир] Соловьев страдал тем, что можно было назвать противоречием. Когда известный Любимов, сотрудник Каткова[169] и одно время редактор «Русского Вестника»[170], вызвал негодование своих товарищей-профессоров своими открытыми наветами на их

неблагонадежность, наветами, сделанными перед комиссаром, присланным в Москву министром народного просвещения Толстым[171], собрать материал для похода против университета и тем содействовать задуманной отмене его либерального устава 1863 г., Вл[адимир] Соловьев не только не примкнул к тем, кто послал Любимову коллективное заявление, что отныне разрывают с ним всякие отношения, но, наоборот, при всяком удобном случае свидетельствовал о сохранении к нему прежних товарищеских чувств. Дело кончилось тем, что Серг[ея] Мих[айловича] Соловьева, не предупредивши, отставили не только от редакторства, но и от профессуры, а к Влад[имиру] Серг[еевичу] его товарищи стали относиться настолько холодно и недоверчиво, что он предпочел уйти из среды московских доцентов. Но я не изменил к нему моих прежних приятельских чувств, вполне уверенный в том, что он поступает согласно со своей совестью. Он видел в поведении профессоров своего рода нравственное насилие и хотел протестовать против него своим поведением. Кто не имел случая сойтись с ним вне русских условий, тому трудно понять, как мог он оставаться одновременно близким человеком к Каткову и к Ив[ану] Серг[еевичу] Аксакову, и к Ф.М. Достоевскому, и рядом с этим быть любимцем Стасюлевича[172] и всего кружка «Вестника Европы». Я объясняю себе это тем, что для него терпимость к чужим мнениям была своего рода нравственным долгом. Когда Соловьев стал знакомиться с русской действительностью и писать на злобу дня, он оказался неожиданно для многих не то что либералом, а радикалом. Его «Идолы и идеалы» — один из лучших политических памфлетов, когда-либо вышедших на русском языке. И в религиозных вопросах он представлял своего рода «неразбериху». Я слышал от патера Пирлинга[173], — известного иезуита и автора весьма ценного труда «Россия и папский престол», что Соловьев, не перешедши формально в католицизм, был его горячим сторонником и получил от папы Льва XIII[174] благословение. Но встретившись в Париже в одном обществе с Ренаном, он, на вопрос последнего: «Что даст миру Россия?» — ответил: «Она утвердит торжество православия». Соловьев одно время был близок к Толстому и отнесся затем вполне враждебно к его религии без догматов. Толстой заплатил ему взаимностью. И после того, как Соловьев высказался в положительном смысле по вопросу о войне, Лев Николаевич в одной из своих книг обозвал его истинно злым человеком. К Победоносцеву[175] Соловьев относился с полным отрицанием. Его друзья декламировали мне некоторые из его стихотворений, в которых он мешал с грязью всемогущего прокурора Святейшего Синода и упрекает его даже в присвоении литературной собственности г-жи Бахметевой[176], писательницы по религиозным вопросам и, кажется, переводчицы Библии на русский язык.

Жизнь за границей в течение 18-ти лет разлучила меня с Соловьевым. Но мне приходилось встречаться с его друзьями и поклонниками. От всех слышал я трогательные рассказы о его аскетизме, лишенном всякой рисовки. Он делился деньгами со всеми,

кто обращался к нему за помощью, и часто оставался без гроша или, что хуже — с долгами. Помещаясь нередко под чердаком, но, однако, в «Европейской гостинице», он умел привлечь в свою комнату воробьев и кормил их собственноручно. Это не было единственной чертой сходства между ним и Франциском Ассизским[177]. Опрошенный известным корреспондентом «Фигаро», какое решение он дает социальному вопросу, Соловьев ответил: «То же, какое в средние века дано было основателем Францисканского ордена, который внушал богатым мысль о милосердии, а бедным — любовь к их бедности». Из своих сочинений Соловьев более всего ценил «Оправдание добра», и это для него характерно, Он, прежде всего, был моралистом и готов был внести мораль и в отношения правительства и подданных. Я не думаю, чтобы он дорожил представительством или парламентаризмом, но ему были дороги всякого вида свободы и, прежде всего, свобода совести. Когда в Петербурге вышла его книга, ранее появившаяся за границей — «Россия и вселенская Церковь», я нашел в ней целые страницы, которыми можно было бы воспользоваться в речи, произнесенной в пользу свободы совести. У Соловьева можно найти поклонников, если не последователей, в самых различных кругах. К ним принадлежит и бывший профессор Лукьянов, одно время прокурор Св[ятейшего] Синода, а ныне член Государственного Совета, и кн[язь] Алекс. Дим. Оболенский, редактор манифеста 17 октября, и Мих[аил] Алекс[адрович] Стахович, научившийся у него соединять православие с проповедью свободы совести, и московский философ Лопатин[178], и оба князя Трубецкие, — Сергей[179] и Евгений[180]. Последнему принадлежит лучшее сочинение о Соловьеве. И когда я однажды в разговоре высказал сомнение в том, не преувеличено ли значение Соловьева, как самостоятельного философа и не мог ли бы Трубецкой затратить более производительно те годы, которые он посвятил своим двум томам о Соловьеве, Евг[ений] Николаевич своим ответом убедил меня, что считает дерзостным всякое сомнение на этот счет. Есть люди, которые считают Соловьева не то что первым, а и единственным русским философом. Сделана была попытка познакомить с его метафизикой и иностранных читателей. Но за границей имя Соловьева не имеет никакого обаяния и в общем развитии философских систем на Западе он не оставил ни малейшего следа.

Круг моих знакомых в Англии с каждым месяцем расширялся. Гарриссон, к которому я имел письмо от Вырубова, ввел меня в кружок английских позитивистов или, точнее, контистов, в котором сам он играл далеко не последнюю роль. Они собирались по воскресеньям на Chapel Street, пока в их среде не произошел раскол и большинство не выбрало своим руководителем Гарриссона, который снял для воскресных встреч по утрам Ньютон Голль (зал Ньютона). Эти воскресные беседы были посвящены поминкам по выдающимся людям, так или иначе послужившим благу человечества и его росту. Англичане так свыклись с мыслью о праздновании воскресного дня, что не одни только служители религии чело-

вечества, но и атеисты считают нужным именно в этот день сходиться, хотя бы в Гайд Парке, чтобы обменяться речами о небытии Божием. Контисты в выборе своих столпов и вожаков человечества придерживаются Контовского календаря. У них поэтому имеются определенные дни для чествования таких «великих типов», как Шекспир, Ньютон, Тюрго[181], Кондорсе[182] и т.д. Конт не был исключителен. Национальные пристрастия сказались в нем только в увеличении числа великих французов, далеко не в устранении иностранцев, послуживших росту наук, искусств и общественности. Нужно ли прибавлять, что столь выдающийся политический писатель, как Гарриссон, на этих собеседованиях не обходил своим вниманием и злобы дня. Он был постоянным сотрудником журнала «Двухнедельное обозрение», редактором которого состоял в то время Джон Морлей[183], еще не вступивший на свое политическое поприще и известный одними своими монографиями о Берке и Руссо. Гарриссон приобрел большую популярность своей статьей, озаглавленной: «Венецианская конституция». Это был смелый поход против аристократизма английских порядков, которые он не без натяжки сопоставлял с порядками республики св. Марка. Обладая значительной эрудицией и прекрасным слогом, Гарриссон мог рассчитывать на широкий круг читателей. Имея независимое состояние, он не пожелал воспользоваться своей юридической подготовкой для того, чтобы заняться выгодной адвокатской профессией. Его принадлежность к адвокатской корпорации Линкольнс открыла ему одну возможность занять профессуру по международному праву в «Адвокатской школе», устроенной при корпорации. По его приглашению я однажды присутствовал на экзамене по его предмету и вынес то впечатление, что от слушателей, несмотря на всего трехгодичный курс, требуется довольно обстоятельное знание, особенно по частному международному праву, с которым им не раз придется встречаться в своей гражданской практике в судах. Адвокатом также начал свою карьеру и Джемс Брайс[184], одновременно читавший лекции в Оксфорде по римскому праву. Он был уже в то время автором известного и до сих пор читаемого трактата «О священной германо-римской империи». Характер его работ породил известную близость между ним, историком Фриманом, — автором «Нормандского завоевания»[185], и каноником Стопсом*, в то время уже выпустившим в свет первый том своей «Конституционной истории Англии» и занявшим пост так называемого «королевского профессора истории» в Оксфорде. В насмешку всех трех называют «триединой троицей». Гарриссон снабдил меня письмом к Брайсу, а последний увез с собой в Оксфорд. После прекрасного и чересчур обильного завтрака, мы пошли в «Коллегию всех душ», где он в моем присутствии прочел свою лекцию «Об источниках римского права». Затем лектор уехал обратно в Лондон, а я остался для сви-

* Так в тексте. Следует: Стеббс.

дания с Стопсом. Стопса я застал в его рабочем кабинете. Он принял меня весьма любезно и тотчас же затеял разговор по предмету избранной мною темы для диссертации. Он заинтересовался некоторыми французскими работами по вопросу о выборах в генеральные штаты в XIV в.[186], я обещал прислать их ему из Лондона. Стопс сохранил добрую память о нашей первой встрече и, покидая много лет спустя профессуру, он в своей заключительной лекции помянул добрым словом свою встречу, как со мною, так и с профессором Виноградовым. Мне пришлось встретиться с ним еще раз. На праздновании 300-летнего юбилея Эдинбургского университета, на который я был послан делегатом от Московского университета, я, на расстоянии многих лет, увидел своего оксфордского знакомого, но уже совершенно преображенным. Он первый подошел ко мне, но в одеянии, которого я сразу не сумел опознать. Профессор истории конституционного права сделался оксфордским епископом. Годы спустя, принимая участие в съезде «Общества поощрения наук», которое, как известно, переносит свои заседания почти во все концы британских владений и только в этом году собралось в Оксфорде, мне суждено было услышать Стопса, как проповедника. Его красноречие не отличалось особой увлекательностью, но речь была содержательна и ставила себе задачей с птичьего полета обозреть весь ход развития христианской культуры. О Стопсе, как историке английской конституции, я здесь не считаю нужным говорить, так как посвятил ему целый этюд, под заглавием: «Английская конституция и ее историк»*. Я позволю себе только отметить тот факт, что, несмотря на появившиеся годами ранее труды Гнейста с обширными экскурсами в область истории местного самоуправления, истории исполнительной власти и судов в Англии, того, что в строгом смысле слова можно назвать написанной по источникам первых рук истории английской конституции в средние века, не существовало. «Парламентские петиции», «сотенные свитки», «патентные письма» и другой, изданный архивной комиссией материал, был разумеется, использован и раньше Стопса. Для примера скажу — хотя бы Галламом в его книге «Средние века». По отдельным вопросам истории местного самоуправления имелись монографические исследования; так, по истории должности «шерифа», много использованная Гнейстом работа Томаса Дуфуса Гарди, — директора Центрального архива. Но никто раньше Стопса не изучил так обстоятельно англосаксонских и нормандских хроник, им же отчасти изданных, и богатого архивного материала, хранящегося в библиотеках «Бодлеянской» в Оксфорде и Британского музея в Лондоне. Никто также не заглядывал так часто в архивы, не умел найти в них более ценную добычу. Когда Стопс ближе познакомился со мною, он не скрыл от меня того впечатления слабой обоснованности источниками первых рук, какое произвела на него «История англий-

* Ковалевский М.М. Английская конституция и ее историк. М., 1880.

ского парламента» Гнейста, вскоре после ее выхода переведенная на английский язык. Если книги Стопса вполне удовлетворяют любознательности читателя, желающего выяснить рост английских политических учреждений до эпохи Тюдоров[187], то они оставят малоудовлетворенным историка английской общественности и историка английского экономического быта. Автор и не ставил себе задачи привести рост учреждений в причинную зависимость от других исторических факторов. Но он так полно выполнил преследуемую им цель подарить Англии историю ее конституционной жизни, что дальнейшим исследователям не оставалось прибавить много нового к изученному им материалу. Этим отчасти объясняется, почему, не желая повторять сказанного, такие историки, как Метланд или Себом, или Виноградов направили свое внимание в сторону не конституционного права, а в сторону истории общественных учреждений, а также права частного и уголовного. Отчасти по той же причине я счел бесполезным продолжать свою магистерскую работу «об истории местного самоуправления» и посвятил свою докторскую диссертацию картине «общественного строя Англии в конце средних веков»*.

В числе знакомств, которые я постепенно приобрел в Лондоне, упомяну еще о семье Вестлек. Муж был известный адвокат, возведенный королевой в звание члена ее никогда не собиравшегося «Тайного Совета». Вестлек известен был как знаток международного права и впоследствии занял кафедру по этому предмету в Кембриджском университете. Его жена была дочь Томаса Гэра, известного и прославленного Миллем автора оригинальной системы пропорционального представительства. Я имел честь быть представленным этому почтенному старику на одном из обедов, на которые приглашал меня Вестлек во время «сезона». Эти обеды для людей столь занятых, как Вестлек или Мэн, являются одним из средств периодического общения с друзьями или знакомыми. Мэн проводил все утра в Индийском Управлении, за исключением тех, которые уходили на поздку в Оксфорд для чтения лекций. Он изредка показывался в клубе за час или за два до обеда, а вечер проводил у себя дома в чтении романов. Редкая наша встреча обходилась без того, чтобы он не справился: «А какие романы теперь читаются в Париже?». Он знал о моих частых поездках в столицу Франции, иногда продолжавшиеся целые месяцы и из которых я обыкновенно возвращался с богатым запасом новых книг. Званые обеды в Англии начинаются, как общее правило, в восемь часов или в половине девятого. В парадном одеянии вы ведете к столу даму, которой вас только что представили. Пока длится нескончаемая смена блюд, вы обязаны занимать разговором совершенно неизвестного вам человека. После пирожного, сыра и фруктов дамы удаляются в гостиную, мужчины садятся в более тесный

* Ковалевский М.М. Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880.

круг, бутылки хереса и портвейна переходят из рук в руки и начинается общая, нередко оживленная и интересная беседа на современные темы. Но долго засиживаться не дают. Хозяин уводит вас в гостиную выпить кофе и ликеров, затем обыкновенно за пианино садится или сама хозяйка, или кто-либо из приглашенных дам. Как бы плохо ни было исполнение, приходится, по меньшей мере, произнести полуголосом слово «charming» — очаровательно, — только по исполнении этой обязанности позволяется уйти домой, — обыкновенно в 12-ом часу ночи. Обеды между одними мужчинами для любознательного иностранца представляют несомненно большую умственную пищу. Я очень дорожил приглашениями к Коттеру-Мориссону, сыну известного доктора, благополучие которого составила какая-то прославленная Карлейлем[188] пилюля. Благодаря ей Мориссон мог освободить себя от всяких обязательных занятий. Он имел прекрасную библиотеку, писал какую-то бесконечную историю Франции и выпускал иногда в свет отдельные монографии. Одна из них — «О служении человеку» — приобрела значительную известность, хотя до некоторой степени была испорчена пристрастием автора к неомальтузианству. Коттер-Мориссон собирал у себя за обедом многих членов кружка позитивистов, а также известных историков, в числе их Грина, автора весьма популярной «Истории Англии». Я встретился у него с доктором Бриджес и с профессором Бисле. Бриджес был автором книги «Жизнь св. Бернарда Клервосского». Английские позитивисты гордились ею, как образцом того, что может дать воспитанная на позитивной философии и чуждая религиозному или метафизическому мышлению объективная оценка деятельности одного из величайших представителей монашества. Бриджес интересовался также историей известного чернокнижника и энциклопедиста своего времени монаха Роджера Бэкона[189], которому не чужда была арабская мудрость. Свои исторические исследования Бриджес вел в часы, свободные от службы по городскому управлению. Он одно время заведовал всеми рабочими домами Лондона, и ему я обязан был открытым листом для посещения этих интересовавших меня учреждений.

Бисле читал лекции по истории в Лондонском Колледже на Тауер Стрит и получал добавочное жалование за исполнение обязанностей какого-то директора. Шутя, он говорил мне, что эти обязанности сводятся к тому, что за общей трапезой он нарезывает куски ростбифа и овечьего стегна. Бисле выпустил впоследствии небольшую историю королевы Елизаветы в одной из распространенных популярных библиотек. Вместе с Бриджесом и Гарриссоном он перевел на английский язык четырехтомную «Позитивную политику» Конта и тем немало содействовал распространению контизма одинаково в Англии и в Америке. В их передаче эта книга читается несомненно легче, чем в тексте. Бисле[190] сыграл одно время также большую роль руководительством первого рабочего периодического органа. Им создан был «Bee-Hive», что в переводе значит — «Пчелиный улей»[191]. К этому органу он привлек

также и доктора Конгрива, одно время бывшего во главе церкви английских позитивистов. Последний охотно устраивал митинги и общие трапезы для протеста против тех или других темных сторон английского рабочего законодательства. Однажды я был приглашен им явиться на один из таких банкетов. Собрались чествовать отмену наказания, ранее грозившего во время стачки тем из рабочих, которые, образуя из себя пикеты, останавливали приходивших на смену стачечникам, убеждая их не препятствовать ее удачному исходу. От слова пикет и самая практика получила название picketing. На банкете в числе других присутствовал и Джон Морлей. Он в то время был очень настроен против духовенства и не преминул воспользоваться случаем, чтобы в своей речи отметить отсутствие его членов на банкете. Но каково же было его изумление, когда на недалеком расстоянии от меня поднялся священник и заявил, что он в числе тех, которые пришли чествовать завоевание рабочими своего права коллективного отстаивания классовых интересов.

Самостоятельной рабочей партии в парламенте в это время не существовало. Рабочим вопросом интересовались или отдельные лица, как Бисле, Гарриссон, или автор книги «О кооперации» Голиок, с которым я познакомился вскоре, или такие одинокие последователи доктрины Маркса, каким был Гайдман[192], доселе остающийся одним из глав английского рабочего движения. Я встретил его однажды у К. Маркса, и это свидание осталось мне памятно вот по какой причине. Предстояли новые выборы в парламент. Гайдман, не считая возможным выставить кандидатуры от рабочих, пришел посоветоваться с Марксом и объяснить ему причины, побуждавшие его поддерживать со своими единомышленниками кандидатуру главы ториев Дизраэли[193] и высказываться против Гладстона. Маркс заметил по этому случаю, что оба они политические проказники и что вся разница в том, что Дизраэли забавен, а Гладстон скучнее англиканского священника.

К рабочему движению не прочь были пристроиться люди, близкие к духовенству. Я помню имена Мьюди[194] и Санки[195], которые в то время, под предлогом религиозного возрождения (revival), охотно касались на устраиваемых ими собраниях и различных сторон рабочего вопроса. Движение так называемой «армии спасения» в то время только что зачиналось. Я присутствовал в отдаленном парке Лондона Гэмстед Гис на одном из шумных собраний членов этой армии обоего пола в их, привлекающем внимание, довольно безобразном костюме, в сопровождении нанятого оркестра духовой музыки. В толпе зевак раздовалось немало смешливых и оскорбительных отзывов по адресу тех новообращенных, которые не прочь были рассказать про свои грехи, от которых они, якобы, навсегда исправились с момента своего поступления в «армию спасения». Я в то время далек был от мысли, во что разовьется это движение, какие оно даст обильные плоды и какое значение будет иметь книга вождя этого движения Бутса[196], книга, озаглавленная: «Мрачная Англия»[197], для знакомства с действительным положением рабочих. С самим «генералом» я встретился

уже много лет спустя в Петербурге, когда мой товарищ по службе в Гос[ударственном] Совете, Ан[дрей] Ал[ександрович] Сабуров пригласил меня к себе на дом для выслушания одной из светских проповедей Бутса. В числе собравшихся были и великие княгини. Бутс, не стесняясь, называл вещи по имени и представил разительную картину того глубокого нравственного падения, из которого его армии удалось вывести не одну погибшую душу. Сам генерал был уже глубоким старцем, высокого роста и крепкого сложения, с прекрасным открытым лицом и задумчивыми глазами. Я приветствовал его словами, что более волнующей лекции я за всю свою жизнь не слыхал. Он горячо пожал мне руку, выразил неоправдавшуюся надежду, что армия спасения найдет поле для деятельности и в России. Несколько дней спустя он оставил Петербург, не добившись разрешения устроить открыто русский отдел этой армии. Года два спустя его не стало.

Рабочее движение, давно организованное в английских городах, благодаря существованию синдикатов или так называемых тред-юнионов, в селах почти было неизвестно. А между тем, рабочий пролетариат в Англии, в противном тому, что мы встречаем на континенте Европы, представлен здесь довольно численными группами*. В Англии, как и в Сицилии, округление поместий и рост латифундий имели последствием обезземеление крестьянства. Оно дошло до того, что на протяжении целых графств, как я сам имел случай убедиться, крестьяне, как общее правило, снимают даже занимаемую ими усадьбу или непосредственно у помещика, или у его фермера. При этом они выговаривают право содержать кабана, которого обыкновенно режут к Рождеству, продают его стегна на сторону и, посолив прочее мясо, кормятся им до весны, да и то употребляя его в пищу далеко не каждый день. Это то, что известно в Англии под названием «bacon», чему в Австрии отвечает «Konigsfleisch», а у нас — «солонина». Крестьяне всецело зависят в отношении к своему пропитанию от размера плучаемой ими месячной платы. Она в некоторых южных и юго-восточных графствах в начале 80-х годов 15—17 шиллингов в месяц. Так как между сельскими рабочими Англии не существовало никакой синдикальной связи, то им не было возможности путем коллективных усилий добиться повышения своего заработка. Столкновения, возникавшие между ними и работодателями из-за толкования условий договора, поступали на разбирательство мировых судей, должности которых замещались членами английской джентри, то есть поместного класса, в составе которого с каждым поколением входило все большее и большее число зажиточных членов среднего сословия. Отправляя даровую службу, мировые судьи не оставались чужды классовому интересу и в большинстве случаев поддерживали фермеров.

---

* Так в тексте. Следует: «многочисленными».

В Англии в те годы, о которых я теперь говорю, выходил особый орган, своего рода еженедельник, под заглавием «мировой судья». Он издавался на средства английских радикалов, зорко следил за поведением мировых судей и их съездов и при всяком удобном случае подчеркивал классовый характер постановляемых ими приговоров. Некоторые стороны английского законодательства вполне сохранили еще этот характер, напр[имер], законодательство об охоте. Достаточно указать на то, что крестьянин, у которого находили убитого зайца, должен был представить доказательства тому, что он не был убит в помещичьем лесу. Из всех видов рабочего класса никто не являлся более беззащитным, как сельские батраки. Веслеянский[198] проповедник Арч[199], сам вышедший из среды крестьянства, стал разъезжать по южным графствам, собирая крестьян на митинги и рекомендуя им образовать земельную лигу, с целью противодействовать низкому уровню заработной платы. Его деятельность была успешна и в несколько лет ему удалось с помощью этой земельной лиги поднять вознаграждение сельских рабочих на несколько шиллингов в месяц. Я заинтересовался его деятельностью и в обществе француза Бурнье, — стипендиата Нормальной школы в Париже, работавшего одновременно со мною в библиотеке Британского музея, поехал на места с целью познакомиться с Арчем, присутствовал на устраиваемых им сборищах, и посетить крестьянские деревни в ю[го]-в[осточной] Англии. Когда узнали о цели нашего приезда, в местном постоялом доме с трудом согласились отвести нам квартиру. Мы обещали уехать на следующий же день и дать достаточное вознаграждение. Митинг собран был вечером, по окончании сельских работ. Мы представились Арчу и условились встретиться с ним за ужином. Арч безостановочно говорил два часа подряд с таким подъемом, что многие, особенно из числа женщин, стали рыдать. Его речь была живой картиной крестьянской доли, борьбы с нищетою, неизбежно ведущей в рабочий дом, мало чем отличающийся от тюрьмы. Он указывал на нравственные последствия, к каким ведет крестьянская нищета, на необходимость для девушек рано покидать семью и поступать подростками в услужение, что имеет последствием отсутствие родительского надзора тогда, когда он всего необходимее. Он воспользовался случаем, чтобы напасть и на закоренелый порок пьянства, к которому крестьянин обращается, чтобы на время уйти от тяжелой обстановки, хотя бы в тот кабак (public house), который, взамен клуба, служит ему местом встречи с знакомыми. Нарисовав мрачную картину материального и нравственного быта крестьянства, Арч сопоставил с нею более светлые условия жизни рабочего в городе, благодаря существованию синдикатов, то есть возможности коллективной борьбы за лучшие условия жизни. Простота и искренность, какой отличалась его речь и богатство образов, большинство которых заимствовано было из хорошо известной англичанам Библии, придавали этому Веслеянскому проповеднику все качества настоящего крестьянского оратора, ни одно слово которого не пропадало даром и достигало намеченной

цели. После его речи сделан был сбор на покрытие издержек затеянного им земельного союза. Арч сдержал свое слово и провел с нами час-другой за бутылкой «кларета», то есть красного французского вина. Мы просидели бы с ним охотно и дольше, но хозяин просил нас разойтись, указывая на то, что свой постоялый двор он снимает у помещика, который, несомненно, откажет ему в возобновлении аренды, раз ему станет известно, кто проживает в его доме и какая в нем по ночам собирается компания. На следующий день, прежде чем вернуться в Лондон, мы посетили ряд крестьянских усадеб, разбросанных хуторами на значительном расстоянии друг от друга. К моему немалому изумлению они оказались значительно поместительнее и удобнее русской избы среднего типа. Многие сложены из кирпича и имеют два этажа. Часть не идет под помещение скота, как это бывает у нас, по той простой причине, что рабочий скот поставляется фермером. Место лежанок занимают кровати. В спальне можно встретить умывальник и керосиновую лампу.

Когда, по возвращении в Лондоне, я поделился моими впечатлениями с демократом Коттером-Мориссоном и в разговоре назвал Арча джентльменом, мой приятель оборвал меня, заметив, что он может быть только man'ом, то есть человеком. Так трудно и в среде английских радикалов найти сочувствие к борцам за народную эмансипацию, раз они не вышли из той культурной среды, из тех «upper thousands» (высших тысяч), которые в течение всей первой половины XIX столетия не выпускали из своих рук руководительства всеми проявлениями общественной и культурной жизни Англии.

В числе знакомств, заведенных мною в Лондоне, ни одно не оставило во мне более благодарной памяти, чем знакомство с гостеприимной семьей К. Маркса и с его другом Энгельсом. Я говорил о моих отношениях к автору «Капитала» еще в статье, напечатанной мною в конце 80-х годов в журнале «Русская мысль». Она озаглавлена: «Мои литературные и научные скитальчества»*. Позднее я вернулся к той же теме в «Вестнике Европы», в статье, озаглавленной «Две жизни»** и представляющей собою параллельный очерк жизни двух людей, оставивших одинаково глубокий след в истории второй половины прошлого столетия: я разумею Спенсера и Маркса. С тех пор вышла «Переписка Маркса с Энгельсом», в которой не раз упоминается мое имя[200]. Она позволит мне внести некоторую числовую определенность в передачу моих воспоминаний о Марксе, но не изменит самого их содержания. Я воспроизвожу их почти без изменений и в настоящей главе***.

---

* Ковалевский М.М. Мое научное и литературное скитальчество // Русская мысль. № 1. 1895.

** Ковалевский М.М. Две жизни // Вестник Европы. 1909. № 6—7.

*** Дальше идет перепечатка всего относящегося к моему знакомству с Марксом из моих «Скитальчеств» и «Двух жизней»). (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

Из статьи «Мое научное и литературное скитальчество»*

...Мой парижский приятель Григорий Николаевич Вырубов, бывший в то время издателем «Журнала Положительной Философии»**, снабдил меня рекомендацией к Джону Льюису, а другой мой приятель, Корье, открыл мне доступ в дом Карла Маркса[201]. С этими двумя рекомендациями я вскоре перезнакомился со всеми специалистами моего предмета, журналистами и политическими деятелями, советы и указания которых впоследствии были мне весьма полезны...

Первое впечатление, вынесенное мною из знакомства с Марксом, было самое неприятное[202]. Он принял меня в своем известном салоне, украшенном бюстом Зевса олимпийского. Его нахмуренные брови и, как показалось мне с первого разу, суровый взгляд невольно вызывали в уме сравнение с этим бюстом, особенно ввиду чрезмерного развития лба и падавших назад обильных вьющихся и уже седых волос. Кажется, в этот же день он объявил мне, что проживающие за границей русские, за немногими исключениями, все агенты панславизма, что таким же панславистическим агентом был и Герцен, знакомства с которым он поэтому избегал, что Бакунин, которого он, можно сказать, ввел в круг социалистической агитации, отплатил ему черною неблагодарностью, устроивши так называемую «Alliance»[203], что и было первым толчком к распадению Интернационала. Вышел я, помню, от Маркса как ошпаренный, с решимостью никогда не возвращаться к нему более. Но вскоре мне суждено было встретиться с ним на водах в Карлсбаде***. Здесь, за неимением другого общества, он тесно сблизился со мною. Мы делали совместно наши утренние и вечерние прогулки и совместно нарушали диету за бутылкой рюдесгейма, к которому он чувствовал особую нежность. Вне своего обычного антуража, этот великий человек становился простым и даже благодушным собеседником, неистощимым в рассказах, полным юмора, готовым подшутить над самим собою. Помню я его рассказ о том, как, оставшись однажды без денег, он понес в парижский ломбард серебряную посуду своей жены. Жена его, урожденная фон Вестфален, со стороны матери была в родстве с герцогами Аргайл. На посуде имелся поэтому дворянский герб. Это сопоставление дворянских претензий с резко выраженными чертами еврейского типа повело к тому, что Маркс был задержан и жене пришлось доказывать принадлежность ей посуды и добиваться освобождения мужа. Маркс явился мне вскоре по возвращении в Англию и в неожиданном свете любящего отца семейства, готового баловать своих дочерей и внучат, а также преданного друга, ис-

---

* Печатается по публикации в журнале «Русская мысль». № 1. 1895.

** «La Philosophie Positive, Revue». (*Прим. журнала.*)

*** Карлсбад — чешское название: Карловы Вары.

пытывавшего поистине братскую привязанность к Энгельсу. Эти два человека встретились в ранней молодости и на первый раз взаимно оттолкнули друг друга[204]. Один был гегелианцем, другом — шеллингианцем. Inde ira*. Но вскоре общее дело и общая эмигрантская жизнь на чужбине сблизили их до того, что Энгельс сделался своим человеком у Маркса, и наоборот. Не знаю, удалось ли Марксу обратить Энгельса в гегелианство, но что сам Маркс оставался до конца не допускающим компромисса последователем гегелевской философии, в этом я не раз имел возможность убедиться из собственных его заявлений. Помню, как однажды он объявил мне, что есть только два способа мышления — логическое по диалектическому методу Гегеля и нелогическое. Он впрочем, признавал за собою заслугу человека, поставившего в основание треугольника то, что Гегелем было поставлено в его вершине, и, говоря это, он разумел, что экономические влияния признаны были им руководящими и основными даже для философских и научных теорий.

Он не прочь поэтому был считать Лоренца Штейна до некоторой степени своим учеником и охотно вспоминал о его сотрудничестве в «Rheinische Jahrbücher»[205]. Журнал этот издавался Марксом, если не ошибаюсь, в Кёльне за несколько лет до переезда сперва в Париж, откуда он был выслан Гизо, а затем в Лондон. В числе сотрудников был Гейне. Карл Маркс уже в это время работал над развитием своей теории *Mehrwerth'a***. Впервые он высказал ее в систематическом виде в своих известных возражениях Прудону *«Бедность философии»****. Переезд в Лондон доставил Марксу возможность собрать богатый материал по английской экономической истории, для чего он усердно посещал Британский музей, изучая на дому «синие книги», которыми его собственная библиотека была особенно богата. Усиленные занятия надорвали его здоровье, и он нередко уже в эпоху моего знакомства с ним жаловался на какие-то внутренние боли. Видя его, однако, постоянно бодрым и умственно, и физически, все окружающие не придавали особого значения его жалобам, приписывая их мнительности, а, между тем, не прошло пяти лет, и под влиянием личного горя — потери жены и старшей дочери, госпожи Лонге, нередко помогавшей ему в черновой работе, — у него развилась чахотка; он тщетно боролся с болезнью в Алжире и умер в Лондоне, не дожив до шестидесяти лет****. В середине восьмидесятых годов ничто не предвещало такого раннего конца.

Маркс продолжал работать усиленно, научился русскому языку и читал внимательно русские «синие книги», присылаемые ему приятелем из Петербурга[206]. Он собирался дать в ближайших

---

* Inde irae (*лат.*) — отсюда гнев (*Ювенал.* Сатира первая).

** Mehrwerth'a — прибавочной стоимости.

*** Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона.

**** Правильно: семидесяти лет.

своих томах особенное развитие русскому и американскому материалу, но это не мешало ему читать и много постороннего своей теме, снабжая всегда прочитанное своими заметками. Вот почему после его смерти Энгельс показывал мне тетради, наполненные выдержками из Моргана (*Древнее общество*), Карденаса (*История собственности в Испании*), моего сочинения об общинном землевладении, Кареева (*История крестьян во Франции*). Некоторыми из этих заметок воспользовался Энгельс в своем этюде о происхождении семьи и собственности*. Указаниями Маркса руководствовался он также и в своей критике «дюринговских потуг» совершить переворот в науке**. Маркс не без некоторого самодовольства говорил мне, что Дюринг всем встречным заявляет, что источником нападок на него является не кто другой, как он, Маркс. Во время моего знакомства с Марксом он и его семья вели весьма замкнутый образ жизни. Редко когда можно было встретить в его доме чистокровных англичан, за исключением разве Гайндмана, недавнего главы английских социалистов. Ортодоксальные экономисты не находили еще нужным считаться с ним в это время. Маркс рассказал мне однажды следующий инцидент. Леви, автор истории торговли, читал публичную лекцию о согласии экономических интересов. В конце лекции дозволено было присутствующим сделать свои возражения. Встает Гайндман и объявляет, что в числе экономистов, так или иначе высказавшихся о согласии и несогласии интересов, лектор не упомянул Карла Маркса. «Я не знаю его», — последовал ответ. Такое отношение английских экономистов тем более удивляло меня, что в Берлине Вагнер и Энгельс не раз упоминали имя Маркса, то соглашаясь, то споря с ним. Но англичане почему-то считают политическую экономию своим исключительным достоянием и редко когда ссылаются на иностранных писателей по этому предмету. Получивший первый том «*Капитала*» от автора, Спенсер, например, счел нужным передать через общих знакомых, что незнание немецкого языка ставит его в невозможность прочесть книгу. Несколько иначе отнесся к Марксу Дарвин[207]. Он послал ему длинное письмо, которым Маркс очень дорожил и которое сохранилось в его бумагах...

Встречи с Марксом из работы «Две жизни»***

...Высланный из Парижа министерством Гизо, Маркс, прожив несколько времени в Брюсселе, возвратился в Германию после мартовских событий 1848 года, издавал около года «Новую Рейнскую газету», два раза был предан суду, но оправдан и, наконец,

---

* Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.

** Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом.

*** Печатается по публикации в журнале «Вестник Европы». Кн. 7. Июль 1909 г.

вынужден был покинуть Германию. Попытка устроиться в Париже не увенчалась успехом, и Маркс избрал Лондон своим постоянным местопребыванием. Таким образом, жизнь его стала протекать рядом с жизнью Спенсера. Но как различны были пути, по которым оба властителя дум второй половины протекшего столетия одинаково шли к храму славы! Спенсер положил начало своей литературной известности, как мы видели, «Трактатом о социальной статике», где, отступая от принципов индивидуализма и государственного невмешательства, проповедовал, между прочим, мысль о выкупе правительством земельной собственности частных лиц с целью упразднения латифундий; Маркс же от критики прудоновского принципа взаимности — в сочинении, озаглавленном «Нищета философии», ответ на «Философию бедности»*, — критики, в которой впервые высказывается им доктрина исторического материализма, почти одновременно развиваемая и Лоренцем Штейном в его «Истории французского социализма»**, перешел к открытой проповеди коммунизма в знаменитом «Манифесте»***, написанном им в конце 1847 года. «Манифест» этот должен был служить программой деятельности для того «Союза справедливых», который вызвал Маркса в Лондон на конгресс, сам превратился летом 1848 г. в «Союз коммунистов» и поручил Марксу изложение своих основных принципов в печатном обращении, в свое время малозамеченном, но сделавшемся в наши дни знаменем социал-демократии всего мира. В этом «Манифесте» проводится идея классовой борьбы, как долженствующей окончиться торжеством пролетариата. Массовые выступления рабочих рассматриваются в нем как последствие привлечения их буржуазией к поддержке ее политических задач. Рабочие борются не со своими врагами, а с врагами своих врагов, с пережитками абсолютной монархии, с земельными собственниками, с непромышленной буржуазией и мелким мещанством. Но раз вовлеченный в борьбу пролетариат, после того как достигнута будет победа над абсолютизмом и феодализмом, вступит в единоборство с буржуазией и обеспечит окончательное торжество социального равенства. Можно сказать, что изданием этого «Манифеста», как и редактированием «Новой Рейнской газеты», ограничилось деятельное участие Маркса в освободительном движении конца сороковых годов. Маркс, после пережитых им событий, постепенно приходит к заключению, что революционный подъем исчерпал все свои силы. В рецензии на книгу Шеню: «О заговорщиках» он очень определенно высказывает свое отрицательное отношение к тем, кто считает возможным ускорить ход событий путем конспирации. Таких людей он называет алхимиками революции. Они изощряются в изобретениях,

---

* Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона.

** Оно вышло впоследствии под заглавием: «Понятие об обществе и социальная история французской революции». (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии.

призванных, в их глазах, совершить чудеса, и не желают считаться с теми предпосылками, без которых никакое движение не может найти почвы. Маркс ждал конца революционного периода, между прочим, потому, что промышленный кризис, поддерживавший брожение, по его оценке, должен был прекратиться. Промышленный подъем охватил всю Европу, — а в тот момент, когда промышленные силы буржуазного общества широко развиваются, нельзя было, по мнению Маркса, рассчитывать на успех социального переворота. Нечего и говорить, что такая проповедь не удовлетворяла идеологов революции вроде Бакунина. Он писал о ней Анненкову, известному издателю Пушкина и другу Тургенева, что Маркс «портит в Брюсселе рабочих, обращая их в резонеров». И в союзе, от имени которого издан был «Манифест», нашлись решительные противники его реализма. Они резко обвиняли Маркса в том, что он изменил революции и стал постепеновцем. Виллих был во главе недовольных. На заседании «Союза коммунистов» 15 сентября 1850 г. Маркс следующим образом охарактеризовал оба непримиримых течения в среде своей партии. «На место критического мировоззрения, — говорил Маркс, — большинство ставит догматическое, на место материалистического — идеалистическое, на место реальных отношений двигателем революции признается им одна воля революционеров». Столкновение кончилось исключением Маркса, Энгельса и их единомышленников из «Союза коммунистов». Продолжавшиеся дрязги и раскол в среде немецкой эмиграции в Лондоне настолько стали докучать Марксу, что он решил отгородиться от сторонников искусственно вызываемой социальной революции и сосредоточил свою деятельность на долгие годы на научных занятиях. Он не отказывался в то же время давать по временам свое веское суждение о событиях текущей политики, поскольку она затрагивала судьбы рабочих, и переписывался с этой целью с теми людьми, кого, как Лассаля, события постепенно выдвигали на первый план. Поселившись в Лондоне, Маркс принужден был обеспечить себе средства к жизни сотрудничеством в американских газетах. В декабре его жена пишет своим знакомым: «Днем Карл работает ради насущного хлеба, отправляя корреспонденции в нью-йоркскую «Tribune». По ночам же он сидит за книгами, чтобы закончить свою «Политическую экономию», то есть готовит первый том «Капитала». Г-жа Маркс высказывает надежду, что найдется же какой-либо издатель для этой книги. Пятью годами ранее Маркс не разделял этой надежды. В 1852 г. в одном из его писем мы читаем: «В Германии теперь ни одно книгоиздательство не решится печатать написанное мною. Остается только издавать на свой счет, что для меня, при моих теперешних обстоятельствах, невозможно. Хотя, по-видимому, и в 1857 г. не было уверенности, что издатель найдется, Маркс тем не менее посвящал большую часть своего времени и подготовительным работам в Британском музее, и редакции первого тома, так как был уверен в том, что послужит интересам рабочей партии всего более построением того, что он называл «научным социализ-

мом». В одном из его писем к Кугельману мы читаем: «Популярными научные попытки революционирования науки никогда быть не могут. Но как только научные основы положены, популяризация их — дело легкое».

Хотя Маркс и желал, одно время, уйти всецело в научную работу, но обстоятельства сложились так, что ему временно пришлось если не приостановить, то восполнить ее деятельной агитацией в пользу создания «Интернационала». По случаю открывшейся второй всемирной выставки в Лондоне (1862) отправлена была императором французов вместе с экспонатами и целая группа рабочих. Она встретила в Англии радушный прием столько же со стороны туземных тружеников, сколько со стороны немецких и польских. Когда, два года спустя, в Лондон вновь прибыла делегация французских рабочих, стоявший в ее главе Толен, в ответ на приветственные слова англичан, на собрании 28 сентября 1864 г. заявил, что капитализм представляет собой международное бедствие, почему для борьбы с ним необходима и международная организация рабочих. Собравшиеся 28 сентября приняли следующую резолюцию: «Выслушав ответ наших французских братьев на представленный им адрес, мы вторично приветствуем их, и так как их программа должна способствовать единению рабочих, то мы принимаем ее как основу международного объединения». В том же заседании избран был комитет, которому поручено было выработать статуты вновь возникавшего общества. В число членов комитета выбран был и Маркс. На одном из заседаний приняты были выработанные им письменное обращение и временные статуты. В них значилось, что освобождение рабочих должно быть делом их собственных рук, что все их движения терпели неудачу от недостатка духа солидарности и братского единения, что освобождение труда представляет собою не местную, национальную, а международную задачу, что необходимо установить непосредственную связь между доселе обособленными стремлениями тружеников разных стран и что всему этому отвечает создание международного союза рабочих. Обращение к рабочим всех стран — так называемый «general adress»* — написано Марксом более сдержанно, чем «Коммунистический манифест», но весьма выпукло проводит ту мысль, что главной задачей должно быть завоевание политической власти. Поддержка государством кооперативных союзов рабочих немыслима, пока власть в руках одних землевладельцев и фабрикантов. Маркс открыто высказывается за государственное вмешательство в отношения труда и капитала и приветствует билль о десятичасовом рабочем дне, как победу, не только практическую, но и принципиальную. «Впервые, — пишет он, — политическая экономия буржуазии

* Маркс К. Учредительный манифест Международного Товарищества Рабочих.

была побеждена политической экономией рабочих классов». Первый конгресс «Международного общества рабочих» созван был в Женеве 3 сентября 1866 г. Маркс, занятый приготовлением первого тома «Капитала», не мог отлучиться из Лондона. В письме к Кугельману, объясняя причину своего отсутствия, он, между прочим, говорит: «Я считаю, что подготовляемый мною труд важнее для рабочего класса, чем все, что я мог бы сделать на каком бы то ни было конгрессе».

Отсутствие Маркса было использовано его принципиальными противниками. Делегаты от романских стран разошлись с немецкими по вопросу о женском и детском труде, который последние желали регулировать, тогда как первые не допускали и упоминания о возможности для женщин и детей покидать семейные очаги. На дальнейших конгрессах еще более сказалась та же рознь. Бакунину удалось собрать вокруг себя группу делегатов, открыто ставивших себе задачей поход против самого существования государства и государственной власти. Раскол выступил с полною силою на конгрессе в Гааге*. Нападки бакунистов на Генеральный Совет «Интернационала» имели в виду, главным образом, Маркса. Эти нападки были отбиты. Конгрессом принята была следующая резолюция: в своей борьбе за освобождение рабочие должны объединиться в политическую партию и отмежеваться от всех старых партий. Концентрация сил проявлена была до тех пор лишь в экономической борьбе. Необходимо обнаружить ее и в борьбе с политическим влиянием землевладельцев и капиталистов. Столкновение кончилось исключением бакунистов из «Интернационала», созданием ими особого союза «Alliance de la démocratie socialiste»** и перенесением центрального управления «Интернационалом» в Нью-Йорк. Маркс поддерживал это предложение, храня, однако, надежду, что скоро настанут лучшие времена, и «Интернационалу» снова придется занять руководящую роль в делах рабочих Старого Света.

Можно сказать, что с этого момента Маркс отошел от международного руководительства рабочим движением. Он не прекратил, однако, своих сношений с вожаками немецкого пролетариата, с Лассалем, а позднее Бебелем и Либкнехтом, и продолжал горячо полемизировать с политическими и идейными противниками. Воспользовавшись материалом, доставленным ему Николаем Утиным, он вместе с Энгельсом напечатал чрезвычайно резкий обвинительнй акт*** против той организации анархической молодежи романских стран в особый «Союз социалистической демократии», к которой обратился Бакунин с момента исключения его самого со сторонниками из «Интернационала». Хотя в партии Бакунина и

---

* Конгресс I Интернационала в Гааге состоялся 2—7 сентября 1872 г.

** «Alliance de la démocratie socialiste» (*франц.*) — «Альянс социалистической демократии».

*** Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих.

было несколько выдающихся людей, в том числе Элизе Реклю, французский эмигрант Гильом и наш соотечественник. П. Кропоткин, но преобладающее значение имела в ней революционно настроенная литературная молодежь Апеннинского и Иберийского полуостровов, более идейно, чем материально, связанная с успехами рабочего движения. Маркс не оставлял также без возражения выпадов, делаемых на него из лагеря социалистов такими, например, писателями, как Дюринг. Известная брошюра Энгельса «О мнимом перевороте, произведенном в науке» берлинским приват-доцентом*, была, несомненно, внушена Марксом и отразила на себе его взгляды.

Мне пришлось познакомиться с автором «Капитала» в самый разгар этой полемики с бакунистами и Дюрингом. При первом же знакомстве Маркс подарил мне обе брошюры**. Из моих рук они перешли к профессору Зиберу и использованы были им в ряде статей частью в «Юридическом вестнике» и издававшемся мной впоследствии в Москве «Критическом обозрении», частью в «Отечественных записках». Моим знакомством с Марксом я обязан был человеку, спасшему жизнь его зятю Лонге, члену Парижской Коммуны. Рекомендовавший меня был одним*** из двух авторов дневника, веденного во все продолжение восстания и озаглавленного: «Революция 18 марта». Несмотря на такую рекомендацию, Маркс отнесся ко мне на первых порах с большой подозрительностью: так сильно он был предубежден против русских со времени, как он выражался, измены Бакунина. Первые наши разговоры касались по преимуществу поведения его бывшего приятеля, которого он сам ввел в круги международной эмиграции Лондона и который одно время собирался быть переводчиком первого тома «Капитала» на русский язык. Эта задача, как известно, была выполнена впоследствии Николаем-оном, при участии Германа Лопатина. В Лондоне в первую зиму мне пришлось быть у Маркса всего несколько раз. Он жил неподалеку от Regent's Park или, точнее, его продолжения, известного под названием Maitland Park, в полукруглом сквере (Crescent). Я помню еще номер его жилища — 41. Маркс занимал весь дом. В первом этаже помещалась его библиотека и гостиная. Здесь обыкновенно он и принимал своих знакомых. В это время две его старшие дочери**** были уже замужем. Одна вышла за члена Парижской Коммуны Лонге, другая — за известного теперь писателя Поля Лафарга; младшая — Элеонора, которую дома звали Тусси, — увлекалась в это время театром, игрою Ирвинга в шекспировских пьесах и одно время думала посвятить себя сцене.

---

* Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом.

** Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество рабочих и Энгельс Ф. Анти-Дюринг.

*** Поль Корье.

**** Женни и Лаура.

Я особенно сблизился с Марксом летом на водах в Карлсбаде. Мы почти ежедневно делали совместные прогулки по горам и настолько сошлись, что в письмах того времени, недавно обнародованных в журнале «Былое», он относит меня к числу своих «научных друзей» (scientific friends»). Маркс работал в это время над вторым томом своего трактата*, намеревался отвести в нем значительное место порядку накопления капиталов в двух сравнительно новых странах — Америке и России, получал поэтому немало книг из Нью-Йорка и Москвы. Его можно было считать полиглотом. Он не только свободно говорил по-немецки, по-английски, по-французски, но мог читать на русском, итальянском, испанском и румынском языках. Читал он массу и нередко брал у меня книги, в том числе двухтомный трактат по истории земельной собственности в Испании и известное сочинение Моргана «Древнее общество», привезенное мною из моего первого путешествия в Америку. Оно доставило материал для наделавшей шум брошюры Энгельса «О происхождении семьи»**.

Знать Маркса — значило быть также приглашаемым на воскресные вечера у Энгельса, нажившего значительное состояние в Манчестере, где у него была фабрика, и охотно принимавшего у себя и членов семьи Маркса и посторонних посетителей, по преимуществу немцев. Сам Маркс допускал к себе посторонних людей с разбором. Многие из известных европейских писателей, в том числе Лавелэ, тщетно выражали ему желание вступить с ним в личное знакомство. Он сторонился от них, жалуясь на нескромность газетных и журнальных интервьюеров, раз они являлись его идейными противниками. Из англичан он был в хороших, но все же далеких отношениях с некоторыми членами кружка позитивистов, в особенности с профессором Бисле, принимавшим в то время участие в издании демократической газеты «Bee-Hive» («Пчелиный улей»). Я встречал у Маркса также не раз известного английского социалиста Гайндмана, в то время еще бывшего в лагереториев и весьма сочувственно относившегося к Дизраэли. Нельзя сказать, чтобы Маркс в это время хорошо был известен в английских литературных кругах. Его «Капитал» не был еще переведен на английский язык, и успех его ограничивался пока двумя странами — Германией и Россией. Появление первой части «Капитала» подало повод теперешнему профессору Петербургского университета Иллариону Игнатьевичу Кауфману написать весьма ученый и в общем сочувственный этюд в «Вестнике Европы». Впоследствии о «Капитале» Маркса писал немало и русский экономист Зибер, автор сочинения «Давид Рикардо и Карл Маркс». Но из всего написанного о «Капитале» в России Маркс всего более ценил статью Кауфмана. Русская экономическая и истори-

---

* «Капитала».

** Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.

ческая литература интересовала его. В его сочинениях встречаются ссылки на «Железнодорожное хозяйство» А.И. Чупрова. Одно из его писем ко мне посвящено оценке книги Кареева «Крестьянский вопрос во Франции XVIII в.», а после кончины Маркса Энгельс показывал мне обширную тетрадь выписок из моей книги «Об общинном землевладении». Маркс, долго работавший в библиотеке Британского музея и до некоторой степени надорвавший этой работой свое здоровье, привык к чтению официальных отчетов, подобных английским «Blue books», и поэтому не прочь был получать из России казенные издания, касавшиеся железнодорожного хозяйства, хода кредитных операций и т.д. Николай-он* и я посылали ему, что могли, а его жена, очень озабоченная скорейшим окончанием всего сочинения, шутя грозила мне, что перестанет давать мне баранью котлетку (chop), если я своими присылками буду мешать ее мужу поставить давно ожидаемую точку. Маркс несколько раз переделывал второй и третий тома «Капитала». Он собирался закончить все сочинение «критической историей экономических доктрин», но эта часть его намерений так и осталась невыполненной.

Будничные дни Маркса уходили на работу. Он отводил сравнительно небольшое число часов на корреспонденции в нью-йоркскую газету «Tribune»**. Остальное время он сидел дома за пересмотром и исправлением уже написанных частей своего сочинения. Его библиотека, помещавшаяся в комнате в три окна, была составлена исключительно из рабочих книг, которые нередко в большом беспорядке разбросаны были на письменном столе и креслах. Иногда мне приходилось заставать его за работой, и Маркс до такой степени был погружен в нее, что ему не сразу удавалось перейти на разговор о чем-то другом от предмета, непосредственно овладевшего его вниманием. В воскресенье он любил гулять в парке с семьей, но и во время этих прогулок темой для разговоров служили нередко вопросы, весьма отдаленные от действительности. Это не значит, однако, чтобы он не увлекался политикой. По целым часам он сидел за чтением газет, и не только английских, но всего мира. Я однажды застал его за чтением «Romanul» и имел возможность убедиться в том, что он вполне свободно справляется с мало кому доступным румынским языком. За все время моего знакомства с ним он только однажды отлучился из Лондона и уехал на несколько недель в Карлсбад. Его пропустили через Германию только под условием не оставаться в ней более нужного для проезда числа дней. Въезд в Париж оставался для Маркса запретным со времени министерства Гизо. Тьер и Мак-Магон едва ли охотно открыли бы ему доступ во Францию после выхода в свет его «Гражданской войны», попытки защитить

---

* Н.Ф. Даниельсон.

** New York Daily Tribune.

Коммуну, только что подавленную в крови версальским правительством.

Что всего более поражало в Марксе — это его страстное отношение ко всем вопросам политики. Оно мало мирилось с тем спокойным объективным методом, который он рекомендовал своим последователям и который для всех явлений должен был отыскивать экономические предпосылки. Если мы возьмем такие вопросы, как вопрос польской независимости, то не удивительным ли покажется найти в Марксе ее энергического поборника, совершенно не считавшегося с обычными заявлениями, что польский вопрос — будто бы вопрос о поддержании социальной розни панов и шляхты, с одной стороны, и разноплеменного с ними простонародья — с другой. Отношение Маркса к России, несмотря на увлечение русской молодежи его сочинением и на то обстоятельство, что, за исключением Германии, он нигде при жизни не пользовался таким успехом, как в нашей среде, ничем существенно не отличалось от тех предубеждений, какие питали к ней революционеры 48 г., видевшие в России оплот всякой реакции и гасителя демократических и либеральных вспышек. Маркс сам не прочь был сознаться, что его до некоторой степени поражает то признание, какое он встречает в среде моих соотечественников. П. Берлин приводит следующий интересный отрывок из его переписки с Кугельманом. В октябре 1868 г. Маркс пишет своему другу: «Ирония судьбы такова, что русские, против которых я уже двадцать пять лет выступал не только на немецком, но и на французском и английском языках, всегда были моими доброжелателями. В 1843—44 гг. в Париже русские аристократы носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона, то есть «Нищета философии», вышедшее в 47 г., как и изданная Дункером «Критика политической экономии» от 59 г., не нашли нигде большего сбыта, чем в России. Первая иностранная нация, переведшая «Капитал», — русская. Все это, впрочем, нельзя ценить слишком высоко», — продолжает Маркс и объявляет затем свой успех в России следующим соображением: «Русская аристократия в юности воспитывается в немецких университетах и в Париже. Она всегда гонится за тем, что Запад представляет самого крайнего. Это для нее простая гастрономия, та самая гастрономия, какой занималась часть французской аристократии в XVIII веке». Новый биограф Маркса справедливо замечает, что автор «Капитала» имел, однако, возможность убедиться в том, что его мысли встречали сочувствие и серьезный интерес далеко не в одних высших слоях русского общества. В 1867 г. Маркс получил из Петербурга от некоего Иосифа Дицгена, мастера Владимирской фабрики кожевенных изделий, письмо следующего содержания: «Вашу первую книгу, «Критику политической экономии», я в свое время проштудировал весьма прилежно и признаюсь, что ни одно сочинение не дало мне так много новых положительных знаний и такого ясного понимания предмета». Первый том «Капитала» возбудил в Дицгене совершенный энтузиазм. «Вы помогли нам, — пишет он, — проникнуться

сознанием, что производство носит стихийный характер. Предпосылку вашей глубоко обоснованной политической экономии составляет глубоко обоснованная философия». Из писем Николаона и из статей Кауфмана и Зибера Маркс мог убедиться, что молодые экономисты в России с увлечением относятся к его взглядам и готовы следовать ему в критике господствующей экономической доктрины. Отрадное впечатление, получаемое им из России, должно было еще усилиться от сопоставления с тем систематическим игнорированием его работы, в каком повинны были до последнего времени английские экономисты. В моем присутствии Гайндман сообщил Марксу следующий факт. Вслед за популярной лекцией известного английского экономиста Леви о «гармонии интересов» назначено было собеседование; на нем Гайндман решился высказать сомнение, чтобы интересы всех классов общества были согласованы между собой, находились в гармонии. В подтверждение своего скептицизма он сослался на «Капитал» Маркса. «Я не знаю такого сочинения», — последовал ответ Леви... «Капитал» Маркса переведен был на английский язык только после смерти автора и лишь в слабой степени проник в среду английских экономистов. Я не встретил ссылок на него в сочинении наиболее авторитетного из них Маршалла, тогда как, наоборот, с Марксом считается такой, например, выдающийся писатель-экономист, как Адольф Вагнер, постоянно выступающий с критикой отдельных взглядов «Капитала».

В те годы, когда я посещал воскресные собрания в доме № 41, Maitland Park Crescent или встречался с Марксом у Энгельса, автор «Капитала» вел, в общем, замкнутую жизнь. Она всецело уходила на научную работу, задачи которой Маркс понимал весьма широко. Ему сплошь и рядом приходилось посвящать недели и месяцы чтению сочинений по экономической истории, в частности по истории землевладения, которые имели лишь косвенное отношение к его главной теме. Он возобновил также занятия математикой, дифференциальными и интегральными вычислениями для того, чтобы сознательно отнестись к только что возникавшему тогда математическому направлению в политической экономии, во главе которого мы находим ныне таких ученых, как Эджворс, и каким во времена Маркса являлся уже Джевонс. Начитанность автора «Капитала» в экономической литературе, в частности в английской, была громадна; но ее нельзя сравнить с той «Belesenheit», какой блещут немецкие профессора и в числе их Рошер, эта «bête noire»* автора «Капитала», не раз снабжавшего свое сочинение примечаниями вроде следующего: «Г-н Рошер поспешил поддержать своим авторитетом приведенную банальность». В своих отдаленных предшественниках Маркс умел найти жизненные, допускающие дальнейшее развитие начала. Если за последнее время

* «Bête noire» (*франц.*) — буквально: «черный зверь», в переносном смысле — предмет неприязни.

экономисты заинтересовались «Политической арифметикой» и другими сочинениями Уильяма Петти, современника Карла II Стюарта, если мы получили не только новое собрание его сочинений, но и ряд мемуаров о Петти и притом почти на всех языках образованного мира, то этим мы в значительной степени обязаны Марксу. Знакомство с историей экономических доктрин позволяло автору «Капитала» сразу определять степень оригинальности писателей, умевших привлечь к себе общественное внимание бьющей в глаза формой своих произведений. Говоря это, я имею, в частности, в виду Джорджа, увлечение которым одно время приняло в Англии размеры, довольно близкие к тем, в каких сказалось в XVIII в. увлечение личностью и доктринами Руссо. Маркс едва ли не первый заметил, что в учении автора «Прогресса и бедности» повторяются воззрения физиократов на земледелие, как на единственный источник чистого дохода, и на единый земельный налог, как долженствующий поглотить в пользу государства большую часть ренты. В бумагах Маркса найдена была критическая статья, направленная против Джорджа и доказывающая односторонность и неприемлемость его выводов. Она появилась в печати уже после смерти Маркса.

Большинство имеет неверное представление о психологии человека, который проповедовал классовую борьбу, как единственное средство для рабочих достигнуть общественной справедливости — той «social justice», о которой напоминал англичанам XVIII в. пользовавшийся сочувствием Маркса Годвин.

Обыкновенно рисуют себе Маркса мрачным и высокомерным отрицателем буржуазной науки и буржуазной культуры. На самом же деле это был в высшей степени воспитанный англо-немецкий джентльмен, вынесший из тесного общения с Гейне веселость, связанную со способностью к остроумной сатире, человек жизнерадостный благодаря тому, что личные его условия сложились как нельзя более благоприятно. Маркс в большей степени, чем кто-либо из людей, с какими мне приходилось встречаться в моей жизни, не исключая даже Тургенева, имел право говорить о себе как об однолюбе. В ранней молодости он встретился с девушкой из высшего круга, фрейлейн фон Вестфален, и влюбился в нее, как можно только влюбляться в студенческие годы. Семья Вестфален была шотландского происхождения и в родстве с герцогами Аргайл. Это обстоятельство однажды едва не сыграло Марксу дурной шутки. В минуту безденежья в Париже он решился заложить в местном ломбарде фамильное серебро, полученное им в приданое за женой. На этом серебре нашли герб Аргайлей и задержали Маркса, как присвоившего себе чужое достояние. Я слышал этот рассказ от самого Маркса, который сопровождал его громким и добродушным смехом. Женни Вестфален была в детстве товарищем по играм мальчика Карла. На четыре года она была старше его. Здоровая, веселая, красивая. «Самая красивая из девушек Трира», как ее называли, она уже подростком сделалась царицей балов. Маркс не успел еще окончить гимназии, как влюбился в

подругу своих детских игр. Уезжая в университет, он тайно обручился со своей невестой. Старик Вестфален, как рассказывал мне Маркс, принадлежал к числу людей, увлеченных доктриной Сен-Симона, и один из первых заговорил о ней с будущим автором «Капитала». Судьба разметала его детей в разные стороны: одного сделала членом прусского реакционного министерства*, другого — борцом за свободу негров в междоусобной войне северных и южных штатов Америки**. В своих воспоминаниях об отце младшая дочь Маркса — та, которую мы попросту звали Тусси, — сообщает, между прочим, следующее: «В течение всей своей жизни Маркс, который из Берлина прислал три толстые тетради своих стихотворений любимой им девушке, был буквально влюблен в свою жену». «Передо мной лежит, — пишет Элеонора Маркс в статье, напечатанной в «Neue Zeit» в 1897 г., — любовное письмо отца. По страстному юношескому огню, с которым оно написано, можно было бы думать, что автор его восемнадцатилетний юноша. Но оно отправлено было Марксом не ранее, как в 1856 г., когда любимая им Женни родила ему уже шестерых детей». Ближайший в то время друг Маркса, Бруно Бауэр, говоря о его невесте, пишет ему: «Она способна перенесть с тобою все, что только может случиться». Эти слова были пророческими. Маркс, никогда не располагавший значительным достатком, нередко испытывал нужду, но Женни с философским и в то же время веселым равнодушием относилась к этим превратностям судьбы, озабоченная только одним, чтобы ее «дорогой Карл» не уделял слишком много времени на приобретение средств к жизни. Редко кто принимал так радушно в своей скромной обстановке, как жена Маркса, и редко кто умел более сохранить в своей простоте приемы поведения и внешний облик того, что французы называют «une grande dame»***. Маркс и с седой бородой любил начинать Новый год танцем с своей женой или с приятельницей Энгельса. Я сам однажды присутствовал при том, как он весьма ловко прошелся со своими дамами под музыку в торжественном марше. Когда эти воспоминания встают в моей памяти, я решительно отказываюсь примирить с ними то, что говорил мне о Марксе известный географ Элизе Реклю, друг и ученик Бакунина и Кропоткина, а потому лишенный необходимой объективности при оценке принципиального противника. По словам Реклю, Маркс, принимая членов международного общества рабочих****, в том числе и самого Реклю, не выходил из задней части своей гостиной и держался поблизости к бюсту Зевса олимпийского, которым эта гостиная была украшена, как бы подчеркивая тем свою принадлежность к числу великих типов человечества. Такая ходульность совершенно несогласна с

---

* Фердинанда фон Вестфалена.

** Эдгара фон Вестфалена.

*** «знатной дамой».

**** Международного Товарищества Рабочих.

представлением о человеке, который настолько знал себе цену, что не видел надобности подчеркивать свое значение внешними приемами. Приходит мне на ум еще один семейный обед у Марксов. Они принимали прибывшую из Капской земли сестру Карла* с двумя ее сыновьями. Сестра никак не могла помириться с тем, что ее брат — вожак социалистов, и настаивала передо мной на той мысли, что оба они принадлежат к уважаемой в Трире семье пользовавшегося всеобщим сочувствием адвоката. Маркс дурачился и заливался юношеским смехом. С мнимым величием Маркса не связывалась также его готовность прийди запросто пообедать, нередко под условием, чтобы одновременно с ним не был приглашен его слишком болтливый зять. Не прочь был Маркс пойти со знакомыми в театр, послушать Сальвини в роли Гамлета или несравненно более ценимого им Ирвинга. Помню я также, как мы заседали с Марксом вместе в Aegiptian Hall, задетые оба за живое точным воспроизведением всех фокусов спиритов человеком, заявлявшим, что он был в их среде, повторяет то, чему научился, но не настолько прост, чтобы объяснить публике, как он это делает, так как в противном случае перестанут бывать на его представлениях.

Деля свои привязанности между семьями своих двух замужних дочерей** и старым другом Энгельсом, платившим ему более чем взаимностью, Маркс посвящал им весь свой досуг. Круглый день он занят был серьезным, всецело захватившим его научным трудом, и все же находил время с жаром отзываться на все вопросы, так или иначе задевавшие интересы рабочей партии вообще и немецкой социал-демократии, в частности. Из ее вожаков он более других ценил Бебеля; в меньшей степени — Либкнехта. Он не раз жаловался на то, что последний испорчен Лассалем, и прибавлял, шутя и сердясь: трудно ввести свежую мысль в голову немецкого приват-доцента (таким именно приват-доцентом, по словам Маркса, и был Либкнехт). С какой страстностью Маркс относился и в пожилом возрасте ко всяким попыткам остановить нормальные успехи рабочей партии в связи с общим развитием страны, об этом можно судить по следующему факту. Я случайно находился в его библиотеке в ту самую минуту, когда до Маркса дошло известие о неудавшемся покушении Нобилинга на престарелого императора Вильгельма. Маркс отозвался на это известие словами проклятия по адресу неудачного террориста и тут же объяснил, что от его преступной попытки ускорить ход событий можно ждать только одного — новых преследований против социалистов. К сожалению, исполнение пророчества не заставило себя ждать: Бисмарком изданы были известные законы, значительно затормозившие успешное развитие немецкой социал-демократии.

---

* Луизу Юта.

** Женни Лонге и Лауры Лафарг.

Поступление мое профессором в Московский университет положило конец моему двухгодовому, почти еженедельному обмену мыслями с автором «Капитала». Мы первое время изредка продолжали писать друг другу. При посещении летом Лондона я возобновлял мои визиты, обыкновенно по воскресеньям, вынося каждый раз из наших свиданий новый стимул к научным работам в области истории экономического и общественного развития европейского Запада. Очень вероятно, что без знакомства с Марксом я бы не занялся ни историей землевладения, ни экономическим ростом Европы, и сосредоточил бы свое внимание в большей степени на ходе развития политических учреждений, тем более, что такие темы прямо отвечали преподаваемому мной предмету. Маркс знакомился с моими работами и откровенно высказывал о них свое суждение. Если я приостановил печатание моего первого большого сочинения об административной юстиции во Франции и, в частности, о юрисдикции налогов в ней, то отчасти под влиянием отрицательного отзыва, какой дан был мне о моем труде Марксом. Он более одобрительно относился к попытке раскрыть прошлое земельной общины или изложить ход развития семейных порядков с древнейших времен на основании данных сравнительной этнографии и сравнительной истории права. Научная критика также весьма интересовала его; он был в числе внимательных чтецов издаваемого мною одно время «Критического обозрения», быть может, единственным в Англии. Годы, проведенные мною в Италии, Испании, а затем в Америке, — последние годы жизни Маркса. По возвращении в Европу, я узнал о двойном его горе: о смерти жены и старшей дочери. Я слышал также, что по причине расстроенного здоровья Маркс принужден был провести целую зиму в Алжире. Еще в те годы, когда я почти еженедельно бывал у него, он жаловался на боль в груди. Но так как его телосложение не отвечало представлению о человеке, страдающем чахоткой, все его близкие объясняли эти жалобы его мнимой мнительностью. Оказалось, однако, что Маркс надорвал свое здоровье неумеренной работой в библиотеке Британского музея. Зима, проведенная им на юге, была ненастной. Маркс простудился и вернулся в Лондон еще более больным, чем прежде. Энгельс рассказывал мне о последних днях его жизни. И этот рассказ довольно близок к тому описанию, какое мы находим у его русского биографа, так как оно, в конце концов, заимствовано из писем того же Энгельса к его другу Зорге. Жена Маркса скончалась в декабре 1881 года. Год спустя умерла старшая дочь Маркса, госпожа Лонге. Маркс тщетно искал забвения в усиленной работе над окончанием своего «Капитала». Здоровье его все более и более ухудшалось. В промежуток между двумя смертями он принужден был уехать на юг. Вернувшись больной, он вскоре поражен был известием о кончине дочери. Этого нового удара он не в состоянии был вынести. 14 марта 1883 г. на 65-м* году жизни Маркс умер за своим рабочим столом. «Быть может, докторское искусство, — пишет Эн-

* У Ковалевского неточно: на 67-м.

гельс, — и могло бы обеспечить Марксу еще несколько лет растительной жизни, но такого существования Маркс не вынес бы. Жить при сознании невозможности закончить работы — несравненно тяжелее, чем без особых мучений переселиться в вечность».

Мои воспоминания о Марксе относятся к эпохе, следовавшей уже за выходом его наиболее полного и законченного труда: первой части «Капитала». Маркс вступил уже в это время в седьмой десяток, но сохранял еще всю свою бодрость и жизнерадостность. Анненков знал его за год до революции 1848 г., следовательно, молодым человеком, на 31-м году жизни. Интересно сравнить с моими впечатлениями те, какие наш известный писатель вынес из своей встречи с Марксом в Брюсселе. По словам Анненкова, будущий автор «Капитала» представлял из себя человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимых убеждений. «Он был замечателен и по внешности. С густой черной шапкой волос на голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось, он имел вид человека, требующего признания и имеющего право на него. Все его движения были смелы и самонадеянны, все приемы обращения горды и презрительны. Резкий голос, звучащий, как металл, удивительно шел к радикальным приговорам, им произносимым. Над его безапелляционными суждениями царила резкая до боли нота уверенности в своем призвании управлять людьми, вести их за собой. Передо мной стояла, — заканчивает Анненков, — олицетворенная фигура демократического диктатора. Контраст с недавно покинутыми мною на Руси типами был самый решительный».

В моем воображении Маркс выступает с менее резкими чертами. Демагог примирился в его лице с общественным философом, с одним из тех мудрецов, которые думают, что они нашли ключ к пониманию столько же прошлого, сколько и настоящего. Этим ключом для Маркса было в мое время учение о прибавочной стоимости труда — стоимости, поступающей в руки капиталиста-предпринимателя. После выхода уже второго и третьего томов «Капитала», из которых оказывается, что Маркс примирял свою теорию прибавочной стоимости с теорией рыночной цены, определяемой спросом и предложением, его последователи стали в большей мере подчеркивать его исторический материализм, освещение им всех событий прошлого и настоящего изменениями в технике производства и обусловленными ими переменами в экономическом укладе и политической надстройке общества. Из бесед с Марксом нетрудно было вынести убеждение, что фундаментом его экономических и исторических доктрин была философия Гегеля. Он однажды сказал мне в упор, что логически можно мыслить только по диалектическому методу, ну а нелогически — хотя бы и по позитивному. Дидактический тон, какой нередко принимал Маркс и который свидетельствовал о его самоуверенности, вытекал, по-моему, из убеждения в неоспоримости того приема мышления, какой был дан ему гегелевской философией в толковании ее радикальных последователей, в их числе знаменитого Фейербаха. То, что многим казалось в Марксе отталкивающей

несдержанностью и угловатостью, имело источником эту уверенность. Первая встреча Маркса с Энгельсом едва не повела к разрыву. Маркс был таким же упорным гегельянцем, каким Энгельс в то время — ортодоксальным последователем Шеллинга. Обе системы были непримиримы, и будущие друзья, сошедшиеся в конце концов в культе Гегеля, одно время разошлись как враги. То, что французы называют cassant*, выступало в обращении Маркса даже в меньшей степени, чем у другого последователя гегелевской философии — русского мыслителя Чичерина. Презрительное отношение обоих друг к другу обусловливалось тем, что каждый обвинял противника в неправильном понимании диалектического метода и связывал с этим непрочность полученных им результатов, тогда как в действительности источником разномыслия были субъективные пристрастия: одного — к коммунистическому строю (я разумею Карла Маркса), а другого — к индивидуалистическому, сильно окрашенному, впрочем, государственностью. Нетерпимые в основных вопросах жизни и духа, оба — и Маркс в большей степени, чем Чичерин, — были покладисты в своих личных сношениях. За два года моего довольно близкого общения с автором «Капитала» я не припомню ничего, хотя бы издали напоминающего то третирование старшим младшего, какое я в равной степени испытывал в моих случайных встречах и с Чичериным, и с Львом Толстым. Карл Маркс в большей степени был европейцем и хотя, может быть, не высоко ценил своих «друзей только по науке» (scientifec friends), предпочитая им товарищей в классовой борьбе пролетариата, но в то же время был настолько благовоспитан, чтобы не проявлять этих личных пристрастий в своем поведении. На расстоянии двадцати пяти лет я продолжаю сохранять о нем благодарную память, как о дорогом учителе, общение с которым определило до некоторой степени направление моей научной деятельности. С этим представлением связано и другое, а именно то, что в его лице я имел счастье встретиться с одним из тех умственных и нравственных вождей человечества, которые по праву могут считаться его великими типами, так как в свое время являются самыми крупными выразителями прогрессивных течений общественности.

Спенсер и Маркс до некоторой степени могут считаться по отношению друг к другу антиподами. Один стоял на страже индивидуальности, другой поднимал голос в защиту прав трудящихся масс. Оба были наиболее последовательными и резкими выразителями тех двух направлений, гармоническое сочетание которых одно может обеспечить, в моих глазах, счастливое развитие человечества. Индивид не может быть принесен в жертву государству и даже международному союзу, как не мог и не может он стушеваться перед семьею, родом, сословием или классом. Но его деятельность в то же время должна быть координирована с деятельностью

* Cassant — высокомерный.

других равных ему единиц, и их совокупные усилия должны быть направлены к обеспечению общего благополучия. Ни о Спенсере, ни о Марксе нельзя сказать, чтобы они относились равнодушно к этой последней цели, но каждый думал служить ей по-своему: один — настаивал, быть может чрезмерно, на автономии личности, другой — доводя общественную солидарность до тех пределов, при которых индивид становится бессознательным орудием процесса производства, действующего с какой-то стихийной силой. Оба видели истину, но, может быть, не всю. Оба сделали все от них зависящее, чтобы передать, что знали, своим современникам. А тот, кто жил для лучших людей своего времени, тот, по словам Гёте, жил для всех времен. Спенсер и Маркс, так сильно расходившиеся друг с другом при жизни, после смерти стали, по указанной причине, предметом общего культа со стороны прогрессирующего человечества, во многом обязанного им своим поступательным ходом.

Глава IV

Московский университет в конце 70-х годов прошлого века*

I.

Писать своих мемуаров я никогда не собирался. Как историк, я знаю слабую цену этого источника. Если в наше время приходится перерабатывать прежние повествования о целых периодах в жизни новых народов, то главным образом потому, что эти повествования, как основанные по преимуществу на мемуарах, оказывались нередко далекими от истины и во всяком случае дающими несколько иную оценку событий, чем та, какая получается исследователем на основании данных, восходящих к самой эпохе совершения этих событий. Это не значит, чтобы авторы мемуаров движимы были сознательным желанием представить в неверном свете все или часть ими изображаемого. Это объясняется иной причиной, а именно тем, что мемуары пишутся на значительном расстоянии от того времени, которого они касаются, и что авторы их невольно подчиняются влиянию окружающей их обстановки и создаваемого ею настроения — а оно, очевидно, не всегда сходно с тем, какое было пережито ими в то время, когда развертывались самые события. Однажды на мой вопрос Алексею Феофилактовичу Писемскому, почему он не пишет своих воспоминаний, я получил следующий ответ: «Пробовал не раз, но со второй страницы уже чувствовал, что говорю не то, что было; чувствую, а удержаться не могу». В этих словах конкретно передается, в сущности, та же мысль. Автор желал бы вернуться к тому настроению, какое он пережил в момент, им изображенный, желал бы — и не может; почему и получается, в конце концов, неправильное освещение.

Сомневаясь в значении мемуаров, как исторического источника, и далекий от мысли обогащать изящную словесность чем-либо подобным «Детству и отрочеству» Толстого, я ставлю себе иную задачу: мне хочется в 1910-м году представить читателю, как рисуется в моем воображении умственная жизнь Москвы и ее университета в то десятилетие с 1877 по 1887 год, когда мне самому приходилось стоять довольно близко и к преподаванию, и к различным литературным кружкам первопрестольной.

Знакомство мое с Москвой началось с экзамена на звание магистра. После четырехгодичного ученичества в Берлине, Лондоне и Париже и отпечатания первых научных работ я счел возможным посвятить себя профессорской деятельности. Пришлось начать, как и всем, с подготовки к экзамену. Требования, поставленные мне факультетом, были далеко не чрезмерны. Четырех недель хва-

* Текст дается по публикации в «Вестнике Европы». 1910. № 5.

тило, чтобы воскресить в памяти ранее читанное. В эти четыре недели, живя в скромном номере гостиницы, я постепенно завязывал сношения с людьми, с которыми впоследствии открылась возможность действовать заодно и в университете, и вне его стен. Кружок молодых профессоров часто собирался в это время у Янжула, Чупрова, Муромцева и Стороженко[1]. Двух из названных лиц я знал еще за границей. Мои занятия английскими учреждениями и их историей сблизили меня с ними. И Янжул, и Стороженко приняли меня, как старого приятеля. Чрез них я познакомился и с Чупровым, дружба с которым продолжалась до его кончины, и с Муромцевым; добрые отношения с ним длятся и по настоящий день. Что приятно поразило меня при встрече и более тесном знакомстве со всеми названными лицами — это их готовность послужить своим знанием и своей энергией не отвлеченной науке, а запросам жизни. Они стояли в самом центре того умственного и общественного движения, которое ставило себе задачей сближение с народом, тесное знакомство с его бытом, посильное удовлетворение его нужд и, одновременно, воспитание руководящих кругов в сознании их долга перед крестьянской и рабочей средой. Чтобы не быть голословным, напомню, что Чупровым в значительной степени создана в России земская статистика, что Янжул был одним из первых писателей, обративших внимание на необходимость отмены некоторых косвенных налогов, в том числе налога на соль, что им начато серьезное изучение фабричного законодательства на Западе и подготовка первых наших законов, клонящихся к защите женского и детского труда, что фабричная инспекция, введенная в министерство Бунге, в значительной степени была вызвана к жизни его литературной агитацией и что наиболее яркие страницы из его собственной биографии связаны с образцовым выполнением им обязанностей московского фабричного инспектора. Муромцев, по самому характеру своей специальности — римскому праву, — стоял, по-видимому, несколько дальше от вопросов русской действительности; но, принадлежа к последователям исторической школы правоведения, являясь, в частности, учеником автора «Духа римского права» Иеринга[2], он рано проникся той мыслью, что ученый-юрист призван содействовать развитию правосознания в обществе, что это правосознание должно вырасти на почве научного изучения как действующего законодательства, так и народного обычая, что юридические общества могут немало сделать в этих обоих направлениях, особенно если при них существует постоянный орган, научно освещающий текущие вопросы юридического творчества в его тесном общении с жизнью. Муромцеву Москва обязана оживлением упавшего интереса и к «Юридическому вестнику»[3], и к тому обществу, которого он был отражением. Общественные науки, экономика и статистика, впервые введены были в число тех, которыми стали интересоваться и которые начали разрабатывать собрания ученых теоретиков и судебных практиков, происходившие обыкновенно раз в неделю в университете для чтения сообщений и совместного обсуждения вопросов, возбужда-

емых докладчиками. Занятие экономическими науками в скором времени настолько разрослось, что, по инициативе Чупрова, открыто было в юридическом обществе особое отделение, посвященное изучению вопросов обществоведения; наиболее выдающиеся доклады печатались затем в «Юридическом вестнике» и немало содействовали научной постановке у нас статистической работы. Что касается до Стороженко, то это был не только историк литературы, но и историк культуры. Он понимал то значение, какое имеет при толковании памятников письменности и художественного творчества освещение их разносторонним изучением той среды, в которой они появились. Охватывая в своих курсах целые периоды мировой литературы, Стороженко вводил слушателей и в эпоху итальянского Ренессанса, и в Елизаветинскую Англию, и в век короля Солнца — с характеризующей его псевдоклассической трагедией и реалистическим изображением в комедиях Мольера жизни разнообразнейших классов французского общества. Век Мильтона и век Вольтера одинаково хорошо были известны человеку, сумевшему в то же время настолько специализироваться на изучении прямых предшественников Шекспира, что, когда англичанам понадобилось снабдить научным комментарием новое полное собрание сочинений драматурга Грина, они остановились на мысли о переводе диссертации русского профессора[4].

Поименованные мною лица принадлежали к числу самых близких моих приятелей в течение десятилетия, проведенного мною в Москве. Но список их надо восполнить еще одним ученым, специальность которого, как можно было думать, удалит его от жизни, тогда как на самом деле она только позволяла ему изучать эту жизнь под известным углом зрения. Я имею в виду санскритолога Всеволода Федоровича Миллера[5]. Занятие сравнительным языкознанием открыло для него возможность изучения и русского фольклора, и языков тех народностей нашего Кавказа, которые, как, напр[имер] осетины, принадлежат к одной с иранцами и индусами семье арийских племен. Понимая весьма широко задачи ученого-филолога и тесную связь этих задач с теми, какие ставит себе историк культуры, историк верований, нравственности и права, В.Ф. Миллер остановился на мысли о пользе издания особого органа научной критики, посвящающего себя разбору столько же сочинений по обществоведению, сколько по истории или филологии. Осуществлением этой мысли явилось «Критическое обозрение»[6], полтора года выходившее под нашей общей редакцией и при сотрудничестве по преимуществу профессоров Московского университета как по юридическому, так и по историко-филологическому факультету. Участие в нем таких людей, как Буслаев[7], С.М. Соловьев, Троицкий[8], Корш[9], Кареев, Лучицкий, — причина тому, что «Критическое обозрение» и по настоящий день не потеряло своей цены. Кто, например, из лиц, интересующихся историей русского искусства, не прочтет с удовольствием статьи Буслаева, посвященной научной критике книги Виоле ле Дюк[10] о русском искусстве? В.Ф. Миллеру я обязан не только многими указа-

ниями, позволявшими мне расширить круг моих чтений по вопросам первобытной культуры и первобытного права, но и первым моим знакомством с бытом кавказских горцев. В его обществе предприняты были мною поездки к осетинам, кабардинцам и горским татарам. Они дали мне возможность собрать тот этнографический материал, на основании которого написана моя книга «Современный обычай и древний закон»[11]. Переведенная на французский язык, она сочувственно была встречена не только сравнительными историками права, но и эллинистами, посвящающими себя изучению семейных и общественных порядков Гомеровской Греции и раннего быта Спарты и Афин; настолько сходны во многом эти два быта — древнегреческий и осетинский.

В профессорах московского юридического факультета я встретил полную готовность привлечь меня к преподавательской деятельности. Предложение в этом смысле сделано было мне проф. Мильгаузеном немедленно вслед за моим экзаменом. В 1877-м году я приступил к чтению курса по сравнительной истории права и посвятил его изучению с моими слушателями истории развития семьи и собственности. Одновременно я сделался одним из трех редакторов «Юридического вестника», сперва в сообществе с Лешковым[12], а затем с С.А. Муромцевым. К последнему вскоре перешло действительное руководство этим изданием, что и дало мне возможность выйти из редакции и посвятить себя всецело «Критическому обозрению».

Первые месяцы, проведенные мною в Москве, совпали с оживленной деятельностью славянофильских кружков, вызванной поддержкой сербских добровольцев, а затем войною с Турцией, из-за освобождения Болгарии[13]. В доме А.И. Кошелева[14] мне пришлось встретиться и с генералом Черняевым[15], и с И.С. Аксаковым, и с некоторыми членами семьи Самарина[16]. Юрия Федоровича, к сожалению, уже не было в живых. Черкасский[17] уехал в Болгарию и вскоре умер. Общественное настроение было приподнятым. Интерес к южным славянам значительно возрос после того, как пришло известие о гибели одного из первых добровольцев — Киреева[18], брата известной О.А. Новиковой[19], с которой познакомил меня еще в Лондоне молодой русский философ В.С. Соловьев. Весьма популярная уже в это время среди лондонского высшего общества, считавшая в числе своих друзей и частых посетителей и историка крымской кампании — Кинглека, и многих членов английского духовенства, сочувственно относившихся к сближению с православием, Ольга Алексеевна направила свою дальнейшую деятельность на ознакомление англичан с действительным характером русского славянофильства. Она в значительной мере рассеяла предубеждение, будто под славянофильством скрывается желание России объединить под своей державой все родственные ей по крови и языку народы. Такие выдающиеся деятели, как Гладстон, перестали видеть в славянофильстве нечто тождественное с панславизмом, а в нашем вмешательстве в распрю болгар с Турцией — одно желание овладеть Константинопо-

лем. Гладстон открыто выступил сторонником поддержки английской дипломатией заступничества России за угнетенных братьев-славян. Он осудил в печати жестокости, содеянные турками в Болгарии, и впервые для англичанина указал ошибочность той политики, которая добровольно закрывала глаза на фанатизм и насилие Высокой Порты. С целью завоевать общественное мнение в пользу угнетенных и уже поднявшихся славян Сербии и Болгарии устроен был в Лондоне обширный митинг, на котором мне пришлось слышать и Гладстона, и историка Фримана, открыто осуждавших поведение английского кабинета и его главы Дизраэли, за их безнравственное равнодушие к турецкой расправе с восставшими[20]. Для участия в этом митинге прибыли и делегаты от болгар, Цанков[21] и Балабанов[22]. При незнакомстве их с английским языком, они не прочь были пользоваться услугами тех из русских, кто, подобно мне, могли служить им переводчиками. Из бесед с ними я впервые познакомился с той обстановкой, в какой совершились удачные попытки балканских славян освободить себя от турецкого ига. Я в состоянии был оценить значительность тех услуг, какие оказаны были этому делу и деятельностью генерала Черняева, и агитацией в пользу сербов и болгар славянского благотворительного общества, одинаково в Петербурге и Москве. Поэтому, когда последовала ссылка И.С. Аксакова в деревню, я был из числа негодующих. Застав в Москве значительный подъем общественного настроения, сказавшийся и в успешном сборе пожертвования в пользу добровольцев по церквам, и в воинственном настроении с трудом сдерживаемой цензурой печати, я, впрочем, не поддался общему течению, хотя оно и связывало искусственно, на мой взгляд, с славянским освобождением наступление конституционной свободы и для нашего отечества. Дважды мне пришлось даже вызвать недовольство славянофильских кругов: однажды — критикой в статье, напечатанной в «Вестнике Европы», изданных кн. Черкасским материалов для изучения Болгарии[23], а другой раз — разбором выработанного сенатором Лукьяновым проекта болгарской конституции. «Материалы для изучения Болгарии» отразили на себе ложное понимание русскими устроителями болгарских судеб характера магометанского права. Составители «Материалов» воспроизводили старую небылицу о том, что Коран и сунны не допускают существования никакого вида частной собственности на землю и отдают ее в руки главы правоверных — калифа или султана. Русский проект болгарской конституции, в свою очередь, вызвал мое неодобрение желанием всячески ограничить и функции представительного собрания, и участия народа в выборе депутатов; треть их, согласно проекту, должна была назначаться князем. Я отметил это сознательное искажение представительных порядков, а болгарские политические деятели воспользовались моей критикой для того, чтобы при обсуждении русского проекта выбросить из него отмеченные мною статьи.

В критике работ, изданных под руководительством князя Черкасского, московские славянофилы увидели поход против одного

из своих выдающихся вождей, чего, разумеется, не было в действительности; а за разбор русского проекта болгарской конституции редактор «Московских ведомостей» Катков прочел мне, не называя меня, впрочем, по имени, такую отповедь, которая сразу должна была вызвать внимательное отношение ко мне «недреманного ока». Оно еще усилилось с момента открытого осуждения мною первого, быть может, выступления черной сотни против учащейся молодежи, в памятном избиении московских студентов охотнорядцами. С этого времени я попал на дурной счет. Последствия этого сказались, впрочем, не сразу, а несколько времени спустя, когда ректор университета Тихонравов[24] был вызван министром народного просвещения, гр[афом] Толстым в Петербург для дачи показаний о том, насколько верен полученный министерством донос, будто преподаватель Ковалевский на своих лекциях заявлял о невозможности в России другого строя, кроме республиканского. Так как лекции мои были посвящены сравнительной истории права, и притом в ранние периоды его развития, то мне не было и оснований высказывать моих взглядов по вопросу о том, какой государственный порядок всего более приличествует России. Тихонравов поручился за меня, что ничего подобного мною сказано не было, и министерство оставило меня в покое.

Во все время моего пребывания в Москве и ее университете мы продолжали жить довольно тесной семьей. Общение с профессорами разных факультетов было несравненно более деятельнее, чем то, какое существует в Петербурге. Университет был центром всех интересов для каждого из нас, а для кругов, стоящих вне его стен, тем очагом, из которого шли руководящие течения общественной мысли. К чести университета надо сказать, что эти течения были освободительного характера. Большинство руководителей были проникнуты любовью к знанию, к свободе научной мысли и свободе общественной деятельности. Многие с большим или меньшим нетерпением ожидали завершения реформ, начало которым положено было 19 февраля, и с болезненным чувством относились ко всякому новому проявлению реакции, постепенно охватившей правительственные круги со времени польского восстания[25]. Было и ближайшее основание к недовольству. Предвидели, что в скором будущем положен будет конец автономному строю наших университетов и что многим из нас придется расстаться с своей преподавательской деятельностью.

Незадолго до моего вступления в число лекторов комиссия, получившая от министерства народного просвещения полномочие разъезжать по университетам и собирать в них сведения о постановке преподавания, с целью подготовить материал для составителей нового университетсткого устава[26], посетила и Москву. До сведения членов совета дошло, что один из наших профессоров, физик Любимов[27], одновременно редактор «Русского вестника» и прислужник Каткова, позволил себе дать университетским порядкам не отвечавшую действительности и крайне резкую оценку. В недавно напечатанных воспоминаниях Г.Н. Вырубова, профессора

Collége de France по истории наук, дана характеристика этого господина и как псевдоученого, и как сомнительного общественного деятеля. Как псевдоисторика знают его те, в настоящее время уже немногие, читатели, которые заглядывали в его запоздалый памфлет против французской революции. Помню, что я и тогда удивлялся, да и теперь не могу понять. почему доносы этого сотрудника Каткова могли вызвать в членах совета раздражение достаточно сильное, чтобы побудить значительное большинство профессоров к посылке ему коллективного письма, извещавшего о решении порвать с ним всякий товарищеский обмен. Ведь не вызывает же ныне однохарактерное поведение г. Пуришкевича[28] или г. Маркова II-го[29] в ком бы то ни было из лиц, ими оклеветанных, или единомышленников этих лиц, желания вступить с ним в какой бы то ни было обмен мыслей, даже тот, какой предполагает заявление о разрыве дальнейших сношений. В письме, полученном г. Любимовым, значилось, что отныне с ним порваны всякие связи и прекращается даже простое знакомство. Г. Любимов пожелал сделать вид, что считает такое заявление несерьезным. При встрече в профессорской с С.А. Муромцевым, бывшим в то время только преподавателем университета, Любимов как ни в чем не бывало протянул ему руку, хотя Муромцев и был одним из лиц, подписавших коллективное послание. Незначительное положение, занимаемое пока в университетской корпорации молодым ученым, отчасти объясняет расчет Любимова, что протянутая рука не останется в воздухе. Но Муромцев поспешил разуверить его на этот счет. Последствием был новый донос Любимова, на этот раз — уже высшему начальству, а последнее, в лице министра просвещения графа Толстого, воспользовалось представившимся случаем, чтобы возложить ответственность за все происшедшее на тогдашнего ректора университета, знаменитого русского историка С.М. Соловьева. Сопровождаемый всеобщим уважением и глубоким сочувствием всей университетской корпорации, Соловьев покинул ректорство, а вслед за тем и профессуру. Но, желая показать, что им сохранены самые лучшие отношения с университетом, он, по просьбе товарищей, продолжал читать лекции на правах преподавателя, по единогласному выбору факультета. Соловьев казался опасным министру Толстому как человек лично известный Александру II[30] и имевший поэтому возможность в решительную минуту поддержать своим веским словом университетскую автономию и дарованный самим императором устав 1863-го года. Что касается до Любимова, то он понял преподанный ему урок и ни разу во все мое пребывание в университете не попадался более никому из нас на глаза, ни в профессорской, ни в университетском совете. Стойкость, обнаруженная Муромцевым, привлекла к нему симпатии и сделала его популярным. Наоборот, резкое выступление сына С.М. Соловьева, известного впоследствии философа, в пользу Любимова, вызванное на деле желанием отстоять свободу каждого высказывать свои убеждения, каковы бы они ни были, получило настолько невыгодную интерпретацию, что отповедь, данная ему на одном из вече-

ров у В.И. Герье, самим же хозяином встречена была сочувственно. Владимиру Сергеевичу поставлена была на вид неблаговидность его поведения по отношению не только к товарищам по корпорации, но и по отношению к отцу, которого тот же Любимов гнал со службы своими доносами. Поддержанный ранее на университетских выборах тем же Герье, который теперь так резко осуждал его поступок, Владимир Сергеевич впервые почувствовал желание разорвать связь с нашей коллегией и преподаванием в ней. Крайне самолюбивый, он не вынес резко изменившихся к нему отношений и профессоров, и студентов — и вышел из состава доцентов Московского университета.

Недолго сохранили мы в своей среде и С.М. Соловьева. Пережитые им неприятности ускорили его конец. На похоронах сказалось сердечное к нему отношение и его товарищей, и университетской молодежи. Гроб его несли до могилы на протяжении нескольких верст профессора, преподаватели и студенты. Когда я вспоминаю в настоящую минуту мое кратковременное с ним знакомство, передо мною рисуется образ человека с очень определенными убеждениями, очень стойкого в их проведении в жизнь. Сергей Михайлыч нередко в резкой форме высказывал свою мысль, не боясь задеть самолюбие и старых своих приятелей, вроде Чичерина, и новых посетителей своих пятниц. Я помню, как однажды в моем присутствии он напал на своего же кандидата на оставленную им кафедру — на В.О. Ключевского. Обсуждался отказ Мак-Магона[31] от президентства, Ключевский высказал догадку, что Мак-Магон оставил свой пост не по собственному желанию, а уступая требованию общественного мнения. Сергей Михайлыч признал такой отзыв неуважительным и напал на своего собеседника, совершенно произвольно предполагая в нем радикала, нетерпимо относящегося к поведению самых честных и великодушных консерваторов. Другой раз досталось Забелину[32] как дерзнувшему писать историю русского народа при одинаковом незнании как древних, так и новых языков. И я однажды выслушал отповедь за то, что не прочел 18-ти томов Виель-Кастеля, историка первой Реставрации во Франции. «Хорошо, мол, научное беспристрастие молодых ученых, которые даже не хотят знакомиться с капитальнейшими сочинениями только потому, что они написаны консерваторами». Это не помешало тому же Соловьеву согласиться на сотрудничество в «Критическом обозрении» и дать нам статью для первого номера[33]. Когда в том же журнале возникла полемика между мною и Чичериным из-за оценки исторических судеб сельской общины и известный русский ученый отнесся ко мне с олимпийским величием, Сергей Михайлыч не одобрил поведения своего бывшего товарища и счел возможным довести до моего сведения, что он нимало не поддерживает чичеринской аргументации. Мне не пришлось слышать Соловьева как профессора. Многие жаловались, что с годами он становился все более и более схематичным. Явилось предположение, что он не готовится

к лекциям. Жаловались на то, что изложение им предмета становилось все более и более сухим и скучным.

Появление на кафедре Ключевского, с его яркой и образной речью, с его меткими характеристиками и редким умением подбирать эпитеты, встречено было поэтому молодежью с большим энтузиазмом. Редкий профессор сумел сразу завоевать себе больше внимания, чем мало известный еще в то время московский историограф. Все ранее писанное Ключевским носило слишком специальный характер, чтобы обратить на него внимание широких кругов. Его магистерская диссертация о житиях святых, как источнике русской истории, и более ранний трактат, написанный для получения золотой медали и озаглавленный: «Сказания иностранцев о России», создали ему репутацию строгого исследователя. Но лекции в Троицко-Сергиевской Духовной академии и статьи, напечатанные им, часто без подписи, в «Критическом обозрении», не замедлили установить на его счет представление как о блестящем преподавателе и бойком публицисте. В числе не подписанных им статей одна была посвящена разбору сочинений Юрия Самарина, настолько определенному и резкому, что многие, разгадавшие, кто действительный его автор, составили о Ключевском представление как о несомненном западнике и вероятном радикале. Василий Осипович дружил в это время с молодым и талантливым историком литературы Шаховым[34]. Последнего шутя называли Сен-Жюстом, а многие прибавляли к этому, что при нем Ключевский играет роль Робеспьера. Этой репутации Василий Осипович своей дальнейшей карьерой нимало не оправдал.

Благодаря изданию «Критического обозрения», столько же рассчитанного на удовлетворение научных запросов членов историко-филологического факультета, как и юристов, мне приходилось не раз вступать в довольно тесный умственный обмен со всеобщими историками и историками литературы. С одним из первых, В.И. Герье, возникли у меня более или менее натянутые отношения ввиду моего предерзостного отношения к его совместной работе с Чичериным. Герье несомненно принадлежит к числу разносторонне образованных русских исследователей. С прекрасной классической подготовкой и хорошим знанием новых языков, он соединяет обладание строгим критическим методом, приобретенным им продолжительной работой над источниками, под руководством немецких профессоров. К этим качествам он, к сожалению, не присоединяет ни научной терпимости, ни широты взглядов в сфере общественных и политических вопросов. Ему необходимо ходить в шорах буржуазного либерализма, того узкого западничества, которое заставляет отрицательно относиться к русским общественным устоям, частью потому, что их нет более в Германии, частью же потому, что они не отвечают буржуазному доктринерству. К Герье вполне применимо известное возражение Лебрена: «Libéral — c'est le diminutif de libre» (либерал — это уменьшительное от свободный). Когда князь Васильчиков издал свою известную книгу «о землевладении и земледелии», в которой отстаивал,

между прочим, общинные порядки и мирские переделы, Герье обрушился на него, в сообществе Чичерина, в книге, совместно ими написанной, одно заглавие которой было уже обидой для критикуемого автора: «Дилентантизм и общинное землевладение». В этой брошюре с олимпийским величием проводится неверный взгляд, будто Западной Европе общинное землевладение никогда не было известно. Я счел своим долгом указать, опираясь на только что переведенную книгу Нассе[35], что в самой Англии в течение веков крестьянство пользовалось землею в поместьях на началах надельной системы, предполагающей равенство долей в пахотной земле и совместную эксплуатацию сенокосов и выгонов. Моя небольшая заметка вызвала целую полемику на страницах мной же издаваемого журнала. Ее было достаточно для прекращения если не личного знакомства, то всякого более тесного общения с крайне самолюбивым и мнительным историком. Мое выступление на диспуте Кареева по истории французских крестьян, с целью поддержать диспутанта[36], не содействовало умиротворению Герье, и рознь между нами от этого только усилилась.

В числе учеников Владимира Ивановича, обязанных ему и своей подготовкой, и самим началом своей карьеры, был и известный ныне столько же на Западе, сколько и у нас, П.Г. Виноградов. Еще студентом он обратил на себя внимание хорошим переводом «Истории французской гражданственности» Гизо[37], предпринятым по совету и при ближайшем участии Герье. После успешного окончания университетского курса Виноградов оставлен был при университете тем же Герье и вскоре заявил о себе удачным выступлением на моем диспуте. Его отъезд за границу для подготовления диссертации — причина тому, что более тесное сближение последовало между нами не сразу, а только с тех пор, когда тому же Виноградову, быть может, под влиянием моей книги «Об общественном строе Англии в конце средних веков», пришло на ум заняться ранним средневековьем в той же Англии и, в частности, историей ее крепостного права. Эти работы вылились сперва в форму диссертации; на ее защите я выступил вторым оппонентом; мне же суждено было быть первым по времени критиком этой выдающейся работы в английском юридическом журнале, издаваемом известным Фредериком Поллоком. Из моей статьи англичане впервые познакомились с работой Виноградова и настолько заинтересовались ею, что предложили автору напечатать в изданиях «Кларендонской Прессы» в Оксфорде ту часть его монографии, которая посвящена изображению крепостного строя в Англии в XIII веке. Для английской публики Виноградов значительно переработал свою книгу на основании нового рукописного материала, добытого им в Центральном государственном архиве и в библиотеках Оксфорда и Лондона. Его сочинение много выиграло от случайной находки записной книги английского юриста XIII века Брактона. Решение вопроса о том, кому принадлежит найденная в библиотеке Британского музея рукопись, потребовало от молодого русского ученого успешного приложения тех приемов критики ис-

торических источников, которым обучил его еще в Московском университете В.И. Герье. Результаты случайной находки, сделанной Виноградовым, были, может быть, еще значительнее, чем те, какими сопровождался выход его книги о крепостном праве. Молодой выдающийся английский юрист Метланд[38], в сообществе с Поллоком и пользуясь теми материалами, на основании которых написана была Брактоном его книга, издал двухтомный трактат по истории английского права с древнейших времен до конца XIII столетия. Таким образом, можно сказать, что Виноградов до некоторой степени проложил путь к научной разработке английского common law, т.е. общего или земского права Англии. Недаром же Метланд шутя называл его если не отцом, то дедом долгое время заброшенных в Англии «юридических древностей».

Мне трудно высказать общее суждение о научном уровне преподавательского персонала в Московском университете в десятилетие, проведенное мною в Первопрестольной; но достаточно назвать некоторые имена, чтобы вызвать в памяти образ людей, оставивших глубокий след в русской науке и просвещении. На одном филологическом факультете действовали в это время такие знатоки своего предмета, как Буслаев, Тихонравов, Соловьев, Ключевский, Фортунатов[39], Миллер, Корш, Алексей Веселовский[40], Цветаев[41] и многие другие, на правах частью профессоров, частью доцентов и преподавателей. Я, конечно, стоял всего ближе к молодым историкам. Из них я подружился с Алексеем Веселовским[42], нашим несомненно лучшим знатоком судеб французского театра, и в частности Мольера. Веселовский принадлежит к числу отличнейших лекторов, слышанных мною в России. Брат знаменитого ученого, он, может быть, уступает ему в знакомстве с романской и древнегерманской филологией, а равно и в знании европейского и русского фольклора, но по своей начитанности и разнообразию затронутых им тем он может выдержать всякое сравнение. Начав с военной службы, он увлекался затем одно время пением и готовился к сцене. Плодом этого было обстоятельное знакомство с русской и вообще славянской музыкой, позволившее ему напечатать ряд статей, доселе не потерявших значения. Прекрасное знакомство с немецким языком, при непрекращающемся интересе к судьбам драматического искусства — причина тому, что второй его работой было изучение воздействия, оказанного средневековыми немецкими мистериями на древний русский театр. От немцев Веселовский перешел к французам и написал две образцовые монографии, одну — о «Тартюфе», другую — о «Мизантропе». Он продолжил свое изучение французской комедии, между прочим — интересной статьей о Бомарше. Параллельно этим работам шли другие: о Дидро и ряде французских и немецких писателей XVIII и XIX столетий. Одна из последних по времени монографий, написанных Алексеем Николаевичем, посвящена Байрону. Метод Веселовского приближает его к Ипполиту Тэну[43]. Он изучает вместе с писателем и его эпоху, ищет в окружающей его среде многообразные влияния, определившие его

деятельность, а в творениях, оставленных автором, — отражение его времени. Но этим Веселовский еще не заканчивает своей работы. Он следит за историческим развитием выведенных писателем типов, будут ли ими Тартюф, Дон-Жуан, Фауст или разнообразные герои Байрона. При этом ему часто приходится следить за воздействием, оказанным литературами разных стран и народов. Удачно испробовав сначала на отдельных примерах тот метод изучения странствующих сказаний, которым так умело орудовал его брат, Веселовский, по отношению ко всей русской литературе задался затем вопросом о «западном влиянии». Каждое новое издание его книги является переработкой, а не одним только восполнением первоначального текста.

По тому же пути изучения иностранных воздействий на нашу древнюю письменность в такой же мере, как и на народный эпос, пошел В.Ф.Миллер — и в своей попытке показать, в какой мере «Слово о полку Игореве» написано было под влиянием византийской повести о деяниях Александра Македонского, в той переработке, какую она получила в южнославянских передачах, и в том ряде исследований о былинах и богатырях, которые, будучи ранее напечатаны в общедоступных журналах, в том числе в «Вестнике Европы», и в более специальных изданиях, вышли затем толстыми томами. В своей молодости, быть может, под влиянием Буслаева, Миллер ломал копья со Стасовым[44], отрицая восточное влияние на русский народный эпос. Но более близкое знакомство с странствующими сказаниями и изучение восточных сюжетов эпической поэзии — частью в литературных памятниках Индии и Ирана, частью в записанных им впервые кавказских былинах — раскрыли ему глаза на плодотворность того приема, на который указано было Стасовым. Наши былины после его работ оказались столько же продуктами самостоятельного народного творчества, сколько оригинальной разработкой перешедших к нам с Востока сказаний и литературных сюжетов отдаленного средневековья.

Довольно тесное общение, возникшее между мною и московскими историками всеобщей литературы, — причина тому, что я чаще проводил время в их обществе, нежели в среде моих ближайших товарищей по факультету. Применение сравнительного метода во всех исторических дисциплинах особенно интересовало меня в это время, и я немало вынес поучительного для себя в этом отношении из чтения тех сочинений по сравнительному фольклору, сравнительной истории религии и истории странствующих сказаний, на которые указывали мне одинаково и Миллер, и Веселовский, и Стороженко.

Догматическая юриспруденция никогда не пользовалась моими симпатиями. И то же еще в большей степени я могу сказать о той нравственно-правовой метафизике, которая под именем философии и энциклопедии юридических и государственных знаний, или общей части государственного и уголовного права, преподавалась и преподается в русских университетах по образцу германских. Меня несравненно более привлекали к себе экономика и общест-

воведение, и я с глубоким сочувствием следил за преподавательской деятельностью и за научными и публицистическими работами моих ближайших приятелей, Янжула и Чупрова. Когда за смертью Лешкова осталась свободной кафедра так называемого полицейского права или благоустройства, ее временно занял Янжул. Это позволило ему сосредоточить свои работы на социальной экономии и изучении, в частности, рабочего вопроса и фабричного законодательства в разных странах Европы. Практическая деятельность вскоре пошла у него рядом с теоретической и в самой тесной от нее зависимости. Когда министром Бунге создана была фабричная инспекция, Ив. Ив.[Янжул] согласился занять пост старшего инспектора в Московском районе. Изучение на деле, путем разъездов по фабрикам, условий нашей промышленности и материального положения рабочих вскоре восполнено было исполнением им правительственного поручения. Он согласился предпринять целую анкету в Царстве Польском по тем же вопросам, какие изучены были им в Московском районе и освещены в двух печатных отчетах по фабричной инспекции. Много лет спустя, когда, уступая настояниям устроителей Школы Общественных наук в Париже, я согласился в ряде лекций нарисовать французам картину хозяйственного быта России, работа и доклады Янжула послужили мне главнейшим материалом для короткого очерка положения нашей промышленности в 90-х годах прошлого столетия. Строгим соблюдением нового закона, ограждающего интересы рабочих, Янжул не замедлил снискать себе недовольство фабрикантов. Оно сказалось в готовности снабдить капиталом известного ныне, но тогда только что начинавшего свою публицистическую карьеру Шарапова[45]. На эти деньги последним предпринято было издание, посвященное якобы интересам нашей промышленности и торговли, но преследовавшее в то же время более узкую и легче достижимую цель — похода против старшего фабричного инспектора в Москве. Авторы статей, направленных против Янжула, не отступили перед обвинением его в колебании религиозных основ народной жизни. Повод к этому дало то обстоятельство, что помощник Янжула по фабричной инспекции, при составлении списка товаров, какие фабриканты могли держать в своих экономатах или лавках для рабочих, забыл упомянуть о тарани. В этом усмотрено было сознательное желание отучить наш трудящийся люд от соблюдения постов. подобного рода обвинениями, в связи с тайными доносами, подготовлен был фактически вынужденный, но формально добровольный выход Янжула из числа фабричных инспекторов. Скрепя сердце Бунге уступил влиянию руководящих кругов и дал понять моему товарищу, что дальнейшее пребывание его во главе московской инспекции становится затруднительным.

Издание, во главе которого стоял г. Шарапов, предприняв поход против Янжула, не обошло своим вниманием и его ближайших приятелей — меня в том числе. За отъездом профессора Алексеева[46], мне поручено было временно чтение лекций по общему государственному праву и истории политических учений.

Говоря о теориях французского абсолютизма, я остановился, между прочим, на тех, с которыми связано имя современника Людовика XIII — Бальзака. Этот писатель доводил свое рвение до того, что объявлял лучшими патриотами «доносщиков, позволяющих правительству своевременно успокоить своих скрытых противников помещением их в тюрьмы». В журнальчике г. Шарапова все сказанное мною о французском абсолютизме XVII века отнесено было к русскому самодержавию и самая статья озаглавлена: «Самодержавие по-ученому». Последствием появления этой статьи было приглашение меня министром народного просвещения Деляновым[47] к даче объяснений по начальству и представлению текста моих лекций. Такого не оказалось. Университетская инспекция добровольно пришла на помощь начальству, и главный инспектор[48] вырвал из рук у одного из студентов — ныне профессора С.-Петербургского политехникума Дэна — тетрадь с записью моих лекций. Но и в ней, к сожалению для разведчиков, ничего предосудительного не оказалось. Пришлось искать новых мотивов к удалению меня с занятой мною кафедры. Инспектор Брызгалов и на этот раз выступил в роли добровольного сыщика. Более года длилась эта, по выражению тогдашнего московского попечителя Капниста, «гнусная травля». Она несколько раз прерываема была предложением мне временно уехать в заграничную командировку — предложением, от которого я отказывался ввиду того, что само начальство не считало возможным категорически ответить на мой вопрос, буду ли я оставлен во время моей командировки или нет. На предложение подать в отставку последовал с моей стороны самый категорический отказ. Месяц спустя мне было сообщено, что всякие поводы к недовольству мною исчезли. Это было весною, а к осени пришел увольняющий меня от службы приказ министра[49], в котором значилось, между прочим, что не лишаюсь возможности продолжать мое служение отечеству в других ведомствах и получить по истечении положенного законом срока внешний знак беспорочной службы.

Но, говоря обо всем этом, я забегаю вперед и только указываю на тот крайний пункт, до которого будет доведен мой дальнейший рассказ о годах, проведенных мною в Москве. Моя отставка последовала осенью 1887-го года. Преподавательская же моя деятельность потекла правильно только с 1877-го года. Если выключить два года моей командировки за границу, 1881-й и 1882-й, и многие месяцы, проведенные мною на Кавказе или в заграничных отпусках, то я в общем провел в Москве значительно менее восьми лет. Но я долгое время не прерывал моих связей с ней и во время пребывания за границей, где сперва в Стокгольме, а затем в Брюсселе, Оксфорде, Париже и американских университетах возобновляема была мною не раз преподавательская деятельность. Когда открылась для меня снова возможность занять профессуру в России, Московский университет первый открыл мне свои двери, и если я ныне профессорствую в Петер-

бурге, то по личному выбору и из желания соединить с моими научными работами и преподаванием деятельное представительство университетов и академии в верхней палате нашего парламента.

II.

Я коснулся пока в моих воспоминаниях только университета, но в тесной связи с ним стояла и стоит в Москве литературная, журнальная и газетная работа, в значительной мере питаемая деятельностью тех различных ученых и полуученых обществ, которые образовались при университете и собрания которых обыкновенно созываются в его стенах. В ряду этих обществ археологическое, этнографическое, юридическое и психологическое считали меня в числе своих членов, наравне с наиболее старым из всех московских просветительных обществ — обществом любителей российской словесности. Из журнальных и газетных редакций я стоял всего ближе к «Русским ведомостям», а затем к «Русской мысли»[50], одно время редактируемой очень дружелюбно относившимся ко мне эпигоном старого славянофильства, С.А. Юрьевым. При посещении обществ и редакции меня всегда поражало в Москве присутствие одних и тех же лиц. В понедельник они были археологами, во вторник или среду — этнографами или юристами, и неделя не кончалась без новой встречи с ними в психологическом обществе или обществе любителей российской словесности. Объясняется это, разумеется, прежде всего тем, что культурный класс не представляет у нас большой толщи, а, во-вторых, тем, что специализации занятий, на которую жалуются в Европе, у нас не существует. Место ее занимает уравновешенное и, в общем, хладнокровное отношение к успехам знаний в разных областях, начиная от результатов раскопок и исследований о каменном веке и оканчивая новейшими гипотезами психологов, философов и социологов.

Общество любителей русской словесности принадлежит несомненно к числу самых ленивых обществ, с которыми мне приходилось иметь дело. На похоронах Тургенева, на которые я был командирован этим обществом вместе с Веселовским для возложения венка, один петербургский литератор не без иронии заметил: «Раз есть венок от общества, значит — оно существует». Помимо годичных собраний для выслушивания отчета не столько о деятельности общества, сколько о его летаргическом сне, изредка созывались собрания для чествования тех или других выдающихся писателей земли Русской. Писемский читал, при заслуженном равнодушии присутствующих, отрывки из своих «Масонов» или своих «Мещан»; Тургеневу устраивались овации по случаю прибытия его на Пушкинские празднества. Те же литературные торжества вызывали произнесение прекрасных речей Веселовским, Стороженко или самим председателем общества Юрьевым, и поражающих неожиданностью своих сопоставлений исторических сообщений Ключевского «об Ордыне Нащокине и Евгении Онегине», «о

добрых людях старой Руси» и оффициальных благотворителях новой. Тургенев однажды верно охарактеризовал эти сообщения, говоря, что к их автору подходит тот эпитет esprit spécieux, который прилагают к сотрудникам известного французского журнала «Revue des deux Mondes». Термин spécieux непереводим на русский язык; ближе всего отвечает ему понятие не столько остроумного, сколько остроумничающего писателя.

Большой жизненностью не отличалось только что возникавшее в мое время психологическое общество. Оно затеяно было Троицким, первые работы которого вызывали надежду, что в Московском университете, на смену старым метафизикам с религиозной окраской, выступит ревнитель английской психологии и философии наук. Первая надежда отчасти только оправдалась, и Троицким выпущена была книга под заглавием: «Наука о духе». Но к французскому позитивизму автор ее повернулся спиной и обнаружил совершенное незнакомство с его основателем, назвав Огюста Конта французским материалистом. Тем, кому, подобно мне или профессору Тимирязеву, еще за границей, в годы ученичества, пришлось заинтересоваться направлением, данным философской мысли Контом, Литтре[51], Миллем, Бэном[52], Спенсером и Джорджем Люисом, показалось весьма желательным возникновение общества, готового посвятить себя научному изучению психологии и соседних с нею философских дисциплин. Мы выступили, поэтому, в числе членов учредителей, но ожидания наши далеко не оправдались. Метафизическое направление в скором времени получило в основанном нами обществе решительный перевес, и мы постепенно стали все реже и реже посещать его заседания. Исключение делаемо было нами в таких чрезвычайных случаях, какой представило, например, чтение Л.Н. Толстым его первых по времени соображений о цели жизни. Среди многочисленной толпы профессоров и учащихся, едва нашедшей себе место в обширном круглом зале советских заседаний, Лев Николаевич в течение часа старался убедить нас, что цель жизни — подготовление к смерти. С этим основным положением позволили себе не согласиться наиболее дерзновенные из наших метафизиков, разделявших со служением идеологии и более практические занятия в редакции «Московских ведомостей» Каткова и в московском цензурном комитете. По мере того, как один из них, с целью разбить автора реферата, выдвигал против него все новые и новые, почти исключительно немецкие авторитеты, лицо Толстого удлинялось и принимало волчий вид. Возражать Лев Николаевич отказался и попросил сделать это за себя нового председателя общества, профессора Грота[53]. Хотя заседание и окончилось овацией нашему великому художнику-мудрецу, но Толстого мы более не видели на заседаниях общества.

Этнография и фольклор особенно заинтересовали меня со времени моих поездок на Кавказ, и я согласился быть товарищем председателя этнографического отдела московского общества естествознания и антропологии. Немало людей, известных в настоящее время по разным причинам, сходилось в 80-х годах на собра-

ниях нашего общества. Председателем его в то время был и, кажется, остается до сих пор В.Ф. Миллер; секретарями состояли в разное время такие люди, как Гондатти, ныне томский губернатор, братья Харузины[54], так много сделавшие впоследствии для русской этнографии. Один из них — автор обширного исследования о лопарях, — пробыв несколько лет губернатором в Бессарабии, заведует в настоящее время департаментом иностранных исповеданий. В числе участников общества я могу припомнить двух теперешних академиков, профессора Корша и студента Шахматова[55]. Должность вице-председателя после меня занимал Виктор Михайловский, автор известного исследования о шаманстве. В числе сообщений, нам сделанных, очень многие попали впоследствии на страницы «Этнографического обозрения». Не отказывались читать в нашем обществе весьма интересные сообщения путешественники Миклуха-Маклай[56], Патканов[57], Пржевальский[58] и глубокий знаток русского фольклора и русской народной поэзии — Шеин[59]. Вообще этнография понимаема была нами в самом широком смысле. Члены общества в равной степени интересовались и материальной культурой различных народностей, входящих в состав России, и их языком, литературным и музыкальным творчеством, обычаями, обрядами и поверьями. Кавказу и Сибири отведено было немало внимания. Миллеру и мне не раз приходилось выступать с докладами, содержание которых перешло впоследствии и в «Осетинские Этюды» нашего дорогого председателя, и в мое сочинение о «современном обычае и древнем законе».

В археологическом обществе, под руководством сперва графа, а затем графини Уваровых[60], делаемо было немало интересных сообщений столько же московскими, сколько и иногородными ревнителями доисторической старины. Исключительно счастливым раскопщиком курганов надо признать Самоквасова[61]. Его удачи достигнуты были несомненно ценою истребления десятков, а может быть, и сотен этих единственных источников ознакомления с материальным бытом ранних насельников необъятной восточной равнины, заселенной во времена Геродота скифами и сарматами, на которой перебывало столько кочевников, прежде чем распространились по ней прибывшие с подножья Карпат славяне. Еще вопрос, как оценит потомство приобретение, ценою безвозвратной потери многих памятников прошлого, драгоценной коллекции, составленной Самоквасовым из предметов материальной культуры ранних насельников Северской Земли, быть может, слишком поспешно отождествленных им со славянами. Дальнейшие выводы, сделанные тепершним московским профессором на основании якобы курганных раскопок и снимков с уцелевших городищ, кажутся, к счастью, не мне одному совершенно фантастическими. Городища, служившие в действительности временными убежищами для соседних к ним поселенцев от постоянно грозивших им набегов, почему-то признаны были г. Самоквасовым городами, на основании чего и построена им смелая, но не выдерживающая критики гипотеза, что села — позднее городов и развились из них.

Все последующие его соображения, основанные на этот раз на этнографических данных из быта сибирских инородцев, в частности — камчадалов, о том, что сословное неравенство развивается по мере того, как народ от оседлого быта переходит к кочевому, вопреки установившейся точке зрения на то, что кочевья предшествуют оседлости, не заслуживает даже ближайшего рассмотрения. Все эти гипотезы так же произвольны, как произвольно предположение, что расположенные в Северской Земле курганы сооружены были не кем иным, как северянами. Обе диссертации Самоквасова, одна — о происхождении городов, другая — о древнейшей истории русского права, как основанные на догадках или крайне ошибочных, или сомнительных, едва ли заслуживали наделения г. Самоквасова искомыми им степенями — магистра и доктора. Но материал, им собранный, все же обилен и ждет еще вполне научных исследователей.

Несравненно менее счастливым в своих раскопках был не раз приезжавший на археологические конгрессы киевский профессор Влад. Бонифатьевич Антонович[62]. Но необыкновенная осторожность, обнаруженная им в его работах, тщательное ведение дневника производимым раскопкам, точное обозначение в них местонахождения найденных предметов, позволяют воспроизвесть до мельчайших подробностей материальную обстановку жизни строителей этих могил, нередко же находимые в курганах монеты определяют приблизительно время происхождения самих насыпей, и следовательно, делают правдоподобными гипотезы о сооружении их теми или другими племенами. Мы не рискуем в таких условиях отождествлять скифов с славянами, по образцу г. Самоквасова, а эпоху Геродота[63] — со временем появления на восточной равнине Европы той арийской народности, от которой мы происходим.

Профессор Анучин[64], также принимавший деятельное участие в трудах столько же археологического, сколько и антропологического обществ, строгостью своих приемов исследования, наравне с Антоновичем, оттенял ненаучность тех наскоков на курганы и того систематического их истребления, к которому, в конце концов, сводилась деятельность нынешнего директора архива министерства юстиции в Москве.

Пока жив был граф Уваров, русская археология продолжала оставаться в верных и заботливых руках. Раскопки, произведенные при его ближайшем участии или по его поручению в разнообразнейших частях обширной империи, не исключая и Кавказа, доставили главный материал и для интересных коллекций Исторического музея в Москве, и для труда самого графа о каменном веке в России. Одна витрина в Историческом музее занята результатами моих собственных расследований в горных пещерах, прилегающих к аулу Хасауть, расположенному на недалеком расстоянии от Эльбруса. Один из консерваторов музея, покойный Сизов, говорил мне, что содержащиеся в этой витрине куски материй, в какие облечены были найденные мною скелеты, принадлежат к числу ин-

тереснейших материалов для истории древнего орнамента, какие содержит в себе Исторический музей в Москве.

Я принял более близкое участие в деятельности археологических конгрессов только с тех пор, когда на них устроено было особое отделение юридических древностей. На одесском съезде, если не ошибаюсь, 1886-го года, мне пришлось исполнять обязанности председателя в этом отделе, сразу привлекшем к себе внимание многочисленной публики и вызвавшем своим успехом даже некоторое соревнование в руководителях других, ранее открывшихся отделов. На ближайших съездах преемница графа Уварова, ссылаясь на желание ее покойного мужа, решила не возобновлять попытки, нами сделанной в Одессе: юридические древности перестали входить в число задач, преследуемых отечественной археологией, кажется, по подозрению, что эти задачи не чужды и интересам современности. Мне не пришлось более бывать на съездах русских ревнителей старины, но я не порвал с ними связи, и на екатеринославском доложен был мой мемуар о древнейшей истории Азова — этой венецианской колонии, известной некогда под именем Таны, ввиду ее близости к устьям Дона или Танаиса. Мемуар этот составлен был мною на основании рукописного материала, хранящегося в государственном архиве республики св. Марка.

О деятельности юридического общества я вскользь упомянул еще ранее. Оно сказывалось еженедельными собраниями и ежемесячным выходом особого «Вестника», в котором вопросы права и судебной практики разбирались рядом с вопросами экономики и статистики. Когда все большие и большие цензурные строгости сделали невозможным дальнейший выход журнала, мы решились обратиться к изданию юридического ежегодника, в котором печатались наиболее интересные сообщения, сделанные нашему обществу. Я продолжал мои взносы на покрытие издержек нашего, конечно, плохо окупавшегося предприятия, наравне с небольшим кружком людей, в числе которых были Муромцев, Пржевальский и несчастный Иоллос. Сборник наш продолжал выходить до момента закрытия самого общества, по почину его почетного члена Боголепова, пошедшего навстречу желаниям высшей московской администрации. Она, как я слышал, была недовольна одной из речей неизменно выбираемого на пост председателя С.А.Муромцева.

Внешние судьбы первого председателя Государственной Думы настолько известны, что едва ли является необходимость упоминать о них здесь. В середине царствования Александра III[65], вскоре после того, как был принят новый устав университетов[66], Сергей Андреевич неожиданно узнал о своей отставке. Долгое время мы ломали голову над ближайшими ее мотивами. Ходили какие-то слухи о том, что случайно проезжавшая через Москву румынская депутация из уст Сергея Андреевича узнала о его сочувствии конституционному строю и надежде увидеть скорое наступление последнего в России. Только много лет спустя из некоторых бумаг, сообщенных мне доктором Белоголовым и полученных им от

графа Лорис-Меликова, я узнал действительную причину отставки моего уважаемого товарища по преподаванию. Как проректор, Муромцев старался предупредить внутреннюю распрю московского студенчества, вызванную различным отношением к горестному событию — убийству Царя-Освободителя. Он не принял доноса на тех, кто будто бы открыто высказывался против посылки венка на гроб убитого, и вместе с тем распорядился о посылке такого венка от имени столько же профессоров, сколько и учащихся. О его поведении — в превратной, разумеется, версии, — доведено было до сведения Государя, а те, кто в это время заведовал интересами просвещения, поспешили отставить его от службы, лишая таким образом древнейший университет одного из его лучших лекторов и в то время наиболее выдающегося у нас знатока римского права, ученика и последователя знаменитого Иеринга. Те из нас, кто всего сильнее чувствовали все значение понесенной нами утраты, позволили себе сделать соответственное заявление на собрании университетского совета. На следующий же день мы призваны были к попечителю, графу Капнисту, для выслушания выговора. Граф сообщил мне, что выполняет в этом отношении только волю министра Делянова; но на мою просьбу сообщить мне текст полученной им телеграммы последовал ответ, что она слишком грубо написана.

Отставка Муромцева вызвала большое недовольство в близких к университету кругах. Совет присяжных поверенных поспешил принять его просьбу о включении в сословие, на что Муромцеву, как и многим из нас, давало право пятилетнее пребывание в числе помощников присяжных поверенных. Вскоре Сергей Андреевич выделился из среды своих товарищей по адвокатуре не столько внешним даром слова, сколько глубоким знакомством с гражданским правом. Его деятельность сосредоточилась все более и более на консультациях. В материальном отношении его труд стал вознаграждаться в несколько раз более, чем во время пребывания в университете. Тем не менее, он при первой же возможности, которая представилась ему, как и мне, не ранее, как двадцать лет спустя со времени вынужденной отставки, поспешил вернуться к профессорской деятельности в Москве. Ожило снова и московское юридическое общество. Мне остается пожалеть только об одном, что во главе его не стоит его прежний председатель; ведь судьбы обоих сошлись весьма близко и разрубить связь между ними едва ли кому удастся.

Я обозрел, насколько это исполнимо в коротком очерке, каков настоящий, деятельность тех обществ, которые стояли под сенью Московского университета и обеспечивали его членам возможность частью популяризировать науки, ими культивируемые, частью содействовать их росту. Последнее выражение не кажется мне слишком смелым. Труды моих товарищей по археологии, этнографии, статистике, юриспруденции и политической экономии, труды, обыкновенно облекаемые на первых порах в скромную форму сообщений, сделанных в тесном кругу товарищей по заня-

тиям, и напечатанные затем в специальных журналах и изданиях, перерабатывались затем в книги и обогащали серьезными вкладами нашу научную литературу. Пройден был уже тот период, когда написанные для получения степени диссертации исчерпывали собою весь поступавший на книжный рынок ученый товар. К диссертациям прибавились менее корыстные работы, занявшие почетное место рядом, а нередко и выше их. Если в настоящее время я не затрудняюсь более рекомендовать моим слушателям непосредственное ознакомление с той или другой частью моего курса на основании русских монографий и статей русских периодических изданий, то потому, что в последние два царствования, как и в настоящее, появилось немало переводных и оригинальных сочинений по государственному праву, экономике, социологии, сравнительной юриспруденции, истории культуры и многим другим предметам, знакомство с которыми необходимо и обществоведу, и юристу. Насколько подвинулась, вопреки всем нападкам, русская юридическая литература с 70-х годов прошлого века, к которым относится начало моей профессорской деятельности, можно судить хотя бы по следующему примеру. Когда я выступил преподавателем, по истории русского права имелся всего один печатный курс — Михайлова. О его совершенной негодности едва ли нужно распространяться. Курс лекций проф. Беляева напечатан был уже после моего вступления в университет проф. Петровским[67]. Те, кто занимался преподаванием истории русского права, могли отсылать своих слушателей только к немногим монографиям. В настоящее время мы имеем более полудесятка обстоятельных курсов и ряд таких капитальных трудов, как «Древности русского права» проф. Сергеевича[68] или «Боярская Дума» Ключевского. Наша юридическая литература в этом отношении может поспорить с французской, которая в 70-х годах также имела всего-навсего одно сочинение, охватывавшее далеко неполно все периоды юридической жизни Франции: я разумею многотомное сочинение Лаферрьера[69]. В настоящее время первый совет, получаемый иностранцем, желающим познакомиться с судьбами французского права — это отложить в сторону Лаферьера и заняться теми недавними трудами, которые сумели в сжатом виде представить самостоятельную разработку материалов, содержащихся в coutumiers, т.е. в сборниках местных обычаев, восходящих нередко к XII веку, нормы которых только отчасти вошли в состав обнародованных Наполеоном кодексов. Приходится читать теперь Глассона[70], Бриссо[71], Виоле и Флака, писателей, так же много сделавших для истории французского права, как Метланд и Виноградов — для английского, Сергеевич и Владимирский-Буданов[72] — для русского.

Возьмем и другие науки, преподаваемые на юридических факультетах. Старые учителя, вроде Крылова[73], Бабста[74] и Мильгаузена[75], не печатали своих курсов. Новые грешили в обратную сторону, спеша предать тиснению все преподанное ими с кафедры. Из массы обнародованных таким образом пособий некоторые уцелели, так как удельный вес их был значителен. Назову для приме-

ра «Гражданское право Древнего Рима» Муромцева, «Курс политической экономии» А.И. Чупрова, «Курс финансового права» Янжула — все курсы, читанные в Москве, а из не московских — курсы «Государственного права» Градовского и Коркунова[76], курс политической экономии Исаева[77], в обработанном виде уже выдержавший шесть изданий. Ознакомление с предметами факультетского преподавания стало возможным ныне и без посещения лекций; этим в значительной степени объясняется отлив студенчества если не от университетов, то от аудиторий. То же явление еще резче выступает на Западе, особенно во Франции и Англии. На превосходных даже с внешней стороны конференциях, читаемых в Сорбонне или Collége de France, редко насчитывают сотню слушателей, да и из них добрая часть — иностранцы. То же можно сказать и о школе правоведения в Париже. Но нигде я не был так поражен пустотою аудиторий, как в старинных университетах Англии. В Оксфорде на лекциях Фримана или Мэна не сидело более десятка слушателей, а когда известный историк «земледелия и цен в Англии», Торольд Роджерс, вздумал читать о колебаниях цен на серебро — одном из интереснейших и важнейших вопросов экономической истории нового времени и в особенности эпохи, следовавшей на некотором расстоянии за открытием американского материка, эпохи так называемой революции в ценах, — аудитория почтенного ученого свелась к пяти—шести лицам. Этот повсеместный упадок числа посетителей лекций и вызывающую его причину надо принять во внимание, прежде чем отождествлять его, как это делают у нас, с упадком университета и уровня университетского преподавания.

III.

Я обещал поговорить и о московских кружках, собиравшихся как при редакциях, так и у частных лиц, общественных деятелей, профессоров и педагогов. Центральной фигурой в редакции «Русской мысли» был долгое время Сергей Андреевич Юрьев — владелец небольшого поместья, математик по образованию, славянофил, захваченный освободительным и демократическим духом времени, драматический критик и страстный поклонник Шекспира, человек отзывчивый и добрый в самом прямом и возвышенном значении этого слова. Для всех доступный, всем интересующийся, Юрьев готов был по часам спорить о предмете, так или иначе задевающем судьбы России, славянского мира, а то и всего человечества. У него были любимые темы, напр[имер], «о хоровом начале», будто бы присущем православию в такой же мере, как славянству вообще и русскому народу, в частности. Прежде чем сделаться редактором «Русской мысли», он некоторое время издавал журнал с славянофильским направлением, при денежной поддержке А.И. Кошелева. В славянофильском лагере Юрьев представлял левое крыло. Только «всенародное» и «всесвободное» могло рассчитывать на его симпатии. Он любил сельскую общину, как продукт народного творчества. По той же причине он возился с арте-

лью, кустарными промыслами, русским сектантством — всем тем, в чем проявилась созидательная деятельность русского человека. Но Юрьеву не чуждо было и всечеловеческое, опять-таки под условием, чтобы это всечеловеческое не было вопросом моды, вопросом подражания, а продуктом созидающей мысли. Он любил повторять о Шекспире, что ценит его, как вызвавшего к жизни, подобно Богу, целый мир из ничего. Как все искренние люди, Юрьев был упрям в отстаивании своих мыслей и неподатлив в спорах, по крайней мере в случаях перенесения их на бумагу. Вот почему мы часто расходились с ним во взглядах, продолжая в то же время оставаться в приятельских отношениях. Но так как оба мы были принципиальны, а потому и упрямы, то моих статей за его редакторство в «Русской мысли» появилось немного.

Что касается до другой редакции, «Русских ведомостей», то она была в руках тесного кружка, вложившего в нее более умственного, чем иного капитала, и выручавшего из собственных статей и средства к покрытию жизни, и средства к расплате с кредиторами газеты. В таких условиях редакция не нуждалась в литературных батраках, как она нуждается в них теперь. Руководившие газетой люди были сами кустари-производители. Этим и объясняется небывалй еще в Москве успех газеты, не имевшей за собою ничего, кроме хорошей осведомленности и литературного таланта своей постоянной редакции. Столбцы газеты открывались лицам, стоявшим вне редакции, только тогда, когда они являлись своего рода специалистами и одни могли доставить желательный материал по известному вопросу. Вот почему «Русские ведомости» охотно печатали мои «Письма из Америки» или рассуждения по какому-нибудь вопросу государственного права, но постоянным их сотрудником я никогда не был, по крайней мере в годы моего пребывания в Москве. Да и не было бы у меня времени к тому. Кружковая жизнь предъявляла посягательство на вечерние и ночные часы в гораздо большей степени, чем теперь, когда в 11 часов я, обыкновенно, уже в постели.

Московские салоны, по крайней мере литературные, доживали в мое время свои последние годы. Индустриальный мир Москвы еще не задавался тогда мыслью о собеседованиях на экономические и социальные темы, как он делает это теперь. Чужда ему была и мысль о поддержке каких-нибудь изданий, если эти издания не служили прямо затрагивающим его задачам. У некоторых красавиц из этого круга собирались для танцев, даже больше, чем для карточной игры, и вечер заканчивался веселым и обильным ужином.

Собирали у себя для бесед о политике только некоторые уцелевшие эпигоны старого западничества и старого славянофильства. Мне всего чаще приходилось бывать у А.И. Кошелева. Здесь я находил И. Аксакова, Д. Самарина, генерала Черняева, Хомяковых[78], Хвостовых[79], а из молодых моих товарищей, в числе других, Вл. Соловьева. Из дам мне помнится всего более О.А. Новикова. От нее получались известия, свежепришедшие из Англии, письма от Гладстона и ближайшей к нему среды. За ужином много гово-

рили о Бисмарке и сомневались в его честном маклерстве в славянских и русских делах; доставалось кн[язю] Горчакову и гр[афу] Шувалову[80] за их действительное или мнимое неуменье отстоять наши интересы от корыстолюбивой Англии и ее нового Пальмерстона — Дизраэли. Критиковали также Валуева[81] и вообще министров, уже в то время мудривших над крестьянством или собиравшихся мудрить над ним, затевавших, например, поход против сельской общины, этой славянофильской святыни. Защиту от бюрократии находили в салоне Кошелева и университетский устав 1863-го года, и земские учреждения, и новые еще в то время суды. Направление разговоров в общем было либеральное, а отношение хозяина — в высшей степени терпимое. Он отдавал визиты самым даже молодым из нас и провел за неделю перед смертью целых три часа с глазу на глаз со мною, с жаром говоря против резко выступавшего уже похода Каткова на реформы, ознаменовавшие собою первую половину царствования Александра II. Когда этот почтенный человек умер, мы собрались проводить его тело на кладбище с венками в руках; но полиция запретила столь торжественное шествие. Это чуть ли не первый случай, когда на венки объявлено было гонение. На похоронах Тургенева нас заставили идти только окольными улицами к кладбищу, да полицеймейстер Грессер вырвал из рук каких-то двух дам небольшой венок с надписью: «От заживо погребенных».

После смерти Кошелева я все чаще и чаще стал бывать в другом доме — в доме графа А.М. Олсуфьева и его чарующей своим тактом, уменьем принимать и вести беседу жены — Анны Михайловны, рожденной Обольяниновой. В доме Олсуфьевых часто можно было встретить и Л.Н. Толстого, со всей его семьей. Молодые Толстые учились в тех же гимназиях и университете, что и молодые Олсуфьевы. Посещал вечера у Олсуфьевых и художник Ге[82], и профессор Усов[83], и мой друг Стороженко со своей молодою женою. Лев Николаевич только что пережил в это время тот душевный кризис, который из художника русского слова и творца литературных образов и типов сделал из него русского и всесветного мудреца. Он очень искренно и горячо относился к своей новой миссии, открыто проповедовал учение о непротивлении злу силой, не допускал ни в ком критического отношения к своей новой доктрине, громил науку и положительную философию и вышучивал ее ревнителей, нередко доводя свой голос до высокого диапазона. Мне раза два пришлось ужинать у него. В то время он еще ел мясо и получал индеек и другую живность из тульской деревни. Особенно памятна осталась мне эта индейка. Я едва мог справиться с куском, попавшим мне на тарелку, так как гостеприемный хозяин распинал меня за пристрастие к Спенсеру, уверяя, что не знает ничего подлее спенсеровского альтруизма. Вызвана же была вся эта буря тем, что я позволил себе назвать религию графа просто нравственным учением, не представляя себе религии без догматов. Не только вышедшая вскоре «Исповедь», но и все, что было написано впоследствии Львом Николаевичем по вопро-

сам религии, как мне кажется, вполне оправдало мое утверждение. Лев Николаевич невзлюбил меня. Графиня Олсуфьева впоследствии сообщала мне с глазу на глаз, что Толстому не нравится моя нижняя губа; она придает моему лицу насмешливое выражение. Я имел случай видеть не раз, что мои попытки вставить слово в общий разговор, его касавшийся, ему были неприятны. При повторении в его присутствии — кажется, Ге, — доктрины о непротивлении злу силой я как-то заметил, что Милль сомневается в способности французов стать свободными между прочим потому, что они сами не разделываются с нарушителями мира, предпочитая предоставить расправу с ними полицийским комиссарам. Толстой демонстративно вышел из гостиной. Горячие споры вел Толстой и с Усовым, который не уступал ему ни шагу, и не столько спорил, сколько вышучивал, доводя до абсурда обновленную Толстым доктрину пассивного противодействия «мольбами и слезами». Так как я не был в числе любимцев автора «Войны и мира», то не попал и на то достопамятное собеседование, на котором созванные им экономисты высказали сомнение насчет некоторых взглядов Льва Николаевича на природу денег. Это собрание, как, вероятно, рассказано в чьих-нибудь мемуарах, кончилось некоторой неприятностью. Толстой прекратил знакомство с теми, кто находил оправдание его ошибкам в недостаточном изучении им политической экономии, и сохранил приятельские отношения только с Янжулом, ограничившим свой протест одной зевотой. Держа себя более или менее забиякой с нашим братом — профессорами, Лев Николаевич был трогательно мягок в оценке литературных трудов и начинающих писателей, и тех, которые, не пропев за всю свою жизнь ни разу соловьем, складывали прощальную лебединую песню. Как-то мы были позваны к Стороженко — выслушать не то перевод стихами какой-то романтической польской поэмы, не то продукты собственного творчества старого уже и малоизвестного поэта. Толстой не только все время выслушивал благодушно невозможно скверное чтение убеленного сединами стихотворца, но и отмечал иногда красоту той или другой рифмы, того или другого выражения. Только попавши в кабинет для курения на затеянный мною разговор о Мопассане[84], он остроумно заметил, что переход к его творениям от только что прослушанной романтики не лишен некоторой приятности. Редакция «Русских ведомостей» не раз жаловалась на то, что Толстой рекомендует ей молодых писателей без всякого таланта. Один из редакторов придумал даже практическое средство заставить Толстого взять обратно принесенную им чужую рукопись: он просил Льва Николаевича немедленно прочесть ее вслух. Чтение не всегда доходило до конца: художник брал верх в Толстом над добрым человеком и снисходительным критиком. Лев Николаевич соглашался, что доставленный им рассказ нуждается в исправлениях, уносил рукопись с собою, и новому произведению так и не суждено бывало появиться на свет. К Толстому уже в то время стали приезжать издалека для философских бесед, но не так, как теперь, с целью вы-

слушать его проповедь, а для того, чтобы сделать попытку обратить его самого в свою веру. Прибыл к нему однажды и русский контист Фрей[85], прямо из Лондона. Я знавал английских последователей Огюста Конта, а потому Фрей выразил Льву Николаевичу желание встретиться у него со мной. Толстой позвал меня, и мы провели вечер втроем. От этого вечера сохранилось в моей памяти несколько анекдотических воспоминаний. Когда Фрей стал хвалить Конта за некоторые из его нравственных афоризмов, между прочим за следующий: «живите как в стеклянном доме», т.е. так, чтобы все могли видеть ваше поведение, Лев Николаевич согласился, что мысль прекрасна, но поспешил прибавить: она не нова, а взята напрокат у такого-то китайского мыслителя. Фрей не поверил. Пошли искать у китайца, разумеется, в английском переводе; долго искали чего-нибудь подходящего, но не нашли. Толстой продолжал, однако, утверждать, что изречение, подобное Контову, несомненно имеется у китайца и только не попадается ему на глаза. Я припомнил этот анекдот с целью показать, что уже в то время Лев Николаевич интересовался религиозными мыслителями всех времен и народов и мог бы приступить к изданию той «Книги для чтения», в которой, рядом с собственными, он приводит выдержки из писателей всех литератур, раз в них имеются положения, близкие ему по духу. В это же время Толстой был занят критикой Евангелий. Несогласие во взглядах, кажется, на антихриста, было причиной, что он разошелся с Вл. Соловьевым. В одном из его позднейших сочинений я нашел фразу, начинавшуюся словами: истинно злые люди, как В. Соловьев и Аксаков, говорят то-то и то-то. Толстой не мог простить Соловьеву, между прочим, защиты последним войны, защиты в духе Гегеля, и за это, больше чем за иные разногласия, отнес его к истинно злым людям. Соловьев же, как мне пришлось слышать, не прощал Толстому его приемов обращения с текстами и всей его экзегетической критики. Врагом войны Толстой выступал решительно уже в годы моего знакомства с ним. Когда я спросил его о впечатлении, произведенном на него Дерулэдом[86], посетившим его в Ясной Поляне, я в ответ услышал слова: «Дикий галл!» Сколько Толстой ни подавлял в себе порывов к литературной работе, — уверяя, например, меня, что всякое упоминание о его романах производит на него то же впечатление, какое на собаку ее блевота, — художник все же не мог в конце концов не поддаться своему природному влечению, не мог отказать себе в удовольствии облечь свою новую проповедь в художественную форму. А как переживал он лично все им написанное, — об этом можно судить по следующему факту. Как-то, вернувшись из Парижа, я пришел к Толстому дать отчет в исполнении его поручения. Толстой был один и встретил меня приветливо: «Ах, я так рад вам сегодня, — заметил он и со своей обычной искренностью тут же прибавил: — я был бы рад и всякому другому, всякому, кто дал бы мне возможность отделаться от мысли об этой ужасной смерти». Несколько дней спустя я узнал, что накануне нашего свидания Лев Николаевич закончил «Смерть Ивана Ильича».

Семья Олсуфьевых была из немногих помещичьих семей, озабоченных мыслью о заведении школы и больницы для крестьян. Доктор Дубраво, заведовавший этой больницей до смерти, был из числа тех прямых, честных и несколько грубых натур, которые режут людям правду в глаза, напоминая им ежечасно об их обязанностях. Во время турецкой кампании он дал пощечину одному военному, заявлявшему, быть может, шутя, что не вернется с войны без набитого кармана. Так же определенно и смело он говорил при всяком удобном и неудобном случае членам семьи Олсуфьевых об их долге перед русским народом. Теперь, когда мне приходится с удовольствием следить за тем, как граф Димитрий Адамович отстаивает право русских крестьян определять самим свои экономические судьбы, высказываясь и за свободу мирских переделов, пока от нее не откажутся сами заинтересованные в них, и за нераздельное владение всей крестьянской семьею ее надела, мне приходит на ум влияние, оказанное на него в возмужалости — Л.Н. Толстым, а в детстве — доктором Дубраво. Это последнее влияние было заметно и на сестре графа, Елизавете Адамовне, выдающейся русской девушке, получившей солидное математическое образование дома, без посещения какой-либо гимназии. Пренебрегая светскими удовольствиями, она всем сердцем посвятила себя заботам о крестьянах их подмосковного имения «Никольское». Я посетил его однажды зимою по приглашению гостеприимных хозяев и провел здесь несколько дней в обществе Л.Н. Толстого. Я нашел в именье не только прекрасную школу с двумя учителями, содержимую на средства графской семьи, но и больницу, в которую принимались даром нуждающиеся во врачебной помощи крестьяне всей округи. Этой больницей заведовал до своей смерти доктор Дубраво, а впоследствии врачи Московского университета, посланные предварительно на год для ознакомления с устройством больниц за границей. Доктор Дубраво, как жил, так и умер строгим слугою своего долга. Позванный однажды в крестьянскую семью, он нашел в ней ребенка в дифтерите. Положение было опасное. По рассеянности доктор забыл захватить с собою нужную ему при операции трубочку. Долго не думая, он заменил ее собственными губами. Последствием получилась зараза и смерть. Перед кончиной он собрал всю семью Олсуфьевых и, сколько позволяли ему силы, напомнил им об их обязанностях по отношению к народу. Это поучение не было забыто Елизаветой Адамовной. Больница осталась предметом ее постоянной заботливости. Ее преждевременная кончина также вызвана была посещением ею всех нуждающихся в помощи. Ухаживая за тифозной больной, она сделалась сама жертвою злого недуга и умерла молодой, к отчаянию отца и матери, вскоре последовавших за нею в могилу.

Я сохранил обо всей семье Олсуфьевых память, как об истинно добрых людях, проникнутых сознанием своих обязанностей. Кто прожил, подобно мне, шесть десятков лет, тот вправе сказать, что такие люди попадаются не часто.

Посещение салонов было для нас сравнительной роскошью. Мы чаще сходились друг у друга — у Янжула по воскресеньям, у меня, если не ошибаюсь — по четвергам. Был свой день и у Усовых. Вернее сказать, все это были не дни, а вечера, начинавшиеся поздно и продолжавшиеся долго за полночь. Вечер не заканчивался, а только прерывался ужином. Многие приезжали прямо к нему, а начинавшаяся за ним беседа длилась иногда до трех часов утра. Для хозяина особенно страшны были гости, выспавшиеся до ужина. Известный Головачев[87], не замечая ухода других посетителей, продолжал беседовать со мною о земстве и железных дорогах нередко до четырех часов утра[88]. Ни неопределенность ответов, ни моя зевота не мешали ему развивать свои мысли по этим двум облюбованным им темам. Сходились раз или два раза в неделю люди между собою близкие, у Янжула и Усова — со своими женами и дочерьми, у меня — без этого придатка. Последствием было то, что разговор невольно переходил на моих вечерах от частных тем к общим. Политика далеко не составляла единственного предмета обсуждения. Спорили и о вопросах теоретических, научных и литературных. Петербужцы и, в меньшей степени, иностранцы также не раз показывались на этих собраниях. Я имел счастье чествовать И.С. Тургенева, и от этого банкета, устроенного в скромном помещении, сохранилась у меня память благодаря полученной от Тургенева на следующий же день записки: «А вчерашний вечер надолго останется в моей памяти, как нечто еще небывалое в моей жизни». Небывалою Тургеневу показалась сердечность, с какой молодые преподаватели старейшего университета чествовали в нем, автора «Нови», искреннего и любящего наставника. Развитие этой мысли и составило предмет моего тоста. За него я получил отповедь и от некоторой части более радикально настроенного студенчества, и от М.Е. Салтыкова-Щедрина. Встретившись со мною впервые в Париже, Салтыков сказал мне: «Так вы — тот молодой человек, который благодарил Тургенева за то, что он ваше поколение выставляет дураками» (очевидно, намек на Нежданова Тургеневской «Нови»).

Кого только не перебывало на моих четвергах! Я могу припомнить теперь в числе посетителей, помимо большинства профессоров университета, и Кавелина[89], и Кистяковского[90], и Златовратского[91], и Шелгунова[92], и Эртеля[93], и всего чаще П.Д. Боборыкина. Мне не приходилось встречать между русскими беллетристами, за исключением разве Тургенева, человека, так страстно относящегося к вопросам, по-видимому, далеко стоящим от художественного творчества. Благодаря своей разнообразной научной подготовке (Боборыкин обучался в Дерпте естественным наукам, перевел одно из классических руководств по химии, занимался психологией и выдержал экзамен на юридическом факультете), благодаря, повторяю, своему энциклопедическому образованию, полученному еще в ранней молодости, продолжительному пребыванию за границей, откуда он посылал письма (из Франции и Испании) в «Петербургские ведомости» Коржа[93а], наконец, благодаря

редкой отзывчивости и легкой возбуждаемости, Боборыкин всего более призван к публицистической деятельности. В другой стране, при иных условиях цензуры и иных государственных порядках, его следовало бы поставить во главе бойкой газеты с широколиберальной программой или послать представителем в Государственную Думу. Потеряли бы от этого, быть может, только будущие историки, для которых романы Боборыкина, как взятые из жизни и даже нередко сфотографированные с нее (таково, по крайней мере, обычное обвинение), послужат весьма ценным материалом.

Не столько у меня, сколько у моего приятеля Иванюкова, в то время профессора в Петровской земледельческой академии, я встречался и с Н.К. Михайловским[94], и с Г.И. Успенским[95]. Мне пришлось однажды провести целый месяц в их обществе на Кавказе, в Кисловодске. Михайловский не был из числа людей, охотно делившихся своими мыслями. Он припрятывал их для статей в «Отечественных записках»[96], а позднее в «Русском богатстве»[97]. Успенский, наоборот, в разговоре сеял остротами и образами, не боясь того, чтобы собеседник воспользовался ими ему в ущерб. Михайловский избалован был успехом и ждал при встрече почтительного, а, может быть, и заискивающего к себе отношения. Успенский же был необыкновенно прост и возмущался всяким желанием к нему приладиться, завоевать его расположение, ну хотя бы подчеркиванием его особенно метких характеристик и словечек или усиленным смехом, когда он рассказывал что-нибудь забавное. Михайловский не любил возражений. Успенский искал их. В Михайловском можно было отметить человека, много читавшего и для которого немало вопросов казались решенными раз навсегда. Успенский, наоборот, производил впечатление постоянно думающего самостоятельно и ищущего в беседе ответа на многие вопросы, не разъясненные ему книгами. В отношении Михайловского к людям, посвящавшим себя педагогической деятельности, заметна была некоторая предвзятость. Они, мол, читают лекции повинным слушать их студентам, а мы пишем для добровольных читателей. Успенский, наоборот, не установлял никакого различия между людьми по их профессиям, интересовался ими самими и их особенностями. Михайловскому, впрочем, было не до бесед. Немногие свободные часы он любил проводить в дамском обществе и, как я однажды выразился, вертеть буркулами, т.е. производить впечатление не одним мягким голосом, но и прекрасными, выразительными глазами. Успенскому, которым идеальные девушки необыкновенно увлекались, вплоть до желания поступить к нему в служанки, не было другой заботы, как отделаться от них вежливо, так сказать «с приятностью», доставляя им в то же время возможность удовлетворения с другими их умственных и душевных запросов. Много трогательного было в отношениях этих двух людей друг к другу. Михайловский ходил за Успенским как нянька, а Успенский держался по отношению к нему как капризный ребенок. При всем расхождении моем во взглядах с Михайловским, не столько в вопросах житейских, сколько в вопросах научного мето-

да и общественной доктрины, я сохранил о нем добрую память, как о человеке весьма определенных воззрений, добросовестном, строго относящемся к своим задачам писателе и критике. Михайловского нельзя сравнивать по таланту с Писаревым[98], но какая бездна отделяет его подготовленность от поверхностного отношения Писарева к поднимаемым им вопросам. Человека, который бы так широко понимал задачи литературной критики, как Михайловский, со времен Чернышевского[99] и Добролюбова[100] не было у нас, да и не оказалось и с его смертью. Ни Овсянико-Куликовский, ни Н. Котляревский не затрагивают в своих статьях и трети вопросов, получавших посильный ответ от Михайловского. Их знания в области языковедения и сравнительной литературы, может быть, больше; психологический анализ Куликовского несмоненно глубже, но ни о нем, ни о Котляревском нельзя в строгом смысле слова говорить, как о людях энциклопедически образованных, а эта черта несомненно была присуща Михайловскому.

Чем дольше я жил в Москве, тем более и более расширялся круг моих личных друзей и приятелей. Из адвокатов я близко сошелся с Вл. Ив. Танеевым, одно время старшиною присяжных поверенных. Это человек широкой начитанности, интересовавшийся в то время социальным вопросом, как ныне — неминуемым торжеством желтой расы. Он прекрасно владел слогом, жестоко критиковал тот, каким мы пишем, печатал в газетах только изредка статьи, с посвящением себе самому, и доселе не закончил своего общего рассуждения о будущих судьбах человечества. При значительной начитанности, при уменьи собирать у себя людей, которым приятно быть вместе, при большом выборе в знакомствах и откровенной резкости в суждениях о людях и событиях, Танеев несомненно в другой обстановке сделался бы центром влиятельной политической партии, которая бы оставила след в судьбах нашей родины. В тех же условиях, в каких нам приходилось жить в то время, из него выработался неудовлетворенный средою, иногда негодующий, обыкновенно же скучающий философ.

Довольно поздно, уже после моего возвращения из двухлетних странствий по Европе, я сошелся с двумя людьми, остающимися моими приятелями и по настоящий день. Один из них — Иванюков, одно время министр финансов в освобожденной нами Болгарии. Ему обязаны жители тепершнего царства отменой подушной подати. Проездом через Варшаву он женился на своей отдаленной родственнице. Оба молодые супруга своей обходительностью, своей горячей отзывчивостью к людям и событиям, вскоре сделались центром кружка, посещаемого особенно охотно весною и летом, благодаря близости их казенной квартиры к Петровско-Разумовскому парку. Л.Н. Толстой одно время приезжал к ним верхом. Проездом через Москву Михайловский, Шелгунов, Успенский и, разумеется, Боборыкин, приняты были у них как свои люди. За столом можно было встретить красавиц, за которыми, не ссорясь между собою, ухаживала вся эта литературная компания. Другой мой приятель был угрюм и одинок. Угрюмость заставляла

его сторониться от света, а одиночество — много работать для собственного развития. Я разумею профессора Гамбарова. Это — один из наших образованнейших юристов, очень строгий к себе и другим, и потому все еще поправляющий корректуры своего трактата о гражданском праве, трактата, который потребует по крайней мере, трех томов — так много в нем накоплено сравнительного материала и так глубоко понимает этот цивилист трактуемые им вопросы, связывая их с эволюцией гражданственности.

Быть может, самой отрадной стороной моей московской жизни было отсутствие всякой серьезной розни и с моими товарищами по преподаванию или литературной деятельности, и с моими слушателями. Мимолетные трения вызывались, разумеется, университетскими диспутами, факультетскими и советскими заседаниями, но они не оставляли следа и не портили отношений. Когда речь шла об охране интересов университета, мои товарищи постоянно поддерживали меня, но, разумеется, ни одному из них не приходило в голову проводить меня на факультетские или советские должности. Все знали и мою материальную обеспеченность, и отсутствие во мне какого-либо честолюбия, и мое желание иметь побольше свободного времени как для занятий, так и для удовольствий. Административные способности мы, точно сговорившись, признавали за людьми или никогда не занимавшимися наукой, или переставшими заниматься ею. Только этим и объясняется неизменное присутствие во главе юридического факультета врача Легонина[101], который за все время своего деканства из уважения к науке только раз проявил себя актовой речью об афазии. Этот в общем добрый и разумный человек вел весьма умело наши заседания, охотно поддерживал перед начальством оставляемых нами при кафедре молодых людей, отстаивал интересы факультета пред советом и никогда не запускал дел, в то же время не требуя от нас особого напряжения и созывая факультет не чаще, чем следовало. Теми же соображениями мы руководствовались и при выборе в секретари факультета Н.П. Боголепова. Он не поражал никого ни умом, ни талантами. Его диссертации не выходили из числа заурядных, а вне их он ничего не писал, кроме учебников. Читая на первом курсе, он, разумеется, имел большую аудиторию. Отношение его к товарищам и студентам было корректное. Мысли он высказывал всегда благоразумные и либеральные. Знали, что он нуждается в средствах и для этого состоит инспектором в каком-то женском институте. Чтобы увеличить его доход, молодые профессора в факультете сговорились между собою и провели его весьма единодушно в секретари. Так как за все время его секретарства он никого не обидел, то при выборе нового ректора на нем сошлись, как на кандидате факультета. Решено было одновременно поддерживать кандидатов и от других факультетов, между прочим, Склифосовского, предложенного медиками под условием, разумеется, взаимности. Но среди них оказалось меньше единодушия, и Склифосовский получил поэтому недостаточное число голосов. Боголепов одно время не хотел даже занять должность ректора, ссылаясь

на то, что избравшие его не вполне согласны с его убеждениями. Мы вместе возвращались с выборов, и мне пришлось доказывать ему, что о расхождении с нами во взглядах мы слышим впервые. В первые годы его ректорства Боголепов оставался прежним добрым товарищем, не выступал с протестами против нашей якобы либеральной агитации и только хлопотал об одном, чтобы наши заявления не попадали в протокол. При случае он умел даже выгораживать кое-кого из товарищей. Когда министру Делянову не понравились лекции Ключевского и он задумал предложить переход ему в Казань, Боголепов сразу остановил эти намерения министра, убедив его, что Троицко-Сергиевская академия не отпустит Ключевского, так как им очень дорожат в духовных сферах. Ни на кого другого, как на меня, было возложено передать заинтересованному лицу содержание этого разговора, причем мне сказали, разумеется, что это надо сделать келейно и частным образом. Боголепов развернулся уже после моего ухода из университета. Во все же время переговоров о моей отставке он держался нейтрального положения. Отношения с ним были настолько товарищеские, что я шутя звал его на лекции следить за тем, достаточно ли они благонамеренны. Он, разумеется, отшучивался. Когда меня удалили, я получил от многих товарищей коллективное послание с выражением их соболезнования. На нем не было подписи ректора, но два дня спустя пришло письмо с выражением полного сочувствия и с прибавкой, что к коллективным заявлениям Боголепов не считал возможным присоединиться. Я на это ответил ему отповедью. После этого мы с ним не встречались.

Раз я заговорил о начальстве, упомяну вскользь и о тех отношениях, какие в то время существовали между профессорами университета и попечителем. Я попал в число преподавателей еще при действии устава 1863-го года. Попечителя кн[язя] Мещерского[102] я поэтому не видел до тех пор, пока он не выразил желание присутствовать на одной из моих лекций. В этот год предметом моих чтений была сравнительная история семейного права. Он с удивлением отметил присутствие в аудитории очень большого числа слушателей и более ко мне не приходил. С введением нового устава мы получили и нового попечителя, графа Капниста[103]. О нем писано за последнее время немало в разных мемуарах из того времени, и, кажется, не все писанное клонится к его чести. Мне пришлось иметь дело с графом по случаю моей отставки, и я должен сказать, что переговоры, какие мне выпало в удел вести с ним, возлагают на меня обязанность сказать, что это был вежливый сановник и к тому же проникнутый чувством законности. Когда затребовали из Петербурга мои лекции, я не увидел никаких препятствий к тому, чтобы передать в руки попечителя тот конспект, каким я пользовался при чтении их, настаивая, разумеется, на скорейшем его возвращении. Конспект препровожден был в столицу и месяца через два вернулся ко мне. По требованию министра, я несколько раз вызывался попечителем для выслушания замечаний и предостережений. Каждый раз граф держался как человек, вполне оце-

нивший совет Талейрана[104]: не обнаруживать чрезмерного рвения. Он выслушивал объяснения и обещал передать их высшему начальству. Однажды он поразил меня заявлением, в которое вкрались слова: «Я предвижу скорый конец гнусной травле, на вас направленной». Мне оставалось только ответить, что такой исход, вероятно, в значительной степени будет вызван его поведением. Много лет спустя, когда я устроился уже на долгие годы во Франции, мне передан был его поклон. Я поспешил уведомить его, не помню уже, письменно или чрез посредника, что храню о нем добрую память. Как я слышал впоследствии, граф Капнист выразил по этому случаю удовольствие, говоря, что его действительные намерения были поняты мною правильно. И теперь, обсуждая все его поведение, я могу только высказать уверенность, что он скорее желал выгородить меня от ложных обвинений, чем обнаружить на мой счет всегда выгодное в глазах высшего начальства чиновное рвение.

Я сказал уже, что отношения мои со студентами всегда были отличными. Они охотно посещали мои лекции, писали работы, принимали участие в их обсуждении на семинарах и очень охотно оставались при моей кафедре для приготовления к профессорскому званию. Но смерть безжалостно косила многих из оставленных мною. Не стало Калачова, брата теперешнего члена Государственного Совета; не стало Харузина, кандидатская диссертация которого об обычном праве донских казаков была напечатана толстым томом и служит теперь настольной книгой для всякого, кто желает познакомиться с особенностями быта этой обширной области нашего отечества. После моей отставки изменены были требования, предъявленные ранее к лицам, желавшим подвергнуться магистерскому экзамену. Это заставило других из них посвятить себя иной карьере: один ныне заседает в Государственной Думе, другой служит судьею в Москве. Не все из оставленных мною по кафедре не довели до конца своих намерений. Они посвятили себя только другим родственным специальностям. Профессор Дерюжинский[105] на кафедре административного права в Петербургском университете заявляет о своем прежнем занятии правом государственным работами*, затрагивающими основные вопросы конституционной жизни Англии. Нечаев[106] занимая пост юрисконсульта при министерстве юстиции, читает в то же время лекции по сравнительной истории права. Егиазаров[107] преподает государственное право в Киеве.

При всем внимании, какое студенты Московского университета оказывали моим лекциям, я не всегда выносил с экзамена убеждение, что труд, мною затрачиваемый, не пропадает даром, по крайней мере для большинства. История политических учреждений, которая все чаще и чаще служила предметом моих чтений, не может быть хорошо усваиваема людьми, не имеющими достаточ-

* Так в публикации.

ной исторической подготовки, а эта подготовка с каждым годом становилась все более и более скудною. Мы повели однажды открыто речь об этом в совете. Одни жаловались на то, что студентам сызнова приходится читать все естественные науки, другие — что подготовка их по физике и химии совершенно недостаточна. К нашим сетованиям присоединился и Герье; он заявил, что поступающим в университеты не хватает знакомства с латынью. Что же, спрашивается, дает средняя школа? Я не могу сказать, чтобы на этот вопрос мне легко было дать определенный ответ и теперь, когда на расстоянии восемнадцати лет я снова возобновил свою преподавательскую деятельность. Сравнивая тогдашнее отношение студенчества к профессорам с теперешним, я должен сказать, что прежде оно было доверчивее и сердечнее. Мысль о том, что профессоров можно причислить к предпринимателям и устроить забастовку в посещении их лекций, в это время никому еще не приходила в голову. Политические условия были несколько иными. Хотя так называемая университетская газета — т.е. «Московские ведомости», издаваемые Катковым — и занималась неизменно обличением неприятных редакций профессоров, а подчас и походом против студенчества, но этот орган, даром нам рассылаемый, не был распространен в студенческой среде. Провокация не производила, благодаря этому, того действия, на которое она была рассчитана. Нужны были такие бестактные выступления, как защита реакционной печатью той кулачной расправы со студентами, какую позволили себе московские охотнорядцы, чтобы вызвать серьезное волнение среди молодежи. И тут нам, пользовавшимся ее доверием молодым преподавателям, приходилось выступать с обычным советом сохранять чувство меры, как неоцененное качество, свойственное англичанам и немало содействовавшее успешному отстаиванию ими своих гражданских и политических прав. Сказать, что эти советы всегда принимались с благодарностью — было бы преувеличением; но недовольство тем, что студенты считали чрезмерной выносливостью, проходило скоро, и добрые отношения восстанавливались. Я вынес из своего продолжительного общения со студентами то впечатление, что они ценят в профессоре труд, затрачиваемый им при исполнении своих обязанностей, что их не задевает развитие взглядов, идущих вразрез с их собственными, если только лектор считает нужным обосновывать свои утверждения теми или другими фактами и соображениями, что они ценят простоту и товарищеское отношение. Все, что может сблизить профессора со студентами, должно было бы входить в программу так называемой университетской политики. Отсюда тот вывод, что приравнивать студентов только к слушателям — значит не только устранять возможность всякого воспитательного на них влияния профессоров, но и порождать в них желание пореже показываться в университете, ведь удобнее лежать в постели и читать печатные конспекты. Во время моего преподавания в Москве таких конспектов не было: студенты составляли лекции и литографировали курсы. Экзамен проводился из прочитанного, а чужие сочинения

рекомендовались только для восполнения курса. Теперь же пошли иные порядки. Студенты, при обязательном посещении лекций, не могли бы найти места в аудитории; профессора, издавши учебники или порекомендовав чужие руководства, не требуют от студентов знаний своих лекций. Студенты же посещают их, смотря по времени года, нередко чрез одну, так как в Петербурге встают поздно и приятно пропустить утренние часы. Один из моих товарищей недаром уподобил чтение лекций драматическим представлениям, а так как большинство профессоров — плохие актеры, то публики собирается мало.

Чувствую, что начинаю брюзжать по-стариковски, а потому спешу прервать мой и без того затянувшийся рассказ.

Глава V

Преподавание в Стокгольме, в Оксфорде и в Париже. Научные работы в Болье и летние странствия по архивам и библиотекам

Я жил в деревне, после моей вынужденной отставки, готовя новую книгу — «О законе и обычае на Кавказе», как внезапно пришло письмо, заключавшее в себе приглашение приехать в Стокгольм и положить в нем начало преподаванию общественных наук. В письме имелись и некоторые дополнительные подробности. Молодой экономист, по имени Лорэн, страдая от чахотки и предвидя свой близкий конец, оставил по завещанию 200 000 крон в распоряжение им назначенного комитета. Деньги должны были пойти на распространение в широких кругах путем лекций, брошюр и книг сведений по обществоведению, разумея под этим социологию, политическую экономию, сельскохозяйственную экономию, рабочий вопрос, мелкий кредит и пр. и пр. В комитет вошли под председательством ректора Медицинской школы, известного в Швеции врача Кая*/1, некоторые профессора и писатели обоего пола. В числе их оказались и мои знакомые — писательница Леффлер[2], с которой я имел случай встретиться в Лондоне, и С[офья] В[асильевна] Ковалевская — профессор высшей математики в Стокгольмском университете, с которой незадолго перед тем познакомил меня в Париже П.Л. Лавров[3]. Так как я имел в виду вскоре уехать за границу и принятие этого предложения только побуждало меня оставить Россию несколькими месяцами раньше, то я выразил мое согласие, потребовав, однако, нескольких месяцев для подготовки курса. Лекции предстояло мне читать по-немецки или по-французски. Я остановился на последнем. Предмет лекций предоставлен был моему выбору. Так как в последних моих книгах мне пришлось уделить немало времени на изучение вопросов, связанных с ранней историей семьи, собственности, государства, права вообще и нравственности, то я остановился сперва на мысли дать в коротком очерке генезис всех этих понятий и учреждений на основании широкого пользования, как сравнительно-исторических, так и сравнительно-этнографических методов. Из этой программы многие вопросы были уже рассмотрены мною в моем сочинении — «О первобытном праве», недоставало отдела зарождения нравственных понятий. Я приступил поэтому, прежде всего, к редакции этой заключительной главы. В это время не существовало еще большой литературы по истории морали. Книги Вестермарка Гоггауза и самого Летурно появились годами и даже десятками лет спустя. Известный трактат Спенсера о справедливости, очень богатый данными, и о генезисе морали еще не появ-

* Так в тексте. Следует: Кэй.

лялся. Имелось одно двухтомное сочинение Уэка «Эволюция нравственности». Оно заключало в себе очерки нравственных понятий отдельных народов древности и нового времени в связи с их религией. Это был скорее сырой материал, нежели синтез, отвечающий на вопрос о самом происхождении нравственных понятий. Неудовлетворенный им, я задался мыслью показать зарождение нравственных принципов в связи с первобытной общественной средой. Мои занятия бытом кавказских горцев и других народностей, стоящих на ступенях матриархального и патриархального быта, приводили меня к заключению, что представления о дозволенном и недозволенном, в которых и надо искать зарождения древнейшей морали, стоят в причинной зависимости от матриархального или, наоборот, патриархального уклада. Брачные запреты и всякого рода табу построены на мысли содействовать появлению актов, полезных для известного порядка жизненных отношений и препятствовать, наоборот, тем, которые разрушают этот порядок. Написанное мною не вошло, однако, в состав моего курса, так как не улеглось в рамки тех 20-ти лекций, к которым мне пришлось свести его. Я обнародовал мои заключения несколько лет спустя во французской статье: «Des origines du devoir» — буквально — «О происхождении понятия должного», помещенной в одном из первых номеров «Международного журнала социологии», выходящего в Париже и достигшего в нынешнем году 25-летия своего существования. Не далее, как в прошлом году я пересмотрел и восполнил свой очерк и включил его в этом исправленном виде в обширную статью «О генетической социологии», которая должна была появиться и, может быть, уже вышла в «Итогах науки»* — многотомном коллективном сочинении, издаваемом в Москве. Те, кто желают познакомиться в коротком изложении с моей системой понимания генезиса общества, права, морали, семьи, собственности и политических учреждений, должны необходимо вспомнить мои стокгольмские лекции, вышедшие в переводе на русском языке этим позднейшим очерком.

Затратив несколько месяцев на черновой набросок разросшейся статьи «О дозволенных и недозволенных действиях», я вернулся к вопросам ранней организации семьи, рода и имущественных отношений и резюмировал в 20-ти лекциях результаты своих предшествующих работ и монографических исследований. Проездом через Петербург, где я остановился всего на один день, я побывал у Ал[ександра] Дм[итриевича] Градовского[4]. Проф[ессор] Склифософский[5] предупредил меня, что Градовскому осталось прожить лишь несколько недель. Я уезжал на месяцы, а может быть, и годы. Градовский был в числе тех, которые, после выхода моей магистерской диссертации, приглашали меня перевести мою профессорскую деятельность в Петербург. В своей новой книге «О го-

* Ковалевский М.М. Обособление дозволенных и недозволенных действий // Новые идеи в социологии. Спб., 1914. Ст. 4. Генетическая социология.

сударственном праве европейских держав», в отделе, посвященном истории Англии, Градовский дал преувеличенно лестную оценку моему «Общественному строю Англии в конце средних веков». Я считал себя обязанным выразить ему мою признательность. Состояние, в котором я нашел его, не позволило мне продлить моего визита. Мы обменялись сожалениями и пожеланиями и горячо пожали друг другу руки. Градовский умирал от болезни сердца, которую немудрено было нажить человеку, старавшемуся в разгаре реакции, овладевшей Россией в царствование Александра III, проводить идеи правового государства. Да и семейная жизнь его не была счастливой. Жена его впала в сумасшествие и пережила его немногими делами*.

Я дал себе слово также побывать у Пахмана[6], в то время уже занимавшего пост сенатора. Пахману я был обязан дарованием мне «Географическим обществом» большой Константиновской медали за мою книгу «Современный обычай и древний закон». Эта награда пришла вовремя, вскоре после вынужденного оставления мною кафедры и свидетельствовала, во всяком случае, о том, что полученная мною отставка не вызвана моей научной негодностью. Пахмана я, к сожалению, не застал дома и увидал его впервые на смертном одре в прошлую зиму.

По приезде в Стокгольм я отправился, прежде всего, на дом к Софье Васильевне. Она сообщила мне, что приглашение меня, как лектора, состоялось после того, как два иностранных ученых, Мэн[7] и Фюстель де Куланж[8], специально спрошенные из Стокгольма, прислали обо мне свои одобрительные отзывы. Рекомендация, данная мне Фюстель де Куланжем, заслуживает быть отмеченной. Он писал, что в редком вопросе мы одинакового мнения, прибавляя, что так, к сожалению всегда бывает в вопросах эрудиции. Затем следовали похвалы моей работоспособности и уменью отстаивать свои взгляды. Я был единственным профессором, призванным открыть преподавание по общественным наукам в Стокгольме. Лекции должны были происходить в здании университета, в свою очередь открывшегося только за несколько лет до моего приезда. Университет[9] являлся частным предприятием и призван был восполнить образовательную деятельность двухвековых учреждений того же рода — университетов в Упсале и Лунде. Они приблизительно играют в Швеции ту же роль, что Оксфорд и Кембридж в Англии. Мне не хотелось принять на себя всю ответственность за постановку нового дела, и, так как в завещании Лорэна значилось, что ввиду недостаточной разработки обществоведения в Швеции, он желал бы привлечь к нему ученых из других стран, я посоветовал отложить открытие курсов на время и обратиться во Францию и Германию за лекторами. Мне поручили наметить кандидатов. Так как Шефле**/[10] в это время уже не был министром в

---

* Так в тексте. Следует: неделями.

** Так в тексте. Следует: Шеффле.

Австрии и перенес свое местожительство в Тюбингене, то я посоветовал обратиться к нему, как к самому крупному представителю социологии в Германии. В скором времени вышли его 4 тома под заглавием: «Строй и отправления общественного организма». Не зная, кто из французских ученых пожелает приехать в Швецию и думая, что за это всего охотнее возмется человек, занимающийся изучением шведской культуры, я написал в Париж Рудольфу Даресту, члену Института, недавно отпечатавшему статьи в «Журнале ученых» о моем «Современном обычае и древнем законе». Дарест рекомендовал пригласить профессора университета в Нанси — Боше[11], занимавшегося в то время изучением древнего шведского права. Боше, как показала его последняя деятельность, был человек большой эрудиции и редкой работоспособности. Он оставил по себе не только обширный труд «О земельной собственности в древней Швеции», не только перевод древнейших шведских сводов, в том числе «Вестготолаге» (закон западных готов), но и 4 тома «По истории частного права древних Афин». Он кончил свои дни членом «Академии нравственных и политических наук» в Париже и только потому не остался на кафедре, что предпочел ей отправление должности мэра в г. Нанси. В 1887 г. он был еще молодым ученым, известным своей книгой «О процессуальном праве в эпоху Меровингов» и едва приступил к изучению шведских источников. Он рад был провести зиму в Стокгольме и воспользовался его библиотекой и архивом. Шефле сперва дал свое согласие, затем ввиду преклонного возраста и болезни не решился предпринять отдаленного путешествия. Осенью 1888 г. мы приступили вдвоем, Боше и я к исполнению возложенного на нас поручения. Боше читал курс прикладной политической экономии, я — историю первобытной семьи и общественности. Курс мой впоследствии был отпечатан в издании Лорентского фонда и разошелся в значительном числе экземпляров*. Аудитория состояла по преимуществу из женщин. Французский язык распространен в их среде гораздо больше, чем среди мужчин. Наибольшее впечатление произвела лекция об «анимизме»**/12 и культе предков, но интерпретацией моей остались недовольны. Спиритизм имеет много сторонников, особенно в женском обществе, в Швеции. Анимизмом поэтому многие не прочь доказывать исконность той религии, какой придерживаются вызыватели духов. Кроме курса, я прочел еще в подобии вольной академии, в состав которой входили многие профессора университета и такие знаменитые археологи, как Гильдебрандт[13] и Монтериус***/14, короткий этюд о религиозных верованиях осетин. В том же собрании Монтериус сделал сообщение о своих археологических поездках в Италию и о древнеаппе-

---

* Ковалевский М.М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. Лекции, читанные в Стокгольмском университете. Спб., 1895. 2 изд. Спб., 1899.

** Так в тексте. Следует: аниматизм.

*** Так в тексте. Следует: Монтелиус.

нинской культуре, предшествовавшей поселению на полуострове арийских племен. На эту тему написаны были им впоследствии целый томы, давшие ему громкое имя в среде археологов. Гильдебрандт и Монтериус очень любезно предложили мне посетить в их обществе «Музей севера», — одну из главных достопримечательностей Стокгольма и дать мне нужное объяснение. В этом музее я, между прочим, увидел хорошо сохранившийся экземпляр тех судов, на которых викинги делали свои смелые набеги на близкие и отдаленные страны. От тех же археологов я узнал, что в «Центральном архиве» Стокгольма сохранилось немало писцовых книг отдельных пятин Новгородской области. Они, по-видимому, вывезены были в Смутное Время де-Лагарди*/15. Другая часть тех же писцовых книг, как я сам убедился, хранится в Упсальской библиотеке, где имеется также в рукописи знаменитое сочинение Катошихина. Мне говорили, что правительство, вероятно бы, пошло на обмен этих писцовых книг на какие-нибудь рукописи, касающиеся шведской истории и хранимые в русском архивах и библиотеках. Благодаря С.В. Ковалевской[16], я перезнакомился с очень многими выдающимися профессорами и литераторами, между прочим, с Норденшильдом**/17, открывшим, как известно, северный путь по Ледовитому океану. Он в то время пользовался большим престижем в широких кругах, и когда я вздумал пригласить его вместе с другими своими знакомыми на обед в Гранд-Отеле, хозяин, не спросясь меня, украсил стол его гипсовым изображением.

Для меня центром интереса была, разумеется, моя знаменитая однофамилица. Я проводил свободное время в ее обществе. Она, действительно, была женщиной замечательной. Биография ее хорошо известна, так как рассказана ею самой и ее приятельницей Лефлер-Кайянелло, но несколько добавочных штрихов будут не лишними, особенно со стороны лица, которому в ее жизни приписана преувеличенная роль. Мы сошлись приятельски потому, что оба были одиноки и на чужбине. Она окружена уважением и даже восторгом, но без сердечной близости, чувствуя себя все время русской женщиной, оторванной от своей обычной среды, живущей русскими интересами, жаждущей всего больше задушевной беседы о том, что делается по ту сторону Балтийского моря. Я, разумеется, не имею никаких данных, чтобы позволить себе суждение о том, что была С[офья] В[асильевна] в своей специальности. То обстоятельство, что ей присуждена была Академией Наук в Париже[18] удвоенная премия за работу по высшей математике, очевидно, само говорит о том, что в этой области она обнаружила и знание и оригинальность. Диссертация писалась на глазах у меня[19]. Так как ей нужно было спешить с окончанием, а я отнимал у нее немало времени на разговоры, то наш общий приятель, — профессор математики Миттаг-Леффлер убедил меня на

---

* Так в тексте. Следует: Делагарди.

** Так в тексте. Следует: Норденшельд.

время уехать в Упсалу, отстоящую всего на несколько часов от Стокгольма. Когда я вернулся ввиду того, что мемуар был окончен и послан в Париж, я нашел С[офью] В[асильевну] внезапно состарevшейся: так сильно было то умственное напряжение, которое ей пришлось пережить. Она только медленно оправилась от своего переутомления. С[офья] В[асильевна] была натурой, как говорят теперь, многогранной. О том, насколько она увлекалась литературным трудом, свидетельствуют изданные мною, после ее смерти, отрывки из почти законченных или только начатых повестей и рассказов. Но она интересовалась и естественными науками, и историей, и обществознанием. Способность быстрого ассимилирования всякого рода мыслей в любой области и затем критического отношения к ходячим теориям, раскрытие недочетов и слабых сторон в тех или других построениях была в ней поистине изумительна. А разве это не доказательность и большого ума, и значительной талантливости. Так как в это время я был очень занят вопросами сравнительной этнографии и сравнительной истории права и учреждений, то в наших разговорах мы касались нередко этих тем. С[офья] В[асильевна], почти ничего не читавшая в этой области на расстоянии немногих дней, черпая свои сведения нередко из устной передачи, приобретала уже возможность к построению самостоятельных гипотез и критики чужих. При этом ее фантазия увлекала ее далеко за пределы реальности, так далеко, что я однажды позволил себе заметить ей шутя: «Вы с полным правом могли бы повторить слова г-жи Дюдефан*/20. Если факты не укладываются в мою схему, тем хуже для фактов». Фантазия, как мне говорили, необходимейшее свойство при занятии высшей математикой. При позднейших наших встречах в Англии, Франции, Италии, Швейцарии нам приходилось подымать и другие темы, напр[имер], исторические. Я одно время много читал по эпохе первой английской революции и зачинавшемуся** в то время демократическому движению так называемых уравнителей. С[офья] В[асильевна] настолько заинтересовалась тою же темой, что одно время не прочь была писать исторический роман из жизни интендентов. Мы живо обсуждали с нею всякие вопросы, касающиеся настоящего и будущего России. Она, под влиянием мужа и сестры, вышедшей замуж за Жаклара, одного из участников Коммуны, жила в довольно близком общении с радикалами и социалистами всех стран. Одной из ее приятельниц в Париже была очень талантливая полька госпожа Яновская***/21, вышедшая впоследствии замуж за эмигранта Мендельсона. У Яновской собирался международный кружок общественных «ликвидаторов». Далеко не разделяя их взглядов, С[офья] В[асильевна] любила встречаться с людьми, не отступавшими перед крайними решениями. Это давало тему для самостоятельной рабо-

* Так в тексте. Следует: Дюдеффан.
** Так в тексте. Следует: начинавшемуся.
*** Так в тексте. Следует: Янковская.

ты ее мысли. Назвать ее социалисткой или коммунисткой — было бы грешить против истины. Но общество, в котором каждый жил бы своим трудом, высказывая открыто и проводя в жизнь свои мысли, очевидно, удовлетворило бы ее вполне. Никаких унаследованных предрассудков религиозных или сословных она не имела. Вопрос о монархии и республике мало волновал ее. Другой аристократии, кроме ума, знания и таланта она, разумеется, не признавала. Я не встречал человека более космополитически настроенного в своих взглядах и более русского по чувствам. Раннее знакомство с Достоевским[22], вероятно, немало содействовало развитию в ней литературного вкуса и любви к русской словесности. Но на ее миросозерцание со своим «всечеловеком» и своей ненавистью ко всему, что он называл материализмом, Достоевский никакого влияния не оказал. Как жена известного палеонтолога и как свояченица знаменитого эмбриолога, как женщина, в ранней молодости близкая к кружку Сеченова[23], и воспитанная в поклонении Дарвину[24], она, разумеется, только со смехом могла относиться к тем глубым нападкам, какими даже такие гениальные писатели, как Достоевский, осыпали не только действительных, но и мнимых материалистов за их безбожие и производство человека от обезьяны. С[офье] В[асильевне] в своей жизни пришлось встретить такую теплую симпатию со стороны некоторых величайших представителей отрешенного от всякой теологии научного знания, что она не могла относиться иначе, как с презрением к тем, кто отрицает в людях нерелигиозных всякие добродетели. Когда она, после своего фиктивного брака[25] уехала учиться математике, знаменитый Вейерштрасс[26], не имея возможности допустить ее на свои лекции, так как в Берлине закрыт был доступ женщинам в университет, стал обучать ее даром у себя на дому. А когда пришло известие о самоубийстве ее мужа и ее материальной необеспеченности, тотчас же Вейерштрасс предложил ей сделаться его третьей сестрой и навсегда поселиться у него. Не приняв этого предложения и продолжая зарабатывать себе существование лекциями сперва в Гельсингфорсе[27], а затем в Стокгольме, куда рекомендовал ее Вейерштрасс своему ученику Миттаг-Леффлеру[28], С[офья] В[асильевна] сохранила до конца жизни благодарную память о человеке, так великодушно и предупредительно отнесшемся к ее трудному материальному положению. Она навещала его не только проездом через Берлин, но и во время его летнего пребывания в горах Гарц.

В молодости С[офья] В[асильевна] была очень красива и знавший ее в это время К[лим[ент] Аркадьевич Тимирязев[29] говорил мне, что за нею очень ухаживали. Но натура умственная по преимуществу, она в это время всецело была поглощена своею специальностью и не давала никакого простора чувствам. Испытанное ею за границей одиночество заставило ее искать дружбы, и когда представилась возможность частного общения с не менее ее оторванным от русской жизни соотечественником, в ней заговорило также нечто, близкое к привязанности. Иногда ей казалось, что это чувство становилось нежностью. Но это нисколько не мешало ей во всякое время уйти в научные знания и проводить ночи на-

пролет в решении сложных математических задач. Если бы ей суждено было прожить дольше, она, быть может, стала бы уделять больше времени на литературную работу. Одно время она мечтала о том, чтобы покинуть Стокгольм и отдаться всецело писательству. Но я сомневаюсь в том, чтобы в этой области она достигла того громкого успеха, какой обеспечили ей ее совершенно исключительная и еще в детстве проявившаяся способность к математике. Да и любила она ее слишком сильно, чтобы навсегда порвать с нею. Тяжелые роды, после которых ее некоторое время отчаивались спасти, положили начало у ней сердечной болезни. Припадки приходили неожиданно. Однажды, поднимаясь из Болье на известную Корниш, живописную дорогу, ведущую горой из Ниццы в Тюрби, она подверглась одному из таких припадков, и я боялся, что не довезу ее живой обратно. Другой раз такой же припадок сделался с нею ночью во время научных занятий. Отдых в южном климате восстанавливал ее силы. Крайне тяжело было вернуться в Стокгольм. Но просьба о новой отсрочке не могла быть уважена. Перед отъездом[30] она мучалась какими-то предчувствиями, и у ней проявились даже ранее не замеченные мною суеверные страхи. Черная кошка перебежала нам дорогу, когда мы шли на вокзал. Она упросила меня проводить ее до Канн, говоря, что один из нас должен умереть. В Каннах она простудилась и простуженной уехала в Париж, где провела несколько дней в обществе тамошних математиков. Простуда ее еще больше увеличилась при переезде через паром в Швецию. Приехав в Стокгольм, она письменно попросила Миттаг-Леффлера прислать ей доктора. Доктор не определил правильно ее болезни, стал лечить от почечной колики, когда в действительности, как оказалось после вскрытия, она страдала гнойным плевритом. Миттаг-Леффлер уведомил меня о ее нездоровье. Я в тот же вечер уехал в Стокгольм и в Киле получил телеграмму, извещавшую о ее кончине. По прибытии в Стокгольм, я нашел ее уже мертвой. На похоронах я был единственным русским и произнес над ней надгробное слово[31], как о представительнице той, только зарождающейся будущей России, которой суждено быть страною мира, общественной справедливости и широкого умственного и художественного развития. Многие пустились в догадки о причинах внезапной смерти молодой сравнительно женщины, которой в то время интересовалась вся мыслящая Европа. Ее приятельница Лефлер-Кайянелло, жившая в то время в Неаполе и заканчивавшая ее биографию, высказала догадку о том, не покончила ли С[офья] В[асильевна] свою жизнь самоубийством, ввиду, якобы, неразделенной любви. Так как подобные слухи охотно принимаются на веру, то на этот счет сложилась подхваченная романистом Барин[32] легенда. Я получил самые точные сведения о всем ходе болезни, как и о результатах вскрытия. Доктор Кэй, присутствовавший на нем, сообщил мне, что у С[офьи] В[асильевны] найден был такой порок сердца, который и без болезни должен был вызвать скорый конец. Гнойный плеврит только ускорил этот исход.

Годы, проведенные в Ривьере

15 лет, проведенные мною за границей, ушли на литературно-научную работу, прерываемую чтением временных курсов в Оксфорде, Париже, Брюсселе и, наконец, в Чикаго. Я поселился в окрестностях Ниццы, в Болье, устроил там свою библиотеку, завел русского секретаря и почти ежедневно проводил 2—3 часа в диктовке. После двухчасовой прогулки я принимался за чтение, обедал поздно, ложился спать рано и в общем вел существование человека, отрешившегося от всяких светских обязанностей и поддерживавшего общение с небольшим кружком русских и иностранцев, приезжающих на Ривьеру на зиму. Под боком, в Виллафранке, лежащей в расстоянии 20 минут от Больe, имеется русская зоологическая станция, устроенная киевским профессором Коротневым*/33. На ней всегда работает несколько русских и заграничных ученых. В числе других — эмбриолог Александр Онуфр[иевич] Ковалевский[34] и известный своими «Письмами по физиологии»** Карл Фохт[35], друг Герцена, нередко проводили по месяцам чуть не в ежедневных опытах над морскими животными, которыми так богата Виллафранкская бухта. В Ниццу приезжало также немало русских литераторов и художников. Плещеев[36], Мережковский[37], Боборыкин[38], В[асилий] Ив[анович] Немирович-Данченко[39], Чехов[40], кн. Сумбатов[41], редактор «Русских Ведомостей» В.М. Соболевский[42], их сотрудник Джаншиев. Но главным центром притяжения русской литературной братии был известный петербургский врач Белоголовый[43], ассесор*** Боткина[44], приехавший лечиться в Ментону, где Боткин скончался уже во время моего пребывания на Ривьере. Все эти лица поддерживали со мною сношения, так что я ежедневно виделся с русскими и имел возможность говорить на родном языке. Приезжали также врачи, художники, русские общественные деятели, кое-какие профессора. Одно время гостил у меня Пав[ел] Гавр[илович] Виноградов, принужденный прервать свою профессорскую карьеру в Москве и занятый подготовлений лекций для Оксфорда. Годы спустя приехал на время навестить меня покинувший преподавание мой покойный друг Ал[ександр] Ив[анович] Чупров. В числе художников, постоянно бывавших у меня, назову академика Якоби[45] и Юрасова, исполнявшего обязанности вице-консула в Ницце. Из иностранцев, кроме Фохта, бывали и даже жили у меня по неделям Вандервальде****/46 и Дегреф*****/47 — профессора Брюссельского университета. Я находился в постоянном общении с доктором русской колонии Эльснером и кружком его русских и французских друзей. Мне, разумеется, не было бы никакой возмож-

---

* Так в тексте. Следует: Коротнев.

** Так в тексте. Следует: Фокт К. Физиологические письма. СПб., 1867. Т. 1—2.

*** Так в тексте. Видимо, ассистент.

**** Так в тексте. Следует: Вандервельде.

***** Так в тексте. Следует: де Грееф.

ности редактировать в Болье такие работы, как «Происхождение современной демократии» или «Экономический рост Европы» без частых поисков в архивах и библиотеках. Кое-какой материал был уже мною собран во время почти годового пребывания в Италии и шестимесячного в Испании, во время моей командировки за границу в 1881 и 82 гг. За это время я успел собрать немало материала по экономической жизни средневековых республик Аппенинского полуострова в библиотеках и архивах в Болонье, Фаэнцы, Форли, Римини, Флоренции, Сиены, Пизы и Рима. Мне пришлось дополнить этот материал пребыванием по целым месяцам в Венеции, посещением Брешии, Милана, Генуи и Турина. Все собранные мною документы, далеко еще не исчерпаны. Я воспользовался в своем «Экономическом росте Европы» только данными по истории средневекового землевладения в Италии и цеховому устройству. Но у меня еще найдется материала еще на несколько томов для очерка итальянского городского хозяйства в XIII и XIV вв. в связи с политической историей важнейших муниципий в эпоху расцвета их республиканских порядков. Неожиданное возвращение в Россию, избрание в Думу, а затем в Государственный Совет, возобновление профессорской и журнальной деятельности пока не оставили мне времени написать 4-ый и заключительный том моего «Экономического роста Европы» в средние века, который и должен обнять экономическую жизнь средневекового города. Для той же темы я немало работал в Венецианском архиве, нередко выходя за рамки моей прямой задачи, знакомясь с древнейшими писателями Италии о деньгах и монетном обращении, о кредите, банках и о протекционной системе, которая зародилась в отношении друг к другу итальянских муниципий в средние века. Венеция доставила мне материал и для целого тома моего «Происхождения современной демократии», тома, озаглавленного: «Конец одной аристократии»*. Я перевел его и на французский язык. Она нашел весьма лестную оценку в Риме, где в журнале «Antologia Italiana» он назван был самым беспристрастным из всех доселе появившихся отчетов о причинах и процессе упадка Республики св. Марка. В этом томе я коснулся, между прочим, и итальянской экономической литературы за XVIII столетие, еще независимой от влияния английских идей школы Адама Смита[48] и его последователей. Эта глава обратила внимание известного Лориа, одно время профессора в Падуе, а теперь в Турине и автора немало наделавшего шума трактата «О генезисе капиталистической собственности». Когда открылась для меня возможность преподавания на русском языке в Париже, я в одном из моих курсов вернулся к экономической литературе Италии, охватил в своей передаче писателей и более ранней эпохи, чем XVIII столетие, указал связь их учений с экономической жизнью и провел некоторые параллели

* Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии. В 4 т. Т. IV. Конец аристократических правительств. М., 1897.

между итальянской школой протекционистов и той, какая в сильной зависимости от нее развилась во Франции и в Испании. Этот курс доселе не напечатан.

Поездка в Испанию и работа в течение нескольких месяцев в «Архиве древнего Арагонского королевства» в Барселоне доставила мне материал для тех глав моего «Экономического роста Европы», которые посвящены истории средневекового землевладения, крестьянской несвободы и эмансипации в пределах Иберийского полуострова. Проф[ессор] Пискарский*/49 позднее меня занялся изучением тех документов и написал историю крестьянского сословия в Арагонии. Благодаря ему и моя точка зрения на судьбы испанского крестьянства проникла в среду историков и экономистов Овиедо и Мадрида. Один из испанских профессоров, с которым я имел случай встретиться на съездах международного института социологии в Париже, профессор Буилия, говорил мне, что обе точки зрения одинаково обсуждались в научных журналах Испании, находя и сторонников, и противников. Мне удалось в меньшей степени исчерпать богатое собрание монастырских хартий при «Мадридской Академии Истории». Плохо оплачиваемые чиновники, заведующие этим архивом, являются на службу поздно и уходят рано. Мне едва открывалась возможность работать в нем ежедневно в течение 2-х часов. Чтобы проникнуть в богатейший архив при кафедральном соборе в Толедо, мне пришлось запастись рекомендацией русского посла кн[язя] Горчакова к главе испанского духовенства — кардиналу Морено, который весьма милостиво снабдил меня своим пастырским приказом и поручил мне передать всему русскому народу его добрые чувства, чего я, к сожалению, не имел возможности исполнить до сих пор. Библиотека Эскуриала и «Архив обеих Индий» в Севилье доставили мне обильную пищу, но далеко не по экономической истории Испании. Если мне когда-либо придется сделать новое издание моей книги «Об общинном землевладении, причинах и ходе его разложения», я в состоянии буду ввести в нее дополнительную главу о роли испанской политики в разложении того общего родового строя, какой существовал в среде краснокожих до завоевания южной и средней Америки преемниками Фердинанда и Изабеллы.

Почти ежегодное пребывание в Париже в течение 2—3 весенних и осенних месяцев было занято посещением библиотеки и Центрального Архива. Первый том «О происхождении современной демократии», почти всецело построенный на тех частью рукописных, частью печатных данных, которые собраны были мною в течение долгих часов, проводимых по утрам то на «площади Валуа», на которой возвышается здание «Национальной Библиотеки», то на улице «свободных буржуа», где расположен дворец «Национального Архива».

---

* Так в тексте. Следует: Пискорский.

Исполнив довольно кратко неизбежную обязанность всякого историка указать источники, в которых он почерпнул свои сведения об изученных им вопросах, я перейду к характеристике некоторых лиц, с которыми сблизило меня мое долговременное пребывание на юге Франции. Для русского читателя могут быть не безынтересными некоторые подробности жизни излюбленных им писателей и поэтов, как Плещеев, Мережковский, Чехов или Боборыкин. Кое-кого из них я знал раньше. С Плещеевым я встретился на чествовании Пушкина, по случаю постановки ему памятника в Москве. Он в то время жил исключительно литературным трудом и едва сводил концы с концами. Каково же было мое удивление, когда, посетив меня, он начал с заявления: «Я теперь набоб». Оказалось, что он неожиданно унаследовал обширное имение от какого-то жившего на Волге племянника. Зажил он с семьею широко в Ницце, стал приглашать к себе друзей-писателей из Петербурга и закатывать обеды. К сожалению, золотой дождь посыпался на него тогда, когда, по его же выражению, «белка оказалась без зубов». Состоянием более воспользовались его домочадцы, чем он сам. Я встречался с ним еженедельно за обедами в «Русском пансионе», в котором устроился со своей женой доктор Белоголовый. Сходилось нас более десятка русских, в числе них Юрасов, Коротнев, Эльснец*. Белоголовый был очень болен. Оживленная беседа обыкновенно на русские злободневные вопросы расстраивала его настолько к концу вечера, что мы поневоле должны были расходиться довольно рано. Это было время самого разгара реакции, наступившей после убийства Александра II. Белоголовый говорил нам, что его сердце и без того больное не выдержало постоянных известий об арестах, административных высылках и тюремных заточениях и что он поэтому решился покинуть Петербург. Одно время он жил в Веве в Швейцарии и под псевдонимом писал в «Общем деле», издаваемом Гальперином, затем переселился в Ментону и Ниццу, где проживал после своей отставки всемогущий некогда министр граф Лорис-Меликов[50]. Белоголовый лечил его и был с ним близок. Лорис-Меликов рад был частому свиданию с человеком очень большого ума и охотно делился с ним своими воспоминаниями. Нередко он давал ему прочесть и немногие оставшиеся в его руках документы из эпохи, прозванной Щедриным[51] — «диктатура сердца». После кончины Лорис-Меликова Белоголовый однажды явился ко мне с целой папкой, наполненной снятыми им копиями с этих актов. Нашлись в них и текст пресловутой конституции, уже подписанной Александром II за несколько дней до его убийства, и переписка самого Лорис-Меликова со многими деятелями последних лет царствования Царя-освободителя. «Вы все хотите уплатить мне гонорар, — сказал мне однажды шутя Белоголовый, — Вы теперь можете это сделать в следующем виде: вот Вам материал, напишите на основании его брошюру о

* Так в тексте. Видимо, Эльснер.

конституции Лорис-Меликова, издайте ее на свой счет, сохраняя, разумеется, псевдоним». Несколько месяцев спустя эта брошюра появилась в Лондоне*. Мое авторство настолько было сохранено в тайне, что брошюру приписывали сперва недавно умершему редактору «Русской старины» — Михаилу Семевскому[52], а затем, после смерти Белоголового, самому Белоголовому. Оба известны были своей дружбой с покойным диктатором. Я, как человек, никогда с ним не встречавшийся, заподозрен не был. Брошюра разошлась в нескольких тысячах экземплярах и выдержала затем 2-ое издание.

Плещеев, бывая у меня изредка со своими дочерьми, являлся в сопровождении семьи Мережковских. Мережковский был тогда еще совсем молодым человеком, автором сборника стихов. Жена его, известная Гиппиус[53], писала свои рассказы, начинавшие пользоваться успехом. После завтрака Мережковский спешил оставить нас и в одиночестве прогуливался по берегу моря, вероятно, для того, чтобы обдумать ту или другую литературную тему. Плещеева это, видимо раздражало и с балкона он посылал ему известный стих Пушкина: «Поэт, не дорожи любовью народной». Молодой писатель производил на меня впечатление человека замкнутого в себе и довольно высокомерно относящегося к другим. Он был молчалив и имел скучающий вид. Каюсь, я не ждал от него в то время его «трилогии». Я не имел представления о том, как серьезно он относится к своей задаче и как добросовестно изучает интересующие его эпохи. Однажды я имел случай убедиться, что мое почему-то составившееся представление о его надутом верхоглядстве — продукт недоразумения. Зашла речь об итальянском Возрождении. Я спросил его о том, читал ли он Бургардта и Виллари[54]; Маккиавелли и его время. Он ответил мне, улыбаясь, что, разумеется, читал, да и многое другое, причем назвал мне несколько сочинений, мне лично оставшихся неизвестными. Я прочел впоследствии ту часть его трилогии, которая посвящена Леонарду-да-Винчи**/[55] и изображению двора Людовика Мора. Эта эпоха мне достаточно известна, и я могу только признать, что при ее изображении Мережковский осуществил задачу историка, уважительно относящегося не только к общей картине описываемой им эпохи, но и к ее деталям. Это до некоторой степени мозаичная работа, подобная той, какую проделывал Флобер[56] и проделывает в наши дни Анатоль Франс[57]. Мережковский — человек, несомненно начитанный, но какая бездна отделяет его, как бытописателя и как собеседника от Ив[ана] Серг[еевича] Тургенева. В последнем чувствовалось целое миросозерцание человека, одинаково отрешившегося и от богословской и от метафизической кабалы, много думавшего над вопросами столько же общечеловеческой, сколько и русской жизни. В Мережковском же сидит какой-то средневековый схоластик, который возится с придуманной им новой

---

* Конституция графа Лорис-Меликова. Лондон, 1898.

** Мережковский. Воскресшие боги (Леонардо да Винчи). СПб., 1901.

«Тримурти»[58], в которой Юпитеру, Христу и Антихристу приходится играть роль каких-то ипостасей. Я уже в бытность мою в Петербурге выслушал из его уст это своеобразное исповедание веры, настолько хаотическое, что на первый взгляд мне показалось, что он просто смеется надо мною. Тогда как все в Тургеневе было просто и одновременно художественно, у Мережковского многое ходульно и всегда деланно. Мечников[59] восхищается его «Антихристом», то есть, в сущности, изображением Петра В[еликого], я полагаю, прежде всего, потому, что он сводит его с того пьедестала, на который возвел его Пушкин. Но Петр «мореплаватель и плотник» гораздо ближе стоит к тому изображению, какое дают ему не только французские мемуары XVIII столетия, но и тот отчет посланного следить за ним, во время его пребывания в Париже, тайного агента — кардинала Альберони, который я много лет тому назад обнародовал в «Русской мысли» по рукописи, уцелевшей в архиве Алкала Хенареса в Испании. По моему, Петр В[еликий] в изображении Мережковского больший варвар, чем он был на самом деле, и притом варвар в каком-то переодевании, выставляемый на забаву ярмарочной толпе. Историки утверждают, что в изображении Мережковского Александр I и особенно его жена Елизавета Алекс[еевна] будто бы терзаемые угрызениями совести за участие в заговоре против Павла, далеки от действительности, от исторической правды. В этом смысле высказался великий князь Николай Михайлович в одном неизвестном в России интервью, которое он имел в Мариенбаде с австрийским журналистом. И действительно, человек, обнаруживший столько двоедушия в своих отношениях и к Наполеону и к Сперанскому, едва ли был той мягкой, нерешительной и мучимой раскаянием личностью, какой рисует его нам Мережковский. Вопреки ходячему мнению, я думаю, что те драматические сцены, в которых Мережковский изображает убийство Павла, отличаются наибольшей реальностью. Заговорщики, во всяком случае, не представлены героями, сознательно жертвующими собою для пользы отечества. Я решительно не могу понять причины, по которой русская цензура сочла нужным преследовать это далеко не идеализированное изображение новых Брутов, столь отличных от настоящего.

Чехов, который в течение ряда зим не раз виделся со мною и на моей вилле, и в Русском Пансионе в Ницце, производил иное впечатление, чем Мережковский. Это был большой и здоровый ум, воспитанный на занятиях точными науками, отличавшийся большой наблюдательностью, остроумием, способностью схватывать типы и изображать их с художественной простотой. Так называемого философского образования у него не было и следа, а о разносторонности Тургенева или Толстого в применении к нему говорить даже смешно. Не было в нем также гоголевского юмора, тех «сквозь видимый смех незримых и невидимых слез», которые поражают при чтении не одних «Мертвых душ», но и таких повестей, как «Акакий Акакиевич». Чехова отнюдь нельзя назвать сатириком, вроде Салтыкова с его неизменным шаржем. Его повести — это до поразительности верное изображение мельчайших по-

дробностей человеческой пошлости и русского безвременья. Кто старался допытаться от Чехова, каково собственное его, не скажу миросозерцание, так как такового у него не было, а отношение к тому, что можно назвать русской злобой дня, тот получал от него лишь довольно элементарные ответы, вроде следующих: пришел в деревню помещик, зажил себе в удовольствие на счет обделенного им крестьянина, побаловался, прокутил, что имел, ну, и уходи. — Пришел на его место купец, извел леса, истощил почву, набил карман, ну, и уходи. Земля останется за крестьянами и не на каком-то общинном начале, якобы отвечающем отвлеченной справедливости, а в действительности только изнуряющем почву и грозящем голодовкой, а так, чтобы каждый знал границы своего участка и возделывал его возможно хозяйственно. «Мужики» Чехова, быть может, самая глубокая из разработанных им тем. Это — критика нашего народнического понимания желательных порядков русской деревни. Я не удивляюсь тому, что критики «Русского богатства» напали на них с озлоблением. Они метили не в бровь, а прямо в глаз.

Чехов относился с необыкновенной добросовестностью к своей работе писателя. У него было еще меньше выдумки, чем у Тургенева. Однажды, жалуясь на то, что по причине плохого здоровья он должен был расстаться со своим великорусским хутором и переселиться, как он выражался, к татарам в Крым, он говорил мне: «Я, живя в Московской губ[ернии], на десятки верст в окружности знал чуть ли не каждую избу и мог поэтому писать о том, что видел и что слышал». Другой раз он сообщил мне о том, что намеревается избрать предметом своего ближайшего рассказа или повести сельского учителя, одного из несчастнейших, по его мнению, людей в России. «Я знаю, — прибавлял он, — в мельчайших подробностях судьбу 30—40 учителей моей местности и поэтому в моем рассказе не будет ничего выдуманного». Чехов любил деятельность врача, охотно оказывал медицинскую помощь неимущим крестьянам в своей округе и это позволило ему войти в близкие и простые отношения и узнать крестьянскую жизнь и нужду непосредственно, а не из книг. Его интересовало живо все, касающееся земской России. Вопросы политического устройства — представительство, парламентаризм — интересовали его в слабой степени. Но он был горячий сторонник таких порядков, которые бы доставили каждому возможность жить в полном согласии с своей совестью. Во время известного дела Дрейфуса[60] он с жаром читал газеты и, убедившись в невинности «оклеветанного еврея», писал никому другому, как Суворину[61], горячие письма о том, что нечестно травить ни в чем неповинного человека. Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответе на одно из таких писем, написал ему: «Вы меня убедили». «Никогда, однако, — прибавлял Чехов, — «Новое время» не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом». — «Чем же объяснить это?», — спросил я. — «Ничем другим, — ответил Чехов, — как крайней бесхарактерностью Суворин-

на. Я не знаю человека более нерешительного и даже в делах, касающихся собственного семейства».

В Ницце Чехов скучал, как скучал бы и повсюду вне России. Он сколько-нибудь оживлялся в обществе приезжавших на Ривьеру литераторов. Со многими из них он был на ты. Они легко могли увлечь его в Монте-Карло, где он играл, разумеется, весьма скромно. В угоду приятелям он не прочь был по целым часам обсуждать способы сорвать рулетку. Я однажды проскучал у него целый вечер, прислушиваясь довольно невнимательно к живому разговору на эту тему. В дни, следовавшие за припадками кровохарканья, Чехов был угрюм и молчалив. Будучи сам хорошим врачом, он не обольщался на счет возможности исцеления и предсказывал, что он умрет сравнительно молодым человеком.

За невозможностью проводить зиму иначе, как в теплом климате, Чехов рвался из Ниццы, хотя бы в Алжире или Риме. Один он не решался предпринять дальней поездки. У меня оказалось несколько недель свободного времени и вместе с Коротневым я согласился сопровождать его. До Алжира мы, однако, не доехали, так как застали большую бурю на море в Марселе, повернули в обратную сторону и ехали безостановочно до Флоренции. Здесь Чехова ждала корректура его пьесы «Три сестры». Он провел за нею целый день, остался очень недоволен своей пьесой и говорил угрюмо, что для театра больше писать не будет. Но это было не более, как временным настроением. За «Тремя сестрами» последовал, как известно, «Дядя Ваня». В постановке Художественного театра пьесы Чехова имели большой успех, и он не мог нахвалится труппою любителей, искусно руководимой Вас[илием] Ив[ановичем] Немировичем-Данченко[62] и числящей в своей среде таких «артистов Божей милостью», как Алексеев[63]. В Риме Чехов обнаружил свое равнодушие столько же к древней жизни, как и к средневековой. В первый день великого поста мы попали с ним в собор св. Петра на процессию, смысл которой тот, чтобы, так сказать, вытравить дух карнавала. Выходя из храма, я спросил Чехова: «А как бы вы изобразили эту процессию в вашем рассказе?». — «Что сказать о ней, — ответил он, — самое большее: тянулась глупая процессия». К форуму, Капитолию и развалинам императорского дворца на Палатине Чехов отнесся с одинаковым равнодушием. После двух-трех дней Рим потерял для него всякую притягательную силу, и он заговорил о том, чтобы уехать в Россию. Мы старались разубедить его, но тщетно. Оставалось только одно препятствие — у Чехова не было теплой одежды. Я уступил ему захваченную мною и совершенно мне ненужную енотовую шубу. Чехов уехал, и мне не суждено было более увидеться с ним.

П[авел] Дм[итриевич] Боборыкин был частым посетителем моей виллы и даже одно время прожил в ней несколько недель в обществе профессора Иванюкова. П[авел] Дм[итриевич] принадлежал к числу самых живых и разносторонних собеседников. В молодости он учился химии и медицине в Дерпте и перевел на русский язык одно из известнейших немецких руководств по химии.

Затем он сдал экзамен на кандидата юридических наук и одно время собирался «магистроваться» и читать лекции по государственному праву. Его познания в иностранных языках и литературе были поистине изумительны. В своих публичных лекциях он первый обратил внимание русской читающей публики не только на Золя[64] и Альфонса Додэ[65], но и на dii minorum gentium* на Поля Алексиса[66] и Гюисманса[67], из которых последнего, по крайней мере, можно было бы ввести в Пантеон. Он пересмотрел на своем веку почти весь современный репертуар во Франции, и в Англии, и в Германии. Когда я говорю — современный, я имею в виду не последние три или четыре года, а, по меньшей мере, 30 или 40 лет. Он живал по годам во Франции, Италии, Германии. Несколько раз был в Лондоне, провел время франко-прусской войны в Испании в обществе Накэ**/[68], исполняя обязанности корреспондента, к которому несвоевременно доходит заслуженный им гонорар. По моей просьбе, он также прочел несколько лекций в Брюсселе с большим успехом и получил от Нового университета звание почетного доктора. Его лекции об иностранном и русском романе в Московском университете вышли затем отдельной книгой. Своим пребыванием в столицах Европы он воспользовался для издания целого тома, с которым придется считаться будущему историку. Все также знают Боборыкина, как автора нескончаемого числа романов, из которых некоторые, как «Василий Теркин» и «Китай-город» дают живое описание целых периодов в развитии нашей общественности. За последние годы он увлекся газетной деятельностью, и его имя часто стоит под статьями и фельетонами столичных газет. Его будущему биографу предстоит немалая работа. Я не собираюсь быть им и только готов указать на один еще не использованный источник, — на его переписку с Григ[орием] Ник[олаевичем] Вырубовым, уцелевшую в полном виде и перешедшую ко мне после его смерти. Эта переписка касается той эпохи жизни Боборыкина, когда, расставшись с имением для оплаты долгов, накопившихся благодаря изданию им «Библиотеки для чтения», молодой писатель уехал за границу корреспондентом «Петербургских ведомостей» Корша и приступил к печатанию первых своих романов: «В путь-дорогу», «Солидные добродетели», «Жертва вечерняя». Письма касаются его первого пребывания в Риме, где он захватил болезнь, повторившуюся с ним чуть не 40 лет спустя, нынешней весною, во время пребывания в Сальцо-Мджиоре. Это одна из самых мучительных болезней. Я имею о ней представление, так как страдаю от нее по целым годам, название ей — острый ревматизм сочленений.

С П[авлом] Дм[итриевичем] скучать не приходится, какую ни поднять тему, он по каждой может говорить и с знанием и с увлечением, а в случае несогласия собеседника, с жаром в лице и с

---

* Второстепенные лица (*лат.*).

** Так в тексте. Следует: Накаэ.

жестикуляцией далеко не северного человека, каким он должен считаться по месту своего рождения. Я имел однажды случай убедиться в этом, пригласив его на обед вместе с семьей Мережковских. Разговор начался с философии Ницше, а окончился тем, что гости мои сидели по углам, а писательница Гиппиус проливала слезы на балконе. П[авел] Дм[итриевич] не злопамятен, то есть не помнит всего того, что он наговорил в пылу; после доброй ссоры он остается прежним другом. А удовольствие, доставляемое его разговором, вполне покрывает уколы самолюбия и пережитую неприятность.

В последние годы моего пребывания в Болье у меня завелся новый знакомый, — автор «Свадьбы Кречинского» — Сухово-Кобылин[69]. Ему было около 80 лет. Он жил со своей дочерью — вдовой одного французского графа. Носил неизменно серую высокую шляпу и сюртук покроя 40-х годов. Черные волосы еще сохранились на его голове и надо лбом подымался кок их. Разговор с ним переносил в отдаленные годы увлечения москвичей немецкими философами. Сам Сухово-Кобылин всю жизнь переводил Гегеля, но пожар, в котором сгорела его усадьба, истребил рукопись. Из времен молодости он вспоминал о двух юношах, его посещавших, но которых затем благоразумная маменька за их вольнодумство перестала пускать в дом. Один из этих юношей посоветовал ему заняться Гегелем. Это был не кто иной, как Алекс[андр] Герцен, другим же юношей был Огарев[70]. Сухово-Кобылин в молодости, вероятно, был красавцем и производил на женщин сильное впечатление. Он проживал во Франции, владел имением в Жиронде и имел свои виноградники. У него были близкие отношения с семьей Александра Дюма-сына[71]. С его дочерью, оч[ень] умной бойкой вдовою я встретился у него однажды за завтраком. Она посодействовала переводу «Свадьбы Кречинского» на французский язык, а граф Ржевусский, сам драматург и известный в Париже под названием племянника Бальзака, поставил эту пьесу на одной из сцен. По этому случаю мне послана была телеграмма от дочери Сухово-Кобылина, пожелавшей присутствовать при первом представлении. «Побывайте у отца и порасспросите его о прошлой жизни — этого требуют рецензенты». Задача на меня выпала не легкая. Старик пустился в подробности, и одно время мы никак не могли покончить с Лейпцигским сражением, в котором был ранен его отец. Путем немалых усилий я извлек нужный для журналистов материал. Были годы, про которые Сухово-Кобылин ничего не мог припомнить. Он вызвал, наконец лакея, исполнявшего при нем одновременно обязанности секретаря. К моему немалому изумлению, он спросил его в упор: «А что я делал в такие-то и такие-то годы?». Лакей вышел на минуту из комнаты и вернувшись заявил: «Вы занимались развитием собственной философии, называемой эволюционной». Не всю, однако, молодость Сухово-Кобылин посвятил как Гегелю, так и собственной философии. Вызванная им из-за границы француженка скоропостижно умерла. Обвинили сперва кое-кого из прислуги, а затем подозрение пало

на барина, и — началось дело[72]. Оно длилось долгие годы и доставило материал для драмы, которая под именем «Дело» написана была Сухово-Кобылиным в предварительном заточении и поставлена на сцене много лет спустя после того, как самое дело было прекращено. Я не видел этой пьесы, по Ржевусский писал о ней, как о лучшем произведении Сухово-Кобылина, имевшем в Петербурге и Москве большой успех. Сам автор относился весьма восторженно к произведению своего пера. По возвращении из Ярославля, куда он был приглашен для участия в 200-летнем юбилее со времени возникновения первого русского театра, он рассказывал мне следующее. Юбилей длился три дня или, вернее, три вечера. Поставлены были «Горе от ума», «Свадьба Кречинского» и «Ревизор». — «Ну, разумеется, моя пьеса убила все остальные». Сухово-Кобылин попал однажды в Москве в Малый театр на представление собственной пьесы, сопровождаемой «Медведем» Чехова. Этот водевиль очень понравился публике. С этого времени Сухово-Кобылин не мог слышать об его авторе. Его дочь графиня предупредила меня, что надо избегать в его присутствии всякого упоминания о Чехове, чтобы не вызвать в нем раздражения. Старик имел свои странности, но это была живая летопись прошлого. Как-то пригласила его на обед семья Арнольди[73]. Муж был театрал, одно время держал театр в Воронеже, затем женился на Араповой, очень умной женщине, с литературным талантом, проявившемся в романе «Василисса». Муж, гордясь женой, не прочь был рассказать, что по прочтении «Василиссы» Тургенев взялся за голову, говоря: «Что станется теперь с моей «Новью». Тургенев не прочь был подтрунить при случае, и эта сцена кажется мне поэтому вероятной. Арнольди был образцовым чтецом, и вечер прошел в чтении им 3-ей, еще не поставленной пьесы Сухово-Кобылина. Мне поручено было привести автора. Его встретили с большим почетом. Тарелка его была окружена лавровым веником. За обедом подавали блюда, носивших имена действующих лиц его знаменитой пьесы. Вас[илий] Ив[анович] Немирович-Данченко произнес тост в его честь. Старик все это принял, как должное, и на обратном пути только уверял меня, что его пьеса много потеряла от недостаточной передачи. В последние годы своей жизни Сухово-Кобылин сделался вегетарианцем. «Я стал человеком, — говорил он, — только с тех пор, как перестал есть мясо, а то был настоящим зверем». Жилось старику недурно на собственной вилле, благодаря внимательному присмотру за ним его дочери. Он почти никогда не был болен и если простуживался, то по собственной вине, так как вздумал зимой брать солнечные ванны и лежал по часам раздетым у окошка. Умер он от одной из таких простуд и похоронен на кладбище в Болье. Несколько месяцев после его кончины приехавший из Москвы князь Сумбатов, сам драматург и известный актер, играющий в Московском Малом театре под именем Южина, возложил в моем присутствии, по поручению своих товарищей, серебряный венок на могилу автора «Свадьбы Кречин-

ского», одной из наиболее игранных в России пьес и до сих пор еще не сходящей со сцены.

На Ривьере имеется другая русская могила, часто привлекающая к себе приезжих литераторов, — это могила Герцена, на кладбище так называемого Шато в Ницце. На ней стоит памятник со статуей Герцена во весь рост, работы русского скульптора. Я не раз ходил с моими знакомыми возобновлять венки на этой могиле. В день столетнего юбилея со времени рождения Герцена я произнес перед его памятником речь, которая по тогдашним условиям цензуры не могла появиться в печати. Это было накануне моего отъезда в Америку в 1905 г. Пять лет спустя, в России с значительными, впрочем, вырезками, появилось полное собрание сочинений Герцена.

II.

Поездка в Оксфорд, сперва для чтения лекций, а затем для участия на митинге Британской ассоциации для поощрения наук, на котором сделано было мною два доклада, внесли некоторое разнообразие в мою жизнь. Я был приглашен в Оксфорд, год спустя после прочтения курса лекций в Стокгольме и был первым русским, призванным говорить о России на английском языке. До этого времени приглашали немцев и датчан, в числе других известного Томсона*/74, — автора книги «О нормандском происхождении Русского государства». Лекторы оплачивались из фонда, пожертвованного одним английским лордом, бывшим некоторое время послом в Петербурге. Сумма, им оставленная, не была особенно значительной и позволяла приглашать лекторов лишь каждые три года. Я получил 40 фунтов стерлингов за мой труд и должен был оплатить сам издержки переезда. За то самое пребывание в Оксфорде мне ничего не стоило, так как Эдуард Тейлор[75], известный автор «Первобытной культуры», предложил мне остановиться у него, так сказать, на казенной квартире. Он занимал целый дом, построенный при музее антропологии и этнографии. Музей этот представляет нечто единственное в своем роде. В нем предметы, характеризующие культуру диких и варварских народов, расположены не по племенам, а в порядке, так сказать, эволюционном, — от простейших к более сложным. Я не раз посещал его в обществе самого Тейлора или его помощников. Мне захотелось оставить ему память о своем временном пребывании под его кровом и я распорядился о высылке ему из Екатеринославской губ[ернии] одного из тех уродливых памятников глубокой старины, которые известны под прозвищем «скифских баб».

---

* Так в тексте. Следует: Томсен.

Замещение временной кафедры по русской истории и литературе и древностям зависит от комитета, в составе которого входили некоторые профессора, в числе их Макс Мюллер, Фриман[76] и Тейлор. Выбор предмета чтений предоставлен был самому лектору. Я остановился на попытке ознакомить англичан с нашим крестьянским правом семейным и общинным, а также с теми чертами древнего русского права, которые сближают наш общественный и государственный порядок в Московский период с европейским средневековьем, с нашими земскими соборами, с нашей боярской думой, с нашим крепостным бесправием. Мои лекции вышли затем в печати, под заглавием: «Современный обычай и древний закон в России». Слушателей у меня было несколько десятков, все больше профессора или лица, прошедшие университетский курс и собиравшиеся сдать экзамен на бакалавра или доктора. Лекциями об общинном землевладении заинтересовался один из главных чиновников Индийского управления Баден-Паул, издавший потом целых три тома по землевладению и земельной подати в Британской Индии. Ему было желательно узнать, в какой степени существует сходство между русскими сельскими порядками и теми, какие держатся в Бенгале, Бомбее, Мадрасе. Заключение, к которому он пришел, было то, что никакого сходства, в действительности нет и что индийское землевладение, вопреки мнению Кембеля и Мэна, поэтому не было общинным. Вывод этот был оспариваем и не без основания. Периодические переделы не составляют необходимого условия общинного владения. В самой России есть местности, которые обходились без них, довольствуясь временной свалкой и навалкой* денежных тягот на дворовые наделы в видах равнения.

Присутствие профессоров на моих лекциях оказалось не лишним, так как в дни состязания оксфордских и кембриджских студентов в гонках я, в противном случае остался бы без слушателей. Весь Оксфорд в эти дни перебирается на берег Темзы. Я воспользовался своим пребыванием в одном из двух древнейших университетов Англии не только для чтения рукописей и редких изданий, которыми так богата Бодлеянская библиотека, но и для хождения на лекции. Меня поразила малая их посещаемость. В аудитории известного историка «Земледелия и цен в Англии» Торольда Роджерса[77] сидело 5—6 человек. Он по тетрадке сообщал сведения о том, как из года в год в XV веке росла цена серебра и обещал своим слушателям в ближайший раз дать им менее сухую пищу. Фриман читал курс исторической географии в присутствии двух негров, одного белого и собственной супруги. Он пожаловался в конце лекции на то, что все преподавание в Оксфорде сосредоточилось в руках тьюторов, которые читают по чужим учебникам. На мой вопрос Стопсу: «Не могу

* Так в тексте.

ли я побывать на его лекции», последовал ответ: «Разумеется, если она состоится, но в этом я далеко не уверен за недостатком слушателей». Вообще нигде не убеждаешься в такой степени, что устная передача знаний, если она только не принимает форму тех блестящих импровизаций, какими являются конференции некоторых парижских профессоров и литераторов, перестала достигать своей цели и является чем-то устарелым. О трудолюбивом студенте в английских университетах говорят не то, что он аккуратно ходит на лекции, а что он «хорошо читает», т.е. с толком, с пользою для себя, усваивая существенное и подготовляясь, таким образом, более или менее самостоятельно к экзамену. Оксфорд показался мне настоящим раем для людей, которые готовятся к учебной деятельности. Живя на всем готовом в колледжах, в тесном общении с специалистами и располагая богатейшими библиотеками, музеями, лабораториями, все эти «доны» — таково обычное их прозвище — находятся в наилучших условиях для приготовления к экзамену и для писания диссертации. Лондон под боком. Они часто ездят туда, не всегда ради одного развлечения. Жизнь протекает в Оксфорде тихо, но в живом умственном общении, благодаря отчасти общим трапезам в отдельных коллегиях. Мне пришлось обедать в некоторых из них, между прочим, в экзетерском. Подростки держали себя так тихо, что, сидя спиной к занятым ими столам, я сперва даже не заметил их присутствия. За столом, отведенном для старших членов коллегии и приглашенных гостей, разговор велся безостановочно, но тихим голосом. Когда председательствующий пожелал выпить за мое здоровье, он, не произнося тоста, поручил мне передать о своем намерении и затем сделал мне на большом расстоянии приятельский жест и наградил меня ласковой улыбкой. Зато болеть, живя в коллегии, да еще и по ночам, я никому не посоветую. У меня сделался припадок почечной колики. Я тщетно звонил, желая послать за доктором, тщетно пытался сам выйти из колледжа, чтобы пойти к врачу. Ворота были открыты только с 8 часов. Забота о нравственности заставляет держать их взаперти целую ночь.

III.

Весну и осень я обыкновенно проводил в Париже. Чтобы не жить в гостиницах, я снимал сперва меблированную квартиру, а затем сам снял этаж или, вернее, пол-этажа, расположил в нем нужные мне книги и закупил диваны, кресла и письменный стол на улице Ледрю Роллена, где все это в определенные дни выставляется на воздух. Редко я был более доволен своим внутренним устройством. Окна выходили в сад, — продолжение Люксембургского, — высокие каштаны своей листвой защищали меня от солнца; глубокие вольтеровские кресла были так мягки и так низки, что из них не хотелось, да и не легко было выбраться. Секретарствовала у меня очень умная женщина, — доктор естественных наук

и ассистентка-профессора зоологии в Сорбонне. Я диктовал ей на обоих языках — французском и русском. Если бы не корректуры, способные испортить настроение самого выносливого писателя, мои утра, тянувшиеся с 9 час. до часу, когда подавали завтрак, были бы лучшими часами в моей жизни. Вторую половину дня я проводил в библиотеке, затем ездил в Булонский лес или отправлялся гулять по бульвару, обедал редко когда один в ресторане и проводил вечер или сидя в кафе на воздухе, или отправляясь в более прохладные вечера в театр. Работа моя шла как нельзя успешнее. Некоторое разнообразие в жизни вносили лекции, читаемые мною в «Школе общественных наук» в Париже или в Брюссельском университете, для чего я уезжал в Бельгию на несколько недель. Эти лекции затем собирались мною в книги или статьи, появлявшиеся в «Ежемесячнике по социологии», издаваемом Борисом, в «Парижском обозрении», в «Журнале истории французского и иностранного права», в «Анналах международного института социологии», в «Социальной реформе», издаваемой теперешним министром Нитти, в «Еженедельнике политическом и литературном», более известном под названием «Голубого обозрения», — по цвету обложки. Напечатанные мною за эти годы томики представляли в большинстве случаев не более, как переработанные для печати конференции. Один посвящен был картине русского экономического строя, другой — истории русских политических учреждений, третий — пережитому Россией с 1905 г. кризису, — ко всем им я прибавил в нынешнем году еще один, по заглавием: «Социальная Россия». Избранный Советом профессоров Коллеж де Франс занять в нынешнем году временную кафедру, на которую призываются из разных стран иностранные профессора, по одному или по два в год, оплачиваемые из процентов специального фонда, пожертвованного с целью ознакомления французов с состоянием науки в других странах, я воспользовался этим случаем для того, чтобы в шестичасовых лекциях познакомить наших союзников с теми дворянскими влияниями, которые затормозили ход нашего политического и общественного развития и вызвали в России нечто подобное контрреволюции. Я описал им деятельность так называемого союза объединенного дворянства, влияние, оказанное его отдельными членами на контрреформу нашего избирательного закона[78], я представил им картину того, чем была русская земельная община накануне ее искусственной ломки, предпринятой из-за страха повторения аграрной революции и под прямым давлением союза объединенного дворянства[79]. Я познакомил также свою аудиторию с тем, чем была в наших, преимущественно западных губерниях, нераздельная крестьянская семья, препятствовавшая пролетаризации масс, и что стало с нею с тех пор, как, вопреки сенатской кассационной практике, она лишилась всякого законодательного признания, благодаря указу Столыпина, принятому затем палатами и сделавшемуся законом. Я закончил мой курс картиной экономического положения рабочих классов и обзором социального законодательства за последние годы. Одно-

временно я прочел также две лекции в «Школе восточных языков», посвященные положению инородцев в России, в том числе поляков и евреев. По просьбе моих товарищей по преподаванию в Новом университете в Брюсселе, я на обратном пути в Россию прочел две конференции, посвященные более специальному вопросу о том, как возникла русская конституция и какое влияние оказала на нее дворянская реакция. Лекции читаны были в январе прошлого года и вышли в печати в марте. Никогда мне еще не приходилось читать в Париже или Брюсселе перед более многочисленной аудиторией. Большой зал Коллеж де Франс, в котором читает свои курсы философ Бергсон[80], был битком набит далеко не членами одной русской колонии, но также политическими деятелями, профессорами, литераторами и журналистами. Тот же интерес обнаружили к моим чтениям брюссельцы. Отчеты о моих лекциях печатались в газете Клемансо, в «Temps», в «Фигаро», в «Indépendanse belge» и перепечатывались в провинциальных органах. Для многих сообщаемые мною данные были своего рода откровением. Так мало в общем знакомы французы и бельгийцы с условиями нашей внутренней жизни. По приглашению де Естурнеля де Констана, я в одном из отделений французского сената познакомил собравшихся членов верхней палаты, разумеется, в самых общих чертах с ходом нашего социального законодательства, в том числе с начатой нами борьбой с алкоголизмом. На память об этом заседании мне преподнесена была председательствующим медаль.

Вообще французы отнеслись весьма сочувственно к моей попытке использовать мое продолжительное пребывание во Франции для того, чтобы в форме лекций или монографий расширить их сведения о моей родине. По предложению двух членов «Академии нравственных и политических наук», одной из 5-ти, входящих в состав французского института, я был избран ее корреспондентом, на место скончавшегося, как значится в присланной мне бумаге, К.П. Победоносцева. Это была своего рода манифестация, знаменовавшая переход симпатий на сторону представителя обновленной России. Этот выбор был для меня тем приятнее, что в это время я не состоял еще корреспондентом Академии наук в Петербурге. Профессор Янжул поспешил сделать об этом представление, которое было уважено, а в нынешнем году за подписями трех членов и с согласия президента Академии великого князя Константина Константиновича, я представлен был к занятию и вновь созданного поста — академика политических наук. В общем собрании Академии всего три члена высказались против моего избрания. Утверждение государя последовало на расстоянии нескольких месяцев — осенью истекшего года[81].

Вообще я не могу пожаловаться на то, чтобы моя литературная деятельность не нашла достаточной оценки. И раньше выбора меня во французский институт, Тулузская академия законодательства, членом которой когда-то состоял автор «Духа законов» Монтескье, по предложению известнего историка права Бриссо, избрала меня своим иностранным сочленом. Я очень польщен был

также тем, что за мою книгу «О падении республики св. Марка» меня выбрали в Венеции членом «Общества отечественной истории», самой обширной организации для изучения истории Италии.

Это сочувствие товарищей по занятиям мне особенно дорого потому, что моя литературная и научная деятельность не раз встречала ожесточенных противников и нигде более, как в России. Меня упрекали в легкомыслии, в верхоглядстве, «импрессионизме». Все эти уничижительные отзывы исходили, впрочем, от очень ограниченного числа молодых аспирантов на кафедры или от журналистов, «початых» наукой. Большинство читающей публики относилось ко мне сочувственно, когда я поднимал сколько-нибудь современные вопросы и игнорировало мою деятельность, раз исследование казалось предмета, ее не интересовавшего. Рядом с книгами, расходившимися в количестве 35 и даже 19 экземпляров, я могу указать на такие, которые разошлись в 2-м и 3-м изданиях и даже в количестве 5-ти и 6-ти тысяч экземпляров. О том, насколько читаются статьи, печатаемые нами как в специальных, так и в общих журналах, судить трудно. Легче думать, что они не читаются вовсе, хотя бы потому, что часто остаются неразрезанными. О своей литературной деятельности я не имею преувеличенного представления или, вернее, знаю ей настоящую цену. Мне кажется, что я всего ближе отвечаю представлению об английском эссеисте, который не ставит себе задачей исчерпать свой предмет и, работая над материалом, не всегда состоящим из одних прямых источников, старается провести по возможности самостоятельный, оригинальный взгляд. Я имел уже случай сказать, что моя умственная жизнь была особенно деятельна в годы ученичества в Лондоне и Париже, т.е. между 23 и 30-м годом жизни, когда намечены были почти все те темы, которые я разрабатывал и разрабатываю и по настоящий день. Мои более обширные сочинения, как «Экономический рост Европы» или «Происхождение современной демократии» скорее сборники отдельных этюдов, объединенные общими идеями, нежели сочинение, имеющее в виду исчерпать весь существующий по данному вопросу материал, подчиняя ему нередко и свои общие выводы. В добросовестности моей работы я, вероятно, не уступлю никому. Но я далек от мысли, что работа исследователя ограничивается сообщением того, что он нашел в ненапечатанном еще материале. Я немало сидел над рукописями и все же вынес то впечатление, что исследование, исключительно на них построенное, будет однобоким и неполным. Ведь не мы же первые приступили к обнародованию сырого материала. Есть у нас и отдельные предшественники в лице бенедиктинских монахов и таких ревнителей старины, как Тирабоски[82] и Муратори[83], Раймеры и Перийцы, — предки современных Вайцев. Я не вижу причины, почему сообщенный ими материал был бы менее ценным, чем тот, который еще не издан. Когда мне говорят о новом методе, будто бы состоящем в том, чтобы, пренебрегая всякими другими источниками, построить сообщение на новом, еще не тронутом,

будут ли то писцовые книги или налоговые свитки, то я никакой новизны в таком приеме не нахожу и вижу только односторонность и неполноту. Когда утверждают, что тот или другой вопрос может быть научно разработан только на основании историко-статистического метода, в приложении к ряду столетий, то я, как несколько знакомый с бедностью и отрывочностью статистического материала за прошлые века, позволяю себе думать, что такая затея по природе своей неосуществима. Предпочитательнее, кажется мне, указать на ограниченность материала прямых свидетельств, привлечь к выводу и косвенные. Историк, как я полагаю, не может отказаться от комбинации и от выводов, построенных на координации ранее установленных идей и представлений. Если бы его роль ограничивалась одним засвитедельствованием того, что он нашел в том или другом материале, то он был бы не более, как начетчик. Для этого не потребовалось бы ни логической работы мысли, ни того полета научной фантазии, без которого, как показывает пример других наук, никогда не возникало сколько-нибудь широких построений, а тем более целой системы. Никто менее меня не уверен в том, что все мною утверждаемое выдержит огонь критики. Я беру ручательство только за одно, что ничто не сказано было мной на ветер, а на основании изученных мной источников.

Но я, кажется, отступил от намеченной мною задачи, — говорить в моих воспоминаниях более о виденном и слышанном, о людях и событиях, чем о себе самом, а потому перехожу к характеристике того, что происходило на моих глазах в научной жизни Парижа за годы, совпадающие с моим частым общением с ним.

Тургенева уже не было в живых и русская колония группировалась частью около семьи Мечникова, частью около эмигранта Лаврова. Я был знаком с обоими, а также с Евг[ением] Валентиновичем де Роберти[84], другом Вырубова, жившим по годам в Париже. Несколько черт из жизни всех этих лиц могут быть небезынтересными, так как им пришлось оставить след и в науке и в философии.

Мечников приходится мне отдаленным родственником. Я знал его еще в детстве, и его пример, как он сам вспоминает это, одно время стоял перед моими глазами, побуждая к усиленным занятиям. Человек этот — способностей необыкновенных. Его отец, русский полковник, не из глупых, женился на еврейке Невяхович, отличавшейся очень живым умом. Ее брата я знал в Париже и Париж знал его, как единственного человека, с 12 ч. дня одевавшегося во фрак. Он при всемогущем Адлерберге — министре двора при Александре II заведовал театрами столицы. Так как ему постоянно приходилось являться в форме перед начальством, то он сохранил эту привычку и за границей, а за неимением формы надевал фрак. Это был человек не только с большим лбом, но и с здоровыми мозгами, — веселый и остроумный. Однажды, после завтрака, я устроился с приятелями на террасе кафе «Ротонда» в Пале-Рояли, единственном кафе, которое в 70-х годах держало русские газеты и, в частности, «Голос». Невяхович пришел читать

их. Я издали поклонился ему. Услышав русский разговор и видя, что я не представляю его своим собеседникам, он сам подошел к нашему столику со словами: «Я монархист, но не из числа тех, которым за это платят, а вам за недоверие пошлю сегодня Головина. Он был сегодня у меня и накажет вас, как наказал меня». Головин был эмигрант времен Герцена, сидел без денег и нередко обходил русских. Вся наша компания, разумеется, рассмеялась и приняла Невяховича в свою среду. Жил он в «Гранд-отеле», обедал в хороших ресторанах, не отказывал себе в удовольствиях, поддерживал сношения с либеральными чиновниками типа Арапетова, известного уполномоченного министерства государственных имуществ в Центральном комитете по освобождению крестьян, единомышленника и друга Никол[ая] Милютина[85]. Илье Ильичу Мечникову не приходилось встречаться с ним. Но он знал хорошо других своих племянников, между прочим Ив[ана] Ильича, которому одна смерть помешала сделаться министром юстиции в диктатуру Лорис-Меликова и который послужил типом для Льва Ник[олаевича] Толстого в его известном рассказе «Смерть Ивана Ильича»[86]. Когда я вижусь с Мечниковым, мне часто вспоминается Невяхович, так как форма лба у обоих одинакова. Мечников-отец был большой любитель карт. Эта страсть перешла и к его младшему сыну — известному адвокату в Одессе[87]. Я однажды спросил Илью Ильича, проявляется ли у него в чем-либо страсть к азартным играм. Он ответил мне, что никогда не брал карт в руки; но что рискованность тем, которыми он задавался в своих сочинениях, пожалуй, отвечает той же любви к азарту. Мечников сделался магистром зоологии и в том возрасте, в котором средний студент кончает ныне курс обучения в университете. Его профессором по зоологии в Харькове был Степанов[88], которого я знал впоследствии во Флоренции, где он, по-видимому, интересовался живописью и скульптурой больше, чем своей специальностью. Однажды я спросил Илью Ильича, чему мог научить его Степанов. — Не многому, — был ответ. — Но это было время, когда вся Россия интересовалась общественными науками, когда Дарвин стал выходить в переводе на русский язык и когда Сеченов группировал вокруг себя всю стремящуюся к естественно-научному знанию университетскую молодежь. Мечников попал рано за границу, много работал в Гиссене*, где с ним встретился приехавший для занятий философией Евг[ений] Валент[инович] де Роберти, изводивший его шутливым стихотворением, начинавшимся словами:

«Мечников, Мечников,
Ты оставь червяков».

Первые работы Мечникова обратили на него внимание как русских, так и заграничных кругов. В то время только что открывался Одесский университет. На его естественном факультете со-

* Так в тексте.

средоточивались лучшие ученые силы: Александр Онуфр[иевич] Ковалевский, известный всему миру эмбриолог, не менее знаменитый ботаник Ценковский[89] и ряд других. Уехав за границу в начале 70-х годов, я свиделся снова с Мечниковым, много лет спустя, в Харькове. Я был в то время преподавателем в Москве. Он стал приглашать меня перейти в Одессу, давая понять, что пребывание в таком реакционном городе, как Москва, кажется ему чем-то непостижимым. В Одессе Мечников принадлежал к группе левых профессоров. Ум пытливый и разносторонний, он и тогда интересовался социальными науками. Его видели нередко на лекциях профессора Посникова[90], излагавшего в то время в своих лекциях по политической экономии еще новую доктрину автора «Капитала» — Карла Маркса. Из-за поддержки ученика Посникова, хорошо известного впоследствии депутата I Думы Герценштейна у Мечникова возникли препирательства с министерством, и он вышел в отставку[91]. После этого он, сколько я помню, служил при одном из южных земств и принимал участие в борьбе с эпизоотией, постигшей овец Херсонской и Таврической губ[ерний]. Пущенные им в ход средства были из самых радикальных. Целые стада были истреблены, и богатый овцевод Пфальцфейн начал или только собирался начать какое-то судебное преследование против такого рода исцелителей.

Моя первая встреча с Мечниковым в Париже произошла в квартире С.В. Ковалевской. Она остановилась в одних со мною меблированных комнатах на площади Мадлены, на которой ныне подымается памятник знаменитому химику Лавуазье. Наша встреча не отличалась особой теплотой. Мечников заметил, что не счел нужным, подобно мне, ждать, чтобы его выгнали со службы. С[офья] В[асильевна] вступилась за меня, говоря, что она считает такое поведение более почетным, чем облегчать реакционерам их дело добровольным устранением себя от предстоящих неприятностей. В этот день Мечников был не в духе и к самой Софье Васильевне, за которой, по ее словам, он когда-то ухаживал[92], он относился довольно холодно, по-видимому, по следующей причине. В промежуток между нашими двумя встречами Илья Ильич успел сделать главную работу своей жизни. Уехав в Мессину, он проработал в ней целые годы на зоологической станции и, прежде чем опубликовать свое великое открытие, он показал Вирхову, бывшему проездом в Мессине, свои препараты. Вирхов пришел от них в восторг. Мечников оповестил миру свою теорию фагоцитов, т.е. той борьбы белых кровяных шариков с красными, на которой построена вся теория «иммунитета». Под этим именем и вышло впоследствии наиболее полное изложение Мечниковым его доктрины. Заинтересовавшись ею, С[офья] В[асильевна] вместе со своей приятельницей Леффлер-Кайянелло, перенесли эту доктрину, — куда бы вы думали, — в текст написанных ими драматических сцен. Балерины, одетые одни в красные, другие в белые костюмы, изображают в них борьбу белых шариков с красными. Вместо того, чтобы посмеяться над этим, Мечников отнесся с

полным отрицанием к столь эксцентричной затее. Так как С[офья] В[асильевна] не была знакома с его второй женой, то Илья Ильич пригласил меня и ее придти к нему вечером[93]. Он незадолго перед тем поступил в Пастеровский Институт и не успел еще обзавестись постоянной квартирой. Жил он поэтому в меблированных комнатах на бульваре С.-Мишель, снимая почти целый этаж. Помню и — его дома, — 32-ой, почти на углу улицы «Медицинской школы». В нижнем этаже того же дома поселился де Роберти. Он тоже был в числе гостей. На той же квартире я несколько раз встречался по вечерам и с Лавровым. Мечников рассказывал мне, что Пастер[94] и Ру[95] на первых порах не вполне были уверены в том, что его сотрудничество есть счастливое приобретение для Института, содержанного на средства барона Гирша[96]. Это обстоятельство, по всей вероятности, и заставило его медлить с постоянным устройством в Париже. Но обояние, производимое Мечниковым, его умом, талантом и научной начитанностью скоро устранили всякие сомнения, и Мечников мог спокойно перебраться на самостоятельную квартиру и завести собственную мебель. Он устроился в двух шагах от Пастеровского Института, на улице Дюфо. С утра и до 6-ти часов он проводил в своей лаборатории, уходя самое большее на час завракать к себе на дом. Против него за рабочим столом устраивалась и жена, производившая работы под его наблюдением, пока увлечение живописью и скульптурой не заставило ее всецело отдаться искусству. Ольга Николаевна необыкновенно милое и скромное существо, преклоняющееся перед своим супругом и в то же время наделенное несомненными дарованиями. Ее портрет мужа поражает своим сходством и обратил на себя внимание, когда был выставлен на одном весеннем «салоне» в Париже. Жена Мечникова отзывчива ко всякой нужде и горю. Одно время боялись за Ру, благодаря начавшейся у него чахотке. Ольга Николаевна его выняньчила, кормя всякого рода гогель-могелями. К сожалению, Ольга Николаевна отличается очень слабым здоровьем и принуждена была вместе со своим мужем переехать по этой причине за город в Севр, откуда каждый день Мечников уезжает в 7 час. утра, чтобы вернуться к обеду. По вечерам они читают вместе беллетристические произведения на французском и русском яз[ыках]. В 10-м часу Мечников идет спать, встает в 5 час. утра и пишет статьи и книги. По приезде в Париж он со станции идет пешком в Институт. Много времени отнимают у него всякого рода посетители, — газетные интервьюеры, болящие, между прочим, аппендицитом, которых Мечников лечит даром, приезжие ученые, люди, интересующиеся молочным лечением, пущенным им в ход кислым молоком с болгарскими бациллами. Когда зайдешь к нему, его постоянно находишь занятым подогреванием всякого рода мерзостей, а на расстоянии месяцев и лет от этой неприглядной с виду операции получается новое благодеяние для человечества.

Мечников не только ученый с громадной научной фантазией, но также человек, постоянно следящий за наукой, за специальны-

ми журналами, выходящими на всех языках в мире; это вместе с тем и превосходный писатель, который не уступает Гексли[97] в способности передать широким кругам читателей те философские обобщения, к которым привели его специальные работы и наблюдения, а также знакомство не только с тем, что делается в его области, но также в сфере всей биологии вообще, антропологии и этнологии. Когда он подарил мне 1-ый том своих «Этюдов»*, я прочел его, как роман, во время утренних прогулок по «Кап-Фера», лежащей в окрестностях Больe. В один день я прочел добрую половину книги, сидя на скамье на берегу моря. Мечников также удивительный лектор, удивительный своей простотой и образностью, умением иллюстрировать свою мысль удачными примерами и демонстрациями. Я помню, как однажды он пришел в русскую школу с целым букетом полевых трав и цветов и как затем, в подкрепление своих самых широких и смелых обобщений, он вынимал из этого букета одно растение за другим, показывая на нем подтверждение сказанного и, таким образом, к концу лекции перебрал весь букет.

Насколько Мечников может увлечь своим обобщающим умом людей, подобно мне далеко стоящих от естественно-научного знания, настолько он может вызвать раздражение в людях иного с ним социального и политического миросозерцания своей откровенной и иронической полемикой. Уходя от него со мною, после прекрасного обеда, которым Мечников угощает, как настоящий малороссийский дворянин, и за которым его жена старается всячески пролить бальзам на раны, наносимые гостеприимным хозяином своим собеседникам в споре, П.Л. Лавров сказал мне однажды: «Удивляюсь самому себе, как я еще выношу этого человека». Мечников, всегда относившийся с большим благодушием к старику, мучил его саркастическими выходками по адресу его молодых единомышленников и фантастичности приемов их революционной борьбы. Уже после кончины Лаврова он рассказывал мне, что, заметив в своей жене симпатии к социализму, он постарался привлечь в свой дом Лаврова, человека, заслуживающего всякого уважения и настолько безобидного, как революционного деятеля, что Мечников мог все время оставаться совершенно спокойным за жену.

Илья Ильич любит говорить не об одних научных вопросах, но также и о политике. Его заявления часто оригинальны, всегда искренни и должны создавать ему массу врагов. Он, не стесняясь, будет доказывать перед французами, что упадок их нации несомненен, что он замечается во всем — и в науке и в литературе, что нет более позорного учреждения, как та Медицинская Академия, которая избрала его своим членом, что немцы несправедливо обойдены в разделе континентов и что справедливость требует наделения их хорошими колониями. Он не прочь сказать и русским,

* Мечников И.И. Этюды о природе человека. М., 1961.

что они ничего не проиграют, подпав под высокую руку немцев. Это не мешает ему быть русским патриотом до мозга костей, настоящим сыном русского полковника, страдать до болезни от неудач русского оружия на востоке, ненавидеть русскую революцию, насколько она могла парализовать наше внешнее могущество и создать сумятицу внутри государства резкой постановкой земельного вопроса. Когда мы рассуждали в Первой Думе о наделении крестьян землей по справедливой оценке, Илья Ильич, владевший в то время не более, как 50-ю десятинами в Киевской губ[ернии], предавался, как он сам рассказывает, самым тяжким сомнениям и близок был к самоубийству. Этот личный приятель Посникова не может простить ему его рассуждений о том, что при обязательном выкупе за помещиками не следует оставить более 100 десятин, еще лучше 50. В то же время он приведен в исступление поведением министерства народного просвещения тем, что на кафедры назначаются, как он говорит, самые глупые из его учеников. Русская реакция ему невыносима. Ольга Николаевна встретила меня в последний раз словами: «Илья Ильич снова становится чуть не террористом». В никакие исторические или социальные законы он не верит и, сходясь во многом с Витте, спорит с ним с ожесточением по этому вопросу. Это не мешает ему в жару полемики сказать своему собеседнику: «Да чего вы придаете значение моим словам. Ведь я понимаю в этом вопросе столько же, сколько вы в бактериологии». Общение с русскими эмигрантами, в особенности со времени смерти Лаврова, унесло последние симпатии, которые он в молодости питал к людям, озабоченным водворением справедливости в общественных отношениях. Ольга Николаевна, весьма озабоченная развитием в нем духа отрицания и сомнения по отношению к передовым партиям, однажды пресерьезно стала благодарить меня за то, что я познакомил Илью Ильича с Вандервельдем. Она мотивировала свою благодарность тем, что ее муж мог убедиться, что не все же социалисты необходимо дураки. Всякое вторжение политики в область науки, хотя бы в скромной форме рекомендации в Пастеровский Институт того или другого медика или натуралиста на самый скромный пост, выводит Мечникова из себя. «Хорошо признание свободы мысли», — говорит он про себя, ворча. Еще немного и он готов будет назвать лицемерами самих сторонников декларации прав человека и гражданина. Если бы меня спросили, к какой партии надо причислить Мечникова, то я бы не сразу дал ответ на этот вопрос, — пожалуй, к партии здравого смысла, избегающей всяких крайностей, выше всего ставящей науку и свободное исследование, далекой от подчинения политике, церкви, национальным пристрастиям, завоевательным стремлениям, справедливой по отношению ко всем классам общества, озабоченной материальным и духовным благоденствием родины, считающей утопией всякую попытку вызвать переворот в общественном укладе, по крайней мере, переворот быстрый и внезапный и подготовляющей лучшее будущее распространением в массах знания и уравнением тех условий борьбы и конкуренции

из-за приобретения необходимого достатка. Сам Мечников не только не дорожит богатством, но, наоборот, необыкновенно щедр в оказании другим всякого рода помощи, в том числе и денежной. Я знаю, что высокий гонорар, им получаемый за газетные и журнальные статьи, идет у него на дела благотворительности. Сам он обладает такой нежностью, особенно по отношению к детям, что стоит заболеть одной из его крестниц, чтобы Мечникову целый день чувствовалось не по себе. Он любит искусство и в особенности музыку. Моцарт и Бетховен — его любимцы. Если он иногда пропускает занятия в послеполуденное время в Институте, то это верный признак, что его можно найти на утреннем представлении в Опере или на «классическом концерте». Мечников — материалист. Никакие религиозные или мистические представления его не беспокоят. Но на нем вполне подтверждается, что мораль независима от религии, так как он принадлежит к числу наиболее нравственных людей, с которыми мне приходилось встречаться. Эта нравственность вызывается в нем не отсутствием страстей, наоборот, из его же рассказов видно, что любовные запросы сказывались в нем в молодости с большой силой. Удовлетворение их сопровождалось сильными головными болями, а воздержание, связанное с влюбленностью, вызывало усиленную и плодотворную научную деятельность. Читая на днях книгу полусумасшедшего немецкого писателя Кеммериха — «Закон причинности», я нашел в нем развитие той мысли, что большая талантливость и даже гениальность стоит в причинной связи с количеством спермы, но под условием, чтобы она не уходила всецело на удовлетворение полового запроса, а доставляла бы свой фосфор и другим органам, прежде всего — мозгу. Кеммерих уверяет, что состояние влюбленности, вызывающее внутреннее довольство и подъем энергии, есть самое благоприятное условие для творческой работы. Сообщение Мечникова невольно пришло мне на ум, как решительное подтверждение этой мысли.

Петра Лавровича Лаврова я впервые встретил у К. Маркса в Лондоне. Он вскоре уехал в Париж и наше знакомство на время было прервано. Оно возобновилось во время одного из моих многочисленных приездов во Францию. Лавров писал «Историю мысли», интересовался моими работами в области первобытной культуры, сравнительной этнологии и права. Научные интересы сближали нас столько же, сколько социальные и политические делали нас чуждыми друг другу. Программа Лаврова часто менялась. Я не знал его в то время, когда он довольствовался одной проповедью «хождения в народ». Это было время издания его журнала «Вперед». Если под этим хождением разуметь серьезно сближение интеллигенции с народом, путем распространения в массе знания, известных нравственных и общественных запросов, то эта мысль столько же верна, сколько и обычна. Нигде никакие новые формы жизни общественной и политической, сколько религиозной и нравственной, не возникали без такого общения. Пророки ходили в народ, как ходили в него апостолы Христовой веры, как ходили

и него впоследствии лоларды*/98, сторонники Викилифа**/99 и английские диссентеры или передовые сектанты XVII века. Весь вопрос в том, можно ли считать серьезным сближение с народом, съем в деревне мелочной лавочки и распространение отвлеченно написанных брошюр в близкой и дальней округе. Такое хождение изображено Тургеневым в его «Нови», изображено с теплым сочувствием и заметной иронией. Мне вполне понятно, почему в русской молодежи «Новь» вызывала раздражение, которое передалось и сторонникам нашего народничества. Когда я впервые представлен был Салтыкову, он с некоторым раздражением сказал мне: «Вы, кажется, из тех людей, которые благодарят Тургенева за то, что он выставил вас дураками». Салтыков не ошибся. Я, действительно, проникнут был чувством признательности по отношению к писателю, учившему нас не быть дураками.

Когда русское правительство стало ссылать наивных пропагандистов в Сибирь, ставя их в один ряд с уголовными преступниками, Лавров подчинился овладевшему его единомышленниками чувству мести. Но в новой роли, — соредактора журнала с навязанным ему Тихомировым[100], — он долгое время не мог привыкнуть к «словесной кровожадности» некоторых из своих сотрудников. Я говорил с ним откровенно, и однажды, прочитав, по его же просьбе номер, уже не помню, какого революционного издания, на котором стояло его имя, дал ему ту оценку, какую он заслуживал. «Сделайте мне одолжение, — сказал Лавров, — повторите это самое в присутствии моего соредактора». Так и было сделано, и к моему немалому изумлению, не встретило сильного отпора. Когда я вспоминаю, что этот соредактор сделался потом сотрудником «Московских ведомостей» и одно время их редактором и что в этих «Ведомостях» печатались им же обличительные статьи против Лаврова, то я готов повторить за французами фразу: «tout arrive» — «всяческое бывает». Можно ли представить себе большую иронию судьбы, как благодушного, доброжелательного, высоко нравственного старика в роли союзника людей, которыми руководит вполне понятное в их положении правило: «Аз воздам». Мне известно, что убийство Александра II вызвало сильное потрясение в уме и сердце Петра Лавровича, и мог бы представить тому и вещественное доказательство, но я связан словом покойного не обнародовать этого письма. Природные дарования предназначали П[етра] Лавр[овича] быть кабинетным ученым, использовать свое энциклопедическое образование для какого-нибудь большого труда по философии истории, а судьба, то есть стечение созданных русской действительностью условий, подняла его на неподобающий ему пост — продолжателя дела Герцена. Можно пожалеть, что он не остался на всю свою жизнь только теоретиком. Я, с своей стороны, сделал все зависящее, чтобы содействовать уклону его в эту

---

* Так в тексте. Следует: лолларды.

** Так в тексте. Следует: Уиклиф.

сторону. Я устроил ему издание его книги в Москве, напечатал одно из его сочинений под псевдонимом Арнольди и выпустил его незаконченный посмертный труд. Сказанное о московском издании требует оговорки. К.Т. Солдатенков[101] довел его до конца, платя автору по 75 рубл. за лист. Но когда пришлось выпускать том, он заявил мне, что боится Каткова, возвращает автору его права и просит его не серчать. Этого первого издания сохранилось всего два экземпляра — один в руках автора. П[етр] Лавр[ович] переработал свою книгу, она вышла выпусками в Швейцарии, а издержки покрыл ухаживавший в это время за эмигрантами предтеча Азефа. Кстати, о нем. Я едва не сделался его жертвой, и благодаря неосмотрительности того же Петра Лавр[овича]. Это было в первый год воцарения Александра III, когда наш бывший посол в Константинополе Игнатьев[102] сделался главой правительства на место Лорис-Меликова. Заговорили о созыве земского собора, взамен, якобы задуманного Лорис-Меликовым, парламента, о послаблениях по адресу печати, о свободе совести. В Париж явился с более менее финляндско-немецкой фамилией, оканчивающейся, если память мне не изменяет, на «айзен», в роли какого-то примирителя, человек с деньгами. Я лично никогда его не видел, но Лавров однажды явился ко мне с невероятным предложением. От имени Игнатьева, мол, сделано обращение к заграничной эмиграции приостановить свою революционную деятельность ввиду затеваемой правительством перемены курса. Залогом ее будет возвращение Чернышевского в пределы Европейской России (что и воспоследовало в действительности) и отмена крайне репрессивных мер против газет и журналов (что, разумеется, не оправдалось, так что Стасюлевичу пришлось прекратить издание крайне умеренного, но либерального органа «Порядок»). Агент, якобы присланный Игнатьевым, предлагал эмигрантам уполномочить какое-нибудь лицо не из их среды, но пользующееся их полным доверием, поехать в Россию убедиться в том, что существует серьезное движение, поддерживаемое министром «в пользу обновления России», доложить обо всем этом по возвращении в Париж и, таким образом, содействовать прекращению террористической деятельности, требующей стольких жертв с обеих сторон. И вот Лавров, объявив мне предварительно с приятной улыбкой, что я пользуюсь доверием всех групп, партий и направлений, центральных и исполнительных комитетов уполномочен быть этим счастливым избранником. Я с не менее приятной улыбкой ответил ему, что благодарю сердечно за это лестное доверие, прежде всего, его самого, так как предполагаю, что вся упомянутая им организация сводится к нему самому, а что затем высказываю сожаление, что он попал в руки подосланных к нему агентов и высказываю решительное нежелание провесть остаток дней в тундрах Сибири. Лавров сделался пасмурным и заявил мне, что в таком случае ему остается обратиться только к Л.Н. Толстому. Не знаю, состоялось ли подобное обращение, но вполне уверен, что Л[ев] Н[иколаевич] отклонил бы предложение всякого посредничества. Много лет прошло, прежде чем

Бурцеву удалось раскрыть псевдоним этого далеко не самозванного миролюбца, который едва не впутал меня в беду. Оказалось, что он успел за это время жениться на девушке из хорошей бельгийской семьи, жил за границей и продолжал оказывать услуги «добровольного пособника» русского министерства внутренних дел. С Лавровым во время моих приездов в Париж я продолжал видеться еженедельно, разумеется, не у него на квартире. Он приходил обедать со мной в отдельном кабинете в ресторане «Фойо». Иногда я приводил кое-кого с собой. Мы говорили обо всем, кроме его революционной деятельности, так как были далеко не одного с ним лагеря и наши споры не повели бы ни к чему. Но иногда он сам жаловался на тяжелое настроение, на то, что, за немногими исключениями, он мало с кем способен сблизиться в собственной среде. Однажды, под свежим впечатлением направленных против него упреков, что он жертвует жизнью доверчивых молодых людей, сам оставаясь в области «недосягаемости», он объявил мне, что переодетый монахом он перейдет русскую границу. Я от души расхохотался и разговора об этом больше не было. Лавров пользовался своими встречами с людьми далекими от его революционной пропаганды, но близкими к нему по своим научным работам, чтобы обменяться мыслями по вопросам, подымаемым им в отдельных главах его «Очерков по истории мысли». Я не раз присутствовал при его беседах с Мечниковым и чаще всего — спорах с Гр[игорием] Ник[олаевичем] Вырубовым. Вырубов не прощал Лаврову его бесплодной, как он думал, агитации и тех жертв, какие она требовала, и под влиянием чувства раздражения не мог спокойно говорить о его научной работе. Хотя Лавров и признавал себя последователем Конта, а следовательно, и единомышленником Вырубова, но последний продолжал считать его метафизиком-материалистом, готовым ухватиться за всякую гипотезу, малоподготовленным для того, чтобы с знанием дела писать о геологии и биологии, прочитывавшем новые книги без достаточной критики и, по мере составления им отдельных глав своей книги, компилятором, а не самостоятельным исследователем. Быть может, в этих нареканиях была и своя доля истины. В вопросах более мне близких, — сравнительной этнологии и сравнительного права, — Лавров, разумеется, не был оригинален и потому в спорах, скажем, приверженцев матриархального или, наоборот, патриархального быта, как первобытного, занимал какое-то среднее место, не удовлетворяя, разумеется, ни тех, ни других. Но начитанность его была весьма значительна, и основная мысль о разуме, руководящем историей и росте знания, как о господствующем факторе всех общественных изменений, не удовлетворяя марксистов, выдавала в нем сторонника положительной философии, а за нею и Гегелевской философии истории, в которой разум с эпитетом мирового прогуливается на протяжении веков по всему прошлому, настоящему и будущему человечеству. П[етр] Л[аврович] страдал еще одним недостатком, которого бы не простили ему французские читатели. Он не умел ввести подымаемых им во-

просов в определенные рамки, страдал расплычатостью, останавливался в истории мысли чересчур продолжительно на эпохе, когда самая эта мысль еще не зародилась, и потому не порождал в читателе надежды, что он когда-либо доведет его до конца. Этого конца, в действительности, не настало, хотя в своих последних работах Лавров довольно близко подошел к современности. Перо выпало из его рук, когда он сидел за последней главой своей последней книги. Я имел от него письмо за несколько дней до постигшего его удара. Он писал мне, что скоро закончит свою рукопись и приступит к ее пересмотру. Этот пересмотр так и не воспоследовал. Сотрудник «Русского богатства», хорошо разбиравший его рукопись и искренно его любившей, согласился взять на себя нелегкий труд — ведение корректуры. Книга вышла в Москве в моем издании, под псевдонимом Доленга*. Она разошлась мало.

Совершенно иной тип, чем только что упомянутые мною научные деятели, представляет из себя Евгений Валентинович де Роберти. В жизни ум весьма практический, умеющий соблюдать свои интересы, охотно смеющийся над тем, что крестьяне Тверской губ[ернии], будто бы, говорят о нем: «В Бога не верует, начальство не почитает и все страхует». Евг[ений] Валент[инович] в своих философских книжках и статьях, которых имеется многое множество, задается лишь самыми отвлеченными вопросами. Он иногда оригинален, всегда оригинальничает, не отступает перед творчеством слов и на чуждом ему языке — французском — пренебрегает демонстрацией своих мыслей, утверждая не без основания, что для этого потребовались бы целые томы, вызывает в людях, даже расположенных к нему, как покойный Тард[103], горькие упреки в неясности языка, обусловленной его неологизмами. C'est du belge**, говорят его скрытые недруги, намекая на его положение профессора в Новом университете в Брюсселе, и по тяжеловесности его рассуждений. При всем том, он из философов, излагающих свои мысли на французском языке, принадлежит к числу наиболее глубоких и одновременно разносторонних. Он пишет и по теории познания, и по психологии, и по социологии, полемизируя с самыми выдающимися мыслителями, как прошлых дней, так и нашего времени. Им создана и целая школа так называемого неопозитивизма, имеющая последователей и во Франции, и вне ее пределов. Можно пожалеть о том, что он не пишет по-русски, так как он мастер слова; но винить его за это нет оснований. Его «Прошлое и настоящее философии» было изъято из обращения по настоянию всемогущего обер-прокурора Победоносцева. Отдельные его книги, появившиеся на русском языке, как «Социология»***, и

---

* А. Доленга [Лавров П.Л.]. Важнейшие моменты в истории мысли. М., 1903.

** От бельгийца (*франц.*).

*** Де Роберти Е.В. Социология. Основная задача ее и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологией и психологией. СПб., 1880.

годы спустя — «Новая программа социологии»* были только переводами или переделками с французского, обыкновенно им проверяемые. Я рад тому, что за последние годы Евг[ений] Вал[ентинович] выступил в роли лектора по социологии в Психоневрологическом Институте и имеет большой успех. Издаваемые нами совместно «Вопросы социологии» включили уже некоторые его статьи, написанные популярно и получившие, благодаря этому, достаточное распространение. Де Роберти вернее оценен за границей, чем в России, где с ним считаются меньше, чем с философом и больше, чем с общественным деятелем, старым либеральным земцем Тверской губ[ернии], не раз ставившим свою кандидатуру на выборах в Думу, всегда неуспешно, так как к принципиальным врагам присоединяются и скрытые противники в среде одной с ним кадетской партии. За последнее время Евг[ений] Вал[ентинович] более или менее разошелся с последними, не приставши в то же время ни к какой другой. Кончает он свою жизнь в том же умственном одиночестве, в каком провел и большую ее часть. Да и трудно, чтобы было иначе. При некотором южном темпераменте, унаследованном от испано-французских предков, высокой и справедливой самооценки и нежелании к чему-либо приспособляться. В молодости, еще гейдельбергским студентом, он издавал с приятелями рукописный журнал, о котором мельком заходит речь в «Дыме» Тургенева. Эпиграфом к журналу служили слова: «Бог не выдаст, свинья не съест». Об этих грехах молодости де Роберти вспоминает с улыбкой, но в нем сидит прежний непримиримый индивидуалист, хотя в психологии он и является сторонником той мысли, что большинство наших идей и представлений возникают под влиянием среды и в видах удовлетворения ее запросов.

Когда, в год всемирной выставки в Париже, 1-й год начавшегося столетия, я прибыл летом в Париж, ко мне обратился де Роберти с заявлением, что действительный ректор «университета Франции», известный философ Лиар и помощник министра народного просвещения Буржуа, обратился к нему с просьбой открыть при школе выставки особое русское отделение. Он имел случай обменяться по этому вопросу с членами русской колонии и все они пришли к тому заключению, что дело не обойдется без моего ближайшего участия. Я сперва ответил отказом, говоря, что не рассчитываю долго остаться в Париже. Меня увлекли на обед к И.И. Щукину[104], брату известного московского капиталиста, давно поселившемуся в Париже, снимавшему обширную квартиру, в которой устроена им была прекрасная библиотека по русской истории и литературе. Эта библиотека, сказать мимоходом, была использована неизменным посетителем его обедов, поляком Валишевским[105], автором известных книг о Екатерине II и Петре I, к которым за последние годы присоединился ряд других томов, обнимаю-

* Де Роберти Е.В. Новая постановка основных вопросов социологии. М., 1909.

щих всю историю России, начиная со времен Ивана Грозного и оканчивая Павлом I включительно. Ив[ан] Ив[анович] Щукин был очень гостеприимен, умен, начитан, имел большое влечение к русским древностям и к истории искусства; эта последняя страсть заставляла его покупать картины известных мастеров. А кто покупает картины, тот обыкновенно кончает тем, что и перепродает их. В то время Щукин еще только собирал свою коллекцию. У него можно было встретить и немало иностранных художников, между прочим, весьма модного в наши дни испанца, нарисовавшего его портрет. Они, по-видимому, использовали его положение в среде не одной русской колонии в Париже, но и богатого московского купечества и через его посредство стали собирать немало картин новейших школ, начиная с импрессионистов и кончая декадентами. Щукин любил женщин, а это любовь приводит к необходимости добывать деньгу. Он избрал для этого, по совету и настоянию русских и иностранных живописцев, торговлю всякого рода Греко[106] и Валаскецами*/[107], из которых не все были настоящими. Я помню, как однажды он показывал такого сомнительного Валаскеца. Это был портрет какого-то не то испанца, не то южного француза в том, что со времен Ж.-Ж. Руссо стали называть армянским костюмом. Я обратил его внимание на то, что Руссо первый стал одеваться в такой костюм и, что, следовательно, нет основания думать, что Валаскец, живший много раньше, задался бы мыслью изобразить кого-либо в таком наряде. Там как его картины покупали не одни русские и американцы, которым легко сбыть всякую фальшь, то дело приняло для него трагический характер, — какой-то покупатель из Берлина пригрозил ему процессом. Дела самозванного коллекционера пришли к этому времени в расстройство. Он не решился или не сумел вовремя откупиться. Дальнейшее я сообщаю уже со слов К. Маковского[108], так как в это время моя деятельность уже была перенесена в Петербург. На очередном обеде, на котором присутствовал на этот раз и Маковский, Щукин обнаруживал, как и всегда, свое чисто московское благодушие, казался веселым, остроумным, предупредительным к желанию своих гостей и после обеда даже поразил их готовностью даром или за пустяк наделить их теми или другими экземплярами своей коллекции. Разошлись поздно. А утром до него нельзя было достучаться. Когда взломали дверь в его спальню, его нашли мертвым. Вскрытие показало, что он отравился. В то время, когда я, привлеченный де Роберти, стал бывать на обедах Щукина, никто, разумеется, не предвидел такого конца. Я нашел у него самую пеструю компанию: моего приятеля проф[ессора] Гамбарова[109], по окончании 25-летней службы в Московском университете переселившегося в Париж с семьей, Онегина[110], которого я раньше встречал у Тургенева (по его словам, он послужил ему типом для Нежданова в «Нови»), Мих[аила] Петр[овича] Боткина[111] члена нашей Акаде-

* Так в тексте. Следует: Веласкес.

мии Художеств, приходившегося свойственником Щукину, старшего комиссара выставки кн[язя] Тенишева[112], основателя гимназии его имени, доселе существующей в Петербурге на Моховой, прямо против моей теперешней квартиры, К.Ап. Скальковского, известного сотрудника «Нового Времени» и целый ряд других лиц, имена которых я теперь не припомню. После прекрасного обеда, начался прием всякого рода французов, интересующихся Россией, в числе других назову пастера Парлинга — русского иезуита, с которым я знаком был еще в Риме, где он в начале 80-х годов работал в архивах Ватикана и собирал материал для своего многотомного труда «Россия и папство», то есть исторический очерк наших отношений к папскому престолу. В тот ли, или в другие разы я встречал у Щукина и Вандаля[113], автора трехтомного сочинения «О Наполеоне и Александре I»*, впоследствии сделавшегося членом французской Академии. На тех же обедах перебывали и некоторые русские сановники, в числе других барон Нольде[114], которого я затем встретил в Петербурге членом Государственного Совета, а из журналистов и общественных деятелей, столько же старика Суворина, сколько и известного теперь всей России депутата Родичева. Любезный хозяин предупреждал, что принимает у себя людей самых различных лагерей и направлений, что русским нужно же где-нибудь встречаться на чужбине, хотя бы для того, чтобы обменяться своими взглядами и что он рассчитывает на то, что благовоспитанность помешает им проводить время в личных столкновениях. Пестрота публики вызывала иногда довольно забавные сцены. Меня посадили однажды за обедом между Сувориным и Скальковским. Хозяин вздумал превозгласить тост за редактора «Нового времени», тост этот никем не был поддержан, один Скальковский протянул свой бокал и чокнулся с Сувориным. Мы сидели, как набравши в рот воды. После обеда Суворин подошел ко мне, взял меня за пуговицу и спросил меня: «Не пора ли России иметь конституцию?». — «Это, как на дело посмотреть», — последовал мой ответ, после чего я обратился с речью к другим гостям. Это была первая и последняя моя встреча с человеком, статьями которого в «Петербургских ведомостях», за подписью «Незнакомец», увлекалась вся русская либеральная молодежь.

На одном из таких обедов меня убедили принять на себя руководительство русским отделом международной школы выставки[115]. Я захотел связать с ней и громкое имя И.И. Мечникова. Под условием, что его тревожить не будут, Мечников, по моей просьбе согласился считать его номинальным председателем отдела при двух вице-председателях — де Роберти и меня. Почти все хлопоты о приискании лекторов, как и о произнесении речей на торжественных собраниях выпали на долю вице-президентов. В школе имелись следующие отделения: французское, которым заведовал историк Эмиль Буржуа, немецкое, англо-американское, под номи-

* Вандаль. Наполеон и Александр (русск. пер. Т. 1—3. 1910—1913).

нальным председательством Брайса[116], итальянское и, если не ошибаюсь, испанское. Император Вильгельм из собственного кармана выдал несколько десятков тысяч марок на покрытие издержек немецкого отдела. Англичане, американцы и французы также получили официальные и частные субсидии. Нам пришлось обойтись без всякой денежной помощи, и весьма скромные издержки были покрыты мной, в размере, если не ошибаюсь, 1000 франков. Лектора читали бесплатно. Число их было более чем ограничено, приходилось пользоваться услугами добровольцев. Тщетно я пытался привлечь к школе комиссаров различных отделений русского павильона, обращаясь за этим и к кн. Голицыну, нашему известному виноделу, и к моему племяннику Евграфу Петровичу Ковалевскому, посланному от министерства народного просвещения, также участвовавшему в выставке. Министром в это время был мой старый товарищ по преподаванию в Москве Ник[олай] Павл[ович] Боголепов. Ему приписывали, по-видимому, не без основания, решительную враждебность ко мне, о которой, разумеется, во все время нашей совместной службы не было и помину. Так как без прямого разрешения Ев[графа] П[етровича] Ковалевского никто из его помощников не решался выступить со своими сообщениями, то я однажды обратился к нему с следующим кратким словом. «При всей своей ограниченности, — сказал я, — Боголепов не может не понять, что речь идет о поддержке русского дела». — «Не думаю, — отвечал мне мой племянник, — вы ошибаетесь, так как давно его не видели». В результате оказалось, что я принужден был обойтись без помощи официальных представителей России. Г-жа Алчевская[117], — наша известная деятельница по народному образованию, только что начавшая в то время свою профессорскую карьеру, Озеров[118] и Пиленко и целый ряд специалистов по земледелию и разным видам техники пришли на помощь нашему делу, и лекции стали чередоваться в определенном порядке. Князь Тенишев предложил мне устроить наши чтения в русском павильоне. Но когда я однажды отправился в этот павильон вместе с лектором, только что возвращенным из административной ссылки в Якутскую губ[ернию], двери павильона оказались запертыми и на все наши убеждения открыть их последовал отказ. Пришлось уйти в соседний павильон «Канада», где и прочитана была лекция о якутах, — предмет, очевидно не заключавший в себе «зажигательного материала». Тенишев, которого я после этого стал избегать, впоследствии оправдывался передо мною, ссылаясь на долг службы. На торжественном собрании, которым завершилась деятельность международной школы, и на банкете, устроенном ее председателю Леону Буржуа[119], я открыто заявил, в ответ на сказанное мне приветствие, что взял на себя руководство этим нелегким предприятием в надежде обратить наш отдел в постоянную русскую школу общественных наук. Эта мысль встретила сочувствие, и Лиар дал мне необходимое по закону разрешение, подчинив свое согласие двум требованиям: первое, — чтобы преподавание не было направлено против республики во Франции, и второе, —

чтобы в ней не было проповеди клерикализма. Считаю нужным напомнить об этом потому, что одним из успехов министра народного просвещения Кассо считалось то обстоятельство, что, по его настоянию, Лиар согласился на открытие в Париже русского семинария для подготовления профессоров по юридическим, политическим и экономическим наукам. Министру почему-то казалось, что вдалеке от Германии молодым русским ученым легче будет развить в себе консервативно-монархические и православно-националистические чувства. Как все свободные школы, и наша подлежала наблюдению со стороны правительственных органов. Оно состояло в том, что раз или два в год являлся инспектор высшего образования, не понимавший ни одного слова по-русски, и что мы сообщали ему имя лектора и предмет его чтения. При школе организован был «комитет усовершенствования», в который мы поспешили включить имена наиболее известных французских ученых, начиная с знаменитого химика Бертело[120] и оканчивая Анатолем Леруа-Больe[121], автором лучшего трактата о России, написанного на французском языке и озаглавленного: «Империя царей и русские». Ежегодно, а то и два раза в год мы собирали этот комитет, обменивались мыслями по поводу возможных улучшений, какие могут быть введены в систему преподавания, намечали новых профессоров и лекторов. Действительное руководство школой принадлежало, однако, не этому комитету, а так сказать, исполнительному бюро, в которое вошли вместе с номинальным председателем И.И. Мечниковым, де Роберти, проф[ессор] Гамбаров и я. Так как школа открывалась в ноябре[122] (к этому только времени начинается преподавание в Сорбонне и других высших учебных заведениях Парижа) то мне пришлось поневоле проводить часть зимы вне Болье, посвящая время преподаванию. Мы сняли для нашей школы помещение французской школы социальных наук, прямо против Сорбонны, на улице ее имени № 12. Начиная в 9 ч. утра и до 4-х после обеда, эта квартира была в нашем распоряжении. В ней имелась большая аудитория с кафедрой и скамьями. Я украсил ее картой России и доской для статистических или иных выкладок. Решено было использовать пребывание некоторых русских молодых ученых и литераторов для устройства постоянных курсов, выписать из России покончивших с преподаванием профессоров, как, например, известного историка Трачевского[123] и не менее известного экономиста проф[ессора] Исаева[124], пользоваться частым посещением Парижа русскими учеными для временных чтений и конференций. Рядом с русским языком допущен был в преподавании и французский. Это дало нам возможность устроить целый ряд интересных конференций французских и иностранных лекторов; упомяну, для примера, конференции Тарда, Анатоля Леруа-Болье, датского критика Георга Брандеса[125], брюссельского социолога де Грефа, французского юриста Ламбера, берлинского профессора Бартхевича, очень известного статистика, ранее читавшего в Петербурге и потому только не встретившего препятствий к прочтению курса на русском языке. Читали также

лекции некоторые итальянцы по конституционному праву, Львовский профессор Грушевский[126] — по истории Малороссии, Валишевский — по русской истории.

Всего систематичнее поставлено было преподавание гражданского права (так как Гамбаров постоянно жил в Париже), всеобщей истории (с тех пор как к нам приехал на ряд лет проф. Трачевский), философии и психологии (по которым читал целые курсы Ев[гений] В[алентинович] де Роберти), всеобщей истории литературы, пока в Париже оставался ученик известного Алекс[андра] Веселовского Евг[ений] Аничков[127], автор хорошо известных книг по русскому язычеству и по весенней обрядовой песне П.Д. Боборыкин и Ал. Амфитеатров[128] выступали не раз с отдельными конференциями по истории русской литературы, Осип Лурье по истории философии, Ренан, проф. Коллеж де Франса — по истории социальных систем.

Лекции по политической экономии читались профессором Исаевым и целым рядом молодых лекторов, из которых двое состоят ныне профессорами С.-Петербургского политехникума. По моей просьбе, в Париже на целый семестр приехал Ал[ександр] Ив[анович] Чупров[129], изложивший нашим слушателям в сжатом виде результаты своих продолжительных исследований о мелком крестьянском кредите в Италии, Германии и России. Когда не хватало лектора по какому-нибудь предмету, приходилось выступать и членам бюро. Вот почему рядом с курсом конституционного права мне приходилось читать и историю политических доктрин, и историю экономического быта Европы в связи с развитием экономической мысли, и историю первобытной культуры, развития семьи, собственности и государства[130]. В начале и в конце года мы устраивали подобие актов, на которых, опять-таки, не раз приходилось выступать мне с вступительными речами и целыми лекциями. Праздником для школы считалось случайное выступление в ней при их проезде через Париж таких известных ученых и общественных деятелей, как С.А. Муромцев, Котляревский, теперешний профессор государственного права в Москве, или Пав[ел] Ник[олаевич] Милюков. Каждый из нас старался привлечь в школу новых преподавателей. Исаев рекомендовал нам для лекций по уголовному праву и тюрьмоведению профессора Тимофеева[131], Щукин, сам читавший лекции по русской истории, не раз пользовался своими еженедельными обедами для того, чтобы приискать временных заместителей пустующих кафедр. П. Апостол[132], доктор одного из германских университетов и автор книги о страховании рабочих, прочел у нас, благодаря его настоянию, интересный ряд лекций по этому предмету. Полный курс обучения продолжался три года. Большинство наших слушателей состояло из лиц обоего пола, окончивших среднюю школу. Для получения простого удостоверения в том, что трехгодичный курс был пройден, требовалась сдача экзамена и представление письменной работы. Никаких прав такой диплом не давал, но он оказал некоторым из наших слушателей ту существенную услугу, что на основании его они были до-

пущены в высшие школы Парижа без всякого предварительного испытания и приобрели возможность окончить в них свое обучение и приобрести дипломы, отвечающие нашему бывшему кандидатскому[133].

Издержки по преподаванию не могли быть покрыты взносами слушателей, по самой незначительности этих взносов (20 франков в год) и того обстоятельства, что, по меньшей мере, треть обучающихся была освобождена от платы. У школы оказался неожиданно некоторый капитал, благодаря следующему счастливому обстоятельству. После одной из моих лекций подошла неизвестная мне девушка и попросила у меня позволение сделать взнос на нужды школы. Я до сих пор не узнал ее имени. Положенная же ею на мое имя в Лионский кредит сумма равнялась 30 000 франков. На эти деньги мы в течение пяти лет имели возможность оплачивать проезд и издержки по пребыванию в Париже приглашаемых нами временных лекторов. Большинство же преподавателей не получало никакого вознаграждения.

Мирное течение нашей преподавательской деятельности изредка прерывалось горячей полемикой между сторонниками и противниками марксизма и социал-демократии. Яблоком раздора служило особенно общинное землевладение. Известный знаток его, Кочаровский*/[134], пожелал прочесть по предмету своего исследования целый курс. Он был прерван на одной из первых же лекций химической обструкцией. Она сопровождалась обменом между слушателями не одних только ругательств, пострадали и скамьи[135]. Привратник, не предупреждая нас, призвал полицию. Меня не было в это время в Париже. На лекциях случайно присутствовал де Роберти. Слушатели не без ужаса спрашивали, что же будет с ними теперь. — «Ничего», — ответил им Евгений Валентинович. И, действительно, дело кончилось тем, что полицейские комиссары попросили очистить зал, а нам пришлось уплатить 300 франков за материальные убытки, — на ремонт мебели. Преподавание возобновилось два дня спустя, и порядок более не нарушался. Нужно ли говорить, что преподавание не преследовало никаких политических целей[136]. Оно также было направлено против монархии, как и против республики, тем не менее, по адресу одного из профессоров, де Роберти, был сделан донос. Совершенно неожиданно для себя, он, проводя лето в Нормандии, получил запрос от русского правительства; от него требовали немедленного приезда для объяснений и грозили, в противном случае, приложить к нему всю строгость закона. Это означало конфискацию всего его имущества на недалеком расстоянии в казну. Он имел несчастье быть тверским помещиком и, следовательно, оставаться в области досягаемости. Его выпутало из беды коллективное ходатайство людей науки и профессуры[137]. Оно поддержано было Делькассе через посредство французского посла при русском дворе, Бомпаре, государ-

* Так в тексте. Следует: Качоровский.

рю. Представители французской науки ходатайствовали о том, чтобы философу де Роберти предоставлена была возможность жить там, где это окажется наиболее полезным для его литературных занятий. Де Роберти только после отправки этого письма уехал в Россию, имел свидание со всемогущим в то время министром Плеве и получил возможность вернуться обратно. Тем не менее, принятые по отношению к нему меры запугали одного из лекторов нашей школы, Валишевского, который прислал мне письмо с заявлением, что возобновить преподавание только после удаления Де Роберти из вице-директоров школы. Это письмо я оставил без ответа, а в день и час, назначенный для вступительной лекции Валишевского, на кафедру, вместо него, взошел я и стал читать историю русских общественных и государственных учреждений.

По возвращении из Петербурга и после предварительного свидания с русским послом в Париже, де Роберти сообщил мне, что меры, однохарактерные с теми, какие были приняты по отношению к нему, предвидятся и для других профессоров школы и, в частности, для меня; на школу, мол, смотрят подозрительно в Петербурге, а на каком основании, это остается покрытым мраком неизвестности. Сообщение это было сделано мне в самый разгар японской войны, уже после прекращения лекций. Я уехал в Карлсбад не раньше, однако, как после принятия решения продать мое недвижимое имущество в России и тем приобрести полную свободу действий.

Брюссель

Пишу под свежим впечатлением разгрома, которому подверглась Бельгия со стороны представителей «сверхчеловечества» в серых шинелях. За мои 18 лет заграничной жизни столица Бельгии сделалась мне до некоторой степени родною. Я был в числе первых иностранных профессоров, приглашенных выступать с кафедры в ее новом университете. Он возник в следующих условиях. «Вольный университет»* — это детище брюссельских либералов, произведших революцию [18]30—31 года[138], постепенно стал приобретать все более и более буржуазный характер. В его стенах читали редко когда люди, всецело посвятившие себя науке и преподаванию. Большинство, по крайней мере, на юридическом факультете составляли адвокаты и судьи. По мере развития рабочего движения, антагонизм брюссельской буржуазии к передовым партиям становился все резче и резче. Людям, как Гектор Дени[139] или Гилмоль** де Греф, с трудом удавалось устроиться на правах приват-доцентов. Социалистическое движение, во главе которого стал де Пан, развилось в Бельгии под влиянием Прудона, который провел в

* В литературе бытует термин: свободный.

** Так в тексте. Следует: Гильом.

Брюсселе ряд лет, издавал газету, имя которой сохранилось в теперешнем социалистическом органе «Народ». Ему удалось склонить на свою сторону людей, ранее испытавших на себе влияние положительной философии и ее родоначальника Конта. К числу их приходится отнести и двух упомянутых мною ученых, экономистов-социологов. Близость их к доктрине, из которой развился со временем «научный анархизм» Реклю[140], объясняет нам причину, по которой оба они стали инициаторами приглашения в Брюссель знаменитого французского географа, завоевавшего себе внимание всей Европы рядом томов «Универсальной географии»*/[141]. Написанное прекрасным слогом, это сочинение переведено было на все языки, в том числе и на русский. Выбор Реклю уже состоялся, когда пришло известие о покушении, произведенное анархистом Вальяном**/[142] в Париже. Как известно, Вальян с хор бросил бомбу во дворце Бурбонском, в котором заседает палата. Председатель Дюпюи[143] обессмертил свое имя, произнесши по этому случаю памятные слова: «Мы здесь, чтобы обсуждать, продолжим поэтому наше обсуждение». Овладевшая депутатами паника сразу прекратилась. Каждый занял свое место, и прения были продолжены. Из допроса Вальяна и показаний свидетелей оказалось, что незадолго до своего покушения подсудимый посетил племянника Реклю инженера Поля Реклю. Этого было достаточно, чтобы привлечь последнего к начатому делу. Реклю, чтобы предупредить задержание, покинул Париж. Это разумеется, еще более усилило подозрение его в соучастии, которого в действительности не было. Как выяснилось впоследствии, Вальян в отсутствие Поля Реклю получил от его жены десять франков на пропитание. Семья Реклю объяснила впоследствии его поведение, говоря, что в том настроении, какое переживал Париж вслед за взрывом Вальяновой бомбы, можно было всего ожидать. «Если бы, сказал мне однажды, если не ошибаюсь, отец заподозренного, меня вздумали привлечь за то, что я собрался разрушить Собор Божией Матери, я бы постарался положить расстояние в несколько тысяч километров между собою и моими преследователями». Казалось бы, какое отношение мог иметь отъезд П. Реклю из Парижа к занятию кафедры географии в Брюсселе его знаменитым дядей. Отношение это, однако, оказалось весьма близким. Вольный университет[144] обратился к автору «Универсальной географии» с предложением отсрочить свой приезд в столицу Бельгии. Де Греф, принимавший участие в переговорах с знаменитым гефграфом, глубоко возмутился таким поведением. К нему примкнул ряд других преподавателей. Они решили выйти из состава университета и, пригласив Реклю в свою среду, положить начало новой высшей школы[145]. По бельгийскому закону высшая школа приобретает права университета только при на-

---

* Реклю Ж.-Ж.Э. Земля и люди. Всеобщая история. В 19 т. М., 1898—1901.

** Так в тексте. Следует: Ваяйн.

личии в ней 4-х факультетов. Люди, располагавшие самыми скромными средствами, должны были сразу открыть медицинскую и юридическую школу, естественный и филологический факультеты. Нашлись, разумеется, выдающиеся медики, в их числе королевский, предложившие не только взять на себя преподавание, но и предоставить в распоряжение «Нового университета» свои больницы. Трудность представило только получение трупов для анатомического театра. Когда я впервые прибыл в Брюссель, преподавание шло с некоторой правильностью только на двух факультетах, — историческом и юридическом, да еще на организованной при обоих факультетах «Школе высших научных знаний» (Ecole des hautes e'tudes). Лекции в них читались по вечерам и посещаемы были студентами обоих университетов — «Вольного» и «Нового». Так как доступ был свободен, то на лекциях показывались и члены брюссельского общества — депутаты, профессора, литераторы, вплоть до участников рабочих синдикатов. Один из них составлял подробный отчет о моих чтениях и печатал его в газете «Народ». Предметом моего курса я избрал «Краткий очерк экономического развития Европы». Он вышел впоследствии на русском языке в библиотеке Павленкова, выдержал два издания и разошелся в общем количестве 7000 экземпляров. Отдельные части моего курса в более обработанном виде были напечатаны в парижском «Международном журнале социологии».

Я редко имел больший успех и никогда еще мои лекции не проникали в ту толщу народной жизни, какую представляют собою рабочие классы на западе и ищущая самообразования русская молодежь. Так как я одно время был занят обширным трактатом «Экономический рост Европы», то мои лекции заключали в себе как бы первый набросок задуманного мною большого труда. Чем я особенно дорожил, это — присутствием на моих лекциях обоих братьев Реклю, де Грефа, иногда Гектора Дени и всей плеяды молодежи ученых и преподавателей, принимавших участие в Новом университете. Тут было немало людей, имя которых теперь пользуется широкой известностью. Один издает международный трехмесячник, выходящий на трех языках и озаглавленный «Экономист»; другие вместе с Эдмондом Пикаром[146] довели до конца обширное издание, озаглавленное: «Бельгийские пандекты»; третьи руководят теперь газетою «Народ», — главным органом рабочей партии в Бельгии. Монографические курсы, каков был прочитан и мною, если они не замыкаются в узкую сферу специальности, способны открыть лектору возможность сближения с очень широкими кругами. Два месяца, проведенные в Брюсселе, позволили мне — иностранцу вникнуть в ее внутреннюю жизнь, — завязать тесные сношения с руководителями отдельных партий, с людьми науки и преподавания, с выдающимися литераторами и журналистами. После лекций мы часто сходились в кафе «Глобус», на королевской площади и проводили в оживленной беседе целые часы. Бельгия за несколько лет перед тем пережила конституционный кризис. Конституция 1831 г. подверглась значительным изме-

нениям в 1893 г. Введено было всеобщее начало голосования с тем, однако, условием, чтобы, лица, обладающие высшим образованием или владеющие двором, ценою не ниже нескольких тысяч франков, имели право голосовать за двух и даже трех. Женатые также располагали двойным голосом. Так как число лиц с высшим образованием во всякой стране ограничено, браки более редки среди рабочих, чем среди крестьян, и покупка дома в несколько тысяч франков возможна только в селах, а не в городах, то это начало «множественности голосов», разумеется, было выгодно для одной лишь клерикальной партии, более сильно представленной во Фландрии и вообще в деревенской Бельгии и более слабо в «Валлонской» ее половине, наиболее промышленной и включающей в себя такие рабочие центры, как Брюссель и Шарлеруа. Немудрено поэтому, если господствующая в парламенте клерикальная партия пошла на опыт всеобщего права голосования только с тем существенным дополнением, какое представляет выгодная для нее — «множественность голосов». Радикальная и социалистическая партия пошла временно на союз с клерикалами, давая себе в то же время отчет в том, что этот порядок для нее невыгоден. Этот союз позволил многим из членов рабочей партии впервые войти в состав палаты представителей. В числе их был и Эмиль Вандервельде, выбранный депутатом сперва от Шарлеруа, а впоследствии от Брюсселя. Последствием проведения в жизнь нового избирательного закона было решительное поражение либеральной партии, долгое время руководимой в Бельгии Фрер-Орбаном[147] и при таком умелом борце успешно оспаривавшей у клерикалов руководительство делами страны. Ее разгром был полный. Клерикалы отныне не имели более перед собою никого, кроме радикалов с Жансоном[148] во главе и социалистов, в числе которых роль руководителя сразу перешла к Вандервельде. В бельгийском сенате на крайней левой стал заседать Эдмонд Пикар, известный юрист и писатель, за неимением других являвшийся представителем рабочей партии, но расходившийся по многим вопросам с социалистами, заседавшими в палате.

В первый мой приезд в Брюссель мне пришлось присутствовать при избирательной кампании. Во главе списков стояли для радикальной партии Жансон, для социалистической — Вандервельде. Мой приятель де Греф жаловался мне на неудобство таких порядков, при которых он не может подать одновременно своего голоса и за старого друга Жансона, и за членов рабочей партии. Почти каждодневно устраиваемы были митинги. На них подымались всевозможнейшие вопросы, так или иначе задевавшие интересы рабочих классов и радикальной интеллигенции. Вандервельде пользовался ими и для пропаганды трезвости. Мне пришлось слышать его не раз и он постоянно производил на меня сильное впечатление и свое убежденностью, и своей подготовленностью, ясной и красивой речью с чисто французским акцентом, выгодно выделявшим его из ряда ораторов. Он не злоупотреблял жестикуляцией, воздерживался от всяких сентиментальных эффектов и умел дать

общее освещение частным фактам, связывая их с другими однохарактерными, от индукции он переходил к синтезу, от картины существующих социальных бедствий — к способам их врачевания. Он не возбуждал в слушателях не легко осуществимых надежд, указывал на ближайшие цели и средства к их достижению, бичевал всякое своекорыстное политиканство, умел искусно владеть насмешкой, с большой находчивостью отражал тут же на месте выпады своих противников, не столько нападая на безнравственность, сколько на отсутствие последовательности в их аргументации, на сознательное или бессознательное опущение ими целого ряда противоречащих им данных. Прибавьте к этому приятный голос, достаточно сильный, чтобы доходить и до слушателей задних рядов, правильность интонации, уменье, не повторяясь, подчеркнуть существенное, умное и выразительное лицо, приятную улыбку, наконец, симпатичное впечатление, производимое всей его внешностью, — его продолговатым лицом, его тонкой фигурой, поразительным сходством с теми типами друзей и современников Эразма Роттердамского[149], которые знакомы нам, благодаря портретистам голландской школы. Не даром род Вандервельдов идет от того нидерландского пейзажиста, который принадлежит к эпохе расцвета живописи в странах, лежащих по нижнему течению Рейна и Шельды. Вандервельде нельзя поставить в один ряд с Жоресом[150]. То был оратор «Божией милостью», наделенный природным пафосом, способностью волновать сердца и исторгать слезы. Мой товарищ Гамбаров, сидя рядом со мною на лекции Жореса, постоянно подносил платок к глазам, а Жорес говорил не на современную тему, без всякой видимой подготовки, с неприятным провансальским акцентом, с наружностью, далеко не говорящею в его пользу, с внешним видом какого-то виноторговца, но с блестящими, полными огня и страсти глазами. Я слышал и других ораторов, гремевших в то время в самой Бельгии, в числе их Жансона, которого Г.Н. Вырубов по таланту ставил выше Гамбетты[151]. Жансон был оратор старого типа, искавший эффектов, нередко обращавшийся с этой целью к повышениям и понижениям голоса, вызывавший по временам громы аплодисментов, но оратор неровный, речь которого не всегда была содержательна, оратор, способный, поднявшись на выси, сразу опуститься до долу, снизойти до роли сухого докладчика. Длинные речи ему поэтому не удавались, но коротким словом, сказанным толпе в решительную минуту и в любой обстановке, он мог увлечь ее и вызвать наступление желательного для него результата. Сказать, чтобы он сторонился того, что французы называют «clichés», т.е. избитых мест и громких фраз, уже не раз испробованных ораторами, значило бы грешить против истины. Превосходство Вандервельде состоит в том, что у него нет этих clichés, а отсутствие их объясняется тем, что в его речи все наперед обдумано, многое написано заблаговременно и удержано благодарной памятью. Одно время Вандервельде жил у меня на юге Франции и готовил свои речи. Жена его и я, не сговорившись, выразили удивление, что такой опытный оратор счи-

гает нужным излагать свои мысли на бумаге. Он немедленно ответил нам, говоря, что, прочитав стенографический отчет своих недавних выступлений в палате, он остался недоволен некоторой неправильностью своей речи, — повторениями, избытком аргументаций, а потому и решился некоторое время снова на свободе подготовлять то, что он намерен сказать. Он далек от мысли заучивать написанное наизусть, как это делали некоторые знаменитые французские ораторы, в числе их Луи Блан[152], но он не намерен положиться на импровизацию, которая, по обстоятельствам, может быть сегодня удачною, а завтра — неудачною. Речи Вандервельде ничего не теряют в чтении. В них совершенно отсутствует то, что называется remplissage, т.е. сообщение ненужного для преследуемой задачи, с целью затянуть время. Автор всегда развивает одну центральную мысль. Если он уклоняется иногда от своей главной темы, то или для полемики с противниками, или до того, чтобы дать слушателям возможность отдохнуть от чрезмерного напряжения внимания. Для этого оратор прибегает иногда к ярким картинам действительности, к остротам, всегда лишенным пошлости, к выдержкам из сочинений известных писателей — все это делается им в меру, а не через край. Переход к дальнейшему развитию основного тезиса всегда самый естественный, так как оратор задержался недолго на своих отступлениях. Общедоступность, ясность, простота и вместе с тем изящество речи, отсутствие всего банального, громоздкого или, наоборот, легковесного, честность, состоящая в том, чтобы избегать грубых эффектов, грохочущих фраз, ненужных выкриков — все это, вместе взятое, позволяет говорить о Вандервельде, как об ораторе-классике, а не ораторе-романтике. Найдутся люди, которые назовут его сухим. Никто не вправе упрекнуть его в пустом витийстве. В другой мой приезд в Брюссель я прожил некоторое время у Вандервельде за городом в Ля-Гульб, — в местечке, расположенном в часе езды от Брюсселя, известном своими оранжереями, поставляющими на заграничные рынки мнимые цветы из Ниццы. Снова предстояла избирательная кампания. Речь шла о дополнительных выборах в сельском округе. Вандервельде обещал поддержать представлявшегося кандидата. С этою целью он должен был объехать ряд деревень, произнести в один и тот же день несколько речей и закончить свой объезд участием на сельском митинге, созванном для протеста против алкоголизма. Я попросил его взять меня с собою. Мы уехали в кабриолете, останавливались не раз у наиболее влиятельных избирателей, причем Вандервельде каждый раз уклонялся от гостеприимно предлагаемой ему выпивки, ссылаясь на меня, с доказательством того, что он не пьет вина, в чем я, однако, далеко не был уверен. Благодаря такому приему, он в состоянии был сохранить полное обладание собою. Не напрягая голоса, он произнес в этот день несколько речей на самые различные темы, где в закрытом помещении, а где и с балкона, стоя под зонтиком. Вечером он сказал прекрасное слово о вреде чрезмерного употребления спиртных напитков, в котором с большой отчетливостью привел ряд статистичес-

ких данных, доказывающих и материальный, и нравственный вред, причиняемый пьянством. Его проводили восторженными аплодисментами, а час спустя прислали ему сказать, что пьют за его здоровье. На расстоянии нескольких дней мне пришлось слышать его уже как профессора. Он читал на тему: «Об отходных промыслах», опять-таки с большой ясностью, счастливой способностью обобщать свои данные и с исчерпывающей подробностью. Лекции эти переработаны были в небольшую книгу, дважды переведенную на русский язык и вышедшую, между прочим, в Одессе с большим моим вступлением, под заглавием: «Сельский исход» (буквальный перевод французского термина l'Exode rural). Вандервельде почти ежегодно читает монографический курс в 5—6 лекций, всегда на новую тему. Он выступал лектором же в «Высшей школе социальных знаний» при «Новом университете» в Брюсселе и в «Народном доме», прекрасном здании, служащем одновременно и клубом, и дешевым рестораном, и обширной аудиторией, и концертным и театральным залом. Жена Вандервельде руководит эстетической частью той обширной программы, какую ставят себе управители этого учреждения, единственного, в котором рабочие Брюсселя чувствуют себя как дома, который они поэтому посещают всего охотнее, так что лекция, прочитанная в Народном доме, уже по тому самому может рассчитывать на значительное стечение публики. Вожди рабочей партии в Бельгии далеко не пренебрегают художественным развитием класса тружеников. Эдмонд Пикар с этою целью устраивал спектакли из любителей-рабочих. На моих глазах разыграна была в одном из театров Брюсселя драма одного из предшественников Шекспира. Для любителей исполнение было образцовым. Но чтобы поднять его на такую высоту, Пикару пришлось устроить ряд репетиций и войти временно в роль настоящего режиссера. Тот же Пикар — один из самых выдающихся и много зарабатывающих адвокатов Брюсселя, представил на ряд лет в распоряжение рабочих дом, в котором накоплены были им сокровища старого и нового искусства. Этот дом известен был в Брюсселе под названием Maison d'art. Брюссель вообще богат музеями, библиотеками и театрами. Он любит музыку, имеет прекрасную консерваторию, хорошую оперу, в которой часто разыгрывают произведения Вагнера и можно было в течение ряда лет слышать Вандика, Мельбу и русских певцов, получивших со временем более или менее громкую известность, как, например, тенор Алчевский или сопрано Корсова, дочь известного московского баритона. Концертный сезон отличается богатством и разнообразием. Нет недостатка в местных силах. Достаточно вспомнить, что Венявский был одно время директором консерватории в Брюсселе и что в числе его преемников имелся знаменитый скрипач Исаий. Посещая Брюссель, я находил время бывать и в театре «Парка», в котором часто сменяются приезжие из Парижа труппы, и в Опере, где нередко впервые ставятся произведения молодых композиторов. Так, «Ирадиада» Массне впервые появилась на афише брюссельской «Музыкальной академии». Мне не дальше,

как в прошлом году, пришлось познакомиться с ее директором, живя у Вандервельде, в его новой и роскошной обстановке в Rue Vilain XIV в Иксель (предместье Брюсселя). В отличие от других импрессарио, этот директор всего более озабочен не наживой, а тем, чтобы дать возможность руководимому им учреждению сделаться чем-то родным для молодых композиторов, ждущим по годам постановки их опер на больших сценах. Меньшие затраты на декорации, не столь высокое жалование артистам, при наличности денежной субсидии от правительства, позволяют ему отводить ряд вечеров музыкальным произведениям молодежи. В прошлом году, приехав из Парижа в Брюссель для прочтения двух лекций, я почти с поезда попал в Оперу, где шла новая лирическая драма с музыкой неизвестного еще миру французского композитора. Она частями имела большой успех, но едва ли долго удержится на афише.

Большого дохода от ее постановки директор не предвидит, но он уверен в том, что свои ближайшие творения молодой музыкант всего охотнее поручит ему и, разумеется, по сходной цене. Не существуй таких второстепенных сцен, как сцена брюссельской Оперы, опер в Милане, Генуе, Флоренции или Риме, мы принуждены были бы довольствоваться все новыми и новыми постановками таких, устраняющих всякую мысль о конкуренции произведений, как «Дон-Жуан» Моцарта, «Фиделио» Бетховена, «Волшебный стрелок» Вебера, оперы Вагнера и популярные в широких кругах произведения Мейербера, Гуно, Массне или корифеев итальянской школы. Да и самому Массне не легко было пробить лед, по крайней мере, в Париже. Сколько лет прошло между постановкой его «Короля из Лагора» и «Таисы». Другие его оперы игрались впервые или в Брюсселе, или на провинциальных сценах, так напр[имер], в Ницце, где впервые была поставлена его бесподобная «Мария Магдалина», либретто которой, заимствованное из Евангелия, по тому самому казалось профанацией святыни добрым католикам. Мой сосед по ложе не скрывал своего раздражения и, разумеется, не мог согласиться со мною, что редко когда я испытывал более религиозное настроение. Брюссель недаром слывет маленьким Парижем. Его новейший квартал, примыкающий к обширному проспекту королевы Луизы, в миниатюре напоминает Елисейские поля. Он заканчивается подобием Булонского леса, имеющим ту счастливую особенность, что в нем не пришлось рубить деревьев в год нашествия пруссаков. Парк этот, прекрасно содержимый, незаметно переходит в более дикие леса, которые тянутся на далекое расстояние от столицы в сторону Лягюльб. При входе в парк устроена была всемирная выставка, описанию которой я посвятил статью в «Вестнике Европы», воспроизводимую мною здесь почти без сокращений (см. мою статью в «Вестнике Европы»*). В дополнение того, что написано было мною несколь-

* Ковалевский М.М. С выставки (Письмо из Брюсселя) // Вестник Европы. 1910. № 10.

ко лет тому назад, я прибавлю еще два слова о все резче и резче сказывавшемся в брюссельской интеллигенции стремлении обособиться в своей литературе, в своем искусстве и во всем умственном и нравственном укладе своей жизни, от дающего тон всей французской культуры Парижа. «Из бельгийцев постепенно вырабатывается, – сказал мне однажды Э. Пикар, – самостоятельная нация. Мы – потомки того умственного и художественного течения, которое проявилось в Испанских Нидерландах в кисти Рубенса, а позднее Брейгеля, и до сих пор определяет характер нашей живописи. За последнее десятилетие мы самостоятельно выступили в литературе с Метерлинком, Лемонье[153], Экудом. У нас есть уже свои поэты, из которых некоторые пользуются уже всемирной известностью. Наша наука испытала на себе благодетельное влияние, столько же западных, сколько и восточных соседей. Лоран[154], Лавеле*/[155], Принц Пирен[156] – известны широким кругам читателей». Я вполне готов присоединиться к этому отзыву, но с оговоркой, что парижский книжный рынок настолько тяготеет над Брюсселем, что и за книгами Пирена, и за романами Метерлинка приходится обращаться в Париж. В области истории, статистики и отчасти социологии бельгийцами сделано много. Они разрабатывают, как нельзя лучше, свой архивный материал. Бесподобная «История Бельгии» Пирена свидетельствует не только о том, какое влияние оказала на бельгийских исследователей германская школа исторической критики, но и о близости к тем живым истолкователям старины, каких дала Франция в лице Мишле[157], Кине[158], Фюстель де Куланжа. Но сама работа Пирена сделалась возможной только благодаря тому, что ей предшествовал ряд монографических исследований, что Ипр и Гент, Льеж и Лувен нашли своих историков, сумевших исчерпать местные архивы с полнотою и уменьем, отличающем собою тех многочисленных работников, каких выпускает парижская «Школа хартий», и имена которых украшают собою издаваемую ею библиотеку. Кто читал «Век Артефельдов» Вандеркиндера и томы, посвященные «Истории Ипра» Вандерперебума, тому становится понятным, почему во 2-ом и 3-м томе своей «Истории Бельгии» Пирен имел возможность дать столь полную картину городской жизни XIII и XIV веков и того демократического течения, которое сделало из фландрских коммун таких же пионеров начала равенства и свободы, какими на Аппенинском полуострове была Флоренция, со времен Данте[159] и оканчивая веком Макиавелли[160].

Всего менее разработана пока экономическая история бельгийского средневековья, а потому можно только приветствовать и те издания, какие предприняты были за последнее время брюссельской Академией, с целью сделать доступными широким кругам исследователей цеховые распорядки XIII и XIV веков, и те попытки широкого обобщения этого наполовину еще рукописного мате-

* Так в тексте. Следует: Лавелэ.

риала, образцом которых можно считать недавнюю работу Пирена о различных формах, какие капитализм принял в Бельгии с самого своего зарождения и до окончательного его торжества. Работы бельгийских историков, по всей вероятности, поколеблят ту точку зрения, которая видит в капитализме явление нового времени и добровольно закрывает глаза на спорадическое его проявление на расстоянии веков и тысячелетий. Ошибочность такой теории, в установлении которой одинаково повинны и Ротбертус*[161], и Карл Маркс, доказана была для древней Греции Мейером[162], а для средневековой Италии и Германии — новейшими исследователями их городского быта. Теперь то же положение подвергается исчерпывающей критике школою Пирена, в которой далеко не последнее место приходится на долю молодого брюссельского архивиста Мареса, работавшего в архивах Ипра и открывшего в них многочисленные образцы тех lettres de foires, — ярмарочных квитанций, — которые задолго до появления векселя служили орудием кредитных сделок, а следовательно, и условием, благоприятным развитию капитализма.

Что в области истории самой Бельгии сделали работы льежских, лувенских, гентских и брюссельских профессоров и ученых, то же для истории зарождения и развития международных отношений сделали работы гентского профессора Лоренса и теперешнего заместителя кафедры международного права Нейса. Его трехтомное сочинение — кладезь учености. Почти ежегодно Нейс проводит летние каникулы в упорной работе в библиотеке Британского музея, а плоды его исследования, касающиеся отдаленных эпох, или выходят отдельными монографиями, или появляются в издаваемом им же «Обозрении международного права и сравнительного законодательства» или, наконец, в примечаниях или дополнениях, какими уснащена его книга. Любопытно отметить, что этот начитаннейший в своем предмете писатель высказывает сомнение в том, чтобы его соотечественники призваны были к упорной научной работе. «Это у нас не в крови», — говорит он, шутя, и до некоторой степени его замечание верно в том смысле, что число талантливых компиляторов в Бельгии превышает число самостоятельных исследователей. Лавеле, с необыкновенным разнообразием затронутых им научных тем, был таким идеальным компилятором. И если Лоран подарил нас рядом томов по «Истории человечества», то, разумеется, только потому, что умел использовать и чужие работы. На бельгийских ученых счастливо отражается смешанный состав населения — валлонцы живут бок о бок с фламандцами, французский язык раздается рядом с нижнегерманским, редкий ученый не владеет обоими, свободно читает столько же французские, сколько и немецкие книги. Когда в ранней молодости я впервые посетил Брюссель, в нем существовали еще кварталы, в которых население говорило по-французски. В настоящее

* Так в тексте. Следует: Родбертус.

время это, по-видимому, более не встречается. Исключение представляют прибывшие из Фландрии рабочие. Но если иметь в виду, что центр ее – Гент – отстоит от Брюсселя на расстоянии 2—3 часов езды по железной дороге, то всякому станет ясно, что бельгийцы по-прежнему двухъязычный народ. Многие писатели из их среды пробовали себя на обоих языках. Одно время националистический сепаратизм шел в Бельгии дальше, чем где бы то ни было. Ведь именно в ней возник лозунг: «язык есть весть народа», то есть, всюду, где имеется общность языка, там должна существовать и политическая обособленность. От этой мысли современная Бельгия совершенно отказалась. Но фламандцы и валлонцы одинаково дорожат сохранением и дальнейшим развитием своих культурных особенностей. Рядом с французской имеется и фламандская литература. Существует фламандский театр и фламандские писатели, специально поставляющие ему свои пьесы. Это не мешает тому, что некоторые бельгийцы с чисто фламандскими фамилиями, как, напр[имер], Метерлинк, Экгут или Роденбах[163] пишут только по-французски. Последнему, как известно, мы обязаны психологией чисто фламандского города Брюгге. «Мертвый Брюгге» (Bruges la morta) – таково название этого замечательного романа, который приобрел молодому и рано умершему писателю имя, быть может, более громкое в Париже, чем в Брюсселе. Есть также фламандцы, как мой приятель де Греф (это имя значит граф), которые на знают ни слова по-фламандски, хотя и говорят по-французски с особым местным акцентом, отчасти напоминающим немецкое произношение. То же можно сказать и о Нейсе, но Эдмонд Пикар, Гектор Дени владеют французским языком не хуже парижанина и то же можно было сказать о Жансоне. «Droit pure», это своего рода возрождение естественного права, но на сравнительно исторической почве или, пожалуй, вернее – эта психология права, с которой Пикар связал свое имя и которая была бы немыслима без близкого знакомства автора с сочинениями Игеринга* и, в частности, с его «Духом римского права» в новом издании, включенном в популярную библиотеку доктора Лебон в Париже, не имела бы того успеха, каким она пользуется, если бы не была изложена прекрасною французскою речью и не отличалась теми качествами простоты и ясности, которой же приучили нас немецкие представители философско-юридических доктрин. Те же качества отличают собою и двухтомное сочинение Гектора Дени по истории экономических доктрин, сочинение, которое автор, к сожалению, не довел до конца.

В его намерение входило показать взаимодействие экономистов и социалистов в выработке современного учения о народном хозяйстве. Гектор Дени успел отпечатать всего два тома, которые заключают в себе историю развития классической школы, начиная с физиократов и Адама Смита и оканчивая Мальтусом[164] и Рикар-

* Так в тексте. Следует: Иеринг.

ло[165]. Автор, как позитивист, старается связать развитие экономических учений с поступательным ходом точных наук. Он остановился, между прочим, показать, в какой мере открытая англичанином Гарле теория кровообращения внушила медику Людовика XV, Кинэ[166], мысль построить теорию обращения богатств, — основную доктрину так называемой физиократии. Гектор Дени был столько же экономистом, сколько и статистиком. Как экономист он испытал на себе влияние не одних корифеев классической школы, но и ее критика Прудона. Экономические противоречия последнего помешали ему сделаться марксистом, и он занимал поэтому в бельгийской рабочей партии, подобно де Грефу, несколько изолированное положение. Как статистик, Г. Дени был продолжателем ее великого родоначальника — бельгийца Кетле[167]. Его доклады в палате постоянно уснащены были цифрами и выслушивались поэтому иногда нетерпеливо. Его выступления на всякого рода конгрессах по рабочему законодательству всегда вносили в прения большую основательность и серьезность. Я имел возможность лично убедиться в этом на конгрессе в Люцерне, созванном Бауэром[168], секретарем международного комитета, избранного в Париже во время всемирной выставки 1900 года и уполномоченного не только следить за ходом законодательства во всех странах по вопросу об отношении предпринимателей к рабочим, но и вырабатывать проекты таких законов, которые могли бы быть приняты в разных государствах. Бауэр, сам экономист и статистик, получил образование в Вене и занимает кафедру в Базельском университете. Почти все европейские правительства, не исключая и папского двора, имели своих представителей на этом съезде. Все также денежно участвовали в покрытии скромных сравнительно издержек международного комитета, подготовляющего эти съезды, все, за исключением русского. Я пытался не раз поднять речь о том, что и нам не мешало бы примкнуть к этой международной организации, но так как она налагает на ее членов обязанность содействовать принятию законодательными палатами изготовляемых ею проектов, то немудрено, если наша отчужденность от Европы сказалась и на этот раз добровольною глухотою. Ведь по русскому закону мы не в праве принимать участие даже в обществах международного характера, именно ввиду их международности. Я сказал, что Г. Дени был одним из выдающихся членов в этих столько же научных, сколько и преследующих практические цели европейских сообществ. Он встречался на них с столь же горячим сторонником международного рабочего законодательства, парижским профессором Же, в отличие от него — горячим католиком. Член австрийского рейхсрата Пленер[169] заседал на этих съездах рядом с теперешним военным министром Франции Мильераном[170] и итальянским уполномоченным, графом Сан-Мартино. С редкого собрания я уезжал более убежденный в том, что время мое не было потрачено даром, что было чему научиться. Съезд в Люцерне памятен мне еще потому, что я на нем в последний раз имел возможность сколько-нибудь продолжительно беседовать с

Дени. Это была, правда, не последняя наша встреча. Войдя во двор всемирной выставки в Брюсселе, я натолкнулся на него. Не успев даже обменяться обычными приветствиями, он сказал мне: «Слышали ли вы, что ваш приятель Вандервальде стоит за сохранение Бельгией Конго». Эта колония, составлявшая личное достояние короля Леопольда II, была подарена им бельгийцам. Социалисты относились отрицательно к мысли о принятии этого дара. Весь мир был наслышан о той чудовищной эксплуатации, какой подвергались в этой колонии негры. Ничто не говорило, однако, о том, что отношение к ним должно было навсегда остаться прежним. Вандервельде дважды посетил лично Конго и вынес впечатление о том, что Бельгия может только выиграть от дальнейшего обладания столь цветущей колонией. Он разошелся по этому со своей партией при голосовании вопроса о Конго в палате. Дени, и без того сводивший счеты с Вандервельде, как с материалистом, считал его поведение в вопросе о Конго своего рода отступничеством. Позапрошлую зиму, в самый разгар новой всеобщей стачки[171], затеянной рабочей партией, с целью добиться, между прочим, начала «множественности голосов», искалечившей систему всеобщего голосования и верховенства нации, не стало сразу двух испытанных вождей, ведших бельгийскую демократию, начиная с 1893 года, от победы к победе. Не стало Жансона и не стало Дени. Стачка не доведена было до конца. Социалисты только грозили ею и отступили в крайнюю минуту, предвидя нескончаемые бедствия. Их обычный противник в палате, Вуст — один из умнейших представителей католической партии, — как рассказывал мне Вандервельде, пустил по этому поводу крылатое слово; оно в буквальном переводе гласит: «я вижу в агитации одних только агитаторов». Сами депутаты рабочей партии, в конце концов, обратились к послушным их голосу синдикатам с призывом вернуться к своим обычным занятиям. Я узнал о кончине моих обоих знакомых во время моей обычной поездки в Париж на Рождественские каникулы и посвятил их памяти небольшую статью в «Вестнике Европы» под заглавием: «Две смерти». Статья была переведена и напечатана в бельгийской газете «Народ». Я приведу ее здесь целиком (см. «Вестник Европы»).

Две смерти*

Нынешняя весна надолго останется памятной бельгийской демократии, не благодаря одному полууспеху общей стачки, затеянной с целью добиться всеобщего права голосования, или вернее, отмены выросших на нем наростов и, прежде всего, системы множественности голосов, обеспечивающей перевес деревенскому населению над городским, не вполне грамотному крестьянству Фландрии над рабочими классами больших городов. Сторонники

* Текст дается по публикации в журнале «Вестник Европы». 1913. № 6.

народоправства Бельгии будут вспоминать только что пережитый ими кризис еще потому, что в разгар его умер испытанный вождь радикалов, ближайший виновник изменения бельгийской конституции в направлении, благоприятном запросу масс на политическое равноправие. Я разумею Поля Жансон, мастера слова, нередко называемого поэтому «бельгийским Гамбеттой».

Не прошло и месяца со времени прекращения всеобщей стачки, и вот уходит в могилу другой испытанный советник бельгийских рабочих, депутат и профессор Гектор Дени.

В годы посещения мною Брюсселя для чтения лекций в его «Новом Университете» мне пришлось познакомиться с обоими вождями.

Жансон принадлежал к составу преподавателей одной со мною высшей школы, Гектор Дени, хотя и продолжал читать лекции в старом Брюссельском университете, в так называемом «Свободном», но по-прежнему считался другом и отчасти вдохновителем тех, кто выступил в роли отщепенцев и создал новую, в их глазах более независимую, научную трибуну.

Первое мое посещение Брюсселя совпало с производством новых выборов. Это доставило мне возможность слышать Жансона на избирательных собраниях вместе с другими, более молодыми ораторами демократических партий.

Манера его показалась мне несколько старомодной. Красивый и звучный французский язык не терял нимало своей прелести в устах бельгийца, получившего, по-видимому, свое образование во Франции или под руководством учителей французов. Особого акцента, от которого не сумели избавиться многие выдающиеся профессора обоих Брюссельских университетов, у Жансона не было и следа. Его речь богата была образами, неожиданными сопоставлениями и часто переходила от нежных тонов к громовым эффектам. Каждый слушавший его, наверное, бы сказал, что Жансон много читал Виктора Гюго и в своем «витийстве» не порывал с традицией 1848 года. Той деловитости и простоты, какой отличаются речи Вандервельде, у Жансона нельзя было найти. Но безупречность языка, красивое построение фраз, вероятно, наперед придуманные словечки, наконец, неподдельный пафос подымали его на высоту мировых ораторов. Наш соотечественник Вырубов ставил его не только рядом, но выше Гамбетты. Из современников с ним мог поспорить в ораторском искусстве один только Жорес.

Кумир толпы, Жансон поражал простотою и благодушием своего обращения. Он охотно делился мыслями со своими товарищами и не отказывал им в своих добрых советах. Когда я взялся написать статью о бельгийской конституции для сборника, затеянного князем Петром Долгоруким и И. Петрункевичем, я счел нужным запросить моих брюссельских друзей по многим вопросам, связанным с современными политическими порядками их родины. В числе первых, ответивших мне на такие запросы, был Жансон. Я вопроизвел его заметку полностью в моей статье, которая по всей вероятности не утратит своего значения именно по этой при-

чине. Ведь не безразлично будет знать, как относился виновник конституции 1893 г. к допущенным ею несовершенствам. Жансон был так занят политикой и адвокатурой, что у него, в отличие от другого выдающегося политического деятеля и писателя Бельгии, Эдмонда Пикара почти не оставалось времени для лекций. Пропускал он их многое множество, и, видя, что такой беде не настанет конца, он с горечью отказался от кафедры. Да и не его дело было систематическое преподавание гражданских законов. Оратор по тому самому еще не может считать себя хорошим педагогом. Он был создан не для будничной работы. Импровизатор по преимуществу, он по тому самому был неровен и отражал на себе переживаемые им настроения.

Полную противоположность с ним в этом отношении представлял Гектор Дени. Это был прежде всего ученый, — статистик, экономист и социолог, испытавший на себе определяющее влияние двух весьма несходных между собою людей: Огюста Конта и Прудона.

Дени не мог знать Конта лично (судя по возрасту, он только немногими годами был старше меня). К положительному мышлению в области общественных наук приучил его, как и де Грефа, их общий соотечественник Кеттле. Недаром же бельгийцы вообще и де Греф, в частности, ставят творца современной статистики в триаду тех людей, которые создали современную социологию: Кеттле, Конт, Спенсер. Стремление к цифровой определенности не покидало Гектора Дени и тогда, когда в бельгийской палате ему приходилось выступать в роли не столько докладчика, сколько критика официальных сообщений от имени оппозиции. Многие из бельгийских законодателей с улыбкой говорили мне, что стоило только Дени взойти на трибуну с обширным досье в руках, как скамьи пустели в мгновение ока. В стенографическом отчете его красноречие действовало менее удручающе, а поучительность его долго подготовляемых речей была такова, что Брюссельская академия, не взирая на радикализм и даже социализм его воззрений, призвала его под конец в свою среду, ценя в нем не только ученого автора истории экономических доктрин, но и единственного в своем роде оратора-статистика.

Кто, подобно мне, знал лично Гектора Дени, навсегда сохранит о нем память очаровательного собеседника и добрейшего человека, всегда готового прийти на выручку своих приятелей. По природе своей он был человеком широкой фантазии, способным поэтому оценить всю смелость метафизического полета, какой отличался талантливейший из французских социалистов Прудон. Продолжительное пребывание последнего в Бельгии, куда он прибыл с целью избежать тюрьмы, дало возможность целой группе молодых и талантливых бельгийских писателей сблизиться с автором «Экономических противоречий» и навсегда проникнуться его воззрениями.

Дени остался верен Прудону до смерти и в числе немногих, уцелевших членов alliance démocratique, продолжал относиться от-

рицательно к Карлу Марксу не столько за его «Капитал», сколько за «Нищету философии — ответ на «философию нищеты»» — этот безжалостный памфлет, впервые сразивший Прудона.

Мне пришлось однажды слышать в старом университете Брюсселя лекции Гектора Дени о Прудоне. Это было не столько систематическое изложение знаменитой теории взаимности (mutualité), к которой сводится доктрина великого «самоучки», сколько защита его по всем пунктам и от всех нападок как современников, так и потомства.

Таким же апологетом, на этот раз Конта, выступил Гектор Дени в день открытия памятника бессмертному автору «Положительной философии». Последователь Литтре едва ли в состоянии одобрить все им сказанное и о субъективном методе в социологии, и о религии человечества. Не даром контисты предпочли возложить на Дени завидную обязанность почтить речью основателя социологии, обходя своим вниманием ближайшего сотрудника Литтре в издании «Обозрения Положительной Философии», Григория Николаевича Вырубова.

В последний раз я встретился с Дени на выставке в Льеже. Он так огорошен был в это время переходом Вандервельда в число сторонников удержания Бельгией Конго, что, не обращаясь даже к обычному приветствию: Comment vas-tu, начал обсыпать меня цифрами, не оставлявшими, по крайней мере, в его уме сомнения, что Конго станет могилою бельгийской демократии. Пророчество, к счастью, не сбылось. Гектор Дени до конца остался, не смотря на разочарование, убежденным борцом за лучшее будущее, и бельгийская демократия, вероятно, отнесется к его памяти с тою же почтительной торжественностью, с какой она проводила тело Поля Жансона в самый разгар недавнего стачечного движения.

С берегов Невы и я шлю сегодня привет этому дорогому и незабвенному товарищу, так много послужившему и обществознанию, и законодательной борьбе в интересах свободы и справедливости.

* * *

Все более и более сходят со сцены люди, среди которых проходила в Брюсселе моя профессорская деятельность. Не стало, и уже много лет назад, и обоих братьев Реклю[172]. Из них я всего ближе был с Эли. Это был очаровательный старик — мягкий, задушевный, бедный, как Иов, и в то же время никому не завидовавший и ничего для себя не искавший. Он жил любовью к искусству, к литературе и к человечеству. Настоящим наслаждением для него было показывать приезжему приятелю картинную галерею Брюсселя. Благодаря Реклю, это та из картинных галерей Европы, которую я знал всего лучше, и не потому разумеется, что я обозревал ее с каталогом в руках, а потому, что этим живым описанием ее сокровищ был сопровождавший меня знаток бельгийской и ни-

дерландской живописи. Мы останавливались с ним только перед теми картинами, которые поистине могут считаться шедеврами. Мы восхищались реализмом и знанием красок Рубенса, и я готов был согласиться с моим приятелем, что большой святости нельзя прочесть на челе изображаемых им мучеников. И теперь я еще вижу перед собою удивительный портрет герцога Альбы[173], написанный неизвестным художником и способный служить лучшим комментарием к знаменитой фразе этого жестокого преследователя нидерландских Гезов. Тем, кто настаивал на необходимости быть более осмотрительным в посылке их на казнь, Альба ответил: «Бог на том свете отделит правых от неправых». Такого убежденного зверства мне не пришлось еще прочесть на лице ни одного исторического портрета. Реклю был восторженным поклонником В. Гюго[174] и сам писал свои книги слогом возвышенным и благородным. Слог наших лекций поэтому сильно коробил его, и, как человек искренний, он не скрывал от нас своего впечатления. В вожаки какой бы то ни было партии он, разумеется, не годился. Его легко было увлечь, действуя не столько на его убеждения, сколько на добрые чувства. Он сам однажды рассказал мне о том, как Бакунин[175] послал его в Испанию в качестве своего агента и в то же время, как он убедился впоследствии, сам натравлял на него местных революционеров. «Я до сих пор, — прибавлял с грустью Эли, — не могу дать себе точного отчета в том, принес ли Бакунин пользу или вред рабочему движению». Брат его Элизе не разделял этих сомнений. Он оставался верен памяти Бакунина и, кажется, искренно ненавидел из-за него Маркса. С последним он виделся, по-видимому, только раз в своей жизни. Маркс принял его вместе с другими членами Интернационала в своей гостиной с единственный украшением статуи Зевса олимпийского. Элизе Реклю показалось, что автор «Капитала» нарочно держался вблизи этой статуи, желая произвести соответствующее впечатление. Я слышал Элизе, как лектора, в Новом университете. Он пользовался всяким удобным и неудобным случаем, чтобы поговорить о блаженстве тех, кто живет вне государства и обязательного подданства. Заходила речь о дикарях, живущих в грязи и часто умирающих от голода, и он сравнивал их привольную жизнь с жизнью угнетаемых милитаризмом и капитализмом пролетариев. Он не замечал частых улыбок на устах своих слушателей и говорил с внутренней убежденностью. Относился он к ним с родительским благодушием, как к товарищам, от которых он, будто бы, и сам может многому научиться. Слушатели не всегда способны были оценить благодушие своего учителя и, по-видимому, не давали себе отчета в той массе разнообразных сведений, какими готов был поделиться этот географ. Однажды перед началом курса он обратился к своей аудитории, на $^3/_4$ составленной из русских, с предложением прочесть им географию России, прибавляя: «Мы будем обмениваться нашими сведениями». Аудитория, поразмыслив, решила, что состоя из русских, она знает географию России лучше Реклю, и поспешила сообщить ему текст этого постановления. Элизе нисколько не оби-

делся и стал читать лекции по географии Америки. Труженник он был неимоверный. Сотни томов поглощались им, прежде чем он решался приступить даже к первоначальному вопросу. О материальном благополучии он заботился весьма мало.

Когда банкир, у которого хранились собранные деньги для оплаты какого-то грандиозного предприятия по географии, затеянного Элизе Реклю и на которое приглашено было им немало молодых работников, внезапно исчез из Брюсселя вместе со своей кассой, новые томы Реклю пошли на покрытие образовавшегося недочета. Элизе Реклю и умер, не оставив состояния и, кажется, не вполне расплатившись со своими неожиданными кредиторами. Не щадя своих денег, он охотно принимал пожертвования других, если только эти пожертвования могли пойти на пользу столько же географии, сколько и философствующих анархистов. Одно время в Новом университете ему не хотели простить того, что суммы, ассигнованные одной благотворительницей на покрытие нужд всей коллегии, переведены были затем всецело в распоряжение Института географии при том же университете, которым заведовал сам Реклю. Нечего, однако, прибавлять, что из этих сумм ни один франк не остался в руках заведующего. Гашет в Париже издавал томы Реклю на условиях, только окупавших труд их автора. Добавочный доход доставляли ему переводы его книг, между прочим, на русский язык. За это дело, если память мне не изменяет, взялся Павленков или Пантелеев. Я видел в последний раз Элизе Реклю в обстановке, которая навсегда останется у меня в памяти. Его брат Эли умирал. Мы собрались на его квартире. Я только что вышел из комнаты пораженного параличем человека, который, подав мне руку, еще внятным голосом произнес: «Должно быть, я был хороший человек, если столько хороших людей пришли со мною проститься». В соседней к умирающему комнате стояли приятели, единомышленники и просто товарищи по преподаванию. К нам вскоре присоединился и Элизе. Он справился о состоянии больного, от него не скрыли истины, и он, стоя, как бы замер на месте. Под большим лбом обитали черные глаза, преисполненные в эту минуту глубокой скорби. Эти глаза, вероятно, памятны всем, знавшим Элизе. Они отчасти напоминали собою глаза Тургенева, о котором Писемский[176] мне однажды сказал: «Ну, как ждать изображения сильных типов от человека, у которого глаза умирающей газели». Наружность у Элизе Реклю была в высшей степени выгодная, если не считать его малого роста и непропорционального развития черепа. Бюст его, сделанный известным бельгийским скульптором, имени которого я сейчас не припомню, но которого знают все, знакомые с историей новейшего искусства, как автора незаконченного памятника «Труду», не удовлетворял самому Реклю. Я видел этот бюст в ателье скульптора и нашел сходным с оригиналом. Художнику не удалось только передать удивительные глаза, в которых отражалась вся психология этого замечательного человека. Семья Реклю родом из Гасконии. Его отец был протестантским пастором. Дети воспитаны были в

самых строгих правилах. Но ни один из них не остался религиозным. Старший, Эли Реклю, сделался историком религии и оставил по себе несколько томов, из которых едва ли не наиболее удачным надо считать книгу: «О народах первобытных» (Les primitifs); второй — Элизе — стал знаменитым географом и описателем быта всех народов земного шара; третий, Поль[177], умерший позднее двух других братьев, принадлежал к составу профессоров Парижской медицинской школы. Из всех тех, кто был основателем Нового университета, в живых остались Эдмонд Пикар, почти 80-летний старик, сохраняющий еще всю свежесть ума и способность поражать своих собеседников «огнем неожиданных эпиграмм». Он более не сенатор, но еще продолжает свою адвокатскую практику. Остался ли он прежним ненавистником евреев, я сказать не берусь. Но так как эта жидофобия, опасная в законодателе, со времени разрыва с его политической деятельностью совершенно обезврежена, отношение к нему в лагере рабочей партии, несомненно, улучшилось, особенно с тех пор, как он вышел из ее рядов. Я приглашен был на завтрак вместе с семьею Вандервельдов. Все время царило дружеское согласие, и Пикар обращался на ты даже к жене «великого Эмиля». Разговор касался литературы, искусства, политики, театра. Нет такой области, в которой бы Пикар не чувствовал себя дома, не исключая, разумеется, и юриспруденции, о которой за обедом говорилось мало. Зато стихам отведено было подобающее место. Лучший поэт Бельгии и один из лучших в мире, Вергаген*/[178], бывший помощник присяжного поверенного Пикара, помощник, получивший от него совет не заниматься адвокатурой, к которой он не призван, и заняться поэзией, к которой у него Пикар открыл дарование. Этого поэта мы несколько месяцев спустя чествовали в Петербурге, на банкете, собравшем и писателей, как Мережковский, и литературных критиков, и профессоров. По приглашению устроителя Батюшкова, я председательствовал на этом банкете, соблюдая очередь между ораторами, наслаждаясь стихами нашего дорогого гостя и обмениваясь с ним воспоминаниями о нашем общем приятеле Пикаре.

Вергаген не единственный стихотворец, в судьбе которого Пикар принял живое участие: он был также дружен с любимым французским поэтом Верленом, и его бюст красуется в кабинете бельгийского адвоката-ученого.

Ближайшим виновником создания Нового университета, как я уже сказал, был Гильом де Греф. Он надеялся встретить поддержку в своем личном единомышленнике и друге, Гекторе Дени. Но последний в крайнюю минуту не решился разорвать со своим прежним товарищем, который всячески удерживал его, доказывая, что с его уходом буржуазная партия окончательно возьмет верх и о «полевении» больше и речи не будет. Дени остался и продолжал вести свою линию. Я слышал его на лекциях, посвященных им

* Так в тексте. Следует: Верхарн.

Прудону. Они имели характер личных воспоминаний и отчасти защиты автора «Экономических противоречий» против Маркса и марксистов. Дени, как мне кажется, весьма верно указывал, что так называемый исторический материализм может считать в числе своих предшественников и теоретика «взаимности», предложенной им, как естественный исход из того столкновения интересов отдельных классов производителей, картину которого представляет современный общественный уклад. Оставаясь верным своему знамени, Г. Дени в то же время необходимо разошелся с кружком людей, положивших начало Новому университету и, прежде всего, с де Грефом. Они продолжали еще встречаться на собраниях того общества социальных реформ, которое основано было на средства известного бельгийского миллионера Сольвэ, по прозвищу «царь соды», так как он главный производитель этого товара во всем мире. Сольвэ, в молодости бывший простым рабочим, живо принимал и принимает к сердцу их интересы и имеет свою, весьма гипотетическую систему решения социального вопроса. Не имея возможности отдаться сам разработке своих мыслей, он решился прибегнуть к содействию тех экономистов и социологов, которыми богат был Брюссель. В общество вошли Дени, Гильом де Греф, Вандервельде и ряд других более молодых ученых, которых они постепенно привлекли в свое общество. Сольвэ не требовал от последнего исключительной разработки его доктрины и они, повидимому, не спешили дать своим работам направление в этом смысле. Бывая в Брюсселе, я стал посещать и эти собрания общества Сольвэ, так как в них принимали участие самые близкие мне люди. Я прослушал здесь однажды богатый цифрами доклад Дени и интересное сообщение Вандервельда, вошедшее впоследствии в состав его книги «О социализме в Бельгии». Замечая, что члены созданного им и оплачиваемого кружка мало занимаются дорогими ему теориями или, вернее, гипотезами, Сольвэ подчинился влиянию самого молодого из членов общества, натуралиста Ваксвейлера, и с некоторой настойчивостью по его совету напомнил своим друзьям о ближайшей цели, им преследуемой, прося их сообразовать с нею свои дальнейшие труды. Ни Дени, ни де Греф не сочли возможным при таких условиях остаться членами кружка. Вместе с ними вышел Вандервельде. Ваксвейлер остался хозяином положения и обратил кружок в какое-то подобие социологического института[179], печатающего многочисленные мемуары, но мало двигающего вперед науку об обществе. О разработке учений самого Сольвэ по-прежнему нет и помина, по всей вероятности, потому, что они такой разработки не допускают.

С выходом из кружка Сольвэ сократились и без того скудные доходы де Грефа. А так как им давно уже оставлена доходная адвокатская профессия с целью всецело отдаться разработке социологии, то несменяемый ректор Нового университета живет в самых скромных условиях. Одно время он, в видах экономии, переселился даже в соседнюю к Брюсселю деревню, а теперь снимает небольшой домик в одном из отдаленных кварталов Икселя,

включенного в пределы быстро разрастающейся столицы Бельгии. Все свое время он посвящает или преподаванию, или упорной научной работе. Де Греф – автор многих книг по социологии и экономике. Давно уже изданное им в двух выпусках «Введение в социологию» переведено было на английский язык и служит во многих американских университетах руководством для приготовления к экзаменам. Он восполнил его рядом других сочинений, отпечатанных частью в Париже, частью в Брюсселе. «Социальный трансформизм», вышедший у Алькана, пользуется довольно широкой известностью. Тард говорил мне, что взялся за чтение этой книги с некоторым предубеждением. Ему Новый университет рисовался социалистическим осиным роем (guêpier socialiste), в котором главным заправилой был, разумеется, мой приятель. Но чем больше он читал эту книгу, тем более проникался уважением к автору, так как все более и более убеждался в том, что он вносит в доктрину Спенсера многие существенные поправки. Я лично отдаю предпочтение другому труду де Грефа, его «Экономической эволюции». Она была прочитана им в форме лекций в созданной мною и моими приятелями в Париже Русской школе общественных наук и вышла затем отдельным томом в издании того же Алькана. В ней, между прочим, проводится та оригинальная мысль, что изменения в условиях обмена, пожалуй, в большей степени обуславливают собою перемены в общественном укладе, чем те, которые происходят в технике производства. Де Греф, таким образом, расходится с основной доктриной Маркса и его последователей и свое расхождение обосновывает очень обстоятельно глубоким анализом истории экономической жизни. За последнее время де Греф напечатал еще три тома, в которых излагает свою оригинальную доктрину, озаглавленную им, как мне кажется неудачно термином: «lois de limitation»*. Его основная мысль та, что ни отдельные нации не сольются в единый организм человечества, ни отдельные классы не прекратят своего существования, что существуют, таким образом, законы, ограничивающие процесс развития человеческой солидарности. Не исчезнут в будущем ни государство, ни социальные контрасты. Такое признание весьма интересно слышать из уст последователя Прудона, этого теоретика анархии. Его не охотно принимают члены рабочей партии в Бельгии и в числе их Вандервельде. Не менее коробит их и то обстоятельство, что де Греф, в противность им, сторонник представительства в народных камерах, обособившихся экономических интересов отдельных групп и классов. Совершенно самостоятельным путем он пришел к более или менее тем же выводам о необходимости «дать известную организацию всеобщему праву голосования», на которой остановился в Париже проф[ессор] Бенуа. Я должен сделать, однако, следующую существенную оговорку. В отличие от Бенуа де Греф желал бы дать самое широкое представительство рабочим синдикатам.

* Ограничивающие законы (*франц.*).

При моем последнем свидании с Вандервельдом в Петербурге, он не скрыл от меня, что упорное настаивание де Грефа на его, как он выразился «dada»*, то есть, на своего рода «гвоздь», в значительной степени причина его неуспеха на политических выборах. Но те, кто подобно мне, знают, какое слабое значение де Греф, вслед за нашим общим учителем Контом, дает парламентаризму, вероятно согласятся со мною, что этот неуспех он переносит с философским равнодушием.

Итак, вот каких деятелей, вот каких служителей научной истины и социальной справедливости выставило за последние 30—40 лет охватившее Бельгию стремление столько же к политическому, сколько и к культурному сепаратизму. Если Фрер-Орбану удалось парализовать в корне интриги императора Наполеона III[180] в пользу присоединения Бельгии к Франции, за что его соотечественники без различия партий хранят ему добрую память, то бельгийским писателям и мыслителям удалось отвоевать культурную самостоятельность страны в условиях крайне неблагоприятных. Можно ли представить себе, в самом деле, что-нибудь более трудное, как создать носящую национальный отпечаток литературу на языке общем с тем, каким говорит соседний народ, шедший в течение веков во главе европейского освободительного движения и подаривший мир недосягаемыми памятниками своего ума и своего таланта.

Я ближе стою к известному направлению бельгийской научной мысли и почти ничего не сказал о том, что делают в области науки и литературы католические круги, располагающие в Бельгии особым, целые века существующим университетом в Лувене, в котором я мог бы назвать не одного почтенного экономиста-историка, хотя бы, например, Брантса, автора сочинения «О судьбах бельгийского христианства». Я не позволяю себе также судить о том, что сделано бельгийцами в области точных наук, и упомяну только для примера о Лоренсе, профессоре физики в Льеже, пригласившем ранее меня для чтения лекций в Коллеж де Франс, на правах выдающегося представителя бельгийской науки. Из того же Льежа вызван был для временных чтений и представитель кафедры истории религии — автор одного из наиболее выдающихся трудов в этой сравнительно новой области знаний. Бельгия работает и работает интенсивно, и эта работа совершается не в одной области техники, промышленности и торговли, но и в области науки и литературы. Она становится с каждым поколением все более и более самостоятельным и ярким очагом общеевропейской культуры. Неужели же этой стране предстоит стать провинцией Германской империи и быть подведенной под общий прусский ранжир. Неужели в ней будут впредь выходить газеты только на немецком языке и прекратит свое славное существование и «Independence belge», в которой французы в эпоху 2-ой империи могли прочесть

* Лошадка (*франц.*) — в переносном смысле «Конек».

свободное и правдивое слово о своих внутренних порядках, и «Le peuple», — один из лучших органов в мире, какими располагает рабочая партия. Неужели профессорам ее университетов, чтобы сохранить право преподавания на французском языке, придется последовать примеру лувенских и переселиться на чужбину. Не хочется верить, чтобы страна, сумевшая отвоевать свою свободу и от испанского, и от французского, и от нидерландского ига, признанная вечно нейтральной всеми европейскими державами и в том числе Пруссией, накануне потери своей свободы политического самоопределения. С горьким чувством я прочел на днях в газетах, что немецкое управление, введенное в Брюсселе, уже озаботилось устройством дарового обучения немецкому языку жителей бельгийской столицы. Еще огорчительнее было для меня чтение небольшого томика немецкого писателя Поля-Оскара Гекера, пьеса которого «Народ в оружии» в самом начале войны с большим успехом поставлена была в Берлине. Гекер, в качестве начальника отряда в немецком Ландвере, пишет свои воспоминания о трех месяцах, проведенных им во главе своего батальона. Ему поручено было отбирать оружие у бельгийцев в тех селах, которые были заподозрены в нападении на немецкие полки. Он рассказывает в своих воспоминаниях, между прочим, следующую сцену. В первом же бельгийском селении, в какое он попал со своим отрядом, по переходе через немецкую границу, он производит обыск в отдельных дворах, с целью открыть оружие. «Старик-домохозяин одного из этих дворов клянется, что у него никогда и не было никакого оружия. Сын его в отсутствии, Но, может, у него есть ружье. — Все домочадцы клянутся, что нет, и поднимают руки вверх.

Но в этой местности нередко стреляли в солдат из-за ограды, — нам нужно перевернуть все вверх дном. Последний раз я обращаюсь к домочадцам с напутственным словом. — Вам известно, что каждый житель, у которого найдено будет оружие, будет немедленно наказан за то смертью? — У нас нет оружия, — повторяют они. Посланные мною солдаты обыскивают погреб и жилые помещения, сад и конюшню. Я упорно смотрю на старика, который выдерживает мой взгляд. — Не имеете ли сделать мне признание в эту последнюю минуту. — Нет, господин офицер. Как 72-летний старик, клянусь вам... и в эту самую минуту совершается нечто ужасное: унтер-офицер с солдатом приводят мне молодого малого, они нашли его скрытым под соломою, в руках его было заряженное 5-ю патронами ружье. Дрожа всем телом, с цветом кожи, напоминающим сыр, он стоит передо мною с поднятыми руками. — Кто этот малый? — спрашиваю я старика. Как пораженные громом, все домочадцы пали на колени и подняли вой. Старуха кричит — «Это мой сын, ради Господа Бога, не посягайте на его жизнь». Пятнадцатилетняя девушка рыдает раздирающим душу воплем. Задержанный пытается бежать, его прижимают к стене. Мне приходится вызвать в своем воображении образ немецких патрулей, выезжающих ночью в поле, в шлемы которых летят пули

предателей — вольных стрелков, чтобы остаться в полном обладании своими нервами и отдать приказ: «Расстрелять. Три человека. Готово». И из этих трех солдат, из которых два — отцы семейств в Берлине, а третий — сельский обыватель, ни один не моргнул даже глазом. Наше дело правое. Мы попали на мерзавца, не заслуживающего снисхождения. Раздается залп. Дрожащее тело скорчилось и перестало двигаться. В голубой блузе заметны три отверстия. Глаза закрыты. Лицо не изменило своего выражения. Смерть, причиняемая нашим оружием не вызывает страданий. — Следовало бы старику зажечь над головою его «будку», — предлагает один из членов моего батальона. — Вперед. Марш. — отдаю я приказ. Трое — по-прежнему на коленях, а мертвый покоится у стены*. И такие сцены повторялись не раз и на всем протяжении страны. Некоторые села совсем исчезли. «Вы не найдете больше на карте, — говорит Гекер, — ни Баттис, ни Бизе. Это, конечно, несчастье для этих жителей, но не потеря для света. Иное дело — Лувен, в котором имеются шедевры архитектурного искусства: ратуша — позднего готического стиля, благородное здание церкви св. Петра, — драгоценность Брабандта. Сердце поворачивается при мысли, что такие произведения искусства могли сделаться жертвой пламени». Когда Гекер прибыл в Лувен, зажженный пруссаками пожар охватил всю уже центральную часть города, и его отряду пришлось сделать длинный обход (стр. 46 и следующие).

Я позволю себе спросить в заключение, какой русский писатель-патриот со времен Толстого позволил бы себе такое объективное описание кровавой расправы, в которой ему самому пришлось выполнять роль руководителя.

---

* См.: «Во главе моей компании», стр. 24—27. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

Глава VI
По Америке

[I]

Мне дважды пришлось ездить в Соединенные Штаты, в 1881 г. и двадцать лет спустя. Первый раз я воспользовался моей двухлетней командировкой с научной целью. Проведши год в Италии и полгода в Испании, я оставшиеся свободные месяцы провел на той стороне океана. Выбрал я для переезда самое неудобное время — самое начало весны. По дороге встретились ледяные горы, охладившие наш путь на ряд часов, но не вызвавшие особой паники. Море все время было бурным. Не прошло и нескольких часов со времени отъезда из Ливерпуля, как я уже лежал больным в каюте. Когда, дни спустя, меня пришли предупредить о необходимости быть наготове, ввиду показавшихся вдали ледяных гор, двигавшихся с необыкновенной быстротой, я был в таком состоянии, что только махнул рукой. Продолжавшаяся качка едва позволила мне приподняться, чтобы посмотреть на ледяные чудовища через окно каюты. Они неслись с невероятной быстротой, вероятно, на расстоянии 1—2 километров от нас. Часа через два мы почувствовали нашу даль от них переходом к более мягкой температуре. Я настолько был истощен морской болезнью и невозможностью удержать пищу в желудке, что почти все время проводил в каком-то полусне. Переезд длился целых 10 дней, и только подходя к американскому берегу, море стало спокойнее, и я, одевшись, вышел на палубу. Поразительное впечатление производит вход в Гудзонскую бухту. Пароход движется медленно, стоит около часу, чтобы дать возможность таможенной страже исполнить свои несложные обязанности. Пассажиров приглашают в столовую, рассаживают в кресла, поместив в центре осмотрщиков. Медленно, один за другим, подвигались мы к ним, пересаживаясь с кресла на кресло. Точно на исповеди, тихим голосом надсмотрщик спрашивал нас — привезли ли мы новое платье и на сумму не свыше 500 долларов. Все почти дамы, точно условившись, отмечали, что привезли, но не выше, как на указанную сумму. Некоторые из них признались мне, что ни одна уважающая себя американка не станет в Париже заказывать себе столь дешевых платьев. Это хорошо известно и таможенным чиновникам, и допрос делается формы ради. Когда я в первый раз прибыл в Америку, строгостей при осмотре наших сундуков было сравнительно мало. Не то что во второй раз. Печать подняла тревогу против нарушений таможенного тарифа. Посыпались нападки и обличения, и начались придирки. От меня требовали, например, доказательства того, что привезенная мною рукопись написана моею рукою, иначе предстояло платить за нее, как за предмет роскоши. Все это благодаря пристрастному толкованию закона, предписывающего облагать пошлиной и ценные предметы, покупаемые у старьевщиков, в числе их, конеч-

но, могут быть и старинные пергаменты с миниатюрами и выведенными красками титлами со всякого рода украшениями. Мое положение было трудным. Рукопись заключала мои лекции, но переписанные чужой рукой. Все трудности исчезли, как только подоспевший на мою выручку еврей взял с меня три доллара. Распределение их он милостиво принял на себя и затем с торжеством повел меня к выходу, усадил в карету с зеркальными окнами, вроде тех, в каких в Москве возят невест на показ. Через несколько минут она остановилась перед гостиницей, но эти минуты обошлись мне в 5 долларов. Немудрено, если на следующий же день я счел нужным писать на родину просьбу о присылке денег, не рассчитывая на то, что взятого мною хватит для покрытия всех издержек. Во второй наш приезд пароход уже салютовал статуе Свободы, отлитой во Франции и украшающей собою вход в Нью-Йоркскую бухту. В толпе путешественников нашлись люди, для которых это салютование не было пустым символом. На их лицах отразилось некоторое движение. Я с удивлением прочел поэтому недавно в интересном романе Герцога следующее заявление: «Поклонись этой статуе, ты видишь в ней в последний раз образ свободы». Вынести из Америки впечатление, что в ней отсутствует именно свобода, поистине мудрено, если только не считать, что самым жестоким деспотом является «всемогущий доллар». Да если бы и было так, то не следует забывать, что нигде не представляется большей легкости к приобретению этого доллара всевозможнейшими видами труда, не теряя в то же время нимало в своем достоинстве. В этих воспоминаниях я не считаю себя связанным держаться какого-либо плана, воссоздавать мои поездки с путеводителем в руках и отмечать впечатления, вызванные случайными встречами и разговорами. Я поэтому тут же, то есть едва вступая на американскую почву, позволяю себе отметить одну из поразивших меня черт американской жизни. Никакое занятие не способно унизить человека. Сегодня он может быть техником или адвокатом, а завтра, за недостатком средств, определиться в наемные рабочие. Можно одновременно быть студентом и зарабатывать себе существование продажей газет на вокзалах или тушением газовых рожков. Чтобы не быть голословным, напомню, что знаменитый Эдиссон, как мне рассказывали, в Чикаго в годы ученичества содержал себя и семью тем, что по ночам ходил на станцию продавать газеты проезжим. Однажды мне пришлось посоветовать сыну одного имигрировавшего в Америку соотечественника перейти из Чикагского университета в один из европейских. «Это немыслимо», — ответил он мне. «Здесь я зарабатываю по ночам тушением газовых рожков столько денег, что могу оплатить мой взнос за правоучение да и возмещать, сверх того, моим родителям часть их издержек на мое содержание. Как бы посмотрели на меня в Оксфорде или Берлине мои товарищи, узнавши, в чем состоит мой заработок».

Европейская читающая публика знает Нью-Йорк по описанию, как город, растущий в воздухе. Здания с 20 этажами теснятся в нем одно возле другого, обряжая улицы в какие-то коридоры со

сквозным ветром. Все это выросло за последнюю четверть века. В первую мою поездку Нью-Йорк был большим городом из числа наиболее красивых, с пространными улицами, прекрасными парками, с отсутствием красивой набережной на Гудзоне, с чудовищным по своей длине мостом, ведущим в Бруклин, и с некоторыми немногими историческими памятниками, восходящими еще ко временам Голландцев[1]. В последнюю мою поездку Вольстрит, это подобие лондонской Ламбардстрит, уже была, действительно, тем коридором между двадцатью и более этажными домами, какой ее изображают графически во всякого рода деловых объявлениях, исходящих от американских фирм. Набережная только строилась, но парки уже очаровывали путешественника обилием зелени во всех решительно кварталах города. Если на что можно было пожаловаться, так на то, что дорожки в них уже в то время были вылиты асфальтом, что одно уже устраняло возможность считать себя хоть временно перенесенным в деревенскую обстановку.

Так как меня всего менее интересовала в Америке деловая сторона жизни, так как я искал в ней ответа на вопрос о том, как сложилась американская гражданственность и создался особый психический тип американца, выяснившийся и в сфере общественных и политических учреждений, то и в 1881 г., и в 1901 г. я более всего занят был посещением высших, средних и низших школ, картинных галерей, музеев, библиотек, литературных клубов, наконец, выдающихся деятелей в сфере литературы и журналистики. Прибыл я в Америку в первый раз с рекомендательными письмами, данными Тургеневым и его англо-американскими друзьями. В числе их были некоторые, проживавшие в Нью-Йорке писатели, Генри Джеймс, автор известного романа «Американец»[2], направил меня к Боильсену, лучшему знатоку Гете в Соединенных Штатах. Благодаря ему я получил возможность войти в общение с профессорами и литераторами Бостона, Бальтиморы и Вашингтона. Изъездил я почти все Восточные Штаты, за исключением Мэна — на севере и Флориды — на юге. Из западных я попал в Иллинойс и Огайо, прожил несколько недель в Цинциннати и Чикаго, а затем на Ричмонд в Виргинии (опять-таки с остановкой на несколько дней), я проехал в Новый Орлеан и Луизиану. Здесь французский консул виконт д'Абзак и американский писатель Кебль[3], с которым я познакомился еще во время переезда из Европы, сделались для меня орудиями провидения, раскрывая передо мною такие стороны американской жизни, которые обыкновенно остаются сокрытыми для туристов. Во время моих странствий я пробовал вести дневник, но впечатлений было так много, а времени так мало, что я не успевал отмечать даже повседневного хода моей жизни. Да и впечатления долгое время были изменчивы и стали складываться в определенные рамки только на расстоянии нескольких месяцев. Мне кажется, что я вернее могу передать их в некоторой системе в настоящую минуту, чем годы тому назад в момент моих странствий и быстрых переходов с севера на юг и с востока на запад. Вторичная поездка в Америку, когда мною объ-

ожены были по преимуществу Западные Штаты, лежащие по берегу Тихого океана, по ту сторону Кордильер, доставила мне материал для сравнения между вековою культурой востока, то есть сравнительно узкой полосы, лежащей между Атлантикой и цепью Аллеган, и тем легким пластом англо-американской гражданственности, распространенным над испано-индейским прошлым, постоянно пробивающимся через него, который можно найти в Орегоне или Калифорнии. А эти контрасты всего лучше выясняют, что скрывается под неуловимыми, по-видимому, оттенками национального характера американца в отдельных областях того обширного континента, который протянулся от океана до океана, от северной границы Канады до лежащей на юге Мексики. Если вы спросите янки из Новой Англии, особенно янки, принадлежащего не только к высшему, зажиточному, наиболее культурному кругу, янки, получившего воспитание в Бостоне или, точнее, в американском Кембридже в Гарвардском университете, или в университете в Йеле, что они думают об образе жизни своих соседей и близких знакомых, то из уст не одного из них вырвется слышанное мною не раз: «Неужели Вы не чувствуете того, что живете в английской провинции, где-нибудь в окрестностях Сандвича или Баса, Оксфорда или Кембриджа, или еще более на севере, поблизости к Эдинбургу, в пуританской части Шотландии». И действительно, весь внешний тон жизни более или менее тот. В Гарвардском университете даже в то время, когда я посетил его, то есть 40 лет тому назад, существовала та же система жизни студентов в колледжах, какую можно встретить в старых университетах Англии. Тьюторы[4] играют здесь, впрочем, меньшую роль, и профессорам не приходилось жаловаться на пустоту в аудиториях, как это вправе делать светила науки в Оксфорде или Кембридже. Ведь, к экзамену легче подготовиться у неотступающего от программы учителя, чем у самостоятельного исследователя, открывающего новые горизонты. Тьютор, это — в полном смысле слова — школьный дядька, который дает подростку только необходимое и ничего вне его. Английский студент развивается сам, под влиянием предписываемых ему чтений. О нем говорят не то, что он хорошо учится, а то, что он хорошо читает, то есть толково дает себе отчет в прочитанном. Вне этого идут уроки по разнообразнейшим предметам, не исключая и изложения всей Аристотелевой «Политики»[5]. Фриман жаловался мне однажды, что в то время, как у него сидит 5—6 человек на оригинальных лекциях, которые он готовит к печати, по его же учебнику тьютор в колледже читает историческую географию перед полными скамьями. Этого я в Гарварде не нашел. Интересовало меня в особенности преподавание юридических наук. Заходил я на лекции по гражданскому праву и процессу. Аудитория была битком набита. Но я только с трудом мог дать себе отчет в том, какова была тема лекции. Профессор ежечасно вызывал отдельных слушателей, спрашивая их, какое должно быть дано решение такому или иному вопросу на основании существующих судебных прецедентов. Но это был не семинарий, а то, что мы на-

зываем лекции или конференции. Адвокатская школа, которая в Англии гнездится вне стен Оксфорда при корпорациях Линкольна или Иннер-Темпля, переселилась в самый университет и образовала в нем особое факультетское преподавание. Так было, по крайней мере, в 1881 году. С тех пор подражание немецким университетам, вероятно, создало и в юридической школе подобие тех курсов, к которым мы привыкли на континенте Европы и в России. Я не был в последнюю мою поездку в Гарварде, но встречался с его профессорами. Пробуя узнать кое-что от моих собеседников о старых гарвардских знакомых, я получал в ответ не редко уклончивые замечания: «Нас сотни теперь профессоров и доцентов, нам трудно знать каждого из нашей среды». И тогда уже Гарвардский университет обладал прекрасной библиотекой на всех языках в мире. Показывая ее мне, доктор Смисс, сам отличный филолог, привел меня в комнату, в которой не было ничего, кроме русских сочинений. «Много ли у вас читают на этом языке?», — спросил я. — «Пока нет никого», — был ответ. «Но кто поручится, что в ближайшем поколении не окажется сотни человек, желающих читать по-русски». Гарвардский университет, подобно Оксфордскому и Кембриджскому, создан был по преимуществу на частные пожертвования. Он и в настоящее время приумножается и богатеет тем же путем. Меня однажды, во время моей второй поездки по Америке, заставили проехаться в течение целой ночи, чтобы, попасть к незнакомой мне владелице богатого имения, именуемого «Веррона», только потому, что перед своим домом владелице угодно было поместить в качестве украшения вывезенный ею из Вероны старый каменный колодец. Это пристрастие к археологии обошлось ей дорого. Ее убедили в том, что принадлежащие ей миллионы могли бы пойти на пользу любителям старины, если бы она одновременно вздумала создать три кафедры — две в Гарварде по египтологии и индусской археологии, а одну — в государственном университете в Калифорнии, близ С[ан]-Франциско. Чтобы укрепить ее в этом намерении, приглашен был и я. Поездка моя оказалась успешной, и я вернулся с сознанием дешевой услуги, оказанной мною науке о древностях. В Гарварде, разумеется, нет тех великолепных построек, которые переносят вас в эпоху Тюдоров и Стюартов[6] как нет и гуляющих по тесным улицам «донов», то есть одетых в черные мантии и с виду напоминающих собою католических священников, докторов, магистров и бакалавров всевозможных наук. Но учиться в Гарварде считается таким же почетным отличием для сына процветающего американского джентльмена, как и для потомка аристократической английской семьи. Разбогатевший фабрикант из Чикаго, жертвуя деньгами для родного университета, в то же время посылает сына в Гарвард, в уверенности, что не может доставить ему нигде в Америке не только лучшего образования, но и воспитания лучшего склада, а он получает столько же от товарищеского общения с детьми также зажиточных и более или менее культурных семей, как и от посещения лекций известных ученых. Гарвард такой же классик, как и Оксфорд или

Кембридж. Молодой американец получает там такое же гуманитарное образование, как молодой англичанин в Оксфорде или Кембридже, но он находит в нем и физическое развитие, которое только разве тем отличается от английского, что в футболе или игре в мяч приходится занять в нем место игры в лаун-теннис. Весь склад жизни вблизи от университета, столько же в американском Кембридже, сколько и в далее от университета лежащем Бостоне, напоминает собою тот, какой мне пришлось вести, живя в семьях английских профессоров. Как в воскресенье в Оксфорде, меня приглашали занять место в семейном «пью», т.е. на отведенном для семей месте в церкви, так и в Бостоне хозяин той гостиницы, в которой я остановился, в знак расположения увел меня с собою в храм, посадил рядом и заставил выслушать длинную речь жестоко-скучного проповедника. И загородные поездки напоминали те, какими обмениваются семьи английских сквайров в провинциальных городах и местечках. Питанию было уделяемо немало места в этих соседских набегах: с большим постоянством чередовались утренние чаепития, полуденный завтрак и семичасовой обед с значительными возлияниями и веселой беседой, заканчивавшейся нередко поздним вечером. Весь жизненный обиход был английским и взору представлялся английский ландшафт, с хорошо обработанными полями, рощами и усадьбами, рассеянными на недалеком расстоянии друг от друга. Но английский уклад давал неожиданные прорехи. Так, мне пришлось прочесть, что в соседней гостинице 1-го класса, так как в ней служителями были «белые», жильцы пригрозили хозяину съехать немедленно, если в число постояльцев он примет одного депутата-генерала, только потому, что цвет его кожи черный. Этот факт, признаюсь, немало поразил меня, так как предубеждение против черных бичуемо было английской печатью, как печальный пережиток эпохи, предшествующей войне северных и южных Штатов и уцелевшей на одном только юге. Что он пустил здесь глубокие корни, я имел случай убедиться в этом при посещении Балтиморы. На предложение негру-служителю повести меня в церковь, специально посещаемую неграми, с негритянскими проповедниками, последовал ответ: «Я сделаю это охотно, мастер, но кто же станет говорить с Вами завтра, раз это станет известным». Чем больше удаляешься на юг или запад от Новой Англии, тем более пропадает представление, что Соединенные Штаты только продолжение Старой родины — Old Country, как называют метрополию вышедшие из нее колонисты. Ричмонд — еще Англия. Не даром же Виргиния была древнейшей английской колонией. Это даже один из очаровательнейших центров английской жизни в Америке, центров, далеких от торговой и промышленной сутолоки Чикаго, Питсбурга или Кливленда, где умеют пользоваться жизнью, как удовольствием, а не затрачивать все время на наживу. Несколько часов спустя после приезда я уже получил вместе с букетом из магнолий приглашение явиться на послеобеденный чай в скромную семью неизвестно как попавшего в Ричмонд россиянина, женатого на американке и со-

вершенно преобразившегося в англо-американского джентльмена. Жил он уроками французского языка в мужских гимназиях, а она преподавала в женских английскую литературу. За чайным столом оказалась целая компания виргинцев, хорошо воспитанных людей, говоривших изысканным английским языком, без тех носовых звуков, которые так обычны в американской речи. Говорили о литературе, об интересе, какой возбуждает в английских переводах Тургенев, но говорили также о разорении края северными войсками, о невыносимости жизни с тех пор, как насильственно навязано равенство негров и пришедший с севера янки, опираясь на них, начал командовать в крае[7]. Один из гостей завтра же предложил отвести меня к себе и показать мне что-то, чего я еще не видел. Этой «невидалью» оказались стены, носившие, вместо обоев, кредитки Союза Южных Штатов, потерявшие всякую покупательную силу. У любезного хозяина их оставалось еще достаточно и он подарил мне на память купон в сто долларов, благо он тоже ничего не стоил.

Между Бостоном и Ричмондом лежит ряд штатов и городов, в которых я проживал по целым неделям, частью работая в библиотеках, частью сводя знакомства с типичными представителями «американизма». В Филадельфии и в Вашингтоне я проводил время в обществе людей, внешний облик и обиход которых напоминал мне тот, с которым я знаком был, благодаря частым поездкам в Англию. В доме историка Генри Адамса[8], принадлежащего к известной семье, давшей Соединенным Штатам одного из первых президентов[9], я нашел, разумеется, в полном смысле слова английский «home»*. Сам Адамс одно время служил в американском посольстве в Лондоне. Жена его, хотя и американка, сохраняла пристрастие к английскому обиходу. Были это люди богатые, ни в чем себе не отказывавшие, ведшие обширное знакомство. И люди, их посещавшие, также имели изысканность и манеры добрых англичан. Но пришлось ждать недолго, чтобы увидеть заметное отклонение от английской психологии в этой столице американского мира. На мой вопрос хозяину, почему он не ставит своей кандидатуры на новых выборах, я получил ответ: «Так и видно, что вы прямо из Англии». «Чего ради, мне, человеку зажиточному и принадлежащему к хорошему кругу, мешаться с толпою политических проходимцев, обделывающих свои дела в служении у всякого рода акционерных обществ и миллиардеров. Когда они прокрадутся слишком явно, тогда и наступает время для смены. В Америке стоит быть только президентом. Но это место, как Вы знаете, занято. Чтобы Вы лучше поняли, как отлично смотрят в Америке на тех, кого в Англии называют right honourable, то есть по справедливости чтимый, я познакомлю Вас со значительным человеком из Нью-Йорка, согласившимся быть

* Дом (*англ.*).

...о депутатом на конгрессе. Приходите завтра обедать с нами». На следующий день я, облачившись во фрак, сидел за убранным цветами столом, направо от хозяйки, имея своим vis-à-vis мистера Гьюита — депутата от Нью-Йорка. Но просьбу хозяина объяснить мне, вырос ли он в глазах своих соотечественников с тех пор, как сделался депутатом, мистер Гьюит с улыбкой ответил, что далеко нет. Прежде о нем говорили: «Mister Hewit minds his own business» (Г. Гьюит занимается собственными делами) и говорили с похвалой, а теперь недоумевают, чему вздумал служить г. Гьюит и в какую он добровольно пошел служить компанию. «Вы, впрочем, убедитесь сами из самого осмотра нашего зала, что в нем речами большого эффекта не произведено. Для этого сам зал чересчур обширен, и голос оратора разлетается во все стороны. Настоящая работа идет в комиссиях. А какие влияния испытывают на себе члены комиссий, постановления которых почти без спора проходят в общих собраниях, это Вы, конечно, уже знаете из чтения всяких обличительных статей, брошюр и книг, которыми так обогатилась наша литература».

Вашингтон в то время, когда я посетил его, то есть с лишком 30 лет тому назад, был красивым городом, с широкими улицами, изящными домами, не тянувшимися к небу, подобно нью-йорским, домами, нередко окруженными полисадниками и кое-где еще разбросанными на просторе. Если бы в городе не было здания конгресса, Смитсоновского института[10], «Белого дома», то есть жилища президента, сохраненного в его неприкосновенности с эпохи войны за независимость, то Вашингтон мог бы легко сойти за модный мировой курорт, в котором благоразумные эдилы[11] сделали все возможное для украшения жизни. Не могли они, конечно, изменить его климата, а климат этот до невероятности жаркий, что заставляет вашингтонский бомонд устремляться в разгар лета к морю, в великолепную Саратогу, в роскоши своей способную поспорить с Остенде, Трувилем и Биарицом. Жара, может быть, также одна из причин, по которой люди с положением и деньгами отказываются сидеть хотя бы и в пространном зале конгресса и согласны держать в нем людей, для которых политиканство сделалось профессией. Но, разумеется, причина причин не в этом, а в той организации партийной жизни с рингами, боссами и т.д., которая так выпукло изображена в книге нашего соотечественника Острогорского: «Демократия и политическая партии»[12], не говоря уже о классическом труде Брайса: «Американская республика»[13]. Разумеется, не в одной Америке существует политиканство и та организация, направленная к подтассовке народного голоса, которая связывается с ним. Но родиной того, на что начинают жаловаться и радикальная Англия и демократически-республиканская Франция, является, несомненно, американская федерация. Политиканство стало силой, прежде всего, в федерации, а от нее постепенно завладело штатами с наиболее численным населением, а потому и влияющими всего сильнее на

исход президентских выборов. Оно поэтому сказалось ранее в Нью-Йорке, Пенсильвании и Массачусетсе, чем в Делаврии и Мариланде*. Таманигаль[14] недаром гнездится в Нью-Йорке. Завоевать постепенно союзные выборы, затем выборы в отдельных штатах, эта система «кругов» и «вербовщиков» овладела, наконец и муниципальными выборами. Дело дошло до того, что самим избирателям пришлось, наконец, взяться за ум и, пуская в ход личную инициативу, озаботиться устройством контрорганизации, сознательно ставящей себе целью борьбу с разнообразными и нередко неуловимыми формами американского подкупа. Эта организация у нас пока мало известна. В первую мою поездку в Америку я застал ее в зародышном состоянии. Говорили и писали о необходимости «реформировать гражданскую службу» (civil service reform), но во вторую мою поездку я уже нашел в Чикаго и по его примеру в других городах Америки клубы, не ставившие себе другой задачи, помимо такого оздоровления выборов. Приемы их весьма своеобразны, носят на себе печать страны, не знавшей рыцарства, а потому и не сохранившей в своих нравах того предрассудка, что вызывал человека на честный поединок, можно смыть с себя всякое пятно. Мистер Крен, один из ранних участников в образовании этих клубов, щедро поддерживающий своими деньгами, тот, который действует в Чикаго, не только свез меня посмотреть собственными глазами на свое детище, но и познакомил меня с теми средствами, к которым обращается администрация клуба, чтобы парализовать готовность того или другого, запятнавшего себя своим поведением политикана, снова поставить свою кандидатуру на выборах. Ему пишут от имени клуба: «Потрудитесь объяснить нам, почему Вы голосовали так, а не иначе в таком и таком случае. По собранным нами сведениям, Вы сделали это по следующим мотивам. Если Вы не убедите нас в обратном, то мы обнародуем все, нам о вас известное». — «И никто не пригрозил Вам дуэлью»? — спросил я. — «Что Вы... — был ответ, — мы в Америке. Для дуэлистов место в сумасшедшем доме. Раз пригрозили привлечь к суду, но мы ответили, что в нашем распоряжении имеются и другие данные, о которых мы Вам пока не писали, но которые могут быть также обнародованы, и — все смолкло». — «И вы всегда успешны в вашем, простите, шантаже с благородными целями». — «Увы, далеко не всегда. Одного популярного кабатчика мы все же не одолели. Он снабжал своих избирателей не только даровой водкой, но и денежными ссудами, служил им советом, устраивал для них всякие темные дела и сделался необходимым человеком для близкой и далекой округи, никакие обличения его не пугали и он блистательно прошел на ближайших выборах».

Америка времен добродетельного Вашингтона[15], как далеко отошла ты от нас. А впрочем, историки доказывают, что впервые система боссов и рингов испробована была на выборах современ-

* Имеются в виду штаты: Делавэр, Мэриленд.

ником Вашингтона, одним из отцов американской свободы, Самуэлем Адамсом[16] и с целями высоко патриотическими. Несомненно одно, что, где решающее слово принадлежит большинству, будут пущены в ход все средства, чтобы иметь его на своей стороне. Задолго до появления американских приемов английские политики отстаивали испробованную уже Вальполем[17] в первой половине XVIII в. систему сложных подкупов и министерского фаворитизма, благодаря которой Вальполь в течение 30 лет сохранял в палате благоприятное ему большинство и отстаивая такими соображениями: не более, не менее, как тем, что разделение властей, на которые, якобы, опирается английская политическая система, повело бы к антагонизму правительства с палатою, если бы подкуп не спаивал их, так сказать, между собою, установляя гармонию там, где, в противном случае, было бы столкновение, сопровождаемое распадом.

Уже из сказанного мною легко заключить, что Америка не простое продолжение английской провинции, сколько бы этим ни гордились живущие под Бостоном или в Филадельфии и англо-американские сквайры. И различие лежит не в одном отсутствии аристократических элементов. Американский миллиардер умеет обеспечить себе влияние, которому мог бы позавидовать любой член английской пэрии. Когда мне приходилось, живя в доме богатого американца, допрашивать его, сидя с глазу на глаз: «Да к чему Вам все эти миллионы?». Он откровенно отвечал мне: «Для того, чтобы иметь влияние». Не сомневаюсь в том, что он пользовался им для целей, в достижении которых он видел пользу для своей родины. Эта забота выступала иногда в весьма наивной форме. Когда я ходатайствовал за того или другого из моих попавших в беду соотечественников, он обыкновенно спрашивал меня: «А что, он намерен сделаться американцем? Если намерен, я — к его услугам».

В Америке, несомненно, имеются элементы для создания, если не аристократии, то плутократии. А кто станет утверждать, что расстояние между ними непроходимое. Ведь и английская аристократия содержит в себе, и в большой мере, плутократический элемент. Но особенность старых стран, какова Англия, та, что ее руководящие слои сумели всосать в себя и высший цвет того, что одни из всех народов в мире, мы называем интеллигенцией. А в Америке эта интеллигенция, которой вообще имеется пока один тонкий слой, далеко не идет заодно с миллиардерами. Да и сами эти миллиардеры, раз они принимаются за ухаживание за интеллигенцией, обращаются охотнее к той, которая лежит за океаном. Возьмите, например, Карнеги[18] с его фантазией пацифизма. Правда, в рядах его сторонников можно найти и президента Колумбийского колледжа (играющего роль университета в Нью-Йорке), почтенного Бертена. Но Карнеги не менее нужны члены парижского комитета с де Естурнель де Констаном[19] во главе, или комитет лондонского, а также целая сеть корреспондентов, вербуемых из рядов интеллигенции всех стран Европы. Американский миллиардер

охотно затрачивает свои деньги и на создание обсерваторий, и на постройку университета или высшей технической школы. Библиотеки многих городов, начиная с Нью-Йорка, также носят имена тех или других богачей-благотворителей, картинные галереи, кабинеты, музеи обогащаются их пожертвованиями. Уроженец Балтиморы, например, Джон Гопкинс[20], заработав свои миллионы в каком-то промышленном предприятии, поехал уже в зрелом возрасте посмотреть на Европу. Он нашел в Лондоне Британский музей и отдельно от него большой концертный зал, знаменитый Албертхолл и, наконец, опять-таки отдельно от обоих, университет. Почему, подумал он, не воспроизвести всего этого и в родной Балтиморе, соединив в одном целом все три учреждения. И возникли — Джон Гопкинский университет, один из работоспособных в Америке, с его хорошо известными полупериодическими научными изданиями и рядом с ним — картинная галерея, содержащая в себе далеко не одни шедевры, и обширный концертный зал. Другой миллиардер, Рокфеллер[21], прибывший, как он сам любит рассказывать, в Кливленд с немногими долларами в кармане, а теперь стоящий во главе нефтяного треста, затратил миллионы на создание Чикагского университета, но так как сам он был баптист, то хорошие оклады получали у него ученые только из баптистов, да и сами эти ученые не всегда были специалистами по тем кафедрам, которые им пришлось занимать. Однажды, обедая у профессора Мак-Ляфлина, чикагского экономиста, я сказал ему, что имя его известно мне, как автора одного из четырех этюдов по англо-саксонскому праву. «Это кто-нибудь из Ваших однофамильцев?», — спросил я. — «Никто другой, как я сам», — ответил он. «Но какими же судьбами от изучения юридических древностей перешли Вы к политической экономии?». — «Очень просто, — звучал ответ, — хотели занять кафедру баптистом, я принадлежу к этой секте. Ничто не мешало на пути к переходу от свода английских хартий к трактату Милля о политической экономии. Я с тех пор даже напечатал сокращенное изложение этого трактата. Нашелся даже русский, если не ошибаюсь, из Киева, который предложил мне сделать перевод на ваш язык. Но его условия были для меня невыгодны и я отказался». Тогда как Мак-Ляфлин читает сокращенно Милля в Чикаго, уделяя на это 2—3 часа в неделю, два других экономиста уделяют изложению более специальных предметов по 6 и более часов в неделю, получая значительно меньшее вознаграждение. Правда, они не баптисты, правда также, что на них не падает обязанность принимать у себя иностранных ученых и угощать их сытными обедами. Мой любезный хозяин сам объяснил мне, что эти приемы входят в круг его неофициальных обязанностей. И ректор университета, покойный Горпер, также баптист, не преследовал с самого начала своей жизни педагогической карьеры. Одно время он готовился дирижировать оркестром. За ним и брат его сделался преподавателем и ученым. Он специализировался по ассириологии, что дало ему возможность уехать в ученую миссию на восток с хорошей оплатой из средств, отпущенных тем же Рок-

феллером. Мне пришлось прочесть в местных газетах об акте Чикагского университета. То, что происходило на нем, может дополнить картину университетской жизни в одном из главных центров американской культуры. Чикаго насчитывает миллионы жителей, лежит в центре американских дорог, идущих от океана к океану, примыкает к озеру Мичиган, а следовательно, и ко всей системе озер и каналов, которые, благодаря реке св[ятого] Лаврентия, имеет прямое сообщение с Атлантикой. Этот богатый город имеет не один университет. Но ни один не располагает такими средствами, как созданный Рокфеллером. Не в пример другим, он открыт круглый год. От слушателей требуется, чтобы они приступали к экзамену, предварительно пробыв в числе студентов 12 трехмесячных семестров. Затратят ли они на это 4 года подряд, или большее число лет, это вполне зависит от их выбора. Многие находят занятие и заработок зимою, проводят в Чикаго только летние месяцы, растягивая, таким образом время ученичества на долгие годы. Летом им приходится немало слышать и иностранных профессоров, которым легче сделать переезд при хорошей погоде. В начале лета устраивается и университетский акт. В год моей вторичной поездки в Америку, когда я призван был прочесть в Чикагском университете курс по истории русских государственных учреждений, с тех пор появившийся на трех языках: на английском, — в издании университета, на французском — в библиотеке по Политическим наукам, издаваемой проф. Жезом в Париже, и, наконец, на русском, — в вольной и не всегда аккуратной передаче, сделанной в Петербурге*, мне пришлось в течение целого семестра знакомиться с жизнью профессоров и студентов, присутствовать на их празднествах, посещать их клубы и входить в довольно тесное общение с кругами, близко стоящими к предприятию Рокфеллера. Постепенно «американизируясь», я переставал находить странным очень многое, что на первых порах меня, как европейского профессора, не только поражало, но и коробило. Помирился я и с возможностью чтения самостоятельного курса о деле Дрейфуса[22], и с лекциями на французском языке о французской литературе, читанными приезжим из Парижа французом, лекции, в конце которых аудитория призналась лектору, что, к сожалению, французский язык ей непонятен. Но акт Чикагского университета и в настоящее время тревожит мое воображение своей необычайностью. Началось дело с того, что избрали временного почетного ректора, и выбор пал, разумеется, не на кого другого, как на благотворителя Рокфеллера. Рокфеллер произнес краткую речь, расхваленную затем в газетах за ее остроумие. Он сказал, между прочим, что, не будучи специалистом по юриспруденции, он не возьмется решать, владел ли Иона, сидя во чреве китовом[23], как собственник, или как арендатор. После речи произошел следующий публичный обмен

* Ковалевский М.М. История политических учреждений нового времени. СПб., 1910.

мыслей между фактическим ректором и ректором почетным. Г. Герпер выразил, между прочим, надежду, что университет в скором будущем будет владеть миллионами долларов, г. Рокфеллер ответил ему, что предвидит наступление такого блестящего будущего, но не в ближайшее время. Университет не прочь поделиться своими деньгами и с наиболее выдающимися знатоками американской истории за границей. Известный Вангольст кончал при мне свое преподавание в Чикаго, оклад его не оставлял желать лучшего. Но вся обстановка университетской жизни, по-видимому, не пришлась по вкусу баденскому ученому, да и его коллеги, по-видимому, не сохранили о нем особенно приятного воспоминания. Я не знаю, как поставлено преподавание точных наук. На приглашение знаменитых математиков из Оксфорда и Кембриджа всегда находятся у университета нужные средства. Но насколько слушатели подготовлены к посещению их лекций, — это другой вопрос. Мне сообщали, шутя, что на лекциях Кембриджского математика сидел один Оксфордский, а на лекциях Оксфордского — один Кембриджский. Я едва ли погрешу против истины, сказав, что Рокфеллеровский университет более отвечает понятию учебного, чем ученого учреждения. Это приблизительно то, какое покойный Кассо приписывал и русским университетам, утверждая, на мой взгляд, совершенно ошибочно, что мы до творческой науки еще не доросли, что для этого существует, мол, Академия, — первенствующее научное сословие, как значится в ее уставе, а для университетов достаточно, мол, и того, что они ежегодно выпускают большее или меньшее число кандидатов на всякие служебные должности с дипломами 1-го и 2-го разряда. Все мои воспоминания из университетской жизни обеих столиц энергично протестуют против такой оценки. Задолго до того, чтобы сделаться академиками, люди, как Буслаев[24], Тихонравов[25], С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин и десятки других, более молодых и столь же преданных своей науке специалистов, Ключевский, Миллер[26], Корш, Тимирязев[27], говорили новое со своих кафедр и этим новым волновали умы и сердца своих слушателей. Профессор-учебник всегда сидел в пустой аудитории, и, если в наши дни слушатели являются на лекции по уговору в определенном числе и соблюдая известную смену, то потому, что при назначении профессоров более руководствовались служебной готовностью, чем научной подготовленностью лекторов. Чем дальше на запад, тем меньше чувствуется в высшей американской школе биение живого ключа, тем больше она также отвечает недостойному науке служению, определенным и далеко не идеальным интересам. В Калифорнии наряду с государственным университетом в С[ан]-Франциско имеются еще 1—2 частных. В том, который основан вдовою одного богатого железнодорожного акционера, составившего себе состояние при постройке одного из тех путей, которые пересекают американский континент с востока на запад, одно время преподаванием занимался зять известного американского социолога Лестера Уорда[28], по имени Росс. Это был многообещающий молодой экономист, которого я 20-ю годами

ранее встретил в университете Джона Гопкинса в Балтиморе. Независимость составляла преобладающую черту его характера. Она побудила его примкнуть к тем, кто не относится с оптимизмом ни к системе американских трестов, ни к той железнодорожной политике, при которой не боятся истощить фонд казенных или, точнее, национальных земель, уступая строителям-акционерам по 105 миль по правую и левую сторону полотна и не на срок, а в вечную собственность. Последствия такой политики предугадать не трудно. Железнодорожные компании монополизируют в своих руках обширные земли, вздувают на них цены, препятствуя правильной колонизации края и накопляя состояние не в миллионы, а в миллиарды долларов. Когда откровенный профессор стал делиться со своими слушателями сомнениями в пользе такой системы железнодорожного строительства, у вдовы миллиардера, построившей университет, было видение. Во сне предстал ей ее супруг со строгим и укоризненным лицом. Она передала свое сновидение коллегии профессоров, а в ней нашлось большинство в пользу отставки молодого профессора. Я осведомлен был обо всем этом из первоисточника; от Лестера Уорда я слышал все подробности этой возмутительной истории. Поэтому, когда университет Лелянд Стенфорда обратился ко мне с предложением прочесть несколько лекций, я воздержался от всякого ответа. Но мне все же пришлось читать в Калифорнии в ее государственном университете и вот в каких условиях. Пробыв с неделю в С[ан]-Франциско, на обратном пути из Южной Калифорнии, я складывал свои вещи, спеша застать в Нью-Йорке отплывающий в Европу пароход, как вошел в мой номер человек средних лет и вручил мне свою карточку. Я прочел на ней его фамилию — «мистер Александр». Она не вызывала в моем уме никакого определенного образа. Читая недоумение на моем лице, мой посетитель поспешил мне напомнить, сказавши, что он ректор государственного университета в Калифорнии и автор краткой истории Александра Македонского. Он пришел пригласить меня на пару лекций. Я ответил ему, указав рукою на свои чемоданы. — «Дело поправимо, — сказал он. — Мы беремся добиться продолжения срока Вашего обратного билета у компании». — «Но у меня нет времени для приготовления лекций». — «О, мы на западе не потребуем от Вас ничего нового. Повторите что-нибудь из прочитанного Вами ранее в Чикаго. Разумеется, и плата будет соответственно понижена. Мы предлагаем Вам половину того, что Вам платили за лекцию на востоке, 200 долларов, не правда ли». Мой посетитель был так обязателен, что я не сумел от него отвертеться и за половинную плату прочел две лекции, которым не хватало оригинальности. Многочисленная публика была не требовательна и покрыла меня аплодисментами. Когда на обратном пути я поджидал парома, чтобы переплыть С[ан]-Францисскую бухту, ко мне подошел священник, как оказалось, ректор местной семинарии, и, указывая мне на близ стоявшую толстую даму, предложил мне представить ее. «Она прямо с Вашей лекции, осталась очень довольна и, как я полагаю, не отказалась

бы дать нам нужные средства, чтобы устроить Ваши дальнейшие чтения у нас в семинарии. Разумеется, половину этих средств мы оставили бы за собою». Но на этот раз я напрямик отказался, и мой искуситель отошел от меня, пожимая плечами.

II.

Я полагаю, что тот, кто бросил, хотя бы и беглый взгляд на эти страницы, согласится со мною, что от джентльменства английской провинциальной среды, с которой так много общего находят в себе жители прибрежных к Атлантике штатов и в особенности Новой Англии, осталось на дальнем западе не много. Да и могло ли быть иначе. Ведь, на протяжении от Аллеганских гор до Кордильеров и от Кордильеров до Тихого океана к английским пионерам, не всегда бывшим и первыми насельниками, присоединилось столько новых этнографических пластов, что можно только удивляться силе и жизненности объединяющей их в одно целое англо-американской культуры. Ведь, в Америке насчитывают в настоящее время до 15 миллионов немцев, из которых меньшая только часть рассеяна в Пенсильвании или живет в Нью-Йорке, другие разбрелись по необъятному Fat-West (отдаленному Западу), границы которого в XVIII веке лежали тотчас же за Аллеганской цепью гор. Из этих необъятных земель, заселенных индейцами, постепенно распространявшимися сперва до Миссисипи с ее притоками, а затем до Кодильеров и, наконец, до Тихого океана, образованы были в конце XVIII века, за несколько лет до вступления в силу Федеральной конституции, 2 территории — Северо-Западная и Южная. Из них, по мере поселения все новых и новых пришельцев и оттеснения к горам туземного населения, краснокожих, в конце концов, введенных в рамки «Индейской территории», стали выкраиваться штаты, по мере того, как новый наплыв колонистов приводил в страну немцев и скандинавов, ирландцев и славян, итальянцев, встречавших ранее их попавших в страну романских насельников, столько же из Франции, сколько и из Испании. Луизиана, проданная Соединенным Штатам Наполеоном, была областью французских поселений, зерном, из которого могла развиться, при благоприятных условиях, цветущая колония, с той счастливой особенностью, что в ней путем браков возникло новое смешанное племя так называемых креолов. Они все еще говорят своим родным французским языком, держатся более или менее обособленно от американцев, напоминая собою до некоторой степени нашу помещичью среду, также развившуюся на почве крестьянской несвободы, как креольская среда на почве плантаторского рабства. Один американский писатель, с которым я встретился в 1881 г., переплывая с ним океан, изобразил яркими красками этот отживающий мир. Кэбль, по собственному признанию, много читал Тургенева, «Записки охотника» — вот то, что приходит на ум, когда читаешь его сборник рассказов из прошлого креолов. Это не тенденциозный роман, вроде «Хижины дяди Тома» Би-

черстоу, а реальное изображение плантаторского быта с его лицевой и не лицевой стороной; все, что после этого было написано Кэблем[29], в том числе его известный роман «The Lady of the Aroustuk» («Помещица из Арустокла») — только более обстоятельное, в детали идущее описание той же среды. Кэбля в Новом Орлеане не любят. Я сам имел возможность убедиться в этом. Друживший с ним французский консул виконт д'Абзак тщетно старался свести его у себя на дому с креолами. Они упорно отказывались от всякого общения со своим, как они думали, не только обличителем, но и клеветником. Французское влияние уже почти незаметно в С[ан]-Клюисе, городе, получившем от французских пионеров имя великого короля[30], при котором он возник. Французское влияние уступило в нем место немецкому. Десятками и сотнями тысяч прибыли в долину Миссисипи выходцы с берегов Рейна, мелких немецких княжеств, из Ганновера и Нассау, Бадена и Вюртемберга. Долина Миссисипи с ее притоком Миссури, в которой одно время охотились на протяжении девственных лесов французские Agrpeurs-des-bois, то есть колонисты-звероловы, торговцы мехами, занята была постепенно кочевниками-земледельцами и скотоводами чуть не из всего мира. Несмотря на то, однако, что англо-американцы далеко не составляют численно преобладающего элемента в среде ее пионеров, что на севере скандинавы, а на юге немцы часто образуют большие, чуть ли не сплошь ими населенные области, что целые города, как, напр[имер], Мильвоки* или Цинциннати обязаны, одним своим возникновением, другие своим ростом германским выходцам, англо-американская культура все же дает тон всей жизни. И вот почему, несмотря на образование всякого рода союзов объединения немецкого элемента в Соединенных Штатах, я не верю в возможность того, чтобы Американская Федерация когда-либо проявила себя в мире пионером германства. Я недавно прочел книгу Рудольфа Герцога[31], озаглавленную: «Великая тяга на родину» («Das große Heimweh»). В форме романа талантливый немецкий писатель изображает поднявшееся в Америке течение в пользу духовного единения тех 15—20 миллионов германских уроженцев, которые рассеяны по Северно-американскому материку. Автор весьма верно указывает на то, как, начиная с конца XVII века, его соотечественники стали проникать и селиться в Новом Свете. В 1683 г., пишет он, великий англичанин Вильям Пенн[32] основал Филадельфию и в том же году немец Франц Даниэль Пастериус[33] привел своих нижнерейнских меноннитов[34], которые основали соседний в Филадельфии город Джермантау, т.е. город немцев. Большими толпами двинулись в Пенсильванию крестьяне из Рейнского Пфальцграфства и развели в ней земледелие. В Балтиморе, с самого ее возникновения, имелся уже сильный немецкий элемент. Говорить ли также о ранних поселенцах в Виргинии, в Северной и Южной Каролине — выходцах

* Имеется в виду г. Милуоки.

из Нижнего Рейна и Рейнского Пфальца, или о том, как за ними стали переселяться в те же штаты вюртембергцы, гессенцы и эльзасцы. Кому неизвестно также, что преследуемые за веру протестанты, выходцы из Зальцбурга, в 1734 г. поселились в Георгии, содействуя тем самым возникновению этой колонии. А что сказал о тех тысячах немцев, которые помогли сперва голландцам, а затем англичанам поднять до теперешнего процветания г. Нью-Йорк. Когда зашла речь о заселении Кентукки, не кто другой, как Георг Вашингтон сделал призыв к немецким выходцам. История штатов в Огайо и Индиане полна кровавыми столкновениями немцев с индейскими племенами. В долины Миссисипи и Миссури устремляются немецкие пионеры. Они оседают не в одном только С[ан]-Луисе, но заселяют собою весь штат. Когда настает время дальнейшего переселения на Запад, эти пионеры оставляют за собою след в существовании цветущих городов и уютных сельских поселков. В Области Великих Озер гигантские города, как Чикаго, Мильвоки, Кливленд, заселяются немцами. С 1849 г. новые толпы немецких колонистов устремляются в американский Запад, и поднятая ими впервые их плугом почва и пробитые их киркою горы, в поисках за благородными металлами, свидетельствуют о немецком трудолюбии. Колорадо и Невада, Дакота, Вайоминг, Идаго, Монтана, Новая Мексика и Аризона включили в себя массы немецкого люда. А когда открылась возможность утилизации лежащих на Тихом океане штатов, толпы их потянули в штаты Оригон, Вашингтон и Калифорнию. И тем не менее, на мой вопрос одному из тех людей (1848 г.), которых неуспех революции и так оживившегося в это время течения в пользу национального единства заставил эмигрировать в Новый Свет, на мой вопрос о том, посылал ли он своих детей или посылает ли внуков в немецкую школу, последовал ответ: «Разумеется, нет. Мне надо облегчить моему потомству борьбу за существование, а для этого первое условие — сближение в ранней молодости с тем англо-американским населением, которое подарило Новый свет своим языком, своей культурой и своими учреждениями». Нужно ли говорить, что в Америке законодательство не мешает основанию школ с немецким языком на частные, разумеется, средства. Но чем больше в этом отношении свободы, тем меньше стремления поставить детей как-то обособленно от других, изолировать их среди массы говорящего по-английски люда. Немецкие симпатии, как не прочь признать это и автор упомянутого мною романа, сплошь и рядом разбиваются о правильно созданные себялюбивые интересы. В одном месте своего романа Рудольф Герцог заставляет своего героя разъезжать по городам и весям с проповедью германского единства, читающего с этой целью конференции на берегах Тихого океана столько же, сколько в Пенсильвании или Нью-Йорке, обратиться к толпе собравшихся его чествовать соотечественников с предложением поддержать Германию против ее врагов отказом поставлять последним хлеб. И вот какой приходится ему услышать ответ. «Дело идет о торговле. Мы не использовали бы лучшего года. Нельзя же отка-

ться от желания поднять наш ослабевший торговый флот на подобающую высоту». Все, чего мог добиться немецкий патриот, это полномочия передать Германии, что взрыв симпатий в ее пользу в Америке будет настолько велик, что его одного будет достаточно, чтобы потрясти весь мир.

И сказанное о роли немецкого элемента в изменении общего хода жизни во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов может быть в равной степени повторено и об ирландском. Ни одна страна в мире не поставила такого, если не абсолютного, то относительного числа эмигрантов в Америку, как Ирландия. «Ирландский исход» особенно усилился с середины прошлого столетия, когда недостаточный урожай картофеля вызвал небывалый голод. Рост крупного фермерства, постоянно сокращая число крестьян-съемщиков, продолжал гнать ирландцев из их родины и после того, как агитации О'Коннеля[35] удалось в конце 30-х годов добиться полной отмены того жестокого законодательства, каким англичане со времени Кромвеля[36] стремились искоренить на острове католичество, считая его ближайшим оплотом ирландского сепаратизма[37]. Но если в Америке создалось опасное для Англии течение, представленное так называемыми фениями[38] и одно время вылившееся в поддержку не одних явных восстаний, но и в тиши подготовляемых «аграрных преступлений», то на самой американской культуре или политике обилие ирландских колонистов существенно не отразилось. Приносимый ими в страну язык был английский. По своей необразованности эти колонисты понижали, разве, процент грамотности в населении, а по своей материальной необеспеченности они только увеличивали число продававших свой труд и свои избирательные голоса пролетариев. В одном из своих рассказов Короленко[39], сам посетивший Америку, весьма удачно изображает то ловкое бесстыдство, с каким «боссы»-вербовщики умеют гнать к урнам это своего рода Панургово стадо[40], кормя его обещаниями доходной службы и легкими подачками. Низшие чины нью-йорской полиции, как я слышал, вербуются из ирландцев. Сколотив себе не без труда некоторые сбережения, часть ирландских выходцев расходится затем по всей стране, отдавая, впрочем, предпочтение скупке и арендованию земель в Атлантических штатах, особенно северных, где цены постепенно упали, благодаря движению на Западе. Из других романо-кельтических народов испанцы едва ли не составляют наиболее численной группы. Вся юго-западная часть — Техас, Новая Мексика, Калифорния были когда-то в их руках. Первых двух штатов мне посетить не пришлось. Но я проехался по всей Калифорнии с севера на юг почти до мексиканской границы и могу засвидетельствовать, что мне нигде ни разу не приходилось прибегать к испанскому языку в разговорной речи. Уцелели от недавнего еще сравнительно господства испанцев одни только испанские названия рек, городов и отдельных поселков, да и то в одной лишь средней и южной части. Знаменитая на весь мир своими золотыми россыпями река Сакраменто и получивший от нее свое прозвище главный город

штата, очевидно, носит испанское название. То же можно сказать и о самом С[ан]-Франциско и о таких климатических пунктах Южной Калифорнии, как Санта-Барбара или Пасадена. Главный город Средней Калифорнии, в котором и заключен был договор[41], передавший эту страну в руки американцев, тоже носит испанское имя, его зовут Монтере*, что значит королевская гора. Обособленное существование в Калифорнии ведут не остатки испанских поселенцев, а представители желтой расы — китайцы и, в меньшей степени, японцы. С тех пор, как в президентство Артура[42], что как раз совпало с первой моей поездкой в Америку в 1881 г., приняты были меры против дальнейшей эмиграции китайцев, они сплошной массой живут только в отдельном квартале в С[ан]-Франциско. В Монтере я нашел небольшое их поселение на самом берегу моря. Их занятия здесь — собирать водоросли, сушить их и отправлять в Китай. Беднейшее население последнего не брезгует и этой пищей. На осмотр китайского квартала в С[ан]-Франциско я уделил целый день. Обедал в китайском ресторане, который поразил меня не одной своей дешевизной. Нигде не встречается так мало отбросов. Курица, например, дробится на такие мелкие части, что кости, в достаточной степени размельченные, также в известном количестве идут в пищу. После обеда мой гид повел меня в китайскую молельню и в подобие клуба, очень невзрачного, в котором китайцы удовлетворяют свою страсть к гашишу, и в театр, в котором в течение десятков дней разыгрывается одна бесконечная пьеса, с содержанием которой я уже потому не мог познакомиться, несмотря на хорошую мимику исполнителей, что попал на третий день с начала ее представления. Признаюсь, всего более поразило меня то обстоятельство, что при наступлении сумерек, по всем улицам китайского квартала зажигаются миниатюрные огоньки. Это одно из проявлений того культа предков, который и по настоящее время удержался в Китае и который, как хорошо известно, принадлежит к числу наиболее распространенных в мире, начиная с отдаленной эпохи не только греков и римлян, но также жителей Индии и Ирана. Зажигаемые в христианских церквах восковые свечи являются одним из позднейших пережитков все того же культа.

В первую мою поездку в Америку начался уже в газетах и журналах систематический поход против китайцев. Чего, чего им не ставилось в вину... И нравственность их, мол, такова, что рядом с ними не приходится жить христианам и белым. Да и все свои сбережения они не тратят в стране, а увозят с собою на родину. Последнее соображение, кажется, и было решающим. Американцы дорожат осевшими в их среде колонистами, а не временными жильцами, увозящими с собой нажитые ими достатки. На расстоянии 20 лет поход, открытый против китайцев, возобновлен был и по отношению к японцам. Дело, как известно, началось с того, что

* Возможно, имеется в виду г. Монтеррей в Мексике.

городской совет С[ан]-Франциско постановил не допускать их в школу, особенно смешанную для обоих полов. Японцы обжаловали это постановление перед президентом, но тот оказался бессильным принять какие-либо меры репрессий по отношению неподчиненных ему муниципальных советов. Дело, сколько мне помнится, дошло до разбирательства федеральных судов, которые, будучи стражами конституции, могли найти несовместимым поведение городских властей С[ан]-Франциско с принципом равенства перед законом. Я не помню в точности, чем кончилось дело. Но влиятельная поддержка правительством Микадо[43], по-видимому, помешала осуществлению того поголовного изгнания желтой расы, на котором одно время настаивали не одни американские журналисты, но и рабочий люд. Последний справедливо ссылался на то, что потребности желтых рабочих очень скромны, что поэтому заработная плата, которой они довольствуются, низка, а, следовательно, и их конкуренция опасна для труда белых. Только благодаря дешевизне желтолицых пролетариев и возможно было построить на условиях, весьма выгодных для акционеров, южный путь, соединяющий Атлантику с Тихим океаном. Пока длилось это предприятие, никто не думал тревожить жителей Небесной империи и подданных Микадо, но когда дорога была готова, политиканы стали прислушиваться к протестам рабочих масс, а моралисты приискивать благовидные предлоги для их изгнания с Американского материка.

Таким же, с первого взгляда, допустимым соображением оправдывают американцы новое требование от колонистов, прибывающих в Америку. От них ждут предъявления доказательств того, что они не станут в тягость общественной благотворительности. При высадке на берег их спрашивают о том, сколько при них денег. Непредупрежденный об этом предварительно, я растерялся. Но мне достаточно было показать на сотню долларов в моем кармане, чтобы положить конец всяким дальнейшим расспросам. Американцы объясняют свое поведение нежеланием увеличить процент безграмотности. Больше всего страдают от практического осуществления этого ограничения свободы населения покидающие Россию евреи. И все же число их быстро растет. Нет такой американской библиотеки, правительственно-университетской или муниципальной, в которой я не находил бы русских евреев в числе лиц, приставленных к составлению каталогов. Многие из них обращались ко мне иногда с такими вопросами: «Не правда ли, лучший в России историк — Смирнов»? — «Вы, вероятно, хотите назвать Соловьева», — отвечал я. — «Спасибо. Мы его выпишем». Однажды я был обрадован получением в Чикаго нескольких десятков томов, хорошо переплетенных в заключавших в себе свод статистического материала, доставленного недавней переписью. Книги присланы были мне в дар моим бывшим слушателем по Московскому университету, переселившимся в Америку, евреем. Он нашел занятие при составлении описи и с согласия своего начальства спешил напомнить о себе не только милым письмом, но

и этим ценным подарком. Смитсоновский институт в Вашингтоне, как и всякого рода этнографические музеи, из которых одним, едва ли не самым богатым, надо считать нью-йорский, с известным Боисом во главе, также умеют использовать труд русских евреев, попавших не по собственному выбору в малоисследованные части Сибири. Известный писатель Тан, псевдоним для русского еврея Богораза[44], одно время сосланный на Камчатку и занявшийся собиранием здесь весьма богатого материала, между прочим, о чукчах, приглашен был напечатать результаты своих работ в Америке и в течение ряда лет получал довольно значительный оклад, если не ошибаюсь, от Смитсоновского института. Когда тот же Богараз недавно попал в беду и осужден был за ряд статей к сидению в «Крестах», американские ученые поспешили к нему на выручку и послали министру юстиции ходатайство в его пользу. Мне известны также работы другого русского этнографа Ихельсона[45], также еврея, о племени юкогиров, которые также печатались в Америке более или менее на тех же условиях. Американцы как-то особенно интересуются тою частью Сибири, которая прилежит к Тихому океану, и, по-видимому, по соображениям чисто материального характера. В мою последнюю поездку в Америку я не успел еще разложиться с вещами в гранд-отеле С[ан]-Франциско, как ко мне из трех редакций явились интервьюеры, все с теми же вопросами: «Не было ли бы в интересах американской торговли устроить постоянный рейс через Берингов пролив и соединить его железной дорогой с сибирской магистралью?». Некоторые сомнения, которые я позволил себе высказать на этот счет, получили неожиданную для меня интерпретацию. Я мог прочесть в газетах С[ан]-Франциско упрек в неискренности: скрываю, мол, из русского патриотизма, из нежелания делиться с иностранцами русскими богатствами, те несомненные доходы, которые потекли бы в американские карманы при продолжении такой дороги.

Из русских евреев, разумеется, только сливки добиваются до положения библиотекарей, адвокатов, банкирских чиновников и т.д. Масса добывает себе существование самыми разнообразными промыслами. В табачных лавках я встречал еще слабо американизированных евреев, предлагавших мне купить папиросы с изображением Л.Н. Толстого. Но все же в еврейской среде такого, например, большого города, как Чикаго, не мало зажиточных франтоватых семей. Я мог убедиться в этом при посещении еврейского театра. В нем труппа, приехавшая из Киева, исполняла на еврейско-немецком жаргоне пьесу, в которой высмеивались евреи с пейсами в роли ростовщиков. Явился я по приглашению. В мою честь устроен был дивертисмент; переодетые в русских мужиков актеры и актрисы образовали хор и пели по-русски: «Ах, Москва, Москва, Москва — белокаменная»... В антракте дирижер пришел ко мне в ложу, стал расспрашивать о новых явлениях русской драматической литературы и сообщил, что намерен поставить для американской публики пьесы Чехова. Театр был битком набит элегантной публикой. В креслах и стульях помещались разодетые в

шелка и бархаты еврейские дамы и девушки с кавалерами в смокингах. Молодежь от души смеялась карикатурному изображению своих «выходящих». На мой вопрос, не представлены ли на сцене галицийские евреи, последовал ответ: «О нет, — киевские. Главное действующее лицо срисовано с моего дяди». Бывший со мною в театре миллиардер Крен говорил мне, что в молодости он часто ходил в еврейский театр и благодаря этому познакомился с пьесами Островского. Театр расположен в одном из беднейших кварталов Чикаго. Здесь немало гнездится бедных еврейских семей. Некоторые так бедны, что помещают своих детей в особый приют. Им заведует некая г-жа Адамс, одна из самых симпатичных женщин благотворительности, каких мне пришлось встретить за все время моего путешествия. Она пригласила меня поужинать за общим столом с ее многочисленными питомцами. Тут было немало знакомых мне типов из Брест-Литовска и Бердичева, а также и из окрестностей Лемберга[46].

Славянский мир посылает в Америку не одних только евреев. Поляки встречаются в среде колонистов Нового Света еще со времен войны за освобождение. В числе сподвижников Вашингтона и администраторов северо-западной территории встречаются и польские имена. Число чехов стало за последнее время весьма значительным. Многие из них заседают наряду с поляками в городской думе Чикаго. Они приглашены были моим любезным хозяином встретиться со мною и распить чашку какого-то американского напитка, в котором не отсутствовало и шампанское. Я узнал от присутствовавших, что их покоробило решение Чикагского университета начать преподавание славянских языков, литературы и истории с России. Поляки в особенности требовали предпочтения их родине. Таким образом, в числе собравшихся были и некоторые мои далеко не личные антагонисты.

Русинов[47] так много в Чикаго, что они ежегодно собираются на то, что известно не в одной Америке, но и в Англии под названием Garden Party, то есть устраиваемого в саду раута. Я был в числе приглашенных. Собравшиеся принадлежали в большинстве к рабочему люду. Русскинский* язык настолько отличается от того, каким писал свои «Думы» Шевченко[48], что мне не легко было поддерживать разговор. На выручку поспешили 2—3 русских из числа тех, которые содействовали переселению духоборов[49], сперва в Соединенные Штаты, а затем в Канаду. Они рассказывали мне немало интересного о том, как духоборам пришлось сперва столкнуться с американскими нравами и привычками, как затем они постепенно втянулись в американскую среду и живут теперь процветающими фермерами.

Немало также в Чикаго литовцев рабочих. Они посещают по воскресеньям католический костел, в котором литургию служит один из отдаленных родственников Мицкевича[50]. Мой любезный

* Так в тексте.

хозяин повел меня к нему на завтрак. Мне не трудно было узнать великого польского поэта в висевшем над диваном портрете. Несколько членов литовской колонии поместились с нами за общий стол, и началась оживленная беседа о трудностях, какие встречают литовцы в первые месяцы после своего приезда в Чикаго в незнании ими английского языка. К счастью, сказал мне один из присутствовавших, г. Крен согласен взять их на свои фабрики в качестве чернорабочих, и предпринимателю это не идет в убыток, так как заработная плата на труд литовцев не высока.

Если ко всем перечисленным мною народностям я присоединю еще финляндцев, шведов, норвежцев и датчан, которые всего охотнее идут в богатые лесом северные штаты, продолжая тот же промысел, в котором они находили средства к существованию на своей прежней родине, то я все еще не исчерпаю перечень всех тех национальностей, каких приютила под своим кровом гостеприимная Америка. На юге Соединенных Штатов немало итальянцев. Многие из них рассеяны по всей стране и живут в городах, находя, между прочим, занятие в продаже фруктов. Итальянцы принадлежат к числу беднейших переселенцев. Большинство из них — выходцы из Южной Италии и Сицилии, где крупная собственность сделала невозможным образование зажиточного крестьянства. По мере того, как паломничество или так называемая «mezzeria» сменяется фермерством и становится все более и более убыточной, Романия и Тоскана также поставляют немалое число колонистов.

Наконец, к числу национальностей, поставляющих Соединенным Штатам ежегодно избыток своего населения, надо отнести и славян Венгрии. Недавно Чикагский университет решился отпустить значительную сумму денег на исследование экономического положения сельского люда тех стран Европы, из которых за последнее время усилилось число переселенцев. Лицо, поставленное во главе этой научной анкеты, посетило меня года два тому назад в Берлине и просило помочь ему в приискании русских сотрудников. Из расспросов я узнал, что анкета должна коснуться трех стран: Италии, России и Австро-Венгрии. За последнее время эмиграция из Германии значительно уменьшилась. Немецкое единство, сопровождавшееся подъемом промышленности и торговли, дало себя знать и в этом отношении. Я должен был бы прибавить еще и довольство внутренним политическим порядком. Так называемые люди 1848 г. покидали страну, избегая преследований за свою политическую деятельность, отчаявшись в осуществлении своего идеала (объединенной федерацией и свободной Германии. Тогда как одни, вроде Карла Фохта[51], прямо с Франкфуртского парламента убегали в Швейцарию, другие, как Шурц[52], избирали для себя новой карьерой деятельности Соединенные Штаты и сражались затем вместе с северянами из-за гражданского равенства и эмансипации негров. В числе предводителей, прославившихся в решающем сражении под Гетисбургом[53], был и К. Шурц, и под его начальством не один немецкий уроженец. В победе Северных

Штатов над Южными немцы также сыграли свою роль. В настоящее время немецкая эмиграция сходит все в более и более скромные рамки и рядом с этим растет число переселенцев из Скандинавского мира с Финляндией, из Литвы и Галиции и, к моему немалому удивлению, из самой России. Я слышал от молодого Гартнера — сына того, который принимал меня в Чикаго в роли ректора университета, что число эмигрантов из России за прошлый год было не менее 70—80 тысяч и что среди них были крестьяне из Малороссии. Малоземелье нашего сельского люда, особенно заметное там, где, как на Украине, давно исчезло мирское владение, заставляет крестьянина уходить не на одни отхожие промысла в пределах самой империи и переселяться в Сибирь, но искать также заработка на чужбине. Отсюда массовое движение сельских рабочих в Пруссию, позволившее немецкому правительству задержать при начале войны, по словам газет, целые полки, отсюда же и переселение десятков тысяч человек в Новый Свет. Правда, русские эмигранты не навсегда оставляют родину. Большинство их, скопив деньгу, возвращается обратно. Представитель Виленской губ[ернии] в Государственном Совете сообщил нам в комиссии, что литовцы, например, часто присылают своим родственникам деньги из Америки на покупку земли и по возвращении на старое пепелище продолжают владеть и старыми наделами, и новыми приобретениями на началах семейной нераздельности. Так было, по крайней мере до тех пор, пока столыпинская реформа не поколебала в корне и этого наследия старины, способного при более бережном к нему отношении в наших западных провинциях сыграть ту же роль, в деле удержания земли за ее возделывателем, какую играет американское законодательство о так называемом «гомстеде»[54] или неотчуждаемом крестьянском дворе.

Что касается до итальянцев, то большинство их, разумеется покидая родину, уходит или на северный берег Африки, например, в Тунис, а за последнее время в Триполис и Ливию, благо они сделались итальянскими колониями, или в Южную Америку, например, в Лаплату. Но часть эмиграции продолжает направляться попрежнему и в Соединенные Штаты. Серьезным препятствием к эмиграции итальянцев в Северную Америку является закон, препятствующий прибытию в нее пауперов. Не все эмигранты, направившиеся в Соединенные Штаты, навсегда оседают в них. Многие переселяются в Канаду, куда манит их плодородная почва Манитобы, ставшей одной из житниц мира, и торговый расцвет прибрежных к Тихому океану областей.

При перечне этнографических элементов, вошедших в образование американской нации, трудно говорить о неграх и индейцах. Браки их с белыми составляют редкость. Несмотря на провозглашение в конституции равенства всех граждан без различия цвета кожи, антагонизм на юге и обособленность на севере характеризуют собою отношение обеих рас. Масса черного населения скопилась на берегу Мексиканского залива. Негры лучше, чем белые, переносят его влажный теплый климат. Они менее подвержены

тем истощающим лихорадкам, от которых погибло столько неоклиматизированных пришельцев с Севера. Это скопление негров одно время подало мысль создать в Америке нечто подобное черте оседлости. Но эта мысль, к счастью для страны, была оставлена. Немало также негров в штатах, расположенных на Тихом океане, более в Орегоне, чем в Калифорнии. На всем протяжении страны мы находим их в роли служителей в гостиницах и ресторанах. Особенно в первую мою поездку в Америку держалось еще различие между отелями 1-го и 2-го класса на том единственном основании, исполняют ли служебные обязанности белые или черные. Мне пришлось пролежать несколько недель в Портланде, главном городе Орегона, в одном из лучших отелей, какие имеются на американском Западе. И в нем не было других служителей, кроме негров. Наоборот, в штате Юта, — в городе Соленого озера, — в стране мормонов[55] я почти не встретил негров. Многоженство мормонов, сравнительно недавно отмененное, в значительной степени было вызвано желанием удержать в стране возможно большое количество белых женщин. По той же причине многоженство более исчезло в законодательстве, чем в нравах, Вместо того, чтобы держать всех своих жен при себе, мормон разместил их по разным квартирам и посещает их в разные дни недели.

Еще менее черных слились с белыми индейцы. Мне пришлось встречать метисов из Южной Америки одинаково в Соединенных Штатах и в Испании. Но метисов американцев я не знаю. Во многих частях страны сделана была попытка перевести индейцев из охотничьего и бродячего быта к оседлому — земледельческому. На расстоянии нескольких миль от Ниагарского водопада лежат такие поселения. Я посетил их из желания увидеть, в какой мере удается американцам такая искусственная трансформация дикарей в цивилизованных. Я принят был в некоторых индейских семьях и заглянул в школу индейских мальчиков и девочек. Учительница сообщила мне, что ее дело идет довольно плохо и, главным образом, потому, что семьи индейцев, действительно, редко когда живут в своих усадьбах. Всего чаще они уходят в леса, запуская свое хозяйство. В Дакоте я видел еще не разорвавших со своим прошлым выходцев из индейской территории, столь сократившейся в своем районе, благодаря переходу к железнодорожным компаниям значительных участков земли, отведенных не столько для постоянных поселений краснокожих, сколько для их кочевок, охотничьих уловов и выпасов для скота. Где я увидел индейцев в наибольшем числе, — это было на Панамериканской выставке в Буфало. Гвоздем ее, как сказали бы французы, был лагерь индейцев. Ежедневно давались в нем представления, состоявшие из конских ристалищ. Племенные старейшины выезжали на конях во всем своем украшении, т.е. с головными нарядами из перьев, между прочим, из райских птичек. Эти перья переселились теперь на головные уборы европейских модниц. Я имею основание полагать, что выставка в Буфало немало содействовала распространению этого вкуса.

III.

Меня интересовала в Америке та сторона ее жизни, которую всего труднее узнать из книг. В первый мой приезд литература об американских учреждениях насчитывала уже немало классических трудов. Стори[56] и Кент[57] были у меня в руках еще во времена студенчества в Харькове. По совету Каченовского, я прочел не одного Токвиля[58], но и Лабуле, так умело использовавшего сочинение Бенкрофта по истории возникновения американской независимости. Последние два тома Бенкрофта[59] появились незадолго до моего прибытия в Новый Свет и я, разумеется, поспешил приобрести их.

История возникновения самой федеральной конституции изложена в этих томах. В них чуть ни день за днем излагается работа знаменитой Филадельфийской конференции, из рук которой вышел готовый текст, до ныне действующей конституции 1787 года[60]. В связи с сочинениями Франклина[61] и Гамильтона[62] и знаменитым журналом «Федералист»[63], издаваемым последним в сообществе с Мадисоном[64] и Дже[65], эти новые томы Бенкрофта более или менее исчерпывают весь материал, овладеть которым необходимо для того, чтобы составить себе правильное представление о том, в какой мере английские переживания, политическая теория Монтескье[66], конституция отдельных колоний и, наконец, самостоятельное творчество вызвали к жизни те федеральные порядки, которые в момент их появления на свет были совершенным новшеством. Ни старый Швейцарский союз[67], ни уния объединенных Нидерланд[68] не могли послужить прототипом для того союзного государства, каким Америка стала после того, как один за другим отдельные штаты приняли выработанную Филадельфией конституцию. Недостатки «конфедерации», испытанные на опыте американцами, тормозившие ход военных действий, благодаря несвоевременному поступлению от отдельных штатов и денежных средств, и военных контингентов, заставили американских патриотов отказаться от крайностей сепаратизма и создать общую исполнительную власть, сильную, независимую от Конгресса, и народную, так как в источнике она исходит из всенародного избрания. То же желание поставить эту федерацию в возможность вести общие предприятия на самостоятельные средства побудили их передать в руки федерального правительства распоряжение доходами от таможенных пошлин и связать все штаты общим таможенным кардоном. А желание предупредить действия центральных сил вызвало вполне оригинальную попытку подчинить споры между штатами и их подданными решению федерального судилища, призванному в то же время быть стражем конституций и решать обязательной силой законы, как отдельных штатов, так и всего союза, насколько они заключают в себе посягательство на федеральную конституцию. Генезис федеральных порядков настолько выяснен американскими юристами и историками, что много нового не обещали всякие дальнейшие расследования в той же области, но чего в 1881 г. не было и что привнесено было в позднейшую литературу

трудами Вудро Вильсона[69], теперешнего президента, и Джемса Брайса, впервые посетившего Америку в год моего появления в ней, — это те изменения, какие внесены в механизм американских учреждений индустриальным и торговым ростом страны, образованием резких контрастов бедности и богатства и соответственными переменами партийной организации. Русские писатели, вообще мало занимавшиеся Америкой, всего менее затрагивали вопросы о том, насколько картина американских порядков, так мастерски начертанная Токвилем, еще отвечает действительности. Социальная сторона американской жизни с ее неприглядными особенностями нашла впервые резкого изобразителя и критика в лице Генриха Джорджа[70], книга которого «Прогресс и бедность» появилась за несколько времени до моего приезда в Америку. Мои московские приятели заботились ознакомиться с нею по привезенному мною экземпляру. Но что многим остается, может быть, неизвестным и по настоящий день — это то, что Джордж пришел к своему отрицательному отношению к американской действительности, к тому убеждению, что источником того поразительного неравенства, пример которого представляет страна миллиардеров, лежит в расхищении казенных земель, между прочим, благодаря той системе отведения в пользу железнодорожных компаний 105 миль по обе стороны полотна, о которой я упомянул уже мельком. Первая его работа посвящена была изучению именно земельного вопроса в связи с железнодорожным строительством. Знакомство с этой небольшой брошюрой побудило меня заняться изучением того сырого материала, какой представили только что отпечатанные конгрессом 4 тома по земельному вопросу или, вернее, по вопросу о том, как распорядилось федеральное правительство национальными землями. Источником их явилась добровольная уступка отдельными штатами, лежащими на берегу Атлантики, всех своих земель по ту сторону Аллеганской цепи в руки федерального правительства. Образовавшийся таким образом громадный земельный фонд вызвал возможность колонизации и внутренней части материка. На первых порах пришлось ограничиться внутренней эмиграцией. Колонисты приходили с юга и севера самих Американских штатов. Европа, занятая нескончаемыми войнами с революционной Францией и с сменившей ее консульствами империй, посылала в Америку мало переселенцев. Наплыв выходцев из Старого Света начался много времени спустя. по окончании войны Америки с Англией, от 1812 года и прекращения в Европе наполеоновской диктатуры. Внутренняя эмиграция была достаточно численна для того, чтобы положить основание по ту сторону Аллеганской цепи двум новым штатам Кентукки и Тенесси. Приобретение у испанцев в 1795 г. свободы плавания по Миссисипи и выкуп у отдельных индейских племен правительством Соединенных Штатов их титулов на землю в пределах северо-западной территории, образованной из всех земель, частью уступленных 13-ю штатами, частью лежащих далее на запад по Миссисипи, Миссури, Огайо и вообще к югу от Великих Озер, открыли возможность дальнейшей коло-

низации Северо-Американского континента. Плодоносная почва, приобретаемая даром или, самое большее, за пустяшное вознаграждение в 2—3 доллара за акр, тогда как в Приатлантических штатах цена акра была от 20 до 50 долларов*.

С 1820 г. условия покупки земель были еще облегчены законом. Обедневший на западе колонист приобретал право покупать у правительства землю в размере не менее 80 акров и по цене в один с четвертью доллар**. Немудрено, если при таких условиях население края шло быстрым темпом. Из северо-западной территории выкраивались с каждым годом все новые и новые штаты. Первым был штат Огайо с цветущим в наши дни городом Цинциннати. Население его в значительной степени немецкое. Германские туристы находят в нет отделенное сходство с Гейдельбергом, благодаря волнистой почве, на которой он расположен и обилию зелени. В первую мою поездку в Америку я провел в нем с неделю в общении с членами местного исторического, этнографического и археологического общества, проводя вечера в слушании музыки на воздухе. Исполнителем был оркестр венских женщин. Цинциннати — большой торговый и промышленный центр — в то время еще не имел университета, и центром умственной жизни являлось в нем вышеупомянутое общество. Оно имело свой музей и печатало отчеты о своих заседаниях. Огайо — сравнительно старый штат, так как образовался ранее 1812 года. С того времени, если не говорить о купленной у Франции Луизианы[72], образовавшей самостоятельный штат в 1812 году, возникли Индиана в 1816 г., Миссисипи в 1818 г., Иллинойс в 1818 г., Алабама в 1819 г. и Миссури в 1821 г. Я не стану, разумеется, говорить о дальнейшем ходе возникновения Западных штатов. Если я и привел несколько частных фактов в подтверждение моей мысли о быстром ходе заселения Американского материка по ту сторону Аллеганских гор, то потому, что в момент, когда я пишу эту главу моих мемуаров, у меня под рукой оказался том, посвященный историческому очерку социальных и экономических сил, проявивших себя в американской истории. Это новейшее сочинение от 1913 г. снабжает и цифровыми данными и вносит конкретную определенность в ту картину быстрого роста американской гражданственности, частью под влиянием непрекращающейся эмиграции из Европы, частью благодаря самому характеру законодательств, необыкновенно благоприятному привлечению поселенцев на никем еще не поднятую землю.

---

* Сравни статью Фредерика Джаксона Тернера[71]: «Колонизация Запада в период времени от 1820—1830 гг.». Она вошла в состав изданного А.В. Карт многотомного сочинения, озаглавленного: «Американская нация» и перепечатана в 1913 г. в отдельном томе «Социальные и экономические силы в Американской истории». (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

** Ср. статью «Социальное и экономическое развитие запада» того же Тернера в том же сборнике, стр. 264. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

В этом законодательстве, с которым я познакомил русских читателей в ряде статей, напечатанных в 80-х годах прошлого столетия в журнале «Русская мысль»*, особого внимания заслуживают меры, принятые в интересах развития народного образования. Отчуждение земли правительством производилось в известном порядке. Отчуждаемая почва разбивалась на кварталы равной величины с таким расчетом, чтобы на каждый из 32 таких кварталов один поступал на нужды основания и содержания народных школ. Немудрено, если при этих условиях американцы ранее англичан решили в утвердительном смысле вопрос о всеобщем распространении грамотности. Разумеется, одного законодательства было бы недостаточно для достижения указанного результата, если бы с самого начала в основателях американской гражданственности не было сильного запроса в отношении к приобретению элементов культуры и, прежде всего, чтения письма. То обстоятельство, что протестантские секты из числа самых передовых, — пресвитериане в штатах Новой Англии, квакеры и меноните в Пенсильвании, — были в числе первых насельников, что в рядах англиканцев рано приобрело значительное влияние то течение, которое известно под названием веслеянства, и что прибывавшие из Европы новые колонисты также в значительной степени были выходцами из протестантских стран, т.е. признавали обязательным для верующих, по меньшей мере, чтение, а то и толкование Библии — вполне достаточное основание к тому, чтобы объяснить быстрый рост народной школы. Что касается до высшего образования, то оно в начале XIX века было только в зародыше. В древнейшем американском университете в 1800 г. насчитывали всего 3-х профессоров и 4-х тьюторов, не считая президента**.

В истории американского Запада надо искать ключ и к объяснению причин, по которым Соединенные Штаты сделались уже ко времени посещения их Токвилем настоящей демократией. В условиях плантаторской жизни, господствовавшей на юге и постепенно перешедшей по ту сторону Аллеганской цепи, в штаты, расположенные по нижнему течению Миссисипи и на берегах Мексиканского залива, имелись условия, благоприятные для создания аристократического уклада. В одной только Новой Англии с самого начала заложен был прочный фундамент для будущей демократии, но с весьма сильным теократическим оттенком и с религиозной нетерпимостью, заставившей более передовых сектантов под предводительством Роджера Вильямса[73] покинуть колонию Массачусетской бухты и положить основание новым поселениям, из которых со временем образован был штат Род-Айленд. Эти явления относятся еще к середине XVII столетия в эпоху, предшествую-

---

* Ковалевский М.М. Поземельная политика североамериканцев // Русская мысль. 1883. № 4; Он же. Местное самоуправление в Америке и его историческое развитие // Вестник Европы. 1885. № 2.

** См. тот же сборник, статью Джона-Спенсера Боссета, стр. 170. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

щую возникновению английской республики. Радикальное течение, сказавшееся в Англии в эту пору и постепенно охватившее собою не только народ, но и армию под именем движения левеллеров или уравнителей[74], не могло дать прочных плодов метрополии, так как было подавлено со времен реставрации Стюартов[75]. Передовыми сектантами оно перенесено было за океан и могущественно содействовало росту американской демократии. Новейшие историки Америки, подтверждая то, что давно уже высказано было их предшественниками, справедливо настаивают на той мысли, что правительство Ганноверской династии[76], крайне нетерпимое к проявлению демократических запросов, не шедшее ни на понижение избирательного ценза, ни на допущение передовых сектантов, не желавших признать субприматства короля в делах веры, к осуществлению политических прав и к несению государственной службы, наоборот, давало полный простор демократическим элементам общества в Новом Свете и к тому, что мы разумеем под именем религиозной свободы. Все взрослые мужчины, даже негры Новой Англии, раз они владели даже скромным достатком, могли участвовать в выборе представителей в местную палату, в той или другой колонии. В южной части страны к голосованию допускались, правда, только землевладельцы, но к приобретению земли, не в пример тому, что было в Англии, не существовало никаких препятствий. Она была дешева и в изобилии. Несомненно, однако, что демократия получила прочные устои в Америке только с тех пор, как при заселении Запада демократические идеалы Новой Англии взяли окончательно перевес над аристократической исключительностью южных плантаторов. Один из новейших историков справедливо называет этих «поднятилей нови» спинным хребтом американской демократии*.

Наряду с демократическим укладом, занесенным проповедью передовых религиозных и политических сектантов и проникших на запад из Новой Англии, из Средних штатов, в числе Пенсильвании — страны квакеров[77] и менонитов — перешли в северо-западную территорию и выкроенные штаты и те зародыши местного самоуправления, какие в Новой Англии представляла церковная, сколько и светская организация прихода или так называемый parish. Ее не было в Вергинии и вообще в штатах, населенных плантаторами. Здесь поместье заступало место прихода. На севере же последний составлял первичную ячейку, из которой развилось самое государство. И тот же приход объединил собою и рассеянных по западу корчевников-фермеров. Вокруг церкви и церковной паперти возникла первая общественная организация, приуроченная к целям столько же полиции безопасности, сколько и полиции благосостояния. Когда Токвиль посетил в 30-х годах Соединенные Штаты, он первый из европейцев заинтересовался этой стороною американских порядков, справедливо видя в самоуправ-

* Ibid., стр. 162. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

лении прихода источник всех позднейших видов самоуправления, начиная от отдельного штата и кончая всей федерацией. По его просьбе одним из деятелей Новой Англии составлена была короткая записка, касавшаяся действовавшего законодательства о приходе. Она впоследствии была отпечатана. Читая ее, убеждаешься, с каким скромным материалом Токвиль в состоянии был построить свои широкие и, в конце концов, правильные обобщения. В 1881 г., когда я впервые прибыл в Америку, меня также интересовало изучение в исторической перспективе роста местного самоуправления в Америке. Я обратился за материалами к издателю только что начинавшейся в то время политической библиотеки — Герберту Адамсу[78]. Он был профессором университета Джона Гопкинса в Балтиморе. Оказалось, что никакой литературы по этому вопросу не имеется. Адамс воспользовался даже моим обращением к нему для того, чтобы во вступительном очерке затеваемой им библиотеки настаивать на необходимости для местных исследователей направить работу в эту сторону.

С тех пор прошло более четверти века. Адамс умер. Созданная библиотека перестала выходить, и мне пришлось в мою вторую поездку слышать от специалистов нападки на то, что Адамс был не особенно требователен к авторам тех статей и исследований, которые печатались им в оплачиваемом Гопкинским университетом полупериодическом издании. Но мне, которому не раз приходилось пользоваться в моих лекциях и статьях об Америке этими «историческими и политическими очерками», приходится выступить их защитником и сказать, что без них я не представил бы себе возможности восстановить картину исторического роста, как местного управления в отдельных штатах и территориях, так и истории образования самих этих штатов и территорий. Токвилю справедливо сделан был тот упрек, что им всего менее затронута организация правительства в отдельных колониях, из которых образовались со времен 13 начальных штатов. Бутми повторяет его в своей «Психологии американского народа», указывая на значительное преимущество, какое в этом отношении имеет сочинение Брайса «Американская республика». Но Брайс много пользовался этюдами, изданными под редакцией Герб[ерта] Адамса, как пользовались им и те авторы 27-томной «Истории американской нации», которая в настоящее время является, может быть, наиболее полным сборником всех тех данных, с какими необходимо считаться исследователю самого роста американской гражданственности. Для штатов, расположенных по берегу Тихого океана, обильный материал заключает в себе, не только по вопросу об отношении этих штатов к туземному индейскому населению, многотомная компиляция, изданная книготорговцем Бенкрофтом. Нельзя достаточно настаивать на той мысли, что еще в отдельных колониях заложены были те начала свободы, гражданского равенства и самоуправления, полный расцвет которых совпадает с первым тридцатилетием прошлого века. Поэтому можно только приветствовать то направление, в каком происходила разработка американ-

ской истории за последнее время, когда вслед за Фиском[79], испытавшем на себе влияние социологических доктрин Спенсера[80], целый ряд местных исследователей посвятил себя изображению судеб отдельных штатов или целой совокупности их, какими, например, являются Штаты Новой Англии. Знакомство с этой литературой не избавляет, однако, от справок с самими источниками, и том числе со старыми сводами местного законодательства, которые, как, напр[имер], законодательный свод Коннектикута, носят на себе еще явно выраженные следы влияния пуританской Англии.

Моя поездка в Америку доставила мне материал для ряда статей, появившихся в русских журналах под такими названиями, как «Национальный вопрос в Старом и Новом Свете»*, «Местное самоуправление в Америке в его историческом развитии»**, «Земельный вопрос в Соединенных Штатах». И в Москве, и в Париже, и в Петербурге мне пришлось посвятить целый курс изучению того, что я обозначал термином «генезис американской гражданственности». Только часть этих лекций в более или менее обработанном виде была отпечатана мною в сборнике, изданном кн. Долгоруким[81] и Петрункевичем[82], и заключающая в себе обзор важнейших конституций в их историческом развитии. Если мне суждено будет довести до конца новое издание моего «Происхождения современной демократии», то один из ближайших томов этого сочинения посвящен будет генезису американской демократии. В нем я постараюсь фактически обосновать тот взгляд, который уже высказан был в настоящей главе, а именно, что эта демократия имеет свои отдаленнейшие корни в Англии XVIII в., что передовые и беспокойные элементы, вызвавшие то религиозно-политическое брожение, которое закончилось временным торжеством республики, под влиянием наступившей реакции должно было искать приюта в Новом Свете, и что созданная ими культура пустила в нем настолько глубокие корни, что несмотря на наплыв выходцев из разных стран, принадлежащих к разным народностям, несмотря также на то, что монархическая и аристократическая Англия также послала в Америку своих представителей, образовавших в ней высший слой населения южных штатов — Виргинии и Каролины, — а также одного из средних — Мэриленда, — тип, по которому сложилось американское общество, был типом пуританской демократии, довольно близкой к осуществлению идеалов политических уравнителей или левеллеров. В эпоху обращения колоний в самостоятельные штаты и самих штатов в федерацию аристократические и монархические элементы, представленные так называемыми лойялистами[83], по некоторым новейшим оценкам, представляли собою хотя и меньшинство, но меньшинство значительное. Боссет оценивает его приблизительно в $^1/_3$. Они долгое время

* Вестник Европы. 1885. № 6.
** Там же. № 2.

время являлись препятствием к устройству американской гражданственности, столько же на началах народоправства, сколько и федерации. В последствии они образовали из себя ядро той плантаторской Америки, которая в такой же мере сжилась с рабством негров, как помещичья Россия с крепостным правом. Американскому западу предстояло решить вопрос о том, какая из двух тенденций: демократически-федеративная или сепаратистическая (или аристократически-сепаратистическая) призвана, в конце концов, одержать верх, быть ли Америке страною свободы в равенстве и народного самодержавия, с возрастающей центростремительной силой, или страною социальных противоречий, несвободы столько же политической, сколько и гражданской, с одной стороны, и полноправия для одного лишь белого населения при возрастающем стремлении отделить свои судьбы от общего целого, дать торжество сил центробежной над силою центростремительной. Этот вопрос решен в смысле благоприятном росту столько же равенства, сколько и федерализма, вновь возникшими на западе штатами, правда, не сразу и не без некоторых колебаний. Одно время южная часть этого запада сделалась такою же ареною распространения рабства, как и пограничные с нею Виргиния, Северная и Южная Каролина. Перешедшие от Франции и Испании земли, так Луизиана и Техас, также были ареною распространения невольничества. Мало этого, и некоторые из лежащих более на север штатов, в том числе Миссури, не сразу высказались в смысле гражданской свободы. С каждым поколением противоположность, существующая между севером и югом, становилась все более и более обостренной. Междоусобная война 1865 года может быть рассматриваема, как окончательное торжество не только северных приатлантических штатов, но и американского северо-запада с унаследованным им идеалом английских уравнителей XVII века и федералистов эпохи войны за освобождение. Ни мало не отрицаю, разумеется, всех печальных сторон, какие имела последовавшая затем, столько же экономическая, сколько и политическая эксплуатация побежденного юга севером, точнее, теми политиканствующими проходимцами, которые нашли средство к наживе и к обеспечению себе роли руководителей в тесном союзе с получившими политические права и с совершенно не подготовленными к самоуправлению неграми. Мало этого. Я вижу даже в этом разливе на протяжении всего покоренного юга тех, кого страдающее от них население призвало уничтожительным термином carpet-beggars, нечто вроде «бродяг с котомками», — первый расцвет того безнравственного политиканства, которое впоследствии охватило собою и северные штаты, вызывая к жизни упомянутую уже организацию «рингов» и «боссов». В то же время я не могу присоединиться к мнению те, кто полагает, что исходом войны северных и южных штатов было то искажение республиканских и демократических порядков, какое представляет собою Америка с эпохи президентства Гранта[84] и до первых попыток систематического противодействия подкупам и партийному политиканству, осуществляе-

мому при посредстве всякого рода тайных организаций вроде Тасмани-Гола. Не считаю также такие порядки навсегда установившимися и спешу отметить значительный поворот к лучшему со времени образования всякого рода обществ. «Реформы гражданской службы» и клубов, открыто враждующих с безнравственными политическими организациями и теми, кто подпал их влиянию. Сила общественного мнения в Америке крепнет с каждым днем. Не вся американская печать перешла в ряды так называемой «желтой». Есть органы, готовые пойти на служение патриотическому оздоровлению страны и есть люди, как теперешний президент Вильсон, которые только потому и попали на этот высокий пост со скромного положения провинциального профессора, что всей своей предшествующей деятельностью в роли губернаторов отдельных штатов засвидетельствовали о своей готовности оздоровлять и морализировать политическую среду, искореняя в ней беспринципное и руководимое одним политическим рассчетом политиканство. Я предвижу для Америки наступление таких порядков, при которых трудно будет повторить с горечью, вслед за одним слышанным мною в Чикагском университете оратором, что едва ли кто впредь вздумает приезжать в Америку для того, чтобы проникнуться духом ее учреждений, и что времена Вашингтона и Джефферсона отошли в безвозвратное прошлое. Я рад видеть, что новейшие исследователи американской жизни, в числе их де Естурнель де Констан, не выносят из продолжительного знакомства с нею того отрицательного отношения, которое можно найти, например, в более раннем сочинении талантливого французского экономиста Клодио Жанэ. Мои личные впечатления, вынесенные из последней поездки, нашли выражение себе в ряде корреспонденций, появившихся в «Русских ведомостях»* и которые не считаю лишним воспроизвести и в этой главе. Они дадут более детальное освещение некоторым взглядам, нашедшим выражение себе здесь и при всей своей неполноте прольют некоторый свет на жизнь тех штатов, которые обыкновенно всего менее посещаются туристами. Я разумею штаты, расположенные среди Кордельер или на берегах Тихого океана.

---

* Ковалевский М.М. Национальный характер североамериканцев // Русские ведомости. 1883, № 71, 72, 73.

Глава VII

Опять на родине. Земские съезды. Редактирование газеты «Страна». Государственная дума 1-го созыва

[I]

Карлсбаду, видимо, суждено играть большую роль в моей жизни. В 1905 году, летом[1], я уехал из Карлсбада в Москву с поручением от проф[ессора] Чупрова содействовать осуществлению народного университета имени Шанявского. Много лет я не был в Москве и меня почему-то некоторые газеты провозглашали эмигрантом, чего в действительности не было. Я только провел 18 лет за границей после моей вынужденной отставки, занимаясь преподаванием в заграничных университетах: в Стокгольме, Оксфорде, Брюсселе и Чикаго. Во время Парижской выставки 1901 года я заведовал русским отделом международной школы выставки. Это дало мне возможность получить от французского правительства разрешение на открытие школы общественных наук в Париже. Преподавание в ней происходило на русском языке мною, профессорами Гамбаровым, де Роберти и приезжими из России учеными. В той же школе слышалась иногда и французская речь из уст Анатоля Леруа-Болье, Тарда, приезжих итальянских лекторов, Бойе, ныне директора школы восточных языков в Париже, датского критика Брандеса. Когда мы вздумали пригласить проф[ессора] берлинского университета, бывшего доцента в Пешере — Борткевича, известного знатока статистики, французское правительство обнаружило некоторое беспокойство, но так как он читал по-русски, то дело легко устроилось. По всей вероятности, моя близость к русской школе общественных наук в Париже и была причиной подозрительности, обнаруженной по отношению ко мне некоторыми органами правой печати, в том числе «Вечем»[2]. Правительство, однако, не приняло против меня никаких мер.

На следующий же день после моего приезда я попал на съезд профессоров, где мне устроена была овация и приветственное слово сказано было киевским профессором, князем Евгением Николаевичем Трубецким[3], моим бывшим слушателем в Москве.

На этом съезде я открыто выразил надежду, что правительство, задумавшее уже реформу наших государственных учреждений, допустит в Государственный Совет представителей и от университетов, по примеру того представительства, какое дано другим культурным интересам страны, в том числе — духовенству. Мое предложение не встретило сочувствия и поддержки. Мне ответили, что защищать эту мысль придется мне одному. Я это и сделал, поместив статью в московском органе «Русские ведомости»[4]. Эта статья была первым выражением желания, осуществление которого дано было графу Витте и комиссии, принявшей на себя пересмотр Булыгинского закона о Государственной Думе. Если в настоящее время шесть человек представляют в Государственном Совете Ака-

демию и университеты, то мне надо приписать поднятие вопроса о такой защите интересов науки и высшего образования.

Я застал генер[ала] Шанявского[5] при смерти и не мог повидаться с ним. Но его жена, сибирячка, жертвовательница сотен тысяч на устройство высшего женского института, собрала нас еще при жизни мужа и передала нам содержание составленного им завещания: дом на Арбате должен был перейти в собственность возникающего университета. Высказывалась надежда, что город Москва, с своей стороны, придет на помощь возникающему общеобразовательному учреждению. Все эти надежды оправдались. В настоящее время университет Шанявского[6] владеет обширным и прекрасным зданием, имеет несколько факультетов, библиотеку в десятки тысяч томов, которая постоянно возрастает, благодаря все новым и новым пожертвованиям. В нынешнем году и я внес в нее мою лепту, пославши ей пять больших ящиков книг, по преимуществу русского и научного содержания. Шанявский сделал меня одним из своих душеприказчиков вместе с Сабашниковым и историком Сперанским, зятем Чупрова[7]. По его желанию, от городского управления должны были поступить также несколько членов в комиссию, имевшую своей задачей выработку правила для практического осуществления его проекта.

Я встретился на собрании с обоими братьями Гучковыми: Александром[8] — будущим лидером октябристов и Николаем[9] — будущим городским головой Москвы. Последний был моим слушателем и приветствовал меня, как своего старого учителя. С Александром же я за десять дней до встречи в Москве познакомился в Берлине. Случай свел нас за завтраком у будущего депутата первой Думы, Бориса Иоллоса[10]. Хозяин аттестовал мне гостя, как одного из самых выдающихся русских деятелей, получившего серьезную научную подготовку, постоянно подновляющего свои знания поездками в немецкие университетские города. Завтракал с нами и Петр Струве, которого я никак не рассчитывал встретить на расстоянии нескольких месяцев в Петербурге. Издаваемый им орган «Обновление»[11] не впускаем был в Россию. Евгений Васильевич Аничков незадолго перед тем поплатился двухлетним заточением в Петропавловской крепости за попытку ввезти в Россию через Финляндию нескольких номеров. Алекс[андра] Ив[ановича] Гучкова мне пришлось увидеть вскоре после упомянутого мною заседания на земском съезде в Москве, где он, как всем известно, выступил с энергичным протестом против наделения Польши автономией. Это заявление и вызвало первый раскол в прогрессивном лагере. Единомышленники Гучкова объединились окончательно только после издания манифеста 17-го октября. Они выступили горячими его сторонниками и получили отсюда название «октябристов».

Наряду с Гучковым в комитете по выработке основных положений будущего университета Шанявского я встретился со старым своим знакомым и одно время преподавателем в Москве — Серг[еем] Андреев[ичем] Муромцевым. Он явился по полномочию

городской думы и по нашему выбору занял председательское кресло. Другим уполномоченным от города был Щепкин[12], один из теперешних депутатов Москвы. Он имел репутацию хорошего знатока городского хозяйства и на него рассчитывали как на человека, способного привлечь к открывавшемуся педагогическому учреждению пожертвования первопрестольной столицы.

Обстоятельства сложились таким образом, что мне вскоре пришлось уехать из Москвы в Харьков, с целью исполнить ранее данное обещание прочесть в юридическом обществе при Харьковском университете доклад о том, что в то время было известно под именем «Булыгинской Думы»[13]. Дело шло о создании у нас совещательной представительной палаты, проект ее выработан был, по поручению Государя, бывшим гражданским губернатором СПБ — Булыгиным.

Мне было известно враждебное отношение широких общественных слоев к крайне несовершенному и по ограниченности своих функций, и по своему составу законосовещательному органу, призванному играть роль какого-то собрания мнимых экспертов при властном и сановном Государственном Совете. Но я никак не ожидал того, что в провинциальной среде отношение к Булыгинской конституции было бы столь отрицательно. Она все же была шагом вперед сравнительно с тем проектом собрания сведущих людей, которое задумано было гр[афом] Лорис-Меликовым и которому одна неожиданная кончина Императора Александра II помешала сделаться первой по времени русской бумажной конституцией.

В проекте Булыгина все же можно было прочесть обещание необходимых вольностей и публичных прав граждан с обычной оговоркой: «В пределах, которые будут указаны законом». Фактически она, разумеется, давала мало. Но в ней были зародыши дальнейшего развития.

Мне казалось, что уж этим одним Булыгинская Дума могла привлечь к себе некоторые симпатии. Ею разрывалась цепь, связующая нас с бюрократическим самовластием и «временными правилами», почти всецело заступившими место законов в царствование Александра III. Наступал конец произволу министров, тому, что во Франции конца XVIII века называлось despotisme ministériel*, и Булыгинская Дума наносила ему некоторый удар. Да и сановники, заседавшие в Государственном Совете, должны были подозрительно относиться к новому органу, заставлявшему их считаться впредь со своей деятельностью, если не с голосом «всей земли», то с некоторыми определенными и влиятельными общественными кругами.

Все это я хотел передать моей аудитории. Так как меня еще никто не слыхал в Харькове, в городе, где протекли мои студенческие годы, то в актовом зале университета набралась несметная

* Министерский деспотизм (*франц.*).

толпа и, как оказалось, далеко не та, которой раскуплены были входные билеты. Я не успел подняться на так называемую «университетскую горку», как навстречу мне вышел попечитель Мих[аил] Мартынович Алексеенко[14], в настоящее время известный всей России, как избираемый из года в год Председатель бюджетной комиссии. Он пригласил меня зайти с ним в здание, занимаемое попечителем и расположенное как раз против актового зала. Когда мы остались наедине, он сказал мне: «Вам сегодня читать не придется, в зале протеснился народ беспокойный; будут манифестации, пожалуй, революционного характера». — «Но если и сегодня не прочту лекции, — ответил я ему, — завтра же скажут, что Вы мне ее незаконно запретили, и возбуждение только усилится. Полагаю, что в ваших интересах, чтобы я исполнил обещанную публике программу». Алексеенко согласился со мной и сказал: «В таком случае, пойдем вместе». Давка была так сильна, что никому не пришлось сидеть, не исключая и попечителя. Встреченный громкими рукоплесканиями я в течение более часа маялся на кафедре, обливаясь потом. Когда я кончил, аплодисменты раздались более жидкие, а после перерыва, в течение которого я успел уйти, начались прения по моему докладу; смысл их, как мне передали впоследствии и члены юридического общества, был тот, что докладчик — почтенный профессор, но умственно ограниченный и не понимает, что все дело во всеобщем голосовании и законодательной автономии Думы. Мне вспоминается все это потому, что в Харькове я впервые встретился с той демократической и конституционной волной, которая вынесла на своих плечах Думу первого призыва и отложила на ней свой определенный отпечаток. Для меня это вление* было новым и неожиданным. Я не мог понять, как так быстро перенеслась волна из студенческих аудиторий свободных демократических университетов и высших школ Брюсселя и Парижа в самую глубь черноземной России. Я не знал еще, в какой степени и с какой быстротой пережитая Россией неудачная война с Японией, доказавшая всю несостоятельность правительственной системы, вызвала резкий поворот в пользу народного самоуправления и передачи решающего голоса в делах избранникам широких слоев населения.

В Москве и впоследствии в С.-Петербурге я встретился вскоре с тем же, но несравненно в большем масштабе. На собрании у князя Павла Долгорукого[15], созванном по случаю приезда Стэда[16], конституционные и демократические запросы сказались с большей яркостью. Редактор английского журнала «Обозрение обозрений» давно интересовался русскими делами. Месяцы и годы, непосредственно предшествовавшие русско-турецкой войне, он в небольшой газетке, кажется, озаглавленной «Северный Шотландец», доказывал, что Россия не преследует себялюбивых целей, а желает оказать деятельную поддержку единоверным с нею славянам.

* Так в тексте. Следует: явление.

Ольга Алексеевна Новикова, писавшая в то время в английском журнале под псевдонимом О.К. (Ольга Киреева), сестра убитого в сербской войне русского добровольца, принимала Стэда в своем салоне в Лондоне, вместе с Кинглеком[17] и вождями кружка, симпатизировавшего России. Главой этого кружка, как известно, сделался Гладстон, а Стэд в своем «Северном Шотландце» охотно преломлял копья в защиту взглядов «великого старика». Когда Стэд услышал, что в России начался поворот в сторону представительных учреждений, он поддался вполне понятному, особенно для англичанина, чувству доброжелательной любознательности. Прибыв в С.-Петербург, он имел не одно свидание с всемогущим Треповым[18], градоначальником С.-Петербурга, и добился от него одновременно и освобождения Милюкова, и права разъезжать по России с лекциями о современном положении и защитой, в частности, Булыгинской Думы. Этим он и занялся на собрании у Павла Долгорукого. В числе возражавших ему выступил и я. При наших позднейших встречах он нередко пенял на меня, говоря: «You lectured me»*. И действительно, то, что ему пришлось выслушать от нас, было настоящей отповедью. Мы никак не могли понять, чего ради он взял на себя миссию объяснять русским высокие качества придуманных для них государственных порядков, — он, англичанин, которому, по тому самому, было ясно все несовершенство Булыгинской конституции. Стэд не послушался нас и уехал в Саратов для прочтения лекции о том же предмете. Она, разумеется, не имела ни малейшего успеха.

В С.-Петербурге, месяц спустя, я снова встретился со Стэдом в Европейской гостинице, где я снимал в течение всей зимы квартиру. Мы сошлись добрыми знакомыми, и он жаловался мне на то недоверие, с которым относятся к нему мои соотечественники левого направления. За эти немногие встречи мне легко было понять действительный характер Стэда. Это был человек, в котором мистицизм уживался с большой деловитостью или, вернее сказать: из самого своего мистицизма он умел делать деньгу. Свидания с императорами, о которых громко возвещалось в его журналах, вербовали ему значительное число читателей и в Англии, и по ту сторону океана. Но той же цели служили и отчеты о спиритических сеансах, в которых, разумеется, задним числом сообщалось об осуществившихся предсказаниях. Однажды Стэд явился завтракать со мной в путевом костюме, объявляя, что он сегодня же уезжает в Гельсингфорс. — Почему, — спросил я. — А потому, что ночью ко мне явилась тень отца, — гласил ответ, — и я явственно услышал его слова: «Вильям, тебе не исправить всего зла на земле». Я узнал, что Стэд уехал из С.-Петербурга накануне переворота в Финляндии[19]. Он, очевидно, своевременно был уведомлен, что финляндцы готовятся создать у себя новые государственные порядки и опасался, что вследствие этого путь на Финляндию будет отрезан.

* «Вы поучаете меня» (*англ.*).

В ближайшем году я снова увиделся со Стэдом, приехавшим к нам уже простым туристом без всяких полномочий от Трепова или кого-либо другого. Это было весной или ранним летом, и мы с Милюковым решили почтить его обедом в загородном ресторане. Все же Милюков обязан был ему своим освобождением. Стэд доказал, как нельзя лучше, что это выгодно для самого правительства, так как может ослабить недовольство, вызванное совершенно произвольным задержанием. Над Милюковым тяготело подозрение, что он был членом Союза Союзов[20]. Но так как этот Союз Союзов ничем реальным не заявил о себе, то держать Милюкова в крепости не было основания. Увиделся я со Стэдом в Лондоне, в роковой день роспуска Первой Государственной Думы. Я прибыл в Лондон накануне, во главе пятичленовой комиссии, отправленной Государственной Думой на международный съезд сторонников мира[21]. Пришло известие, что Дума закрыта. Мы собрались в числе четырех человек (Острогорский, Родичев, С[вечин] и я) для выработки совместно текста заявления о том, что мешает нам принимать участие в дальнейших работах съезда и заставляет вернуться немедленно на родину. Текст выработан был Острогорским, а прочесть его было поручено мне, как главе депутации. Едва громким голосом произнесено было мной несколько слов, сообщающих факт роспуска Думы и нашу решимость спешить домой, с целью отстаивать дарованные нам вольности, как у меня из рук была вырвана бумажка, по которой я читал, и не кем другим, как Стэдом. В то же время с большим волнением Стэд сказал мне: «Хотите, я поеду к нему, он убедится моими доводами, что надо немедленно добрать Думу». Он — это был не кто другой, как Император Николай II.

Таков был Стэд — этот идеалист и в то же время ловкий журнальный деятель. Он, разумеется, поспешил наполнить ближайший номер своего «Обозрения» всякими, якобы, интимными подробностями о Царе, царской семье, приложить фотографические снимки и дал отповедь по адресу распущенной Государственной Думы.

Я забегаю вперед и мне нужно снова вернуться к моему пребыванию в Москве. Оно закончилось присутствием на съезде земских деятелей осенью 1905 года[22]. Без всякого основания, ввиду той популярности, какой пользовались в это время люди, никогда не изменявшие либеральному знамени, я и Милюков были приглашены к участию на этом съезде, с таким же правом голоса, как и сомнительные уполномоченные от земств и городов. Все отличие их от нас сводилось к тому, то они действительно принадлежали к числу гласных. На этом съезде обсуждались отдельные вопросы русского государственного устройства. Все высказывались в смысле расширения полномочий, данных Думе Булыгинской конституцией «и в пользу упрочения так называемых необходимых вольностей» или публичных прав граждан. Но съезду предстояло обсудить и аграрную программу. Вопрос об обязательном выкупе помещичьих земель государством для наделения ими безземельных

и малоземельных крестьян был уже поставлен на очередь. Я вызвал недовольство большинства, предлагая, чтобы эта мера была приложена к одним владельцам латифундий. Мне известен был пример человека, занимавшего скромное положение, профессора химии в Москве, и владевшего 200 тысячами десятин земли в Костромской губ. (проф[ессор] Лугинин). Эти земли давали ему слабый доход. Выкуп части их правительством, даже по пониженной оценке, по так называемой «справедливой оценке», разумеется, не повел бы его к разорению. Мне указывали на примеры людей, которые, как семья Юсуповых или какой-то кн[язь] Галицын из Пермской губ[ернии], владели сотнями тысяч десятин. Очевидно, что, распоряжение правительством этими землями под условием вознаграждения не имело бы характера какого-то общественного катаклизма. Моя мысль сводилась к тому, что казенных земель и латифундий достаточно для того, чтобы вместе с свободными землями в Сибири образовать фонд, из которого бы правительство, заведуя само делом переселения, могло бы выкроить наделы для безземельных крестьян. Я думал поэтому, заодно с проф[ессором] политической экономии в Харькове Левицким, что надо начать не с установления какого-то минимума в сто или пятьдесят десятин, оставленных правительством в руках каждого из владельцев поместий, а наоборот, с борьбы с латифундиями, широким развитием переселенческих операций и раздачей казенных земель не в одну аренду, но и в собственность крестьян. Мое заявление не встретило ни малейшего сочувствия, и охладели отношения ко мне — многих из тех, кто впоследствии вошел в партию конституционно-демократическую. Но и в ее рядах были люди, которые внутренно, по-видимому, разделяли мою точку зрения на неосуществимость аграрной реформы в тех границах, в каких она была задумана кадетами или, вернее, что последствием ее проведения будет то, что все, даже сочувствующее либералам дворянство, отброшено будет в сторону его врагов, и что мы сами, таким образом, будем содействовать успеху контрреволюции.

На мой вопрос князю Петру Долгорукову[23]: «Когда приняты будут решения по аграрной программе?». — Мной получен был следующий ответ: «В 12 ч. ночи последнего дня заседания».

Нужно ли прибавлять, что эти 12 ч. пробили, прежде чем приняты какие-либо решения. Хотя я и попал в число членов, избранных съездом для подготовки будущих собраний тех же земских и городских деятелей, но мой полууспех на конгрессе невольно вызвал в моем уме мысль о том, не вернуться ли прямо из Москвы за границу, благо наступало время возобновить преподавание в «Русской школе» общественных наук в Париже. Одно из обстоятельств помешало мне осуществить этот план: это была крайне ругательная статья, написанная против меня и некоторых моих единомышленников в «Московских ведомостях»[24] — не кем иным, как известным в настоящее время г. Пуришкевичем. На мой вопрос, кто этот господин, мне ответили, что это полусумасшедший, на которого не следует обращать внимание. Статьей

никто не оскорблялся из лиц, непосредственно ею задетых. Еще меньше могла идти речь об огорчении. Всех взволновало то, что в тех же «Московских ведомостях» и чуть ли не в том же № появилась статья А.И. Гучкова, рывшая глубокую яму между ним и его единомышленниками и теми, кто впоследствии примкнул к конст[итуционным]-демократам и близким к ним партиям. На Гучкова, как на талантливого оратора, хорошо подкованного по многим вопросам, находчивого, остроумного и смелого, в Москве возлагались большие надежды и далеко не одним богатым купечеством и крупными промышленниками. Нет, они, наоборот, относились к нему несколько свысока, как к человеку, не владевшему собственным капиталом и ведшему дела П.П. Боткина (чайного торговца)[25]. Им дорожил средний класс, испытавший на себе влияние узкого национализма Каткова, полякофобствовавший, подобно ему, и в то же время готовый пойти на опыт не демократических, а свободных учреждений, готовый проводить политическую реформу, но отнюдь не социальную, а тем более аграрную.

II.

С самого моего приезда в Петербург, я сразу очутился в центре всего движения. Меня встретили известием, что петербургский градоначальник запретил мне чтение лекций, но что Совет С.-Петербургского Политехникума вторично постановил просить меня открыть курс преподавания в нем конституционного права. От меня зависело подчиниться тому или другому решению. Не долго думая, я согласился на то, чтобы исполнить постановление Совета. В день, назначенный для открытия моих чтений, пришла бумага, извещавшая, что градоначальник не делает более возражений против моего выступления в роли лектора. Очевидно, министру удалось убедить его в необходимости уступить настояниям профессорской коллегии. Я нашел в актовом зале Политехникума от 2-х до 3-х тысяч слушателей, которые, видимо, ждали от меня продолжительного вступления, всецело посвященного оценке переживаемых событий. Велико было поэтому их удивление, когда с первых моих слов они убедились в том, что я намерен сразу ввести их в судьбы английского парламента и заставить их мысленно перенестись в XIII столетие, тем не менее они покрыли меня дружными и долго непрекращавшимися аплодисментами. Но не долго продолжались мои чтения, после третьей лекции началась забастовка, и я в состоянии был возобновить мой курс только в следующем академическом году.

События шли быстро. Промышленные заведения, а за ними магазины закрывались, целые кварталы Петербурга оставались по ночам без освещения, ожидали остановки железнодорожного сообщения. Не имея возможности вести преподавание в Петербурге, я решился вернуться в Париж, куда звали меня мои товарищи по преподаванию в «Русской школе» общественных наук. По просьбе слушателей, я посвятил первую мою лекцию в Париже картине

переживаемого нами момента. Я счел нужным назвать вещи по их имени и высказал соболезнование, что происходящие в России погромы вредят делу обновления. Часть моей аудитории освистала меня, часть поддержала своими аплодисментами. Я закончил выражением моей признательности тем и другим, что в отношении лектора к аудитории я всего более ценю искренность[26].

На следующий день моими товарищами были получены угрожающие письма, в которых говорилось, что если я посмею взойти на кафедру, в меня будут стрелять. Я и в настоящее время не могу дать себе отчета в том, кем были писаны эти письма: слушателями ли школы, или агентами-провокаторами, которые и ранее старались испортить мои отношения к учащимся, распространяя слухи о моем юдофобстве (?). Позднее, при первом свидании с главой правительства графом С.Ю. Витте[27] я наведен был некоторыми его вопросами на мысль о том, что тайные агенты русского правительства не остались безучастными в устроенном мне приеме.

Русское министерство давно уже косо смотрело на нашу школу. Открытый им поход против Евг[ения] Валент[иновича] де Роберти намеривались распространить и на других профессоров. По словам русского посла Лобанова, сказанным им при свидании с де Роберти, мне также должны были предложить, или приостановить мою преподавательскую деятельность в Париже, или перейти, или же сделаться эмигрантом. События, произошедшие в России со времени неудачной войны с Японией и начавшийся подъем, если не народных масс, то интеллигенции против бюрократической расправы, заставили отсрочить выполнение угроз, но не изменили отношение правительства к нашей педагогической затее. Немудрено поэтому, если агенты-провокаторы сочли нужным использовать раскол между преподавателями и слушателями, вызванный различной оценкой революционных выступлений в лето 1905 года. То, что для меня было погромами, в глазах части моей аудитории являлось справедливым возмездием русского народа своим вековым угнетателям. Азефовщина вмешалась в эту внутреннюю распрю, стараясь обострить ее. Кстати сказать, в числе наших слушателей за все пятилетие существование школы была и жена самого Азефа[28]. Вероятно, по временам появлялся и он. По крайней мере, де Роберти показалось знакомым его лицо, когда, месяцы спустя, он случайно встретил его у М. Морозова. На мысли о том, что русская агентура принимала участие во внутренней судьбе нашей школы, навел меня вопрос, сделанный мне Витте, при первом свидании с ним зимой 1906 года. Он спросил меня о судьбе школы. Когда я ему сказал, что она закрыта, он с улыбкой заметил, что причина закрытия ему хорошо известна. Мои товарищи отказались продолжать преподавание, за исключением одного Трачевского[29]. Он сделал попытку продолжать свои чтения, но вскоре покинул Париж и вернулся в Россию.

Не прошло и недели со времени только что описанного выступления против меня наших крайних партий, по-видимому, не без некоторого участия тайной полиции, как мною было получено

письмо, приглашавшее меня приехать в Лейпциг для переговоров об основании газеты в Петербурге под моим редакторством. Предложение исходило от богатой русской семьи, проводившей зиму на юге Франции в близком соседстве с моей виллой Батавой. Так как из телеграммы не было видно, что эта семья имеет в виду предоставить именно мне руководящую роль в затеваемом издании, то я сперва ответил отказом. Но новые настояния, переданные мне по телеграфу и прямое заявление, что деньги будут даны в полное мое распоряжение, заставили меня ускорить мой отъезд из Парижа. Из Лейпцига я решился уехать в Россию, каков бы ни был исход наших переговоров. В самый вечер моего приезда мне предложено было 100 000 для покрытия издержек по изданию. Я нашел эту сумму недостаточной и собрался уже на следующий день продолжить мой путь на родину. Но не прошло и нескольких часов, как, уступая моим соображениям, ставка была увеличена вдвое. И ее, как я предвидел, оказалось недостаточным; я должен был прибавить из своих средств тысяч 12.

Проведши всего два дня в Лейпциге, я приехал в Петербург с широкими полномочиями касательно выбора моих сотрудников. Соредактором я пригласил моего старого товарища, профессора Ив[ана] Ив[ановича] Иванюкова. Мы подружились с ним еще в бытность мою в Москве. Профессор Иванюков преподавал политическую экономию в Петровско-Разумовской Академии. Его трудно было назвать катедр-социалистом, так как он в равной степени придерживался и Милля, и К. Маркса. По своим политическим убеждениям он опять-таки был чем-то средним между либералом и радикалом. Условия русской жизни были ему хорошо известны, так как по окончании двадцатипятилетней службы в звании профессора он в течение ряда лет заведовал в журнале «Русская мысль» провинциальным обозрением. С открытием С.-Петербургского Политехникума он сделался его профессором по кафедре истории экономического быта. Широкому кругу русских читателей он был известен, как автор книги «Падение крепостного права в России»*. Мы так хорошо знали друг друга, что нам не пришлось сговариваться о программе газеты. И выбор ближайшим сотрудников не представил больших затруднений. В редакции «Вестника Европы» я познакомился с Арсеньевым[30], хорошо известным всей России по его внутреннему обозрению. Арсеньев отнесся ко мне с доверием, как к старому сотруднику «Вестника Европы» и согласился войти в состав редакторского бюро. Другими членами его сделались директор Политехникума проф[ессор] Посников и мой товарищ по преподаванию в Парижской школе, одновременно со мной сделавшийся профессором в Петербургском Политехникуме. Я разумею Юр[ия] Ст[епановича] Гамбарова, более радикально направленного, чем проф[ессор] Иванюков и с некоторым тяготением к социализму. Литературными обозрева-

* Иванюков И.И. Падение крепостного права. М., 1882.

телями приглашены были Н. Котляревский[31] и Овсянников-Куликовский[32]. Я знал первого еще студентом в Москве, а второго — в бытность его профессором в Харькове. Перечисленные мной лица образовали, так сказать, генеральный шатб редакции. Труднее было набрать «передовиков», то есть повседневных сотрудников. Мне указали на Адрианова, Ганейзера, а каждый из них привлек своих приятелей. В числе их упомяну о Карташеве, талантливом знатоке церковной истории, с тех пор приобревшем российскую известность. Так как лица, снабдившие меня деньгами, выразили желание, чтобы в газете был открыт областной отдел, то нами было затрачено немало средств на приобретение корреспондентов из провинции. И все же эта затея не удалась. Время было слишком живым для того, чтобы отводить много места другим явлениям, кроме тех, которые развертывались в обеих столицах. Не думаю, чтобы областной отдел нашей газеты имел много читателей, а между тем, он отнимал немало места, заставляя сокращать литературный, театральный и художественный отделы газеты. Последним заведовал теперешний редактор «Аполлона»[33] — Маковский, который и начал у нас свою литературную деятельность. Газета стала выходить под названием «Страна»[34] за несколько месяцев до открытия Первой Думы.

Когда мне неожиданно пришлось заняться публицистической деятельностью, в Петербурге уже успел сложиться тип бойкой левой печати. Незадолго до моего приезда был упразднен правительством «Сын Отечества»[35], отличавшийся, как хорошо известно, отрицательным отношением не к одной русской бюрократии, но ко всему нашему укладу — столько же социальному, сколько и политическому. Кто, подобно мне, решался на создание нового ежедневного органа, не мог найти в большинстве случаев других сотрудников, кроме тех, которые остались, так сказать, за бортом по случаю закрытия радикальных органов, а они, разумеется, писать* только новые и новые пересказы своих прежних статей. Все, что выходило за пределы того, что можно назвать надругательством над русской действительностью, в их газетах носило характер реакционного умничания. Этим объясняется, почему я с самого начала встретил в авторах передовиц не столько сотрудников, сколько критиков. Один из них весьма наивно предложил мне напечатать в ближайшем же номере объяснение, смысл которого был бы тот, что я очень жалею о написанном мной ранее, написал, дескать, по недомыслию. И все это потому, что статья моя не понравилась одному из сотрудников «Русского богатства». Надо было видеть изумление, появившееся на его лице, когда я объявил ему, что, разумеется, не сделаю ничего подобного. Если в газетной среде я находил антагонистов, то в так называемой конторе «Страны», кроме противников, кажется, такого и не было. Этим объясняется, что, несмотря на все настояния редакции, не принималось

* Так в тексте. Видимо, пропущено слово «могли».

серьезных мер к распространению газеты. Она не всегда выходила вовремя, ее нелегко было найти у разносчиков и в самой столице распространение ее было слабо. Несравненно больший тираж имела газета «Жизнь»[36], издаваемая бывшим профессором финансового права и приютившая у себя большинство сотрудников «Сына Отечества», и тем не менее, она так плохо сводила концы с концами, что ее редактор явился ко мне с предложением продать свое издание вместе со «всем живым инвентарем», по удачному выражению одного из ее сотрудников. Так как я нисколько не желал упразднения и более левого органа, чем редактированный мной, то предложение не увенчалось успехом; газета продолжала выходить еще в течение нескольких месяцев и затем прекратилась за полным недостатком средств.

Материальному успеху «Страны» помешало еще также следующее обстоятельство. Конституционно-демократическая партия желала создать собственный орган и потому косо смотрела на участие своих единомышленников в издаваемой мной газете. Дело дошло до того, что мой старый товарищ по преподаванию в Москве и неизменный приятель С.А. Муромцев обратился даже с подобием какого-то циркуляра, воспрещавшего кадетам «снабжать нас своей прозой», да и в самой редакции существовало несомненное разномыслие, если не по политическим вопросам, то по вопросу аграрному. Посников был ослеплен социальными преимуществами общинного землевладения и требовал обязательного выкупа помещичьих земель по «справедливой оценке», соглашаясь оставить в руках отдельных помещиков не более ста десятин земли. Ему удалось склонить на свою точку зрения и Арсеньева. Когда я вернулся из-за границы, оба вместе уже положили начало новой партии — партии демократических реформ[37]. Арсеньев предложил мне вступить в нее. Познакомившись с его печатной программой, я увидел, что расхожусь с ее основателями в вопросе о том, как удовлетворять земельному голоду крестьян. Я полагал и полагаю и по настоящий день, что для этого необходимо было бы поставить на первый план правильно организованную переселенческую кампанию, широкое разделение казенных земель, принудительный выкуп одних латифундий, ничем не стесняемую свободу самим крестьянам переходить от общинного к подворному или семейному пользованию. Принудительный выкуп всякого рода помещичьих земель свыше ста десятин, да еще по так называемой «справедливой оценке», вызывал во мне такое же отрицательное отношение, как и проведенная впоследствии Столыпинская система принудительного раздела мирских земель не в семейную, а в частную собственность. «Справедливой цены» ищут и не находят еще со времен Фомы Аквината. Я решительно не видел средств к ее установлению. Ею, разумеется, не была рыночная цена, так как крестьянскому банку и практикуемой помещиками сдачи земель крестьянам из-за отработка удалось искусственно повысить цены на недвижимую собственность. Но какими практическими средствами можно было добиться иной, более правильной оценки, я не

видел и на вижу. Я поделился моими сомнениями с Арсеньевым. Он указал мне на то, что в программу партии включена статья, гласящая, что лица, входящие в ее состав, не обязаны принимать все ее предложения и могут присоединиться к своим товарищам с теми или иными оговорками, позволяющими им сохранить свободу суждений в той или другой области. Отказ же войти в партию сделал бы крайне затруднительным сотрудничество ее членов со мной в газете. Я не мог не согласиться с его доводами. В политическом отношении программа меня настолько удовлетворяла, что я счел даже возможным взять на себя защиту ее на обширном митинге, собранном в Москве в Художественном клубе. Моя речь, имевшая большой успех, была издана особой брошюрой под заглавием: «Политическая программа партии демократических реформ»*. Все содержание этой книжонки сводится к признанию необходимости положить в основу нашего обновленного строя два начала — равноправие граждан в пользовании публичными правами или так называемыми необходимыми вольностями, то есть свободой, как физических, так и нравственных проявлений личности, и представительства всего грамотного населения при выборе в Думу. Идти дальше этого, как готовы были кадеты, подымая вопрос о представительстве, равным для всех полов и независимо от того — грамотны ли избиратели, или нет, я не решался. Всеобщее голосование, как показал опыт Франции, может дать столько же деспота, сколько и республику. А при патриархальном строе крестьянской семьи трудно рассчитывать на большую независимость женской половины населения.

Пропаганда нашей программы была поручена одновременно и профессору Посникову. Вслед за мной стал говорить и он об аграрном вопросе, так же желая успеха своему «прозелитизму» (он сам сознался мне впоследствии, что состав аудитории ему не понравился). Посников начал с извинения в некоторой непоследовательности. При проведении обязательного выкупа, — говорил он, — за отдельными помещиками следовало бы оставить не более пятидесяти десятин земли, и только желание достигнуть соглашения побудило его сделать такую уступку, как сохранить за владельцами по сто десятин земли. Можно судить, каков был его успех среди людей, принадлежавших Художественному клубу в Москве. На следующий день мы приглашены были обедать к Новосельцеву, весьма передовому помещику Тамбовской губернии. До прихода Посникова хозяйка дома, — рожденная княжна Щербатова, — приставала ко мне с вопросом: «Да кто такой этот Посников?». Она никак не хотела поверить тому, что он смоленский помещик, да еще предводитель дворянства. Нужно ли добавить, что мы вернулись в Петербург, не присоединив ни одного члена к нашей партии.

---

* Ковалевский М.М. Партия демократических реформ и ее программа // Вестник Европы. 1906.

Время, когда приступлено было мной к изданию серьезной политической газеты, старавшейся освещать факты действительности без предвзятой точки зрения, но проводя постоянно одну и ту же определенную программу, было временем сильного и почти стихийного озлобления против всей официальной России без различия направлений в ней. Широкая публика искала более шельмований всех, сколько-нибудь известных деятелей бюрократии, без всякого выбора между ними, нежели объективной оценки людей и событий. Этим объясняется неимоверный успех того, что с некоторой натяжкой можно назвать политической сатирой. Когда Амфитеатров[38] печатал в «Руси»[39] свой акафист Витте, номер расходился в количестве 150 т. экземпляров и потребовалось 2-ое издание. К огорчению, не только моему, но и моих политических друзей, более скромные статьи, например, о макиавеллизме «на русской почве»*, появившиеся в «Стране», проходили незамеченными, по крайней мере, в широких кругах русской читающей публики. Чтобы заручиться успехом, надо было писать аляповато и вызывающе, добиться запрещения розничной продажи или, по меньшей мере, конфискации того или другого номера. Когда такая судьба постигла, наконец, и «Страну» и она снова появилась под измененным заглавием «Равенство», то тираж сразу возрос втрое. Но это имело последствием, что стоящий во главе цензуры Бельгарт согласился на возобновление газеты под прежним заглавием, лишь бы она не расходилась под новым, и этого было достаточно, чтобы тираж снова пал. Так как события шли быстро, то злобе дня приходилось отводить почти все содержание газеты. Политики было в ней больше, чем в какой-либо другой, и больше, чем привыкла к тому русская аудитория. Сотрудники жаловались, что мало места отводится изящной литературе, обзору драматического искусства и статьям, так сказать, просветительного характера, которых сравнительно так много, например, в «Русских ведомостях». Попытка обзавестись отделом сельскохозяйственным или промышленным стоила дорого и не увенчалась успехом. Известному русскому писателю по агрономии Мертвого переплочено было немало сотен рублей, а из поставленных им статей едва ли более двух появились на столбцах газеты. Нельзя было, в самом деле, требовать от читателя той технической подготовки, без которой самые эти статьи оставались непонятными. Газета отнимала у меня ежедневно немало времени. Оно уходило не столько на прием лиц, являвшихся с сообщением тех или других сведений или с предложением своих статей, сколько на писательство. Время до завтрака посвящалось диктовке. По прочтении не одних столичных, но и провинциальных органов, я выбирал какую-нибудь определенную тему и принимался за ее разработку, отводя ей один, много два, столбца. От двух часов нередко до половины

* Ковалевский М.М. Макиавеллизм на русской почве // Страна. 1906. № 1.

восьмого я сидел в редакции. Нередко приходилось писать и среди дня под влиянием неожиданно поступивших известий. Ночью, по очереди, часто до двух и трех часов редакторам и ближайшим сотрудникам приходилось проводить время в типографии, не столько в погоне за тем, чтобы не упустить какого-нибудь интересного сообщения, доставляемого среди ночи, сколько из опасения, чтобы кто-нибудь не принес ложного слуха и не подвел бы газету под ответственность. Таких добровольцев по сообщению вымышленных, но эффективных фактов было в это время немало. С какой целью они принимали на себя эту миссию, а не всегда был в состоянии выяснить себе. Дело обходилось, по-видимому, не без провокации и не без желания потопить конкурирующий орган.

III.

Моя журнальная деятельность временно была прервана наступившим периодом выборов. Я решился поставить свою кандидатуру в Харьковской губернии, где мною удержано было при продаже имения количество земли, достаточное для ценза.

Прежде чем решиться на этот шаг, я счел нужным посоветоваться с профессором В.О. Ключевским[40], только что вернувшимся в Москву из Царского Села. Мне совершенно ясным представлялась недостаточность тех полномочий, какие даны были Думе Булыгинским проектом. Но я в то же время никак не мог стать на точку зрения тех, кто стоял за необходимость уклониться от всякого участия в выборах. Мне хотелось узнать от Ключевского, пойдет ли правительство на расширение прав Думы. Мы пробеседовали часа два, и я, как теперь, помню его заключительные слова: «Проект Думы, это — гуттаперчевый пузырь, который можно раздувать в разные стороны». Если так, подумал я, то наше представительство ждет та же судьба, что и представительство других стран. Правительство давало мало, депутаты требовали большего и добились перехода власти в свои руки. Ведь и английский парламентаризм начался с простого допущения уполномоченных графских городов к выслушиванию правительственных предложений и подачи ни для кого не обязательных советов.

Тотчас по приезде в Харьков, я вошел в сношение с комитетом, образовавшемся при газете «Утро»[41] для руководительства выборами. Хотя преобладающим направлением среди его членов было кадетское, но они единогласно решили выставить мою кандидатуру, как только я пройду на выборах от уезда. К счастью для меня, в числе уездных деятелей оказался старый товарищ по гимназии — адвокат В. Гуров. Как защитник по делам старозаимочным, он был популярен среди крестьян-землевладельцев. Не рассчитывая в то же время пройти сам и от крупных собственников, он решился поддерживать мою кандидатуру. Сам я в уезде мало кому был известен. Выбыл я из Харькова по окончании университета, жил за границей или в Москве. Случилось, однако, так, что уездным предводителем дворянства был сын моего товарища по

университету, князь Галицын, которого я уже ранее встретил на земских съездах и которому я рекомендован был князем Петром Долгоруковым. Губернским предводителем дворянства также был мой старый знакомый, которого я потерял из виду со времени университета. Другие помещики слышали обо мне только то, что я учился успешно, состоял профессором, а в последнее время жил за границей. Так как никто особенно не стремился сделаться депутатом, опасаясь, как бы не навлечь тем самым на себя беды, то отношение было более или менее следующее: «Хочешь лезть в петлю, ступай, мы тебе препятствовать не будем». Ни о каком постоянном жаловании депутатам не было речи, можно было рассчитывать самое большее на поденное. Ну, а долго ли продлится вся эта затея с народным представительством, оставалось для всех вопросом.

Мои шансы попасть в число выборщиков внезапно усилились благодаря следующему обстоятельству. Созвано было экстренное дворянское собрание от губернии для выбора кандидата в Государственный Совет. Дочь известного земского деятеля Ст. Гордеенко, того самого, который, правда, шопотом выразил Александру III надежду, что он местное представительство восполнит всеобщим, передала мне свой голос на выборах. Я не счел себя вправе не пойти на собрание, располагая, таким образом, двумя голосами. Так как никогда ни раньше, ни позднее мне не приходилось бывать на дворянских собраниях и я более восемнадцати лет прожил за границей, то никакого дворянского мундира у меня не оказалось, я заменил его фраком. Но этого было достаточно для того, чтобы восстановить против себя целую группу членов первенствующего сословия. Вожаком явился старый предводитель, если не ошибаюсь, Ахтырского уезда — Кованька. Губернский предводитель растерялся, по-видимому, неуверенный в том, чтобы можно было считать голос дворянина, выходящий не из дворянского мундира. Уездный предложил мне прямо уйти в заднюю дверь. К немалому смущению обоих я потребовал слова и стал настаивать на своем праве. В собрании оказалось несколько профессоров и чиновников, дослужившихся до действительных статских советников и до кавалера Ордена св. Владимира III степени. Они меня поддержали. Сконфуженный ими председатель попросил меня занять мое место. Немедленно вслед за этим в собрание проникло еще шесть «фраков»; послышались протесты, но дело протестующих наперед было проиграно. У меня сразу оказалось в собрании достаточное число сторонников, чтобы провести меня в выборщики членов Государственного Совета, но я отказался наотрез, объявляя, что хочу попасть в Думу. Известие о происшедшем разнеслось с быстротой молнии сперва по Харькову, а затем и по всей России. В разных газетах, местных и столичных, напечатаны были прозой и стихами шумливые отзывы. Так как между землевладельцами Харьковского уезда далеко не все были дворянами, то прослыть в их среде жертвой дворянской спеси или так называемой чести мундира оказалось выгодным. На предвыборном собрании

мне пришлось произнести речь и коснуться, в ней, между прочим, и аграрного вопроса, единственного сколько-нибудь интересовавшего помещиков. Так как я не требовал от них отказа от всего имущества, за исключением ста десятин, признавая в то же время необходимым бороться с крупной собственностью, которой, кстати, в Харьковском уезде не имеется, то на последовавшим за собранием ужине уже пили за мое здоровье, как за будущего избранника. На уездных выборах я получил наибольшее число голосов. Вслед за мной прошел и князь Галицын, и один член уездной Управы.

На избирательном собрании в губернии председатель, которым, согласно закону, был губернский предводитель дворянства, обратился ко мне с просьбой растолковать собравшимся, какие качества особенно желательны в избраннике и какие цели он должен поставить для своей ближайшей деятельности. Я, разумеется, не был настолько наивен, чтобы рекомендовать такие качества, которых нельзя было признать за мной и указывать на цели иные, чем те, к которым я сам стремился. По-видимому, эти качества и цели были не совсем те, о которых думал сам председатель, так что, по окончании моей речи, он, правда, шепотом сказал мне: «Вы не вполне отгадали мою мысль». Желательное впечатление было, однако, произведено на большинство и в смысле, благоприятном оппозиции. В этом легко было убедиться по тем нападкам, какие на следующий день посыпались на нас со стороны правых. Дворян хотели запугать разговорами о принудительном отчуждении, а крестьян заявлением, что финляндская автономия мешает русским крестьянам торговать своим товаром в княжестве. Пришлось снова выступить с защитой оппозиционной программы. Мне долго не хотели простить того, что я объяснил крестьянам значение автономии; я указал им на то, что они сами владеют ею в волости, это, однако, не мешает ни целости, ни единству империи.

Несмотря на затраченное с обеих сторон красноречие, никто, однако, не был уверен в исходе выборов до тех пор, пока волостному крестьянству не удалось провести от себя, согласно действовавшему в то время закону, особого уполномоченного. Он поистине сыграл в Харьковской губ[ернии], как и в других, роль «великого избирателя». Его мнениям подчинились крестьяне, частные владельцы, что и обеспечило большинство тех кандидатов, которым он отдал свое предпочтение. Ими, разумеется, оказались те, кто готов был признать земельный голос крестьянства. Когда в первую очередь прошел мой выбор, предводители дворянства позвали меня в особую комнату и предложили мне выступить в роли посредника между их кандидатами и членами оппозиции. Под условием проведения первых, хотя бы в меньшинстве, они соглашались принять весь наш список. Но я уклонился от этой роли и посоветовал им обратиться к председателю кадетского избирательного комитета. Последний же не пошел ни на какие уступки. Своих кандидатов правым провести не пришлось. Но в отместку, они,

собрав все свои силы, всадили в нашу депутацию старого жандарма. В его обществе мы снялись на следующий день у фотографа, и эта группа обошла всю печать вместе с жандармом. Последний оказался совершенно благодушным, и в Думе вотировал по моим указаниям.

По возвращении в Петербург мне пришлось вскоре выступить в роли народного избранника и ходатайствовать перед русским правительством за судьбы одного из выборщиков г. Харькова. Им был не кто другой, как профессор Гредескул[42], декан юридического факультета, вызвавший меня в Харьков для прочтения в Юридическом обществе реферата о Булыгинской Думе. Едва избранный в выборщики, он направлен был по этапу местным начальством в Архангельск. Меня уведомили из Харькова о его судьбе выбранные одновременно со мной депутаты от губернии. В их телеграмме значилось, что они ждут от меня представительства пред главой правительства, которым в это время был граф Витте. Я не знал лично графа, но, принимая всерьез мои права «народного избранника», я тотчас же написал ему письмо, говоря, что надеюсь представить ему серьезные соображения в пользу отпуска на свободу одного из выборщиков Харькова и доведу до его сведения некоторые данные, оставшиеся ему неизвестными. Два дня спустя я получил от графа собственноручную записку, гласившую, что он охотно примет меня в такой-то день и час, хотя и не рассчитывает услышать что-либо новое. Витте занимал в это время помещение во дворце, выходящее на набережную Невы. Он принял меня немедленно, предложил папиросу и завязал разговор. Я высказал ему недоумение по поводу того, что за несколько дней до выборов удаляют в административном порядке одного из намеченных кандидатов и предсказал, что это обстоятельство побудит Харьков послать в Думу именно профессора Гредескула. Какая польза правительству, заметил я, создавать «дешевых мучеников». «Я вполне разделяю Вашу точку зрения, — последовал ответ, — и ее же высказал в письме на мое имя министр народного просвещения граф И.И. Толстой[43]». Сказав это, граф вручил мне письмо министра. Я мог убедиться, что министр высказывал буквально те же соображения, какие представлены были мною. «Я ухожу от вас успокоенным за судьбу моего товарища», — сказал я, подымаясь с места. «Раз глава правительства в Вашем лице и глава Ведомства стоят за освобождение профессора Гредескула, я надеюсь вскоре увидеть его в Петербурге». — «К сожалению, я не разделяю Вашей уверенности, — ответил мне Витте, — Министр внутренних дел П.Н. Дурново держится иного мнения и не дал благоприятного ответа». — «Но, граф Сергей Юльевич, в печатном сообщении, которым сопровождался манифест 17-го октября, Вам угодно было заявить, что отныне у нас будет солидарное правительство. Вы его глава. Может ли быть, чтобы министр внутренних дел не подчинился Вашему решению». — «Солидарности правительства у нас не было и, по-видимому, не будет, — ответил мне Витте. — Прошу не делать меня лично ответственным за то, если Ваш това-

рищ продолжит свой путь в Архангельске. Недели через две Вы узнаете причину, по которой я бессилен исполнить желание, выраженное министром народного просвещения».

И действительно, даже раньше этого срока мне удалось выяснить, что Витте в это время только продолжал считаться главой правительства. Выход его из министерства был приостановлен волей Государя, чтобы не помешать счастливому исходу переговоров о займе в Париже[44]. Несмотря на оказанную мне любезность и желание задержать меня для разговоров о переживаемом Россией моменте, я ушел от председателя Совета в настроении, как верно передала напечатанная в ближайшем номере «Страны» статья о том, что нет более жалкого положения, как то, которое заставляет Председателя Совета Министров оправдывать меры, принятые правительством, упорством того или другого его членов. Когда на расстоянии нескольких недель, почти накануне открытия Думы, последовала смена правительства и во главе стал Горемыкин[45], я, встретившись на съезде кадет с баронессой Вар[варой] Ив[ановной] Икскуль, приглашенный в тот же день на обед в семью Горемыкина, шутя сказал ей: «А спросите Вашего хозяина, насколько примеримо с чувством законности отправлять в административную ссылку выборщика от Харьковской губ[ернии]». «Я исполню Ваше желание, — ответила мне баронесса, — и пришлю Вам ответ по телефону». В тот же день Варвара Ивановна уведомила меня о следующем. Горемыкин сказал ей, что ему не нужно было напоминания проф[ессора] Кавалевского, чтобы распорядиться об освобождении Гредескула. Несколько дней спустя, я увидел моего товарища в Петербурге, но уже депутатом г. Харькова. Он был выбран заочно, а перенесенное им «дешевое мученичество» послужило причиной тому, что кадетская партия наметила его в кандидаты на пост второго товарища председателя Государственной Думы.

Прежде чем выйти в отставку, правительство С.Ю. Витте обнародовало новый текст основных законов и положение о Государственном Совете, как о нашей первой палате. Либеральная партия, по-видимому, сочла этот новый проект совершенной для себя неожиданностью. Наиболее левые газеты пропагандировали мысль об однопалатной системе и имели неосторожность говорить о Думе, как об учредительном собрании. Когда обнародован был проект создания из пополненного на половину выборными членами Государственного Совета — нашей Верхней Палаты, печать за немногими исключениями заговорила о предательстве. За критикой нового положения точно забыли о необходимости отрицательного отношения и к той редакции, какая предложена была для основных законов. А между тем, в ней и заключалась наибольшая опасность для обещанного нам нового строя. Ведь, в «Учреждении Государственного Совета» сказано, а в «основных законах» находится знаменитая 87-ая статья, позволяющая правительству в промежуток между сессиями палат издавать, что ему вздумается, совершенно обходя обещания манифеста 17-го октября, что у нас не будет впредь «закона без Думы». Если бы печать с большей сдер-

жанностью отнеслась к критике обнародованных законопроектов, то многое можно было бы исправить в них. В этом я имел случай убедиться вскоре по следующим обстоятельствам, которые заслуживают упоминания. Ко мне явился рано утром бывший товарищ министра финансов И. Ковалевский — мой сотрудник по «Стране», в сопровождении ранее неизвестного мне старика, имя которого я забыл. Он стоял во главе какого-то предприятия на Урале и пользовался, по-видимому, доверием генерала Трепова. Причиной их обращения ко мне было выраженное самим генералом желание, чтобы я, как специалист государственного права, сделал мои замечания по отдельным статьям как проекта «основных законов», так и «Учреждения Государственного Совета». Я не знал лично генерала Трепова и не имел ближайших причин искать его знакомства, поэтому я уклонился от поездки к нему в Царское Село. Но в то же время я не счел себя вправе отказать в исполнении возложенного на меня поручения. Я посвятил целый вечер и часть ночи комментированию новых законопроектов. Едва ли, за исключением совершенно ничтожных поправок, мои замечания имели какой-либо практический результат. Но я слышал впоследствии от самого графа Витте, что при свидании с Государем, он поражен был несколькими, высказанными им соображениями чисто юридического характера и долгое время недоумевал, каков был их настоящий источник. Мои комментарии потому уже не могли быть успешными, что в них я старался дать определенный и ясный ответ на вопросы, волновавшие в то время русское общество и которые сознательно оставляемы были втуне. Одним из таких вопросов и едва ли не важнейшим был вопрос об изменении первой статьи текста «основных законов». Государь всероссийский, — согласно новой редакции первой статьи, — переставал быть неограниченным и оставался в то же время самодержавным. Была ли это простая тавтология или оба эпитета нисколько не покрывали друг друга. Профессором Ключевским было выяснено в его лекциях, что термин самодержавный введенный у нас в употребление со времени царя Ивана III, есть передача греческого термина autocrator, смысл которого тот, что русское государство и носитель верховной власти в нем независимы ни от какой внешней силы. Такой силой некогда была Золотая Орда. Когда свергнуто было окончательно татарское иго, Московское царство и его Повелитель стали самодержавными. Эти же соображения были представлены, как я слышал впоследствии от проф[ессора] Ивановского, и в той комиссии, которой было предоставлено еще при министре Булыгине изготовить проект новых государственных учреждений. В эту комиссию, членом которой был и проф[ессор] Ивановский, представлено было несколько проектов пересмотра основных законов. В том, автором которого был директор С.-Петербургского лицея Соломон, удержано было упоминание о самодержавности Государя. Когда некоторыми членами комиссии высказано было опасение, чтобы такое упоминание не подало повода к толкованию в смысле сохранения неограниченности за русским монархом, Со-

ломон заметил, что предвидеть будущего нельзя, что такое смешение понятий, пожалуй, будет полезным. Чтобы положить ему конец, я в моих поправках предложил следующую редакцию первой статьи. «Государь всероссийский есть монарх самодержавной империи, которому не только в законе, но и в совесть повиноваться сам Бог повелел». Последняя часть фразы была мною удержана, так как она передает понятие о том, что Государю следует повиноваться не только как светской, но и духовной власти — главе Церкви, совершенно однохарактерное выражение встречается в тексте Синода Англиканской церкви, собранного в правление Иакова I. Англиканская Церковь придерживается, как известно, того цезарепапизма, что и Русская Церковь. Когда я прочел мою поправку пришедшим за моим комментарием лицам, они объявили: «Что, что, а уж это пройти не может». Я, тем не менее, не согласился ни на какие изменения и передал в их руки его девственной невинности изготовленный мною проект изменений в Основных Законах. Разумеется, это не мешало мне предвидеть его судьбу. Если он уцелел в какой-нибудь канцелярии, то ему суждено когда-нибудь увидеть свет, и тогда убедятся в том, что никакие соображения не могли помешать профессору, едва возвращенному на кафедру после восемнадцатилетнего устранения от нее, подать голос за то, чтобы в России созданы были настоящие, а не мнимоконституционные порядки.

Месяцы, предшествовавшие открытию Думы первого призыва, со времени выхода в свет книги Розанова «Когда правительство ушло»[46] стали признаваться эпохой свободы, граничащей с произволом. Далеко не такими рисовались они большинству моих товарищей и единомышленников. Все мы ждали с нетерпением смены правительства Витте в надежде, что тут-то настанет настоящая эра конституционализма. Расчет оказался ошибочным, при Витте жилось несравненно легче. Полевые суды были неизвестны, административные высылки встречали нередко отпор в центральном правительстве, печать подвергалась сравнительно редким преследованиям, свобода слова понималась широко, на земских съездах и даже на митингах лились свободные речи. В театре, как в дни свободы, шли пьесы, в которых очень остроумно осмеивались одинаково и правительственные держиморды, и общественные крикуны. Когда на первом земском съезде, на котором мне пришлось быть, сделалось известным, что графа Тышкевича по этапу высылают в Архангельскую губ[ернию], члены президиума послали телеграмму Витте с выражением своего протеста. И взамен Архангельска Тышкевичу было предложено ехать в Петербург для переговоров с правительством. Тышкевич согласился на это только под условием, чтобы его освободили от присутствия жандарма, сопровождавшего его повсюду, даже во время обеда в гостинице Метрополь, как я сам имел возможность в этом убедиться. Его желание было исполнено. На втором земском съезде в ноябре самым откровенным образом говорили о таких вопросах, как об отношениях России к Польше, положении инородцев и, в частности, евреев, необ-

ходимости серьезных политических гарантий и т.д., и т.д. Врублевский произнес прочувствованную речь, лучшую из всех слышанных мною на съезде, на тему: «Как положить конец распре славян между собой». Еврейские погромы и подозреваемое участие в них правительственных агентов резко осуждалось. И такие откровенные заявления, как, напр[имер], мое о том, что республика кажется мне в России так же мало мыслимой, как монархия во Франции, встречали осуждение в представителях не одних наиболее левых течений. Менее всего сочувствия оказано было тому постановлению съезда, которое высказывалось за автономию Царства Польского. А между тем, если бы ему суждено было стать действительностью, едва ли бы австрийцы встречали бы в нынешнюю войну то сочувствие, которое облегчает их дело на всем пути от Калиша до Люблина и Варшавы. Правительство, по крайней мере, в лице Витте искало поддержки общественных деятелей. Не кто иной, как Петрункевич, получил от Витте уведомление о необходимости не усиливать розни в минуту серьезной опасности, созданным и одновременным брожением и среди моряков в Севастополе и среди латышей в Риге. Но Витте, как бывшему диктатору, действительному или мнимому врагу земства, русскому Макиавелли, как я сам не прочь был называть его, не верили. Это, быть может, была ошибка с нашей стороны, но все прошлое графа не говорило о возможности видеть в нем искреннего ревнителя конституционных вольностей. А между тем, он терпеливо относился к самым резким нападкам, направленным против него в печати или в речах, произносимых на митингах. Мало того, его обвиняли в том, что он медлил с принятием мер к задержанию комитета, руководившего всеобщей стачкой и медлил с подавлением революционных вспышек, сказывавшихся в отдельных частях империи. Мне пришлось впоследствии слышать от него такое объяснение своего вынужденного невмешательства. Войско было еще на востоке, некому было усмирять и даже в Отзейском крае приходилось довольствоваться отрядами моряков под начальством известного Мина[47]. Как-то на заявление Витте — «я рад, что на моей душе нет казней», у меня неожиданно вырвалось: «А Мин». — «Что же Мин, — ответил мне Витте. — Я бессилен был предпринять что-либо против него. Слышу — куда ни придет, — или порет, или расстреливает. Хотел сменить его, а мне докладывают: «На отзыве об его поведении рукой Государя написано: «Молодец». Ну, как мне было возможно после этого отставить такого «молодца»». В министерстве Витте наибольшее негодование вызывал своим поведением Дурново[48]. Его считали главой реакции. Правда, он не позволял себе таких неудачных крылатых слов, как Трепов или впоследствии Макаров[49], его нельзя помянуть ни фразой «патронов не жалеть», ни гордым заявлением «так было, так будет», на жалобы, что рабочих расстреливают даже без предупреждения. Но в обществе держалось представление, что жестокие репрессии, производимые в отдельных местах губернаторами, предписываются не кем другим, как Дурново. Сам он впоследствии делал заявления, оп-

равдывавшие нашу подозрительность, он жаловался на то, что на местах его не всегда слушались. А это мешало поддержанию того полицейского порядка, которого, по-видимому, достаточно в глазах Дурново для обеспечения спокойствия в империи. Витте обвиняли в том, что он не имел мужества сменить губернаторов, позволивших себе грубые акты насилия и произвола. Более всего возмущало общественную совесть известие о погромах, о таких зверствах, как те, которые произошли в Томске, когда подожжен был театр с лицами, сошедшимися в нем на мирный митинг. Не понимаю, как можно сохранить на его посту такого губернатора, как Озангевский, например... Никто, конечно, не думал, что у Витте не хватает силы для более энергичного выступления, что Дурново ведет при нем свою линию и что никакой солидарности между министрами, в действительности, нет. Возмущали также постановляемые судами приговоры, особенно с тех пор, как либерального сравнительно министра юстиции Манухина[50] сменил Акимов[51]. Я первый в печати заменил ходячую в газетах фразу — «Правительство Витте» словами — «Правительство Витте, Дурново и Акимова», желая тем самым более справедливо распределить ответственность за административную и судебную расправу. К немалому моему изумлению я узнал впоследствии от Витте, что при всем своем реакционном направлении Акимов, тем не менее, отказал в своем согласии на создание полевых судов и пригрозил даже своей отставкой. Щегловитов[52] не обнаружил такой «мнительности» и с легким сердцем помирился с реформой, слагавшей с него ответственность за производимые казни. О том, каков был уклон общественных запросов от политики правительства, можно судить по тому, что в левой печати открыто требовали отдачи Михайловского манежа в распоряжение устроителей митингов и замены Думы Учредительным собранием. Особенно тяжело было настроение в самый разгар последней стачки в октябре 1906 года[53]. Стачка приняла, более или менее, всеобщий характер; улицы оставались неосвещенными; многие подумывали о необходимости закупить провизию на ряд дней, а то и недель. 17-го октября мы собрались на вечеринку к Н. Котляревскому, моему сотруднику по «Стране» и теперешнему академику. В числе гостей был Родичев[54]. Обсуждали положение, предвидя наступление в ближайшие дни тяжелых событий. Утром, гуляя по Невскому, я встретился со своим знакомым по Парижу. Зная, что он лучше меня осведомлен о ходе стачки, я спросил его, долго ли он еще продолжится. «Не больше дня, — последовал ответ. — Стачечный комитет задержан, средства истощены». Я делился моими впечатлениями с собравшимися у Котляревского гостями, как вдруг вбежал в комнату молодой профессор Ростовцев с печатной бумагой в руках. Это был пресловутый манифест 17-го октября, только что отпечатанный в казенной типографии. Его должны были обнародовать на следующий день. Лица просияли. Далеко не у всех, однако. И Родичев, как Новая Гекуба, продолжал предсказывать, что реакция не приостановится, что все манифесты не более, как бумажка, с которыми в будущем

считаться не станут, что хитрости и коварства у правительства хватит и на то, чтобы отвлечь временно глаза обеществ от новых оков, подготовляемых для освободительного движения. К Родичеву отнеслись на этот раз как к каркающей вороне. Но будущее показало, что он далеко не ошибался. На следующий день я был на Казанской площади, где ожидали устройства уличного митинга. То, что последовало, едва ли заслуживало этого названия. Собралась сотня-другая людей в пальто и мягких шляпах. Против них из Охотного ряда вышли дворники с метлами. Густая толпа стояла на тротуарах в ожидании, что будет. Раздалось несколько холостых выстрелов. Шарахнулись лошади, упал с козел извозчик. Часть глазеющих побежала в переулки. Раздались голоса о том, что скоро придет войско. Но войско не пришло, и собравшимся осталось только мирно разойтись по домам. Наступившая темнота, в свою очередь, содействовала такому исходу. И позднее образовывались кружки на улице для чтения манифеста, особенно на Невском. Но большого оживления не было. Ни о чем похожем на энтузиазм народа говорить было нельзя, но не было также и признаков надвигавшейся революции, не было их и при известии, что Носарь[55] и действовавшие заодно с ним члены стачечного комитета, наконец, задержаны.

Кстати о Носаре. Имя это принадлежит далеко не тому лицу, задержанием которого окончена была стачка. Арестован был адвокат Хрусталева, продолжавший действовать за Носаря, ранее захваченного работника. Хрусталева этого мне позднее пришлось встретить в Париже, и он удивлялся тому, почему Витте не принял ранее мер против него и его товарищей. Витте объясняет свое поведение желанием показать самим владетельным классам и, в частности, промышленникам, какова грозящая им опасность. Он ссылался также на то, что ранее произведенный арест вызвал бы сильное движение среди рабочих и сочувствующих им кругам. По мнению Хрусталева, арест стачечного комитета не вызвал бы никакого серьезного противодействия. Кто из них прав — Витте или Хрусталев — я судить не берусь. Позднейшая судьба Хрусталева хорошо известна. Я видел его во время процесса, на котором он держал себя мужественно. Его сослали в Сибирь, но он сумел бежать оттуда, скрывшись, как рассказывают, в телеге, на которую навален был какой-то товар. В Париже он одно время устроился корреспондентом каких-то газет. Платили ему неаккуратно. Он бедствовал, не имея часто в своем распоряжении пяти франков. Помощь из России приходила неаккуратно. Затем Хрусталев стал участвовать в издании «Русско-Парижского вестника»[56], перессорился с редакцией, обвинен был в каких-то растратах и теперь, вероятно, с трудом сводит концы с концами в Париже или вне его пределов. Одно время в газете Суворина появилось его письмо, которого другие органы печати не пожелали обнародовать. Ждали, что он перейдет на сторону врагов; опасения оказались ошибочными. Хрусталев продолжает голодать, довольствоваться ничтожной помощью или искать помещения в больнице, но своему знамени он не изменил.

IV.

Был теплый и солнечный день, какой редко повторяется в Петербурге в середине марта, когда депутаты призваны были в Зимний дворец для выслушания царского слова. Все залы наполнены были высшими чинами военными и гражданскими, статс-дамами и фрейлинами, в русских сарафанах с драгоценными камнями в ушах и на шее. Мы приняты были в том самом зале, о котором говорит знаменитое стихотворение Пушкина, начинающееся словами: «У русского царя в чертогах есть палата: она не золотом, не бархатом богата»*. Это самый большой зал во дворце. Для царя устроен был трон, по левую сторону от него отведено было место для членов Думы, по правую — Государственного Совета. Мы прождали довольно долго высочайшего выхода. В сопровождении членов Царской семьи с обеими императрицами вышел Государь, раскланиваясь на обе стороны. Он был бледен, но сохранял присутствие духа. Нельзя было того же сказать об обеих императрицах, особенно о молодой государыне, лицо которой было покрыто красными пятнами, а глаза были заплаканы. На императора набросили порфиру. Он сел на самый кончик трона, принял из рук пажа печатный текст своей речи и после минутного молчания твердым голосом и с расстановкой прочел написанное, зная, повидимому, текст наизусть. Справа, из среды членов Государственного Совета послышалось «ура». Члены Думы стояли молча. После ухода Государя и я двинулся к выходу. Но уже в ближайшей комнате, где стояли военные чины, ко мне подошли с вопросом: что именно сказал Государь.

В то время, как я старался в немногих словах передать слышанное, шедший за мною крестьянин, член Думы, вмешался в разговор и заявил, к немалому нашему смущению, что говорил Государь такое, что они ничего не поняли. Мои собеседники шарахнулись в сторону и тем самым открыли мне дорогу к выходу. Очутившись на улице, я стал искать и долго не мог найти экипажа. В толпе оказались знакомые, любезно меня приветствовавшие. Когда я прибыл в Таврический дворец, я нашел в нем почти весь состав Думы. Депутаты приехали на пароходах, стоявших у Зимнего дворца. Проезжая мимо «Крестов»[57], они из окон услышали крики: «Про нас не забывайте». Когда я вошел в зал, намеченный председатель Думы Муромцев позвал меня и спросил мое мнение насчет того, своевременно ли говорить об амнистии. Я высказался в смысле утвердительном, что, по-видимому, не встретило сочувствия в Муромцеве. Вслед за речью Фриша[58], председателя Государственного Совета, которому поручено было открыть заседание, прежде чем избранный в председатели Муромцев занял свое кресло, Петрункевич, отражая впечатление, полученное им при проезде мимо «Крестов», сказал несколько слов о необходимости даро-

* Пушкин А.С. Полководец // Соч. в 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 584.

вать амнистию всем политическим преступникам. Заявление это встречено было большим сочувствием. Сказанное вслед за тем слово председателя, законченное фразой: «Низко кланяюсь Государственной Думе»[59] покрыто было рукоплесканиями, а энергичный приказ, отданный тем же председателем всем членам секретариата удалиться из зала во время производства выборов товарищей председателя и секретаря, едва не вызвало со стороны лиц, к которым оно было направлено, коллективной отставки. Эта золотая молодежь почему-то сочла себя обиженной... Начавшись молебствием, заседание окончилось этой деловой и чисто официальной частью. Новый председатель Совета Министров, Горемыкин, счел возможным выразить избранному Думой вождю свою надежду, что ввиду наступившего теплого времени первая сессия не будет продолжительной. Во время молебствия я подведен был Стаховичем[60] к графине Витте, которая, поздоровавшись со мной, заметила, что без Серг[ея] Юльевича не было бы того, в чем мы теперь участвуем. — «Тем огорчительнее, — заметил я, — что граф советовал отсрочить созыв Думы». — «Это явная ложь, — ответила графиня, — распускаемая нашими врагами». На этом и оборвалась наша беседа. Сам граф на открытии Думы не присутствовал.

Кабинет Горемыкина не приготовил ни одного серьезного законопроекта для внесения в Государственную Думу, если не считать таковым проект об устройстве оранжереи и прачечной при Юрьевском университете. Печать вышутила министра фон Кауфмана[61] за этот законопроект, который, однако, по-видимому (таковы были, по крайней мере, его объяснения), увидел свет без его ведома — по недосмотру какого-то подчиненного ему чиновника, не предвидевшего, какую язвительность вызовет в рядах оппозиции такое непонимание момента, такое отсутствие прозорливости и такта. Все, что лежало перед лицом Думы — это была тронная речь. В ней излагалась довольно неопределенная и неполная программа предстоящей правительственной политики. Имея в виду выяснить, к чему сводятся ее собственные желания, Дума подвергла эту программу жестокой и исчерпывающей критике. Отсюда — ряд заседаний очень оживленных и содержательных, задачей которых было редактирование адреса в ответе на тронную речь. Со времени обсуждения этого адреса начались и мои выступления. Они с каждым днем становились все чаще и чаще[62]. С верхних скамей, на которых я расположился с прочими членами от Харьковской губ[ернии], меня пригласили пересесть на нижние, чтобы не тратить времени и быть поближе к трибуне. Моими соседями справа оказались член партии демократических реформ Кузьмин-Караваев[63], а слева — Виленский католический епископ, барон Роп*/[64], сделавшийся со временем жертвою специальных преследований П.А. Столыпина, удаленный, по его настоянию, с Виленской кафедры и проживавший последние годы в Остзейском крае.

* Так в тексте. Следует: Ропп.

Епископу этому я почему-то полюбился, должно быть, в виду моего доброжелательного отношения к полякам и терпимости к католикам. Нужно ли говорить, что этим и оканчивалось наше сходство во взглядах. Но если при выслушивании моих речей епископ и качал головой неодобрительно, то сладкая улыбка никогда не сходила с его уст. Выступления его были редки, по крайней мере, в общем собрании Думы. Одно запечатлелось в моей памяти. Высказывая сочувствия началу разделения властей, за которое, разумеется, стояли все мы, он мотивировал свой взгляд тем, что и Бог управляет миром конституционно. На это, разумеется, не решился возразить никто, так что единственная речь, не вызвавшая никаких прений, но и не сопровождавшаяся никакой резолюцией, была речь Виленского епископа.

Сколько мне помнится, в истории не было случая, чтобы наделение с высоты престола какой-нибудь конституционной хартией, политическими вольностями и привилегиями не сопровождалось со стороны народных представителей, впервые собранных, выражением благодарности монарху, даровавшему эту хартию, пожаловавшему эти вольности. Законодательные собрания не спрашивали себя, насколько дарованная конституция была вызвана обстоятельствами, фактически навязана главе государства. Указывая на ее недочеты, они все же благодарили. Первая Дума в этом отношении отступила от обычной практики. В адресе не было ни слова, свидетельствовавшего о том, что народное представительство чувствует к монарху какую-либо признательность. Мне казалось это непростительным упущением. Я обратил на него внимание членов кадетской партии перед началом сессии, настаивая на необходимости включить хоть два слова на этот счет в изготовляемый нами документ. — Такая марка не пройдет, — ответил мне шутя Винавер[65]. — Вы лучше не возбуждайте и самого вопроса. А то послышатся протесты, которые только ухудшают наше положение. — Я и теперь спрашиваю себя: прав ли я был, сохранив после этого молчание. Протесты, конечно, могли последовать от трудовиков или представителей рабочей партии, но большинство, вероятно, поддержало бы мое предложение. А включение в адрес, хотя и холодного выражения признательности, прорвало бы тот лед, который сразу установился в отношениях Думы к высшему правительству. Ни в тронной речи, ни в тексте основных законов, ни в учреждениях Думы и Государственного Совета не было ни слова об участии представительных палат в обсуждениях вопросов внешней политики. Мне показалось необходимым включить поэтому в адрес несколько слов, которые свидетельствовали о нашей готовности считать и эти вопросы для себя не чуждыми. Предложенная мною формула была весьма скромна. В ней шла речь о нашей готовности жить в мире с соседями и одновременно о сочувствии единоверным и единокровным народностям Европы. Но и она показалась слишком смелой и даже опасной таким, напр[имер], передовым бойцам, как Родичев, который серьезно говорил о том, будто она может вызвать не только недоумение, но и запросы со

стороны иностранных держав, в том числе и Германии. Нужно ли говорить, что формула была отвергнута и что адрес ни словом не обмолвился по вопросу об отношении русской Думы к иностранной политике. Мое выступление имело для меня совершенно неожиданные последствия. Я прослыл славянофилом. А в «Vossische Zeitung» обо мне стали писать, как об опасном панслависте. К моему немалому смущению, я был возведен в почетные члены какого-то славянского общества, главою которого был в то время Череп-Спиридович, человек репутации сомнительной. Он, кажется, в то время пребывал в Москве. Позднее им образовано было какое-то бюро в Париже. И из этого бюро во время второй Балканской войны[66] я получил какую-то очень длинную телеграмму, с сообщением о том, что нужно делать для предупреждения славянской распри. Ни на одно из письменных сообщений г. Череп-Спиридовича я никогда ответа не дал.

Общее содержание адреса — насколько речь идет в нем о политических вожделениях — была такова, что вполне могла рассчитывать на мое сочувствие. В нем определенно проводилась та мысль, что для обновленного политического строя одинаково необходимы публичные права и равенство граждан перед законом, возможность судебного обжалования незакономерных действий администрации, контроль народного представительства за органами исполнения, широкий законодательный почин Думы и участие ее в составлении бюджета, нестесняемое ничем, что само по себе исключало мысль о «бронировании» тех или других частей его. Меньшее сочувствие вызвала во мне та часть адреса, которая посвящена была аграрному вопросу. В ней глухо передана была программа двух партий, которые в своей совокупности образовывали численное большинство: кадетов и трудовиков. Говорилось, поэтому, о необходимости удовлетворения запроса на землю сельского населения с помощью обязательного выкупа, распространенного ни на одни помещичьи, но также удельные и церковные земли. Выкуп надлежало произвести «по справедливой оценке». Кузьмин-Караваев считал себя знатоком крестьянского быта и так как он был членом одной со мной партии, то я счел возможным предоставить ему одному говорить от ее имени по этим вопросам. И тем не менее, обстоятельства сложились так, что мне и никому, как мне, пришлось выступать с наиболее резким словом против той отповеди, которую правительство в лице председателя Совета Министров Горемыкина сочло нужным дать в ответ на наше требование о государственном выкупе помещичьих земель. Горемыкин позволил себе весьма странный прием какого-то отеческого распекания незрелых умов, поднявших будто бы небывалый вопрос. Мне пришлось напомнить ему, что государственный выкуп был применен Александром II при эмансипации крестьян и что пожелание, высказанное в адресе, имело в виду не более, как восполнение этой меры. Говорил я не без задора, считая себя задетым не менее других членов Думы выслушанным назиданием. А это послужило к созданию легенды, что первый я стал «кричать» на чле-

нов правительства. Муромцев, бывший в царскосельских салонах, передал мне однажды недовольство, вызванное в них моей речью; так как она заканчивалась заявлением, что мы собрались для отстаивания интересов русского народа и не уйдем отсюда иначе, как уступая грубому насилию, то «Новое время»[67] в лице Пильняка сочло возможным ограничиться заявлением, что я сказал речь во вкусе Мирабо. Другие пошли еще дальше и стали говорить о прямом плагиате. И мне однажды пришлось прочесть во «Всемирном вестнике», что моя речь является образцом русского ораторского искусства. В действительности, мое выступление, совершенно не подготовленное, имело все недостатки и достоинства импровизации. Это было искреннее задушевное слово человека, возмущенного тем, что противники не считают нужным дать себе отчета в опасности переживаемого момента, в трудности созданного ими же положения и в честном желании народного представительства найти выход, отвечающий по своему характеру смелому и удачному мероприятию, принятому не кем другим, как дедом Царствующего Императора. Прибавлю, что в моей речи не было ни слова о справедливой оценке и еще меньше о maximim's того числа десятин, которое следовало бы оставить в руках отдельных помещиков. Я сказал уже раньше, что в этих вопросах я резко расходился с моими товарищами; говорить против моих убеждений никогда не приходило мне в голову.

Моя независимость от какой-либо партийной программы или, как выразился П.Н. Милюков[68], моя недисциплинированность наглядно выразилась в одном из ближайших заседаний, при обсуждении одного из тех многочисленных законопроектов, которые по почину С.А. Муромцева были заготовлены кадетской партией.

Проект касался права собраний и, следуя французскому образцу, регулировал участие полиции в разрешении митингов. Я стоял и стою на этот счет на английской точке зрения. Она, как известно, сводится к тому, что никакого особого права митингов не существует, а имеется только сочетание двух несомненных прав граждан: свободы передвижения и свободы слова. Отсюда — то последствие, что нет необходимости в предупредительных мерах, и что вмешательство власти законно только тогда, когда на митинге раздаются речи, грозящие нарушением спокойствия и порядка или, как говорят англичане, мира. Ту же точку зрения высказывали депутаты только что образовавшейся рабочей партии. Я приветствовал в моей речи самый факт ее возникновения. И это обстоятельство, по-видимому, и содействовало упрочению того представления, что я желаю демагогическими, как сказано было, приемами отвлечь ее от кадет и чуть ли не завербовать ее себе. Кадеты выпустили против меня своих законоведов, Кокошкина, в том числе, которые стали приписывать мне неверное толкование английского законодательства. В.И. Герье в своей брошюре о первой Думе пошел еще далее и стал уверять, что я рекомендую устройство митингов на полотне железной дороги. Все такие нарекания я оставлял и по настоящее время оставляю без возражений.

Так как во все время заседаний Думы первого призыва я продолжал редактировать «Страну», то мои речи часто служили мне материалом для статей. Желая оказать воздействие на ход прений, я даром разослал мою газету значительному числу депутатов, без различия партий. Этим больше, чем моими личными выступлениями с трибуны, я объясняю себе некоторое влияние, приобретенное мною на моих товарищей. Партия, в которую меня записали, насчитывала всего трех членов. К.-д. относились ко мне с оглядкой, не всегда уверенные в том, что я буду голосовать с ними в унисон. И тем не менее, меня выбрали председателем и членом многих комиссий. Я председательствовал в комиссии по составлению наказа. Я был членом комиссии по составлению закона о личной свободе, и комиссия приняла мое предложение — держаться при изготовлении нашего проекта английской системы Habeas corpus. Я был также членом имевшей всего два заседания комиссии по законопроекту о гражданском равенстве. Винавер в необыкновенно полном, фактически обоснованном и глубоко прочувствованном докладе представил нам в этой комиссии очерк современного законодательства о евреях и порядка его проведения в жизнь администрацией. Впечатление, им произведенное, вероятно, не на одного меня, было подавляющим; если бы мы не гонялись за систематичностью работы и тут же бы приняли решение, то оно, разумеется, клонилось бы к уравнению евреев в правах с другими русскими подданными. Вообще наша законодательная деятельность сильно пострадала от желания присвоить себе и задачу кодификации. Так, выработавши законопроект о личной свободе, мы решили на три недели прервать нашу деятельность для того, чтобы дать возможность проф[ессору] Лазаревскому пройтись по всем томам свода законов и отметить номера статей, отменяемых нашим законопроектом. Благодаря этому, мы не успели внести результаты нашей работы в Думу до ее роспуска. И в комиссии о наказе работа шла медленно. Перед нами имелся проект наказа, выработанный Муромцевым. Поправки к нему сделаны были секретарем комиссии Острогорским[69], известным автором двухтомного сочинения «Демократия и политические партии»*. Кроме того, мы руководствовались переводами наказов германского Рейстага, австрийского Рейхсрата и французской Палаты Депутатов. Они появились в «Журнале Министерства Юстиции» и распространены были между нами в отдельных оттисках. Забыв изречение Петра «Промедление времени смерти подобно» — мы целые часы проводили в том, чтобы найти наиболее счастливое выражение нашим желаниям, и поэтому оставили дело неоконченным. К Василию Маклакову[70] перешло наше наследие. И не Думе первого, а только третьего созыва пришлось закончить нашу работу. Но и она не получила санкции Сената, и Думе приходится до сих пор пользоваться наказом, не удостоившимся его утверждения. Закон, доведен-

* Острогорский. Демократия и политические партии. М., 1997.

ный нами до конца, но не успевший пройти через Государственный Совет, был закон об отмене смертной казни. В прениях о нем приняли ближайшее участие Набоков[71] и Кузьмин-Караваев — оба криминалиста. Но пока мы пререкались, казни продолжали идти все более и более ускоряющимся ходом. Мне пришло в голову, нельзя ли петицией Государю приостановить их до момента обнародования изготовляемого нами закона. К.-д. и трудовики[72] сочли почему-то унизительной форму петиции, но я нашел поддержку в более консервативной части Думы. Граф Гейден[73] подписался под изготовленным мной текстом. Его подпись гласила: Вашего Императорского Величества верноподданный такой-то. Кроме членов Думы, петиция скреплена была и подписями одного или двух десятков членов Государственного Совета. Чтобы усилить производимое ею впечатление, я согласился присоединить к этим подписям имена лиц, не состоявших членами законодательных собраний. Получилось, таким образом, несколько тысяч подписей. Я отвез петицию в Петергоф — летнее пребывание Государя и передал ее дежурному адъютанту, князю Оболенскому. Он обещал доставить ее в тот же день Императору. Никакого ответа на нее не последовало и по настоящий день. По слухам, Государь остался недоволен упоминанием о том, что с казнями надо повременить до выработки Думой нового закона.

Много, чересчур много времени отведено было нами на запросы правительству. И о чем только ни делались эти запросы. О том или другом депутате, вошедшем в столкновение с полицией, о поведении отдельных губернаторов и рядом с этим о таких, заслуживающих полного внимания предметах, как еврейские погромы. С каждым днем выступления трудовиков становились все более и более резкими. Дело дошло до того, что однажды Аладьин[74] объявил, что ему с трудом удается удержать своих единомышленников от насильственных действий, направленных против министров. И чем резче был тон, какой позволял себе оратор, тем более говоривший мог рассчитывать на успех. Алая роза не покидала бутоньерки Аладьина. И все эти розы приносились ему патриотками из публики. Сам Аладьин не лишен был способности к самокритике и отличался большой терпимостью к отзывам своих товарищей по Думе. Однажды при выходе из залы заседания я встретился с одной русской писательницей — сотрудником «Речи», рядом с ней стоял Аладьин. — Ну, скажите на милость. Не права ли я, — обратилась ко мне моя знакомая, говоря ему, т.е. Аладьину, что в нем сидит и Дантон, и Хлестаков. — В это время подошел Родичев. — «И Дантона-то в Вас настолько, насколько в Дантоне сидел Хлестаков», — прибавил он, смеясь. Аладьин нисколько не обиделся и продолжал шутить, говоря: «Много ли, мало ли, а все же сидит во мне и Дантон».

Аникин[75] был менее резок, но в нем чувствовалась более глубоко засевшая ненависть ко всякому барству — и бюрократическому, и выборному. Человек он менее поверхностный, ближе стоящий к народу, хорошо понимающий его нужды и требования. Он

не лишен и литературного таланта. Рассказы, помещенные им впоследствии в «Вестнике Европы», далеко не прошли незамеченными. Рядом с ним Жилкин[76] — рабочий типограф, ставший журналистом и продолжающий подвигаться и по настоящее время на столбцах передовых газет и на страницах «Вестника Европы», отличался сдержанностью, здравым смыслом и определенностью своих заявлений. На мой взгляд, партию компрометировал крикливый и в общем пустой Заболотный[77], недавно перед тем выдержавший экзамен в Киевском юридическом факультете, а до этого времени «болтавшийся» за границей, в Ницце и Монте-Карло. Мне пришлось узнать его близко, так как он в эти годы странствий по целым месяцам секретарствовал у меня. Я продиктовал ему три тома — «Происхождение современной демократии», и у него осталось кое-что из записанных им речей французских ораторов 1789 года и следующих годов. После одного из выступлений его с трибуны, как всегда театральных, я остановил его замечанием: «Что ж Вы из речи Робеспьера не привели слов об Аристиде и Иисусе Христе». В ответ он посмотрел на меня зло. Удивительная судьба этого человека. Сын какого-то балетмейстера из крепостных, женатого по воле воспитавшей его помещицы на какой-то крестьянке, измученной его величием, он, оставшись сиротой, воспитан был матерью на последние гроши сперва в народной школе, затем в гимназии. Малый он был способный, неглупый и красивый. Что привело его в Ниццу, так и осталось невыясненным. Ходили о нем всякие слухи. Меня предупреждали на его счет, но так как мне скрывать было нечего, то я не особенно опасался приписываемой ему роли. Исчезал он иногда на целый месяц и снова появлялся. Объехал он как-то, не спросясь, моих русских знакомых и также вызвал в них недоверие к себе. Года за три до моего возвращения в Россию он уехал управлять имениями какой-то вдовствующей губернаторши, если не ошибаюсь, из Волынской губ[ернии]. Ранее этого в течение месяцев он был воспитателем ее сына и сопровождал матушку в Монте-Карло. Позднее он являлся уже не один, а в обществе дамы. И если обращался ко мне, то только с просьбой, с какой обыкновенно обращаются несчастные игроки. И вдруг он предстал передо мной в Потемкинском дворце. Ходили слухи, что в Подольской губ[ернии] он разъезжал с рекомендацией губернатора, выступал против польских панов и, наконец, прошел в депутаты, после чего сделался «непримиримым». Вопил, кричал, не вызывая тем, однако, никакого доверия даже в членах своей партии. Его брат — петербургский бактериолог. Года два спустя, после роспуска Думы, я осведомился у него о судьбе ярого трудовика. Оказалось, что он вернулся в Подольскую губернию, адвокатствовал, кутил и умер. Так, ничего, кроме перезвона речей Робеспьера, от него родина и не получила. Хотя названные мной лица и были в довольно тесном общении, но тон давали трудовой партии только Аникин да Аладьин. Они сходились в своей аграрной программе с К[узьминым]-Караваевым, и последний, по-видимому, не прочь был, опираясь на них, бороться с кадетами.

Влияние их, несомненно, росло. И к.-д. иногда принуждены были подчиняться их требованиям. Я имел случай убедиться в этом в день прибытия в Думу старшего военного прокурора для дачи объяснения по одному из сделанных нами запросов. Прокурора этого звали Павлов. Он приобрел несчастную известность своей настойчивостью в требовании смертных приговоров. Трудовики, как один человек, поднялись со своих мест и ушли из зала заседания, объявляя, что вернутся не раньше, как после его ухода. К.-д. последовали их примеру. Я остался сидеть на своем месте, и когда ко мне прислан был Кокошкин[78] передать решение обеих партий, я ответил ему, что, будучи послан в Думу моими избирателями, я выйду из зала заседаний, только уступая грубой силе. Говорил я громко, окруженный известным числом депутатов. Не успел я кончить своего заявления, как ко мне подошел Столыпин[79] со словами: «Позвольте представиться. Министр внутренних дел Столыпин. Я считаю нужным извиниться, — сказал он, — в том, что до сих пор не ответил на Ваше ходатайство о Щербаке»*. — Действительно, более трех недель прошло с тех пор, как я отправил Петру Аркадьевичу письмо, в котором просил его обратить внимание на то, что без суда продержали в течение месяца в Сумской тюрьме мирного толстовца и затем по этапу послали его в Архангельск. С дороги Щербаку удалось прислать мне 100 руб. с письмом, в котором он высказывал свои опасения, что его по дороге убьют, и просил в случае его смерти передать 100 руб. его сестре. Я знал Щербака еще за границей. Он в течение двух лет показывался в Русской Школе в Париже. Заставил меня продиктовать текст обращения к русскому обществу с приглашением собрать средства для создания школы имени Толстого и таки не раз доводил меня одного до каления праздными и пустыми речами «о том, как насадить правду на земле». Я узнал, что он одновременно владеет землей и в Сумском уезде и в Калифорнии, где одно время разводил ананасы, а затем, не осилив себя в скуке и влечении на родину, снова уехал в Харьковскую губ[ернию]. Тут он горячо проповедовал обязательный выкуп по справедливой оценке. Показался на земельном съезде и, вероятно, за резкое выражение своих мыслей препровожден был в Сумскую тюрьму, где сделался весьма популярным среди заточенных и, по собственному выражению, «командовал». Хотя при первом свидании на его вопрос: «а слышали Вы, что я шпион», — я и ответил «да, слышал», но во мне далеко не было уверенности, что Щербак не что иное, как праздношатающийся «ревнитель истины», набравшийся толстовской мудрости, склонный к лени и, в сущности, не представляющий никакой опасности для тишины и порядка. На мое письмо Столыпину не последовало ответа, я тогда воспроизвел мое послание и в печати. И только теперь, по прошествии многих недель, министр

* Ковалевский М.М. Открытое письмо министру внутренних дел [об Антоне Щербаке] // Страна. 1906. № 100.

внутренних дел изволил сообщить мне, что мое ходатайство удовлетворено, но что это достигнуто было не без труда, так как местное начальство не хотело выпускать Щербака из своих рук. — Если имеете на него какое-либо влияние, посоветуйте ему не возвращаться, — сказал мне Столыпин. — Это уже сделано, — ответил я ему. — Он соглашается вернуться в Калифорнию. — Через полгода отыскался «след Тарасов». Я получил от Щербака два первых №-ра газеты, издаваемой им на русском языке в Лос-Анджелесе. Название газеты, если не ошибаюсь, было «Тихий океан». А еще два месяца спустя, пришла уже из той же Калифорнии не газета, а письменное уведомление, что с Щербаком никакого дела иметь нельзя, и что никакого доверия он не заслуживает, что это не товарищ, а эксплуататор. Больше я о Щербаке не слыхал.

Едва ли не самое сильное впечатление вынесено было мной из заседаний, посвященных расследованию Белостокского погрома[80]. Дума послала своих комиссаров исследовать дело на местах. Комиссары же и выступили главными обличителями. Но все, ими сообщенное, все-таки не выходило из круга слухов, только князю Урусову[81], бывшему товарищу министра внутренних дел, удалось в своей речи сослаться на документы. Они, как оказалось впоследствии, были сообщены Лопухиным[82], прежнее положение которого, как лица, стоявшего во главе тайной полиции, объясняет и источник происхождения самих этих документов. От имени правительства выступил Столыпин. Место его речи, в котором говорилось, что ничто подобное белостокским событиям больше не повториться, было встречено сочувствием. Князь Урусов от себя высказал ту же уверенность и Родичев повторил ее в своем слове, присоединяя к имени Столыпина похвальные эпитеты, тот самый Родичев, который на расстоянии одного года заговорит о столыпинских галстуках, несколько изменяя, таким образом, еще более известное выражение — «муравьевские воротники». Мне было тяжело слышать, что правительство прямо или косвенно принимало участие в подстрекательстве еврейских погромов. Я не поверил этому, когда обвинения подобного рода были высказаны открыто парижской печатью. На приглашение участвовать в митинге протеста против поведения Плеве[83], я ответил словами, что один «пьяный людоед» способен натравливать одних подданных против других, и что таким Плеве я не считаю. За это заявление я прослыл юдофобом, и мне устроен был скандал со стороны слушателей, вероятно не без участия русской тайной полиции. Теперь в Думе большой убедительностью уважаемые мной люди, после тщательного допроса на местах, доказывали, что правительство не осталось чуждым погромам, что провокация в них приняла участие, как и во многом другом, что выдаваемо было за импульсивное и самопроизвольное выражение народного гнева. Новые погромы в Гомеле[84], повторившиеся в течение того же 1906 г., не оставили на этот счет ни малейшего сомнения. Лопухин собрал об этом данные на местах и довел их до сведения Столыпина. Столыпин, ранее просивший его не скрывать от него истины и придти тем самым на помощь его неопыт-

ности и новизне положения, не счел нужным даже ответить ему на письмо. А на вопрос о том, получено ли оно, ответил: «Таких глупостей лучше не посылать». Я слышал все это от самого Лопухина задолго до его процесса. Люди, бывшие ранее «на ты», разошлись и стали врагами.

Чем дальше шли заседания Думы, тем чаще и чаще стали доходить до нас тут же и опровергаемые слухи о недовольстве правительства ею и о предстоящем ее роспуске. Эти слухи усилились с момента выбора Думой особой комиссии по аграрному вопросу. По инициативе Гурко[85], стоявшего в это время во главе главного управления по землеустройству и земледелию, напечатано было в правительственных органах заявление, искажавшее действительный смысл того обязательного выкупа по справедливой оценке, на требовании которого сошлось большинство депутатов. К[узьмин]-Караваев предложил опровергнуть это заявление, открывая тем самым конфликт законодательной власти с исполнительной. Слушая его, я чувствовал, что затевается нечто недоброе и чреватое последствиями. Я, может быть, принял бы участие в прениях, если бы в тот же день мне не пришлось уехать в Лондон во главе депутации, посланной по решению Думы и с ее выбора на конференцию междупарламентской ассоциации мира. Сперва в председатели депутации к.-д. наметили Н.И. Кареева, но так как в это время завязались у них переговоры с министерством и шла речь о вступлении в него нескольких общественных деятелей, то решили удержать Кареева, как кандидата на пост министра народного просвещения, и избавиться от меня, как возможного его конкурента. Когда я прибыл в Лондон, то мои товарищи, в числе их Родичев и Острогорский, встретили меня известием, что Дума распущена. Мы сговорились не уехать из Лондона, не объяснив собравшимся причину, мешавшую нам участвовать в дальнейших трудах конференции. После прочтения мной наперед изготовленного текста обращения к конференции, Камбел Банерман — глава английского министерства — произнес обошедшие всю печать слова: «Дума умерла, да здравствует Дума».

По возвращении в Петербург, я узнал, что вслед за Думой умерла и «Страна». А когда три недели спустя я уехал за границу, то в Берлине у известного доктора Боаса узнал и другую, лично касавшуюся меня новость. Я успел за месяцы волнения в России приобрести новую болезнь — сахарную. А она привела меня снова в Карлсбад.

V.

Промежуток между роспуском первой и созывом второй Думы едва ли не самый тяжелый из пережитых новой Россией моментов. Далеко не было уверенности в том, что будет продолжено существование представительства, хотя и ходили слухи, что Столыпин принял председательствование Советом Министров под этим условием. Среди людей, еще недавно действовавших дружно, Выборг-

кое воззвание[86], с одной стороны, а, с другой, готовность некоторых общественных деятелей вступить в среду измененного кабинета, вызвали несогласие и счеты. Когда князь Петр Долгорукий пришел ко мне с предложением присоединить мою подпись к Выборгскому воззванию, указывая на то, что такое присоединение не грозит никакими судебными последствиями, я отвечал ему, что оно, во всяком случае, лишило бы меня перед моей совестью права считать себя доктором по государствованию, так как никто из специалистов этой науки не может допустить призыва подданных к неплатежу налогов и к отказу нести воинскую повинность. Присутствовавшие при этом некоторые члены редакции возобновленной под другим только названием «Страны», в числе их и К.К. Арсеньев и И.И. Иванюков вполне разделили мою точку зрения. Правительство, как показал пример Родичева и К[узьмина]-Караваева, не привлекло к суду лиц, выразивших голое сочувствие постановлениям, принятым в Выборге. Но от этого, как мне казалось, их положение могло сделаться еще более затруднительным. Платонические советы потрясать основы государства, не сопровождающиеся соответственным личным поведением (ведь, никто из этих господ не отказался платить падающий на него налог) должны были, по моему расчету, встретить еще большее осуждение в обществе, ввиду их совершенной безнаказанности. Но в России все прощают, как я имел случай убедиться впоследствии. Нет неисправимых политических ошибок, если только личное поведение не говорит о решительной перемене фронта и о переходе во вражеский лагерь. Каткову не простили, что из сторонника английской конституции он сделался сторонником абсолютизма, как не простили этого и несравненно менее заметным деятелям, например, ученому агроному из Александрии[87], который из к.-д. сделался чуть ли не черносотенцем. Но раз люди действуют в том же направлении, что и прежде, только ставят себя в смешное положение, как это сделали, по моему мнению, Родичев и К[узьмин]-Караваев, — им это не ставится в вину. Припоминаю и другой случай из более поздней практики. Столыпин из сторонников октябризма перешел в лагерь националистов и, разошедшись с alter ego в Думе, А.И. Гучковым, провел в порядке 87 статьи только что отвергнутый обеими палатами закон о западном земстве. Что делает Гучков, руководитель октябристов[?] Вместо того, чтобы во главе их открыть парламентскую борьбу против недавнего спутника, он внезапно уезжает на Дальний Восток. Что же[?] Помешало ли это ему занять в партии после своего возвращения прежнюю роль вожака. Ни мало. Его неуспех на выборах в 4-ую Думу вызван был не тем, что партия отказалась от него, а тем, что он был забаллотирован к.-д. Такой пассивности, какую русские политические круги обнаруживают по отношению к своим героям, не знает ни одна страна в Европе. Терпимо русское общество и, прибавлю, преступно терпимо и к тем, кто, руководствуясь личными соображениями об общих пользах и нуждах, позволяют себе не порывать старых отношений с людьми, связавшими свое имя с явным вы-

ступлением против самых основ обновленного строя. Столыпин идет на роспуск Думы первого созыва. И что же[?] Люди кристальной чистоты, как Н.Н. Львов[88] или граф Гейден, соглашаются войти в состав образуемого им кабинета. Я так был уверен в невозможности подобного шага с их стороны, что еще в Лондоне, куда пришло по телеграфу известие на этот счет, решительно отрицал такой факт перед некоторыми английскими политическими деятелями, которых мне пришлось встретить за завтраком у издателя «Таймс». При первом же свидании с Гейденом я в присутствии Набокова и других членов комиссии по личной свободе* передал ему мою уверенность в том, что распространяемые о нем слухи ложны. — Но почему же, — сказал мне Гейден с наивностью для меня непостижимой, — не войти мне в состав кабинета, раз у меня есть уверенность, что тем самым я заставлю этот кабинет держаться известного направления. — Надо отдать справедливость Набокову и другим членам комиссии: они поддержали меня, и Гейден ушел, говоря: «Вы породили во мне большие сомнения». — Я узнал, однако, что в тот же день он виделся с А.Ф. Кони[89], которого также звали в состав кабинета. И только отказ Кони повлек за собой и воздержание Гейдена от дальнейших переговоров со Столыпиным[90].

Еще более поразил меня Н.Н. Львов. На похоронах Герценштейна я отвлек его в сторону и стал горячо доказывать ему, что он губит себя и наше общее дело, соглашаясь вступить в состав правительства. И что же он ответил мне. «Есть моменты, когда человек должен пожертвовать собой». Я рад, что из этих переговоров ничего не вышло. И радуются этому вместе со мной и Кони, и Львов. Однажды, после резкого выступления Столыпина против элементарнейших основ всякого правового порядка, Кони сказал мне: «Как я хорошо сделал, не пошедши в его товарищи». Что же касается до Львова, то в самый разгар расхождения обеих палат со Столыпиным по вопросу о западном земстве, он, встретив меня в клубе Общественных деятелей, сказал, что он сочувствовал бы всякой интриге, которая бы свергла этого самодура временщика с захваченного им поста диктатора.

Чем объяснить эту податливость русских парламентских деятелей[?] Обаянием ли, какое имеет для них самое понятие о правительстве, надежда ли хоть что-нибудь провести в роли министра или главноуправляющего, или неясное понимание того, что представительный строй, особенно при тяготении к парламентаризму, возможен только под условием резкого противоположения правительства и оппозиции. Не будь этого, они поняли бы, что не нам, членам разогнанного парламента, обелять человека, принявшего участие в этом разгоне. Обелить его мы бы не обелили, а сами, разумеется, прослыли бы перебежчиками. Все дальнейшее поведение Столыпина могло только убедить названных мной обществен-

* Так в тексте.

ных деятелей в невозможности таких salto-mortale. Какую бы роль пришлось им играть, стоя рядом с Щегловитовым и Кассо[91]. Смерть вскоре решила для Гейдена все сомнения. И эта смерть была решительным ударом, не скажу для русского либерализма, но для честного истолкования манифеста 17-го октября. Гейден пользовался репутацией характера, человека, неукоснительно шедшего одной дорогой, не отступавшего ни перед какой опасностью и неспособного подчинить свое личное мнение чужому руководительству, — а это были качества редкие, и наметившие его в руководители партии несколько правее к.-д. и левее октябристов, — партии, которая бы с защитой необходимых вольностей и представительного строя не соединяла бы готовности пойти на аграрный переворот с помощью принудительного отчуждения по справедливой оценке и передать судьбы русского парламента в руки безграмотной толпы[92].

Он был не без хитрости и, ходя на собрания партии демократических реформ, возбуждал против себя Постникова смелыми и иногда удачными нападками на его доктрину о 100-десятинном наделе помещиков. С ним приходил к нам и Ефремов[93]. Оба целиком переняли у нас политическую программу партии, в выработке которой, как уже сказано, принял некоторое участие и я. Но в вопросах социальных и особенно аграрном они уклонялись значительно в сторону. Обоими было положено начало новой парламентской партии. Она получила, кажется по вине Гейдена, смехотворное название партии мирного обновления. Стала она на ноги с тех пор как сбросила с себя это название и слывет теперь партией прогрессистов[94]. В ее рядах стоит в настоящее время и Постников, к ней примыкаю и я, сохраняя в то же время свою прежнюю «недисциплинированность» и право расходиться с моими товарищами по отдельным вопросам программы. Мне даже удалось оказать некоторую помощь партии во время выборов в 4-ую Думу. Напечатанные мной в «Русском слове» статьи в ее защиту были прочтены многими, нашли поддержку в провинциальной печати и, вероятно, привлекли к партии тех, кто, не решаясь открыто выступить к.-д.*, не хотели в то же время идти заодно ни с октябристами, ни, тем более, с националистами.

Но вернемся к характеристике этой переходной эпохи, которая, вероятно, не у меня одного оставила одни грустные воспоминания. Она ознаменована была рядом открыто преступных выступлений, связанных с именем черной сотни, но руководимых обыкновенно «добровольными сотрудниками министерства внутренних дел», как назвал с трибуны Государственного Совета шпионов-провокаторов глава правительства Столыпин. Первым их подвигом было убийство Герценштейна. Я знал Герценштейна еще молодым человеком, прибывшим из Одессы в Москву, продолжавшим в ней занятия по политической экономии, пользуясь одно-

* Так в тексте.

временно советами и прежнего своего учителя Постникова, и нового — проф[ессора] Чупрова. Трудоспособность его была поразительна. Он изучал с большой обстоятельностью и экономистов-классиков, и Маркса, и катедр-социалистов. Жил он на гроши и преследовал только одну цель выдержать магистерский экзамен и посвятить себя преподаванию. Боголепов сломал его карьеру. Еврею, мол, не полагается заниматься гуманитарными науками, так как эти науки стоят в ближайшей связи с религией и христианской моралью. Скрепя сердце, Герценштейн, только что вступивший в брак с возвращенной из Сибири административно-ссыльной девушкой русского происхождения и православной веры, поступил на службу в банк Полякова. Как человек умный и знающий, он скоро с низов поднялся навысь, особенно с тех пор, как ему удалось добиться для выпускаемых банком московских закладных листов обращения по всей империи. Прошло несколько лет. Герценштейн составил себе некоторое состояние и, к немалому удивлению Полякова, объявил ему, что уходит из банка. Поляков с улыбкой предложил ему увеличить его вознаграждение. Но отказ был решителен и мотивирован желанием посвятить остаток дней занятиям наукой. Подготовлялось наступление либеральной эры. Герценштейна, после защиты им диссертации, допустили к преподаванию политической экономии в Петровско-Разумовской академии. Он всецело отдался своему делу. Его нельзя было даже убедить временно приехать в Париж для прочтения лекций в Русской Школе. Он профессорствовал и изучал для самого себя земельный вопрос в России, многие стороны которого выяснило ему его пребывание в земельном банке. По приезде моем в Москву я встретил его на земском съезде. Ко мне подошел плешивый, с белеющей бородой старик, которого я сразу и не узнал. Съезд посадил его во главе устроенной им аграрной комиссии. Мы перебросились немногими словами. Герценштейн стал жаловаться на недостаток экономистов и указывал свое расхождение во взглядах на земельную реформу, между прочим, с Постниковым, предложения которого казались ему слишком радикальными. Я увидел его снова в Петербурге, но уже депутатом от Москвы, пошедшим на это новое для него служение значительно наперекор собственному желанию, уступая настояниям к.-д., которым нужен был специалист по земельному вопросу. Герценштейн передал мне тяжелые впечатления, вынесенные им из избирательной кампании. Его часто вызывали к телефону за тем, чтобы обругать жидом со всякого рода квалификациями. Намеченный ранее кандидат Пав[ел] Долгорукий уступил ему очередь. Реакционная печать Петербурга поспешила облить Герценштейна также помоями. Как член совета земельного банка, в котором он, кажется, ранее был и оценщиком, Герценштейн успел, разумеется, вызвать к себе нерасположение многих из тех, кто впоследствии вошли в состав союза объединенного дворянства и приняли на себя миссию спасителей отечества и, прежде всего, первенствующего в нем сословия. Возмущенный этими нападками на Герценштейна, я напечатал в «Стра-

не» статью с воспоминаниями о нем и его приятеле Иоллосе*. В ней я приблизительно рассказал то же, что читатель прочтет в моих мемуарах. Я отдал должное этим молодым людям за их ревностное служение науке и публицистике. Иоллос сделался известным берлинским корреспондентом «Русских Ведомостей», внимательно следил за тем, что делалось в немецком Рейхстаге, знакомил читателей с ростом социального законодательства и, таким образом, немало содействовал воспитанию тех самых поколений, которые теперь были призваны к участию в представительстве. Моя статья обрадовала тех, кого реакционная печать избрала своей мишенью для своих нападок. Иоллос, ближе меня знавший, бросился ко мне на шею, а Герценштейн пожелал сняться со мной в саду Таврического дворца. Это его последняя фотография.

В дождливую погоду, по грязной дороге на большую длину растянувшаяся процессия следовала за гробом убитого православного еврея, вся вина которого состояла в том, что в Думе, по требованию большинства, держа ответ на надменную отповедь Гурко, он, говоря о пожарах помещичьих усадеб, назвал их картинно иллюминациями. Эта фраза пережила его. Мне не раз приходилось да и еще приходится слышать ее в речах членов Государственного Совета и читать в реакционных газетах упоминание о «герценштейновских иллюминациях». Речь Герценштейна не была подготовлена, произнесена экспромтом; быть может, поэтому не совсем складная, но намечавшая, как нельзя лучше, причины и размер того зла, с которым приходилось бороться. Этим злом был земельный голод крестьянства, вызванный не одними недостатками реформы 19-го февраля [18]61-го года, но и искусственным ростом арендных цен, при установлении которых крестьянами почти всегда не принимался в расчет затрачиваемый ими труд на обработку земли. Раздражило помещиков и ясное освещение того факта, что сельскохозяйственный прогресс коснулся лишь небольшого числа так называемых культурных имений. Что же касается до остальных, то сдача большинства земель крестьянам сама уже свидетельствовала о том, что русский помещик, не в пример германскому, далеко не является культуртрегером.

Мы похоронили нашего дорогого товарища в Териоках и решили помянуть его в Петербурге в церкви на углу Литейной и одной из тех широких улиц, которые ведут к Таврическому саду. На панихиде я встретился с Муромцевым, которого не видал со времени роспуска первой Думы. У нас было о чем поговорить по окончании службы. Но полиция «убедительно» попросила нас разойтись поскорее. Убийством Герценштейна не ограничились подвиги «ура-патриотов». Вскоре распространилось по Петербургу известие, что на Витте сделано было два покушения. Открыли бомбы в печи. Слух показался невероятным, и нашелся депутат, в

* Ковалевский М.М. Член Государственной Думы Герценштейн // Страна. 1906. № 85.

речи свой намекнувший на то, что покушение, вероятно, подготовлено самим графом, должно быть, для усиления его популярности. Витте рассердился и потребовал производства судебного расследования.

Если покушение на Витте оказалось произведенным с негодными средствами, то другое, жертвой которого сделался мой приятель Иоллос, было вполне удачно. По выходе из редакции «Русских ведомостей», Иоллос направился к себе. Встретил не на далеком расстоянии от собственной квартиры неизвестного человека, который направил против него несколько выстрелов и скрылся. Иоллоса подобрали едва живым, и он вскоре умер от ран. Оба покушения против Витте и против Иоллоса сделаны были одним и тем же лицом, при участии провокатора Афанасьева, заведовавшего делами барона Буксгевдена[95], который, в свою очередь, служил в тайной полиции Москвы. Афанасьев убедил убийцу, что Иоллос присвоил себе какие-то 20 000 руб., собранные или кем-то пожертвованные на революцию. Когда убийца узнал из газет, кто был Иоллос и каково было отношение к нему ревнителей освобождения, он решился отомстить Афанасьеву. Условившись с ним сойтись для переговоров о новом покушении на Витте, он при свидании покончил с ним собственноручно. Убийца, которого звали, кажется, Федоров, прежде чем скрыться, имел свидание с людьми, близкими к Иолоссу и рассказал им все чистосердечно[96]. Когда Витте уведомлен был о том, в каких условиях затеян был против него заговор, он не только сообщил обо всем следователю и прокурору, но и вошел в сношение с убийцей, который высказывал желание вернуться из-за границы для дачи показаний. Но делу не дано было дальнейшего хода. Прокурор, которым был не кто другой, как Камышанский, лично обязанный Витте и потому неспособный отказать ему в своей откровенности, сообщил, что делу нельзя дать дальнейшего хода, так как приходиться стучаться в такие двери, которые навсегда должны быть закрытыми. Что скрывается за этой туманной фразой, вероятно, навсегда останется неизвестным, так как Камышанский умер, а все дальнейшие шаги Витте к раскрытию истины, все его обращения к председателю Совета Министров не имели для него другого последствия, кроме получения очень дерзкого письма, в котором, между прочим, говорилось, будто Витте содержанием своего ходатайства напомнил министру одну распространенную революционную брошюру, исходящую от террористов. Ответное письмо, по-видимому, составлено было Щегловитовым. Оно носит черты его слова и его дьяческой манеры. Недаром он ведет свой род от известного дьяка Щегловитого, заседавшего в приказах Московских царей. Мне все эти подробности стали известны по следующему случаю. Когда раскрыты были подвиги Азефа, то редакция «Речи»[97] обратилась ко мней с просьбой написать статью о провокации. Прежде чем удовлетворить ее желание, я счел нужным посоветоваться с Витте и при свидании сказать ему, что воспользуюсь случаем, чтобы поднять вопрос и о сделанном против него покушении. «Не тро-

гайте Вы этого болота, — ответил мне Витте. — Если хотите послушать моего совета, не пишите ничего о провокаторах». Я ответил отказом на предложение «Речи». Ко всем провокаторским действиям, жертвой которых пали люди, принимавшие участие в освободительном движении, необходимо отнести и убийство священника Гапона[98]. Говоря это, я иду против общепринятого мнения, будто сам Гапон был чуть ли не провокатором. Его убийство, как рассказывают, произошло в обстановке, не оставившей сомнения в том, что он готов был идти заодно с Рачковским[99], лицом, ранее заведовавшим тайной русской полицией в Париже и, по-видимому, не потерявшем своих связей с ней и в России. Эти слухи идут, разумеется, от его убийцы, которым был один русский инженер, если не ошибаюсь, пребывающий теперь за границей. Лицо это искало видеться со мной в Париже, но я уклонился от этого свидания. Самого Гапона я видел только раз в жизни в следующей обстановке. Когда, после известной манифестации, устроенной, если не ошибаюсь, в апреле 1905 года[100], по-видимому, по почину самого Гапона, манифестация, целью которой было представить Государю петицию самими рабочими об улучшении их участи и сопровождавшейся жестоким кровопролитием, Гапон, как говорят, спасен был от угрожающей ему смерти не кем другим, как его будущим убийцей и вслед за тем бежал за границу в Париж. Русские эмигранты и некоторые французы устроили ему нечто вроде банкета в кафе «Вольтер». На этом банкете присутствовал в числе других и известный французский писатель Анатоль Франс. Меня также пригласили. Но я уклонился от свидания, так как решительно не мог одобрить того, что казалось мне заигрыванием недавнего вождя рабочих с террористами. Гапон, не знавший ни слова по-французски, печатал при их участии воззвания необыкновенно крикливые, мало отвечавшие представлению о духовном пастыре, сердечно участвовавшем в рабочей нужде, — представления, которые легко было составить себе из газетных отчетов о его предшествовавшей деятельности. Одни библейские тексты, цитируемые в изобилии и чередовавшиеся с самыми грубыми выходками против царского правительства на хорошо известном жаргоне с[оциал]-революционеров, одни давали повод думать, что эти манифесты выходили не без его участия. И действительно, как я мог убедиться впоследствии из рассказов моих знакомых, он в это время поддерживал довольно близкие отношения с корифеями той самой партии, в которой действовал и Азеф. Но этому сближению с с[оциал]-р[еволюционерами] предшествовало братание с русскими с[оциал]-д[емократами], братание, кончившееся разрывом. Мне передали также, что в Париж Гапон явился после кратковременного пребывания в Монте-Карло, где он играл на рулетке. Это впоследствии подтверждено было мне самим Гапоном. Не зная, благодаря всему этому, что собственно представляет собой этот священник-демагог со времени своего перехода через границу, я не видел возможности участвовать в его чествовании. Но случай свел нас несколько дней спустя. Я пил послеобеденный кофе в Венской

пивной на бульварах в обществе моего приятеля Гамбарова и двух дам. В пивную вошел мой знакомый, бывший корреспондент «Новостей», Семенов-Семеновский, в сопровождении двух других мужчин. Они сели за столик в недалеком расстоянии от меня. Минуты через две, обменявшись немногими словами со своими собеседниками, корреспондент «Новостей»[101] подошел ко мне и заявил, что священник Гапон, сидящий с ним рядом, выразил желание быть мне представленным и поговорить со мною, если возможно, в тесном кругу. Я выразил свое согласие. Мы поднялись наверх, ища уединения. Более часа провел я в обществе Гапона, одетого, разумеется, в штатское платье и произведшего на меня впечатление франтоватого и даже фатоватого европейца. Во время разговора я узнал от Гапона, что он собирается вернуться в Россию с тем, чтобы добиться от правительства, во главе которого стоял граф Витте с Тимирязевым[102], в роли министра возвращения имущества, захваченного у рабочего синдиката, которого он был членом. Это имущество он оценивал приблизительно в 30 000 рублей. С этими деньгами, к которым должен был присоединиться и его выигрыш в Монте-Карло, Гапон собирался издавать рабочую газету. Так как я сам намеревался в это время сделаться редактором, то я заметил ему, что статьи по рабочему вопрсоу он мог бы печатать и у меня. — «Это совершенно немыслимо, — ответил мне Гапон. — Я могу сотрудничать только в рабочем органе, — не ввиду расхождения наших взглядов, которого, пожалуй, нет в самом деле, а потому, что всякая буржуазная печать не может найти моей поддержки». Гапон жаловался на то, что за ним постоянно следят шпионы. — «Я и в пивную-то пришел, чтобы отдышаться от них. В кафе Риш, — прибавил он, смеясь, — я только что напоил их кофе и незаметно скрылся под предлогом возвращения домой».

Еще раз мне пришлось слышать о Гапоне. Он прислал мне в Петербург необыкновенно резкий протест против поведения другого вождя рабочих, если не ошибаюсь, Ушакова, и просил напечатать его в «Стране». Я через посланного передал о моей готовности обнародовать лишь ту часть протеста, которая касается защиты Гапоном собственного поведения, воспроизводить же его ругательства на неизвестного мне человека я не считаю себя вправе. Несколько часов спустя Гапон взял обратно через посланного свою рукопись, говоря: «Если печатать, так все печатать или ничего». Я привожу все эти подробности потому, что они доказывают, в моих глазах, определенность и искренность Гапона. Его обвиняют в том, что он хотел взять у правительства 30 000 р. для того, чтобы издавать газету в правительственном смысле, что ввиду этого он вошел в личные сношения с Витте и вел переговоры с Рачковским, агентом тайной полиции. Витте несколько раз говорил мне, что никогда в своей жизни не видел Гапона. С Рачковским он, может быть, и имел свидание с целью вернуть обратно те 30 000 р., в которые он оценивал имущество, конфискованное у его рабочего союза. Он мог вести с Рачковским те неискренние

речи, какие часто ведутся с агентами тайной полиции. Обращение к Рачковскому не представляет само из себя ничего невероятного. Ведь, когда пришлось хлопотать о том, чтобы племянник профессора Гамбарова, обвиняемый в распространении каких-то прокламаций во время московского восстания, вместо административной ссылки в Туруханский край, отправлен был заканчивать свое образование за границей, прибегли к тому же Рачковскому, и его посредство оказалось весьма успешным. Мне сообщили, что и на мой отчет собираемы были сведения у Рачковского, и что он аттестовал меня вполне правильно, как опасного конституционалиста, не имеющего ничего общего с терроризмом. Во всяком случае, остается непонятным, почему из двух собеседников, которых подслушали убийцы, отправлен был на тот свет один Гапон, Рачковский же умер естественной смертью и несколько месяцев спустя. Мне пришлось еще раз слышать о деятельности Гапона и группировавшихся вокруг него рабочих от одного приват-доцента в Петербурге, в руках которого имеется, как он мне заявлял, архив этого рабочего союза. На мой вопрос, считает ли он Гапона провокатором, я получил самый категорический ответ, что — нет, и что самая мысль об этом кажется ему чем-то совершенно невероятным. Домашняя обстановка Гапона, по словам свящ[енника] Г. Петрова, была более, чем скромная. Когда Гапон исчез, оставив семью, Григорий Спиридонович счел своим долгом проведать ее и поэтому случаю имел возможность убедиться, что Гапон жил бедно. Привожу это свидетельство потому, что от Гапона я слышал более отрицательный отзыв о Петрове, свидетельствовавший об отсутствии между ними какой бы то ни было близости.

Если принять во внимание быстрое чередование всех только что описанных покушений и убийств, то можно судить, в каком настроении проведены были мной и моими единомышленниками ближайшие месяцы, следовавшие за роспуском Думы. К тяжелым впечатлениям присоединились и неудачи с газетой и поражения на выборах в Государственную Думу 2-го призыва, и затеянный правительством протест* против лиц, подписавших Выборгское воззвание[103]. Мы тщетно переименовали «Страну» в «Равенство», «Молву» и «Телеграф», тщетно искали новых средств, чтобы продлить ее существование под новым прозвищем. Когда газету закрыли в четвертый раз и поиски за деньгами оказались неудачными, пришлось поневоле прекратить деятельность публициста. Предстояло ликвидировать дело не только с затратой собственных средств, но и с появлением на скамье подсудимых за статьи, написанные или только напечатанные более года тому назад и не возбуждавшие в свое время никаких сомнений в их цензурности. Одна из этих статей написана была мной. Она решала в отрицательном смысле вопрос о том, возможно ли, чтобы незаконные действия министра покрыты были всемилостивейшим рескриптом.

* Так в тексте. Следует: «процесс».

При конституционном образе правления — монарх безответствен; ответственность несут одни его министры. Выдачей же рескрипта, которым император приносит свою благодарность за те или другие акты главы правительства, с последнего ответственность переходит на самого монарха. Эти именно мысли и развиты были в статье, напечатанной, как передовая, и без моей подписи. Так как она появилась во время моего отъезда из Петербурга, то на газете стояла подпись одного моего товарища по редакции, проф[ессора] Иванюкова. Он один был привлечен к суду. Прокурор требовал ссылки редактора на поселение в Сибирь. Неимоверность этого требования и была причиной того, что суд со сословными представителями оправдал моего приятеля. В другой раз, наоборот, мне пришлось быть в ответе за действие, в котором я обычно не участвовал. Иванюковым принята была и отпечатана статья Боборыкина самого невинного содержания. В ней выражалось недоумение, как будут великосветские девушки толковать с людьми, запятнавшими себя кровью своих сограждан при подавлении действительных или мнимых попыток к восстанию. Министерству юстиции угодно было найти в этой статье оскорбление всей армии. Хотя статья была подписана, но Боборыкина не тронули, а меня осудили на два месяца тюремного заключения. Приблизительно год спустя, Судебная палата признала этот приговор неправильным, ввиду отсутствия состава преступления. В другой раз, уже не помню, за какую статью, также напечатанную больше года тому назад, меня приговорили к домашнему аресту, и приговор снова был отменен высшей инстанцией. Каждый раз следователем бралась с меня подписка о невыезде и нужно было специальное ходатайство для получения заграничного паспорта. Возбуждены были также и частные преследования: 1) каким-то становым приставом или земским начальником отдаленной губернии, признавшим себя задетым какой-то провинциальной корреспонденцией и, в конце концов, в суд не явившимся, 2) бывшим товарищем министра внутренних дел Гурко, считавшим себя оскорбленным статьей о его продовольственной операции с Лидвалем, бывшим директором лесного департамента, привлеченным к судебной ответственности за неправильную сдачу в аренду казенных участков и вызвавшим таким поведением совершенно понятный протест. Последнее дело, впрочем, не дошло до суда. Адвокат Грузенберг предложил задетому сделать личное обращение ко мне. Я согласился напечатать мои извинения, но не раньше, как после постановки оправдательного приговора, что и сделало было мной впоследствии. Своим адвокатом Гурко избрал известного черносотенца Булацеля, который постарался оклеветать обоих редакторов утверждая, между прочим, что совевременно уведомленные о намерении революционеров произвести принудительный выкуп помещичьих земель по справедливой оценке, мы поспешили выгодно продать наши имения чуть не за миллионы. Из двух подсудимых задетыми себя за это заявление признал один Иванюков, у которого не было никакого имения. Он дал Булацелю заслуженную им отповедь, но не дого-

ворил до конца; председатель прерывал его замечанием, что из этой отповеди может возникнуть новый процесс и что поэтому лучше приостановить его в самом начале.

Отстаивая свое поведение, я во время судебного разбирательства должен был дать следующие объяснения. Гурко в действительности обязан мне только тем, что разоблачение его сделки с Лидвалем появилось целые сутки позднее[104]. Когда в редакцию «Страны» принесены были А. Страховским* сведения на счет того, что торговцу ватерклозетами поручено было товарищем министра провиантирование голодающего крестьянства, я признал этот слух совершенно невероятным. Мне удалось убедить даже самого Стаховича в том, что министр, справедливо вызвавший негодующее к нему отношение всей Думы ложным истолкованием в печати затеваемой ею аграрной реформы в форме правительственного сообщения, не мог быть до такой степени опрометчив, чтобы дать своим врагам такой материал для нападок, как сделка с авантюристом Лидвалем. Когда на следующий день «Речь» напечатала те же данные и началось вслед за тем судебное преследование, то мне не оставалось ничего, как дать выражение моему искреннему негодованию по отношению к нерадивости и легкомыслию, жертвой которого могли сделаться миллионы крестьянского люда. Мы вышли из суда оправданными.

Независимо от всех этих процессов наше тяжелое настроение в течение месяцев поддерживалось слухами о том, что добрая половина наших товарищей по Думе первого призыва будет отстранена от дальнейшей политической деятельности, ввиду своего участия в составлении Выборгского воззвания.

Накануне дня открытия судебного разбирательства против так называемых выборжцев Столыпин устроил у себя первый политический раунд. Получив приглашение на него, я ответил выражением моей признательности обоим хозяевам — мужу и жене — и соболезнованием, что не могу воспользоваться любезным приглашением, так как намерен провести с моими товарищами по I Думе вечер, предшествующий начатому против них правительством процессу. Оказывается, что Петр Аркадьевич счел себя крайне задетым этим письмом. Он показывал его лицам, собравшимся на его ужин, говоря: «Вот что счел нужным написать мне г. М. Ковалевский». Я получил сведения на этот счет от присутствовавшего на вечере графа Орлова-Давыдова. Письмо вскоре стало общеизвестным и обошло собой печать, как столичную, так и провинциальную. Оно завоевало мне симпатии многих из привлеченных, но за неделю, в течение которой длился процесс, я успел вызвать нерасположение некоторых из них статьей, в которой, шутя, сопоставил их платоническую агитацию с несравненно более практическими приемами трезвенников. Те, действительно, бьют правительство по карману, не столько советуя другим, но и сами не платя «моно-

* Так в тексте. Следует: Стаховичем.

польного сбора» царскому кабаку. Я нарисовал картину будущего процесса, в котором, вместо выборжцев, займут на скамье подсудимых антиалкоголики. Некоторые кадеты сочли почему-то оскорбительной для себя эту параллель. В день окончания процесса собрались у меня представители различнейших партий — с целью выразить сочувствие осужденным. Пришел и Муромцев, сообщивший мне, что кое-кого не будет и что их отсутствие — ответ на мою статью. Я хотел придать вечеру характер чествования моих осужденных товарищей. Но мой расчет не удался. Процесс выборжцев совпал с преследованием социал-демократов 2-ой Думы и осуждением некоторых из них на поселение в Сибирь[105]. Сочувствовавшие им народники-социалисты, представленные некоторыми членами редакции «Русского богатства» (Мякотиным и Пешехоновым) предложили направить им адрес за нашими подписями. Я отказался подписать его, желая тем самым освободить и моих гостей от шага, который, конечно, ухудшил бы их участь. В числе подписавших адрес был Муромцев. Но из всей этой затеи ничего не вышло, так как не нашлось газеты, готовой напечатать текст самого адреса, очень резкий, не столько по содержанию, сколько по тону. Приговор над выборжцами обнаружил свое жало не сразу. Объединенное дворянство[106] приложило от себя старание сделать из кары, наложенной на выборжцев, целый ряд неожиданных выводов. Чувство мести людям, готовым пойти на принудительный выкуп помещичьих земель, да еще по справедливой оценке, в связи с хамством, побуждающим стать на сторону сильного и по возможности заслужить перед ним, подсказало дворянству тех губерний, в которых особенно сильно представлен был элемент «объединенных» — невероятное решение. Они признали позорищем и бесчестным то, что на самом деле не носило этого характера. С помощью такого расширительного толкования закона дворянские собрания признали себя вправе исключить выборжцев из своей среды. А это, в свою очередь, имело то последствие, что они не только устранены были от участия в дворянских выборах, но и от права зарабатывать себе существование отправлением обязанностей присяжного поверенного. Когда некоторые выборжцы вздумали выступить на суде в роли защитников, министр юстиции Щегловитов позаботился о том, чтобы устранить их от этой доходной профессии. Наиболее благоразумные, как, например, Муромцев принуждены были с этого времени ограничить свою деятельность только участием в юридических консультациях, а это, в свою очередь, заставило его искать добавочного заработка и принимать на себя чтение лекций в разных высших учебных заведениях Москвы. Кто, подобно мне, занимался с 23-летнего возраста преподавательской деятельностью, знает, что лекция требует затраты большой нервной энергии. Мне никогда не приходилось читать лекции без подготовки, иногда требовавшей не нескольких часов, а дней и недель. Но и хорошо подготовленную лекцию всегда начинаешь при некотором сердечном волнении, разумеется, тщательно скрываемом от аудитории. Читать более 20 лекций в неде-

лю, как это делал Муромцев в последние дни своей жизни, это своего рода самоубийство. Меня не удивляет поэтому, если этот человек, надорвавший свои силы чуть не ежедневным председательством в Думе 1-го призыва, выступлением на кадетских съездах и собраниях, речами во время Выборгского процесса, переживший в течение немногих месяцев все те треволнения, которые вызывает неожиданный переход от Капитолия к Торпейской скале, наконец, измучивший себя слишком ретивым лечением в Киссингене, где он ежедневно пил воду ушатами и с целью быстрого худения проделывал более 20 верст в день, мог затем 20-ю лекциями в неделю ускорить наступление паралича сердца, от которого он и умер.

Выборгский процесс отнял политические права у целого ряда людей, получивших ту подготовку, которая необходима для сознательного несения законодательной деятельности. Он скосил цвет русской интеллигенции, заседавшей в Таврическом дворце. На смену убывшим выступили, правда, новые молодые силы, но Маклаковых в их числе было не много. Этим объясняется, почему люди, чудом уцелевшие от погрома, как, например, Родичев, К[узьмин]-Караваев и я в их числе не сочли себя вправе уклониться от выборов в Государственную Думу 2-го призыва, хотя и не рассчитывали на успех своей кандидатуры. В Тверской губ[ернии], где Родичев и К[узьмин]-Караваев владеют количеством земли, достаточным для избирательного ценза, либеральное направление представлено было еще значительным числом земцев. Они имели некоторые шансы на успех. Но в Харьковском уезде, в котором я прошел на первых выборах только благодаря тому, что меня мало кто знал, провал казался неизбежным. И тем не менее, мне не хватало всего трех голосов для того, чтобы пройти в выборщики, да и тех не оказалось только потому, что крестьян убедили в невозможности голосовать за членов 1-ой Думы без всякого отношения к тому, подписано ли было кандидатом Выборгское воззвание, или нет. Один из избирателей крестьян по окончании выборов прямо заявил мне об этом.

Несмотря на всю трудность положения, я не пожелал снять мою кандидатуру или уклониться от публичного изложения моей программы. Мало этого, чтобы познакомить моих избирателей с моей деятельностью в 1-ой Думе, я отпечатал мои речи в отдельном сборнике рядом с речами других моих товарищей по партии демократических реформ*. Это издание я распространил в значительном числе экземпляров между членами выборного собрания. Моя неудача в значительной степени была подготовлена именно этим шагом. После изложения мной моих взглядов по важнейшим вопросам, которыми предстоит заняться в Думе, я, по приглашению одного местного пивовара (Грищенко), также в душе своей

* Партия демократических реформ. Речи членов партии в I Государственной Думе. СПб., 1907.

лелеявшего надежду попасть в депутаты, должен был прямо ответить на вопрос — допускаю ли я обязательный выкуп помещичьей земли правительством. Мне хорошо было известно, что земледельцы Харьковской губ[ернии] были против этого выкупа. Я сам допускаю его только в известных условиях. Но скрыть свою мысль я считаю ниже своего достоинства, поэтому, отвечая на вопрос, я заметил, что для борьбы с безземельем или малоземельем крестьян я ставлю на первый план переселение и передачу крестьянам в собственность казенных земель. Но если бы этих двух мер оказалось недостаточным, то в применении к латифундиям я бы считал возможным и правительственный выкуп, так как таких латифундий в Харьковской губернии мало, то помещики в нем всего менее испытали бы на себе нежелательные последствия обязательного выкупа. Но и с этими ограничениями идея выкупа показалась земледельцам уезда настолько революционной, что они открыто стали агитировать против меня. Мой конкурент князь Ф.Д. Галицын, губернский предводитель дворянства, на первых выборах выступивший как сторонник партии демократических реформ, благоразумно воздержался от всякого слова и, сверх того, приложил старания к тому, чтобы на предвыборном собрании, на котором сказана была и моя речь, не присутствовал ни один крестьянин. Местная администрация в лице начальствовавшего войсками генерала Пешкова, в свою очередь, не скрыла от дворян уезда недоброжелательного отношения правительства к моей кандидатуре. Удивительно, при таких условиях, если я получил то значительное число голосов, которое позволило мне считаться 4-ым по списку кандидатов. В других уездах механические приемы, пущенные в ход правительством для воздействия на народную совесть, были еще более просты. На расстоянии двух-трех часов приходили телеграммы, гласившие: первая, что такой-то из наших единомышленников выбран, а вторая, что он задержан. При таких условиях, если бы я и прошел в уезд, то я несомненно был бы забаллотирован в губернском собрании.

Прямо с выборов я уехал в Петербург. Известие о моей неудаче появилось в столичной прессе, и три дня спустя, после моего возвращения, ночью пришел ко мне П.Струве с предложением от имени к.-д. партии поставить мою кандидатуру от Петербурга. Я дал свое согласие. Выступил на 2—3-х предвыборных собраниях с речами, свидетельствовавшими о том, что, не будучи к.-д., я по многим вопросам разделяю вполне их программу. По Литейной части я прошел в число выборщиков. Ни у кого не было сомнения, что не менее успешна будет моя кандидатура и в депутаты Петербурга. Но не прошло и трех дней, и выбор мой был кассирован под тем предлогом, что мне не достает нескольких дней для того, чтобы считаться прожившим в Петербурге целый год. Этот мотив изобретен был г. Кржижановским[107], сосчитавшим даже число дней, проведенных мной в Париже. Я хотел, было, оспаривать это решение, настаивая на своем звании профессора. Но так как я был только заштатным профессором и курс мой не был обя-

ительным, то настаиванием на своей профессуре я, вероятно, ничего бы не добился. Видя на своих лекциях очень большое число слушателей, я обратился в правление университета с просьбой сообщить мне о числе лиц, записавшихся для посещения моих чтений, в намерении представить доказательство тому, что я и как заштатный профессор получаю достаточное вознаграждение, позволяющего мне, помимо квартирного ценза, указать и на ценз имущественный. Но тут оказалось, что студенты, посещающие необязательные лекции, уклоняются от платежа какого бы то ни было гонорара. Записавшимися на мой курс не оказалось никого. Пользуюсь этим случаем, чтобы указать, как в России заимствованная из практики германских университетов система частного вознаграждения профессоров их слушателями, совершенно не достигает преследуемой ею цели. Немецкий приват-доцент с литературным именем, читая свободно избранный им предмет, конкурирует с профессором, косвенно влияет на подъем уровня преподавания и в то же время обеспечивает себе средства для жизни. В России же сплошь и рядом бывает следующее. На лекциях штатного профессора сидит 5—10 слушателей. Читает он из года в год тот же курс и получает сверх жалования при значительном количестве лекций 10 и более тысяч гонорара. Приват же доцент, которому за последнее время запрещено даже читать конкурирующий с профессором курс, иногда собирает сотни и даже тысячи в своей аудитории, не зарабатывая в год более нескольких сотен рублей. Только в таком случае он может рассчитывать на денежное вознаграждение, если его курс будет признан обязательным или, по крайней мере, рекомендованным. Обязательным мой курс признан только с нынешнего года, когда мне, по случаю Карлсбадской неволи его, вероятно, прочесть не удастся. Да и сама эта обязательность признана возможной только в количестве одной лекции в неделю, в течение которой я должен ознакомить аудиторию с государственным правом важнейших европейских держав, а их, как известно, немало. Остальные же обязательные лекции в числе семи читаются штатными профессорами. Приват-доценты могут или голодать, или вести практические упражнения, что, сказать мимоходом, требует недостающей им педагогической опытности.

Глава VIII

Пять лет, проведенные в Государственном Совете

VI.

Но вернемся к моим избирательным неудачам. Ими объясняется, почему, не имея возможности попасть в Думу, я согласился на избрание меня Петербургским университетом в число 3-х выборщиков для Государственного Совета. Мысль о том, чтобы провести меня в число членов Государственного Совета от университета, пришла, прежде всего, профессору Боргману[1], бывшему ректору, ушедшему из нашей Высшей Палаты вслед за роспуском Думы первого призыва. Он поделился ею с проф[ессором] Багалеем[2], который, предвидя мою неудачу в Харькове, еще во время избирательной кампании успел предупредить меня о том, что моя кандидатура будет поставлена Петербургским университетом. Являлось одно препятствие. Я мог быть не утвержден, как выборщик, министром фон Кауфманом. Я ни разу не имел случая встретиться с ним лично, но мне передавали о недовольстве, вызванном в нем некоторыми моими статьями, насмешками на ведомство, в самый разгар того, что называли революцией, не нашедшим предложить народным представителям другого проекта, кроме перестройки прачечной и оранжереи в Дерптском университете, а также заступничеством за директора Лазаревского института, моим старым другом и известным русским филологом Всевол[одом] Феодор[овичем] Миллером, которому ставилось в вину то обстоятельство, что в Лазаревском институте нашлись студенты, принявшие участие в Московском восстании. Сказать к слову, Миллер однажды показал мне письмо, полученное им от Московского губернатора Гершельмана[3], в ответ на ходатайство о смягчении приговора, постановленного над одним из слушателей Института, которому, если не ошибаюсь, грозила смертная казнь. Гершельман ответил отказом, прибавив, что виноваты во всем директор Института и члены педагогического совета, которые не сумели дать молодому человеку желательное направление. К чести фон Кауфмана я должен сказать, что, не зная меня лично и имея, как я сказал, повод считать себя задетым, он дважды подал голос в мою пользу. В первый раз, когда речь пошла об утверждении или неутверждении меня выборщиком, второй, — когда вопрос о назначении меня штатным профессором по экономическому отделению Петербургского политехникума, вопреки закону и установившейся практике, поступил на рассмотрение Совета Министров. Мне передали лица, получившие эти сведения из первоисточника, что в этом собрании вопрос решен был в мою пользу большинством одного голоса, и что в этом большинстве были одинаково и Столыпин, и фон Кауфман. Относительно Столыпина я не имел возможности проверки этого

слуха. Но когда, несколько лет спустя, сделавшись уже товарищем фон Кауфмана по Государственному Совету[4], я навестил его однажды, чуть ли не на Новый год, бывший министр на мой прямой вопрос: «Обязан ли я ему моим успехом», — дал утвердительный ответ. Вообще позднейшее знакомство с фон Кауфманом убедило меня в том, что при весьма умеренном образе мыслей, это вполне корректный человек, вполне отвечающий тому представлению, которое англичане связывают с понятием джентльмен.

Я получил на выборах большинство всех голосов за исключением двух. В числе выборщиков были от Москвы, Харькова и Юрьева мои старые товарищи или ученики. И из лагеря противников-октябристов нашлись люди, давшие мне свои голоса «из любви к истории». Вообще на русские университеты пожаловаться я не имею права. По истечении двух лет, в течение которых я доканчивал срок, положенный для первых избранников университета (выбран был я взамен Боргмана, ушедшего после первой Думы), я подвергся новой баллотировке и опять-таки получил громадное большинство, хотя в этот раз выборы уже производились не на три, а на девять лет. К моему немалому изумлению, число конкурентов было незначительно. Члены Академии неохотно ставили свою кандидатуру, а провинциальные профессора, за исключением одного-двух октябристов, людей обеспеченных и оканчивавших свою служебную карьеру, не желая бросать преподавания, нимало не агитировали в свою пользу. Состав уполномоченных от университетов остался поэтому более или менее тем же. Вошли в него Д.Д. Гримм[5] — одно время ректор Петербургского университета, — кн[язь] Евг[ений] Ник[олаевич] Трубецкой, а взамен его, проф[ессор] Мануилов[6], московский ректор, А.В. Васильев[7], бывший моим товарищем по Первой Думе и избранный в Казани, проф[ессор] Багалей, — бывший в Совете еще при Первой Думе и снова в него вернувшийся, академик Вернадский[8], которого с большим трудом удалось убедить не покидать Совета, в котором он заседал с самого создания «обновленного строя», и проф[ессор] Озеров[9] — известный финансист, избранный в значительной степени на основании моей рекомендации. Случилось это таким образом. На предвыборном собрании, созванном у проф[ессора] Боргмана, мне предложено было указать, какая специальность особенно желательна в кандидате. Я мало знал Озерова, по совести должен был сказать, что в финансовой комиссии заседает математик и юрист, а не финансист. Это заявление принято было во внимание, и Озеров прошел на выборах. В число выборщиков от Москвы на двух выборах избран был П. Виноградов. Но на последовавшем съезде представителей всех университетов и академий он получил равное число голосов с проф[ессором] Афанасьевым[10], членом медицинского факультета в Юрьевском университете. Им пришлось бросать жребий. Судьба высказалась за Афанасьева. Из всех университетских уполномоченных он один не пожелал голосовать заодно с товарищами и вошел в состав центра. При новых выборах это обстоятельство и погубило его. На его место попал

проф[ессор] Загоскин[11] — известный историк русского права из Казани, а за его смертью, на расстоянии немногих месяцев, после приезда в Петербург, на новых дополнительных выборах прошел Багалей. Если состав наш и пережил некоторые перемены, то благодаря чисто механическим причинам. Когда часть московских профессоров с ректором Мануиловым во главе подала в отставку в качестве протеста, отчислены были Мануилов и Вернадский. За выходом последнего Академия оставалась без преподавателя. Вот почему, при частичном возобновлении уполномоченных от университетов, выбрали ученого секретаря Академии Ольденбурга[12], за отказом одного дерптского проф[ессора] по уголовному праву войти в состав Совета. Шесть представителей от университетов — разумеется, весьма ничтожная величина в собрании, насчитывающем до 170—180 членов, но заодно с академической группой постоянно вотировали и вотируют представители некоторых земств: Пермского, Уральского, Крымского, Костромского, Смоленского и один представитель от промышленности и торговли — Зубашев[13]. Кроме того, в среде группы беспартийные люди, как Стахович, граф Витте и А.Ф. Кони, весьма часто подают голоса за кандидатов, проводимых нами в отдельные комиссии Совета. Наша группа, образующая, так сказать, левое крыло собрания, в разное время располагала от 12-ти до 18 голосами. Неизменно председателем группы избираем был Д.Д. Гримм. Это человек стойких убеждений, авторитетный юрист, участие которого в «комиссии законодательных предположений» особенно желательно. Тем не менее, только с прошлого года удалось провести его членов этой комиссии наряду со мной. До этого времени он неизменно выбирался в одну «комиссию личного состава». В финансовую же комиссию нам удавалось одно время провести до трех членов. Ими неизменно был одно время А.В. Васильев и одно время проф[ессор] Озеров, а за последние два года — Багалей. В настоящее время в комиссии заседают, кроме председателя, от академической группы два, нами проводимых представителя от земств. Перечисленные мной три комиссии считаются постоянными. Рядом с ними выбираются и временные комиссии для рассмотрения отдельных, особенно важных законопроектов. Так, например, в две комиссии по землеустройству, — одну для обсуждения законопроекта о выходе из общины и хуторском хозяйстве, другую по размежевке общинных земель и округления наделов по отводу хуторов. Почти по каждому из проектов, касавшихся специального законодательства, страхования ли рабочих, регулирования ли порядка найма торговых служащих, соблюдения воскресного и праздничного отдыха, избираемы были отдельные комиссии. Такая же самостоятельная комиссия была вызвана к жизни проектом волостного земства, проектом реформы попечительства о народной трезвости, проектом борьбы с пьянством и т.д. и т.д.

Так как желающих работать в комиссии во всех законодательных собраниях бывает только меньшинство, то немудрено, что некоторым из нас одновременно приходилось бывать членами трех и

даже более комиссий. Я почти неизменно выбирался в комиссию по социальному законодательству и шел в них очень охотно, и вот по какой причине. В вопросах, связанных с политикой, меньшинству нет надежды на успешную борьбу в собрании, половина которого состоит из лиц по назначению. Иное дело в вопросах, в которых в интересах сохранения полицейского порядка Правительство готово пойти даже против предпринимателей или, по крайней мере, считаться с ними в слабой степени. В комиссиях, задачей которых было рассмотрение законов о свободе совести или об устройстве народных школ, приходится считаться с другим, непоборимым противником — это с членами от духовенства. Поэтому я и признавал вполне достаточным выступать по этим вопросам в одном лишь общем собрании Совета и разумеется, не с надеждой провести собственные взгляды, а с целью дать им возможно полное и выпуклое выражение. В комиссию, имевшую своей задачей рассмотрение тех или других проектов, касавшихся Финляндии или Царства Польского, пришлось идти, опять-таки, предвидя, но с целью ознакомиться возможно полно с аргументами противников, дабы подвергнуть их затем обстоятельной критике в Общем Собрании. Наконец, были вопросы, по которым мне, в частности, приходилось собирать на своем имени при выборах в комиссию число голосов, в два или три раза превышавшее число голосов нашей партии. Это были вопросы, стоявшие в далеком отношении к политике, как, напр[имер], вопрос о сохранении или закрытии порто-франко в Владивостоке. Все скрытые противники крайностей нашей протекционной системы охотно проводили меня в состав таких комиссий, уверенные в том, что мной высказаны будут многие положения, для них сочувственные, но которых они открыто не решались защищать. Я несколько опоздал с приходом на первое заседание комиссии о порто-франко и сопредседатель Романов[14] уже готов был перейти к голосованию, заявляя, что, у нас, по-видимому, нет разногласия, когда я попросил слова и стал высказывать мои сомнения. Потребовалось после этого еще два заседания и двоекратное выступление против меня и министра финансов и министра торговли, не считая уже вожаков промышленной группы. Когда же в общем заседании Совета я в своей речи привел вкратце все те агрументы, какие можно было найти в пользу сохранения порто-франко, с разных сторон собрания, столько же из правой, сколько из центра, подошли ко мне люди для выражения сочувствия. Они горячо жали мне руки, заявляли, что я оправдал их ожидания. Тем не менее, вслед за этим они вотировали против моего предложения. Когда я заметил одному из них, что поражен его поведением, он ответил мне, шутя, но в присутствии моих товарищей по партии: «Какой чудак. Хочет, чтобы компрометировали себя с ним...» Не будет поэтому преувеличением с моей стороны, если я скажу, что из всех законодательных палат Европы нет ни одной, которая бы в большей степени заслуживала название аморальной, в которой бы так часто голосовали против своего убеждения по соображению, как у нас говорят, «государственной

пользы и нужд». Начать с того, что члены по назначению, составляющие половину всего собрания, считают себя не вправе идти против правительства, если только правительству угодно будет энергично выступить за известное предложение и дать им ясно понять, что на его стороне стоит сам Государь. В этих случаях «героизм» может проявиться самое большее в уходе из зала заседания или в неприбытии в него. Поступить иначе, значило бы рисковать многим и, прежде всего, сохранением места в «голосующем» департаменте Государственного Совета. Ведь, каждое 1-ое января составляется новый список членов по назначению; так как число их ограничено, то председателю не трудно определить, кто именно из них голосовал против правительственного предложения. За такую «самостоятельность» их легко перевести в состав «немых» департаментов. Ведь «Учреждение Государственного Совета» говорит только о неизменности всего его состава, а не отдельных департаментов. В первый год моего вступления в нашу Верхнюю Палату академическая группа почти неизменно находила поддержку в некоторых членах по назначению, в одном бывшем товарище министра, генерал-губернаторе одной из восточных провинций, библиотекаре Публичной библиотеки и т.д. Все эти лица не попали в состав Совета на ближайший год и их пример подействовал запугивающим образом на многих и многих членов по назначению. Разумеется, в вопросах, не связанных непосредственно с политикой, вовремя сказанная речь может повлиять на численный состав большинства, отвлечь от него 2—3 голоса. Я помню, как однажды один из заседающих с нами генералов сказал мне: «Я пришел голосовать против Вас, а после Вашей речи подал голос с оппозицией». Но это редкий случай. Нужно, чтобы в самом собрании, среди членов большинства зародилась мысль, что предложение Правительства не встречает сочувствия в Царском Селе, чтобы правительство, сколько-нибудь действующее сплоченно, не получило бы большинства. Так было при обсуждении закона о западном земстве. Глава правых, Дурново, и два влиятельных члена, Трепов[15] и Гончаров[16], какими-то судьбами разузнали, что Государь в этом вопросе советует каждому голосовать по своей совести. Так как все три лица желали избавиться от Столыпина, а один из них не прочь был занять его место, то проявилось товарищеское общение многих правых с членами оппозиции. Небывалое зрелища представили частные собрания на квартире председателя центра, князя Е.Н. Трубецкого. На них можно было встретить рядом с Дурново и Кобылинским[17], Штюрмером[18] и Горемыкиным не только членов центра, не исключая и поляков, но и таких «крайних» как проф[ессор] Васильев или я. Происходил даже трогательный обмен любезностями. Кобылинский предлагал мне открыто выступить первым с моими возражениями против председателя Совета Министров, а я скромно замечал, что такая честь мне не подобает ввиду того, что моя партия наименее многочисленна. Вспоминаются мне и такие случаи, когда перерывы для «чаепития» устраивались в неположенный час для того, чтобы иметь воз-

можность разузнать от личного секретаря императрицы Танеева[19], и какую сторону дует ветер в Царском Селе.

Насколько русским политическим деятелям чуждо еще представление о том, что единственными истолкователями мысли Главы государства должны быть члены Правительства или Совета Министров, это хорошо доказывают недавние прения по вопросу о допустимости или недопустимости польского языка на заседаниях городских советов в пределах Царства Польского. Нас все время угощали сплетнями. Говорили о письме, полученном Государем в Крыму из Варшавы от генерал-губернатора Скалона, якобы настаивавшего на допущении польского языка, об ответе, посланном на его имя Государем, с выражением своего согласия, почему, следовательно, мы также должны высказаться за употребление польского языка. Но в контр этой сплетне пущена была другая членами право*, разумеется, что, будто бы, прямо спрошенный Государь выразил желание, чтобы каждый голосовал по своей совести. Не желая раскрывать монарха, глава правительства Коковцев[20], только настаивал в своей речи на том, что Правительство продолжает поддерживать законопроект в том виде, как он прошел в Думе по вопросу о языке. Этого было достаточно, чтобы считать Государя незаинтересованным в допущении польского языка, и большинство Верхней Палаты высказалось против проекта. Когда, после неуспеха согласительной комиссии примирить непримиримое, Дума снова высказалась за допущение польского языка, и вопрос о его принятии или непринятии стал вторично перед Советом, новый глава правительства, Горемыкин, предварительно снесшийся с Государем, уже более открыто намекал, правда, не в Общем Собрании, а в кулуарах, что монарх стоит на стороне Думы. Скажи он это открыто, нарушая элементарнейшие требования конституционного строя, Высокое собрание непременно вотировало бы в желательном для правительства смысле. Поверили тому, что Государь хочет допущения польского языка, только тогда, когда правительство, после провала закона, на расстоянии нескольких недель, и на этот раз уже с явного согласия Государя, внесло вторично в ту же сессию законопроект о городском самоуправлении в Польше с прежним требованием, чтобы заседания происходили на польском языке. Голосования по законопроекту еще не воспоследовало, но ни у кого перед моим отъездом из России не оставалось сомнения, что Государственный Совет уступит и откажется от прежнего взгляда, не желая идти против воли Государя. С тех пор многое изменилось, и к голосованию за польский язык может присоединиться еще то соображение, какое мы выдвигали в I Думе, отстаивая автономию окраин. Не удержать России Польши за собою иначе, как под этим условием, теперь в особенности, когда на нее сыпятся со стороны наших врагов весьма определенные обещания в том же смысле.

---

* Так в тексте.

Если Государственный Совет часто отвергает законопроекты, проведенные правительством в Думе, то потому, что эти проекты перестают быть отстаиваемыми министрами, после их перехода в Совет. В этом отношении различие наших порядков с теми, какие существуют всюду, где имеется представительный строй, поистине поразительно. Министры, внесшие известный законопроект и даже отстаивавшие его в Нижней Палате, затем относятся к нему, как к чему-то совершенно постороннему или чуждому, идут на всякие изменения в нем в комиссии и даже не приходят защищать его в Общее Собрание. Делать это им тем легче, что сам-то законопроект в его первоначальном виде обыкновенно продукт творчества второстепенных чинов министерства канцелярии.

Есть и другое объяснение неуспеху многих правительственных законопроектов в Верхней Палате. Правительство и после разных заплат, сделанных в нем, вслед за убийством Столыпина[21], все не остается правительством центра, партии, располагавшей большинством в момент роспуска первой Думы и созыва второй. Но с тех пор состав Совета пополнялся членами по назначению, рекомендуемыми не председателем Совета Министров, а председателем Государственного Совета. Этим председателем за смертью Фриша оставался неизменно Акимов, сам член правой. Мудрено ли, если все его кандидаты по поступлении своем в Совете только пополняли ряды этой партии. Когда в моих речах я обзываю членов этой партии оппозицией, мои заявления обыкновенно встречают улыбку, а иногда ропот. И действительно, при частой измене, оказываемой центру его правым крылом, партией Нейдгарта[22], шутливо названной одно время «Шуринской партией», так как Нейдгардт был шурином Столыпина, правая всегда располагает 10—20-ю голосами, дающими ей перевес над центром и левой. Да и без такой измены каждый раз, когда трудно согласить столь разноречивые течения, как те, которые существуют между левым или инородческим крылом центра, составленным из поляков и немцев, и его правым крылом, большинство сказывается на стороне армии более или менее объединенных под начальством П.Н. Дурново. Таким образом, благодаря чисто механическим приемам, в Государственном Совете создано оппозиционное большинство для всяких мероприятий, вызванных по соглашению Думы с правительством. Так как, после провала даже наиболее серьезных мер, входивших в программу кабинета, ни одному из его членов и не приходит на мысль подать в отставку и они самое большее, почесывая голову, повторяют фразу кучера Селивана: «Ишь ты, и перекинулась», то наш обновленный строй представляет собой небывалое зрелище — неизменного Правительства, действующего в согласии с Думой и мирящегося с разногласиями Совета. Один из заседающих в центре историков, В.И. Герье, как бы желая доказать, что знание государственного права необязательно для людей, специальность которых изучать судьбы народов, как-то в «Новом Времени» оговорился, что у нас, мол, имеется четыре законодательных органа: Государь, Совет Министров, Дума и Государственный Совет. Это заяв-

ление показалось в то время, когда оно было сделано, настолько невежественным, что многие без различия партий настаивали предо мной, чтобы я дал автору заслуженную им отповедь на столбцах той же газеты. Убедить меня не удалось, именно по этой последней причине. Но в настоящее время я мог бы выдвинуть и другое основание. Нелепое по существу заявление проф[ессора] Герье отражает собой нелепую действительность. — Да, наша государственная телега покоится на 4-х колесах, которые трудно привести в дружное движение.

Едва ли найдется в мире палата, в которой оратору было бы так неприятно выступать, как в нашем Государственном Совете. В этом собрании преобладают численно люди, которым не до красноречия. Они имеют свои занятия, свои привычки, свою службу, свои светские отношения. Они привыкли к дисциплине, считают дерзостью всякое выступление против предержащих властей, смотрят с недоверием и подозрительностью на тех, кто слывет у них под названием либералов и демократов. Есть и такие, которых продолжительная речь усыпляет. Адмирал Бирилев[23], стоя однажды на расстоянии 5—6 шагов, не более, от Коковцева, только что произнесшего одну из своих тягучих речей, жаловался мне довольно громко, говоря: «Мне казалось, что я в гробу и что надо мной читает монашенка».

По наказу, речь не должна продолжаться более получаса. Но после 3—4 ораторов, обыкновенно подымается кто-нибудь на трибуну с письменным предложением ограничить продолжительность речей 15—10-ю и даже 5-ю минутами, а то и просто закрыть список ораторов. Председатель, с своей стороны, не соблюдая очереди, дает слово тому или другому из записавшихся. Мне не раз приходилось слышать от него: «Вам осталось всего 15 минут до конца заседания», — на что я неизменно отвечал ему словами: «Но, Ваше Высокопревосходительство позволит мне продолжить речь в следующее заседание». О свободе слова в нашей Верхней Палате легко судить хотя бы по следующему факту. Однажды в моей речи я сослался на Бенжамен Кона, — известного автора курса конституционной политики. — «Я не позволю Вам говорить о революции», — прервал меня председатель. — «Но Бенжамен Кон не был революционером», — ответил я. — «Прошу мне не возражать и следовать моим указаниям». Другой раз тот же председатель, проскучав, выслушивая мои доводы, остановил меня, говоря: «Государственному Совету Ваши лекции не нужны». Третий раз, видя, что моя речь направлена в нежелательном для него смысле, он снова прервал меня достопамятными словами: «Я здесь поставлен волей моего Государя, чтобы охранять свободу слова, но в границах, мной указанных». В четвертый раз он прямо стал кричать на меня, да и было, впрочем, за что. Выведенный из себя решительным нежеланием большинства считаться с какими бы то ни было доводами (речь шла о выделении Холмской губ. из состава Царства Польского), я позволил себе слишком откровенное заявление: «Продолжительное, господа, пребывание в вашей среде убе-

дило меня в том, что ваши решения не только не считаются с данными науки, но нередко и со здравым смыслом». Когда эта фраза вылетела из моих уст, я сам почувствовал, что хватил через край и уже собирался ослабить силу сказанного, как послышался грубый окрик: «Вы оскорбляете Ваших товарищей, я Вас лишу слова. Это — дерзость». В ответ председателю не только слева, но и из центра раздались слова: «Да не кричите же». Наш держиморда, как, шутя, называл его Кони, смутился. Я воспользовался этим случаем, чтобы спросить его: «Что же, мне продолжать или молчать». — «Продолжайте», — ответил он мне с отвращением. И я договорил все, что имел сказать. На следующий день, встретившись со мной в комиссии, он подошел ко мне и сказал: «Ну, вчера Вы меня рассердили. Сознайтесь, Вы перед речью хорошо пообедали?» — «Вы знаете, что я трезвенник», — ответил я ему. — «Так откуда же такое раздражение, такая ненависть». — «От продолжительного пребывания в Вашей среде». — «Ну, Вы неисправимы», — и он отошел от меня. Спешу прибавить: дискредиционная власть председателя ни разу не помешала мне развить мою мысль во всей ее полноте. Мало этого, я даже позволил себе однажды высмеять самого председателя, который, тем не менее, не решился прервать меня, так как прямо не был мною назван. Случилось это в следующих условиях. Я доказывал, что нельзя отвергать законопроект в общем собрании, не переходя к его постатейному чтению, на том только основании, что выбранная нами комиссия изменила его до неузнаваемости. В подтверждение своей мысли я привел такой случай. — «Представьте себе, что к нам поступит из Думы законопроект о свободе речи. Наша комиссия изменит его в таком смысле, что эта свобода допускается в границах, указанных председателем, что равнозначительно, конечно, ее отмене; следует ли из этого, что мы должны отклонить самое рассмотрение законопроекта по статьям. Для меня, по крайней мере, не следует, так как мы голосуем проект Думы, а не проект нашей комиссии. Четвертой законодательной власти наши основные законы не знают». Председатель вынес мою тираду, вынес даже улыбки, появившиеся на лицах у многих членов «Высокого Собрания». Но на следующий день, встретившись с моими товарищами по партии, пустил на мой счет несколько «крепких словечек» и объявил, что он мне больше слова не даст, а выпустит против меня сколько хочет ораторов. И действительно, на следующий день, под предлогом защиты задетого мной Союза объединенного дворянства, граф А. Бобринский, киевский предводитель дворянства, и ряд других деятелей в интересах первенствующего сословия стали пускать в меня свои ядовитые стрелы. Бобринский еще соблюдал приличие, жалуясь только на то, что одними насмешками нельзя отделаться от такой нравственной силы, какую представляет собой объединенное дворянство. Другие были погрубее, и самое ласковое, что я мог выслушать из их уст, было сравнение меня с Дон-Кихотом. Я, разумеется, никого не удостоил своим ответом и только по окончании заседания заметил одному из «объединенных

дворян»: «Если я, по Вашему мнению, Дон-Кихот, то тем самым Вы уподобляете себя ветряным мельницам». Он не нашелся ответить мне ничего, кроме: «Это очень остроумно». Председатель был как бы смущен. Он ждал, что я потребую слова, так как это дало бы ему возможность сказать, что он мне этого слова не даст.

Вмешательство председателя в прения было делом обычным. Он не установляет различий в этом отношении между членами левой, центра и даже правой. Председатель такой реакционной организации, как «Русское Собрание»[24], князь Лобанов-Ростовский[25] выслушивал не раз окрики Акимова, в такой же степени, как и Зиновьев[26], бывший сотрудник Плеве, и сам всемогущий некогда диктатор Витте. На новичков эти окрики производят впечатление, и они сходят с трибуны нередко на половине своей речи. Но люди, сколько-нибудь в «советах поседелые» и опытные в мирных боях, после перерыва, обходя запретное место, наговаривают кучу неприятного. В этом отношении никто не превзошел бывшего предстаителя г. Вильны, Корвина-Милевского[27]. При хорошем знании русского языка и явном польском акценте, кажется даже нарочно утрируемом, Корвин-Милевский при обсуждении бюджета «всыпал высшему начальству» ряд колкостей. Другие ораторы, ожидая, что их прервут, показывают свое жало только в конце речи. Председатель кричит: «Я не позволю Вам», — а оратор отвечает: — «Я кончил».

Надо отдать справедливость покойному Акимову, он распределял свои окрики равномерно и даже иногда отстаивал свободу речи левого депутата, крича на правых: «Что станется с нашим Советом, если вы не перестанете кричать и мычать». Эта фраза, впрочем, не появилась в стенографическом отчете. Можно было бы думать, что дискредиционная власть дана председателю, чтобы предупреждать грубые выходки, направленные не только против отдельных лиц, но и против целых сословий и классов. Между тем, Акимов ни разу не приостановил Дурново, обзывавшего социал-демократов невежественными прохвостами, волнующими двухсполовинную миллионную горсть рабочих и заявившего, что крестьянам потому уже нельзя открыть доступ в волостное земство, что они только и заняты мыслью о том, чтобы жечь помещичьи усадьбы.

Если Государственный Совет в политическом отношении далек от той независимости, какая принадлежит, по крайней мере, по отношению к Правительству английской Палате лордов, французскому, бельгийскому и с[еверо]-американскому Сенату, то в смысле законодательной машины, с точки зрения чисто технической, он едва ли уступает любой из Верхних палат. В нем имеется не особенно численный, правда, но весьма работоспособный контингент юристов, взятых из среды кассационного департамента Сената, судебной палаты, из профессуры, а также дослужившихся до высших постов чиновников финансового ведомства, землеустройства и земледелия, министерства торговли и государственного контроля. И тем и другим в знании русских законов и указов отказать

нельзя. Я не помню заседания комиссии законодательных предположений, в которой бы по любому вопросу работа не начиналась с разноса того, что сделано было Думой, в смысле непринятия ею в расчет целого ряда общеобязательных норм, несовершенства редакции, наличности противоречий, отсутствия последовательности в проведении основного положения и т.д., и т.д. Умелые руководители комиссий, как Романов, Манухин, Екеспаре*/[28], Дмитриев[29], Тимирязев, а в более ранние годы А.Ал. Сабуров[30], не говоря уже о таких осведомленных даже в мелочах русских законоведов, как товарищ председателя Голубев[31] и бывшие государственные секретари: профессор Сергиевский[32] и барон Икскуль[33], не только умеют вести прения, но и раскрывают нередко скрытые недостатки и не сразу бросающиеся в глаза противоречия поступивших к нам законопроектов, и с общими тенденциями русского права и с теми или другими нормами, никем не отмененными. В знании законодательства и судебной практики, в частности гражданского права и процесса, права торгового и вексельного нельзя отказать ни бывшему сенатору Кобылинскому, ни Платонову[34], ни Манухину. Мы насчитываем в наших рядах таких криминалистов, как Таганцев[35] и А.Ф. Кони. Наше земельное законодательство не представляет тайны ни для Стишинского[36], ни для бывшего главноуправляющего земледелием Ермолаева[37]. Русский бюджет в течение ряда лет составлял предмет, если не теоретического, то практического изучения не только графа С.Ю. Витте, но и его прежних товарищей и помощников — Коковцева, Дмитриева, Романова. Железнодорожное хозяйство хорошо известно и генер[алу] Петрову[38], и бывшему начальнику движения Киевского округа Немешаеву[39] и Екеспаре. Не решаюсь судить, в какой степени техническая постановка армии и флота известна в ее подробностях таким лицам, как Поливанов[40], и заседающим в нашей среде экс-министрам военным и морским. Вероятно, постановка учебного дела также не представляет тайн ни для бывших министров народного просвещения, как фон Кауфман и Шварц, ни для Зверева[41], одно время профессора, затем ректора и товарища министра народного просвещения. Наконец, среди заседающих в Совете членов высшей церковной иерархии имелся известный канонист, бывший профессор Горчаков[42] и ректор Духовной Академии в Москве Новгородский епископ Арсений[43] и долгое время прослуживший на Кавказе и в Крыму при нашей американской миссии и в Царстве Польском архиепископ Николай[44]. Очевидно, и им обоим строй нашего церковного управления известен во всех его частностях.

Правительство на первых порах озабочено было введением в состав Совета людей с громким научным именем, как Сергиевич или Герье. Наши университеты также поставили специалистов в лице теоретика-цивилиста Д.Д. Гримма и известного знатока финансового права проф[ессора] Озерова, не говоря уже о таком эко-

* Так в тексте. Следует: Экесперре.

номисте, как Е. Манулов*, хорошо знакомом с вопросами землевладения, одинаково на Западе и у нас. Наконец, из среды земств, как и в промышленной группе, можно назвать людей, несомненно обстоятельно знакомых с строем русской губернии и условиями русского производства и обмена. Ушедший из нашей среды старший сын Д. Самарина несомненно был хорошо знаком с крестьянским бытом. Граф Олсуфьев[45] и Уваров[46], а также М.А. Стахович знают изученную ими на практике земскую работу. Крестовников[47], Авдаков[48], Триполитов[49], Дитмар[50], Гукасов[51], не говоря уже о недавних избранниках торговых палат и биржевых комитетов, избранниках, в числе которых имеется бывший профессор Технологического института в Харькове и Томске Зубашев, знакомый на практике и в теории и с горным делом, и с нефтяным, и с фабрично-заводской промышленностью, и с ярмарочными комитетами, и с биржей, и с материальными условиями рабочих и приказчиков. Русские торговые договоры и тарифное законодательство, разумеется, изучены ими в подробности, да и в распоряжении их всегда имеется обильный материал, поставляемый всякого рода съездами и правлениями. По совершенно непонятной для меня оплошности наших учреждителей, авторов закона о Государственном Совете, в его составе отсутствуют представители городских управлений, интересы которых значительно расходятся с земскими и, в частности, в вопросах местного обложения. Заступниками этих интересов иногда являются представители промышленности и торговли. Класс, совершенно обойденный вниманием законодателя, это — простые исполнители труда, столько же рабочие, сколько и крестьяне. Они не находят других радетелей, кроме отдельных представителей земств, академической группы или высшего чиновничества. Из всего сказанного следует, мне кажется, что в Государственном Совете имеется достаточная осведомленность по подымаемым в нем вопросам. Я не сказал пока ни слова о заседающих в нем представителях окраин. Наиболее численными надо признать Остзейских баронов, которые умеют весьма энергично отстаивать хозяйственные интересы края и своего сословия. Царство Польское имеет, как известно, только половину того числа уполномоченных в нашей Высшей Палате, которое приходилось бы на него при строгом сохранении процентного отношения к населению. Но к этим уполномоченным по многим вопросам примыкают избранники Западного края польского происхождения. Это справедливо было бы в особенности до момента искусственного расслоения избирателей Западного края на национальные курии, когда совершенно механически обеспечено было большинство за русскими землевладельцами. В польском коло[52], как и в среде поляков от Западного края, можно указать не на одного оратора, хорошо осведомленного о нуждах помещиков. Стоит только вспомнить весьма остроумного Корвина-Милевского и весьма блестящего Шебеко[53].

* Так в тексте. Следует: Мануилов А.А.

Из всех групп, получивших право иметь своих уполномоченных в Совете, едва ли не самое тусклое представительсто посылает нам дворянство. От земств можно указать людей несомненно талантливых, к какой бы группе они ни принадлежали, начиная от заседающего на левых скамьях Энгельгардта[54], продолжая беспартийными, как Стахович и Алсуфьев*, и переходя к таким перебежчикам из правого крыла, как избранник Тверского земства Гурко. Но от дворянства мне трудно назвать кого-либо, кроме, разве, графа А. Бобринского, несомненно образованного и воспитанного человека, даже до некоторой степени ученого в области археологии, который, по-видимому, не прочь отождествлять интересы России с интересами им же до некоторой степени созданного союза «Объединенного дворянства». Едва ли к числу талантливых представителей дворянства кто-либо сочтет возможным отнести Ан. Струкова[55]. Он, правда, несет дворянское знамя высоко, может быть, выше, чем полагалось бы внуку скромного провинциального землемера, рассуждает он много, кричит громко, но убеждает слабо. Есть также крикуны и среди представителей западного дворянства, не исключая киевского. Но от их выступлений, к сожалению, сделавшихся весьма частыми, ни один вопрос не получил пока ни яркого, ни неожиданного освещения. Остальные избранники дворянства больше сидят, «брады своя уставя» и долго голосуют по указке. Исключение представляет еще князь Эристов[56], который попал в положение единственного представителя Кавказа. Это заставляет его выступать по таким вопросам, как отмена крепостного права в Закавказье, причем он, разумеется, отстаивает экономические интересы поместного сословия, с которым, правду сказать, новый закон, нами проведенный, мало считается. Представитель Кавказского Наместничества г. Никольский, сотрудник «Нового Времени», заседает в нашей среде в числе назначенных членов и отстаивает несравненно энергичнее и с большим знанием дела, чем его предшественник барон Нольде[57], правительственную программу в крае, а в нее, разумеется, не входит забота об обеспечении материальных интересов грузинского, мингрельского или татарского дворянства в ущерб массе населения.

К немалому моему прискорбию должен сказать, что бюрократические элементы в нашем Совете по уму, талантливости, знанию и практическому опыту выигрывают от сравнения с общественными. Не буду говорить уже о гр[афа] Витте, которому, чтобы быть выдающимся государственным деятелем, мешает, разве, желание сводить личные счеты с изменившими ему сторонниками и неизменными врагами. Даже такие люди, как Дурново, если не говорить о цинизме его отношения к управляемым классам, отличается, несомненно, доходящим до разума здравым смыслом, необыкновенной определенностью и ясностью мысли, достигаемой под условием совершенной ее узости. Он не столько оратор, сколько

* Так в тексте. Следует: Олсуфьев.

го, что англичане называют debater, то есть человек, умеющий разбить мотивы противника, разобрав их по косточкам. Он как-то жаловался в моем присутствии, что ему нужно заучивать свои речи и что поэтому он редко выступает с ответным словом. Но, говоря это, как мне кажется, он намеревался пошутить над своими собеседниками. Его аргументация, в сущности, не такова, чтобы нуждаться в продолжительной подготовке. Взор его неизменно направлен в сторону сохранения порядка, понимаемого в смысле чисто полицейском и потому неизменно сопровождаемого понятием тишины. Ему кажется, что всякое не проявляющееся наружу движение потому самому и не существует. Все, что может ввести это движение в правильное русло, будут ли то рабочие союзы или даже организации взаимного страхования от болезни и несчастных случаев, кажутся ему искусственно созданными ячейками для революционной пропаганды. Он слишком умен, чтобы высоко ставить существующую у нас администрацию. Но какова бы она ни была, полагает он, ее все же надо сохранить и передать будущим поколениям. Ведь, что останется на ее месте? Товарищеская анархия, руководимая недоучившимися агитаторами-прохвостами. Рядом с сильной властью министра, особенно внутренних дел, с подчиненным ему жандармским управлением и получающими его приказы губернаторами, в свою очередь передающими эти приказы земским начальникам и урядникам, можно терпеть самое большое совещательную Думу, без всякой законодательной инициативы и с переносом в руки административных советов и канцелярий всякого рода общеобязательных норм по вопросам, слывущим у нас под названием «вермишели». Не мешает внести в одну с ними группу и всякое распределение казенных средств. За удовлетворением насущнейших потребностей государства по обороне может остаться лишь немного средств на удовлетворение так называемых культурных задач. Поэтому нет никакой надобности спешить с введением всеобщего образования и выгодно, в интересах благоразумной экономии, привлечь духовенство в начальную школу. С народным пороком, как пьянство, например, надо бороться усиленными карательными мерами, направленными и против безобразничающих на улицах и площадях, и против корчемников, а для этого увеличить вознаграждение полиции. Для хулиганов же нужны розги, а для нарушителей общественного порядка — тюрьма с усиленными строгостями, каторга и смертная казнь. Гр[аф] Витте уверял меня, что взял в состав своего кабинета Дурново и поручил ему пост министра внутренних дел, так как он пользовался репутацией самого либерального из сенаторов (первого административного департамента). Хороши же должны быть остальные. Не следует думать, что в правой Дурново представляет собой самое крайнее направление. Имеется целая группа людей, которые стоят по отношению к нему в некоторой оппозиции, так как не прочь были бы прибегнуть в интересах полицейских и к административному произволу и к церковному елею. Очень выдающихся людей между ними нет. Кн[язь] Ширинский-Шихматов[58], по-ви-

димому, верит в союз полиции со священством. Струков не прочь призвать к тому же полицейскому делу и членов первенствующего сословия. Не даром же император Николай Павлович говорил о дворянах, как о даровых полицейместерах. Бывший сенатор Хвостов[59] желал бы сохранить за чиновниками административную гарантию, то есть свободу от судебной ответственности, пока того не потребует их начальство. Саблер[60] не прочь и все церковное начальство ввести в ряды правительственных чиновников, возлагая на архиереев заботу об официальной кандидатуре на выборах.

В противоположность им можно указать на присутствие в центре людей, для которых правовой порядок, равенство граждан перед лицом закона, перед налогом и судом, перед судом и государственной службой являются неопровержимыми истинами, для которых религиозная свобода и обеспечение личности от произвола столь же необходимы, как пища и воздух. Гуманность некоторых из них доходит до отрицания смертной казни, как у Таганцева, до равноправия всех христианских культов, как у того же Таганцева и Кони, но за немногими исключениями, в число которых можно отнести и названных мной лиц, такая простая мысль, как равноправие поляков, евреев, малороссов и великорусов, еще является «великодушной утопией». А что уже говорить об автономии окраин...

Мне памятно заседание, в котором, по случаю реформы местного суда, кн[язь] Лобановым-Ростовским поднят был вопрос о недопущении евреев в число мировых судей, ввиду несогласия их морали с христианской. Министр юстиции нашел этого мало и предложил не допускать к выборам и евреев-выкрестов вплоть до 3-го поколения; психология их, мол, такова, что они русских и православных судить не могут. Я попросил слова и сказал только три фразы. «Извиняюсь, что буду говорить об элементарных истинах. Предполагаю, что Вы считаете русскую империю государством правовым, но основу правового государства составляет равенство граждан-подданных перед законом, судом, налогом, государственной службой. Если бы мои расчеты были ошибочны и Вы бы не разделяли этих элементарных точек зрения, то нас рассудит история». Поднялось то, что на языке нашего председателя называется «мычанием и рыканием». А на следующий день в «Новом времени» по поводу моей речи подан был совет устраивать Россию на любом основании, только не на начале равенства в правах подданных. Боязнь прослыть «юдофилом» так распространена в среде членов Высокого собрания, за исключением, разумеется, левого крыла, что русские, поляки, правые и люди центра не решаются поставить своего имени под предложением, заключающим в себе протест против низведения евреев на степень полуграждан. Мне раз удалось собрать только три имени в пользу такого протеста, да и то после продолжительного торга. Я соглашался подписаться под особым мнением меньшинства комиссии законодательных предположений под условием, если они поставят свои имена под моим особым мнением, благоприятным евреям. Передаю потомству фа-

милии этих «героев»: гр[аф] Олизар, гр[аф] А. Бобринский — бывший попечитель Петербургского округа и Хоменко — представитель промышленности и торговли Киевского округа. Сколько помнится, одно из этих трех лиц взяло впоследствии свою подпись обратно.

В собрании людей высшего круга и дворянского воспитания можно было бы ожидать, по крайней мере, добропорядочности в отношениях, но и этого нет. Когда г.г. сановникам вздумается сводить счеты между собой, они обмениваются с трибуны выражениями, не оставлявшими ни малейших сомнений в том, что они взаимно считают друг друга лжецами. После одного из таких обменов любезностями между гр. Витте и А.С. Стишинским, я встретил кн[язя] Н. Оболенского[61] и спросил его: «Что же, будет дуэль или чаепитие?». Он ответил мне: «Чаепитие». И было чаепитие. Оба сановника, продолжая таить друг на друга беспредельную ненависть, обмениваются рукопожатием и ведут разговор. В другой раз мне пришлось выступить против гр[афа] Витте с защитой русской науки, им почему-то задетой. Что же ответил мне русский сановник? — «От кого я знаю о том, что последнее назначение профессоров неудачное? От Максима Максимовича. Кто подал мне мысль думать, что уровень преподавания падает? Тот же Максим Максимович». И граф Витте продолжал таким образом в течение десяти минут, точно не давая себе отчета в неприличии передавать публично содержание частной беседы. Однажды его невоспитанность еще более поразила меня. Заседание Государственного Совета объявлено было закрытым. Обсуждался законопроект о шпионстве. Гр[аф] Витте просит слова, для того, чтобы заявить с трибуны, что этот законопроект, как бы хорош он ни был, не помешает думскому А.И. Хлестакову раскрывать государственные секреты просто из желания показать свою важность перед иностранцами. Тщетно председательствующий, которым на этот раз был Голубев, призывает оратора, говоря, что не может допустить такого третирования членов другой палаты. — «Ну, я буду говорить о Государственном Совете. Ведь Вы все равно поймете», — и продолжается неприличная тирада, явно направленная против Гучкова, да еще с прибавкой: — «Я бы этого не говорил, если бы заседание не было закрытым».

При такой развязности языка изумительна щепетильность, с какой отдельные члены Совета относятся ко всякой попытке пустить в ход приемы европейских парламентов, с целью показать нежелание вступать с оратором, вас задевшим, в личное объяснение. Однажды, отвечая генералу Сухотину[62], который все время направлял свою полемику лично против меня, я с трибуны заявил председателю, что в своих возражениях буду обращаться только к нему. Сухотин в реплике назвал меня, в насмешку, учителем приличия и добрых манер. В другой раз, желая показать Гурко, который один из всех членов Совета не обменивается со мной даже рукопожатием, что, и соглашаясь с ним в том или другом вопросе, я, тем не менее, продолжаю его игнорировать, я употребил обычный в Анг-

лии прием и назвал его избранником тверского земства. Не только Гурко, но и целая группа членов Совета, в числе их и председатель, сочли это большой дерзостью с моей стороны. Отвечая мне, Гурко высказал предположение, что память мне изменяет и что я никак не могу припомнить его имени. Стаховичу пришлось во время чаепития объяснять моим коллегам, что употребленный мной прием обязателен в Англии, где по имени называет отдельного оратора только председатель палаты спикер, да и то лишь в случае призыва его к порядку. Самый этот призыв к порядку в Государственном Совете, как я уже сказал, принимает форму грубого окрика, связанного с повышением голоса и частым повторением фразы: «Прошу подчиняться моим указаниям», — «А Вы опять». — «Я лишу Вас слова» и т.д. в том же духе. Ораторы иногда сходят с трибуны, объявляя себя обиженными, за кулисами сторговываются с председателем и последний милостиво дозволяет оратору закончить свою речь. Чтобы сразу обессилить воинствующего ревнителя порядка, я обыкновенно спешил с заявлением: «Вполне подчиняюсь Вашим указаниям», и затем продолжал свою речь.

При наказе, наделяющем председателя почти неограниченной дискредиционной властью, и требовании, чтобы речи продолжались не более $^1/_2$ часа, довольно трудно ждать частого проявления на наших заседаниях ораторского красноречия. «Учреждения моей родины, — сказал однажды в моем присутствии на всемирном конгрессе печати в Париже Ив[ан] Серг[еевич] Тургенев, — не содействуют развитию красноречия». Политических ораторов в строгом смысле слова у нас и по настоящий момент, по крайней мере, в Совете не имеется. «Красно говорит» кажется большинству свидетельством ораторского искусства. Они всего более ценят тот слог, который, по стилистике Зеранецкого*/63, слывает за возвышенный. Предшествующая деятельность подготовила некоторых из советников к произнесению судебных речей, а других к канцелярским докладам и лекциям. А.Ф. Кони продолжает по-прежнему, но ослабевшим голосом, не достигающим до задних рядов, насыщать свою изящную, вполне академическую речь литературными образами и цитатами. Но все это решительно пропадает для собрания, в котором словесность ценится не высоко. М.А. Стахович, устроивший с Кони даже какую-то школу ораторского красноречия, мучительно испускает из себя с постоянным заиканием и каким-то хрипом заранее изготовленные длинные периоды, с наперед придуманными словечками. А.С. Стишинский читает наизусть какие-то удручающие доклады; они кажутся менее скучными на заседаниях комиссий, быть может, только потому, что они менее длинны. Отдыхаешь, слушая неправильную, с большим темпераментом и еще с большей злобой произносимую филиппику гр[афа] С.Ю. Витте, которая тем отличается от демосфеновской,

* Так в тексте. Следует: Зеленицкий.

что передается слогом «низким и отвратительным», по выражению Щеленицкого. Москвича или петербуржца коробит неправильное произнесение им отдельных слов; так, например, он говорит «инциндент», вместо «инцидент». Неверность ударения, а иногда и самой конструкции фразы в связи с желчностью и постоянным желанием обнаружить свое жало и вырвать то или другое перо из «двуглавого орла», составляла особенность речей Корвин-Милевского, рядом с его обстоятельной осведомленностью по затрагиваемым им вопросам. Профессор Озеров и еще в большей степени проф[ессор] Багалей остаются на трибуне профессорами, заявляют с самого начала то, что они намерены доказать и тем отнимают у нас желание дослушать их до конца. У одного лишь поляка Шебеко льется из уст правильная русская речь, которой он обучен был в лицее, и встречаются, особенно в заключительной части, тирады с политическим подъемом, вроде, например, заявления: «Как огорчительно, что Ваши решения с радостью принимаются в Берлине». Карикатуру на духовное красноречие представляют выступления архиепископа Николая, который наделен от природы женским голосом, завывает и пользуется любым случаем, чтобы попечалиться о судьбе Церкви, обходимой средствами государственного казначейства, не встречающей достаточного содействия чиновников на местах, а все же всегда готовой стоять на страже самодержавия и быть оплотом православия и народности. Один протоиерей из Харькова, читавший богословие и каноническое право, громким поповским голосом обличает всякое неверие и неповиновение начальству. Черпает свои аргументы из истории, смешивая колонат[64] с солидностью членов муниципальных советов в Риме и неизменно обнаруживая желание примирить Христово учение с военным Регламентом и полицейским правопорядком.

Говорить о красноречии членов Государственного Совета трудно, но нельзя не отдать должного деловитости некоторых речей, произносимых бывшими членами судебного ведомства и всякого рода дослужившимися до высоких чинов администраторами. Колыбинский, например, если не говорить о его политической беспринципности и нескрываемом цинизме, прекрасно излагает недостатки того или другого думского законопроекта и совершенство сделанных к нему в комиссии поправок. Дурново говорит всегда не глупо, не подыскивая словечек и аргументируя сильно, но всегда с точки зрения государственной целости и единства и всемогущества администрации. В его глазах люди существуют для правительства, а не правительство для людей. Все должно служить к вящей пользе начальства: и Церковь, и наука. Необходимые вольности, уважение национальной культуры — все это не более, как хитросплетения лживых уст или рабское заимствование из Европы. Великороссы создали государство, а поэтому им и давить все прочие национальности. Я слышал, однако, от Витте, что точка зрения Дурново, во время пребывания его членом правительства, была несколько иная, по крайней мере, на финляндский вопрос. Так как он умело и терпимо руководил прениями в комиссии, в

которой поручено было выработать общеимперское законодательство для княжества, то в заключение наших занятий я попросил слова, чтобы от имени меньшинства выразить ему наше удовольствие тем, что, не в пример Думе, в Государственном Совете нашелся умный человек для руководительства комиссионной работой. Я никогда не видел его более смущенным, точно он боялся от меня разоблачения, что он скрытый союзник.

VII.

Пребывание в Государственном Совете дало мне возможность ближе узнать некоторых людей, имя которых, разумеется, будет стоять на страницах истории. К числу их я должен отнести гр[афа] С.Ю. Витте. Он встретил меня, как старого знакомого и, видимо, старался привлечь на свою сторону. В то же время я узнал от посетивших его ранее Васильева и кн[язя] Трубецкого следующие характерные для него заявления. — «Я говорил Государю: «Возьмите в министры человека вроде Ковалевского. Он насадит вам разные свободы, польются потоки крови, и тогда сами освободители узнают, что значит поносить бюрократию, не доверять ей, заменять ее общественными деятелями». Сообщение обоих моих товарищей не вызвало во мне, разумеется, никаких сомнений, да оно и отвечает многому, что мне приходилось слышать из уст самого Витте. Однажды за завтраком он сказал мне: «А какое последствие будет иметь, по Вашему, упразднение черты оседлости? По-моему, — избиение евреев». В другой раз он спросил меня, как я отношусь к заявлению Государя, что он разберет распрю болгар с сербами»[65]. Я ответил, что отношусь положительно. — «А я отрицательно, — возразил он мне, — и потому отрицательно, что знаю моего Государя. Он сделает первый шаг, а второго не сделает». На этот раз так и случилось.

Зная все то, что можно было знать о Витте из его прошлого — его диктаторские приемы, его безразличное отношение к людям, оказавшим ему услуги, и способность пожертвовать ими во всякое время, я, тем не менее, преклонялся перед его разумным упрямством при ведении переговоров с японцами. Известия о нередком перерыве этих переговоров приходили ко мне в Карлсбад, где в различных банках вывешивались каблограммы из Портсмута. Я в это время был еще зарубежным профессором, что не мешало мне глубоко страдать от русских поражений, тем глубже, что я отнюдь не предвидел от них каких-либо выгодных последствий для нашего внутреннего строя. Поэтому не было пределов моему восторгу, когда пришли, наконец, вести, что мир заключен, да еще без платежа контрибуции и с потерей всего-навсего половины Сахалина. Когда Витте предложил мне познакомиться с теми документами, которые имеются у него о ходе портсмутских переговоров, я набросился на этот материал с жадностью, пополняя его депешами, отпечатанными в Оранжевой книге[66]. Я написал для «Вестника Европы», еще бывшего в то время в руках Стасюлевича, обшир-

ную статью под названием «Портсмут»*. Прежде чем напечатать ее, я послал корректуру Витте. Он вернул с отметками и запиской, гласившей: «Вы окончательно поссорите меня с Государем». Инкриминируемое им место гласило, что, не добившись уступок от Витте, Рузвельт телеграфировал своему послу в Петербурге Мейеру. Последний явился по его приказу во дворец и вышел из него с уступкой японцам половины Сахалина. Это был вывод, к которому можно придти на основании чтения опубликованных самим же правительством документов. Витте считал их секретными. Отсюда его понятное беспокойство. Статья моя о Портсмуте не только не причинила ему никакого ущерба, но, наоборот, подняла его в общественном мнении. Граф «Полусахалинский», как его прозывали в это время в насмешку все сводившие с ним счеты бюрократы и военачальники, изображен в этой статье в истинном свете — горячего русского патриота, озабоченного сохранением мощи и материального благосостояния своего отечества. Это — господствующая черта в характере Витте. Она заставляет его — человека, склонного к компромиссам — выступать весьма открыто и против таких временщиков, как Плеве, и против министра военного Куропаткина[67], и против вел[икого] кн[язя] Александра Михайловича с его креатурами, в числе которых не последним был и остается теперешний министр путей сообщения Рухлов[68]. Эта забота о материальном процветании России побуждала его в старые годы выступать открыто и против мнения Государя и вызвала, в конце концов, тот разрыв, который сказался еще до Японской войны. Витте составил подобие мемуаров, которые несомненно отличаются меньшими литературными достоинствами, чем многие из воспоминаний и дневников, пользующихся у нас широким распространением. Но их достоинство состоит в том, что добрую половину их содержания составляют или официальные документы, или записи, сделанные на недалеком расстоянии от событий. Об этих мемуарах нельзя будет сказать того, что однажды я услышал из уст писателя Писемского. На мой вопрос: «Почему Вы не пишете Ваших воспоминаний?». — Алексей Феофилактович ответил мне с улыбкой: «Пробовал, напишу страницу и чувствую, что лгу, а воздержаться не могу. Ну, я и бросил». Я прочел, разумеется, лишь небольшую часть мемуаров Витте, ту, которая покрывает собой период, предшествующий Японской войне и непосредственно следующий за ней. Я вынес из этого чтения глубочайшее убеждение в том, что Витте сделано было все возможное, чтобы предупредить наше совершенно не вызваное нуждой столкновение с Японией. Как только явилась возможность открыть переговоры о мире, Витте, не считаясь с тем неудовольствием, какое его выступление вызовет в военной партии и в самом Государе, счел себя обязанным письменно передать ему свои соображения. Он ни прямо, ни косвенно не предлагал своих услуг насчет ведения переговоров и

* Ковалевский М.М. Портсмут // Вестник Европы. 1908. № 6.

попал в комиссары только потому, что министр юстиции Муравьев[69] уклонился от исполнения возложенного на него поручения, ввиду ли ранее возникшего столкновения с Японией, если не ошибаюсь, на какой-то международной конференции не то в Бельгии, не то в Голландии, или, как думает Витте, только потому, что забыли ассигновать достаточные средства на поездку в Америку. Витте говорил мне, что приплатился во время нее своими деньгами и затратил из своих средств более 50 тысяч рублей. В дополнение к тому, что мне пришлось прочесть в сообщенной мне рукописи, я слышал от самого Витте следующий рассказ. Однажды приезжает к нему вел[икий] кн[язь] Алексей Николаевич[70] с целью убедить его на ближайшем совете в Царском Селе не противиться дальнейшим финансовым ассигнованиям на военные цели. — «Вы только напрасно раздражите Государя. Он принял свое решение, и Вы только усилите разделяющую Вас бездну». Витте ответил ему, что речь идет о благе России, и человек, несущий за него ответственность, не может уклониться от обязанности сказать всю правду. Компания людей, затевавших выгодное предприятие на Ялу, действовала в это время на всех парах. Абаза[71] с Безобразовым[72] встречали поддержку в адмирале Алексееве[73], генерал-губернаторе Владивостока. Государь совершенно подчинился их влиянию. Никак не думал о том, что японцы решатся воевать. Ведь в то время пренебрежительно называли их макаками. Великий князь выслушал Витте, согласился с ним, пожал ему руку на прощанье и обещал ему поддержку на ближайшем заседании. На это заседание он не явился.

То же служение материальным интересам России заставило Витте обнаружить большое упорство при ведении торговых переговоров с Германией[74]. Это упорство увенчалось полным успехом в царствование Александра III, так как царь был кремень и относился с полным доверием к своему уполномоченному. Витте пришлось вести переговоры и при возобновлении торгового договора с Германией в царствование Николая II[75]. Эти переговоры совпали с периодом Японской войны. Витте обнаружил прежнюю несговорчивость. Тогда император Вильгельм написал возлюбленному брату, что он дает ему свое братское слово не угрожать нашей границе в том случае, если бы войска были выведены из Царства Польского и направлены на Дальний Восток, но так как ему нужно сделать что-либо для удовлетворения интересов своих подданных, то он просит государя повелеть Витте принять те условия торгового договора, как благородный брат. Витте отдан был соответственный приказ, ему осталось только подчиниться. Договор заключен был на возможно выгодных условиях для Германии, и по его образцу возникли и позднейшие договоры с Австрией и другими державами, на началах «наиболее благоприятствуемых». Ежегодно мы приплачиваем за эту уступчивость много миллионов... Сообщил мне Витте также один весьма интересный документ, доказывающий, что и французское правительство не прочь было воспользоваться своим сближением с Россией для выгодных

финансовых операций. Предвидя противодействие своим планам в лице Витте, как министра финансов, председатель французского Совета Министров Мелин[76] в самый разгар затеянной Витте монетной реформы прислал непосредственно Государю мемуар о преимуществах двухмонетной системы. Витте в течение месяца не мог добиться сообщения этого мемуара. Когда же он, наконец, оказался в его руках, ему не трудно было объяснить источник «незаинтересованного совета», указавши на то, что во французском банке лежит значительное количество серебра, от которого правительство республики не прочь бы избавиться. Этот документ с моим комментарием появился в парижском «Обозрении политическом и литературном». С №-ом, заключавшим мою статью, пошел Дмитриев — корреспондент «Русского слова»[77] — к Мелину. Тот, по прочтении статьи, обещал напечатать свои возражения. Они не появились и до сих пор. — «Что ж возражать, — говорил мне Витте, — когда факты налицо и засвидетельствованы в документах». Судьба свела меня прошлый год с Мелином при посещении Люксембургского дворца. Мы беседовали о многом, только не о напечатанном мной документе.

Дурное ли впечатление, оставленное в нем этой попыткой дружественной державы поделиться с нами своим «серебряным богатством», или основание более серьезное — то соображение, что наши торговые интересы, наибольшая сумма ввоза и вывоза, побуждают нас к мирному сближению с Германией и ее союзником Австрией — причина того, что Витте никогда особенно не обольщался выгодами союза с Францией. Это не мешало ему в бытность свою главой кабинета поддерживать французские притязания на известной конференции в Альжизирасе*[78]. Последствием этого было несомненно охлаждение к нему со стороны императора Вильгельма. Кабинет Витте завешан портретами императоров и королей с собственноручными их посвящениями. В числе этих портретов висит и портрет Вильгельма. Но прежних свиданий с ним при проезде Витте через Берлин более не повторялось.

Забота о том, чтобы Россия была сильна и могущественна, материально благоденствовала и процветала, объясняет собою и всю внутреннюю политику Витте. Надо поддерживать высокий таможенный тариф в интересах развития нашей промышленности, надо привлекать в Россию иностранные капиталы, а для этого дать капиталистам то обеспечение, какое мыслимо только под условием правопорядка, надо не восстанавливать против себя евреев законодательством, направленным к стеснению их прав и ухудшению их материального положения, так как евреи играют большую роль в кредитном обращении. Надо обнаруживать терпимость к различным религиозным толкам, так как, в противном случае, не будет мира и спокойствия. Надо поднять экономическое положение крестьян и уравнять по отношению к правам и управлению с

* Так в тексте. Следует: Альхесирассе.

прочими классами населения хотя уже для того, чтобы расширить внутренний рынок. Если для этого потребуется широкое отчуждение казенных земель, поощрение переселений и даже обязательный выкуп помещичьих земель, то Витте не прочь вступить и на этот путь, настолько не прочь, что одно время он вошел в переговоры с Постниковым и даже посоветовал ему заказать мундир на тот случай, если ему придется в качестве товарища министра представляться Государю. Это было всего за несколько месяцев до манифеста 17-го октября. Как-то в разговоре Витте, некоторое время рисовавшийся передо мной человеком, необыкновенно близко принимающим к сердцу представительный строй и вольности, обещанные манифестом 17-го октября, и встретивший с моей стороны сомнение в том, чтобы он мог быть чем другим, как убежденным и последовательным консерватором, сознался, что он предложил Государю несколько выходов из тех затруднений, какие были созданы неудачной войной и вызванным ею недовольством. — «Я предложил ему, между прочим, — сказал он, — не изменяя государственного строя, провести широкую аграрную реформу». Мысль об обязательном выкупе дошла до Государя в форме записки, посланной в обход Витте профессором Мигулиным[79], в то время еще читавшим финансовое право в Харькове. Витте какими-то путями узнал об этой записке. Все пути кажутся ему одинаково дозволенными. И он однажды в разговоре не скрыл от меня, что слова, произнесенные министром народного просвещения Шварцем[80] на его свидании с Государем, переданы ему случайно вошедшим в комнату царскосельским камердинером. Получивши, наконец, после долгих усилий, эту необходимую ему записку Мигулина, Витте вслед за тем добился от Государя поручения передать ее на рассмотрение комиссии. Во главе этой комиссии поставлен был товарищ министра Кутлер[81]. Комиссия с председателем во главе высказалась против обязательного выкупа. Это не помешало впоследствии выбирать Кутлера депутатом от Петербурга, как сторонника обязательного выкупа. В обществе существует даже убеждение, что он пал жертвой своего пристрастия к аграрному коммунизму, что Витте, использовавший его для составления известной записки о внутреннем противоречии, существующем, якобы, между земством и самодержавием, не постыдился высадить его из состава министерства финансов, как только сказалось недовольство дворян и, в частности московских, затеваемой аграрной реформой. Я глухо слышал, что дворянство Москвы сумело выкрасть бумагу, касавшуюся правительственной ликвидации части его имений. Чтобы избавиться от дальнейших гонений, направленных против его ведомства, Витте, будто бы, и распрощался с Кутлером, сыгравшим, таким образом, «козла отпущения». Была ли выкраденная бумага кутлеровского творчества, или нет, я сказать не могу. Всего вероятнее, что не его. Во всяком случае, Витте в прениях по аграрной реформе выступил в Государственном Совете не сторонником обязательного выкупа, а свободы сельских общин переходить или не переходить от мирского пользования к

частному. Одновременно он решительно высказался за упразднение какого-то особого крестьянского права и напомнил облюбованную им формулу Победоносцева[82]: «Из крестьянина надо сделать персону».

Для материального благосостояния России, разумеется, небезразлично, будет ли крестьянин грамотным, или нет. Но этой грамотности нужно достигнуть возможно дешевыми средствами, а потому нет основания враждовать с церковно-приходской школой. Эта вражда, в глазах Витте, совершенно необъяснимое предубеждение либералов. Духовенство должно иметь участие в воспитании народа. Витте любит настаивать на своей привязанности к православной Церкви, уверяя, что сам он воспитан был, за смертью отца, под прямым влиянием славянофила генер[ала] Фадеева, его родственника по матери. Он гордится своей принадлежностью, правда, по женской линии к семье, в свою очередь, родственной с известным кн[язем] Петром Долгоруким, резавшим правду в глаза самому Петру Великому. Портрет этого Долгорукого в числе семейных портретов украшает его кабинет.

Витте, как нельзя лучше, понимает, разумеется, что поднять хозяйственную деятельность крестьян можно только, уменьшив в их среде пьянство; но он также слишком хорошо знаком с данными статистики потребления алкоголя, чтобы не знать, как слабо употребление его в России сравнительно с другими странами. Крестьянин пьянствует в праздничные дни, по случаю свадеб и похорон и остается трезвым в нормальных условиях в течение всего рабочего времени. Пьянство во всем мире распространено более среди рабочих, чем крестьянского люда. Одна из наиболее «алкоголизированных» стран, это — Бельгия с ее большим рабочим населением. В городах, особенно мануфактурных и фабричных, пьют больше, чем в селах. Зная все это, Витте, разумеется, не считает бесполезным вести борьбу с пьянством. Он утверждает даже, что затеянная и проведенная им система государственной монополии торга спиртом была задумана не с целью увеличения доходов казны, а в интересах отрезвления. Быстрый рост государственного дохода от спирта, по-видимому, не оправдывает такого заявления, но возможность борьбы с пьянством и при существовании монополии доказывает, как нельзя лучше, пример Швейцарии. Борьба с пьянством, по мнению Витте, возможна лишь под условием искоренения корчемства строгими карательными мерами. Пока это не будет сделано, все прочие приемы, как-то: изменение емкости посуды, быстрое возрастание цены на спирт и понижение крепости водки останутся бессильными паллиативами. Последняя мера уже потому нежелательна, что понизит отпуск нашей водки за границу. Потребитель привык к получению известных вкусовых ощущений, а они связаны с наличностью в водке известного процента алкоголя. Витте посещал изредка нашу комиссию, принимал участие в прениях, уделяя много времени защите монопольной системы, ее, так сказать, облагораживанию в глазах тех помещиков-винокуров, которые не могут простить ему,

Витте, понесенных ими утрат и охотно принимают поэтому роль печальников за опаиваемых казной крестьян. Ничто не давало основания предвидеть, что в Государственном Совете Витте выступит боевым оратором в пользу предложенного нами законопроекта. И он, вероятно, не занял бы этой роли, если бы не узнал, что царь в частной беседе с епископом Томским в Крыму не высказался в том смысле, что его тяготит, что добрая треть доходов, получаемых казной, идет от «царской водки». Так как к тому времени между Витте и Коковцевым[83] возникли большие трения, то Витте направил свои выступления против министра финансов, доказывая далеко не убедительно, что только с переходом в руки последнего министерства финансов монополии был придан характер вытягивания средств из народа. Правая Государственного Совета давно вела атаку против Коковцева, как председателя Совета Министров. Еще в весенней сессии 1913 г. она надеялась свалить его по поводу защиты им мысли о несвоевременности выкупа в казну железной дороги, управляющим которой был его брат. По этому поводу наша группа, по моему совету, сделала письменную декларацию, в которой, объявляя себя сторонниками перехода в руки государства доходных путей, мы в то же время соглашались с министром, что состояние биржи не позволяет произвести выкуп немедленно и высказывали надежду, что управлением дороги, согласно заявлению министра, построены будут намеченные Думой подвозные пути. Как только стало известно, что царь на стороне народного отрезвления, хотя бы в ущерб доходу, получаемому от монополии, и что, наоборот, Коковцев готов противиться прохождению законопроекта до тех пор, пока не будет найдено новых средств для пополнения дефицита, правые направили против него всю свою тяжелую и легкую артиллерию. Коковцев перед тем создал новое недовольство собой в рядах правых поддержкой предложения об употреблении польского языка в городских советах Привислинского края. Совокупными усилиями Витте и правых Коковцев настолько был обессилен, что враждебной ему клике удалось на этот раз добиться его отставки у Государя. Витте в самый разгар полемики не прочь был рекомендовать правительству проведение задуманной нами реформы в порядке 87-й статьи, т.е. он шел на явное нарушение обещания, данного манифестом 17-го октября, что впредь не будет закона без Думы. Правительство не стало на этот путь. Но Коковцев, как разошедшийся с волей Государя, был оставлен одновременно и от поста Председателя Совета Министров, и от управления финансами.

Место его заняли Горемыкин и Барк[84]. Витте и правые могли торжествовать победу. Витте — потому, что Барк — до некоторой степени его создание и, по-видимому, готов держаться его советов, правые же — потому, что Горемыкин вышел из их среды. Сочувствуя проведению выработанного комиссией законопроекта и относясь в то же время отрицательно к приемам, пущенным в ход, чтобы использовать ее против Коковцева, я в одной из моих ближайших речей помянул его добром, как человека, в течение ряда

ист стоявшего на страже казенного ящика и содействовавшего упрочению за границей уверенности в нашей кредитоспособности. Этих немногих слов было достаточно, чтобы вызвать в Коковцеве желание выразить мне свою признательность в форме письма. До этого времени мы избегали всяких встреч и разговоров. Коковцев не мог простить мне статьи, напечатанной мной в «Слове», вслед за произнесением им известной фразы: «У нас, слава Богу, нет конституции». Получив его письмо, я счел нужным сделать ему визит. Во время нашей беседы я сказал ему, что в Париже при посещении мной Сената, меня распрашивали о том, что вызывает недовольство многих Коковцевым, как министром финансов. Мой ответ гласил: «Ему не прощают того, что золотой дождь он не направляет на помещичьи земли». Коковцев сказал мне: «Вы были совершенно правы. Когда я сделался министром финансов, то нашел, что 100 с лишним миллионов розданы из государственного банка разным лицам в учет векселей, на основании простых рекомендаций». — «А сколько из этих розданных миллионов вернулось в банк?», — спросил я. — «40, не более», — был ответ. И до своего «объединения» дворянство умело высасывать деньги из государственной казны. Недаром же, в его глазах, интересы престола тесно связаны с интересами первенствующего сословия.

VIII.

Моя деятельность в Государственном Совете так мало удовлетворяет запросу на положительную работу, что я бы, вероятно, не остался в Петербурге и вернулся бы к прежней научной деятельности, если бы звание члена Государственного Совета не облегчало мне возможности посвящать часть моего времени на косвенное, правда, но все же влиятельное воздействие на различного рода общественные круги. Мои ближайшие приятели не раз высказывали мне свое недоумение, связанное с некоторого рода порицанием. Почему я берусь за председательствование такими обществами, как юридическое или вольноэкономическое, не говоря уже о других, отчасти вызванных мной к жизни, как «Петербургское отделение общественного мира», Толстовский музей, Народный университет, Психоневралогический институт, Курсы Лесгафта, Женские Высшие курсы. Берусь я за все это по недостатку людей, защищенных своим положением от мелочной привязчивости полиции в разных ее видах вплоть до градоначальника. Та же причина заставляет меня не отказываться от приема у себя на дому представителей различных партий и представителей оппозиционной печати каждый раз, когда приходится столковываться о каких-либо коллективных выступлениях. Такие собрания повторялись у меня не раз: и накануне сделанного в Думе запроса о провокаторах вообще, об Азефе в частности, и накануне произнесения приговора по делу Бейлиса[85]. Упоминая об этом, не могу не отдать долга уважения к редакциям журналов и газет, не принадлежащих к офици-

альной и официозной печати. Пренебрегая своими материальными интересами, все они в одно слово решили идти на штрафы и закрытия в том случае, если приговор суда будет обвинительный. Я не уклонился также от устройства в зале Консерватории светских поминок по Толстому и принял на себя ответственность перед градоначальником. Он счел нужным пригрозить мне штафом в 3 тысячи рублей в том случае, если бы кто-нибудь из публики вздумал пропеть «Святый Боже»... — «Штраф заплачу, — ответил я, — а глотки никому забить не могу». К чести собравшихся, в среде которых было немало рабочих, получивших от нас билеты и распределивших их по собственному выбору, надо сказать, что простого моего заявления в конце речи о необходимости воздержаться от всяких манифестаций, от всяких выражений одобрения или неодобрения, ввиду самого характера нашего собрания, было достаточно, чтобы 3 тысячи человек, прослушавши все наши речи, соблюли бы благоговейную тишину. Одно время можно было думать, что самое заседание не состоится. В то время, как я собирался открыть его, явился ко мне помощник градоначальника с новым требованием: не говорить ни о Синоде, ни о смертной казни и не осуждать действий правительства. Я ответил ему, что при этих условиях ораторы едва ли согласятся говорить и что я во всяком случае должен их опросить предварительно. Но так как речи Родичева и Милюкова были готовы, то они совершенно правильно предпочли скорее выбросить из них кое-что, чем заставить публику разойтись, не исполнив общего долга по отношению к памяти великого художника и мудреца. Пришлось мне выступить с новой речью о Толстом и на вечере, посвященном его памяти «Литературного фонда» и с тех пор ежегодно возобновляемом. Моя речь посвящена была параллели между Руссо[86] и Толстым. В противовес давно распространенному мнению, я старался доказать, что Толстой обошелся без заимствований у женевского мыслителя и отразил в своих суждениях точку зрения сельского простолюдина в такой же степени, в какой Руссо явился истолкователем идеалов городского простонародья. Не счел я также возможным уклониться от председательствования собранным нынешней весной митингом в Калашниковской бирже для обсуждения еврейского вопроса. Противники гражданского равноправия евреев не сочли нужным выступить на нем и удовольствовались только тем, что прерывали наши речи. Эти перерывы прекратились после того, как я заявил, что не могу одновременно исполнять обязанности председателя и обязанности оратора. Полиция по собственному почину удалила крикунов. Митинг обошелся, разумеется, не без вмешательства пристава. Речь одного из сотрудников «Русского богатства», Мякотина, вызвала два предостережения, и мы, несомненно, закончили бы наше собрание официальным его закрытием, если бы речь последнего оратора, депутата от трудовиков Керенского, не была приостановлена наступлением полуночи, после чего день, на который дано было разрешение, считается истекшим. Обходя молчанием мою лекторскую деятельность в уни-

верситете, в Политехникуме, на Женских педагогических курсах и в народном университете, в зале Тенишева, я скажу еще два слова о моем участии в форме лекций, речей и докладов по вопросам, связанным с внешней политикой. Председательствование «Общества мира» дало мне возможность не раз выступать в прениях по вопросу о тех ужасах, какими должна сопровождаться война при современных условиях техники. В числе членов общества имеется военный врач, проделавший русско-турецкую кампанию и постоянно следящий за теми изменениями, какие происходят в военной технике. Месяца за три до войны он выступил с подробным докладом, в котором указывал, между прочим, на то влияние, какое могут сказать ядра из стали размерами в 32 и более дюймов. Он пророчил, что такие снаряды будут сносить крыши крепостей, точно они сделаны из картона. Читая в настоящее время в газетах о 42-сантиметровых ядрах, бросаемых немецкими мерзерами, я вспоминаю прослушанное мной пророчество. Значительная часть успеха немецкого оружия объясняется тем, что немецкий генеральный штаб сумел сохранить тайну этих последних успехов техники, позволивших ему овладеть Люттихом на 12-й день после начала мобилизации, а вслед за тем покончить с Намюром, с рядом французских крепостей и, наконец, с Антверпеном.

Первое заседание «С.-Петербургского Общества Мира» открыто было в Александровском зале городской думы. На него приглашена была мной депутация французского парламента, в это время прибывшая в Россию. Вслед за бар[оном] Нольде, профессором международного права в Петербургском Политехникуме, держал речь на фразцузском языке бар[он] де Естурнель де Констан, глава французской депутации. Она вызвала горячие аплодисменты. По массе собравшихся можно было думать, что наше общество сделается весьма популярным. Но расчет был ошибочным. Пришли глазеть на иностранцев. Когда же я стал приглашать войти в состав общества членов Думы и Совета, то одни удовольствовались внесением членского взноса, благо он не велик (всего рубль), а другие ответили мне в духе кн[язя] А.Д. Оболенского[87], сказавшего: «Охотно сделаюсь вашим сочленом, после первого выигранного Россией сражения». Боюсь, что придется долго ждать вступления кн[язя] Оболенского в наши ряды. Некоторые члены общества желали придать ему с самого начала боевой характер. Брянчанинов[88] требовал от нас, чтобы мы послали протест итальянцам по случаю открытия ими враждебных действий против Триполи. За этим протестом пришлось бы сделать декларацию и против русского правительства, пославшего войска в Персию, а затем и против всех тех правительств, которые вздумали воевать сперва с Турцией, а затем между собой. Я предвидел, что стать на этот путь грозит не только ближайшим закрытием общества, но и приобретением им смехотворной репутации. Оно было слишком молодо, слишком мало известно за границей, чтобы оказать серьезное воздействие в смысле прекращения войны. Но в правлении нашлись люди, поддержавшие Брянчанинова, в числе их бывший министр народного

просвещения гр[аф] И.И. Толстой. Мы отпечатали довольно условную резолюцию, на которую, разумеется, не обращено было за рубежом никакого внимания, но последствием которой был уход из нашей среды бар[она] Таубе[89], как товарища председателя, и бар[она] Нольде. Последнего мне удалось вернуть. Таубе же скоро занял такое положение при министре Кассо, что можно было только радоваться его уходу.

Я старался по возможности направить деятельность общества в ту же сторону, в какой проявляет себя другая организация мира, так называемая междупарламентская ассоциация, членом которой я состою вместе с Милюковым, Ефремовым и др. Я поэтому охотно поднимал сам или приглашал других к постановке таких вопросов, как вопрос о свободе проливов и, в частности, Константинопольского и Дарданелл, вопроса о морской Лондонской конвенции, поставивши себе задачей регулировать правила морской войны, вопрос о защите армянского населения Турции от курдов и турок и назначения с этой целью комиссаров или губернаторов из крестьян, вопрос о нарушении начал международного права во время Балканской войны и т.д. По этому последнему вопросу нам дважды пришлось слышать интересное сообщение Милюкова, которого я же рекомендовал в члены комиссии Карнеги за невозможностью лично принять участие в ней.

Когда началась Первая Балканская война, я не счел возможным отвергнуть предложение сербского проф[ессора] Кашутича устроить у меня на дому заседание из профессоров, академиков и общественных деятелей, желавших выяснить отношение, в какое русская интеллигенция должна стать к событиям на Ближнем Востоке. Я был уверен, что освобождение Македонии от турецкого ига создаст благоприятные условия для упрочения мира, и приветствовал создание федерации балканских государств. Дважды повторились у меня собрания людей, сочувственно относящихся к подъему Сербии, Болгании, Черногории и Греции в защиту угнетенных балканских народностей. Мы решили на них устроить ряд лекций для ознакомления петербуржцев с югославянским вопросом. Я сам принял участие в одном из этих чтений в Соляном городке и обнародовал впоследствии содержание моей лекции в «Вестнике Европы»*. Должен сказать, однако, что, к моему немалому смущению, интерес к поднимаемым нами темам был довольно ограниченный. Тогда как на мое чтение в философском Обществе о Жане-Жаке Руссо, по случаю двухсотлетней годовщины, собралось до двух тысяч человек, на лекции трех профессоров по сербскому вопросу, прочитанные в один и тот же вечер в Соляном городке, явилось менее полутораста слушателей. Упоминаю об этих фактах, чтобы показать, как мало самопроизвольности в том неославянском движении, которое несправедливо считают начальным виновником настоящей войны. Проф[ессор] Бехтерев[90],

* Ковалевский М.М. Судьбы Балкан // Вестник Европы. 1913. № 1.

участвовавший в наших собраниях, счел возможным использовать вновь открытое им при Психоневралогическом институте «Общество славянского научного общения» для той же задачи ознакомления широких кругов с целями, преследуемыми южными славянами. Я выступил и в этом обществе с коротким докладом об обычном праве славян. Бехтерев и Брянчанинов произнесли политические речи. Но если судить по численности аудитории, успех и на этот раз был скромным. При нескольких десятках слушателей происходили препирательства сербского проф[ессора] Велича, отстаивавшего интересы сербов в Македонии, с Шишмаревым, бывшим министром народного просвещения в Болгарии и проф[ессором] Софийского университета. Прения приняли очень острый характер и возобновились снова, но уже не в «Обществе научного славянского единения», а в «Юридическом собрании», своего рода клубе. В это время началась уже Вторая Балканская война, война братоубийственная из-за раздела завоеванных союзниками земель и, в частности, Македонии. Я высказался в этих прениях за автономию этой страны, и в этом смысле и состоялась резолюция, принятая большинством, после двух новых заседаний. Болгары в этот момент готовы были пойти на эту автономию, в тайном расчете, что Македония, уже болгаризованная в значительной своей части, сама рано или поздно сольет свои судьбы с их судьбами. Несколько дней спустя я получил телеграмму из Софии, подписанную высшим духовенством, профессорами, журналистами и общественными деятелями. Они просили меня сказать слово защиты в пользу Болгарии по случаю нашествия на нее румын. Прежде чем сделать это, я повидался с представителем Болгарии в Петербурге, своим бывшим слушателем в Москве, Бабчевым. Он не скрыл от меня, что запрошенное румынами русское министерство иностранных дел ответило, что относится к их походу безразлично. Напечатанная мной в «Речи» статья отразила мое негодование и по отношению к румынам, и по отношению к мстительной и близорукой политике царского правительства. Болгары, по-видимому, не вскоре ознакомились с ее содержанием, так как только в течение прошедшей зимы стали приходить ко мне в большом числе телеграммы и письма с выражением их признательности.

Начавшиеся у меня собрания по вопросам, связанным с судьбой славянства, были продолжены Брянчаниновым. На эти собрания стали являться военные и моряки, молодые дипломаты, приехавшие из славянских стран, профессора и общественные деятели. Прения приняли вскоре характер большой враждебности к Австрии и Германии. Депутат Думы и участник комиссии по государственной обороне выступил даже с докладом о военном положении России и доказывал, что, не ожидая новых улучшений техники, которыми несомненно обзаведутся члены Тройственного Союза, для нас выгодно теперь же начать войну с Австрией, так как всякое решение балканского вопроса должно идти необходимо через Вену. Я позволил себе выступить с моими сомнениями насчет того, чтобы можно было считать реальной политикой ту, ко-

торая отправляется от упразднения двух государственных союзов, одинаково, Турции и Австрии. М.П. Федоров, в свою очередь, выступил с рядом цифр, приблизительно определяющих, во что обойдется отдельным государствам Европы всемирная война. Собрание, однако, не было настроено в нашу пользу и принятая на нем резолюция дышала воинственностью.

Когда, в начале весны, нам предложено было в Государственном Совете в закрытых заседаниях вотировать средства на увеличение армии на $^1/_2$ миллиарда в год, не считая средств на постройку новых дредноутов, уже не осталось сомнения в том, что наше правительство готовит войну с членами Тройственного Союза. Приезд Д'Елькассе*/91 последовал уже в мое отсутствие. Он увеличил воинственное настроение. Можно было предсказать, что Россия усилит тон своей дипломатии по мере приближения к 1917 г., к которому должны быть построены новые суда и увеличены наши военные кадры. Но что война наступит нынешним же летом, по случаю убийства австрийского наследника в Сараеве, этого, признаюсь, ожидать я не мог. Привычка думать, что разум управляет миром, ввела меня в заблуждение, последствием которой было то, что я сижу в настоящее время в Карлсбаде в положении какого-то не то гражданского пленного, не то поручителя, с отобранным паспортом и обязательством еженедельно являться в полицию.

VIII.**

Воспользуюсь, по крайней мере, этой своего рода гражданской смертью, чтобы дать одностороннее, правда, освещение переживаемого нами момента. Я лишен здесь возможности читать русские, французские, итальянские, швейцарские, английские и американские газеты. Все мои сведения почерпаются из австрийской и немецкой печати. День за днем приходят известия об успехах соединенных войск Австрии и Германии. Прошло два с половиной месяца с открытия военных действий и уже ставится вопрос о том, чтобы перекроить карту Европы и тем сделать невозможным, как выражаются, заговор против, одинаково, Австрии и Германской империи.

Спросим себя, прежде всего, был ли в действительности заговор? Император Вильгельм[92] сумел придать характер национальной войны, борьбы за самое существование германского народа своим истолкованием телеграмм, поученных им от русского правительства, в том числе и от императора Николая. Немецкие агенты, в числе их военный, довели до сведения имперского канцлера о том, что в России мобилизация производится, одинаково, и против Австрии, и против Германии. Вот текст этих телеграмм. — Генерал фон Геллиус — германский флигель-адъютант при русском императоре — пишет еще 25 июля 1914 г., что мобилизация нача-

---

* Так в тексте. Следует: Делькассе.

** Так в тексте.

шись против Австрии. День спустя германский посол в Петербурге сообщает о том, что мобилизации предписана в Киевском и Одесском округах. Более сомнительно, что она происходит в Варшавском и Московском и едва ли вероятно, чтобы она начата была в других округах. Еще днем позже, 27-го июля, имперский консул в Ковно сообщает канцлеру, что в Ковно объявлено военное положение. В тот же день приходит от германского посла депеша канцлеру, гласящая: военный министр, по словам военного атташе Германии, дал ему честное слово в том, что пока не обнародовано никакого приказа о мобилизации, делаются общие подготовления, но не призваны резервы и не произведено смотра лошадям. Если бы Австрия переступила сербскую границу, то военные округа, войска которых могли быть против Австрии, то есть Киев, Москва, Одесса, Казань будут мобилизованы; ни в каком случае не Варшавский, Виленский или Петербургский, лежащие на германской границе. Мир с Германией считается весьма желательным. «Я ответил, — пишет военный агент, — министру, что мы ценим дружественные отношения к нам России, но считаю и мобилизацию против Австрии весьма угрожающей». 30-го июля военный агент в Петербурге сообщает о своем разговоре с кн[язем] Гр.Трубецким, из которого следует, что мобилизация против Австрии уже предписана и что Созонов*/93 убедил Государя в невозможности дальнейшего отступления. Военный атташе заявил Трубецкому, что в Германии не понимают фразы: «Россия не может оставить своих сербских братьев», не понимают ее, после ужасного преступления, последовавшего в Сараеве». Я ответил ему в заключение, что он не должен быть удивлен тем, если германская армия будет мобилизована». Считаю нужным подчеркнуть эти слова, так как в них, может быть, лежит источник проникшего в правительственные русские сферы известия о начавшейся в Германской империи мобилизации. Германские газеты, найдя в русской Оранжевой книге ссылку на то, что мобилизация в Германии уже началась в тот момент, когда предписана была русская мобилизация, протестуют против этого сообщения, как ложного. Может статься, что самого факта не было, но разговор военного агента с кн[язем] Трубецким, как следует из приведенного мной текста, давал повод ждать такой мобилизации. 31-го июля канцлер Германской империи уже пишет имперскому послу в Риме, что мобилизация России сделала почти невозможными всякие усилия Германии предупредить войну. Вопреки миролюбивым заявлениям, Россия принимает такие широкие меры против нас, что положение становится все более и более угрожающим. 29-го и 30-го числа еще происходит обмен телеграмм между русским и германским императорами. Оба озабочены тем, чтобы предупредить войну. Император Николай телеграфирует из Петербурга, что он вскоре не в состоянии будет противиться оказываемому на него давлению и будет поставлен в

* Так в тексте. Следует: Сазонов.

необходимость принять меры, которые поведут в войне. В последней посланной им депеше император Николай благодарит еще Вильгельма за его скорый ответ. «Я шлю Вам Татащива*/94 (русский флигель-адъютант при германском императоре) и снабдил его инструкциями. Военные мероприятия, ныне приводимые в исполнение, приняты были пять дней тому назад, с целью защиты против подготовки Австрии к войне. Я верю всем моим сердцем, что эти приготовления нисколько не изменят Вашего положения посредника, которое я ценю высоко. Мы нуждаемся в Вашем сильном давлении на Австрию для того, чтобы состоялось соглашение ее с нами». Таков текст телеграммы, на которую император германский ответил известной речью к народу о завистниках германской империи. В телеграмме, посланной 31-го июля императором германским, вся ответственность за сохранение мира возлагается на Россию, но для этого она должна прекратить свои военные приготовления, одинаково угрожающие и Германии и Австро-Венгрии. Эта телеграмма встретилась на пути с телеграммой императора Николая. Она гласила: «Сердечно благодарю Вас за Ваше посредничество, позволяющее надеяться, что все кончится миром. Невозможно по техническим причинам приостановить военные приготовления, вызванные австрийской мобилизацией. Мы далеки от мысли желать войны. Пока будут происходит переговоры между Австрией и Сербией, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий. Я даю Вам в этом мое слово. Полагаюсь со всей моей верой на милость Божию и надеюсь на успех Вашего посредничества в Вене, для блага наших стран и для мира Европы». Германия ответила на это ультиматумом, требуя, чтобы в течение 12 ч. Россией приняты были меры к демобилизации армии и флота. Ответа не последовало. Но и по истечении срока, два часа спустя, император Николай послал еще Вильгельму следующую телеграмму: «Понимаю, что Вы поставлены в необходимость мобилизовать, но желал бы получить от Вас ту же гарантию, какая дана была мной, а именно, что меры, принятые Вами, не означают войны и что мы продолжим наши переговоры для блага обеих стран и ко всеобщему миру, столь дорогому нашим сердцам. С помощью Божией нашей долгой дружбе удастся предотвратить кровопролитие. Я жду с полным доверием Вашего скорого ответа». На это получена была в ответ следующая телеграмма. «Я вчера сообщил Вашему Правительству путь, которым может быть предупреждена война. Хотя я просил ответа на сегодняшний день, никакая телеграмма не пришла от моего посла, которая бы уведомила меня о поступившем ответе от Вашего Правительства. Я поэтому поставлен был в необходимость мобилизации армии. Немедленный ясный и несомненный ответ Вашего Правительства — единственное средство предотвратить нескончаемые бедствия. Пока не будет получен такой ответ, я, к величайшему моему сожалению, не в состоянии

* Так в тексте. Следует: Татищев.

подвергнуть обсуждению Вашей телеграммы*. Я должен весьма настойчиво просить Вас, чтобы без всяких проволочек Вы отдали войскам приказ ни при каких условиях не переступать нашей границы». 1-го августа в 5 час. пополудни, по сообщению германского правительства, последовал приказ о мобилизации и того же числа в послеобеденное время русские войска перешли немецкую границу.

Таковы факты во всей их наготе. Можно ли на основании их говорить о сознательном обмане, о лукавстве, обнаруженном Государем, о его желании выиграть время и о том, чтобы во всем происходившем следовало видеть осуществление давно задуманного заговора против германской целости и единства. Я, по крайней мере, не выношу такого впечатления. Мне известно также, что в момент оставления мной России, т.е. за две недели до войны, никто не говорил о ней ни слова. Прием английских моряков, посетивших Петербург в конце нашего июня, не сопровождался никакими политическими манифестациями. При их приеме Городской Думой, голова гр[аф] Ив[ан] Ив[анович] Толстой просил меня не произносить никакой речи и всячески старался отклонить от этого и старейшего из гласных П[етр] Павл[ович] Дурново[95]. Речь последнего, впрочем, не заключала в себе ни малейшего политического намека. Пили за процветание обоих флотов, поднесли серебряную «братину» от города, угостили скверной музыкой. Прием Делькассе произошел уже в мое отсутствие, но из того обстоятельства, что он прибыл в городскую ратушу только после окончания банкета, избегая, следовательно, всяких тостов, можно заключить, что сознательно стремились предупредить всякую манифестацию. Немецкие газеты утверждают, что уже 29-го июня Петербургский кабинет получил уведомление о том, что Англия решилась принять участие в войне. Я нигде не нашел прямого подтверждения этому факту, и не могу понять причин, которые бы побудили Англию в нынешнем году вступить в направлении, как раз обратном тому, которое она занимала в прошлом. Когда я ездил в Париж накануне выборов в президенты Делькассе, для участия в одном комитете «междупарламентской ассоциации мира» де Естурнель де Констан в присутствии лорда Верделя говорил мне, что, если бы последствием происходящего на Балканах была европейская война, Англия не приняла бы в ней участия. Да и что могло побудить министерство Асквита[96], успешно проведшего почти всю свою программу внутренней политики, броситься в военную авантюру. Уж не опасение ли восстания в Ульстере**. Но чтобы сделать его невозможным, кабинет уже пошел на уступку, на внесение дополнительного закона к Ирландскому гомрулю, удовлетворяющего англичан Ульстера. Немецкие газеты поэтому нисколько не убедили меня в том, что нарушение нейтралитета Бельгии было только

* Так в тексте.
** Так в тексте. Следует: Ольстер.

поводом, а не действительной причиной вмешательства Англии в войну. Проф[ессор] Герм. Онкен в статье, озаглавленной «Германия или Англия», появившейся в «Южно-Американском Ежемесячнике» 6-го сентября 1914 г., делает ответственным за войну, во-первых, короля Эдуарда VII[97], а, во-вторых, Грея[98] и Черчилля[99]. Эдуард VII затеял, мол, заговор, с целью изолирования Германии, в намерении убить ее могущество не только на море, но и на суше. Грей же и Черчилль унаследовали от него эту политику объединения Англии «кругом врагом» (Einkreisungspolitik)*. Содержание ее Онкен определяет следующим образом: «Ограничение и по возможности истребление морской, политической и экономической силы Германии, как единственного условия сохранения Британской империи». Онкен обвиняет их в том, что они, имея возможность во всех стадиях последнего кризиса удержать Россию, ничего не сделали в этом смысле и дали событиям свободного развернуться до момента, когда сами эти события овладели ими. Грей и Черчилль изображены другими писателями — доктором Лоренсом фон Маке в интересной брошюре, озаглавленной: «Германия и всемирная война», «День расчета» (Мюнхен. Лейпциг, 1914 г.), следующими красками. Сэр Эдуард Грей [—] совершеннейший образец ограниченного островитянина, определяющего все ценности жизни и национального существования в фунтах стерлингов и пени, сидящего на мешке с шерстью, рыцаря-торговца. Когда читаешь речи, произнесенные им в Вестминстере под влиянием горячки, вызванной мировой войной, то человеком, наделенным чувствительностью, овладевает ужас при мысли, что в такую минуту ответственный руководитель политики, покрывающий весь свет Великобритании, может с холодным сердцем, с софистическим умствованием строить перед народом баланс потерь и выгод, какие Англия может извлечь из настоящей войны. Его заключение гласит: если Англия примет в ней участие, то она меньше потеряет, чем держась в стороне от нее». Прежде Грей постоянно выступал перед миром с заявлением, что Англия не приняла на себя никакого военно[го] обязательства, а между тем, как доказал представленный Вивиани[100] в Парижской Палате Депутатов обмен депеш между Камбоном[101] и Греем, такие обязательства существуют не только по отношению к Франции, но и к России. Они каждый раз принимаемы были в форме, которая позволяла Грею отрицать перед собственной страной и перед иностранцами связанность Англии договорами. Но руководителем всей воинствующей политики Англии, по мнению того же Маке, является не Грей, а В. Черчилль.., которому лорд Бересфорд, хорошо позозревший* его преступную агитацию, однажды сказал: «А знает ли почтенный лорд, что он будет висеть на одном из деревьев Гайд-парка, если Англия потеряет только одно морское сражение». Маке доказывает и, может быть, не без основания, что в Англии существует очень

* Так в тексте.

серьезное движение против войны. Если бы парламент был собран, то шотландские депутаты вотировали бы против, да и Ирландия мало бы разошлась в этом отношении с Шотландией*. Сомневаюсь даже в том, чтобы в Англии и в герцогстве Уэльском большинство было бы за войну. В самом английском кабинете, как оказывается, Морле**/102, Джон Бернс[103] и Тревельян[104] настолько относятся к войне отрицательно, что сочли нужным выйти из кабинета. Онкен изумлен тем, что Гальден, бывший военный министр, а теперь лорд-канцлер, всегда выступавший сторонником соглашения с Германией, не последовал примеру только что упомянутых лиц и что министр финансов Ллойд Джордж[105] не разрывает с кабинетом. Последний, как известно, недавно пророчествовал, что из держав, которая будет в состоянии затратить последний миллиард, и выйдет из нее победительницей.

Все более и более укореняется в Германии уверенность, что настоящими виновниками мировой войны являются англичане. Их обвиняют в том, что они продолжили долее необходимого и защиту Антверпена, переход которого в руки германцев может сделаться опасностью не для одного владычества англичан на море***. Немецкие газеты всячески стараются подчеркнуть, несомненно преувеличивая, недовольство бельгийцев своими сотрудниками. Французы, мол, не пришли на выручку, англичане прибыли в недостаточном числе и овладели руководительством всей кампании. Обвинения идут и далее. Говорят, что задолго до начатия военных действий англичане с согласия французов сосредоточили склады своего оружия в Мобеже, французской крепости, почти пограничной с Бельгией. На этих слухах что-то перестали настаивать в последнее время, после взятия самой крепости. Немцам, разумеется, выгодно считать виновниками войны и вероломство русского правительства, и тайные козни англичан, и согласие бельгийцев нарушить свой нейтралитет в интересах французов. Все это, вместе взятое, позволяет им убедить союзнические войска в том, что они сражаются за самое существование Германии и Австрии, что обеим империям грозят разделом. Появляются даже фантастические проекты этого раздела, будто бы найденные в захваченных у неприятеля бумагах. В этих, по всей вероятности, выдуманных документах говорят, разумеется, о возвращении Эльзаса и Лотарингии в руки Франции, Шлезвига и Гольштинии — в руки датчан, перехода не только Боснии и Герцоговины, но и Кроации к сер-

---

* Судя по речам, которые произнесены были на банкете у вновь выбранного лорда-мэра в начале ноября, есть основание думать, что понесенные Англией утраты и почти полное занятие Бельгии немецкими войсками, вызвали поворот общественного мнения в пользу упорного противодействия «прусскому милитаризму». Вожди оппозиции заявляли на этом банкете, что ее не существует в вопросах внешней политики и что солидарность парламента в этом отношении полная. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

** Так в тексте. Следует: Морлей.

*** Так в тексте.

бам, вознаграждения румын за сохранение нейтралитета на счет Трансильвании и части Буковины, но под условием потери Добруджи; львиная же часть должна достаться России, к которой отошла бы не только Галиция с северной Буковиной, но и добрая часть Венгрии, а из германских земель — восточная Пруссия и Познань. Сочинивши, по всей вероятности, сами эту комбинацию, которая подтверждает их подозрение насчет заговора государств Тройственного Согласия, немецкие газеты пользуются ею, чтобы доказать нейтральным государствам, как мало их интересы выигрывают от соблюдения ими нейтралитета. Англия, мол, заберет все немецкие колонии, присоединит к ним Египет и чуть ли не Палестину, к французам отойдет Сирия, к русским — провинции Малой Азии, населенные армянами и курдами, а Италия может рассчитывать, самое большее, на Валлону, Румыния же скорее потеряет, чем приобретет. Турция снова приблизится к своему окончательному разложению. Ведь, русские не преминут поднять вопрос о свободе проливов исключительно для прохода своих военных судов. Чтобы доказать и Скандинавским государствам, как мало они выигрывают от своего нейтралитета, их пугают тем, что русские непременно заберут незамерзающие порты, находящиеся в обладании Норвегии на ее крайнем севере. Надо отдать справедливость немецким профессорам, напечатавшим свои соображения насчет современного момента, что, поддерживая несомненно из патриотических видов господствующий мотив о том, что война вызвана коварным «Альбионом», вовлекшим в заговор всех завистников германской империи и русского «колосса», только и мечтающих о том, как бы поживиться на чужой счет и, обративши Сербию в орудие своих завоевательных планов (см., в частности, статью Эриха Маркса, профессора истории в Мюнхенском университете, стр. 782), они в то же время, нет-нет да и выскажут догадку, что, мол, обеим империям пришлось начать войну нынешним летом из боязни, чтобы Россия не закончена своих вооружений на средства, оплаченные французской ненавистью.

Это говорится, в частности, в предисловии к сборнику статей, отпечатанных «Южно-Германским Ежемесячником» под заглавием: «Национальные заявления немецких и австрийских историков». Авторы этого сборника в то же время не допускают возможности поражения Германии и Австрии, заявляя, как делает один из них, профессор истории в Тюбингене Иоганн Голлер, что неверящий в победу — собачий кал (Hundsfut) или что последствием будет потеря культуры, «смерть богов» (Gotterdemmerung, стр. 772). Этим переоценкам можно противопоставить только те, какие делают враги обеих империй. Метерлинг*/106, сравнивающий нашествие соединенных армий на Бельгию и Францию с новым вторжением гуннов, или де Естурнель де Констан, сделавший, по словам датской газеты «Politiken», следующее заявление в роли президента

* Так в тексте. Следует: Метерлинк.

международной лиги мира: «Мир может быть достигнут только под условием доведения войны до крайних пределов». Тиранническое правительство, которое ни на минуту не задумалось вызвать к жизни эту войну, будет ее первой жертвой. Все цивилизованные народы соединятся и всем пожертвуют для того, чтобы одолеть Германию, которая поэтому ничего не может ждать доброго от мира. Никакое правительство не решится вести переговоры с Германией о мире, так как она первая изменила ему. Германии не останется ничего другого, как исчезнуть под проклятием всего мира. Настоящая война не может закончиться одним видимым примирением. Пока не будет сломлено военное преобладание Пруссии, не в состоянии удержаться никакой мир, в противном случае, все рано или поздно началось бы снова» (см. Vossische Zeitung от 9-го октября 1914 г., в которой приводится со слов ее датского корреспондента выдержка из «Politiken»). Среди всех этих преувеличений приятно отметить благоразумие, с каким представители английских рабочих, в числе других Рамзей Макдональд[107], справедливо указывают на то, что потерей для культуры было бы исчезновение германского единства, против которого я, по крайней мере, в России не слышал никаких угроз.

Если немецко-австрийская печать не отрицает того, что война была вызвана отчасти опасением новых вооружений России, то не имеем ли мы право спросить себя, в какой мере военная партия, одинаково в Австрии и в Германии, виновна в подготовке общественного мнения к мысли о неизбежности военного столкновения с державами Тройственного Согласия. В Австрии опасение русских интриг, направленных к ее разделу, восходит очень далеко. В числе моих детских воспоминаний сохранилось следующее. Двенадцатилетним мальчиком я уехал с родителями за границу. После пребывания в Берлине, мы, минуя Дрезден, доехали по железной дороге до Баденбаха*, откуда приходилось взять экипаж до Карлсбада. На границе, к немалому нашему смущению, подошел к моему отцу австрийский полицейский чиновник и объявил ему, что полковник Ковалевский не будет допущен в Австрию, но что полковница с сыном могут продолжать свое путешествие. Мой отец, дотоле никогда не бывавший в империи Габсбургов и весьма далекий от какой бы то ни было литературы и журнальной деятельности, решительно недоумевал. Он требовал через меня объяснений, никаких не добился, и мы принуждены были вернуться в Дрезден. Когда мы на следующий день по прибытии в столицу Саксонии, пошли в посольство, уже уведомленное телеграммой о случившемся, все объяснилось. Моего отца приняли за другого полковника Ковалевского — его двоюродного брата, известного писателя, Егора Петровича, кончившего жизнь директором азиатского департамента. Николаем Павловичем он послан был в Черногорию, сделался очень популярным среди южных славян и про-

* Так в тексте.

слыл в Австрии за опасного агитатора. Его внесли в так называемую «Черную книгу», в которую вписываются имена тех, присутствие которых нежелательно в империи Габсбургов.

Когда началось неославянское движение, вызванное приездом Крамаржа[108], и первое заседание сторонников сближения славян между собой, их культурной взаимности последовало у меня на дому (Моховая 32, Петербург), в Австрии составилось под влиянием немецкой печати весьма ложное представление о преследуемых союзом целях. Крамарж не скрывал того, что он имеет в виду сближением славян на начале уважения каждым племенем культурных особенностей других вызвать возможность совокупной деятельности в Австрии поляков, чехов и южных славян, что, разумеется, рано или поздно должно было повлиять и на изменение внешней политики империи, усилив в ней авторитет славянства и сблизив ее, как славянскую державу с Россией. Меня лично интересовало в возникавшем обществе славянской взаимности возможность упорядочения отношений поляков и русских, что могло отразиться и на законодательной работе Думы и Совета. Когда в честь приезшего устроен был банкет под председательством кн[язя] Трубецкого, произнесшего тост за здоровье австрийского императора, Крамарж, отвечая на него заявлением, что считает этот день счастливейшим в своей жизни и, по своем возвращении в Вену, доведет до сведения Франца Иосифа об устроенной ему овации. На том же банкете гр[аф] Бобринский, обращаясь к Крамаржу, уезжавшему в Варшаву, просил его передать нашим «братьям на Висле» сердечное приветствие. Мне не пришлось быть на съездах членов «славянской взаимности» ни в Праге, ни в Софии. В последней отчасти потому, что распорядитель этого съезда Бобчев обошел своим приглашением членов общества «славянской культуры» в Москве, руководимого профессором и академиком Коршем, и членом которого я состоял. Но и не в этом лежала главная причина. С самого начала возникло недоразумение по вопросу о том, будут ли допущены малороссы, как самостоятельная часть великой Славянской семьи к участию на съездах, ставивших себе далеко не политические, а только культурные цели. Отношения между русинами-малороссами и населением Червонной Руси, все еще продолжающем говорить по-русски, давно уже были враждебны. Из всех народов Австрии ни один не тянет в такой степени к России, как эта оторванная ветвь. Основанное В. Бобринским в Петербурге Галицийское общество озабоченно интересами одних только этих четырех с лишним тысяч людей, издающее свой собственный орган, так наз[ываемую] «Закарпатскую Русь». Подобно незначительной части населения Буковины они тянут к Православию. В России очень распространено представление, что эта, в сущности, горсть людей представляет собой русское население Галиции. Тогда как, наоборот, в восточной ее части с Львовом в центре живут малороссы, униаты, преследующие совершенно другие задачи, особенно с тех пор, как им удалось стать в менее враждебные отношения к полякам, благодаря несомненному покрови-

тельству Венского правительства. Этих малороссов или украинцев насчитывают несколько миллионов и они составляют приблизительно одну восьмую часть всего малорусского народа. Под общей редакцией академика Шахматова, профессора Грушевского[109] и моей предпринято было трехтомное издание, посвященное Украине вообще и украинскому народу. В это издание должны были войти и отдельные главы об истории, экономическом и государственном быте австрийских малороссов. Вышел пока 1-ый том этого сборника, заключающий в себе, между прочим, очерк истории малорусского народа, написанный Грушевским, проф[ессором] Львовского университета. Отчасти известие о том, что я — один из руководителей этого сборника, отчасти то обстоятельство, что я состою председателем общества Шевченко в Петербурге — причина того, что малорусские депутаты в Вене запросили меня, поеду ли я на съезд в Софию, прибавляя, что только в таком случае и они явятся на него. Ехать на Софийский съезд значило принять на себя обязательство проводить на этом съезде не только употребление малорусского языка, чему я вполне сочувствовал, но и организацию какого-то объединенного культурного целого, в то время, как в нем имеется несомненно два противоречивых политических течения: одно в сторону России, другое в сторону Австрии. Я мало посвящен был в вопросы, связанные с политическим положением, занятым малорусскими депутатами в Венском Рейхсрате. Но до меня доходили слухи о том, что они «братаются» с немцами и чуждаются чехов. Позднее я узнал, что они распространяют даже манифесты в ю[го]-зап[адной] России, в которых говорится о готовности малороссов стать под власть Венского кесаря. Список с одного из этих манифестов сообщен был мне, нимало, разумеется, не сочувствовавшим ему екатеринославским помещиком. Насколько я знаю Малороссию и больше других ее частей Полтавскую и Харьковскую губернии, я не придавал и не придаю серьезного значения этим манифестам. Но для людей, стоящих далеко от нашего края, может казаться, что так называемый «Мазепинский вопрос» грозит целости и единству России. В этом смысле высказался П.Б. Струве и этого же взгляда придерживался министр внутренних дел Макаров, решительно отказавшийся допустить употребления малорусского, как он выразился, наречия на конгрессе, созываемом одно время обществом научного единения славян, в Петербурге, конгрессе, который отчасти по этой причине и не состоялся.

Германская печать сразу отнеслась вполне отрицательно к течениям в пользу славянской взаимности и к вызванным им конгрессам. «Vossische Zeitung», приводя мое имя, сопровождало его эпитетом опасного русского панслависта. «Neue freie Presse», сама обратившаяся ко мне с просьбой написать статью по вопросу, что могло бы сблизить Россию с Австрией, хотя и напечатала эту статью, в которой я открыто высказывался за славянскую политику Габсбургской империи, но сочла нужным предпослать ей предисловие, в котором говориться: «Можете судить о том, насколько

эта статья отражает ходячие в России воззрения по тому, что автор ее несколькими месяцами ранее приговорен к двухмесячному тюремному заключению за свою публицистическую деятельность». Прибавлю, что с этого времени и по настоящий день «Neue freie Presse» моего сотрудничества более не искала.

Что касается до участия на конгрессе славянской взаимности тех представителей нашей расы, которые живут в Пруссии, то они из-за политических опасений вовсе не прибыли на конгресс. Познанские поляки отсутствовали на нем, да и русские скоро сочли нужным выйти из состава Петербургского общества, так как принадлежащие к нему русские сочлены, и во главе всех депутаты вроде гр[афа] Бобринского, открыто стали вотировать против поляков.

Крамарж тщетно при новых посещениях Петербурга в клубе общественных деятелей откровенно и резко выступал против тех, кто не признает равноправия славянских национальностей, делая в то же время все усилия, чтобы удержать поляков в составе общества. Оно продолжало хиреть, и если не совершенно исчезло, как «общество славянской культуры» в Москве, то продолжает влачить существование довольно-таки жалкое и бесцветное. По мере того, как движение в пользу культуры и единения славян падало и в самой Богемии примирение чехов с немцами под условием признания последними уступок, сделанных Венским правительством чехам по вопросу о языке, оказывалось невозможным, и рознь привела в результате к прекращению деятельности Богемского сейма, в европейскую и русскую печать стали проникать крайне тревожные слухи для будущего сохранения мира между Русским царством и Габсбургской империей.

Наследника престола эрцгерцога Франца-Фердинанда выставляли не только сторонником возрождения светского владычества пап, но представителем идеи возрождения в интересах Австрии союза Священной Римской империи с Польшей, существовавшего во времена императора Сигизмунда[110], что, разумеется, пророчило нарушение мира в интересах создания из Австрии, при сохранении ее немецкой окраски, какого-то федеративного союза славянских держав.

Открыто говорили о ближайшем создании триединой империи, причем третьим звеном должна была сделаться Кроация, после присоединения к ней Боснии и Герцоговины. Надо сказать, что сама Россия немало содействовала возможности постановки такого вопроса. Одно время в моих руках были рукописи — мемуары графа Игнатьева[111]. Мне принес их Воейков[112], видимо, с расчетом, что я напечатаю их в «Вестнике Европы». Но на это не последовало согласия семьи графа. И они выходят теперь небольшими отрывками в «Историческом вестнике». В этих мемуарах, я нашел, между прочим, следующие очень интересные данные. Когда Игнатьев счел нужным довести до сведения Государя, что он затрудняется проводить в жизнь совет, преподанный ему Горчаковым[113]: придерживаться в вопросах, связанных с судьбой южных славян Турции, в частности, босняков и герцоговинцев, мнения австрийского министра иностранных дел гр[афа] Андраши[114], то он из уст Александра II выслушал только просьбу подчиняться указаниям министра. Таким

образом, можно сказать, что и до Берлинского конгресса, передавшего Боснию и Герцоговину в управление Австрии, Россией не только ничего не было предпринято для того, чтобы сербам досталось это турецкое наследие, но, наоборот, проложен был путь к обогащению Австрии за счет южных славян. Положение Извольского, странствовавшего по воле Государя по разным дворам, с целью создать настроение, неблагоприятное окончательному включению Боснии и Герцоговины в пределы Австрии, было поэтому исключительно трудным. Что сербы не отнеслись к такому исходу сочувственно и одно время надеялись помешать ему посылкой Пашича[115] в Петербург, понять легко. Одно время русскому общественному мнению дана была возможность открыто высказываться в пользу сербских притязаний. Но ранее принятые Россией обязательства, очевидно, стеснили поведение иностранных дворов и заставили и Францию и Англию приложить старание к тому, чтобы из-за Босно-Герцоговинского вопроса не создать повода к Европейской войне. Сербия принуждена была подчиниться, но в ней залегло сильное недовольство, хотя она 31-го марта 1909 года через посредство своего посла в Вене и сделала следующее заявление. «Сербия признает, что она созданным в Боснии положением в своих правах не задета, и будет подчиняться тем решениям, какие приняты будут великими державами по отношению к выполнению 25-ой ст. Берлинского договора[116]. Сербия, вместе с тем, принимает обязательство отказаться от дальнейшего протеста и противодействия аннексии, изменить свою политику к Австро-Венгрии и состоят впредь к ней в отношениях соседско-дружеских» (текст этого заявления можно найти на 7-ой странице 1-го выпуска документов, относящихся к войне 1914 г. Они издаются К. Юнкером в Вене).

Аннексия Боснии и Герцоговины вызвала отрицательное отношение к себе не только в русских членах Общества славянской взаимности, но и в чехе Крамарже; так как он стоял во главе чешского клуба, политической организации по типу польского клуба, хотя и менее влиятельной, то я не прочь был думать, что его точка зрения пользуется довольно широким распространением между славянством Австрии.

Каково было мое изумление, когда в прошлом году в Карлсбаде, в разговоре с проф[ессором] чешской истории в Пражском университете, я услышал выражение совершенно обратной точки зрения, притом на почве славянских интересов Австрии. Мой собеседник сказал мне, что не считает Крамаржа реальным политиком, так как всякий, желающий усиления роли славян в Австрии, не может не приветствовать увеличения их числа и должен последовательно не порицать, а приветствовать аннексию. У нас мало понимают ту, как мне кажется, несомненную истину, что так называемый австрославизм противник не одного русского панславизма, но и нашего желания приобрести руководящую роль на Балканах. Географические условия, — то обстоятельство, что Сербия, Болгария и Черногория граничат с Австрией — причина тому, что не одни немцы, но в гораздо большей степени славяне

Габсбургской империи желают иметь решающее влияние на Балканском полуострове. Тогда как венгры тянут к Турции, австрийские славяне не прочь иметь во главе Болгарии Кобургского принца, служившего в рядах австрийской армии, преданного императору и видящего свой личный расчет и интересы своей династии в тесном общении с Габсбургами. Неумелая русская политика, восстановившая еще недавно болгар против себя преступным попустительством румынам войти в их пределы в течение Второй Балканской войны, уже принесла свои плоды. Министерство Родославова[117], принадлежавшего к числу сторонников Стамбулова*/[118], обеспечило австрийцам благоприятный нейтралитет Болгарии и не вызвала в то же время в румынах желания стать открыто на сторону России. Одно время проведенное Сазоновым объединение балканских народов, враждовавших с Турцией, в Балканский Союз не выдержало того искуса, какой представил раздел союзниками их общей добычи. Хотя Австрии и не удалось в союзе с Германией образовать самостоятельного Албанского княжества, клином вбитого в тело Сербии и Черногории, и можно предвидеть в скором будущем возвращение его, если не прямо в руки турок, то в руки дружественного и, может быть, родственного султану правительства, но стоит вне сомнения, что Австрия или не допустит никакой унии балканских народностей, или сумеет образовать новую под собственной гегемонией. Момент вмешательства в балканские дела нами несомненно упущен. В прошлом году, в начале Второй Балканской войны, Государь выступил со своим веским словом, но за ним не последовало никакого реального действия, вероятно из страха австрийского вмешательства, но и оно для нас было менее опасно в прошлом году сравнительно с нынышним, раз благодаря измене полковника Ределя нам известен был весь план предстоящих военных действий со стороны империи Габсбургов. Да и основание к вмешательству было несравненно более серьезно, чем то, из-за которого загорелась настоящая Европейская война. Несомненно, разумеется, что отмщение на целом народе удачного заговора, в котором, да и то сомнительно, приняли участие несколько офицеров и, как предполагают, один из принцев крови в Сербии, противоречит самым элементарным представлениям современного международного права. Я вполне понимаю поэтому, что в своей депеше к императору Вильгельму Государь мог обозвать австрийское вмешательство бесчестной и преступной войной (igrominous War), направленной против сравнительно слабого государства. Но, чтобы интересы России, как таковой, были существенно задеты этой войной, особенно после того, как русской дипломатии удалось получить обещание, что последствием ее не будет территориального изменения Сербии, этого никто из реальных политиков утверждать не решится. Но что поведение

* Так в тексте. Следует: Стамболов.

самой Австрии в данном случае в значительной степени было вызвано тем оживлением милитаризма и политики вмешательства в балканские дела, да и не в одни балканские, очагом которого сделался двор наследника престола Франца-Фердинанда, это также стоит вне сомнения. Эта политика, как нельзя лучше, может быть передана теми словами, какие употребляет автор одной недавно отпечатанной в Мюнхене брошюры: «Чего ждет Австрия от своего молодого наследника». Имеется в виду преемник Франца-Фердинанда. Составитель этой брошюры Роб. Мюллер, родом из Вены, говорит, что время национализма прошло и место его должен занять империализм. Он составляет руководящее начало для великих и творческих народов. Национализм имел смысл для больших и стремящихся к расширению племен, как немцы и итальянцы, для мелких же он не обещает серьезных результатов. Возрождение старой средиземноморской империи (Imperium Romanum) в настоящее время несомненно отличается более притягательной силой, чем забота о собрании всех немецких народов в одном государстве. Никаких серьезных выгод национализм не обещает ни чехам, ни мадьярам. Он вызван чисто подражательным процессом мелких народов по отношению к крупным. Другими словами, не в национальном обособлении, а в объединении ряда национальностей в единой империи лежит будущее народов Австрии. Современный территориальный состав Австрии, — продолжает тот же автор, — может считаться для нее только minimum'ом. Между Германий и Австрией, как двумя осуществленной Германской идеи в мире*, должно установиться некоторое разделение труда: Австрии предстоит озаботиться судьбой Ближнего Востока и Юга. Германия же, освобожденная от забот в этом направлении, умеет править миром (wartet der Welt). Автор с похвалой отызвается о «системе», которую преследовал покойный наследник... В зависимости чужих народов от магнетически действующего на них немецкого ядра, лежащего в самой Австрии, и в зависимости последней наравне с Германией от руководящей и хорошо уравновешенной культурной идеи лежит творческий закон будущего европейского тяготения. — Трудно более туманно выразить более реальную мысль о продолжающейся при посредстве Австрии германизации всех соседних с нею, в том числе и славянских народностей. — Что значит германизировать, — продолжает автор, — как не сообщать другим определенно и резко выраженную идею такого, а не иного мирового порядка. Германизация, производимая Австрией, при наступлении известных обстоятельств не обойдется и без помощи штыка. Правителю придется принудить строптивых противящихся централизации народностей к принятию государственной и культурной речи. Эта твердость и самосознание необходимы, они входили в намерение Франца-Фердинанда. Унаследованы ли они и его племянником, т.е. теперешним наследником. — Мы укажем еще на

* Так в тексте.

одно место анализируемой брошюры, в котором говорится о призвании Австрии по отношению к объединению славян. Недостаток самообладания, определенной воли, организаторской силы составляло всегда особенно хорошо одаренной славянской души*. Призвание Австрии дать русинам и словакам, кроатам достойное человеческое существование в границах государственного единства. Автор рекомендует более сильную централизацию к пользе этих национальностей. Одни чехи не отвечают общему определению славянства, им принятому. Они энергичны и обладают организаторским талантом, но им не достает того творчества, которое присуще славянской душе. В этом отношении к ним гораздо ближе стоит фрисландец или датчанин, нежели чех. Автор не скрывает того, что сербский вопрос решен в его глазах в пользу Австрии, и готов приветствовать вступление в число ее граждан и тех еще сербов, которые живут за пределами ее империи.

Параллельно с этим усилением милитаризма в Австрии шел и недавний рост его в Германии. В июльском № «Австрийского обозрения» за 1914 г., следовательно, ровно за месяц до объявления войны напечатан интересный этюд о германском кронпринце Вильгельме, принадлежащий перу анонимного автора, подписывающего свои статьи словом Politicus. В нем открыто заявляется, что немецкий кронцпринц — империалист. Заботе о сохранении и усилении мирового положения Германии, — пишет Politicus, — вполне отвечало и то противодействие, какое он оказывал политике германского канцлера в Марокксском вопросе. Он находил, что эта политика слишком уступчива. И в этом отношении для автора приводимой статьи кронцпринц является выразителем постепенно овладевающей Германией империалистической идеи. Забота о большей Германии, обнимающей собою земли, лежащие и за пределами Европы, присуща наследнику в такой мере, что он не дальше, как весной нынешнего года собирался предпринять путешествие по колониям. Выразитель его взглядов доктор Диман уже считается с опасностью, какую может представить для Германии закрытие рынков то в стране буров, то в Марокко, а то и в России. Юго-восток Европы, на который мы теперь, — прибавляет он, — смотрим с возрастающей надеждой, может подпасть под влияние Тройственного Согласия. Возможно наступление такого момента, когда, чтобы разорвать сеть, которой желают нас опутать, придется последовать примеру Александра Македонского, рассекшего Гордиев узел, или Фридриха Великого, в течение семи лет победоносно противившегося коалиции соседних держав. Но где этот Гордиев узел. Король Эдуард умер, и его политика опутывания Германии, по-видимому, не достигла цели, но мысль, им высказанная, живет. Та прореха в сети, какую представляла неподготовленность России к войне, все более и более исправляется. И когда настанет момент мобилизации, за нами едва ли останется возможность

---

* Так в тексте.

предупредить ее своей быстротой. В русском народе отношение к нам становится все более и более резким. Не реальные выгоды, которые можно получить от нашего подавления, являются главным мотивом к враждебности, но ненависть, которую всегда создает сознание необходимости быть благодарным за ту немецкую культуру, которая одна дала жизнь и силу русским.

Таким образом, одновременно в Австрии и в Германии усиливалось то течение, которое, в конце концов, и восторжествовало в самом факте объявления нам войны императором Вильгельмом II.

Война эта до сих пор была успешна. Задаваясь вопросом о причинах этого успеха, мы, помимо национального характера борьбы за самое свое существование, умело приданного вооруженному столкновению речью императора, и постепенно овладевшему немцами убеждению, что их будущее лежит в торжестве над кельтическим и славянским мирами, нельзя не признать, вслед за проф[ессором] В. Оствальдом, что причина успеха лежит еще в следующем. Немецкий народ, — пишет Оствальд (5-ое приложение к № 517 Vossische Zeitung от 11 окт. 1914 г.) в большей степени, чем другие, привык давать научную организацию своему поведению. Одна прикладная наука дала нашим смелым морякам то орудие, которое сразу уменьшило до ничтожной величины значение английского флота. 42-сантиметровые мерзеры также обязаны своим возникновением этой науке. Их создание потребовало не простого практического взгляда англичанина, а значительное количество самого тонкого и глубокого научного проникновения в вопросы баллистики. Без науки, в самом широком смысле, и особенно в ее практически осязаемой форме, как та, какую имеет умеет* применять наша техника, немыслимо было бы их создание. А творчество, какое выступает в этой научной работе, доказывается уже тем, что в возможность ее не верили специалисты, пока она не сделалась действительностью. Третьим научно-техническим пособником явился наш воздушный флот. Оствальд рассказывает, как на съезде в Лондоне, по случаю юбилея Королевского общества, он встретился с одним английским деятелем, который должен был выслушать от него заявление, что после перелета Блерио через Ла-Манш, Англия перестала быть островом. Он настаивает на той мысли, что, пользуясь туманом, «Цеппелины» легко могут избежать грозящей им опасности расстрелов и обсыпать столицу Англии своими бомбами. Сомневаться в такой возможности, мне кажется, нет основания. Научно-технический характер, присущий войне, как ее ведут в настоящее время немцы, наглядно сказался в самый момент открытия военных действий в Бельгии, когда на двух тысячах автомобилей прибыло 60-тысячное войско. Такой быстрой мобилизации свет еще не видал.

Сопоставьте с этими данными сдачу 100 тысяч пленных, не имевших другого выхода, как потонуть в Мазовецких болотах или

* Так в тексте.

отдаться в руки неприятеля. Бесполезную затрату тысяч людей при проходе через узкие тесницы Карпат. 8000 русских трупов* похоронены австрийцами под Пржемыслом**. Если в первых двух случаях незнание географии, то в последнем — неспособность дать себе отчет в расстоянии, на какое могут быть пущены ядра крепостной артиллерии, несут ответственность за бесполезные и чудовищные пожертвования людьми и орудиями. Австрийцы признают, однако, нашу артиллерию весьма совершенной и прицел ее правильным. Но если войска Киевского округа и заслужили такое признание со стороны наших врагов, то того же отнюдь нельзя сказать о других частях нашего войска, имеющих дело с германской армией. Генер[ал] Гинденбург[119] в беседе с корреспондентом объявил нашу кавалерию никуда негодной. Всего печальнее то обстоятельство, что немцы сплошь и рядом указывают на то, что сдающиеся им пленники не носят на себе никаких ранений. Не служит ли это доказательством тому, что виной всему этому является дурное руководительство.

С каждым днем приходят известия более и более тревожного характера и притом для всех участников Тройственного Согласия и вовлеченных им в войну мелких народов — сербов, черногорцев и бельгийцев. Последняя бельгийская крепость Антверпен — в руках немцев. Они уже подошли к Остенде и через несколько дней, вероятно, вся Бельгия будет считаться ими завоеванной страной. Сербия разгромлена, и одним только мужеством и выносливостью армии, твердостью правительства и, как утверждают немецкие газеты, несговорчивостью в их военном совете сербов и русского великого князя можно объяснить, что она доселе не открыла переговоров о мире. Часть бельгийской армии и английского гарнизона принуждена была перейти голландскую границу и обезоружена. Продолжающаяся месяцами битва под Парижем или, вернее, на расстоянии двухсот километров от севера к югу, грозит невыгодным окончанием для наших союзников, особенно после того, как немецкие войска будут передвинуты из Бельгии во Францию. Немцы осаждают уже давно Бельфор. Английская помощь пока оказалась малодействительной. В состоянии ли она будет изменить ход дела, после прибытия свежих сил из Канады, Индии и Африки, после того, как англичанами выставлены будут на поле сражения и желтые и черные воины, остается открытым вопросом. Телеграф принес известие о том, что в Южной Африке началось восстание буров. Неспокойно в Египте и Индии, и со времени разрыва с Турцией это беспокойство становится серьезной опасностью. Восточные союзники Англии — японцы, — овладевшие Киутчау, в то же время захватили без согласия Англии Маршальские острова. Что касается до России, то одно время занявшие Галицию и сев[ерную] Буковину войска принуждены были

---

* Австрийские, а за ними и немецкие газеты считают, что наши потери были 70 000 человек при неудачной попытке взять крепость Пржемысл приступом. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

** Имеется в виду польский г. Пшемысль (русск. назв. г. Перемышля).

очистить последнюю, чтобы принять участие в грандиозном сражении, происходившем под Ивангородом. Турция уже разорвала с нами. Несмотря на угрозы английского и французского флота, она давно уже распорядилась закрытием Дарданелл*. Наша небольшая Черноморская флотилия крейсерует на недалеком расстоянии от болгарских портов в надежде удержать освобожденную нами нацию от открытого союза с нашими врагами. Объявленный ею нейтралитет не помешал ей дать пропуск германскому экипажу, вероятно, сидящему теперь на турецких судах. Из наших балтийских портов Либава уже с самого начала подверглась обстрелу германских судов. А наша балтийская эскадра на днях потеряла уже не первый панцырный крейсер, благодаря успешному действию немецких торпед. Италия сохраняет еще нейтралитет, и ее общественное мнение, по-видимому, склоняется на сторону держав Тройственного Согласия. Но Германия не уступает ни одного случая склонить в свою пользу все нейтральные государства и в том числе Аппенинскую державу. С этой целью печатаются в газетах разоблачения о заговоре, заключенном, будто бы, против нее Англией с нейтральной Бельгией задолго до войны. В архиве бельгийского генерального штаба в Брюсселе найдены немцами документы, из которых следует, что еще в 1906 году шли переговоры о том, что Англия в случае войны пошлет в Бельгию экспедиционный корпус. Еще 10-го апреля 1906 года английскому военному агенту представлен был военным министром в Бельгии обстоятельный план соединенных действий 100 000 англичан с бельгийским войском, план, нашедший одобрение главы английского генерального штаба. Немецкие газеты наивно заявляют, почему не было никаких подобных переговоров насчет совокупного действия Бельгии и Германии, в случае нарушения ее нейтралитета Францией. По всей вероятности потому, — ответим мы, — что о походе французских войск через Бельгию не было и помину, тогда как я весьма отчетливо помню, что вопрос об обращении Флиссингена, по-видимому, с согласия немцев в неприступную голландскую крепость заставил всю Европу заговорить о возможности нарушения немцами нейтралитета Бельгии на случай войны их с французами. Немцы не только стараются обелить себя в глазах даже американцев в разрушении целых городов, как, напр[имер], Лувена, ссылаясь на то, что бельгийским правительством поддерживалась в нем партизанская война. Они не только обвиняют англичан в употреблении ими пули дум-дум. Они стараются также взвалить ответственность за войну с плеч Австрии, пошедшей походом на Сербию, на плечи России. С этой целью государственный секретарь фон Ягов[120] беседует с корреспондентом «Giornale l'Italia» и сообщает ему следующие более чем пристрастные сведения.

---

* По последним известиям, турецкие суда бомбардируют наши Черноморские гавани, а войска султана перешли границу Закавказья. Афганский эмир и Персия объявляют нам войну, грозя в то же время нашей союзнице Англии. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

«Я знаю, — говорит он, — что значительная часть итальянцев разделяет то мнение, что всемирная война вызвана ультиматумом, посланном Сербии Австро-Венгрией, но при этом не принимают во внимание бессовестную и упорную борьбу России за верховенство на Балканах. Ее притязания на гегемонию, ее желание распространить свое влияние вплоть до Адриатики и создать для Австрии барьер по направлении к югу, — все это, мол, вполне обнаружилось на Лондонской конференции, на которой Россия выступила против создания Албании. То же доказывает и реакция, сказавшаяся в Болгарии против русской гегемонии. Россия, мол, обратила Черногорию в передовой пост юго-славянского движения. Русская дипломатия открыто хвалилась созданием Балканского союза. Сербская политика, направленная против Австрии, руководима была Россией и ее дипломатическим агентом Гартвином[121]. Сербия была только показателем той тенденции, какую приняла русская политика, сделавшаяся угрозой для европейского равновесия. («Neue freie Presse», № от 15 окт. 1914 г.). Мы слышали все эти обвинения еще в прошлом году, но тогда никто не придавал им особого значения. Соглашение, достигнутое между воюющими с Турцией державами, несомненно удалось при участии России, и никто в большей степени не воспользовался им, как Болгария, при своем походе на Адрианополь. Возможность создания из различных племен Албании государства в европейском смысле под властью христианского правителя справедливо вызывало сомнение и не в одной только России. Недопущение Сербии к морю казалось несправедливостью, которую можно было, только пренебрегая истиной, оправдывать опасением, что этот порт будет служить для русских судов. Но, разумеется, господину Ягову не приходит на мысль приискивать новые аргументы к тем, которыми Австрия восстановляла против России в прошлом году общественное мнение Европы. А тот, кто мало посвящен в балканские дела, примет на веру все эти наветы.

Итак, наши противники ведут свое дело успешно и с такой быстротой, что уже в настоящее время мне кажется смешным постановка ими вопроса о том, чем же должна кончиться настоящая война. Вопрос этот не ставится, однако, по отношению к Франции, но с большой откровенностью духовные руководители германской нации, профессора истории в различных университетах Германии и Австрии, заявляют, что война может кончиться только тем, что Россия, представляющая собой не отдельную страну, а целый мир, являющийся опасностью для самого существования Германии, будет обрезана созданием новых политических тел полусамостоятельных государств и, рядом с этим, расширением владений обеих немецких империй за ее счет. Финляндия отойдет от нее в такой же степени, как Остзейские провинции и Царство Польское. Волынь перейдет в руки Австрии, Бессарабией удовлетворят Румынию за ее благожелательный нейтралитет, а из всей Малороссии — неизвестно, уже по берегу ли только Днепра, или по ту его сторону — образуют самостоятельное целое, родственное галицийским русинам [—] Украину. Всех откровеннее высказывает

свои мысли о желательных последствиях войны балтийский уроженец Иоганн Геллер. «Я думаю, — пишет он, — только о Германии и ее будущем, и в интересах этого будущего говорю: Лифляндия, балтийские провинции должны снова сделаться германскими. Но мне говорит не жажда добычи, не желание приобрести для империи новые земли. Балтийские провинции сами по себе не велики, едва ли покрывают собой пространство, равное Баварии, Вюртембергу и Саксонии, вместе взятым. Они также не особенно богаты, но они нужны нам для нашей защиты, для нашей безопасности. Этому учит нас история и отдаленного и недавнего прошлого, об этом говорит с угрожающей серьезностью и переживаемый нами момент. Покорение Лифляндии в XIII веке положило начало владычеству немцев на Балтийском море еще раньше, чем Пруссия стала немецкой. С владением Лифляндией владычество над этим морем перешло сперва к Швеции при Густаве-Адольфе[122], а затем к России при Петре. Только с тех пор, как Германская империя создала военный флот, выступает она равной соперницей царству Российскому на Балтийском море. Но на этом море нет места для двух великих держав (aber dieses Meer hat nicht Platz für zwei Groszmächte) (?). Русский флот грозит Килю, немецкий еще в большей степени — Петербургу. Оба флота один возле другого создают постоянную опасность войны. Потерпим мы русских на Балтийском море, — нам придется отказаться от мысли быть морской державой, а это в настоящее время равносильно отказу быть независимой великой державой. Нам предстоит быть вассалом России. Император Александр III однажды сказал германскому кронпринцу, что балтийский вопрос делает немыслимым продолжительное сотрудничество Германии с Россией, и он был вполне прав. Пока Россия остается на Балтийском море и ее столица лежит на нем, она не может отказаться от него. Германия же наших дней не должна допускать того, чтобы ее Балтийские порты рисковали подвергнуться русской блокаде. Но этого мало. Война может кончиться миром, но не умиротворением. Ведь мы слышали, как представляют себе эту войну в России. Военачальник объявил, что это война славянской расы с немецкой. Мы не должны сохранять сомнения в том, что это не простая фраза. Она вырвалась из души большинства русского народа. О глубине ненависти, какую русские питают к немцам, может составить себе правильное понятие только тот, кто испытал его на себе. Сравнительно с этой ненавистью, наследственная вражда немцев и французов — почти дружеское соседское общение. Но с такими элементарными силами невозможно никакое соглашение. Между правителями и руководящими государственными деятелями вражда и союз сменяют друг друга. Но там, где ненависть разделяет собой народы, там всякий мир является только обманом. Настоящего и откровенного мирного оборота мы с Россией не получим в течение неопределенного времени. Она останется нашим озлобленным врагом. От этого уберечься можно только одним средством — уничтожением противника. Россия должна стать неопасной для нас. А для этого нужно, чтобы ее западные окраины, земли, занятые покоренными чужими народами, завоевания, благодаря которым она принимает

участие в жизни Европы, и, прежде всего, ее морской берег был у нее отнят. Самую значительную часть этого берега составляют балтийские провинции. С их включением в ее пределы Россия стала европейской великой державой. С их потерей, соединенной с потерей Финляндии, Литвы, Польши, Малороссии, Бессарабии и побережья Черного моря, Россия снова сделается тем, чем она была до Петра Великого, когда Лейбниц[123] ставил ее в один ряд с Персией и Абиссинией. Раз ею будет удержано только ядро, только Великороссия, раз она будет отделена от моря и непосредственного общения с Европой, как бы далеко она ни расширялась, она перестанет быть опасным для нас противником. Всякое иное решение вопроса может навлечь на нас только месть побежденных и оставить за ними те силы, которые позволят им осуществить эту месть (Южно-Немецкий Ежемесячник за сент., 1914 г., стр. 814—815). Менее откровенно ту же мысль проводит вся немецкая печать. «Berliner Tageblatt», правда, советует не делить шкуры медведя, пока он не убит, и воздержаться выставления каких-либо определенных требований для мира. Но заявления, делаемые по временам императором и главным начальником направленных против России соединенных армий, не оставляют сомнения в том, что Германия и Австрия намереваются воспользоваться своими успехами для того, чтобы самовластно продиктовать враждующим с ними державам условия мира. Если со стороны Франции они принуждены будут удовольствоваться уступкой некоторых колоний и, может быть, исправлением границ, что позволит им овладеть твердыней Бельфора, если Англии грозит также опасность только со стороны ее заморских владений и, самое большее, части ее флота, то с Бельгией, Сербией и Россией собираются вести иные расчеты. У первой найдется, конечно, достаточно кредита, чтобы откупиться от угрожающей ей аннексии, оперативный нож коснется только некоторой части ее тела. Уже теперь припоминают, что зародышем германской государственности была страна политических и ренуарских франков, то есть земли, лежащие по нижнему течению Рейна и Шельды (см. статью, напечатанную в литературном прибавлении к «Vossische Zeitung» за сентябрь). Германия может потребовать Люттиха в интересах усиления своей обороны или, вернее, возможности нового нападения на Францию. Трудно думать, чтобы ей удалось провести в пределе империи не одной фламандской, но и валлонской части бельгийского населения. Что касается до Сербии, то трудно ждать, чтобы Австрия считала себя еще связанной обещанием сохранить за ней ее территорию. Болгария, несомненно, вознаграждена будет за ее благожелательный нейтралитет частью отвоеванной Сербией Македонии. Италия, быть может, получит Валонну и тогда для Австрии представиться возможность участвовать в разделе Албании и обеспечить себе свободную дорогу к ней присоединением части Сербии. У Черногории, вероятно, отнято будет угрожающее Катарро, гора Ловчин, после чего, разумеется, страна попадет в зависимость от империи Габсбургов. Но ни в чьем теле союзники не собираются произвести более мучительной диссекции, как в теле нашего отечества. Немецкая печать напоминает уже, что Царство Польское одно время предназначено

было отойти к Пруссии, что Александр I настоял перед Меттернихом об уступке его России, под условием обращения в самостоятельное государство, с определенной конституцией. О тяготении поляков Волыни к Австрии открыто пишет венская печать, объясняющая тем легкость занятия немецкими войсками пограничных с Галицией польских земель. Соединенное вражеское войско одно время уже подошло к Варшаве, отбросило 8 русских дивизий по ту сторону Вислы, грозит осадой Ивангорода. Раз закончится, как можно уже предвидеть, взятием Парижа поход на Францию, Германия в состоянии будет набросить на нас, сверх выставленных уже в поле полумиллиона воинов, еще миллион. России придется напрячь все свои силы для того, чтобы отстоять целость и единство империи. Австрийцы и немцы рассчитывают на понятное недовольство поляков тяготеющим над ними административным гнетом и сокращением их политических прав. Австрийцы надеются вызвать подъем и в Малороссии, ввиду преследований ее туземного языка, недопущением этого языка в школу. Выходящее в Вене со времени занятия Галиции «Діло», как и печатаемый на немецком языке «Украинский корреспондентский листок», не прочь склонить мнение Европы к тому, что без отнятия украинских провинций от России самый даже уничтожающий разгром этой империи современной войной был бы только слабым ударом, от которого царизм в состоянии будет оправиться на расстоянии немногих лет. Только свободная и остающаяся в притяжении у Тройственного союза Украина могла бы сделаться для Европы стеной защиты от России, упразднить ее дальнейшее расширение и освободить славянский мир от растлевающего влияния «панмосковизма». Так гласит официальное обращение к мнению Европы союза для освобождения Украины. Это обращение воспроизведено было многими венскими газетами, но появилось впервые на немецком языке в № 1-ом «Украинского корреспондентского листка» от 17 сент. 1914 года. В брошюре, отпечатанной на немецком языке доктором Кушниром и озаглавленной «Украина и ее значение для настоящей войны с Россией», говорится, что в течение многих десятков лет, в особенно со времени позорного запрета украинской речи, взгляды малороссов неизменно направлены в сторону Галлиции и Австрии. В Австрии должен был укрыться русский украинец, желающий участвовать в национальном подъеме. Здесь вносил он свою лепту, на которой создавались твердыни для национальной культуры и освобождения. Сюда малорусские крестьяне привозят своих детей, чтобы дать им образование в украинской школе. С увлечением слушает русский украинец в Галиции и Буковине свою речь с церковной паперти и с профессорской кафедры. Еще недавно отсталая в культурном и экономическом отношении страна в настоящее время гордо подняла флаг национального самосознания. Галиция стала Пьемонтом для украинского народа. Автор брошюры, справедливо указывая на рост украинской культуры в Галиции, в то же время глубоко заблуждается, думая, что призыв, сделанный четверть века тому назад, по словам Барвин-

ского, украинским ученым Житецким, призыв, принявший форму обращения к русинам Галиции с вопросом: «Спросите вашего императора, когда он собирается придти к нам?» найдет отзвук и поддержку в широких слоях малорусского населения. Года полтора тому назад мне показывали текст или, вернее, копию с текста манифеста, распространенного из Галиции и заключавшего в себе обращение к Францу-Иосифу, как будущему правителю Малороссии. Вручивший его мне помещик из наших южных губерний смеялся, говоря, что эта бумажка не произвела в его ближайшем соседстве ни малейшего впечатления. Немецкие органы австрийской печати уже теперь высказывают недоумение, почему не подымается Малороссия. Да потому, — ответим мы, — что, дорожа своей культурой, оскорбленная в неуважении к ней русской власти, она в то же время со своей верой, своими экономическими интересами и своим более чем двух с половиной вековым сожитием с «москалями» постепенно сделалась неразрывной частью русского государственного тела. Не об отделении думает она, а о том, чтобы под кровом русской державы на равных правах со всем населением империи приобретать на родном языке блага не одной малорусской или русской, но общей человеческой культуры. «Мазепинская опасность» существует только в фантазии некоторых публицистов-теоретиков и едва ли признается чем-то серьезным даже теми администраторами, которые оправдывают ею свое гонение на украинскую речь и школу. Подъема Малороссии в минуту общей опасности для всей России австрийцы и немцы не увидят. Но если нам не грозит внутреннее разложение, то из этого не следует, чтобы переживаемый нами момент не был бы, может быть, более трагическим, чем самое нашествие «двунадесяти языков», годовщину славного избавления от которого мы праздновали два года тому назад. России предстоит напрячь все свои силы. Вопрос идет о самом ее существовании, как Европейской державы. Все истинные патриоты должны отдать себя этому новому делу освобождения, на этот раз, к счастью, не от врагов внутренних. И я приветствую поэтому счастливый почин, сделанный с целью привлечения к общенародному искусу русской интеллигенции нашими писателями М. Горьким, Куприным[124], Набоковым, Аничковым и др. Только беззаветно отдавшим себя служению общерусской свободе, без различия партий и направлений, храня каждый в себе до поры до времени свой личный идеал и подчиняя ближайшим интересам родины все свои мысли и желания, можно подняться на серьезный отпор самому опасному врагу, какого пока имела Россия*.

* Закончена на сотый день по объявлении войны. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

Глава IX

Война 1914—1918 гг. Ее действительные причины. К психологии германского народа во время войны

Причины войны 1914—1918 гг.

Из всех врагов Германии ни один не вызывает к себе такой ненависти, как англичане. Можно услышать от людей, идущих на войну, что они всего охотнее сразятся с английской армией. Еще недавно мне говорил это отправляющийся на поле битвы приказчик книжного магазина «Штарка» в Карлсбаде. К кому относятся с особой придирчивостью в Вене[?] К интернированным англичанам. Им запрещено уже ходить на публичные собрания и даже в рестораны, вероятно, из опасения каких-либо враждебных демонстраций по их адресу. Американский консул в Карлсбаде, указывая на желтый крестик в петличке своего сюртука, объяснял мне его желанием не прослыть за англичанина и не подвергнуться при посещении Праги или Вены тем неприятностям, какие ждут уроженца коварного Альбиона. Эта фраза, которая лет десять тому назад так часто выходила из-под пера русской националистической печати, теперь чуть не ежедневно бросается в глаза при чтении немецких и австрийских газет, брошюр и журнальных статей. Их авторы словно убеждены, а потому усиленно убеждают читателей, что война вызвана заговором, устроенном против обеих немецких империй не кем другим, как Эдуардом VII, этим величайшим завистником и интриганом, в этом отношении вполне сыном своей родины, который не может простить Германии быстрого роста ее промышленности и морской торговли. Эдуард VII нашел достойного ученика и последователя в лице теперешнего секретаря внешних сношений Грея, которого один из онемеченных англичан Густав Стюарт Чемберлен[1] называет холодным человеком и бессердечным дипломатом. Раскройте сборник профессорских статей, посвященных обсуждению различных сторон переживаемого нами момента, эти, как значится на обложке, заявления немецких и австрийских профессоров истории, по поводу настоящей войны. О чем говорится в них с особенной охотой. К чему постоянно возвращаются, как к лейтмотиву, немецкие патриоты, принявшие участие в этом сборнике, отпечатанном в последних двух номерах «Южно-Немецкого Ежемесячника». Опять-таки, о том, что настоящий враг не кто иной, как Англия; что причиной тому является ее стремление к всемирному господству, и что только сокрушив ее, можно рассчитывать на восстановление прочного мира в Европе, мира на сто лет, как надеется Чемберлен. Вот какими словами открывается статья мюнхенского профессора истории Эриха Маркса: «Мы все знаем, что нашим мировым врагом является Англия, что

она виновник настоящей войны, что война эта только тогда поведет к успокоительным последствиям, если нам удастся развить ею вызванное, в глубь идущее разложение этой страны».

Постараемся проникнуться на время этой точкой зрения и спросим себя, как обосновывают ее немецкие писатели. Их рассуждение довольно просто. Англия желает сохранить владычество над морями, на котором опирается ее колониальное, торговое, а потому и промышленное преобладание. Этому мировому господству на море угрожает быстро растущий немецкий флот, в свою очередь обеспечивающий возможность развивающейся немецкой промышленности успешно конкурировать с английской на рынках всего света. Надо поэтому уничтожить этот флот, отобрать у Германии ее колонии, закрыть для нее центры мирового обмена и тем парализовать дальнейший рост ее промышленности. Авторы упомянутых статей и брошюр не считают нужным заняться при этом вопросом, почему Англия не преследует той же политики по отношению к Франции, или Соединенным Штатам, промышленность которых не находится в застое; почему она содействует, а не препятствует приобретению Францией новых колоний в Марокко, почему она мирится созданием рядом с ее ост-индскими владениями бельгийского Конго. Почему Англия не помешала приобретению Соединенными Штатами прежних владений Испании в Новом Свете и допускает японцев положить в Восточной Азии на протяжении Тихого океана Маньчжурию с Кореей, а в настоящее время и в Шантунге прочные основы для своего промышленного, торгового и военно-морского преобладания в Азии. Но, указав мимоходом на это противоречие, не пытаясь разрешить его, спросим себя, чем объясняют немецкие писатели ту народную психологию англичан, которая заставляет их, обходя вниманием прочие интересы, напрячь все свои усилия исключительно в одну сторону — искоренению возникающего морского владычества Германии. Немецкие публицисты, избегая мнимого легкомыслия и отсутствия глубины французских писателей, не боятся предпринять исторических поисков и восходят чуть не до времен завоевания Англии норманнами, чтобы объяснить причину, по которой немецкая, по своему этнографическому составу, страна может вести столь антинемецкую политику. Никто в этом отношении не идет дальше и не заглядывает глубже англичанина-перебежчика Чемберлена. Для него ясно, что Вильгельмом Завоевателем внесено было в Англию то раздвоение, которое длится и теперь. Высший слой общества стал французским, низший остался германским. Но в Англии значение имеет один только высший слой. Он говорит, правда, одним языком с низшим, но его призношение иное. Он воспитывается в своих школах, в своих университетах; он захватил в свои руки все политическое руководительство, начиная с местного самоуправления и оканчивая парламентом. Страна управляется комитетом последнего, так называемым кабинетом; при нем король является не более, как куклой, что не мешает ему, однако, интриговать против всего света, как это делал Эдуард VII.

Все это рассуждение падает, если мы примем во внимание хорошо известный факт, что к концу войны Алой и Белой Розы, то есть в последней четверти XV века, уцелело от норманно-французской аристократии всего двадцать с лишним родов, что новые наследственные пэры, созданные Тюдорами, Стюартами и королями Ганноверской династии, далеко не были необходимо норманно-французского происхождения. Молодое дворянство вербовалось Генрихом VIII[2] из среды прежних съемщиков монастырских земель, и какие-нибудь Россели, арендовавшие землю у монастырской обители, становились герцогами Бетфорскими. Никогда не было столько новых назначений, как при Георгах, но кто решится утверждать, чтобы эти представители германской династии отдавали свое исключительное предпочтение одним французским родам.

Другое, не менее глубокое с первого взгляда и на самом деле столь же парадоксальное утверждение Чемберлена, направленное на объяснение народной психологии англичан, состоит в следующем. В течение ряда веков соотечественники Чемберлена, по словам их обличителя, были народом-земледельцем и. самое большее, овцеводом. Они не обрабатывали сами и важнейшего продукта, поставляемого их страной, — шерсти, предоставляя это фламандцам. Их торговля была в руках иноземных купцов — ганзейцев, фламандцев, жителей итальянских республик Венеции и Генуи. Для создания английского флота во времена Тюдоров, не доставало, прежде всего, матросов. Чтобы приучить англичан к морю, Эдуард VII, а за ним королева Елизавета принуждены были ввести обязательный пост по пятницам. Запрещалось есть другое мясо, кроме рыбного; это так называемый «Fish-day» — рыбный день. В отличие от католической Европы Англия знает со времен Реформации только политические посты, вызванные заботой о создании из рыбаков матросов и экипажа для торгового и военного флота.

Все эти данные и верны, и хорошо известны. Они могут быть восполнены указанием на более прямые, опять-таки политические причины обращения англичан в «смелых мореплавателей». Запрет ганзейским купцам держать склады товаров в Лондоне, а самим англичанам торговать продуктами своей страны иначе, как на английских судах с английским экипажем и матросами, вероятно еще ближе стоит к сознательной цели создания морского владычества Англии. Первая мера восходит ко времени Елизаветы, вторая к протекторату Кромвеля, к его знаменитому навигационному акту, единственному наследию, удержанному Карлом II от английской революции. Ко всем этим данным можно было бы присоединить еще влияние, оказанное морскими путешествиями и открытиями таких людей, как, например, Джон Кобет*/3, положившим начало английским владениям в Северной Америке. Но что говорят все эти совершенно верно отмеченные данные[?] Только то, что, подобно другим народам, испанцам и португальцам, французам и гол-

* Так в тексте. Следует: Кабот.

ландцам, англичане только под влиянием благоприятных обстоятельств, применяясь к ходу событий, выработали из себя народ моряков, народ колонизаторов и мировых торговцев. Из всех народов, когда-либо наложивших свою печать на ход всемирной истории, одни только финикияне, греки и итальянцы своими географическими условиями, недостатком удобной к обработке почвы и длинной береговой линией, богатой глубокими и безопасными гаванями, призваны были к международному обмену на морях. Кастильцы и арагонцы в средние века не мечтали о торговом соперничестве ни с Пизой, ни с Генуей, ни с Флоренцией. Монополия, созданная в их пользу открытиями Колумба и Васко да Гамы, обратила их в мореплавателей. Когда жители испанских и австрийских Нидерланд, более подготовленные к той же роли географическими условиями занимаемой ими местности, стали оспаривать у народа Иберийского полуострова их владычество в Ост-Индии, не испанцы и португальцы, а голландцы сделались тем народом, с которым пришлось помериться англичанам в XVIII в. при обосновании своих колоний и захвате международных рынков на Индийском океане. Рядом с голландцами и французы, народ на первых порах также земледельческий и чуждый отдаленным заморским предприятиям, сделались на время, далеко не надолго, народом-колонизатором. Англичанам, со времен Людовика XV, пришлось отнимать у них их владения в Северной Америке, в такой же степени, как и в Ост-Индии. Все народы с положением у моря или океана рано или поздно становились агентами морской торговли, не исключая из числа и немцев, с их знаменитой Ганзой. Следует ли из этого, как старается убедить читателя Чемберлен, что англичане, начиная с XVI века, смотрели и смотрят на войну исключительно с торговой, так сказать, точки зрения. Война, мол, такое же хозяйственное предприятие, как и земледелие или промышленность. Но это место в брошюре Чемберлена настолько характерно своей парадоксальностью, что заслуживает быть приведенным целиком. «Англичанин, — пишет Чемберлен, — не воюет, подобно Александру или Цезарю, славы ради. Для Англии, как сказал еще Сили, война — один из видов промышленной деятельности, один из способов разбогатеть, притом, самое выгодное предприятие, самое доходное помещение денег. Можно хвалить их за то или порицать, но ясно одно, что англичане не солдаты и не смелые мореплаватели, но что они к морю привлечены торговлей: торговлей в мире, торговлей через посредство войны. Войско и флот служат не к защите и усилению родины, а к поощрению во всех частях света преследуемого ими обогащения» (Kriegsaufsätze, стр. 55).

Что справедливо в этом заявлении. Разве только то, что Англии не приходится воевать, подобно другим народам, еще не достигшим объединения, из-за национальной идеи, из-за отстаивания своей независимости от иностранцев, из-за приобретения свободы политического самоопределения, еще меньше из-за невозможности исповедовать свою веру. Все эти задачи когда-то преследовались ее войнами. Непобедимая Армада имела в виду сломить не

одно торговое владычество англичан. Во времена Кромвела Англия искала союза с протестантскими странами — Швецией, Бранденбургом и Голландией для того, чтобы отстоять свою независимость и свою свободу культа от католических стран с Испанией во главе. При Вильгельме III Оранском[4] повторился тот же союз; Европа распалась на два лагеря — католический и протестантский, но с той только разницей, что во главе враждебной Англии лиги не стоял более испанский, а французский король. Но все эти поводы к нарушению мирного сожития с Европой, какой бы религии ни придерживались населяющие ее народы, исчезли со времени воцарения в Англии новой династии — Ганноверской. Явились другие поводы к войнам, часто чуждые интересам Англии и близкие тому континентальному королевству, с которым связана была ее судьба. Англия стала нанимать немецкие дружины для защиты владений и политического положения Ганноверского королевства. Как бы желая предупреждать возможность такой антинациональной политики, противник призыва на английский престол иноземной династии, Балинброк*[5], справедливо указал своим соотечественникам на то, что все их интересы — на море. Чемберлен цитирует его слова. В своих «Заметках об истории Англии» Болинброк советовал ей держать большой флот и не заботиться о сухопутной армии, так как она чересчур бы сблизила Англию с континентом. Интересы же ее состоят в том, чтобы предоставить странам последнего воевать взаимно друг с другом, не вмешиваясь слишком глубоко в их борьбу. Войско, к тому же, причинило бы Англии большие экономические затруднения и одновременно большие опасности. Что можно найти в этих словах, как не дальнейшее развитие тех мыслей, из-за которых англичане еще в конце XVII в. при Вильгельме III и Марии поставили существование Армии в зависимость от ежегодно возобновляемого парламентом разрешения и ежегодно вотируемого им военного бюджета. С тех пор, как со вступлением на престол королевы Виктории[6], по законам Ганноверского королевства не допущенной к наследованию короны, Англия оборвала всякую связь с политическими судьбами континентальной монархии, ей еще легче было осуществить на деле завет Болинброка. Промышленная революция, пережитая ею раньше других стран, направила ее усилия в сторону завоевания рынков. Она сделала попытку в этом смысле, заключив в Францией торговый договор в 1787 г. на начале свободы и взаимности. Но отсталая французская промышленность не могла выдержать конкуренции с более усовершенствованной техникой изготовляемого и потому более дешевого английского товара. Начавшиеся вскоре затем войны революционной Франции с Европейской коалицией, в которой приняла участие и Англия, войны, продолженные Наполеоном и сопровождавшиеся попыткой убить английскую промышленность при содействии континентальной системы, т.е. за-

* Так в тексте. Следует: Болинброк.

крытия европейских рынков для английской мануфактуры, заставили Англию направить свой взор в сторону других континентов. Успешная война американцев за независимость, поведшая за собой закрытие вновь возникших Соединенных Штатов беспошлинному ввозу английских товаров, вызвала необходимость расширить английские обороты, распространяя их на отвоеванную у Франции Ост-Индию. Варрен Гастингсону*/7 удалось путем договоров с местными раджами и выдвинувшимися вперед успешными честолюбцами вроде Типо-Сиб**/8 закончить более или менее покорение Индии и увеличить получаемые с нее торговой компанией доходы с трех до пяти миллионов фунтов стерлингов в год. Что это не было достигнуто без явного нарушения элементарнейших требований не одной политической, но всякой вообще нравственности, это, разумеется, не подлежит ни малейшему сомнению и вполне установлено было Бэрком***/9 перед английским судилищем. Но сказать, что в этом отношении колониальная политика Англии превзошла жестокости и безразборчивость в средствах все, что ранее сделано было для захвата заморских земель и рынков — Венецией и Генуей, Испанией и Португалией, наконец, Голландией, было бы грешить против истины. Когда английский уроженец, ставший германофилом, утверждает, что вся английская политика сводится к торговле, войне и пиратству, то он, разумеется, подчиняется влиянию своего, несмотря на годы, пылкого темперамента. Англия, несомненно, сделала много ошибок в своей политике по отношению к Индии, в числе их была не последней — насаждение крупной земельной собственности, на место мирского владения, как это указано было мной более 30 лет тому назад в книге: «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения»****, но она всячески старалась исправить свои ошибки. Благодаря административной умелости и научной подготовленности таких людей, как Кембел или Генрих Сеннер Мен, земельное и финансовое устройство Пенджаба и Северо-Западных провинций поставило себе задачей уважительное отношение к местным обычаям и благоприятствование интересам крестьянства. Школами и университетами покрылся Ост-Индский полуостров; гражданское равноправие было обеспечено, насколько этому не противилось кастовое устройство. Допущено было применение в судах, в частных тяжбах столько же индусского, сколько и магометанского права, с сохранением исключительно английского для дел уголовных. Страна покрылась железными дорогами и каналами; приняты были меры к развитию искусственного орошения; затрачены миллионы для прокормления населения в голодные и неурожайные годы. Индия так много строила англича-

---

* Так в тексте. Современная транскрипция: Хейстингс Уоррен.

** Так в тексте. Следует: Типу, султан.

*** Так в тексте. Следует: Берк.

**** Ковалевский М.М. Общинное землевладение, ход и последствия его разложения. М., 1879.

нам, прежде чем сделаться для них той ареной хлопчатобумажного производства, которое позволяет им эмансипироваться от американского рынка, так что, когда в близкое к нам время поставлен был вопрос об устройстве англичанами Египта, поднят был клич: «Только не нужно второй Индии» («No second India»).

Населенные иноплеменниками колонии далеко не составляют, однако, главного ядра того, что теперь уже величают именем Великобританской империи. Из тех приблизительно 400 миллионов, которые считаются ее подданными, Индия с ее браманским, буддийским и магометанским населением, хотя и заключает в себе наибольшую часть, но не в обладании ею лежит источник того движения в пользу признания «Большей Англии» (graeter England), которое, разумеется, не ждало появления на свете книги Чарлза Дилка[10], чтобы завоевать себе место в заботах, как английских, так и европейских политиков. В отношении Англии к Канаде, к Австралии, Зеландии, Южной Африке и Ньюфаундленду имеется нечто другое, чем то, что мы находим в отношениях, скажем, Италии к Триполи, Бельгии к Конго, Франции к Мадагаскару или Германии к Занзибару. В Канаде и Австралии англичанин, подводя под это понятие и шотландца и ирландца, находит продолжение собственной родины. Страна населена его единоплеменниками; в числе их он может найти не одного родственника, так как, в отличие от французских семей, английские очень часто считают в своей среде людей, выселившихся за океан и там пытающихся устроить свой очаг и обосновать свое хозяйство. Канада, Австралия, Новая Зеландия, Капская область с вошедшими с нею в федерацию Наталом, Оранжевой республикой и Трансваалом, все более и более становятся звеньями одного целого, разбросавшегося по частям по различным континентам. Между этими частями физическая связь поддерживается флотом, а нравственная — сознанием единства культуры, общем прошлым, в меньшей степени, единством языка. Французский язык, например, не исключен из употребления в Нижней Канаде, в провинции, центр которой составляет Квебек. Мильнер[11] справедливо указывает, что в сравнении с Германией или Россией, Англия не стремится к тому, чтобы навязать всем вошедшим в границы Великобритании свой язык. Способность инкорпорировать чужие расы без попытки их расторжения или отнятия у них их индивидуальности, пишет он, характерная особенность британской системы. Англичане стремятся завоевать себе эти народности не отнятием у них прежнего их характера, языка и традиций, но присоединением ко всем этим особенностям новых перспектив для культуры и прогресса. Французский канадец не поставлен в необходимость перестать быть французом, ему только открывается возможность быть одновременно и англичанином и даже британским администратором в такой же степени, как если бы он был человеком британской крови. Британская империя в неменьшей же степении открыта и для служебного честолюбия голландцев Южной Африки. Этот принцип неограниченной терпимости, как все человеческое, имеет недостатки, связан-

ные с его качествами. Он может сделаться источником слабости, если довести его слишком далеко. И он доведен был, говорит Мильнер, слишком далеко, по моему мнению, не тогда, когда предоставлена была свобода каждой из инкорпорированных народностей говорить своим языком, но тогда, когда все эти языки поставлены были на одну и ту же ногу по отношению к употреблению их в официальной жизни, когда обучение этим языкам и самое их употребление признано было обязательным, между тем как не было необходимости и даже пользы в таком курсе. Но каковы бы ни были недостатки такой системы, ее достоинства значительно превосходят недочеты. Эта широкая допустимость — один из секретов успеха британского владычества. Она составляет часть нравственного капитала нации и дает иной титул нашему положению в свете, чем тот, какой могла сообщить простая сила. Но самое существовенное [—] это то, что такой характер составляет истинно британскую особенность. Из всех империй в мире он свойствен только Британской и из всех наций — только английской, как созидающей империю народностей. Лежит ли причина этого в какой-нибудь прирожденной особенности самой расы в ее составном характере, или вызвана к жизни историческим опытом, я не решаюсь сказать. Меня занимает в настоящее время вопрос не о причинах этого факта, а сам он в его последствиях. Не так поступала и поступает Пруссия со своими польскими подданными или Россия — столько же с поляками, сколько и с финнами. Не таково также было поведение ранних голландских поселенцев в Южной Америке, с французскими гугенотами, искавшими у них убежища. Они искоренили язык и национальность этих товарищей по протестантизму и заставили всех их принять собственный облик*.

Термин «Британская Империя» давно стал употребительным, но разговоры о том, чтобы выразить существующее между отдельными ее частями нравственное и материальное тяготение в форме общеимперского законодательства и общеимперских учреждений, пошли сравнительно недавно. Начало им не было положено тем фактом, что Дизраели удалось возложить на голову королевы Виктории имперскую корону Индии, воскрешая, таким образом, традицию империи Великого Могола. Если бы принц Уэльский, — будущий король Эдуард VII — и не предпринял в соответствии с этим своего известного путешествия в Индию, где раджам и магараджам предоставлялась возможность чествовать в его лице наследника индусской императрицы, вопрос о «Большей Англии» и солидарности составных ее частей все равно был бы поставлен. Известно, что движение в этом смысле оживилось с того времени, когда Жозеф Чемберлен, известный бермингамский радикальный депутат и одно время министр колоний, возбудил мысль о необхо-

* См.: «Нация и империя» лорда Мильнера. Лондон, 1913 г. Введение, стр. XXXVIII и XXXIX. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

димости экономически заинтересовать заморские владения Англии в политическом единстве с ней созданием в их пользу, в пользу вывозимых из них товаров пониженного тарифа, разумеется, под условием взаимности. Если бы этот план осуществился, Великобритания образовала бы из себя более обширный внутренний рынок, чем тот, какой представляют собой Соединенные Штаты, рынок, в равной степени защищенный сравнительно высшими пошлинами от иноземной конкуренции. Но проекту не суждено было осуществиться, так как он связан был бы для Англии с необходимостью порвать с принципом и практикой свободной торговли, которому ее промышленность обязана была в значительной степени своим феноменальным развитием. Рабочее население, всего более заинтересованное в дешевизме продуктов первой необходимости и, прежде всего, хлеба, не пожелало пойти на опыт наложения на них хотя бы невысокой пошлины. Но и вне вопроса о поощрении товарного обмена между всеми населенными англичанами колониями тяготение их к старой родине сказалось еще в добровольном участии в издержках по снаряжению военных судов. Вопрос об этом поставлен был во время бурской войны, когда Австралия и Канада высказались определенно в том же смысле. В настоящее время та же солидарность сказывается в военных контингентах, поставляемых не одной Канадой и позволяющих Англии восполнить свое наемное войско дружинами, присылаемыми из колоний. В сфере учреждений идея взаимной принадлежности к единому британскому целому сказалась пока только в форме съезда или конференции премьер-министров отдельных федераций, в какие вошли в Америке разные колонии «канадского владычества», в Австралии — долгое время вполне независимые одна от другой области, в Африке — Капская земля с вошедшими в союз с ней бывшими голландскими республиками и Наталем, и рядом Новая Зеландия и Ньюфаундленд. Председателем этой конференции был глава английского кабинета. Многие стояли за то, чтобы до своего расхождения конференция выбрала из своей среды постоянную комиссию, которая, таким образом, осталась бы видимым выразителем имперского единства и, применяясь к обстоятельствам, выработала меры к его скреплению. Но конференция разошлась, ничего не решив и не оставив по себе никакого постоянного следа в форме определенного учреждения. Значит ли это, что вся затея оказалась праздной, что центробежные силы решительно взяли перевес над центростремительными. Не думаю, так как сознание взаимной принадлежности к общему британскому целому сказывается наглядно в минуты опасности для общей родины в форме пожертвований деньгами и людьми. Федерации зреют медленно. Филадельфийская конвенция не сразу повела к созданию Соединенных Американских Штатов и носила характер скорее частного, чем официального предприятия. Идея германского единства, завещанная Священной Римской империей, продолженная с некоторым перерывом Германским Союзом, близкая к торжеству в момент созыва Франкфуртского парламента в 1848

году, стала осуществляться не ранее образования Северо-Германского союза и возникшей из него империи с Гогенцоллернами во главе. Во всяком случае, течение, сказавшееся с некоторой силой в конце прошлого и начале нынешнего столетия, какова бы ни была та окончательная форма законов и учреждений, в которую она выльется, по всей вероятности, к близком будущем, заставляет нас смотреть на морскую политику Англии с несколько иной точки зрения, чем та, на которую становятся германские и австрийские антагонисты Великобритании. Если им верить, то эта политика внушается английскому правительству желанием не пускать никого к разделу заатлантических земель, все равно старого или нового материков. В наивной концепции, выражение которой можно найти в массе брошюр, выходящих в Берлине, в Мюнхене, в Вене, Англии напоминает того легендарного казака, который столько же в народной фантазии, сколько и в рассказе Толстого, обегает кругом от восхода до заката возможно больший участок земли и кричит, умирая от изнеможения: «И се мое». Англия, мол, строит два дредноута, когда Германия довольствуется одним, исключительно с целью не допустить ее к разделу заморских континентов. В действительности же обладание морями, к какому стремится Англия, есть для нее единственное условие поддержать фактическое единство ее разрозненных частей. Оно не исключает готовности Англии пойти на совместное с Францией занятие Египта, уступить Греции Ионические острова, допустить Францию заодно с Испанией к устройству своих протекторатов в Марокко, к передаче французского Конго в немецкие руки, под условием отказа Германии от всякого вмешательства в мароккские дела, к признанию за Италией завоеванного ею Триполиса, а за Бельгией — оставленного ей в наследство Леопольдом II[12] доходного Конго. Англия может позволить себе не один обмен Гельголанда на Занзибар, но и уступку грабам или японцам тех или других островов за военную поддержку или раздел сфер влияния с Россией в Персии. Но она, разумеется, будет считать жизненным для себя вопросом сохранение своей, прежде всего, нравственной и по тому самому неустранимой связи с землями, населенными ее выходцами, в каких бы частях света они ни находились. Что эта связь не только не падает, а растет, не вопреки, а параллельно развитию этих отдельных колоний и их союзов, доказательство этому дает нам, прежде всего, Канада. Во второй половине прошлого века проведены были в ней реформы, последствием которых было сохранение Англией одного права держать назначаемого ею вице-короля при свободно избираемой народной палате. Замещение Верхней камеры также назначаемыми из Англии чиновниками постепенно отходит в прошлое на протяжении большинства сплошь заселенных англичанами колоний, за исключением, разве, бывшей Оранжевой Республики и Трансвааля. И тем не менее с эпохи начавшегося расширения местной автономии идет непрекращающийся рост колониальных симпатий и британской солидарности. В первую мою поездку в Канаду мне приходилось еще встречать

людей, разделявших уверенность американцев, что в случае упразднения таможенного района Канада сольет свои политические судьбы с судьбами Соединенных Штатов Северной Америки. Это было в 1881 г. Но во вторую мою поездку, двадцать лет спустя, никто уже не высказывал сомнения, что Канада сохранит свою связь со старой родиной, «Old Country», как называют Англию ее заморские подданные. За отсутствием другого термина, англичане прибегли к употреблению неподходящего слова — империализм, для обозначения движения, направленного к установлению большей сплоченности между Великобританскими владениями. Можно пожалеть о таком выборе. С понятием империи связано представление столько же о неограниченности власти, сколько и о политической централизации. На самом же деле великоанглийское движение не преследует ничего подобного. Представим слово одному из главных выразителей этого течения, последователю и продолжателю дела, начало которому было положено Жозефом Чемберленом[13]. Я имею в виду лорда Мильнера, одно время губернатора Капской земли, затем Трансвааля со всей южной-африканской федерацией, наконец, — министра колоний. В книге, озаглавленной «Нации и империя» и представляющей из себя сборник речей, им произнесенных столько же в Африке, сколько и в Европе, на разных митингах и заседаниях английской Палаты Лордов, мы находим следующую характеристику империалистической веры. Мильнер говорил 14-го декабря 1906 года в Консервативном клубе в Манчестере на собрании, устроенном унианистами. «Физическая ограниченность островов, на которых расположена Англия, Шотландия и Ирландия, — сказал он, — сама по себе является препятствием к тому, чтобы ими удержано было то относительное значение, какое они имели в мире раньше возникновения империй наших дней, ранее, чем совершился рост России и Соединенных Американских Штатов, прежде того, как Германия сделала гигантские шаги в своем благосостоянии и торговле под прямым влиянием того развития, какое приняли ее военные и морские силы. Острова Великобритании сами по себе не могут остаться навсегда державой первого ранга. Но «Большая Англия», быть может, сохранит такое положение и тем самым обеспечит неприкосновенность и процветание составляющих ее стран и притом в большей степени, чем что бы то ни было другое. А это, очевидно, превосходит всякое другое политическое предприятие своими размерами, своим прямым влиянием на благоденствие многих и многих поколений миллионов человеческих существ. Но такая задача не легко достижима; она не может осуществиться сама собой, в этом я глубоко убежден... Многие полагают, что как бы желательно ни было постоянное единение и сотрудничество отдельных частей Британской империи, государственное строительство не может сделать ничего для его поощрения. Мало того, — опасна даже всякая попытка в этом направлении. Наша задача должна ограничиться воспитанием дружеских чувств, развитием обмена, созданием лучших средств сообщения, облегчением почтовых и телеграф-

ных сношений и вообще принятием неполитических мер к развитию внутренней близости и взаимного понимания. Несомненно, что все эти приемы имеют большое значение, что они даже существенны для достижения намеченной цели. Но всего этого мы могли бы желать и тогда, если бы речь шла об иностранных нациях. Тут мы подходим к тому, что является жизненным противоречием между нашей точкой зрения и той, какой придерживаются наши противники. Вопрос в том, должны ли наши отношения к другим государствам Британской империи быть тождественными с теми, каких мы готовы держаться в отношении другой дружественной нам нации, или же мы имеем в виду создать для стран империи отношения к нам более тесные, более интимные. Для нас, империалистов, нет сомнения насчет того, каков должен быть ответ. Для нас было бы недостаточным, если бы отношения к государствам империи постепенно сошли бы на те, которые удовлетворяют нас, когда речь идет о дружественных нам иностранных нациях. Народы, населяющие эти части империи, не чужды друг другу. Их члены — наши сограждане, и мы желаем, чтобы они навсегда оставались таковыми. Один престол, одно знамя, одно гражданство, — это связующие звенья неоценимого значения. Никакая дружба, никакой союз с иностранными государствами, как бы крепки они ни были, не могут предоставить никакой аналогии с связями, столь глубоко вкоренившимися, отличающимися такой непрестанной жизненностью и доставляющими такие ценные результаты. Подумайте только о том, что значит для всякого белого британского происхождения возможность считать себя дома в любом государстве империи, едва он вступил в его пределы и, несмотря на то, что всю предшествующую жизнь он провел на противоположном конце земли. Он слышит людей, говорящих его языком, он дышет социальной и нравственной атмосферой, ему привычной, не совсем той, разумеется, какой он дышал в своей старой родине, но все же родственной ей, скажу более, он призван к пользованию всеми правами гражданства с самого своего появления в любой части империи. В этом отношении он находится в абсолютно равных условиях с уроженцами. Австралиец и новозеландец не нуждаются в натурализации Великобритании, как великобританец не нуждается в ней ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Возрастающий запрос на имперское единство может найти средства противодействия могущественным природным силам, разумеется, преоборимым, которые постоянно, хотя и молчаливо, работают в направлении к разложению. Наши самоуправляющиеся колонии, собственно, перестали быть таковыми в обыкновенном смысле слова. Это — нации, имеющие свою жизнь, свою гордость, свое самосознание, со своими особыми, отличными и иногда противоречивыми интересами. Жалею, говорит Мильнер, что не могу согласиться с теми, которые полагают, что одного сознания принадлежности к одному целому достаточно, чтобы сохранить целость империи. Мильнер справедливо держится того мнения, что без такого сознания никакие обособленные друг

от друга учреждения не могли бы скрепить эти великобританские владения, но он, вместе с тем, отдает должное и тому влиянию, какое в этом направлении оказали бы учреждения, политическое творчество, говорит он, без которого и Соединенные Штаты остались бы навсегда разрозненными. Центробежных сил слишком много, чтобы не сделать желательным объединение интересов отдельных земель, занятых англичанами. Надо поэтому воспользоваться всеми обстоятельствами, благоприятными оживлению старых и к созданию новых уз. Многие из таких обстоятельств уже нами упущены. Не будем столь же нерадивы на будущее время. Сближение должно воспоследовать при полном сохранении начала невмешательства одной занятой англичанами области в жизнь других. Федерация Южной Африки, например, должна оставаться столь же свободной, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. Но если бы на время потребовалось сохранение опеки над ней, то желательно было бы, чтобы эта опека осуществляема была не Англией только, а всей империей. Мильнер указывает на те политические шаги, какие сделаны были в разное время к усилению солидарности между обеими частями Британской империи. «Мы хорошо знаем, — пишет он, — что́ империалисты колоний почти без исключения признают важнейшим практическим средством к усилению унии. Они верят в то, что принцип наибольшего благоприятствования в отношении к торговле отдельных частей империи является таким средством. На конференции 1902 года премьер-министры всех колоний поддерживали систему взаимности в деле предпочтительного обмена товарами между всеми частями империи, для чего необходимы более низкие пошлины. С этого времени Канада продолжала эту систему предпочтительности по отношению к метрополии, а Южная Африка ввела ее, Австралия же стремится сделать то же. Одна метрополия пока не отвечает равной практикой. Но колонии уже начали обмениваться друг с другом на начале взаимности и при пониженном тарифе».

Настаивая на той мысли, что центростремительное течение выиграло бы от создания постоянного учреждения, озабоченного приисканием новых мер к укреплению унии, Мильнер останавливается на будущей судьбе таких конференций, как та, которая была создана в 1902 году. «Пока конференция продолжает заседать, — пишет он, — она является чрезвычайно значительным собранием. Состоя из людей, являющихся действительными представителями тех стран, от которых они посланы, обыкновенно из глаз исполнительной власти в автономных государствах империи, получивших свои полномочия непосредственно от народной воли, конференция может быть рассматриваема, как собор всего народа империи. Пока она существует, мы поистине имеем представительное собрание всех автономных государств, признающих себя подданными английской короны. Но людям нужно сговариваться, прежде чем они будут действовать совместно, поэтому был бы сделан большой шаг вперед, если бы мы могли ввести практику постоянной консультации по вопросам общего интереса для всех

частей империи. В число таких вопросов нужно было бы ввести и все те, которые возникают между определенными членами империи и стоящим вне ее государством. Мильнер сочувствует предложению, сделанному прежним министром колоний, т.е. Чемберленом, в пользу создания постоянной комиссии, исходящей от конференции и в которой были бы представлены все государства империи. В промежуток между собраниями самой конференции она могла бы расследовать любой вопрос общего интереса, составить о нем доклад конференции, оставляя за ней только окончательное решение»*.

Мы не будем настаивать долее на унионистских стремлениях, сказавшихся со стороны английских колоний за последнюю четверть века. Мы отметим только препятствия, какие осуществление этих стремлений встречает в преданности англичан принципу свободной торговли, которому обязана своим необыкновенным ростом английская промышленность и английский обмен. Один иностранный наблюдатель английской жизни, итальянец Рикардо Даллвольта** в сочинении, появившемся не далее, как в прошлом году, указывает и на причины усиления, и на препятствия, встречаемые империалистской идеей. «Никто не может высказывать серьезного сомнения, — пишет он, — что Англия в период времени от перехода ее к свободной торговле и до наших дней пользовалась возрастающим благосостоянием. Если за эти последние годы другие страны с весьма отличной от нее таможенной системой процвели в значительной степени, это не означает того, чтобы Англия, придерживаясь протекционизма, могла в течение второй половины 19-го века достигнуть того экономического могущества, которое должно считаться одним из наиболее выдающихся явлений за последние 50 лет». Автор указывает на то, что достаточно сопоставить положение Англии в 1846 году с ее положением в 1901-ом, чтобы убедиться в той пользе, какую оказала ей свободная торговля. На мой взгляд, такой прием едва ли может считаться научным, так как выделяет из суммы сопутствующих явлений только один фактор и ему приписывает достигнутые результаты. Но самые цифры заслуживают внимания, как показатели материального роста страны. В 1946*** году население английских островов равнялось 28 миллионам, в 1901 году оно поднялось до 41 миллиона. Вывоз Англии равнялся в 1846 г. 68 миллионам фунтов стерлингов, а в 1906 г. — 280 млн, одновременно ввоз поднялся с 85 млн до 454 млн, а обложенные подоходным налогом поступления, которые в 1846 г. равнялись 253 млн, в 1901 г. представляют уже цифру в 833 млн фунтов стерлингов. Прибавим еще,

---

* См.: [Мильнер. Нация и империя], стр. 139—152. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

** Saggi economici e financiaci sull Inghliterra [Экономические и финансовые очерки об Англии]. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Так в тексте. Следует: 1846.

что депозиты, хранящиеся в Сберегательных кассах, в 1846 г. доходили до 31 млн, а в 1901 г. поднялись до 192 млн.

Несомненно, что за те же годы, говорит Даллвольта, у Англии явились конкуренты, которые стали угрожать первенству Англии в деле промышленности. Наука и политическая свобода, как и другие факторы экономического прогресса, не представляют монополии одного какого-либо государства. Нельзя также утверждать априорно, что протекционизм в известных условиях может содействовать развитию промышленности. Несомненно, что Англия за последние годы пережила не один период промышленной и торговой депрессии и познала, благодаря этому, те трудности, какие создает для ее производства и обмена протекционная система, какой стали придерживаться другие страны за последние 20 лет в возрастающей прогрессии. Но тем не менее, богатства Англии так велики, что на каждого жителя их приходится больше, чем в любой стране мира. Ее торговля представляет в общем наивысшую абсолютную величину, да и на каждого жителя в отдельности приходится меновых оборотов больше, нежели в Соединенных Штатах или Германии. В одних только мелких государствах, как Голландия, Бельгия или Швейцария это пропорциональное отношение еще выше. Но защитники протекционизма, не отрицая всего этого, указывают на то, что вывозная торговля Соединенных Штатов и Германии возросла с более быстрым темпом, чем английская, что, если бы в сумму ее торговых оборотов не включить тех, которые Англия имеет с колонией, не пришлось бы даже говорить о росте, а, наоборот, настаивать на сокращении английского вывоза, а последствием этого является упадок некоторых видов промышленности и притом важнейших, как обработка железа и стали, обработка шерсти и льна, наконец, производство машин. Даллвольта не соглашается с тем, кто полагает, что враждебные Англии тарифы привели английскую промышленность в состояние упадка и разорения, но он указывает на то, что такое течение представлено значительным числом ее писателей-экономистов, во главе которых приходится поставить Вильямса с его известным сочинением: «Made in Germany», сочинение, как показывает само его название, говорит о ввозе в самую Англию многих продуктов германской промышленности, чем и вызывается грандиозный перевес ввоза над вывозом. Если прибавить к этому сокращение района земледелия, упадок цен на его продукты и соответственно этому дохода от земли, то приходится сказать, что рост благосостояния стал происходить в Англии менее быстрым темпом, чем в Соединенных Штатах или Германии. Так как итальянский экономист нимало не придает катастрофического характера этому простому замедлению в поступательном ходе английской промышленности и торговли, то он и спрашивает себя, чем объяснить то движение, которое с мая 1903 г., под влиянием, главным образом, Чемберлена, ставит себе задачей ниспровергнуть экономическую и, в частности, таможенную политику Кобдена[14], Пиля[15] и Гладстона[16]. Не касаясь более отдаленных противников свободной торговли, к числу кото-

рых автор относил и поэтов Саусе*/17 и Кольриджа[18], позднее Карлейля[19] и Рескина[20], Даллвольта останавливается на том течении, какое было создано Дизраэли. Переходя к недавнему росту империализма, автор цитирует известного французского писателя Бутми, который считает империализм известного рода «психическим состоянием», появившимся в Европе с 1860 г. «Свет кажется англичанам им принадлежащим, — пишет он, — он рисуется им громадным материалом для их усилий. Они полагают, что англичанину хорошо у других, но еще лучше дома, а поэтому нет основания не расширять границ империи. Они не прочь пустить для этого в ход дипломатию, не стесняющуюся в средствах, а если нужно, и силу оружия»**. В другом сочинении того же автора «Психология американского народа» Бутми справедливо указывает, что такое настроение, разделяемое далеко не всеми английскими деятелями, чуждое, например, Р. Пилю и Гладстену, боявшимся чрезмерного расширения границ империи, стало завоевывать собой и другие страны Европы, прежде всего Германию, и Соединенные Штаты. Этот империализм сказывается в трояком направлении. Он проявляется, прежде всего, в желании расширять свою территорию новыми приобретениями, что и вызвало заботу о колониях, во-вторых, его характеристикой является восхваление собственной нации, как призванной Всевышним быть орудием Провидения, в-третьих, оно сказывается в том, что важнейшей стороной государственного организма признается армия и флот, очевидно, как орудия расширения и упрочения этого владычества***. Даллвольта справедливо указывает, что этот перечень Бутми далеко не полон, что не даны ни политические, ни экономические мотивы такого настроения, а именно, сознание территориальной ограниченности того острова, на котором развивалась английская гражданственность, на чем настаивал уже Карлейль, и стремление сохранить и по возможности поднять хозяйственный уровень страны поощрением взаимности в ее торговом обмене с колониями в ущерб началу «открытых дверей» и с помощью, в конце концов, покровительственного тарифа. Итальянский экономист справедливо указывает, что к этому неизбежно идут и Чемберлен и его последователи, и что иного и не может быть исхода, так как колонии производят сырье, а метрополия мануфактурат. Если даже отказаться, как это делает Чемберлен, от покровительственной пошлины по отношению к тем продуктам земли, которые служат материалом для английской промышленности, то приходится в интересах колоний помириться с установлением пошлины на питательные продукты, а это, разумеется, отразится на материальных затратах рабочего населения, чем и объясняется его несочувственное отношение к идее империализма. Мне нет основания останавливаться

---

* Так в тексте. Следует: Саужи.

** Опыт политической психологии английского народа в XIX в., стр. 416. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Ibid., стр. 333. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

подробно на той критике, какой Даллвольта подвергает экономическую и финансовую схему, предложенную Чемберленом. Меня интересует не положительная и отрицательная сторона империалистических течений, а самое обоснование того факта, что ими поддерживается та точка зрения, с которой англичане защищают необходимость отстаивания ими и признания другими народами своего владычества на морях. Оно необходимо им, полагают они, для сохранения целости и единства империи. Так как библейская закваска весьма сильно сказывается в их среде, хотя бы уже потому, что они прошли искус пуританизма и испытали на себе влияние моралистов и политиков, искавших ответа на все вопросы в Библии, то немудрено, если они облекают свои притязания на владычество морями в форму какого-то осуществления Божьего Промысла. «Современный англичанин, — писал за несколько месяцев до войны Рюдорффер в своих «Основах мировой политики в наше время» — не имеют ни малейшего представления о том, что другие нации могут быть недовольны распространением их владычества на чужие, еще не утилизированные страны. Британское господство, человечность и цивилизация кажутся ему понятиями, взаимно покрывающими друг друга. Тот, кто признает гуманитарные обоснования, даваемые англичанами их экспансивной политике, их непрестанному захвату все новых и новых земель за сознательное притворство, то несомненно глубоко заблуждается. Их представления вытекают из прирожденной веры англичан в самих себя, в свое призвание быть носителями идеи человечности. Каждый англичанин имеет наивную и непоколебимую веру в миссию Англии владеть земным шаром. Разве Англия не приносит другим народам, рассуждают они, свободу. Ведь, «британство» и человечность означают одно и то же. Англичанин, который видит в каждом покушении на всемирное господство британцев прегрешение пред культурой и человечеством, остается искренним и последовательным самим собой. Такая оценка этой психологической черты англичан, с которой хорошо знаком всякий, имевший сколько-нибудь продолжительное общение с ними, разумеется, несравненно более отвечает истине, чем какое высказывают авторы новейших брошюр, появившихся уже за время войны и пытающихся выдать англичан за то, чем они в действительности никогда не были: притворщиками, торгашами, готовыми погубить мир из-за собственной наживы, не преследующими никаких иных целей, кроме ограбления народов на море и на суше, в интересах, притом, небольшой горсти плутократов. Такая точка зрения выступает не только в характерных заявлениях некоторых из недавно появившихся брошюр, как например: «Английский морской разбойник и его торговая война», или: «Долой английское мировое ярмо», или еще: «Конец Англии», — брошюр, написанных членами гамбургского купечества, дипломатами и церковными проповедниками, но и в самом содержании тех упреков, какими авторы осыпают не одних современных правителей Англии, но и весь ее народ. Уподобление английской политики макиавелизму, к кото-

рому обращается, например, Чемберлен, — выражение сравнительно еще мягкое. Многие из недавних писателей, в числе которых имеются и профессора истории, и ученые экономисты, по-видимому, не прочь думать, что современная война вызвана исключительно себялюбивым расчетом англичан, которые придумали то, что немцы называют политикой не их изолирования, а их, так сказать, обхода врагами со всех сторон. Задумана была эта политика, мол, Эдуардом VII, испугавшимся заодно с руководящими политическими деятелями Англии быстрого захвата рынков германской промышленности. Эдуард Грей, современный руководитель английской политики, высказался за войну не для того, мол, чтобы охранять независимость мелких государств, так как англичане первые готовы были нарушить нейтралитет Бельгии во вред Англии и не для того, чтобы померяться военным флотом с германским, а с целью отобрать у немцев их колонии, конфисковать их товары, упразднить их иноземные рынки, присвоить англичанам их технические открытия, лишая силы выданные немецким изобретателям патенты, наконец, захватить частную собственность германских подданных в пределах британских владений. Во всей этой новейшей немецкой литературе обличительного и полемического характера я нашел у одного только Артура Дикса, автора брошюры, озаглавленной «Война из-за мирового хозяйства», верную, на мой взгляд, точку зрения на ближайшую причину переживаемого нами столкновения почти всех народов старого света. Она кажется мне правильной потому, что вполне отвечает защищаемой мной в настоящем очерке мысли об империализме, как о руководящем начале современной политики, столько же экономической, сколько и иной, а потому и ближайшем факторе мировой конкуренции, завершающейся мировой войной, ради обеспечения перевеса одному из соперников. Для Англии, говорит Дикс, война 1914 г. — война из-за мирового хозяйства. Британцам было невыносимо то обстоятельство, что участие Германии в мировой торговле в правление императора Вильгельма II более или менее приблизилось в тому, какое принадлежит Англии, невыносимо, что немецкий вывоз почти подошел по своим размерам к британскому. Англичане не хотели дать себе отчета в том неприятном для них факте, что в Германии, наряду с процветающей и постепенно расширяющейся промышленностью, имеется еще здоровое, способное утилизировать все успехи техники сельское хозяйство. Благодаря этому обстоятельству Германия сделалась сильнейшей в деле производства страной Европы, а потому приобрела справедливое основание к наибольшему участию в мировой торговле*.

Подобно тому, как в прошлом столетии политика руководима была, главным образом, идеей национальности, так точно мировые события текущего столетия стоят, как выражается автор, под знаком империалистической мысли. Империализм призван дать

* Der Weltwirtschaftskrieg. Von Arthur Dix, стр. 5. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

почин, рамки и цель стремлениям отдельных народов к господству. Империализм, это — воля, направленная к обеспечению всемирного господства, стремление мировых держав достигнуть роста, отвечающего потребностям населяющего их племени, их народного хозяйства. Он имеет в виду предоставить этим мировым державам, сообразно их наличным силам, то или другое участие во владычестве миром и в распоряжении его рынками. Почва, на которой развился империализм новейшего типа, — почва по преимуществу мирового хозяйства. Поэтому и мировые войны, прежде всего — не одно столкновение оружия, но и соперничество из-за мировой торговли. Они ведутся и тогда, когда страны, между которыми они происходят, находятся в мире. Они приобретают более острые формы с того момента, когда «начинают говорить и пушки». Если в старые времена люди хватались за оружие для того, чтобы обеспечить тому или другому народу необходимую ему для пропитания почву, то в настоящее время вооруженные столкновения происходят из-за желания завоевать народу большее или меньшее участие в мировом рынке в самом широком смысле*.

II.

В момент объявления войны не вполне ясны были вызвавшие ее к жизни причины. Могло казаться случайным и непредвиденным обстоятельством вмешательство не только России и Франции, но и Англии. На расстоянии же 4-х месяцев со времени открытия военных действий становится все более и более очевидным, что война создана тем психологическим состоянием, какое вызвано было, с одной стороны, более 40 лет поддерживаемым во Франции желанием воссоединить отнятые у нее провинции, с другой, — вековым стремлением России к открытому морю и участию в мировой торговле, наконец, с третьей, — опасением Англии, что Германия вырывает из ее рук господство над морями и, побеждая ее в сфере промышленности и торговли, грозит захватить в близком будущем не только часть английских колоний, но и главнейших рынков, не исключая и тех, которые лежат в самой Англии. Разумеется, ни один из этих задетых интересов не входит в сферу тех забот, которые, по мнению писателей по государственному и международному праву, вроде Цорна, не допускают улаживания путем переговоров и международных соглашений. Не ставилось вопроса ни о существовании, ни о чести ни одного из государств, вошедших в роковую для их судеб свалку. Франция, со времени начатия войны, имела возможность убедиться, что сорокалетний разрыв охладил отношение к ней, если не городского, то сельского населения Эльзаса, населения немецкого происхождения, экономические интересы которого, к тому же, успели настолько слиться с интересами Германской империи, что новые перемены в его полити-

* Der Weltwirtschaftskrieg, вступление, стр. 3. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

ческой судьбе отразились бы, по всей вероятности, временным расстройством его экономического благополучия. В рядах германской армии сражаются эльзасские крестьяне с неменьшей дисциплиной и столь же строгим исполнением долга, что и крестьяне Пруссии, Саксонии и Баварии. Участие, принятое Германией в подъеме материального благосостояния Эльзаса, значительные пожертвования, понесенные ею для подъема народного образования светской школы — низшей, средней и высшей — в связи с распространением на Эльзас той автономии, которой пользуются отдельные государства, входящие в состав империи, — все это вместе взятое объясняет нам причину, по которой Франции придется, по окончании настоящей войны, придти к сознанию, что прошлого не вернешь и что новые пожертвования людьми и имуществом едва ли отвечали реальному запросу эльзасского населения воссоединить свои судьбы с судьбами французского народа. По всей вероятности, и для нашего отечества готовится в близком будущем горестное сознание, что освобожденные им народы Балкан намерены развивать свою государственность независимо от его руководительства. Я был в числе тех, которые приветствовали возникновение Балканского союза. Но это детище русской дипломатии проявило ту же слабую жизнеспособность, что и созданная австрийской — Албания. Нежелание признать автономии за Македонией бросило яблоко раздора между бывшими союзниками; возгорелась вторая Балканская война. Русская политика ничего не сделала для того, чтобы помешать вторжению румын в пределы со всех сторон теснимой врагами Болгарии; она признала такой факт для себя безразличным, и в настоящее время едва ли имеет достаточное основание надеяться, что Болгария по ее указке нарушит свой нейтралитет в пользу своего счастливого соперника, рискуя собственным существованием. Двухвековая политика, направленная к освобождению христианских православных и отчасти единокровных нам народностей, послужила на пользу Австрии и ее союзницы Германии, но не доставила нам пока ни серьезных рынков для сбыта наших товаров, ни доступа к южному морю, ни военной поддержки в моменты опасности. Время для вмешательства в балканские дела нами упущено. Мы сохраняли наш нейтралитет по отношению к Австрии и Турции и тогда, когда Австрия присоединяла к себе населенные сербами земли, и тогда, когда Турция, поддерживаемая великими державами, отвоевывала обратно Адрианополь; и те же великие державы, при нашем внутреннем согласии, отказывали сербам и черногорцам: первым — в доступе к морю, вторым — в расширении границ в сторону Скутари, в интересах призываемой к политическому существованию, но не жизнеспособной, Албании.

Из трех главных участников войны Англия, по-видимому, сражается более других из-за реальных выгод. Она видит в войне восполнение той системы, недопускающей разбора в средствах конкуренции, которой она со времени революционных войн и, можно сказать, еще ранее, со времени успешных столкновений с монархией Людовика XIV[21] и Людовика XV[22], имела создать свое влады-

чество над морями, свою национальную империю и свое преобладание в мировой торговле. Все те, кто ранее ее стремился к той же цели, начиная с Испании и Португалии, переходя к Голландии и Франции, принуждены были разделить свое владычество над мировой торговлей с странами, промышленный рост которых требовал выхода к международным рынкам. Этот урок истории, по-видимому, не принимается Англией в расчет. Она считает возможным воспользоваться счастливой в ее глазах комбинацией одновременного нападения на Германскую империю с востока и запада для того, чтобы, вмешавшись в войну, добиться выгодного для себя поворота в области мировой торговли. Некоторые немецкие экономисты, авторы недавно обнародованных брошюр, справедливо указывают на то, что Германия явилась с начала текущего столетия победоносной соперницей Англии столько же в сфере промышленности, сколько и обмена. Если не принимать в расчет вывоз Англией каменного угля, который, в конце концов, ведет к изнурению ее природных богатств, то сумма ее торговых оборотов значительно в меньшей степени превзойдет сумму тех, какие ежегодно производит Германия. Совершенно прав, по-моему, Артур Дикс, когда говорит, что война началась в такой момент, когда Германия не только приблизилась к Великобритании своим положением в мировом хозяйстве, но почти стала ее превосходить. Это всего яснее выступает в том, что за целый ряд лет в области сельского производства Германия превосходит Англию. Оно процветает в Германии и находится в сильном упадке в Англии. Но и в сфере промышленности Германия, чего все еще не замечают, стоит впереди Англии. Число лиц, принимающих участие в горном деле, больше того, какое насчитывает Великобритания. Интенсивность труда немецкого рабочего превосходит ту, какую обнаруживает англичанин. Общий оборот английской торговли представляет, правда, большую цифру, чем оборот немецкий, но если мы рассмотрим отдельные составные части этой цифры, то окажется нечто другое. В год вступления на престол императора Вильгельма II участие Англии в мировой торговле выражалось цифрой, в два раза превосходящей ежегодный оборот Германии. В настоящее время, если Англия и имеет некоторый перевес, то исключительно суммой своего ввоза. Но что же это означает, как не то, что Англия, благодаря упадку своего сельского хозяйства, особенно нуждается в питательных продуктах, которые и получает из-за границы. Немецкий же вывоз почти уравнялся с английским. Свое положение мирового торговца Англия занимает в значительной степени потому, что играет роль посредника перепродажей чужого товара на континенте, немецкая же вывозная торговля, в пример английской, бельгийской и голландской, занимается отпуском страной производимого товара*. И вот, чтобы изменить отношение

* Der Weltwirtschaftskrieg. Von Arthur Dix, стр. 26. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

торгового обмена в свою пользу, Англия, якобы, и предприняла войну, успех которой обещал ей участие одновременно России и Франции. Война эта, по мнению англичан, своим характером напоминает ту, которую Англия вела с Францией во времена Наполеона. Континентальная система, им задуманная, была направлена к тому, чтобы положить конец опеке, осуществляемой Англией над мировой торговлей. Когда оказалось, что интерес России препятствует ей строго соблюдать эту систему, Наполеон предпринял поход на Москву, заставляя участвовать в нем своих вынужденных союзников. Кто изучал историю, тому должно быть ясно, что смысл наполеоновской политики лежал в борьбе с неограниченным господством Англии на морях, пишет Георг Ирмер; отсюда его поход в Сирию и Египет с надеждой, в случае удачи, двинуться на Индию. Еще будучи первым консулом, он писал персидскому шаху, что имеет в виду борьбу с торговцами на Темзе. Из того же источника вытекли его войны в Испании, ставившие себе задачей отнять у англичан ключ к Средиземному морю — Гибралтар. Отсюда же, наконец, его война с Россией, с целью окружить Англию кольцом континентальной системы... До последнего вздоха, в одиночестве своего заточения на острове св[ятой] Елены, он с особой любовью останавливался на планах низвержения мирового господства англичан. Если верить тем, кто окружал его в последние минуты, то и на смертном одре он строил еще фантастические планы высадки на английский берег. Раньше и лучше других он понял всю тяжесть тех цепей, которые Англия налагает на весь мир, и в интересах всей Европы старался разорвать их*. Нашей нации, продолжает Ирмер, предстоит осуществить великую задачу — сосчитаться с Англией, этим виновником и режиссером мировой войны. Ужасная ответственность за нее падает, в конце концов, на Англию. Куда бы мы ни направили наш руль, мы на всех поворотных путях в море находим Англию с ее заставами на всех сколько-нибудь стратегических пунктах. Они созданы для того, чтобы контролировать мировое производство и мировой обмен и направлять их в желательном для Англии смысле. В Ла-Манше и Гибралтаре, в Мальте и Кипре, в Суэце, Адене и Коломбо, в Сингапуре и Гонконге, в Занзибаре и Китовой бухте, в Ямайке, в Капштате и Сиднее плаванию судов всего мира грозят английские пушки. Можно ли придумать что-либо более тягостное, более унизительное и невыносимое для народов, ведущих морскую торговлю и, прежде всего, для нашей прогрессирующей империи с ее взглядом, устремленном на мировые моря. Автор вспоминает слова, сказанные лордом Пальмерстоном: «Немцы могут спокойно обрабатывать свою землю и плавать в облаках, но для мореплавания у них не хватает гения». Со времени Фридриха Листа[23] мы пришли, пишет он, к сознанию, что навсегда останемся пасынками, пока не будем

* Georg Irmer. «Los vom englischer Weltjoch», стр. 5—6. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

иметь также доступа к морскому обмену. Вспоминая о величии морских предприятий Бремена и Гамбурга, автор видит в современном стремлении Германии к мировым торговым оборотам возрождение старой германской удали и напоминает англичанам о том времени, когда немецкая Ганза, имея свои склады и конторы в самом Лондоне, владычествовала над английской торговлей задолго до того момента, когда сами англичане задались мыслью о мировой торговле и мировой политике. Указав мимоходом на то, что королева Виктория, в отличие от своего преемника, не преследовала никаких враждебных замыслов по отношению к объединенной Германии, Ирмер считает действительным виновником поворота, сказавшегося в английской политике, Эдуарда VII, действительного выразителя, по его словам, империалистской идеи. Он обвиняет его в противодействии германскому, — вполне мирному — предприятию постройки Багдадской дороги. В этом сказалась вся безразборчивость в средствах, на какую способна национальная зависть, направленная на то, чтобы явно или тайно препятствовать справедливому желанию немцев создать почву для своей хозяйственной деятельности, свободной от английской опеки. Этим же желанием парализовать развивающуюся немецкую торговлю автор объясняет и сближение Англии с Россией, с Россией, ослабленной, при коварном участии Англии, японской войной, и потому сделавшейся безопасной в глазах Англии. Опираясь на нее, Эдуард VII надеялся достигнуть исключения Германии из числа народов, делящих между собой заморские континенты. Заговор против Германии в настоящее время проведен в полной мере, в той Einkreisungspolitik*, которая, как железными кольцами, окружила Германию с востока, юга и запада. Эдуард VII нашел союзника в английской печати и, прежде всего, в наиболее влиятельном ее органе, в «Таймсе». Справедливо немецкий государственный секретарь по внешним сношениям фон Рихтогофен[24] еще летом 1902 г., говоря с представителем этой газеты, сказал: «Никто больше не заразил общественного мнения Англии, как Ваш орган». Эдуарду VII удалось, благодаря его частым поездкам в Париж, завоевать политических деятелей Франции и во главе их Делькассе в пользу союза против Германии перспективой возмездия за утрату Эльзаса и Лотарингии. Чтобы обеспечить себе ее поддержку, Англия дала свое согласие на военное занятие Францией Марокко. И Италию надеялись склонить на сторону Тройственного Согласия, не только допустив ее к занятию Триполиса, но и обещанием отобрать в ее пользу у Австрии Тридент и Триест. Переходя к недавним событиям, автор обвиняет Грея в том, что он напустил на себя личину беспристрастия и заботы о мире при первых переговорах, вызванных объявлением Австрией войны сербам. В действительности же Англия только осуществляла замысел Эдуарда VII, подготовляя мировую войну, чтобы сломить своего со-

* Политика изоляции (*нем.*).

перника в мировой торговле. Она пошла на эту «Business war» (войну деловую с расчетом на наживу) с тем же легкомыслием, с каким годами ранее Сесилль Род*/25 вызвал войну против буров. Самый способ ведения этой войны англичанами, — доказывают авторы других, одновременно появившихся брошюр и между ними анонимный купец из Гамбурга, подписывающийся полным именем Артур Дикс, — таков, что не оставляет сомнения в желании англичан не столько померяться своим флотом с немцами, сколько ослабить и по возможности убить немецкую торговлю на морях. Не истребить немецкий флот, а уничтожить немецкую торговлю и нанести урон хозяйству страны, — вот к чему сводятся, по мнению Артура Дикса, принимаемые Англией мероприятия. Этим объясняется ее посягательство, с самого открытия военных действий, на частную собственность. Оно оказалось очень наглядно в отказе признавать дальнейшую силу за патентами на изобретения, выданные германским подданным. А что это, как не простое воровство умственной собственности. То же положение доказывает изданный еще 5-го августа королевский указ, которым запрещалось ведение каких-либо деловых отношений между Англией и Германией. Вслед за тем Палате Общин предложен был законопроект, вводящий тюремное наказание для всякого, кто вздумает продолжать торговые сношения с подданными воюющих с Англией держав. Английские предприниматели освобождены от обязанности исполнять договоры, заключенные ими с немецкими приказчиками. Англичане позволили себе захватывать почтовую корреспонденцию, перевозимую на судах нейтральных стран, раз местом ее назначения были воюющие с Англией государства. Немецкие предприятия в Лондоне получили английскую администрацию. Они запретили всякий торговый обмен Англии с Германией даже через посредство нейтральных стран.

Я не стану исчерпывать всего списка тех посягательств на права морской войны, в которых справедливо обвиняют Англию немецкие публицисты, и легко могу понять то негодование и ту жажду возмездия, какую возбуждают у воюющих с Англией стран такое отступление от принципов, более или менее признанных всеми культурными народами. Немцы вправе напомнить слова императора Вильгельма I в прокламации, изданной им 11-го августа 1870 г., слова, гласившие, что Германия ведет войну с враждебными армиями, а не с подданными воюющих с ней держав**. Но я в то же время не могу подписаться под словами анонимного гамбургского купца, настаивающего на том, чтобы Германия ответила на эти мероприятия однохарактерными мерами, так как победа германцев может быть обеспечена только под этим условием***.

---

* Так в тексте. Следует: Родс.

** См.: Der Weltwirtschaftskrieg. Arthur Dix, стр. 15 и илл. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Der englische Seeräuber und sein Handelskrieg, стр. 8 и 9. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

III.

Отвечает ли действительности такое положение хода событий, поведших к настоящей войне[?] Можно ли утверждать, что Англия не сознательно и в течение ряда лет озабочена была мыслью о том, чтобы окружить Германию и Австрию врагами, что этим вызван был тайный договор ее с Бельгией, соглашавшейся нарушить свой нейтралитет в ее пользу, что вся политика Эдуарда VII сводилась к тому, чтобы уничтожить торговое и морское соперничество немцев с помощью столь неожиданных и не отвечающих прошлому союзов, как союз с Россией, под условием поддержания ее действительных или мнимых притязаний на Константинополь и на гегемонию над балканскими народностями[?] Кое-что из этих обвинений, по-видимому, отвечает убеждению, сложившемуся задолго до войны и не у одних только народов, входящих в состав Тройственного Союза, но и у тех, которые принадлежат к Тройственному Соглашению. Передо мной лежат мемуары известного редактора «Голуа» — Артура Мейера, под заглавием: «Что мои глаза видели». Эта книга появилась в печати за несколько месяцев до войны. На странице 115-ой автор пишет: «Судьба открывала республиканцам возможность сделаться деятельными служителями национальной идеи. Англия заключила с нами дружественное согласие. Английская политика неизменна, и это одно из условий ее силы. Англия подавила всякую силу, способную отвоевать у нее владычество над морями или грозившую расширению ее колониальных владений. Англия последовательно уничтожила флоты Испании, Голландии и Франции. Еще недавно она возложила на Японию миссию уничтожить флот наших союзников — русских. Германия, осмелившаяся создать в укор Англии свой флот и дать широкое развитие своим торговым оборотам, необходимо должна была встретить вооруженного противника в лице английского народа и его короля. Мы все знаем, а многие даже встречали в Париже принца Уэльского, впоследствии ставшего королем Эдуардом. Это был обычный посетитель нашей столицы. Он несомненно любил Францию, но любовью доброго англичанина. Он знал, в чем состоят наши счеты с Германией и наши надежды. Он желал воспользоваться ими для служения собственным целям. С целым светом заодно мы знали эти намерения. Известно было также, что министр иностранных дел Делькассе был самым решительным сторонником такой политики, политики несомненно воинствующей... Когда Эдуард, недостаточно осведомленный о действительном состоянии нашей армии, признал наступившим момент набросить наши соединенные силы на Германию, Франции принуждена была сознаться, что она не готова к войне. Громовой удар, раздавшийся в Танжере (намек на вмешательство германского императора в марокккские дела. — *М.К.*) и оскорбительная для чести Франции отставка Делькассе, — вот к чему свелись 30-летняя политика республики... и наши патриотические пожертвования».

Артур Мейер не скрывает своей враждебности к порядкам, установившимся во Франции с момента падения империи, как и своих симпатий к националистам, мечтающим о возвращении Франции войной отнятых у нее Эльзаса и Лотарингии. Как редактор одной из влиятельных газет Парижа и как человек, принадлежащий к кругу лиц, имевших доступ к принцу Уэльскому, его сообщения заслуживают внимания, но они не могут считаться откровением для кого бы то ни было. Всем хорошо было известно, что письмо императора Вильгельма бывшему президенту Трансвааля Крюгеру принято было в Англии за обиду, что отношения между дядей и племянником обострились. Последовало, правда, примирение после свидания в Вильгельмсгойе, продолжавшееся всего несколько часов, так что король Эдуард в тот же день прибыл в Мариенбад. Я был на вокзале в момент его приезда и помню ту холодную встречу, какая ему была оказана. Если не ошибаюсь, в том же году последовало свидание Эдуарда VII с Извольским, лечившимся в то время в Карлсбаде, и также свидание его с Клемансо[26]; оба происходили в бытность мою в Мариенбаде на некотором расстоянии от города в своего рода клубе, отведенном для игры в мяч. Что происходило на этих свиданиях, разумеется, составляет тайну их участников. Но и тогда уже говорили о том, что разговоры не были чужды политики и, в частности, вопроса об отношении Англии, Франции и России к Германии. Ни для кого также не составляет тайны, что отставка Делькассе последовала ввиду недовольства берлинского двора воинственным настроением министра и что это же недовольство было причиной, мешавшей Делькассе вернуться на пост министра иностранных дел в последующие годы. Для Германии, конечно, и ранее возбуждение марокканского вопроса не могло быть тайной, что Англия готова поддерживать Францию, по меньшей мере, в ее колониальной политике и не откажет ей в ее стремлении сохранить мир с империей. Но как мало эти отношения походят на заговор, можно судить по тому, что между Англией и Францией едва не возник разрыв из-за известного занятия Марешалем*/27 Фачоды. Я опять-таки был в Париже в момент, когда пришло о том известие. Националистические газеты били тревогу и сообщали даже фальшивые сведения, что английский флот грозит Ницце (?). Дело, к счастью, было улажено, и с этого момента началось более дружественное отношение между обеими странами, поведшее к соглашению. Об этом, разумеется, немецкая дипломатия была осведомлена не хуже другой, да и все переговоры велись более или менее открыто и разглашались печатью во все концы мира. Сближение это было, по меньшей мере, столь же громко заявлено, как и союз Франции с Россией. Прибытие русского флота в Тулон с адмиралом Авелланом**/28 во главе, прием им оказанный, сердечность, с

* Так в тексте. Следует: Маршан, Фашоды.
** Так в тексте. Следует: Авелон.

ликой встречена была русская императорская семья при посещении ее Парижа, а годы спустя, после прибытия в Компьен на маневры, гласно обсуждались в печати всего мира, не меньше встречи германского императора с русским на финляндских шхерах, или приезда государя в окрестность Гамбурга для ответного визита. Обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось быть и в Париже, во время проезда царской семьи, и в Гамбурге, в дни пребывания ее в окрестностях этого города. Ни для кого не было тайной, что так называемый «Альянс» преследует не воинственные, а мирные цели. Это создавало даже некоторое недовольство им в лагере французских националистов. Такое недовольство явно выступает и в мемуарах Артура Мейера. Сообщив о празднествах, устроенных по случаю прибытия русской эскадры в Тулон и посещения Парижа русским императором и его супругой, Ар[тур] Мейер говорит: «Мы были заколдованы, но наши радужные надежды не получили завершения. В конвенции, заключенной Россией с Францией, мы видели вступление к союзу. Союз был заключен. Но то, что мы ожидали от него, остается, увы, предметом наших ожиданий и по настоящий день. Статуя Страсбурга на площади Согласия по-прежнему покрыта черным крепом и Деруледо самой смерти производил ежегодно свое горестное паломничество на площадь Согласия. Можно ли, — спрашивает себя Мейер, — обвинять Россию в нашем горьком разочаровании. Приняла ли она формальные обязательства. Поставили ли мы ей определенные условия. Что значилось в конвенции? Что выговорено было договором? Когда мы ссужали Россию нашими миллиардами, потребовали ли мы в замен известных для себя выгод? Люди, хорошо осведомленные, утверждали в разговоре со мной, что конвенция, как и договор о союзе, хранили молчание по вопросу, особенно близкому нашему сердцу. Россия, — лучшая из наших должников, — защищала свои интересы, обделывала свои дела, оставляя республике заботу о делах Франции»*.

За последние годы участившиеся визиты французских и английских парламентариев в Россию, дважды повторявшийся приезд Пуанкаре[29], присутствие на маневрах генерала Жоффра[30], посещение Кронштадта и Петербурга английской эскадрой ни разу не подали повода к каким-либо воинственным манифестациям против Германии или Австрии. Наоборот, каждый раз, когда оратором приходилось говорить о Тройственном Соглашении, подчеркивалось, что его задачей является охранение мирного равновесия в Европе. А между тем, правительственным кругам, вероятно, было небезызвестно, что соглашение Австрии с Германией носило далеко не мирный характер, что оно принято было против России и выговаривало союзное выступление войска обеих сторон не только в том случае, когда Россия пожелает воевать с одной из них, но и

* Ce que mes yeux ont vus. Стр. 113—114. Артур Мейер. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

тогда, когда мир будет нарушен одним из ее союзников. Передо мной текст этого соглашения, считавшегося секретным. Он отпечатан в сочинении Сосновского: «Балканская политика Австро-Венгрии с 1866 г.». Я приведу его в возможно близком к тексту переводе. Статья 1-ая: «Если бы вопреки ожиданиям и искреннему желанию обоих контрагентов, одна из двух империй подверглась нападению России, то оба высоких контрагента должны помогать друг другу со всеми военными силами обеих империй и соответственно заключить мир сообща и при полном их согласии» (gemeinsam übereinstimment). Подчеркиваю эти последние слова. Читая их, удивляешься, как могло решение, принятое недавно тремя державами — Россией, Францией и Англией[31] — и подписанное в Лондоне Греем, Бекендорфом[32] и французским уполномоченным соглашение не заключать сепаратного мира, вызвать то раздражение воюющих с нами стран, так выпукло переданное берлинской и венской печатью. Разве это не было прямым ответом на сделавшийся известным текст тайного договора Германии с Австрией, заключенного еще 7-го ноября 1879 года Бисмарком и с тех пор неизменно возобновляемого.

2-ая статья того же договора гласит следующее. «Если бы один из высоких контрагентов подвергся нападению со стороны посторонней державы, то другой высокий контрагент не только не должен поддерживать нападающего, но обязан еще, по меньшей мере, сохранить благоприятный нейтралитет к своему союзнику. *Однако, в том случае, если бы нападающая держава была поддерживаема Россией в форме ли активной кооперации с ней, в форме ли военных мероприятий, угрожающих тому, на кого сделано нападение, то вступает тотчас же в силу выраженное в статье 1-ой этого договора обязательство взаимной помощи со всеми военными силами, и в таком случае война должна вестись обоими контрагентами совместно до совместного же заключенного ими мира*»*. Статья 3-я объявляет, что ввиду мирного характера (?) этого соглашения и из желания избежать всякого неправильного истолкования, договор должен быть сохраняем обоими контрагентами в тайне и содержание его может быть сообщено третьей державе только с согласия обоих контрагентов**. Сила этого договора не была ослаблена состоявшимся в 1887 г. соглашением Германии с Россией, также хранимом в тайне. Этим соглашением Германия обязывалась только сохранить нейтралитет в случае, если бы нападение на ее союзницу сделано было со стороны Австрии***. Германия, объявляя войну России, действовала поэтому в полном соответствии с обязательствами, принятыми ею в 1879 году. Правда, самые взгляды Германии на задачи ее политики на Ближнем Востоке радикально изменились со времен Бисмарка. Он не видел причин противиться

---

* Выделено в оригинале.

** Die Balkanpolitik Österreich-ungarn seit 1866. Von Theodor von Sosnovsky, стр. 53, 54. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Ibid., стр. 93—96. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

стремлению, отвечавшему нуждам нашей родины, стремлению к открытому морю, к свободе прохода русского моря* через Дарданеллы. Он считал также немыслимым в интересах самой Германии образование на ее границах самостоятельной католической державы, какой была бы восстановленная Польша и указывал на то, что вероятное ее, в таком случае, соглашение с Францией сделалось бы новой угрозой для мира. Заявления Бисмарка настолько противоречат тому курсу, какой приняла немецкая дипломатия на Балканах, что я считаю не лишним привести их в подлиннике. Кристи[13] сообщает в своих мемуарах, что в момент начатия им переговоров о присоединении Италии к союзу обеих империй Центральной Европы, он слышал из уст «железного канцлера» поразившее его заявление: «России не следует ставить препятствий в балканской политике, так как обладание Константинополем только ослабит ее»**. Сам Бисмарк пишет в своих мыслях и воспоминаниях следующее: «Я полагаю, что для Германии полезнее, чтобы русские тем или иным путем, путем ли физической силы, или путем дипломатии упрочились в Константинополе и попали бы в необходимость его защищать. В таком случае мы не поставлены были бы в положение дразнящей собаки, в каком не прочь видеть нас Англия и Австрия в отношении к русскому тяготению к Босфору и могли бы спокойно ждать того момента, когда Россия вздумала бы напасть на Австрию и тем создать casus bellai***... Да и для австрийской политики было бы правильнее не подчиняться влиянию венгерского шовинизма до тех пор, пока Россия не займет поста на Босфоре и тем самым усилит свои трения с средиземноморскими державами — с Англией, Италией и Францией. Тогда бы она испытала необходимость сойтись с Австрией à l'amiable****. Будь я австрийский министр, я бы не помешал русским пойти на Константинополь и стал бы добиваться соглашения с ними, после того, как ими сделаны шаги в том же направлении. Участие Австрии в разделе турецкого наследства, ведь, может воспоследовать только с согласия ее с Россией, и часть, которая придется на долю Австрии, будет тем больше, чем долее сумеют ждать в Вене и поощрять русскую политику к занятию передового положения в балканском вопросе»*****. Из мемуаров Кристи мы узнаем и то, как Бисмарк смотрел на проект восстановления Польши. «Если бы, — сказал он, — в Польше началось движение и Россия поддержала его, мы должны были бы этому воспротивиться. На нашей границе мы не можем терпеть восстановления католической державы. Это было бы равносильно созданию Франции на севере. Ныне мы имеем одну Францию, тогда имели бы их две, которые естествен-

---

* Так в тексте.

** [Кристи]. Мемуары, немецкий перевод, стр. 23. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Повод для развязывания войны (*лат.*).

**** Дружественный союз (*франц.*).

***** [Бисмарк]. Т. II, стр. 253. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

но сделались бы союзниками, а мы попали бы в положение между двух огней. Да и по другим причинам восстание поляков могло бы нам повредить. Оно бы неизбежно повлекло за собой потерю части наших владений. Мы не можем в настоящее время отказаться от Позена или Данцига. Это открыло бы империю со стороны русской границы и заставило бы нас потерять устье вливающихся в Балтику рек». Правда, впоследствии тот же Бисмарк говорил Кристи о возможности образовать из Польши самостоятельное государство под властью австрийского эрцгерцога, но германская политика до последнего времени оставалась верной той точке зрения, какая была выражена Бисмарком в вышеприведенной мной цитате. И мы, русские, и поляки, заседавшие в I Думе, а впоследствии и в Государственном Совете, постоянно принимали это в расчет, уверенные в том, что защита нами автономии Царства Польского и даже более скромных уступок, сделанных в пользу поляков, вызовет решительный отпор в Германии и в германском влиянии при нашем дворе. Эту самую мысль еще недавно высказывал Шебеко[34] при обсуждении вопроса о том, следует ли допустить употребление польской речи на заседаниях городских дум Царства Польского. «Мне прискорбно, — сказал он, — что принимаемое у нас решение, горестно отзываясь в душе поляков, вызывает радость в Берлине».

И вот, оказывается, что в отношении как Турции, так и Польши, германская империя совершенно изменила свой курс. Она дает первой гарантию ее целости и желает, будто бы, содействовать возрождению последней. Немецкие газеты полны сообщения о том, что Турция стала союзником Германии и Австрии, и что одним из последствий войны будет восстановление польской независимости. Спросим себя, какие причины могли вызвать такой переворот в немецкой политике и, прежде всего, остановимся на вопросе, что побуждает Германию и Австрию высказываться за сохранение турецкого владычества над мусульманским миром. Во время балканских войн Германия действовала сперва заодно с Францией, проводя принцип сохранения status quo, а затем разошлась с предложением незаинтересованности великих держав, сделанным от имени Франции Делькассе, и заодно с Австрией озаботилась созданием Албанского княжества и отрезыванием сербов от моря. После второй Балканской войны, Болгария, обобранная Сербией и Румынией, в такой же мере подпала под влияние Австрии, в какой Румыния освободилась, по-видимому, только временно от этого влияния. Австрия с тех пор заодно с Германией обнаруживала стремление к созданию нового балканского союза, в состав которого вошла бы и Турция, за исключением Сербии. Турция особенно стала предметом забот обеих центральных империй и при почти явном нажиме их дипломатии, поддержанная на этот раз и Францией, вернула себе Адрианополь. После войны влияние держав Тройственного Согласия на Турцию уступило место немецко-австрийскому. И хотя во главе флота в Константинополе все еще оставался английский руководитель, но заведование охраной Константинополя перешло в руки немецкого генерала Лимана

фон-Сандерса[35]. Когда Россией поставлен был вопрос о защите армянского населения в Малой Азии от повторяющихся курдских погромов, предложение объединить эти вилайеты со смешанным населением из христиан и магометан под властью одного губернатора-христианина встретило противодействие не в одной Турции, но и в дружественно относящихся к ней империях. Великие державы сошлись, в конце концов, на том, чтоб, взамен одного европейского губернатора, поставить двух: одного взяли из Голландии, другого из Норвегии. Богос-Нубарь-паша*/[36] — представитель армянской церкви при проезде своем в Петербурге рассказывал всем заинтересованным в армянском вопросе, каких усилий и каких затрат потребовало такое согласительное решение, на мой взгляд, мало обеспечивавшее мирное сожитие мусульман с христианами в примыкающих к России турецких вилайетах Малой Азии. Причина, по которой Германия так ревниво охраняла Турцию от попытки создания единого генерал-губернаторства из всех населенных армянами вилайетов, лежала в нескрываемом недоверии к России, которой приписывали завоевательные замыслы. Немецкая печать всячески доказывала, что проведение Багдадской дороги было бы затруднено в том случае, если бы высокое армянское плато, господствующее над теми провинциями Малой Азии, через которые должна была проходить эта дорога, вошла бы в сферу влияния русского царства. Германская политика считалась с тем фактом, что враждебность, вызванная в армянском населении Кавказа в годы, когда над ними командовал князь Голицын[37], сменилась обратным отношением, особенно после кончины Столыпина и благодаря счастливой инициативе нынешнего наместника князя Воронцова-Дашкова[38]. Во всеподданнейшем докладе, представленном им государю-императору в прошлом году, как указано было мной в статье «Об армянском вопросе»**, напечатанной прошлой зимой в «Вестнике Европы», откровенно указаны были ошибки, сделанные русской администрацией на Кавказе и весьма выпукло изображены счастливые последствия поворота в нашей политике по отношению к туземному населению Наместничества и, в частности, к армянам. Со времени возвращения им церковных земель, взятых одно время в управление русской администрацией, вернулись к нам и симпатии народа, немало содействовавшего нашим военным успехам в русско-турецкой войне. Эти симпатии приобретены были нами по обе стороны границы, столь же в турецких вилайетах, сколь и в Закавказье. Как мало действительны были меры, принятые, главным образом, по настоянию Германии, к охране христианского населения в турецких вилайетах, об этом можно судить по тому, что Турция воспользовалась происходящей ныне войной для того, чтобы освободить себя не только от капи-

* Так в тексте. Следует: Богор-Нубар-паша.

** Ковалевский М.М. Армянский вопрос // Вестник Европы. 1912. № 12.

туляции, но и от обязательства держать навязанных ей Европой губернаторов. В брошюре, отпечатанной Гуго Гроте, под заглавием: «Германия, Турция и Ислам» и появившейся ранее открытого присоединения Османской империи к числу военных союзников Германии и Австрии, очень обстоятельно изложена история всего сближения Германии с Турцией, начиная еще с 1889 г. и посещение султана недавно восшедшим на престол императором Вильгельмом. Это сближение было поддержано поведением Германии на Берлинском конгрессе, где «честный маклер», каким называл себя Бисмарк, поддерживал скорее интересы Турции и Австрии, чем России. Гроте показывает, как и торговые операции в Турции стали быстро возрастать с момента этого начавшегося сближения. «Посещение германским императором столицы Турции, — говорит Гроте, — имело практические последствия. Оно совпало во времени с помещением немецкого капитала в турецкие железные дороги. В 1888 г. Немецкий банк получил концессию на постройку железных дорог в Анатолии, дорог, положивших начало тому пути, который должен со временем соединить Европу с Багдадом. Рост торговых оборотов Германии с Турцией начался именно в это время. Они представляли пока еще очень скромную сумму сравнительно с оборотами Англии и Франции в 1889 г. и настолько развились, что «Фигаро», говоря о новой поездке императора в пределы Турецкой империи и, в частности, в Палестину, не без зависти заявлял в 1898 г., что германский император — самый подвижный и самый ловкий коммивояжер для великой фирмы Германии. Одним из последствий сближения было и приглашение нынешнего фельдмаршала Фондергольца к обучению турецких войск. Поставленное на европейскую ногу это войско уже весной 1897 г. свидетельствовало о своей высокой боевой способности разгромом греков в необдуманно начатой последними войне. У гроба Саладина император Вильгельм в 1898 г. заявил перед лицом мусульман, что триста миллионов последних, рассеяных по всему миру, могут быть уверены в том, что германский император всегда будет их другом. Гроте приводит некоторые статистические данные в подтверждение той мысли, что эти дружественные заявления нашли счастливое отражение и в непрекращающейся затрате немецкого капитала в пределах Турции и в развитии немецкого мореходства в ту же страну, и в увеличении немецкого вывоза на Ближний Восток. Вот некоторые данные, заимствованные мной из его книжки. В 1889 г., т.е. в год первого путешествия императора, положено основание правильному немецкому судоходству в направлении к востоку созданием немецкого Ливанского рейса в Гамбурге. До 1877 г. вывоз из Гамбурга и Бремена в Турцию был настолько незначителен, что о нем вовсе не упоминалось в годовых отчетах. Позднее стали обозначать по той же причине один только вес вывозимого товара. Но уже в годы 1888—1898 Турция одного только оружия и аммуниции получила из Германии на сумму 70 млн марок, тогда как в 1888 г. вывоз германских товаров в Турцию не превышал 11 3/4 млн, а ввоз доходил всего до 2 1/4 млн 10 лет спус-

ти цифры ввоза и вывоза были следующие: вывоза — 37 млн марок, ввоз — 29 1/2 млн марок; наконец, 15 лет спустя, т.е. в 1913 г., все торговые обороты Германии с Турцией достигали суммы от 200 млн марок до 250. Немецкие капиталы, вложенные в турецкие предприятия в эпоху Берлинского конгресса не превышали 40—50 млн марок, в 1898 году они равнялись уже 225 млн марок, а в 1913 г., по оценке директора Немецкого банка в Турции Гельферина, Германия в одних железнодорожных предприятиях Турции и турецких кредитных бумагах поместила не менее 500 млн марок. Гроте считает, что в общем Германией в Турции затрачено своих капиталов около миллиарда марок. Одних железных дорог построено ею 1857 километров; из них всего 825 так называемой Багдадской дороги, далеко еще не доведенной до конца, и 1032 километра — Анатолийских дорог. Переходя к оценке услуг, оказанных Германией Турции, Гроте говорит о том, что в 1900 г. Германия воспротивилась проектам Англии и Франции воспользоваться произошедшими в Турции погромами армян для отнятия у нее части ее территории; под этим он разумеет, очевидно, неготовность Германии поддержать Францию и Англию в попытках установить административный контроль за турецкой администрацией в вилайетах со смешанным населением. В 1905 г. император Вильгельм вмешательством в марокканские дела также представил туркам серьезное доказательство своей заботливости об интересах ислама. Известно, что за все эти годы не было при дворе султана Абдул Гамида*/39 более влиятельного иноземного посла, как Маршалл фон Биберштейн[40], представитель Немецкой империи.

Но германское влияние внезапно пало с момента революции 24 июля 1908 г., сделанной при несомненной поддержке Франции и Англии. Но новый поворот в пользу Германии и Австрии явно сказался со времени Балканских войн. Германской политике надо приписать, — думает автор, — невмешательство России в эту распрю. Немецкий посол фон Вангенгейм[41] своим категорическим заявлением помешал, якобы, разделу Азиатской Турции, начало которому положил бы захват Россией армянских вилайетов, после чего Франция предъявила бы притязания на Сирию, а Англия — на Месопотамию. Автор настаивает далее на том, что недовольство, выраженное Россией, по случаю миссии, возложенной на Лимана Сандерса, раскрыло окончательно глаза Турции на то, откуда грозит ей опасность и какое значение имеет ее сближение с Германией. Автор полагает, что с начала военных действий Турция получила со стороны Германии большую поддержку уступкой ей двух немецких судов «Гебена» и «Бреслау» с немецким экипажем и матросами. Они особенно были желательны для империи Османлисов ввиду захвата Англией строившихся на ее верфях дредноутов. Обсуждая, какие цели может преследовать деятельное участие Турции в настоящую войну, автор удачно предсказывает,

* Абдул Гамид — устаревшее. Современная транскрипция — Абдул-Хамид.

что ее напор направлен будет одновременно на Закавказье и Египет. Послать войско из Акабы через Синайский полуостров в Египет он не считает невозможным, и его оценка нашла блестящее подтверждение в недавно развернувшихся событиях. Разрушение Суэцкого канала, которым Англия сообщается с Индией и Восточной Азией, было бы, — говорит автор, — глубоким разрезом жизненного нерва заморской силы Великобритании. Он пророчит также, что Турция не ограничится одним закрытием Дарданелл для России, но станет поддерживать болгар и румын против возможности нападения на них со стороны как Греции, так и нашего отечества. Он пророчит объявление священной войны, или джигада, на который отзовется поднятием знамени пророка и Персия, и Афганистан*.

Всегда ли Германия ставила себе задачей сохранение неприкосновенным территориального состава Турции. Заявление императора Вильгельма, по-видимому, решает вопрос в утвердительном смысле. Немцы настаивают на том, что не далее, как в 1913 г. их резкий отпор России помешал нашему отечеству занять вилайеты Малой Азии с смешанным мусульманским и армянским населением. А между тем, по признанию, делаемому Павлом Рорбахом[42] в только что появившейся брошюре, озаглавленной: «Zum Weltvolk hindurch», Германия становится из национального государства всесветным. Не далее, как за несколько недель до войны подписан был обоими кабинетами, английским и немецким, проект раздела сфер влияния в Турции. «Теперь, — пишет Рорбах, — когда все изменилось, можно спокойно сказать, что договоры с Англией насчет распределения сфер вмешательства между нами и Англией на Ближнем Востоке и в Африке были готовы и подписаны и что продолжавшиеся переговоры касались только момента и способа их обнародования. В Турции не только считались с такой точкой зрения немецкой политики насчет Багдадской дороги, но также решен был вопрос касательно связанной с ней эксплуатации лежащих в Месопотамии нефтяных богатств и свободы плавания по реке Тигру. Англичане прежде одни пользовались этими преимуществами, теперь они готовы были поделиться ими с немцами. Франция получала концессии на проведение железных дорог в Сирии и в северной части Малой Азии, но вместе с Россией. Рорбах считает, что она в этом отношении была обделена, так как имевшие быть построенными армянские дороги казались лицам, хорошо осведомленным, мало выгодными**. Конечно, речь шла не об упразднении Турецкой державы, а только о распределении экономических выгод. Но кому неизвестно, что за этим распределением зон влияния следует распределение действительного контро-

---

* Предсказание насчет Персии не оправдалось. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

** См. статью, отпечатанную Рорбахом в издаваемом им журнале «Большая Германия» и вошедшую в состав изданного им сборника. Статья помечена 11-м августа 1914 г. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

ия, т.е. упразднение прежней самостоятельности контролируемой державы. Так было в Маньчжурии, так было и в Персии; в первой зоны влияния распределены были между Японией и Россией, во второй — между Россией и Англией. Немцы, конечно, могут утверждать, что они всегда были далеки от мысли прямого посягательства на целость Османской империи, и они в буквальном смысле правы. Но легко было, тем не менее, предвидеть, каков будет исход всей задуманной и близкой к проведению схемы. В настоящее время при успешной войне Германии будет обеспечена возможность исключительного и, по меньшей мере, преимущественного использования Османской империи для своей торговли. В отпечатанном в газетах интервью немецкого корреспондента с египетским хедивом[43] можно уже прочесть заявление последнего, что с упразднением английского протектората в долине Нила для немцев откроется возможность экономической эксплуатации края. Проведение же Багдадской дороги, которая в будущем, очевидно, не встретит прежних препятствий, откроет возможность немецким товарам наводнить рынки Малой Азии.

Можно было бы поднять еще ряд вопросов, связанных с удачной войной центрально-европейских империй с государствами Тройственного Согласия. Можно было бы делать предсказания о ближайшей судьбе Бельгии и доброй половины Сербии, более или менее завоеванных германским и австрийским оружием. Но едва ли стоит ставить эти вопросы для того момента, когда предстоящая битва на расстоянии от Северного моря до Арраса не решит окончательно судьбы еще недавно нейтрального государства, а Сербия не согласится на заключение сепаратного мира. На этот счет прибывшие сегодня газеты от 4-го декабря [1914 г.] дают весьма категорический и отрицательный ответ. Сербия на такой мир не идет, по всей вероятности, под влиянием внушений, полученных ею из Петербурга, и Пашич остается на своем посту. Немцы продолжают доказывают свое право нарушить нейтралитет Бельгии ввиду того, что она первая отступила от него в соглашении, заключенном с Англией несколько лет тому назад и имевшим в виду обеспечить последней возможность, в случае войны с Германией, ввести в ее пределы 150-тысячное войско. Северо-германская газета — официальный орган империи — обнародовала документы, найденные в архиве бельгийского генерального штаба и свидетельствующие о том, что король Альберт[44] принял меры к обезопашиванию* своих владений от германского вторжения. С моей точки зрения, такие предварительные соглашения, принятые на случай нарушения нейтралитета, еще не могут считаться отказом от него**. Англия, как я уже сказал, сочла вторжение в Бельгию немецких войск решающим обстоятельством, побудившим ее

---

* Так в тексте.

** Объяснения, данные с тех пор английской печатью, вполне потверждают мою догадку, но, разумеется, не удовлетворяют немецкие органы. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

к вмешательству в войну. И действуя так, она осталась верной своей вековой политике. Это признают и немецкие публицисты, и числе их Рорбах. В статье, озаглавленной им: «Наши противники» и вошедшей в состав упомянутого выше сборника, он говорит: «Англичане предложили Германии сохранение своего нейтралитета в том случае, если мы, немцы, отказались бы от нападения на северный берег Франции со стороны Немецкого моря и канала, а также на Атлантическом океане. На это, — говорит он, — еще можно было пойти, другое дело — на требование не нарушать нейтралитета Бельгии, так как в этом случае сила сопротивления Франции была бы значительно увеличена. Граница, отделяющая Францию от Германии, не достаточно длинна для того, чтобы немецкое войско могло развернуться во всю свою ширь, да и часть этой границы занята Вогезами, в которых ведение войны было бы крайне затруднительным. Но, признавая на этих основаниях совершенно правильным отрицательный ответ, данный Германией на английские предложения, Рорбах в то же время говорит, что оно отвечало исконной политике англичан. Со времен Людовика XIV они озабочены были тем, чтобы Бельгия не попала в руки сильной континентальной державы». Я могу прибавить от себя, что из-за этого, в момент отделения Бельгии от Голландии и образования из нее самостоятельного королевства, едва не возникло военного столкновения между Францией и Англией. И в особую заслугу министерству Каз[имира] Перье[45] ставится то соглашение, по которому на Бельгийский престол возведен был не второй сын французского короля, герцог Немурский, а бывший супруг английской принцессы, близкий английскому двору и, в частности, королеве Виктории — Леопольд Кобургский[46], за которого Людовик-Филипп[47] согласился выдать замуж свою дочь. Уже близкая к разрыву сношений с Францией Англия пошла на деятельное сотрудничество с ней в защите Бельгии от притязаний Франкского дома правителей Голландии и на обеспечение ей, при содействии Пруссии, вечного нейтралитета. Вопреки данным ей обещаниям, Пруссия в лице Вильгельма II нарушила этот нейтралитет, а теперь собирается поглотить и всю страну, имея в виду образовать из нее одну из земель империи. Можно предвидеть, что Англия долго не пойдет на мир, заключенный на таких условиях, так как Бельгия в руках германцев будет не меньшей угрозой не только ее господству над морями, но и для ее безопасности, чем в руках французов. По той же причине, я полагаю, Англия не согласится и на раздел Бельгии между Германией и Францией так, чтобы Валлонская половина отошла к французам, а Фламандская к немцам.

Менее спорным кажется мне вопрос о том, возможно ли будет заключение мира между воюющими державами при переходе нагорной части Сербии к Австрии. Для России, разумеется, такой исход был бы равнозначным отказу от дальнейших ее притязаний на роль покровительницы балканских славян. Но своим включением в пределы Габсбургской империи нагорная часть Сербии несомненно содействовала бы осуществлению задуманного эрцгер-

погом Францем-Фердинандом проекта образования из южных славян Австрии, число которых превысило бы в значительной степени 10 миллионов, автономного государства, после чего империя Габсбургов сделалась бы триединым государством, составленным из Цислейтании, Венгрии и южно-славянского целого с сербами, хорватами, босняками, герцоговинцами и, может быть, далматинцами в его составе. Но насколько в таком случае удалось бы сохранить независимость в Черногории и остальной части Сербии, особенно ввиду притязаний болгар на Македонию, кажется мне более чем спорным.

IV.

Я бы не желал закончить этого обзора причин настоящей мировой войны с немецкой и австрийской точки зрения без краткого указания на то, как рисуют себе немецкие публицисты будущее Европы при благоприятном исходе переживаемого нами мирового столкновения. Я не стану останавливаться на серьезной оценке тех фантазий, каким предаются некоторые немецкие профессора истории, готовые теперь уже делить шкуру еще неубитого медведя. Мне кажется совершенно фантастическим представление, что галицийским русинам или туркам удается вызвать восстание в Малороссии, которая при помощи воюющих с нами держав отделилась бы от России и образовала бы самостоятельную Украину. Самый ход войны не таков, чтобы дать мне повод думать, что Царство Польское обращено будет снова в самостоятельное Варшавское герцогство. Политика Пруссии по отношению к Познани и введение прусской администрации и в Калише, и в Ченстохове исключают возможность иллюзий насчет готовности немцев восстановить Речь Посполитую, все равно в форме ли республики, или монархии, с венчанием на царство короля ли Саксонского или императора Германского. При удачном для наших врагов исходе военных действий можно предвидеть самое большее — изменение границы Царства Польского к выгоде Пруссии, об австрийских же притязаниях на Волынь говорить трудно, когда в наших руках оказалась большая часть Галиции. Чтобы нейтралитет Румынии плачен был уступкой ей части Бессарабии, в частности, Измаильского уезда, не представляет собой большей вероятности, чем вознаграждение ее венгерской Буковиной. Громко провозглашаемые на весь свет успехи турок пока не таковы, чтобы их можно было считать угрозой для нашего Закавказья. Швеция пока соблюдает свой нейтралитет, не предъявляя никаких претензий на Финляндию. Остзейские провинции не обнаружили стремления к отпадению, и их население бьется в рядах русского войска в такой же степени, как и население Царства Польского, где Дмовскому[48], по известиям немецких газет удалось образовать самостоятельный польский легион из добровольцев.

Но если ход событий таким образом избавляет нас от необходимости считаться с мнениями, высказанными, например, быв-

шим «балтом», профессором университета в Гале, уже предсказывающим России возвращение к границам допетровской Московии, которую, — говорит он, — «Лейбниц ставил в один ряд с Абиссинией»*, то ничто не мешает нам более серьезно отнестись к тем пророчествам, какие делают хорошо известные всему миру специалисты по международному праву, как Франц-фон-Лист[49] или знатоки калониальной политики, как Рорбах, относительно того, чем станет Европа и мир по окончании, к выгоде Германии и Австрии, теперешнего столкновения их с державами Тройственного Согласия. Оба автора напечатали свои брошюры до деятельного вмешательства Турции в настоящую войну. Поэтому они не принимают ее в расчет или говорят о ней только мимоходом. «С наступлением мира, — пишет Лист, — немецкому народу предстоит стать перед новыми и важными задачами. Речь пойдет не больше, не меньше, как о том, чтобы построить международный союз на новых началах и установить новые порядки его отношений с государствами, стоящими вне его. Приобретения европейских земель с населением, говорящим иной речью, чем германская, нас не привлекает. Нам важно только одно, — обезопасить наши границы столько же на востоке, сколько и на западе». Автор отказывается от указания средств для достижения этой цели и переходит к вопросу о расширении колониального владычества Германии. «Колонии, — говорит он, — необходимы нам для того, чтобы доставить занятие излишку нашего населения». Опять-таки и в этом отношении автор ограничивается лишь общим указанием и воздерживается от перекраивания карты мира в интересах обогащения Германии. Его занимает другой вопрос, — какую форму примет международный союз по счастливом завершении настоящей войны. Он полагает, что придется образовать, прежде всего, европейскую группу народов, которая бы преследовала цель сделать невозможным осуществление даже для самого могущественного из них идеи всемирного господства. Ядро этой европейской группы государств должно, разумеется, образовать по мнению нашего автора, Германия и Австрия. К ним следует присоединить Францию, успевшую с 1870 и 1871 года образовать самое могущественное колониальное царство. Он надеется, что союз ее с Англией и Россией не переживет заключения будущего мира и перестанет, с потерей этих союзников, быть угрозой для Германии. Как он присоединится к союзу Центральных империй, и каковы будут поэтому его отношения к Германии, решит будущее, — говорит Лист, — и собственный выбор Франции. Я же лично, — прибавляет он, — и теперь не боюсь высказать ту мысль, что мирное и дружественное сотрудничество Франции и Германии кажется мне самой прочной гарантией для мира и такого развития культуры, которое в настоящее время даже трудно себе представить. Что касается до России, то, каковы бы

* «Müncherer Monatsgette», за сент., статья проф. Галлера. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

ии были ее территориальные потери, она все же останется мировым государством. Ее завоевательные стремления, корни которых лежат в желании иметь доступ к мировым морям, до тех пор не исчезнут, пока основу ее устройства составляет цезаре-папизм. Россия, по оценке автора, останется и после окончания войны врагом европейского мира и европейской культуры, но врагом, который на ряд лет будет обезврежен. Союз среднеевропейских государств при более серьезном обеспечении безопасности их границ будет достаточно силен, чтобы во всякое время защитить Европу от напора со стороны России. Союз этот вступит в экономические и международные отношения к Русскому царству, но под условием не выпускать из виду, что в корне своем оно остается государством азиатским и поэтому должно лежать в сфере тех отдаленных концентрических кругов, с которыми придется иметь дело союзу европейских государств. Иное дело Англия. Даже при неблагоприятном исходе войны, даже при необходимости отказаться от роли владычицы над морями она своими 33-мя с лишним миллионами квадратных миль и 400 млн населения все еще будет, как башня, господствовать над другими великими державами, а потому Германии еще в течение ближайших дестилетий придется поставить себе задачей непрестанную защиту от Англии. Европейский мир должен быть обеспечен против Англии, без участия России и, если возможно, в союзе с Францией*. Из этих центральных государств Европы, к числу которых Лист желал бы присоединить и Испанию, и Португалию, и Голландию, и Скандинавские государства и государства Балканского полуострова с одной лишь Европейской Турцией, в среде международного союза образовался бы более тесный союз среднеевропейских государств, которому гораздо легче было бы осуществить ту задачу охранения мира, которая в настоящее время пацифистами распространяется на все народы земного шара. Путем договоров, обеспечивших каждому государству его самостоятельность и суверенитет, можно было бы достигнуть не одной только охраны существующих норм международного права, но и восполнить их новыми, создать постоянный третейский суд для разбирательства споров, возникающих из-за неправильного толкования или нарушения договоров, заключенных между отдельными странами, и независимо от него — общие для всех государств трибуналы для решения частных споров между гражданами отдельных государств, раз эти споры касаются таких сторон права, в которых возможно было бы сохранить единство, скажем для примера, вексельного устава. Лист предлагает введение общих для всех частей этого европейского союза мер и весов, а равно и монетной системы. Мало того. Нормы, однохарактерные с теми, какие проведены немецко-австрийским договором 1879 г., могли бы быть распространены на всех членов союза, давая им,

* «Ein Mitteleuropäische Staatenverband», Franz von List, стр. 5—24. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

таким образом, возможность взаимной защиты против нападений со стороны и обеспечивающих, следовательно, сохранение европейского мира. Общие дела союза могли бы подвергаться обсуждению, — пишет он, — постоянно или периодически созываемой конференцией из делегатов от отдельных государств. К ним можно было бы приставить особые союзные коллегии из специалистов по отдельным областям общего этим государствам управления. Взамен представительного собрания от отдельных народов, входящих в состав союза, могли бы возникнуть съезды членов отдельных парламентов по образцу тех, какими являются съезды междупарламентской ассоциации мира. Такой же союз мог бы возникнуть между государствами Америки. Оба союза имели бы сходное законодательство по многим вопросам, например, по морскому военному праву. Таким образом, могло бы возникнуть общее для обеих групп международное законодательство. Вне этих двух сфер стояли бы государства, или не завоеванные еще европейской культурой, или такие, которые временно не желают войти или не могут быть включены в европейский союз. В таком положении, — думает Лист, — некоторое время после войны, может оказаться Франция. Россию же и Англию, — полагает он, — вовсе не следует включать в эту среднеевропейскую группу. Обязанности, вытекающие из таких преобразований международного союза для германской политики, по мнению Листа, сводятся к двум положениям: к защите всего союза против стремления Англии к всемирному господству и тесное общение не с одной Австро-Венгрией, но и со всеми державами, сохранившими нейтралитет в настоящей войне*.

Что касается до Рорбаха, то он, как мне кажется, довольно правильно предвидит образование в близком будущем обширных конгломератов государств, объединенных единством языка. Рядом с англо-американским миром и миром русским возникает общение испанских государств в Южной и Центральной Америке, Китай с Японией образуют свою по численности населения едва ли не крупнейшую группу. Такую же самостоятельную группу представит Турецкий восток. Остается затем и самим немцам заодно с Австрией образовать со своими колониями такое же могущественное тело. Франкфуртский мир, — говорит он, — создал лишь материальную основу для завоевания немецким народом положения народа мирового. О чем идет для него в настоящую минуту речь, это станет ясным, раз мы представим себе, как устроен будет мир в национально-политическом отношении на расстоянии ближайшего полувека. Что будущее англо-саксонцев по ту сторону морей будет могущественным племенем — это для нас ходячее представление. Но навстречу такому будущему идут не одни только англо-саксонцы, но также романские народы юга Америки. Они представляют из себя население, которое в течение полувека

* «Ein Mitteleuropäische Staatenverband», стр. 25—42. (*Прим. М.М. Ковалевского.*)

вырастет до 50—70 миллионов, а через 100 лет будет представлять двойную величину. Знатоки этой части света не сомневаются, что на протяжении от Панамского перешейка до мыса Горна Аргентине и Чили удастся положить основы такому же союзному государству, каким в настоящее время являются Соединенные Штаты. И итальянцы и немцы, последние с их полумиллионной эмиграцией ежегодно в Южную Америку, не мешают ей оставаться испанской, и различие языка не сделается препятствием к тому, что и Бразилия с ее португальской речью войдет рано или поздно в состав романской федерации. Что касается до России, то автор, допуская упадок ее военной и финансовой силы и возможности в ней внутренних потрясений, все же не отказывает ей в том, что она и впредь останется, как он говорит, громадным национально-политическим телом, сохраняющим соответственный вес в судьбах мира. О Китае можно сказать, что он уже и теперь подавляет своей массой: «Из четырех человек, живущих на земле, один — китаец». Что же будет на расстоянии полувека с немецким народом. Несомненно, что за последние 20 лет Германия сделала колоссальные успехи в отношении к своей населенности, промышленности, торговли и материального благосостояния. Несомненно также, что мы еще некоторое время можем прогрессировать, не выходя из теперешних границ, так как Германия далеко не так населена, как Саксония, Бельгия или северо-западная Англия. Из всего этого не следует, однако, что полмиллиона квадратных километров, занимаемых Германией, является ничтожной величиной против России, Англии, англо-саксонской Америки, романской части Нового Света или Китая. К этому надо прибавить, что наши соперники в среде мировых народов располагают не только большим пространством для своего расширения, но что некоторые из них владычествуют над обширными и богатыми подчиненными им инородческими странами, тогда как мы таковых не имеем. Сама Франция, которую мы, ввиду застоя ее населения, не считаем возможным отнести к числу стран, призванным играть в будущем роль мировой истории, владеет обширной империей в северной и западной Африке, в том числе землями, входящими в состав культурного мира со времен римлян. Россия имеет много миллионов подданных в Азии и на пути подчинения себе Персии, Монголии и Восточного Туркестана. Англия управляет Индией и Египтом — богатейшими землями мира. Она владеет Южной Африкой, богатой золотом и алмазами и предъявляет притязания на родину человеческой культуры — на долину Тигра и Ефрата. Можем ли мы, ввиду всего этого, оставаться при прежнем мнении, что для политики достаточно иметь в виду ближайшие 20 или 30 лет. В какую бы сторону мы ни обратили наши взгляды, мы всюду видим, что великие народы повсеместно распространяют сферы своего поселения и своего влияния и стремятся к тому, чтобы обратить все земли, которыми они могут овладеть, в свои протектораты, т.е. в свои политические резервы. Из азиатско-африканских стран Китай по своим размерам и своей силе внутреннего противодейст-

вия лежит вне возможности сделаться предметом соперничества из-за его обладания. Персия уже исключена из числа самостоятельных стран. На Африканском материке, после занятия французами Марокко, остается лишь одно самостоятельное государство — Абиссиния, мишень для французских, итальянских и английских вожделений. Если не говорить о колониях, остающихся в руках мелких государств и которые благодаря неспособности и нежеланию теперешних владельцев извлекать из них серьезные выгоды, рано или поздно перейдут в более искусные руки, то остается одна только Турция, как политическое создание большого стиля, готовая продолжить войну за свое существование и которую нам необходимо защитить во что бы то ни стало от захвата со стороны наших соперников. Мы не желаем аннексировать Турцию, но мы должны сохранить ее в теперешних ее границах, как арену для нашего национального труда. Никто не может поручиться за будущее. Мы искренное желаем того, чтобы Турция воспрянула из своего упадка, чтобы она в военном, экономическом и политическом отношении снова стала бы державой, внушающей к себе уважение. Но мы должны также считаться с возможностью проявления в ней центробежных сил, мешающих ее культурному развитию. Эти силы могут проявиться в большей мере, чем те, которые содействуют сохранению к ней порядка и прогресса. В этом случае нам не оставалось бы ничего иного, как поддержать эти последние. Нам надо также считаться с тем, что положение Европы, благодаря усилившемуся шовинизму Франции, значительно обострилось. Такое положение особенно опасно для той страны, которая является сферой наименьшего сопротивления, а это вполне можно сказать о турецком Востоке. Если принять одновременно во внимание опасности, грозящие Турции от французского шовинизма и русского панславизма, трудности восточного вопроса и столкновение английских и немецких интересов в азиатской части империи, то сами собой бросятся в глаза трудности немецкой политики. Ни теперь, ни в будущем мы не можем допустить того, чтобы другие народы вырывали себе куски из Турции. В интересах грядущих поколений мы обязаны блюсти неприкосновенность турецких владений. Англия, Россия и Франция присвоили себе и без того уже немало земель. Мы требуем теперь справедливого вознаграждения за ранее ими захваченное. Мы не допустим дальнейших присвоений, идущих наперекор нашим интересам. Если бы они повторились, двери, ведущие в храм Януса могли бы открыться».

Прочитанный отрывок появился в печати еще 25 июня 1913 г. Он, как нельзя лучше, характеризует то настроение, какое переживала Германия в истекшем году, во время обострения восточного вопроса и ожидаемой аннексии армянской провинции Турции нашим отечеством, после чего мог бы последовать раздел Малой Азии между державами Тройственного Согласия. И тогда и теперь Германия преследовала не охранение своей целости и единства, а задачи мировой державы, желающей обеспечить себе на ряд поколений выдающееся положение в сфере народов, предъявляющих

притязания на мировое господство. Настоящая война вызвана теми же заботами. Существованию Германии, как единой империи, никто не угрожает. Проекты раздела Австрии, что бы об этом ни писали немецкие газеты, не выходили из области фантазии, да и в самих этих проектах львиная доля отводима была Германии, к которой, если верить авторам некоторых недавних брошюр, должны были перейти все области с немецким населением. Действительная причина войны лежит в совершенно понятном желании Германии перейти на положение мировой державы, успешно конкурирующей своей промышленностью и торговлей, столько же на суше, сколько на морях, с любым государством мира, не исключая и Англии. Но если нет основания отрицать за Германией такого положения, то приходится только недоумевать, почему не отказывает в нем «русскому колоссу», столь же национально-едином, столь же прогрессирующему в своем промышленном и торговом отношении и несомненно неспособному обойтись при своем дальнейшем развитии без свободного доступа к незакрытому и незамерзающему морю. Не в какой-то инстинктивной ненависти русских к немцам, которую напрасно приписывает нам профессор Митрофанов[50], а в отказе признать за нами право на существование, как мировой нации, конкурирующей на иноземных рынках продуктами своей почвы и своего труда, столько же с Англией и Америкой, сколько с германскими или романскими странами, лежит причина наших обостренных отношений с теми, кто, как англичане времен Дизраэли, или немцы в наше время, не дают удовлетворения нашему естественному и законному запросу. Пока Россия не превратится снова в отрезанную от морей Московию и будет преследовать задачи, намеченные для нее Петром Великим, она не откажется от своего тяготения к южным морям. Такой запрос не имеет ничего общего с панславизмом или милитаризмом. Он может быть удовлетворен нейтрализацией проливов, ведущих из Черного в Средиземное море, и нисколько не мешает ни дальнейшему существованию Турции, ни ее экономической эксплуатацией Германией. Разумеется, не время говорить теперь о том, что настоящая война не вызвана необходимостью, что ее можно было избежать, что вопросы, из-за решения которых она ведется, допускали и мирное улаживание. Но я не сомневаюсь в том, что настанет время, когда на этот счет не будет подыматься больших сомнений, чем насчет возможности для Австрии и Пруссии стать союзниками и без кровавой расправы под Кениггрецом в 1866 г., а японцам кооперировать с русскими в настоящей войне и без жестоких столкновений под Мукденом и Ляояном.

Письма М.М. Ковалевского к Чупрову Александру Ивановичу

№ 1

[Не позднее 13/24 февраля 1879 г.]*

Милостивый государь,

М.М. Ковалевский имеет честь уведомить Вас, что во вторник, в 5 часов, в ресторане Эрмитаж, имеет быть обед в честь И.С. Тургенева. Подписная плата 7 руб.

О согласии принять участие в подписке просят уведомить заблаговременно.

ЦГИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 1.

№ 2

Болье, 16 марта[18]90 [г.]

До 1-го Мая нового стиля адрес:
Villa Batova Beaulieu

Дорогой Александр Иванович!

Я, разумеется, сделаю все, от меня зависящее, для г-жи Барановской, но все это оказалось весьма немногим. Нашелся человек, который заявил консулу, нельзя ли нравственным давлением побудить самодура-мужа временно продлить свое пребывание в Канне. Право на его стороне и все, что я смог посоветовать Катерине Васильевне это отнять у него доверенность на заведывание ее делами, чего она, по-видимому, делать не намерена.

Не знаю, дошло ли до тебя известие о моих болестях. Я тридцать дней провел неподвижно в постели с ревматизмом сочленений в обеих ногах. Теперь с трудом передвигаюсь из комнаты в комнату.

Получил из Оксфорда приглашение прочесть курс в 6 лекций по истории русского права и русской этнографии. Приглашение это я принял, причем отметил, что моя программа была одобрена Комитетом.

Она в немногих словах следующая:

1) Прошедшее и настоящее крестьянской семьи и Великой и Малой России.

2) Русские свадебные обычаи и обряды и значение для истории семейного права вообще.

---

* Датировано по содержанию. Обед в честь И.С. Тургенева состоялся 13/25 февраля 1879 г. (Русские ведомости, 1879, 17 февраля).

3) Сельская община в России. Ее прошлая судьба и современное положение.

4) Народные собрания у древних славян и, в частности, вечевое устройство древних русских.

5) Земские Соборы. Очерки их политической истории и внутреннего устройства.

6) Возникновение, рост и падение крепостного права в России.

Теперь позволь обратиться к тебе с просьбой. Не можешь ли указать мне новинки по истории и современному устройству общины и не согласишься ли купить их для меня и выслать по почте, приложивши счет, по которому тотчас воспоследует расплата. Не можешь ли также достать для меня Соколовского И. «Сельские общины на Севере России», г. Блюмберга И. «Сельские общ[ины]». Их нет у меня под рукой.

Передай мой поклон твоей жене и Михаилу Егоровичу Богданову[1].

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 2—3 об.

№ 3

Болье, 30 апреля [18]90 [г.]

Многократное спасибо, дорогой Александр Иванович, за твою присылку книг об общине. Она пришла, к сожалению, слишком поздно для того, чтобы я мог воспользоваться ею для моих ближайших лекций, но пригодятся для работы о русском обычном праве, которую я предпринял в Revue historique de droit français*.

Где и как собираешься провести лето? Слышал, что на Оке и в обществе Иванюковых. Завидую и жалею, что не могу быть с Вами. Из Оксфорда, куда уезжаю через неделю, меня шлют в Тарас* лечить мои ревматизмы. Освобожусь только к концу лета, когда поздно уже будет ехать в Россию. Доходили до меня слухи о переменах в Министерстве народного просвещения. Правда ли это и чего можно надеяться или опасаться?[2]

Янжул пишет, что будет в Лондоне и сообщает свой адрес. Ну, а тебя увидим ли скоро на гнилом Западе, который 1-го мая собирается, по-видимому, удивить мир своей юностью и свежестью.

Английские лекции стоили мне немало труда, так что последние дни своего пребывания в Болье я посвящаю ничегонеделанию и прогулкам. Боборыкины уехали, и из знакомых россиян осталась только умирающая Маковецкая и не меньше ее умирающий доктор Любимов[3], приват-доцент княгини Юрьевской[4].

---

* Прочтение названия предположительное.

Черкни при случае словечко [по] адресу в Оксфорд Clarendon Villas Park lane, Mocfill. Ezg. Уведомив, сколько я тебе должен за книги и их пересылку.

Еще раз сердечное спасибо.

Твой старый, все еще толстый друг М. Ковалевский.

Там же. Л. 4—5 об.

№ 4

[Оксфорд, не ранее 7 мая [18]90 [г.]*

Дорогой Александр Иванович!

Сердечное участие, с которым ты относишься к моим невольным прегрешениям**, меня от души трогает.

Спешу сообщить тебе, что я уже начал свой курс — и довольно успешно. Была публика и были аплодисменты. В аудитории присутствовал Тейлор, автор «Первобытной Культуры», который настолько остался доволен моими лекциями, что поднял агитацию в пользу напечатания их Clarendon Press.

Меня очень фети[шизи]руют, и я с одного обеда отправляюсь на другой, точно в Москве. В Лондоне виделся с Янжулом и провел с ним два дня.

Гостеприимство в Оксфорде так велико, что я все время живу на чужой счет: сперва три дня у профессора Тейлора, теперь у Пельгамо в Экзетер Колледже, а там еще у какого-то калькутского судьи, сделавшегося Бог весть почему крупною фигурой в университетской администрации. Здешние порядки не лишены известной прелести для того, кто много жил мыслью о средних веках. Колледжи то же, что секуляризированные монастыри.

Только что вернулся с общей трапезы в одном из них. Обедало нас человек около ста. Все, кроме меня одного, в черных мантиях и колпаках, дети и взрослые: трапеза началась молитвой; когда все ученики разошлись, тьюторы продолжали совершать возлияния портвейна и шерри, сидя в темноте и беседуя о временах Генриха V-го. Кончаю письмо под звуки колоколов, в комнате, в которой все дышит стариною и монастырским уединением.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 8—9 об.

---

* Датировано по содержанию письма № 3 от 30 апреля 1890, в котором сообщается об отъезде через неделю в Оксфорд.

** Так в тексте.

№ 5

Болье, 23 ноября [18]90 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Только сегодня узнал я о постигшем тебя горе и хочу сказать тебе, что вполне присоединяюсь к твоей печали. Все, знавшие Ольгу Егоровну[5], вполне могли оценить качества ее ума и сердца.

Я лично глубоко благодарен ей за ее неизменно ласковое и дружеское отношение к приятелям ее мужа.

В нашей дружбе, которая принадлежит к числу таких немногих вещей, которыми я дорожу в жизни, ее теплое участие давало себя чувствовать не раз, особенно сие наглядно в последний, самый тяжелый год моего пребывания в Москве.

Если бы ты нашел возможным временно изменить местожительство и проехаться за границу, то я был бы несказанно рад поселить тебя на вилле Батаве, чтобы ты нашел и желательное одиночество и всю прелесть южной природы.

Твой искренно преданный старый друг М. Ковалевский.

Там же. Л. 6—7.

№ 6

24 октября [18]91 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Получил высланные тобою двести франков. Спасибо. Хотел писать тебе, прося дать им другое назначение, ежедневно собирался и не собрался. На днях уезжаю из Венеции. Переселяюсь на месяц во Флоренцию, а там на зимовку в Болье. Рад сообщаемому тобою известию о добром здоровье приятелей, но хотел бы иметь тому подтверждение от них самих.

Поездка моя в Индию не состоится. Условия изменены, требуют лекций об индусском праве, ну, а на это, как ни велика моя наглость, я не пойду, могу поэтому всецело посвятить себя тому литературному предприятию, о котором я говорил тебе[6]. Если услышишь что, благоприятное моим проектам, не откажись уведомить лишь хотя бы cartolina postale.

Что сказать тебе о моем житье-бытье. Оно протекает по-прежнему в одиночестве и занятиях, но солнце греет, море отражает его лучи, Венеция неизменно прелестна — и подчас внешние впечатления весьма благоприятны. Получил залежавшееся почему-то на poste restante письмо Иванюкова и поспешил его ему вручить. — А кажется, твоим предсказаниям о войне не суждено сбыться[7]. В газетах, напротив, идет речь о мире и председательстве царя во главе Союза Мира. — Тем лучше. На днях придут из Харькова в редакцию «Русс[ких] Вед[омостей]» сто рублей, высланные мною в

пользу голодающих. — Хотел бы принять участие в издаваемом Вами сборнике в их пользу, но не знаю, чем служить.

Дайте сроку и укажите тему и я пришлю статью весьма охотно[8]. Вообще всякого рода сборники с филантропическою целью мне по душе.

Пожалуйста, не забудь твоего обещания насчет высылки мне Schonberg'a о гильдиях. Не погублю. Не откажи также прислать сборник об общине, когда он выйдет и взыщи с меня то, что он стоит. Хорошо было бы также получить от тебя на время работу Орлова о формах землевладения в Московской губернии. Все это вышли в Beaulieu.

Поклон Александру Александровичу* и всем приятелям.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 11—12 об.

№ 7

Флоренция, 17 ноября [18]91 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Спасибо за дружескую услугу. Условия Солдатенкова мне кажутся вполне подходящими и я рад буду заключить с ним домашний контракт. Как это сделать; выдать ему обязательство, написать или получить от него обещание печатать? Научи.

Во Флоренции, где застало меня письмо Анучина, я наскоро написал статью «Какими мерами итальянские республики боролись с голодом»**. Можно было бы написать и поподробнее, и поинтереснее, но для этого нет ни места в сборнике, ни времени. Пожалуйста, поручи кому-нибудь просмотреть корректуру, кому-нибудь, знающему латынь и итальянский. Переписать всего не было времени, но рукопись разборчива. Сегодня кончил статью и отправил ее Анучину в Университет. Адрес же его как-то затерялся. Попросил Димитрия Ивановича уведомить о получении рукописи и о ее дальнейшей судьбе. Если соберетесь издать еще какой сборник, не откажите принять мое сотрудничество. Корректуру статьи[9] в «Юрид[ический] Вестн[ик]» с неделю, как отослал Муромцеву.

Я страстно желаю привести в исполнение задуманную мною Geschichte***. Но что за история, Создатель! А все же она внесет смысл в мою жизнь.

До свидания, дорогой друг, поклон общим приятелям. Твой Ковалевский.

Там же. Л. 13—14.

---

* Александр Александрович — сын Чупрова.

** Опубликовано: Помощь голодающим. Научно-популярный сборник. М., 1892.

*** Историю (*нем.*).

№ 8

28/16 декабря 1891 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Спасибо тебе, что, несмотря на все твои хлопоты, ты выбрал минуту переговорить с Солдатен[ковым] и устроить мне дело. От души жалею, что беда, приключившаяся с «Русск[ими] Ведом[остями]», причинила тебе столько беспокойства[10]. Все имеющиеся здесь русские интеллигенты с Плещеевым во главе принимают живое участие в судьбе редакции. Пустяшность предлога показывает, что на нее давно точили зубы. Придется Вам быть еще сдержаннее и по необходимости бездвижнее. Главное — прожить. Из твоего письма я вижу, что тебе неизвестна моя печальная судьба. Сегодня 21 день, как я в постели с острым ревматизмом сочленений в обеих ногах и обоих коленях. Одно время можно было думать, что болезнь подымится выше и доберется в сердце. Тогда: «Adieu Bibi». Но массаж, причиняя мне адские муки, в то же время остановил хоть болезнь. Я теперь не страдаю более, но только лишен возможности передвижения. Спасибо за обещенные книги. Сохраню их в целости.

Спасибо также за напечатание моей статьи в «Юр[идическом] В[естнике]». Подпишись за меня на Сборник. Верну тебе деньги одновременно с платою за «Общину».

За это время я, конечно, не был в состоянии написать что-либо. А между тем пришлю от Лучицкого требование статьи для издаваемого им Сборника в пользу голодающих. Пересмотрел статью «Кромвель и Свобода Совести в Англии»* и отослал ее в Киев. Справься в Редакции, получены ли ею 100 руб., посланные от моего имени из Харькова в пользу голодающих. Во время болезни я получил из Москвы несколько раз доказательства доброго ко мне чувства и сердечно благодарен старым приятелям за их друж[бу].

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 15—16 об.

№ 9

Больe, 5 декабря [18]93 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Отвечаю на твой запрос, посылаю тебе свою литературную отповедь. Она, как увидишь, вовсе не написана для Словаря. Сотрудники могут взять из нее, что им угодно.

---

* Опубликована в кн.: Киевский сборник в помощь пострадавшим от неурожая. Киев, 1892.

Но раз статья написана, не хотелось бы видеть ее долго в рукописи, а поэтому прошу тебя, если она не очень тебя покоробит, передать ее по миновении надобности и поскорее в редакцию «Русской мысли»[11], но не всю, а только до 32 листика.

Внизу 31-го стоит моя подпись. Все остальное написано только для составителей Словаря.

Жилось мне пока очень скверно. Я пролежал в постели полтора месяца, страдая ревматизмом сочленений и только недавно стал на ноги. Много читаю, пишу и правлю корректуры. Погода дивная. Вот было бы хорошо, если бы ты собрался приехать и прожить у меня Рождественские вакации.

А как сам ты поживаешь?

Твой сердечно преданный, Максим Ковалевский.

Там же. Л. 17—18.

№ 10

Париж, 9 окт[ября] [18]94 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Обращаюсь к тебе с убедительной просьбой, узнать, почему не выходит первый том моей книги[12]? Все корректуры мною исправлены, предисловие послано, но в ответ на просьбу прислать отпечатанные листы следует одно упорное молчание. Нельзя ли также поторопить печатаньем второго тома. За мною не будет остановки. Пусть поэтому высылают сразу шесть, семь листов. Рукопись второго и третьего тома у Муромцева.

Как поживаешь? Давно нет о тебе вести?

Что поделывает твой помощник, милейший Миклашевский[13], о котором еще недавно приходилось беседовать с англ[ийским] экономистом в Оксфорде?

Знаешь ли ты, что в Париже был Конгресс социологов, что твой покорнейший слуга читал на нем реферат о работах русских этнографов и культур-историков* и что русская наука пожинала лавры, так, что даже в газеты попало, что социология процветает более в России, чем во Франции.

Не поленись черкнуть два слова о себе, Янжуле, Стороженко, Веселовском и вообще о приятелях. Давно от них нет весточки.

Всех нас беспокоит известие о болезни Государя[14]. Напиши, чему верить и чего бояться.

Сердечно твой М. Ковалевский.

PS. Адрес:
Hotel Valois
rue Richelien, № 61, Paris.

Там же. Л. 19—20 об.

---

* «Доисторическое время в России». Доклад прочитан в Париже на II конгрессе социологов 1 октября 1894 года.

№ 11

Париж, 20/8 ноября [18]94 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Спасибо тебе за исполнение моей просьбы. Не откажи в великодушном прощении за данные тебе хлопоты. Бюллетень социологического Конгресса еще не вышел. Пришлю тебе немедленно по получении. Найдешь в нем мой реферат о работах русских археологов и этнографов. На будущий год съезд обещает быть интереснее. Поставлены вопросы и назначены репортеты*. Вестермарк[15] должен представить ответ на вопросы о матриархате, я о причинах разложения коллективных форм собственности, Тард — о преемстве[нности] государственных форм, Рене Вормс[16] — о задачах социологии, Фр. Теннис[17] об антропологическом методе в криминалистике. Жаль, что дело попало в руки, которые, кажется, не прочь сделать на нем карьеру и далеко не отличаются научным беспристрастием. Ну да таких в Париже и искать смешно.

Что творится у Вас, каковы надежды и ожидания?

Видел издателя, просил его о скорейшем выпуске первого тома. Он обещал. Можно ли просить тебя о раздаче экземпляров приятелям. Выбери для этого одно из Эрмитажных собраний и передай по одному экземпляру всем присутствующим, в том числе и себе самому.

Не забудь ни в каком случае Миллера, Виноградова, Янжула, Танчева, Гамбарова, Веселовского, Стороженку, Миклашевского, Карелина[18] и Милюкова, Джаншиева[19], Соболевского, Гольцева[20], Иванюкова, Муромцева.

Пошли также один экземпляр Стасюлевичу[21]. Ты мог бы поручить всю эту возню Миклашевскому. Он по дружбе не откажется.

3-ий том Маркса** в печати и выйдет через несколько месяцев.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 21—22 об.

№ 12

Париж, 20 ноября [18]98 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

До меня дошло на днях известие о твоей болезни. Надеюсь, что это письмо застанет тебя уже поправившимся и что ты найдешь в нем только доказательство дружеских чувств.

Которых ни даль не охладила,
Ни расстояния, ни перемена мест.

---

* От *англ.* слова report — доклад.

** Имеется в виду III том «Капитала».

Получил ли ты мой слабый ответ о русском народном хозяйстве[22]. Если получил и просмотрел его, то сделай милость, ответь правду. Мне она нужна, так как кое-кто предполагает заняться переводом ее, а я думаю, что она годится только для заграничного обращения. Кому, как не тебе дать на этот счет веское суждение, которому я подчиняюсь вполне?

Каково здоровье твоего брата[23] и не собираетесь ли Вы оба на юг? С января рассчитываю быть в Риме и провесть в нем всю вторую половину зимы. Как живется редакции и скоро ли кончится Ваш искусс*[24]?

Поклон общим приятелям.

Сердечно твой Максим Ковалевский.

Там же. Л. 23—24.

№ 13

26 декабря [18]99 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Спешу ответить тебе на сегодня же полученное письмо. Рад узнать, что ты хорошо устроился в Риме. Надеюсь, что ты застал там хорошую погоду и что твое здоровье не потерпит от оставления Болье. Я думаю, что ты сделал это вовремя, так как со времени твоего приезда пришло еще одно письмо на имя Вальтера[25] и на этот раз с просьбою дать ответ о твоем местонахождении «Ее Сиятельству, княгине Мышецкой»[26]. Вальтер переслал письмо мне и по моему указанию ответил, что ты уехал в Германию. — Мне кажется, что тебя [надо] на время оставить в покое. — Здесь я всем говорю, что не имею от тебя известий и что ты, по всей вероятности, из Генуи повернул в Германию для свидания с сыном. — Близость твоего отеля к Villa Borghese пугает меня не за ближайшие месяцы, а за весну.

Villa Borghese считается лихорадочной. — 24 ездил в Ментону и присутствовал на заседании федерации синдикатов. Положено было основание центральной Casse rurale для всего департамента, всего с капиталом десять тысяч. Все выборы произведены единогласно. Присутствовали, кроме делегатов, мэр Ментоны, два Consullers genehaut департамента, директор отделения Banque de France. Ranyeri[27] приветствовал меня и выразил соболезнование о твоем отсутствии. — В этом году основано, как видно из отчета, два новых синдиката и открыто 3 других, живших самостоятельною жизнью, но пожелавших войти в федерацию. Отчет Раньери будет напечатан и я доставлю тебе экземпляр его тотчас по получении.

---

* Так в тексте.

Статуты же вновь созданной унии уже изданы в высылаемом тебе №.

Была на днях у меня баронесса Икскуль[28], спрашивала о тебе, я отослал ее, как и всех, в Германию. Говорит, что Сипягин[29] будет хуже Горемыкина, так как открыто высказывает желание возродить допетровскую Русь. Ходит тем не менее слух об отставке Соловьева[30] и назначении на его место Шаховского[31]. — Горемыкин, по сообщениям, сделанным тем же В.И.*, вышел в отставку при следующих условиях. До отъезда царя за границу он выразил ему желание ограничить права земских начальников. Царь пожелал отложить реформу до своего возвращения, а из-за границы неожиданно уволили его от службы. Витте опять в милости и на его имя вышел рескрипт, благодарящий за услуги и мудрое управление.

На место Терентия Филиппова[32], недавно умершего, назначен Лобко[33], а на место Вяземского[34] министром уделов Кочубей[35]. (На мой вопрос В.И., почему меня не пустили читать лекции, он ответил, что Горемыкин этого не захотел и считает меня весьма опасным. Я просил В.И. передать ему при свидании, что я считаю себя весьма польщенным его отзывом.)

А академиком-корреспондентом[36] меня все-таки сделали при открытой баллотировке. Об этом пишет мне Катерина Николаевна. В «Рус[ских] вед[омостях]» по этому поводу напечатан ряд любезностей, за которые хочу благодарить Соболевского. Г-жа Lorenzune сохранила о тебе, Ольге и Марии Александровне** благодарную память и шлет Вам сердечный привет. Я же остаюсь сегодня, как и двадцать пять лет назад, сердечно — тебе преданным.

М. Ковалевский.

P.S. Опять нечаянно вскрыл письмо.

Там же. Л. 28—31 об.

№ 14

[20 января/1 февраля 1900 г.]***
Четверг

Дорогой Александр Иванович!

Спешу сообщить тебе адреса Эльенеца и Юрасова, первый — 14 Avenue Beanlieu. Приемный час от 1—3 ежедневно; второй — 11 rue Blanque, прием утром. Если я еще буду в Болье, то я рад сам устроить Надежду П. Богданову и ей всего лучше заехать ко мне или вызвать меня в Ниццу. Что касается до отелей, то в pension russe еще есть комнаты.

---

* В.И. — Владимир Иванович Ковалевский.

** Дочери А.И. Чупрова.

*** Датируется по содержанию. Павленков Ф.Ф. умер 20 января/1 февраля 1900 г.

Недорогой и хороший пансион у M-me Крумбюгель 44 Avenue de la gare (стоят Коротнев и Якоби). Русская дама держит также Hotel de l'Elysee rue de France, близко к морю, еда хорошая, жизнь недорогая. Умеренные также цены в Hotel Westminster, далеко от Юрасова и в Hotel Suisse—Ponclettes.

Вполне согласен с твоим мнением о Иванюкове. Напишу ему в этом смысле.

Занят окончанием первой части III тома*, а там думаю уехать один в Алжир и оттуда морем в Индию, куда вызову обеих дам.

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Сегодня в Ницце умер от чахотки издатель Павленков[37].

Сердечный привет твоим дочерям от меня и дам.

Там же. Т. 49—50 об.

№ 15

13 апр[еля] [1]900 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Пришли на твое имя кн[ига] Зибера[38], ж[урнал] от Бараца. Куда выслать? Соболевский собирается в Париж (письмо его прилагаю)**. Как только придут деньги, поступлю, согласно твоему сообщению. Иванюков жалуется на молчанье приятелей и шлет свой привет. Занят по горло. Спасибо Янжулу за том «Россия». Кажется, составлен отлично. В начале мая еду в Брюссель и буду ждать тебя к концу месяца. Нигде не работается так, как в Болье. Погода поправилась за последние два, три дня.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 32—33.

№ 16

4 июня [1]900 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Очень обрадовало меня получение твоего письма. С той поры, как мы расстались, я не раз вспоминал о тебе и с Янжулом, и без Янжула. Свои намерения я привел в исполнение. Отсидевши месяца полтора, я приготовил довольно полный курс по истории политической мысли со времен Аристотеля и по настоящий день. С этим курсом, да еще с III томом «Экон[омического] роста [Европы до возникновения капиталистического хозяйства]» и переводом

---

* Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства.

** Прилагаемого письма в деле нет.

IV тома «Проис[хождения] Совр[еменной] Дем[ократии]» я прибыл в Брюссель, и прочел здесь 55 лекций, читая по две и даже по три на день перед аудиторией человек в 30 и более, составленной из многих евреев, немногих русских, поляков и болгар. На франц[узские] лекции, разумеется, являлись сверх того члены университета. — Кроме меня и по моему настоянию П.Д. Боборыкин прочел в Брюсселе при большом стечении публик лекцию по истории новейшего русского романа, а Аничкова из Киева — по истории лирической поэзии в России. Увижу сегодня Сперанского[39], который едет в Россию. Увижусь с ним у Реклю.

Русская аудитория видимо довольна, но денежные дела университета плохи и нет надежды на лучшее будущее ввиду торжества на выборах клерикалов, у которых оказалось большинство в 18 голосов из 150. Приобрел для тебя даром l'Enquite agricole. Передам при свидании в Париже, пиши по адресу Гамбарова, 5 — rue de Navarre. Paris.

Там же. Л. 34—35 об.

№ 17

10 августа [1]900 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Пересылаю тебе письмо от Анненского[40], вероятно, того же содержания, что и ко мне, то есть с просьбой написать статью для сборника в честь Михайловского. У меня нет для этого ни времени, ни охоты.

Школа наша продолжает действовать[41], отымая у меня свободные часы от Конгрессов и поправки корректуры. Сам я прочел уже одну лекцию о Кавказе и послезавтра читаю другую. Выйдет ли что серьезное из всего этого, сказать не берусь. На Конгрессе социальных наук отчеты не читались; произнесено было несколько интересных речей Гектором Дени, Вандервельдом, Ренаром[42], Лестером Уордом[43], Бартом[44], Дельбе и т.д., и т.д.

В заседании под моим председательством решено было устройство международного бюро в Париже для поставки профессоров по социальным наукам во все концы мира.

Ш. Жид, с которым я встретился на Конгрессе, спрашивал у меня твой адрес в Швейцарии и, видимо, хотел бы увидеться с тобой. Прилагаю его письмо, ты поступишь, как знаешь.

Думаю во вторник уехать на три недели в Экс для лечения душами, в сентябре с 10-го жду тебя в Париже, одного или с сыном, и прошу остановиться у меня. Ввиду скорого свидания, не посылаю тебе книги Зибера и отчет Конгресса.

Поклон всей твоей семье от меня и Дж[оржеты][45].

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 36—37 об.

№ 18

14 сент[ября] [1]900 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Жаль, что ты отложил свой приезд. Предстоят интересные Конгрессы. Погода стоит чудная. Заниматься бы ты мог в Париже, а доставил бы мне, да и не мне одному большое удовольствие твоим приездом. Комнаты готовы для Вас обоих. — Очень грустные вещи сообщаешь ты о Иванюкове. Я не думаю, чтобы он согласился приехать, оставив дочек в России, а взять их с собою ввиду решительного нежелания старшей ему едва ли удастся. — Когда приедешь, обдумаем, как поступить.

Лекции читаются по-прежнему при аудитории в 20—25 человек, редко более. Думаем протянуть-таки до середины или конца октября. Прилагаю имеющиеся под рукой программы. Недавно и на мне отразились последствия бесцеремонного обращения В.И. Ковалевского[46] с лицами, привлеченными им к будущему Политехникуму. Некий русский (бывает у Янжула) командированный Ковалевским для изучения Коммерческ[их] Учил[ищ] в Венеции, оставшись без денег и не имея чем выехать из Милана, обратился ко мне с письмом о присылке ему двухсот франков. Я сделал это и с тех пор о нем, разумеется, ни слуху, ни духу. Поклон всей твоей семье от нас обоих.

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Получил ли ты 100 фр[анков], посл[анных] мною из Экса.

Там же. Л. 38—39 об.

№ 19

3 ноября 1900 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Я поступил согласно твоим указаниям. Письмо отправлено обратно. Буду действовать так и впредь. Мне ты беспокойства никакого не причинил. С удовольствием вспоминаю о времени, прожитом совместно.

С твоего отъезда не произошло ничего, особенно любопытного. Был на банкете, устроенном Скальковским[47] в честь Ковалевского. В.И. прочел писанную речь, где вспомнил между прочим триединую троицу, столь дорогую сердцу кузена: Le bien? Le beau et le vrai*. Все бедствия, пережитые Францией, если верить ему, произошли от неумеренного влечения к этим трем ипостасям. Все это было предназначено для Millerana, но он не явился, а вместо него красноречием ministre-adjoint finances russes** должен был насладиться Министр фин[ансов] Callan и Мин[истр] Юст[иции] Moris (он же торговец Конвяков). Русские идолы во всю глотку кричали

* Добро? Это красота и истина (*франц.*).

** Товарищ русского министра финансов (*франц.*).

«ура» царю и президенту, Скальсковский — острил, не вполне удачно, но литературно, Byuss намекал на прелести французских кокот[ок], Тенишев попробовал оправдаться передо мною за свою грубость и просил не забывать его в Петербурге. Не успев насладиться русско-французским согласием, я во фраке уехал в ту же ночь в Брюссель, прочел там лекцию в прекрасном [зале] перед публикой человек в шестьсот, отзывчивой и симпатичной.

На следующий день завтракал у Вандервельде с психологом Curere, у которого украли порсак, а в нем была рукопись его лекций. В Брюсселе 40 русских пытались задержать меня. Но в будущий четверг я читаю первую лекцию в Париже и мне, следовательно, нельзя было остаться.

Спасибо за сообщение из Женевы и брошюру. Будущий референдум меня очень интересует. Если еще что можешь сообщить, сделай это. Когда же ты переселяешься в Болье? Иванюков едет за границу, поправляется. Но хандрит по-прежнему. Имел от него письмо, а также от Стороженко, приславшего ожидаемую бумагу для Апостола. Поклон твоей дочери от меня и М-ме Лоренцини.

Сердечно твой М.К.

P.S. Михайловскому послано письмо от Вормса, а от меня приветственная телеграмма.

Там же. Л. 41—42 об.

№ 20

7 дек[абря] [1]900 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Чтобы успокоить тебя насчет Иванюкова, пересылаю тебе его письмо. Ты увидишь, что Соболевский передал ему от моего имени 400 руб., а Стороженко предлагал ему дать 300 из тех, которые мне должен. От Соболевского я слышал, что сам он и Варвара Алексеевна[48] намерены принять участие в покрытии его долга. — Не пишу тебе больше, так как спешу на лекции, последние из тех, которые должен прочесть. 12-го буду уже в Болье. Джижетта уехала вчера больная к себе на виллу. До скорого свидания.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 43—44

№ 21

[Позднее 12 декабря 1900 [г.]*

Дорогой Александр Иванович!

Я снова написал Иванюкову, снова предложил ему поселиться у меня с дочерью и выслать ему деньги на дорогу. — 400 рублей

* Датируется по содержанию письма № 20, в котором указано, что М.М. Ковалевский 12 декабря будет в Болье.

были переданы мною Соболевскому, который хотел прибавить от себя и Морозова[49]: Стороженко из тех денег, которые мне должен, предлагал Иванюкову 300 рублей, а Ив[ан] Ив[анович] отказался.

Я думаю, что болезнь Марии Вас[ильевны], которая с трудом встает с постели, и у которой нет других наследников, кроме детей сестры, действительная причина, удерживающая Иванюкова в Варшаве. Прилагаю его письмо*.

Теперь о тебе. Не вижу, почему, хотя бы и с мнимой жабой, тебе есть расчет жить в сырости и проливном дожде в Женеве, когда на юге светит солнце. — Если не Болье, то Рим, Неаполь и даже окрестности Генуи были бы в сто крат лучше для твоего здоровья. — Если ты решишься приехать в Ривьеру, то, пожалуйста, остановись у меня даже с Марьей Александровной** (есть женская прислуга). В случае приезда Иванюкова можно будет снять комнаты по соседству.

Лекции мои прошли благополучно. За исключением вступительной лекции, на которой было более ста человек, прочие были читаны перед аудиторией в 30—40 слушателей. Бывал Levasseur[50], Tarde, Coste[51], Delbet, Martin[52]. Французы-слушатели записывали, русские же — глядели. В аплодисментах и ласковых словах не было недостатка. Готовлю теперь курс к печати. Главное же занятие подготовление лекции для Америки. Пришлось погрузиться в изучение судьбы боярской думы, земских соборов, поместья, общины etc etc. Ничего, занятно и удивительно, как много сделано за последнее время.

Карышев[53] бывает. Не то, чтобы очень плох, но нервен, мнителен и несколько мягкотелен. Эльсница, к которому я его свез, не видит для него необходимости жить непременно на юге, рекомендует ванны и общение с прекрасным полом — а он почему-то топорщится. У Джижетты что-то неисправно с легкими и почками. Но здесь она опять молодцом. Привет дочери.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 45—46 об.

№ 22

[Ранее 6 января 1901 г.]***
Вторник

Дорогой Александр Иванович!

В ожидании увидать тебя вскоре[54], пишу тебе только несколько слов о Карышеве, Жижетте и себе самом. К[арышеву] Эльснир

---

* Письма в деле нет.

** Дочь А.И.Чупрова.

*** Датируется по содержанию. Письмо является как бы продолжением письма № 21. М.М. Ковалевский продолжает ждать приезда А.И.Чупрова. Из письма № 23 от 6 января 1901 известно, что приезд А.И.Чупрова не состоялся.

посоветовал завести семью, говоря, что от этого всецело зависит его выздоровление. Я думаю, в этом много правды. Но несомненно также и то, что он этому совету не последует детей ради.

Жижетта совершенно поправилась; живет припеваючи на своей вилле в обществе M-elle Bonard, много учится, усердно играя на фортепьянах, катается со мною в Сан-Ремо и не раз вспоминает своих добрых знакомых, вас троих в том числе.

Я читаю без отдышки, но не без отвращения, всякие книги о царях и императорах, о думе, соборах, коллегиях, служилых людях, холопах, смердах и пр., и проч., и проч. Из всего этого сфабрикую лекции на английском языке. Но последнее дело идет медленно. Пока родил на свет только одно: о древнерусском государственном строе, но это, разумеется, самая трудная. Окончил также корректуру 1-й части 1-го тома моего «Происх[ождения] дем[ократии]». Поправляю в гранках III том «Эк[ономического] роста Европы» и перевод на фр[анцузский] язык книги об эк[ономическом] пол[ожении] Фр[анции] до революции. Часть его была прочтена мною в форме лекций в Париже нынешней осенью. Книга об Общ[ине], посланная твоему сыну* в Страсбург, возвращена мне обратно. Что с ней делать?

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 47—48 об.

№ 23

6 янв[аря] 1901 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Очень огорчило меня переданное тобой известие о болезни дочери. Чехов, который здесь в качестве врача, высказывает сомнение, чтобы опухоль была в какой-нибудь связи с прежней болезнью, ввиду значительности промежутка времени.

Но, разумеется, лучшее, что ты можешь сделать, это поспешить к Кохеру, который, вероятно, посоветует Вам обоим зимовать на юге. Холод в Женеве, вероятно, больше здешнего, который все же не меньше двух градусов.

Ты слышал, вероятно, о том, что в Киеве 465[55] студентов отданы под суд университетскому трибуналу. Жандармы введены были в здание университета и обнажили шашки под предводительством генерала Новицкого[56], который приказал ректору явиться на сходку. Все это вызвано недовольством студентов лекциями Эйхельмана, заменившего Трубецкого, проживающего в Ментоне. Узнав о начавшихся манифестациях, Драгомиров[57] приказал Эйхельману не ходить в университет. — Обо всем этом узнал от Коротнева и Владимирского-Буданова, которые оба в Ницце. Был у меня вчера

* Сын — Александр Александрович Чупров.

Духовской, говорил, что факультет желает иметь профессором Мануилова. Спрашивал, увидят ли тебя вскоре читающим снова лекции в Москве. Я ответил, что не знаю.

Письмо Иванюкова не столько затерялось, сколько где-то заложено. Содержание его приблизительно следующее: И[ван] И[ванович] благодарит меня за переданные Соболевским 400 руб., которые ему очень пригодятся для расплаты, просит уведомить о том, где я буду проводить зиму. Чехов считает Иванюкова здоровым, а наоборот, нервнобольным — Соболевского и думает, что его следует выписать в Ниццу. — Тебя сделали членом Международного инст[итута] социологии, о чем ты извещен Вормсом. Ответь выражением признательности. Дорогой, сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 51—52 об.

№ 24

Болье, 23 января [1901 г.]*

Дорогой Александр Иванович!

Прости, что не писал тебе так долго. У меня прожил 16 дней де Греф[58], ректор университета в Брюсселе, совсем больной. Рядом в твоем отеле поселился Вандервельде и почти весь день, кроме моих рабочих часов утром, просиживал на вилле Батава, а тут надо было еще кончать 1 часть «Происхождения совр[еменной] дем[окраии]» и составлять список опечаток. Едва управился, отложив в сторону другую работу и, между прочим, переписку. Долго ли намереваешься остаться в Риме [?] Я сам бы не прочь к тебе приехать, так как с февраля моя вилла должна поступить к тому канонику, который снял ее в прошлом году и не воспользовался ею. — Не нужно ли выслать тебе каких-либо книг [?] Посланные, надеюсь, получены. Я свободен до мая, а в этом месяце буду читать в Брюсселе два курса, и излагать один по-русски (англ[ийское] госуд[арственное] право). Надеюсь, что удастся устроить Гамбарова профессором в Брюсселе с правом читать по-русски и получать 5000 фр[анков].

С Иванюковым творится что-то недоброе. Он совсем собрался было умирать, а теперь увез определять дочь в какой-то пансион в Москве. Мне пишут, что он страдает от истерии. Ты бы напустил на него Остроумова[59].

Сердечный привет твоим дочкам.

Твой Ковалевский.

Там же. Л. 131—132 об.

---

* Датируется по содержанию. М.М. Ковалевский в начале 1901 г. готовил к 2-му изданию I том «Происхождения современной демократии».

№ 25

3 марта 1901 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Совершенно понимаю, что тебе слишком дорого поселиться и Больше с значительной семьею, но очень жалею, что наше свидание таким образом состоится не вскоре. Я бы приехал к тебе в Геную, но моя простуда еще не прошла, а главное, у меня припадок подагры в левом локте. — Нашел секретаря англичанина и диктую ему мои лекции. Но работа подвигается медленно. Читать приходится пропасть — и не всегда с охотой. Что за презренная литература наплодилась за последнее время по русск[ому] госуд[арственному] праву и его истории. Все эти Филипповы, Грибовские, Петровские, Щегловы и tuttus quant — не только хамы, но дураки и неучи, которых изучать тошнехонько.

Дотанцевался наш каменный гость — кажется везло, а тут напоминание об одиннадцатой заповеди: не будь дураком. То-то труса теперь празднуют все патриоты!

Соболевского упрашиваю переехать ко мне — и он, кажется, сдается. Хочу переслать тебе I и II часть первого тома моей книги[60], французск[ий] перевод 4-го тома и немецкое изд[ание] «Экономический стр[ой] Европы». Но не лучше ли подождать твоего приезда? Два твоих фельетона прочел с большим интересом. У меня был знакомый тебе проф[ессор] Scrafta из Пармы и я перевел ему отрывки из твоих статей. — Сообщаю не без радости, что мой «Конец Венеции» встретил в Италии лучший прием, чем в России. Molmenti, как ты знаешь, лучший теперь знаток венецианской истории, посвятил ему целую статью в Antologia.

P.S. Взнос Вормсу 3 марта 1901 — всего 20 франков единовременно.

Привет всем твоим.

Твой старый друг Ковалевский.

Там же. Л. 53—54 об.

№ 26

Экс, 29 мая 1901 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Пишу тебе из Экса, где я застрял на обратном пути из Парижа, чтобы взять десяток душей и тем предупредить новые припадки моей болезни. Прежде всего позволь поздравить тебя и твою дочь с благополучным исходом давнишней дружбы. Я мало знаю г. Сперанского, меньше, чем желал бы этого; но и короткие встречи, а тем более его книга, оставили во мне впечатление сильного и оригинального ума. Поль Бойе[61] и все, кто близко знал его, не нахвалятся им, говоря, что всякому делу, за которое он взялся, он

отдается душой. Союз с таким человеком, очевидно, не может не составить счастья твоей дочери, а следовательно и твоего.

Для меня возникает только один тревожный вопрос — не увлечет ли этот брак и тебя далеко от Италии и юга Франции и не потеряю ли я таким образом возможность более частого свидания с тобою?

Будешь ли ты еще в Пелье между 7 и 10 июня? Если да, то я бы заехал к тебе по дороге домой.

В Париже лекции задержали меня дольше, чем я думал. Пришлось прочесть целых три курса, не считая семинария, довольно удачного и посвященного всецело изучению реформы 19-го февраля.

Что-то даст будущий год? Настоящий завершается приездом Свечникова и Винавера[62], а также Венгерова[63]. Обещают приехать в будущем и Арсеньев, и Кони.

Всего же более желателен, разумеется, ты и твое согласие, хранимое по твоему желанию в тайне, всех нас очень обрадовало.

Прошу тебя передать твоей дочери мои лучшие пожелания.

Остаюсь твой старый друг Ковалевский.

P.S. Что ты слышал о Янжуле? Иоллос, который желал бы встретиться с тобою, прямо сообщал мне, что Янжул болеет где-то в Швеции. Правда ли?

Там же. Л. 55—56 об.

№ 27

Больe, 28 октября 1901

Дорогой Александр Иванович!

И радостно, и обидно знать, что ты так близко от меня, близко, разумеется, для американца, каким я сделался последние четыре месяца. Приехал бы охотно повидаться с тобой, но должен на днях открыть чтения лекций в Париже в Русской школе общественных наук[64]. Предметом будет вопрос о происхождении Американской гражданственности. Это позволяет мне познакомить моих слушателей одновременно и с началами английской государственности и общественного строя, и с особенностями американского. Буду читать ежедневно по два часа в течение трех недель. В 36 лекций (да еще часовых) можно наговорить пропасть. — Мой курс в Америке о России печатается в типографии чикагского университета. Надеюсь в скором времени получить несколько экземпляров для раздачи и тогда, разумеется, пришлю тебе один из них. Иностранная печать более внимательно относится к моим работам, чем русская. Тогда как у нас не появилось ни одного отзыва ни о «Падении венец[ианской] независ[имости]», ни об «Эконом[ическом] росте Европы», в Италии и Франции вышли о первой уже пять отзывов, и все хвалебные, а об экономическом строе, кроме трех немецких, один Поллока[65] «Engl. Sistor», Revier и один

Salvioli, проф[ессора] истории права в Палермо, на итальянском. — За смертью моего издателя Солдатенкова мне, вероятно, придется перейти к писанию книг на иностранных языках, и, кажется, в добрый час.

Рад слышать, что тебе понравились мои фельетоны об Америке. — Соболевский не напечатал пока одного из них о государственном университете Калифорнии* (Berkeley University). Пишет, что он появится статьей. Познакомился же я с этим университетом в следующих условиях. — Совсем собравшись уехать из Сан-Франциско, я уже взял билет в спальном вагоне, как мне доложили о визите ректора Виллера. Принимаю. Просит не отказать в прочтении по крайней мере двух лекций, ввиду открытия в этом же году преподавания русского языка. Я ссылаюсь на то, что мой билет уже взят, что у меня нет под рукой ни русских книг, ни заметок, что прочитанный курс остался в Чикаго и печатается в типографии университета. — Ничто не действует, и я в конце концов сдаюсь. С невероятным нахальством я в тот же день читаю безо всякой подготовки перед аудиторией человек в триста о русском фольклоре и его значении для общей истории права. С тою же дерзостью выступаю в положенный час и на следующий день при такой же многочисленной аудитории. — И в заключение всего, кроме аплодисментов, получаю еще тысячу франков. Провожающий меня ректор Духовной Академии заманивает прочесть у них. Из соседнего университета Stanford также идет приглашение. И я одно время испытываю те же чувства, которые заставили Хлестакова, обобравши Городничего, не брезгать и скромными подачками Бобчинского и Добчинского. Но добродетель и страх не попасть вовремя к пароходу, отплывающему в Европу, берут в конце концов верх. Хотя ректор Духовной Академии — академик восклицает в недоумении «Is' it not satisfaction to get a good salary?»**, но все-таки отказываюсь от всяких дальнейших чтений и поборов и уезжаю к мормонам.

Подобно тебе, и я бы охотно принял участие в чествовании Стороженко. Пошлем ему, если хочешь, совместную телеграмму, а если сборник не вышел, то и по статье. Ты знаешь, как русские долго собираются. Ввиду этого мы, пожалуй, и не запоздаем. — Янжулу следовало бы бросить всякие инспекторские поездки, от которых страдает ни одно его сердце, но и добрая репутация. Я писал в этом смысле Константину Николаевичу из Сан-Франциско (разумеется, речь шла о сердце, а не о репутации). Поклон Постникову и пожелание ему быть деканом несуществующего факультета. Были же епископы in partibus infidelium***. Почему не быть и деканом?

Ты не пишешь ничего о твоем здоровье pas de nouvelles — bonnes nouvelles****. Не правда ли? На свое здоровье я пожаловаться не

---

* Государственный университет в Калифорнии // Русские ведомости, 1901, № 290.

** Разве недостаточно получать хорошее жалование (*англ.*)

*** В землях неверных (*лат.*)

**** Нет новостей — хорошие новости (*франц.*)

могу, по крайней мене теперь. — Но два месяца назад я пролежал десять дней в подагре почти на берегу Тихого океана и реки Колумбии, а именно в Портленде, в Орегоне. Было не весело!

Недурно было бы нам свидеться, если не зимою, то в апреле или мае. Как бы хорошо было всем прокататься в Париж и прочесть там обоим по нескольку лекций. Я обещал читать там весь весенний семестр, то есть с апреля. Если бы у тебя явилась охота, то ты бы остановился у меня. Думаю снять весною новую квартиру и «la chambre ami»* к твоим услугам. — Но, может быть, и раньше этого я приеду к тебе на несколько дней в Италию. Поэтому не поленись уведомить до 10-го о твоих передвижениях.

Сердечный привет всем твоим.

Старый друг М. Ковалевский.

Там же. Л. 57—62.

№ 28

[Париж, позднее 14 ноября 1901, но ранее 12 декабря 1901 г.]**

Дорогой Александр Иванович!

Я обещал тебе написать о школе. Дела идут отлично. Записалось постоянных посетителей — двести человек. Приехавшие, за двумя, тремя исключениями люди, не лишенные средств, исключенные студенты, люди, ранее выехавшие в Европу (Германию или Бельгию), не допущенные в университет евреи и еврейки, земские статистики, приехавшие пополнить свое образование, человек пятьдесят из них москвичи; остальные из всевозможных городов России, начиная с Владивостока. Вся эта молодежь поражает прилежанием. Не знающих франц[узского] языка — не более семи, восьми человек. Для их обучения приглашен уже лектор. Курсы читаются систематически, в том числе три моих: 1) История сословий в России, 2) Экономическая история Европы, 3) История английского и американского конституционного развития. Рядом со мной Гамбаров[66] читает курс по основным вопросам гражданского права, Аничков по истории русской литературы, Волков[67] по антропологии, к январю приедет Карышев и прочтет тридцать лекций по политической экономике. Русский (по матери) профессор Анри[68] (из Сорбонны) предложил читать даром и по-русски курс психофизиологии. Ученик Брентано с дипломом парижской школы политических наук Липман прочел конференцию по истории учения о заработном фонде и прочтет еще ряд лекций о рабочем вопросе. Щукин читает курс по истории русских сект, начиная с XIV в. И все это слушается со вниманием и интересом.

---

* «Комната для друга» (гостевая комната) (*франц.*).

** Датируется по содержанию: 14 ноября 1901 г. состоялось открытие Русской школы общественных наук в Париже, 12 декабря 1901 г. — дата предполагаемой встречи М.М. Ковалевского и А.И.Чупрова.

Меня прервали. Спешу переслать тебе письмо на твое имя и копию твоего письма, в силу которого решились напечатать твое имя в числе будущих профессоров, несмотря на мои протесты. — Не съехаться ли нам в Генуе, я буду в ней около 12 декабря.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 63—64. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского // Исторический архив, 1993, № 6. С. 171—172.

№ 29

[Ранее 7 января 1902 г.][*]

Дорогой Александр Иванович!

Пересылаю тебе чек, полученный на твое имя, и в то же время уведомляю тебя, что в пятницу Соболевский, я и Жижетта отправляемся во Флоренцию, первые два — для свидания с тобой, последняя для отдыха и прогулок; Собол[евский], как ты увидишь, значительно поздоровел. Собирается во Флоренцию и Боборыкин. Наше пребывание продлится до середины будущей недели, а там опять дописывать лекции и отправляться в плавание. Прилагаю тебе выдержку из присланной мне сегодня тулузской газеты. Ты узнаешь из нее, что я в ссылке(??).

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Разговоры о событиях отложены до Флоренции. Недостатка в них не будет.

Там же. Л. 65 об.

№ 30

7 янв[аря] 1902 г.

С Новым годом!

Дорогой Александр Иванович!

Поджидал известий из Парижа, чтобы сделать мое письмо сколько-нибудь занимательным. Ведь в Болье, как и в Пельи, все интересы сводятся к солнцу. Согретый его лучом я опять чувствую себя хорошо, работаю над «Амер[иканской] ист[орией]» (пока в форме конспекта для будущей лекции), правлю корректуры на двух языках, читаю социологов — Уорда и De Marinis, посещаю концерты классической музыки и оперу, вижусь изредка с киевскими профессорами (Владим[ирским]-Будановым, Коротневым). От них узнал, что половина сообщенного иностранной прессой [—] чистый вымысел; бомб в Константина Константиновича не

[*] Датируется по содержанию письма № 30.

просали, немец[кого] конс[ула] в Петерб[урге] не тревожили, профессоров не били (даже в Харькове)[69]. Одного ректора Куплевасского[70] назвали дураком, но в названии предмета его именем нельзя видеть обиды. Коротнев виделся с Вановским[71] и слышал из его уст выражение готовности закрыть университет.

В парижской школе подвизаются Кареев и Карышев с неравным успехом, причем преимущество на стороне Карышева.

M-le Lorenzune шлет свои сердечные приветствия; она поглощена музыкой, мечтает о славе и успехах, но временами капризничает, но тем не менее по-прежнему чарует мое сердце.

Очень рад, что Maraglano подтвердил показания прежних врачей. Хотелось бы знать, насколько учтено было его лечение. Говорят, в ревматизм жить на самом берегу моря неодобрительно.

Вероятно, теперь вся твоя семья в сборе. Передай всем им поклон, а сыну сверх того благодарность за присылку его статьи о Вашем общем труде о влиянии хлебных цен.

Если твоему сыну книга «Baden Powell's» больше не нужна, я не прочь получить ее обратно для статьи о Seebohm's, который шлет мне свою новую книгу с старыми облюбованными им взглядами.

Твой М. Ковалевский.

Там же. С. 67—68 об.

№ 31

[26 марта 1902 г.]*
Вторник

Когда же ты, наконец, приедешь, дорогой Александр Иванович? Третий день ждем тебя к 8-ми. Погода разгулялась. Сам я на ногах. Гулять готов. Баклуши бить тоже. Приезжай.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 71 об. Почтовая открытка.

№ 32

18 мая 1902 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Началсая разъезд русских и съезд твоих приятелей. Пора бы тебе внять общим нашим мольбам и приехать пожить у меня. Что более своевременно, что наступают праздники, а за ними меня требуют в Париж для чтения лекций. Писал тебе, но слышу от Соболевского, что письмо мое не дошло. Недавно хвалю Соболевскому разнос Витте в Вашей газете, а оказывается, что автор его — ты. Поздравляю. Сделано с большим мастерством. Напечатай

* Датировано по почтовому штемпелю.

кого-нибудь, того же le Matin, последовало бы опровержение Рафорловича*, и вслед затем газета получила бы денежное поощрение от кого другого, какого-то Витте. Меня уверяли, что так именно и было на днях. Хочу о книжке Ал[ександра] Ал[ександровича] [Чупрова] написать статью. Работа прекрасная. А с «Вестниковым истории всеобщей» приключилось следующее. Заведовавший редакцией забрал годовую подписку и был таков.

Жду ответ на призыв и непременно утвердительно. Теплый привет твоей дочери.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 69—70.

№ 33

9 июня 1902 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Мне нужен твой совет: не откажи мне в нем тотчас по получении письма.

С месяц я выписал из харьковской конторы Государственного банка следуемые мне 8000 рублей и до сих пор их не получил. Телеграфировал управляющему. Ответил: деньги высланы по адресу Hotel Valois, где я жил в Париже. Прошло еще десять дней. Послал новую телеграмму с оплаченным ответом, которого не дождался даже на третий день. Уезжаю в Болье. Очевидно, посылка перехвачена, заключала же она в себе и деньги, и квитанции на мой капитал в банке на цифру 250 000 руб., никаких других доказательств у меня, очевидно, нет. — Не видать ли в этом действие политической полиции, агенты которой являлись на мои лекции. Не вообразили ли в России, что деньги выписаны для поддержки какого-нибудь заграничного издания, хотя, по-видимому, всем моим прошлым я доказал, что не поддерживаю никакой подпольной печати ни деньгами, ни собственным участием.

Вот ты и посоветуй мне, как быть: ехать ли немедля в Россию, рискуя арестом по ложному обвинению или кое-как перебиваться и выжидать? Заметь, что за границей, за исключением виллы, у меня нет ничего, кроме трех тысяч франков в наличности.

Будь другом, дай обдуманный ответ и сохрани все это между нами.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 72 об.—73 об.

---

* Так в тексте. Следует: Рафалович[72].

№ 34

Венеция, 25 июня 1902 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Я от тебя, вероятно, в довольно близком соседстве. Если путь твой на север лежит через Венецию или Верону, сделай милость, остановись на время или выпиши меня. Жары пока нет, работаю утром, по вечерам гуляю. Распорядился перед отъездом, чтобы Александра Александровича* приняли и устроили на вилле Ботаве, вручили ему каталог (неполный) и допустили к пользованию библиотекой. Если он в Италии, то почему бы ему не последовать твоему совету и не составить свой список нужных Политехникуму книг у меня? Кстати, он найдет в библиотеке и немало каталогов английск[их] и франц[узских], которые ему пригодятся. Самая полная коллекция экономических книг и брошюр, принадлежавшая Фоксъ-Берну, сколько я слышал, продана им Кембр[иджскому] университету. Каталог ее был составлен до продажи, копия его, вероятно, может быть продана за деньги. А в России только стреляют и вешают! Ходят слухи, что убили Харьк[овского] губернатора[73]. Правда ли?

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 74 об.—75 об.

№ 35

Каденабик, 24 авг[уста] 1902 г.

Дорогой Александр Иванович!

Я от тебя недалеко, на берегу Комского озера. Писал тебе из Венеции под диктовку мой секретарь. Письмо отослано было в Pegli и тебе, видно, не переслано. Сам я не мог держать перо в руке, так как у меня с месяц продолжался острый ревматизм сочленений в правой руке и правом локте. Лечился я от этого на Лидо, привязывали грязями из Баталии; взял 18 ванн и пока боли не возвращаются, но все еще чувствую некоторое неудобство при писании. Рад был бы повидать тебя и Янжула. Если он останется с тобой некоторое время и ты уведомишь меня об этом телеграммой, я не прочь буду приехать в Цуг на день или на два.

В Венеции я все-таки поработал немало. Помнишь, я говорил тебе о намерении написать на основании архивных данных о Венецианской и Генуэзской колониях на Азовском море. Эта мысль осуществлена и завтра посылаю на имя графини Уваровой, представительницы археологического съезда в Харькове, мемуар об истории Азова в эпоху Венец[ианской] и Генуэзс[кой] колоний[74].

С «Совр[еменными] социологами» все еще не справился, хотя уже близок час победы и они мне осточертели. Печатанье III тома

* Чупров А.А.

«Рос[та]»* окончено и тебе, конечно, тотчас по выходе выслан будет экземпляр. — Адресов книгопровидцев-антикваров я теперь не припомню, кроме Hocepli de Munant Loescher'a la Rumme u fratelli Bocce в Турине. Эти все добудут Алекс[андру] Ал[ександровичу] с незначительной приплатой. Они настолько известны, что более точного обозначения их места жительства не требуется.

Насколько ты поправился от лечения и скоро ли вернешься в Италию? Теперь, когда одна дочь замужем в Париже, другая учится в Берлине, третья в Москве, а сын профессорствует в Петербурге, пора бы тебе приехать после Рождества и общего съезда всей семьи на зиму ко мне в Больe, чтобы ты и приготовил новые издания своих лекций или, по крайней мере, их первой части. Я буду в Париже и Брюсселе по декабрь, а затем в Больe по апрель.

Сердечный привет всем твоим, а также Янжулам.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 76—77 об.

№ 36

[Каденабик, ранее 1 ноября 1902 г.]**

Дорогой Александр Иванович!

Жаль, что ты уезжаешь так далеко! Смотри же, сдержи обещание, проживи со мной в Больe зимою. Очень обрадовала бы совместная поездка в Париж. Но да не будет она связана тесно с твоим приездом на Ривьеру, так чтобы мы могли и погулять, и поработать независимо от всяких забот о лекциях. Что касается до последних, то хорошо было бы познакомить в них слушателей с содержанием подготовляемой тобою книги, а еще лучше повторить им хотя бы часть твоего общего курса, положим историческую. В этом случае я бы мог довести мое изложение до Адама Смита и предоставить тебе все остальное.

Петровский был у меня несколько раз; мы говорили с ним о затеваемом издании, я, не отказываясь от сотрудничества, обещал дать Англию и Америк[анские] Штаты, но, между нами, я вынес впечатление, что у них нет ни определенного плана, ни хорошо подготовленных сотрудников. Потому, что из всего этого выйдет, известно Аллаху.

Избрал я для жизни Каденабик, потому, во-первых, что Жижетта может брать здесь уроки музыки, так как поблизости живет ее учитель, а во-вторых, потому, что это самое прохладное место на озере. И очень уж тут хорошо! Жаль только, что много скучнейших англичан, для которых надо по вечерам надевать смокинг!

---

* Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства.

** Датировано по содержанию письма № 37, в котором сообщается, что лечение грязями не помогло.

Привет всем твоим.

Сердечно тебе преданный М. Ковалевский.

P.S. Туган-Барановский написал мне, что сидит под надзором полиции.

В Комо — Тимирязев. По его просьбе я приезжал его проведывать. Жена и сын были в тифе. Первый совсем поправился, а вторая все еще хворает. Ты знаешь, что Климент Аркадьевич остался при университете только в должности приват-доцента. Я приглашал его к нам в школу. Он выразил согласие и, по-видимому, был польщен.

Теперь о грязях.

Я лечился в гидротерапевническом заведении на Лидо, близ Венеции. Грязи они доставляли ежедневно из Абано-Баталла. Вот скоро месяц как всякая боль прошла. Припадки острого ревматизма сочленений на подагрической почве уже не в первый раз появляются у меня в суставах рук, прежде задеты были только ноги!

Там же. Л. 78—79 об.

№ 37

1 ноября 1902 г.

Дорогой Александр Иванович!

Ты простишь мою неаккуратность в переписке, узнай, что я опять в постели. Грязи ничему не помогли и ни от чего не избавили. Подагра в обеих ногах и в левой руке (местами болит правая). Я подготовлял все это время курс по ист[ории] политич[еской] эк[ономии] до Адама См[ита], далее которого идти не решаюсь, за незнанием новейшей экономической литературы. Если поправлюсь недели в две, поеду в Париж читать лекции на месяц. Иначе волей-неволей придется остаться в Болье. Очень мне улыбается и пожить и почитать с тобой совместно.

Привет Сперанским.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 80. Почтовая открытка.

№ 38

[8 ноября 1902 г.][*]

Дорогой Александр Иванович!

Спасибо за дружеское участие. Положение следующее: недомогать я стал еще в Милане и чувствовал, что боль приближается. Устроив Жижетту на два месяца в Милане, где она усиленно занималась форт[епьянной] игрой, я поспешил в Болье. Нужны были книги для подготовки лекций. Занялся я очень прилежно. Дело шло так дней десять. Ходить я почти не ходил. Погода была чуд-

[*] Датировано по почтовому штемпелю.

ная, топить не приходилось. Завтракал на воздухе. Как-то после диктовки ноги показались мне деревянными. Прошелся по комнате, все же остался след и в ближайший день. Заставил себя пройти до отеля Бонд — и слег с подагрой сперва в левом, теперь в правом колене и левой руке. Пролежал уже десять дней. Поправлюсь ли в неделю? Едва ли. Твой М.К.

Там же. Л. 78—79 об. Почтовая открытка.

№ 39

13 янв[аря] 1903 г.

Дорогой Александр Иванович!

Письмо твое застало меня больным инфлюэнцей. Простудился в дороге. За инфлюэнцей последовал приступ подагры. Сижу и лежу. А между тем у меня гостят Вандервельды, муж и жена. Не был до сих пор даже в Ницце и ни с кем не виделся. Ты, вероятно, слышал, что денежные дела школы блестящи: одна из слушательниц, москвичка, пожелавшая сохранить инкогнито, после одной из моих лекций вручила мне чек в тридцать тысяч франков. Вчера из Канн послана еще тысяча. Лет на шесть существование школы обеспечено. Но в профессорах чувствуется недостаток. Карышев приехал больным и прочел мало. Гамбаров лечится и читает всего одну лекцию. Волков старается, Ивановский[75] плох и не готовится. Апостол и Щукин прилежны. Тамашев[76] — усыпителен. При таких условиях расхолодить аудиторию, весьма сочувственно настроенную, дело немудреное. Мне лично пришлось читать целых шесть лекций по таким разнообразным материям, как история политических учений в древности, экономических — в средние века и эпоху Возрождения, социологических — в конце прошлого столетия. Готовлюсь весною сверх этих курсов читать еще древнее русское право и английское — государственное. Такие набеги в область чужих специальностей, разумеется, расширяют собственную начитанность, но мешают в то же время всякой самостоятельной работе. Ты сделаешь доброе дело или вернее, спасешь наше предприятие, приехав читать лекции весною.

Я думаю начать тотчас же после Пасхи.

Привет твоей дочери от нас обоих. Жижетта провела осень в Милане в занятиях музыкой, сделала успехи; со мною в Болье, на своей, разумеется, вилле. Шлет тебе горячий привет. — Вчера явился ко мне кн[язь] Гагарин[77], начальство Ал[ександра] Ал[ександровича] с письмом от Иванюкова. Произвел на меня впечатление добряка и дурака. Для иллюстраций: «Лопухин[78], к которому я обратился, — говорит, Гамбаров в политическом отношении не опасен, но бездарен. А Вы как думаете?» И вот мне приходится обсуждать вопрос, в какой мере жандармское ведомство призвано аттестовать ученость и талантливость профессоров. Алекс[андр] Алекс[андрович] [говорит]: Гагарин доволен да и всем вообще составом профессоров: «Куда, говорит, лучше университетских. В университете один, два читают хорошо, а у нас все».

Вообще такого дурака следовало бы показывать в Европе с оглядкой. Говорит о Ковалевском Вл[адимире] Ив[ановиче], что все ждут его скорого возвращения к почестям и деньгам.

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Лечит меня от толстоты англ[ийская] знаменитость Davis. За все лечение взял вперед 400 фр[анков].

Там же. Л. 82—85. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского // Исторический архив, 1993, № 6. С. 172—173.

№ 40

8 июня 1903 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Твои старые приятели, Янжул и я, собравшись в Париже, грустят по случаю твоего отсутствия. Иван Иванович и повернул-то на берега Сены в надежде встретиться с тобою, а твоя трижды проклятая простуда лишила наших слушателей горячо ожидаемого лектора, а нас с Янжулом сердечно любимого друга*.

№ 41

3 июля 1903 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Твой неприезд опечалил многих. Если с ним связан твой проезд осенью, то я не останусь в числе опечаленных, так как студенты разъезжаются. Когда же мы увидимся с тобой? Я собираюсь недели через две в Швейцарию.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Оп. 2. Д. 131. Л. 1.

№ 42

Париж, 7 ноября 1903 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Позволь от души поздравить тебя с предстоящим замужеством второй[79] твоей дочери. Два естествоиспытателя разного пола, живущие в любви и согласии под одним кровом и посильно двигающие науку — явление не банальное. Будем надеяться, что их не разъединят даже спор химистов с виталистами, в котором Тимирязев попортил себе так много крови!

---

* На обороте написано письмо И.И.Янжула.

К поздравлениям позволь прибавить и благодарность и сообщить тебе, что если ты исполнишь твое обещание, то самое лучшее, будет тебе остановиться у меня. Я живу в одной квартире с Жижеттой. У нас две спальни, но достаточно мне будет взять добавочную постель, и мне легко будет уступить тебе мою спальню. Мы держим кухарку, в комнатах тепло; есть ascenseur* и ванна. Жижетта обещает быть любезной хозяйкой и очень рада была бы твоему приезду и остановке у нас.

Школу мы открываем 15-го двумя лекциями Шарля Жида и Исаева[80]. Но настроение наше невеселое. Твой старый товарищ и сослуживец Плеве обрушился нежданно-негаданно на де Роберти. Плеве признает его деятельность вредной для отечества и от имени государя требует его приезда в Петербург. Евгений Валентинович, не зная даже в чем его обвиняют, болеет, мучается, шлет свидетельства о болезни, письма министру и царю и в Россию не едет. Грозят ему лишением прав гражданства и т.д. Из Москвы и Петербурга идут слухи, что и меня почему-то ждет та же напасть. Лопухин был в Париже, виделся с де Роберти, сообщил ему, что письмо его прочитано Государем, который приказал произвести дополнительное следствие и доложить о его результатах ему лично. Но тот же Лопухин уже по возвращении в Петербург объявил жене де Роберти буквально «qu'on cassera la plume de jou mari et pour toujours à foi qu'il ne puisse en user contre son pays»**. Мне заведомо известно, что де Роберти не находится в сношениях ни с кем из русских революционеров, не написал в их изданиях ни единой строчки. Вообще ничего не пишет, кроме своих книг и лекций, отвлеченностей, нередко довольно туманных. В чем состоит и откуда идет донос, мы не постигаем.

Так как профессоров съехалось немного, то мне приходится раздуваться за всех, читая семь лекций, две о современных социологах, три по генетической социологии (происхождение семьи, собственности, государства) и две по экономической истории и экономическим доктринам XVII и XVIII веков.

Черкни словечко, ответь и дай добрый совет по делу де Роберти.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 90—91 об.

№ 43

6 декабря 1903 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Приезжай, когда вздумаешь. Мы твоего курса даже не объявляли, а я заберу как и в прошлом году большое число часов, которые и передам тебе, если твой приезд состоится. Не хочешь читать по вечерам, будешь читать днем. Слушателей будет много, так как запи-

---

* Лифт (*франц.*).

** «Что ее мужу сломают перо, дабы впредь бы не мог использовать его против своей страны» (*франц.*).

...ных около 400 человек и все ждут тебя с нетерпением с про-...шлого года, хотя и не очень надеются на твой приезд[81]. Никакой ...скандал тебя не ждет[82] и к предотвращению его будут приняты меры. Париж не Москва и тут подобным историям значения не дают.

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Дружеский привет обоим супругам Сперанским.

Там же. Ф. 2244. Оп. 2. Д. 131. Л. 3—3 об. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского // Исторический архив, 1993, № 6. С. 173.

№ 44

1 января 1904 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Тебе пришлют столько корректуры, сколько тебе будет угодно. Высылай только скорее рукопись на мое имя. Гамбаров получил назначение в Петербургский Политехникум и теперь в России. Все мои планы на отъезд рушились. Приходится читать снова шесть лекций по Ис[тории] Русск[их] Госуд[арственных] учрежд[ений], по истории полит[ических] учений и по Совр[еменному] Госуд[арственному] Праву европ[ейских] народов; кроме того, править корректуры для сборника, книги «Совр[еменные] социологи» и III тома немецкого издания. А тут от Карышева и Кольцова[83] явилось еще требование приехать в Москву для справления Татьяны[84] и произнесения спичей на либеральных банкетах. Запрос пришел в разгар весны. Я думал, что с ее окончанием закончатся и частные говорильни. Телеграфирую Кольцову: Maintenez-Vous Votre demande? Ответ: Maintenons, préparons tout, agirons selon circonstances indépendantes* (что, вероятно, значит: независящие от нас обстоятельства). Ехать для пьяных поцелуев и произнесения речей, которым не суждено быть напечатанными, тошно. А между тем тут кое-кто, в том числе Добранович**/[85], настаивают, чтобы я ехал. Дай добрый совет.

Если в этой поездке есть какой-либо смысл, то я, разумеется, поеду. Но смыслу пока я не вижу никакого.

Школа идет хорошо в том смысле, что на лекциях бывает до 300 человек как утренних, так и вечерних. Читает Исаев. Читает Трачевский[86], Анри и только.

Сделай одолжение, если Франк[87] в Мюнхене, убеди его приехать поскорей (500 фр[анков]), а если на несколько месяцев, то по 1000. Нам грозит беда остаться без лекторов.

Не подыщешь ли еще кого, с вознаграждением.

---

* Настаиваете ли вы на вашем требовании? Ответ: Настаиваем, все готовим, действуем по независящим обстоятельствам (*франц.*).

** Так тексте. Следует Добронович.

Хочу пожелать тебе счастливого года в кругу любящих тебя людей и семьи. Других общественных радостей, кажется, ждать трудно.

Когда же выйдет твой том и не хочешь ли дать его в нашу библиотеку? Сытин[88] предложил платить по 60 рублей — лист.

Привет Сперанским. Жижетта тебе горячо кланяется и все тебя прославляет.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 93—94 об. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского. 1901—1905 гг. // Исторический архив, 1993. № 6. С. 173—174.

№ 45

Париж, 9 фев[раля] 1904 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

События пошли так быстро, что до сих пор не собрался поблагодарить тебя письменно за твои дружеские излияния.

Кому благодарить, как не мне. Несмотря на дурное здоровье и, кажется, не веря в душе успеху нашей школы, ты приехал поддержать меня самим твоим присутствием в тяжелую минуту, нами переживаемую[89].

Сердечно тебе спасибо! Что станется с нашей школой теперь, после начала военных действий, сказать трудно. — Одно то обстоятельство, что курс рухнул сразу, говорят % на 12 на русских бумагах, не позволяет думать, что студенты долго останутся в Париже. Но долго ли затянется война, и какими будут ее последствия для внутреннего положения России — кто скажет. Я начинаю серьезно подумывать о том, чтобы съездить в Россию, пожалуй, даже провести в ней лето. Очень уж интересное время придется пережить. Двинусь я, однако, отнюдь не сразу, а поразмыслив и выждав удобную минуту.

Книгу тебе вышлю завтра. В Брюсселе прием, как и всегда был радужный. Слушателей около 200. От Элезе Реклю узнал, что брат его Эли умирает, повидался с ним на следующий же день, передал его жене привет от всех русских друзей, в том числе Сперанских, а также участие в болезнях мужа. Она жалуется, от Сперанских давно нет писем. Старик парализован по пояс, но сохранил свежесть ума, норовит сказать каждому приятное, но, видимо, не обольщается насчет исхода своей болезни.

Дочитываю лекции, перебрался на новую квартиру и помышляю уже об отъезде. Приходится цыганить на старости лет. Дружеский привет от нас обоих всем твоим.

Не откажи уведомить о своем здоровье.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 95—96 об.

№ 46

Болье, 12 апреля 1904 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Мне просто совестно, что я до сих пор не ответил на твое дружеское и столь обстоятельное письмо. Экзема на ладонях обеих рук долго мешала мне держать перо. Все ждал, что пройдет. А она, анафемская, не проходит. Осталось приспособиться и писать каракулями. Твои опасения сбылись. Я вернулся усталым и недомогающим. Все хочется спать. Работ продвигается мало. Да и настроение неважное. Известия из Парижа не таковы, чтобы подбодрить. Небезызвестный тебе Качоровский все добивается, чтобы ему разрешили возобновить чтения. Добился, а студенты дважды устраивали ему скандалы, затем подрались между собой в школе и буквально разнесли ее. Изломаны столы, стулья, убытки на несколько сот франков. Пришлось прекратить преподавание до 24-го. А виновники скандала в лице 128 человек шлют невежественные прокламации с обещаниями возобновить его и повторить* и с выговором профессорам за то, что они разрешили чтения Качоровскому. Если бы русскому правительству иметь противниками только таких дураков, то ему предстоит здравствовать еще многие десятки лет. Мною студенты в заключение остались недовольны за то, что я объявил им о своем сочувствии «к тем русским крестьянам и рабочим, которые на Дальнем Востоке являются искупительными жертвами международных осложнений». Оказывается, что большинство их — японцы. Когда я вздумал было прочесть лекцию в пользу раненых, то мне заявили, что на нее не соберется и пятнадцать человек. Боюсь, что школа в Париже только усилит во мне пока дремавшие консервативные пристрастия. Какой свободный порядок устроишь с такими болванами].

Твоим письмом я воспользовался для предисловия к книге Вандервельда. Пишу теперь статью для сборника земцев о крупной земской единице. Есть, впрочем, опасение, что цензура не пропустит.

Уведомь о твоем здоровье и планах.

Сердечно преданный тебе верный друг, М. Ковалевский.

P.S. Привет Сперанским.

Там же. Л. 97—98 об. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского. 1901—1905 гг. // Исторический архив, 1993. № 6. С. 174—175.

---

* Слово неразборчиво, прочтение предположительное.

№ 47

[Позднее 24 апреля 1904][*]

Дорогой Александр Иванович!

Качоровский сам отказался от возобновления лекций, так что один источник беспорядков исчез. Остается затем вековечная глупость русского павольника[**], все сумевшего погубить, начиная с северорусских народоправств. С ней придется считаться не одним нам. Лекции возобновлены. Профессуры мало. Имеющиеся налицо ленивы (читай Гамбаров), трусливы (Щукин) или потеряли веру в дело (Анри). Мне едва ли удастся собраться в Париж. Возня с экземой прерывается только ввиду необходимости возиться с подагрой, посетившей уже меня три раза со времени моего возвращения в Болье. Жижетте так нравится жизнь на собственной вилле, что без охоты помышляет о переезде в Париж. В ответ на твой поклон прими ее приветствие тебе и дочери. «Сенатор» из Берлина, бывший временно в Монте-Карло, на консультации посоветовал мне поехать летом в Карлсбад. И я исполню его пожелание, все в надежде расквитаться с тридцатилетним врагом — артритизмом.

Была здесь Варвара Алексеевна. Соболевский остался в Крыму с детьми. В.А. смотрится молодцом, хотя и у нее по временам бывают приступы подагры. — Разговоров у нас нет других, как о войне и самодержавии. Я не прочь присоединиться к тем, кто считает его последствием самодержавия. Плеве продолжает требовать де Роберти в Россию, грозя секвестром. Французские же ученые с Бертело и Лависсом[90] во главе в числе двадцати пяти отправили через Delcasse' и Нелидова[91] ходатайство к царю об оставлении Евг[ения] Вал[ентиновича] в Париже. — Я полагаю, что самодержец Плеве удержит самодержца Николая от человеческого поступка, способного обновить его увядающую популярность в Париже.

Vale et mi ami[***].

М. Ковалевский.

Там же. Л. 99—100 об. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского. 1901—1905 гг. // Исторический архив. 1993. № 6. С. 175.

---

[*] Датируется по содержанию, лекции в школе были возобновлены 24 апреля 1904 г.

[**] Так в тексте. Видимо, невольника.

[***] Прощай и люби меня (*лат.*).

№ 48

18 июля 1904 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Убедительная к тебе просьба: позволь перепечатать твой курс в литеянном нами сборнике. Войдут ст[атьи] Гамбар[ова], Роберти, мои, Анри, Шейница, Тарда, Жида, Тарбукета. Гонорар 50 руб. от листа. Вышлем тебе корректуру. Лист в 3500 букв. Ответь открыткой. К литограф[ированному] курсу позволь прибавить 3 статьи «Русс[ких] В[едомостей]».

Твой М. Ковалевский.

Там же. Оп. 2. Д. 131. Л. 4.

№ 49[92]

[Карсбад, позднее 23 июля 1904 г.]*
Пятница

Дорогой Александр Иванович!

И сборник, и библиотеку общественных знаний мы думаем издавать в Москве, соблюдая требование цензуры. Эртель[93] повел переговоры с Сытиным, который соглашается более или менее на наши условия — 3000 экземпляров. — Цена по 50 рублей с листа.

Я считал, что в твоих лекциях около 6 листов и думал поэтому включить их в сборник, но раз ты пришлешь нам твой текст и в нем окажется листов десять, мы выпустим его книгой и даже первым томом всей серии, как ты этого желаешь. Но в таком случае не откажи прислать нам хотя бы печатный лист для сборника. Хотелось бы, чтобы твое имя фигурировало бы на заголовке. Может, прислать хотя бы разбор какой-нибудь книги или, еще лучше, что-нибудь из твоих заметок по Италии (положим результат посещения парижских земле[дельческих] синдикатов и банков)?

Еще одна просьба: не согласишься ли ты быть одним из трех или четырех издателей библиотеки: Иванюков, ты, я и Гамбаров. Ничто из области экономии не печаталось бы без твоего ведома и одобрения.

Можно было бы включить в библиотеку работы и лекции не одних профессоров парижской школы, но и Петербургского Политехникума, Московского или друг[их] университетов.

Не откажи ответить мне тотчас на этот счет. Я здесь до понедельника включительно. Янжул в Киссингенте, и я в понедельник поеду повидаться с ним. Передам ему твой поклон. Если бы не это, заехал бы к тебе! Но так как нельзя одновременно быть на

* Датируется по письму А.И.Чупрова от 23 июля 1904 г., в котором он спрашивает о том, кто войдет в состав сборника, каков будет его объем. Публикуемое письмо является ответом на все вопросы А.И.Чупрова.

Севере и на Юге, а Янжул совершенно болен сердцем, то откладываю свидание с тобой до другого раза. Передай мой дружеский привет твоему сыну. Я с интересом и пользой прочел его две статьи в журнале Петерб[ургского] Юрид[ического] Об[щест]ва и думаю, что его точка зрения на общинное землевладение, как своего рода страхование от старости, верна. Тебя, общинника, она вероятно менее удовлетворяет. Поздравляю тебя также с успехами дочерей. Работа докторская Елены Александровны, как я слышу, признается образцовой. Младшей же дочери* предсказываю судьбу новой Софьи Ковалевской (с прибавкой счастливого и раннего брака).

Поклон обоим Сперанским и, вероятно, им, скорее, увы, тщетное приглашение историку почитать в Р[усской] школе в Париже.

За выходом де Роберти[94] Charles Oi'de согласился быть вторым вице-президентом школы.

В Карлсбад я приехал в подагре, а уезжаю без нее. Это называется успехом. Из Киссингента думаю на время вернуться в Париж, а затем проехать в Венецию в Абано (для нового лечения). Сообщи о твоих ближайших проектах.

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Жижетта лечится в Ла-Бурбуль и со мною поедет в Италию.

Там же. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 101—104 об.

№ 50

Киссингент, 25 августа 1904 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Мы думаем приступить к печатанию сборника недели через две. Семь статей уже налицо. Размер их разный. Моя заключает более 6 листов. Сокращать тебе твои работы нет надобности. Издателем сборника будет не Сытин, а Львович[95] в Петербурге! Разумеется, никто не может иметь никаких претензий на то, если ты включишь в твою книгу в измененном виде содержание прочитанных тобой лекций.

Янжула я нашел лучше, чем ожидал. Слабость сердца у него в Берлине после прямого проезда из Петербурга была так велика, что доктор советовал ему не ходить, а ездить. Но он поправил свое здоровье в Наугейме. Хотя известия из России и с Дальнего Востока его сильно тревожат (брат его [—] дивизионный генерал под начальством Куропаткина), но сердце окрепло. Сам он в санатории, где его разоряют (36 марок поденно), но где строгой диетой уменьшили его вес с 131 до 124 кило (я на три кило вешу больше). Очень рад был бы своему свиданию с ним, если бы не разыгравшаяся здесь подагра. Я брал ножные ванны (сухой теплый воздух

* Марии Александровне.

до 125 градусов — страшно сказать). Похолодало и посырело. Я простудился. Нога у меня опухла ниже колена, болит, но ходить с трудом еще могу. Завтра думаю двинуться в дальний путь в Париж, где и поживу, пока поправлюсь. А то съезжу еще в Экс. Присылай твою рукопись по моему парижскому адресу: 13 Avenue de l'Observatoire.

Поклон всем твоим.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 105—106 об.

№ 51

[Париж, позднее 25 августа 1904 г.]*.

Дорогой Александр Иванович!

Напоминаю тебе об обещанной статье для сборника[96]. Не откажи прислать ее в ближайшие десять дней. Статьи уже стали поступать. Я устроился до января в Париже. После лечения в Эксе — новый приступ подагры в локте правой руки, писать трудно. Виделись ли с Янжулом? Где он?

Твой М. Ковалевский.

Л. 92—92 об.

№ 52

[Париж, ранее 16 ноября 1904 г.]**

Дорогой Александр Иванович!

Наша школа открывается 16-го ноября в воскресенье в 8 часов. Не приедешь ли к этому времени и не возьмешься ли прочесть первую лекцию в день открытия? Очень бы этим обязал всех нас. Де Роберти фактически выбыл из школы. Ты догадываешься, по каким причинам, III том моего «Экон[омического] роста» поступает в цензуру? Куда мне прислать его тебе, а также новый том перевода Бинштока***/97.

Поклон твоей дочери и зятю выражение моей неизменной привязанности.

Твой М. Ковалевский.

P.S. Поклон от Жижетты, которая со мною в Париже и ревностно учится музыке. Твой адрес сообщен мне Доброновичем.

Там же. Л. 86—87.

---

* Датировано по содержанию предшествующего письма № 50, в котором указано: съезжу в Экс.

** Датировано по содержанию, где сказано, что 16 ноября 1904 г. состоится открытие школы.

*** Так в тексте. Следует: Беджгот.

№ 53

Париж, 14 декабря 1904 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Спешу ответить тебе: присылай свою статью поскорее и без сокращений. 15 статей уже отданы в набор в Петербурге Львовичу. Ждем только твоей, чтобы выпустить сборник в январе. Декабрь считается и издателем месяцем, неудобным для выпуска учебных книг.

Не смеем и писать тебе о скорейшем окончании твоей статьи, так как узнали тебя в статьях «Русских ведомостей». За них говорят тебе сердечное спасибо люди, даже такие далеко стоящие от движения, как наприм[ер], консул Юрасов в Ницце. Я, может быть, менее пессимистически, чем ты, смотрю на современное положение. Этому содействовало одно письмо, полученное мной из Москвы, которое я и посылаю тебе для освещения с приложением и самого документа, до которого оно относится, письмо и документ верни. Пишущий не идеалист, а данное им обещание уже осуществилось: Моск[овская] Дума голосовала так, как он обещал[98]. Надурить наши «крайние» могут немало и уже пользуются этой возможностью. С их благоглупостями надо считаться как с тормозом, но ему, видно, не удержать тарантаса, который мчится быстро, кажется, не вполне зная куда. Что за прохвосты наши правители: сегодня Торквемады[99] и герцоги Альбы, завтра Неккеры[100] и Штейны[101].

Зная по опыту прошлого года с какими разбойниками и дураками приходится иметь дело en haut lieu*, не только перевел деньги в прошлом же году в Париж, но и приступил к продаже имения по частям. Меру терпения превысило полуофициальное сообщение посла, что Плеве требует от него поставить профессоров Русской школы или в необходимость выйти из подданства, или прекратить чтения.

У меня нашелся в Ницце человек, на которого я считаю возможным положиться — Пав[ел] Григ[орьевич] Трирогов, брат того, который сотрудничал в «Отеч[ественных] записках», он и занят распродажей. Треть суммы уже реализована. Я, может быть, оставлю за собой усадьбу и при ней 208 десятин.

Пишу сегодня же Янжулу. От тебя одного узнал о кончине Пыпина[102] и В.М.Михайловского. Мы с тобой еще поживем, мы заграничные и кое-что увидим.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Дружеский привет Сперанским.

Там же. Л. 107—108 об.

---

* В высших сферах (*франц.*).

№ 54

Париж, 1 фев[раля] 1905 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Убедительно прошу тебя прислать вторую часть твоей статьи. Мемуары печатаются в сборнике в известном порядке. Все передано уже издателю. Остановка в наборе только за твоей статьей.

Каково твое самочувствие в переживаемую тревожную минуту? Не слышал ли чего о причинах ареста Королева и Семевского. [Ко] мне ходят из редакции, расспрашивают о них.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 109—109 об.

№ 55

[Позднее 24 февраля 1905 г.]*

Дорогой Александр Иванович!

Тяжелые времена. Анархия еще не организованная, но в которую скоро внесена будет организация — правительство подает пример тому на Кавказе. В Маньчжурии погром, который ляжет тяжким бременем на всякое будущее правительство, хотя бы и конституционное. Здесь все радуются победам японцев — словом бедлам.

Не задерживай слишком долго корректуру. О твоем желании иметь сто экземпляров написал Львовичу. Откликнись словечком.

Поверить трудно, а факт — единственная русская высшая школа, в которой преподавание продолжается безостановочно при 300 слушателях — парижская[103].

Поклон Сперанским.

Твой М. Ковалевский.

P.S. Вышла третья часть моего «Родового быта». На днях выйдет вторая и «Современные социологи». Большая же статья об Амер[иканском] Госуд[арственном] строе залежалась у Гессена[104].

Пришлю тебе все мои труды, как только получу экземпляры для раздачи.

Там же. Л. 121—122 об.

---

* Датировано по содержанию. Битва под Мукденом, завершившаяся поражением русских войск, закончилась 24 февраля 1905 г.

№ 56

Париж, 7 апреля 1905 г.

Дорогой Александр Иванович!

Из прилагаемого письма Львовича ты увидишь, что он потерял всякое терпение и что с корректурой надо спешить, иначе он откажется от самого издания. Поэтому не хочешь ли поручить сверку корректуры мне? Я это сделаю возможно тщательно, а наше общее дело не пропадет.

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 110—110 об.

№ 57

Париж, 13 апреля 1905 г.

Дорогой Александр Иванович!

Кроме протестов Львовичу, я ничего не получил. Это вообще какой-то истерический страхователь; открыл его Гамбаров и я очень рад буду с ним разделаться по выходе сборника. — Число лекторов в школе увеличилось. С месяц читает здесь Гейтерберг (проживает в Берне) историю политической экономии. На днях закончил свой курс Борткевич[105]. Я был на половине его лекций. Они показались мне замечательными и по содержанию, и по изложению. Шлю тебе две новых статьи в «Р[усские] В[едомости]». На дня пойдет статья о земстве, а позднее об университетской стачке»[106]. Обе в руках редакции. Трачевский очень полезен школе аккуратным чтением лекций по новейшей истории и по гр[ческой] истории. Как видишь, ему известны оба конца.

Приехал Котляревский, обещает лекцию политического содержания. Такую же читает Милюков. Его точка зрения сходится с требованиями ялтинских хулиганов. Надо всеми конституциями парит в его воображении болгарская с единой камерой. И еще говорит, что история не повторяется, когда ежедневно слышит выражение тех же мыслей, которыми за два года до казни тешились люди 1789 года!

Я все еще не могу стать на ту точку зрения, что, как либерал, должен радоваться победам японцев — и потому оставлен в подозрении!

Как только получу от Львовича корректуру, вышлю тебе для поправки, а ты не задерживай.

Сердечно твой М. Ковалевский.

P.S. Поклон Сперанским и всем Вам приветствие от моей личной пьянистки.

Там же. Л. 111—112 об.

№ 58

Париж, 18 апреля 1905 г.

Дорогой Александр Иванович!

Желая облегчить тебе работу, я все утро читал корректуру второй части твоей статьи. Она, очевидно, была затеряна на почте. Поправок не много, но есть пропуски и неясности. Я отметил их на полях. Посылаю тебе и литографированный экземпляр твоих лекций. Наискорейшим возвращением обеих корректур премного обяжет преданного тебе.

М. Ковалевский.

Там же. Л. 113—114.

№ 59

Париж, 22 апр[еля] 1905 г.

Дорогой Александр Иванович!

Помню, ты писал мне: со второй частью корректуры подожди, еду к Соболевскому. Пришло ли после этого от тебя что-либо, не уверен. Будь уверен, что все твои посылки, если доходили до меня, то отправлялись мною в тот же день. В Петербурге же она не получена, как увидишь из прилагаемого письма, поэтому не мешает набрать справку и в Мюнхен. Очень мне жаль, дорогой мой, что тебе приходится вторично проделать ту же работу, но моей вины в этом нет. Уже дважды письма и корректуры доходили со значительным опозданием в Петербург. В соображениях высшей политики скрываются, вероятно, объяснения всех наших проволочек в выпуске сборника.

Прилагаю письмо Львовича. Пришли мне, если можно, и направленную мною корректуру.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 115—115 об.

№ 60

Париж, 3 мая 1905 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Рукопись и корректура пересланы. Передал твои пожелания Львовичу. Так как твоя статья — важнейшая в сборнике, то ущерба ни издателю, ни нам ты не причинил. Au contrairt*. Вышлю тебе свои статьи, как только ближайшая будет отпечатана.

Твой М. Ковалевский.

P.S. Привет всем твоим.

Там же. Л. 116.

---

* Напротив (*франц.*).

№ 61

[Позднее 3 мая 1905, ранее 20 июля 1905 г.]*

Дорогой Александр Иванович!

Спасибо за твое дружеское приглашение. Я им непременно воспользуюсь и вскоре. На днях выезжаю в Льеж, а оттуда на Кельн в Наугейм повидать Веселовского, затем в Цюрих к Боборыкину, в Мюнхен к тебе и в Карлсбад к Янжулу. Сборник отпечатан и, по-видимому, лежит в цензуре[107]. От издателя давно нет сведений. Пишу ему на днях. Очень занят окончанием книги «Рост демократического учения».

Сердечно твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 133—134.

№ 62

Ко, Арденны, 20 июля 1905 г.

Дорогой Александр Иванович!

Еду к тебе, но черепашьим ходом. Пока сижу напротив водопада Ко в Арденнах, но сегодня же думаю добраться до Кельна, так что через неделю, не позже буду у тебя. Задержался в Париже по двум причинам. Во-первых, написал брошюру под заглавием «Анархические софизмы наших охранителей». Ее должен был напечатать Суворин-сын и, разумеется, не напечатал. Во-вторых, не хотел оставить недописанным большого сочинения о росте государства под заглавием «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму**. Сочинение должно объять всю историю политической мысли в связи с историей учреждений, многое à vol d'oiseau***, что не мешает тому, что в рукописи до 3000 страниц, то есть, вероятно, три тома. Только отправил книгу Сытину. Что из нее будет — ты, если не Господь, то жандармы, веси! Довольно-таки устал, а теперь прогуливаю свое тело по выставкам (в Льеже) или катаю его от Спа до Ко и по Арденнам. Клонит ко сну, что у меня вообще признак большой усталости. От тебя поеду к Карлсбад, а там думаю махнуть в Россию. Не соберешься ли и ты?

Деньги тебе пересланные идут от издателя. Я уведомил его о том, чтобы он выслал на твое имя известное число оттисков. Остальные заберет Александр Александрович. Жижетта отдыхает в Больше в обществе знакомой нам обоим англичанки.

Твой М. Ковалевский.

Там же. Л. 117—118 об.

---

* Датировано по содержанию писем № 60, 72—62.

** Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в истории политический учений. М., 1906. Т. I—III.

*** С высоты птичьего полета (*франц.*).

№ 63[108]

18 авг[уста] 1905 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

По получении твоего первого письма я отправил к Ник[олаю] Щ[асильевичу] Сперанскому длинную отповедь, заканчивавшуюся выражением готовности приехать через десять дней из Карлсбада, если в этом есть нужда. На дело мы, кажется, смотрим с тобой одинаково. Пятисот тысяч мало для университета. Надо начать с основания двух соединенных школ, общественно-государственных и юридических наук с широким историческим, социологическим и историко-философским фундаментом. Курс двух- или трехгодичный, доступ широко открытый обоим полам с дипломами и без дипломов. От лекторов требуются не ученые степени, а работа или в литературе или печати.

Лично для меня возникают два недоумения: во-первых, я не желаю иметь никакого касательства к материальной стороне дела. Ни с наследниками, ни с Думою, хозяйственных счетов я не желаю иметь никаких. Во-вторых, раз по его словам, Янжула, Трепов не хочет допустить меня к чтению в Политехникум, какое основание думать, что мне открыта будет возможность не только директорствовать, но и преподавать в будущей вольной школе?

Закрыть школу в Париже при неизвестности, какая судьба ожидает московскую, я считал бы ошибкой. В нынешнем году чтение во всяком случае будет продолжено. Почему бы тебе самому не выступить в роли директора. Тебя в Москве любят. Начальство тебя устранить не решится. Я бы лично охотно пошел к тебе в вице-директора и всячески содействовал успеху общего предприятия. Прежние препятствия к твоему возвращению, как я и говорил тебе, более не существуют или в значительной степени уменьшились. При содействии, с одной стороны, Сперанского, а с другой — моей, может быть, Милюкова и Терещенко[109], дело пошло бы хорошо. Жду ответа. Сердечно твой.

М. Ковалевский.

P.S. Не Шанявский ли действительный жертвователь и к чему держать его имя в секрете от меня?

Там же. Л. 119—120. Опубликовано: К истории народного университета им. А.Л.Шанявского // Российский архив. М., 1999. Вып. 9. С. 434—435.

№ 64

Париж, 14 декабря 1905 г.

Дорогой Александр Иванович!

Хотя ты в России и не был, но рассуждаешь о ее делах более здраво людей, сидящих в ней постоянно. Я вынес впечатление дома умалишенных, в котором одни стачечники знают, что делать,

а революционеры к ним примазываются, уверяя, что они пахали. Сами же стачечники добиваются вовсе не восьмичасового рабочего дня, так как наиболее умные дают себе отчет, что последствием будет закрытие фабрик, что, впрочем, уже оправдывается. Они рассчитывают на психическое воздействие, какое их стачка произведет на правительство, которое кажется ему преувеличенно слабым и потерявшим всякую нить. Либеральные земцы все протягивают руку налево, несмотря на причиняемые им обиды, боятся обнаружить классовый интерес, жалуясь, что их грабят или собираются грабить, повторяют, как попугаи, взятую напрокат формулу «всеобщей, равной, прямой и тайной», не понимая или не желая понять, что при ней выбор обеспечен тем, кто посулит крестьянам землю даром. Вся эта либерально-демократическая комедия с торжественно надутым Муромцевым в роли председателя и каркающим Кокошкиным в роли конституционного советника, с Милюковым, пробирающимся в дамки и Петрункевичем, мечтающим пока только о портфеле, производит впечатление смешной мерзости. Господа эти всего боятся, даже того, чтобы называть вещи по имени: бунт матросов — бунтом, а грабеж усадеб — грабежом. Я тщетно предлагал им в бюро подобного рода резолюции. У них не хватает смелости принять их. Купчихи вроде Морозовой[110] только охают и собираются закрыть фабрики. У кого есть деньги [—] переводят их за границу, торопясь и страшно теряя на промене бумаг. Паника и умиление перед собственным великодушием! А народ, озлобленный экономическими нестроениями, порождаемыми стачками, набрасывается с яростью на студентов, жидов и интеллигенцию, которая в свою очередь ничего не находит другого, как обзывать его черной сотней и хулиганами, или еще заявлять, что все неистовства черни вызваны подстрекательством полиции.

Отголоском всего этого бедлама является поведение русской колонии в Париже. По моем приезде студенты школы попросили меня прочесть им лекцию о русских событиях, а затем потребовали от меня отчета, как я смею не быть республиканцем в России. Лекцию закончил аплодисментами и свистками, а затем получены студентами угрожающие письма от каких-то добровольцев и социалистов-самозванцев. Я прекратил чтения и школа закрыта не то временно, не то навсегда. И к лучшему. Теперь уже никто не хочет учиться и все заняты только тем, чтобы внедрять в других честные убеждения клеветою и физическим насилием. Красные хулиганы стоят черных. В Петербурге Иванюкову и мне предлагают двести пятьдесят тысяч на издание газеты вроде «Русск[их] Ведом[остей]». Я бы не прочь, если бы, во-первых, не новый — закон о печати, который постоянно грозит мне тюрьмой и, во-вторых, нежелание устроителя общества акционеров Хрулева (предст[авитель] Прав[ления] международн[ого] банка) имеет голос в редакции и подписываться на газете как ее издатель. Арсенев, один из заведующих отделами (земским и городским) примкнул ко мне с категорич[еским] требованием, чтобы этого не было, а так как Хрулев не хотел уступить, то я уехал. Но Иванюков, несмотря на стачку,

шлет мне телеграммы, приходящие на шестой день, и требует моего приезда. Я настаиваю на прежнем и поеду только в том случае, если мои условия будут приняты. Но в таком случае, то есть, если газета состоится, не откажись прислать нам ряд статей об аграрной реформе. Это даже твой нравственный долг, так как твой ученик Мануилов и благодаря ему «Русск[ие] Вед[омости]» немало напутали в этом вопросе.

Не откажись ответить немедля на эту просьбу и на это письмо, так как я со дня на день могу быть снова вызван в Петербург[111].

Твой М. Ковалевский.

P.S. Привет дочери, г. Сперанскому. Жижетта благодарит за память.

Там же. Л. 123—125. Опубликовано: «Слушателей будет много...». Русская школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского. 1901—1905 гг. // Исторический архив, 1993. № 6. С. 176—177.

№ 65

6 янв[аря] 1906 [г.]

Дорогой Александр Иванович!

Принятие звания вице-президента тебя ни к чему не обязывает. Напиши Вормсу. В тех же условиях, что и ты, были уже Тейлор, Гаррисон[112], Лестер, Уорд и другие, которые тоже ничего не делали. Пришлю тебе позже более длинное письмо, а пока скажу только, что протестую всеми моими силами против эпитета «бывший человек», который ты себе придаешь. Ты никогда не был нужнее, чем теперь, и одно твое упрямство лишает Россию твоего присутствия в момент кризиса. Школа закрыта.

Твой М. Ковалевский.

P.S. Поклон Александру Александровичу и дочкам.

Там же. Л. 126—126 об.

№ 66

Вена, 17 сентября 1906 г.

Дорогой Александр Иванович!

Я очень недалеко от тебя и не прочь повидаться с тобой перед отъездом в Россию. Но, может быть, ты в настоящее время где-нибудь в горах в обществе твоих близких. Поэтому прежде чем ехать в Мюнхен, пишу тебе два слова. Уведомь о себе и укажи, как нам свидеться.

Твой М. Ковалевский[113].

Там же. Л. 127—128.

№ 67

[Париж, позднее 3 июня 1907 г.]*

Дорогой Александр Иванович!

Собирался повидаться с тобой проездом из Мариенбада, но мои снова разладившиеся ноги не позволили мне сделать это. В течение десяти дней, проведенных в Париже, при усиленном питье Виши я настолько поправился, что решаюсь завтра искать убежища от жары на берегу моря в Трувиле. Но нигде, кажется, не найду убежища от тягостного чувства, что дело свободы в России проиграно, что желание одних всякими средствами добиться сразу создания социальной республики и неискренность других — привели к восстановлению порядков Плеве. Долго ли еще предстоит мне маяться в Петербурге, не знаю. «Столыпинская банда» меня терпеть не может, черносотенцы, разумеется, идут также далеко в своей ненависти. А так как ближайшее будущее принадлежит тем или другим, то все мои дни в России сочтены. Раз я уйду отсюда, я намерен снова устроиться в Болье и Париже и возобновить свои занятия. Благо писание книг занимает меня больше всего прочего, больше преподавания и газетной работы. Уйти теперь, не сразившись снова, как-то неловко, но уверенность в неудаче и поражении так велика, что ставить своей кандидатуры на будущих выборах не собираюсь. Буду до поры до времени сидеть в Совете и, при случае, который к сожалению, представляется не часто, злить бюрократическую сволочь откровенной беседой.

На чествование Левассера я пока не дал ни гроша и намерен отделаться двадцатью франками.

Не можешь ли помочь мне в следующем: дочь Терещенко (снабжавшая меня деньгами за газету) кончила курс в русской гимназии с педагогическим классом, но как слышно, русских гимназических дипломов недостаточно, чтобы быть принятой в университет без частного ходатайства. Быть может, твое представительство перед Брентано позволит Melle Terechenko поступить в Мюнхене на математический факультет. Она хорошо подготовлена доцентом Мериманом. Поклон всем твоим.

Твой старый друг М. Ковалевский.

Там же. Л. 129—130 об.

---

* Датировано по содержанию: членом Государственного Совета М.М. Ковалевский стал в 1907 г. Он сообщает о жаре, следовательно, это лето. Говоря о восстановлении порядков В.К. Плеве, М.М. Ковалевский имеет в виду третьеиюньский переворот 1907 г.

Приложение

Поездки по Кавказу

В горских обществах Кабарды

Из путешествия Всев. Миллера и Макс. Ковалевского*

I. Нальчик

На северном склоне Кавказских гор, на пространстве между притоком Терека, Урухом, населенным осетинами-дигорцами, и Эльбрусом, живет по верховьям рек Терека, Чеима и Баксана небольшое племя татарского происхождения, называемое официально — «горскими обществами Кабарды». Все эти общества — Балкар, Бизенги, Хулам, Чегем и Урусбей — по статистическим сведениям 1874 года, не превышают численностью 15 000 душ. Впрочем, на местах мы убедились, что наличное число дворов в некоторых аулах превышает показанное в списке населенных мест Терской области. Язык татар-горцев до сих пор не исследован в научном отношении. Он значительно отличается от языка казанских татар и весьма близок к карачаевскому и кумыцкому. В настоящее время один из туземцев, Сафар-Али Урусбиев, занимается составлением грамматики родного языка, применив русскую азбуку к выражению его звуков...** В этнографическом, археологическом и историческом отношении горцы Кабарды представляют значительный интерес. Долины, ими занимаемые, покрыты древними могильниками, более раннего населения, неимевшего, судя по черепам и предметам домашней обстановки, ничего общего с нынешними поселенцами. В историческом отношении представляется интересный вопрос, к какому времени относится поселение татар в этих местах, кого застали они на новой родине, в какие отношения стали к туземцам и, наконец, откуда шла колонизация горных ущелий? Не говоря о других признаках, нетуземность горцев-татар явствует уже из того, что они образуют как бы островок среди других национальностей, чуждых им по языку и племени. На востоке они граничат с осетинами-дигорцами, на севере и западе окружены Кабардою, на юге главный хребет отделяет их от сванетов. Можно отметить также, что ближайшие соседи дигорцев, балкарцы, по-видимому, более раннее татарские поселенцы, носят у осетин имя *Аси****, в котором нетрудно узнать название Ясы наших летописей и Осси (Овси) грузинских. Объяснить этот факт, конечно, нельзя предположением, что нынешние горцы-татары потомки древних ясов (осетин). Гораздо правдоподобнее, что они наследовали имя вместе со страною, из которой частью вытеснили более

---

* Текст дается по публикации в «Вестнике Европы». 1884. № 4.

** Здесь и далее отточие документа.

*** Здесь и далее курсив документа.

древнее осетинское население. По крайней мере, на это указывает ряд данных, о которых мы скажем ниже.

Ввиду интереса, представляемого изучением быта и преданий горцев-татар, мы воспользовались представившейся нам возможностью с наибольшим удобством съездить в эти глухие места и предприняли туда экскурсию из Владикавказа в июне 1883 года. Кто знает характер горных путешествий на Кавказе, тот, конечно, поймет выгоды нашего положения, когда мы скажем, что нашим спутником был Сафар-Али, сын местного таубия (горского князя), урусбиевского аула. Имея по всем аулам родственников, аталыков или кунаков, Сафар-Али мог открыть нам самый широкий доступ к горскому гостеприимству и поместить нас в наиболее богатые кунацкие, что для человека даже доведшего до minimum'а свои требования по части комфорта, весьма не лишне, как будет ясно из дальнейшего изображения наших похождений.

Вот при каких условиях и с какими надеждами мы в первых числах июня приехали из Владикавказа по железной дороге на станцию Котляревскую. Отсюда на лихих тройках мы помчались по необозримой предгорной равнине к слободе Нальчику, откуда мы намеревались проникнуть в горы. На юге вырисовывались из синеватого дымка очертания первого хребта зеленых гор; изредка, когда расходились облака, на минуту обнажались снежные вершины и в отдаленьи массивное седло Эльбруса; по равнине бесконечной вереницей тянутся курганы, иногда значительных размеров, покрывающие могилы неизвестных народов. При приближении к Нальчику открылся вид на чистенькую немецкую колонию Александровскую, поселенную здесь уже лет пятьдесят тому назад. Изредка попадались объемистые фуры, из которых выглядывали русые немецкие головы.

Вот и Нальчик. Мы въезжаем по грязной улице, усаженной по сторонам тополями. Справа и слева одноэтажные домики, крытые черепицей или соломой. В одном из них у отставного русского солдата, местного старожила, была приготовлена для нас довольно чистенькая комната.

Утоляя голод жирным борщом, мы вступили в беседу с нашим хозяином, который все утро усердно украшал галерейку и двери зеленью в виду наступающего Троицына дня и жалел об отсутствии родной великорусской березы. Конечно, разговор свелся на туземцев или «азиатов», как их называют русские культуртрегеры даже из простого класса. Не лестен был отзыв о кабардинцах старого солдата, который был здесь в беспокойные времена и видел всякие виды. «Известно — варвары, — говорил старик, — делать-то им нечего; дай нашему брату, мужику, столько земли, не жизнь бы, а малина. А он — азиат, сдает землю нашему же брату, а сам слоняется целый день на лошади да гарцует. Уж хоть бы лошадь-то пожалел, а то уж такой у него закон положен: как сядет на лошадь, так ей сейчас, ни за что ни прошто, влепит три нагайки просто так — здорово живешь. Инда лошадь-то вся дрожит, как на нее садится. А дома у себя в ауле: сидит у сакли да кинжалом па-

почку стругает: жена-де все сделает, что нужно по хозяйству. Что и говорить, — самый ледащий народ. Только и норовит, как бы стащить, что плохо лежит. Верите ли, останавливались они у меня: так, бывало, как отъедут, глядишь, какой ни на есть вещи недостает. Я прямо к ним, осматривать сумки — глядишь и засунул вещь куда-нибудь на самый низ. Такое воровство развелось, что просто страсть. Недавно велено было им всем дать присягу, что не будут воровать и сами станут выдавать воров. Ну, правду сказать, недели две о воровстве не было слышно, а теперь снова за прежнее принялись»...

В Нальчике нам пришлось провести два дня. Мы ждали приезда отца нашего спутника, Измаила Урусбиева, чтобы расспросить его о горцах, которых он знал вдоль и поперек, как наиболее уважаемое лицо во всех этих обществах. К сожалению, дела задержали его, и мы не могли дождаться его приезда. Обзор достопримечательностей Нальчика не занял много времени: мы посетили школу и съездили в еврейскую колонию. Нашим любезным чичероне был дядя Сафара, Хамзат Урусбиев, европейски развитой и начитанный член городского суда, постоянный житель Нальчика. Хамзат — представитель нового типа среди горцев, типа реформатора. Проведя несколько лет в военной службе, он уехал за границу и в Швейцарии изучил правильное сыроварение. Запасшись этими сведениями и швейцарцем*, он устроил на Баксане сыроваренный завод. Сначала дело как будто пошло на лад: сыр, изготовляемый новым способом, оказался превосходен и находил сбыт в Владикавказе. Но трудно было бороться с местными условиями; завод, стоящий на большой дороге, был вечно осаждаем праздными посетителями, мешавшими рабочим, которые и так работали *по-горски*; всякие родственники, аталыки и кунаки, не спросясь хозяев, уводили к себе лучшую скотину, что, по местным понятиям, не считается воровством; ко всему этому присоединился падеж скота, и в конце концов деятельность завода должна была прекратиться.

Так называемая «горская школа» помещается в лучшем здании Нальчика, в крепости, в бывшем помещении штаба местного гарнизона. Это 4-х классное училище содержится частью на средства горцев, частью на правительственные средства. В настоящее время в ней помещается до 50 учеников — кабардинцев, горцев и осетин. Курс соответствует приблизительно курсу наших городских училищ, но почему-то сочли нужным ввести преподавание французского языка, которое не приводит ни к каким результатам. В одной из зал школьный смотритель показал нам найденную где-то на верховьях Малки кость, по-видимому, мамонта. Ввиду вопроса о существовании мамонта на Кавказе (есть мнение, что найденные доселе кости принадлежат не мамонту, а какому-то другому виду

* Так в тексте.

допотопных слонов) было бы интересно специалисту исследовать эту отлично сохранившуюся ножную кость.

В версте от Нальчика раскинулась довольно обширная еврейская колония. Интересуясь горскими евреями, сохранившими свой тип в несравненно большей чистоте, нежели европейские, мы отправились туда. Мужское население было на базаре в Нальчике, и из окон и дверей на нас с любопытством смотрели смуглые библейские лица женщин и детей. Нам редко случалось видеть в течение какого-нибудь получаса столько правильных и прелестных детских личек с знойными глазами и курчавыми головами. Остановившись перед чистеньким домиком *рабби*, мы вошли к нему, чтобы собрать некоторые сведения. Большая часть горских евреев живут в восточном Кавказе, в северном и южном Дагестане, в Бакинской, Елисаветпольской губерниях, но отдельные поселения встречаются и в других местах. В первые времена их поселения на Кавказе, куда они, в отдаленные времена, выселились из Мидии, они сохраняли еще язык своих предков, как видно из биографии святой Нины; когда она пришла в Грузию из Иерусалима, то была весьма рада, что нашла своих соотечественников в Карталинии, где она (в городе Урбнисе) целый месяц беседовала с ними на еврейском языке. Но во время персидского владычества в Закавказье евреи усвоили себе средневековой персидский язык, который они называют фарсийским и татским, и, вероятно, у них образовался жаргон, с примесью библейских слов и множества слов, заимствованных из языков местных, соседних племен. Письменность у них на этом жаргоне производилась еврейским квадратным письмом.

Евреи около Нальчика не занимаются земледелием, а мелочной торговлей и некоторыми ремеслами. Живут они, по-видимому, с достатком и не хуже европейских умеют ссужать деньги за солидные проценты. Антипатии местное население не питает к ним никакой, и ростовское побоище еще не отразилось на их спинах. Впрочем, мы были случайными свидетелями следующей сцены. При нашем проезде мимо одного еврейского дома какой-то пьяненький забулдыга из русских бросился на колени перед сопровождавшим нас помощником окружного начальника и громко возопил: «Ваше скородие, дозвольте жидов бить!» Немедленно на спину жидоеда опустилась начальническая нагайка, и он был для вытрезвления убран в каланчу. Так просто разрешился здесь еврейский вопрос.

Прежде чем расстаться с Нальчиком, отметим, что для юридического быта окружающего местного населения эта слобода имеет особое значение, как местопребывание горского словесного суда. Немалый процент шатающихся по улицам и площади горцев является сюда по тяжебным делам и проживает здесь по неделям. Стоит остановиться на характеристике этого любопытного учреждения, которое в жизни туземцев занимает не последнее место.

Во время нашего пребывания в горских обществах нам неоднократно приходилось слышать жалобы на разорение, причиняемое

жителям горскими судами. По мнению самих даже членов этих судов, горцев по происхождению, — правительство не могло бы оказать большей услуги туземцам, как приступивши к немедленному закрытию этих очагов сутяжничества, взяточничества и волокиты. Итак, вот что вышло на деле из реформы, которая, по первоначальному своему плану, по намерениям лиц ее затеявших, заслуживает полного сочувствия. В самом деле, в стране, которая по разнообразию своего этнографического состава не допускает и мысли о едином земском праве, среди населения, которое в течение столетий не знало не только писанного закона, но и письменности, не есть ли обычай — единственный руководитель судей, а его глашатаи — природные присяжные, призванные постановлять, подобно английским, решение одинаково по вопросам права и факта? Временные правила для горских словесных судов, от 30 декабря 1869 года, вполне сознают необходимость всецелого господства обычая и допускают применение русских законов лишь в случаях, относительно которых обычай не сложился. Принимая во внимание разнохарактерность действующих в округе обычаев, те же правила требуют присутствия в горском суде по крайней мере по одному депутату от каждого из племен, населяющих округ. Смотря по тому, к какой национальности принадлежат стороны, председатель, всегда из русских — обращается за указанием обычая к депутату от кабардинцев, горцев, ингушей и т.д. В делах, которые, как тесно связанные с вероучением Корана, судятся по шариату, указание на закон делается местным кадием. Такими делами, по положению, считаются дела брачные, дела о незаконнорожденных, о разводах и наследстве. Чтобы избавить стороны от издержек по письмоводству, горскому суду предписано разбирать дела изустно. Беспристрастность приговоров, по-видимому, гарантирована публичностью и коллегиальностью; председательствующий имеет решающий голос только при разделении голосов поровну. В интересах тех же сторон допущено в широкой мере право апелляции: в делах гражданских, — если цена иска превышает 100 р., а в уголовных, — если наказание состоит во взыскании свыше 30 р. или арест свыше 1-го месяца. Наконец, каждый раз, когда ведомство горского словесного суда выходит за пределы мировой юрисдикции (уложение о наказ., налог. миров. судьями положено в основу правил о горском суде) требуется утверждение приговора начальником области. К таким делам принадлежит нанесение ран, увечья или смерть в ссоре или драке, кражи со взломом, дела по предупреждению и прекращению кровосмешения, похищение женщин и т.п.

Почему же, спрашивается, горский суд на практике, если верить единогласным отзывам подсудных ему лиц, ведет не более как к сутяжничеству, нескончаемой волоките и неизбежному разорению сторон? В том же уставе мы находим отчасти ответ на этот вопрос. Пробегая 84 параграф этих положений, мы, не без удивления, узнаем, что это учреждение, легальный состав которого определяется в 3 человека, ведает, наряду с судебными делами, дела

нотариальные и дела бывших опекунских советов и наших дворянских опек. Мало того, по желанию сторон, возможно обращение к горскому суду, как к третейскому, с обязательством, в последнем случае, считать дело покончленным его решением. Сколько дел для такого слабого состава? Неудивительно, если, заседая ежедневно с 9 часов до 4-х, нальчикский суд, например, накопил более 2000 нерешенных дел! Прибавим к этому, что, при решении всех дел присяжниками и свидетелями, неявка одного из вызванных лиц служит постоянным поводом к отсрочке дел. Удивительно ли после этого слышать жалобы на проволочки, замедления и напрасные затраты на путешествие и пребывание в Нальчике нередко с целой ватагой набранных отовсюду свидетелей, содержание которых ставится затем на счет проигравшего процесс.

С другой стороны, сама наша администрация, как бы опасаясь того, что суд останется без дел, позаботилась о том, чтобы еще более развить в горцах присущую им по природе склонность к сутяжничеству. По горским обычаям, или *адатам*, женщины вовсе устранялись от наследования. Совершенно произвольно мы признали дела о наследстве и между горцами — подсудными правилам шариата. Таким образом, открылась возможность доказывать право наследования от прабабушек и бабушек. Пробегая решения горского суда за последние годы, на каждом шагу встречаешь иски о праве собственности на тот или другой участок земли, нередко стоимостью в 20 руб. на основании более или менее сомнительной генеалогии от бабушки или прабабушки, доказываемой свидетельскими показаниями. Заметьте, что все иски о *недвижимой* собственности, как бы ничтожна ни была сумма иска, почему-то изъяты из ведомства общинных (*аульных*) судов и всецело возложены на плечи горских судей. А самый еще порядок производства, требующий ежечасной, постоянной передачи вопросов председателя истцу или ответчику на кабардинский, татарский, осетинский или иной язык, и затем обратно ответов сторон с туземных языков на русский! И обязательство все это записать в книгу на случай возможного обжалования дела перед начальником области или апелляционным путем! Как тут не иметь за собою в прошлом 2000 нерешенных дел?

II. От Нальчика до Чегема

Наняв в Нальчике трех верховых лошадей и горца-проводника, который должен был сопровождать нас в течение всего путешествия в горах, мы часов в 10 утра выехали по направлению к Хуламу, ближайшему обществу горских татар. Дорога идет на юг по правому берегу речки Нальчика, и мало-помалу начинается подъем в горы. В продолжение нескольких часов наш путь шел чрез сплошной густой лес чинаров, кленов, карагачей, орешника, простирающийся на несколько десятков верст на горных отрогах. Беспрестанно приходилось переезжать вброд извилины Нальчика и его многочисленных притоков. Кое-где по вязкой тропе виднелись свежие следы медведей, а на одной полянке неуклюжий медвеже-

ток во всю прыть перебежал нам дорогу. Мы двигались крайне медленно: на крутых спусках лошади скользили, и приходилось идти пешком, беспрестанно нужно было наклоняться сидя на лошади, потому что немного зазевавшись не трудно было получить в лицо удары наклоненных ветвей; нередко мы должны были объезжать топкие места. Вследствие этих затруднений, мы потеряли надежду засветло приехать в Хулам и, спустившись к берегам прелестной речки Карасу, впадающей в Терек, решились ночевать под открытым небом. Сама природа приглашала к отдыху: перед нами чудесная поляна замыкается со всех сторон, как бы амфитеатром, горными хребтами, по поляне быстро и шумно катит свои воды прозрачный Карасу. На берегу его маленькая мельница, которая на случай дождя может служить защитой. Понятно, что утомленные девятичасовой верховой ездою, мы не особенно торопились доехать в тот же день до Хулама, тем более, что нам предстоял с берегов Карасу немедленно трудный подъем.

Расположившись близ мельницы, мы утолили голод европейскими консервами с либихским бульоном, и как только стемнелось (а ночь в горах наступает чрезвычайно быстро), устроились, как могли, на ночлег на убитой земле в мельнице. Нашему непривыкшему слуху вечный шум горной речки представлялся как бы шумом проливного дождя, и, просыпаясь по временам ночью, мы выглядывали из шалаша, со страхом ожидая ливня. Мы проснулись назаре и не нашли нашего проводника. Часа через полтора он явился с приятной ношей, пятью только что пойманными им форелями. Конечно, мы приступили немедленно к изготовлению завтрака, и можем смело сказать, что нашему пиру на берегах Карасу позавидовали бы европейские гастрономы.

Переехав Карасу, мы очутились в роскошной долине Терека. По обеим сторонам массивные скалы, опушенные до половины лесом; прямо перед нами над горами высоко выдвинули свои снежные вершины горы Дых-Тау и Коштан-Тау, превышающие вышиною Казбек. По дороге нас нагоняют хуламцы и целые партии ишаков, нагруженных дровами. На вопрос нашего проводника, один из хуламцев сказал, что у него есть кефир, и мы не упустили случая утолить жажду этой ныне модной панацеей. Свернув немного в сторону, мы чрез кустарник пробрались к небольшому гроту в скале и, разлегшись на бурках, несколько раз прикладывались к бурдючку с живительной влагой. Здесь же пришлось нам впервые столкнуться с горными понятиями о гостеприимстве. Хотя мы сами навязались на угощение, вполне уверенные, что берем кефир на деньги, однако горец, пожертвовавший нам большую часть содержания своего бурдючка, упорно отказался от денег и, осыпав нас пожеланиями счастливого пути, отъехал восвояси.

Через несколько часов мы подъехали к первому горскому аулу — Хуламу. Подъезжая к нему, мы долго ехали по каменистой узкой дороге, по обеим сторонам которой тянулись маленькие, разгороженные камнями, участки пахоты. Каждый удобный клочок земли тщательно унавожен, возделан и орошен канавой. Земля

здесь ценится даже дороже, чем в горной Осетии, где клочок земли, на котором может стоять бык, стоит быка. Нам показывали участки не более десятины, проданные за 2 000 рублей.

Аулы, известные под общим именем Хулам, расположены чрезвычайно живописно в долине Терека и его небольших притоков; в центре площадки, окруженной горами, возвышается почти коническая гора, увенчанная развалинами башни. Кто построил некогда эту крепость, в свое время недоступную, сложенную весьма правильно из местного камня на цементе, об этом не сохранилось даже предания. Во всяком случае — не предки нынешнего татарского населения. Сакли хуламцев и вообще горских татар, не представляют никаких отличий от осетинских, и также издали имеют вид груды камней и развалин. Вокруг небольшого дворика тянется ряд низеньких построек, сложенных из камня без цемента. Плоские крыши покрыты землей, и если б не плетеные и вымазанные глиной широкие круглые трубы, вы не догадывались бы, что ходите по крыше, а не по зеленой лужайке. Перед четырехугольными жилыми помещениями идут навесы на массивных столбах. Отдельно от других построек при каждой сакле — помещения для всякого приезжего — кунацкая. Привязав коня к рогатой коновязи, вы входите нагнувшись в низенькую дверь кунацкой. На земляном полу у одной стены стоит широкая двуспальная деревянная кровать, у другой стены прямо на земле очаг, над ним пасть широкой трубы. По стенам полки для вещей. Все помещение, иногда сажени 3 длиною, освещается скудно маленьким окошком, конечно, без рам и стекол.

Опишу несколько более подробно наш ночлег в Хуламе, так как те же приемы горского гостеприимства стереотипно повторялись в других аулах. Пробравшись по узким улицам, беспрестанно пересекаемым канавами, к кунацкой местного старшины, таубия Джарахмата Шакманова, мы сошли с коней и сели на кровать. Немедленно вся кунацкая наполнилась местными жителями, собравшимися посмотреть на приезжих. Уважение к гостю требует, чтобы все стояли перед ним, и даже лица почтенного возраста не решались отступить от этикета. Здесь впервые в большом количестве мы могли наблюдать типы горцев. Кроме, так сказать, случайных лиц (напр., кабардинских), можно резко выделить два господствующие типа: один, напоминающий монгольский, хотя и с значительно сглаженными чертами этого типа: торчащие уши, узкие глаза, выдающиеся скулы, безбородые подбородки; другой — тип арийский, напоминающий всего более осетинский: правильные черты лица, кавказские носы, густые бороды, карие и часто голубые, веселые и интеллигентные глаза. Горцы отличаются быстротой в движении, они высоки ростом и стройны. В манерах много природной грации и свободы. Речь у них льется неудержимым и быстрым потоком; их словоохотливость нередко переходит в детскую болтливость. Остроты, bon mots*, обыкновенно безобидные,

* Острое словечко (*франц.*).

ок и сыплются, когда сойдутся трое, четверо молодых людей. Но на этот раз группа молодежи, собравшаяся на нас поглазеть, отличалась строгим молчанием в присутствии стариков и гостей и ограничивалась самым внимательным наблюдением над каждым нашим действием и движением. Скоро явился хозяин и приветствовал гостей по-русски, владея довольно свободно нашим языком. Начались обычные распросы о цели приезда, о дороге, о новостях. Трудно представить себе, с каким напряженным интересом в этих, удаленных от центров, горных трущобах принимается всякая новость и как быстро известие разлетается по всему аулу. После полуторачасовой беседы, в течение которой мы собирали сведения об общинном быте хуламцев, их обычном праве, сословиях и т.п., в кунацкой появились первые признаки угощения. Один из молодых людей внес на кругленьком, низеньком трехногом столике стаканы для чая, сахар и пшеничные чуреки. Другой выступал за ним, держа под мышки российский самовар. Началось чаепитие, причем хозяин только по нашей просьбе решился пить вместе с нами. За чаем последовала деревянная чаша с вкусным айраном (кислое молоко). Более солидное угощение готовилось к ночи, как мы убедились в том, выйдя из кунацкой погулять по аулу: у самых дверей кухни нам встретился юноша с черным барашком на руках, который должен был быть принесен нам в жертву.

Мы взобрались к развалинам башни, чтоб оттуда полюбоваться видом. На противоположной стороне долины виднеются развалины другой башни, которая должна была одновременно с первой защищать ущелье, так что неприятель подвергался перекрестным выстрелам (конечно, из луков). Башня, по кладке камней и по типической четырехугольной форме напоминает совершенно башни, виденные нами в горной Осетии. Вероятно, строителями их были предки нынешних осетин. По крайней мере целый ряд топографических названий и местных преданий указывает на то, что татары-горцы застали в этих местах осетинское население, исповедывавшее христианскую религию. Смешением с этим населением и объясняется осетинский тип, часто попадающийся в лицах горцев. Осетинские местные названия тянутся по всем горам северо-западного Кавказа от Дигории до Эльбруса. Множество речек у горских татар содержат осет[инское] слово «дон» (вода), в виде *дан* и *дон* (Кара-дан, Шау-дан, Курон-дан); Гар-дон, Шак-дон; осетинское название для ущелья *ком* повторяется у них в виде *кам* (Шаукам, Кырекам); гроты в скалах называют они, как и осетины, дор-бун (под камнем); перевалы называются *вчик*, из осетинского авцэг; часто горы красноватого цвета носят название сурх (по-осетински — красный); в татарских названиях для месяцев слышатся, как и у осетин, искаженные имена христианских святых: Никколай (май), Тотур (Феодор), Элиа-ай (месяц Илии), Башилай (месяц Василия), и т.п. Горцы знают осетинских духов-покровителей, которыми сделались у осетин некоторые христианские святые: Бий-Ашкирги соответствует осетинскому Уаскерги (св. Георгию); Авсаты — дух охоты — осетинскому Авсаты. Горцы-татары,

рядом со своим счетом, сохранили осетинскую систему счета парами: дууэ (2), чуппар (4), ахсаз (6), аст (8), дас (10) и т.п., лишь слегка изменив осетинские слова. О культурном влиянии осетин на татар, бывших, вероятно, еще кочевников, можно судить по проникнувшим в татарский язык осетинским терминам для земледелия и более разумного скотоводства. Татары имеют осетинские названия для *копны* (галас), для *скота, кормящегося на сене* (хуасхарга), для вилообразного чурбана, на котором двигают камни для построек (дорласын), для печеного хлеба (гыржин — осет. карзын), для пирога с сыром или мясом (хычын — осет. ахцын) и т.п. Можно думать, что пришельцы-татары не делали запасов сена для стад, не занимались земледелием и не знали каменных построек. Действительно, предание о построении башни в Чегеме, которое мы приведем ниже, говорит, что для ее сооружения обратились к сванетам.

Разговаривая с толпой сопровождавшей нас молодежи, из которых двое, трое свободно говорили по-русски, мы узнали, что посреди аула есть камень, называемый Байрэм. К нему, несмотря на столетнее господство мусульманства, обращаются женщины с молитвой о ниспослании детей и приносят в жертву пироги. Такие камни — байрэмы — оказались, как мы убедились потом, в каждом ауле, и, конечно, их имя и значение объясняется от осетинских святынь Мады-Майрам (матери-Марии), которые также представляют не что иное как большие камни близ аула и пользуются специальным поклонением женщин. Отметим также, что неподалеку от Хулама небольшой аульчик, дворов в 50, носит название Тотур, конечно, в честь некогда бывшего здесь *дзуаря* (святилища), одного из любимых в Осетии святых, Тотура, Феодора Тирона. От наших спутников мы узнали также, что при выходе из аула на скате горы есть древнее, немусульманское кладбище, и, пользуясь оставшимся нам до ужина временем, решили сделать пробную раскопку. Это предприятие было целым праздником для толпы мальчишек, сопровождавшей взрослых, и они с криком побежали за ломом и заступом, привезенными нами с собой. Скоро, на глубине не более аршина, нашли костяк, железный клинок от ножа и несколько бронзовых пуговок. Череп не представлял ни малейших признаков монгольства, и, захватив его с собою, мы, ввиду наступающей ночи, умерили свой археологический пыл.

Когда мы вернулись в кунацкую и воссели на ложе, нам поднесли тазы и кувчаны (кувшины) для омовения рук. Затем появился столик с шашлыком, изготовленным исключительно из ребер ягненка. Конечно, еда производилась по-восточному, без посредства вилок и ножей. Оставшиеся от нашего ужина кости, со скудными признаками мяса, перешли к нашему проводнику и другим гостям, которые, присевши на корточках вокруг столика, покончили с остатками нашей трапезы. Снова омовение рук и поднесение нового столика с нагроможденными на нем кусками вареного барашка, посередине чаша с апраном, в которую любителям предоставлялось макать *чуреки* и мясо. Третье блюдо было представлено

деревянными ковшиками с бараньим бульоном, разведенным молоком. Эти три перемены в описанном порядке составляют, вместе с утренним и вечерним чаем и завтраком из начиненного творогом пирога (хычин), обыкновенное угощение, на которое можно смело рассчитывать в состоятельных кунацких. При некоторой привычке все это кажется довольно вкусно, и можно было бы скоро привыкнуть к азиатскому порядку блюд, совершенно противоположному нашему европейскому, если б в состав всего обеда не входил неизменный барашек в разных видах.

Мы уже думали, что нам придется расположиться на ночь в тесной кунацкой, когда хозяин пригласил нас перейти в другое помещение с чистыми деревянными полами, мягкой постелью, двумя стульями и даже со стеклянными рамами, выстроенное уже русскими плотниками в недавнее время. Как представитель местной администрации, старшина уже перенял кое-что от русских и, очевидно, жертвовал своим помещением почетным гостям.

В то время, когда нам готовили постели, приехал расставшийся с нами Сафар-Али, который дождался отца и, как горец, в один день сделал путь до Хулама, на который нам понадобилось два дня. Решились на другой день выехать в Чегем и остановиться у местного старшины таубия Балкарукова, двоюродного брата Сафар-Али.

Считаем нужным в виде отступления сказать несколько слов о местных преданиях горских татар. При отсутствии письменных источников, фамильные предания заменяют местную историю Из них мы добываем ряд интересных указаний на последовательное занятие татарами горных ущелий, на столкновение их с туземцами и соседями, на образование феодального строя жизни и т.п. Поэтому всюду, где нам встречались знатоки местных преданий, мы старались заносить в дневник все, что они нам сообщали. К сожалению погода, значительно изменившаяся к худшему, помешала нам посетить самое раннее поселение татар — Балкарское общество. Все прадания указывают на то, что эта местность, некогда заселенная осетинами-дигорцами, раньше других приняла татарское поселение, и что из нее уже пошло дальнейшее движение в ближайшие долины на северо-запад. В Нальчике мы стретили одного из балкарских таубиев — мурзу Абаева, и записали от него следующее предание происхождения балкарских феодалов (таубиев).

К какой народности принадлежало туземное население нынешней Балкарии, этого рассказчик не мог сказать. Но целый ряд топографических названий указывает в туземцах осетин*. Общее на-

---

* Вот несколько примеров: название аулов Иската (осет. искäттä — сараи), Фäрдуг (по осет. Фардуг-бусы — аульчик выстроен кругом), Сауты (по осет. саутä — черные, в этих местах черный песок); Зилгä (по осет. крушение; здесь было озеро с водоворотом); реки: Саудон (по осет. родниковая вода), Курондон (по осет. мельничная вода); дороги: Ныхат (по осет. заруб на скале); местности: Арвидори-Ныхыш (собственно, сборное место небесного камня); Мäсуг — укрепленное пастбищное место, от осет. Масуг — башня Шари-афцак (т.е. Сванетский перевал; Шари — осетин. название Сванетов) и мн. друг. (*Здесь и далее прим. М.М. Ковалевского.*)

звание для потомков туземных фамилий, подчинившихся тауби-ям — Сауту (по осет. саутӕ — черные). Одни из туземных родов — Мысаковы — имели на берегу Терека башню, от которой и получили фамилию (по-осетински башня называется Масуг). Когда башня была снесена рекою, род Мысаковых рассеялся по разным аулам. Говорят, башня была так крепка, что, обрушившись в воду, целой массой, долго не разбиваясь на части, неслась по течению.

В отдаленные времена пришли в эти места предки нынешних балкарцев, по народному преданию, из Маджар. Рассказчик отождествлял маджар с венграми, но, конечно, под ними следует разуметь прежнее население хазарского города Маджар, которого развалины находятся на берегу реки Кумы в Новогригорьевском уезде Ставропольской губернии близ села Прасковея. Пришельцы стали теснить туземцев и приняли имя балкар будто бы от слов бар-кая (иди, оставайся). Конечно, здесь нужно видеть детскую народную этимологию. Может быть, название балкар один из видов имени *болгар*, которое, как видно из географии, приписываемой Моисею Хоренскому, было в разных формах известно на северном Кавказе; в форме Болхары приводится это имя русскими послами Никифором Толочановым и дьяком Алексеем Иевлевым, которые в 1650 году ездили от царя Алексея Михайловича к имеретинскому царю Александру и проезжали через балкарские земли*.

Во время войны пришельцев с туземцами из Маджар явился в те же места некто Мысакá, ставший впоследствии родоначальником некоторых балкарских фамилий. Сначала он со своими поселился отдельно от балкарцев и только находился с ними в дружественных сношениях. Предание говорит, что балкарцы изъявили согласие признать его своим таубием, если он покорит туземцев. Ему с дружиной удалось это сделать, и он стал пользоваться среди балкарцев значительным влиянием. Затем Мысакá снова отправился к маджарам и привел оттуда с собою своего ленного властителя Басиата, при котором Мысакá в Маджарии состоял узденем.

О происхождении и переселении Басиата предание рассказывает следующее: Басиат и Бадинат были братья. Отец их, живший при Джамбек-хане маджарском, был во враждебных отношениях со своими родственниками. После его смерти братьям пришлось выселиться, и они отправились с дружиною в Дигорию. Басиат, рассказывает предание, как старший ехал на коне, а Бадинат на катере. Подъезжая к дигорскому аулу, младший брат уговорил старшего уступить ему коня и переплыть на катере. Вследствие этого дигорцы, приняв Бадината за старшего, так как он ехал на коне, оказали ему больше почету, и это послужило поводом к раздору между братьями. Бадинат (дигорцы называют его Бадила, а его потомков бадилатами) остался в Дигории и получил там за охранение ущелья при Донифарсе некоторые права; Басиат же вер-

* См.: Броневский. Известия о Кавказе и т.д. II, 221.

нулся обратно к маджарам. В это именно время туда же пришел Масыка́ из Балкарии и, увидя стесненное положение своего ленного господина, предложил ему переселиться на новые места. Тот согласился на это предложение. Однако Мысака́, конечно, уже не хотел оставаться на новой родине узденем при Басиате, а потому при въезде в Балкар, в теснине Джилги-Тар взял с Басиата клятву, что оба они будут впредь пользоваться одинаковыми правами.

Мысака́ не прямо водворился в горной Балкарии, а поселился сначала на равнине при Тереке в местности, которая называется ныне урочищем Кошка-Тау. О существовании поселения на верхнем Тереке он узнал по щепкам, которые по временам неслись вниз по течению реки. Тогда он решился перейти выше и, двигаясь по Тереку, занял нынешний горный Балкар. При слиянии двух Тереков покоится на трех камнях огромная плита. Предание говорит, что ее положил Мысака́ в память о себе потомству. Туземцы, сауту, стали ясакчами (данниками) у Мысаковых и платили им подать скотом и хлебом. Басиат, поселившись в Балкаре, стал родоначальником фамилий таубиев: Абаевых, Шакмановых, Джанхотовых и Айдебуловых.

С дигорцами, у которых пользовались влиянием родственники басиатов, бадинаты, — балкарцы были обыкновенно в дружественных сношениях. Между теми и другими заключались браки, и некоторые дигорские семьи даже переселялись в Балкарию. Главными врагами, с которыми балкарцам приходилось часто сталкиваться, были осетины-куртатинцы и сванеты. Во время поселения балкарцев на новой родине, кабардинцы еще не имели влияния на плоскости. Какое значение кабардинцы впоследствии получили у горцев, об этом показания того и другого народа расходятся. Кабардинцы утверждают, что они господствовали в горах так же, как и на плоскости. Горцы отрицают этот факт, но сознаются, что за пользование лугами у предгорий они платили кабардинским князьям скотом*.

---

* В записке о кабардинских сословиях, представляющей отрывок из трудов Комиссии по разбору личных и поземельных прав туземцев, мы находим следующее указание на зависимость горских обществ от кабардинцев. «Влияние их, хотя и в неравной степени, распространялось на все окружающие Кабарду племена. Таким образом, племена более отдаленные, напр., ингуши, карабулаки, кистинцы, тагаурцы и дигорцы были только данниками кабардинских князей, а ближайшие, как-то: карачаевцы, чегемцы, хуламцы и безенгиевцы (балкарцы, благодаря своей численности и трудным доступам к их жилищам, сумели сохранить свою относительную независимость) находились у них почти в состоянии рабства. Степень зависимости последних четырех племен от кабардинских князей легко усматривается из следующего факта: если княжеским холопом положен был камень у дверей сакли горца, или на его пахотном или покосном месте, то этого действия вполне достаточно было для воспрещения владельцам сакли входа в нее и выхода из нее, а владельцам пахоты и покоса пользования ими». См.: Сбор. свед. о Кавказск. горцах, вып. III.

Мы передали эти предания как слышали, оставляя точность редакции на совести рассказчика. Считаем не лишним привести еще одну фамильную легенду Абаевых, характеризующую горские и осетинские верования еще недавних времен.

В отдаленные времена один из куртатинских осетин, Элеу, проезжая в Балкарии, задумал запастись палкою в теснине Хызны. Он высмотрел ореховый куст с тремя очень прямыми ветвями и стал их рубить. Когда он начал срезать первую ветвь, из нее раздался голос: не бери меня! Тот же голос повторился из другой ветви. Из третьего же отростка послышался голос: возьми меня; покуда ты будешь владеть мною, я принесу тебе счастье! Элеу срубил его одним взмахом и обделал в палку. С этой палкой он не расставался и действительно был счастлив и дома, и в многочисленных стычках с неприятелем. Однако, под конец ему пришлось лишиться чудесной палки, причем, впрочем, она оказала ему последнюю услугу, возвратив ему свободу. Однажды куртатинцы под предводительством Элеу угнали у балкарцев скот, именно у Беппи, одного таубия из рода Абаевых. Беппи бросился с дружиной в погоню за похитителями, нагнал их у Чохола (на Урухе) и разбил наголову. Видя, что ему приходится плохо, Элеу бросил незаметным образом свою палку в кусты, чтобы она не досталась балкарцам. Сам же он с частью своей шайки попался в плен и был отведен в Балкар. Находясь в плену, он рассказал Абаеву о чудесных свойствах своей палки, и тот обещал отпустить его на волю без выкупа, если он отыщет палку и передаст ее ему. Элеу посоветовал зажечь траву на месте, где происходила стычка, и это было сделано. Тогда выгорела вся трава, кроме небольшого кружка, где лежала чудесная палка. Таким образом она перешла в род Абаевых, который и до сих пор хранит ее как святыню в особом сундуке, а Элеу получил свободу. Впоследствии потомки Элеу не раз старались вернуть свою родовую святыню, но их попытки остались безуспешны. Еще до сих пор время от времени они приезжают к Абаевым, чтоб взглянуть на палку.

Эта легенда о палке свидетельствует о том, что верования в фетиши так же хорошо примиряются у кавказских горцев с христианством, как и с магометанством. Совершенно сходное с этим предание нам случилось слышать в Камунте о чудесном куске дерева, сохранявшемся в осетинской (христианской) семье Атаевых до 1865 года, когда семейный фетиш, которому приписывали благосостояние предков, был сожжен благочинным отцом Гатуевым. Впрочем, ранее водворения мусульманства верования балкарцев и осетин были, вероятно, одни и те же. И те и другие были оязычившимися христианами. Заметим, что в Балкарии также много следов древнего христианства. Есть и камень Байрам (осет. Майрам), некогда святилище Богородицы, которому женщины до сих пор приносят жертвы. Есть, по словам г. Цигулеева*, при впаде-

* К сожалению, погода помешала нам видеть это место, и мы упоминает об этом для будущих путешественников.

нии реки Зилги в Терек курган, в котором, по-видимому, была некогда церковь. Дверь ведет в небольшое, сложенное из камня помещение в середине кургана. Здесь, будто бы, *очень много* каменных статуй, причем одна представляет женщину с младенцем на руках. Мимо этого кургана, называемого осетинским именем Хусан-уат (т.е. спальня) не носят покойников и не пропускают свадебные поезда. Все проходящие должны оставить там какое-нибудь приношение.

После этого отступления о Балкаре, возвратимся к нашей поездке в Чегем.

Простившись с любезным хозяином, старшиною Шакмановым, мы в числе уже пяти всадников (так как Сафар-Али сопровождал из Нальчика его аталык*, молодой человек) выехали из Хулама. Погода была довольно холодная, и время от времени накрапывал дождь. Путь нам лежал сначала у подножья высокого кряжа Ах-Кая, который тянется с юга на север, выгибаясь полукружием на запад и в течение целого дня езды провожает путешественника своими мрачными очертаниями. Говорят, что на вершине и склонах этой горы до сих пор бродит множество туров. Чегем лежит значительно выше Хулама и нам предстоял высокий перевал. Дорога трудная и несколько скучная. При спуске некоторым из нас пришлось идти пешком, что при дожде и ветре не особенно содействовало улучшению настроения духа. Пейзаж оживлялся при приближении к Чегему. Опять отлично обработанные куски пашни у подножья гор и сеть проведенных канав; при проезде лошади, беспрестанно разбегаются по норам суслики. Вот и Чегем. Первое, что бросается в глаза при въезде в аул, новая, довольно обширная деревянная мечеть, русской постройки, окруженная крытой галереей. Когда мы въезжали, *муедзин* приглашал с минарета правоверных к вечерней молитве; впрочем мы не заметили, чтобы нашлось много желающих в ней участвовать. Около сакли старшины Балкарукова, у которого мы должны были остановиться, стояла группа обывателей и горячо обсуждала какой-то вопрос. Оказалось, что за несколько часов до нашего приезда произошла кровавая драма, в нескольких верстах от Чегема. Двое чегемцев сильно поспорили о меже и нанесли друг другу словесные оскорбления. Один, разгорячившись, ударил другого палкою по голове, так что рассек ему череп. Тогда сын потерпевшего, мальчик лет 15, заступившись за отца, пырнул оскорбителя кинжалом в живот, так что кишки вышли наружу. Оба раненые опасны. Их перевезли в аул и сдали на леченье. Если оба выздоровеют и помирятся, дело тем и кончится. Если кто-нибудь умрет, делу должен быть дан дальнейший ход. Мальчик, заступившийся за отца, потом стоял в числе другой молодежи в нашей комнате. По понятиям туземцев, он только исполнил свой долг и, конечно, ходит на свободе.

---

* Аталыками называются члены семьи, у которой был на воспитании мальчик из высшего сословия.

В Чегеме нас принял и устроил очень комфортабельно, в помещении, оснащенном на русский лад, молодой старшина Али мурза Балкаруков, один из самых состоятельных и уважаемых, несмотря на молодость, людей в ауле. Бараны его считаются тысячами, а по земле его мы ехали несколько часов. Ввиду дурной погоды, с одной стороны, и значительных удобств по части помещения и продовольствия, с другой, — мы решили пробыть дня три в Чегеме, расспросить местные предания, в которых наш хозяин оказался отличным знатоком, и заняться раскопками древних могильников. Мы стояли, так сказать, в центре чегемской старины, наше помещение примыкало к старой башне с амбразурами, построенной одним из предков Балкарукова. В разных направлениях, по долинам, сходящим в Чегеме, виднелись остатки древних построек и могильники. Чтобы ориентироваться во всей этой монументальной и эпической старине, начнем с топографии Чегема и указаний на монументальные остатки; затем приведем местные предания о происхождении чегемских феодалов и окончим изображением феодального строя жизни чегемцев и горцев вообще, о котором нам в Чегеме удалось собрать более обстоятельные сведения.

Аул расположен при впадении реки Джилги в Чегем; немного далее на юг в Чегем впадает речка Карадан, так что при ауле сходятся под углом три горные долины. Из них особенно интересна по остаткам древних построек узкая теснина, по которой протекает река Джилги, до сих пор носящая осетинское имя (Зилга — кружащаяся). В скале, на правом берегу реки, есть несколько пещер и заметны следы дороги, искусственно сделанной и карнизом огибающей гору. В версте от аула на одной площадке этой скалы остатки башни, построенной из местного камня на крепком цементе. Поднимаясь зигзагами вверх к башне, укрепленная каменными перильцами, тропа ведет далее по краю горы карнизом на восток к горной пещере, вероятно, служившей караульней. Внизу, у подножия той же горы, заметны следы других построек. К одному естественному гроту саженей в 5 вышины, с правой стороны была прилеплена какая-то постройка в виде каменного домика, которого заднюю стену образовала одна сторона грота. Это место до сих пор зовется *папасовым* жильем (т.е. поповым). Недалеко от него другой, меньший грот, по-видимому, был утилизован как часовня. В нем виден каменный уступ, на котором когда-нибудь стояла икона; к уступу ведут с правой стороны несколько высеченных в камне ступеней. Еще ниже близ реки виднеются могильные камни, с изображениями крестов. Стороны гротов, входившие внутрь часовни и *папасова* жилья, до сих пор носят следы штукатурки. Ходит предание, что в одной из пещер когда-то была найдена груда старинных книг, писанных на пергаменте. Но подобное же предание нам случалось слышать и в других местах.

В разных местах близ аула есть старые могильники, которые местное население называет вообще *шиаки*. Пользуясь выдавшимся хорошим днем, мы произвели в двух из них раскопки. Один могильник тянется по правой стороне речки Кардана на нагорном

берегу. Могилы обозначены несколькими большими и малыми камнями, лежащими на поверхности. Впрочем, так как весь склон горы усеян камнями, то определить могилу не всегда легко. Весь могильник изрыт в разных мастах местными жителями, которые ищут в шиаки золотых и бронзовых вещей. Бронзовые предметы ломаются и переливаются затем в пояса, золотые вещи продают странствующим мелочным торговцам или в городе. Покойники в этом могильнике хоронились не глубоко, не более $^1/_2$ и 1 аршина в глубь. На труп, по-видимому, наваливали камни, вследствие чего нередко кости представляют крайний беспорядок. В одной, раньше разрытой могиле мы заметили перегнившие куски древесных стволов, которыми, может быть, обкладывали трупы. По форме эти куски никак не могут быть остатками гробов. Раньше всего при нашей раскопке мы наткнулись на кости животных и на голову козла; далее показались в беспорядке человеческие кости. Близ головы мы нашли черепок от глиняного горшка, недалеко железную кирку.

Гораздо сложнее способ погребения выше в могильнике на горе Донгат, в $^1/_2$ версте от нижнего могильника. Здесь мертвецы в довольно глубокой яме (2 и $1^1/_2$ арш.) обставлялись поставленными на ребро плитовидными камнями, которые, таким образом, представляли каменный ящик в форме гроба. Такой гроб сверху прикрыт плотно пригнанными одна к другой тремя плитами. Разрытые нами 3 могилы оказались крайне бедны вещами: нам попалось лишь несколько пуговок от пояса и бронзовых бляшек. Нет никаких признаков оружия. Местность, близ которой расположен верхний могильник, носит следы христианства. Некоторые могилы были обозначены поставленными стоймя плитами с высеченными в них крестами. Много таких плит было перенесено в одно место и послужило для ограды загона для скота. Нам удалось розыскать 6 таких могильных плит. Неподалеку от могильника есть довольно обширная пещера в скале, которая, судя по находящимся в корридоре человеческим костям, служила катакомбою. Из этих признаков и из крайней бедности могил верхнего могильника можно предположить, что наверху горы была некогда монастырская обитель, и что костяки, погребенные в каменных гробах, принадлежат монастырской братии. Большое множество всяких бус, бронзовых фибул, шил, зеркал, пряжек, стрел и даже золотых вещей было находимо в нижнем, сильно испорченном могильнике. Чегемцы принесли к нам довольно много вещей из прежних раскопок, так что мы могли составить порядочную коллекцию. Большинство вещей совершенно того же типа, как вещи из камунтских могильников в горной Осетии. Конечно, большинство предметов — украшения не местного происхождения, а получались путем торговли или набегов: здесь вы находите в изобилии бусы из египетской пасты, египетские скарабеи, резные камни с иероглифами, бусы из золоченого стекла, опала, сердолика, стеклянные головки негритянского типа и т.п. Все это могло заходить на Кавказ во времена римского владычества в Закавказье, и, раз попав в руки тогдашних красавиц, переходит из поколения в поколение. Там,

где вещей мало, их, конечно, всячески берегут. Что касается черепов, то опять виденные нами не имеют никаких признаков монгольского типа и, конечно, принадлежат не предкам нынешних чегемцев.

Рядом с ранним христианством у чегемцев, как и у осетин, еще долго существовали слившиеся с христианством языческие обряды. Так, на правой стороне реки Джилги еще не так давно существовал каменный домик, называвшийся *навтциог*. При нем держали быка, который назывался *хычауаг-огюз** и кормился на счет всего аула в течение года до месяца хычауман (пасха — божий день). Когда приближался этот срок, быка выводили в поле и гадали об урожае: если бык мычал, обративши голову вверх, то лучший урожай будет на верхних пахотных участках; если — вниз, то на нижних. Заметим, что употреблявшийся при этом термин для гения урожая — Хардар — есть искаженное осетинское слово (хордар) и значит *хлебодержец*. Затем быка убивали и начинался жертвенный пир. Каждая сакля к этому дню должна была приготовить ватрушки (хычин) и принести к домику. Жертвенные ватрушки были больше обыкновенных и отмечены углублениями, сделанными большим пальцем; им давали особое название *хычауг-хычын*, т.е. достойная Бога лепешка. Против этого святилища на правой стороне Чегема была ровная площадка, на которую собирались петь священную песню с припевом *чоппа*, употребительную доселе у осетин, которые в честь святых поют: *цоппай*. Эту песнь пели, например, вокруг человека, пораженного громовым ударом, и около сумасшедших.

От языческих преданий древнего осетинского населения Чегема естественно перейти к преданиям о водворении среди чегемцев феодальных властителей, так называемых таубиев (горских князей). Здесь история аула сводится к истории самой выдающейся фамилии — Балкаруковых. Вот, что сообщил нам из фамильных преданий наш хозяин Али-мурза.

Родоначальник Балкаруковых, анфако, был родом из фамилии Болатуко, которая до сих пор живет в Абадзехии. Не уживаясь с братьями, абадзех Анфако решился выселиться с родины и первоначально пришел в Баксанское ущелье, к верховьям Баксана, где в то время жили сванеты. В стычке с ними он погиб, оставив двух сыновей — Баймурзу и Джаммурзу. Это было, по расчету, десять поколений тому назад. Несмотря на смерть Анфако, сванеты были оттеснены назад. Могила Анфако, каменный памятник в виде пирамидки, называемой *кэшэнэ*, находилась возле верхнего Наурузавского аула и лишь недавно разрушена. Оба сына его, отослав домой бывшую с ними дружину в 150 человек, отправились только с двумя аталыками (Андрухаем и Гемишты) в Чегемскую долину и прибыли в местность, называемую Актопрак (Белая глина). Они увидели несшиеся вниз по реке щепки и заключили о существова-

* Хычауаг — искаженное осет. слово хуцауаг — *посвященный Богу*; огюз по-татарски *бык*.

нии аула на верховьях. Действительно, отправившись вверх, они пришли к нынешнему аулу Чегему, населенному каким-то новым для них племенем. Князем у туземцев был в это время Берды-бий (его имя носит доселе один громадный камень близ аула). Прибывшие, как умные люди (выражение рассказчика), были радушно приняты в аул местным князем. В то время аул делился на два поселка. Сам Берды-бий жил на левой стороне Чегема, у подножья скалы, в башне, от которой сохранились доселе развалины в местности Битиклэр. На правой же стороне Чегема, в местности также носящей название Берды-бий и где также виднеются развалины, был поселок, принадлежавший князю. Туземное население уже в те времена занималось земледелием по обеим сторонам реки и орошало пашни канавами. Признавая Берды-бия таубием, оно приносило ему во время покоса по барану от двора. При князе были уздени, сопровождавшие его в походе, были и рабы — пленники или купленные, но дальнейших сословных подразделений еще не было. В то время жизнь была привольнее, так как на правом берегу, где ныне покос, был еще густой лес. В настоящее время чегемцы добывают лес издалека и с большим трудом.

По смерти Берды-бия у него остался малолетний сын *Пачикау*. Во время его малолетства братья-пришельцы успели понравиться аулу и получить в нем большое влияние. Мало-помалу потомки братьев приобрели большую власть и значение, нежели потомки Берды-бия, отличавшиеся неспособностью. У Рачикау был сын Акмурза, а у него 12 сыновей. Эти двенадцать братьев, надеясь на свою многочисленность, не хотели терпеть влияния потомков пришельцев в ауле и стали обращаться деспотически с их приверженцами. Предание помнит некоторые из их деспотических поступков: например, когда хлеба поспевали, братья выбирали самую лучшую ниву и, согнав на нее женщин, заставляли их жать колосья в свою пользу. Когда кто-нибудь варил пиво, братья, собрав буйную молодежь, отправлялись с нею распивать сваренное пиво. Напившись допьяну, они делали метку на котле и, обращаясь к хозяину, говорили: «Если ты выпьешь хоть каплю, мы срубим тебе голову!» С женщинами они позволяли себе всякие насилия. Однако, сколько ни храбрились братья и ни глумились над народом, всех их постигла страшная кара от представителя фамилии пришельцев — Келемета. Но прежде, чем рассказать об этом кровавом эпизоде исторической хроники Балкаруковых, нужно сообщить несколько слов о непосредственных предках Келемета.

У младшего из братьев-абадзехов Джаммурду был сын Балкаруко, от которого ведется фамилия. У Бакаруко сын Ахтуган, который достиг особенной власти родством с Шамхалами Тарковскими и постройкой крепкой башни, существующей и доселе.

В феодальном строе кавказцев семья жены должна быть равна по значению семьи мужа: никакие mésaillances* не дозволяются.

---

* Mésaillances (*франц.*) — брак с лицом более низкого происхождения.

Исходя из этих понятий и желая породниться с более знатным родом, Ахтуган, конечно, должен был прибегнуть к умычке жены, так как задумал породниться с Шамхалами, такими тузами, которые добром не выдали бы дочь замуж за горского таубия. И вот Ахтуган едет к кумыкам, высматривает на пляске Шамхалову дочку Керима-хан, срывается, как сокол, в круг, сажает девушку на коня и, удачно ускользнув от погони, привозит ее к себе. Дело было обделано так ловко, что в течение двух лет никто из Шамхалов не догадывался о местопребывании похищенной. Однако, чтобы извлечь пользу из своего родства, Ахтугану необходимо было так или иначе примириться со своими влиятельными родственниками. Для этой цели он, сам-друг, отправился в Шамхалов аул и остановился у одного кузнеца, Шамхалова аталыка, по имени Абдул-Азис. Ахтуган признался во всем своему хозяину и просил его сходить переговорить с Шамхалом, чтобы узнать, на каких условиях между ними возможно соглашение. Узнав, кто увез его дочь, Шамхал сначала сильно разгневался, потом пошел на условия, но такие тяжкие для Ахтугана, что тот не мог их принять. По требованию Шамхала, Ахтуган должен был быть посажен на время в тюрьму и за свое освобождение внести огромный выкуп джесирами (рабами) и драгоценными вещами. Вместе с тем Шамхал напустился на своего аталыка, за то, что он дал убежище лицу, оскорбившему князя, и требовал, чтобы Абдул-Азис выдал ему своего гостя. Аталык передал Ахтугану слова Шамхала и прибавил, что не смеет не выдать его в известный срок, хотя этим нарушает обычай гостеприимства. Гость отвечал, чтоб хозяин вел его к Шамхалу, но устроил бы так, чтобы они оба вошли в дом одновременно, но с разных сторон. Затем в присутствии Шамхала аталык должен был показать ему на гостя и сказать: «Вот я привел тебе моего гостя!» После этих слов всякая ответственность за голову гостя слагается с хозяина.

Отправившись к Шамхалу в условленное время, Ахтуган оставил своего товарища в ста шагах от кунацкой, приказав ему держать лошадей наготове, а сам одновременно с кузнецом вошел к Шамхалу. Кузнец сказал Шамхалу условные слова, и указав на Ахтугана, вышел. Тогда Ахтуган начал было говорить Шамхалу о своем деле, но тот прервал его и поставил вооруженных людей у дверей. Видя такой поступок, Ахтуган сказал: «Я искал не врага, а родственника, я не из тех людей, которые переходят из рук в руки с веревкой на шее» (т.е. не раб). С этими словами он обнажил меч, бросился на стражу и, уложив на месте нескольких приближенных Шамхала, вырвался из кунацкой. Затем он мигом добежал до приготовленных коней и ускакал во всю прыть. За ним пустились в погоню. В одной теснине, чрез которую должен был проезжать Ахтуган, Шамхал распорядился устроить ему засаду. Но и здесь Ахтуган, отлично владея стрелой и мечом, сумел пробраться благополучно и доскакать до дому. Хотя аул Ахтугана, расположенный высоко в горах, и был трудно доступен для врагов, однако, все же он опасался Шамхала, зная, что его не оставят в покое.

Поэтому он решил наскоро выстроить башню и вызвал из Сванета искусных каменщиков. Чтобы облегчить доставку камня с ближайшей горы и подъем его вверх, придумали следующий остроумный способ. От основания башни до ближайшей горы были построены узкие мостки, по которым приучили ходить быка с привязанными к рогам камнями. Быку привязывали камни на горе, затем он шел по мосткам до возводимой стены и, сдав свой груз, возвращался за новым, пятясь все время назад, так как не мог повернуться на узком мосту. По мере возвышения стен, поднимались и мостки, и таким образом башня была доведена до 3-х этажей. Вокруг башни соорудили высокую стену, в которую вели ворота, укрепленные бойницей.

Вскоре по сооружении этого замка, в ущелье Чегема вступил Шамхал с значительным войском. Ахтуган разместил своих бойцов по обеим сторонам узкого ущелья, на скалах и приказал им стрелять в лошадей, но не трогать Шамхановых людей. Он полагал, что родство между ним и Шамханом приведет, наконец, к примирению. Таким образом войско Шамхала в ущелье было осыпано градом стрел от врага, скрывавшегося за утесами, и потеряло множество лошадей. У самого Шамхала, выступавшего гордо в пышной красной одежде и высокой персидской шапке, по приказанию Ахтугана, шапка была сорвана метким выстрелом. Когда Шамхал убедился, что силой ничего не возьмешь, он пошел на переговоры, которые кончились полным примирением. С тех пор теснина, где происходила стычка, получила название *скалистый мешок* — канруг-кая, перенесенное на нее от одной подобной же кумыцкой теснины потерпевшими воинами Шамхала.

Родство с Шамхалами возвысило Ахтугана в общем мнении. С этого времени начинается и влияние мусульманства на Чегеме. Предание говорит, что языческие обряды стали исчезать с прибытием Шамхаловой дочери. Ее внуки носили уже вполне мусульманские имена: Али и Омар. Али ездил учиться у Шамхалов арабскому языку и изучил Коран. Вернувшись домой, он привез с собой старый Коран и стал ревностно утверждать мусульманство.

Из рассказа о женитьбе Ахтугана видно, какой энергией и предприимчивостью отличалось поколение Балкаруковых. Понятно, что симпатии аула лежали на их стороне, и что неспособные потомки местного князя Берды-бия все более теряли значение, которым пользовался их предок. Не меньшей энергией отличался и сын Ахтугана Келемет, которому пришлось навсегда покончить с потомками Берды-бия. Глухая вражда между ним и двенадцатью сыновьями Акмурзы привела, наконец, к кровавой развязке. Поводом к кризису был следующий случай: Келемет распоряжался всеми пахотными и покосными местами и отводил их ежегодно каждому двору, получая по барану от сакли. Братья начали восстановлять аул против этой подати и подействовали на некоторые семьи. Однажды, когда один аталык Келемета, Тичинов, собирался отнести ему барана, к нему нагрянули братья и уговаривали не нести подати. Тот не послушался их и был избит. Потерпевший

явился с жалобой к Келемету, и тот, встретив братьев, спросил их, как они смели так поступить. Вместо ответа они *промычали* подобно быкам, что считается сильнейшим оскорблением. Разгневанный Келемет крикнул им: «До следующего понедельника вы узнаете, человек ли я или скот!»*. Между братьями и свитой Келемета завязалась драка на палках, но была скоро прекращена.

Не прощая оскорбления, Келемет задумал страшную месть. Воспользовавшись отсутствием братьев, он собрал аул возле часовни Баирам, где обыкновенно приводились к присяге, и потребовал, чтобы ему присягнули все, кто был на его стороне. Затем со своими сторонниками он обдумал тайный план избиения всех братьев в одну ночь. Заговорщики разделились на партии, и каждая должна была справиться с назначенными ей лицами из числа сыновей Акмурзы. В ауле в назначенную для избиения ночь были дома только старик отец Акмурза и двое братьев, старший и младший. Семеро находились на покосе в местечке Гестепты в 4-х часах езды от аула, трое остальных на *кошу*. Келемет с товарищами отправился туда, где было большинство братьев. Работником у братьев в Гестепты был один балкарец, который находился в заговоре с Келеметом. Было условлено, что, уложив своих господ спать в сакле, работник вынесет вон все их оружие и, выйдя на некоторое расстояние, станет наигрывать на свирели. По этому знаку Келемет с товарищами прокрался в саклю и уложил всех семерых во время их сна. В ту же ночь другая партия заговорщиков отправилась на *кош*, где были другие три Акмурзовича. Было условлено, что заговорщики, не обнаруживая своих намерений, станут, как бы случайно, по двое около каждого из братьев и в один момент схватят их за руки. Другие должны были в тот же момент их зарезать. Так и было сделано. Когда обе партии заговорщиков, покончив с десятью братьями, под утро вернулись в аул, оказалось, что отец и двое братьев еще не были убиты, так как родственник Келемета Джон, которому было поручено это дело, не решился по трусости. Тогда приближенный Келемета, его тезка Келемет Чотанов, взял на себя покончить с младшим сыном Акмурзы, а убийство старшего было поручено холопу Келеметову Джаммурзе Эндругову. Прежде всего склонил свою голову младший Акмурзович, который, между всеми братьями, отличался особенной безнравственностью. Он отправился на заре на чужой овес, чтобы накормить своего коня. Вслед за ним, спрятав меч под буркой, поехал Келемет Чотанов. Подъехав к Акмурзовичу, Чотанов говорит ему шутливым тоном: «Теперь ты уничтожаешь чужой овес, а если тебе зимой захочется бузы, где ты ее найдешь?» «Найдется, — отвечал тот, — разве нет другого овса в Чегеме?» — Говоря это, он, нагнувшись, втыкал в землю кол, чтоб привязать своего коня. В эту минуту Чотанов, замахнувшись сзади, одним ударом снес ему голову. Совершив это убийство, Келемет Чотанов успел еще при-

* По поводу этого существует в Чегеме отличная рифмованная песня.

соединиться к партии, которая должна была покончить со старшим Акмурзовичем Кучюком. В это утро, также на заре, Кучюк, забрав силою женщин, поехал на чужую пашню. Вслед за ним отправились оба Келемета (князь и Келемет Чопанов) и холоп Джаммурза Эндругов. Чопанов, как известный шутник, должен был завести разговор с Кучюком и в шутку схватить его за шею и нагнуть в сторону. Так и было сделано. В этот момент Эндругов подскакивает на коне и ударом меча отрубает Кучюку ногу и затем покачивает с раненым.

Одновременно с старшим сыном был убит старик отец, оставшийся в сакле. Покончить с ним было поручено одному холопу, старику Сванету, который прибегнул к следующему обману. Собрав холопей, он стал говорить им, что Балкаруковы их слишком обременяют работою, и вызвался, от лица холопей, идти просить старого Акмурзу защитить их от Балкаруковых. Подойдя к сакле, Сванет почтительно просит старика выглянуть из окна, чтобы выслушать просьбу всех холопей. Эти слова польстили самолюбию Акмурзы и он высунулся из окошка. Тогда Сванет сильным ударом палки размозжил ему голову.

Этим истреблением 13 человек не кончилась еще чегемская Варфоломеевская ночь. У старшего брата Кучюка, уже женатого, был ребенок, воспитавшийся в семье Калибеговых. Нужно было покончить и с ребенком, чтобы впоследствии не было мстителей за кровь родственников. Заговорщики подошли к сакле и крикнули мамке, что князь Келемет желает посмотреть на ребенка. Та, не зная об участи Акмурзовичей, не подозревая ничего дурного, выносит малютку на руках и передает одному из заговорщиков. Как бы любуясь мальчиком, они начали передавать его из рук в руки и вдруг один из них ударил его головкой о камень. Мамка в исступлении грозит поднять на убийц весь род Акмурзы, бежит в аул и узнает о поголовном истреблении всех братьев. Вдова Кучюка была в это время уже беременна другим ребенком. Но, не подозревая этого, ее отпустили в родной аул в Дигорию, так как она была родом Каребугаева. Дома она родила мальчика. Когда весть об этом дошла до Чегема, здесь стали говорить: опять у них один родился! (тууду) — и мальчика прозвали Тууду. Мальчик вырос и от него произошел род Туудуевых, существующий и теперь, но уже потерявший всякие права в Чегеме.

В награду за преданность Келемет роздал в полную и безусловную собственность земли Акмурзовичей всем участвовавшим в их истреблении. На свою долю он не взял ничего.

Потомство Келемета, до освобождения холопей, пользовалось княжескою властью в ауле. Его сын Али был прапрадед нынешнего молодого старшины Алимурзы Балкарукова, который в течение целого вечера чрезвычайно связно и последовательно рассказывал нам вышеприведенную историю своего рода. По счету поколений поселение двух братьев абадухов в Чегеме произошло, вероятно, лет 300 тому назад. В течение этого периода семья эта ни разу не утрачивала своего значения, и как последний отголосок всеобщего

к ней уважения в ауле можно привести факт, что наш хозяин наследовал от недавно умершего отца звание выборного старшины, несмотря на свою молодость.

Семейные предания Балкаруковых могут служить к разъяснению общественного строя, в котором до последнего времени жили горцы-татары. Поэтому здесь всего удобнее остановиться и посвятить несколько слов разъяснению этого строя. Общественный строй горских татар всего ближе подходит под понятие феодального. Странной может показаться на первых порах мысль проводить параллель между железными баронами средних веков и горскими таубиями, которые ни внешним своим видом, ни повседневным домашним обиходом ничем существенно не отличаются, по крайней мере в наше время, от односельчан — их прежних холопей. Когда в 1853 году эти горские князья заявили русскому правительству о своем желании быть занесенными в ряды потомственного дворянства — эта претензия безграмотных и в большинстве случаев неимущих «мужиков» с первого взгляда не могла не показаться смешной. Несомненно, однако, что историческое право было на их стороне. Если древность рода, завоевание и вековое угнетение слабых сильными могут быть признаны основою политических прав сословий (а кто станет сомневаться в том, что эти три фактора и вызвали к жизни средневековые сословия), то не представится ни малейшего основания отказать горским князьям в их аристократических притязаниях.

Изустные предания, единственный источник наших сведений о прошлом этого татарского племени, в одно слово свидетельствуют о первоначальном заселении горных долин Кавказа — от Эльбруса до Штулу народом, имевшим более или менее демократическое родовое устройство.

По именам гор и рек, по наименованиям месяцев, по уцелевшим следам древнего культа, как мы уже видели, можно прйти к тому заключению, что этим народом были осетины-христиане. Старшина чегемского аула, Али-Мурза-Балкаруков, относит первоначальное поселение своих предков в долине Чегема к периоду времени, отделенному от нас 10-ю поколениями. Сыновья Анфако, родоначальника Балкаруковых, застают уже готовое поселение на берегах реки Чегема, и этим поселением правит, по-видимому, татарского происхождения князь, как показывает его имя Бердыбий (бий — князь). Предания балкарского общества позволяют нам отодвинуть время заселения края татарами еще на несколько столетий. Они говорят о прибытии Басиата и Мысака из Маджар задолго до начала влияния кабардинцев на предгорной плоскости, т.е. не позже XIII столетия. По преданию, пришельцы из Маджара долго время воевали с местным населением, которое не сразу подчинилось. Подчинить их балкарцам удалось маджарскому выходцу Мысаке, за что он и был признан балкарцами правителем. Балкарские предания ни словом не упоминают о том, как жили первоначальные насельники края. Но некоторые сведения об этом мы находим в преданиях чегемских. Они говорят, что Берды-бий, кня-

живший над аулом в эпоху прибытия в него абадзехского рода Анфако, жил не в самом ауле, а в его окрестностях, владея укрепленной башней и прилегающими к ней землями и довольствуясь собиранием одной только дани с соеднего населения. Каждый двор в Чегеме должен был доставлять Берды-бию одного барана в год. За исключением этого обазятельства население Чегема, по-видимому, не знало других. Ни о холопях, ни о том полусвободном классе, который мы встречаем в последующее время под названием «чагар», в это время не было и помину. Все население в равной мере участвовало во владении землею, которая была переделяема между дворами в определенные сроки. Отягощение жителей произвольными службами и платежами возникает только со времени тиранического правления преемника Берды-бия. Объясняя причины, приведшия к восстанию против них, предание говорит о захвате ими жатв, о принуждении к сельским работам в свою пользу и т.п. Чегемские предания говорят таким образом о феодальном гнете, как о чем-то принесенном извне и чуждом туземному населению. Еще определеннее выступает тот же факт из балкарских преданий. Мы видели, что Мысака́ сам является узденем или, что то же, вассалом Басиата в Маджарах; прежде чем вывести его с собою, он отбирает от него присягу в том, что Басиат не будет впредь считать его своим узденем и признает его лицом, равным с собою по власти. Итак, феодальная система отношений и, в частности, сословные различия не известны были туземцам до поселения в их среде чужеродцев. Последним следует приписать поэтому как установление частной собственности на землю, так и организацию сословий. Чегемские сказания заключают в себе на этот счет целый ряд намеков. Они связывают факт создания частной собственности с политическим переворотом, захватом власти со стороны рода Балкаруковых и избиением потомства Берды-бия. Чтобы упрочить свою власть, Балкаруковы раздают землю в собственность лицам, участвовавшим в заговоре против династии Берды-бия. К тому же приблизительно времени относится и установление сословий. Ближайшие помощники Келемета, главы заговорщиков, были поставлены в особенно привилегированное положение. Они одни получили право сидеть за столом с князем и вместе с тем обязанность сопровождать его повсюду и прежде всего в его набегах на соседние аулы. Те из простонародья, которые стали на сторону заговорщиков, также наделены были рядом льгот и преимуществ. Прежняя неопределенность служб перестала существовать. От каждого двора стали требовать в лето одного косаря, одного жнеца и одного пахаря. Таким образом возникли в Чегеме те два сословия, которые впоследствии становятся известными под наименованиями «каракешей» и «чагар». Первые владеют землею на правах собственно под условием военной и придворной службы. Вторые только пользуются ею на зависимых отношениях от горского князя и «каракешей».

Вышеописанные сословные отношения осложняются со временем благодаря широкому развитию между горскими татарами так

называемого «молочного родства». Отдавая своих детей на вскормление и воспитание «каракешам и чигарам», горские князья принимали в то же время обязательства по отношению к той семье, из которой вышла кормилица. Эти обязательства не погашались со времени возвращения в родительский дом княжеского сына и получения воспитателем наперед условленных подарков. Молодой князь считал своею обязанностью наделить семью своих молочных братьев землею в пожизненное владение, в замене чего последние принимали обязательства производить в его пользу ежегодные платежи, которые от самого их наименования «эмчиками» стали называться «эмчекской податью». (Слово «эмчек» производное от глагола «эмчен — сосать».)

Молочное родство и вытекающие из него отношения нередко возникали и помимо отдачи ребенка на вскормление. Рядом с реальным мы встречаем у горцев Кавказа и фиктивное молочное братство. Родовые усобицы обыкновенно оканчиваются тем, что обидчик, согласившись на уплату «виры», усыновляется родом обиженного. Акт усыновления состоит в прикосновении к грудям старейшей из женщин усыновляющего рода. После такого прикосновения обидчик становится «эмчеком», другими словами, молочным братом членов враждебного ему рода и получает от старейшин его участок земли, под условием платежа той же «эмчекской подати», какую несут настоящие молочные братья.

Ко всем вышеназванным причинам образования сословий присоединим еще одну.

Враждебные столкновения с соседними племенами и аулами и сменившая их впоследствии вековая война с русскими — вызвали к жизни сословие военно-пленных рабов. Любопытно, что это сословие носит у горских татар одно название с тем, которое принадлежит их вековым противникам черкесам в осетинском языке. У горских татар *раб* назывался *касак*, а это имя, по-видимому, тождественно с осетинским названием черкесов *касаг*, известным в нашей летописи в форме *касог*. В этом мы имеем прямое указание на то, что основание рабству положила война, и что первоначальными рабами были военнопленные из черкес.

Близость с Кабардою, постоянные набеги горцев на соседние кабардинские аулы и неоднократные походы кабардинцев в горы с целью положить конец этим набегам и поставить в зависимость от себя самих горцев — также наложили печать на характер сословных отношений у горцев. По словам князя Асламбека Атажухина, его предки, завоевавши Чегем и соседние к ним аулы, обложили горцев данью, для взимания которой поселены были в их среде наследственные сборщики из рода Ахматовых. Дань платилась рабами, крупным и мелким скотом. Горцы сплошь и рядом отрицают в наше время обязательный характер этой дани и говорят о добровольных платежах, произведенных ими в разное время в пользу кабардинских князей, как бы в признательность за дозволение пасти стада на плоскости в весенние и осенние месяцы, когда в горах нет достаточного для них корму. Просмотренные нами ста-

ные дела нальчикского народного суда не дают, однако, прав отрицать существование более чем номинальной зависимости горских таубиев от кабардинских князей, и, в частности, от рода Атажукиных и Наурузовых. Сплошь и рядом эти князья обнаруживают притязания на подчинение им, как сюзеренам, таубиев отдельных аулов, в том числе урусбиевского. Мало того, нередко в этих же делах идет речь о принуждении ими тех или других родов, поселенных у верховья Баксана, т.е. в районе горских владений, к уплате раз навсегда положенной дани. Отказ ведет к военной реквизиции и совершенному погрому. Те же князья нередко отправляют к горским таубиям новых поселенцев, прося о наделении их землею, если не в собственность, то в пожизненное и наследственное владение, каждый раз под условием платежа известной ренты в пользу таубия. Все эти частности вместе взятые дают право утверждать, что в известный период их истории горские таубии принуждены были признать над собою власть соседних кабардинских князей, — сделались их узденями, обязались оказывать им покорность и платить дань. Защищенные самою неприступностью занятой ими местности, они со временем фактически освободили себя от прежней зависимости, которая, таким образом, постепенно сделалась номинальной.

Мы рассмотрели один за другим важнейшие факторы горского феодализма и обусловленной им сословной системы. В существеннейших чертах эти факторы не отличаются ничем от тех, которые повели к возникновению феодальных отношений на западе Европы. Если не говорить об «иммунитетах» и «коммендациях» — причинах второстепенных и позднейших — нельзя будет не согласиться с тем, что основу феодальных отношений всюду положило завоевание, покорение одного племени другим, обезземеление побежденных и наделение недвижимой собственностью ближайших сподвижников победоносного вождя, принимающих по отношению к нему обязанность военной и придворной службы. А эти именно причины мы и встречаем в истории татар, насколько эта история известна нам из уцелевших преданий.

Бросим теперь беглый взгляд на самую организацию сословных отношений в том виде, в каком она продержалась до 1867 года — эпохи отмены крепостного права на Кавказе. Во главе социальной лестницы стоят так называемые «таубии», что в буквальном переводе значит «горские князья».

Число их весьма ограничено; всех княжеских династий мы насчитываем 13. Они распределены неравномерно между разными аулами. В древнейшем из них, в Балкаре, их всего более: четыре; в новейшем урусбиевском — всего одна. Подобно тому, как в германских «правдах» высшее состояние выражается прежде всего в высшем размере «вир», или «композиций», так точно в среде горцев убийство и всякое другое правонарушение, направленное против членов княжеского рода, ведет за собою уплату обидчиком пени в три и четыре раза больших против обыкновенных. При удержавшемся обычае покупать невест, принадлежность к высше-

му сословию сказывается также в увеличенном размере «калыма», или платы за невесту. Замечательно при этом совпадение между размером «калыма» и размером «виры». В случае убийства «таубия», как и в случае покупки жены из этого сословия, «вира» и «калым» одинаково полагаются в 15 голов крупного скота. Каракеши платят «виру» и «калым» в пять раз меньше против того, какой обязаны вносить таубии.

Принадлежность к княжескому роду исключает возможность брака с женщиной низшего состояния. Таубий может взять в жены только дочь таубия же, кабардинского узденя или члена высшего сословия, каким бы именем ни обозначали его горские племена: «дигорцев», «кумыков» или «сванетов». Отметим при этом следующую оригинальную черту: неравный брак запрещается только мужчинам — подобного запрета не существует для женщин. Мы полагаем, что причина такой аномалии лежит в невозможности найти для бедной горской девушки, хотя бы и княжеского рода, жениха одного с нею сословия.

До последнего времени, до введения русским правительством в горские суды правила о решении дел по наследству, на основании «шариата» женщины не были наследницами, а это обстоятельство, очевидно, затрудняло возможность вступления в брак с лицами, равными им по состоянию.

Привилегированное положение «таубиев» находит выражение себе как в сфере администрации, так и суда. Если в наши дни, со времени введения в действие русских законов о сельских обществах или аулах, старшиною является обыкновенно выборное и утвержденное правительством лицо, то из этого не следует еще, что подобный порядок вещей может быть признан самобытным и исконным. В эпоху своей независимости горские татары не знали других старшин, кроме старейших представителей княжеских династий. Они предводительствовали на войне и начальствовали во время мира. Власть их, однако, не была неограниченной: важнейшие дела решались ими не единолично, а при участии и с совета старейшин. Этих последних посылали, впрочем, только каракеши по одному от каждого двора. В сборнике балкарских «адатов», другими словами, обычаев горских татар, составленном в 1844 году под руководством князя Голицына, начальника центра Кавказской линии, мы находим следующие подробности насчет характера судебного устройства. Подобно осетинам, чеченцам и черкесам, горские татары не знают постоянных судов и разбираются в своих тяжбах частными посредниками. Эти последние выбираются из всех сословий одинаково, смотря потому, каково общественное положение сторон. Избранные судьи в каждом ауле сходятся в раз навсегда определенном месте, известном под наименованием «махкимэ». На этом месте доселе можно видеть несколько камней, слегка видоизмененных рукою человека, на которых и заседали посредники.

Отметим при этом следующую характерную черту: подобно другим народцам северного Кавказа, в частности осетинам и че-

ченцам, горские татары придавали особенное значение приговорам тех посредников, которые по рождению своему принадлежали к старейшему аулу, к «Балкарам». Им принадлежало, в частности, право пересмотра постановленных решений, каждый раз, когда та или другая сторона высказывала свое недовольство последними.

Если судоговорение и не составляло, как следует из сказанного, исключительного занятия горских князей, как ошибочно полагает «комиссия по исследованию сословных прав туземцев», то надзор за выполнением приговоров, самое приведение их в действие, всецело входит в круг обязанностей старейшего представителя княжеской династии в ауле. Да иначе и быть не могло в обществе, в котором, благодаря исключительному господству посредничества, приговор сам по себе имел лишь одно условное значение. В распоряжении посредников не могло быть, конечно, никаких средств к его вынуждению. Вынуждаемость приговоров достигалась не иначе, как путем непосредственного вмешательства самого князя, признания им за нарушителем мира всех противящихся выполнению раз постановленного решения. Санкция приговора содержится, таким образом, не в нем самом, а в тех административно-полицейских функциях, какие с самого начала сосредоточиваются в руках народных старейшин, — этих верховных охранителей спокойствия и порядка. Сказанное подтверждается историей древнейшего процесса у любого народа. У древних славян, как и у древних германцев, невыполнение приговора одной из сторон ведет к тому, что сторона эта признается народными старейшинами стоящею вне закона, как бы гражданский умершею. Убийство ее перестает считаться преступлением; ее собственность не признается более и поступает на «поток и разграбление», другими словами — подлежит конфискации в пользу князя.

Резюмируя все сказанное, мы не ошибемся говоря, что в руках княжеских династий, в лице их старейших представителей, сосредоточиваются приблизительно те самые права, какими располагали в первой половине средних веков германские «кунинги» и славянские князья. Подобно им, они — верховные предводители на войне и стражи общего спокойствия в мире. «Zwing und Bann»*, выражаясь языком германистов, всецело сосредоточивался в их руках. Спрашивается, однако, как примирить все сказанное с упомянутым уже нами сожительством в одном ауле нескольких княжеских династий? Кому в этом случае принадлежит та сумма политических прав, которая обнимается понятием княжеского «суверенитета»? — Безразлично всем и каждому из старейших представителей отдельных княжеских династий. Аул в этом случае не представляет собою цельного политического организма, а является скорее конгломератом нескольких маленьких государств, совершенно независимых друг от друга. Не есть ли это лучшее доказа-

* Право принуждать к исполнению повелений и приказывать совершение или несовершение известных действий.

тельство тому, что балкарское общество в своем развитии отправилось от той же точки отправления, с какой начался политический рост любого народа? Я разумею господство независимых друг от друга суверенитетных родов, долгое время сохраняющих свое обособленное существование и после соединения их в одно сельское общество, в один аул.

Та характерная особенность феодальных отношений, которая состоит в соединении в одном лице прав собственника и государя, находит выражение себе и в горских обществах, в том смысле, что княжеские роды не только правят всеми остальными семьями, но и являются по отношению к ним верховными собственниками занятой ими земли. Как в феодальной Англии или во Франции, никто не владеет землею иначе, как в зависимости от небольшого числа сеньоров, так точно в среде балкарцев все остальные сословия: «каракеши», «чагары», «касаки» и отпущенные на волю рабы, или «азаты», безразлично сидят на землях «таубиев», неся в их пользу наперед определенные повинности и платежи.

По сведениям, собранным нами в «Хуламе» и «Чегеме» каждый каракеш, за исключением старшего во дворе, обязан один день в году пахать княжеское поле и один день косить на княжеском лугу. В горячее время жатвы женщины «каракешских дворов» поголовно выходят на княжеские нивы для уборки хлеба. В своей совокупности дворы каракешей обязаны сверх того поставить князю выбранного из их среды табунщика и пастуха.

Рядом с этими повинностями каракеши производят в пользу князя следующие платежи: постоянным сбором с них является так называемый «эмчек». Первоначальное его происхождение было указано нами выше. Из видового понятия, каким он был на первых порах, «эмчек» сделался с течением времени родовым; из ренты, уплачиваемой молочными братьями — общим видом земельной ренты, размер которой зависел от первоначального уговора «таубия» с «каракешом». Не любопытно ли встретить на отдаленнейшем конце Европы то самое *половничество*, которое доселе является условием процветания крестьян Тосканы и которое в средние века было наиболее распространенной системой земледельческого хозяйства!

За этим периодическим платежом следует назвать еще целый ряд временных и случайных. Хорошо известен средневековой обычай взимания так называемых «auxilia», в буквальном переводе «пособий», между прочим, при отдаче сеньором в замужество старшей его дочери. Нечто подобное ему представляет в среде горских татар так называемый «бомбайлаган», другими словами — платеж, делаемый «каракешами» по случаю замужества не только старшей, но и прочих дочерей «таубия».

Особенность этого платежа, отличие его от средневековых «пособий» составляет то обстоятельство, что платеж этот идет в пользу самой дочери и производится не в день ее замужества, а по случаю ее приезда, уже после заключения брака, в отцовский дом. У балкарцев, как и других горцев, существует обычай, в силу кото-

рого жена однажды в течение всей своей жизни отпускается мужем в гости к отцу. Она проводит в родительском доме обыкновенно несколько месяцев, нередко, однако, год и более. Перед отъездом ее к мужу со всех дворов «каракешей», принадлежащих ее отцу, отбирается по одной корове, возрастом не моложе двух с половиной лет. Любопытно при этом, что вместе с молодой одаряется и ее спутница, ее «дзига», принадлежащая по происхождению к роду ее мужа. В пользу ее двор дает также по одной корове, но уже не более, как двухгодовалой. Этот сбор, по имени того лица, в пользу которого он производится, носит название «дзига».

Не только брак княжеской дочери ведет к обложению «каракешей» известными сборами, но то же последствие имеет и выдача ими самими замуж своих дочерей. Тождественный с французским «tor mariage» или английским «maritagium» горский обычай уплаты «таубию» части получаемой в плату за дочь «калыма» интересен для нас в том отношении, что указывает на сходство даже в частностях между феодальным правом в средневековой Европе и тем, которое еще так недавно было в полном действии среди горцев северного Кавказа. Размер платы, производимой в этом случае «каракешем» в пользу «таубия», редко превышает ценность одного быка и коровы, вместе взятых.

Опять-таки в поразительной аналогии с средневековыми порядками, кончина «каракеша», как и брак его дочери, являются для «таубия» условием получения известных имущественных выгод, впрочем только в том случае, когда за этой кончиной следует раздел оставленного им состояния между братьями. При таком дележе на долю «таубия» приходится обыкновенно большее или меньшее число холопей и голов рогатого скота, стоимостью 100, 200 и 300 рублей, смотря по величине поступившего в раздел имущества.

Мы видели, что «каракеш» платит одинаково, как при замужестве, так и при вступлении в брак дочери «таубия». То же может быть сказано и о кончине. Не только смерть «каракеша», но и смерть «таубия», имеет своим последствием довольно значительные затраты в пользу оставшейся в живых княжеской семьи.

«Каракеш» обязательно участвует в поминках, «аш», устраиваемых роднею. Сверх этой случайной затраты «каракеш» несет еще ежегодную на угощение господина, по крайней мере один раз в течение поста, так называемый «ураз», откуда и самое угощение получает свое наименование «уразажохло». Он зарезает для этой цели обязательно целого барана и поставляет от себя сверх того котел пива и столько же браги или «бузы». Премиции или так называемые первые плоды, другими словами, обязанность вассала делиться с господином частью употребляемых им в пищу продуктов сплошь и рядом встречается, как известно, в средневековой Европе. Нечто подобное им представляет балкарская «уча». В буквальном переводе этот термин означает собою часть туловища животного от двух последних ребер до пахов. Эту часть убитого зверя («оленя», «козы», «тура» и других) или зарезанного быка, коровы

и овцы «каракиш» обязан отдать своему «таубию» вместе с мехом или кожей.

Из изготовленных ими сыров «каракеши» отдают в пользу господина по меньшей мере 5. Таковы обязанности «каракишей» в мирное время. В военное же к ним присоединялась еще и поголовная служба в войске. Начальство над последним принимал избираемый «таубием» военачальник. Вооружение и содержание лошади во время похода падали на «каракешей». Не есть ли сказанное буквальное повторение того, что можно найти в любом трактате леннаго права, касательно службы, отправляемой вассалами в войске сюзерена.

Этот очерк различных обязанностей, падавших на плечи «каракешей», мы закончим указанием на тот факт, что переходы от одного «таубия» к другому не были им дозволены, и что «каракеши», подобно прочему имуществу, поступали в раздел между оставленными «таубием» наследниками.

Еще большие обязанности несут по отношению не только к князю, но и к «каракешам» поселенные на их землях «чагары». Подобно ближайшим вассалам горского князя, члены этого сословия считались лично свободными. Производимые ими сельские работы и натуральные платежи были не более как эквивалент полученной ими в наделе земли. Пользуясь этой землею не только пожизненно, но и наследственно, «чагары» несли в пользу ее собственников следующие виды личных повинностей и натуральных сборов. Из каждого двора один мужчина и одна женщина круглый год работают на собственника. Сверх того раз в год все мужское и женское население двора выходит на хозяйское поле. Первые косят, вторые жнут.

Дрова для топлива доставляются «чагарми» по очереди на собственных ослах как на княжеский двор, так и в жилище «каракешей», в зависимости от которых «чагары» держат свои земли.

Подобно «каракешам», они поставляют табунщиков и пастухов. Сверх общего с «каракешами» обязательства угощать хозяев однажды во время поста, участвовать в поминках по ним, отдавать в его пользу часть «калыма» и большую или меньшую долю поступающего в раздел наследства «чагары» несут еще следующую крайне разорительную для них повинность: при приезде гостей «кунаков» к «таубию» или к «каракешу», «чагары» обязаны на собственные средства доставлять содержание их лошадям.

При широком гостеприимстве, характеризующем горцев, такая обязанность сопряжена с значительными имущественными затратами.

Вступление в брак княжеского сына или самого старшины имеет для «чагара» следующие отяготительные последствия. Он обязан доставить, в случае требования, по меньшей мере одну голову скота или принять к себе в временное содержание княжескую жену, за что подчас вознаграждается подарками. Жены «чагаров» не в праве также отказаться от исполнения обязанностей кормилиц, каждый раз, когда того потребует от них «таубий». Дети пос-

леднего младенцами поступают в семью «чагары» и остаются в ней нередко до совершеннолетия. оставление господина запрещается «чагарам» под угрозой потери ими всего имущества.

Подобно «каракешам», «чагары» обязаны также производить в пользу господина ежегодные подарки сырами и частью убитых ими животных, причем по обычаю отдают обыкновенно в их пользу одну треть, вместе с кожею и мехом.

Всякий, мало-мальски знакомый с средневековым сословным устройством, согласится с нами, что вышеописанный быт «чагар» довольно близко подходит к тому, в каком в Англии, напр., жили «custumory tenants»*, во Франции — владельцы «censive»**, а в западном крае так называемые «чиншевики». Подобно им, «чагары» сидят на чужой земле, не только пожизненно, но и наследственно, платя собственнику ее поземельную ренту, специальные платежи по случаю бракосочетаний или перемены в лице самих владельцев, следующей за разделом имущества между наследниками. Подобно им также «чагары» не вольны оставить своих хозяев или по меньшей мере теряют при переходе к другому собственнику в пользу прежнего все принадлежавшее им имущество.

Низший слой населения составляет, как мы видели, у горских татар так называемые «касаки», т.е. крепостные, но и в их среде замечается то самое различие, какое известно было средневековому праву, и которое некогда существовало и у нас между крепостными, в собственном смысле, и дворовыми. Для последних мы встречаем у балкарцев даже особое наименование «караваш». Тогда как «касаки» состоят в постоянном отношении к земле и отчуждаются вместе с нею, «караваши» продаются и покупаются на ряду со скотом. Запрещение разрознять семьи при продаже касается одних только «касаков», — отнюдь не «каравашей».

Семейные отношения, возможные для «касаков», не существуют для «каравашей». «Караваш, служанка или горничная», читаем мы в сборнике адатов 1844 года, «законного мужа не имеет; ежели господин позволит холостому мужчине жить с нею, то он же вправе запретить ей такое сожительство, когда вздумает. Последствием его ни в каком случае не является установление каких-либо прочных отношений ни к женщине, ни к рожденным от нее детям. Они навсегда остаются при господине, который вправе продавать их врозь. Обязанности «касаков» и «каравашей» состоят в исполнении частью полевых, частью дворовых работ в пользу господина. Они — его рабочая сила, потеря которой вознаграждается большим или меньшим числом голов крупного и мелкого скота. Отсюда то последствие, что при убийстве их «вира» платится не кому другому, как господину. Точно также при отдаче в замужество «калым» поступает всецело к нему одному. Права господина по отношению к его крепостным ничем не отличаются от тех, какими

---

* Владельцы по обычному праву (*англ.*)

** Оброка, подати (*франц.*)

он располагает по отношению ко всякому другому виду движимой собственности. Мы уже видели, что он по желанию продает их на сторону; прибавим теперь, что самая жизнь их ничем не защищена от произвола господина. Хозяин так же мало отвечает за убийство «касака» или «караваша», как за убийство собственного быка или коровы. От того же хозяина зависит, впрочем, и радикальная перемена в участи подвластных ему холопей. Сплошь и рядом, по соображениям религиозного характера, «таубии» и «каракеши» отпускают на волю своих «касаков» и «каравашей» безвозмездно или под условием выкупа. Любопытно при этом то обстоятельство, что вольноотпущенники не прекращают сразу всех отношений с прежними их господами и продолжают владеть землею в личной зависимости от них. Не те же ли эти отношения, какие в древней Германии существовали между «либертами» и «свободными», а в Риме между «криентами» и «патронами»?

Этим мы оканчиваем очерк сословных отношений у горских татар и переходим к их земельному устройству.

Уже из сказанного видно, что право собственности на землю исключительно сосредоточивается в руках «таубиев» и небольшого числа «каракешей»; остальные сословия владеют ею не иначе, как в зависимости от князей и их вассалов. Это верно, впрочем, лишь по отношению к пашням и сенокосам. Земли же, удобные для пастбища, как расположенные обыкновенно по горным скатам и вершинам, и потому негодные для возделывания, остаются в общем пользовании всего аула. Число участков, способных к обработке, весьма незначительно. Ценность их, по этой причине, — высока. Мы слышали неоднократно о случаях продажи участка величиною с десятину за 1 000 и более рублей серебром, или, что то же, за 50 быков или коров. Крупной собственности в нашем смысле слова горцы не знают. Низший размер поместья не превышает 600 кв. саж[еней]. Высший — несколько сот десятин. По данным, собранным русским правительством, число всех владеющих землею дворов не превышает 720. Более 400 дворов, в состав которых входят частью обедневшие «таубии», частью члены других сословий, вовсе не наделены землею.

Говоря о частной собственности, мы разумели не личную, а дворовую. Двор является совокупностью нескольких родственных семей, владеющих сообща как движимым, так и недвижимым имуществом. Это своего рода «задруга» или, еще точнее, русская большая семья с наследственным и невыбираемым старшиной.

Все заработки, делаемые даже на стороне отдельными членами ее, поступают в общую казну на покрытие общих издержек.

Процесс индивидуализации коснулся, впрочем, в последнее время и этих архаических союзов. Причиной к тому служит нежелание частных лиц поступиться своими личными заработками. Поводом в большинстве случаев — ссоры и несогласия между женщинами. Пройдет еще несколько десятилетий и от этих семейных общин уцелеют лишь немногие подобно тому, как это имело уже место в большинстве великорусских губерний.

Изложив в главных чертах сословные отношения, существовавшие у горских татар еще до недавнего времени, а также их земельное устройство, возвращаемся к дальнейшему очерку нашего путешествия. Читатель припомнит, что он оставил нас в гостеприимной семье старшины чегемского аула Али мурзы Бакарукова.

III. От Чегема до Атежукина-аула

В течение трех суток, проведенных нами в Чегеме, мы освоились с местными жителями, и они попривыкли к нам. Каждый день нам приносили показывать и продавать разные предметы из *шиаки* (мочал), многие женщины лишились своих бус, проданных нам их родственниками. С утра в наше помещение входили все новые лица, и мы полагаем, что большинство наличного мужского населения в течение этих дней перебывало у нас. Один из туземцев очень бойко заговорил с нами по-русски: оказалось, что это русский, живущий уже лет 8 в Чегеме в качестве писаря. Он года через два стал уже хорошо говорить по-татарски и, по-видимому, вполне освоился в ауле. Живет он при аульном правлении, получая в год 300 рублей. Всего более привязался к приезжим хорошенький, бледный мальчик, двоюродный брат Сафара. Не понимая ни слова по-русски, он замечательно угадывал наши движения и старался всячески нам услужить. Мальчик страдает падучею болезнью и потому до сих пор его не учили грамоте, хотя он выказывает живейшее желание учиться в горской школе. Когда Сафар подарил ему на прощание перо, он был в полном восторге и, позабыв запастись стальными перьями, $^1/_2$ часа бежал вдогонку за нами, чтобы попросить два перышка. Заметив это, мы остановили лошадей, и он получил желаемое.

На правах почетных гостей, а главным образом иностранцев, нам дозволили войти в женское помещение, куда доступ посторонним строго воспрещен. Вокруг одной стены длинного и довольно темного помещения тянутся сундуки московской работы (красные), а на них сложенные рядами подушки, матрацы, одеяла в огромном количестве чуть не до потолка. К нам вышли две женщины и две девушки с красивыми, но бледными лицами, лет 15 и 16. Сафар Али, как брат, обняв девушек за талию, служил толмачем в нашем, конечно, непродолжительном разговоре с горскими красавицами, которые оказались менее застенчивы, нежели мы предполагали. На шутливый вопрос одного из нас, возможен ли факт, рассказанный поэтом в «Кавказском пленнике», девушки отвечали, что никогда горская девушка не унизилась бы до любви к русскому пленному.

Конечно, красавицы были правы. Чем выше общественное положение человека, тем в большей замкнутости живут у него женщины. Девушки вообще не выходят никуда одни, и часто по целым месяцам сидят взаперти в сакле. Этим объясняется резкое отличие в цвете лица у девушек от женщин. Но и замужние отличаются нередко крайним равнодушием ко всему, что за пределами

не только их сакли, но даже комнаты. Сафар в один из приездов с трудом уговорил свою, уже престарелую, тетку выйти из ворот. Она дожила до старости, не видав даже своего аула.

Немалым развлечением в однообразной жизни двоюродных сестер и брата Сафарова служит маленький, недель двух, туренок, недавно пойманный в скалах и принесенный старшине. Забавное животное стало вполне ручным и откалывает удивительные саженные скачки вверх и вниз по сложенным на дворе бревнам. Его поят молоком, и оно растет хорошо. Впрочем, туземцы не знали примеров, чтобы тур мог взрости в неволе. Обыкновенно, несмотря ни на какой уход, турята околевают.

Женщин, гораздо более чем мужчин, огорчал европейский костюм Сафара и его отпущенные волосы. В оправдание себя он должен был прибегать к довольно неправдоподобному объяснению, что в Москве так холодно, что нельзя ходить бритым. Одна из кузин даже заметила о нем с иронией: «Ведь вот русский, — а недурно говорит по-горски!»

Погода не обещала перемены к лучшему; каждый день несколько раз шел дождь, так что мы должны были отказаться от прежнего намерения ехать в урусбиевское общество близ Эльбруса, и решили предпринять обратный путь на Баксанский пост, а оттуда на станцию Солдатскую. Распростившись с любезным хозяином, мы, в сопровождении целой толпы, сели на лошадей и пустились в путь по левому берегу Чегема. Долина здесь суживается настолько, что небо иногда кажется голубой лентой. Внизу по утесам густой кустарник и ковры отличной травы. Несколько верст ущелье чрезвычайно живописно, далее оно расширяется и уже не представляет прежней суровости. В местечке Актопрак, в саду Балкарукова, мы сделали небольшой привал на мягкой траве и выпили в последний раз вкусного айрана. Небо, разъяснившееся к полудню, легкий ветерок, колыхавший над нами ветви грушевых деревьев, неумолкаемое журчанье воды, причудливые контуры гор — все это располагало к неге и наводило на душу приятную истому.

Понятно, что привал продолжался дольше, чем следовало, и нам к вечеру пришлось пожалеть об этом. Нам предстояло сделать значительный подъем, чтобы спуститься в долину Баксана, почти параллельную с Чегемской. Несколько часов ехали мы по превосходным альпийским лугам, до высшего пункта подъема, где поставлен каменный столб, служащий межою балкаруковских земель. Спуск вниз был далеко не так приятен. Мы убедились, что не придется засветло доехать до Озрокова-аула и решили заночевать в часах трех пути до него. Мимо нас время от времени проходили многочисленные стада баранов, бродящие в этих привольных лугах все лето. Подумывая об ужине, мы купили барашка, и проводник наш на седле привез его к облюбованному месту для ночлега, на берегу небольшой горной речки. Такой бивуак под открытым небом для нас, европейцев, казался очень привлекателен. К нам пристало двое проезжавших мимо горцев и один молодой

софта (или по-здешнему сохта), ходивший учиться по-арабски на плоскость и теперь возвращавшийся домой. Мы расположились на бурках и вынули принадлежности походной кухни. Один из спутников сбегал до ближайшей рощи за хворостом. Скоро барашек подвергся своей участи и явился перед нами в виде вкусного шашлыка, в уничтожении которого с равным рвением участвовали и мы, и приставшие к нам добровольцы, и мусульманский студент. Ночь наступала быстро, и мы устроили себе постели на покатом берегу речки: бурки внизу, седла в головах, бурки сверху. Казалось бы, ничто не могло нарушить наш покой. Не тут-то было. Едва мы начали засыпать, как стал накрапывать дождик. Сначала мы не удостоили его особенным вниманием. Но он оказался упорен, усиливался с минуты на минуту, и вдруг мы почувствовали, что с вершины ската под нами начали течь ручейки. Скоро нижние бурки вымокли, и сон не мог уже продолжаться с прежним удобством. Струйки воды стали скользить по телу, и мы вскочили, вполне излеченные от дремоты холодной ванной. Едва начало светать, как мы пустились в весьма жалком виде в дальнейший путь, лошади скользили в грязи, дождь шел хотя не сильно, но упорно, наши костюмы мокры — хоть выжать, утро холодное, горы до низу окутаны туманом. Часа три ехали мы, проклиная наш поэтический бивуак в Актопраке, имевший последствием сквернейшую ночь. Желание обсушиться и обогреться было так настойчиво, что дорога до Озракова казалась нескончаемой. Наконец дождь утих, выглянуло солнце, и мы прибыли к впадению Кесанта в Баксан, откуда до аула не более часа пути. Туман поднялся с гор и обнаружил фантастическую гору Лаху, представляющую вид громадной крепости с башнями, бастионами и зубчатыми стенами. Пространный луг на берегу Баксана покрыт сотнями курганов, то целых, то уже раскопанных. В последних, проезжая мимо, мы заметили сложенные из камней склепы, опустошенные искателями золотых вещей. Вот появился аульчик, а за ним широкая долина и неуклюжая гора Ахмалы-кая.

Приют в Озрокове не представлял ничего привлекательного. Мы остановились у одного из знакомцев Сафара, человека небогатого. Грязная, темная кунацкая, загроможденная притом всяким хламом, представлялась скорее погребом, чем человеческим жильем. На очаге развели огонь, набрав немного хворосту, немалой роскоши в этих безлесных местах, и мы кое-как обсушили свои платья. Дождь на время утих, и мы решили сделать две—три раскопки с целью описать способ погребения и устройство могил. Мы видели, что нужно торопиться, так как население, отличаясь непомерной археологической ревностью, скоро разроет все могилы, и найденные вещи и черепа исчезнут безследа.

Население выказало необыкновенную готовность участвовать в археологической экскурсии. Не более как после получаса непрерывной болтовни семи человек, вооруженных всеми наличными в ауле кирками, тронулись на *шиакы*, вверх по горе Калакол, лежащей насупротив Ахмалы. По всему склону горы, названной Кала-

кол по развалинам крепости (кала), тянется обширный могильник, в котором некогда хоронились жители этого горного замка. Наружными признаками могил служат камни, более или менее правильные, расположенные в виде ступеней по откосу горы. По снятии дерна мы натолкнулись на слой связанных цементом небольших камней, шириною не более квадратного аршина. Выбирая эти камни, мы увидели, что они наполняли узкий колодец, идущий аршина на $1^1/_2$ в землю. Когда колодец был очищен, на его дне в боковой стенке оказалась почти квадратная плита, представлявшая дверцу, ведущую в склеп. Расширив колодец снятием земли, покрывавшей верх склепа, мы отвалили дверцу и впустили солнечный луч в могилу, стоявшую закрытой в течение нескольких столетий.

Перед нами склеп длиною в сажень и вышиною аршина в $1^1/_2$ сделанный из огромных камней, связанных цементом. В одной из стен небольшая ниша, а в ней высохшая как лист деревянная тарелка с остатками какой-то пищи. На полу шесть костяков с ужасно обезображенными грушевидными черепами*, которые были некогда в большой моде у некоторых тюркских народов (гуннов). Пять костяков лежат параллельно головами на запад, ногами на восток, один костяк у них в ногах. В головах у каждого небольшой глиняный горшечек, а возле них мы насчитали 7 деревянных отлично выточенных тарелок, с деревянными же ложками. Вся эта посуда рассыпалась при первом прикосновении. При третьем костяке, принадлежавшем, по-видимому, главе семьи, железный меч в сафьянных, вышитых шелком, ножнах, — конечно, и железо, и сафьян перегорели донельзя. У скелета — рядом, по-видимому, женского, небольшое бронзовое зеркальце, 2 браслета и несколько бронзовых колец. В ногах у двух костяков стаканы из коровьего рога с деревянными днищами. Бронзовая фибула, несколько блях от пояса и стеклянных бус рассеяно среди истлевших костей. Совершенно одинаковое состояние всех костяков говорит в пользу предположения, что покойники были положены в склеп одновременно. Вероятно, главу семьи должны были сопровождать на тот свет жена и холопы в известном числе. По словам местных жителей, в склепах очень часто оказывается по шести человек.

Кто были властители крепости на Баксане с этими ужасными коническими черепами — это мы едва ли когда-нибудь будем знать достоверно. Некоторый намек на их время дала золотая брошка, отличной, по-видимому, византийской работы, найденная старшиной Озрокова, раскопавшим один склеп рядом с нашим. Боимся, что купив его находку, мы еще более приохотили озроковцев к раскопкам, до которых они и так слишком падки. По крайней мере, проезжая на другое утро у подножья горы Калакол,

* Форма черепа, напоминающая острую половину яйца, достигалась тем, что детям надевали на лоб обручи, вследствии чего череп рос вверх.

мы заметили немало людей, спешивших с кирками на верхний могильник.

Принеся трофеи нашей раскопки в кунацкую, мы отправились копать нижний могильник, расположенный по берегу Баксана. Здесь раскопки были менее удачны. Кроме костяков, с чертами несформированными, в склепах не было ничего найдено.

Любопытно было наблюдать в работе племя горских татар. Мы никогда не воображали, что люди способны так неумолкаемо и быстро говорить в течение нескольких часов. Наши копатели, при всем рвении к работе, которое они желали обнаружить в наших глазах, щебетали все время как птицы и непрерываемым смехом и шутками мешали друг другу работать. Но вот один заметил где-то в 30 саженях пробежавшего зайчонка: он с детской радостью заявил это другим, и все семь рабочих, побросав кирки, с веселыми криками пустились гоняться за испуганным зверьком. Наконец, зайчонка изловили, погладили и снова выпустили на свободу. Это детское увлечение гоньбою за зайцем невольно напомнило нам сцену у скифов, рассказанную Геродотом. Ввиду грозных полчищ Дария, перед началом битвы, скифы не удержались от страсти погоняться за пробежавшим зайцем и этим привели Дария к слишком скороспелому замечанию, что они презирают персидское войско.

Проведя прескверно ночь на сыром земляном полу грязной кунацкой, мы не без удовольствия покинули на другое утро жалкую деревушку. Мы ехали по отличной колесной дороге, проведенной Друсбиевыми по берегу Баксана к их сыроваренному заводу. В версте от Озрокова мы расстались с нашим молодым спутником студентом Сафар-Али, которому мы были обязаны немалыми удобствами нашего путешествия в горах. Сафар отправился в свой аул, в котором не был уже два года.

Долина Баксана далеко не так живописна, как Чегемская. Она значительно шире, горы ниже и представляют мало разнообразия в очертаниях. Горы с правой стороны кое-где покрыты довольно густым лесом на продолжении нескольких верст. На левой стороне — голые скалы, до половины покрытые скудной травою. Мелкий дождь преследовал нас целый день. Долина становилась все шире, горы удалялись от нас все более и более. К вечеру мы подъехали к кабардинскому аулу князя Атажукина, где нас ожидали уже почти европейские удобства. Единственным представителем горного народца, среди которого мы прожили с десяток дней, оставался при нас наш верный проводник Уразай, вечно веселый и неизменно заботливый, — типический представитель своих бодрых, приветливых и даже добродушных соотечественников. Двухдневный путь по Кабарде, среди новых лиц и нравов, уже не входит в пределы нашего дневника.

В Сванетии

Из путешествия И.Иванюкова и М.Ковалевского*

I.

Радуясь ясному небу, поднимались мы густым лесом на гору. Вдруг поляна... еще несколько шагов, и взору открылась такая широкая, необычайная и сложная панорама, которая буквально ошеломила нас.

Пред нами, рассеянные по горным отрогам глубокой котловины, селения-крепостцы, сотни башен, густая населенность, мозаичный ковер золотящихся пажитей, разбросанных нарезками между селениями, рощами и лугами; внизу котловина прорезана страшными пропастями извивающейся реки; вверху, над альпийскими пастбищами, высятся леса; на них, среди скал, сползают глетчеры — и все это замкнуто гигантским ледяным кольцом, из которого уходят к небу высочайшие вершины Кавказа. Эта пестрая картина была залита солнцем и блестела яркими, разнообразными красками. Картина была и величественна, и нарядна, и празднична.

Такой перемены декорации, такой своеобразной, ни с чем несравнимой панорамы мы никак не ожидали. Было от чего прийти в изумление.

Восторженное настроение охватило нас. До, говорили мы, Сванетия стоит и не таких трудностей, какие были испытаны нами! Как к ней идет ее недоступность! В России ли мы? Более необычайное едва ли встретишь и в центральной Африке! Едем, едем скорее к башням; вероятно, немало еще диковинок ожидает нас.

Мы начали спускаться к сопелю** Лаш-Караш, раскинутому на высоком берегу Ингура. Дорога тянулась тропинкой по зеленой мураве альпийского луга, имевшего вид выхоленного газона. Встречавшиеся сванеты смотрели на нас с любопытством, кланялись и произносили какие-то слова, которые, по разъяснению Азамата, значили: «Пусть в этот день не случится с тобой ничего худого»***. Въехав в Лаш-Караш, мы расположились в тени букового дерева, а проводники вошли в дом. Вскоре вышел хозяин дома, неся для нас кислое молоко, сыр и арак****. Осмотрев с

---

* Текст дается по публикации в «Вестнике Европы». 1886. № 8—9.

** Сопель — значит по-сванетски селение. (*Здесь и далее прим. М.М. Ковалевского.*)

*** Азамат не говорил по-сванетски, но шедшие с нами сванеты знали немного по-татарски. Отправляясь в Сванетию, мы рассчитывали иметь переводчиками священников.

**** Арак — отвратительная и очень крепкая водка, приготовляемая из ячменя.

большим интересом его дом и башню, мы отправились дальше*. Азамат поехал вперед, в сопель Эцери, чтобы предупредить живущих там князей Дадешкелиани, что к ним едут гости Измаила Урусбиева.

Дорога наша шла подъемами и спусками по горным отрогам правой стороны Ингура. При каждом подъеме мы наслаждались такой же обширной картиной, какую увидали при выезде из Узгатского леса. Мы двигались с запада на восток вверх по течению Ингура, между главным Кавказским и Сванетским хребтами. Ингур разделяет эту часть Сванетии на две неравные части, из коих большая примыкает к главному хребту. Сванетский склон так крут, что недоступен заселению. Поселки рассеяны по отлогим склонам отрогов правой стороны Ингура; над ними альпийские пастбища, еще выше — зеленеющие леса, скалы и, наконец, глетчеры и острые пики снежных гор. Любоваться окружающей нас картиной было тем удобнее, что лошадь ступала по такой гладкой дороге, какой мы не знали с самого выезда из Хассаута. В недоумении вспоминали мы, как нас пугали ужасами сванетских дорог. Удивляла нас также густая населенность; верста, много две, отделяла один сопель от другого. Потом мы узнали, что причина такой густоты поселков заключается в рельефе страны: только долины Ингура и нескольких, впадающих в него рек доступны заселению; три четверти страны не имеют поселений, вследствие чрезмерной крутизны горных склонов.

К шести часам подъезжали мы к Эцери, лежащему на высоте 5 200 футов**. Уже издали видны были стены и башни замка князей Дадешкелиани, стоящего на высоком месте у подошвы главного хребта. От замка отлогим амфитеатром спускались к Ингуру нивы и сенокосы, среди которых расположен сопель. Нас встретил «писарь» (управляющий делами) князя и, сообщив, что ни князя Татаркана, ни брата его, Джансоха, нет дома — они в Кутаисе, — просил войти в комнаты. Мы весьма обрадовались умению писаря говорить по-русски; значит, для Эцери переводчик есть.

Нас ввели не в замок, а в обыкновенный двухэтажный из дерева дом, куда, по смерти отца, перебрались из замка братья Дадешкелиани. Сев за стол, с удовольствием увидели мы на нем два графина красного вина. Обед состоял из вареного мяса с эстрагоном, супа с острыми специями, печенки и простокваши с сахаром. Во время обеда мы забрасывали писаря вопросами о Сванетии и получали от него самые обстоятельные ответы.

— Где вы научились по-русски? — спросили мы.

---

* О сванетских жилищах и башнях — речь ниже.

** Сопель Эцери — наибольшей в эцерском обществе. Всех сопелей в этом обществе шесть. Они расположены близко друг от друга: полверсты, верста — вот расстояние между ними. Эцерское общество имеет 150 дворов и 1 200 человек населения.

— Мой отец, — отвечал писарь, — жил несколько лет в Кутаиси и женился там на имеретинке. Мать настояла, чтобы меня отдали учиться. Я окончил курс в кутаисском духовном училище.

— Много ли сванетов говорят по-русски?

— Из князей говорят по-русски наши эцерские князья, Татаркан и Джансох, да еще Бекербей Дадешкелиани из сопеля Пари. Простых сванетов, знающих русский язык, не более семи человек, которые каким-нибудь случаем попали в русские училища.

— А священники знают русский язык?

— Большинство знает. У нас священники мингрельцы и имеретины. Их присылает сюда общество распространения православия на Кавказе.

— Есть ли в Сванетии хоть одна русская школа?

— Русской школы нет. Единственная школа во всей Сванетии устроена священником сопеля Мести. Он обучает детей мингрельскому языку.

Просили мы писаря назвать человек десять стариков для получения от них сведений об обычаях сванетов, а также устроить хор для ознакомления нас с сванетской музыкой и пением. Он ответил, что последнего нельзя исполнить, так как не прошел еще год траура по смерти отца эцерских Дадешкелиани.

Через полчаса после обеда явились восемь почтенных стариков. Беседа с ними была столь интересна, ответы их так толковы, что мы, несмотря на усталость, расстались со стариками лишь к одиннадцати часам.

Утро следующего дня было занято осмотром замка и церкви. Замок обнесен высокой каменной стеной со множеством бойниц. Массивными железными воротами вошли мы во двор замка. Здесь находятся помещения для скота, амбар для запасов, пристройки для служб, мельница и проведена вода из родника. Все постройки имеют толстые каменные стены и приспособлены для обороны. Посреди двора, на широком фундаменте, воздвигнута башня, вышиною в 80 футов. Сторона основания башни около 4-х сажень. В башне девять этажей, соединенных внутренней лестницей. Свет проходит лишь через узкие бойницы, почему в башне полумрак. На земляном полу нижнего этажа помещается священный для всего рода очаг, над которым висит на цепи котел. Здесь совершалась трапеза: стены и потолок этого обширного помещения совершенно черны от копоти. В третьем этаже большая зала — место торжественных собраний старого времени. Башня кончается площадкой с двенадцатью амбразурами в стенках. Из этих амбразур в старое время наблюдали над всей окрестностью и стреляли в приближающихся врагов. Старинное ружье, которое нам здесь показывали, имело 11 четвертей длины. Никто не знает, когда выстроена башня. Народная молва считает возрастат башни более 1000 лет. Верно одно, что башня существовала уже лет 300 назад.

Осмотрев башню, мы отправились в церковь, находящуюся в полуторе версты от замка. Церковь стоит на высоком холме, откуда дивный вид на снежные вершины Сванетского хребта и ущелья

Ингура. Входная деревянная дверь в церковь замечательно изящной резной работы. Отделение для молящихся имеет только пять квадратных шагов; алтарь с полукруглой стеной — 4 шага ширины и 3 длины. Престол не отделен от стены и занимает два шага. Таким образом, от царских врат до престола лишь один шаг. прямо перед престолом — узкое, цельное окно. Других окон не имеется, почему в церкви такая темнота, что приходилось зажигать свечу для прочтения надписей на иконах. Ни царские врата, ни два входа сбоку их не имеют дверей, а также ничем не завешены. Потолок представляет свод. На стенах остатки совершенно закоптелых фресок и три старинные иконы в серебряных ризах. В одной из икон находятся мощи, но чьи это мощи — священник не знает. На иконах имеются грузинские надписи из истории борьбы грузинских царей с сванетскими князьями. Вся церковь в строгом и чрезвычайно изящном византийском стиле. Народное предание приписывает постройку ее знаменитой царице Грузии Тамаре, которая, будто бы, вводила христианство среди сванетов.

— А что, батюшка, ходят сванеты в церковь? — спросили мы.

— Нет, не ходят, — отвечал священник.

— Почему не ходят?

— Не знаю. Я здесь только первый год. Они молятся дома, посвоему. Говорят, что в церковь ходить не надо.

— Вы, батюшка, откуда?

— Я имеретин, из Рачинского уезда.

— Нравится вам здесь жить?

— Нет. Народ дикий. Ничего нельзя достать. Чай, сахар, свечи, соль... все надо выписывать из Кутаиса, а получаю от Общества Православия только 400 рублей.

— Где вы учились?

— Я окончил два класса в кутаисском духовном училище.

Когда мы вернулись к замку, лошади были уже оседланы, и Азамат торопил нас отъездом, чтобы поспеть к вечеру в сопель Бечо. Наскоро позавтракав, мы поехали дальше.

Прежде чем продолжать рассказ о нашем путешествии по Сванетии, мы воспользуемся собранными нами в течение его сведениями и сделаем, теперь же, беглый очерк этой интересной и почти неизвестной страны, — страны, где население остается языческим, живет родовым бытом, практикует еще кровную месть, одевается в звериные шкуры и почти не знает обмена продуктов.

Сванетия есть глубокая котловина центральной части Кавказа, обнесенная со всех сторон высокими горами, большинство которых уходит далеко за снеговую линию. С севера котловина загорожена сплошной стеной высочайших гор главного Кавказского хребта; с юга тоже снеговой хребет, называемый Сванетским. В восточном углу котловина замкнута наглухо соединением Главного и Сванетского хребтов. На западе она также замыкается поперечными отрогами. Таким образом Сванетия представляет собой гигантский ящик, наполовину ледяной, наполовину каменный. В

одном только месте кольцо гор имеет выход — это узкое ущелье Ленхери, в юго-западном углу, по которому проносится Ингур, выходящий из глетчеров юго-восточной части котловины и текущий в Черное море. Пространство котловины с запада на восток 60 верст, с севера на юг — 30 верст.

Вся котловина перерезана горными отрогами, идущими от главного Кавказского и Сванетского хребтов. Эти отроги, словно контрфорсы, подпирают стены ледяного кольца. В глубокой трещине между двумя хребтами прорывается каменными пропастями Ингур, текущий сначала с юго-востока на север, а потом с востока на запад. Ингур принимает в себя все воды, сбегающие с ледников и снегов в образуемую им долину. Кроме этой главной долины, к трещине Ингура непосредственно примыкает ряд поперечных ущелий и коротких долин.

Дороги в Сванетию нет, а существует только единственная тропа — через Латпарский перевал, ведущая в восточный угол страны. Да и эта тропа доступна лишь три летних месяца, когда гора Латпари освобождается от снега. Чтобы добраться до Латпарского перевала, надо проехать из Кутаиса 150 верст верхом. Много страхов рассказывают как про эту тропу, так и вообще про сванетские дороги. Но мы, после дорог из хассаутского аула до урусбиевского, вкупе с донгузорунским перевалом, потеряли, вероятно, нормальный критерий для оценки опасности дороги. Сванетские пути и Латпарский перевал показались нам, за редкими исключениями, удобными и, при некотором внимании со стороны всадника, безопасными. Впрочем, чтобы не ввести в заблуждение будущего путешественника по Сванетии, приведем отзыв о латпарской тропе и сванетских дорогах г. Ильина, описавшего Ужбу, эту, поистине, диковинную гору Сванетии*.

«Дорога в Сванетию (через Латпарский перевал), — говорит г. Ильин, — созданная для временных целей, исключительными средствами, теперь едва ремонтируется нарядом рабочих от местного населения; ремонт состоит в очистке осыпей, образующихся весной, и поправке мостов. О свойствах этой дороги житель русских равнин и степей не может составить себе и приблизительного понятия. Лучшие места, где дорога взорвана порохом, в отвесной известковой скале около Мури; дальше идет просто пешеходная тропа по старому трассу дороги. Время наполовину сгладило полотно; но его везде указывает торный след. Ехать можно только верхом, на привычной горской лошади, на осле или на катере, т.е. муле: Сванетия не знает еще колеса; хлеб там возят и летом на санях, запряженных парой мелких волов. Эти сани лучше всего и поддерживают дорогу. Где прошли сани, там нет на дороге щебня и булыжника. Чтобы сани не скатились в пропасть, на частых косогорах вколачивают по краю тропинки колья; вершка на два, на четверть они торчат из рыхлого, сыпучего шифера. Съехавшие на

* «Ужба. Географический очерк». А.Ильина. СПб., 1883.

пути санки ударяют о колышки и избавляются от опасности скатиться по откосу дальше на 500 и 1 000 фут. ниже, где шумит река. Уклоны тропинки самые смелые, и часто с крутого подъема немедленно начинается быстрый спуск. Иногда дорога представляет ряд ступенек, природную лестницу в слоистой скале; такая лестница очень удобна на подъеме, но на спуске опасна для непривычного наездника. Лошадь почти разом сбрасывает передние ноги со ступеньки на ступеньку и так покачивает седока, что, того и гляди, полетишь через голову лошади. Во многих местах тропинка вступает на воздушные мосты. Внизу нет реки; но помост сделан для того, чтобы попасть на соседний уступ скалы, где продолжается тропа. Мосты эти портятся и исправляются ежегодно; но всегда они представляют не что иное, как ряд полусгнивших балок на жидких подпорках, с камнями, набросанными сверху для устойчивости. Те же помосты, большей частью в один зыбкий пролет, делаются на переправах через реки, не доступные вброд, каких — большинство. Сванетские мосты, можно сказать, пляшут под ногами. Не стыдно сознаться, что ехать по ним жутко, — особенно в дождь, когда круглые балки скользят и вертятся под ногой лошади, подкованной гладкой грузинской подковой.

Не сказку рассказывают, как один военный следователь сошел с ума на таком мосту. Это действительно случилось с нашим знакомым, покойным А-ским, в 1876 г., на походе отряда генерала Цитовича, посланного в Сванетию для усмирения возникших там беспорядков. Покойный А-ский был пожилой человек с нервной комплекцией. На одном из мостов, дорогой, с ним сделался истерический припадок, перешедший потом в горячку, от которой он умер через месяц в Кутаиси.

Итак, единственная в настоящее время дорога в Сванетию есть тропа через Латпарский перевал, вышиною в 9 200 футов. Прежде существовала другая дорога через ущелье Ленхери; но она заброшена по трудности ее содержать.

Старинные вещи рассказывают сванеты про это ущелье. Из него, по их словам, изредка выходят «лесные люди», нагие, обросшие волосами, с длинной палкой в руках. Никогда этих людей не встречали парой. Суеверные сванеты полагают, что в лесном человеке сидит бес, и потому убивают его. По этому предмету князь Татаркан Дадешкелиани передавал нам следующий рассказ, слышанный им от лица, которое заслуживает полного доверия. Рассказчик охотился в лесу, неподалеку от Ленхерского ущелья. Наступила ночь. Он развел костер и вдруг видит — приближается к огню человек, нагой и волосатый. Рассказчик, забыв в перепуге ружье, влез на дерево. Нагой человек подошел к костру, стал над ним прыгать и хлопать в ладоши. Затем он взял ружье и всунул его прикладом в костер. Ружье выстрелило. Тогда нагой человек, видимо испугавшись, убежал. Рассказчик показывал князю ружье с обожженным прикладом. По мнению Т.Дадешкелиани, «лесные люди» — одичалые люди. Но когда и как они одичали, этого ни он, ни кто-либо другой не знают.

Сванетская котловина имеет значительную покатость с востока на запад. Так, самый западный сопель Лахамули лежит на высоте 3 400 футов; сопели средней части Сванетии — между 5-ю и 6-ю тысячами футов; сопели восточного угла стоят на высоте 7 000 и более футов. Этой покатостью обусловливаются различия посевов. В западной части страны хорошо поспевает пшеница; обыкновенные посевы средних долин составляют рожь, ячмень, овес, просо, табак, бобы, чечевица, конопля; в восточном же углу и по верховьям поперечных ущелий с трудом вызревает рожь и ячмень. Уже одна такая высота страны должна была иметь следствием суровый климат. Но, в то же время, к высокому поднятию над уровнем моря присоединяется еще масса льда и снега, окружающая котловину. Немало сопелей стоит под самыми глетчерами. И вот, страна, лежащая на одной широте с Сухум-Кале и Римом, имеет в декабре и январе обыкновенную температуру от 30 до 35° мороза по Реомюру: в июне и июле, когда на солнце от 25 до 35° тепла, в тени не бывает более 18°. Мы были в Сванетии первую половину августа; все время стояла ясная погода, солнце пекло сильно, но не успевало нагреть воздуха; он постоянно оставался свежим, и, едва только заходило солнце, нужно было надевать полушубок или теплое пальто.

Такова, в главных чертах, природа Сванетии; теперь взглянем на быт ее населения.

По историческим судьбам, Сванетию делят на три части: Вольная, Княжеская Дадешкелиановская и Княжеская Дадьяновская Сванетия. Сванетия Дадьяновская, с населением в 4 700 человек, находится вне котловины; она расположена в долине реки Цхенисцхали, протекающей у южного склона Сванетского хребта. Как по своей природе, так и по быту населения, Дадьяновская Сватения резко отличается от котловинной Сванетии. Климат ее столь теплый, что кукуруза дает отличные урожаи и созревает виноград. Живущие здесь сванеты сильно подчинились мингрельским обычаям; селения их непохожи уже на крепостцы, и сванетские башни встречаются лишь изредка. Никакая граница не отделяет Дадьяновскую Сванетию от Мингрелии. В одной и той же долине реки Цхенисцхали находятся как сванетские, так и мингрельские селения. Бывшие владетели этой части Сванетии, князья Дадьяны, состояли в феодальных отношениях к грузинским царям. До сих пор они остаются самыми крупными землевладельцами в долине Цхенисцхали.

Сванетию, в строгом смысле слова, составляет лишь замкнутая снежными хребтами котловина. В западной нижней ее части расположены четыре общества Дадешкелиановской Сванетии с населением в 3 100 чел.; остальную, большую часть котловины занимают семь обществ Вольной Сванетии, в которых насчитывают до $5^1/_2$ тысяч населения.

Время появления князей Дадешкелиани в Сванетии относят к XV веку и родоначальником их считают некоего Пута, родствен-

ника дагестанского владыки, Шамхала Тарковского. Пута вошел в Сванетию через Ленхерское ущелье и утвердился в западной ее части; но ни он, ни его наследники не могли покорить населения верхней котловины; отсюда и название: «Вольная Сванетия». Вплоть до подчинения Сванетии русскому правительству общества средней и верхней котловины представляли из себя маленькие, самоуправляющиеся республики, которые то заключали союзы, то враждовали между собой. С присоединением Сванетии к России и после уничтожения, в 70-х годах, в Княжеской Сванетии крепостного права, юридическое и политическое положение населения стало одинаковым во всей котловине. Сванетия не была покорена русскими войсками; они никогда и не входили в нее для завоевания; она подчинилась русскому царю добровольно. Случилось это следующим образом.

Издавна сваметы ходили в Кутаис на заработки. В 40-х годах местная администрация стала завязывать с пришельцами сношения, выставляя им при этом на вид выгоды, какие они получат от принятия русского подданства. В 1847 году явились к кутаисскому вице-губернатору Колюбакину выборные с извещением, что семь обществ согласны признать над собой власть русского царя. Тогда был назначен в Сванетию военный пристав Микеладзе, который привел население этих обществ к присяге. Микеладзе являлся в Сванетии единственным представителем русской власти и пользовался большой любовью населения. Вскоре присоединились к России еще два общества, а в 1853 г. приняли русское подданство и остальные два общества: латальское и ленжерское.

Военный пристав, живущий в бечойском обществе, его помощник и выбранные обществами старшины тут единственные представители власти в Сванетии; тот же пристав и его жена — единственные русские в этой стране. Учрежденная было здесь камера мирового судьи пустует за неимением лица, которое согласилось бы поехать в Сванетию.

В Княжеской Сванетии имеется в настоящее время три ветви фамилии князей Дадешкелиани. Одна ветвь живет в эцерском обществе, другая — в парском, третья — в бечойском. Эцерские князья, братья Татаркан и Джансох — самые богатые. Старший из них служит чиновником особых поручений при кутаисском губернаторе, младший — помощник военного пристава Сванетии.

При освобождении крестьян 146 крепостных дворов эцерского общества получили в частное владение по пяти кцев* на двор усадебной земли, пашни и покосу; сверх того, в общее владение общества отведены в достаточном количестве пастбища и леса. За полученный надел каждый двор вносит князьям пять рублей в год. При неимении денег эта сумма уплачивается натурою, преимущественно скотом. У эцерских князей осталось и продолжает сохраняться до настоящего времени 150 кцев усадебной, пахатной и се-

* Кцева составляет почти 1/3 десятины.

нокосной земли, 800 кцев пастбища и до 1000 кцев леса. Количество неудобной земли неизвестно; на глаз ее больше 100 тысяч кцев. Огромная площадь земли, называемой «неудобной», покрыта вековыми лесами; но, по крутизне горных склонов, пользование лесом невозможно. Сто двадцать кцев пахоты и сенокоса князья отдают поселянам в аренду из половины урожая; остальные тридцать кцев обрабатываются наемниками из эцерского и других обществ. Работники вербуются преимущественно из дворов с многочисленной семьей. При найме на один или несколько дней, работники получают лишь корм; нанятые на год — получают харчи, одежду и скот на сумму от 50 до 60 рублей, причем цена скота такая: бык — 30 рублей, корова — от 16 до 20, лошадь — от 40 до 60, баран — 4, свинья — от 5 до 8 рублей. С пастбищ и леса князья не получают почти никакого дохода, так как этими угодьями поселяне владеют в достаточном количестве. Главный денежный доход князей не в Сванетии, а с имеющихся у них пастбищ в Мингрелии и Абхазии. За отдачу в аренду этих пастбищ они получили последний год 900 рублей деньгами и 460 штук коз и баранов.

Самая бедная ветвь фамилии Дадешкелиани — бечойские князья. Обеднела она вследствие конфискации у нее в 1850-х годах земли за принятие главою семьи магометанства. Живут бечойские князья в своем громадном замке очень бедно, но откуда получают средства перебиваться, этого никто нам не мог объяснить. Надо думать, что им помогают родственники, но из деликатности не говорят об этом.

Выше было уже замечено, что, с уничтожением в Сванетии крепостного права, быт ее населения стал почти одинаковым, а потому, в дальнейшем изложении, нет надобности различать Княжескую и Вольную Сванетию.

Кто такие сванеты? К какой расе принадлежат они; какой семье языков родствен их язык? — на этот счет продолжают оставаться совершенные потемки. Полагают, что сваны, о которых говорит Страбон, как об одном из воинственных кавказских племен, были предками нынешних сванетов. Существует также мнение, что Сванетия наполнялась людьми самых различных племен, что в ней находили себе убежище буйные головы, которые не уживались в нижних долинах и искали вольной жизни. Интересен следующий факт: все наши старания уловить сванетский тип остались тщетны — так разнообразны лица сванетов. В толпе одного и того же общества вы встретите характерные типы южного итальянца и монгола, самых темных брюнетов с огненным взором и светлых блондинов с голубыми глазами, мягкие кудри и рыжую щетину, приятные, добрые лица и лица зверские.

Сванеты становятся знакомыми грузинским летописям за $2^1/_2$ века до Р.Х., как хищнический народ, спускавшийся в долины для грабежа. Такая репутация оставалась за сванетами вплоть до под-

чинения Грузии русскому владычеству. Грузинские цари и князья не раз жестоко наказывали сванетов за их набеги и грабежи.

Сванетские жилища представляют собою настоящие небольшие крепостцы. Крепко сложенный из камня дом с бойницами вместо окон; двор обнесен каменной стеной, в которой тоже проделаны бойницы. Башен не имеют только новые дома. Постройка башен очень долговечна и, разумеется, требовала большого труда. Они сложены на цементе из четырехугольных каменных плит и имеют вышину от 60 до 80 футов; под двухскатною шиферною крышей, в самом верху, с каждой из четырех сторон башни находятся по три навесные бойницы; из этих бойниц можно обстреливать сверху вниз самое подножие башни; посредине башни иногда также пробиты узкие бойницы. Когда построены башни — неизвестно. Они служили как для защиты от внешнего врага, так и в борьбе одного общества с другими, в борьбе соседа с соседом. Еще недавно кровная месть была в полном ходу в Сванетии; обычные кутежи нередко кончались кровавыми драками, а пролитая кровь требовала новой крови.

Необыкновенно живописен вид сванетского селения. Издали оно представляется развалинами громадного замка с уцелевшей колоннадой.

Нижняя часть дома поселянина имеет одну обширную, полутемную комнату с земляным полом. Посредине ее сделан очаг, т.е. толстая шиферная плита положена на низкие каменные подставки. Над очагом висит железная цепь с медным котлом, прикрепленная к балке потолка. По стенам стоят широкие скамьи, а у одной из стен отгорожено место для скота. Стены и потолок черны от копоти. Эта комната составляет единственное жилое помещение домочадцев, так как верхний этаж и башня служат амбаром.

О семье, браке и положении женщины в Сванетии будет изложено ниже, при рассмотрении юридических отношений, а теперь скажем несколько слов о религии сванетов.

Оффициально сванеты считаются христианами; на самом же деле они продолжают пребывать в язычестве. Уже в первые века нашей эры начинают появляться в Сванетии миссионеры для распространения христианства. По свидетельству грузинских летописей, к XIII столетию христианство здесь достигает значительного распространения. Но по мере того, как утрачивалось влияние на Сванетию Грузии, нравы грубели и христианская религия перепутывалась со старыми языческими понятиями. Религиозные воззрения сванетов, в настоящее время, представляют собой не что иное, как самый грубый фетишизм.

В каждом обществе есть церковь, а иногда и две. Тип церквей один и тот же; все различие их заключается лишь в размерах. Когда построены церкви, в точности неизвестно; народное предание приписывает их сооружение царице Тамаре, жившей, как полагают, в XIII веке. На внутренних стенах церквей остались следы фресок, большей частью совершенно закоптелых от устройства в церквах священных пирушек. В каждой церкви находится по не-

скольку старинных образов с грузинскими и греческими надписями. Эти надписи списаны и объяснены г. Бакрадзе в «Записках Кавк. Отдела Геогр. Общ.», 1864. Нынешние священники в Сванетии, мингрельцы и имеретины, поставлены обществом распространения христианства на Кавказе; большинство из них только грамотные, не учившиеся нигде или окончившие курс в кутаисском духовном училище; служат они на грузинском языке. Рядом с присылаемыми в Сванетию священниками у народа есть свое, наследственное духовенство, так называемые папи, которое до сих пор отправляет неофициально различные религиозные обряды. В церковь сванеты ходят в очень редких случаях, так: для венчания, похорон, присяги. На вопрос: почему народ не ходит в церковь? — мы всегда получали лаконические ответы, как от самих священников, так и от сванетов. Первые обыкновенно отвечали: «Не знаю; я им говорю: ходите в церковь, а они говорят: не надо»; сванеты же отвечали: «Мы молимся дома; мы не понимаем по-грузински»; а бывало и так, что оставляли наш вопрос без всякого ответа. Разные церкви, в глазах сванетов, имеют различное значение по их важности, или, выражаясь точнее, разные церкви внушают сванетам неодинаковый страх. Нарушение присяги, данной в одной церкви, грозит небесной карой лишь в виде неурожая, града; за нарушение присяги в другой церкви неминуемо следует смерть. Самая страшная церковь главное святилище сванетов, есть Шальян, находящаяся в кальском обществе. В ней присягают по важнейшим преступлениям; «присягнувший неправильно будет поражен смертью в тот же год». Узнав о существующей у сванетов уверенности, что, вслед за посещением чужестранцами Шальяна, население постигают небесные кары, мы решили не входить в эту церковь. Вот описание ее, сделанное первым русским путешественником по Сванетии, в 1855 году, полковником Бартоломеем.

«Небольшая церковь, вмещающая не более пятидесяти человек, окружена оградой, в которой маленькие кельи для бывших тут когда-то монахов. Посреди пола были видны остатки костров; на потолке на длинных жердях висело множество рогов животных, принесенных храму в жертву. Церковь темна, грязна и закопчена. Драгоценный, легендарный образ (святыня) византийской работы в ризе из чистого золота; надписи греческие черною позолотою; на одной стороне разноцветною финифтью изображено распятие; сверху парят два ангела, а по сторонам стоят Богоматерь и св. Иоанн. Кругом, по золотому окладу, вставлены драгоценные камни, крупный жемчуг и антики, из коих самый замечательный — превосходное грудное изображение Спасителя. Оборотная сторона иконы серебряная и представляет рельеф Воскресения Христова»*.

У сванетов нет представления о едином Боге. Вот что говорили папи преосвященному Гавриилу: «Бог сванетский выше всех

* «Записки Кавк[азского] Геогр[афического] Общ[ества]», 1876.

богов, ибо Сванетия выше всех стран света»*. У сванетов сохранилась детски живая вера, что в известных местах гор, лесов, вод живут злые (сверхъестественные) существа. Сванеты рассказывают, что прежде их часто встречали, теперь — редко. Если убить такое существо один на один, ничего, дурных последствий не будет; если двое и более людей встретятся с одним злым существом и убьют его, тогда непременно последует месть; убийц подкараулят злые существа и мучительно убьют. Через ночь после убийства злого существа от него остается лишь слюна. В представлении своем о загробном мире сванеты выказывают совершенно примитивный культ. У кого много скота в этой жизни, много будет и на том свете.

Первобытность религиозных представлений сванетов весьма наглядно выражается в их жертвоприношениях и праздниках**.

Грозные явления природы внушают сванетам сильнейший страх. Они проникнуты уверенностью в зависимости стихийных явлений от настроения небесной воли, и также, что эту волю можно задобрить принесением ей жертв. И вот, для умилостивления Провидения сванеты периодически приносят жертвы несколько раз в году.

В марте месяце собирается с каждого двора по одному «чабанагу» ячменя***. На собранный ячмень покупается у зажиточных домохозяев арак, приносимый в жертву богу войны — Марсу, который, по мнению народа, предпочитает этот напиток всякой другой жертве.

В апреле — опять сбор ячменя, на который покупается бык, приносимый в жертву апрелю месяцу.

После Пасхи, на Фоминой или следующей затем неделе, собирается по одному теленку или овце с двух дворов. Это — жертва, вымаливающая урожай.

В августе, на собранный ячмень покупается корова, которая приносится в жертву «предводителю града» (скархла Межегв), чтобы он избавил поля от градобития.

Таковы главнейшие периодические жертвоприношения. Из непериодических на первом плане стоят жертвоприношения каждый раз, когда режут скотину, и жертвы во время похорон.

---

* «Обозрение сванетских приходов», статья преосвящ. Гавриила. «Правосл[авное] Обозр[ение]», 1867.

** В Кутаисе мы познакомились с сванетом Виссарионом Шиовичем Нижерадзе, который состоит воспитателем в дворянской прогимназии. Он оказал нам немалую помощь в деле выяснения сванетских жертвоприношений и праздников. Между прочим, Виссарион Шиович вручил нам два номера газеты «Кавказ», в коих помещены извлечения из его статей, напечатанных в грузинской газете «Шрома» и армянской «Дроэба». Эти извлечения заключают в себе описание, по-первых, празднования в Сванетии Рождества Христова, Нового года, Посещения семей покойниками и, во-вторых, жертвоприношений ушкульского общества по поводу выпавшего там в августе, 1883 г., снега. Упомянутыми извлечениями мы пользуемся при изложении жертвоприношений и праздников.

*** Чабанаг ячменя стоит 20 к.

Во время похорон жертвенный бык идет перед гробом. За гробом следует народ, причем вдова, дочери, сестры и родственницы покойного плачут, рвут на себе волосы и царапают лицо до крови. Во время отпевания одни держат за рога быка, другие — за узду оседланную лошадь, третьи — одежду и оружие покойника. После погребения бык зарезывается, сердце и печень его кладутся на деревянное блюдо, сванетский «папи» поднимает блюдо к небу со словами: «Бог, прими эту жертву»; остальные части быка поступают к обеду, который устроивается семьей покойного для односельчан.

Когда пройдет год после смерти лица, семья должна устроить поминки по нем. Поминки умерших называются «кончхар». На могилу для покойника приносят пирог с сыром, баранину и арак; священник читает молитву и благословляет принесенные предметы. Затем следует обильное угощение односельчан. Самый бедный домохозяин режет при этом одного быка, пять баранов, шесть свиней и приготовляет приблизительно до четверти «зека» араку на человека*. Если у кого решительно нет средств справить кончхар, тому помогают родственники и близкие знакомые. Не справить кончхар невозможно; если бы и нашелся какой вольнодумец, который не испугался бы мести покойников, то родственники и соседи принудили бы его исполнить этот обряд.

Обыкновенно кончхар делается не только спустя год после смерти члена семьи, но справляется и ежегодно, как поминки усопших. Поминки усопших начинаются после уборки хлеба, и так как каждый из домохозяев селения устроивает их по очереди, то они длятся до начала декабря. Зажиточные режут по нескольку быков, коров, баранов, свиней, выставляют до сорока зеков араку и приглашают до ста и более человек. Пьянство идет по целым дням во весь период осенних кончхаров. Домашние чередуются: одни празднуют, другие работают. Сванет по своему нраву горяч, своеволен, задорен, а потому неудивительно, что поминки усопших нередко кончаются кровавыми драками и смертоубийством.

Кроме указанных нами главных видов жертвоприношений, последние бывают еще по разным специальным случаям, чаще же всего вызываются состоянием погоды.

Выше было уже замечено, что сванеты проникнуты уверенностью в зависимости стихийных явлений от воли Провидения. Раз дождь или засуха уничтожает урожай, или град выбивает поля, — значит, Бог гневается на народ и нужно умилостивить его жертвами. Что же касается вопроса: за что Бог может гневаться на сванетов? то он не представляет никакой трудности для разрешения. У всякого народа есть свои обычаи, которые, по мнению сванетов, должны оставаться неизменяемыми. Так, например, у них с незапамятных времен положено праздновать три дня недели: пятницу,

* В зеке 8 бутылок. Зажиточный домохозяин заготовляет на год араку до 100—150 зеков, бедный — до 15—20 зеков.

субботу и воскресенье, что, в последнее время иногда нарушается. Роженицы должны вставать с постели не раньше, как в сорокой день, а между тем и этот обычай исполняется теперь не так строго, как в старину. Далее, где прежняя строгость, не позволявшая женщине переступать порог церкви во всякое другое время, за исключением дня свадьбы? Эти и многие другие нарушения святого завета предков делают, по мнению сванетов, людей противниками воли Божией, и потому долг общества исправлять падших и заслужит себе, таким образом, прощение грехов. Того и другого можно достигнуть штрафованием виновных и жертвоприношениями Богу...

Когда, 19-го августа 1883 года, в селениях ушкульского общества выпал снег и попортил урожай, утром рано, — рассказывает В.Ш.Нижерадзе, — морозный воздух огласился звуком трубы, созывающей народную сходку. Нижерадзе, догадавшись, в чем дело, обратился к встретившемуся старшине с вопросом: кого обвиняют сванеты в грехах перед Богом? Тот назвал нескольких лиц, из-за которых, по убеждению народа, Бог покарал Сванетию ранним снегом. Народ собрался на назначенное место и, под сенью взятых из храмов хоругвей и знамен, приступил к совещанию.

Начался обычный в таких случаях гам, причем каждый из присутствовавших спрашивал другого: «Кто губит нас? по чьей вине небо разгневалось на Сванетию?» ... вопрос скоро получил разрешение. Оказалось, что три семейства работали по субботам и две роженицы не пролежали в постели законных сорока дней. Толпа, после этого открытия заколыхалась и, негодуя, направилась к дому одной из рожениц. Решено было оштрафовать последнюю отнятием у нее одной коровы; но муж виновной начал упрашивать общество удовольствоваться двумя овцами и одним теленком. Просьба эта была услышана, и корову возвратили по принадлежности. Одну большую овцу взяли также у другой роженицы (она оказалась менее виновною) и по два рубля на водку у презревших субботние праздники. Все собранное таким образом было препровождено к церкви во имя Божьей Матери. Здесь принесли в жертву Богоматери овец, которых потом съели, выпили всю водку и разошлись вечером по домам, в полной уверенности, что теперь все пойдет лучше. Но, увы, небо продолжало заволакиваться тучами, а ночью снова выпал снег. На другой день земля оказалась покрытою снегом на целых два вершка, что уничтожало все виды на урожай. Тогда утром снова раздался призыв трубы, и снова собралось общество. Это собрание отличалось еще большим оживлением, чем первое. Вопрос: «Зачем Бог карает так строго Сванетию?» раздался громче и с тяжелым сокрушением. Так как никакой явной причины гнева Божьего не оказалось налицо, — решено было купить сообща одного тучного вола и принести его в жертву Богоматери. Сказано — сделано. С каждого дыма было собрано по одному «гевлияки» ячменя (мера, равняющаяся $1^1/_2$ пуд.), и на вырученные за него деньги куплен откормленный бык, который, затем, был приведен к дверям храма... Народ пал на колени и горячо

молил Божью Матерь принять быка, как искупительную за грехи его жертву. После молитвы закололи быка и начали варить его мясо. Послали также по домам за хлебом. Затем начался общественный обед, после которого народ разошелся в надежде, что теперь будет услышана его молитва. И что же? После полудня небо действительно начало очищаться от облаков и солнце выглянуло из-за туч. Ликование народа не имело пределов: «Так вот оно, какую жертву требовал от нас Бог!», — говорили сванеты.

Переходим к праздникам. Сванеты празднуют три дня в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. На вопрос: не получалось ли бы более хлеба с земли, если бы работали шесть дней? Они отвечали: «Хлеба родилось бы более, но работать нельзя: так Бог установил; он накажет: будет град, неурожай». Важнейшие праздники сванетов следующие: Рождество (Крисдееш); Новый год (Замха); посещение семей покойниками (Липанаал) — начинается 5-го января; Пасха (Танат); Фомина неделя (Уплиш); Хулиш, майский праздник в честь патрона Сванетии, Георгия Победоносца, продолжается три дня; 15-е июля — день чествования Шальяна. Скажем о праздновании Рождества, Нового года и Липанаала.

Канун Рождества сванеты называют «Шоб», а самое Рождество — «Крисдееш». Накануне Рождества в некоторых обществах принято, чтобы один какой-нибудь хозяин угощал всю деревню ужином или обедом. В этот день все едят постное: бобы, хлеб и водка, — вот что составляет обычную еду. На другой день, т.е. в самый день Рождества, тоже один из деревенских хозяев угощает всю деревню, если только, конечно, деревня не особенно многолюдна. В больших же деревнях жители делятся на два или на три участка, и в этот день народ, от мала до велика, мужчины и женщины, без всякого приглашения, направляются к тому, которому по очереди приходится давать угощение. Угощение состоит в обеде и ужине. На этом празднике подаются: хлеб, вареное и жареное мясо, сыр, водка и т.д. Если кому, хотя бы ребенку, недостанет чего-нибудь, спорам и пререканиям не бывает конца. «Если в моем доме всего было вдоволь, то почему у тебя недостает того или того», — говорит хозяину любой из гостей. Хозяин покорно возражает, что пускай гость переменит гнев на милость, и всего будет достаточно, — что он все готов подать, чего только ни попросят, и проч.

Кушать садятся рядом и вот в каком порядке. В нижнем этаже каменного дома в два ряда ставятся столы; на почетном месте располагается сам хозяин, рядом с ним — какой-нибудь деревенский старец, а за ним следуют, смотря по старшинству лет, и другие поселяне, так что первые места занимают старцы, последние же — молодые. Женщины обыкновенно помещаются отдельно. Когда все уселись, «мерикипе» (выбранные от народа распорядители обеда) приносят как можно больше хлеба, так чтобы столы совсем покрылись хлебом. После хлеба приносят на каждых трех человек по одной большой миске холодного сыра. После этого посередине комнаты садится виночерпий и наливает арак в глиняные кувши-

ны, стоящие в ногах у мерикипе, один из которых несет кувшин сперва хозяину, а потом и всем по порядку. Хозяин встает с кувшином в руках и просит Бога, чтобы сам Иисус Христос воздал добро сторицей его гостям, если последним будет недоставать чего-нибудь в его доме. Затем он обращается к присутствующим, умоляя их, чтобы они встретили в его доме праздник без ссоры и драки, за что он заранее готов выразить им благодарность. После этого один из рядом с ним сидящих старцев встает и читает молитву, благословляет хозяина и гостей, и этим как бы открывается обед: все принимаются за еду. Во время обеда мерикипе безостановочно разносят водку. Но вот третий очередной кувшин появился на сцену, и гости на время перестают обедать. Тут нужно пропеть приличествующие празднику народные песни. Поэтому присутствующие начинают креститься, как бы приготовляясь к чему-то священному, и один из стариков затягивает так называемую рождественскую песню. Поют ее в два хора. Содержание песни: рождение Иисуса Христа в Вифлееме, пришествие волхвов с дарами, нахождение Христа в золотой колыбели (вместо ясель). После того мерикипе уже не прекращают угощения народа водкою вплоть до самого конца обеда. Обед кончился, столы убираются, и подвыпивший народ с песнями выходит во двор. Здесь начинаются танцы, которые обыкновенно продолжаются вплоть до самого вечера. За ужином и, на другой день, за завтраком и обедом, повторяется то же самое. Нужно заметить, что на народных праздниках в Сванетии везде и всюду придерживаются одного и того же порядка, и только в последнее время, вследствие плохих урожаев, эти рождественские праздники, требующие больших расходов, в одних деревнях совсем уничтожены, в других же изменены. Так, например, некоторые деревни разделились по частям, чтобы этим путем хоть несколько облегчить обязанности хозяина, сопряженные с чересчур большими расходами.

Новый год у сванетов называется «замха» («за» — значит год, «махе» — новый).

Вечером, накануне Нового года, в каждом семействе обязательно царствуют мир и спокойствие; никто не может сказать другому худого слова. Ужинают; после ужина один из семейства уходит в какой-нибудь нежилой и заброшенный дом за селением, где собираются также по одному члену и из других семейств деревни. Они называются по-сванетски «каме-мучшхи», что значит: «внешний вестник». Кроме этого вестника, должно быть еще два «внутренних» («исгаа мучшхи»), которые остаются дома и на другой день — утром встают раньше всех. Разложенные у очага щепки они должны положить на огонь, после чего отправляются за водою. Один несет сосуд для воды, другой плетеную корзину, в которой лежит «уштбаал», т.е. хлеб с сыром, выпеченный еще накануне, с тремя заметными следами трех пальцев пекшей его женщины: большого, указательного и среднего. Кроме уштбаала, в корзине имеются еще два хлеба с сыром.

Внутренние вестники отправляются к реке, приносят там хлебы в жертву Богу, наполняют сосуд водою и возвращаются домой. Прежде чем войти в дом, один из них останавливается в дверях и говорит следующее: «Как Басил (Василий) вергнул календу в море, заткнул за пояс топор, пришел в народ и приумножил всякую скотину, так и ты, Бог, предвозвестник Нового года, дай всякого счастья моему семейству!» Когда внутренние вестники входят в дом, огонь, на который уже успели положить щепки, горит ярко, но в доме члены семейства все еще продолжают спать. Как только внешний вестник узнает, что внутренние вестники дома, он подходит к дверям и кричит: «Отвори двери, счастливец!» На что изнутри отвечают: «Какое счастье везешь?» — «Жизнь и благо человеку и скотине; отворяй двери, счастливец!» Это повторяется три раза, и после третьего раза внешний вестник входит в дом. К этому времени спавшие встают с постели; начинаются поздравления с Новым годом. Все умываются свежею, только что принесенною водою, которая называется «молоком», и потом садятся закусывать. Во время еды закусывающие предлагают друг другу лучшие куски или напитки и поздравляют с праздником. Когда закуска кончена, народ выходит из дома на улицу, и здесь возобновляются поздравления; начинаются песни, танцы, и все это продолжается вплоть до самого вечера. В этот день идти к кому-нибудь в гости не принято. На другой день каждое семейство приглашает одного, нарочно для этого дня выбранного, человека. После этого всякий имеет право приходить в гости, но чаще все-таки приходят одни лишь родственники, которые, при этом, должны быть одарены подарками. Подарки делаются скотом или вещами. Этим и оканчивается празднование Нового года.

«Липанаал» начинается с 5-го января, т.е. накануне Крещения, которое сванеты называют «адгом». Они верят, что в этот день души усопших выходят из могил и посещают дома своих родных; почему они постятся, моют и чистят поташом всякую посуду: деревянные чаши, котлы, столы, — словом, всевозможную утварь в доме. Обеда в этот день не полагается совсем; на ужин же варятся пшеничные зерна, так называемые «чанти». Вечером дом подметается начисто; вокруг очага ставятся вычищенные обеденные столики со стульями; на столиках же раскладывается: хлеб, постное кушанье, водка и несколько восковых свечек, которые втыкаются тут же зажженными. При этом все семейство стоит на ногах и без шапок позади столиков, на приличном расстоянии от них, имея впереди себя главу семейства, который смотрит на столики и поименно перечисляет всех своих покойников. Потом глава семейства начинает просить души покойников, чтобы посещением своим они внесли в дом счастье и, по крайней мере, до нового посещения не наказывали никого смертью. За это он им торжественно обещает увеличивать угощение ежегодно. После этого он с прочими членами семейства становится на колени и снова поминает всех усопших. На другой день в каждом семействе приготовляется непременно скоромное. В таком порядке поминовение душ усоп-

ших за каждым обедом и ужином продолжается вплоть до следующего за Крещением первого понедельника. В этот последний день еще с раннего утра все семейство на ногах. Женщины принимаются печь хлеб с сыром и без оного, разных видов и всевозможной формы. Например, пекут одного вида хлеб в семь вершков длины и в три ширины и из самой чистой и лучшей муки. Тесто его, пока он еще не выпечен, просверливают в разных местах круглою палочкою, так что, когда хлеб выпечется, на нем заметны дырочки, именуемые у сванетов «ступеньками». Хлеб этот называется «кичкильд», что в переводе значит «маленькая лестница». Назначение его — помочь хромоногим покойникам во время их путешествия с того света и обратно, ибо эта помощь безусловно необходима. Другого вида хлеб, «мухурчуниил» — в три вершка толщины и четыре в окружности; пекут его с сыром и открытым верхом. Предназначается он для усопших детей, чтобы они, становясь на него, лучше могли видеть Христа. Третьего вида хлеб, «чабнег» — круглый и тоненький, с просверлинами по бокам и с сыром. Назначение его теперь неизвестно в народе. Когда хлеб такого рода и обыкновенные выпечены и когда, кроме того, мясо сварено, снова ставят столики, на которых раскладывают приготовленное съестное, водку и зажигают восковые свечки. Тут же, в некотором отдалении, ставится отдельно маленький круглый столик на трех ножках, так называемый «пичк», на котором красуется сравнительно лучшее кушанье, с тремя зажженными восковыми свечами. Позади столиков, в почтительном отдалении от них, становится все семейство. Некоторое время царит могильная тишина. Затем глава семейства тихим голосом обращается к душам покойников, которые незримо восседают за столиками: «Не прогоняю и не принуждаю оставаться непременно, — говорит он, — оставьте нас счастливыми и уходите сами таковыми же; благословите нас, уходя, и будьте сами благословенны во веки. Мы же, с своей стороны, будем просить Христа, чтобы он дал вам место за своим столом». Говоря это, он приближается к круглому столику, становится перед ним на колени, каковому примеру следуют и прочие. Потом глава семьи возвращается назад на свое место, и опять начинается поминовение всех ближайших покойников поименно, которым они, вместе с другими присутствующими, желают отпущение грехов, и снова все приближаются к столикам и становятся на колени. Когда же, наконец, встают на ноги, глава семейства почтительно подходит к круглому столику, берет его со всевозможными предосторожностями в руки и медленным шагом несет его из дома. До выноса еще за двери столик ставится на короткое время посреди комнаты, и снова глава семейства, обращаясь к душам, повторяет, что он «не прогоняет и не принуждает их оставаться непременно», и т.д., после чего столик выносится уже совсем. Во дворе столик опять-таки на короткое время ставится на землю, и снова, в последний раз, начинается упрашивание, чтобы души покойников вернулись восвояси, и чтобы они там, на том свете, ходатайствовали перед Христом о благоденствии оставляемого ими

семейства. В отплату за это обещается угостить их в будущем на славу. Этот понедельник у сванетов называется «лисгвиджинал», что в переводе значит «возвращение душ». По народному поверью, с 5-го января души умерших днем и ночью оставались в их семействах, а в этот день они снова возвращаются на тот свет. Народ так убежден в этом, что почти в каждой деревне можно встретить по нескольку человек, которые станут вас уверять, что они там-то и в такое-то время повстречали душу такого-то.

Познакомившись с примитивностью религиозного культа сванетов, наметим теперь главные черты их экономического быта.

Исключительно земледельческая промышленность, натуральное хозяйство и отсутствие большой разницы имущественного состояния населения составляют характеристические черты экономического быта сванетов. Развитию скотоводства препятствует малое количество сенокосной земли. Различия имущественной состоятельности, как отдельных обществ, так и между членами одного и того же общества, обусловливаются единственно количеством земли. Но эти различия, как сейчас было замечено, не только не являются очень значительными, а напротив, для большинства обществ и для членов внутри каждого общества в отдельности на первый план выступает имущественное состояние, близкое к равенству.

Земля в Сванетии дорога — по разным обществам от 400 до 1 000 рублей за возделанную десятину. Таких денег сванету накопить неоткуда. Да и по такой цене трудно купить землю, так как продажа ее — большая редкость. Сваneты любят свою страну, и случаи выселения из нее исключительны; между тем выселение составляет почти единственный повод к продаже земли. Одному хозяину не под силу купить всю землю выселяющейся семьи, а потому она приобретается по клочкам несколькими хозяйствами. Денег в Сванетии так мало, что, при покупке земли платят всем, чем только можно: скотом, одеждой, оружием, а иногда, хотя весьма редко, и медными котлами с домашнего очага. Последние имеют большую цену; и надо так страстно любить землю, как любят ее сваneты, чтобы отдать за нее котлы с очага, за что грозят всякие напасти со стороны предков. Когда мы спрашивали: ради чего продавец земли берет котлы по цене, много раз превышающей их рыночную стоимость, нам с изумлением отвечали: «Как ради чего! Все предки отдавшего котел будут теперь помогать той семье, которая приобрела котел». Из сказанного видно, что увеличение имущественной состоятельности, путем расширения землевладения, есть явление, во-первых, весьма редкое и, во-вторых, поставленное в очень тесные границы по незначительности покупательной силы отдельного домохозяина.

Расширение землевладения есть, в то же время, единственный путь к накоплению богатства и к имущественному возвышению над односельчанами; все другие способы к нарастанию имущест-

ценной дифференциации среди населения закрыты. Положим, какому-нибудь сванету удалось заработать на стороне или приобрести иным способом значительную сумму денег. Если он не спрячет ее в сундук или не истратит на угощение односельчан, то что он может сделать с нею? Сванеты очень любят скот и много ухаживают за ним; предположим, заполучивший значительную сумму денег купил на нее несколько десятков голов крупного и мелкого скота. Летом скот этот прокормится на пастбищах; но наступил октябрь, пастбища покрылись глубоким снегом, скот надо кормить сеном. Где взять сено? Сванетские хозяева не продают его; каждому из них едва хватает сена на прокормление собственного скота. приходится запасаться сеном в Мингрелии, Имеретии и везти его чрез Латпарский перевал на миниатюрных санках, так как Сванетия не знает колеса по причине узкости и крутизны ее дорог. Но перевозка сена миниатюрными санками, на стоверстном расстоянии и через гору в 9 200 фут. вышины, для нескольких десятков голов скота, потребовала бы такой суммы денег, перед которой остановился бы даже богатый мот. Словом, провезти сено в Сванетию хозяйственно — невозможно. А потому, наш разбогатевший деньгами сванет, закупивший значительное количество скота, с наступлением зимы будет вынужден его продать. Пустить деньги в торговлю тоже нельзя, так как каждое сванетское семейство удовлетворяет большую часть своих потребностей собственными продуктами, и в то же время, незначительный обмен совершается без посредства третьего лица. В Сванетии нет ни одной лавки. Но нельзя ли пустить деньги в промышленный оборот? Например, выделать кожу и шерсть из зарезанного скота и везти их для продажи за границы ледяного кольца. Разумеется, найдутся люди, которые за щедрое вознаграждение согласятся променять свой зимний досуг на наемную работу; но столь же несомненно, что провоз товара обойдется так дорого, что промышленник понесет большой убыток и откажется от предприятия. Сванетия, при ее настоящих путях сообщения, закрывает вомзожность **прогрессивного приумножения*** богатства, как для целого населения, так и для отдельных ее членов.

Пахотная и сенокосная земля состоит в дворовой собственности; пастбища и луга, которых изобилие, составляют собственность обществ. Сванеты не помнят, чтобы пахотная и сенокосная земля была когда-либо в общинном владении. В Княжеской Сванетии на 30 дворов приходится один двор, имеющий лишь усадьбу: в Вольной — все имеют землю сверх усадьбы. Общества пользуются неодинаковым благосостоянием, что зависит от большего или меньшего количества владемой ими земли. Самые богатые общества — Мести и Мулах; самые бедные — Ленжери и Ипари; остальные

* Выделено автором. (*Ред.*)

семь обществ занимают среднее место. Приведем, из собранных нами данных, максимальные, средние и минимальные величины владеемых сельчанами земли и скота для обществ богатых, средних и бедных.

Общества	Разряд величин	На каждый двор			
		Количество земли в кцевах	Количество скота		
			быков и коров	лощад.	баран., коз и свиней
Мести	максимум	20	14	5	20
	средний	16	8	3	12
	минимум	13	6	2	10
Эцери	максимум	20	15	4	25
	средний	5	11	2	15
	минимум	4	4	1	6
Ипари	максимум	12	9	3	15
	средний	4	6	1	10
	минимум	2	2	—	6

Почти все дворы с максимальным количеством земли и скота суть вместе с тем самые многолюдные. В них имеется до 30 и 40 человек и нередко три поколения с неразделившимися женатыми братьями, дядьями и племянниками. Напротив, дворы с минимальным наделом и скотом, в большинстве случаев, суть дворы разделившейся семьи и заключают в себе немного членов, от двух до шести. Следовательно, имущественное равенство сванетов несравненно большее, нежели это могло бы показаться, если судить лишь по одной вышеприведенной таблице.

Так как дворы, владеющие значительным количеством земли, большею частью многолюдны, то форма наемного труда находит себе весьма малое приложение в Сванетии. Во всей стране имеется не более двух десятков дворов, которые, вследствие недостатка собственной рабочей силы, нанимают еще в летнее время малоземельных односельчан или жителей других сопелей. Наемник получает пищу и 10 коп. в день.

При среднем урожае громадному большинству дворов хватает хлеба с собственной земли. Но, к сожалению, Сванетия подвержена частым градам, уничтожающим труды, если не всего населения, то одного или нескольких обществ. Тогда потерпевшие идут на работы в Мингрелию, Имеретию, Карагай, Баксан; на вырученные деньги покупают хлеб и несут его домой.

В нормальное время на заработки идут, с ноября по Пасху, по одному, два человека со двора; нанимаются преимущественно в землекопы. Сванеты — самые дешевые рабочие: получают от 30 до 40 коп. в день; часть сбереженных денег употребляется на покупку скота, который приводят с собою домой, или и других предметов крайней необходимости, не производимых в Сванетии; остальное сберегают для уплаты подати и про черный день. Приведенный

весною скот кормится на горных пастбищах; с наступлением же зимы излишек над кормовыми средствами убивается, просаливается и служит пищей на зиму.

Незначительное количество возделанной земли обусловливается топографическим положением страны: Сванетия изрыта крутыми горными отрогами. Но где только может устоять нога сванета, там — если не пахоть, то сенокос. Крутизны отрогов усеяны клочками возделанной земли. Когда едешь по густонаселенной долине Ингура и видишь пред собой огороженные и тщательно возделанные мелкие нарезы полей, то кажется, будто находишься в стране высокой культуры. Севооборот — трехпольный. Орудия следующие: плуг, борона, лопатка, мотыга, серп, молотильная доска, подбитая каменьями. Навоз ценится так высоко, что его дают в приданое. Орошение — превосходное.

За исключением железа, соли и ситца, сванеты сами производят все потребляемые ими предметы. Они изготовляют для себя полотно из конопли, одежду из звериных шкур и шерсти, меховую и кожаную обувь, маленькие войлочные шляпы, домашнюю утварь, оружие, седла и уздечки, земледельческие орудия. Для производства всего необходимого населению сукна и обуви не хватает сырого материала, а потому шерсть и кожу приходится прикупать. В обмен за приобретаемые вне страны продукты сванеты отдают мед, порох, фрукты, предметы токарного ремесла, как-то: чашки, столики, скамейки, точеные ножки к диванам, при хорошем же урожае и хлеб.

Денежный обмен до того мало развит между сванетами, что они обыкновенно считают лишь на абазы (двугривенный) и рубли. Предлагая нам, например, семь яиц, спрашивали абаз; мы просили дать еще два яйца, — тогда за девять яиц спрашивали два абаза.

Податей («бегер») государственных и местных сванеты платят по 1 руб. 30 коп. с двора. В податном деле существует круговая порука. Недоимок нет. Повинность — только дорожная. Войско не стоит в Сванетии. Старшины жалованья не получают.

Воровство в Сванетии — большая редкость. Здесь также нет ни одного нищего, нет человека, который просил бы милостыню.

Таков, в главных чертах, экономический строй сванетов. Посмотрим теперь на их юридический быт.

Ближайшей задачей одного из нас было познакомиться с обычным правом сванетов. Изолированность этого народа, защищенного от чужеземных влияний почти непроходимыми горами; широкая автономия, какою он пользовался и при грузинском владычестве; рано достигнутая свобода от княжеского произвола, всюду влиявшего разлагающим образом на местный обычай, — все это, вместе взятое, обещало довольно богатую поживу для юриста-археолога, особенно на протяжении так называемой Вольной Сванетии. Ожидания эти оправдались вполне. Кого интересуют переживания родового строя, кто желал бы восстановить, в мельчайших

подробностях едва намеченную Тацитом картину древнегерманской жизни или восполнить этнографическими аналогиями скудные свидетельства византийских и арабских источников о быте наших предков славян, тот не без интереса остановится на изучении сванетских обычаев.

Кровное начало доселе составляет основу жизни сванетов. Влияние его сказывается на каждом шагу: и в жизни большими семьями, на подобие юго-славянских задруг, и в родовом характере сельских поселений, или так называемых сопелей, составленных нередко из одних однофамильцев, и в господстве родового, не вполне подавленного еще русским правительством, самосуда, и в привилегированном положении, занимаемом родственниками, как на суде, в котором они своею присягой подкрепляют показания обвиняемого, так и в гражданских сделках, действительных только под условием их согласия на совершение сделки. Родовая организация сванетов отличается при этом такой выработанностью и законченностью, что каждый в отдельности взятый юридический институт получает от нее свою окраску. Возьмем, для примера, институт усыновления, в силу которого чужеродец получает доступ в семью и право наследования в ее имуществе. Институт этот развит очень слабо в среде сванетов; если им и известно усыновление, то только родственника; чужеродец, хотя бы был мужем единственной дочери покойного, не вступает никогда в имущественные права рода своей жены и, в частности, не наследует.

Эта черта может показаться аномалией для всех, кто интересуется древним правом. Кому не известно широкое господство так называемого фиктивного родства и в древнеримском праве, и в греческом; кто не знаком с тою выдающейся ролью, какая принадлежала ему некогда одинаково у индусов и у кельтов, и притом, в эпоху господства тех самых родовых отношений, которые лежат доныне в основе быта сванетов? Видимое противоречие разрешается, однако, весьма просто. Усыновление чужеродца потому неизвестно сванетам, что родовой строй их жизни отличается несравненно большею крепостью, нежели каковым известен нам этот строй у вышеупомянутых народностей. Давно сделалось трюизмом, что история застает народы в эпоху их перехода от кровных сообществ к соседским. В чистом виде родовой быт может быть констатирован только в среде тех народов, которые, не будучи историческими, составляют пока достояние одной этнографии, и к числу таких мы считаем возможным отнести и сванетов, по крайней мере, в период времени, предшествовавший русскому господству. Усыновление чужеродца — говорили нам старики — потому было немыслимым в прежнее время, что родственники никогда не допустили бы передачи ему наследства. При прочности же кровных связей родство соблюдается в отдаленнейших степенях, так что нельзя встретить человека, у которого бы не было родственников, а следовательно и наследников, присутствие которых исключает возможность передачи имущества в чьи-либо чужие руки. Обычное право сванетов убеждает нас, таким образом,

в том, что институт усыновления развивается на почве разлагающегося родового быта, по мере ограничения кровного начала нарождающимся **трудовым***, при котором лицо, более содействующее накоплению семейного имущества, — а таким может быть и принятый в семью чужеродец, — приобретает тем самым преимущественное право наследования в семейном имуществе.

В полном соответствии с родовым принципом у сванетов стоит также, во-первых, совершенное устранение женщин от наследования, одинаково известное и римскому, и немецкому праву, и, во-вторых, отсутствие права завещательного распоряжения, — живая иллюстрация к словам Тацита о «nullum testamentum»** у древних германцев. Последнее является только одним из тех многочисленных ограничений, какие налагают на правовую дееспособность отдельного лица жизнь сообща с родственниками и накопление ценностей общим трудом. Лицо, стоящее во главе двора, нередко вмещающего до сорока человек, не может ни продать семейного достояния, ни обменять его, не испросив на это согласия всех членов. Сделка, совершенная им вопреки общему желанию, сама по себе недействительна. Но этого мало. Влияние родства сказывается и в том случае, когда оно не связано с жизнью сообща. Не только однодворцы, но и все вообще однофамильцы, хотя бы они жили и в разных дворах, более того — в разных сопелях, пользуются правом предпочтительной покупки и родового выкупа, делая тем самым весьма шаткими всякого рода имущественные сделки.

Ни в чем, однако, не сказывается в такой степени сила кровного начала, как в тех брачных запрещениях, какими так богато обычное право сванетов. Запрещения эти идут гораздо далее канонических. В брак не могут вступать не только родственники до четвертой степени включительно, но даже те, родство которых исчисляется двенадцатью степенями. В некоторых обществах Вольной Сванетии брак считается невозможным между всеми вообще однофамильцами, так что в тех сопелях, население которых еще недавно было составлено из одних родственных друг другу семей, господствовала полнейшая экзогамия.

Отмечаем в особенности этот последний факт, так как им, как мы полагаем, всего проще объясняется возникновение тех брачных изъятий, источник которым Мак-Ленан и следовавшие за ним писатели видели исключительно в обычае похищать невест. Если брак между односельчанами и признается подчас невозможным в Сванетии, то лишь потому, что они родственники. Где кончается родство, там нет места и для брачных запретов; а если так, то экзогамия находит объяснение себе и помимо более или менее произвольного предположения, что причиной, породившей ее, было запрещение частного присвоения женщины в пределах одного и того же рода, ввиду первоначальной общности жен и невозмож-

---

* Здесь и далее выделено в документе. (*Ред.*)

** Об отсутствии завещания (*лат.*). (*Ред.*)

ности установления, поэтому, прочных связей с другой женщиной, кроме похищенной из чужого рода.

Говоря о том, что родовые порядки лежат в основе народного права сванетов, мы разумеем не те более архаические группы, которые Морган обозначает термином материнских родов, но расчленение общества по агнатическому началу, подобное тому, какое известно было древнему Риму и Греции, германцам времен Цезаря, славянам и кельтам при первом появлении их в истории. Правда, некоторые черты современного быта сванетов указывают, по-видимому, на порядки несравненно более архаические. Кто знаком с учением, по преимуществу, английских и американских этнологов, тому не безызвестно, какое первенствующее значение играют в их теории **«материнитета»** непрочность брачных уз и легкое поведение женщин. И то, и другое в достаточной степени имеют место у сванетов. Похищение как девушек, так и, в особенности, замужних женщин, у них явление обыденное. Семейные раздоры и кровная месть весьма часто не имеют у них другого источника. Но достаточно ли всего этого для утверждения, что индивидуализация семейных отношений у сванетов — явление недавнее, что недалек еще период широкого господства в их среде беспорядочного полового сожительства, при котором отец мог быть и неизвестным, и единственной прочной связью новорожденного была связь его с матерью-родильницей. Мы полагаем, что нет, и вот почему.

Прежде чем останавливаться на общих причинах известного явления, необходимо удостовериться еще в том, что последнее не находит себе достаточного объяснения в чисто местных условиях, среди которых оно возникло. Так и в данном случае: прежде, чем относить слабую прочность брачных уз у сванетов к переживаниям коммунального брака, необходимо доказать, что слабая прочность брака не коренится всецело в той бытовой обстановке, среди которой проходить жизнь населения. А этого, как мы полагаем, именно и нельзя отрицать. Из статистических данных, обязательно сообщенных нам местной администрацией, оказывается, что численное отношение мужчин и женщин в Сванетии далеко не равномерно, что число мужчин относится к числу женщин, как 6 к 5, иначе говоря: женщин на 17% меньше мужчин. Это обстоятельство уже само по себе как нельзя лучше объясняет причину частого похищения женщин. Их не хватает для всех; удивительно ли, если, при таких условиях, они являются постоянным яблоком раздора? К этой общей причине прибавляется еще особенная, корень которой лежит опять-таки не в чем ином, как в бытовых условиях изучаемого народа. При господстве родовых отношений интерес каждой фамилии лежит несомненно в том, чтобы обезопасить себя, на случай возможных столкновений с чужеродцами, заключением тесных связей с другими сильными и многолюдными родами Такие связи могут быть установлены двояким путем: или через посредство так называемого молочного родства, или с помощьк брачных договоров. И то, и другое у сванетов в полном ходу –

черта общая им с другими горскими племенами: татарами на севере, осетинами на востоке. Но что составляет поистине особенность сванетов, это то, что брачные договоры, о которых идет речь, заключаются ими в то время, когда будущие жених и невеста находятся оба в колыбели. Магометанство, распространенное на севере от Главного хребта, по-видимому, причина тому, что такие ранние браки одинаково неизвестны как балкарцам и кабардинцам, так и осетинам-мусульманам; с переходом в христианские аулы плоскостной Осетии мы снова встречаемся с тем же явлением, и терпимость, с которой христианство, по-видимому, всегда относилось к нему, находит себе еще и другое, более широкое, освещение в повсеместном распространении этого явления в средние века*. Счастливых браков, очевидно, нельзя ожидать от союзов, заключаемых в младенческом возрасте. Частый увод чужих жен и неверность сванетских женщин — на что так много слышится жалоб из уст русских администраторов — неизбежные следствия таких оскорбляющих нравственное чувство браков. И так, не восходя до эпох коммунального брака и вытекающего из него материнства, является возможность дать надлежащее объяснение указанным нами явлениям; а из этого следует, что на одних этих явлениях еще немыслимо строить теории когнатического рода у сванетов. Раннее распространение в стране христианства, начиная с III века, легко объясняет причину, по которой в обычном праве народа мы не находим и тех немногих следов когнатического рода, какие представляет собою, например, юридический строй его ближайших соседей — горских татар. Известно, какое первенствующее значение играет, в эпоху существования материнства, дядя по матери, заступающий, по отношению к детям, место нередко неизвестного им отца. Связь с ним — говорит Тацит о древних германцах — считается самой священной и более тесной даже, чем связь детей с действительным виновником их рождения; и это место книги Тацита «Германия», в ряду других данных, является для современных германистов основанием к утверждению, что период материнства и когнатического рода предшествовал в жизни их предков патриархальной семье и опирающемуся на ней агнатическому роду. То, что говорит Тацит о роли дяди с материнской стороны, целиком применимо к современному быту горских татар. Убийство дяди по матери считается в их среде таким же тяжким преступлением, как и отцеубийство. В числе родственников, призываемых к соприсяге с обвиняемым, мы неизменно встречаем у татар дядю по матери, как ближайшего родственника. Ничего подобного мы не находим в обычном праве сванетов. Отцеубийство у них строго отличается по своим последствиям от убийства материнского брата. Принадлежа к одному роду с отцом, живя с ним в одном дворе, отцеубийца поставлен в невозможность загладить

* См. «Общественный строй Англии в конце средних веков», М. Ковалевского.

свою вину уплатой **цора** (плата за кровь). Ему некому платить. Но преступление его так тяжко в глазах одосельчан, что последние обыкновенно прекращают с ним всякие сношения. Чтобы наглядно наложить на него печать отвержения, они принуждают его постоянно носить повязку через плечо, составленную из нанизанных на веревку круглых камешков. Совершенно другие последствия ведет за собой убийство дяди по матери. Так как дядя живет обыкновенно не в одном дворе с убийцей и не состоит его однофамильцем, то кровная месть, вызываемая убийством, ежечасно может быть прекращена договором об уплате цора. Нигде у сванетов мы не встречаем также дяди по матери в ряду ближайших родственников, а следовательно и необходимых соприсяжников. Родственникам со стороны отца (агнатам) всегда принадлежит в этом случае первое место.

Прибавим к сказанному еще следующее: левират, или деверство, в котором, со времен Мак-Ленана, привыкли видеть переживание если не коммунального брака непосредственно, то его позднейшей стадии — братского брака, иначе говоря, дозволенного обычаем сожительства всех братьев с одними и теми же женщинами, совершенно неизвестен сванетам. Мы не только не встречаем указаний на то, чтобы, при бесплодии старшего брата, младший мог занять его место. — о чем, как известно, говорит Ману — но и сожительство вдовы с ближайшим родственником ее мужа, одинаково известное индусскому, еврейскому, греческому и осетинскому праву, совершенно неизвестно сванетам. Оставшийся в живых брат может взять себе в жены вдову покойного, но в том лишь случае, если он холост; вступая в брак, он обязан заплатить за свою невесту полное вено, или так называемый «начулаш», все равно, как если бы он был лицом совершенно посторонним ее мужу. Еще один факт, открыто говорящий о том, что материнство не оставило никаких следов в современном быте сванетов. Незаконные дети, как свидетельствует одинаково древнегерманское и кельтическое право, сохраняют связь с матерью и ее родом. Вместо того, чтобы считаться безродными, они признаются членами того же рода, к которому принадлежит их мать, и, согласно этому, пользуются некоторыми правами наследования в ее имуществе. Спрашивается теперь: каково положение незаконнорожденных в среде сванетов? Г.Стоянов, посетивший страну несколькими годами раньше нас, говорит, что незаконнорожденные не получают от отца имущества и считаются принадлежащими к роду матери*. Это свидетельство совершенно не согласуется с теми показаниями, какие на этот счет сделаны были нам стариками различных обществ, как Вольной, так и Княжеской Сванетии. На основании всего собранного нами материала мы пришли к тому убеждению, что недавние распоряжения русского правительства во многом со-

* Путешествие по Сванетии («Зап. Кавк. отдела Географ. Общества», кн. 10, вып. 2. Тифлис, 1876, с. 433. «Семейный быт сванетов»).

действовали затемнению в юридическом сознании сванетов понятия незаконнорожденности; так что, в настоящее время, у них, как мы сейчас покажем, оказывается два класса незаконных детей, далеко не одинаково безправных. Произошло это следующим образом. Хотя сванетский обычай вполне допускает развод и вступление во вторичный брак разведенной с мужем жены, но русская администрация, вероятно, по несогласию таких порядков с требованиями канонического права, сочла возможным признать незаконными на одном этом основании более 150 браков и приступила к насильственному их расторжению. Обстоятельство это в свое время вызвало сильное недовольство в местном населении. Проживши сряду несколько лет с женщиной, имея от нее нередко потомство, муж не соглашался отпустить ее обратно в семью, из которой она вышла в силу развода. С другой стороны, и разведенному супругу далеко не улыбалась мысль расстаться со своей новой семьей для того, чтобы принять в свой дом ушедшую от него подругу, да еще с обязательством кормить и считать своими прижитых ею на стороне детей. Вместе с тем, эта неумелая попытка морализации обычая грозила оживлением кровной мести и нескончаемыми междоусобицами. К счастью, хватились вовремя и приостановили дальнейшее приведение ее в исполнение. Когда спрашиваешь сванетов о том, наследуют ли у них незаконные дети наравне с законными, они, имея в виду детей от браков с разведенными, спешат ответить, что несомненно наследуют, что обычай не установляет в этом отношении никаких различий, что такие дети получают долю, равную с той, какая приходится законным детям, и самое меньшее — половину или треть*. Такой категорический ответ, очевидно, может вовлечь в заблуждение. Невольно подумаешь, что обычное право сванетов находится на той ступени развития, когда неизвестна прочность брачных уз и положение жены и прижитых ею детей мало чем отличается от положения наложницы и ее приплода; но дело в том, что дети, которых сванеты называют незаконнорожденными, совсем не являются таковыми с точки зрения их обычного права; напротив того, они вполне законны и потому наследуют, и в большей части обществ наследуют наравне с последними. Рядом с детьми, о которых шла сейчас речь, сванетам известны, однако, и такие, которые и по их понятию должны быть признаны незаконными. Это все те, которые прижиты от любовниц, или «лелят». Число таких детей, однако, весьма невелико. Воспитатель дворянской школы в Кутаисе, В.Ш.Нижерадзе, хорошо знакомый с бытом своего народа, говорил нам, что во всей Сванетии их едва насчитаешь пять человек. Причину этому он видел в обычае вытравления незаконного плода. По показаниям стариков сопеля Мести, детей, прижитых незамужними женщинами, обыкновенно убивали; если же некоторые из них оставляемы были в живых, то не получали наследства ни от отца, ни от мате-

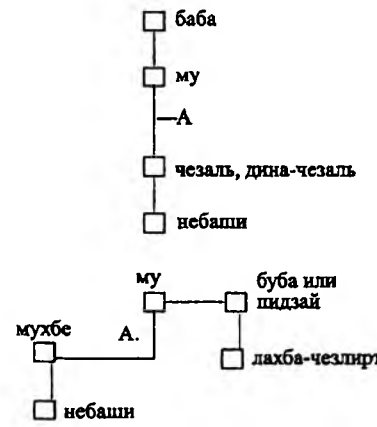
* Первое в эцерском обществе; второе — в ушкульском и ипарском.

ри. Во всяком случае, они не причисляются к роду матери, к ним не применяется правило infans sequitur ventrem*, и положение их в обществе есть положение безродных; а это обстоятельство как нельзя лучше доказывает, что материнское право, переживание коего всего дольше держится в сфере тех отношений, в которые ставит незаконнорожденных самый факт их рождения, исчезло бесследно из быта сванетов.

Но, может быть, употребительный в их среде счет родства напоминает еще эпоху, когда последнее исчисляемо было не степенями, а классами, эпоху весьма близкую, как известно, эпохе материнства и, следовательно, косвенно свидетельствующую о распространении материнства еще недавно в их быту? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо представить родословное древо сванетов. Обозначив литерой *A* лицо, родство которого мы желаем исчислить, мы проведем от него линии в разных направлениях и на этих линиях обозначим квадратами всех тех родственников, которые у сванетов носят какое-либо наименование, а не зачисляются прямо в общую группу однофамильцев**. Таким в восходящей будут: — отец («му») и дед («баба»), а также мать («ти») и бабка («тата»); в нисходящей: — сын («чезаль»), дочь («дина-чезаль») и внук («небаши»). Прадед и правнук не носят отдельных наименований, а зачисляются первый в одну категорию с дедом («баба»), второй — в одну категорию с внуком («небаши»). То же нужно сказать о прапрадеде и праправнуке. Этот факт не представляет собой ничего особенно характерного; употребление таких приставок, как русское «пра», французское «bis», или «arrière», или «petit», немецкое «gross» и т.п., к именам деда и внука доказывает сравнительно позднее выделение и у арийских народов Европы этих степеней родства из общих категорий предков и потомков. Столь же обычным кажется нам у сванетов и счет родства в боко-

---

* Ребенок следует за ветром (*лат.*)



вой линии: двоюродного брата («лахба-чезлир») они строго отличают от родного («мухбе»), чего, как известно, не встречается при классовой системе родства. Точно также дядя по отцу, как и дядя по матери — имеют у сванетов особое обозначение («буба» или «пидзай»). Одни только племянники носят одинакое с внуками наименование («небаши») — черта, сходная с той, какую мы встречаем в древнерусском праве, и которая, при строгом различении других ближайших степеней, едва ли говорит что-либо в пользу недавнего существования у сванетов классовой системы родства.

Итак, в семейном праве сванетов нельзя найти фактов переживания материнства. Такое заключение не равнозначительно, разумеется, с совершенным отрицанием существования последнего когда-либо у сванетов. Раннее появление христианства у сванетов — по всей вероятности одна из причин тому, что их обычаи не сохранили в себе следов тех порядков, какие предполагает материнство и основанное на нем родство. Пример других народов, в том числе германцев и кельтов, показывает нам, что христианство вело открытую борьбу с такими порядками и всячески старалось положить им конец. Как сильно было влияние его в этом именно направлении в Сванетии, можно судить по тому, что никакое преступление не кажется современным сванетам более тяжким, как кровосмешение, — кровосмешение, неизбежное в эпоху господства общинных браков. Большинство спрошенных нами стариков положительно отрицали возможность проявлений его в среде сванетов; другие говорили об избиении в этом случае виновных их односельчанами. По понятиям сванетов, небесная кара необходимо постигает всякого, вступившего в брак с ближайшей родственницей. В ущелье Ингура, по дороге в кальскую общину, г. Стоянову показывали место, в котором брат и сестра были засыпаны землею в наказание за заключенный ими брак*. Мы говорили уже о том, что браки однофамильцев представляют у сванетов большую редкость. Народу они совершенно неизвестны. Случаи их могут быть указаны только в роде князей Дадешкелиани, да еще между потомками фамилии Джапаридзе, бывшей некогда дворянскою. Народная фантазия охотно связывает различные несчастья, постигавшие обе фамилии, и, в частности, их семейные междоусобия с представлением о божеском гневе, вызванном их кровосмесительными браками.

Жизнь родами и неразделными семьями не исключала вполне у сванетов, задолго до перехода их под русское владычество, некоторых зачатков государственности. В Княжеской Сванетии представителями ее являлись князья из рода Дадешкелиани; в Вольной — избираемые народом старейшины и народные сходы. Фамильные и народные предания в одно слово указывают на то, что та зависимость, в которой, до освобождения крестьян, жило насе-

* [Записки Кав. Отд. Географ. Общ. Кн. 10.] С. 434.

ление Бечо, Чубехев, Эцери и Пари, ныне составляющих собою так называемую Княжескую Сванетию, не восходит далее XV века, что судьбы Вольной и Дадешкелиановской Сванетии были до этого времени одинаковы, что ими управлял более или менее номинально поставленный от Грузии наместник, или так называемый эристав, и что такими наместниками с XIV века были, как общее правило, члены семейства Геловани. Выходцы из Грузии — они, разумеется, оказывали всякую поддержку пришлому грузинскому элементу; и неудивительно поэтому, если при них стали постепенно выдвигаться, как в Вольной, так и в Княжеской Сванетии, некоторые семьи, получившие значение дворянских («азнаурских») семей. Такими в Вольной Сванетии были, между прочим, Джапаридзе. Им удалось постепенно наложить на вольное население общества Мести ярмо крепостной зависимости, однохарактерной с той, какая известна была Грузии. Владея землею на праве собственности, крестьяне, или так называемые «мыбгери», в то же время обложены были барщиной и другими натуральными повинностями; они обязаны были обрабатывать землю своих господ, исполнять домашние службы при их дворе, сопровождать их на войну, а также во время их поездок, воспитывать их детей на правах аталыков, наконец, платить им ежегодно по одному гвидолу пшеницы с дома*. Не довольствуясь этим, дворяне стали присваивать себе право продавать крестьян на сторону, нередко разлучая для этого жен с мужьями и родителей с детьми, а также требовать, чтобы, за отсутствием наследников, собственность крестьянского двора поступила не к однофамильцам, а непосредственно в их руки. Согласно фамильным преданиям, записанным нами со слов Урустумхана Джапаридзе из Мести, злоупотребление властью было причиной тому, что род его почти поголовно был истреблен восставшими крестьянами. Случилось это так давно, что с этого времени успели уже народиться двадцать поколений. Ближайший повод был следующий. Старший из рода Джапаридзе, застав крестьянина работающим в собственном поле, стал кричать на него, зачем он не пашет хозяйской нивы. Слово за слово, дело дошло до того, что крестьянин в сердцах убил дворянина, а подоспевшие ему на помощь поселяне истребили весь род убитого, за исключением одного ребенка, спрятанного его аталыком. Избавившись от князей, жители местийского общества стали управляться сами собою, собираясь с этой целью на народные сходы («джан-назуран») и выбирая на них особого старейшину, занимавшего должность бессрочно, до тех пор, пока дурное поведение его заставит подумать народ о новом выборе. Старшина этот носил то же название, какое принадлежит доселе старейшему во дворе («махвши»); буквально слово это означает: старший. Кроме старшины, сходы выбирали еще двенадцать человек так называемых «мыбари» (выборные), обязанностью которых было, между прочим, следить за

* Гвидол равняется 2-м пудам 17 фунт.

тем, чтобы никто не работал по пятницам, субботам и воскресеньям. Виновных в нарушении таких запретов подвергали штрафованию. Народные сходы созываемы были с помощью особых, почти саженных труб; некоторые из них доселе хранятся в церкви местийского общества. Участие в собрании принимали все совершеннолетние, не только мужчины, но и женщины. Для постановки решения требовалось единогласие; но последнего, очевидно, нелегко было достигнуть, особенно если принять во внимание, что наиболее влиятельные граждане являлись на джан-назуран каждый в сопровождении своей партии и притом не безоружными. Редкое собрание обходилось без схваток. Не достигнув соглашения, соперники чаще всего оканчивали тем, что, запершись в свои башни, поднимали из них друг против друга вражду, переходившую нередко из поколения в поколение. Такой печальный исход делался возможным тем более, что прогнанные дворяне со временем снова приняты были в общество. Крепостная зависимость, правда, не была восстановлена в их пользу, но удержалось представление о большем благородстве их крови, дававшее право дворянину мстить простолюдину за убийство смертью двух его единокровных. Число дворян стало возрастать, по мере поселения в обществе новых пришлых родов, в том числе рода Куштельяни, выходцев из Чегема. Такое явление замечается не в одном местийском обществе, но почти на всем протяжении вольной Сванетии; и этим объясняется тот странный факт, что число дворян в ней, потерявших, правда, ныне уже всякое значение, представляет весьма значительный процент всего населения. Так, в мулахском обществе, на 939 человек простого состояния приходится 295 дворян и дворянок; в местийском — на 537—234; в остальных обществах значительное меньше, обыкновенно не более двух или трех десятков.

События, описанные нами в Мести, с некоторыми вариантами повторялись и в любом из остальных обществ Вольной Сванетии. В каждом возникает свой народный сход (джан-назуран), называющийся также в некоторых обществах «лухор» или «лузор»; местом его собраний служит специально отведенная площадь, своего рода форум, по-сванетски: «лалхор». Народное собрание каждого общества выбирает своего старшину, который, подобно английскому мировому судье, остается в должности «durante se bene gesserit»*, т.е., пока его дурное поведение не сделает нужным, в глазах народа, назначения ему преемника. Замечательную черту в быте Вольной Сванетии составляет рано сознанная отдельными обществами необходимость столковываться по некоторым делам сообща несколькими обществами. Этой потребности удовлетворяли сходы всего взрослого ее населения, созываемые в одном из следующих трех мест: в Ушкуле, на площади, называемой Жибиани; в сопеле Цвирли местийского общества, на площади, называемой Симок, и

* Пока в своей непреклонности он правильно поступает (*лат.*). (*Ред.*)

в Лалавере, селении, расположенном к западу от Эцери и более не существующем. Председательство на таких общих собраниях поручалось кому-либо из старшин по собственному их выбору. Решение, как и в сходах отдельных обществ, считалось состоявшимся лишь под условием единогласия. Г-н Нижерадзе, которому мы обязаны только что приведенными данными, не прочь видеть в этих всенародных собраниях черты своего рода федеративного устройства. Не идя так далеко, мы полагаем, однако, что из названных сходов, имевших лишь временный и случайный характер, могли, с течением времени, образоваться веча, подобные тем, какие мы находим, например, в Ури и Унтервальдене, — веча, на которых приняты были первые решения, благоприятные швейцарской независимости. Правда, этим вечам не приходилось, подобно сванетским, испытывать на себе тяжелую руку соседних князей Дадешкелиани и принимать меры к ограждению от них свободы страны. Швейцарское дворянство шло заодно с народом, и, может быть, только благодаря этому единодушию дело освобождения получило здесь такой скорый и благоприятный исход.

Иначе относились к свободным обществам Сванетии их ближайшие соседи, князья Дадешкелиани. Хотя, согласно преданию, князьям Дадешкелиани удалось водвориться в Эцери только с народного выбора и согласия, хотя защита народных интересов против стремившегося к тирании рода Ричкиани и была, согласно тому же преданию, ближайшей причиной предоставления им власти*, тем не менее, раз добившись власти, они употребили все свое старание к тому, чтобы закабалить народ. Не довольствуясь установлением крепостной зависимости в тех четырех обществах, которые образуют собою Княжескую Сванетию, они думали обложить данью и ушкульцев, живущих почти у самого перевала в Мингрелию. Но последние обнаружили им решительный отпор. Пута Дадешкелиани, родоначальник семьи, как гласит сказание, был убит ушкульцами пулей, вылитой из свинца, доставленного в равном количестве всеми дворами ушкульского общества, чем как бы наглядно свидетельствуется, что погибели его равно желал весь народ. Вместе с тем, чтобы отвратить от себя кровное возмездие, ушкульцы сделали выстрел из церковного ружья, направив его через окно храма, а курок был взведен с помощью веревки, за которую держались сорок два мальчика, по одному от каждого двора. Последствия, какие повел за собой этот дружно оказанный народом отпор, различно излагаются в фамильных и сельских преданиях. Первые говорят о страшной мести Исламбера, сына Путы, ушкульцам: беременным женщинам разрезаны были животы; дети переколоты; каждая капля крови отца оценена в семь человек, вследствие чего все мужское население, за исключением трех отсутствовавших братьев, было предано смерти. Наконец, в довер-

* Сказание это со слов Тенгиза Дадешкелиани, ныне умершего, записано г. Стояновым, стр. 352.

шение всех обид, в церковном котле Ушкуля совершено было Исламбером нечистое жертвоприношение*. О всех этих ужасах нет и помину в той редакции, в какой сказание о Путе ходит доселе в среде ушкульцев. Умирающий Пута на вопрос сына: отомстить ли ушкульцам или устроить ему примерные поминки? — отвечает выбором поминок, а ушкульцы навсегда сохраняют за собой полную свободу от платежа дани. Последняя редакция, по-видимому, ближе к истине, так как о какой-либо зависимости, со времени Путы, общин Вольной Сванетии от князей Дадешкелиани мы нигде не встречаем и помину.

Закрепощение народа было достигнуто семьей Дадешкелиани на протяжении лишь четырех обществ, составляющих так называемую Князескую Сванетию. Как и повсюду, где крепостничество не вырождалось в рабство, принадлежность к несвободному состоянию никого не лишала права владеть землею в собственность. Единственным ограничением собственности являлось право князя выкупать отчуждаемые крестьянским двором земли, — подобие средневековому retraite féodal**. Земельный надел переходил по наследству от одного поколения к другому; но когда во дворе никого не оставалось в живых, князь наследовал предпочтительно перед однофамильцами; точь в точь, как на западе феодальный сеньор вступал во владение землею своих mainmortables***, за совершенным прекращением владевшего ею дома. Подобно средневековым крестьянам, мыгбери, на протяжении всех княжеских владений, обязаны были нести барщину, или «чалдам». В обыкновенное время года каждый двор поставлял не более одного рабочего ежедневно, мужчину или женщину, смотря по характеру работы. Но в страдную пору требования помещика возрастали. Подобно тому, как на англосаксонские «lovebones» выходило все рабочее население, так точно, во время пахоты и посева, а также при уборке хлеба и сена, сванетский помещик вправе был требовать от каждого двора столько рабочих, сколько ему было нужно и сколько двор мог поставить по своей численности. Сельские работы производимы были крестьянами с собственной упряжью, причем считалось за правило, что каждый двор поставляет, по меньшей мере, одну пару быков. Сверх этих повинностей крестьяне несли еще некоторые платежи. Каждые три года двор отдавал князю корову. Зимою, сверх того, он обязан был доставить пропитание, по крайней мере, одной штуке рогатого скота из княжеского стада; если же скотина умирала, то взамен ее он отдавал собственного вола или корову. На Новый год почти обязательными признавались натуральные приношения, стоимостью в 20 рублей. На Пасху крестьянин обязан был пригласить к себе князя и угостить со всею его свитою.

---

* Записано со слов Татаркана Дадешкелиани, нынешнего владетеля в Эцери.

** Феодальный выкуп (*франц.*). (*Ред.*)

*** Лица, на которых распространяется право мертвой руки (*франц.*). (*Ред.*)

Известные события в жизни обеих сторон также влекли за собою производство известных платежей. В Бечо, например, крестьянский двор не справлял поминок по своему покойнику без того, чтобы не отдать князю 60 хлебов и 6 или 7 зеков араку. Точно также отдача князем дочери в замужество обыкновенно была поводом к получению им с каждого двора по меньшей мере одного барана. Должен был уплатить князь цор, и у него не хватало к тому средств, — крестьяне складывались между собою и пополняли недостачу. Другой доходной статьей князя были взыскиваемые им штрафы с преступников. Предоставляя своим подданным судиться медиаторским судом и не вмешиваясь в выбор сторонами посредников, князь довольствовался взиманием с лиц, признанных виновными, значительных пеней, всего чаще уплачиваемых скотом. Пени эти в Бечо достигали следующих размеров. Штраф за убийство («надчарьер») — триста рублей; за воровство («нактерьер») — двести рублей; за ранение («накчьер») — сто рублей. Таким образом, в Княжеской Сванетии преступление влекло за собою двоякого рода последствия: частное вознаграждение и публичную пеню. Невольно переносишься в ту отдаленную эпоху, когда в Германии, Англии и Франции, взимался, сверх частной композиции или выкупа, еще так называемый fredus*, или когда в России, согласно «Русской Правде», головничество, т.е. частное вознаграждение роду убитого не устраняло виры в пользу правительства.

Перечень прав, присвоенных семьею Дадешкелиани по отношению их к мыбгери, был бы неполон, если бы нами не было упомянуто еще о свободном переселении помещиком крестьянских дворов из одного сопеля в другой и об отчуждении им целых семей или отдельных членов их, одних с землею, других и без земли. Все это явления обычные во всех странах, которым когда-либо было известно крепостное право; но такие порядки, по-видимому, переносились сванетами с особым трудом, и воспоминания о них до сих пор еще живы среди сванетов. Не все крестьянские дворы стояли, впрочем, в одинаковых отношениях к помещикам; некоторые совершенно освобождены были от барщины и несли не более половины перечисленных нами платежей. В таком именно положении находились в бечойском обществе тридцать дворов Квициани, ведущих свой род от азнауров, поселившихся в этой местности задолго до прибытия в нее Дадешкелиани и обязанных, по всей вероятности, этому обстоятельству своим привилегированным положением. Последнее во многом напоминает то, каким в средние века пользовались так называемые liberi tenentes, т.е. лица, лично свободные, не обязанные помещику барщиной, но обложенные известными платежами, как эквивалентом за землю, которой они пользовались. В заключение прибавим, что все население Княжеской Сванетии, без различия свободных и несвободных, обязано было к личному участию во всех военных предприятиях

* Выкуп (*лат.*). (*Ред.*)

князей. Лошадь и оружие, а также нужная во время похода пища поставляемы были самими ратниками.

Крепостная зависимость продолжала держаться в Сванетии до 1869 года. Крестьянский вопрос казался местной администрации столь же трудно разрешимым, как и на северном склоне хребта, в среде горских обществ Кабарды. Кутаисский генерал-губернатор рассчитывал, по-видимому, на возможность восстания, так как в рапорте, представленном им барону Николаи, от 29-го ноября 1866 года, значится, что приступить к решению крестьянского вопроса в Сванетии нельзя раньше, как после сосредоточения войск в этой стране, которые побудили бы жителей к полному повиновению. Решительный шаг в пользу эмансипации сделан был самими князьями Дадешкелиани. Глава их рода, Тенгиз, по совету управляющего Мингрелией, г-на Властова, сам предложил правительству следующего рода сделку: он соглашался отпустить своих крестьян на волю и наделить их даже землей, в размере пяти кцев на каждый двор, но под условием, чтобы правительство уплатило ему за каждую душу по 25 рублей. Реформа должна была касаться одних только глехов, т.е. наделенных землею крестьян, а не маджалабов, т.е. купленных рабов, исполняющих дворовую службу. Таких, подлежащих освобождению, дворов оказалось во всей Княжеской Сванетии счетом 189, с населением в 842 человека. Дворовых же крестьян, или, точнее, рабов, считалось невозможным отпустить на волю на вышесказанных условиях потому, что вознаграждение в 25 рублей казалось недостаточным, ввиду покупки их владельцами нередко за 600 или 800 рублей, а также потому, что освобождаемые без земли маджалабы неминуемо попадали в положение лиц, не имеющих ни крова, ни занятий. Всех таких маджалабов, по вычислениям Тенгиза, было не более 150 человек на протяжении всей Княжеской Сванетии. Не отпуская их на волю, Тенгиз в то же время соглашался признать свободным все их потомство, народившееся со времени провозглашения эмансипации, а также не прочь был подчиниться и решительному запрещению покупать, перепродавать или дарить их в пределах самой Сванетии или вне ее.

Хотя Вольная Сванетия и не признавала над собою ничьей княжеской власти, но и в ней существовали своего рода зависимые отношения между крестьянами и некоторыми дворянскими или азнаурскими семьями*. Размер платимых здесь крестьянами повинностей был весьма ничтожен; свободные от барщины и других личных служб, они обязаны были производить только ежегодные взносы пшеницей и ячменем, ценность которых не поднималась выше 5 рублей и падала в некоторых местах до 20 копеек.

* Мы разумеем, в частности, Джапаридзе в Курдиани, Иосельяни и Девдарьяни.

Когда на место Святополка-Мирского кутаисским военным губернатором назначен был граф Левашов, крестьянский вопрос решен был в том смысле, что права дворян Вольной Сванетии совершенно не были признаны правительством; а из семьи Дадешкелиани одни получили простой, а другие двойной размер вознаграждения одинаково за крестьян и рабов. В донесении своему великому князю Михаилу Николаевичу, от 3-го августа 1869 года, грав Левашов пишет: «Крестьянский вопрос окончен мною в обеих Сванетиях. В имениях князей Дадешкелиани он решен по добровольному соглашению их с крестьянами, формально заключенному в их присутствии. Князья отдают крестьянам в наследственную собственность их усадьбы и 4 кцевы пахатной и сенокосной земли, по выбору самих крестьян. В вознаграждение за такую уступку они ожидают выкупа в 50 рублей за душу. В Вольной Сванетии, — продолжает граф, — после подробного разбора мною прав некоторых лиц, называющих себя азнаурами и заявляющих помещичьи права на крестьян, я удостоверился, что в тех незначительных приношениях, которые некоторые крестьяне действительно делают этим азнаурам, обыкновенно хлебом на 20 или на 30 копеек в год, а также в установившемся обычае угощать этих азнауров в случае посещения, нельзя признать крепостной зависимости, так как между крестьянами и помещиками никогда не существовало тех обязательственных отношений, которые вызываются барщиной или другими видами личных служб. Ввиду этого, я объявил обеим сторонам, что не допускаю в Вольной Сванетии никаких крепостных отношений, как противоречащих издревле присвоенному названию. Хотя подобное заявление и вызвало, — говорит далее граф, — понятное неудовольствие в азнаурах, но, в конце концов, они должны были подчиниться, ввиду тех показаний, какие на этот счет были тут же, в их присутствии, отобраны у крестьян». Так как у некоторых азнауров все же оказались дворовые слуги, или так называемые «шинакмы», то граф Левашов позволил им привести подобных лиц к приставу для составления слугам особого списка, обещав ходатайствовать о вознаграждении за понесенный азнаурами убыток. Ходатайство это, однако, не было принято.

Владения бечойских Дадешкелиани за несколько лет до эмансипации были конфискованы русским правительством, по причине перехода главы их в мусульманство; вследствие чего в этом обществе само правительство принуждено было вступить в сделку с крестьянами и наделило их тем же числом кцев, какое было предоставлено крестьянам в соседнем, эцерском обществе. Ввиду ходатайства графа Левашова, эцерские Дадешкелиани, как принимавшие ближайшее участие в самой эмансипации, получили двойной размер выкупа, и так как, в то же время, в силу особого соглашения, они за топливо и пользование пастбищем стали получать с каждого крестьянского двора по 5 рублей ежегодно, то их имущественное положение нисколько не пострадало от отпу-

щения крестьян на волю*. Что касается до азнаурских семей, то последствием эмансипации было совершенное их разорение; представителей их в настоящее время довольно трудно отличить от простонародья. Подобно последнему, они живут трудом своих рук и нередко уходят на заработки в Мингрелию, Имеретию и Осетию.

Ряд описанных нами событий не мог, конечно, пройти бесследно для самых основ народного быта. Крепостная зависимость, захваченное князьями право переселять крестьян по своему усмотрению и узурпированное ими право отчуждать своих мыбгери как с землею, так и без земли, наконец, обложение ими различных видов преступных действий особыми штрафами в свою пользу, — все это такие явления, которые рано или поздно должны были внести существенные перемены и в общий склад жизни, и в юридические обычаи подвластного народа. Прежде всего здесь, как и повсюду, крепостное право содействовало удержанию семейной нераздельности, так как последняя была лучшим средством избежать того рокового исхода, какой ожидал каждую фамилию с вымиранием того или другого из ее дворов, — мы разумеем переход земли в руки помещика. Неудивительно поэтому, если в Княжеской Сванетии особенно часто встречаются и по настоящее время большие крестьянские семьи и, в среднем выводе, здесь число душ на двор больше, нежели в обществах Вольной Сванетии. С другой стороны, право князей переносить крестьянские усадьбы из одного сопеля в другой вызвало в Княжеской Сванетии большую скученность населения в ближайшем соседстве к резиденциям Дадешкелиани в Эцерах и Бечо. Князья, очевидно, заинтересованы были в том, чтобы иметь под руками возможно большее число рабочих рук, что способствовало более удовлетворительной обработке крестьянами княжеских земель. Это скучивание населения в одних местах должно было, в свою очередь, содействовать ослаблению чисто родового характера древнейших поселений. Вместо того, чтобы быть, как прежде, местопребыванием одной или двух фамилий, сопели стали включать в себя целые их десятки, — обстоятельство, благодаря которому отношения соседства начали выступать на первый план и соседское право стало развиваться нередко в ущерб родовым интересам. Особенно наглядно последняя черта выступает в факте возникновения так называемого права соседского выкупа, которому, по крайней мере в Княжеской Сванетии, дается решительное предпочтение перед родовым. Только в том случае, если соседи не пожелают выкупить проданного участка, последний может быть приобретен двором однофамильцев продавца, — отнюдь не наоборот. Этим не исчерпывается еще то влияние, какое княжеская власть оказала на изменение народных юридических обычаев. Вмешательство ее в суд, в форме наложе-

* Все эти сведения почерпнуты из дел бывшего архива главного управления Кавказского наместничества: см. дело 1866 года, под № 41/39.

ния штрафов на различные виды преступлений, сделалось, как мы вскоре увидим, само источником частью отмены обычаев, — как, например, обычая убивать новорожденных девочек, — частью усиления ответственности за известные виды преступных действий.

Обычаи сванетов дают новое подтверждение тому взгляду, который видит зародыш судебного решения в приговорах посредников. При характеризующей их быт независимости отдельных родов и их разветвлений, не удивительно, если сванеты не выработали иного порядка разбирательства дел гражданских и уголовных, кроме того, какой известен у них под наименованием суда «морвар», т.е. суда медиаторов, назначаемых сторонами. Самостоятельные, не признающие над собою старшего, кровные союзы, в своих взаимных отношениях придерживаются тех самых начал, что и суверенные государства. Подобно тому, как международные столкновения разрешаются войнами и трактатами, так точно вражда двух или более дворов ведет к самосуду и прекращается не иначе, как мирным соглашением. Поводом к вражде признается безразлично всякое действие, причиняющее материальный вред, все равно, страдает ли от него целый двор, или только один из его членов. Родственная солидарность именно и сказывается в том, что личная обида признается общей целому двору, нередко даже всем однофамильцам. Последствием обиды является поэтому месть не со стороны одного потерпевшего, но и каждого, кто живет с ним в одном дворе, нередко всей его родни. Самоуправство дворов прекращается не раньше, как после возмещения материального вреда, нанесение которого послужило поводом к самоуправству. Размеры вреда и соответствующий ему имущественный эквивалент должны подвергнуться при этом строгому определению. Но кому поручить выполнение этой задачи, как не лицам, выбранным обеими сторонами, притом в равном числе, так как иначе принцип равноправия оказался бы нарушенным. Вот почему сванеты, до подчинения их русскому владычеству, имели обыкновение решать все свои споры, одинаково гражданские и уголовные, с помощью медиаторов. Каждая сторона назначала их отдельно от другой, в большем или меньшем числе, смотря по характеру дела: шесть или семь при убийстве, три или два в менее важных случаях. Посредники постановляли решение по большинству голосов; но так как каждый из них отстаивал интерес назначившей его стороны, то соглашения не легко было достигнуть. Назначение сторонами равного числа медиаторов само являлось препятствием к тому: как, спрашивается, было состоять большинству в том случае, когда каждая сторона продолжала настаивать на своем? Приходилось поэтому прибегать нередко к следующему приему. Посредники из собственной среды выбирали одного человека, за которым признавали уже не один, а два голоса. При разделении мнений пополам голос избранного оказывался решающим. Во всем этом мы имели возможность убедиться лично во время нашего пребывания в ушкульском обществе, и вот по какому поводу. За несколько месяцев до нашего приезда возгорелась вражда между

двумя дворами однофамильцев — Нижеродзе. Повод к ней был самый ничтожный: один из Нижеродзе задержал на своем поле чужих быков, которые оказались принадлежащими его однофамильцам. Спор о загнанной скотине принял, однако, вскоре характер открытого междоусобия, особенно с тех пор, как глава одного из спорящих дворов однажды найден был мертвым в поле и подозрение в его убийстве пало на члена враждовавшей с ним семьи. Хотя русское правительство и отказывает в решении уголовных дел по «адату», хотя такие дела судятся окружными судами на основании нашего уложения о наказаниях, но на этот раз администрация, в лице губернатора, сочла нужным, не дожидаясь решения дела судом, сделать попытку примирить противников, из опасения новых нарушений общественного спокойствия. В нашем присутствии, по предложению начальника края, стороны приступили к назначению медиаторов, каждая в числе 7 человек. Когда выборы были окончены, посредники, из опасения, что большинство может и не состояться, решили предоставить два голоса благочинному, входившему в состав их списка. Задача медиаторов — расследовать обстоятельно все дело и определить условия, на которых должно состояться примирение враждующих. Уголовное разбирательство идет своим порядком, и решение суда будет приведено в исполнение, независимо от тех мер, какие будут предложены посредниками.

Прежде чем приступить к исполнению своей судебной миссии, сванетские морвары обязаны принести присягу в том, что к подлежащему их рассмотрению делу они отнесутся как к своему собственному. Ближайший родственник потерпевшего обращается к посредникам со следующими словами: «Клянитесь рассмотреть дело по справедливости, не увлекаясь родством, не искажая смысла фактов, точь-в-точь как если бы оно было вашим собственным. В случае же нарушения вами этой клятвы, пусть род ваш будет несчастен до светопреставления и идет затем в ад»*. Судьи отвечают ему: «Мы принимаем клятву решить дело так, как если бы оно было нашим»**. За этим следует приглашение судьями сторон принести, в свою очередь, присягу об исполнении ими приговора. Эта присяга является его единственной санкцией; других средств сванетские обычаи не допускают. Судьи говорят сторонам: «Мы заставляем вас принять присягу в том, что наше решение будет исполнено вами; если вы не подчинитесь ему и не выполните его в точности, пусть падет на вас ответственность за нарушение присяги»***. В ответ на это стороны говорят: «Пусть падет на нас про-

---

* Буквально: — Джигиртсами амбжинере мугут кержлобш гемагуешь чучеминет гимуажи исхуатхум хагнет еджин мимот ангена гемагуешь хат чаукуше аминешь мермуст исгуамыкет алсхелигемума акуше Машедуха.

** Исгуа гарцам гуаран имуаже мишхуатхум хуагене эджин сачген.

*** Сгаяр джигиртсами най маянканоп амжиашхуар намеке мудгеминет алнышгуе нагырцан исгуе гарцам маг мот чеминет исгуе натсаушь мыкет дувалскели.

клятие за нарушение присяги, если мы в точности не исполним вашего решения»*. Приговор медиаторов считается окончательным. Об обжаловании или пересмотре его кем-либо не может быть и речи.

Во всем этом обычаи сванетов ничем не отличаются от обычаев других горских племен Кавказа: осетин, например, или чеченцев. Осетинский «тархони-лачта», чеченский — «келохой» — такие же выбранные сторонами судьи, как и сванетский морвар. Число их также зависит от характера дела; решение, ими поставляемое, столь же факультативно для сторон, которых связывает, по отношению к нему, одна приносимая ими присяга. Оригинальной стороною посреднического суда сванетов не является также его всесословность, так как она характеризует собою медиаторское разбирательство одинаково у кабардинцев и горских татар, у которых, как и у сванетов, третейское решение может быть поставлено не только в спорах простолюдина с простолюдином, но и в тех, в которых одной из сторон является князь или дворянин. Характерна разве только та черта, что чем выше общественное положение лица у сванетов, тем меньше число назначаемых им посредников; на двух медиаторов, выбираемых простолюдином, семья азнаура, или дворянина, назначала одного. Таковы, по крайней мере, были порядки, каких держались в Вольной Сванетии и, в частности, в местийском обществе, и в которых, как мы полагаем, следует видеть результат того приниженного положения, в какое поставили азнауров часто повторявшиеся против них восстания простого люда.

С установлением русского владычества, посреднический суд далеко не является упраздненным. Правда, сванетские дела переданы общим судебным учреждениям и, сверх того, для Сванетии некоторое время существовал особый даже мировой суд в Бечо, дела которого ныне переданы судье лечхумского уезда; но сами сванеты предпочитают ведаться между собою полюбовно третейским судом. Бывший мировой судья Сванетии, г. Пфафф, постоянно жаловался на то, что народ оставляет его без дел. В настоящее время, когда сванетам приходится по случаю каждого процесса идти в Цагери и делать Латпарский перевал, доступный только в течение двух—трех месяцев в году, желание их ведаться с русскими судами сделалось еще слабее. Одним из недавних их ходатайств перед начальником края было избавить их от частого призыва в суд, и всеобщую радость вызвало обещание, что впредь сванетские дела будут рассматриваться не иначе, как в июне или июле, когда переход через горы сравнительно легок.

Указанное неудобство далеко, впрочем, не главное. Важнейшее возражение против распространения на сванетов, как и на всех вообще горцев Кавказа, общих судебных учреждений состоит в со-

---

* Гемери лачумашь исгуе гарцамгуара рехучо. — Привожу эти тексты, как образцы сванетского говора.

шершенной неспособности коронных судей держаться при разбирательстве дел тех способов установления судебной достоверности, которые одни имеют обязательную силу в глазах сванетов. Современный процесс в цивилизованных государствах, если не говорить об уликах, знает только два вида доказательств: свидетельские показания и писанные документы. Ни до одного из них горцы не доросли. Судебные испытания, присяга, соприсяжничество родственников — вот чем руководствовались всецело их туземные судьи. Для судей не было тайной и то, какой вид присяги пользуется особенным уважением в той или другой семье, какие сакраментальные действия она считает наиболее связующими ее совесть. Всего этого, конечно, не может знать ни мировой суд, ни тем более суды окружные. Жалуясь на наглость, с которой горцы лают на суде ложные свидетельства, наши суды далеки от мысли, что класс лиц, из которого берутся свидетели, по самому характеру своему не заслуживает доверия; что некоторые народности Кавказа, например, осетины, считают свидетельствование на суде чем-то позорным и приравнивают его к шпионству; что правдивым показанием, клонящимся ко вреду обвиняемого, свидетель может восстановить против себя всю родню обвиняемого, и что поэтому истины всего труднее добиться от чужого, а надо искать ее у близких обвиняемого лица, связывая их совесть теми страшными, в их глазах, присягами, с ложным принесением которых связывается представление о гибели целого рода, не только в настоящей, но и будущей жизни, не только живущих поколений, но также грядущих и умерших. Но предполагая даже, что русский судья знает обо всем этом, возникает еще вопрос: в состоянии ли он серьезно войти в свою роль, — роль человека, руководимого в своих действиях правовыми представлениями чуждого ему народа? Не машина же он, в самом деле, и не может поэтому вполне отказаться от своей индивидуальности. Вопрос также — насколько помирится наше собственное юридическое сознание с ежечасным нарушением нашими же судами того, что мы считаем правом. В самом деле, как отнесемся мы к решению русского судьи, приговаривающего кого-либо к доплате калыма за купленную им жену или отнимающего у единственной дочери наследство ее отца, с тем, чтобы передать его в руки четвероюродных братьев? — с полным отрицанием, не правда ли? А между тем, оба такие решения могут стоять в полном соответствии с местными обычаями. По всем этим основаниям, мы далеко не относимся с таким отрицанием к прежним горским судам, с каким относится к ним большинство юристов на Кавказе. Несомненно, что власть председательствовавшего в них уездного начальника была чрезмерной, и что на деле он легко мог сделаться единственным судьей; но мысль — иметь на суде выбранных от народа посредников и предоставлять им решение дел по «адату» (обычаю) — должна быть признана плодотворною и заслуживает того, чтобы быть принятой в расчет при ближайших попытках пересмотра или исправления наших судебных уставов применительно к нуждам Кавказа.

Всякая серьезная попытка признания обязательности горского обычая немыслима, с нашей точки зрения, без оживления в том или другом виде посреднического суда. Одного формального разрешения мировым судьям решать дела по обычаю, разумеется, недостаточно; необходимо еще знать, в чем состоит этот обычай и какие процессуальные действия признаются им имеющими силу доказательств. Вот почему мы считаем делом не одной любознательности, не одного научного интереса обстоятельное знакомство с тем, в чем состояли процессуальные горские обычаи в первоначальной их чистоте, то есть, до момента сознательного или бессознательного действия на них русского закона; а также, к каким средствам обращались посредники для того, чтобы убедиться в совершении или несовершении ответчиком действия. — Изучая быт сванетов, мы сочли нужным поэтому обратиться к серьезному расспросу стариков всех тех обществ, которые нам пришлось посетить, насчет действовавших в их среде обычаев и процессуальных правил. Опасаясь быть непонятыми или неверно истолкованными, мы ставили вопросы в казуальной форме и нередко повторяли их по нескольку раз, варьируя одни только примеры. Полученные ответы и послужили единственным материалом для того очерка обычного права и процесса, который мы намерены представить читателям. Избираем следующий порядок изложения: процесс, уголовное право, право гражданское.

Вопрос о процессе, очевидно, сводится к вопросу о тех видах доказательств, какими руководствовались сванетские морвары. Виды эти были те самые, какие мы встречаем во всяком слаборазвитом еще праве. Говоря это, мы хотим сказать прежде всего то, что письменные документы совершенно не были известны, а свидетельские показания играли сравнительно второстепенную роль; главным же средством установления судебной достоверности была присяга и соприсяга. Убедиться в этом легко на примере следующих ответов на поставленные нами вопросы. Предположите, — говорил один из нас расспрашиваемым старикам, — что родственники мои, счетом двенадцать, в одно слово показывают, что я невинен в том убийстве, какое приписывает мне истец; последний же, в подтверждение своего обвинения, приводит трех свидетелей, говорящих, что они были очевидцами убийства, и что оно было сделано мною: какой приговор в этом случае постановили бы ваши морвары — оправдательный или обвинительный? На этот вопрос всюду следовал один и тот же ответ: «Оправдали бы, так как против присяги родственников бессильны показания посторонних лиц, каково бы ни было их число». А если так, то очевидно, что в ряду доказательств свидетельские показания стоят у сванетов далеко не на первом плане. Но этого мало. Сванеты строго различают еще, подкрепил ли свидетель свое показание присягой и какой именно. Без присяги показание его лишено всякого значения. Много значит также, где принесена присяга: данная в одном храме и на одном образе считается действительнее другой. Что же это значит в конце концов, как не то, что свидетельское

показание имеет силу настолько, насколько оно, в то же время, является присягой, — иначе говоря, что, само по себе, оно не имеет силы. Такой вывод находит себе решительное подтверждение и в языке сванетов, в котором есть особый термин для обозначения присяжника и нет термина для свидетеля, так что последнего зовут не иначе, как грузинским наименованием: «моцаме». Кто незнаком с особенностями древнейшего процесса и с причинами, их вызвавшими, тот в недоумении остановится перед фактом слабого развития у сванетов института свидетелей; но кому известны однохарактерные явления не только в процессе других горских народов Кавказа, например осетин, но и в старинном германском, в частности в бургундском праве, тот необходимо задумается о том, возможно ли, в самом деле, существование свидетельского показания, как самостоятельного вида доказательств, в праве народа, придерживающегося начала родового самосуда, неминуемо постигающего каждого, кто причинил роду материальный вред, хотя бы способом его причинения и было свидетельствование на суде. Не даром же у некоторых кавказских племен показания, неблагоприятные обвиняемому, делаются суду не иначе, как под условием сохранить в тайне имя делающего их лица; и далее, некоторые древние своды, в том числе индусские «учреждения Нарады», считают возможным назвать свидетелей «шпионами»; так опасно и, согласно ходячим представлениям, презренно делаемое ими дело.

Сванетские морвары, постановляя свои решения на основании присяги выбранной ими стороны, чаще всего, впрочем, стороны ответчика, никогда не довольствовались, однако, одной этой присягой, но требовали еще, чтобы показания присягающего были подтверждены, также под присягою, его родственниками, в большем или меньшем числе, смотря по важности дела. Эти соприсяжники, вполне отвечающие по своему характеру «conjuratores»* варварских «правд», очистникам и поручникам славянских источников, будучи родственниками и, во всяком случае, лицами, близкими ставившей их стороне, в то же время отнюдь не должны были принадлежать к числу живущих с нею в одном дворе. Название им — «мегнемари». В делах об убийстве обвиняемый обыкновенно ставил двенадцать человек, которые должны были, вместе с ним, принести очистительную присягу. При обвинении в увечье или воровстве число мегнемари было наполовину меньше; оно падало иногда до четырех человек и даже двух.

Присяга сторон и их мегнемари имела характер символического действия, соединенного с произнесением известных сакраментальных слов. Действие состояло в прикосновении рукою к образу или только в том, что присягающий держал свою руку над водою, которую был обмыт этот образ. Последнего порядка держались в кальском обществе. Так как икону св. Квирика и Эвлиты запре-

---

* Должностные лица города, принесшие клятву (*лат.*). (*Ред.*)

щено было выносить из посвященного им храма, «Шальяна», а присягавшие, из суеверия, не всегда решались входить в него, то приходилось довольствоваться при совершении обряда водой, в которую предварительно опущен был образ. В прежнее время, по словам полковника Бартоломея, присягавший, входя в церковь, бросал в образ пулю и говорил при этом: «Если я скажу неправду, да поразит меня эта пуля»; а папи, т.е. местный, не посвященный епископом священник, для усиления присяги, бросал пулю назад в присягавшего. В настоящее время считают возможным ограничиться произнесением сакраментальных слов вроде следующих: «Если я говорю неправду, то доколе не зарежу столько белых быков, сколько листьев на земле, да не будет мне спасения». В отношении силы присяги, сванеты различают присягу, приносимую над местной иконой, от той, какая приносится в Шальяне и некоторых других, особенно любимых народом, храмах. Самая страшная присяга — та, которая дается в бывшем монастыре Квирика и Эвлиты. Сванеты уверены, что показавшего неправду в этом храме непременно постигнет на расстоянии не более года тяжкая болезнь или смерть. Не столь страшны клятвы, произносимые в других храмах; из них страшнее других та, которая приносится в церкви Богородицы в Ушкуле; за ней следует присяга в церкви Архангела Михаила в Мести; присяга в церкви св. Георгия в том же обществе; присяга в церкви апостолов в Эцерах. Гораздо меньше значения придают сванеты присягам в других церквах. От судей зависело назначить присягу в той или другой церкви. В важнейших делах, каковы все дела об убийстве, обыкновенно требовалось принести присягу в Шальяне. Тот, кому положена была такая присяга, отправлялся, вместе со своими мегнемари, в кальское общество, которое, получив от него предварительно в свою пользу быка или другую скотину, разрешало идти к храму Квирика и принести там назначенную присягу. Ушкульцы, по-видимому, также требовали известных приношений себе от лиц, принимавших присягу в их церкви. В других обществах принесение присяги не сопровождалось, кажется, никакими поборами.

Присяга, — с характером описанного нами символического обряда, — единственный уцелевший между сванетами вид судебных испытаний, или ордалий. Раннее распространение среди сванетов христианства и вражда его к языческому поединку, а также испытаниям костром и водою — вероятная причина тому, что у сванетов не сохранилось даже памяти о них. Другое дело — испытание раскаленным железом, о котором говорит еще уложение грузинского царя Вахтанга, составленное между 1703 и 1709-м годом. Этот вид ордалий, известный у грузин под наименованием «шанти», хотя и не был применяем в самой Сванетии, но ее старики слышали от своих отцов, что многих преступников в старые годы посылали из Сванетии в Лечхумский уезд, где, не то в Цагерах, не то в Ахалчалахе, хранился, по показанию одних — в церкви, других — у кузнеца, третьих — у князя Фарнаоза Геловани, — четыреугольный кусок железа, длиною в четверть аршина,

легко обхватываемый рукой. Железо это раскаляли до огня и, положив под него бумагу, клали на руку испытуемого, который обязан был сделать с ним три шага вперед. Если после испытания рука оказывалась неповрежденной, подвергавшийся ему признавался был невинным, и наоборот. Представление о цели, с которой производимо было испытание, настолько спуталось в памяти сванетов, что в некоторых обществах нам приходилось слышать, что невинность испытуемого считалась установленной не в том случае, если на руке его не оказывалось ожогов, а в том, когда на бумажке, подложенной под железо, явственно можно было прочесть написанные на ней слова: «Сам Господи покажи, прав я или неправ». Вот в каком искаженном виде доходят до нас нередко факты сравнительно недавнего прошлого!

Переходим к уголовному праву сванетов.

Характерной чертой современного права у цивилизованных народов является, как известно, строго проводимая граница между гражданской ответственностью и уголовной вменяемостью. Злой умысел признается ныне необходимым элементом преступления; где его нет, там, может быть, речь лишь о вознаграждении вреда и убытков, другими словами, об ответственности гражданской. Вот почему непреднамеренное деяние, хотя бы последствием его была смерть, не считается за убийство, и, наоборот, неудачное покушение, раз оно совершено с годными средствами, подлежит уголовному возмездию. В младенческом состоянии права о всех этих различиях нет и помину. В каждом деянии преследуется причиненный им материальный вред, все равно, будет ли он совершен сознательно или бессознательно, совершен ответственным в своих действиях лицом, или животным и растением, одухотворяемым фантазией древнего человека. Отсюда возможность суда над волом, причинившим случайно кому-либо смерть, или над деревом, раздавившим под собою прохожего, — возможность, о которой одинаково говорят нам еврейское, индусское, греческое, англо-саксонское право. На дальнейшей стадии развития, человек, не переставая преследовать, по-прежнему, один материальный вред, причиненный ему чужими деяниями, не отличая поэтому случайного от преднамеренного, в то же время переносит ответственность с животного на его хозяина, и с своим требованием о возвращении убытков обращается непосредственно к последнему. В этом именно периоде развития мы застаем некоторые горские народности Кавказа, в том числе осетин, посреднические судьи которых еще недавно карали хозяина скотины за случайно причиненную ею смерть. Стоило камню, задетому ногою вола, или коровы, упасть на голову прохожего и убить его, и род последнего считал себя в праве требовать от хозяина животного уплаты ему виры под угрозою кровомщения. Те же последствия имели место, если ветхий дом обрушивался на чью-либо голову, причиняя уве-

чье или смерть; в этом случае ответственность падала на хозяина дома*.

Спрашивается теперь: стоят ли сванеты, в этом отношении, на той же ступени развития, что и осетины, или их праву не чуждо уже понятие о том, что для ответственности действия необходимо совершение его ответственным субъектом, что таким может считаться только человек, что поэтому всякий вред, причиненный не человеком, а, например, домашней скотиной, может вызвать разве вопрос о небрежности хозяина в уходе за нею и отнюдь не сделаться поводом к кровомщению или к требованию цора. На этот вопрос нам пришлось слышать резко противоположные ответы. В Княжеской Сванетии старики не только отрицали существование такой ответственности хозяина за животное, но даже высказывали сомнение в том, чтобы она вообще где-либо была возможна. В Вольной Сванетии, наоборот, приходилось слышать, что, в старые годы, убийства, причиненные животными, давали повод к взысканию с хозяина платы за кровь или цора, если не в полном, то в половинном размере. Решительное подтверждение последнему мы находим как в удержавшемся доселе у сванетов обычае отбирать в пользу семьи потерпевшего оружие, причинившее смерть, хотя бы собственник его и не был убийца, а также и в рассказанном выше предании об убийстве Путы Дадешкелиани восставшими против него ушкульцами. Что делают последние для отвращения от себя кровомщения? Они стреляют в Путу из церковного огня и церковным ружьем, чтобы тем самым направить месть его рода на церковь и устраниться лично от ответственности. Очевидно, что побуждающим мотивом к тому является представление, что хозяин вещи необходимо несет кару за причиненное ею действие; в данном случае, таким хозяином является церковь, с которой, разумеется, не легко взыскать цор, почему и удобно направить на нее месть враждебного ушкульцам рода. Причина, по которой в Княжеской Сванетии не сохранилось даже памяти о возможности кровного возмездия хозяину вещи, от которой последовала смерть или увечье, лежит, как нам кажется, в том косвенном влиянии,

---

* См.: Пфаффа. «Народное Право осетин», в Сборнике сведений о Кавказе, т. II, с. 271, который приводит еще следующие примеры. «Если осетин, по неосторожности или с намерением, застреливал другого или же убивал его иным образом, то кровомщение постигало не только убийцу, но и владельца того оружия, которым причинена была смерть. Если дитя, по неосторожности или по какой-либо другой причине, убивало кого-либо, то за него отвечал отец; равно как и господин за своего раба. Если на скачке дитя попадет под ездока и его раздавят, то кровомщение постигает того, чья лощадь убила дитя». Как архаичны, по своему характеру, только что отмеченные нами правовые нормы, можно судить из того, что с ними мы встречаемся, например, в германском праве не позже эпохи редактирования салической правды. 36-й титул последней постановляет на этот счет следующее: «Если человек будет убит домашним животным и это будет доказано свидетелями, хозяин скотины платит половину «композиции» (частного выкупа) в счет другой половины, уступая в то же время причинившее вред животное».

какое оказывали на изменение народных обычаев взимавшиеся князьями штрафы с преступников. Если князьям Далешкелиани удалось, по крайней мере, в Эцерах, пресечь практику женского детоубийства, то мы не видим причин, почему бы они не могли внести и в другие стороны права более рациональные воззрения, проникавшие к ним из Мингрелии и Грузии с высшим сословием, с которым они так часто вступали в брачные и родственные связи.

Отмеченное нами различие между уголовными обычаями Княжеской и Вольной Сванетии снова выступает по вопросу о наказуемости или ненаказуемости действий, не вызванных злою волею совершавшего их лица. В Вольной Сванетии случайное убийство или ранение, как общее правило, ведет за собою уплату всего или части цора; в Княжеской — оно оставляется без последствий. Что касается до покушения, то, как общее правило, оно относится во всей Сванетии к числу безразличных действий. Самое большее, если виновного в нем заставлять сделать угощение всей семье того лица, против которого оно было направлено. Любопытно при этом, однако, следующее исключение из общего правила о ненаказуемости покушений: в Ушкуле делается изъятие для случая, когда выстрел, сделанный в кого-либо из ружья, сопровождался осечкой. В этом случае с виновного, как ни покажется это странным, взимается плата за кровь. Другое дело, если выстрел воспоследовал, и тот, в кого он был сделан, не потерпел ранения. В этом случае о цоре нет и помину. Как примирить такое явное, по-видимому, противоречие? Очень просто: тем, что ушкульцы не допускают возможности другого промаха, кроме добровольного. Непопавший в противника не имел, в их глазах, намерения убить его, а только испугать; напротив того, при осечке возможно предположение, что убийство и ранение только благодаря ей не имели места.

Преследование в преступлении одного материального вреда является причиной, что сванетам неизвестно то, что на языке современных криминалистов слывет под наименованием увеличивающих или уменьшающих вину обстоятельств. Будет ли убийство сделано из засады или причинено кем-либо в драке, виновный и его родственники одинаково присуждаются к уплате цора в полном его размере. Из этого правила сванеты знают только одно исключение, неизвестное соседним с ними осетинам: мы разумеем убийство мужем любовника жены, застигнутого им in flagrante*: тогда как осетины и в этом случае требуют от виновника убийства полной платы за кровь, сванеты допускают некоторую скидку. Исключение, о котором идет речь, легко, впрочем, может оказаться не более, как кажущимся. Дело в том, что их обычаи очень строго карают случаи вхождения кого-либо в чужое жилище. Кто врывается в чужой дом, платит двенадцать ацышей, т.е., семьдесят два рубля. Виновный в прелюбодеянии, очевидно, прежде всего виновен в том, что проник, без ведома хозяина, в его дом. Вычитая за то падающую на него пеню из

* На месте преступления (*лат.*). (*Ред.*)

общей суммы цора, мы приблизительно получаем ту часть последнего, которую несет убийца женина любовника*. Нельзя также считать доказательством признания сванетами увеличивающих вину обстоятельств в том факте, что с человека, вломившегося в чужой дом и учинившего в нем убийство, сверх цора, взыскивается еще двенадцать ацышей, так как в этом случае мы имеем дело просто-напросто с двумя преступлениями, совершенными одним и тем же лицом, который поэтому и призывается отвечать за оба вместе. Преследование в преступлении одного материального вреда делает возможным ограничение сферы наказуемых действий одними теми, в которых ущерб, на самом деле, был нанесен. Вот почему, согласно сванетским обычаям, не подлежат наказанию всякого рода словесные обиды, как несопровождающиеся материальным вредом, а также все случаи воровства, оканчивающиеся нахождением украденной вещи. Вернув похищенное, вор освобождается от всякой дальнейшей ответственности.

Если, с одной стороны, сфера преступных деяний терпит у сванетов сказанное ограничение, то, с другой, суеверия народа заставляют расширять ее на целый ряд деяний, с нашей точки зрения безразличных. Сванеты верят в действие чар и всякого рода заклинаний. Из давней еще практики их посреднических судов можно привести случай присуждения одной женщины чубежевского общества к уплате ста двадцати рублей за изготовление зелья, якобы лишившего истца возможности дальнейшего coïtus**. При отсутствии начал публичного возмездия, при воззрении на преступление, как на материальный вред, наносимый одним двором другому и возмещаемый платежами, неудивительно, если только те преступные действия вызывают собою кровомщение, которые совершаются членами одного двора по отношению к членам другого; неудивительно, если отцеубийство, матереубийство, как убийство отцом сына или дочери, не влекут за собою уплаты цора, и если, с другой стороны, убийство дяди по матери, живущего своим двором, необходимо вызывает такой платеж. Если не иметь в виду этого чисто материального воззрения на преступление, если упустить из виду, что при наказании имеется в виду не восстановление нарушенного права, еще менее устрашение или исправление преступника, а просто-напросто возмещение материального вреда, причиненного одним двором другому, то трудно понять, каким образом отцеубийца продолжает мирно жить в среде своих родственников, отличаясь от других носимой им через плечо повязкой из круглых камней, так называемой «кка», тогда как всякого, кто убьет чужеродца или однофамильца, живущего отдельным двором, неизбежно постигает месть, от которой он не иначе может избавиться, как уплативши цор, т.е. полную плату за кровь.

---

* В местийском обществе, в котором собраны были нами эти сведения, обыкновенный размер цора — 250 руб.

** Половой акт (*лат.*). (*Ред.*)

Переходя к системе наказаний у сванетов, поражаешься их крайней скудостью. Единственный вид их составляют платежи натурой (землей, скотом, оружием), редко когда деньгами, которыми всего чаще вычисляется только размер наказания. О лишении жизни или свободы, а также о разных видах членовредительства сванеты не имеют понятия. Встречались, правда, случаи побиения камнями кровосмесителей, и притом всенародно; приводят также примеры разрушения жилища и избиения всей семьи лица, виновного в святотатстве или краже в храме; но в этих единичных случаях столь же трудно видеть применение народного обычая, как и в фактах убийства родственниками лиц, совращенных в магометанство. Приписывая наступление известных народных бедствий, положим, неурожаев, присутствию в народной среде лиц, оскорбляющих Бога своими действиями, народ в гневе обращался к их истреблению, прибегая, при этом, к освященному еще Библией способу; точно так же поступали и родственники, спешившие изъять из своей среды человека, присутствие которого может привлечь на них гнев божий.

Размер платежей, производимых преступником или его роднею, живущею с ним на одном дворе, зависит от важности причиненного преступлением вреда. Наибольшим вредом признается, разумеется, лишение жизни. Плата за кровь, или, что то же, цор, в Княжеской Сванетии достигала следующих размеров: убийца и его двор обязаны были отдать двору убитого тринадцать «цхвадышей» земли, или, что то же, шесть с половиной грузинских кцев, — иначе говоря, без малого две десятины*; кроме того, двор убийцы обязан был одарить скотом всех лиц, живших совместно с убитым, давая одному вола, другому — лошадь, третьему — барана, смотря по близости родства с покойником. Таков был обычный размер цора в эцерском обществе. В Бечо величина его была в два раза меньше. Здесь земля, уступаемая двором убийцы, считалась не цхвадышами, а «налжомами», числом двенадцать, что, считая каждый налжом вполовину меньше против цхвадыша, дает три кцевы земли, или немного менее одной десятины. В Вольной Сванетии плата за кровь была приблизительно та же, как в Бечо. В местийском обществе нам говорили об уступке роду убитого не менее двенадцати налжомов, не считая скота, раздариваемого родственникам. В Ипари нам оценивали имущественный ущерб, причиняемый двору уплатой цора, приблизительно в тысячу рублей, чего, разумеется, достигает он и в упомянутых выше обществах, так как ценность десятины вместе с ценностью раздариваемого скота близко подходит в них к этой цифре. Как уже было сказано, в состав имущества, уступаемого роду, входило и то оружие, которым совершено было убийство. Сверх того, с уплатой цора соединялось обязательное угощение всех родственников убитого, на что,

* В грузинской кцеве два цхвадыша, а в каждом цхвадыше — триста шестьдесят четыре квадратных сажени.

в свою очередь, затрачивалось не мало. Если двор, на который надала уплата цора, не был в состоянии исполнить всеъ требований, предъявленных ему в этом отношении медиаторами, двор убитого считал себя вправе продолжать кровомщение. Нередко, впрочем, однофамильцы из других дворов приходили на помощь тем, кто обязан был уплатить цор. Еще чаще оказавшаяся несостоятельной семья отдавала себя в холопи той, которая имела право на платеж. В числе тех «маджолобов» — или домашних слуг, которые в 1872 году были отпущены на волю русским правительством без всякого вознаграждения их собственников, некоторое число было потомками таких, добровольно закабаливших себя семей.

Размер цора служит масштабом, по которому вычисляется величина платежей, производимых в случаях увечий, ранений, а также случаев нарушения женщиной ее супружеской верности. Самым тяжким видом увечий считалась кастрация, за которую в одних обществах взимали полный размер цора, а в других — не менее половины его. За отрезание уха, носа и выкол глаза взыскивалась треть цора; приблизительно то же или несколько менее — за отсечение руки или ноги. Что касается до ранений, то тяжким признавалось ранение, причиненное выстрелом из ружья; легким — удар кинжалом или шашкой. В первом случае обычным размером вознаграждения была половина цора, во втором — четверть его. И в том, и в другом одинаково издержки лечения и содержания во время болезни падали на двор виновного. Взыскания за побои были сравнительно незначительны: один, много — два ацыша, т.е. шесть или двенадцать рублей.

Из преступлений, направленных против нравственности, наказуемыми считались: прелюбодеяние с замужней женщиной, изнасилование и растление. Муж вправе был прогнать неверную супругу, получая назад из ее двора уплаченный им «начулаш» и, сверх того, половину платы за кровь, за нанесенное ему бесчестие. Сванеты не делают различия между изнасилованием и растлением. И то, и другое одинаково ведут за собою платеж скотом, ценностью в пятьдесят ацышей, т.е. от одной трети до половины платы за кровь. Кровосмешение принадлежит к числу самых редких явлений в быте сванетов; о противоестественных же пороках у них нет и помину, так что на все наши расспросы на этот счет они отвечали повсюду решительным отрицанием.

Из других видов действий, направленных к чьему-либо вреду, сванеты различают насильственное вторжение в чужое жилище, караемое штрафом в 12 ацышей, и лишение свободы, за что полагается платеж величиною от 10 до 20 ацышей.

Что касается до преступлений против собственности, то здесь мы должны повторить уже сказанное. Обыкновенное воровство не имело у сванетов иного последствия, кроме возвращения украденного или его стоимости. В одной лишь Княжеской Сванетии правители видели в факте воровства основание к наложению штрафов в свою пользу. Только в том случае, если воровство связано с насильственным вторжением в чужой дом, оно сопровождается еще

платежом в 12 ацышей. Тех различий между простым воровством и грабежом, какие проводятся нашими законодательствами, сванеты не знают; но зато в сфере преступлений против собственности они выделяют, как особенно тяжкое преступление, кражу спускающейся к очагу цепи и того железного четырехножника, на котором печется хлеб. В этой краже сванеты, подобно осетинам, преследуют, сверх воровства, еще оскорбление чести семьи. Размер взыскания доходит в этом случае до двадцати ацышей.

Заканчивая очерк уголовных обычаев сванетов, мы считаем нужным заметить, что непризнание их русскими судами, постановляющими наказания по XV тому, является причиной, что представление об этих обычаях все более и более изглаживается из народной памяти, так что расспрашиваемые нами лица нередко затруднялись в своих ответах, и сколько-нибудь точные показания можно было получить от одних стариков. Русское уголовное правосудие, по-видимому, не вполне удовлетворяет сванетов. И это неудивительно. На той стадии развития, какой достигло юридическое сознание сванетов, немудрено, если ссылка в каторжные работы, хотя бы и без срока, остается недостаточным возмездием тому, кто, по обычаю, должен подвергнуться смерти или выкупить свою жизнь у родственников убитого. Последние все еще считают для себя позором оставление убийства без кровомщения, и нет ничего удивительного, если администрация, в интересах общего мира и спокойствия, обращается нередко, не ожидая приговора, к назначению посредников, которые и определяют размер того частного вознаграждения, какой потерпевшая сторона должна получить от двора убийцы. Этим путем, заслуживающим, как мы полагаем, полного одобрения, междоусобия потухают нередко в самом их зародыше и делается немыслимым повторение того, хорошо известного на Кавказе, случая, когда сын убитого последовал за убийцей на каторгу с тем, чтобы заколоть его кинжалом и тем исполнить долг кровомщения.

Обращаемся теперь к рассмотрению гражданского права сванетов, и прежде всего той части его, которая имеет отношение к браку и порожаемому им семейному союзу.

Брачное право сванетов составляет несомненно ту сторону их быта, которая лучше других известна из описаний путешественников. Но не все, сказанное ими на этот счет, заслуживает одинакового доверия. Так, например, сообщение г. Стоянова о том, что «сванеты-христиане имели по две и по три жены и что старшей из них считалась та, которая больше нравилась мужу», не находит себе подтверждения в тех показаниях, какие сделаны были нам стариками, и мы не иначе можем объяснить себе происхождение вышеприведенного места, как полным смешением законной жены, всегда единой в семье сванета, и «лелят», которых он держит нередко по нескольку. Юридическое положение жены и любовницы совершенно различно. Конкубина, подобно осетинской номулус, не считаетя хозяйкой в доме и ежечасно может быть прогнана из него со смертью сожительствовавшего с нею лица: ни сама она, ни ее дети ничего не наследуют. Положение ее, таким образом, вполь-

не может быть названо бесправным. Justae nuptiae* также необходимы в Сванетии для того, чобы женщина считалась законной женою, как в древнем Риме. Будет невеста похищена женихом у родителей или приобретена у них покупкой, она становится женой не раньше, как после венчания.

Венчанию предшествует обручение, совершающееся обыкновенно еще тогда, когда жених и невеста находятся в младенческом возрасте. Обручение представляет собою бесформенную сделку, в силу которой одна семья принимает обязательство женить сына на новорожденной или имеющей родиться дочери другой семьи. Обязательство это скрепляется обыкновенно уплатой чего-то подобного задатку, называющемуся «накданури». Дают одного или двух баранов, ценою не свыше десяти рублей; в том случае, однако, если дело идет о заключении женихом вторичного брака, родители невесты берут задаток в два или три раза больший обыкновенного. Невыполнение заключенного условия считается явным оскорблением целого рода и дает право на месть. Последней, впрочем, избегали при содействии медиаторов, определявших размер вознаграждения, какой должна была уплатить неустоявшая в договоре семья. Венчанию предшествует также уплата женихом или его семьею всего или части «начулаша» (плата за невесту). В отличие от народов северного Кавказа, в том числе кабардинцев, которые обыкновенно складываются между собою, с целью помочь жениху в платеже «калыма», сванеты требуют, чтобы последний всецело был внесен самим женихом или его родителями. Низкий сравнительно размер начулаша (двести рублей для простонародья, триста — для азнауров), делает возможным обойтись при его уплате без содействия родственников и односельцев. Начулаш редко когда вносится деньгами, всего чаще — скотом. Величина его часто зависит от того, принадлежит ли невеста к одному селению с женихом, или нет; в первом случае он обыкновенно на половину меньше. Сванеты, в отличие от других горцев, редко когда прибегают к символизированному похищению невесты, ради неплатежа начулаша; и это, по всей вероятности, потому, что увод девушки, согласно обычаю, налагает на виновного обязанность вознаградить родителей за ее бесчестие уплатой половины цора, причем платеж этот не устраняет для жениха необходимости внести полностью и всего начулаша. Таким образом, похитителю невеста обходится значительно дороже. К уводу невесты сванеты прибегают лишь когда не имеют возможности заключить брака иным путем, ввиду решительного отпора со стороны родителей невесты. Последняя обыкновенно заранее знает об уводе и дает на него свое согласие. Случаев, когда бы у похитителя отобрана была уведенная им девушка, сванеты не помнят. Похищенная, как общее правило, становится женою похитителя.

---

* Вступление в законный брак (*лат.*). (*Ред.*)

Если в наше время умычка невест далеко не является в Сванетии чем-то обычным, то не так было десятки лет назад. Правда, в Княжеской Сванетии и до русского владычества семье Дадешкелиани удалось сократить значительно число похищений, благодаря установленному ею порядку штрафования виновных в собственную пользу*. Зато в Вольной Сванетии, при неограниченном господстве самосуда, обычай умыкать невест не из одних лишь соседних сопелей, но также из Лечхума, Рачи и Осетии, являлся весьма распространенным. Ближайшей причиной тому была долго державшаяся в Сванетии практика убивать новорожденных девочек, оставляя в живых мальчиков. Сами сванеты довольно ясно сознают ту тесную связь, в которой оба обычая — похищения невест и женского детоубийства — стоят между собою. «В кальском обществе, — говорит полковник Бартоломей, посетивший Сванетию летом 1854 года, — жители показывали мне девочек, хвастаясь, что оставили их живыми по совету пристава Микеладзе. Не будет надобности, — присовокупляли они, — нашим сыновьям покупать или красть себе жен за горами»**.

Большая распространенность женского детоубийства у разноплеменнейших народов земного шара дает повод искать объяснения ему в каких-либо общих причинах. Английские этнографы, с Мак-Ленаном во главе, обыкновенно выставляют такими причинами, во-первых, опасность, которой грозит женщина родившему ее семейству, как постоянное яблоко раздора с соседями, и, во-вторых, негодность ее служить ближайшей задаче древнейших сообществ, а именно — внешней обороне.

Если и признать даже вполне основательными оба выставленные мотива, все же мы не вправе упустить из виду и противоположных им соображений, нередко побуждающих сообщество дорожить присутствием женщин в его среде. Так, мы не должны забывать, что женщина, особенно на низших ступенях развития, является, по преимуществу, рабочей силою, гораздо более мужчины, всецело поглощенного целями обороны; далее, что продажа девушки в чужой двор доставляет нередко вскормившей ее семье доход, не только окупающий, но и в несколько раз превосходящий сделанные на нее затраты; что, наконец, она — живая связь между семьями; что иметь много дочерей — лучшее средство породниться со многими дворами и приобрести в них поддержку и защиту против общих врагов. Вот почему убийство родителями младенцев женского пола далеко не является столь всеобщим, каким признавал его, например, Мак-Ленан; вот почему оно встречается бок о бок с убийством мальчиков не как нечто прочно установленное

* Бакрадзе, в своем описании Сванетии, составленном в 1861 году, прямо утверждает, что обычай похищать девушек вывелся в Княжеской Сванетии, благодаря стараниям Дадешкелиани (Зап. Кавк. Геогр. Общ., 1861, кн. VI, с. 42).

** Зап. Кавк. Геогр. Общ., 1855, кн. III, с. 160.

обычаем, а как результат временного недостатка средств к поддержанию жизни подрастающих поколений. Такой именно характер носит оно в среде некоторых горских племен Кавказа и, в частности, у южных осетин или туальцев, у которых, по показаниям их духовников, в голодные годы и теперь еще можно встретить случаи, когда родители оставляют без пищи новорожденных, одинаково мальчиков и девочек, чаще, однако, последних.

Далее, данные сванетского быта убеждают нас в том, что наряду с общими причинами убийства девочек, указанными Мак-Леннаном, могут быть приведены и более частные.

При расспросе стариков, мы остановились на детоубийстве с особенным вниманием и пытались добиться от них самих объяснения ближайших причин этого явления. В числе мотивов, приводимых стариками, были и такие, каких не имеют в виду этнографы. В Княжеской Сванетии и, в частности в бечойском обществе, право князей продавать крестьянских дочерей в рабство признаваемо было стариками ближайшей причиной, по которой родители предпочитали в старые годы убивать своих новорожденных. К чему же было вскармливать и воспитывать девочек, говорили они нам, когда князь вправе был ежечасно отнять их у родных, когда ожидавшая девушку судьба — было состояние бесправной рабыни («анаутки») нередко у неверных, по ту сторону гор, у татар или кабардинцев? Вот объяснение, над которым пока не задумывался ни один этнограф, и которое, как нам кажется, приложимо к быту не одних сванетов. Продажа взрослых девушек их владельцами — вероятный источник средневекового droit de mariage* или принудительной отдачи в супружество феодальным сеньором, — явление, настолько распространенное при господстве рабства и крепостничества, что совершенно упускать его из виду при объяснении таких обычаев, как женское детоубийство, является далеко немаловажным упущением. Я не был бы поражен тем, если бы, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что у многих народов древности и средних веков непосредственным источником детоубийства было названное право помещиков продавать крестьянских дочерей на чужбину, разлучая их с семьями и побуждая, тем самым, родителей не дорожить своим женским потомством. Тогда как население Княжеской Сванетии, дававшее нам показания, обыкновенно сваливало на князей ответственность за господство нехорошего уже, в их глазах, обычая, в Вольной — в оправдание себя приводили затруднительность в доставлении пищи возрастающему населению и, кроме того, нежелание уменьшать достояние семьи дачей приданого, уносимого дочерями во двор их мужей. Поверхностного даже знакомства с физическими и климатическими условиями страны вполне достаточно для убеждения в том, что ограниченность средств к пропита-

* Брачное право (*франц.*). (*Ред.*)

нию — ближайшая причина, по которой сванеты считают нужным принимать меры к ограничению роста населения. Этими условиями объясняется, почему сванеты предотвращают самое появление на свет незаконнорожденных с помощью абортивных средств. В них же лежит ключ к пониманию и тех оснований, по которым, не имея возможности доставить содержание подрастающему поколению мужчин и женщин, они делали выбор между полами, убивая девочек. Предпочтение, оказываемое в этом случае мальчикам, легко объясняется, если вспомнить, что, при господстве родовых отношений, продолжателем породы считается сын, а не дочь, что первенствующая цель всякого сообщества — оборона его от соседей — всецело осуществляется одними мужчинами. Прибавим к этим мотивам, более или менее общего характера, еще тот специальный, что женщина в Сванетии, вместо того, чтобы выходом своих замуж принести доход семье, скорее причиняет ей убытки. Это зависит от незначительности платимого за нее начулаша, который, как мы видели, не превосходит собою одной, много двух сотен рублей, а также от того, что родители наделяют своих дочерей приданым, ценность которого превосходит ценность полученной за них платы. Нам неизвестен источник, из которого г. Стоянов почерпнул свое категорическое утверждение, что в Сванетии «приданого нет»*. Последнее уплачивается родителями непременно, но особого термина для его обозначения не существует на сванетском языке, и оно известно в народе под грузинским наименованием. Обстоятельство это только свидетельствует о сравнительно позднем появлении у сванетов приданого, что, в свою очередь, подтверждается еще тем, что рядом с ним продолжает держаться и начулаш, или плата за невесту. В состав приданого входят те самые предметы, которые русские крестьяне обыкновенно дают дочерям при отдаче их в замужество: одежда, украшения, домашняя утварь. Одежда заготовляется родителями не только для невесты, но и для будущего ее супруга. Из украшений всякая, сколько-нибудь зажиточная, семья непременно наделит свою дочь серебряным нагрудником и серьгами. Медные чаны, служащие для приготовления пищи и представляющие в Сванетии один из главнейших видов ценностей, также весьма часто попадают в числе предметов, приносимых молодою женою в двор ее мужа. Далее, в приданое нередко идет скот: бараны, лошадь, коровы. Земля, как и у русских крестьян, не дается за невестой; она — собственность двора и не должна поэтому выходить из его рук. Старики определяли нам ценность приданого приблизительно в 100, 200 рублей. Дворянские, или азнаурские семьи увеличивали размер его в два раза, одаряя дочь вещами и скотом на сумму от 200 до 400 рублей. Вместе с приданым жена привозила с собою в дом мужа еще уго-

* Зап., кн. X, вып. 2, 1876, с. 434.

щение для его родни: столько хлебов, сколько может быть доставлено на двух быках, и столько же водки. Это еще более увеличивало размер затрат, делаемых семью невесты, и укореняло в среде сванетов взгляд, что дочь скорее уносит, нежели приносит собою достаток тому двору, в котором она родилась; а такая уверенность должна была только укреплять их в раз сделанном ими выборе между полами и, следовательно, косвенно поддерживать практику детоубийства девочек. С течением времени в народе составилось даже суеверное представление, что за всякую убитую родителями девочку небо посылает мальчика, — представление, еще живо державшееся во время посещения страны г. Бакрадзе. «Сванеты, — говорит грузинский путешественник, — убеждены в том, что убийство девочки вознаграждается рождением сына»*. О самом способе умерщвления сванетами новорожденных имеется не вполне точное представление. Уже Бартоломей указывает на то, что младенцам вовсе не засыпают рта горячей золой, а морят их голодом, не допуская к груди. Это тот самый способ, который был в наибольшем распространении и в древности, в частности в Риме, где от выбора мужа зависело допустить или не допустить новорожденного к груди его матери. Г. Стоянов перечисляет, впрочем, еще и другие способы умерщвления: младенцу кладут камень на живот, или душат за горло, или насыпают в рот поташу**. О последнем доводилось слышать и нам, впрочем, в одной лишь Вольной Сванетии и, притом, как о способе, практиковавшемся сравнительно редко.

После этого неизбежного уклонения в сторону возвращаемся к дальнейшей передаче характерных особенностей брачного права сванетов. Из того обстоятельства, что браки заключаются у сванетов покупкою невесты, а иногда, хотя и редко, похищением ее, еще не следует, что брак считается правильно заключенным помимо совершения обряда венчания. Мы сказали уже, что последний необходим для понятия «justae nuptiae», что венчанная женщина одна признается женою и пользуется юридическими правами жены. Обряд венчания совершался поэтому в Сванетии задолго до того времени, когда обществу распространения православия на Кавказе удалось завести в сопелях священников, рукоположенных местным епископом. Вербовавшиеся из народа туземные священники, «папи», в течение столетий венчали по грузинскому православному обряду, читая наизусть непонятные им самим молитвы. Жених и невеста стояли в церкви один возле другого, имея на голове ситцевые шапочки — слабое подобие венцов; полы платьев их были пришиты одна к другой, что символически выражало крепость тех уз, которые должны были связывать их в будущем. Три раза папи переносил венец с головы жениха на го-

* Записки Кавк. Отд. Географ. Общ., кн. VI. 1861, с. 42.
** [Там же.] С. 435.

лову невесты. Перед завершением обряда брачующиеся должны были поцеловаться.

За венчанием следует празднование свадьбы в доме жениха. Молодая является в него, закрыв лицо покрывалом. При переходе через порог покрывало должно быть поднято. Ближайшие родственники мужа ждут молодую за дверями, держа в руках чашу с пшеничной мукой — символ изобилия и материального довольства. Более отдаленные родственники обнажают свои кинжалы над ее головой, думая отвратить тем действие нечистой силы, невидимых злых духов, которые вместе с ней желали бы проникнуть во двор. Принявши чашу в свои руки, невеста медленно обходит с ней три раза стены жилья, после чего ее подводят к сосуду с медом, в который она обмакивает палец, поднося его затем к своим губам, — знак счастья и радости, которые ждут ее в новой семье. Во все это время вокруг молодой не смолкают звуки песни, известной под названием «корцилоба»; отдельные слова ее более непонятны сванетам, но они продолжают думать, что в них заключается пожелание счастья и благоденствия*. Свадьба, как и всякое радостное событие в жизни горца, не обходится без стрельбы из ружей и пистолетов; время от времени за стенами сакли раздаются звуки выстрелов, делаемых роднею новобрачной. Торжество заканчивается пиром, который нередко продолжается и на следующий день, пока свита невесты не уничтожит вместе с родней жениха всего заготовленного угощения. Молодая, обратно тому, что доселе практикуется по ту сторону гор у татар и у горцев, т.е. омусульманившихся осетин, остается в семье мужа; родственники же ее возвращаются к себе на второй или третий день после свадьбы. В утро, следующее за первой брачной ночью, муж не делает жене никаких подарков. Так называемый утренний дар или «morgengabe», с существованием которого мы знакомы по преимуществу из германских народных «правд», но который попадается в обычном праве и у других народов, в том числе у кумыков, неизвестен сванетам; вернее сказать, они откладывают производство его до времени, когда жена подарит мужа рождением сына. После первого ребенка, говорит г. Стоянов, муж дает жене покрывало и повязку**. Первая брачная ночь вообще не имеет в быту сванетов того значения, какое связывает с нею обычное право большинства арийских народов. Известно, что в Малороссии, например, начало брачному сожительству кладется еще в то время, когда гости продолжают пировать за столом, что последние как бы считают себя вправе быть оповещенными об этом, и это обстоятельство дает им возможность приступить к

* Слова этой песни записаны нами; вот они: «Беды арт окумар джа, я и га, кварци де дупалс, я и га, ярды огморжас».

** [Записки Кавк. Отд. Географ. Общ. Кн. VI] С. 437.

публичному опозориванию новобрачной каждый раз, когда возникнет подозрение в ее целомудрии. Ничего подобного сванеты не знают. Никакого общественного контроля молодая чета не признает за собой; новобрачная ответственна только перед мужем, который в свою очередь, тщательно скрывает от всех подчас постигающее его несчастье, считая оглашение такого факта позором для своей чести.

Приступая к характеристике взаимных отношений супругов, мы должны прежде всего сказать несколько слов о том, каково вообще народное воззрение на женщину, так как первое, очевидно, значительно обусловливается последним. Уже из некоторых черт описанного нами свадебного ритуала наглядно выступает взгляд на женщину, как на существо нечистое: с женою входят в дом мужа злые духи, против которых его родные и обнажают кинжалы, держа их над самой головой невесты*. То же воззрение еще резче проглядывает в решительном запрещении женщинам входить в церковь, за исключением одного только дня в их жизни — дня венчания. Такое же запрещение существует и у пшавов, т.е. в среде несомненных грузин, одичавших, правда, в своих горах, но не утративших общего с жителями долин языка. По словам г. Бакрадзе, сванеты считают церковь оскверненной, если в нее войдет женщина. Сванетка, — прибавляет он, — сама сознает, что нечиста и что образ не вынесет ее присутствия**. Во время родов, говорит г. Стоянов, нельзя прикасаться к родильнице, а также в течение 40 дней спустя, пока папи не окропит нечистую священной водой. С наступлением кровотечения женщина должна уйти из дому и поселиться в какой-нибудь пустой избушке***. В основе такого воззрения лежит, может быть, превратное толкование религиозного взгляда на женщину, как на ближайшую виновницу грехопадения. Во всяком случае, в этом взгляде на женищну, как на существо нечистое, нельзя видеть от-

---

* Обряд этот, по-видимому, не составляет особенности одних сванетов и довольно распространен в среде и других туземных народностей Кутаисской губернии. Вот что говорит, например, на этот счет о жителях Шаропанского уезда медико-топографическое описание, составленное в 1865 г. местным лекарем. «В церкви шафер кладет под ноги молодым свою обнаженную шашку. По окончании обряда венчания, при выходе из церкви, шафер, стоя у дверей, держит шашку над головой новобрачных; под этой шашкой они должны пройти. По возвращении домой, при входе в комнату новобрачных, шафер повторяет те же действия шашкой; в заключение он входит в комнату и слегка ударяет шашкой крестообразно по сторонам и углам. Все это шафер делает для того, чтобы положить основание будущему счастью молодых, расстроив замыслы злого духа» (Медико-топографическое описание Кутаисской губернии, предпринятое по инициативе доктора Струве и хранящееся в рукописи при открытом недавно в Кутаисе, губернском статистическом комитете).

** [Записки Кавк. Отд. Географ. Общ.] С. 46.

*** [Там же.] С. 435.

ражения приниженности ее положения в семье, так как о последнем не может быть и речи.

По сравнению с другими горскими племенами Кавказа, сванеты признают за женщиной значительную долю самостоятельности. У татар и осетин вся работа, как домашняя, так и полевая, производится исключительно ею; не так у сванетов, у которых женщина пользуется гораздо большим досугом. Относительная редкость женщин и вытекающая для них отсюда легкость найти сожителя и в случае развода — причина тому, что в Сванетии отношения мужей к женам довольно мягки. Никогда муж не имел здесь права на жизнь своей жены. Убийство даже уличенной в неверности супруги всегда признавалось действием, вызывающим за собой кровную месть со стороны ее родственников*. Последствием измены жены бывает обыкновенно развод. Муж выгоняет жену из своего дома, и так как вина на ее стороне, то он не только не обязан платить что-либо ее родственникам за бесчестье, но вправе даже потребовать от них возвращения ему «начулаша». На вопрос о том, вправе ли муж наказывать жену телесно, старики обыкновенно отвечали, что бывают случаи, когда муж и побьет жену, но что последнее не особенно часто. В том обстоятельстве, что муж конфузится, когда его застанут в одной комнате с женой, или что пить за ее здоровье в его присутствии, а также спрашивать о ней в присутствии посторонних считается неприличным, мы не можем, подобно г. Стоянову, видеть доказательство суровости, с которой муж обходится с женой. Те же черты могут быть отмечены в быте соседних с сванетами горских татар, — быт, основу которого составляет магометанство и восточное затворничество женщин, и который, в этом отношении, наложил свою печать и на сванетские обычаи. Г. Бартоломей прав, утверждая, что в Мести (прибавим от себя, — не в одном этом обществе, но также в Муллахе и Бечо, т.е. в ближайших к перевалам обществах) соседство мусульманских племен отражается несколько на нравах жителей, в которых выступают уже некоторые черты исламизма**.

Относительная самостоятельность замужних женщин в Сванетии сказывается всего нагляднее в сфере имущественных отношений супругов. Жена удерживает вполне право собственности на приданое; без ее согласия ни одна часть последнего не может подвергнуться отчуждению. Если в состав его входит земля, то муж подвергает ее эксплуатации не иначе, как с предварительного уговора с женой. Он — не более как управляющий ее имением, а отнюдь не свободный распорядитель жениным имуществом. Право собственности жены на принесенное ею приданое сказывается во

---

* Обольстителю, — говорит г. Стоянов, — мстят, но преступной жене не делают никакого зла (437 с.).

** [Записки Кавк. Отд. Географ. Общ.] С. 193.

всей его силе в момент прекращения брака в силу развода, виновником которого является муж. Вопреки каноническим запрещениям, обычай сванетов не считает брак чем-то нерасторжимым. Разводы, название которым «лицевре», имеют место, как по воле мужа, так и по воле жены. В первом случае муж обязан вернуть приданое и, сверх того, сделать родственникам жены особый платеж в вознаграждение за наносимое им бесчестие. Размер его обыкновенно равняется половине цора. При оставлении же мужа женою, родственники последней производят такой же взнос обесчещенному супругу, возвращая ему в то же время уплаченный им начулаш; жена же, и в этом случае, сохраняет полное право собственности на свое приданое. С прекращением брака смертью мужа, вдова, не наследуя ему, вправе остаться при детях во дворе покойного и нередко занимает в нем положение большухи, т.е. главной хозяйки; бездетная, как общее правило, возвращается в ту семью, из которой вышла, и остается в ней до момента вступления в новый брак. После всего сказанного ясно, что о бесправии жен в Сванетии не может быть и речи. Напротив, замужняя женщина пользуется у сванетов значительной самостоятельностью как в сфере личных, так и в сфере имущественных отношений.

Но как примирить все это с теми ограничениями ее правоспособности, которые так наглядно выступают в запрещении ей всякого свидетельства на суде*. Излагая характерные особенности сванетского процесса, мы имели уже случай заметить, что, благодаря господству доселе в быте народа начал родового самосуда, показание, делаемое на суде посторонним лицом, иначе говоря, свидетельское, получило сравнительно слабое развитие. Так как всякий причиненный вред дает пострадавшему право на возмездие, то кровная месть, или заменяющий его цор, необходимо грозит свидетелю со стороны той семьи, против которой направлено его свидетельство. При таких условиях понятна причина, по которой женщина лишена права свидетельствовать; дать ей это право — значило бы открыть новый источник для враждебных столкновений между родами и семьями. Не имея права быть свидетельницей, женщина не может также быть и соприсяжником. Причина тому опять-таки налицо: это — опасение внутреннего разлада в среде рода и составляющих его дворов, разлада, неизбежного в том случае, если женщина приобретет возможность своими показаниями приносить ущерб интересам того или другого из родственников ее мужа. Что в упомянутом запрещении не следует видеть доказательство приниженного положения женщины, в этом легко убедиться хотя бы из того, что сванеты допускают женщин в более широкой степени, чем другие народности Кавказа, к роли посредников на суде, а подчас и выслушивают их на своих сходках. Что касается общественного положения женщины, то необходимо заметить ту подробность, что женщина в Сванетии часто слу-

* Об этом запрещении упоминает и г. Бакрадзе, с. 46.

жит тому высокому назначению, какое приписывали ей древние германцы и, в частности, англосаксы, называя ее Fridowebe, «ткущей мир», иначе — примиряющей между собою роды. По верному замечанию г. Стоянова, женщины нередко останавливали в Сванетии кровавые схватки. Кровник, преследуемый семьею убитого, находил у них убежище, и одного прикосновения их к нему достаточно было для того, чтобы на время спасти его от пули; точно также раненый, раз принятый женщиной на ее попечение, пропускался безпрепятственно сквозь строй враждующих с его семьей врагов*. Голос женщины не раз раздавался в пользу мира и на народных собраниях. Не созываемые на них формально, женщины, при некоторой энергии и настойчивости, могли добиться того, чтобы быть услышанными; совет их нередко принимаем был целым сходом, который поставлял свое решение, согласно данному женщиной совету. Бытовые отношения, вроде излагаемых нами, с трудом подходят под какую-либо юридическую квалификацию. Нельзя сказать, что в Сванетии женщина имеет право голоса на сходах, но нельзя также отрицать и того, что фактически она нередко пользуется им.

Переходя от брачного права к характеристике личных и имущественных отношений родителей и детей, нам придется припомнить многое из сказанного выше. Очевидно, что право родителей убивать новорожденных красноречиво говорит о том, как велика власть их над детьми. Отец остается решителем судеб детей и по достижении ими половой зрелости, с которой, по обычаю, и начинается совершеннолетие. Отец женит сына и выдает замуж дочь, не спрашивая о их согласии. Брачные договоры заключают, как мы уже сказали, в то время, когда будущие супруги лежат еще в пеленках, и строго соблюдаются родителями под страхом кровного возмездия. Шестнадцати- или восемнадцатилетний юноша вступает в брак с девушкой приблизительно того же возраста, почти не зная ее, едва обменявшись с ней парой слов при посторонних свидетелях, потому что такова воля его родителей, которые и не думают спросить его о том, каков бы был его личный выбор. Столь же бесправным является положение детей и в сфере имущественных отношений. От воли отца зависит выделять женатого сына или не выделять его вовсе; в последнем случае сын продолжает жить в родительском дворе, отдавая, по-прежнему, в пользу последнего все свои заработки. Требовать выдела сын не вправе; только в случае смерти отца и перехода двора в заведование старшего брата, остальные могут требовать раздела и наделения каждого своей частью. Доля в наследстве отца принадлежит, разумеется, одним сыновьям; дочери, кроме приданого, ничего не получают. Отец вправе лишить наследства непокорного ему сына, отнять у него пре-

* [Записки Кавк. Отд. Географ. Общ.] С. 435.

имущества первородства. Пример тому недавно еще представлен был семьею Дадешкелиани, в которой отец теперешних бечойских князей за женитьбу на мусульманке лишен был права первородства по решению главы рода. Отсутствие завещаний служит, впрочем, в большинстве случаев, детям достаточной гарантией перехода семейного имущества со смертью родителя в их руки. Последний, правда, вправе раздарить его при жизни, но только в пользу церкви и ее учреждений; при слабой религиозности сванетов неудивительно, если этим правом они никогда не пользуются фактически и если поэтому, как общее правило, имущество, за исключением случаев разорения, не выходит из рук семьи, переходя в ней от поколения к поколению. Другой способ обхода отцом прав законных наследников — усыновление — также закрыт сванетам. По обычаю, усыновителем может быть только бездетный, а усыновляемым — непременно родственник. В свою очередь, молочное родство не дает никаких прав на наследство, а признается только препятствием к заключению брака. — Таким образом, фактически дети или, точнее, сыновья обеспечены в получении наследства от родителей. Опека и попечительство над ними до их совершеннолетия принадлежат тому из родственников, который стоит во главе двора и заведует его имуществом. Tutela dativa*, выражаясь языком римских юристов, сванетам неизвестна.

В связи со сказанным о семейном быте сванетов, мы считаем удобным изложить и некоторые характерные особенности их наследственного права. Последнее, как хорошо известно, повсюду является отражением общественного склада. Неудивительно поэтому, что в Сванетии, где основу быта составляет семейная община, не встречается, сторого говоря, того, что на языке цивилистов известно под «открытием наследства» (delatio haereditatis). Собственность неизменно приналежит одному и тому же субъекту — семье.

Смерть ее главы имеет своим последствием только перемену в лице, заведующем семейным имуществом, отнюдь не переход самой собственности из одних рук в другие. Перемена, о которой идет речь, может воспоследовать, впрочем, и помимо чьей-либо кончины, в силу приговора семейного совета, переносящего права хозяина на младшего по возрасту члена, как более других способного. Только в тех, все более и более возрастающих в числе малых семьях, основа которым положена была семейными разделами, фактически может возникнуть вопрос о порядке наследования или, что равнозначительно в данном случае, о том, на каких началах и кому должен быть произведен выдел отдельных долей общего всем имущества. Особенности семейного права сванетов в этом случае сказываются в совершенном устранении женщин от раздела и в допущении к нему одной мужской линии. Ближайшая линия не устраняет собою вполне дальнейшей, так как сванетам, не в

* Опека над детьми (*лат.*). (*Ред.*)

пример их соседям — горским татарам, известно право представительства по наследству, в силу которого племянники — дети умершего сына — получают совместно ту часть, которая, при жизни их отца, составила бы его долю. Раздел семейного достояния не может быть назван равным потому, что старшему сыну, если он только не был выделен отцом при жизни, дается некоторый прибавок. Подобный осетинскому «хестаг» — прибавок старшего брата обыкновенно состоит из лучшей головы скота: вола, лошади или коровы. В некоторых обществах, впрочем, мы встречаем и наделение его, не в пример прочим братьям, добавочным наделом. Таким обыкновенно является участок земли не больше того, какой может быть обработан парой быков в течение одного рабочего дня или даже половины его, иначе говоря — целый налжом земли или часть его. На этот придаток следует смотреть как на зародыш того права первородства, которое, в более или менее выработанном виде, известно в Сванетии только в княжеской среде, между членами семейства Дадешкелиани. Любопытно при этом то, что в сванетских обычаях один из источников развития права первородства, а именно, преимущественное участие старшего сына в накоплении семейного имущества, сказывается еще с полной наглядностью: перворожденный получает «praeciput» только тогда, если не был выделен отцом при жизни, а следовательно, сохранил до его кончины возможность содействовать своим трудом материальному обогащению семьи*.

При отсутствии прямых нисходящих, собственность семьи возвращается к тому источнику, из которого она вышла. Ее наследует не ближайший из боковых агнатов покойного, еще менее его когнаты; она принадлежит по праву всему роду покойного, всем его однофамильцам, сколько бы дворов последние ни занимали. В прежнее время князья, подобно средневековым феодалам, имели, предпочтительно перед родственниками, право наследовать в имуществе лица, не оставившего по себе нисходящих мужеского пола. Право это, разумеется, в настоящее время более не признается; оно исчезло навсегда вместе с другими проявлениями земельной зависимости крепостного права.

Из всего сказанного нами доселе сам собой обрисовывается тот склад имущественных прав, какой признается и гарантируется сванетским обычаем. Это — не общинная собственность, совладельцами которой были бы все дворы одного и того же селения или сопеля, еще менее — частная собственность, субъектом которой являлось бы определенное лицо, наделенное, по отношению к ней, правом владеть, пользоваться и распоряжаться; это — собственность дворовая, распоряжение которой принадлежит всей совокупности населяющих двор лиц или семейств. Одно лишь заведование ею поручается определенному лицу, так называемому

* Более подробно этот взгляд развит в статье, озаглавленной: «Архаические черты в семейном и наследственном праве Осетин» (Юридический Вестник, июнь и июль 1886 года).

«махвши», в прежнее время обыкновенно старшему по летам, в настоящее время все чаще и чаще тому, который семейным советом (если только можно назвать этим именем бесформенное собрание лиц одного двора) будет признан способнейшим. Отчуждение семейного имущества производится главой семьи не иначе, как с общего согласия. Это надо понимать не в том смысле, что всякой продаже предшествует разрешающий ее семейный совет, а в том, что, при протесте со стороны домочадцев, сделанное отчуждение признается недействительным. Все, приобретенное главою семьи на общие средства последней, поступает в семейную собственность; но, вместе с тем, на нее падают всецело и заключенные им долги. Накопление личного имущества строго воспрещается всем и каждому из членов двора, даже тем, которые временно покидают его, ища заработков на чужбине. Приобретения, сделанные ими на стороне, обязательно поступают в общую казну, но, вместе с тем, последняя не в праве уклониться от ответственности по всем взысканиям, предъявляемым к ним третьими лицами. В этом отношении обычное право сванетов представляет черты более глубокой древности, чем то право, к которому должно быть отнесено применяемое доселе в англо-индусских судах правило о том, что все, приобретенное кем-либо с помощью семейного капитала, считается достоянием семьи, и наоборот, весь тот заработок, который сделан будет независимо от семейного капитала, поступает в личную собственность. В силу такого принципа мадрасский суд счел себя в праве освободить танцовщицу от обязательства отдавать свое жалованье в семейную казну, так как родственниками ее не было доказано получение ею воспитания на средства ее семьи. Ничего подобного не мог бы сделать сванетский мировой судья: руководимый в своих решениях местными обычаями, он обязательно должен был бы признать за семьею право собственности на все личные заработки ее членов, без всякого различия места, времени и способа их накопления. Еще далее стоит от сванетского обычая сербский и вообще югославянский, по которому оставивший семью член вправе считать своим все, что он приобретет. Священник или учитель, не живущие более общею жизнью со своим двором, но не выделенные из него формально, обязаны в Сванетии делиться с ним своим жалованьем. Такое обязательство неизвестно более южным славянам, признающим его чересчур стеснительным, вполне парализующим личную инициативу. С каждым годом неудобства этого обычая становятся, однако, все более и более ощутительными и для отрезанных, по-видимому, от мира сванетов, по мере того, как из среды их, с возрастающим населением, увеличивается число идущих на отхожие промыслы. Несоответствие обычая изменившимся условиям жизни — одна из причин увеличившихся в последнее время семейных разделов. Находя в общности имущества неодолимую преграду к увеличению личных средств, сванеты не отступают более перед мыслью о замене ее частною собственностью, совершенно свободною в своем дальнейшем росте.

Но если общинный принцип с каждым годом все более и более теряет почву под ногами, если, благодаря семейным разделам, заметно возрастает число малых семей в ущерб крупным, то из этого не следует еще, что близок момент, когда из сферы имущественных отношений сванетов совершенно исчезнут следы архаического коммунизма. Процесс индивидуализации коснулся пока одной лишь пахотной и сенокосной земли. Что же касается до лесов и пастбищ, то, за исключением небольшого их числа, состоящего в руках церквей, в том числе так называемого Шальяна, они, как общее правило, считаются достоянием всех дворов одного и того же сопеля, нередко нескольких сопелей или целого общества. Обилие их — причина тому, что пользование ими не обставлено пока никакими ограничениями, за исключением одного: никто не вправе приступить ни к заимке, ни к корчеванию или очистке под поле части общинного имущества, не заручившись наперед общим согласием. Последнее необходимо также для того, чтобы личная заимка сделалась частной собственностью. Нет этого согласия — никакая давность не поможет, так как ее не знает сванетский обычай, в этом отношении вполне архаичный. Понятие о десятилетней давности и о приобретении, путем ее, права собственности стало проникать в Сванетию лишь со времени русского владычества.

В таком слаборазвитом праве, каково сванетское, виды договоров не должны быть особенно многочисленны. И действительно, из известных нам одни вовсе не встречаются, другие носят грузинские названия — верный признак их позднейшего заимствования. Мена, продажа, заем — вот те три вида договоров, которые необходимо встречаются даже при младенческом состоянии правового сознания. Неудивительно поэтому, если каждый из них носит на языке сванетов свое особое наименование. Мена называется у них «лица-дунал»; продажа — «ливды»; заем — «лимпштек». Регулирующие эти договоры обычаи отражают на себе вполне характерные особенности общественного уклада. При господстве дворовой собственности, мена и продажа необходимо обставлены известными условиями, неисполнение которых делает их недействительными. Такими условиями признается если не явное, то молчаливое одобрение всеми и каждым из домочадцев того распоряжения, какое старший во дворе, или так называемый «махвши», делает из семейного имущества. Когда нет такого согласия, когда слышится явный протест со стороны хотя бы одного из совершеннолетних членов, сделка, уже вполне заключенная, признается недействительной. Мало этого: кровная связь, соединяющая двор, из которого сделано отчуждение с родственными ему дворами — дворами однофамильцев — признается сванетами достаточным основанием к тому, чтобы предоставить и этим дворам последнее слово в заключаемой сделке. Таким образом, имущество семьи продается чужеродцам не раньше, как после отказа родственников воспользоваться своим правом предпочтительной покупки. Но вот сделка уже заключена; полагаемые обычаем обряды исполнены; покупа-

телем сделано угощение и в его руки перешла отчуждаемая собственность путем символической передачи (например, при отчуждении скота, рога продаваемого животного последовательно переходят из рук продавца в руки покупателя), — а права последнего на купленное имущество все еще остаются спорными. Родственный двор вправе обратить его в свою собственность простым возмещением затраченной на приобретение суммы; в такой же степени, и даже предпочтительно перед ним, может сделать это и пограничный сосед; первый — в силу так называемого родового, второй — в силу соседского выкупа. Ко всему сказанному прибавим еще следующее: не всякое имущество равно доступно отчуждению. Сванетский «махвши» и его домочадцы охотнее согласятся продать ими самими приобретенное имущество, так называемое «намгяб», нежели собственность, доставшуюся им от предков. Terra aviatica, земля предков, которая у сванетов носит название «саму», отчуждается ими не иначе, как под давлением необходимости для взноса «цора», для покрытия издержек на поминки родственнику, так называемый «кончхар», уклониться от которых нельзя, так как с ними связано благоденствие покойного за гробом и честь всего его рода. Случаи продажи земли чрезвычайно редки. Далее, есть предметы, отчуждение которых чужеродцу кажется сванету еще менее возможным, чем продажа родовой земли. Несмываемым позором покроет себя тот двор, который решится продать цепь, на которой висит семейный котел, или так называемую «нача»; эта цепь для сванета не менее священна, чем и для осетина; еще более, если отчуждение коснется того четырехугольного металлического столика, «керай», на котором сванеты пекут свой хлеб. Итальянский граф, согласный продать все, кроме полуразрушенного замка предков, своей фамильной «госса», легко бы мог узнать себя в сванетском крестьянине, отчуждающем, в крайнем случае, свои «налжомы» и набожно хранящим, в то же время, в своих руках четыре спаянных между собою бруска, «керай» его предков*. Закончим сказанное о договоре купли-продажи замечанием, что составление о нем письменной записи — требование, неизвестное народному праву сванетов, которое довольствуется присутствием при его заключении неопределенного числа свидетелей.

В числе договоров, искони известных сванетам, как и любому народу, живущему одинаковыми с ними формами быта, надо поставить, как мы уже сказали, и договор займа, или «лимпштек». Объектом его служат, как общее правило, не деньги, которые еще мало распространены в среде народа, а жизненные припасы и, в частности, хлеб. Условия, на которых обыкновенно производится заем у сванетов, крайне неблагоприятны для заемщика: в конце

* О некоторых из этих «керай» ходят в Сванетии целые сказания. Так, в полуразрушенном замке бечойских Дадешкелиани доселе показывают тот керай, из-за владения которым нередко враждовали между собой члены этого семейства. Кто желал быть первым в нем, тот непременно должен был захватить и присвоить себе этот керай.

годового срока он обязан вернуть кредитору, сверх занятого, еще треть его; в одном же обществе, именно в Бечо, не менее, как половину.

К числу древнейших видов договоров у сванетов надо отнести также договор товарищества — «липханак» или «лицау», заключавшийся в прежнее время не столько с торговыми целями, сколько ради получения добычи путем разбоя. Раздел последней, как и раздел полученного товариществом дохода от затеянного им промышленного предприятия, производился и производится не всегда поровну, но также подчас и pro rata* сделанных отдельными участниками взносов.

Имущественный наем предшествовал у сванетов найму личному, почему последний и не находит в их языке, подобно первому, особого для себя названия, а обозначается грузинским термином «кира». Обыкновенной формой имущественного найма, или «накит», является половничество, которое на языке сванетов именуется двояко: «ленесчеры» и «хынека». Условия этого вида аренды, принадлежащего к числу распространеннейших в мире, приблизительно те же в Сванетии, что и повсюду. Арендатор получает вознаграждение частью, обыкновенно половиною, продуктов, собираемых с нанятого им участка. Остаток принадлежит собственнику земли, который обыкновенно доставляет наемщику и семена для посева. За исключением эцерского общества, где князья Дадешкелиани отдают землю исполу, аренда встречается весьма редко в Сванетии. И это потому, что уход целого двора на продолжительное время из страны есть явление совершенно исключительное.

Дача на сохранение, «лильче», должна быть отнесена также к числу договоров, известных народному праву сванетов независимо от всякого заимствования у грузин, доказательством чему служит существование в их языке особого термина для его обозначения. Обыкновенным предметом этого договора является скот, который уходящим на заработки людом отдается на простой соседям или родственникам. Приплод от скота считается собственностью лица, поставившего скот; получаемые от скота продукты составляют доход того, кому он сдан. Из сказанного ясно, что в Сванетии дача на сохранение дает лицу, в пользу которого она сделана, право извлекать имущественные выгоды из хранимого им предмета.

Личный наем, «кира», и договор доверенности, «векхилоба», принадлежат, по-видимому, к числу тех, с которыми сванеты познакомились лишь при посредничестве грузин; оба договора носят грузинские названия и не представляют никаких особенно характерных народных черт. При производстве сельских работ сожительствующими между собою родственниками и при взаимном представительстве последних друг за друга, в обоих договорах долгое время могло не чувствоваться нужды; рабочие руки были на-

* Соразмерно, пропорционально (*лат.*). (*Ред.*)

лицо и помимо обращения к найму: родственник и без специального доверия мог представлять родственников на суде и при заключении юридических сделок. Удивительно ли, если оба договора появляются сравнительно поздно и распространены в стране весьма мало. Выполнение договора обеспечивается сванетами трояким образом: задатком — «ляншан», поручительством и залогом. Поручители, одинаково из родственников и посторонних, произносят при совершении условия приблизительно следующие слова: «Мекенчь хуст амзун намхуби хугуе», что в переводе значит: «Мы ручаемся за него, что он в состоянии сделать то, в чем обязуется». Что касается до залога, то этот институт, как показывает и самое его название — «цинт», целиком заимствован из Грузии.

Сването-грузинский залог всего ближе подходит по своему характеру к «nantissement» старинного французского права или к английскому mort-gage, в том смысле, что взявший в залог движимость или недвижимость одинаково вправе пользоваться ею до момента выполнения договора, чего, разумеется, отнюдь не допускает современное ипотечное право. Сванетский цинт однохарактерен поэтому с осетинским «бавстау» и татарской «бегендой», которые также допускают пользование кредитора заложенным ему имуществом. Заключаемые сванетами договоры тем более нуждаются во всех названных обеспечениях, что право требовать возмещения убытков отнюдь не считается вытекающим непосредственно из самого факта неисполнения кем-либо принятого на себя обязательства. Система родового самосуда не допускает правильного и частого обращения к суду. Если стороны не согласятся назначить медиаторов и не представят им определения размеров имущественного вреда, потерпевшему не остается иного исхода, как вознаградить себя удержанием задатка или залога.

Сделав очерк страны и быта ее населения, продолжаем рассказ о нашем путешествии.

Эцерская и бечойская долина, поперечные ингурской долине, разделены высоким горным отрогом, который, примыкая отвесной стеной к реке Ингуру, образует здесь глубокую пропасть. Подъем из Эцери на отрог начинается лесом; дальше, в течение часов двух, дорога идет над пропастью. С этой дороги всего лучше видны как сам Сванетский хребет, так и высочайшие его пики: Лакури, Лясил и Ляйла. Хребет всей громадой выступает над ингурской долиной и возносится далеко за снеговую линию множеством острых зубцов. Он на глаз нисколько не уступает в вышине главному хребту.

Любуясь величественной картиной, мы заметили приближающихся всадников, лишь когда услышали стук копыт. «Это — бечойский князь Циох», — пояснил Азамат и поехал к нему навстречу.

Поздоровавшись с нами, князь произнес на татарском языке речь, которая, в передаче Азамата, означала следующее: «Циох ус-

лышал о приезде в Сванетию московских гостей Измаила Урусбиева и выехал к ним навстречу с добрыми пожеланиями; братьев его, Левана и Бекербея, нет дома, иначе они были бы с ним; он просит гостей пожаловать в его дом».

Поблагодарив за приглашение и прибавив, что нам очень приятно познакомиться с бечойским представителем рода князей Дадешкелиани, мы поехали далее в сопровождении князя и его свиты.

Скоро начался спуск, дорога круто повернула на север и открылась Бечойская долина, длиною верст восемь, шириною от полуверсты до двух, — самая большая из поперечных долин.

— Что это, Ужба? — спросили мы князя, увидя ледяную массу, которой замыкалась долина.

— Это ее ледник, — ответил он, — самой горы не видно отсюда; она левее.

Дорога в долину идет зигзагами по восточной стороне отрога. Спускаешься, и все время пред глазами — башни и нивы рассеянных по долине сопелей бечойского общества. Между сопелями извивается быстрая Гула-Чала, вытекающая из ужбинского ледника.

Было около семи часов вечера, когда мы остановились у одноэтажного домика военного пристава, к которому имели поручение от Измаила Урусбиева. На террасу вышла молодая женщина, жена пристава, и, объяснив, что муж ее уехал навстречу кутаисскому губернатору, которого ждут на днях в Сванетию, просила нас войти в дом.

Только что мы успели представиться хозяйке, как между ею и нами завязалась самая оживленная беседа. Мы закидывали ее вопросами. Оказалось, г-жа А.А.Ахтовская живет в Сванетии девять месяцев и нимало не скучает, хотя в течение этого времени она впервые видит не сванетов Природа, горный воздух, изучение быта сванетов, книги вполне заменяют ей общество. Она — кавказская уроженка, много странствовала по Кавказу, но ничего не видала интереснее и красивее Сванетии. Хозяйка бегло говорила по-сванетски с князем Циохом.

Пока мы беседовали, сидя за чайным столом, успело стемнеть. Г-жа Ахтовская убеждала нас остаться на ночлег в ее доме, так как до княжеского замка остается еще пять верст и притом плохой дороги. Мы были очень рады предложению хозяйки, но стеснялись принятым нами приглашением князя Циоха. Хозяйка уверяла, что князь не обидится, ибо уже темно, мы устали, визит в замок сделаем завтра, и она сейчас все это объяснит князю. Циох ответил, что «воля гостей — его воля, и завтра в полдень он приедет за нами».

Вечер провели в разговоре со стариками, причем переводчиками служили г-жа Ахтовская и единственный представитель медицины в Сванетии, фельдшер из грузин.

Как только проснулись утром, прямо с постелей бросились к окну взглянуть на одну из диковинок Сванетии, Ужбу. На горе ни

облачка, ни малейшего тумана... Что за красота! Ради одной Ужбы стоит приехать в Сванетию.

От дома пристава до подошвы горы всего шесть верст, и никакой предмет не мешает видеть ее с этого пункта всю, от основания до вершины. Другой горы, столь оригинальной, как Ужба, может быть, нет на всем земном шаре. Представьте себе почти отвесную скалу в 16 500 футов вышины, при этом скалу одинокую и необыкновенно изящную по своим очертаниям. Восточная ее сторона поднимается из массы льда и снега, спускающихся в долину; на самой же горе снег не держится, — так круты ее склоны. Стены скалы изборождены острыми разноцветными гранями, напоминающими всего более кристаллы дымчатого топаза, и вместе с тем красиво убраны извилистыми снежными линиями. Заканчивается скала двумя острыми зубцами, наподобие башен, которые, для глаза, буквально упираются в небо. Довольно удачное замечание сделано г. Ильиным, что «вид Ужбы смутно напоминает полуразрушенный готический собор на огромной скале». От Бечойской долины вплоть до Латпарского перевала Ужба не скрывалась с наших глаз, и все-таки мы не успели достаточно насладиться этим дивным зрелищем.

К девяти часам утра у дома пристава собралась большая толпа сванетов. Отвечая на наши вопросы, они перебивали друг друга и шумели. Вообще сванеты очень подвижны, речь свою сопровождают жестами и сильными телодвижениями. Мы пробеседовали со сванетами вплоть до приезда князя Циоха и отправились с ним в замок бечойских князей Дадешкелиани.

Подъехав к замку, мы остановились у его ворот. Минуты через две открылись массивные железные ворота, и из них выступила высокая, стройная старуха. Лицо ее сохранило следы замечательной красоты. Одета она была в потертое бархатное платье, на голове чадра. «Это — жена моего брата Левана, княгиня Дадьяни», — сообщил нам Циох. Княгиню окружала большая свита полунагих детей и взрослых. Заметив среди нас грузина фельдшера, она просила его быть переводчиком.

— Прошу вас войти в наш дом, — говорила княгиня по-грузински, — вы увидите, в какой бедности живут князья Дадешкелиани, которые, еще на моей памяти, были царями. Мы разорены: у нас отняли все, кроме этих камней (при этом княгиня указала на стены замка). Я обращалась лично к покойному государю, и до сих пор нет решения нашего дела. Предлагают нам землю на Кубани; но князья Дадешкелиани скорее умрут голодной смертью, нежели оставят очаг своих предков. Прошу вас войти в замок; муж мой будет очень жалеть, что не был дома во время приезда русских друзей Измаила Урусбиева.

Бечойский замок стоит в самом конце долины и командует над ней. Фоном ему служит Ужба. Он одного стиля с эцерским замком, только гораздо обширнее. Стены и башни прекрасно сохранились, но внутренние постройки приходят в ветхость и не ремонтируются. Семьи трех братьев живут в замке. Из жилых помеще-

ний мы видели лишь зал, где находится родовой очаг. В другие жилые помещения нас не водили, потому ли, что стеснялись бедности, или потому, что жены Циоха и Бекербея мусульманки. Все время осмотра замка княгиня рассказывала нам историю рода Дадешкелиани, обстоятельства конфискации имущества у бечойских князей и все перипетии ходатайств о возвращении конфискованного.

После осмотра замка нам предложили обед. Два больших низких стола и кругом них скамьи были поставлены вне замковых стен, на лужайке, неподалеку от ворот. За одним столом поместились мы, Циох, Азамат и фельдшер; за другим — наши проводники. Подавали вареную баранину, пирог с сыром, рубленую говядину в бараньем жиру, острый куриный суп, простоквашу с сахаром. Ножей и вилок не было; ложки деревянные. Все время обеда нас окружала толпа народа, преимущественно женщины, а княгиня стояла в воротах замка. Обед заключился длинной прощальной речью Азамата, сказанной на татарском языке; заканчивая речь, он поднял руки к небу и просил Аллаха оберегать нас в дальнейшем пути. В Бечо мы расставались с верным и неутомимым нашим колоновожатым, Азаматом, и прочими проводниками из урусбиевского аула. Лошади были наняты лишь до Бечо; что же касается Азамата, то хотя он и не отказывался провожать нас до самого Кутаиса, но мы знали, что дела зовут его домой; между тем явилась возможность отпустить его, так как в числе нанятых новых проводников из сванетов оказался один, по имени Демет, знавший немного русский язык. Демет служил несколько лет милиционером у военного пристава и здесь научился объясняться кое-как по-русски.

Поблагодарив княгиню за оказанный прием, мы сели на лошадей и отправились с Циохом к подошве Ужбы, до которой от замка не более версты. Удивительной картиной природы наслаждались мы здесь. Прямо с поляны поднимается к небу грандиозная скала. Чтобы увидеть ее вершину, надо сильно откинуть голову. Бока скалы такой крутизны, что кажутся почти отвесными. Приближающийся к скале с запада лесистый отрог отделен от нее чрезвычайно узким и темным ущельем. Ужба, ущелье и отрог замыкают Бечойскую долину. Полна таинственности эта местность... Вечерние тени легли уже на ужбинский глетчер, на ледяной мир Главного и Сванетского хребтов, и только высочайшие их пики блестели еще в лучах заходящего солнца.

Мы возвращались долиной мимо замка. Ворота заперты, огней нет, ни одного звука за его высокими стенами. Замок производил впечатление необитаемого. «Не кажется ли вам сном весь сегодняшний день, а особенно посещение замка? — сказал один из нас, — ведь от замка так и веет средними веками. Вышли из него к нам тени прошлых веков и снова ушли покоиться в своих гробницах».

Луна ярко освещала нам возвратный путь и дополняла картинность проведенного дня.

Рано утром явились новые проводники с тремя оседланными лошадьми и двумя под вьюки. Каждый из проводников был собственником одной из нанятых лошадей и не соглашался отпускать ее без себя. Лошади были взяты до мингрельского местечка Цагери, отстоящего от Бечо в 120 верстах. За лошадей заплатили 50 рублей и, сверх того, по 60 коп. в день каждому проводнику. Из Бечо мы выезжали с запасами: г-жа Ахтовская снабдила нас чаем, сахаром и кофеем.

Через два часа мы были в ингурской долине и подъезжали к латальскому обществу. В обществе семь сопелей, 115 дворов и 950 человек населения. Долина здесь расширяется до двух верст, и такое расширенное пространство тянется по Ингуру версты полторы. Затем крутые отроги снова подходят к самой реке, и сопели прерываются. В Латали посетили церковь. Церковь того же стиля и той же величины, как эцерская. В ней имеются старинные кресты с грузинскими и греческими надписями и евангелие на грузинском языке. К наружной стене церкви привешен колокол с надписью: «пожертвован царем Грузии, Александром».

Три версты перевала по горному отрогу, и мы в обществе Ленжери, состящем из пяти сопелей, 67 домов и 620 человек населения. Здесь долина расширилась лишь до полуверсты, и такое расширение продолжается не более версты. Ленжерское общество — одно из самых обделенных землею, и потому и самых бедных обществ Сванетии.

Снова пятиверстный перевал через лесистый отрог, и мы спускались к богатому обществу Мести. Средний ленжерский поселянин имеет пахотной земли около 4-х кцев, местийский — до 16-ти кцев. Ширина ингурской долины здесь до двух верст, длина три версты. Общество имеет четыре сопеля, 93 двора, 700 жителей. В долине между сопелями и башнями множество тенистых деревьев, преимущественно буков и лип. В Мести мы сделали привал у священника, ибо знали, что он хорошо говорит по-русски, двенадцать лет в Сванетии и обстоятельно знаком со страной.

Представившись священнику и вручив ему купленные нами в Ленжери три курицы, с просьбой сварить их, мы отправились осмотреть церковь. Церковь того же стиля, как в других обществах, но гораздо обширнее и светлее. Царские врата завешены ситцевой материей. Посвящена она св. Георгию, главному патрону Сванетии. В честь этого святого бывает в конце мая праздник, на который собирается почти все население котловины. Праздник продолжается три дня; из церкви выносят хоругвь с изображением Георгия Победоносца и ставят ее на ровном месте, где происходят скачки.

Выходя из церкви, мы увидели собравшуюся на лужайке толпу. По нашей просьбе священник обратился к толпе с предложением устроить хоровое пение. После непродолжительного шума и смеха, человек до двадцати стали в круг, правыми руками

взялись за пояса и кинжалы соседей с правой стороны, левыми — за пояса и кинжалы соседей с левой стороны, и началась песня. Не легко было С.И.Танееву уловить дикие звуки сванетского пения, беспрестанно прерываемого выкрикиваниями. Пение сопровождалось танцем. Сначала поющие медленно выделывали замысловатые па ногами, затем движения становились быстрее, быстрее и перешли в бешеные скачки. Пели о том, как местийцы зазвали на угощение двух братьев Созорицы из Мулаха и хитростью убили их. Мы дали певцам двадцать новеньких двугривенных, что вызвало на их лицах большое удовольствие. Они пропели нам еще, как пошли ушкульцы на охоту, им приснился дурной сон, на утро случился завал, и все охотники погибли. Дика музыка сванетов, но голоса у них замечательны. Редкий сванет не обладает звучным баритоном или низким тенором. Приятно слушать их разговор: мужественные звуки свободно вылетают из груди беседующих. Сванеты говорят очень громко, а это, равно как и их звучные, грудные голоса, объясняется, может быть, жилищными условиями. Сопель от сопеля часто отстоит не далее полуверсты, и дети разных сопелей переговариваются между собой на таком расстоянии.

Только что мы выехали из Мести и поднимались на высокий горный отрог, как нас нагнало до шестидесяти всадников. Это Бекербей Дадешкелиани ехал из Пари с несколькими прибывшими к нему в гости абхазскими князьями и свитой навстречу губернатору. Князь Бекербей говорил по-русски, и потому знакомство с ним было весьма кстати.

В Мести Ингур круто поворачивает на юг. Ингурскую долину продолжает к востоку мулахская долина с рекою Мульхре, вытекающей в северо-восточном углу котловины из огромного тюберского ледника. С вершины горного отрога открылась перед нами поражающая своей красотой мулахская долина. Имея пять верст длины (с запада и на восток) и от одной до двух верст ширины, долина замыкается громадными снеговыми вершинами Гестолы и Тетнульда. Здесь главный хребет образует полукруг, южная сторона которого глубоко врезается в котловину несколькими высочайшими горами Кавказа с Тетнульдом впереди. Тетнульд, превышающий Монблан, стоит на первом плане; за ним сплошные снега Адыша, чхарских пиков и Намквама. С этих гигантов спускаются в леса юго-восточной части котловины первоклассные ледники: адышский, чхарский и кальдский.

Посчастливилось нам погодой в Сванетии. Все время путешествия по ней стояли ясные дни, и, благодаря этому, мы постоянно наслаждались такой яркостью и разнообразием красок, какие едва ли где можно встретить. Объясняется это географическим положением котловины. Перед вами в тесном горизонте одновременно и непрерывно — и ослепительный блеск ледяного мира, и разноцветные скалы, и зеленеющие отвесные леса, и яркая мурава альпийских лугов, и рассеянные между башнями,

рощами и лугами нарезки пажитей, блестящих всеми оттенками медной яри и золота.

Наслаждаясь до восторга такой картиной, спускались мы в мулахскую долину. Мулахское общество вместе с местийским — самые богатые в Сванетии. Здесь пять сопелей, 80 домов, 940 чел. населения.

— Где думаете ночевать? — спросил нас князь Бекербей.

— У священника.

— Вам будет неудобно остановиться у священника. Он имеет большую семью, а домик маленький. Лучше остановитесь в канцелярии.

— В канцелярии? Какая это канцелярия? — спросили мы.

— А это, видите ли, — отвечал князь, — довольно просторные избы, выстроенные недавно в каждом обществе; в них останавливается военный пристав; сюда же старшины собирают народ для объявления каких-либо распоряжений. В канцелярии ночевать гораздо лучше, чем в сванетском доме.

— А вы, князь, где остановитесь?

— Обыкновенно я останавливаюсь в канцелярии. Но сегодня уместиться в ней нам всем будет тесно. Отделиться же мне от абхазских князей неудобно. Я проведу ночь с моими спутниками на траве.

Уже стемнело, когда мы подъехали к канцелярии. Князь распорядился, чтобы затопили камин, обещал прислать нам через час вареной баранины и вина, пожелал доброй ночи и отправился к своим спутникам.

Канцелярия представляла собой две довольно грязные комнаты, по стенам которых стояли длинные скамьи; ни стола, ни каких-либо письменных принадлежностей не имелось. Только что развели огонь, как стали входить один за другим сванеты, расспрашивали через Демета, «зачем приехали», рассматривали вещи, особенно часы, ощупывали на нас платье и шумно сообщали что-то друг другу. Увидав табак, они для получения его подставляли свои длинные, тонкие трубочки. В канцелярию набралось человек до сорока; остальные стояли на дворе. Как ни умильно смотрели сванеты на принесенную нам баранину, ее не было так много, чтобы делиться с ними, тем более, что нужно было дать проводникам; проворно схватывали они откладываемые в сторону кости и жадно их обгладывали. Сванеты с любопытством следили за устройством нами из пледов, пальто и бурок постелей и стали расходиться, лишь когда мы начали уже дремать.

На следующее утро мы были смущены следующим казусом. Дело в том, что одному из нас необходима была в путешествии сильная лошадь. Собственник такой лошади, нанятой в Бечо, отказывался продолжать путь ввиду того, что у нее спина оказалась стертой. Приходилось искать новую лошадь, и мы просили князя помочь нам в этом деле. Князь поручил разыскать лошадь старшине. Несколько раз приводил старшина лошадей, но все они, по мнению Бекербея, не были достаточно сильны, чтобы сделать Лат-

парский перевал с данным всадником. Старшина заявил, наконец, что он показал всех наиболее сильных лошадей. Положение было неприятное; одному из нас приходилось продолжать путешествие пешком; и если не отыскалась подходящая лошадь в мулахском обществе, тем менее было шансов найти ее в следующих, менее богатых, сопелях.

— Вот что, господа, — сказал Бекербей, — у одного из абзахских князей есть очень сильная лошадь; может быть, он согласится ее продать.

— А сколько она стоит?

— Он не возьмет более своей цены, — ответил князь: — лошадь чистокровная кабарда, кажется, за нее заплачено полтораста рублей.

Такую сумму мы могли дать и просили Бекербея отправиться к абхазскому князю для переговоров.

Вскоре Бекербей вернулся и с ним верхами пять абхазских князей. Лошадь имела вид неказистый. Собственник спросил 170 рублей, уверяя, что нам с первого слова дадут за нее в Кутаисе двести. Мы попробовали предложить дать нам лошадь внаем до Цагери, откуда ее вернем с сванетами. Нам ответили, что князь может продать лошадь, но отдавать внаем не может. Лошадь была куплена. Она дошла лишь до мингрельского местечка Цагери, где пришлось ее оставить для продажи при первой ярмарке. Надо было чем-нибудь справить покупку; мы приготовили кофе по-турецки и угощали им князей.

Поиски лошади взяли более полдня времени. Простившись с князьями, мы выехали из Мулаха в три часа.

Дорога нам предстояла на юг в долину Ингура. Переехали реку Мульхре, от которой веяло зимней стужей, — и стали взбираться на крутой Мулахский перевал, вышиной $7^1/_2$ тысяч футов. Здесь, на высшей точке горы, мы сделали привал, чтобы еще раз полюбоваться живописной Мулахской долиной. Как только начался спуск, явилась полная перемена ландшафта. Вместо густонаселенных долин, пред нами, утопая в зелени лесов и тесно примыкая друг к другу, стояли конусообразные горы. Там и сям, среди зеленых гор, мелькали снежные вершины Сванетского хребта. Ландшафт был полон уединения, спокойствия и романтизма. В таких местностях любили ютиться монастыри. У подножия гор, на высоких берегах Ингура, расположились шесть сопелей ипарского общества, самого бедного во всей Сванетии. Пахати и сенокосы сопелей разместились клочками на такой крутизне, что, казалось, и стоят там трудно, а не только работать.

В сумерках подъехали мы одни, без проводников, к церкви одного из сопелей. Здесь, на лужайке, сидело человек до сорока, одетые почти все в звериные шкуры.

— Папи, где папи? — обратились мы к ним.

Несколько сванетов замахали руками и отрицательно качали головой, из чего мы вывели, что священника нет дома.

На всякий случай произнесли еще несколько русских слов: «продай молока, курицу, барана»; но видя, что сидевшие не понимают по-русски ни слова, прекратили обращения к ним и, не слезая с лошадей, ожидали проводников. Между сванетами начался шумный разговор, причем они все чаще и чаще указывали на нас: их взгляды, жесты, тон голосов показались нам недружелюбными. Заметив наше намерение уехать, один из толпы схватил лошадь за узду. Тогда мы крикнули на них и протянули руки по направлению горы, с которой спускались вьючные лошади и проводники с ружьями через плечо. Шум немедленно прекратился, и сванеты внимательно всматривались в приближающийся караван. Мы крикнули Демету, чтобы он поспешил. В это время подбежал к лужайке человек в пиджаке и обратился к нам со словами:

— Я говорю по-русски, что вам нужно?

— Кто вы такой?

— Я — здешний писарь.

— Ну, вот и прекрасно, — сказали мы ему, — подите сюда, прочтите эту бумагу (открытый лист) и переведите им.

Когда писарь окончил разъяснение сванетам значения и содержания открытого листа, мы сказали присутствующим, что хотя можем требовать всяческого нам содействия, но ограничиваемся тем, что требуем дать нам молока, яиц, курицу и барана, за что будет заплачено, а также чтобы в канцелярию пришли сейчас до десяти стариков.

К концу этой интермедии подошли проводники. Демет с писарем занялись приисканием нам пищи, а мы отправились в канцелярию.

Вскоре явились старики, писарь-переводчик* и продукты. За десять яиц заплатили два абаза, за миску молока (бутылки в три) — два абаза, за две курицы — три абаза. Барана привела позже целая толпа при освещении лучинами; спросили за него четыре рубля, на что мы согласились; затем, после шума в толпе, оказалось, что желают пять рублей, — мы согласились; опять шум, — и барана уводят; жалко ему продать барана, — пояснил нам Демет. Вместо барана нам принесли только что пойманные четыре форели. В Тифлисе мы узнали, что население ипарского общества считается самым диким в целой Сванетии.

Выехали из Ипари с первыми лучами солнца. Дорога шла лесом по горным отрогам Ингурского ущелья. Она то поднималась над рекой, то спускалась к самому ее уровню. По причине большой крутизны склонов, поселков не было вплоть до кальского общества, на расстоянии шести часов. Большую часть этой дороги, как и вообще сванетских дорог, ехали гуськом, и тем оживленнее делалась наша беседа, когда являлась возможность ехать рядом. Чувствовалось удивительно хорошо. Природа дивная, краски

* Писарь, местный поселянин, получает от общества за свои обязанности 20 руб. в год; он окончил курс двух классов кутаисского духовного училища.

яркие, веселые, усталости ни малейшей. Вся обстановка нашего путешествия была столь необычна, впечатлений так много, что нам казалось, будто прошли уже месяцы, как мы оставили Кисловодск. Не только день на день, половина дня на другую, но и час на час не были похожи. Как в калейдоскопе непрерывно менялись перед нами великолепные картины природы и производили такое сильное впечатление, что мы и теперь, когда пишем эти строки, после двухмесячного промежутка времени, можем живо представить себе обстановку буквально каждого часа из 24-х дней нашего пути от Кисловодска в Кутаис.

Демет шел рядом и выражал большое изумление каждый раз, когда приходилось называть ту или другую гору, или селение, в котором мы еще не были. — Откуда знаешь? — спрашивал он. Один из нас, посмотрев на часы, громко сказал: — Скоро одиннадцать. — Что значит одиннадцать часов? — спросил Демет. Объяснить ему значение часов было тем легче, что он имел представление о полдне и полуночи.

— С вами я не боюсь здесь идти, — прервал нашу беседу Демет, — а один не пойду.

— Почему? — спросили мы.

— Видишь камень в реке? — Демет указал на него, — под этим камнем живет черт.

— Ты его видел?

— Я не видал, а другие видели.

— Все боятся ходить мимо этого камня?

— Нет, только наши бечойские боятся.

— Отчего бечойские боятся?

— Мы убили брата этого черта.

— Когда?

— Это случилось давно, я еще маленький был.

— Расскажи, пожалуйста, Демет, как бечойцы убили черта.

Демет рассказал следующее. Поселилися в Бечо черт с одним глазом на лбу и каждую ночь, как ни караулили, уводил скот, то с одного, то с другого двора. Наступила очередь Гио. Гио говорит жене: — Не будем спать эту ночь; может, и услышим, когда черт придет; а если услышим, я стану с ним бороться, а ты в это время зажги сено и брось ему под ноги горох, чтобы он упал; лучше я погибну, нежели пропадет мой скот. — Как только наступила полночь, дверь отворилась, и вошел в дом черт. Гио бросился на него, жена зажгла сено и стала бросать под ноги черту горох. Черт упал; тогда Гио с женой скрутили веревкой руки и ноги черта и привязали его к скамейке. На другой день Гио пришел на сход и спросил, что дадут тому, кто поймает черта. Сход обещал дать вола и пару баранов от каждого двора. — Идемте ко мне в дом, — сказал Гио, — я поймал черта. — Черта вывели в поле и убили стрелами. В Сванетии тогда еще не было ружей.

Слушая еще другие рассказы Демета о чертовщине, доехали мы до главного святилища сванетов — Шальяна. Церковь стоит на высоком холме, одна сторона которого спускается вертикальной

скалой в Ингур. Церковь окружена роскошной сосновой рощей; роща считается священной, и ни один сванет не срубит в ней ни за что и маленькой веточки. В полуверстном расстоянии от холма виднелись башни кальского общества. Мы остановились у моста через Ингур и просили Демета купить нам хлеба и сыру, а также отыскать старшину и священника, чтобы они показали нам церковь. Около часу ожидали мы возвращения Демета. Последний вернулся с известием, что священник и старшина не могут показать церковь без согласия общества; хлеба и сыру не купил, так как жители продали весь запас для приезда губернатора. Мы отправились в сопель Довбери, где живет старшина, рассчитывая собрать сход и получить от него согласие на осмотр церкви.

По дороге в сопель нас встретил молодой офицер, оказавшийся князем Джансохом Дадешкелиани. Мы были приняты князем очень любезно. Выразив сожаление, что его и брата не было дома во время посещения нами эцерского замка, он ввел нас под навес из сосновых ветвей, где стоял стол, накрытый девятью приборами, и приказал повару приготовить, как можно скорее, бифштексы и принести две бутылки вина.

На заявленное с нашей стороны желание осмотреть Шальян, князь предложил отложить исполнение этого намерения до приезда губернатора, которого ожидают с минуты на минуту. Затем он стал рассказывать, с какой неохотой впускают сванеты чужестранцев в свое главное святилище. Они убеждены, что за допущение чужестранцев в Шальян их постигнет небесная кара в виде града и неурожая. Выслушав это, мы заявили, что не желаем быть причиной ожидания сванетами всяких напастей, и, вероятно, губернатор тоже откажется от посещения Шальяна. Так и случилось.

Сопель Довбери лежит у самой подошвы Латпари, на высоте 6 700 футов. Недалеко от навеса стояло до сотни сванетов, ожидая появления на горе губернатора. Толпа зашумела; мы вышли из шатра и увидели спускающихся с Латпари несколько десятков всадников. Минут через двадцать губернатор был в Довбери; мы ему представились и вместе с ним вошли в толпу. Из толпы вышел человек лет тридцати пяти, с наружностью южного итальянца, и начал говорить речь голосом возбужденным и сильно жестикулируя. Оратор останавливался после каждой отдельной мысли, чтобы дать Татаркану Дадешкелиани возможность переводить речь буквально. Жаль, что мы не успели записать речь слово в слово; приблизительно она была следующая:

«Вы спустились в страну, отрезанную от всего света. Вы видите ее теперь. На север и юг, на восток и запад — все живут богаче нас. Там (оратор указал рукой на юг) — виноград; там (на север) — огромные стада; у нас же мало даже хлеба, а в неурожайные годы мы ходим очень голодные. Что я получил от отца, то и передам детям. Я ничего не могу прибавить. Говорят — работайте. Мы не прочь, но что можно сделать? Кругом нас горы; земли для возделывания мало. Мы очень ждали вашего приезда, чтобы заявить вам о наших нуждах. Поддерживать дорогу через Латпари нам трудно. Еще более

трудно ходить в кутаисский суд. Девять месяцев латпарская дорога занесена снегом; в суд надо придти к назначенному времени, во всякую погоду, и каждый год несколько человек замерзает на Латпари. Мы просим вас освободить нас от этих тягостей»*.

Губернатор отвечал, что мосты уже выстроены на счет правительства и будут сделаны дальнейшие облегчения в дорожной повинности. Он надеется, что возможно будет устроить так, чтобы в суд требовали только летом. Кальское общество страдало в последнее время от града, и с него не взимали податей. «Я приехал к вам, — закончил речь губернатор, — чтобы лучше ознакомиться с тем, как вы живете, и сделать все возможное для улучшения вашего положения. Кто имеет ко мне какую просьбу, пусть скажет, я ее запишу. В вашем обществе я пробуду два дня».

Последовал обед. Здесь мы познакомились со спутниками губернатора: князем Татарканом Дадешкелиани, начальником Лечхумского уезда (куда входит Сванетия), кутаисским статистиком, бечойским военным приставом, мировым посредником, двумя чиновниками особых поручений и сванетом из ушкульского общества, Нижерадзе, служащим в канцелярии уездного начальника. Мы чувствуем потребность выразить еще раз глубокую признательность А.М.Смекалову и его спутникам за то редкое радушие, с каким мы были приняты. Полтора дня, проведенные в этом обществе, принадлежат к лучшим воспоминаниям нашего путешествия.

Вечер провели в интересной и весьма полезной для нас беседе о Сванетии, а затем князья Дадешкелиани устроили нам удобный ночлег в сванетском доме.

На следующий день, ранним утром, мы отправились в ушкульское общество, находящееся на юго-восточной части котловины, на Ингуре, под глетчерами гор Адыша и Намаквама, на высоте 7 200 футов, в четырех-часовом расстоянии от Довбери. Два дела призывали туда губернатора. Надо было помочь ушкульцам, у которых град сильно повредил хлеба и сенокосы; надлежало потушить возгоревшуюся кровную месть между двумя ветвями рода Нижерадзе. Был уже убит отец приехавшего с губернатором Нижерадзе и четверо ранены.

Дорога к ушкульцам идет все время крутыми подъемами и спусками над глубокой пропастью Ингура. Ширина тропы не более шести четвертей. Почти отвесные отроги покрыты лесами. Они отделены друг от друга только узкими и короткими расщелинами. Здесь, по дороге, нет места ни земледелию, ни пастбищам. За час до приезда перед нами неожиданно и разом открылись башни четырех сопелей ушкульского общества, гигантские глетчеры, из которых берет свое начало Ингур, и замок Тамары. Прекрасно сохранившийся огромный замок стоит на вершине горы, командующей над Ушкулем. По преданию, в этом замке провела

* Речь была произнесена необыкновенно красиво. Оказалось, оратор много раз живал в Кутаисе на садовых работах.

четырнадцать лет дочь Тамары, Русадана, бежавшая из Тифлиса, вследствие занятия его монголами.

Большая толпа сванетов собралась у дома ехавшего с нами Нижерадзе. Женщины плакали и кричали: «Нам нечего есть». Губернатор слез с лошади, подошел к толпе и держал слово. Он сказал, что знает о постигшем ушкульцев несчастии и приехал им помочь. Пусть они выберут по нескольку человек из каждого сопеля, которые укажут наиболее пострадавших. Этим он сегодня же окажет помощь. Сверх того, он ходатайствует о дальнейших пособиях обществу и уверен, что они скоро будут разрешены. Общество освобождается от податей на этот год. Затем губернатор убеждал ушкульцев прекратить, ввиду постигшего их несчастья, ссоры и братоубийственное кровопролитие; он предложил или выбрать медиаторов, которые выслушали бы обе стороны, по совести определили размер вознаграждения правой стороны и тем прекратили бы кровную месть.

Несколько голосов из толпы закричали: «Так надо сделать!»

Ушкульцы немедленно приступили к выбору представителей от сопелей для указания наиболее пострадавших от града и к выбору медиаторов. Шум был необычайный; князья Дадешкелиани несколько раз входили в толпу и умеряли ее страстное настроение. Выборы заняли около часу времени. Уездный начальник, Н.И.Родзевич, занялся с выбранными представителями составлением списка для распределения помощи и, при этом, ввиду дальнейших пособий обществу, записывал, со слов представителей, всех домохозяев сопелей и у кого сколько душ в доме, земли и скота. Окончив это дело, уездный начальник получил от губернатора 400 руб., которые отдал представителям для распределения денег по составленному списку. Медиаторов выбрали четырнадцать человек, по семи с каждой стороны; одному из них предоставили два голоса. Губернатор просил медиаторов отправиться немедленно в Шальян для присяги, на что они согласились.

Раздача денег, раздача губернатором и его спутниками мужчинам табаку, женщинам и детям леденцов привели ушкульцев в веселое настроение. Начались песни и танцы, не прекращавшиеся вплоть до нашего отъезда. Все общество вернулось в Довбери в чрезвычайно приятном настроении. Обедали с «толум-башем» и тостами*.

После обеда выбрали место с живописным видом, постлали на траве бурки, легли в кружок и в оживленной беседе провели остальную часть дня. В десятом часу луна осветила своим таинственным светом снежные вершины сванетского хребта, его лесистые отроги, шумные воды Ингура и сопели кальского общества. Расхо-

* У грузин есть обычай выбирать на обед лицо, обязанность которого произнести тост за каждого из обедающих. Такое лицо называется «толум-баш», что значит: голова стола. У нас толум-баш был мировой посредник, грузин родом.

диться не хотелось, а надо было, — нам предстоял на утро Латпарский перевал.

Едва взошло солнце, как мы уже поднимались лесистой тропой на Латпари. Подъем — удобный. К десяти часам достигли площадки перевала, покрытой пожелтелой травой и ярким мохом. Площадка открыта на юг и на север. Восток и запад закрыты двумя острыми пиками, возвышающимися футов на 700 над уровнем площадки. Восточным пиком скрыта вся масса Сванетского хребта.

С высоты Латпарского перевала взор обнимает огромное пространство, занятое горами; горы видны от самой подошвы до вершины, от полосы зеленеющих лугов и лесов до области непреходящей зимы. Южный вид совершенно стушевывается перед видом на север. Хотя Эльбрус был закрыт облаками, но большая часть высочайших гор главного хребта сияли полным блеском. Ближе всего к Латпари стоит цепь сплошных снегов Тетнульда, Адыша, Чхарских пиков и Намквама. Над ледяной площадью Тетнульда и Адыша возвышаются два правильных и чрезвычайно изящных снежных конуса. С обоих спускается в ущелье знаменитый Адышский ледник. Из-за массы снежных зубцов Чхарского хребта выступает куполообразная вершина Намквама. Вся эта цепь окаймлена гигантской бахромой ледников; до пятнадцати глетчеров спускается с нее; одни из глетчеров ползут в ущелья, другие висят по склонам снежных пиков. От Тетнульда тянется дугообразно на север стена главного хребта с множеством резко очерченных вершин самой разнообразной формы. Впереди стены поднимаются к небу две остроконечных скалы Ужбы; подошвы горы не видно; отвесные скалы ее кажутся висящим в воздухе колоссальным замком. Вся эта дивная панорама возвышала душу своим величием. Кругом торжественная тишина, ни звука; обитель человека оставлена; пред нами — срединный мир ледяных гор, — мир, кажущийся неподвижным, неизменяющимся и вечным, как само время; над величественно безмолвными вершинами висел как бы третий мир — голубой небесный свод — и изливал из себя свет, теплоту и радость.

Жаль было оставлять эту природу. С высоты Латпари мы прощались с ледяным Кавказом, со снежными вершинами и глетчерами, со свежим бодрящим воздухом высоких гор... На коней, — и мы стали спускаться в южную, полутропическую природу.

Спуск очень крут. Внизу, на глубине 6 000 футов, извивалась серебристой тесьмой река Цхенисцхали и чернелось ее глубокое ущелье. В долине реки видно было селение Лашхеты. Горизонт закрывался лесистыми горами, вышиной от 6 до 9 тысяч футов.

Мы ехали прекрасными альпийскими лугами, покрытыми массою разнообразных и ярких цветов. Особенно хороши были желтые лилии на зеленых стеблях, в два аршина вышиной. Достигнув леса, остановились у ручейка и зажарили шедшего с нами барана. Затем, лесной тропой спустились с Латпари в веселую, с кукурузными полями долину реки Цхенисцхали и в четыре часа подъез-

жали к канцелярии чолурского общества, одного из трех обществ Дадьяновской Сванетии.

В канцелярии нашли старшину, которого попросили принести воды, купить хлеба, сыру и яиц. К пяти часам принятие пищи было окончено; и так как мы не чувствовали большой усталости, то решили ехать до следующего селения Дадьяновской Сванетии, Лентехи, находящегося в двадцати верстах от Чолури.

Через полчаса мы были в Цхенисцхальском ущелье, составляющем продолжение долины на запад, и ехали им по удобной, высеченной в скале, тропе, вплоть до селения Лентехи. Все время, на расстоянии 18-ти верст, ущелье поражает своей красотой. Трудно найти природу, к которой было бы более приложимо употребительное у немцев выражение: «hoch romantisch»*. Оба берега ущелья состоят из высоких, живописных скал, укрытых густым сосновым и лиственным лесом. Красноватый цвет обнаженной иногда скалы чрезвычайно эффектно выдвигался на темнозеленом фоне богатой растительности. Внизу ущелье наполнено самой разнообразной, оранжерейной флорой; деревья и камни обвиты плющем. С высоты скал падает несколько водопадов. Стальная вода быстро бегущей Цхенисцхали шумит и серебрится, разбиваясь о камни. Ущелье извивается, и ближайшие пейзажи меняются непрерывно. За полверсты до Лентехи ущелье разом расширилось и перешло в долину.

В Лентехи прибыли в десятом часу. Остановились в канцелярии. Пока варили куриный суп, мы попивали местное вино и наслаждались вечером. Луна ярко освещала мягкую природу окружающих гор, фруктовые сады и виноградники лентехцев. Местность, краски, нежный воздух напомнили нам окрестности Комо.

Следующий день мы продолжали путь долиною Цхенисцхали, которая у селения Лентехи круто поворачивает на юг. Этим селением оканчивается Дадьяновская Сванетия и начинается благословенная Мингрелия. Долина усеяна хуторами и утопает в фруктовых садах. Дорога идет в тени буков, каштанов, грецкого ореха, лавра, тутового дерева, миндального дерева, рододендронов и азалий. Цхенисцхали течет здесь широкою рекой. По бокам долины тянутся покрытые лесом горы от 4-х до 7-ми тысяч футов над уровнем моря. На высоких холмах красуются развалины замков. Спустя четыре часа пути от Лентехи, долина вдруг суживается, и река ревет в узком проходе между двух высоких скал. Этот узкий проход занимает не более четверти версты, и затем совершенно неожиданно открывается новый пейзаж: далекий горизонт, долина расширилась на несколько верст, горы значительно понизились и имеют отлогие скаты. Здесь, в деревне Мазаше, лежит по дороге камень, на котором видны как бы следы копыта мула. С этим камнем у дадьяновских сванетов связана следующая легенда. Ехал на муле Иисус Христос в Сванетию. Но, прибыв к месту, где две

* Чрезвычайно романтичная (*нем.*). (*Ред.*)

отвесные скалы образуют узкий проход, испугался трудности пути и вернулся назад. Нам сообщали, что сванеты весьма сожалеют о случившемся; они полагают, что жили бы гораздо лучше, если бы Христос доехал до Сванетии.

Миновав узкий проход и проехав версты две по расширенной долине, мы подъезжали, в жаркий полдень, к местечку Цагери. Скоро отыскали дом уездного начальника, Н.И.Родзевича, от которого везли жене поклон. Здесь нас приняли самым радушным образом. Вечер провели, слушая Бетховена в исполнении С.И.Танеева.

От Цагери до Кутаиса восемьдесят верст. Их можно сделать на колесах, но в местечке нет экипажа. С.И.Танеев торопился в Москву, а потому решили проехать это расстояние в один день. Рано утром пришли новые лошади и при них два мингрельца. Лошади были наняты за 20 рублей, по 4 рубля каждая. Чтобы достигнуть Кутаиса в течение дня, следовало ехать крупным шагом, а иногда и рысью. Пришедшие проводники не имели для себя лошадей; г-жа Родзевич была так любезна, что дала нам конного провожатого.

Дорога из Цагери в Кутаис идет сначала цхенисцхальской долиной, а потом, в пятнадцати верстах от местечка, начинается долина Риона, которая считается самой красивой на всем Кавказе. Плавно течет широкий Рион среди роскошной растительности и мягких очертаний гористых берегов долины. Густая населенность почти не прерывается; для путника в селениях — «духаны», где он может насытиться курицей, сыром и яйцами, утолить жажду приятным вином и найти ночлег.

Очаровательной Рионской долиной, в тихую лунную полночь, въезжали мы в Кутаис.

КОММЕНТАРИИ

Глава I

Детство и юность. Семья и школа. Университет. Первые странствия

[1] Род *Ковалевских* происходит от польского выходца Симеона Ковалевского, переселившегося в Россию в 1650 г. Им была получена от царя Алексея Михайловича жалованная грамота. Его единственный сын Василий (1682), сделавший карьеру в казацком войске, стал харьковским полковым обозным. Подпись есаула Ивана Ковалевского стоит под актом избрания в запорожские гетманы Юрия Хмельницкого. От этих генеалогических корней пошли многочисленные представители рода Ковалевских, принадлежавших к слободскому украинскому шляхетству. Среди них, помимо казацких должностных лиц, были гражданские, военные и даже духовные служивые люди. Чины предков не были высоки (Фатеев А.М. Максим Ковалевский. Харьков, 1917).

[2] Царь *Алексей Михайлович* предоставил право казачьим полковым чинам занимать пустующие за Белгородским рубежом земли. Эти земли получили название «старозаимочных» (Иляшевич Л.В. История Харьковского дворянства. Харьков, 1885).

[3] Дед — *Ковалевский Максим Иванович* — секунд-майор, владел имением в 140 душ (Григоривка и Ольшаны), в 1782 г. был Золочевским уездным предводителем дворян. (Иляшевич Л.В. Указ. соч.).

[4] Отец — *Ковалевский Максим Максимович* (1793—1864?) по окончании Харьковской губернской гимназии в 15 лет поступил на военную службу. По окончании Отечественной войны 1812 г. вышел в отставку в чине полковника и поселился в родовом поместье в Ольшанах, занялся успешно сельским хозяйством и сумел удвоить свое состояние. Был сторонником освобождения крестьян от крепостной зависимости. Своей деятельностью сумел доказать, что отмена крепостной зависимости не подрывает умело руководимое хозяйство. (Фатеев А.М. Указ. соч.).

[5] *Фенелон Франсуа Самильяк де ла Мот (Fénelon)* (1651—1715) — французский писатель, член французской Академии наук с 1693 г., архиепископ Камбре с 1695 г. Критиковал деспотизм и отстаивал принципы просвещенной монархии. Автор «Приключений Телемака».

[6] Фатеев А.М. в своей работе «Максим Ковалевский» (Харьков, 1917) сообщал, что Максим Максимович так увлекался игрой на фортепьяно, что мечтал одно время поступить в консерваторию.

[7] *Рындовский Григорий* (1814—1898) — врач, профессор фармакологии Харьковского университета, учредитель Благотворительного и Музыкального обществ и Ботанического сада в Харькове.

[8] *Лялин Пимен Петрович* (1798—?) — землевладелец Харьковской губернии, коллежский регистратор, член Харьковского губернского комитета по крестьянскому делу. 11 августа 1862 г. был арестован по делу о сношении с лондонскими пропагандистами. С 22 мая 1865 г. проживал под надзором полиции в Сумском уезде Харьковской губернии.

[9] *Хрущов Дмитрий Петрович* (1816—1864) — государственный деятель, сторонник освобождения помещичьих крестьян. С 1856 г. товарищ министра государственных имуществ.

[10] *Долгоруков Николай Андреевич*, генерал-адъютант, с 1839 по 1847 гг. генерал-губернатор Харькова, соединял в своих руках управление тремя украинскими губерниями с властью попечителя Харьковского учебного округа (Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования. Харьков, 1912. Т. 2).

[11] *Рындовская* (урожденная Познанская) *Мария Игнатьевна*, сестра Н.И.Ковалевской, матери М.М.Ковалевского.

[12] *Солярная система* (теория) стремилась реконструировать древнюю мифологию, объясняя содержание мифов обожествлением явлений природных светил.

[13] *Миллер Орест Федорович* (1833—1889) — фольклорист и литературовед, профессор истории, русской литературы Петербургского университета с 1863 г., сторонник мифологического толкования народного творчества. Впервые предпринял систематическое изучение народного творчества. Примыкал к мифологической школе.

[14] *Мюллер (Müller) Макс (Фридрих Макс)* (1823—1900) — английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии и мифологии. Профессор Оксфордского университета. Создатель солярной теории. (См.: Сравнительная мифология. М., 1863).

[15] *Лука Жидята* (Жирята) умер в 1060 г. Первый русский епископ Новгорода (1036—1060). Возведен в сан по инициативе Ярослава Мудрого. Лука Жидята, по гипотезе А.А.Шахматова, был инициатором составления первого новгородского летописного свода (1050), автор переводов с греческого языка и оригинальных сочинений на религиозные темы. До нас дошло небольшое нравоучительное сочинение «Поучение к братии».

[16] *Иларион Киевский* — первый Киевский митрополит с 1051 г., до этого просвитер при церкви в княжеском селе Берестове под Киевом. Автор блестящего ораторского произведения Древней Руси «Слово о законе и благодати».

[17] *Стоянов Андрей Николаевич* (1830—1907), до 1885 г. профессор истории законодательств Харьковского университета, читал также международное право, энциклопедию права и римское право, с 1876 по 1886 гг. декан юридического факультета.

[18] *Бобринский Алексей Александрович* (1852—1927) — юрист, гофмейстер, председатель «Совета по объединению дворянства», предводитель дворянства Петербургской губернии, депутат III Государственной Думы, сенатор, с 1912 г. член Государственного Совета.

[19] «Читаются конференции» — конференцией в начале XX в. назывались практические занятия, на которых учили работать с источниками (См.: Ивановский И.А. Максим Ковалевский. Биографический очерк. Пг., 1916. С. 6).

[20] Толстовским классицизм назван по имени министра народного просвещения в 1868—1880 гг. *Толстого Дмитрия Андреевича* (1823—1889), проведшего в 1871 г. реформу среднего образования, заключавшуюся в усилении преподавания латинского и греческого языков.

[21] *Рославский-Петровский Александр Петрович* (1816—1872) — историк и статистик, профессор истории Харьковского университета.

[22] *Каченовский Дмитрий Иванович* (1827—1872) — юрист, специалист по международному и государственному праву, истории политических учений, профессор Харьковского университета.

[23] *Бингерсхук (Bynkershoek или Bÿnkershoek) Корнелис ван* (1673—1743) — голландский юрист.

[24] *Лоран (Laurent) Франсуа* (1810—1887) — бельгийский историк и юрист, профессор гражданского права Гентского университета. (См.: Laurent F. Etudessur l'histoire de l'humanité. Histoire du droit des qens. V. 1—8. Paris, 1865—1880).

[25] *Галлам (Hallam) Генри* (1777—1859) — английский историк. (См.: Hallam H. A View of the state of Europe during the Middle Ages, vol 1—3. London, 1818).

[26] *Станиславский Антон Григорьевич* (1817—1870) — с 1857 г. профессор энциклопедии и римского права Харьковского университета.

[27] *Потебня Александр Афанасьевич* (1835—1891) — филолог, с 1875 г. профессор Харьковского университета.

[28] *Цитович (Цытович) Петр Павлович* (1843—1913) — ученый и педагог, специалист в области гражданского права, впоследствии член Совета Министерства финансов.

[29] *Гаттенбергер Константин Константинович* (1843—1898) — юрист, профессор полицейского права Харьковского университета.

[30] *Книс (Knies) Карл Густав Адольф* (1821—1898) — немецкий экономист, профессор Фрейбургского и Гейдельберского университетов.

[31] *Владимиров Леонид Евстафьевич* (1845—?) — криминалист, с 1873 г. профессор уголовного права Харьковского университета; автор учебников по уголовному праву России.

[32] *Каченовская Вера Кондратьевна* — мать Д.И.Каченовского.

[33] *Шимков Андрей Петрович* (1839—?) — физик, профессор Харьковского университета.

[34] *Бекетов Николай Николаевич* (1826—1911) — химик, с 1855 по 1887 гг. профессор Харьковского университета, с 1886 г. академик.

[35] *Гиршман Леонард Леопольдович* (1839—1921) — окулист, заслуженный профессор и директор глазной клиники Харьковского университета.

[36] *Петенкофер (Petenkoffer) Макс* (1838—1901) — немецкий врач-гигиенист.

[37] *Миттермейер (Mittermaier) Карл Иосиф Антон* (1787—1867) — немецкий юрист-криминалист.

[38] *Бинер (Biener) Фридрих-Август* (1787—1861) — немецкий историк права, с 1810 по 1834 гг. профессор Берлинского университета.

[39] Учреждение кафедры государства и права, как самостоятельной, было утверждено университетским уставом 1863 г.

[40] *Эскирос (Esquiros) Андри Альфонс* (1812—1876) — французский писатель и политический деятель, в 1849 г. — член Законодательного собрания, после поражения революции был изгнан из Франции, с 1851 г. жил в Англии.

[41] *Зарудный Митрофан Иванович* (1834—1883) — юрист, член комиссии по подготовке судебных уставов. М.М.Ковалевский дает неверное название, следует: Зарудный М.И. Общественный быт Англии. Очерки земства, города и суда с характеристикой соответствующих учреждений Франции и современных преобразований в России. СПб., 1865.

[42] *Васильчиков Александр Илларионович* (1818—1881) — помещик, земский деятель, экономист, публицист, автор сочинения «О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений». (Т. 1—3. СПб., 1869—1871).

[43] *Данкварт (Dankward) Генрих* — немецкий юрист, адвокат в Ростоке, устанавливавший связь между юриспруденцией и народным хозяйством. Один из этюдов его книги «Hationalöekonomue und Jurisprudendent» (in 4

Teilen. Rostoek, 1854—1859) был переведен в России. См.: Гражданское право и общественная экономия. Этюды Данкварта. Перевод П.Цитовича. СПб., 1866.

[44] М.М.Ковалевский имеет в виду работу Лассаля «Das system des Erworfenen Rechte». In 2 Teilen (Zeipzig, 1861). В этой работе Лассаль останавливается на вопросе обратного действия законов и характеристике римского и германского наследственного права в их историческом развитии.

[45] *Арндт (Arndts von Arnesderg) Карл-Людвиг* (1803—1878) — немецкий юрист, профессор юриспруденции Боннского, Бреслауского, Мюнхенского, с 1855 г. — Венского университетов.

[46] Гражданское право, действовавшее в Германии в XVI—XIX вв., явилось, по существу, переработкой римского частного права и византийских пандектов, которые в свою очередь представляли собой систематизацию извлечений из сочинений римских юристов. Пандектное право оказало большое влияние на буржуазную теорию права.

[47] *Стоянов Антон Григорьевич* (1817—1883) — профессор римского права Харьковского университета.

[48] *Рудольф (Рудорф) (Rudorff) Адольф Август Фридрих* (1803—1873) — немецкий историк, профессор Берлинского университета.

[49] *Столон Гай Лициний Калв* — политический деятель Древнего Рима, в 317 г. до н. э. — народный трибун, в 367(366), 364 и 361 гг. до н. э. — первый плебейский консул. В первый год своего консульства совместно с консулом Секстием Латераном провел ряд законов, которые были направлены против роста крупного землевладения и привилегий патрициев и свидетельствовали о политическом и экономическом усилении плебса.

[50] *Сокальский Иван Петрович* (1830—1896) — профессор политической экономии и статистики Харьковского университета.

[51] *Фриман (Freeman) Эдуард Огасте* (1823—1892) — английский историк, профессор Оксфордского университета. Занимался, в основном, периодом нормандского завоевания Англии и историей английской конституции, наибольшую известность получил благодаря своей работе «History of Europe». Ld. 1975. («История Европы»).

[52] *Кембль (Kemble) Джон-Митчел* (1807—1857) — английский историк и филолог.

[53] *Нассе (Nasse) Эрвин* (1829—1890) — немецкий экономист, профессор Базельского, Ростокского и Боннского университетов.

[54] *Сибом (Себом) (Seebonm) Эрвин* (1833—1912) — английский экономист, банкир.

[55] Речь идет о «Капитале» Карла Маркса.

[56] *Кауц (Kautz) Юлиус* (1829—1919) — венгерский экономист, профессор Пештского университета, с 1892 по 1900 гг. — директор Австро-Венгерского банка.

[57] *Иеринг (Ihering) Рудольф фон* (1818—1892) — немецкий юрист, профессор Базельского, Ростокского, Гиссенского, Венского и Геттингенского университетов. Основная работа: «Дух римского права» (1852—1865).

[58] *Бунге Николай Христианович* (1823—1895) — экономист, с 1859 г. читал курс политической экономии в Киевском университете, в 1881—1886 гг. — министр финансов, с 1887 г. председатель Комитета министров.

[59] Ковалевский М.М. имеет в виду работу Прудона «Система экономических противоречий или философия нищеты». В этой работе Прудон выступил проповедником «слияния» в один класс пролетариата и буржуазии.

Объясняя эксплуатацию пролетариата лишь «злоупотреблениями» со стороны буржуазии, он видел возможность их ликвидации в создании дарового кредита и организации взаимных (mutuel (*франц.*) — взаимность) услуг всех членов общества и организации обществ взаимопомощи, кооперативов и т.п.

[60] *Ковалинский Дмитрий Михайлович* — генерал-майор, начальник Харьковского губернского жандармского управления.

[61] *Ковальский Яков Игнатьевич* (1845—?) — кандидат Харьковского университета, лаборант при физическом факультете. За участие в революционном движении неоднократно привлекался к следствию.

[62] *Ковальская Елизавета Николаевна* (урожденная Солнцева) (1852—1933), жена Я.И.Ковальского, революционерка-народница. В 70-х годах вела революционную работу в Харькове и Петербурге. Была близка к «Земле и Воле», после ее раскола вступила в «Черный передел». В 1880 г. участвовала в организации «Южнорусского рабочего союза», за что была приговорена к бессрочной каторге. В 1903—1917 гг. находилась в эмиграции, состояла в партии эсеров (Левандовский А. Е.Н.Ковальская. М., 1928).

[63] *Тентенников Андрей Иванович* — персонаж поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души».

[64] *Грубе Вильгельм Федорович* (1827—1898) — профессор, директор хирургической клиники Харьковского университета.

[65] *Кропоткин Дмитрий Николаевич* (1836—1879) — князь, двоюродный брат П.А.Кропоткина, флигель-адъютант, харьковский генерал-губернатор. 9 февраля 1879 г. убит народовольцем Г.Гольденбергом.

[66] *Нечаев Сергей Геннадиевич* (1847—1882) — революционер-народник, анархист. Вольнослушатель Петербургского университета, в 1868—1869 гг. участвовал в студенческих волнениях, а затем скрылся за границу. Летом 1869 г. написал «Кахетизис революционера». Основным лозунгом этого произведения было: «Цель оправдывает средства». Вернувшись в сентябре 1869 г. в Москву, организовал общество «Народная расправа». Методы мистификации, взаимного обмана, шантажа, практикуемые Нечаевым, вызвали протест члена организации Н.И.Иванова. Боясь разоблачения, Нечаев организовал убийство Иванова, дабы сцементировать кровью организацию, а сам скрылся за границу. В 1872 г. был выдан швейцарскими властями русскому правительству и осужден на пожизненное заключение в Петропавловской крепости, где и умер.

[67] Речь идет об *Иваницком Федоре Игоревиче* (1869—?), революционере-народнике, в 1883 г. привлекался по делу В.Н.Фигнер, был приговорен к ссылке, где пробыл до 1891 г. Вернувшись из ссылки, стал членом «Союза освобождения», с 1905 г. — кадет. После роспуска I Государственной Думы был выслан из Харьковской губернии за подпись Выборгского воззвания.

[68] *Милль (Mill) Джон-Стюарт* (1806—1873) — английский философ, экономист, сторонник классической школы политической экономии, отстаивал теорию народонаселения Мальтуса.

[69] *Токвиль (Tocqueville) Шарль Алексис* (1805—1859) — французский историк, в 1848 г. — член Учредительного собрания, в 1849 г. — министр иностранных дел в кабинете Одилона Барро.

[70] *Кокс (Cox) Эдуард-Вильям* (1809—1879) — английский юрист.

[71] *Батби (Batbu) Ансельм Поликап* (1828—1887) — французский юрист и политический деятель. В 1873 г. — министр народного просвещения, сенатор.

[72] *Пасси (Passy) Ипполит* (1793—1880) — французский экономист и политический деятель, министр иностранных дел в кабинетах Тьера (1840) и Одилона Барро (1849).

[73] См.: Ковалевский М.М. Д.И.Каченовский. Характеристика Д.И.Каченовского в связи с личными о нем воспоминаниями. Харьков, (б/д); Ковалевский М.М. Мое научное и литературное скитальчество // Русская мысль. 1895, кн. I. С. 61—80.

[74] *Кудрявцев Петр Николаевич* (1816—1858) — историк, с 1847 г. — профессор Московского университета, друг Т.Н.Грановского.

[75] *Ветлек (Westlake) Джон* (1828—1913) — английский юрист, член парламента, 1888—1909 гг. — профессор международного права Кембриджского университета.

[76] *Пратт (Prait) Фредерик Томас* (1799—1868) — английский юрист, адвокат лондонской корпорации «Doctor's Conunons», переводчик.

[77] Знакомство Д.И.Каченовского с Герценом А.И. относится к 1858 г. В письме к М.К.Рейхель от 8 апреля 1858 г. Герцен так отзывается о нем: «Качен[овским] я бесконечно доволен — очень умный и дельный человек». (Герцен А.И. Полн. собр. соч. В 30 томах. Т. XXVI. М., 1963. С. 171).

[78] *Вырубов Григорий Николаевич* (1843—1913) — философ-позитивист, химик, писатель, журналист. Жил и работал в Париже.

[79] *Лист (List) Франц фон* (1851—1919) — австрийский юрист, специалист в области международного и уголовного права. Один из создателей союза криминалистов, автор курса «Международное право в систематическом изложении» (Берлин, 1898).

[80] Парижский конгресс работал с 25 февраля по 30 марта 1856 г.

[81] М.М.Ковалевский ошибается: лондонская декларация о праве морской войны была подписана 26 февраля 1909 г. (См.: Лондонская морская конференция 1908—1909. СПб., 1910). Страны, участницы конференции, подписавшие декларацию: Германия, США, Австро-Венгрия, Испания, Франция, Великобритания, Япония, Италия, Нидерланды и Россия. Несмотря на это, ни одна из этих стран не ратифицировала декларацию. Она рассматривалась как документ, в котором были зафиксированы общепризнанные правила и обычаи морской войны того времени. Однако, ни одно государство с началом Первой мировой войны не придерживалось положений декларации.

[82] *Гроции Гуго де Гроот* (1583—1645) — голландский историк, юрист и дипломат. Его трактат «De Mari libero» («Свободное море») был направлен против исключительного права торговли Испании в Индии, защищает проект свободного пользования морями.

[83] *Сельден (Selden) Джон* (1584—1654) — английский юрист и историк. В книге «Mare clausum» («Закрытое море») Сельден выступил против принципа Гроция «Mare liberum» и обосновал английские притязания на господство над морями.

[84] А.И.Герцен умер 9(21) января 1870 г. от воспаления легких.

[85] *Тьер (Thiers) Адольф* (1797—1877) — французский историк и государственный деятель. В 1836 и 1840 гг. премьер-министр, в 1871—1873 гг. — президент республики.

[86] *Дюпон-Уайт (Dupont-White) Шарль* (1807—1878) — французский адвокат, писатель и политический деятель; сторонник централизации и расширения компетенции политической власти.

[87] *Прево-Парадоль (Prévost-Paradol) Люсьен* (1820—1870) — французский журналист, академик, впоследствии сторонник императора Наполеона III.

[88] *Ришелье (Richelien) Арман Жан дю Плесси* (1585—1642) — герцог, кардинал, французский государственный деятель. Создание Ришелье института интендантов преследовало цель укрепления абсолютистского государства. Назначенные на места интенданты выполняли административные функции и являлись лишь исполнителями королевской власти, в то же время были совершенно неподсудны парламентской юстиции. В 1648 г., во время Фронды, в некоторых провинциях должность интендантов была отменена, но уже в 1654 г. вновь восстановлена. Лишь после революции 1789 г. часть их функций перешла к префектам.

[89] *Корменен (Kormenen) Луи Мари де ла Ге* (1788—1868) — виконт, французский юрист, политический деятель, в 1848 г. — вице-президент Учредительного собрания.

[90] *Вильмен (Vilemain) Абель Франсуа* (1790—1870) — французский писатель и государственный деятель.

[91] М.М.Ковалевский ошибается. Магистерская диссертация Д.И.Каченовского называлась «Исторический обзор положений международного права о владычестве над морями».

[92] *Каперство* — нападение вооруженных частновладельческих судов воюющих государств на неприятельские торговые суда, а также на торговые суда нейтральных стран. Д.И.Каченовский требовал уничтожения каперства. Парижская декларация 1856 г. провозгласила отмену каперства.

[93] *Лоример (Lorimer) Джеймс* (1818—1890) — английский юрист, профессор международного права Эдинбургского университета.

[94] *Витон (Wheaton) Генри* (1785—1848) — американский юрист и политический деятель, профессор Гарвардского университета.

[95] *Капустин Михаил Николаевич* (1829—1899) — юрист, профессор международного права Московского университета, позднее директор Демидовского лицея в Ярославле, попечитель Дерптского, а затем Петербургского учебных округов.

[96] *Самас де Турнемир* (псевдоним: Евгения Тур) *Елизавета Васильевна*, графиня (урожденная Сухово-Кобылина) (1815—1892) — писательница. В 1861 г. издавала газету «Русская речь». Обозрение литературы, истории, искусства и общественной жизни на Западе и России. № 1—38. В мае 1861 г. газета слилась с «Московским вестником», с 39 номера стала выходить под названием «Русская речь и Московский вестник».

[97] 24 декабря 1851 г. в результате антиконституционных действий Луи Наполеон провозгласил себя императором Наполеоном III.

[98] См.: Стоянов А.Н. Очерки истории и догматики международного права. Лекции, читанные в 1873—1874 академическом году в Харьковском университете. Харьков, 1875.

[99] *Мартенс Федор Федорович (Фридрих-Фромгольд)* (1843—1909) — дипломат и юрист, с 1873 г. — профессор международного права Петербургского университета, в 1884 г. избран президентом европейского Института международного права.

[100] С 23 апреля по 18 июня 1867 г. в Москве работала Всероссийская этнографическая выставка. В то же время под предлогом посещения выставки Московский славянский комитет организовал съезд представителей всех славянских народов. В работе съезда приняли участие около 80 депутатов, представлявших общественность славянских народов, находящихся под властью Турции и Австро-Венгрии. Московские славянофилы и панслависты видели в съезде возможность закрепления за Россией главенствующей роли в славянском освободительном движении. Русское правительство, покровительствуя съезду, надеялось через единение славян уси-

лить свое влияние на Балканах. (Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах. М., 1960). В это время одним из корреспондентов «Москвы» Каченовский был обвинен в «западничестве» на том основании, что этому съезду он не придавал никакого значения.

[101] *Палюмбецкий Александр Иванович* (1810—1897) — юрист, профессор уголовного права Харьковского университета, в 1842—1852, 1872—1873 гг. — ректор, с 1862 г. — декан юридического факультета.

[102] *Ламброзо Чезаре* (1836—1909) — итальянский психиатр, основатель антропологического направления буржуазной криминалистики.

[103] *Сисмонди (Sismondi) Жан Шарль Леонар Симонд де* (1773—1842) — французский экономист и историк.

[104] *Алексеенко Михаил Мартынович* (1847—1917) — экономист, профессор и ректор Харьковского университета, член III и IV Государственной Думы, председатель думской бюджетной комиссии, октябрист.

[105] Речь идет о *Добротворском Василии Ивановиче* (умер в 1894 г.) — протоиерей, с 1858 г. профессор богословия логики и психологии Харьковского университета.

[106] *Залесский Николай Лаврентьевич* (1835—?) — профессор судебной медицины Харьковского университета, фармаколог.

[107] *Шауэнштейн (Schauenstein) Адольф* (1827—?) — австрийский врач, с 1863 г. профессор судебной медицины в Граце.

[108] *Карпов Геннадий Федорович* (1848—1890) — профессор русской истории Харьковского университета.

Глава II

Годы заграничного ученичества и странствий

А) Прага и Вена. Берлин

[1] *Гогенварт* (Hohenwart) *Карл Сигизмунд* (1824—1899) — австрийский государственный деятель; сторонник автономии различных народностей, проживавших в Австро-Венгерской империи; в 1871 г. в течение 9 месяцев занимал пост министр-президента, затем возглавлял весьма влиятельную консервативно-федералистскую партию в рейхстаге.

[2] *Славянофилы* и *западники* — представители двух противоборствующих направлений русской общественной мысли и литературы, возникших в середине XIX в. Основу их идеологического конфликта составлял вопрос об историческом пути развития России как в прошлом, так в настоящем и будущем. Если первые (А.С.Хомяков, братья Киреевские и Аксаковы, Ю.Ф.Самарин, Н.Я.Данилевский и др.) выдвинули теорию национальной самобытности России со свойственными только ей особым сочетанием общинности, веры и своеобразными отношениями власти и народа, что, по их мнению, должно было обеспечить России первенствующую роль во всемирно-историческом процессе, то вторые (В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, В.П.Боткин, П.В.Анненков и др.) считали, что историческая судьба и общественно-политический строй России следуют как в настоящем, так и в будущем тем же законам и порядку развития, что и Запад.

[3] *Панславизм* — общественно-политическое течение, оформившееся в 1-й половине XIX в., в основе которого лежала идея объединения всех славянских народов под эгидой России как наиболее могущественного и независимого славянского государства. Наряду с положительными тенден-

циями (расширение и укрепление культурных, научных, политических связей славянских народов, их единение в борьбе против иностранных поработителей) это направление имело и свои реакционные черты и прежде всего — националистическое утверждение о превосходстве славян над другими народами, об историческом предназначении России, ее гегемонии в славянском мире и т.д. Панславизм послужил идейной основой возникшего чуть позже славянофильства.

[4] *Шмерлинг (Schmerling) Антон* (1805—1893) — австрийский государственный деятель, либерал; в 1860—1865 гг. министр-президент и министр внутренних дел Австрии; под «конституцией» Ковалевский, вероятнее всего, имеет в виду принятие правительством Шмерлинга т.н. Февральского патента 1861 г., ликвидировавшего некоторые, дарованные Венгрии Октябрьским дипломом 1860 г., политические свободы и полностью подчинившего венгерский парламент австрийскому рейхсрату; патент просуществовал до 1865 г.

[5] *Деак (Deák) Ференц* (1803—1876) — венгерский политический деятель; с 1832 г. по 1842 г. член венгерского парламента (сейма); в период революции 1848—1849 гг. занимал пост министра юстиции; несколько лет находился в эмиграции, но с 1860 г. снова в сейме, где возглавил т.н. Партию петиции, требовавшую признания автономных прав Венгрии и добившуюся в 1867 г. подписания австро-венгерского соглашения на основах дуализма, что послужило образованию Австро-Венгерской империи (1867—1918).

[6] Раньше, чем в других странах, конституционные начала развились и утвердились в Англии, где, начиная с XIII в., то есть с принятия в 1215 г. Великой хартии вольностей, различные сословия английского населения стремились ограничить королевскую власть и создать своего рода договор между нею и народным представительством, который бы обеспечивал права обеих сторон.

[7] *Цислейтанией* после образования Австро-Венгерской монархии называлась Австрийская империя, включавшая области — Нижняя и Верхняя Австрия. Буквально переводится — по эту (к Западу) сторону реки Лейты. Королевство Венгрия носило имя — *Транслейтания*.

[8] *Святой Венцеслав (Вацлав, Вячеслав)* (ок. 907—936) — герцог чешский (921—936); один из самых ярых ревнителей христианства в Чехии; был убит братом Болеславом, опиравшемся на языческую знать; после смерти был канонизирован; день Св. Вацлава приходится на 28 сентября. В эпоху раннего средневековья процесс формирования народностей Славяно-Балканского региона сопровождался созданием культа т.н. святых «патронов» страны — защитников от внешней опасности и внутренних смут; чаще всего ими становились члены правящей династии: в Чехии это — княгиня Людмила и герцог Вацлав, в Венгрии — короли Иштван I (Стефан) и Ласло I. Короны святых «патронов» утвердились в национальном самосознании как символы государственности данного народа.

[9] *Стефан Душан* (полное имя — Стефан Урош IV Душан Сильный, ок. 1308—1355) — сербский король (1336—1355, с 1346 — царь); в период его правления территория Сербии была значительно расширена за счет присоединения Македонии (1345), Албании (1345), греческих областей — Эпира и Фессалии (1348), в результате чего было создано обширное сербо-греческое царство, а сербский король провозглашен царем сербов и греков; в 1349 г. им был издан т.н. «Законник Стефана Душана», имевший целью служить основой судопроизводства и управления страной на всех уровнях.

[10] *Речь Посполитая* — двуединое польско-литовское государство, образовавшееся в результате заключения Люблинской унии 1569 г.; до середи-

ны XVII в. в него входила также значительная часть украинских и белорусских земель. Однако уже к началу XVIII в. некогда мощная военно-феодальная держава, раздираемая изнутри классовыми и национальными противоречиями и обескровленная многочисленными войнами, находилась в состоянии глубокого кризиса, что в конечном итоге привело к его полному распаду и троекратному (в 1772, 1793 и 1795 гг.) разделу между тремя более сильными соседями: Австрией, Пруссией и Россией.

[11] *Священный союз* — объединение Австрии, Пруссии и России, скрепленное Парижским договором 26 сентября 1815 г. после падения империи Наполеона I, просуществовало до 1833 г. Вскоре после образования к нему присоединилась Франция и ряд других европейских монархий, за исключением Ватикана и Англии. Цель Союза состояла в сохранении установленных Венским конгрессом 1814—1815 гг. границ и подавлении революционно-демократических и национально-освободительных движений на всем европейском континенте. Выработанные на конгрессах Союза принципы открытого вмешательства во внутренние дела государств послужили для них основой для вооруженной интервенции в Италию (1820—1821) и Испанию (1820—1823). Однако возникшие между странами-союзницами противоречия и успех революций во Франции и Бельгии в 1830 г. обусловили распад Союза.

[12] *Косцюшко (Костюшко, Kosciuszko) Тадеуш-Анджей-Бонавентура* (1746—1817) — деятель польского национально-освободительного движения XVIII в., в 1776—1783 гг. участвовал в войне за независимость североамериканских колоний; в 1794 г. — руководитель польского восстания.

[13] Братья *Лавровские* — вероятно, имеются в виду ученые-слависты: Петр Алексеевич (1827—1886) и Николай Алексеевич (1828—1899) Лавровские.

[14] *Франко-прусская война* 1870—1871 гг. велась между Францией, с одной стороны, и Пруссией, с присоединившимися к ней южно-германскими государствами. Закончилась поражением Франции, заключившей унизительный для нее Франкфуртский мирный договор (10 мая 1871 г.), в соответствии с которым она при уплате огромной контрибуции в полтора миллиарда франков теряла также Эльзас и Лотарингию, входящие отныне в состав Германской империи.

[15] *Кочубинский Александр Александрович* (1847—1907) — русский историк-славист; с 1871 г. преподавал на кафедре славяноведения Новороссийского университета; с 1871 г. в качестве доцента, а с 1877 г. профессора; в 1874—1876 гг. находился за границей с целью сбора научного материала, который регулярно посылал в виде отчетов, которые публиковались в «Записках Новороссийского университета».

[16] *«Московские ведомости»* — старейшая газета, выходила с 1756 по 1917 гг. С 1859 г. — еженедельная.

[17] *Палатский (Палацкий, Palacky) Франтишек* (1798—1876) — чешский историк и политический деятель, либерал; председательствовал на Славянском съезде в Праге в 1848 г. (см. прим 26); проводил политику, направленную на сохранение габсбургской монархии; один из идеологов австрославизма.

[18] *Ригер (Rieger) Франтишек-Ладислав* (1818—1933) — чешский политический деятель, публицист; с 1859—1874 гг. издавал 1-ю чешскую национальную энциклопедию; член австрийского рейхсрата, где горячо отстаивал федералистские требования чехов; представитель партии старочехов.

[19] *Старочехи* — правое, более умеренное крыло чешской национальной партии, состоящее в основном из представителей родовитого дворянства; с конца 80-х годов XIX в. стало постепенно терять свое влияние в

противовес набирающей силу и авторитет партии *младочехов*, составлявших в недавнем прошлом либеральное крыло национальной партии. Отстаивав в основном интересы промышленной буржуазии, младочехи уже в 1874 г. выделились в самостоятельную «партию свободомыслящих» и стали в 90-е годы XIX в. ведущей буржуазной партией Чехии. Их основное требование сводилось к преобразованию Австро-Венгрии в триединую Австро-Венгро-Чешскую монархию и превращению чехов в одну из господствующих в монархии национальностей.

[20] *Браунер (Brauner) Франтишек-Август* (1810—1880) — чешский политический деятель; депутат австрийского рейхсрата; один из наиболее видных представителей панславизма в Чехии; сторонник идеи славянской взаимности; одной из его заслуг в этом направлении было открытие православного храма в Праге; Александр II наградил его орденом Св. Владимира.

[21] *Патера (Patera) Адольф* — чешский ученый-славист, исследователь памятников славянской письменности, хранитель и библиотекарь Чешского музея; член Императорской Академии наук.

[22] Вероятно, имеется в виду известный чешский художник-карикатурист Собеслав Ипполит *Пинкас* (*Pinkas*) (1827—?).

[23] *Тун (Thun) Лео* (1811—1888) — граф, австрийский государственный деятель, чех по происхождению, один из ближайших советников императора Франца-Иосифа; в 1848—1860 гг. — министр по делам культа и просвещений.

[24] *Белогорское сражение* — одна из первых значительных битв начала тридцатилетней войны (1618—1648). Поводом послужило нарушение прав чешских протестантов со стороны императора Маттиаса (1585—1618). В этом противостоянии чехи получили сокрушительный удар: 8 ноября 1620 г. имперская армия под командованием наследника престола Максимилиана Баварского наголову разбила чешское войско в местечке Белая Гора, под Прагой. Эта убедительная победа позволила Габсбургам беспрепятственно насаждать католицизм по всей Чехии.

[25] *Габсбургский дом* — германо-австрийская династия, представители которой были императорами т.н. Священной Римской империи германской нации (с 1273 г. с некоторыми перерывами до 1806 г.), Австрийской империи (формально с 1804 г.), Австро-Венгрии (1868—1918), а также Испании (1516—1700).

[26] *Славянский съезд* состоялся 2 июня 1848 г. в Праге; на нем со всей очевидностью проявилась борьба двух течений в национальном движении, славянских народов, находящихся под гнетом Габсбургов. Правое, умеренно-либеральное крыло (Палацкий, Шафарик и др.), пытались разрешить национальный вопрос путем сохранения и укрепления Габсбургской монархии. Левое, более демократическое и радикальное, решительно выступало против и стремилось к совместным действиям с революционно-демократическими силами Германии и Венгрии. Чешских делегатов, принявших активное участие в Пражском восстании (июнь 1848 г.) подвергли жестоким репрессиям; оставшиеся представители объявили 16 июня с.г. об отсрочке дальнейших заседаний съезда на неопределенное время.

[27] Речь идет о *Славянском съезде в Москве* в 1867 г., собравшемся вскоре после подписания австро-венгерского соглашения с целью продемонстрировать на неофициальном уровне свое отношение к этому событию и еще раз подчеркнуть единение и братство славянских народов; в качестве положительных итогов было дальнейшее развитие и укрепление межславянских культурных и общественных связей.

[28] *Крамарж (Kramář) Карел* (1860—1937) — чешский политический и государственный деятель; юрист по образованию; с 1890 г. — лидер младочехов; в 1891—1914 гг. — депутат австрийского рейхсрата; сторонник союза Австро-Венгрии и России, под его руководством создана Национально-демократическая партия; в 1918—1919 гг. — премьер-министр первого чехословацкого правительства; в 1934 г. возглавил профашистскую партию «Национального объединения».

[29] *Младочешская* партия — см. прим. 19.

[30] *Наперстек (Наперсток) (Naperstek) Войтех* (1826—1894) — чешский меценат, основатель чешского промышленного музея.

[31] *Сладковский (Sladkovský) Карел* (1823—1880) — чешский политический деятель; доктор права, руководитель Пражского восстания 1848 г.; с 1860 г. сотрудничал в газетах «Глас» и «Народные листы»; с 1862 г. — депутат чешского сейма; сторонник триединой Австро-Венгерско-Чешской монархии; один из лидеров партии младочехов.

[32] *Шеффле (Шефле) (Schäffle) Альберт Эбергард Фридрих* (1831—1903) — немецкий экономист и социолог; политический деятель; занимал ряд высоких административных постов; профессор Тюбингенского и Венского университетов (с 1868 г.); 1871 г. — австрийский министр торговли; один из наиболее видных представителей катедер-социализма; автор многих работ по экономике и финансам.

[33] *Штейн (Stein) Лоренц* фон (1815—1890) — немецкий юрист, экономист и государствовед; один из создателей науки о государственном управлении; в 1855 г. был приглашен в Австрию для работы в министерство финансов, где и пробыл свыше 30 лет, занимаясь в этой стране как научно-преподавательской, так и общественно-административной деятельностью.

[34] Речь идет о следующей работе: Schäffle A. Kapitalismus und Sozialismus mit besonderer Rücksicht auf geschäfts und Vermögensformen. Tübingen, 1870. (Шефле А. Капитализм и социализм, рассмотренные в отношении форм экономической деятельности и имущественного положения. Тюбинген, 1870).

[35] *Катедер-социализм* (буквальный перевод с немецкого — «социалисты кафедр» — Katheder) — ироническое название группы профессоров политической экономии в Германии, основавших в 1872 г. (в Эйзенахе) «Общество социальных реформ» («Verein für Sozialpolitik») для пропаганды идей постепенных социальных реформ в пользу рабочего класса путем проведения соответствующих законодательных мер и программ в области страхования; наиболее яркие их представители (Шеффле, Ад. Вагнер, Шмоллер, Л.Брентано, Шенберг) стремились найти средний путь между радикализмом манчестерианцев, не допускавших вмешательства государства в сферу экономики, и революционными устремлениями левого крыла социал-демократов.

[36] *Энгел (Энгель) (Engel) Эрнст* (1821—1896) — немецкий статистик; с 1860 по 1882 гг. — директор королевского Прусского статистического бюро в Берлине.

[37] *Манчестерианцы* — представители либерального направления в экономической мысли, отражавшие интересы промышленной буржуазии; его сторонники, фритредеры (см. прим. 135) отстаивали свободу торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь. Центр их агитации находился в Манчестере; во главе стояли 2 текстильных фабриканта — Кобден и Брайт; впоследствии фритредеры вошли в либеральную партию Англии.

[38] Имеется в виду победа пруссаков над австро-саксонскими войсками в ходе сражения у села Садово, близ г. Кениггрец в Северной Чехии 3 июня 1866 г. Это убедительное доказательство военного превосходства Пруссии над Австрией, выступавшей в союзе с малыми немецкими государствами, способствовало процессу объединения Германии под эгидой прусского королевства.

[39] *Германский союз* (Deutscher Bund) — объединение 35 немецких монархий и 4 вольных городов (1816—1866); был создан по решению Венского конгресса 1814—1815 гг. с целью сохранения внутреннего и внешнего мира и обеспечения безопасности отдельных немецких государств; главенствующую роль в нем играла Австрия, служа постоянным противовесом все более набирающей силу Пруссии. Просуществовав почти 50 лет (с перерывом в 1848—1850 гг.), Союз прекратил свое существование после выхода из него Австрии, потерпевшей окончательное поражение в Австро-Прусской войне 1866 г.

[40] *Бисмарк (Bismarck) Отто Эдуард Леопольд*, князь фон; с 1890 г. герцог Лауэнбург; государственный деятель Пруссии и Германии (1815—1898); министр-президент Пруссии (1862—1872 и 1873—1890), канцлер Германской империи (1871—1890).

[41] Имеется в виду работа: *Schäffle A.* Aus meinem Leben. Wien, 1904. (Шеффле А. Из моей жизни. Вена, 1904).

[42] *Этвеш (Eötvös) Йожеф* (1813—1871) — барон, венгерский политический деятель и писатель; сторонник Кошута; в 1848 г. — министр культа и просвещения; упомянутая Ковалевским книга: «Der Einfluss der herrschenden Jdeen des XIX Jahr auf den Staat» вышла в Вене в 1851—1854 гг.

[43] *Кошут (Kossuth) Лайош (Людвиг)* (1802—1894) — вождь венгерского национально-освободительного движения; глава венгерского революционного правительства в период революции 1848—1849 гг.; после поражения революции эмигрировал; в 1867 г. получил амнистию, но не принял ее и умер в Италии.

[44] *Спасович Владимир Данилович* (1829—1906) — юрист и писатель, профессор Петербургского университета (1857—1861); выдающийся оратор, присяжный поверенный в Санкт-Петербурге; автор многих книг и учебных пособий; Ковалевский, вероятно, имел в виду сборник «За много лет», вышедший в 1879 г.

[45] *Стоянов А.Н.* — см. гл. I, прим. 17.

[46] *Пахман* Семен Викентьевич (1825—1910) — юрист, профессор истории права и гражданского права в Казанском, Харьковском и Петербургском университетах; с 1882 г. — сенатор.

[47] *Станиславский Антон Григорьевич* (1817—1870) — правовед; профессор Казанского и Харьковского университетов; автор ряда работ по положительному и имущественному праву.

[48] *Цитович (Цытович) Петр Павлович* — см. гл. I, прим. 28.

[49] *Гаттенбергер (Гатенбергер) Константин Константинович* (1843—1893) — юрист; профессор полицейского права в Харьковском университете; автор ряда работ по русскому законодательству.

[50] *Владимиров Леонид Евстафьевич* — см. гл. I, прим. 31.

[51] *Карпов Геннадий Федорович* — см. гл. I, прим. 108.

[52] *Михайлов Михаил Михайлович* (1827—1891) — ученый-правовед; вероятно, имеется в виду его работа «Русское гражданское судопроизводство до издания Свода законов» (1866 г.).

[53] *Сергеевич (Сергиевич) Василий Иванович* (1837—?) — историк русского права, профессор и ректор (1897—1899) Петербургского университета; в

1907 г. — член Государственного совета; упомянутая работа «Вече и князь» вышла в 1867 г.

[54] *Чичерин Борис Николаевич* (1828—1904) — юрист-государствовед; историк и философ, профессор Московского университета (1861—1868); московский городской голова (1882—1883); автор многочисленных книг; названная ниже работа «История политических учений» опубликована в 1868 г.

[55] *Градовский Александр Дмитриевич* (1841—1889) — юрист и публицист; профессор Петербургского университета; в течение многих лет сотрудничал в «Вестнике Европы» и других периодических изданиях; упомянутая ниже работа «Начала русского государственного права» вышла в свет в 1886 г.

[56] *Дювернуа Николай Львович* (1836—1904) — ученый-правовед, профессор Петербургского университета по кафедре гражданского права; основной научный труд — «Источники права и суд в древней Руси» издан в 1869 г.

[57] *Дмитриев (Димитриев) Федор Михайлович* (1829—1894) — историк русского права; профессор Московского университета; попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, впоследствии сенатор; основная работа — «История судебных инстанций» вышла в 1859 г.

[58] *Соловьев Сергей Михайлович* (1820—1879) — крупный историк; профессор Московского университета; с 1870 по 1876 гг. дважды избирался его ректором; открыл первые в России высшие женские курсы; автор монументальных трудов по русской истории.

[59] *Андреевский Иван Ефимович* (1831—1891) — профессор полицейского права Петербургского университета; в 1883—1887 гг. его ректор; главный труд — «Полицейское право» (1871—1876).

[60] *Беляев Иван Дмитриевич* (1810—1873) — историк русского права; профессор Московского университета (с 1852 г.); автор «Лекций по истории русского законодательства» (2 изд., 1879—1888).

[61] *Моль (Mohl) Роберт фон* (1799—1875) — немецкий юрист и политический деятель; 1848—1849 гг. — имперский министр юстиции; 1871—1875 гг. депутат рейхстага; национал-либерал; автор многочисленных трудов по международному и государственному праву, где он впервые ввел раздельно понятие о государстве и понятие об обществе. Названная в тексте работа — «Encyclopädie der Staats Wissenschaften» вышла в 1857 г., в русском переводе в 1867 г.

[62] Названная работа Л.Штейна — «Geschichte der sozialen Bewegung Frankreich seit 1789» вышла в Вене в 1850 г.

[63] *Сен-Симон (Saint-Simon) Анри* (1760—1825) — французский социалист-утопист.

[64] *Базар (Bazard) Сент-Аман* (по др. источникам — Арман) (1791—1832) — французский социалист-утопист; сен-симонист; в период реставрации Бурбонов — основатель тайного общества карбонариев; автор «Exposition de la doctrine de Saint-Simon. Paris, 1828—1830» (Изложение учения Сен-Симона).

[65] *Боден* (Baudin) Жан (1530—1596) — французский мыслитель, государствовед и социолог; теоретик абсолютизма; основной труд — «Шесть книг о государстве».

[66] *Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи*, барон де (1689—1755) — французский философ-просветитель, политический мыслитель, социолог и историк. Среди факторов, определяющих общественное устройство, особое

значение придавал географической среде — климату, почве, ландшафту и т.д.

[67] *Бокль (Buckle) Генри Томас* (1821—1862) — английский историк либерального направления и социолог-позитивист; историческое развитие общества объяснял влиянием географических условий на психологию народа.

[68] *Гнейст (Gneist) Генрих Рудольф Герман Фридрих* (1816—1895) — немецкий юрист и политический деятель, профессор Берлинского университета (с 1844 г.); член прусской палаты депутатов (с 1858 г.) и германского рейхстага (с 1868 г.); в 60-е годы — представитель либеральной оппозиции; с 1866 г. — национал-либерал.

[69] *Шталь (Stahl) Фридрих Юлиус* (1802—1861) — немецкий философ права, теоретик феодально-монархического строя; с 1840 г. — профессор Берлинского университета; основатель прусской консервативной партии.

[70] *Галлам* (Hallam) Генри — см. гл. I, прим. 25, автор упомянутой «Constitutional History of England». Ld., 1827.

[71] *Кузумано (Cusumano) Вито* (1844—1908) — итальянский экономист, статистик, представитель т.н. «исторической школы в политической экономии». Ковалевский имеет в виду его работу «Storia dei Banchi di Sicilia». T. 1. Banchi privati. Roma, 1877; T. 2. Banchi pubblici. Roma, 1892. (История банков Сицилии. Т. 1. Частные банки. Рим, 1877; Т. 2. Общественные банки. Рим, 1892).

[72] *Дункер (Duncker) Макс Вольфганг* (1811—1886) — немецкий историк; профессор в Галле, затем в Тюбингене; с 1859 г. — прусский правительственный чиновник, впоследствии — директор прусского государственного архива.

[73] *Ламброс Спиридон* (1851—1919) — греческий историк, основоположник греческой византинистики; профессор Афинского университета (1890—1917); издал 6-томную «Историю Греции» (1886—1902).

[74] *Конт (Comte) Огюст* (1798—1857) — выдающийся французский философ и социолог, основатель позитивизма; в 1818—1824 гг. — секретарь и сотрудник Сен-Симона. Исходным тезисом «позитивной философии» Конта являлось требование ограничить науку лишь описанием внешнего облика явлений, наблюдаемых в опыте, и изучением законов, которым они подчинены. Основные положения его учения были изложены в «Курсе позитивной философии» (1830—1842).

[75] *Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур* (1788—1860) — немецкий философ-идеалист; проповедник волюнтаризма, иррационализма и пессимизма; идеолог прусского юнкерства.

[76] *Чупров Александр Иванович* (1842—1908) — экономист и статистик; специалист по экономике железнодорожного транспорта; публицист и общественный деятель, либерал.

[77] *Лабуле (Laboulaye) Эдуард Лефевр* (1811—1883) — французский ученый, публицист и политический деятель; с 1873 г. — профессор истории в Коллеж де Франс; академик; в 1871—1876 гг. — депутат Национального собрания; с 1877 г. — сенатор; по убеждению — республиканец.

[78] *Гогенцоллерны* — династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918) и германских императоров (1871—1918).

[79] *Гогенштауфены* — династия королей Германии и императоров Священной Римской империи (1138—1254).

[80] *Рейнский союз* (1806—1813) — союз 16 малых государств западной Германии, образованный Наполеоном I под его протекторатом; наместни-

ом был архиепископ Майнцский, князь-примас Карл Дальберг (1744—1817).

[81] *Германский союз* — см. прим. 39.

[82] *Северогерманский союз* — союзное государство ряда германских государств во главе с Пруссией, созданное в 1867 г. после разгрома Австрии в австро-прусской войне 1866 г. (см. прим. 38); победа Пруссии во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. способствовала завершению объединения Германии «сверху»; в Северогерманский союз было включено 4 южногерманских государства. Затем был преобразован в Германскую империю.

[83] *Пюттер (Pütter) Иоганн Стефан* (1725—1807) — немецкий юрист, правовед; с 1747 г. (с небольшими перерывами) и до конца своей жизни преподавал в Геттингенском университете; большим успехом пользовались его курсы лекций по римскому праву, по личному и естественному праву и средневековой Германии, государственному праву и т.д., не меньшую популярность имели его практические занятия со студентами.

[84] *Ланциозоль* — вероятно, имеется в виду *Ланцицолле (Lancizolle) Karl Wilhelm* (1796—1871) — немецкий юрист и писатель, профессор истории права в Берлинском университете, директор Прусского государственного архива.

[85] *Франкфуртский парламент* (или — *Собрание*) — законодательный орган, избранный немецким народом во время революции 1848—1849 гг.; заседал с 18 мая 1848 г. до 18 июня 1849 г. во Франкфурте-на-Майне; в последние недели своего существования — в Штуттгарте, где был разогнан войсками.

[86] *Бруннер (Brunner) Генрих* (1840—1915) — немецкий ученый, специалист по истории права; профессор Берлинского университета; одними из основных работ являются: Zur Geschichte der römischen und germanischen Urkunde (К истории римских и германских древних актов), Берлин, 1880) и Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. 1—2. Berlin, 1887—1892 (История немецкого права).

[87] *Меровинги* — начальная династия франкского государства в Галлии; названа в честь ее первого короля — Меровея (448—457 гг.); господствовали с 481 по 751 гг., но в результате бесконечных междоусобиц уступили власть каролингам.

[88] *Каролинги* — королевская (с 751 г.) и императорская (с 800 г.) династия во Франкском государстве; прекратила существование в X в.; название ведет от имени самого известного ее представителя — Карла Великого (742—814).

[89] *Священная римская империя* — средневековое государство, занимавшее значительную часть Западной Европы и включавшее в себя германские, итальянские, чешские земли, Нидерланды и ряд других территорий; создана в 962 г. германским королем Оттоном I в качестве своего рода исторической преемницы Римской империи, но с христианскими началами; позже именовалась как Священная римская империя германской нации, так как преобладающую роль в ней играли немецкие народы. Основные правящие династии: Саксонская, Салическая, Гогенштауфены и Габсбурги; формально просуществовала до 1806 г.

[90] *Вайц* (правильнее *Вайтц — Waitz*) *Георг* (1813—1886) — немецкий историк, профессор Геттингенского университета; курс его лекций положил начало целой школы историков, занимавшихся изучением средневековых учреждений Германии; основной труд — Deutsche Verfassungs Geschichte. Bd. 1—8. Kiel, 1844—1878 (История немецкого государственного строя. Т. 1—8).

[91] *Рот (Roth) Пауль Рудольф* (1820—1892) — немецкий юрист, профессор Мюнхенского университета; автор ряда исследований по вопросам происхождения феодального строя.

[92] *Эйхгорн (Eichhorn) Карл Фридрих* (1781—1854) — немецкий юрист, профессор Геттингенского университета; в своих исследованиях по истории германского права опирался на идеи исторической школы права Савиньи.

[93] *Фюстель де Куланж (Fustel de Coulanges) Нюма Дени* (1830—1889) — французский историк; автор работы по истории политических учреждений древней Франции «Histoire des institutions politiques de l'ancienne France». Т. 1—6. Париж, 1875—1892; занимался также изучением истории античного мира и средневековой Франции.

[94] *Виноградов Павел Гаврилович* (1854—1925) — историк и правовед; специализировался по изучению западноевропейского средневековья (в основном — Англии) в историко-правовом аспекте; профессор всеобщей истории Московского университета; член Петербургской (1914) и ряда иностранных Академий наук; с 1903 г. — профессор Оксфорда; после Октябрьской революции остался за границей.

[95] *Герье Владимир Иванович* (1837—1919) — профессор всеобщей истории Московского университета; основатель (в 1872 г.) высших женских курсов в Москве («Курсы Герье»); автор значительных работ по истории средних веков, XVIII в. и французской революции 1789—1794 гг.

[96] *Моммзен (Mommsen) Теодор* (1817—1903) — немецкий историк; профессор в Цюрихе, Бреславле, Берлине; специализировался по истории Древнего Рима и римскому праву; основные работы: «Римская история» (Т. 1—5, 1854—1859, 1885 г.) и «Римское государственное право» (Т. 1—3, 1871—1888 гг.).

[97] Под «временем Эдуардов» Ковалевский, вероятнее всего, имеет в виду конец XIII в. — середину XIV в. — период правления Эдуарда I (1272—1307) и его внука — Эдуарда III (1327—1377) Плантагенетов; при Эдуарде I в Англии окончательно сложился парламент, и она стала сословной монархией; при нем был принят ряд важных законов, т.н. «Вестминстерских статутов» (1275, 1285 и 1290 гг.), касающихся вопросов судопроизводства, общинных земель, продажи частных держаний и церковных владений; при Эдуарде III английское законодательство получило дальнейшее развитие.

[98] *Иеринг Рудольф* фон — см. гл. I, прим. 57.

[99] *Нич (Nitzsch) Карл Вильгельм* (1818—1880) — немецкий историк; преподавал в университетах Киля, Кенигсберга и Берлина (с 1872 г.); основные работы посвящены изучению социально-экономической и политической борьбы в Древнем Риме, а также критическому анализу источников по этому периоду.

[100] *Вагнер (Wagner) Адольф* (1835—1917) — немецкий экономист; с 1865—1867 гг. — профессор Дерптского, а с 1870 — Берлинского университетов; автор упомянутой работы — «Die russische Papierwährung», изданной в 1868 г.; русский перевод был осуществлен известным русским экономистом и государственным деятелем Н.Х.Бунге.

[101] *Рау (Rau) Карл Генрих* (1792—1870) — немецкий экономист и статистик, профессор Гейдельбергского университета; 3-я часть его учебника по политической экономии, посвященная финансовой науке, вышла в русском переводе в 1867—1868 гг.

[102] *Шмоллер (Schmoller) Густав* (1838—1917) — немецкий экономист, профессор университетов Галле, Страсбурга и Берлина; представитель историко-этической школы в политической экономике; катедер-социалист.

[103] *Брентано (Brentano) Людвиг Иосиф (Луйо)* (1844—1931) — немецкий экономист; с 1871 г. читал курс лекций и был профессором нескольких университетов — в Бреславле, Страсбурге, Вене, Лейпциге, а с 1891 г. в Мюнхене; автор многочисленных работ, наиболее значительные из которых касались рабочего вопроса.

[104] *Кнапп (Knapp) Георг Фридрих* (1842—1926) — немецкий статистик; в 1867 г. — директор статистической службы в Лейпциге, с 1869 г. — профессор Лейпцигского университета; с 1874 г. — Страсбургского; представитель т.н. «исторической школы в политической экономии».

[105] *Гельд (Held) Адольф* (1844—1880) — немецкий экономист; профессор политической экономии в Бонне, затем в Берлине; приват-доцент (с 1867 г.); представитель исторической школы в политической экономии; катедер-социалист.

[106] *Нассе (Nasse) Эрвин* — см. гл. I, прим. 53.

[107] *Лассаль (Lassalle) Фердинанд* (1825—1864) — немецкий социалист, публицист, по профессии адвокат; с 60-х гг. примкнул к рабочему движению; один из основателей (1863) всеобщего рабочего союза, положившего начало истории европейской социал-демократии.

[108] Первый том «Капитала» К.Маркса вышел в свет в сентябре 1867 г.

[109] *Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм* (1826—1900) — видный деятель немецкого и международного рабочего движения; участник революции 1848—1849 гг.; один из основателей и вождей германской социал-демократии; член I Интернационала.

[110] *Блан (Blanc) Луи* (1811—1882) — французский политический деятель и историк, социалист; сторонник идеи т.н. «государственной организации труда», которую он безуспешно пытался реализовать, находясь в составе временного правительства в 1848 г.; в том же году эмигрировал в Англию и вернулся лишь в 1870 г.; депутат парламента III республики.

[111] *Милль (Mill) Джон Стюарт* — см. гл. I, прим. 68.

[112] Речь идет, вероятно, о т.н. новых тред-юнионах, возникших в Англии в конце 80-х гг. XIX в. в условиях подъема стачечной борьбы; в отличие от старых тред-юнионов они объединяли в основном неквалифицированных рабочих, ранее не охваченных профсоюзным движением и строились, как правило, по производственному признаку; английские социалисты придавали большое значение этому движению.

[113] *Фоше (Faucher) Леон* (1803—1854) — французский публицист и политический деятель, орлеанист, экономист-мальтузианец, министр внутренних дел (1848—1849, 1851); позднее — бонапартист.

[114] *Брентано (Brentano) Клеменс* (1778—1842) — немецкий поэт романтической школы.

[115] Имеется в виду — Brentano L. Die Arbeitergilden der Gegenwart. Leipzig, 1871—1872. Bd. 1—2.

[116] *Вильда (Wilda) Вильгельм Эдуард* (1800—1856) — немецкий юрист, профессор Бреславльского и Кильского университетов; упомянутая работа Вильда «Das gildenwesen im Mittelalter» (Гильдии в средние века) вышла в свет в 1831 г.

[117] *Чомпи* — наименование наемных рабочих-шерстобитов и чесальщиков шерсти в сукнодельческих мануфактурах средневековой Флоренции и других итальянских городах. Тяжелые условия труда, очень низкая заработная плата и высокие штрафы стали причинами ряда восстаний чомпи

в середине XIV в. Первое выступление произошло во Флоренции в 1345 г. и в ряде других городов северной Италии; второе — более длительное и масштабное в 1378 г.; вошли в историю как первые выступления наемных рабочих.

[118] *Шонберг [Шёнберг] (Schönberg) Густав* (1839—?) — немецкий экономист, катедер-социалист; примыкал к т.н. «социально-этической школе» — идейной преемницы катедер-социализма.

[119] *Сэй* (Say) Жан Батист Леон (1826—1896) — французский государственный и политический деятель; экономист; один из редакторов журнала «Journal des Débats»; с 1871 г. — депутат Национального собрания; в 1872—1882 (с перерывами) — министр финансов.

[120] *Бастиа (Bastiat) Фредерик* (1801—1860) — французский экономист; сторонник теории классовой гармонии в буржуазном обществе.

[121] *Книс (Knies) Карл* — см. гл. I, прим. 30.

[122] *Иванюков Иван Иванович* (1844—1912) — экономист, профессор Петровской земледельческой академии, с 1903 г. — Петербургского политехнического института; автор многих работ и учебников по политэкономии.

[123] *Смит (Smith) Адам* (1723—1790) — английский экономист, один из самых выдающихся представителей классической политэкономии.

[124] *Мальтус (Malthus) Томас Роберт* (1766—1834) — английский священник, экономист; создал целое направление в экономической науке (мальтузианство), в соответствии с которым основные проблемы социально-экономического порядка должны решаться путем искусственного сокращения народонаселения и регулирования его роста.

[125] *Рикардо (Ricardo) Давид* (1772—1823) — английский экономист, крупнейший представитель классической буржуазной политэкономии.

[126] *Бунге Николай Христианович* — см. гл. I, прим. 58.

[127] *Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф* (1809—1865) — знаменитый французский публицист, экономист и социолог; один из родоначальников анархизма.

[128] *Пихно Дмитрий Иванович* (1853—?) — экономист, профессор политэкономии и статистики в Киевском университете; вероятно, Ковалевский имеет в виду его работу «Железнодорожные тарифы» (1888).

[129] *Зибер Николай Иванович* (1844—1888) — экономист; один из первых популяризаторов экономических трудов К.Маркса в России, хотя и не был сторонником его учения; стоял на позициях радикального буржуазного реформаторства.

[130] *Рошер (Roscher) Вильгельм* (1817—1894) — немецкий экономист, профессор Геттингенского университета; один из родоначальников исторической школы в политической экономии.

[131] *Бюхер (Bücher) Карл* (1847—?) — немецкий экономист и статистик, профессор университетов (в 1882—1883) Дерпте, Карлсруэ, затем в Лейпциге.

[132] *Гильдебранд (Hildebrand) Бруно* (1812—1878) — немецкий политико-эконом, профессор ряда университетов — в Бреславле, Марбурге, Цюрихе и Берне, с 1861 г. — в Йене, где основал статистическое бюро.

[133] *Маурер (Maurer) Георг Людвиг* (1790—1872) — немецкий юрист и политический деятель; с 1826 г. — профессор в Мюнхене; 1832—1834 гг. — член регентского совета при короле Оттоне в Греции; 1847 г. — баварский министр; основной труд — «Введение в историю общинного, подворного сельского и городского устройства и общественной власти».

[134] *Янжул Иван Иванович* (1846—1917) — экономист и статистик; с 1876 г. — профессор Московского университета; с 1895 г. — академик; в 1882—1887 гг. — инспектор Московского округа; сторонник «государственного социализма», который можно осуществить путем вмешательства государства в экономику через таможенную и налоговую политику; примыкал к сторонникам исторической школы в политэкономии; автор многочисленных работ и статей по вопросам политики, законодательства и народного хозяйства.

[135] *Протекционизм* — система экономических мероприятий государства, направленная на защиту национальной промышленности и сельского хозяйства от иностранной конкуренции; важнейшим орудием протекционизма служит таможенная система, а формами достижения являются: обложение иностранных товаров высокими пошлинами, субсидирование промышленности, валютный контроль, создание колониальных рынков и т.д.

[136] *Фритредерство* — направление в экономической науке и политике, которое, напротив, исходит из требования свободы торговли и невмешательства государства в частную хозяйственную деятельность. В отмене таможенных пошлин и установлении свободного ввоза и вывоза товаров фритредеры видели основное средство свободного развития капитала. Прочное научное обоснование этого направления было положено А.Смитом и его школой.

[137] *Целлер (Zeller) Эдуард* (1814—?) — немецкий философ, профессор Берлинского университета (1872—1894); основные работы посвящены истории греческой философии, теории познания и этике.

[138] *Гармс (Harms) Фридрих* (1819—1890) — немецкий философ и писатель, профессор философии в Берлинском университете; последователь философии Фихте; автор многочисленных научных работ.

[139] *Дюринг (Dühring) Евгений Карл* (1833—1921) — немецкий философ и экономист; в 1864—1877 гг. — приват-доцент Берлинского университета; создал собственную философскую систему, обозначив ее как «философию действительности»; центральное место в ней занимает этическое учение об обществе; автор т.н. «социалитарной» теории в политэкономии.

[140] *Майер* (общепринято: *Мейер*) *(Meyer) Рудольф Герман* (1839—1899) — немецкий экономист; автор названной в тексте работы — «Der Emanzipationskampf des vierten standes». 1882.

[141] «Победоносная война Германии с Францией», т.е. франко-прусская война 1870—1871 гг., из которой Пруссия вышла победительницей и ускорила процесс объединения Германии под своей эгидой. См. также прим. 14.

[142] *Гельмгольц (Helmholz) Герман Людвиг Фердинанд* фон (1821—1894) — немецкий физик и физиолог; с 1849 г. — профессор физиологии и общей патологии в Кенигсберге, в 1855 г. — в Бонне, в 1858 г. — в Гейдельберге; в 1871 г. возглавил кафедру физики в Берлинском университете; в 1888 г. — директор физико-технического института в Шарлоттенбурге.

[143] Замечание Ковалевского относительно «внушения Маркса» вступить в полемику с Дюрингом в немалой степени опирается на высказывания самого Энгельса в предисловии ко второму изданию «Анти-Дюринга» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 20. С. 9). Маркс действительно принял непосредственное участие в создании этой работы: он активно содействовал решению Энгельса выступить против дюрингианства, одобрил замысел всего произведения, помогал собирать необходимый материал, ознакомился со всей работой в рукописи и сам написал главу, посвященную критике взглядов Дюринга на политэкономию. Сохранился эк-

земпляр первого издания книги Энгельса с его дарственной надписью Ковалевскому: «Г-ну М.Ковалевскому с глубоким уважением Ф.Энгельс. Лондон, 22.08.78». (См.: Воспоминания о К.Марксе и Ф.Энгельсе. М., 1983. Т. 2. С. 31).

[144] В августе 1879 г. в периодическом издании «Критическое обозрение. Журнал научной критики и библиографии в области наук историко-филологических, юридических, экономических и государственных» (Москва, 1879, № 15) появилась статья Зибера: «Unter dem Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Von Friedrich Engels. Leipzig, 1878». (См.: Ковалевский М.М. Две жизни // Вестник Европы. СПб., 1909. Кн. 7. С. 10).

[145] *«Критическое обозрение»* — журнал научной критики и библиографии в области общественных наук; издавался в Москве в 1879—1880 гг. 2 раза в месяц; одним из его издателей был М.М.Ковалевский.

[146] *Дюбуа-Реймонд (Dubois-Reimond) Эмиль* (1818—1896) — немецкий физиолог; с 1854 — профессор Берлинского университета, академик (с 1851); с 1858 г. возглавлял кафедру физиологии; в 1869—1870 гг. и 1882—1883 гг. — ректор; особую известность и признание в науке получили его работы по электрофизиологии и по изучению нервной и мышечной деятельности.

[147] *Дернбург (Dernburg) Генрих* (1829—1907) — немецкий юрист, профессор университетов Цюриха, Халле и Берлина; основные работы по римскому, прусскому и германскому праву.

[148] *Экк (Eck) Эрнст Вильгельм Эберхард* (1838—1901) — немецкий юрист, специалист по римскому праву, профессор ряда университетов: Гиссена, Галле, Бреслау и Берлина (с 1881); автор многочисленных научных трудов.

[149] *Барон (Baron) Юлиус* (1834—?) — немецкий юрист; с 1888 г. профессор Боннского, затем Берлинского университетов.

[150] *Безелер* (Beseler) Георг (1808—1888) — немецкий юрист и политический деятель; с 1835 г. — профессор университетов в Базеле, Ростоке, Грайфсвальде и Берлине; депутат прусского сейма; в 1874—1881 гг. — член рейхстага.

[151] *Палюмбецкий Александр Иванович* (1810—1897) — профессор энциклопедии права и уголовного права в Харьковском университете; основная работа: «О системе судебных доказательств древнего германского права сравнительно с русскою правдой» (1844).

[152] *Гиншиус (Hinschius) Пауль* (1835—1896) — немецкий юрист, специалист по каноническому (церковному) праву; преподавал в университетах Галле, Киля и Берлина; основная работа: «Каноническое право католиков и протестантов Германии». Берлин, 1869—1897. Т. 1—5.

[153] *Курциус (Curzius) Эрнст* (1814—1896) — немецкий археолог и историк, профессор университетов в Геттингене и Берлине, руководитель археологических раскопок Олимпии, автор фундаментальной работы — «История Греции».

[154] *Дройзен (Droysen) Иоганн Густав* (1803—1884) — немецкий профессор, профессор Йенского и Берлинского университетов; автор «Истории эллинизма».

[155] *Трейчке (Treitschke) Генрих-Готгард фон* (1834—1896) — немецкий историк и публицист, профессор ряда университетов: в Киле, Фрайбурге, Гейдельберге, Берлине; в 1871—1874 гг. — депутат императорского сейма.

[156] *Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб* (1762—1814) — немецкий философ; с 1794 — профессор Йенского университета, с 1809 г. — Берлинского; сво-

ими «Речами к немецкому народу» («Reden an die deutsche Nation», 1808) будил национальное самосознание немецкого народа в эпоху наполеоновского гнета в Германии.

[157] *Ренан (Renan) Жозеф Эрнст* (1823—1892) — французский философ и историк христианства; с 1863 г. (с перерывами с 1864 по 1871 гг.) преподавал в Коллеж де Франс, член Французской академии (с 1879 г.); президент азиатского общества (с 1882 г.); его исторические работы отличались яркой художественной выразительностью.

[158] *Штраус (Strauß) Давид Фридрих* (1808—1874) — немецкий писатель, философ и публицист; автор знаменитой книги «Жизнь Иисуса», приверженец т.н. «Тюбенгенской теологической школы», представители которой критиковали противоречия и исторические несообразности книг «Нового завета», но стремились сохранить некоторые положения Библии как исторически достоверные.

[159] *Эльзас* — историческая область на востоке Франции в бассейне Рейна; в соответствии с Вестфальским миром 1648 г., завершившим Тридцатилетнюю войну, Эльзас отошел к Франции; в результате ее поражения во франко-прусской войне 1870—1871 гг. Эльзас с частью Лотарингии перешел под юрисдикцию Германии.

[160] *Гердер (Herder) Иоганн Готфрид* фон (1744—1803) — немецкий писатель, философ-историк и критик, собиратель народных песен, один из видных представителей литературного течения «Буря и натиск».

[161] *Бергсон (Bergson) Анри* (1859—1941) — французский философ-идеалист, представитель и один из создателей философского течения — «интуитивизма»; с 1900—1914 гг. — профессор в Коллеж де Франс, с 1914 г. — член Французской академии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1928).

[162] *Ришепен (Richepin) Жан* (1849—1926) — французский писатель и поэт; принадлежал к романтикам школы В.Гюго; герой-бунтарь — основной персонаж его произведений, в которых в равной степени переплетаются жестокость и утонченная лирика.

[163] *Верхарн (Verhaeren) Эмиль* (1855—1916) — бельгийский поэт; один из руководителей движения «Молодая Бельгия»»; близок к символистам; основное настроение его творчества — чувство разлада и противоречий между идеалом и жизнью.

[164] *Метерлинк (Maeterlinck) Морис* (1862—1849) — бельгийский драматург-символист; жизнь человеческой души, находящейся под гнетом смутных страхов и роковых влечений — главная тема его пьес, которым присуща также яркая художественная выразительность и изысканность стиля.

[165] *Д'Аннунцио (Annunzio) Габриэле* (1863—1938) — итальянский писатель, поэт и драматург, декадент; исповедовал философию Ницше; считается идейным «отцом» итальянского фашизма; приветствовал его приход у себя на родине и активно сотрудничал с властями.

[166] В середине 1870 г. и Франция и Пруссия в одинаковой степени были заинтересованы в развязывании вооруженного конфликта; оба государства воспользовались первым же предлогом. Поводом послужил вопрос о престолонаследии в Испании; предложенная испанским правительством кандидатура принца Леопольда Зигмаринген-Гогенцоллерна вызывала резкий протест Франции, открыто угрожавшей войной в случае одобрения Пруссии; начатые по этому поводу переговоры в Эмсе между французским послом в Пруссии Бенедетти и прусским королем закончились вполне благоприятно для французской стороны, что должно было быть зафиксировано в депеше из Эмса. Однако стремившийся к развязыванию военных действий Бисмарк так «отредактировал» текст телеграммы, что она стала

носить откровенно оскорбительный характер для Франции, что и спровоцировало в конечном итоге франко-прусскую войну.

[167] *Вторая империя* (1852—1870) — время правления Луи Наполеона Бонапарта, пришедшего к власти в результате государственного переворота 2 декабря 1851 г. и согласно январской конституции 1852 г. облеченного всей полнотой исполнительной власти; восстановив во Франции статус наследственной империи, он правил под именем Наполеона III; 4 сентября 1870 г., после сокрушительного поражения французских войск под Седаном в ходе начавшейся франко-прусской войны, в Париже произошел революционный переворот, империя пала, образовалось «правительство национальной обороны» и провозглашена республика.

[168] *Гюго (Hugo) Виктор* (1802—1885) — французский поэт и писатель, глава романтической школы во французской литературе; с нескрываемой враждебностью отнесся к факту государственного переворота 2 декабря 1851 г., написав свой знаменитый памфлет «Наполеон малый»; с конца 1851 г. по 4 сентября 1870 г. жил в эмиграции в Англии на острове Джерси.

[169] *Базен (Bazain) Франсуа Ашиль* (1811—1888) — французский маршал (с 1864 г.); осенью 1870 г. командовал рейнской армией; не выдержав осады в Меце, он сдался немцам 27 октября 1870 г. со всею армией, что во многом предопределило поражение Франции; в 1873 г. был приговорен военным судом к смертной казни, которую заменили 20-летним заключением на о. Св. Маргариты; в 1874 г. ему удалось бежать и укрыться в Испании.

[170] *Парижская коммуна* (18 марта — 28 мая 1871) — первая попытка установить власть пролетариата и создать прообраз государства нового типа; ряд субъективных и объективных причин привели к ее поражению; в конце мая 1871 г. войска вновь образованного во главе с Тьером правительства французской республики, в ходе длительных и ожесточенных боев в Париже и его предместьях, сумели подавить сопротивление коммунаров и сурово расправиться с ними.

[171] *Гладстон (Gladstone) Уильям* (1809—1898) — английский политический деятель; с 1866 г. — вождь либеральной партии; в 1868—1874, 1880—1886 и 1892—1894 гг. занимал пост премьер-министра.

[172] *Аттила* (ум. в 453 г.) — король гуннов; под его предводительством эти варварские племена опустошили Германию и Галлию (451 г.), а в 452 г. — северную Италию.

[173] *Мильтон (Milton) Джон* (1608—1674) — английский поэт, блестящий памфлетист; выступал в защиту прав личности, свободы печати и парламентского режима.

[174] *Спенсер (Spencer) Герберт* (1820—1903) — английский мыслитель, философ, социолог и психолог; один из родоначальников позитивизма.

[175] *Мольтке (Moltke) Хельмут Карл Бернхард* (1800—1891) — прусский генерал-фельдмаршал, военный деятель и писатель, один из идеологов прусского милитаризма и шовинизма, начальник прусского (1857—1871) и имперского (1871—1888) генерального штаба.

[176] *Фридрих-Карл*, принц (1828—1885) — прусский генерал, с 1870 г. — генерал-фельдмаршал, в 80-х гг. — генеральный инспектор кавалерийских войск.

[177] *Вирхов (Virchow) Рудольф* (1821—1902) — немецкий естествоиспытатель и политический деятель, противник дарвинизма, один из основателей и лидеров прогрессистской партии в Германии.

[178] *Зоннеман (Sonnemann) Леопольд* (1831—1909) — немецкий политический деятель, публицист и банкир, основатель и издатель газеты демо-

критического направления «Frankfurter Zeitung»; был близок к рабочему движению, депутат германского рейхстага.

[179] *Культуркампф* (Kulturkampf) — данное Вирховым название возникшей (1872 г.) по инициативе Бисмарка борьбе между государством и католической церковью в Пруссии; принятые в мае 1873 г. законы имели своей целью полное подчинение церкви государству, что особенно болезненно ударило по католическому духовенству на польских территориях Пруссии; острие борьбы было притуплено лишь в период понтификата папы Льва XIII (1878—1903), которому удалось способствовать отмене майских законов в 1887 г.; большую роль в этом противостоянии сыграла оппозиция партии центра, заставившая в 1879 г. правительство искать пути примирения.

[180] *Фальк (Falk) Пауль Людвиг Адальберт* фон (1827—1900) — немецкий юрист и политический деятель, с 1872 г. — министр просвещения и культов; один из организаторов культуркампфа; одновременно провел ряд реформ для улучшения школьного образования; в 1879 г. ушел в отставку.

[181] *Герлах (Gerlach) Эдуард Людвиг* (1795—1877) — прусский юрист и политик, вождь крайней консервативной партии, ярый противник Бисмарка в деле культуркампфа.

Глава III

Годы заграничного ученичества и странствий (продолжение)

Б) Париж и Лондон

[1] *Коллеж де Франс* — одно из самых старых учебных заведений во Франции; основан в 1530 г.; является общедоступным университетом, где читают курс бесплатных публичных лекций по самым разным дисциплинам. С 1852 г. находился в ведомстве министерства общего образования; в XIX в. имел более 40 кафедр.

[2] *Лабуле* — см. гл. II, прим. 77.

[3] *Мори (Maury) Луи Фердинанд Альфред* (1817—1892) — французский ученый; занимался исследованиями во многих отраслях знаний: археологии, медицине, правоведении, филологии, истории, этике; с 1867 г. — профессор Коллеж де Франс, с 1868 г. — директор архивов, с 1857 г. — академик.

[4] *Шевалье (Chevalier) Мишель* (1806—1879) — французский экономист и политический деятель, сен-симонист; с 1840 г. — член Государственного совета и преподаватель Коллеж де Франс, с 1860 г. — сенатор; в экономике выступал как фритредер.

[5] *Тэн (Taine) Ипполит* (1828—1893) — французский историк, философ, литературовед и искусствовед; преподавал в Париже, член Французской академии; последователь позитивизма; пытался перенести методы естественных наук на изучение литературы и общественной жизни; особую роль в формировании творческого процесса отводил совокупности географических, климатических и этнографических условий.

[6] *«Свободная школа политических наук»* (École libre des sciences politiques) — была основана в 1874 г. с целью подготовки кадров для дипломатической работы, в Государственном совете, в местной и столичной администрации, в финансовой инспекции и других органах управления.

[7] *Бутми (Boutmy) Эмиль* (1835—1906) — французский историк, основатель «Свободной школы политических наук» (1874), вел курс сравнитель-

ной истории по конституционному праву, большую известность имела его работа по политической психологии англосаксов.

[8] *Жане (Janet) Поль* (1823—1899) — французский философ-идеалист; выступал против материализма Бюхнера; основная работа: «Histoire de la science politique».

[9] *Мэстр (Maistre) Жозеф* де (1754—1821) — французский писатель и философ, представитель учения о церковном абсолютизме, в оценках французской революции XVIII в. выступал с крайне реакционных позициях, монархист и клерикал.

[10] *Бональд (Bonald) Луи Габриэль Амбруаз*, виконт де (1754—1840) — французский публицист и политический деятель периода реставрации Бурбонов; ультрароялист, член Французской академии (1816), пэр Франции (1823), представитель теологической школы в философии, основное сочинение: «Теория политической и религиозной власти».

[11] *Гоббс (Hobbes) Томас* (1588—1679) — английский философ, представитель механистического материализма, его социально-политические воззрения отличались резко антидемократическими тенденциями.

[12] *Спиноза (Spinoza) Барух (Бенедикт)* (1632—1677) — голландский философ-материалист, атеист.

[13] *Локк (Locke) Джон* (1632—1704) — английский философ-дуалист, спиритуалист, экономист.

[14] *Монтескье* — см. гл. II, прим. 66.

[15] *Франк (Franck) Адольф* (1809—1893) — французский философ-идеалист, автор «Словаря философских наук».

[16] *Французской камеры*, т.е. в палате депутатов — нижней палаты французского парламента (Национального собрания).

[17] *Валлон (Wallon) Анри* (1812—1904) — французский историк радикально-буржуазного направления; в 1875—1876 гг. — министр просвещения, профессор Сорбонны и депутат от правого центра (1871); в январе 1875 г., в обстановке накала политических страстей и мощной оппозиции монархистов, во время обсуждения долгожданного законопроекта «об организации общественной власти» Валлон внес поправку, которая окончательно решила вопрос в пользу утверждения республики конституционным путем; поправка Валлона прошла большинством всего в 1 голос.

[18] *Louis Vian*: Histoire de la vie et des oevres de Montesquieu. P. 1879.

[19] *Школа хартий* — правильнее «Национальная школа хартий» (École nationale des chartes); основана в 1821 г. с целью изучения трудов историков XVIII в.; находилась под патронажем Академии надписей и изящной словесности; в 1830 г. была передана в ведение архивов при королевской библиотеке, в 1882 г. — национальных архивов, в 1897 г. — Сорбонны.

[20] *Виоллé (Виоле) (Viollet) Поль* (1840—1914) — французский историк-медиевист, с 1890 г. — профессор гражданского и канонического права в Академии надписей и изящной словесности; в своих работах по истории государственного строя, публичного и частного права развивал «общинную теорию» Маурера применительно к истории Франции.

[21] *Попов Нил Александрович* (1833—1891) — историк-славяновед, архивист, профессор Московского университета (с 1883), управляющий Московским архивом министерства юстиции (с 1885), автор многих работ по славяноведению.

[22] *Lettres de cachet* — приказы об аресте с королевской подписью; появились в период правления Людовика XIV (1643—1715); зачастую выдавались с пробелом для имени арестуемого, чем часто злоупотребляли власть и придворные; отменены во время революции (1789 г.).

[23] *Ришелье (Richelieu) Арман Жан дю Плесси* (1585—1642) — французский государственный деятель периода абсолютизма, кардинал (1622), с 1624 г. — главный министр Людовика XIII (1610—1643), сосредоточил в своих руках всю внутреннюю и внешнюю политику страны, используя различные методы борьбы за укрепления королевской власти и возвышения Франции на международной арене.

[24] *Лучицкий Иван Васильевич* (1845—1918) — историк, представитель либерально-народнического направления, профессор Киевского (с 1877 г.) и Санкт-Петербургского (с 1907 г.) университетов; основные работы посвящены истории религиозных войн во Франции в XVI в., а также крестьянскому движению и аграрному вопросу накануне и в период Великой Французской революции 1789—1794 гг.

[25] *Виноградов* — см. гл. II, прим. 94.

[26] *Кареев Николай Иванович* (1850—1931) — историк либерального направления, публицист, специализировался по истории французской революции 1789—1794 гг. Наибольшую известность получила его фундаментальная работа «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.», М., 1879.

[27] *Делиль (Delisle) Леопольд Виктор* (1826—1910) — французский ученый, эрудит, директор национальной библиотеки, учился в Школе хартий, основная работа: «Études sur la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie au moyen âge» вышла в 1851 г.

[28] *Кассо Лев Аристидович* (1865—1914) — министр народного просвещения в России (1910—1914); по образованию юрист, профессор университетов в Дерпте, Харькове и Москве, на посту министра проводил реакционную политику, борясь с инакомыслящими студентами, профессурой и препятствуя открытию новых университетов; ввел систему негласного надзора за учащимися; его действия вызвали протест широких кругов общественности.

[29] *Жиро (Giraud) Шарль Жозеф Бартелеми* (1802—1881) — французский историк-правовед и государственный деятель; дважды назначался министром общего образования, член Государственного совета; с 1852 г. — профессор римского права в Парижском университете; названная в тексте работа: «Recherches sur droit de propriété chez les Romains» вышла в Париже в 1838 г.

[30] *Фуртю (Fourtou) Мари Франсуа Оскар Барди* де (1836—1897) — французский политический деятель, по профессии адвокат, бонапартист-клерикал; в 1872—1873 гг. — министр народного просвещения; в 1877 г. — министр внутренних дел в кабинете герцога де Брольи; с 1880 г. — сенатор; проводимая им политика носила крайне консервативный характер.

[31] *Брольи (Broglie) Альбер*, герцог де (1821—1901) — французский государственный деятель, глава монархической оппозиции в III республике; в 1873—1874 гг. — председатель Государственного совета; в период правительственного кризиса в мае 1877 г. ему было поручено формирование нового кабинета. Желая любыми средствами восстановить монархию, он пытался примирить орлеанистов со сторонниками Бурбонов и обеспечить тем самым «нравственный порядок» общества — как основу легитимности королевской власти (отсюда и название кабинета); его попытка заставить президента разогнать палату депутатов в мае 1877 г. потерпела неудачу и в конце июня с.г. кабинет Брольи был распущен.

[32] *Шанявский Альфонс Леонович* (1837—1905) — общественный деятель в области просвещения, генерал-майор в отставке, золотопромышленник; по его инициативе были открыты медицинские женские курсы, а в Москве в 1906 г. — городской народный университет, который имел 2 отделе-

ния: научно-популярное с курсом занятий, рассчитанных на 3 года, и 4-годичное — академическое; первое давало знания в объеме средней школы; второе соответствовало высшему образованию; вечернее время занятий позволяло совмещать учебу с работой. Сильный преподавательский состав, высокий уровень обучения и доступность для широких слоев населения делали его чрезвычайно популярным. В 1918 г. в связи с реорганизацией системы народного образования был распущен, а в 1919 г. его академическое отделение вошло в состав МГУ.

[33] *Бестужевские курсы* — высшее учебное заведение для женщин, открытое в Петербурге в 1878 г. в составе словесно-исторических и физико-математических факультетов. Во главе их (с 1878 по 1882 гг.) министерством народного просвещения был поставлен известный профессор-историк Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829—1897). Выпускницы этих курсов имели право преподавать в женских средних учебных заведениях.

[34] *Лесгафт Петр Францевич* (1837—1909) — русский анатом, врач и педагог; один из создателей теоретической анатомии, автор научной системы физического образования; в 1893 г. основал и возглавил биологическую лабораторию, а в 1896 г. при ней были открыты курсы по разным отраслям естествознания, где готовили воспитательниц и руководительниц физического образования; в 1905 г. курсы были преобразованы в Высшую школу социальных биологических и педагогических наук; ныне — Естественно-научный институт им. П.Ф.Лесгафта.

[35] *Университет Экс-Марсель* — один из самых старинных во Франции; основан в 1409 г. в Эксе папой Александром V (1409—1410); находится в 28 км от Марселя и образует т.н. единый университетский комплекс.

[36] *Планиоль (Planiol) Марсель Фернан* (1853—1931) — французский юрист, профессор права в университетах Гренобля, Ренна, затем Парижа (с 1887); до 1917 г. возглавлял кафедру гражданского права.

[37] *Жирар (Girard) Поль Фредерик* (1852—1925) — французский юрист, профессор римского права в университете Монпелье, затем в Париже; автор многочисленных публикаций.

[38] *Эсмен (Esmein) Жан Поль Ипполит Эммануэль* (1848—1913) — французский историк-правовед, преподавал на факультете права в Дуэ (1875—1879), затем в Париже (1880—1881), где вначале читал курс промышленного права, а затем общий курс истории французского права.

[39] *Жид (Gide) Шарль* (1847—1932) — французский профессор политэкономии на юридическом факультете университета в Монпелье, затем в Сорбонне и Коллеж де Франс; редактор «Revue d'économie politique» (1884); принадлежал к т.н. «кооперативной школе».

[40] *Матильда (Mathilde)*, принцесса *Бонапарт* (1820—1904) — дочь брата Наполеона I — Жерома, короля Вестфалии (1807—1813); в период II империи была хозяйкой одного из самых блестящих светских салонов.

[41] *Глассон (Glasson) Эрнест Дезире* (1839—1907) — французский юрист; преподавал с 1867 г. в Париже; возглавлял кафедру гражданского права; член Академии наук по вопросам морали и политики; преподавал в Школе политических наук курс сравнительного права.

[42] *Вальроже (Valroge) Шарль Леон* де (1812—1876) — французский оратор; занимался различными дисциплинами — философия, право, медицина.

[43] *Батби (Batbie) Ансельм Поликарп* — см. гл. I, прим. 71.

[44] Имеются в виду следующие работы Эсмена: Esmein G.P. Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français. P. 1883; Le mariage en droit canonique. P. 1891; Cours élémentaire d'histoire du droit français. P. 1892.

[45] *Дарест де Ла Шаванн (Dareste de La Chavanne) Родольф Мадлен Клеафюс* (1824—1911) — французский магистрат и ученый-эрудит; советник кассационного суда (с 1877 г.), член Института (1878), автор многочисленных публикаций.

[46] *Асквит (Asquit) Герберт Генри* (1852—1928) — английский политический деятель, лидер либеральной партии; в 1892—1895 гг. — министр внутренних дел; в 1905—1908 гг. — министр финансов; в 1908—1916 гг. — премьер-министр; в период его руководства страной либеральная партия, пытаясь приостановить рост рабочего движения, широко применяла методы социальной демагогии и половинчатых реформ; так в 1909 г. было введено некоторое ограничение прав палаты лордов.

[47] *Рено (Renault) Луи* (1843—1918) — французский юрист, профессор права с 1868 г., преподавал в Дижоне, затем в Париже; более всего известен как юрисконсульт при министерстве иностранных дел (с 1890 г.), т.к. внес своим участием огромный вклад в разрешение сложных арбитражных вопросов на международных конференциях; не меньшее практическое и теоретическое значение имели опубликованные им с 1864 по 1917 гг. работы по международному праву.

[48] *Пандекты* — название юридических общих и нормативных работ, известны также под названием «Дигесты»; большинство из них было составлено известным римским правоведом Юлианом (сер. II в. н.э.); составляют основную часть Свода гражданского (или римского) права.

[49] *Гарсон (Garçon) Эмиль Огюст* (1851—1922) — французский юрист, доктор права; читал лекции в университетах Пуатье (1878), Лилля (1879), затем Парижа (с 1899); известен прежде всего как криминалист.

[50] *Третья республика* установлена во Франции после падения Второй империи (см. гл. II, прим. 167) 4 сентября 1870 г.; конституция была принята только в 1875 г. в ходе непрекращающейся парламентской борьбы между монархистами разного толка (легитимистами, орлеанистами и бонапартистами) и республиканцами; прекратила свое существование в 1940 г. в результате капитуляции Франции перед гитлеровской Германией и замены ее коллаборационистским, т.н. «правительством Виши».

[51] *Тьер (Thier) Адольф* — см. гл. I, прим. 85.

[52] Уступив президентское «кресло» маршалу Мак-Магону, Тьер, несмотря на свой преклонный возраст, не терял надежды вновь вернуться на этот пост и принял активное участие в новой избирательной кампании; разъезжал по всей Франции с предвыборными речами, скоропостижно скончался во время одной из таких поездок 3 сентября 1877 г. в Сен-Жермене.

[53] *Мак-Магон (Mac-Mahon) Мари Эдм Патрис Морис, герцог Маджентский* (1808—1893) — французский маршал и политический деятель; участник Крымской кампании (1855); в 1858—1859 гг. — главнокомандующий в Алжире, в 1864—1870 гг. — его генерал-губернатор; 1 сентября 1871 г. был разбит и взят в плен при Седане, в мае 1871 г. принимал активное участие в подавлении Парижской коммуны, в 1873 г. избран президентом после отставки Тьера; в течение 7 лет правления прилагал все усилия для восстановления монархии, но после упорной борьбы с палатою депутатов был вынужден за год до истечения срока своих полномочий уйти в отставку в январе 1879 г.

[54] *Ключевский Василий Осипович* (1841—1911) — историк; занимался разносторонними проблемами русской истории, преимущественно до XIX в.; одна из основных книг «Курс русской истории» (Т. 1—5. 1904—1922).

[55] *«La République Française»* («Французская республика») — французская буржуазно-радикальная ежедневная газета, основанная Л.Гамбеттой; выходила в Париже с 1871 г.

[56] *Гамбетта (Gambetta) Леон* (1838—1882) — французский государственный деятель, республиканец, член правительства национальной обороны (1870—1871), председатель совета министров и министр иностранных дел (1881—1882).

[57] *«Revue de la philosophie positive»* или *«La Philosophie positive»* («Позитивная философия») — французский философский журнал, издавался с 1867 по 1883 гг., 6 раз в год, пропагандировал философию О.Конта.

[58] *Литтре* (Littré) *Эмиль* (1801—1881) — французский философ, филолог и политический деятель. Сражался на баррикадах во время революции 1830 г. С 1871 г. — член Французской Академии, с 1875 г. — сенатор.

[59] *Междоусобной войны* — т.е. Парижской коммуны 1871 г. — см. гл. II, прим. 170.

[60] *Лефрансе (Lefrançais) Гюстав Адольф* (*Лефрансуа*) (1826—1901) — член Совета коммуны и ее Исполнительного комитета; входил также в состав комитета труда и обмена и финансовый комитет; дрался на баррикадах в мае 1871 г., но ему удалось бежать и эмигрировать в Женеву; член I Интернационала (Международного товарищества рабочих); упомянутая работа «Étude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871» вышла в Невшателе в 1871 г.

[61] *Руссо (Rousseau) Жан Жак* (1712—1778) — французский мыслитель, философ-просветитель, социолог и педагог, с наибольшей полнотой изложил свои передовые педагогические идеи в книге «Эмиль, или о воспитании» (Париж, 1762. Т. 1—4). В ней он подверг резкой критике феодально-сословную систему воспитания и выдвинул как основное требование в этом процессе — подготовку активных граждан, уважающих труд; за эту работу был осужден властями, приговорен к заключению, но бежал и пробыл в эмиграции до 1767 г.

[62] *Конт Огюст* — см. гл. II, прим. 74.

[63] *Гаррисон (Harrison) Фредерик* (1831—1923) — английский писатель, адвокат, глава английских позитивистов.

[64] *«Русские ведомости»* — ежедневная газета либерального направления, издавалась в Москве с 1863 по 1918 гг., с 1905 г. — орган партии кадетов.

[65] *Бернар (Bernhardt) Сара* (1844—1923) — французская трагедийная актриса.

[66] *Муромцев Сергей Андреевич* (1850—1910) — политический деятель и публицист, по профессии юрист, доктор римского права, профессор Московского университета; в 1884 г. после введения нового университетского устава был вынужден уйти в отставку, в 1906 г. избран председателем I Государственной Думы, один из лидеров кадетской партии.

[67] *Бюффе (Buffet) Луи Жозеф* (1818—1898) — французский политический и государственный деятель; либерал, затем консерватор; в 1848 и 1849 гг. депутат Учредительного и Законодательного собраний; с 1871 г. — депутат Национального собрания; глава правительства и министр внутренних дел (1875—1876); впоследствии — сенатор.

[68] Младшая линия *Бурбонов*, т.е. *«орлеанисты»* — наследники последнего короля Франции — Луи-Филиппа Орлеанского (1830—1848); в 1871—1873 гг. А.Тьер открыто поддерживал это крыло монархических партий в лице графа Парижского.

[69] Говоря о *«трех претендентах на трон»*, Тьер имел в виду лидеров 3-х монархических партий, сторонники которых долгое время составляли большинство Национального собрания и вели упорную борьбу за восстановление монархического строя во Франции. Герцог Бордосский, Анри Шарль де Шамбор (1820—1883), внук Карла X, возглавлял партию Бурбонов (легитимистов); внук Луи-Филиппа, граф Парижский, Людовик Филипп (1838—1894) представлял орлеанистов; в качестве третьего наследника прочили младшего сына Луи-Филиппа — Анри Эжена Филиппа Людовика, герцога Омальского (1822—1897).

[70] *Адан (Adam) Жюльетт,* урожденная *Ламбер (Lambert)* (1836—1936) — французская писательница; автор многочисленных романов; в начале 70-х гг. XIX в. — хозяйка модного литературно-политического салона.

[71] *«XIX столетие»* («Le XIX[e] Siecle») — французская ежедневная газета республиканского направления, выходила в Париже с 1871 г.; Ковалевский ошибочно связывает имя Ж.Адан с этим органом печати; в 1879 г. она основала газету «Новое обозрение» («La Nouvelle Revue»), выражающую взгляды умеренных республиканцев; в ней же под псевдонимом «Граф Василий» она печатала свои обзоры политической и общественной жизни в столицах основных европейских государств.

[72] *«Новое время»* — ежедневная газета умеренно-либерального направления; издавалась в Петербурге в 1868—1917 гг.; с конца 70-х стала носить реакционный характер; с 1905 г. — орган черносотенцев.

[73] *Мазарини (Mazarini) Джулио (Жюль)* (1602—1661) — французский политический деятель; с 1643 г. — кардинал; преемник Ришелье; в начале царствования Людовика XIV (1643—1661) был истинным правителем Франции.

[74] *Писемский Алексей Феофелактович* (1821—1881) — писатель; лучшие романы посвящены описанию нравов и быта провинциальных помещиков, дворянства и чиновничества; написаны в яркой реалистической манере.

[75] *Толстой Алексей Константинович* (1817—1875) — граф, поэт и драматург; более всего известны его романы «Князь Серебряный» и драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».

[76] *Цертелев Дмитрий Николаевич* (1852—?) — князь, поэт и философ; в своих философских работах выступал с критикой позитивизма; в 1883 г. выпустил сборник стихотворений; редактор «Русского вестника» (1887) и «Русского обозрения» (1890—1892).

[77] *Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921) — писатель-беллетрист; являлся также автором множества критических, эстетических и философских статей; в 1900 г. избран почетным академиком.

[78] Первый Международный литературный конгресс в Париже проходил летом 1878 г. во время всемирной выставки. Открытие состоялось 11 июня. Председательствовал В.Гюго. Конгресс этот был устроен по инициативе французского общества писателей. По инициативе Тургенева, к которому общество французских писателей обратилось с просьбой назвать имена русских писателей, чье участие было бы желательным на конгрессе, были приглашены Л.Толстой, Достоевский, Гончаров, Полонский, но они не приехали. Русскую делегацию конгресса составили: И.С.Тургенев, П.Д.Боборыкин, М.М.Ковалевский, Б.А.Чивилев, С.Ф.Шарапов и Л.А.Полонский. В центре внимания участников конгресса стояла проблема создания международных законов, охраняющих авторские права. Вице-президентом второй комиссии конгресса, занимавшейся вопросами международного права литераторов, был И.С.Тургенев.

[79] *Ксавье де Монтепен* — французский писатель и драматург.

[80] «Моя коротенькая речь имела здесь успех поистине неожиданный и незаслуженный, — писал Анненкову Тургенев. — Очень чувствительна Франция и благодарна за всякую крупицу сахару, которую ей кладут в рот» (Тургенев. Письма, т. XII, кн. 1. С. 333). Речь, произнесенная Тургеневым, была исполнена подчеркнутого уважения к литературе и искусству Франции, на чьей земле происходил конгресс. Русский писатель говорил о давних и плодотворных французско-русских связях.

[81] Об этом визите Тургенева сохранились воспоминания Джордж Элиот, опубликованные ее биографом О.Браунингом («Life of George Eliot». London, 1890. P. 128—130).

[82] О своем визите к американскому писателю Кейблу и беседе с ним о Тургеневе Ковалевский рассказал в очерке «Мое знакомство с Кэблем» («Вестник Европы», 1883, № 5). В беседе с Ковалевским Кейбл назвал Тургенева «самым трезвым реалистом».

[83] Тургенев, зная о напряженных отношениях между Россией и Англией, чьи интересы столкнулись на Балканах, предвидел возможность бестактных выходок во время торжественной церемонии в Оксфорде. Церемония состоялась 18 июня н. ст. 1879 г.

[84] Публичное заседание в Обществе любителей российской словесности состоялось 18 февраля/2 марта 1879 г.

[85] П.П.Викторов, вспоминая впоследствии о чествовании Тургенева в Обществе любителей российской словесности, возражал Ковалевскому: «В своих воспоминаниях об И.С.Тургеневе проф. М.М.Ковалевский... не точно передал содержание моей речи... приписываемой мне фразы («Вам не написать более «Записок охотника») я не произносил» (см.: Викторов П.П. И.С.Тургенев в кругу радикальной студенческой молодежи в 1879 г. в Москве. Тург. сб., Орел, 1960. С. 336—337).

[86] Музыкально-литературный вечер в Благородном собрании в пользу недостаточных русских студентов Московского университета состоялся 4/16 марта 1879 г. Тургенев на этом вечере обратился с речью к московским студентам, которая на следующий же день была опубликована в «Московских ведомостях».

[87] Прощальный обед состоялся в «Эрмитаже». Ответная речь Тургенева, произнесенная на обеде, была опубликована 8/20 марта в «Русских ведомостях».

[88] 13/25 марта 1879 г. в честь Тургенева был дан обед петербургской интеллигенцией, на котором с приветственными речами выступили профессора К.Д.Кавелин, Н.И.Костомаров, В.Д.Спасович. По возвращении в Париж Тургенев сообщил М.М.Стасюлевичу (27/8 апреля 1879 г.), что собирается написать брошюру о прошедших встречах в Москве и Петербурге. Это намерение писателя не было осуществлено.

[89] «Я получил здесь письма от В.Гюго, Теннисона и Ауэрбаха», — сообщал Тургенев 21 мая/2 июня 1880 г. председателю Общества любителей российской словесности С.А.Юрьеву. Поздравительное письмо Гюго было оглашено на торжественной церемонии.

[90] Ф.М.Достоевский произнес на заключительном заседании Общества любителей российской словесности 8/20 июня 1880 г. речь о Пушкине, в которой были сильны славянофильские и почвеннические тенденции. В радикальных демократических кругах русской интеллигенции она была воспринята критически.

[91] Салтыков-Щедрин приехал в Париж в августе 1880 г. и вскоре встретился с Тургеневым.

[92] 9/21 апреля 1873 г. Тургенев писал Салтыкову: «Я один из самых старинных и неизменных поклонников Вашего таланта... Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек» (Тургенев. Письма. Т. X. С. 91). Не оценив по достоинству ранних произведений писателя (в частности, его «Губернские очерки)», в семидесятые годы, с появлением «Истории одного города», Тургенев увидел в Салтыкове гениального сатирика.

[93] Личное знакомство Тургенева с Проспером Мериме произошло в 1857 г. в Лондоне. Между ними возникла творческая дружба, длившаяся до самой кончины Проспера Мериме. Начиная с 1854 г. Мериме выступает как постоянный и неустанный популяризатор творчества Тургенева во Франции, занимаясь переводами его произведений, публикуя о них литературно-критические статьи.

[94] А.Ламартину принадлежит панегирически-восторженная статья «Иван Тургенев» (1866), которую Тургенев называл «ламартиновской нелепостью» (Тургенев. Письма. Т. IX. С. 348, 599). Очерк Ламартина изобиловал неточностями, фактическими ошибками. Однако это была первая биография Тургенева на французском языке.

[95] Дружба Тургенева и Флобера длилась почти двадцать лет. Тургенев пишет Эмилю Золя 23 мая 1880 г. вскоре после смерти друга: «Флобер был одним из тех людей, которых я любил больше всего на свете. Ушел не только великий талант, но и необыкновенный человек; он объединял вокруг себя всех нас» (Тургенев. Письма. Т. XII. Кн. 2. С. 251. 388).

[96] Имеется в виду «Капитанская дочка» А.С.Пушкина, которую Тургенев перевел при участии Луи Виардо.

[97] Тургенев прочил В.М.Гаршину, в котором видел ученика Л.Толстого, большую будущность.

[98] Тургенев посетил больного Флобера в Круассе 3 февраля н. ст. 1879 г. В письме от 5 февраля н. ст. Флобер благодарил Тургенева за предложение принять вакантную должность хранителя библиотеки Мазарини. Однако его постигло разочарование. 17 февраля 1879 г. это место, видимо, по более «влиятельной» протекции, получил другой претендент.

[99] В комитет по сооружению памятника Флоберу входили Гюго, Эдмон Гонкур, Мопассан. Недовольство, которое выразила определенная «славянофильствующая» часть русской публики приглашением Тургенева принять участие в сборе средств на памятник Флоберу, объяснялось ею тем, что до сих пор не был сооружен памятник Гоголю.

[100] Тургенев нередко хлопотал за русских политических эмигрантов перед министром внутренних дел М.Т.Лорис-Меликовым.

[101] В октябре 1879 г. в Кракове широко отмечался пятидесятилетний юбилей Ю.И.Крашевского. По соображениям политического характера Тургенев не решился присутствовать на юбилее в Кракове, опасаясь антирусских выступлений.

[102] Имеется в виду И.С.Аксаков — идеолог славянофильства, известный публицист. Тургенев, непримиримо относившийся к националистическим доктринам славянофилов, был идейным противником И.С.Аксакова.

[103] *Льюис (Lewes) Джордж Генри* (1817—1878) — английский писатель и философ; последователь позитивизма О.Конта; его собственная философская система изложена в программной работе «Проблемы жизни и духа» («Problems of life and mind»), изданной в 1874—1879 гг.; его же — «Life of Goethe».

[104] *«Двухнедельное обозрение»* («The Fortnightly Review») — английский журнал по вопросам истории, философии и литературы; основан в 1865 г.

группой буржуазных радикалов; впоследствии принял либеральное направление; выходил с этим заголовком до 1934 г.

[105] *Элиот (Eliot) Джордж* (литературный псевдоним *Мэри Энн Эванс*) (1819—1880) — английская писательница, испытала на себе влияние различных философских школ, но прежде всего — позитивизма О.Конта и Г.Спенсера, что сказалось на ее творчестве. Была очень популярна в российской читательской среде.

[106] *«Современник»* — литературный и общественно-политический журнал; издавался в Петербурге в 1836—1866 гг.; основан А.С.Пушкиным; в 60-е гг. стал фактическим органом русской революционной демократии.

[107] *Кин (Kean) Эдмунд* (1787—1838) — английский актер-трагик; прообраз героя пьесы А.Дюма-отца «Кин, или гений и беспутство».

[108] *Макреди (Macready) Уильям Чарльз* (1793—1873) — английский актер и режиссер; прославился исполнением в постановках по пьесам Шекспира.

[109] *Сальвини (Salvini) Томмазо* (1829—?) — итальянский трагик; один из лучших исполнителей героев Шекспира.

[110] *Ирвинг (Irving) Генри* (1838—1905) — английский актер и режиссер, блестящий исполнитель ролей шекспировского репертуара.

[111] *Терри (Terry) Эллен Арис* (1847—1928) — английская драматическая актриса; постоянная партнерша Ирвинга; блестяще исполняла как трагедийные, так и комедийные роли шекспировского репертуара.

[112] *Самойлов Василий Васильевич* (1813—1887) — драматический актер в Санкт-Петербурге; с огромным успехом играл героев Гоголя, Островского, Тургенева и Шекспира.

[113] *Новикова Ольга Алексеевна* (1840—?) — сестра Н.А.Киреева, писательница; с конца 1870 г. жила в Лондоне; сотрудничала в русских и английских журналах и газетах, где писала, в основном, на тему русско-английских отношений в сфере политики. Тайно переписывалась с Александром III.

[114] *Жорж Санд (George Sand)* (настоящее имя *Аврора Дюпен (Дюдеван)*) (1804—1876) — знаменитая французская писательница; представительница демократического течения в романтизме; основная тема большинства ее произведений — борьба женщины за свое человеческое достоинство и независимость.

[115] *«The Economiste»* («Экономист») — английский еженедельный журнал по вопросам экономики и политики; основан в Лондоне в 1843 г.; орган крупной промышленной буржуазии.

[116] *Бэджгот (Bagehot) Уолтер* (1826—1877) — английский публицист и политикоэконом; редактировал журнал «The Economist» с 1860 по 1877 гг.

[117] *Грин (Green) Томас Гилль* (1836—1882) — английский философ, профессор нравственной философии в Оксфорде, представитель английского критического идеализма или неокантианства.

[118] *Бокль Генри Томас* — см. гл. II, прим. 67. Упомянутая работа — «History of civilization in England». (V. 1—2) выходила с 1857 по 1861 гг.

[119] *Лавелэ (Laveleye) Эмиль Луи Виктор*, барон де (1822—1892) — бельгийский публицист и экономист; профессор университета в Люцерне; представитель исторической школы в политической экономии; особую известность получил благодаря своей работе «De la propriété du sol et de ses formes primitives» (На русский язык переведена в 1885 г.).

[120] *Висс (Wiß) Георг Эдуард* — немецкий публицист, по профессии врач, участник революции 1848—1849 гг. в Германии; после ее поражения эмигрировал сначала в Лондон, затем в США.

[121] *Фулье (Fouillée) Альфред* (1838—1912) — французский философ-спиритуалист.

[122] *Мэн (Мен, Мейн) (Main) Генри Джеймс Самнер* (1822—1888) — английский юрист и историк права; в 1863—1869 гг. — член Совета при вице-короле Индии и вице-канцлер Калькуттского университета. С 1869 г. профессор Оксфорда, с 1887 г. — Кембриджа; создал курс историко-сравнительного изучения права; упомянутые в тексте работы: Ancient law. Ld. 1861; Village — communities of the East and West. Ld. 1871; Lectures on the early history of institutions. Ld., 1875.

[123] *Фриман (Freeman) Эдуард Огасте* — см. гл. I, прим. 51.

[124] *Мак-Ленан (McLennan) Джон Фергюссон* (1827—1881) — английский исследователь первобытного общества с точки зрения права; особенный интерес вызывают его работы по истории семьи и брака.

[125] *Морган (Morgan) Льюис Генри* (1818—1881) — американский этнограф и археолог; историк первобытного общества; ему принадлежит заслуга создания первой научной периодизации истории первобытного общества.

[126] Речь идет о работе «Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété par Maxime Kovalevsky». (Stockholm, 1890) и ее русский перевод: Очерк происхождения и развития семьи и собственности М.Ковалевского. С.-Петербург, 1895.

[127] Под «*Журналом ученых*» Ковалевский, вероятно, имеет в виду «*Научный журнал*» («Revue scientifique»), издаваемый в Париже с 1863 г. еженедельник, публиковавший как курсы лекций Сорбонны и Коллеж де Франс, так и все наиболее интересные исследовательские работы по различным отраслям знаний; в нем печатались также обзоры всех наиболее значимых открытий и достижений в мире науки.

[128] *Бахофен (Bachofen) Иоганн Якоб* (1815—1887) — швейцарский историк, этнолог и юрист; автор ряда работ по древней истории. Упомянутая работа — «Das Mutterrecht» вышла в 1861 г.

[129] *Грот (Grote) Джордж* (1794—1871) — английский историк, специалист по античности, буржуазный радикал; его основной труд — 12-томная «History of Greece». Ld. 1846—1856. Vol. 1—12 («История Греции») — отличалась яркостью описания и полнотой изложения материала.

[130] *Пост (Post) Альберт Герман* (1839—1895) — немецкий юрист; его труды посвящены, в основном, сравнительному изучению права всех народов, преимущественно первобытных. «Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz» («Этнологическая юриспруденция») вышла в 1894—1895 гг.

[131] *Колер (Kohler) Иосиф* (1849—1919) — немецкий юрист, профессор права в Вюрцбурге и Берлине, основные работы написаны по сравнительному правоведению, истории права, уголовному и гражданскому праву.

[132] *Флак (Flach) Жак Жоффруа* (1846—1919) — французский юрист и историк, профессор Школы политических наук (см. прим. 6), затем Коллеж де Франс, с 1884 г. преподавал на кафедре сравнительного права, автор «Les origines de l'ancienne France» («Происхождение древней Франции»).

[133] *Ревилью (Revillout) Эжен* (1843—1913) — французский египтолог; работал в отделении египтологии Лувра; с 1880 г. издавал «Revue égyptologique» («Египтологический журнал»); основные работы о демотических письменах.

[134] *Амазис II* (греческая транскрипция египетского имени Аахмес) (569—526) — египетский фараон, в период его правления было особенно распространено греческое влияние в Египте.

[135] *Историческая школа права* — направление в науке, возникшее в Германии в начале XIX в.; в основном была создана как идейный антагонист рационализму французского просвещения. В соответствии с ней право рассматривалось как продукт «народного духа», выражение «общенародного убеждения», развивающееся в результате медленного процесса общественных отношений, а не по воле отдельных законодателей. Источники права поэтому — не закон и его индивидуальные творцы, а обычай как естественный выразитель народного правосознания, место которого по мере исторического развития может занять наука. Концептуальные положения исторической школы права оказали огромное влияние на историографию 1-й половины XIX в. Основателем ее считается профессор Геттингенского университета Август Гуго (1764—1844), а крупнейшими представителями — профессор Берлинского университета — *Фридрих Карл фон Савиньи* (Savigny) (1779—1861) и Геттингенского — Карл Фридрих Эйхорн (Eichhorn) (1781—1854).

[136] При написании «Происхождения семьи, частной собственности и государства» (1884) Энгельс использовал обширные выписки Маркса из книги Моргана «Древнее общество». В предисловии к первому изданию своей книги, написанной вскоре после смерти Маркса, он писал: «Нижеследующие главы представляют собой в известной мере завещание. Не кто иной, как Карл Маркс собирался изложить результаты исследования Моргана в связи с данными своего — в известных пределах я могу сказать нашего — материалистического изучения истории и таким образом выяснить все их значение. Ведь Морган — что и Маркс» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 25).

[137] *Боголепов Николай Павлович* (1847—1901) — государственный деятель; профессор римского права Московского университета; с 1891 г. — его ректор; с 1895 г. — попечитель московского учебного округа; с 1898 г. — министр народного просвещения; при нем впервые политически неблагонадежных студентов стали сдавать в солдаты; был убит бывшим студентом университета П.В.Карповичем.

[138] *Тейлор (Tylor) Эдвард*, сэр *Баркетт* (1832—1917) — английский антрополог; профессор антропологии в Оксфорде (с 1896 г.); в своих работах первым представил теорию эволюции; первоначальное и наиболее полное изложение она получила в «Primitive Culture», изданной в 1871 г.

[139] *Фразер* (более принято — *Фрезер*) *(Frazer) Джеймс Джордж* (1854-1941) — английский историк религий.

[140] *Смит (Смис) (Smith) Уильям Робертсон* (1846—1894) — английский филолог и историк-ориенталист; основной предмет его исследований — религия первобытного общества и проблемы тотемизма; названная в тексте работа «The Religion of Semites» вышла в 1889 г.

[141] *Эспинас (Espinas) Альфред Виктор* (1844—1922) — французский философ и социолог; внес большой вклад в развитие экспериментальной психологии.

[142] *Дюркгейм (Durkheim) Эмиль* (1858—1917) — французский социолог, профессор социологии и педагогики, преподавал в университете Бордо (1887), затем в Сорбонне (с 1902), с 1913 г. возглавлял кафедру социологии. Создал французскую социологическую школу. С 1896 г. издавал «Социологический журнал»; следуя идее позитивизма О.Конта, хотел сделать из социологии науку со своим объектом изучения и собственными методами исследования. Говоря о «недавней книге» Дюркгейма, Ковалевский,

вероятнее всего, имел в виду его главную работу — «Первоначальные формы религиозной жизни: тотемная система в Австралии» («Les formes élémentaires de la vie réligieuse: le système totémique en Australie»), вышла в 1912 г.

[143] *Нормандское завоевание Англии* было осуществлено в результате вторжения северо-французских феодалов во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом на Британские острова; в битве при Гастингсе (14 октября 1066 г.) войска англосаксонского короля Гарольда потерпели сокрушительное поражение; в том же году герцог Вильгельм короновался под именем Вильгельма I Завоевателя, положив начало правлению в Англии т.н. *Нормандской династии* (1066—1154).

[144] *Эдуард Исповедник* (ок. 1003—1066) — англосаксонский король с 1042 г.; прозван Исповедником за благочестие; воспитываясь до избрания на престол в Нормандии, он, по возвращении в Англию в окружении придворных из нормандской знати стал вводить в стране иноземные порядки и законы, подготовив тем самым почву для нормандского вторжения. В 1161 г. причислен к лику святых.

[145] *Либенам (Liebenam) Вильгельм* (1859—1918) — немецкий историк, преподавал древнюю историю в Йенском университете.

[146] *Ричард I Львиное Сердце* (1157—1199) — король Англии (1189—1199), из династии Плантагенетов. В историю вошел благодаря своей бурной, полной приключений жизни, создав образ неустрашимого короля-рыцаря; вокруг его образа создано множество легенд, мифов, преданий, послуживших прекрасным литературным материалом для писателей.

[147] *Эдуард III* (1312—1377) — английский король с 1327 г., из династии Плантагенетов. После эпидемии чумы («Черной смерти») в 1348 г. издал законы, т.н. «рабочее законодательство», о принудительном привлечении к работе мужчин и женщин за плату, которая существовала до начала распространения болезни.

[148] *Елизавета I* (1533—1603) — английская королева с 1558 г. из династии Тюдоров.

[149] Имеется в виду книга М.М.Ковалевского: «История полицейской администрации (полиции безопасности) и полицейского суда в английских графствах, с древнейших времен до смерти Эдуарда III. К вопросу о возникновении местного самоуправления в Англии». Прага, 1876 (Книга была издана на русском языке).

[150] *Гаттенбергер Константин Константинович* (1843—1893) — юрист, профессор полицейского права в Харьковском университете; автор ряда работ по этому разделу юриспруденции.

[151] *Монфор (Montfort) Симон* де, граф *Лестерский* (ок. 1208—1265) — английский политический деятель, родственник короля Генриха III (1216—1272), он возглавил оппозицию баронов и в ходе начавшейся гражданской войны (1263—1267) стал на время фактическим правителем страны (1264—1265); при нем (январь 1265 г.) был созван первый в истории страны парламент.

[152] *Лангтон (Langton) Стефан* (ум. ок. 1228) — английский прелат и теолог, кардинал (с 1206), затем архиепископ Кентерберийский (1207), участвовал в обнародовании Великой хартии вольностей (в 1215 г.).

[153] *Ричард II* (1367—1400) — король Англии (1377—1399), последний из династии Плантагенетов; в период его правления произошло крупнейшее в средневековой Англии и всей Западной Европе XIV в. антифеодальное крестьянское восстание под руководством деревенского кровельщика Уота Тайлера и священника Джона Болла; начавшись в мае 1381 г., оно уже к

концу июня было жестоко подавлено при непосредственном участии самого короля; несмотря на поражение, это мощное выступление сельских и городских низов ускорило процесс освобождения крестьян от личной зависимости.

[154] *Ревиль (Reville) Альбер* (1826—1906) — французский пастор, глава либерального протестантизма, преподавал на кафедре истории религий в Коллеж де Франс (с 1880); основал «Журнал истории религий»; автор работ «Введение в историю религий» (1881) и «История религий» (1883—1889).

[155] *Петрушевский Дмитрий Моисеевич* (1863—?) — историк; профессор Варшавского университета; Ковалевский, возможно, имеет в виду его работы: «Рабочее законодательство Эдуарда III» (1889) и «Восстание Уота Тайлера» (1897).

[156] Под «распространенной в Германии «*Аугсбургской газетой*» Ковалевский имеет в виду «Allgemeine Zeitung» («Всеобщую газету») — немецкий ежедневный орган консервативного направления, основанный в 1798 г.; с 1810 по 1882 гг. выходила в г. Аугсбурге, благодаря чему более известна в широких кругах как «Аугсбургская газета».

[157] *Танеев Владимир Иванович* (1840—1921) — русский общественный деятель, по профессии адвокат, выступал защитником в ряде политических процессов.

[158] *Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм* (1775—1854) — представитель немецкой классической философии, объективный идеалист.

[159] *Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих* (1770—1831) — крупнейший представитель классической немецкой философии, наиболее полно разработал учение о диалектике.

[160] *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — известный философ-мистик, богослов, поэт и публицист, сын историка С.М.Соловьева; в 1880—1882 гг. читал курс лекций в Петербургском университете и на Высших женских курсах; почетный академик; по своему миросозерцанию близок к неоплатоникам; в своем учении стремился соединить философию с религией; оказал большое влияние на русский идеализм и поэзию символистов.

[161] *Лавров Петр Лаврович* (1823—1900) — социолог и публицист; один из идеологов народничества, член I Интернационала и участник Парижской Коммуны; редактор журнала «Вперед!» (1873—1876) и одноименной газеты (1875—1876).

[162] «*Вперед! Непериодическое обозрение*» — журнал; издавался в Цюрихе (1873—1874) и в Лондоне (1875—1877); всего вышло 5 выпусков; с 1873—1876 гг. издателем был П.Л.Лавров (см. выше); в 1877 г. 5-й выпуск был издан под редакцией В.Н.Смирнова и Н.Г.Кулябко-Корецкого.

[163] Знакомство Ковалевского с Марксом состоялось, видимо, зимой 1875 г. в Лондоне; более частые встречи происходили с августа по сентябрь 1875 г. во время пребывания Маркса на лечении в Карлсбаде (Карловы Вары); о встречах Ковалевского с Марксом в последующие годы и их переписку см. сборник: К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия. М., 1967.

[164] *Юм (Hume) Давид* (1711—1776) — английский философ-идеалист, психолог и историк; по происхождению шотландец.

[165] О посещении вместе с Марксом псевдоспиритического представления Ковалевский вспоминал и в своей работе «Две жизни», опубликованной в «Вестнике Европы» в 1909 г.

[166] *Аксаков Александр Николаевич* (1832—1903) — публицист, переводчик, издатель; увлекался спиритуализмом и был последователем в этом вопросе шведского теософа-мистика Э.Сведенборга; имел собственную концепцию, сформулированную в литературно-критическом трактате; совместно с А.М.Бутлеровым организовывал спиритические сеансы, которые послужили началом большой полемики; наиболее непримиримо выступал Д.И.Менделеев.

[167] *Бутлеров Александр Михайлович* (1828—1886) — ученый-химик.

[168] *Менделеев Дмитрий Иванович* (1834-1907) —ученый-химик.

[169] *Катков Михаил Никифорович* (1818—1887) — публицист и издатель, редактор газеты «Московские ведомости» (1850—1855, 1867—1887), с 1856 г. издавал журнал «Русский Вестник»; в 60—80-е гг. в либерально-демократических кругах его имя было символом монархической реакции.

[170] *«Русский вестник»* — политический и литературный журнал, издавался в 1856—1906 гг.; в 1856—1887 и 1896—1902 гг. — в Москве под редакцией Каткова; с 1887 по 1896 и 1902—1906 гг. — в Петербурге; с конца XIX в. — орган реакционных кругов России.

[171] *Толстой Дмитрий Андреевич*, граф (1823—1889) — государственный деятель; с 1865 г. — обер-прокурор святейшего Синода; 1866—1880 гг. — министр просвещения; в 1871 г. провел реформу среднего образования; 1882—1889 гг. — министр внутренних дел, боролся с либеральной печатью, земством и любыми другими проявлениями демократических начал в обществе.

[172] *Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826—1911) — историк, журналист и общественный деятель; в 1852—1861 гг. — доцент, затем профессор кафедры всеобщей истории Петербургского университета.

[173] *Пирлинг (Pirling) Поль (Павел)* (1840—1922) — ученый; с 1856 г. — член ордена иезуитов; подолгу жил в Риме, с 1877 г. поселился в Париже; занимался вопросами взаимоотношений России и Запада в политическом и религиозном аспектах; серия книг посвящена связям русской православной и римско-католической церквей; Ковалевский имеет в виду работу — «Papes et tzars». Paris, 1890.

[174] *Печчи Джоакино* (1810—1903) — итальянский аристократ, граф; в 1837 г. принял сан священника; с 1846 г. — архиепископ Перуджии; с 1853 г. — кардинал; в 1878 г. избран Папой римским; правил под именем Льва XIII. В период своего понтификата проявил большие дипломатические способности, сумев восстановить и закрепить авторитет римско-католической церкви в отдельных странах Европы в новых общественно-политических условиях последней трети XIX в. Пытался также поставить церковь во главе рабочего движения.

[175] *Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907) — государственный деятель; в 1880—1905 гг. — обер-прокурор Синода; придерживался крайне реакционных взглядов.

[176] *Бахметева Александра Николаевна* (1823—1901) — писательница; в 40-е гг. была близка к славянофилам; ее перу принадлежат книги и брошюры для детей и т.н. «народного чтения» по евангельской, церковной и гражданской истории.

[177] *Франциск Ассизский, Джованни Бернардоне* (ок. 1181—1226) — монах, основатель ордена францисканцев; проповедовал аскетизм и полное отрешение от земных благ; требовал вернуть церковь к первозданному христианскому образу, т.е. к апостольской простоте и бедности.

[178] *Лопатин Лев Михайлович* (1855—1920) — философ-идеалист, профессор философии Московского университета; автор работ по психологии и этике.

[179] *Трубецкой Сергей Николаевич* (1862—1905) — философ и политический деятель; профессор философии Московского университета; в 1905 г. — его первый выборный ректор.

[180] *Трубецкой Евгений Николаевич* (1863—1920) — писатель и политический деятель; русский религиозный философ; с 1906 г. возглавлял кафедру энциклопедии и истории права в Московском университете.

[181] *Тюрго (Turgot) Анн Робер Жан* (1727—1781) — французский экономист; крупнейший представитель школы физиократов; генеральный контролер финансов (1774—1776).

[182] *Кондорсе (Condorcet) Мари Жан Антуан*, маркиз де (1743—1794) — французский философ-просветитель, социолог и политический деятель.

[183] *Морлей (Morley) Джон* (1838—1923) — английский политический деятель, его сочинение о Руссо вышло в 1882 г.

[184] *Брайс (Bryce) Джеймс* (1838—?) — английский писатель и политический деятель; в 1870—1893 гг. — профессор права в Оксфорде; в 1880 г. — член парламента; в 1892—1895 гг. — член правительственных кабинетов.

[185] Речь идет о работе Фримана «History of the Norman conquest of England». Ld. 1866—1877.

[186] *Генеральные штаты* — сословное представительство во Франции; впервые были созданы французским королем Филиппом IV в 1302 г.; являлись законодательным собранием, состоящим из 3-х палат: духовенства, дворянства и влиятельных горожан. Не являлись регулярно действующим органом, т.к. право созыва принадлежало только королю; с середины XIV в. их главной функцией стало утверждение налогов и единовременных денежных субсидий для государственных нужд.

[187] *Тюдоры* — династия английских королей в 1485—1603 гг.

[188] *Карлейль (Carlyle) Томас* (1795—1881) — английский историк, публицист и литературовед.

[189] *Бэкон (Bacon)* (ок. 1214—1294) — английский философ и ученый-естествоиспытатель, сторонник экспериментального метода в науке; с 1250 г. — член Ордена францисканцев; за свои взгляды преследовался официальной церковью; автор ряда интересных работ по оптике и акустике.

[190] *Бисле* (скорее всего имеется в виду *Бизли*) *(Beesly) Эдуард Спенсер* (1831—1915) — английский историк и политический деятель радикального направления; позитивист; принимал активное участие в демократическом движении в 60-х годах XIX в.

[191] «The Bee-Hive Newspaper» («Газета-улей») — английский еженедельник тред-юнионов; издавался в Лондоне с 1861 по 1876 гг.; с 1864 г. газета была объявлена органом I Интернационала; с 1869 г. она поменяла свое направление и с апреля 1870 г. Генеральный совет по предложению Маркса порвал с ней всякие отношения.

[192] *Гайдман* (принято: *Гайндман*) *(Hyndman) Генри Майерс* (1842—1921) — английский социалист, адвокат и публицист; в 80-х гг. один из основателей и руководителей Социал-демократической федерации; впоследствии один из лидеров Британской социалистической партии, из которой был исключен в 1916 г. за военную пропаганду.

[193] *Дизраэли (Disraeli) Бенджамин*, с 1876 г. граф Биконсфилд (1804—1881) — английский государственный деятель и писатель; лидер консервативной партии во 2-й половине XIX в.; канцлер казначейства (министр

финансов) (1852, 1858—1859, 1866—1868); премьер-министр (1868 и 1874—1880).

[194] *Мьюди (Mudie) Чарлз Эдуард* (1818—1890) — английский книготорговец и издатель; в 1842 г. основал одну из самых крупных библиотек Лондона, носившую его имя.

[195] *Санки (Sankey) Айра Дэвид* (1840—1908) — американский протестантский проповедник.

[196] *Бутс* (Booth) Уильям (1829-?) — английский священник; до 1861 г. служил в методистской церкви; в 1865 г. основал и возглавил религиозно-социальную секту, известную как «Армия Спасения»; организованная по военному образцу, она имела своего «генерала» — У.Бутса и целый штаб «офицеров», среди которых было много женщин; распространение получила в различных странах и к началу XX в. насчитывала до 2 млн членов; ее целью служило нравственное обновление мира посредством создания всевозможных благотворительных организаций. Привлекала внимание торжественными богослужениями и процессиями с пением гимнов и проповедями.

[197] В 1891 г. в Санкт-Петербурге вышел русский перевод книги У.Бутса «В дебрях Англии».

[198] *Веслеянство* или *методисты* — одно из направлений протестантизма, возникшее в XVIII в. в Англии; его основатель — англиканский священник Джон Уэсли (Wesley) (1703—1791) создал в 1729 г. с группой единомышленников секту с целью обновления англиканской религии в духе кальвинизма. Членов созданного ими «общества взаимного назидания» за строгий образ жизни и правильный порядок в занятиях стали называть методистами. Со второй половины XVIII в. методисты получили широкое распространение в Северной Америке.

[199] *Арч (Arch) Джозеф* (1826—?) — английский политический деятель; будучи сам сельским рабочим, он в 1867 г. возглавил движение сельскохозяйственных работников в Англии и в 1872 г. объединил их в «Национальный союз»; в 1885 г. им удалось добиться распространения избирательного права на эту категорию трудящихся. В 1885—1886 и 1892—1900 гг. Арч избирался депутатом палаты общин, где выступал с требованием наделения всех сельских рабочих небольшими земельными наделами.

[200] Ковалевский имеет в виду «Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844 vis 1883. Hrsg. von A.Bebel und Ed. Bernstein». Bd. 1—4. Stuttgart 1913. (Переписка между Фридрихом Энгельсом и Карлом Марксом. Подготовлено А.Бебелем и Эд. Бернштейном. Т. 1—4. Штуттгарт, 1913).

[201] В качестве одного из побудительных мотивов к написанию воспоминаний о К.Марксе М.Ковалевский указывает во введении к данной статье на неоднократные просьбы семьи К.Маркса.

[202] Знакомство М.Ковалевского с К.Марксом состоялось, видимо, зимой 1875 г. Более частые встречи с Марксом, о которых упоминает ниже Ковалевский, происходили в период с 15 августа по 11 сентября 1875 г. во время пребывания Маркса на лечении в Карлсбаде (Карловы Вары).

[203] Речь идет об «Альянсе социалистической демократии» — международной организации анархистов, основанной в Женеве в октябре 1868 г. М.Бакуниным, в которую был включен созданный им ранее тайный заговорщический союз.

[204] М.Ковалевский не совсем точно характеризует первую встречу Маркса и Энгельса, состоявшуюся в конце ноября 1842 г., когда по пути

в Англию Энгельс посетил в Кёльне редакцию «Rheinische Zeitung». В то время Маркс находился в остром конфликте с берлинскими младогегельянцами, так называемыми «Свободными», с которыми Энгельс поддерживал связь. Этим объясняется сдержанность первой встречи двух будущих друзей. Энгельс не был шеллингианцем. Напротив, в ряде своих печатных произведений он подверг критике реакционные мистические взгляды немецкого философа Шеллинга.

[205] Здесь допущена неточность. Имеется в виду журнал «Deutsch-Französische Jahrbücher», издававшийся в Париже под редакцией К.Маркса и А.Руге на немецком языке. Л.Штейн в журнале не сотрудничал.

[206] М.Ковалевский подразумевает «Труды комиссии, высочайше учрежденной для пересмотра системы податей и сборов», и другие официальные издания, которые по аналогии с публикациями отчетов английского парламента иногда называли «Синими книгами» (Blue Books).

[207] Очевидно, имеется в виду письмо Ч.Дарвина Марксу от 1 октября 1873 г., в котором он благодарит за присланный экземпляр «Капитала».

Глава IV

Московский университет в конце 70-х — начале 80-х годов

[1] *Стороженко Николай Ильич* (1836—1906) — литературовед, профессор. С 1872 г. возглавил кафедру всеобщей литературы Московского университета. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1899). С 1893 по 1912 гг. главный библиотекарь Румянцевского музея, председатель общества любителей российской словесности (1894—1902). Основал научное шекспироведение в России, был избран вице-президентом Лондонского шекспировского общества. Представитель культурно-исторической школы в литературоведении.

[2] Имеется в виду работа немецкого юриста *Р.Иеринга*, появившаяся в 1852—1854 гг., первый том которой был переведен на русский язык. (См.: Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях своего развития. СПб., 1875. Ч. 1).

[3] Журнал «*Юридический вестник*», либерального направления, основан Московским юридическим обществом. Выходил в Москве в 1867—1892 гг. Редакторами в разное время были Н.В.Калачев, В.Н.Лешков, М.М.Ковалевский, С.А.Муромцев и др. В нем была хорошо поставлена экономическая статистика.

[4] В Англии в 1881—1886 гг. было осуществлено 15-ти томное издание сочинений поэта *Роберта Грина*, в первый том которого вошла переведенная на английский язык монография Стороженко Н.И. (Роберт Грин. Его жизнь и произведения: Критическое исследование. М., 1878).

[5] *Миллер Всеволод Федорович* (1848—1913) — русский ученый, иранист, кавказовед, автор «Осетинских этюдов». Был профессором Московского университета и в течение многих лет возглавлял Лазаревский институт восточных языков. При изучении былин им были разработаны основы исторической школы в фольклористике.

[6] Журнал «*Критическое обозрение*» — см. гл. II, прим. 145.

[7] *Буслаев Федор Иванович* (1818—1897) —филолог, искусствовед, академик Петербургской Академии наук (1860). Труды в области славянского и русского языкознания, древнерусской литературы, фольклора, древнерусского изобразительного искусства, издатель древнерусских памятников.

Опубликовал статью «Русское искусство в оценке французского ученого» // Критическое обозрение. 1879. № 2, 5.

[8] *Троицкий Матвей Михайлович* (1835—1899) — психолог, представитель ассоциативной психологии.

[9] *Корш Федор Евгеньевич* (1843—1915) — филолог, академик Петербургской Академии наук (1900). Труды в области классической филологии, типологические и сравнительно-исторические исследования индоевропейских, тюркских и финно-угорских языков, русской орфографии и орфоэпии восточнославянской литературы.

[10] *Виоле ле Дюк Эжен Эммануэль* (1814—1879) — французский архитектор, историк и теоретик архитектуры.

[11] См.: Ковалевский М.М. В горских обществах Кабарды // Вестник Европы, 1884. № 4.

[12] *Лешков Василий Николаевич* (1810—1881) — юрист, профессор. В 1841 г. защитил докторскую диссертацию. Был деканом юридического факультета Московского университета. Гласный Московского губернского земства. Инициатор созыва первого съезда русских юристов. Примыкал к славянофильскому направлению в русской юридической науке.

[13] Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг.

[14] *Кошелев Александр Иванович* (1806—1883) —общественный деятель, славянофил. Автор умеренно-либеральных проектов отмены крепостного права, участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. Издатель-редактор журналов «Русская беседа», «Сельское благоустройство».

[15] *Черняев Михаил Григорьевич* (1828—1898) — военный и общественный деятель, генерал-лейтенант (1882). В 1864—1866 гг. воевал в Средней Азии, с 1873 г. редактор газеты «Русский мир». Выступал с позиций панславизма. С началом герцеговино-боснийского восстания, вопреки желания русского правительства уехал в Белград и был назначен главнокомандующим сербской армией. В 1882—1884 гг. — генерал-губернатор Туркестана.

[16] *Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — философ, историк, общественный деятель. Один из идеологов славянофильства. Автор либерально-дворянского проекта отмены крепостного права. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. С 1859 по 1860 гг. член Редакционных комиссий.

[17] *Черкасский Владимир Александрович* (1824—1878) — князь, государственный деятель, публицист, славянофил. С 1840 г. выступал за освобождение крестьян. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., крестьянской реформы 1864 г. в Польше, городового положения 1870 г. С октября 1876 г. был уполномоченным русского Красного Креста при действующей армии в Сербии, с ноября 1876 г. — заведующий устройством гражданского управления в Болгарии при главнокомандующем.

[18] *Киреев Николай Алексеевич* (1841—1876) — деятель Петербургского славянского комитета, участник сербо-черногорско-турецкой войны (1876—1878). Командовал отрядом болгарских и сербских добровольцев. 6 июля 1876 г. командовал штурмом турецких укреплений у Раковицы, погиб, когда лично вел отряд на приступ.

[19] *Новикова Ольга Алексеевна* — см. гл. III, прим. 113.

[20] В конце июля 1876 г., когда о жестокой расправе турок над восставшими болгарами стало известно в Европе, общественное мнение европейских государств потребовало от своих правительств расследования событий. Многотысячные митинги, петиции в адрес английской королевы Виктории, премьер-министра Дизраэли и других министров, запросы ли-

бералъной оппозиции во главе с Гладстоном заставили английское правительство согласиться на организацию расследования. С этой целью была создана миссия Уолтера Беринга и ряда других лиц.

[21] *Цанков Драган* (1828—1911) — болгарский политический деятель. В 1879 г. был дипломатическим агентом в Константинополе, в 1880 г. председатель кабинета министров и министр внутренних дел. После государственного переворота 1881 г. был арестован, а затем интернирован. После восстания 1883 г. вторично возглавил кабинет министров; министр внутренних дел. В 1884 г. распустил народное собрание.

[22] *Балабанов Марко* (1837—1921) — болгарский политический деятель и писатель, член Болгарской Академии наук.

[23] Отрицательное отношение русской общественности к итогам Берлинского конгресса (июнь 1878 г.), сведшего на нет успехи России в русско-турецкой войне, нашло свое резкое выражение в речи И.С.Аксакова, с которой он выступил 22 июня 1878 г. в Московском славянском благотворительном обществе. Он обвинил в трусости и уступчивости канцлера А.М.Горчакова и военного министра Д.А.Милютина. Правительство Александра II не могло допустить, чтобы эта речь рассматривалась кем бы то ни было как проявление официальной линии русской внешней политики. С этой целью уже 7 июля Аксакову был объявлен выговор от Московского генерал-губернатора В.А.Долгорукова. Одновременно было принято решение Министерства внутренних дел о немедленном его отстранении от места председателя Московского славянского благотворительного общества, а 21 июля было упразднено и само общество, и последовало распоряжение о высылке Аксакова из Москвы. 26 июля он выехал в Варварино Владимирской губернии, где и пробыл до декабря 1878 г.

[24] *Тихонравов Николай Савич* (1832—1894) — литературовед, археограф. Профессор Московского университета с 1859 г., академик Петербургской Академии наук (1890), с 1877 по 1883 гг. ректор Московского университета.

[25] Речь идет о восстании в Царстве Польском в 1863—1864 гг.

[26] *Университетский устав 1863 г.* предоставлял широкую автономию (кроме Дерптского и Гельсингфорсского, которые имели свои уставы). Советы университетов имели право самостоятельно решать все научные, учебные и административно-финансовые вопросы, выбирать ректора, деканов, профессоров с последующим утверждением их в должности министром народного просвещения. (ПСЗ-2, Т. 38, № 39753).

[27] *Любимов Николай Алексеевич* (1830—1897), окончил физико-математический факультет Московского университета и в 1856 г. защитил диссертацию на степень магистра, в 1865 г. — на степень доктора. В 1859 г. получил должность экстраординарного профессора. В 1876 г. участвовал в комиссии под председательством И.Д.Делянова, ревизовавшей университеты. В результате этой деятельности написал «Записку о недостатках нынешнего состояния университетов», в которой призывал к пересмотру университетского устава с целью уничтожения автономии. В 1882 г. был назначен членом Совета министерства народного просвещения. В 1893 г. издал книгу «Крушение монархии во Франции».

[28] *Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870—1920) — один из идеологов «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела». Крайне правый во II и IV Государственной Думе. Крупный помещик. Участвовал в убийстве Г.Е.Распутина.

[29] *Марков Николай Евгеньевич* (второй) (1866 — после 1931), один из лидеров «Союза русского народа», председатель «Союза объединенного дворянства», возглавлял фракцию крайне правых в III и IV Государственной Думе.

[30] Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г.

[31] *Мак-Магон (Mac Mahon) Патрис Морис* — см. гл. III, прим. 53.

[32] *Забелин Иван Егорович* (1820—1908/09) — историк, археолог, член-корреспондент (1884), почетный академик (1907) Петербургской Академии наук. Председатель общества истории и древности российской (1876—1886). Фактический руководитель исторического музея в Москве. Труды по истории быта русского народа XVI—XVIII вв., истории Москвы.

[33] См.: Чичерин Б. Г[осподину] редактору «Критического обозрения» М.М.Ковалевскому. 4 февраля 1879 // Критическое обозрение. 1879, № 4. С. 32—33. Ковалевский М.М. Ответ проф[ессору] Б.Н.Чичерину. Москва, 11 февраля 1879 г. Там же. С. 33—37.

[34] *Шахов Александр Александрович* (1850—1877) — литературовед. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1873 г. начал преподавать на высших женских курсах Герье. В 1875 г. защитил магистерскую диссертацию, с 1876 г. начал читать лекции по французской литературе XVIII в. в Московском университете. Его лекции отличались блестящей формой изложения.

[35] Рецензию Ковалевского М.М. на книгу А.Нассе «О средневековом общинном землевладении» (Ярославль, 1878). См.: Книжное обозрение. 1879, № 2.

[36] О диспуте Ковалевского по поводу магистерской диссертации Н.И.Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции последней четверти XVIII века». См.: Критическое обозрение. 1879, № 2.

[37] *Гизо (Guizoi) Франсуа* (1787—1874) — французский историк. Его труд «История цивилизации во Франции» (М., 1877—1881. Т. 1—4.) в значительной части (т. 1—2) был переведен П.Г.Виноградовым. Гизо в 1847 г. возглавил правительство, свергнутое революцией 1848 г. Фактически с 40-х годов руководил всей политикой июльской монархии.

[38] *Метланд Фредерик Уильям* (1850—1906) — английский историк права, профессор Кембриджского университета.

[39] *Фортунатов Филипп Федорович* (1848—1914) — языковед, академик Петербургской Академии наук (1898). Основоположник Московской лингвистической школы. Сыграл большую роль в развитии общего и сравнительно-исторического языкознания в изучении русского языка. Труды по индоевропеистике, славистике, санскриту, проблемам общего языкознания.

[40] *Веселовский Алексей Николаевич* (1843—1918) — литературовед. В 1879 г. получил степень доктора истории всеобщей литературы. С 1881 г. профессор Московского университета. Почетный академик Петербургской Академии наук (1906). С 1901 по 1906 гг. председатель общества любителей российской словесности. Представитель культурно-исторической школы и сравнительно-исторического метода в литературоведении. Его основные исследования посвящены истории западноевропейской литературы: «Западные влияния в новой русской литературе. Сравнительно-исторические очерки». (М., 1883); Байрон: Биографический очерк. (М., 1902); Бомарше: Опыт характеристики. (СПб., 1888); Этюды о Мольере; Тартюф: История типа и пьесы. (М., 1879); Этюды о Мольере: Мизантроп (Опыт нового анализа пьесы и обзор созданной ею школы) (М., 1881).

[41] *Цветаев Иван Владимирович* (1847—1913) — профессор Московского университета, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1904). Создатель и первый директор (1911—1913) Музея изящных искусств в Москве.

[42] Речь идет об *Александре Николаевиче Веселовском* (1838—1906) — филологе и историке литературы. Окончил Московский университет. С 1872 г. профессор Петербургского университета. Академик Петербургской Академии наук (1886). Руководил отделом русского языка и словесности Академии наук. Научные познания чрезвычайно разнообразны. Он был знатоком русской, славянской, византийской и западноевропейской литературы Средневековья, литературы эпохи Возрождения новой русской и западноевропейской литературы, этнографии. Ему принадлежат работы о происхождении искусства, по теории литературы.

[43] *Тэн (Taine) Ипполит* — см. гл. III, прим. 5.

[44] *Стасов Владимир Васильевич* (1824—1906) —художественный и музыкальный критик, историк искусства, археолог, почетный член Петербургской Академии наук. Окончил училище правоведения в 1843 г. С 1872 г. заведовал художественным отделом Публичной библиотеки. Основами передового современного искусства считал реализм и народность. Внес существенный вклад в разработку важнейших вопросов русской реалистической эстетики.

[45] *Шарапов Сергей Федорович* (1855—1911) — публицист. Издатель журналов «Русское дело», «Русский труд», периодических сборников статей. О травле И.И.Янжула Шараповым и об обстоятельствах его отставки см.: Янжул И.И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. СПб., 1910. Вып. 1.

[46] *Алексеев Александр Семенович* (1851—1916), окончил юридический факультет Московского университета. В 1880 г. получил степень магистра, в 1885 г. назначен экстраординарным профессором государственного права Московского университета.

[47] *Делянов Иван Давыдович* (1818—1897/98) — граф, с 1888 г. государственный деятель, почетный член Петербургской Академии наук (1859). С 1882 г. министр народного просвещения. Проводил политику усиления церковного влияния в начальной школе, ограничения приема детей низших сословий в гимназии, евреев в средние и высшие учебные заведения, уничтожения автономии в университетах, препятствовал развитию женского высшего образования.

[48] Имеется в виду инспектор Московского университета А.А.Брызгалов.

[49] По словам министра просвещения И.Д.Делянова, удаление М.М.Ковалевского из университета было необходимо, «ввиду политического вреда, могущего произойти от преподавания этого профессора и его упорства в самом развращающем умы юношества направлении». (Цит. по кн.: Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976. С. 173).

[50] *«Русская мысль»* — ежемесячный литературно-политический журнал. Издавался в 1880—1918 гг. Стремился пропагандировать конституционные идеи и формировать политическую культуру народа. Предоставлял свои страницы славянофилам, западникам, народникам, либералам, марксистам-позитивистам, материалистам.

[51] *Литтре (Littré) Эмиль* — см. гл. III, прим. 58.

[52] *Бэн (Bain) Александр* (1818—1903) — английский психолог, представитель ассоциативной психологии. Основал журнал «Майнд» в 1876 г. Выдвинул понятие проб и ошибок для объяснения новых форм двигательной активности. Способствовал развитию экспериментальной психологии.

[53] *Грот Николай Яковлевич* (1852—1899) — философ, профессор Московского университета (1886), председатель Московского психологического общества. Основал и редактировал журнал «Вопросы философии и психологии». Эволюционировал от позитивизма к построению метафизики на основе данных опытной науки.

[54] *Харузин Николай Николаевич* (1865—1900) — этнограф. Первым в России (1898) читал курс этнографии в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. Основные труды по этнографии финских, тюркских и монгольских народов.

Харузин Алексей Николаевич (1864—1933) — этнограф, антрополог. Бессарабский губернатор (1904); товарищ директора департамента духовных дел иностранных исповеданий (1908); директор департамента общин дел и товарищ министра внутренних дел (1911); сенатор (1913).

Харузин Михаил Николаевич (1860—1888) — этнограф, юрист, публицист. Написал магистерскую диссертацию: Сведения о казацких общинах на Дону. М., 1885.

[55] *Шахматов Алексей Александрович* (1864—1920) — языковед, исследователь русского летописания, академик Петербургской Академии наук (1894), основоположник истории изучения русского литературного языка, проследил историю древнерусского летописания XI—XVI вв., в области изучения летописания применил сравнительно исторический метод. Заложил основы текстологии как науки.

[56] *Миклухо-Маклай Николай Николаевич* (1846—1888) — этнограф. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи. Выступал против расизма.

[57] *Патканов (Патканян) Керопэ Петр* (1833—1889) — армянский историк, филолог, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1883). Труды по истории армянского языка и письменности.

[58] *Пржевальский Николай Михайлович* (1839—1888) — путешественник, исследователь Центральной Азии, почетный член Петербургской Академии наук (1878), генерал-майор. Впервые описал природу многих районов Центральной Азии, открыл ряд хребтов, котловин, озер в Куньлуне, Наньшане и на Тибетском нагорье. Собрал ценные коллекции растений и животных.

[59] *Шеин Павел Васильевич* (1826—1900) — русский и белорусский фольклорист, этнограф. Собирательскую деятельность начал с середины 50-х годов.

[60] *Уваров Алексей Сергеевич* (1825—1884/85) — граф, археолог, член-корреспондент (1856), почетный член (1857) Петербургской Академии наук. Один из основателей Петербургского и Московского археологических обществ, исторического музея в Москве, организатор археологических съездов.

Уварова Прасковья Сергеевна (1840—1924) — графиня, археолог, жена А.С.Уварова. С 1884 г. председатель Московского археологического общества и организатор Всероссийских археологических съездов. Автор 174 работ по разным вопросам археологии. Вела большую организационную работу по изучению и охране памятников.

[61] *Самоквасов Дмитрий Яковлевич* (1843—1919) — археолог, архивист, историк права. Профессор истории русского права Варшавского (1874), Московского (1894) университетов. С 1892 г. управляющий Московским архивом Министерства юстиции.

[62] *Антонович Владимир Бонифатьевич* (1834—1908) — украинский историк, археограф, этнограф. Один из родоначальников украинской буржуазной историографии. Профессор русской истории Киевского университета. Руководил изданием архива Юго-Западной России.

[63] *Геродот* (между 490 и 480 — 425 до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный отцом истории. Автор сочинений, посвященных описанию греко-персидских войн, с изложением истории государства Ахеменидов, Египта и др. Дал первое систематическое описание жизни и быта скифов.

[64] *Анучин Дмитрий Николаевич* (1843—1923) — антрополог, географ, этнограф, археолог. В 1867 г. окончил Московский университет. Профессор Московского университета (1884), с 1885 г. руководил кафедрой географии. С 1890 г. читал курс антропологии. Один из основоположников антропологии в России. Создатель школы географов, исследователей и педагогов. Академик (1896), почетный член Петербургской Академии наук (1898).

[65] *Александр III* (1845—1894) — российский император с 1881 г.

[66] *Университетский устав 1884 г.* уничтожил автономию университетов. Вся деятельность университетов учебная, научная, административно-финансовая была поставлена под жесткий контроль Министерства народного просвещения и Попечителя Учебного округа. (См.: ПСЗ-3, Т. 4, № 2395).

[67] *Петровский Сергей Александрович* (1846—1917), окончил юридический факультет Московского университета, служил в архиве Министерства юстиции, где готовил к печати протоколы Сената. С 1873 по 1878 гг. читал в Московском университете лекции по русскому праву. С 1880 г. сотрудник газеты «Московские ведомости». С 1887 по 1896 гг. редактор этого издания.

[68] *Сергеевич Василий Иванович* (1832—1910) — юрист, профессор Московского (1871), Петербургского (1872) университетов. Глава государственной юридической школы в России.

[69] *Лаферрьер (Lous Fermin Julten Laferriere)* (1798—1861) — французский юрист, член Французской Академии. Адвокат, затем член Государственного Совета. Приверженец историко-философского изучения права.

[70] *Глассон (Glasson) Эрнест* (1839—1907) — французский историк права. Член Академии моральных и политических наук (1881). Автор ряда работ по истории права и учреждении Франции и Англии. Сторонник общинной теории, которую он обосновывал на материале истории Франции.

[71] *Бриссо (Brissot) Жан Пьер* (1754—1793) — деятель Великой французской революции. Лидер жирондистов. Приобрел известность в 70—80-е годы XVIII в. историко-философскими сочинениями, в которых выступал как ученик Ж.-Ж.Руссо. Наиболее известная работа «О праве собственности и о краже в природе и обществе» (1780).

[72] *Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович* (1838—1916) — историк, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1903). Труды по истории русского и литовского права, по публикации источников.

[73] *Крылов Никита Иванович* (1807—1879) — профессор римского права Московского университета (1835—1872). Блестящий лектор, никогда не издавал своих лекций. Представитель исторической школы в юриспруденции.

[74] *Бабст Иван Кондратьевич* (1823—1881) — экономист, один из основоположников в России исторической школы политэкономии. С 1857 г. возглавил кафедру политэкономии и статистики Московского университе-

та. В 1874 г. оставил кафедру политэкономии. С 1864 по 1868 гг. директор Лазаревского института восточных языков, с 1867 г. управляющий Московским купеческим банком.

[75] *Мильгаузен Федор Богданович* (1820—1878) — профессор финансового права Московского университета. Брат жены Т.Н.Грановского.

[76] *Коркунов Николай Михайлович* (1853—1904) — юрист, профессор Петербургского университета (1894). Труды по государственному и международному праву.

[77] *Исаев Андрей Алексеевич* (1851—1924) — экономист народнического направления, статистик и социолог. Один из пропагандистов «кооперативного социализма».

[78] *Хомяковы* — старинный дворянский род, ведущий начало от Владимира Семеновича Хомякова, пожалованного царем Михаилом Федоровичем поместьем в 1624 г. Из этого рода происходил Алексей Степанович Хомяков (1804—1860), один из наиболее видных вождей славянофильства, русский религиозный философ, поэт, публицист, основатель славянофильства. Председатель общества любителей русской словесности. Сторонник отмены крепостного права путем реформ. В самодержавии видел единственно возможную для России политическую власть, но предлагал созыв Земского собора и ряд других политических реформ.

[79] *Хвостовы* — старинный дворянский род пошел от тысяцкого Алексея Петровича Хвоста, среди которых было немало видных деятелей и служивых людей. К этому роду принадлежал Хвостов Вениамин Михайлович (1868—1920) — юрист. В 1898 г. получил степень доктора римского права. Был профессором римского права в Московском университете.

[80] *Шувалов Павел Андреевич* (1830—1908) — граф, государственный деятель, дипломат, генерал от инфантерии. С 1885 по 1894 гг. посол в Берлине. Сторонник сближения с Германией.

[81] *Валуев Петр Александрович* (1815—1890) — граф, с 1880 г. государственный деятель, с 1861 по 1868 гг. министр внутренних дел, осуществлял проведение реформ (земской, цензурной и др.). С 1872 по 1879 гг. министр государственных имуществ, с 1879 по 1881 гг. председатель кабинета министров.

[82] *Ге Николай Николаевич* (1831—1894) — живописец, один из основателей Товарищества передвижников. Творчество представлено портретами, историческими картинами, картинами на религиозные и эпические темы.

[83] *Усов Сергей Алексеевич* (1827—1886) — профессор, зоолог. В 1858 г. окончил Московский университет. С 1861 г. начал преподавать зоологию позвоночных в этом же университете. В 1864 г. защитил докторскую диссертацию. С 1864 по 1870 гг. руководил основанным при его участии Московским зоологическим садом. Активный защитник университетского устава (1863). В лекциях и работах развивал взгляды К.Ф.Руль о связи строения и образа жизни животных с условиями среды.

[84] *Мопассан (Moupassant) Ги де* (1850—1893) — французский писатель, мастер короткого рассказа.

[85] *Фрей Вильям* (псевдоним *Владимира Константиновича Гейса*) (1839—?) — писатель. Окончил Константиновское военное училище. В 1858 г. зачислен в лейб-гвардии Финляндский полк. Будучи капитаном Генерального штаба, в 1868 г. эмигрировал в Америку, где организовал земледельческую ферму на коммунистических началах. Коммуна через несколько лет распалась и после долголетних скитаний он поселился в Англии. В 70-е годы помещал корреспонденции, очерки из американской жизни и статьи по различным социальным вопросам в журналах «Отечест-

венные записки», «Вестник Европы» и др. Смыслом его жизни было искание праведной жизни.

[86] *Дерулед (Deroulede) Поль* (1846—?) — французский политический деятель и поэт. Участник франко-прусской войны в 1870—1871 гг. Ярый сторонник идей реванша, с этой целью основал Лигу реванша. С 1889 по 1892 гг. член парламента, стоял на узкошовинистических позициях, был связан с монархической партией, был привлечен к суду по обвинению в попытке свержения республики (1900) и осужден на 10 лет. В 1905 г. вернулся по амнистии.

[87] *Головачев Алексей Андрианович* (1819—?) — общественный деятель и публицист. В 1839 г. окончил Московский университет. В 1856 г. был избран предводителем дворянства Корчевского уезда Тверской губернии, принимал участие в работе Тверской комиссии по освобождению крестьян. Управляющий контрольной палатой сначала Псковской, а затем Саратовской губернии. Был директором от правительства в правлении Донецкой железной дороги. С 1858 г. начал заниматься публицистикой.

[88] Банкет состоялся 15(27) февраля 1879 г.

[89] *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818—1885) — историк, представитель государственной школы и публицист. Участник подготовки крестьянской реформы в 1861 г., автор одного из первых проектов отмены крепостного права. Сторонник умеренных преобразований при сохранении неограниченной монархии и помещичьего землевладения.

[90] *Кистяковский Богдан (Федор) Александрович* (1868—1920) — юрист, публицист, кадет. С 1906 г. преподавал в Коммерческом институте, позднее приват-доцент Московского университета. С 1917 г. профессор Киевского университета по кафедре государственное право, с 1913 по 1917 гг. редактор журнала «Юридический Вестник».

[91] *Злотовратский Николай Николаевич* (1845—1911) — писатель, почетный академик Петербургской Академии наук (1909). Был близок к народникам.

[92] *Шелгунов Николай Васильевич* (1824—1891) — революционер-демократ, публицист, литературный критик. Участник революционного движения 60-х годов, автор нескольких прокламаций, с 1866 г. один из ведущих сотрудников, с 1880 по 1884 гг. фактический редактор журнала «Дело».

[93] *Эрпиль Александр Иванович* (1855—1908) — писатель, проживал в деревне, занимал должность управляющего различных имений, в качестве последователя Л.Н.Толстого осуществлял многие его идеи на практике.

[93а] *Корж Валентин Федорович* (1823—1883) — публицист, историк. С 1856 по 1862 гг. редактировал «Московские ведомости», с 1863 по 1874 гг. — «Петербургские ведомости».

[94] *Михайловский Николай Константинович* (1842—1904) — социолог, публицист, литературный критик. Один из редакторов журналов «Отечественные записки», «Русское богатство». В конце 70-х годов был близок к народной воле. В 90-е годы выступал с позиций крестьянского социализма против марксизма.

[95] *Успенский Глеб Иванович* (1843—1902) — писатель, реалистично показал жизнь городской бедноты и социальные противоречия пореформенной деревни.

[96] *«Отечественные записки»* — ежемесячный литературный и политический журнал, выходивший в 1859—1884 годах в Петербурге.

[97] *«Русское богатство»* — литературный, научный, политический журнал, издававшийся в 1879—1914 гг. в Петербурге сначала 3 раза в месяц, а с марта 1879 г. ежемесячно. Оплот народничества, вел полемику с русски-

ми марксистами. На рубеже 90-х и 900-х годов журнал являлся своего рода лабораторией, в которой формировались идеи неонародничества. С 1906 г. фактически стал органом партии социалистов-революционеров.

[98] *Писарев Дмитрий Иванович* (1840—1868) — литературный критик, публицист. С начала 60-х годов ведущий сотрудник журнала «Русское слово». С 1862 по 1866 гг. заключен в Петропавловскую крепость за антиправительственный памфлет. Выдвинул идею достижения социализма через индустриальное развитие страны. Пропагандировал развитие естествознания, которое считал средством просвещения и производительной силой. Высоко ценил творчество И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и отрицал значение творчества А.С.Пушкина.

[99] *Чернышевский Николай Гаврилович* (1828—1889) — публицист, литературный критик, писатель. С 1856 по 1862 гг. один из руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель революционного движения 60-х годов. В 1862 г. арестован, 1864 г. приговорен к 7 годам каторги, потом ссылка в Восточную Сибирь. В 1883 г. переведен в Астрахань, а затем в Саратов. Один из родоначальников народничества. Стоял на позициях антропологизма.

[100] *Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861) — литературный критик, публицист, революционер-демократ. С 1857 г. сотрудник журнала «Современник». Развивал эстетические принципы В.Г.Белинского и Н.Г.Чернышевского, видя назначение литературы прежде всего в критике существующего строя, разработал метод так называемой реальной критики.

[101] *Легонин Виктор Алексеевич* (1831—1899) — профессор судебной медицины Московского университета (с 1868 г.).

[102] *Мещерский Владимир Петрович* (1839—1914) — князь, публицист. Основал и издавал монархическую газету и журнал «Гражданин». Имел звание камер-юнкера, был попечителем Московского учебного округа.

[103] *Капнист Павел Александрович* (1840—1904) — граф. С 1880 г. попечитель Московского учебного округа.

[104] *Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) Шарль Морис* (1754—1838) — французский дипломат, министр иностранных дел (1797—1799), (1799—1807), (1814—1815). Глава французской делегации на Венском конгрессе (1814—1815). С 1830 по 1834 гг. посол Франции в Лондоне. Один из самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги.

[105] *Дерюжинский Владимир Федорович* (1861—1920) — профессор полицейского права Московского, а затем Юрьевского университетов, редактор журнала Министерства юстиции.

[106] *Нечаев Василий Михайлович* (1860—?) — юрист, профессор Демидовского лицея, Новороссийского и Юрьевского университетов, юрисконсульт Министерства юстиции.

[107] *Ежазаров (Егиазаров) Содомон Адамович* (1852—?) — профессор государственного права Киевского университета.

Глава V

Пребывание в Стокгольме, в Оксфорде и в Париже. Научные работы в Болье и летнее странствие по архивам и библиотекам

[1] *Кэй* — врач, профессор, ректор Каролинского института медицинской академии в Стокгольме.

[2] *Леффлер (Leffler) Анна Шарлотта* (1842—1892), по первому мужу Эдгрен, по второму ди Каянелло, писательница, биограф С.В.Ковалевской, сестра Г.Миттаг-Леффлера.

[3] *Лавров Петр Лаврович* — см. гл. III, прим. 161.

[4] *Градовский Александр Дмитриевич* (1841—1889) — см. гл. II, прим. 55.

[5] *Склифосовский Николай Васильевич* (1850—1904) — хирург, профессор. Труды по хирургии брюшной полости и военно-полевой хирургии. Способствовал внедрению в русскую хирургию применения септики и антисептики.

[6] *Пахман Семен Викентьевич* — см. гл. II, прим. 46.

[7] *Мэн Мен Мейн (Maine) Генри Джеймс Самнер* — см. гл. III, прим. 122.

[8] *Фюстель де Куланж Нюма Дени* — см. гл. II, прим. 93.

[9] Стокгольмский университет финансировался общественностью, поэтому имел возможность приглашать для чтения лекций видных иностранных профессоров. Обучение в нем не носило такого элементарного характера, каким отличалось преподавание в университетах Упсалы и Лунды. Контингент слушателей этого университета составляли кандидаты и доктора, прибывшие для углубленного изучения определенной специальности (Ковалевский М.М. Стокгольмский университет. Университетская жизнь в Швеции // Русские ведомости. 25 октября, 5 ноября 1888 г.).

[10] *Шеффле (Schäffle) Альберт Эбергард Фридрих* — см. гл. II, прим. 32.

[11] *Боше* — юрист, историк права, профессор университета в Нанси, член Академии нравственных и политических наук в Париже.

[12] *Анимализм* (от *лат.* animatus — одушевление) — вера в безличную одушевленность природы или ее отдельных частей, характерная черта первобытных религий.

[13] *Гильдебрандт (Hildebrand) Брор Эмиль* (1806—?) — шведский археолог, нумизмат.

[14] *Монтелиус (Montelius) Оскар* (1843—1921) — шведский археолог. Создал хронологическую классификацию неолита, бронзы, раннего железного веков Европы, базирующуюся на разработанном им типологическом методе, который помогал установить относительную и абсолютную датировку археологических памятников.

[15] *Делагарди (De la Gardie) Якоб Поптус* (1583—1652) — шведский полководец и государственный деятель, граф с 1615 г., риксмаршал (1620), активный участник шведской интервенции начала XVII в. против русского государства.

[16] *Ковалевская Софья Васильевна* (1850—1891) — математик, первая женщина член-корреспондент Петербургской Академии наук. Жена В.О.Ковалевского. Основные труды по математическому анализу, механике, астрономии. Автор беллетристических произведений.

[17] *Норденшельд (Nordenskiöld) Нилье Адольф Эрик* (1832—1901) — шведский геолог, географ, исследователь Арктики, член Стокгольмской Академии наук (1858). В 1876 и 1883 гг. руководил шведской экспедицией в Гренландию. В 1875 и 1876 гг. плавал из Швеции в устье Енисея. В 1878—1879 гг. осуществил впервые (с зимовкой в пути) плавание по Ледовитому океану, пройдя из Атлантического океана в Тихий и через Суэцкий канал вернулся в Швецию (1880), впервые обойдя всю Евразию.

[18] 12(24) декабря 1888 г. С.В.Ковалевской была присуждена Парижской Академией наук премия Бордена за работу о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. (Ковалевская С.В. Научные работы. М., 1948).

[19] М.М.Ковалевский допустил неточность. В июне 1874 г. С.В.Ковалевской была присуждена степень доктора философии Геттингенским университетом. (Ковалевская С.В. Указ. соч.)

[20] *Дюдеффан (Du Deffan) Мари де Вишу Шармон* (1697—1780) — маркиза, одна из самых выдающихся женщин эпохи регентства. В 40-х годах XVIII в. ее салон был центром, где собиралось самое выдающееся общество, не только писатели (Вольтер, Монтескье, Даламбер, Мариво), но и представители аристократии. Ее остроумие, злой ум, меткие суждения о людях и книгах собирали в салоне цвет Парижа. Ее письма к Даламберу, Эно, Монтескье, Вольтеру свидетельствуют о большой независимости ее мнений, она не попала под влияние энциклопедистов, а наоборот, беспристрастно критиковала великих мыслителей своего времени.

[21] *Янковская М.В.* (урожденная Залесская) — польская революционерка, в замужестве Мендельсон, биограф С.В.Ковалевской.

[22] *Достоевский* в 1849 г. был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторгой (1850—1854) с последующей службой рядовым. В 1859 г. вернулся в Петербург.

[23] *Сеченов Иван Михайлович* (1829—1905) — ученый, создатель физиологической школы, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1869), почетный член этой Академии (1904). Создатель объективной физиологии поведения, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии.

[24] *Дарвин Чарльз Роберт* (1809—1882) — английский естествоиспытатель, создатель дарвинизма, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1867). В книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) обосновал гипотезу происхождения человека от обезьяноподобного предка. Имел работы по геологии, ботанике и зоологии.

[25] *Ковалевский Владимир Онуфриевич* (1842—1883) — зоолог, основатель эволюционной палеонтологии. Первый из палеонтологов применил эволюционное учение к проблемам филогенеза позвоночных. Был мужем С.В.Ковалевской.

[26] *Вейерштрасс (Welerstrass) Карл-Теодор Вильгельм* (1815—1897) — математик, в 1854 г. получил степень доктора Кенигсбергского университета, в 1856 г. избран в члены Академии наук. Особенностью читаемых им курсов было то, что они составляли единый цикл, на котором строилось все здание его математики снизу доверху, начиная с понятия о числе, кончая теорией абелевых функций.

[27] Относительно лекции С.В.Ковалевской в Гельсингфорсе у Ковалевского ошибка памяти. Намерения Миттаг-Леффлера пригласить ее в Гельсингфорский университет не осуществились.

[28] *Миттаг-Леффлер (Mittag-Leffler) Магнус Густав* (1846—1927) — шведский математик, член Шведской Академии наук, с 1926 г. почетный член АН СССР.

[29] *Тимирязев Климент Аркадьевич* (1843—1920) — естествоиспытатель, один из основоположников русской научной школы физиологии растений, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1890), профессор Московского университета (1876—1911). Его труды посвящены методам исследования физиологии растений, биологическим основам астрономии, истории науки.

[30] Отъезд состоялся в декабре 1890 г. из Больи, где была вилла М.М.Ковалевского.

[31] Речь М.М.Ковалевского на могиле С.В.Ковалевской опубликована в книге: Ковалевская С.В. Воспоминания и письма. М., 1964. С. 406.

[32] Возможно, имеется в виду роман Арвед Барин «Расплата за славу» (1894). В биографической литературе о С.В.Ковалевской имеются определенные указания о том, что на июнь 1891 г. была назначена ее свадьба с М.М.Ковалевским.

Племянник М.М.Ковалевского — Е.П.Ковалевский писал в 1916 г.: «Пребывание в Стокгольме закрепило и углубило его отношения к С.В., вначале только дружеские, а позднее чуть не приведшие к браку. Этот союз не состоялся, и вряд ли он мог быть особенно счастлив: слишком самобытны и крупны были обе личности». (Ковалевский Е.П. Черты из жизни Максима Максимовича по семейным и личным воспоминаниям // М.М.Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Пг., 1917. С. 31).

[33] *Коротнев Алексей Алексеевич* (1854—1915) — зоолог, член-корреспондент Петербургской АН (1903). В 1881 г. защитил докторскую, с 1887 г. профессор Киевского университета. В 1886 г. основал русскую биологическую станцию на берегу Средиземного моря (в Виллафранке).

[34] *Ковалевский Александр Онуфриевич* (1840—1901) — биолог, один из основоположников сравнительной эмбриологии и физиологии, академик Петербургской Академии наук (1890). Брат В.О.Ковалевского. Труды легли в основу филогенетического направления в эмбриологии.

[35] *Фохт (Vogt) Карл* (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель и философ, представитель вульгарного материализма.

[36] *Плещеев Алексей Николаевич* (1825—1893) — поэт некрасовской школы. За участие в кружке М.В.Петрашевского отбыл каторгу (1849—1859). Писал прозу в духе натуральной школы.

[37] *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1866—1941) — писатель, религиозный философ. В романах и пьесах, написанных на историческом материале, проводит осмысление мировой истории как вечное борение «религии духа» и «религии плоти».

[38] *Боборыкин Петр Дмитриевич* — см. гл. III, прим. 77.

[39] *Немирович-Данченко Василий Иванович* (1848/49—1936) — писатель. Писал романы, рассказы, военные корреспонденции, художественно-этнографические очерки.

[40] *Чехов Антон Павлович* (1860—1904) — писатель, почетный академик Петербургской Академии наук (1900—1902). Тонкий психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетающий юмор и лиризм.

[41] *Сумбатов* (псевдоним Южин) *Александр Иванович* (1857—1924) — актер, драматург. На сцене театра с 1876 г. С 1882 г. выступал в Малом театре, с 1909 г. управляющий труппой, с 1917 г. директор театра.

[42] *Соболевский Василий Михайлович* (1846—1913) — публицист. В 1869 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 1873 г. начал сотрудничать в газете, с 1876 г. помощник редактора, с 1882 г. редактор, издатель газеты «Русские ведомости».

[43] *Белоголовый Н.А.* — врач, общественный деятель, издатель революционного журнала.

[44] *Боткин Сергей Петрович* (1832—1889) — врач-терапевт, основоположник физиологического направления в клинической медицине. С 1861 г. профессор терапевтической клиники Медико-хирургической Академии.

[45] *Якоби (Якобий) Валерий Иванович* (1834—1902) — художник, окончил Академию художеств. С 1871 г. профессор Академии.

[46] *Вандервельде (Vandervelde) Эмиль* (1866—1938) — юрист, бельгийский политический деятель, один из лидеров II Интернационала, профессор Брюссельского университета.

[47] *Де Грееф Гильом* (1842—?) — профессор Брюссельского университета, социолог. С университетской скамьи принимал участие в рабочем движении, был членом-основателем II Интернационала, ректор Нового университета в Брюсселе.

[48] *Смит (Smith) Адам* — см. гл. II, прим. 123.

[49] *Пискорский Владимир Константинович* (1867—1910) — историк, ученик И.В.Лучицкого. Окончил в 1870 г. Киевский университет. Профессор Казанского университета с 1906 г.

[50] *Лорис (Меликов) Михаил Тариелович* (1825—1883) — государственный деятель, граф (1878), генерал от кавалерии (1875), почетный член Петербургской Академии наук (1880). Фактически руководил военными действиями на Кавказе (1877—1878). Председатель Верховной распорядительной комиссии (1880—1881), министр внутренних дел. Сочетал репрессии против революционеров с уступками либералам.

[51] *Щедрин* (наст. фамилия *Салтыков*) *(Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович* (1826—1889) — писатель, сатирик, публицист. С 1868 по 1884 гг. редактор журнала «Отечественные записки».

[52] *Семевский Михаил Иванович* (1837—1892) — историк, журналист. Издавал журнал «Русская старина».

[53] *Гиппиус Зинаида Ивановна* (1869—1945) — писательница. Идеолог символизма. В рассказах особое внимание уделяла нравственно-философским проблемам.

[54] *Виллари Паскуало* (1827—?) — итальянский историк. Один из крупнейших специалистов по эпохе Возрождения. Один из первых обратил внимание на исследования социальных отношений во Флоренции и указал на необходимость установить их связь с культурными явлениями.

[55] *Леонардо да Винчи* (*Leonardo da Vinci*) (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер. Сочетал разработку новых средств художественного языка с теорией обобщения, создал образ человека, отвечающего гуманистическим идеалам высокого Возрождения. Ему принадлежат многочисленные открытия, проекты, эксперименты, исследования в области математики, естественных наук, механики. Отстаивал решающее значение опыта в познании природы.

[56] *Флобер (Flaubert) Гюстав* (1821—1880) — французский писатель. Блестящий стилист, оказал влияние на развитие реализма в мировой литературе.

[57] *Франс (France) Анатоль (*наст. имя *Анатоль Франсуа Тибо)* (1844—1924) — французский писатель. В его произведениях дан сатирический образ Франции конца XIX в. Гротеско-фантастические романы пронизаны антирелигиозной и политической сатирой.

[58] *Тримути* (санскр.) — в индуизме проявление триединства верховных богов индуизма — Брахмы, Вишну, Шивы, изображают с одной головой и тремя ликами.

[59] *Мечников Илья Ильич* (1845—1916) — биолог и патолог, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии. Член-корреспондент (1883), почетный член Петербургской Академии наук (1912). Открыл явление фагоцита. Получил Нобелевскую премию в 1908 г.

[60] Дело *Дрейфуса* сфабриковано в 1884 г. реакционной французской военщиной по ложному обвинению офицера французского генерального

штаба А.Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, суд приговорил А.Дрейфуса к пожизненной каторге. Борьба вокруг дела Дрейфуса привела к политическому кризису. Под давлением демократических сил Дрейфус в 1899 г. был помилован, в 1906 г. реабилитирован.

[61] *Суворин Алексей Степанович* (1834—1912) — публицист, издатель и фактически редактор с 1875 г. газеты «Новое время».

[62] М.М.Ковалевский ошибается: труппой Художественного театра руководил не Василий Иванович Немирович-Данченко, писатель и журналист, а его брат — Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер, драматург, педагог.

[63] *Алексеев* (псевдоним Станиславский) *Константин Сергеевич* (1863—1938) — режиссер, актер, педагог, теоретик театра. В 1898 г. совместно с В.И.Немирович-Данченко организовал Московский художественный театр.

[64] *Золя (Zola) Эмиль* (1840—1902) — французский писатель, сторонник принципов натурализма. Выступал с протестом против дела Дрейфуса.

[65] *Доде (Daudet) Альфонс* (1840—1897) — французский писатель. В своих произведениях создал юмористический тип провинциального буржуа, сибарита и фанфарона.

[66] *Алексис (Alexis) Поль* (1847—1901) — французский писатель, был близок с Э.Золя, входил в так называемую меданскую группу писателей, выпустивших сборник «Меданские вечера».

[67] *Гюисманс (Huysmans) Жорис Карл Жорж Шарль Мари* (1848—1907) — французский писатель, голландец по происхождению. В литературном творчестве следовал принципам натурализма, провозглашенным Э.Золя.

[68] *Накаэ Токусука* (1847—1901) — японский мыслитель, публицист и политический деятель. Учился во Франции (1871—1874), где проникся идеями Монтескье, Руссо и Вольтера.

[69] *Сухово-Кобылин Александр Васильевич* (1817—1903) — драматург, почетный академик Петербургской Академии наук (1902). Занимался философией, переводил Гегеля, писал сочинение «Философия Всемира».

[70] *Огарев Николай Платонович* (1813—1877) — революционер, поэт, публицист, друг и соратник А.И.Герцена. В 1831 г. один из организаторов революционного кружка в Московском университете, с 1834 по 1839 гг. в ссылке. С 1856 г. в эмиграции. Один из руководителей вольной русской типографии в Лондоне. Инициатор и соредактор журнала «Колокол». Разработал социально-экономическую программу крестьянской революции. Участник, подготовитель и создатель революционного сборника «Земля и воля» (1861—1862).

[71] *Дюма (Dumas) Александр,* сын (1824—1895) — французский писатель. Его произведения отличались морализаторством.

[72] Сухово-Кобылин А.В. в 1850 г. был заподозрен в убийстве своей любовницы Симон Деманис. Семь лет находился под следствием и судом, дважды подвергался тюремному заключению. Хотя следствие не имело прямых доказательств его вины, он вынужден был откупиться от чиновников-вымогателей огромными взятками.

[73] *Арнольди Анна (Нина) Александровна* (урожденная *Арапова*) (1843?—1921?) —писательница. Ее роман «Василиса» во многом автобиографический, изображает деятельность и нравы русских революционеров-эмигрантов 70-х годов XIX в.

[74] *Томсен (Thomsen) Вильгельм Людовик* (1842—1927) — датский языковед, профессор Копенгагенского университета (1887—1913). Специалист

по сравнительному историческому языкознанию. Президент датского королевского научного общества (1909). В 1876 г. в Оксфорде читал лекции об основании русского государства скандинавами, где привел новые данные в пользу нормандской теории (The relation between encient Russia and Scandinavia and origin the Russian state (Лондон, 1887)).

[75] *Тейлор (Tylor) Эдуард* (1832—1917) — английский историк культуры, профессор в Оксфорде, основатель музея Питт-Риверса, многократный президент Британского Антропологического института. Исследования посвящены истории материальной культуры и первобытной религии. Один из первых сделал попытку перенести эволюционную теорию в область истории науки. Стал основателем того направления в науке, которое пыталось построить под названием «антропологии» некую универсальную науку о развитии человека и его культуры. Сделал особо важный вклад в историю религии своей теорией анимизма как сущности первобытной религии.

[76] *Фриман (Freeman) Эдуард* — см. гл. I, прим. 51.

[77] *Роджерс (Rogers) Джеймс Эдвин Торольд* (1823—1890) — английский историк и экономист, основатель историко-экономического направления в английской историографии.

[78] М.М.Ковалевский говорит о высочайше утвержденном Положении о выборах в Государственную Думу от 3 июня 1907 г., согласно которому было значительно урезано представительство окраин: Польши, Кавказа, Средней Азии, увеличено число выборщиков от землевладельческой курии, сократилось от крестьянской. (См.: ППЗ-3, Т. 27, № 29242).

[79] М.М.Ковалевский говорит об именном указе от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования», который провозглашал свободный порядок выхода крестьян из общины и закреплял в любое время в собственность наделы земли. (См.: ПСЗ-3, Т. 26, № 28528). 14 июня 1910 г. был принят закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении», в котором закреплялось право крестьян выделять свои наследственные наделы, сохранив право на недра за общиной. (См.: ППЗ-3, Т. 30, № 33745).

[80] *Бергсон (Bergson) Анри* — см. гл. II, прим. 161.

[81] М.М.Ковалевский был избран в академики 29 марта 1914 г. (История Академии наук 1903-1917. М., 1964. Т. 2).

[82] *Тирабоски (Tiraboschi) Джироламо* (1731—1770) — итальянский историк литературы.

[83] *Муратóри (Muratori) Лодовико Антонио* (1652—1750) — итальянский историк-эрудит, издатель документов по истории средних веков Италии. С 1695 г. хранитель миланской библиотеки Амбразианы. С 1700 г. главный библиотекарь и архивист герцогов Моденских.

[84] *Роберти (Робер де Кастро де ла Серда) Евгений Валентинович* (1843—1915) — российский социолог и философ, позитивист, последователь О.Конта. Профессор Брюссельского (1894—1907) и Петербургского университетов (1908—1915). Один из организаторов Русской школы общественных наук в Париже.

[85] *Милютин Николай Александрович* (1818—1872) —государственный деятель. Принадлежал к группе либеральных бюрократов. С 1859 по 1861 гг. товарищ министра внутренних дел, фактически руководил работой по подготовке крестьянской реформы в 1861 г. Руководил крестьянской реформой в Польше (1864).

[86] М.М.Ковалевский ошибается: прототипом для Л.Н.Толстого послужил не племянник, а старший брат — Иван Ильич Мечников (1838—1881). Он был прокурором Тульского окружного суда, председателем Киевского окружного суда.

[87] *Мечников Николай Ильич*, брат Ильи Ильича, присяжный поверенный в Харькове и Одессе.

[88] *Степанов Николай Тихонович* (1839—?) — зоолог, с 1869 г. профессор, с 1887 г. по 1918 гг. декан физико-математического факультета Харьковского университета.

[89] *Ценковский Лев Семенович* (1822—1887) — российский ботаник, протистолог и бактериолог, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1881). Развивал представление о единстве растительного и животного мира. Предложил метод получения эффективной сибиреязвенной вакцины.

[90] *Посников Александр Сергеевич* (1845—1921) — видный экономист-аграрник, профессор Петербургского политехнического института, один из основателей партии демократических реформ. В своих работах убедительно доказывал, что община никакого препятствия к развитию сельского хозяйства не представляет. Создатель аграрной программы партии демократических реформ.

[91] И.И.Мечников ушел из Новороссийского университета (Одесса) в 1882 г. вследствие преследования его университетской администрацией на политической почве. Кроме прямой борьбы за независимость Высшей школы, Мечников вел борьбу с реакционной профессорской группой, стремившейся протащить на кафедры своих единомышленников — в большинстве бездарных ученых. (См.: Мечников И.И. Страницы воспоминаний. М., 1946. С. 80—83).

[92] Об увлечении Мечникова И.И. С.В.Ковалевской см.: Этюды оптимизма. М., 1987.

[93] В первый раз И.И.Мечников женился в 1868 г. на Л.В.Федорович, которая умерла в 1873 г. Вторично Мечников женился в 1875 г. на О.Н.Белокопытовой.

[94] *Пастер (Paster) Луи* (1822—1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии. Иностранный член-корреспондент (1884), почетный член (1893) Петербургской Академии наук. Разработал методы профилактической вакцинации. Ввел метод асептики и антисептики. В 1888 г. создал и возглавил научно-исследовательский институт микробиологии.

[95] *Ру (Roux) Пьер Поль Эмиль* (1853—1933) — французский микробиолог, член французской медицинской Академии (1895) и Парижской Академии наук (1899), ученик Л.Пастера.

[96] *Гирш (Hirsch) Мориц* (1831—1896) — барон, известный филантроп, посвятивший свою жизнь благотворительной деятельности.

[97] *Гексли (Хансли) (Huxley) Томас Генри* (1825—1895) — английский биолог, представитель естественно-научного материализма, популяризатор дарвинизма. В философии считал себя последователем Юма.

[98] *Лолларды*, буквально, бормочущие молитвы — участники крестьянского плебейского движения в XIV в. в Англии, отвергали привилегии церкви, требовали секуляризации церковных имуществ, критиковали несправедливости феодального строя.

[99] *Уиклиф (Виклиф) (Wicliff, Wiclif, Wyclif) Джон* (между 1320 и 1330—1384) — английский реформатор, идеолог бюргерской ереси, профессор Оксфордского университета, доктор богословия.

[100] *Тихомиров Лев Александрович* (1852—1923) — народник, публицист, член кружка «чайковцев», «Земли и воли», исполкома «Народной воли». Редактор народовольческих изданий. С 1882 г. представлял исполком «Народной воли» за границей, затем отошел от революционной деятельности. В 1888 г. подал прошение о помиловании. По возвращению в Россию стал монархистом.

[101] *Солдатенков Козьма Терентьевич* (1818—1901) — российский издатель, владелец художественной галереи. В 1886 г. организовал издательство. Картинную галерею и библиотеку завещал Румянцевскому музею.

[102] *Игнатьев Николай Павлович* (1832—1908) — граф, генерал от инфантерии (1878), посол в Константинополе. Участник подготовки Сан-Стефанского мирного договора 1878 г. С 1881 по 1882 гг. министр внутренних дел, но не глава правительства, как говорит М.М.Ковалевский.

[103] *Тард (Tarde) Габриель* (1843—1904) — французский социолог и криминалист. С 1900 г. профессор новой философии в Коллеж де Франс.

[104] *Щукин Иван Иванович* (1869—1908) — представитель купеческого рода Щукиных. В 1892 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1893 г. проживал в Париже. Не участвовал в торговом деле. Первоначально собирал гравюры, портреты русских выдающихся деятелей, а затем стал собирать картины старых испанских мастеров. Собирал книги по истории русской философии и истории русской религиозной мысли. В русской Высшей школе общественных наук читал курс «Религиозные и общественные движения в XIV—XV веках». Был посредником в деле приобретения картин для своих братьев.

[105] *Валишевский Казимир* (1849—1935) — польский писатель, автор исторических романов. Читал в русской Высшей школе общественных наук лекции по русской истории.

[106] *Эль Греко (El Greco)* (собств. *Теотокопули*) *(Teotocopuli) Доменико* (1541—1614) — испанский живописец, по происхождению грек. Писал религиозные, мифологические, жанровые картины, пейзажи.

[107] *Веласкес Родригес де Сильва Веласкес (Rodriguez de Silva Velasques) Диего* (1599—1660). Придворный живописец Филиппа IV (1623). Писал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, сцены из народной жизни, острохарактерные портреты.

[108] *Маковский Константин Егорович* (1839—1915) — живописец, член артели художников-передвижников. С 1870-х годов перешел к академизму.

[109] *Гамбаров Юрий Степанович* (1850—1920) — юрист, профессор Московского университета с 1884 г. В 1899 г. вынужден покинуть университет и поселиться в Париже. С 1900 г. профессор Брюссельского вольного университета. Один из организаторов русской Высшей школы общественных наук в Париже, в которой читал курсы: «Энциклопедия гражданского права», «Историческое введение в изучение гражданского права», «Индивидуальный и коллективный рабочий договор в современном праве». В 1906 г. вернулся в Россию. Один из представителей позитивизма в правоведении.

[110] *Онегин (Отто) Александр Федорович* (1845—1925) — незаконнорожденный (Отто — фамилия его крестной матери, данная ему при рождении; Онегин — фамилия его любимого пушкинского героя, принятая им в конце 1860-х годов и официально закрепленная за ним в 1890 г.), коллекционер-пушкинист. Большую часть жизни провел за границей, создав Пушкинский музей, который был им завещан Пушкинскому дому.

[111] *Боткин Михаил Петрович* (1839—1914) — академик живописи. Помимо живописи занимался гравированием, коллекционировал памятники искусства и предметы художественной промышленности.

[112] *Тенишев Вячеслав Николаевич* (1843—1903) — князь, предприниматель, этнограф и социолог.

[113] *Вандаль (Vandal) Альбер* (1853—1910) — граф, французский историк.

[114] *Нольде Эммануил Юльевич* (1853—1909) — барон, статс-секретарь. Окончил училище правоведения в 1875 г. Служил в ведомстве Министерства юстиции. С 1902 г. управлял делами комитета министров, в 1906 г. назначен присутствующим членом Государственного Совета.

[115] Международная школа Парижской выставки, в которой наряду с другими отделениями имелось русское, была открыта в 1900 г.

[116] *Брайс (Bryce) Джеймс* (1838—1922) — английский политический деятель и историк, читал римское право в Лондоне, а затем в Оксфорде. Оставил преподавание и отдался политике. В кабинетах Гладстона (1886) товарищ министра иностранных дел, в 1892 г. канцлер герцогства Ландкастер, занимал посты министра промышленности и торговли, в 1906 г. стал министром по делам Ирландии. Главным произведением, принесшим ему известность, является «American Commonwealth» («Американская республика»).

[117] *Алчевская Христина Даниловна* (1843—?) — общественная деятельница в области народного образования, поборница женского высшего образования.

[118] *Озеров Иван Христофорович* (1869—?) — экономист и статистик. С 1898 г. зав. кафедрой финансового права Московского университета. В 1909 г. избран в Государственный Совет от Академии наук и университетов.

[119] *Буржуа (Bourgeois) Леон Виктор* (1851—?) — французский политический деятель, занимал посты министров внутренних дел, народного просвещения, юстиции, иностранных дел. В 1899 г. представлял Францию на Гаагской мирной конференции. В 1903—1904 гг. был президентом палаты депутатов.

[120] *Бертело (Бертло) (Berthelot) Пьер Эжен Марселен* (1827—1907) — французский химик и общественный деятель. Профессор химии Высшей фармацевтической школы в Париже (1859), Коллеж де Франс (1864), член Парижской АН (1873), член-корреспондент Петербургской АН (1876).

[121] *Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu) Анатоль* (1842—1912) — французский публицист, профессор истории. Руководил школой политических наук. В своих лекциях давал характеристику отношения отдельных правительств стран Европы к различным религиозным концессиям, начиная с католичества и кончая иудаизмом. Лекции его привлекали изяществом форм изложения. Особенностью преподавания были часто устраиваемые собеседования по текущим вопросам как французской, так и европейской политики, на которые приглашались иностранные дипломаты. Совершил 4 путешествия в Россию, результаты которых изложил в книге «L'Empire de Tsars et les Russes» (Париж, 1881—1889), написанной с использованием русских источников. Он заставил Европу уважать желание России идти собственным путем, не отворачиваясь от западного, но избегая всякой излишней подражательности (Ковалевский М.М. Леруа-Болье // Русские ведомости. 1912, 8 июня).

[122] Открытие школы состоялось 14 ноября 1901 г. (Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук в Париже // Исторические записки 107. С. 333).

[123] *Трачевский Александр Семенович* (1838—1906) — историк, с 1877 г. доктор. С 1878 по 1890 гг. профессор Новороссийского университета по кафедре всеобщей истории. Читал в школе курс «Основы истории XIX в.».

[124] *Исаев Андрей Алексеевич* — см. гл. IV, прим. 77.

[125] *Брандес (Brandes) Георг* (1842—1927) — датский литературный критик, публицист. Его работы направлены против романтизма, он боролся за правдивость и реализм литературы.

[126] *Грушевский Михаил Сергеевич* (1866—1934) — украинский историк. В 1894 г. занял кафедру всеобщей истории Львовского университета, где читал курс истории Украины.

[127] *Аничков Евгений Васильевич* (1866—1937) — литературовед. С 1895 г. приват-доцент Киевского университета, с 1908 г. профессор Петербургского Психоневрологического института. Принял участие в организации Высшей русской школы общественных наук в Париже, читал в ней курсы «Русское язычество в прошлом и настоящем», «Сравнительная история литературы».

[128] *Амфитеатров Александр Валентинович* (1862—1938) — писатель, журналист, фельетонист. Писал беллетристические произведения из жизни русского общества, литературно-критические статьи, пьесы. В 1899 г. основал газету «Россия». В 1916 г. редактировал газету «Русская воля».

[129] Письма Ковалевского М.М. свидетельствуют о тех опасениях, которые испытывал А.И.Чупров прежде чем дать согласие на чтение лекций в школе. Он боялся, что его лекции, отражавшие либерально-народническое течение экономической мысли, будут встречены с неодобрением слушателями — социал-демократами. С другой стороны, А.И.Чупров, зная о недоброжелательном отношении царского правительства к лицам, читавшим лекции в школе, просил в письме к Гамбарову не называть его имя в программе курсов, лекций. (ЦИА Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 690. Л. 1 об.).

[130] Подробнее о лекциях, читаемых М.М.Ковалевским, см. в письмах А.И.Чупрову.

[131] *Тимофеев Александр Георгиевич* (1867—?) — юрист, с 1894 г. приват-доцент Петербургского университета по кафедре уголовного права.

[132] *Апостол П.Н.* — экономист, профессор школы, читал курсы «Деньги и денежное обращение», «Кредитно-денежное обращение».

[133] Ковалевский М.М. несколько идеализирует состояние преподавания в школе. Отсутствие достаточного числа профессоров, преподававших в школе, привело к тому, что в ней читалось недостаточное количество систематических курсов, что вызывало недовольство слушателей. Одна из слушательниц писала в Москву: «Теперь же она (школа) только учреждение с программой, очень хорошо и широко задуманной, но еще плохо выполняют эту программу на практике. У нас очень мало обобщающих курсов, все больше отдельные курсики да лекции, совершенно между собой не связанные. Эти курсики бывают часто интересны, но ведь все-таки они только курсики да лекции, специализация по которым вовсе не желательна для лиц, стремящихся к образованию вообще». (ГАРФ. Ф. 102, 00. 1898. Д. 3. Ч. 140. Л. 130).

[134] *Качоровский Карл Август Романович* (1870—?) —экономист, аграрник, статистик, читал курс лекций «О крестьянском хозяйстве и общине в пореформенной России». Слушатели социал-демократы не желали, чтобы с трибуны Школы пропагандировались эсеровские взгляды по аграрному вопросу. 26 января 1904 г. была принята резолюция, подписанная 152 слушателями (более половины постоянных слушателей) с требованием пре-

кратить чтение лекций Качоровского. В результате этого выступления он временно прекратил чтение лекций, но 9 марта 1904 г. возобновил их.

[135] Столкновение между слушателями произошло 13 марта 1904 г.

[136] Хотя преподавание в школе не преследовало политических целей, но политика активно вторгалась в деятельность школы. После лекции М.М.Ковалевского, состоявшейся 24 ноября 1905 г., в которой он осудил забастовки и выступил сторонником конституционной монархии, социал-демократы заявили протест и потребовали, чтобы на следующей лекции профессора им было разрешено разоблачить их неверные взгляды.

[137] Подробнее см. письмо № 42.

[138] 10 ноября 1830 г. бельгийский национальный конгресс провозгласил независимость Бельгии и выработал конституцию, носившую буржуазно-демократический характер.

[139] *Дени (Denis) Гектор* (1842—1813) — бельгийский экономист и политический деятель. В вольном университете читал историю социальных систем, член Брюссельской Академии наук. Член палаты депутатов, в которой много времени уделял законодательной деятельности, направленную на борьбу в интересах свободы и справедливости. (Ковалевский М.М. Две смерти // Вестник Европы. 1913, № 6).

[140] *Реклю (Reclus) Жан Жак Элизе* (1830—1905) — французский географ, социолог, политический деятель, один из теоретиков анархизма. С 1894 по 1905 гг. профессор географии в Брюсселе, сначала свободного университета, а затем созданного по его инициативе нового университета. (Лебедева Н.А., Лебедев Н.К. Элизе Реклю. М., 1956).

[141] В 1894 г. состоялось приглашение Элизе Реклю Советом Брюссельского университета читать лекции по географии.

[142] *Ваяйн Огюст* — анархист. 9 декабря 1893 г. бросил бомбу в зал заседания палаты депутатов. Был приговорен к смертной казни за проведение террористического акта и 5 февраля 1894 г. он был казнен.

[143] *Дюпюи (Дириу) Шарль Александр* (1851—?) — французский политический деятель, член палаты депутатов, принимал активное участие в обсуждении вопросов народного образования и был одним из членов комиссии по пересмотру системы среднего образования. В ноября 1893 г. был избран председателем палаты депутатов.

[144] В 1834 г. был создан Брюссельский университет как центр антиклерикальной либеральной науки. В силу этого получил название «Вольный».

[145] Осенью 1894 г. новый университет был открыт. План деятельности этого университета был разработан Элизе Реклю. Университет не ставил своей целью выпускать дипломированных специалистов. Его цель: формирование сознательных людей, стремившихся к служению науке и человечеству. Университет должен не только давать образование, но и воспитывать чувства и характер студентов, прививать им сознание своих социальных обязанностей. Лекции были тесно связаны с живой действительностью, наука и жизнь взаимно дополнялись в стенах университета. Элизе Реклю основал при нем Географический институт. (Лебедева Н.А., Лебедев Н.К. Элизе Реклю. С. 28—30).

[146] *Пикар (Picard) Эдмонд* (1836—1924) — бельгийский писатель и адвокат, политический деятель. В период подъема революционного движения в 80 годы XIX в. был социалистом.

[147] *Фрер-Орбан (Frère-Orban)* (1812—1896) — бельгийский государственный и политический деятель. По профессии адвокат. С конца 40-х гг. XIX в. лидер либеральной партии. Вел борьбу против католической партии, завершившуюся разрывом Бельгией дипломатических отношений с

Ватиканом (1880). Содействовал проведению в Бельгии ряда мероприятий (отмена ввозных и городских пошлин и др.), способствующих развитию капитализма.

[148] *Жансон Поль* (?—1913) — бельгийский политический деятель, адвокат, профессор Свободного и Нового университетов. Читал лекции по гражданскому праву. Один из лидеров Бельгийской рабочей партии. Один из создателей конституции Бельгии (1893). Блестящий оратор, с которым мог поспорить только Жорес. Политическая деятельность и адвокатура не оставляли ему времени на чтение лекций и он вынужден был отказаться от их чтения. (Ковалевский М.М. Две смерти // Вестник Европы. 1913, № 6).

[149] *Эразм Роттердамский (Erasmus Roterdamus) Дезидирий (Desiderius)* (1469—1536) — гуманист эпохи Возрождения (глава северных гуманистов), филолог, писатель. Родом из Роттердама. Сыграл большую роль в подготовке реформации, но не принял ее. Враг религиозного фанатизма.

[150] *Жорес (Jourés) Жан* (1850—1914) — французский общественный деятель, руководитель французской социалистической партии, затем СФИО (с 1905 г.). Основатель газеты «Юманите» (1904). Активно выступал против колониализма, милитаризма, войны.

[151] *Гамбетта (Gambetta) Леон* — см. гл. III, прим. 56.

[152] *Блан* утверждал, что ликвидация социального гнета возможна путем создания общественных мастерских и введения всеобщего избирательного права. В период революции 1848 г. член Временного правительства, возглавлял Люксембургскую комиссию.

[153] *Лемонье (Lemonnier) Камиль* (1844—1913) — бельгийский писатель, писал на французском языке. Один из основателей группы «Молодая Бельгия».

[154] *Лоран (Laurent) Франсуа* — см. гл. I, прим. 24.

[155] *Лавелэ (de Laveleye) Эмиль-Луи-Виктор* (1822—1892) — бельгийский экономист, профессор государственных наук в Люпинихском университете, видный представитель историко-реалистической школы.

[156] *Пирен (Pirenne) Анри* (1862—1935) — бельгийский историк, профессор (1886—1930). С 1991 по 1921 гг. ректор Гентского университета. В центре его научных интересов находилось исследование социально-экономической истории Средневековья. Одна из центральных проблем, разрабатываемая Пиреном в 80—90-х годах XIX в., — проблема возникновения и развития средневекового города и его институтов.

[157] *Мишле (Michele) Жюль* (1798—1874) — французский историк. Преподавал в Сорбонне (1833—1838), в Коллеж де Франс (1838—1850). Был страстным демократом и республиканцем.

[158] *Кине (Quinet) Эдгар* (1803—1875) — французский писатель и общественный деятель. Заседал как в учредительном, так и в законодательном собрании, боролся с надвигающейся реакцией и был изгнан из Франции после переворота в 1851 г., вернулся во Францию после Седана.

[159] *Данте Алигьери (Dante Alignieri)* (1265—1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. Активно участвовал в общественной жизни Флоренции. В своем творчестве говорил от имени всей итальянской нации. Интерес к земной жизни, к судьбе человечества — основа его гуманизма. Оказал большое влияние на развитие европейской культуры.

[160] *Макиавелли (Machiavelli)* (1459—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель. Видел главную причину бед Италии в ее политичес-

кой раздробленности, преодолеть которую способна лишь сильная власть. Ради упрочнения государства допустимы любые средства.

[161] *Родбертус (Rodbertus) Карл Иоган* (1805—1875) — немецкий экономист, один из основоположников теории государственного социализма. Получил юридическое образование в Геттингенском и Берлинском университетах. В период революции 1848 г. член франкфуртского парламента, выступал за упразднение дворянства; министр культуры и просвещения. После 1848 г. взгляды Родбертуса претерпели эволюцию от демократизма до буржуазного реформизма, защиты конституционной монархии. Отвергая классовую борьбу, он выступал за решение социальных проблем путем реформ, осуществляемых буржуазным государством.

[162] *Мейер (Meyer) Эдуард* (1855—1930) — немецкий историк древности. Профессор древней истории в Лейпциге (1884), Бреславле (1885), Галле (1889), Берлине (1902—1923). В своем пятитомном труде «История древности» попытался дать стройную схему всемирной истории, начиная с возникновения древневосточных цивилизаций и кончая 355 г. до н. э. (временем крушения господства греков в Сицилии).

[163] *Роденбах (Rodenbach) Жорж* (1855—1898) — бельгийский писатель, получил юридическое образование, писал на французском языке. Участник группы «Молодая Бельгия».

[164] *Мальтус (Malthus) Томас Роберт* (1766—1834) — английский экономист, основоположник теории, согласно которой благосостояние населения определяется естественным законом народонаселения.

[165] *Рикардо (Ricardo) Давид* — см. гл. II, прим. 125.

[166] *Кинэ (Quesnay) Франсуа* (1694—1774) — французский экономист, придворный врач Людовика XV, основатель школы физиократов. По экономическим вопросам стал писать в 60 лет.

[167] *Кетле (Quételet) Ламберт Адольф Жак* (1796—1874) — бельгийский статистик, астроном, физик. С 1814 г. профессор математики, с 1820 г. член Брюссельской Академии наук, с 1834 г. ее постоянный секретарь. Применял математику в статистике, что расширило аналитические возможности этой науки. Сыграл большую роль в организации статистического учета. По его инициативе созывались международные статистические конгрессы.

[168] *Бауэр (Bauer) Отто* (1882—1932) — австрийский политический деятель, один из лидеров австрийской социал-демократии. Опубликовал ряд статей по теоретическим проблемам политической экономии, в частности, по вопросу о накоплении капитала, и издал учебник политэкономии.

[169] *Пленер (Plener) Эрнест фон* (1841—?) — австрийский политический деятель, занимал различные административные должности. В 1873 г. был избран членом богемского ландтага и австрийского рейхсрата. Талантливый оратор, прекрасный знаток финансов.

[170] *Мильеран (Millerand) Александр* (1859—1943) — государственный и политический деятель Франции, французский социалист. В 1899 г. вошел в состав кабинета Р.Вальдек-Руссо. Первый случай участия социалистов в правительстве. В 1904 г. исключен из французской социалистической партии. С 1920 по 1924 гг. президент Франции.

[171] Третья всеобщая забастовка в Бельгии состоялась 14—27 апреля 1913 г.

[172] *Реклю (Reclus) Мишель-Эли* (1827—1904) — французский этнограф и писатель, старший брат Элизе Реклю. Был сотрудником брата в его географических работах, написал работы по этнологии и мифологии. В новом университете читал лекции по сравнительной мифологии, но больше вни-

мания уделял публицистике. Принимал участие в работе русских журналах «Отечественные записки», «Дело», «Слово».

[173] *Альба (Alba) Альверес де Толедо (Álvares de Toledo) Феринандо* (1507—1582) — герцог, испанский полководец, правитель Нидерландов (1567—1573). Пытался подавить Нидерландскую революцию. В 1580 г. завоевал Португалию.

[174] *Гюго (Hugo) Виктор* — см. гл. II, прим. 168.

[175] *Бакунин Михаил Александрович* (1814—1876) — революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. В 30-е годы член кружка Станкевича. С 1840 г. за границей, участник революции 1848—1849 гг. (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 г. выдан австрийскими властями России. Заключен в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость. С 1857 г. сибирская ссылка. В 1861 г. бежал за границу. Сотрудничал с А.И.Герценом и Н.П.Огаревым. Организовал тайные революционные общества «Интернациональное братство» (1864—1865) и «Альянс социалистической демократии» (1868). С 1868 г. член Первого Интернационала, выступил против К.Маркса и его сторонников, в 1872 г. исключен решением Гаагского конгресса. Труд «Государственность и анархия» (1873) оказал большое влияние на развитие народнического движения.

[176] *Писемский Алексей Феофилактович* — см. гл. III, прим. 74.

[177] *Реклю (Reclus) Поль* (1847—?) — младший брат Эли и Элизе Реклю, профессор Парижской медицинской школы.

[178] *Верхарн (Verchaeren) Эмиль* (1855—1916) — бельгийский поэт, драматург, критик-символист, писал на французском языке. В начале 80-х годов сблизился с группой «Молодая Бельгия».

[179] Социологический институт Сольве, созданный в 1902 г., существует в настоящее время при Свободном университете.

[180] *Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт)* (1808—1875) — французский император (1852—1870), племянник Наполеона I. Используя недовольство крестьян второй республикой, добился своего избрания президентом (декабрь, 1848), при поддержки военных совершил государственный переворот 2 декабря 1851 г. 2 декабря 1852 г. провозгласил себя императором. Придерживался политики бонапартизма. Во время франко-прусской войны сдался в 1870 г. под Седаном в плен вместе с стотысячной армией. Низложен сентябрьской революцией 1870 г.

Глава VI
По Америке

[1] *Нью-Йорк* был основан в 1626 г. голландской Вест-Индской компанией на территории индейских племен — ирокезов; до захвата англичанами в 1664 г. назывался Новым Амстердамом.

[2] *Джеймс (James) Генри* (1843—1916) — американский писатель и критик; поклонник европейской культуры и литературы, с 1875 г. жил в Европе, сначала во Франции, а с конца 70-х гг. в Англии, приняв окончательно английское гражданство в 1916 г.; основная тема его романов — воздействие духовной среды Европы на простого американца — была подана в своеобразной психологической манере; роман «Американец» издан в Париже в 1877 г.

[3] *Кебль (Кэбль) (Cable) Джордж Вашингтон* (1844—1925) — американский романист; в основном, писал о жизни американского юга; большинство его книг посвящено описанию быта, нравов и психологии креолов — потомков французских и испанских колонизаторов, осевших в Центральной и Южной Америке; место действия, как правило, штат Луизиана и прилегающие к нему области.

[4] *Тьюторы* или *туторы* — надзиратели-репетиторы в высших учебных заведениях Англии и Северной Америки.

[5] *Аристотель Стагирит* (384—322 гг. до н.э.) — древнегреческий философ и ученый-энциклопедист; изучал почти все проблемы развития природы и общества; ввел научную терминологию, не утратившую своего значения и сегодня; оказал огромное влияние на развитие философии Средневековья и нового времени; из его многочисленных трудов дошли до нас лишь немногие, в том числе знаменитая «Политика», в которой дан обзор и анализ форм государственного устройства.

[6] *Тюдоры* — см. гл. III, прим. 187. *Стюарты* — шотландский правящий дом с 1371 г.

[7] Имеется в виду гражданская война между Севером и Югом (1861—1865), т.е. между образованной в 1861 г. Конфедерацией 10 южных штатов и Союзом североамериканских штатов, выступавших за отмену рабства на всей территории Союза американских штатов. Потерпевшие поражение и разоренные войной южные штаты были приняты обратно в Союз, но с обязательством подчиниться конституции и, в частности, новой к ней поправке, запрещавшей рабство.

[8] *Адамс (Adams) Генри* (1838—1918) — американский историк и литератор; преподавал в Гарварде; его знаменитый автобиографический роман «Воспитание Генри Адамса», написанный в 1905—1906 гг., но опубликованный только после его смерти, был заметным явлением в интеллектуальной жизни Америки 20-х гг.

[9] Имеется в виду второй президент США (1797—1801 гг.) *Джон Адамс* (1735—1826).

[10] *Смитсон (Smithson) Джеймс* (ок. 1770—1829) — английский аристократ, ученый-химик; обладая огромным состоянием, завещал его после смерти правительству США для основания научного учреждения. В 1846 г. в соответствии с решением Конгресса в Вашингтоне был создан названный его именем «Институт для развития и распространения научных знаний по этнографии, астрономии и земному магнетизму». Имея собственный периодический орган и располагая великолепными коллекциями по различным отраслям знаний, Институт со временем стал научным центром всемирного значения; при нем было создано несколько музеев, особый интерес представляет этнографический музей коренных народов Америки.

[11] *Эдилы* — римские городские магистраты, в обязанность которых входили надзор за строительством, состоянием улиц, храмов и рынков, а также раздача хлеба, проведение общественных игр и охрана государственной казны; впервые появились в IV в. до н.э. В императорскую эпоху утратили свое значение.

[12] *Острогорский Моисей Яковлевич* (1854—?) — писатель и политический деятель; член I Государственной Думы; упомянутая книга вышла в 1898 г. на французском языке: «La démocratie et l'organisation des parties politiques» («Демократия и организация политических партий»).

[13] *Брайс (Bryce) Джеймс* — см. гл. V, прим. 116. Упомянутая в тексте 3-томная работа «Американская республика» вышла в русском переводе в 1890—1891 гг.

[14] *Таммани-Холл (Таманигаль) (Tammany Hall)* — название политической организации демократической партии в Нью-Йорке; возникла на основе созданного в 1789 г. неким ирландским эмигрантом Уильямом Лидии «Общества святого Таммани» — именованного в честь индейского вождя, выступавшего в то время в поддержку Т.Джефферсона. В структурном отношении копировала организацию индейских общин; в 1808 г. построила в Нью-Йорке здание и переименовалась в «Таммани-Холл», а с 1865 г. стала называться — «Таммани-Ринг». Созданная изначально как общественная организация на общественных началах она со временем превратилась в политическую машину для проведения на выборах всех уровней своих кандидатов-демократов. Широко используя всевозможные методы, в том числе подкуп, преступления, открытый грабеж, она превратилась в гангстерскую организацию, контролирующую всю общественно-политическую жизнь города и штата Нью-Йорк. В начале 70-х гг. правительство США начало открытую борьбу с ней; ее активность пошла на убыль; в дальнейшем практически прекратила свое существование, но оставалась одним из центров демократической партии.

[15] *Вашингтон (Washington) Джордж* (1732—1799) — американский политический деятель; в период Гражданской войны за независимость североамериканских колоний (1775—1783) был избран главнокомандующим; в 1787 г. — президент Конституционной конвенции; с 1789—1797 гг. — 1-й президент США.

[16] *Адамс (Adams) Самюэль* (1722—1803) — американский политический деятель; с 1765 г. — член Массачусетского законодательного собрания; борец за независимость Соединенных Штатов Америки. Был известен своими бичующими английскую администрацию и ее политику памфлетами. В 1769 г. возглавил борьбу радикалов штата Массачусетс против англичан; в 1774 г. избран членом Конгресса; в 1794—1797 гг. — губернатор Массачусетса.

[17] *Уолпол (Вальполь) (Walpol) Роберт*, граф *Оксфорд* (1676—1745) — английский политический деятель; глава партии вигов; первый «премьер-министр» в качестве первого лорда казначейства и канцлера-хранителя печати в 1715—1717 и 1721—1742 гг. С его приходом к власти изменился статус главы кабинета министров, который стал подотчетен не только королю, но и парламенту; отличался крайним цинизмом в выборе средств политической борьбы.

[18] *Карнеги (Carnegie) Эндрю* (1835—1919) — американский промышленник и филантроп; шотландец по происхождению. Создав крупнейшую металлургическую корпорацию, обеспечил своей стране лидирующее место в этой области производства, а свое громадное состояние еще при жизни потратил, в основном, на благотворительность. Им были созданы многочисленные фонды с целью развития науки, культуры, образования; открыты институты, концертные залы, библиотеки, музеи; в 1910 г. был создан Фонд мира Карнеги (Carnegie Endowment for International peace).

[19] *Дестурнель де Констан*, правильно: *Естурнель (Estournelles) Поль Анри Бенжамен Балюе (Balluet)*, барон де *Констан де Ребек (Constant de Rebesque de)* (1852—1924) — французский политический деятель, депутат парламента, сенатор (1904); сторонник международной разрядки и мирного сосуществования; стоял у истоков заключения франко-британского арбитражного договора 1903 г.; был участником мирной конференции в Гааге (1907); в 1909 г. — награжден Нобелевской премией мира.

[20] *Гопкинс (Хопкинс) (Hopkins) Джон* (1795—1873) — американский предприниматель-миллионер; завещал свое состояние и купленные земли под научно-культурный центр, который был открыт в 1876 г., став круп-

ным университетским комплексом уже через 10 лет. Поначалу имел гуманитарный профиль, в настоящее время известен прежде всего как центр медицинских исследований.

[21] *Рокфеллер (Rockefeller) Джон Дэвидсон* (1839—1937) — финансовый и промышленный американский магнат; в 1870 г. создал крупнейшую нефтяную компанию, затем трест; на его средства был открыт университет в Чикаго; в 1913 г. создал благотворительный «Фонд Рокфеллера».

[22] *Дрейфус (Dreyfus) Альфред* (1859—1935) — офицер французского генерального штаба, еврей по национальности; в 1894 г. был обвинен военным судом в государственной измене, шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной каторге; см. также гл. V, прим. 60.

[23] *Иона* — библейский персонаж; один из 12 т.н. малых пророков; рассказ его о пребывании в чреве кита см. в «Книге пророка Ионы», гл. II.

[24] *Буслаев Федор Иванович* — см. гл. IV, прим. 7.

[25] *Тихонравов Николай Саввич*, представитель той же школы, что и Буслаев, основные работы посвящены исследованию и изданию памятников древнерусской литературы.

[26] *Миллер Всеволод Федорович* — см. гл. IV, прим. 5.

[27] *Тимирязев Климент Аркадьевич* — см. гл. V, прим. 29.

[28] *Уорд (Ward) Лестер Франк* (1841—1913) — американский социолог и палеонтолог, занимался в основном проблемами воздействия психологических и ментальных факторов на социальную среду.

[29] *Кэбль (Кебль)* — см. прим. 3. Описание жизни креолов является основным содержанием большинства его книг; из всей обширной библиографии его произведений ни одно из них не значится под упомянутым в тексте заголовком; возможно это одна из новелл, входящих в сборник под общим названием «Креолы, история старой Луизианы», либо «История жизни креолов» и т.д.

[30] Имеется в виду город *Сент-Луис* (штат Миссури); основан в 1764 г. французскими поселенцами, охотниками-звероловами, которые назвали его в честь Людовика IX Святого (1214—1270), короля Франции (1226—1270) — одного из самых почитаемых французских монархов; участник крестовых походов, отважный воин, справедливый и благочестивый правитель, он еще при жизни получил прозвище «Святой» и был канонизирован в 1297 г.; Ковалевский допускает здесь некоторую неточность, т.к. город был основан в период правления Людовика XV (1710—1774), которого никак нельзя было отнести ни к числу «святых», ни к «великим».

[31] *Герцог (Herzog) Рудольф* (1869—1943) — немецкий писатель, новеллист, поэт, драматург, один из самых популярных немецких литераторов 1-й половины XX в.; в 1939 г. награжден медалью Гете за достижения в области науки и культуры; упомянутый роман издавался в Штуттгарте в 1914 и 1915 гг.

[32] *Пенн (Penn) Уильям* (1644—1718) — английский аристократ, квакер (член Общества друзей с 1668 г.); в 1681 г. получил грант на землю в Америке (право на поселение в зачет долга короля его отцу), где создал колонию Пенсильвания как убежище для преследуемых квакеров; разоренный расходами по ее устройству, он продал ее правительству в 1712 г.

Филадельфия — город в Пенсильвании, основан в 1682 г. как центр колонии; расположен на реке Делавэр; в 1790—1800 гг. был первой столицей США.

[33] *Пасториус (Pastorius) Франц Даниэль* (1651—1720) — немецкий юрист и религиозный деятель, основатель немецкой колонии в Пенсильвании; разочарование в профессии и озабоченность состоянием нравственного

упадка европейского общества привели его к поиску новых путей духовного и религиозного обновления. Осуществление своей мечты он связал с переселением в Новый Свет. Купив 15 000 акров земли в Пенсильвании, он во главе небольшой немецкой религиозной общины покидает родину в августе 1683 г., а в октябре того же года основывает неподалеку от Филадельфии немецкое поселение — Джермантаун (немецкий город — *англ.*). Вплоть до смерти оставался главою этой колонии, разросшейся в город; исполнял функции судьи и администратора.

[34] *Меннониты* — протестантская сектантская община, названная в честь ее основателя — голландского священника Менно Симонса (1492—1559), собравшего разрозненные группы умеренных анабаптистов в особые общины со строгою нравственною дисциплиной. Среди основополагающих канонов их вероучения были и такие как: церковное отлучение, отказ от воинской службы, присяги и ряд других догматов, ставящих меннонитов в ситуацию самоизоляции от общества и государства; расселялись в основном на территории Нидерландов, Англии, Германии, Польши, а с XVIII в. и в России.

[35] *О'Коннел (O'Connell) Даниел* (1775—1847) — ирландский политический деятель; был широко известен благодаря своей агитационной борьбе за эмансипацию католиков, которой ирландцы добились только в 1829 г.; в 1830—1845 гг. избирался членом палаты общин; сторонник ирландской автономии.

[36] *Кромвель (Cromwel) Оливер* (1599—1658) — английский политический деятель времен английской буржуазной революции XVII в.; в 1653—1658 гг. — протектор английской республики.

[37] Начавшееся в 1641 г. восстание в Ирландии против английских колонизаторов было жестоко подавлено в 1652 г. Первыми в 1649 г. вторглись войска под командованием Кромвеля, отступившего менее чем через год. Однако трехлетнее сопротивление ирландцев все же закончилось их поражением. Треть населения погибла; тысячи жителей покидали родину, уезжая в Америку или на континент. Экономический упадок, хозяйственная разруха и политическое бесправие привели Ирландию на долгие годы к абсолютной зависимости от Англии. Согласно «Акту об устроении Ирландии», принятому парламентом в 1652 г., все участники восстания лишались земли, имущества и изгонялись из страны либо переселялись в бесплодные западные районы острова. Целые провинции «очищались» от ирландцев и были переданы в руки англичан, начались и религиозные гонения, т.к. католицизм ирландцев рассматривался как идейная основа их сепаратистских устремлений.

[38] *Фении* — тайный союз ирландских патриотов, названный в честь героя одной из древнеирландских саг, был создан в Северной Америке в 1861—1862 гг. и ставил своей целью отторжение Ирландии от Англии и основание Ирландской республики. В 1865 г. английское правительство начало преследование фениев; в 1867 г. попытки поднять восстания закончились поражением бунтовщиков и казнью 5 из них; с конца 80-х гг. XIX в. движение фениев стало постепенно затихать, уступив место более легальным средствам борьбы.

[39] *Короленко Владимир Галактионович* (1853—1921) — писатель и общественный деятель; в 1900 г. получил звание почетного академика; в 1894 г. он предпринял поездки в Англию и Америку и часть своих впечатлений выразил в очень оригинальной повести «Без языка», впервые опубликованной в журнале «Русское богатство» (1895 г., № 1-3).

[40] *Панургово стадо* — известное выражение для обозначения человеческой бездумности и стадности связано с именем одного из героев рома-

на Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Панург, чтобы отомстить скотопромышленнику Дендену, выбрасывает с корабля в море одну овцу из стада, услышав ее блеяние, за ней добровольно следует целое стадо.

[41] *Средняя Калифорния*, колонизованная Испанией в 1769 г., была присоединена к США в результате Мексиканской войны 1848 г. и стала американским штатом в 1850 г.; г. *Монтерей* был столицей Калифорнии в XVIII и XIX вв.; административным центром штата Калифорния стал г. Сакраменто.

[42] *Артур (Arthur) Честер Алан* (1830—1886) — американский государственный деятель; один из основателей республиканской партии; 21-й президент США (1881—1885).

[43] *Микадо* — старинный титул японского императора.

[44] *Богораз Владимир Германович* (псевдоним: Н.А.Тан) (1865—1936) — русский, советский писатель и этнограф; за участие в революционной деятельности был сослан на 10 лет в Сибирь, в г. Среднеколымск (1889—1899), где в составе научной экспедиции занялся изучением быта, нравов и фольклора чукчей (1890—1897 гг.); в 1899 и 1901 г. впервые опубликовал свои работы по этнографии и лингвистике, а также художественные произведения, посвященные, в основном, этому краю и его народу; в 1900—1902 гг. принял участие в русско-американской Тихоокеанской полярной экспедиции; в 1902—1903 гг. занимался в Нью-Йорке обработкой научных материалов, опубликованных в ряде солидных научных изданий. Нелегкой судьбе русских эмигрантов в Америке посвятил несколько романов и повестей.

[45] *Иохельсон (Ихельсон) Владимир Ильич* (1855—1943) — этнограф, исследователь Крайнего Севера и жизни народов Восточной Сибири (алеутов, камчатов); с 1922 г. жил в США, где в основном занимался обработкой собранных ранее материалов и коллекций.

[46] *Лемберг* — немецкое наименование г. Львова.

[47] *Русины* — немецкое название русского населения, проживающего в Австро-Венгрии: Галиции, Буковине и северной Венгрии; этнически близки к украинцам.

[48] *Шевченко Тарас Григорьевич* (1814—1861) — украинский поэт; наиболее полно его произведения издавались во Львове.

[49] *Духоборы* (духоборцы) — одна из старых русских сект, последователи которой считали себя «борцами за дух»; возникла в середине XVIII в. в среде государственных крестьян Воронежской губернии. В соответствии с ее учением православная церковь с присущей ей обрядностью, пышностью богослужения и иерархией является извращением веры и, как таковая, отвергается. Основное положение их учения: Бог присутствует в душе человека и учит его своим словом. Историю Христа надо понимать духовно и исповедоваться только Богу. Непризнание официального духовенства и отказ от института власти привели к жестоким гонениям духоборцев, вынужденных в 1898—1899 гг. эмигрировать в Канаду и на остров Кипр.

[50] *Мицкевич (Mickiewicz) Адам* (1798—1855) — польский поэт; всю свою жизнь и творчество посвятил борьбе за независимость Польши.

[51] *Фогт (Фохт) (Vogt) Карл* (1817—1895) — немецкий ученый-естествоиспытатель и политик; в 1848—1849 гг. член Франко-рурского Национального собрания; в 1849 г. эмигрировал в Швейцарию, где с 1852 г. преподавал в Женевском университете.

[52] *Шурц (Schurz) Карл* (1829—1906) — немецкий публицист, демократ, участник революции 1848—1849 гг.; эмигрировал после ее поражения и проживал в Швейцарии, Франции, Англии, а с 1852 г. в США. Принимал

участие в Гражданской войне между Севером и Югом (1861—1865); впоследствии был посланником США в Испании и министром иностранных дел (1877—1881).

[53] Сражение при *Геттисберге* (1—3 июля 1863 г.), в ходе которого армия южан понесла тяжелые потери, что стало в конечном счете поворотным пунктом Гражданской войны, закончившейся в 1865 г. окончательной победой северян.

[54] *Закон о гомстедах* (гомстед-акт), принятый в 1862 г., касался права поземельной собственности поселенцев на свободных землях; каждый глава семейства при определенных условиях мог занять 160 акров такой земли и по истечении 5 лет получить на нее патент (купчую), представив доказательства соблюдения всех ранее заключенных договоренностей.

[55] *Мормоны* — общераспространенное название Церкви Иисуса Христа святых последнего дня, образованной в 1830 г. Джозефом Смитом (1805—1844). Согласно его учению, Мормон был древним пророком в Северной Америке и «Книга Мормона» была принята членами секты как часть Священного писания; многоженство мормонов имело чисто религиозное основание, но в соответствии с законом конгресса (1887 г.) было отменено и строго наказуемо. В 1847 г. в районе Большого Соленого озера, где обитали индейцы племени Юта, была основана их колония, позже (1850) она получила статус «территории Юты», а с 1896 г. — штата Юты.

[56] *Стори (Story) Джозеф* (1779—1849) — американский юрист и политический деятель, конгрессмен, с 1829 г. — профессор Гарвардского университета; наиболее известна его работа «Пояснения к конституции Соединенных Штатов».

[57] *Кент (Kent) Джеймс* (1763—1847) — американский правовед, профессор Колумбийского университета, издал курс своих лекций под общим названием «Комментарии к американскому законодательству» (1826—1830).

[58] *Токвиль* по поручению правительства был направлен в США для ознакомления с системой исправительных работ; результатом поездки стала опубликованная им в 1833 г. работа: «Исправительная система в США и ее применение во Франции».

[59] *Бенкрофт (Bankroft) Джордж* (1800—1891) — американский историк и государственный деятель, дипломат; наибольшую известность получила его 10-томная «История Соединенных Штатов» (1834—1874), хронологически завершающаяся войной (1775—1783) за независимость североамериканских колоний; продолжением стала «История создания конституции Соединенных Штатов» (1882).

[60] В 1787 г. в Филадельфии собрался 2-й конгресс 13 уже независимых американских колоний, на котором была выработана новая конституция, согласно которой Соединенные Штаты провозглашались федерацией вместо существовавшей в соответствии со старой конституцией 1776 г. — конфедерацией; первым президентом был избран Джордж Вашингтон.

[61] *Франклин (Franklin) Бенджамен* (1706—1790) — американский ученый, политический деятель, писатель и дипломат, посол США во Франции (1776—1785), принимал активное участие в составлении «Декларации независимости» (1776) и Филадельфийской конституции 1787 г.

[62] *Гамильтон* (*Hamilton*) *Александр* (1757—1804) — американский адвокат и государственный деятель; один из лидеров федералистской партии, стоявшей за создание сильной централизованной союзной власти, способной сочетать интересы отдельных штатов и государства в целом; ему же принадлежал ряд статей конституции, опубликованных в «Федералисте»,

где была представлена детальная разработка главных конституционных вопросов.

[63] «*Федералист*» («*The Federalist*») — журнал, выходивший 2 раза в неделю в Нью-Йорке с 27 октября 1787 г. по 2 апреля 1788 г.; всего в нем было опубликовано 77 статей по вопросам конституционного устройства нового американского государства.

[64] *Мадисон (Madison) Джеймс* (1751—1836) — 4-й президент Соединенных Штатов (1809—1817); принимал участие в издании журнала «Федералист», в котором отстаивал идею сильной центральной власти; впоследствии изменил свои взгляды и перешел в лагерь сторонников конфедерации.

[65] *Джс (Jay) Джон* (1745—1829) — американский юрист и политический деятель, верховный судья Америки; в 1794 г. подписал т.н. «договор Джея» о дружбе, торговле и мореплавании с Англией на очень унизительных для своей страны условиях.

[66] *Монтескье* — см. гл. II, прим. 66. Подвергал острой критике феодально-абсолютистские порядки, выступал как идеолог политического компромисса буржуазии и дворянства, отстаивал идею умеренной конституционной монархии и принцип разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной.

[67] Под «*старым швейцарским союзом*» Ковалевский, вероятно, имеет в виду первое объединение 3-х швейцарских кантонов, заключивших в 1291 г. между собою союз, объявленный в 1315 г. «вечным»; впоследствии к нему присоединились еще 5 кантонов и образовали «Союз 8 древних кантонов», который с успехом противостоял агрессивным планам соседних государств. Жизнестойкость этого объединения сделала его ядром для образования швейцарского кантонального союза и признание Швейцарии независимым государством в 1648 г.

[68] В 1574 г. две северные провинции Нидерландов — Голландия и Зеландия, освободившись от власти испанских Габсбургов, избрали Вильгельма I Оранского верховным правителем (штатгальтером); в 1579 г. к ним присоединились еще 5 провинций и на основе «Утрехтской унии» 1581 г. образовали федеративную республику.

[69] *Вильсон (Wilson) Томас Вудро* (1856—1924) — американский политический деятель, президент США (1913—1921), адвокат, преподаватель политической экономии в Принстонском университете, автор работ по «Истории американского народа» (1902) и «Конституционному правительству в Соединенных Штатах» (1908).

[70] *Джордж (George) Генри* (1839—1897) — американский публицист и политикоэконом; пропагандировал идею национализации земли государством как средство разрешения социальных противоречий; пытался возглавить движение американских рабочих и направить их на путь реформаторства. Упомянутая работа «Progress and Poverty» вышла в 1879 г.; его первая брошюра по земельному вопросу увидела свет в 1871 г.

[71] *Тернер (Turner) Фредерик Джаксон* (1861—?) — американский историк, профессор истории в Висконсинском университете (1892—1910) и Гарварде (1910—1924), председатель Американского исторического общества (1910—1911), в 1916—1917 гг. возглавлял отделение истории в институте Карнеги.

[72] *Луизиана* — один из штатов США, расположенный на берегу Мексиканского залива. Открыта испанцами в начале XVI в., в 1682 г. была исследована французом Ла Салле, объявлена французской и названа в честь Людовика XIV; до 1763 г. принадлежала Франции; с 1763—1800 гг. — испанцам, затем снова французам, которые продали ее в 1803 г. США за

15 млн долларов; с 1812 г. — штат с торговым и административным центром Новый Орлеан.

[73] *Уильямс (Вильямс) (Williams) Роджер* (1589—1683) — американский политический деятель, уроженец Уэльса, пуританин. С группой единомышленников в 1631 г. покинул родину и высадился в Новой Англии, в Массачусетсе, где на время вошел в руководство колонией. Однако проповедуемые им взгляды религиозной терпимости и свободы выбора вероучений вызвали резкое недовольство местных властей. Вынужденный бежать, он после нескольких лет скитаний основал новую колонию в Род-Айленде (1636 г.) с центром в г. Провиденс.

[74] *Левеллеры* (букв. — уравнители) — радикальная мелкобуржуазная демократическая группировка в период английской революции XVII в. Возникла в 1645—1647 гг. в бедняцких и средних слоях населения; пользовалась большим влиянием в парламентской армии и сыграла большую роль в Гражданской войне 1642—1646 и 1648 гг. Во главе с Джоном Лилберном выдвинула требование республики с однопалатным парламентом и всеобщим избирательным правом, не распространявшимся на городские и сельские низы. Однако узость их социальной базы и умеренность социально-экономических программ послужили причиной их поражения с индепендентами — партией средней торгово-промышленной буржуазии и нового дворянства.

[75] После казни Карла I в 1649 г. его наследник Карл II занял престол только в 1660 г., а наследовавший его брат Яков II был изгнан из страны в результате т.н. «славной революции» 1688 г.; английский престол перешел к его зятю — штатгальтеру Нидерландов Вильгельму Оранскому; с 1702 по 1714 гг. правила последняя из Стюартов — королева Анна. После смерти бездетной королевы английская корона досталась дальним родственникам Стюартов — курфюрстам Ганновера.

[76] *Ганноверы* — королевский род, правивший в Великобритании в 1714—1901 гг.

[77] *Квакеры* — религиозная община в Англии, организованная Джордем Фоксом (1624—1691) в 1649 г. (самоназвание «Society of Friends» («Общество друзей»); в основе его учения вера о постижении истины верующими с помощью особого «озарения» святым духом, указывающим путь нравственного совершенствования. Квакеры не имеют духовенства, отрицают таинства и внешнюю атрибутику обрядов; придерживаясь суровой морали, они отвергают присягу, военную службу, материальное богатство и светские развлечения; до 1689 г. сурово преследовались правительством и эмигрировали в Америку, где получили широкое распространение.

[78] *Адамс (Adams) Герберт Бакстер* (1850—1901) — американский историк; с 1876 г. преподавал историю в институте Гопкинса, с 1888 г. — профессор; с 1884 г. руководил созданной им Американской ассоциацией историков; издал работу — «Изучение истории и политэкономии в институте Гопкинса».

[79] *Фиск (Fiske) Джон* (полное имя *Эдмунд Фиск Грин*) (1842—1901) — американский историк и философ; с 1869 г. преподавал в Гарварде, пользовался большим научным авторитетом в Англии, где также читал курс лекций, уделяя особое внимание пропаганде и популяризации научных взглядов Герберта Спенсера, что наилучшим образом нашло отражение в его работе «Контуры космической философии» (1874).

[80] *Герберт Спенсер* (см. гл. II, прим. 174) создал т.н. «органическую теорию общества», существенной особенностью которой была попытка проанализировать общественную жизнь в биологических терминах; уподобляя общественные классы органам животного организма, он механи-

чески переносил учение о борьбе за существование на историю человечества; основная работа этого направления — «Система синтетической философии» (1862—1896).

[81] *Долгоруков (Долгорукий) Петр Дмитриевич* (1866—1951) — крупный земский деятель; один из основателей кружка «Беседа», «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов»; один из учредителей кадетской партии и бессменный член ее ЦК (с 1905 г.); депутат I Государственной Думы.

[82] *Петрункевич Иван Ильич* (1844—1928) — политический деятель дореволюционной России; один из основателей и руководителей партии конституционных демократов (кадетов); редактор ее органа «Речь»; депутат I Государственной Думы; с 1920 г. — в эмиграции.

[83] *Лойялисты* (букв. — верноподданные) — монархически настроенные колонисты североамериканских штатов, которые в период войны за независимость (1775—1783) сохранили верность Англии и ее правящему дому; в их число входили крупные землевладельцы, часть плантаторов, связанных коммерческими интересами с метрополией, а также англиканское духовенство и английские чиновники, служившие в колониях. В период военных действий выступали на стороне Англии, а после ее поражения значительная их часть эмигрировала из США.

[84] *Грант (Grant) Улисс Симпсон* (1822—1885) — американский генерал; член республиканской партии; во время Гражданской войны в США (1861—1865) — главнокомандующий армией северных штатов (1864—1865); с 1869—1877 гг. — дважды избирался на пост президента страны.

Глава VII

Опять на родине. Земские съезды. Редактирование газеты «Страна». Государственная дума 1-го созыва

[1] Ковалевский прибыл в Москву 28 августа 1905 г. Он отмечал, что приехал на следующий день после съезда профессоров. Съезд профессоров состоялся 27 августа 1905 г. (См.: Русские ведомости. 1905. 27, 28 августа).

[2] *«Вече»* — новая московская ежедневная газета, начала выходить с 11 декабря 1905 г., последний номер вышел 15 февраля 1910 г., с № 27 1909 г. орган русских монархистов-союзников Московского союза русского народа.

[3] *Трубецкой Евгений Николаевич* — см. гл. III, прим. 180. Он был одним из создателей партии мирного обновления. С 1907 по 1908 гг. член Государственного Совета.

[4] Память изменила М.М.Ковалевскому. Изучение газеты «Русские ведомости» показало, что подобной статьи в ней опубликовано не было. В статье от 9 декабря 1905 г. «Отношение России с окраинами», опубликованной в этой газете, М.М.Ковалевский предлагал, чтобы Верхняя палата состояла из представителей областей и муниципалитетов и рассматривала вопросы внешней политики, безопасности, утверждала бюджет.

[5] *Шанявский Альфонс Леонович* — см. гл. II, прим. 32.

[6] *Университет Шанявского* (Московский городской народный университет им. А.Л.Шанявского) был открыт 2 октября 1908 г. Согласно уставу, университет находился в ведении Московской городской Думы и не входил в систему учреждений Министерства народного просвещения. Имел два отделения: научно-популярное, 4-х годичное, на котором могли обучаться лица, получившие элементарную подготовку, давало знания в объе-

ме средней школы. Академическое отделение, 3-х годичное, давало высшее образование в объеме университетского курса, обучение проводилось на естественно-историческом, общественно-юридическом, историко-филологическом циклах. Для поступления в университет не требовалось представление ни диплома об образовании, ни справки о политической благонадежности.

[7] Ковалевский ошибается. Душеприказчиками были назначены профессор В.К.Рот, М.В.Сабашников и доверенное лицо А.Л.Шанявского бухгалтер И.Я.Волков. (ЦИА. Ф. 179. Оп. 11. Л. 11—12).

[8] *Гучков Александр Иванович* (1862—1936) — политический деятель с 1897 по 1907 гг., участник земско-городских съездов. Один из создателей и признанный лидер партии «Союз 17 октября». Сторонник конституционной монархии с сильной центральной исполнительной властью. Депутат III Государственной Думы, возглавлял фракцию октябристов. С марта 1910 г. по март 1911 г. председатель Государственной Думы.

[9] *Гучков Николай Иванович* (1860—1935) — предприниматель, общественный деятель, с 1906 по 1912 гг. московский городской голова. Потратил много сил и энергии на преодоление различных бюрократических препон при создании университета Шанявского.

[10] Имеется в виду *Иоллос Григорий Борисович* (1859—1907) — публицист, сотрудник газеты «Русские ведомости». С 1906 г. вместе с Соболевским В.М. возглавил эту газету. Член кадетской партии, автор кадетского закона о свободе печати. Депутат I Государственной Думы.

[11] Ковалевскому М.М. изменила память. П.Б.Струве издавал журнал «Освобождение», а не «Обновление».

[12] *Щепкин Николай Николаевич* (1854—1919) — общественный деятель, гласный Московской городской Думы с 1889 г., гласный Московского губернского собрания, почетный мировой судья.

[13] *Булыгинская Дума* — законосовещательный орган, создание которого проектировалось согласно учреждению о Государственной Думе от 6 августа 1905 г. Государственная Дума не имела законодательной инициативы. Подлежащие обсуждению в Государственной Думе дела должны были вноситься в Думу министрами и главноуправляющими. Думе не было предоставлено право рассматривать вопросы государственной безопасности, внешней политики, бюджет страны. Законодательные предложения, рассматриваемые Думой, должны были вноситься с ее заключениями в Государственный Совет. По обсуждению в Государственном Совете вносились на высочайшее благовоззрение. Большинство населения не имело избирательных прав (женщины, военнослужащие, учащиеся, рабочие). Для крестьян устанавливались 4-х степенные выборы, для помещиков и буржуазии 2-х степенные. (ПСЗ-3. Т. 25. № 26661).

[14] *Алексеенко Михаил Мартынович* — см. гл. I, прим. 104.

[15] *Долгоруков Павел Дмитриевич* (1866—1927) — князь, камергер. С 1893 г. председатель Рузского уездного дворянского собрания и оставался на этом посту 5 сроков. Один из создателей кадетской партии. Депутат II Государственной Думы, возглавлял в ней кадетскую фракцию. В 1909 г. создал в Москве общество мира и был его бессменным председателем. Изучение национального вопроса считал одним из важнейших задач этого общества. После начала Первой мировой войны осудил шовинизм и германофобию.

[16] *Стэд (Stead) Уильям Томас* (1849—1912) — английский публицист. Ввел в обычай газетное интервью. Занимался общественно-политической деятельностью, выступал с разоблачениями о непорядках в английском флоте. Во время подъема революционного движения в России в начале

XX в. неоднократно бывал в России. Обратился с письмом к министру внутренних дел В.К.Плеве, в котором указывал на справедливость требований русского общества. Однако в 1905 г., когда он вновь посетил Россию, в своих публичных лекциях и в печати стал защищать русское правительство и нападать на освободительное движение.

[17] *Кинглек (Kinglake) Александр Вильям* (1809—1891) — английский политический деятель и писатель. С 1857 по 1868 гг. член парламента, где примкнул к партии вигов. Написал монументальную работу по истории Крымской войны (Invasion of the Crimea. Лондон, 1863—1887).

[18] *Трепов Дмитрий Федорович* (1855—1906) — генерал-майор, с 11 января по апрель 1905 г. товарищ министра внутренних дел, заведующий Департаментом полиции и командир корпуса жандармов. С апреля по 26 октября 1905 г. петербургский генерал-губернатор, с 26 октября 1905 г. петергофский дворцовый комендант.

[19] Под натиском революционных событий император 20 июля 1906 г. утвердил сеймовый устав Великого княжества Финляндии, согласно которому предусматривалось введение в Финляндии однопалатного сейма, избираемого на основе всеобщего равного избирательного права всеми гражданами, достигшими двадцатичетырехлетнего возраста (ПСЗ-3. Т. 26. № 28081).

[20] *Союз союзов* — объединенный профессионально-политический союз России. Существовал в 1905—1906 гг. Включал 20 всероссийских союзов (инженеров и техников, академический, адвокатов и др.). Имел около 40 местных отделений. В него входило около 135 тыс. человек, в основном интеллигенция и служащие. Главным требованием Союза союзов был созыв Учредительного собрания. Распущен в 1906 г. в связи с запрещением политической деятельности профсоюзов и образованием легальных политических партий.

[21] Согласно решению Государственной Думы первого созыва была избрана депутация для участия в международной парламентской делегации в составе 6 человек: М.М.Ковалевский (председатель), Острогорский М.Я., Васильев А.В., Аладьин А.Ф., Родичев Ф.И., Свечин А.А. (Государственная Дума I созыва: Стенографический отчет. СПб., 1906.

[22] Съезд земских деятелей состоялся 12—15 сентября 1905 г.

[23] *Долгоруков Петр Дмитриевич* — см. гл. VI, прим. 81.

[24] *«Московские ведомости»* — см. гл. II, прим. 16.

[25] М.М.Ковалевский ошибается. Дела П.П.Боткина вел его зять Н.И.Гучков. Стоимость принадлежащего А.И.Гучкову имущества к началу 1917 г. составляла не менее 600 тыс. рублей.

[26] Об этих событиях см. письмо № 64.

[27] *Витте Сергей Юльевич* (1848—1915) — министр путей сообщения (февраль-август 1892 г.), министр финансов (1892—1903), председатель Комитета министров (1903—1905), председатель Совета министров (октябрь 1905 — апрель 1906).

[28] *Азеф (Азев) Евно Фишелевич (Евгений Филиппович)* (1869—1918). С 1893 г. агент Департамента полиции. До конца 90-х годов агентурная деятельность Азефа ограничивалась, в основном, информацией о различных эмигрантских кружках и их связях с Россией. С 1898 г. становится заграничным председателем Союза русских социалистов-революционеров. Один из основателей партии эсеров, глава боевой организации. Им организованы террористические акты против В.К.Плеве и великого князя Сергея Александровича. 7 января 1908 г. ЦК эсеров официально объявил Азефа провокатором.

[29] *Трачевский А.С.* — см. гл. V, прим. 123.

[30] *Арсеньев Константин Константинович* (1837—1919) — юрист, публицист, присяжный поверенный, с 1867 по 1874 гг. председатель Совета присяжных поверенных. Один из инициаторов создания партии демократических реформ. Автор большинства передовых статьей по вопросам политической жизни в России в газете «Страна». С января 1909 г. по 1916 г. редактор «Вестника Европы», задачей которого видел в возможно большем объединении прогрессивных партий на почве служения народу.

[31] *Котляревский Нестор Александрович* (1863—1925) —литературовед, академик (1909), первый директор Пушкинского дома (1910—1925).

[32] *Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич* (1853—1920) —литературовед, лингвист, историк культуры. С 1907 г. почетный академик. С 1913 по 1918 гг. один из редакторов «Вестника Европы».

[33] *«Аполлон»* — ежемесячный журнал. Издавался в 1900—1916 гг. С 1911 г. издавался 10 раз в год. Редактировал журнал Маковский Сергей Константинович (1877—1965) — художник, поэт, критик.

[34] *«Страна»* — ежедневная общественно-политическая и экономическая газета, фактический орган партии демократических реформ. Отделения и конторы газеты были созданы в 60 городах России, а также в Женеве, Ницце, Кельне, Париже и др. Имела постоянных сотрудников за рубежом. Первый номер газеты вышел 18 февраля 1906 г. В июле 1906 г. издание временно приостановлено. Определением Петербургской судебной палаты от 13 января 1907 г. издание прекращено.

[35] *«Сын Отечества»* — ежедневная общеполитическая и литературная газета. Выходила с 1904 по 1905 гг. По распоряжению министра внутренних дел 23 ноября 1904 г. издание приостановлено. Постановлением Петербургской судебной палаты 2 декабря 1905 г. издание прекращено.

[36] *«Жизнь»* — ежедневная политическая, общественная, литературная газета, выходила с 27 ноября 1905 г. по 19 декабря 1905 г.

[37] *Партия демократических реформ* была создана А.С.Посниковым и К.К.Арсеньевым в декабре 1905 г. Отрицала возможность внезапного переворота в общественном строе, выступала за ликвидацию остатков бюрократического режима и признавала необходимость коренного преобразования в стране. Партия выступала против созыва Учредительного собрания и предоставления избирательных прав женщинам. Политическая программа: конституционная монархия с парламентом, обладающим законодательными функциями и разделением властей. Решение национального вопроса связывала с сохранением единой и неделимой России и предоставлением различным народам культурно-национальной автономии.

[38] *Амфитеатров Александр Валентинович* — см. гл. V, прим. 128. В 1916 г. редактировал националистическую газету «Русская воля».

[39] *«Русь»* — ежедневная газета, издавалась с 1903 по 1908 гг. в Петербурге. Издатель Суворин, издание неоднократно прерывалось. Последний номер вышел 18 июня 1908 г.

[40] *Ключевский Василий Осипович* — см. гл. II, прим. 54.

[41] *«Утро»* — ежедневная политическая и общественная, литературная, экономическая газета. Издавалась в Харькове (1906—1916).

[42] *Гредескул Николай Андреевич* (1864—1930) — профессор Харьковского университета, декан юридического факультета, автор ряда работ в области философии и права. Участвовал в либеральном движении, с 1904 г. член Союза освобождения, с 1906 г. член ЦК партии кадетов, товарищ председателя I Государственной Думы. Подписал Выборгское воззвание.

[43] *Толстой Иван Иванович* (1858—1916) — министр народного просвещения (31 октября 1905 г. — 24 апреля 1906 г.).

[44] Соглашение о русском займе было подписано 17 апреля 1906 г. на сумму 843 750 руб. на условиях 5% годовых по цене 83,5 руб. за 100-рублевую облигацию.

[45] *Горемыкин Иван Логгинович* (1839—1917) — государственный деятель, министр внутренних дел (1895—1899). Председатель Совета министров (апрель-июнь 1906, 1914—1916). Занимал враждебную позицию по отношению к Государственной Думе и прогрессивному блоку.

[46] Имеется в виду книга В.В.Розанова «Когда начальство ушло. 1905—1906 гг.». СПб., 1910.

[47] *Мин Георгий Александрович* (1855—1906) — генерал-майор свиты его императорского величества. Всю службу провел в рядах лейб-гвардии Семеновского полка, с 1904 г. командир полка. Активный участник подавления вооруженного восстания в декабре 1905 г. Убит в августе 1906 г. эсеркой З.В.Коноплянниковой.

[48] *Дурново Петр Николаевич* (1844—1915) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 23 октября 1905 г. по 24 апреля 1906 г. министр внутренних дел, с 1906 г. член Государственного Совета. В 1908—1915 гг. возглавил группу правых в Государственном Совете. Один из инициаторов создания Союза русского народа.

[49] *Макаров Александр Александрович* (1857—?) — государственный деятель. С 1906 г. товарищ министра внутренних дел, руководил деятельностью Департамента полиции, с 1911 по 1912 гг. министр внутренних дел, с 1912 г. член Государственного Совета.

[50] *Манухин Сергей Сергеевич* (1856—1921) — государственный деятель. С 1901 г. товарищ министра юстиции, с 1905 г. министр юстиции, с 1905 г. член Государственного Совета.

[51] *Акимов Михаил Григорьевич* (1847—1914) — государственный деятель. Окончил юридический факультет Московского университета. С 1894 по 1899 гг. председатель Одесской судебной палаты, с 1899 г. сенатор уголовного кассационного департамента Сената, с 16 декабря 1905 г. по 24 апреля 1906 г. министр юстиции, с апреля 1906 г. член Государственного Совета, с 6 апреля 1907 г. по 1914 г. его председатель.

[52] *Щегловитов Иван Григорьевич* (1861—1918) — государственный деятель. С 1903 г. обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената. С января 1906 г. товарищ министра юстиции, с апреля 1906 г. по июнь 1915 г. министр юстиции, с 1907 г. член Государственного Совета.

[53] Видимо, в тексте описка. Октябрьская всеобщая политическая стачка, вырвавшая у самодержавия Манифест 17 октября, была в 1905 г.

[54] *Родичев Федор Измаилович* (1854—1933) — общественный деятель. С 1877 по 1895 гг. гласный Тверского губернского земского собрания. Активный деятель земского движения 70-х годов. Один из создателей журнала «Освобождение», активный член Союза освобождения. Участник земских съездов (1904—1905). С 1906 г. избран в члены ЦК кадетской партии. Депутат четырех Государственных Дум. Один из лучших ораторов кадетской партии.

[55] *Носарь* (псевдоним Хрусталев) *Георгий Степанович* (1877—1918) — юрист. Во время Октябрьской политической стачки в 1905 г. возглавил Петербургский Совет рабочих депутатов, в который он был избран от Союза рабочих печатных дел. 14 октября 1905 г. избран председателем Совета рабочих депутатов Петербурга. 28 ноября 1905 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость. По дороге в ссылку сбежал и был пере-

правлен за границу. В эмиграции порвал с социал-демократами. С 1907 г. поселился в Париже, где создал русскую группу синдикалистов. Вскоре увлекся богоискательством и стал издавать газету «Парижский вестник».

[56] *«Русско-Парижский вестник»* — нелегальный двухнедельный политический журнал, издавался в Париже с 1902 по 1905 гг.

[57] *«Кресты»* — тюрьма на Выборгской стороне, названная так из-за крестообразной формы двух зданий. В ней содержались как уголовные, так и политические заключенные.

[58] *Фриш Эдуард Васильевич* (1833—1907) — государственный деятель, юрист. В 1860 г. обер-секретарь II Департамента Сената. С 1870 г. обер-прокурор Сената, с 1876 по 1883 гг. товарищ министра юстиции, с 1883 по 1893 гг. главноуправляющий кодификационного отдела при Государственном Совете. С 1883 г. член Государственного Совета. С 1906 по 1907 гг. председатель Государственного Совета.

[59] *Манифест 17 октября 1905 г.* предоставил Государственной Думе законодательные функции. Правила 8 марта 1906 г. изымали из ведения Государственной Думы значительную часть бюджета. Думы не имела права изменять основные законы, рассматривать вопросы внешней политики, государственной безопасности. Закон 11 декабря 1905 г. о выборах в Государственную Думу сохранял куриальную систему выборов, прибавил к земледельческой, крестьянской, городской рабочую курию. Выборы не были всеобщими (исключались женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств), не равные (1 выборщик на 2 тыс. человек в земледельческой, на 4 тыс. в городской, на 30 тыс. — в крестьянской, на 90 тыс. в рабочей куриях), не прямые (двух, а рабочих и крестьян 3-х и 4-ступенчатые). Первая Дума работала с 27 апреля по 8 июля 1906 г.

[60] *Стахович Александр Александрович* (1857—1915) — общественный деятель. Член Елецкой уездной земской управы Орловской губернии. Уделял много времени вопросам улучшения земледелия путем внедрения передовой агрономии. С начала 90-х годов член кружка «Беседа». Выступал за необходимость введения в России конституции. В 1902 г. участник съезда земцев-конституционалистов, вошел в состав Союза освобождения, а затем в партию Народной свободы. Член ЦК кадетской партии. После начала Первой мировой войны участвовал в создании Всероссийского Союза земств.

[61] *Кауфман Петр Михайлович фон* (1857—1926) — служил в канцелярии Комитета министров и Министерства внутренних дел (1886—1892), секретарь (1892—1896), затем пом. нач. (1896—1903) IV отделения СЕИВК, уполномоченный Красного Креста в русско-японскую и Первую мировую войны. Министр народного просвещения (4.04.1906 — 1.01.1908). Член Государственного Совета.

[62] Ковалевский М.М. выступал с думской трибуны 62 раза по большинству обсуждаемых вопросов, в том числе со справками по истории парламентаризма и его современной практики, об ответственном министерстве, о смертной казни, по аграрному вопросу, о свободе собраний, об амнистии, о положении печати, по поводу Белостокского погрома и т.д. (См.: Государственная Дума первого созыва: Стенографический отчет. СПб., 1906).

[63] *Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич* (1859—1927) — общественный деятель. В 1878 году окончил Пажеский корпус, в 1883 г. Александровскую военно-юридическую Академию. С 1884 г. военный следователь при окружном суде Петербургского военного округа, с 1890 по 1895 гг. экстраординарный, с 1895 по 1905 гг. ординарный, с 1905 г. заслуженный

одинарный профессор кафедры военно-уголовного права военно-юридической Академии. С 1905 г. генерал-майор, с 1897 по 1907 гг. гласный Бежецкого уездного и Тверского губернского земских собраний. Входил в союз земцев-конституционалистов (1904—1905). Участник земских съездов (1905). Один из организаторов и лидеров партии демократических реформ. Депутат I и II Государственных Дум. С 1908 г. читал лекции по военно-уголовному праву в Петербургском университете, с 1914 г. председатель Петербургской земской управы. Уполномоченный от Петроградского земства во Всероссийском земском союзе и председатель его ревизионной комиссии. Член военно-промышленного комитета.

[64] *Ропп, Эдуард Юльевич* фон дер — барон, епископ Виленский, депутат I Государственной Думы, член комиссии для подсчета записок по выборам председателя Государственной Думы.

[65] *Винавер Максим Максимович* (1863—1926) — общественный деятель, юрист. В 1886 г. окончил юридический факультет Варшавского университета, помощник присяжного поверенного. Первоначально общественная деятельность была связана с проблемой эмансипации российских евреев. С 1904 г. член Союза освобождения. В 1905 г. вошел в состав ЦК кадетской партии. Один из ведущих теоретиков партии. Депутат I Государственной Думы.

[66] *Вторая Балканская война* (20 июня — 10 августа 1913 г.) велась между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией, с другой стороны.

[67] *«Новое время»* — ежедневная политическая и литературная газета, выходила в Петербурге с 1868 по 1916 гг.

[68] *Милюков Павел Николаевич* (1869—1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов конституционно-демократической партии, с 1907 г. председатель ее ЦК.

[69] *Острогорский Моисей Яковлевич* (1854—1919) — юрист. Один из крупнейших знатоков русской юридической практики. Издавал систематические справочники для правоведов, юристов-практиков. Депутат I Государственной Думы от партии кадетов.

[70] *Маклаков Василий Алексеевич* (1870—1957) — политический деятель, юрист. В 1887 г. ступил в кружок московских адвокатов, выступавших политическими защитниками. Принимал участие в политических процессах по всей России. Зарекомендовал себя прекрасным оратором. Был приглашен в общество «Беседа» (31.08.1904), секретарь общества, введен в состав бюро общества. Участвовал в подготовке учредительного съезда кадетской партии. С 1906 г. член ЦК партии кадетов. Депутат II и IV Государственной Думы. С 1914 г. активно работал во Всероссийском земском союзе, член прогрессивного блока.

[71] *Набоков Владимир Дмитриевич* (1869—1922) — общественный деятель, юрист. В 1894—1899 гг. служил в Государственной канцелярии. Сотрудничал в журнале «Освобождение», участвовал в создании «Союза освобождения», в земских съездах (1904—1905). Один из организаторов конституционно-демократической партии, с октября 1905 г. член ЦК, товарищ председателя партии. Депутат I Государственной Думы, один из лидеров думской фракции кадетов.

[72] *Трудовая группа* в Государственной Думе образована 28 апреля 1906 г. на собрании депутатов I Государственной Думы от крестьян, рабочих и интеллигенции. Трудовики объявили себя представителями трудящихся классов. Образование фракции было вызвано разногласиями по аграрному вопросу крестьян-депутатов с кадетами, а также деятельностью революционно-демократических организаций и прежде всего Всероссий-

ского крестьянского союза и эсеров, заинтересованных в консолидации крестьянства. Программа группы содержала требования установления народовластия и проведения ряда либерально-демократических реформ. Основное содержание аграрной программы сводилось к ликвидации помещичьего землевладения, национализации земли и передачи ее в пользование крестьян.

[73] *Гейден Петр Александрович* (1840—1907) — граф, крупный помещик Псковской губернии. С 1889 г. постоянно избирался гласным Псковского губернского земства. С 1895 г. предводитель дворянства Опоченского уезда. Принимал активное участие в общественной жизни. Был близок к «Союзу освобождения». Активно участвовал в земских съездах (1904—1905). Один из основателей «Союза 17 октября». Депутат I Государственной Думы. В мае 1906 г. вышел из партии октябристов и возглавил партию мирного обновления.

[74] *Аладьин Алексей Федорович* (1873—1923) — общественный деятель, из зажиточных крестьян. Участник революции 1905—1907 гг., один из организаторов всеобщей забастовки в Петербурге в декабре 1905 г. Депутат I Государственной Думы, один из инициаторов создания трудовой группы, проявил себя талантливым оратором. В феврале 1907 г. развернул в США широкую кампанию с целью информирования американцев о деятельности Государственной Думы и убедить правительство США не давать займы России. В результате в США в 1907 г. было создано общество «Друзей русской свободы». Занимался журналистикой, читал лекции в Великобритании (1907—1914). Оказывал активную помощь эмигрантам.

[75] *Аникин Степан Васильевич* (1869—1919) — общественный деятель, учитель. Член Саратовской организации взаимопомощи учителей, участвовал в организации Всероссийского союза учителей. С 1906 г. член Саратовской организации партии эсеров. Организовал крестьянские «братства» партии эсеров. С возникновением Всероссийского крестьянского союза в 1905 г. организовал его отделение в Поволжье. Депутат I Государственной Думы, один из основателей и лидеров трудовой группы.

[76] *Жилкин Иван Васильевич* (1874—1958) — общественный деятель, из мещанской старообрядческой семьи. В 1891—1898 гг. служил в Вольской мещанской управе. С 1899 г. работал в газете «Саратовский дневник». Депутат I Государственной Думы, вошел в трудовую группу, член Временного и постоянного комитета трудовой группы, член редколлегии «Известия крестьянских депутатов» (1906), «Трудового народа» (1907).

[77] *Заболотный Иван Кириллович* — помощник присяжного поверенного. Депутат I Государственной Думы, член ее аграрной комиссии.

[78] *Кокошкин Федор Федорович* (1871—1918) — общественный деятель, юрист. В 1893 г. окончил юридический факультет Московского университета. С 1897 г. гласный Звенигородского уездного земского собрания, с 1900 г. гласный Московского губернского земского собрания. Член кружка «Беседа», «Союза земцев-конституционалистов», «Союза освобождения». В 1904 г. участвовал в составлении «освобожденского» проекта русской конституции. В 1904—1905 гг. играл видную роль в земском движении. В октябре-ноябре 1905 г. в составе земской делегации вел переговоры с С.Ю.Витте о создании коалиционного правительства. Один из создателей и руководителей кадетской партии, бессменный член ее ЦК. Депутат I Государственной Думы.

[79] *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862—1911) — государственный деятель. С 1903 г. саратовский губернатор. С 1906 по 1911 гг. председатель Совета министров, министр внутренних дел. С 1906 г. начал проводить курс социально-политических реформ, аграрную реформу. Под его руководством

разработан ряд крупных законопроектов: о реформе местного самоуправления, введении всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициатор создания военно-полевых судов. В 1907 г. добился роспуска II Государственной Думы и провел новый избирательный закон, серьезно усиливший в Думе позиции правых.

[80] *Белостокский погром* начался 1 июля и продолжался до 3 июля 1906 г. включительно. Сопровождался значительным числом убийств и разгромов имущества.

[81] *Урусов Сергей Дмитриевич* (1862—1937) — общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1886 по 1903 гг. занимал выборные должности: предводитель дворянства Перемышского уезда, председатель съезда мировых судей и Калужской губернской земской управы. С 1903 г. бессарабский губернатор. В ноябре 1904 г. губернатор Тверской губернии. В связи с назначением Д.Ф.Трепова товарищем министра внутренних дел подал в отставку. С 17 октября 1905 г. по март 1906 г. занимал должность товарища министра внутренних дел. Депутат I Государственной Думы. Вошел в партию демократических реформ. Подписал Выборгское воззвание, был осужден и лишен права занимать государственные и общественные должности.

[82] *Лопухин Алексей Александрович* (1864—1927?) — один из руководителей политического сыска в России, директор Департамента полиции (1902—1905). В 1906 г. выступил с разоблачением провокаторских методов работы полиции и предал огласке деятельность Е.Ф.Азефа. В 1909 г. был приговорен к 5 годам каторги. В 1912 г. помилован.

[83] *Плеве Вячеслав Константинович* (1846—1904) — государственный деятель. С 1902 г. министр внутренних дел и шеф отдельного корпуса жандармов. Проводил политику разложения революционного движения изнутри, жестоко подавлял стачки и крестьянские выступления. Один из активных сторонников русско-японской войны. Убит эсером Е.С.Сазоновым.

[84] Погром в Гомеле был осуществлен 13 января 1906 г.

[85] М.М.Ковалевский не точен. *Гурко Владимир Иосифович* (1862—1927). Окончил Московский университет (1885). Служил в ведомстве министерства внутренних дел, с 1895 г. в государственной канцелярии, начальник земского отдела МВД (1902), товарищ министра внутренних дел (1906).

[86] Часть членов I Государственной Думы (около 230 депутатов), главным образом, кадеты и трудовики, не подчинились указу о роспуске Думы и собравшись в одной из гостиниц Выборга провели 2 заседания. Они обратились к населению с воззванием, призывая его в знак протеста не платить налоги и уклоняться от воинских наборов. Депутатам, подписавшим воззвание, было предъявлено обвинение в неповиновении и противодействии законам. Приговорены были к тюремному заключению на 3 месяца. (Винавер М.М. История Выборгского воззвания. Пг., 1917).

[87] Имеется в виду Т.В.Локоть, преподаватель лицея им. Безбородко в г. Нежине. Он был избран депутатом I Думы и входил в состав трудовой группы. После роспуска Думы занимался журналистикой, сотрудничал с рядом газет и журналов.

[88] *Львов Николай Николаевич* (1867—1944) — общественный деятель, землевладелец. В 1891 г. окончил юридический факультет Московского университета. С 1892 по 1900 гг. предводитель дворянства Балашовского уезда Саратовской губернии. С 1893 г. земский губернский гласный, с 1899 г. председатель Саратовской земской управы. Активный участник земского либерального движения, член кружка «Беседа», один из создателей и руководителей «Союза земцев-конституционалистов». Один из со-

здателей кадетской партии, член ее ЦК. Один из основателей партии мирного обновления. Депутат всех четырех Дум.

[89] *Кони Анатолий Федорович* (1844—1927) — юрист, общественный деятель, почетный академик Петербургской Академии наук (1900). Выдающийся судебный оратор.

[90] После роспуска I Государственной Думы П.А.Столыпин для обеспечения благоприятного для правительства состава II Думы вступил в переговоры с Н.Н.Львовым, Д.Н.Шиповым, А.И.Гучковым, А.Ф.Кони, П.А.Гейденом, Г.Е.Львовым, М.М.Стаховичем о вхождении их в кабинет. После подавления Свеаборгского и Кронштадтского восстаний П.А.Столыпин резко оборвал переговоры. (Кони А.Ф. Соб. соч. Т. 2. М., 1966. С. 360—376).

[91] *Кассо Лев Аристидович* — см. гл. II, прим. 28.

[92] *Партия мирного обновления* создалась в ходе работы I Государственной Думы. По своей программе эта партия была правее кадетов и левее октябристов и партии демократических реформ. Она стремилась создать политический центр, который мог бы нейтрализовать как силы революции, так и силы реакции, выступала за мирное эволюционное развитие страны. Главным для обеспечения социально-экономического прогресса считала рациональные решения земельного вопроса. Для этого считала необходимым наделить землей малоземельных и безземельных крестьян за счет казенных, кабинетских и монастырских земель. Предусматривалось принудительное отчуждение частновладельческих земель. Большое внимание уделяла вопросам переселения, организации дешевого кредита, урегулированию арендных отношений и цен, поднятию культуры земледелия. Выступала за создание конституционной монархии с двухпалатным парламентом. Одна палата должна избираться всеми лицами мужского пола, достигшими 25 лет. Другая — органами местного самоуправления. Местное самоуправление распространяется на всю империю. Выступала против смертной казни, за политическую амнистию, сохранение унитарного государства. Официально признана была 16 октября 1906 г.

[93] *Ефремов Николай Иванович* (1866—1932) — общественный деятель. В 1891 г. окончил физико-математический факультет Московского университета. В 1892 г. избран почетным мировым судьей Донецкого округа. В 1895 г. избран председателем съезда мировых судей. Депутат I, III и IV Государственных Дум. Участвовал в создании партии мирного обновления. С 1908 г. активный деятель межпарламентского Союза международной миротворческой организации, избран членом межпарламентского Совета Союза. Организатор русской группы межпарламентского Союза (1909). Один из инициаторов создания прогрессивного блока.

[94] *Партия прогрессистов* оформилась в 1912 г. Создание было подготовлено деятельностью фракции прогрессистов в III Государственной Думе. Главной своей задачей партия считала объединение сил либеральных партий. Только единый фронт либеральных сил мог создать достаточное противодействие революционному движению и вынудить правительство пойти на уступки и завершить проведение реформ, начатых Манифестом 17 октября. Партия выступала с требованием отмены чрезвычайного положения, выработки нового избирательного закона, расширения прав Государственной Думы, реформирования Государственного Совета. Требовали введения в стране демократических прав и свобод, установления конституционной монархии, создания правительства, ответственного перед народными представителями, защиты народнохозяйственных интересов, понимаемые ими как интересы крупного капитала.

[95] М.М.Ковалевский имеет в виду графа А.А.Буксгевдена, чиновника особых поручений при Московском генерал-губернаторе, члена «Союза русского народа».

[96] Убийцей был не Федоров, а А.Е.Казанцев, агент охранки, член Союза русского народа.

[97] *«Речь»* — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, орган конституционно-демократической партии. Выходила с 26 февраля 1906 г. по 26 октября 1917 г. в Петербурге, Петрограде. Газета принадлежала к числу осведомленных изданий и претендовала на роль русского варианта лондонской «Таймс», имела разветвленный корреспондентский аппарат в России и за рубежом.

[98] *Гапон Георгий Аполлонович* (1870—1906) — священник. В 1904 г. организовал и возглавил собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга. Инициатор петиции петербургских рабочих Николаю II, шествия к Зимнему дворцу. В советской историографии утвердилось мнение о том, что Гапон был провокатором. Однако последние исследования И.Н.Ксенофонтова (Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 1996) убедительно доказывают, что Гапон не был провокатором. «Гапон временами был игрушкой в руках охранки, где работали не дураки, но он никогда не был провокатором», — утверждает И.Н.Ксенофонтов (с. 267).

[99] *Рачковский Петр Иванович* (1853—1911) — организатор политического сыска в России. С 1885 по 1902 гг. заведующий заграничной агентурой, организовывал слежку за революционерами-эмигрантами и нападения на их типографии. С 1905 по 1906 гг. вице-директор и заведующий политической частью Департамента полиции.

[100] М.М.Ковалевский ошибается, манифестация происходила 9 января 1905 г.

[101] *«Новости»* — ежедневная общественно-политическая газета, издавалась в Петербурге в 1906 г.

[102] *Тимирязев Василий Иванович* (1849—1919) — государственный деятель. Окончил Петербургский университет. С 1875 г. служил в министерстве финансов, с 4 декабря 1902 г. товарищ министра финансов. С 28 октября 1905 г. по 18 февраля 1906 г., с 14 января по 5 ноября 1909 г. министр торговли и промышленности. Член Государственного Совета от промышленности и торговли (1906—1917). С 1915 г. член Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Был также членом и председателем Совета русского для внешней торговли банка, Совета Петроградского коммерческого банка и правления около 10 крупных акционерных компаний.

[103] В декабре 1907 г. состоялся процесс по делу бывших членов Государственной Думы, подписавших Выборгское воззвание. Обвиняемые были приговорены к трехмесячному тюремному заключению, что лишало их в дальнейшем избирательных прав при выборах в Государственную Думу и прав избрания на общественные должности.

[104] Вследствие неурожая необходимо было произвести закупку хлеба. Товарищ министра внутренних дел В.И.Гурко поручил предпринимателю, шведскому подданному Л.И.Лидвалю произвести закупку 10 млн пудов хлеба и выдал аванс 800 тыс. руб. Лидваль контракт не выполнил. Было возбуждено уголовное дело и В.И.Гурко был передан суду Особого присутствия Сената. Н.И.Гучков, будучи членом Особого присутствия Сената, при рассмотрении дела пришел к выводу о невиновности В.И.Гурко. Такое же мнение сложилось и у других членов присутствия — представителей общественности. Однако сенаторы были иного мнения и настояли на осуждении В.И.Гурко. Он был присужден к отстранению от должности

ия превышение власти и неосторожность. По мнению самого В.И.Гурко, Столыпину нужно было обязательно его осуждение, т.к. только осуждением можно доказать общественности, что власть не церемонится со своими представителями любого ранга. (Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. С. 597—599).

[105] Сфабрикованное министерством внутренних дел в 1907 г. дело по обвинению социал-демократов — членов II Государственной Думы в военном заговоре. Первого июня 1907 г. П.А.Столыпин потребовал исключить из состава депутатов членов социал-демократической фракции и привлечь к суду, а также дать санкции на арест 16 человек. Не дожидаясь решения Думы в ночь на 3 июня члены фракции были арестованы и преданы суду.

[106] *Совет объединенного дворянства* — постоянный орган съезда уполномоченных объединенного дворянства — общественной общероссийской дворянской организации, созданной при поддержке правительства в мае 1906 г. Основная задача — сплотить дворянство при обсуждении как общегосударственных, так и сословных вопросов. Совет избирался на съезде уполномоченных на 3 года и состоял из председателя, двух его товарищей и 12 членов. Отстаивал незыблемость самодержавия и помещичьего землевладения.

[107] *Крыжановский Сергей Ефимович* (1862—1934) — государственный деятель. В 1885—1896 гг. служил в судебных учреждениях, в 1896 г. перешел в МВД, товарищ министра внутренних дел (1906—1911), сенатор (1906), государственный секретарь (1911), член Государственного Совета (1917).

Глава VIII

Пять лет, проведенные в Государственном Совете

[1] *Боргман Иван Иванович* (1849—1914) — профессор, физик. В 1870 г. окончил Петербургский университет. С 1888 г. ординарный профессор этого университета. Первый избранный в 1905 г. ректор, ушел с этого поста в 1910 г. в знак протеста против нарушения полицией прав студентов. В 1906 г. избран в члены Государственного Совета. После роспуска I Государственной Думы сложил свои полномочия.

[2] *Багалей Дмитрий Иванович* (1857—1932) — историк. С 1883 г. доцент Харьковского университета, с 1887 г. профессор, с 1906 по 1910 гг. ректор Харьковского университета, член Государственного Совета (1906, 1910—1911), городской голова Харьковской городской Думы (1914-1917), академик АН УССР (1919).

[3] *Гершельман Сергей Константинович* (1853—1916) — генерал от инфантерии. В 1881 г. окончил Николаевскую академию генерального штаба, участник боев под Мукденом в русско-японской войне. В 1906 г. назначен московским генерал-губернатором, 17 марта 1909 г. назначен командующим войсками Виленского военного округа.

[4] *Государственный Совет* был преобразован в верхнюю законодательную палату согласно законам 20 февраля 1906 г. «О переустройстве учреждений Государственного Совета» и 23 апреля 1906 г. «Учреждения Государственного Совета». Его ведению подлежали обсуждения законов, принятых Государственной Думой, а также рассмотрение законодательных предложений, возбужденных членами Государственного Совета. В этом случае принятый Государственным Советом законопроект передавался на обсуждение Думы. Изменен был принцип комплектования Государственного Совета введением выборного начала. Председатель и вице-председа-

тель назначались императором, половина членов назначалась императором, а половина избиралась: 6 человек от духовенства (фактически назначались Синодом), 18 человек от дворян (выборщики избирались дворянскими обществами), от земств (по 1 человеку от губернского земского собрания), где земских учреждений не было — введен съезд лиц, имевших право участвовать в съезде уездных землевладельцев, 6 человек от Академии наук и университетов (избирались выборщики собранием Академии наук и Советами университетов), 12 человек от органов торговли и промышленности (выборщики избирались Советом торговли и мануфактур, его московским отделением, комитетами торговли и мануфактур, биржевыми комитетами и купеческими управами), 2 человека от сейма Финляндии. Каждые 3 года выбывала $^1/_3$ по всем разрядам. В Государственном Совете существовали группы: «правая», центра, академическая и беспартийная.

[5] *Гримм Давид Давидович* (1864—1914) — юрист, общественный деятель. В 1885 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1895 г. приват-доцент Петербургского университета, с 1901 г. ординарный профессор, с 1910 г. по 1911 г. ректор. В 1907 г. избран в члены Государственного Совета, в 1912 г. выбыл по жребию, но был переизбран. В 1914 г. в связи с устранением по распоряжению министерства народного просвещения от профессуры был поставлен вопрос о пребывании его в Государственном Совете, но Совет большинством (98 против 56) признал необходимость сохранения его полномочий.

[6] *Манулов Александр Аполлонович* (1861—1929) — общественный деятель, экономист. Окончил Новороссийский университет. В 1895 г. после защиты магистерской диссертации стал читать лекции в Московском университете. В 1901 г. защитил докторскую диссертацию и занял кафедру политэкономии. С 1905 г. проректор, а с 1908 по 1911 гг. ректор Московского университета. С 1906 по 1911 гг. член Государственного Совета, с 1905 г. член конституционно-демократической партии. С 1914 г. председатель экономического совета Всероссийского Союза городов.

[7] *Васильев Александр Васильевич* — профессор математики, общественный деятель. С 1875 г. приват-доцент Казанского университета, с 1887 г. ординарный профессор. С 1880 по 1890 гг. активный участник земского движения. Депутат I Государственной Думы, с 1908 г. член Государственного Совета.

[8] *Вернадский Владимир Иванович* (1863—1945) — естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель. Основоположник комплекса современных наук о земле: геохимии, биохимии, радиологии, гидрогеологии и др. Академик Петербургской Академии наук (1912). Один из лидеров земского либерального движения и партии кадетов. Член Государственного Совета (1906—1911).

[9] *Озеров Иван Христофорович* (1869—?) — экономист и статистик, окончил юридический факультет Московского университета (1893). С 1898 г. профессор этого университета, заведующий кафедрой финансового права. С 1909 г. член Государственного Совета.

[10] *Афанасьев Вячеслав Алексеевич* (1859—?) — профессор Юрьевского университета, с 1894 г. по кафедре общей патологии и патологической анатомии. С 1908 по 1909 гг. член Государственного Совета.

[11] *Загоскин Николай Павлович* (1851—1912) — юрист. С 1880 г. ординарный профессор Казанского университета кафедры истории русского права. С 1890 г. заслуженный профессор. С 1883 по 1890 гг. редактор и издатель газеты «Волжский вестник». С 1911 г. член Государственного Совета.

[12] *Ольденбург Сергей Федорович* (1863—1934) — востоковед, один из основателей русской индологической школы. Окончил восточный факультет Петербургского университета. С 1889 г. преподавал в Петербургском университете. С 1900 г. академик, с 1904 по 1929 гг. непременный секретарь Академии наук. С 1912 г. член Государственного Совета.

[13] *Зубашев Ефим Лукьянович* (1869—?) — избран членом Государственного Совета в 1912 г.

[14] *Романов Петр Михайлович* (1851—1911) — тайный советник. Окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Служил в Государственном контроле и министерстве финансов. С 1889 г. вице-директор департамента железных дорог министерства финансов. С 1892 г. директор общей канцелярии министерства финансов. С 1897 по 1905 гг. товарищ министра финансов. С 1905 г. член Государственного Совета по назначению.

[15] *Трепов Владимир Федорович* (1860—1918) — государственный деятель. Окончил Александровский лицей. Служил в министерстве внутренних дел. С 1902 по 1905 гг. таврический губернатор, с 1905 г. сенатор. Член Государственного Совета с 1908 г., в котором возглавил группу крайне правых. За оппозицию и агитацию против предложенного П.А.Столыпиным закона о введении земских учреждений в Западных губерниях уволен 20 апреля 1911 г. со службы.

[16] *Гончаров Сергей Сергеевич* (1842—?) — гофмейстер, сенатор. По окончании юридического факультета Московского университета (1866) служил по судебному ведомству, был старшим председателем судебной палаты в Тифлисе (1884). В 1891 г. назначен сенатором. С 1900 по 1911 гг. член Государственного Совета. Один из лидеров крайне правых. Был противником столыпинского законопроекта о введении земств в Западных губерниях, и когда этот проект вопреки воли Государственного Совета был проведен в порядке 87 статьи, в знак протеста вышел в полную отставку и сложил с себя звание члена Государственного Совета.

[17] *Кобылинский Петр Петрович* (1847—?) — государственный деятель, юрист. По окончании училища правоведения в 1868 г. поступил на службу в министерство юстиции. С 1878 г. служил в Государственной канцелярии, с 1886 г. вице-директор департамента Министерства юстиции. С 1890 г. обер-прокурор четвертого Департамента Сената, затем сенатор гражданского департамента. Член Государственного Совета с 1906 г. Один из лидеров правых.

[18] *Штюрмер Борис Владимирович* (1848—1917) — гофмейстер, государственный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета. 14 лет заведовал церемониальной экспедицией. С 1894 г. новгородский, с 1898 г. ярославский губернатор. С 1902 г. директор департамента общих дел министерства внутренних дел. С 1904 г. член Государственного Совета по назначению. Председатель Совета министров (январь—ноябрь 1916), одновременно министр внутренних дел (март—июль 1916), министр иностранных дел (июль—ноябрь 1916).

[19] *Танеев Александр Сергеевич* (1850—1850) — статс-секретарь, обергофмейстер. По окончании юридического факультета Петербургского университета начал службу в судебном ведомстве. С 1887 г. служил в собственной его императорского величества канцелярии. С 1896 по 1917 гг. управляющий этой канцелярией. Член Государственного Совета с 1906 г.

[20] *Коковцев Владимир Николаевич* (1853—1943) — государственный деятель, граф с 1914 г. Министр финансов (1904—1914) с перерывом. С 1905 по 1906 гг. председатель Совета министров. С 1911—1914 гг. крупный банковский деятель, сторонник курса С.Ю.Витте, а затем П.А.Столыпина.

[21] П.А.Столыпин был смертельно ранен 1 сентября 1911 г. Д.Богровым.

[22] *Нейгарт Алексей Борисович* (1863—?) — гофмейстер, действительный статский советник. По окончании Пажеского корпуса служил мировым судьей, губернский предводитель дворянства. В течение 25 лет состоял уездным и губернским гласным. С 1904 по 1905 гг. Екатеринославский губернатор. В 1906 г. избран членом Государственного Совета. С 1909 по 1912 гг. председатель организованной им группы членов Государственного Совета умеренно правого направления. Группа эта своими голосами могла дать перевес либо правому, либо левому крылу Государственного Совета.

[23] *Бирилев Алексей Алексеевич* (1844—1915) — адмирал. Во флот поступил юнкером. Командовал многими судами во внутренних и заграничных плаваниях. С 1904 г. старший флагман Балтийского флота. С 19 февраля 1904 г. главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. С 10 мая 1904 г. главный командир Балтийского флота, с 8 мая 1905 г. командующий флота Тихого океана, 20 июня 1905 г. морской министр. Член Государственного Совета с 1905 г.

[24] «Русское собрание» возникло в Петербурге в 1901 г. как клуб сторонников и поборников русского начала в культурной, духовной и бытовой жизни общества. Устав 28.01.1901 определял основные задачи: изучение явлений русской и славянской народной жизни в ее настоящем и прошлом, разработка вопросов русской и вообще славянской словесности, осуществление охраны чистоты и правильности русской речи и т.п. С конца 1905 г. «Русское собрание» все более превращалось в партию правого направления. Программа 1906 г., закрепляя ранее провозглашенные направления деятельности, вместе с тем указывала, что самодержавие является залогом исполнения русским народом его всемирного христианского признания, обращала внимание на нетождественность власти царя и правительства, провозглашала Российскую империю единым и неделимым государством. В программе подчеркивалась первенствующая роль в государстве русского народа, повторялись антисемитские организационные установки. Предлагалась организация просвещения на началах русской государственности, установление русского языка в качестве государственного. Программа представляла документ политической партии, близкой Союзу русского народа.

[25] *Лобанов-Ростовский Алексей Николаевич* (1868—?) — князь. Образование получил в Московском университете. В 1909 г. избран в члены Государственного Совета от дворян Тульской губернии. Правый.

[26] *Зиновьев Александр Дмитриевич* (1854—1929) — шталмейстер. Окончил Петербургский университет. С 1890 г. гласный земского собрания г. Нарвы. С 1892 г. гласный губернского земского собрания Петербурга, с 1897 г. предводитель дворян Петергофского уезда. С 1903 г. предводитель дворян Петербургской губернии. В 1911 г. назначен в Государственный Совет.

[27] *Корвин-Милевский Ипполит Оскарович* (1848—?). Окончил юридический факультет Дерптского университета. Служил в Сенате и Государственном Совете. В 1906 г. избран в Государственный Совет съездом землевладельцев Виленской губернии. В 1909 г. вновь переизбран в Государственный Совет.

[28] *Экесперре Оскар Рейгольдович* (1839—?) — гофмейстер. С 1906 г. член Государственного Совета, выбран от дворян. Принимал участие в работе комиссии по изучению железнодорожного дела в России. В 1912 г. выбыл по жребию, но в этом же году стал членом Государственного Совета по назначению.

[29] *Дмитриев Василий Семенович* (1840—?) — управляющий государственными имуществами. Избран в Государственный Совет в 1909 г. от земского собрания Костромской губернии.

[30] *Сабуров Андрей Александрович* (1837—1916). Окончил Александровский лицей. С 1857 г. служил по судебному ведомству: товарищ председателя Петербургского окружного суда, товарищ обер-прокурора Сената, вице-директор департамента Министерства юстиции (1885), попечитель Дерптского учебного округа (1875), министр народного просвещения (1880—1881). С 1881 г. сенатор первого департамента Сената. С 1883 г. член общего собрания Сената, с 1886 г. сенатор межевого департамента, затем гражданского кассационного департамента. С 1899 г. член Государственного Совета. С 1906 г. председатель первого департамента Государственного Совета.

[31] *Голубев Иван Яковлевич* (1841—1918) — государственный деятель, юрист. С 1860 по 1864 гг. участвовал в работе по преобразованию судебной части и введению судебных уставов. Товарищ прокурора и обер-прокурор гражданского кассационного департамента Сената. В 1895 г. назначен членом Государственного Совета. С 1906 г. присутствующий член Государственного Совета и его вице-председатель. Открывал заседания Государственной Думы второго, третьего и четвертого созывов.

[32] *Сергиевский Николай Дмитриевич* (1849—?) — государственный деятель, юрист. С 1882 по 1902 гг. профессор уголовного права Петербургского университета. С 1890 по 1902 гг. редактор журнала «Юридическая летопись». С 1895 г. статс-секретарь Государственного Совета, заведовал отделением свода законов. Член Государственного Совета по назначению с 1906 г.

[33] *Икскуль фон Гильденбрант Юлий Александрович* (1852—?). По окончании Петербургского университета начал служить в министерстве юстиции. С 1893 г. статс-секретарь департамента законов. С 1899 г. товарищ министра земледелия и государственных имуществ, с 1899 г. товарищ государственного секретаря, с 1903 г. сенатор, с 1904 г. государственный секретарь, с 1909 г. член Государственного Совета.

[34] *Платонов Степан Федорович* (1844—?) — сенатор. По окончании юридического факультета Харьковского университета с 1867 г. служил по судебному ведомству. С 1874 г. товарищ прокурора Петербургского окружного суда, с 1879 г. товарищ обер-прокурора Сената, 1887 г. обер-прокурор межевого департамента Сената, с 1890 г. директор департамента Министерства юстиции, с 1893 г. назначен сенатором, с 1902 г. член Государственного Совета.

[35] *Таганцев Николай Семенович* (1843—1923) — юрист, профессор. Окончил Петербургский университет в 1862 г. С 1867 по 1882 гг. занимался преподавательской деятельностью в университете Петербурга. С 1882 г. служил в министерстве юстиции. С 1881 по 1902 гг. член комиссии по составлению уголовного уложения. С 1906 г. член Государственного Совета, примыкал к партии центра.

[36] *Стишинский Алексей Семенович* (1851—1920). Окончил юридический факультет Московского университета. С 1893 г. управляющий земским отделом Министерства внутренних дел. С 1896 г. товарищ государственного секретаря. С 1899 по 1904 гг. товарищ министра внутренних дел. С 1904 г. член Государственного Совета. Председатель Комитета по борьбе с немецким засильем в России (1916). Один из деятельных представителей правых.

[37] *Ермолаев Алексей Сергеевич* (1846—?) — статс-секретарь министра земледелия и государственных имуществ. С 1893 по 1905 гг. служил в ми-

нистерствах государственных имуществ и финансах. Член Государственного Совета с 1905 г. В преобразованном в 1906 г. Государственном Совете являлся руководителем партии центра.

[38] *Петров Николай Павлович* (1836—1920) — инженер-генерал, профессор технологического института. Окончил Николаевскую инженерную академию. С 1868 г. адъютант, профессор Николаевской инженерной академии. С 1888 г. председатель временного управления казенных дорог, с 1892 г. директор департамента железных дорог, с 1893 г. товарищ министра путей сообщения. С 1900 г. член Государственного Совета.

[39] *Немешаев Клавдий Семенович* (1849—1927). Окончил институт путей сообщения. С 1896 г. начальник Юго-Западной железной дороги, с 1905 г. министр путей сообщения, затем опять начальник Юго-Западной железной дороги. С 1912 г. член Государственного Совета.

[40] *Поливанов Алексей Андреевич* (1855—1920) — военный деятель, генерал от инфантерии. В 1888 г. окончил Николаевскую Академию генерального штаба. С 1899 по 1904 гг. главный редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид». С 1905 г. второй генерал-квартмейстер генерального штаба. С 1905 по 1906 гг. начальник главного штаба, с 1906 по 1912 гг. помощник военного министра. Член Государственного Совета (1912—1915). С 1916 г. военный министр и председатель Особого совещания по обороне.

[41] *Зверев Николай Андреевич* (1850—1917) — профессор Московского университета по кафедре философии и энциклопедии права. Ректор университета при министре Боголепове (1898—1901), товарищ министра просвещения (1898—1901), сенатор. С 1901 по 1905 гг. начальник Главного управления по делам печати, с 1909 член Государственного Совета.

[42] *Горчаков Михаил Иванович* (1838—1910) — протоирей. Избран в Государственный Совет от белого духовенства.

[43] *Арсений* (1862—?) — архиепископ Псковский. Избран в члены Государственного Совета в 1907 г. от монашествующего православного духовенства. В 1909 г. выбыл по жребию, но был переизбран.

[44] *Николай (Зиоров Михаил Захарович)* (1851—?). Окончил Московскую духовную академию. В 1877 г. принял монашество. В 1906 г. стал архиепископом Варшавским и Привисленским. В 1906 г. был избран членом Государственного Совета, в 1912 г. выбыл по жребию, но был переизбран.

[45] *Олсуфьев Дмитрий Адамович* (1862—?). Окончил Московский университет. С 1891 г. земский начальник Московского уезда Московской губернии. С 1894 г. уездный предводитель дворянства в Саратовской губернии. С 1902 по 1905 гг. председатель Саратовской губернской земской управы. В 1905 г. вступил в партию октябристов, в 1907 г. принимал участие в организации земского съезда, на котором обсуждалась земская реформа. В 1909 и 1912 гг. избран в члены Государственного Совета земским собранием Саратовской губернии.

[46] *Уваров Федор Алексеевич* (1866—?) — общественный деятель. С 1871 г. почетный мировой судья Можайского уезда. С 1902 по 1910 гг. председатель Можайской земской управы. Был членом многочисленных комиссий, обсуждавших земскую реформу, а также состоял членом Совета по делам местного хозяйства (1911—1914). В 1909 г. избран Московским губернским собранием в члены Государственного Совета, в 1912 г. был переизбран. Принадлежал к правой группе центра.

[47] *Крестовников Григорий Александрович* (1855—1918) — предприниматель. Из купцов, имел текстильные и торговые предприятия. Председатель Московского купеческого банка и Московского биржевого комитета. Член

ЦК партии октябристов. В 1906 г. был избран в члены Государственного Совета. В 1909 г. выбыл по жребию, но был переизбран.

[48] *Авдаков Николай Степанович* (1847—1915) — предприниматель, горный инженер. С 1900 по 1905 гг. председатель Совета съездов горнопромышленников юга России. С 1907 г. председатель Совета съездов представителей промышленности и торговли. С 1906 г. избран членом Государственного Совета от промышленности.

[49] *Триполитов Михаил Николаевич* (1854—?) — инженер-технолог, член Совета торговли и мануфактур, вице-председатель общества заводчиков и фабрикантов, директор общества страхования рабочих от несчастного случая, член русско-английской торговой палаты. В 1909 г. избран в члены Государственного Совета от промышленности.

[50] *Дитмар Николай Федорович фон* — предприниматель. Председатель съезда горнопромышленников юга России. В 1912 г. избран в члены Государственного Совета от промышленников.

[51] *Гукасов Павел Осипович* (1858—?). По окончании Дрезденского политехнического института был управляющим заводом Каспийского товарищества, по преобразованию товарищества в акционерное общество состоял его директором. В 1906 г. был избран членом Государственного Совета от промышленности. Выбыл по жребию в 1912 г.

[52] *Польское коло* — парламентская фракция в Государственной Думе, главную роль в которой играли национал-демократы.

[53] *Шебеко Игнатий Альбертович* — статский советник. С 1880 г. присяжный поверенный Варшавской судебной палаты. Избран в члены Государственного Совета в 1909 г. от губернии Царства Польского, в 1912 г. переизбран.

[54] *Энгельгард Вадим Платонович* (1843—?). По окончании юридического факультета Петербургского университета в 1880 г. был мировым судьей, а затем почетным мировым судьей. С 1881 г. гласный Смоленского губернского земского собрания. Предводитель Духовщинского уездного дворянства. С 1906 г. член Государственного Совета.

[55] *Струков Анатолий Петрович* (1851—?) — гофмейстер. По окончании Петербургского университета поступил на службу в государственную канцелярию. С 1883 г. на службе в Министерстве внутренних дел, с 1886 г. Екатеринославский губернский предводитель дворянства. В 1906 г. избран членом Государственного Совета от дворян, в 1912 г. выбыл по жребию, но был назначен членом Государственного Совета, один из лидеров объединенного дворянства.

[56] *Эристов Андрей Михайлович* (1855—?) — князь. Окончил Петербургский университет, физико-математический факультет. С 1889 г. мировой посредник в Кутаисской губернии. С 1898 г. председатель общества взаимного кредита Поти, а затем и Кутаиси. С 1900 г. почетный мировой судья Кутаисского окружного суда. В 1909 г. избран в члены Государственного Совета от дворян. Правый.

[57] *Нольде Эммануил Юрьевич* — см. гл. V, прим. 114.

[58] *Ширинский-Шихматов Алексей Александрович* (1862—1930) — князь, гофмейстер. По окончании училища правоведения был прокурором Московской синодальной конторы, губернатором Твери (1903—1904), сенатор. С 1905 г. товарищ обер-прокурора Синода, с 1907 г. член Государственного Совета.

[59] *Хвостов Александр Алексеевич* (1857—1922) — служил в Министерстве юстиции, директор хозяйственного департамента МВД (1900), товарищ министра юстиции (1904—1906). Министр юстиции (1915—1916), министр

внутренних дел (июль—сентябрь 1916), сенатор первого департамента Сената. С 1912 г. член Государственного Совета.

[60] *Саблер Владимир Карлович* (1847—1929) — статс-секретарь. Окончил юридический факультет Московского университета. Товарищ обер-прокурора Синода, обер-прокурор Синода (1911—1915). 17 октября 1905 г. назначен членом Государственного Совета.

[61] *Оболенский Николай Дмитриевич* — князь, флигель-адъютант при Александре III, управляющий кабинетом при Николае II.

[62] *Сухотин Николай Николаевич* (1847—?) — генерал от кавалерии, профессор Николаевской Академии генерального штаба. С 1881 г. ординарный профессор Академии генерального штаба. С 1898 по 1901 гг. начальник этой Академии. С 1901 по 1908 гг. командующий войсками Сибирского военного округа, наказной атаман Сибирского казачьего войска. С 1906 г. член Государственного Совета.

[63] *Зеленицкий К.П.* (1812—1858) — автор «Курса русской словесности для учащихся» и «Теории словесности курса гимназического».

[64] *Колонат* — особая форма производственных взаимоотношений между непосредственным производителем и крупным земельным собственником, сложившаяся в Римской империи. При этой системе происходило дробление единого земельного массива, ранее обрабатываемого рабами, руководимыми из единого центра, на множество парцелл, обрабатываемых на правах держания или сдаваемых в аренду свободным или зависимым от землевладельцев земледельцам — колонам. Колон обязан был уплачивать арендную плату сначала деньгами, а затем из доли урожая и выполнять некоторые натуральные повинности.

[65] Имеется в виду Вторая балканская война.

[66] По-видимому, имеется в виду «Сборник дипломатических документов, касающихся переговоров между Россией и Японией о заключении мирного договора». СПб., 1906.

[67] *Куропаткин Алексей Николаевич* (1848—1925) — военный деятель, генерал от инфантерии (1901), генерал-адъютант (1902). Окончил Академию генерального штаба (1866). С 1878 по 1879 гг. заведовал азиатской частью главного штаба, с 1883 по 1890 гг. служил в Главном штабе. С 1890 г. по 1898 г. начальник Закаспийской области, с 1 января 1898 г. по 7 февраля 1904 г. военный министр. С 13 октября 1904 г. по 3 марта 1905 г. главнокомандующий военными силами на Дальнем Востоке. С 1898 г. член Государственного Совета.

[68] *Рухлов Сергей Васильевич* (1852—1918) — государственный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Главном тюремном управлении (1872—1892), государственной канцелярии (1892—1895). С 1895 г. статс-секретарь Департамента государственной экономии Государственного Совета. С 1903 по 1905 гг. товарищ главноуправляющего торговым мореплаванием и портами. С ноября 1905 г. член Государственного Совета, с мая 1912 г. статс-секретарь. Министр путей сообщения (1909—1915). Один из учредителей и первый председатель Всероссийского национального союза (1908).

[69] *Муравьев Николай Валерьянович* (1850—1908). Окончил юридический факультет Петербургского университета, был прокурором Петербургской судебной палаты, выступал обвинителем по делу 1 марта 1881 г. С 1884 г. прокурор Московской судебной палаты, с 1891 г. обер-прокурор Сената. С 1894 по 1905 гг. министр юстиции.

[70] В тексте описка. Имеется в виду Алексей Александрович, великий князь, главный начальник флота и морского ведомства в 1880—1905 гг.

[71] *Абаза Алексей Михайлович* (1853—?) — контр-адмирал, управляющий делами Особого комитета по делам Дальнего Востока (1903—1905). Один из активных сторонников войны с Японией.

[72] *Безобразов Александр Михайлович*, сын Петербургского губернского предводителя дворянства, гвардейский офицер, служил в Сибири. В 90-х годах появился в Петербурге и выдвинулся своими проектами экономического захвата Кореи и Южной Маньчжурии. Завоевал доверие Николая II и был назначен в марте 1903 г. его статс-секретарем. Минуя Министерство иностранных дел, проводил политику грубых захватов на Дальнем Востоке, приведших к русско-японской войне (1904—1905). По его инициативе было учреждено наместничество на Дальнем Востоке (1903 — июнь 1905), Особый комитет по делам Дальнего Востока.

[73] *Алексеев Евгений Иванович* (1843—1918) — адмирал, генерал-адъютант (1903). С 1892 по 1895 гг. помощник начальника Главного морского штаба. С 1898 г. главный начальник и командующий войсками Квантунской области и морскими силами на Тихом океане. 30 июля 1903 г. назначен наместником на Дальнем Востоке. 8 июня 1905 г. наместничество упразднено, и он был назначен членом Государственного Совета.

[74] Русско-германский договор о торговле и мореплавании явился результатом длительной борьбы, переросшей одно время в таможенную войну. С.Ю.Витте, как министр финансов, выступал инициатором принятия решительных мер с целью противостояния германскому давлению. Он руководил переговорами с русской стороны. Заключение договора представляло компромисс между первоначальными позициями сторон. Договор базировался на принципах взаимности и наибольшего благоприятствования, он создал правовую основу для дальнейшего развития товарооборота двух стран и способствовал превращению Германии в главного торгового партнера России. (Витте С.Ю. Воспоминания. Таллин. М., 1994. Т. 1. С. 363—370).

[75] В июле 1904 г. была подписана дополнительная конвенция к русско-германскому торговому договору. Эта конвенция по существу представляла новый торговый договор, который должен был действовать с марта 1905 г. по 31 декабря 1917 г. Этот договор был менее благоприятен для России, чем ранее действовавший.

[76] *Мелин Ф.Ж.* — французский государственный деятель. С 1883 по 1885 гг. министр земледелия, с 1898 г. председатель Совета министров Франции.

[77] *«Русское слово»* — ежедневная газета без предварительной цензуры, выходила в Москве (1901—1916). Издатель И.Д.Сытин.

[78] Конференция проходила с 15 января по 7 апреля 1906 г. В ее работе участвовали представители 13 стран, в их числе: Франция, Германия, Англия, Италия, США, Россия, Марокко. Конференция была созвана для урегулирования спорных вопросов между Францией и Германией, возникших в результате столкновения их интересов в Марокко. Особо упорная борьба шла по вопросам учреждения марокканского банка и организации марокканской полиции. Россия вынудила Германию сделать уступки Франции.

[79] *Мигулин Петр Петрович* (1870—?) — экономист, профессор Харьковского и Петербургского университетов. Издавал журнал «Экономист России», «Новый экономист» (1913—1917). Товарищ министра земледелия (1906—1908). С 1907 г. член Совета главноуправляющего землеустройством и земледелием. С 1914 г. член Совета министерства финансов.

[80] *Шварц Александр Николаевич* (1848—1915) — государственный деятель, профессор-филолог. Окончил Московский университет и начал пре-

подавать в нем с 1875 г. С 1891 по 1900 гг. профессор Московского университета. Попечитель учебного округа Рижского (1900—1902), Варшавского (1902—1905), Московского (1905). С 1908 по 1910 гг. министр просвещения. С 1910 г. член Государственного Совета.

[81] *Кутлер Николай Николаевич* (1859—1924) — юрист, политический деятель. С 1899 по 1904 гг. директор Департамента неокладных сборов министерства финансов. С 1904 по 1905 гг. товарищ министра внутренних дел, с 1905 г. товарищ министра финансов, с октября 1905 г. по март 1906 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием. В октябре 1905 г. под его руководством была создана комиссия для обсуждения мероприятий по улучшению крестьянского землевладения. Комиссия разработала законопроект, предусматривающий платное принудительное отчуждение части частновладельческих земель в пользу малоземельных крестьян. Этот проект был отклонен в марте 1906 г. В результате он был вынужден уйти в отставку. Вступил в кадетскую партию и в ней стал видным специалистом по аграрному и финансовым вопросам. Был депутатом II и III Государственной Думы.

[82] *Победоносцев Константин Петрович* — см. гл. III, прим. 175.

[83] Трения между Витте С.Ю. и Коковцевым В.Н. возникли после того, как последний стал приписывать себе все заслуги по заключению займа 1906 г. (Витте С.Ю. Воспоминания. Таллин. М., 1993. Т. 3. С. 238—239).

[84] *Барк Петр Львович* (1869—1937) — государственный деятель. Управляющий Петербургской конторой Государственного банка (1897—1906), член правления русско-китайского банка (1899—1905), директор-распорядитель и член правления Волжско-Камского коммерческого банка (1907—1911), министр финансов (1914—1917).

[85] *Дело Бейлиса* — судебный процесс, организованный в Киеве царским правительством над евреем М.Бейлисом, обвиняемым в ритуальном убийстве русского мальчика А.Юшинского. Процесс проходил в сентябре-октябре 1913 г. Русская передовая интеллигенция во главе с А.М.Горьким и В.Г.Короленко организовала в Петербурге комитет для борьбы с антисемитской политикой самодержавия. Под давлением общественного мнения присяжные заседатели оправдали Бейлиса.

[86] *Руссо (Rousseau) Жан-Жак* (1712—1778) — французский философ-просветитель, писатель, композитор.

[87] *Оболенский Алексей Дмитриевич* (1855—1933) — князь, шталмейстер. В 1855 г. окончил училище правоведения. Козельский уездный предводитель дворянства (1884—1894). Управляющий дворянским и крестьянским поземельными банками. Товарищ министра внутренних дел (1897—1901), товарищ министра финансов (1902—1905). С 1905 г. обер-прокурор Синода, член Государственного Совета с 1905 г.

[88] *Брянчанинов* — один из организаторов антиправительственной славянофильской кампании в период Балканских войн.

[89] *Таубе*, барон, инженер, инспектор императорских поездов.

[90] *Бехтерев Владимир Михайлович* (1857—1927) — профессор, невропатолог, психиатр, психолог. Основные фундаментальные труды по анатомии, физиологии и патологии нервной системы. Основатель учения по рефлексологии. Основатель и руководитель Психоневрологического института.

[91] *Делькассе (Delcasse) Теофиль* (1852—1923) — французский государственный деятель, министр колоний (1894—1895), министр иностранных дел (1898—1905, 1914—1915), морской министр (1911—1913). Добивался создания Антанты и укрепления франко-русского союза.

[92] *Вильгельм II* (1859—1941) — германский император и прусский король (1888—1918). Активно способствовал развязыванию Первой мировой войны. 25 ноября 1918 г. отрекся от престола.

[93] *Сазонов Сергей Дмитриевич* (1860—1927). Служил в министерстве иностранных дел, посол в Лондоне, Риме, Ватикане. Товарищ министра иностранных дел (1909—1910), министр иностранных дел (1910—1916). Член Государственного Совета (1913).

[94] *Татищев И.Л.* — генерал-адъютант, личный представитель Николая II при дворе германского императора.

[95] *Дурново Петр Павлович* (1835—1918) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Московский губернатор (1872—1878), министр внутренних дел (1878—1882), директор Департамента уделов (1882—1884), московский генерал-губернатор (15 июля — 24 ноября 1905), член Государственного Совета с 1904 г.

[96] *Асквит (Asquith) Геберт Генри*, граф *Оксфорд* (1852—1923). С 1892 по 1895 гг. министр внутренних дел, премьер-министр Великобритании (1908—1916), лидер либеральной партии.

[97] *Эдуард VII* (1841—1910) — король Великобритании (1901—1910). Принимал деятельное участие в создании Антанты. В 1907 г. добился отказа Австро-Венгрии от союза с Германией.

[98] *Грей (Grey of Fallodon) Эдуард* (1862—1933) — виконт, английский государственный деятель, министр иностранных дел Великобритании (1905—1916). В 1907 г. заключил соглашение с Россией, способствовавшее оформлению Антанты.

[99] *Черчилль (Churchill) Уинстон Леонард Спенсер* (1874—1965) — английский государственный и политический деятель, один из лидеров консервативной партии. Депутат палаты общин (1900—1922, 1924—1964). С 1901 по 1908 гг. заместитель министра колонии, в 1908—1910 гг. министр торговли, в 1910—1911 гг. министр внутренних дел, в 1911—1915 гг. военно-морской министр, в 1915 г. канцлер герцогства Ланкастерского.

[100] *Вивиани (Vivianu) Рене Рафаил* (1863—1925) — французский политический деятель. По окончании курса Сорбонны адвокат. В 1893 и 1906 гг. избирался в палату депутатов. С 1909 по 1910 гг. входил в состав министерства Бриана. Министр иностранных дел (июнь—август 1914 г.), премьер-министр (июнь 1914 г. — октябрь 1915 г.). С октября 1915 г. до начала 1917 г. министр юстиции.

[101] *Камбон (Cambon) Пьер Поль* (1843—1924) — французский дипломат. С 1882 по 1886 гг. генеральный резидент Франции в Тунисе, в 1886—1890 гг. посол Франции в Испании, в 1891—1898 гг., в 1898—1920 гг. посол в Великобритании.

[102] *Морлей (Morley) Джон* (1938—1923), виконт (с 1908) — английский политический деятель, писатель. В 1886 и 1892 гг. занимал пост секретаря по делам Ирландии, с 1906 г. по 1910 г. секретарь по делам Индии, с 1910 г. по 1914 г. лорд — президент Совета. В 1914 г. вышел в отставку в знак протеста против вступления Англии в Первую мировую войну.

[103] *Бернс (Burns) Джон* (1858—?) — английский политический деятель. С 1892 г. член парламента, в 1905 г. президент Совета местного самоуправления, 1914 г. министр торговли промышленности. В 1914 г. вышел в отставку в знак протеста против вступления Англии в Первую мировую войну.

[104] *Тревельян (Trevelyan) Чарлс Филипс* (1870—?) — английский политический деятель. В 1869 г. вступил в парламент. С 1908 г. по 1914 г. парламентский секретарь министра народного просвещения. В 1914 г. вышел в

отставку в знак протеста против вступления Англии в Первую мировую войну.

[105] *Ллойд Джордж (Lloyd George) Дэвид* (1863—1945) — английский государственный и политический деятель. Один из лидеров либеральной партии. С 1905 по 1908 гг. министр торговли, 1908—1915 гг. министр финансов, премьер-министр Великобритании (1916—1922).

[106] *Метерлинк (Macterlinck) Морис* (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт, писал на французском языке. В 1911 г. получил Нобелевскую премию.

[107] *Макдональд (Macdonald) Джеймс Рамсей* (1866—1937) — английский политический деятель. Один из основателей и лидеров лейбористской партии Великобритании.

[108] *Крамарж (Kramář) Карел* — см. гл. II, прим. 28.

[109] *Грушевский Михаил Сергеевич* (1866—1934) — украинский историк, историк украинской литературы. В 1890 г. окончил историко-филологический факультет Киевского университета. В 1894 г. возглавил кафедру всеобщей истории Львовского университета. С 1908 г., после переезда в Киев один из руководителей товарищества украинских поступовцев, политически близких к кадетам.

[110] *Сигизмунд I* (лат. Sigismudus, вен. Zsigmond, чеш. Zikmud) Люксембургский (1364—1437) — император Священной Римской империи (1410—1437). Вел сложную, полную интриг борьбу за императорскую и чешскую королевскую корону. После брака с дочерью венгерского короля Лайоша I Великого стал венгерским королем (1387).

[111] *Игнатьев Алексей Алексеевич* (1877—1954) — граф, русский военный дипломат, генерал-лейтенант. Участник русско-японской войны (1904—1905). С 1908 по 1912 гг. военный атташе в Дании, Швеции, Норвегии, в 1912—1917 гг. во Франции, одновременно являлся представителем русской армии при французской главной квартире.

[112] *Воейков Владимир Николаевич* (1868—1947) — генерал, командир лейб-гвардии гусарского полка (1907), дворцовый комендант (1913—1917), главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения России (1915).

[113] *Горчаков Александр Михайлович* (1798—1883) — дипломат. Окончил Царскосельский лицей. На дипломатической службе с 1817 г. Занимал различные дипломатические должности. С 1856 г. министр иностранных дел. С 1879 г. фактически отошел от управления министерством. Формальную отставку получил в 1882 г.

[114] *Андраши (Andrassay) Дьюла* старший (1823—1890) — граф, участник революции 1848—1849 гг. в Венгрии. С 1867 по 1871 гг. председатель Совета министров в Венгрии, 1871—1879 гг. министр иностранных дел Австро-Венгрии.

[115] *Пашич Никола* (1845—1926) — премьер-министр Сербии (1891—1892, 1904—1918 с перерывами), премьер-министр Королевства сербов, хорватов и словенов (1921—1926 с перерывом). Один из организаторов и руководителей радикальной партии.

[116] *Берлинский трактат* являлся результатом работы Берлинского конгресса, проходившего с 1(13).06 по 1(13).07.1878. В нем участвовали делегации России, Великобритании, Австро-Венгрии, Германии, Франции и Турции. Представители Балканских государств были приглашены в Берлин, но не участвовали в его работе. 25 статья Берлинского трактата гласила: «Провинции Боснии и Герцеговины будут заняты и управляемы Австро-Венгрией. Австро-Венгерское правительство, не желает принять на себя управление Новибазарским санджаком, простирающимся между Сер-

бией и Черногорией по направлению за Митровицу, оттоманское управление остается в нем в действии по-прежнему. Но для того, чтобы обеспечить существование нового политического строя, а также свободу и безопасность путей сообщения, Австро-Венгрия предоставляет себе право содержать гарнизоны, а также иметь дороги военные и торговые на всем протяжении этой части прежнего Боснийского вилайета. С этой целью правительство Австро-Венгрии и Турции предоставляют себе условиться о подробностях». (Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб, 1888. Т. 8. С. 658).

[117] *Родославов Васил* (1858—?) — болгарский политический деятель, получил образование в Австрии и Германии. Министр юстиции (1884—1886), председатель Совета министров и министр иностранных дел (1886—1887), министр народного просвещения (1894—1895), министр внутренних дел (1899—1901), премьер-министр (1913—1918).

[118] *Стамболов Стефан* (1854—1895) — болгарский государственный деятель. Участник национально-освободительной борьбы против турецкого ига. С 1884 по 1885 гг. председатель национального собрания. С 1886 входит в состав правительства Каравелова, с 1866 г. возглавляет регентский совет. С 1886 по 1987 гг. лидер народно-либеральной партии, с 1887—1894 гг. премьер-министр.

[119] *Гинденбург (Hindenburg) Пауль* фон (1847—1934) — генерал-фельдмаршал (1914). В Первую мировую войну с ноября 1914 г. командовал войсками Восточного фронта. С августа 1916 г. начальник Генерального штаба, фактически главнокомандующий.

[120] *Ягов (Jagow) Готлиб фон* (1863—1935) — германский дипломат. С 1909 по 1912 гг. посол Германии в Италии, 1913—1916 гг. статс-секретарь иностранных дел.

[121] *Гартвин Н.Г.*, русский дипломат, посланник в Тегеране (1908—1909), в Сербии (1909—1917).

[122] *Густав II Адольф (Adolf)* (1594—1632). С 1611 г. шведский король и полководец, крупный военный реформатор. При нем Швеция стала великой державой.

[123] *Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм* (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, юрист, изобретатель, историк, языковед.

[124] *Куприн Александр Иванович* (1870—1936) — русский писатель, один из последних представителей критического реализма.

Глава IX

Война 1914—1918 гг. Ее действительные причины. К психологии германского народа во время войны

[1] *Чемберлен Густав Стюарт (Houston Stiwart Cnamberlain)* (1855—?) — английский писатель, писавший по вопросам истории искусства и культуры, преимущественно по-немецки.

[2] *Генрих VIII* (1491—1547) — английский король с 1509 г., один из представителей английского абсолютизма. С конца 20-х годов XV в. начался период царствования, связанный с проведением реформации. В 1534 г. разорвал с папой и был провозглашен парламентом главой английской церкви.

[3] *Кабот Джон (Каботто Джовани)* (1450—1498) — английский мореплаватель, итальянец по происхождению, вслед за Колумбом совершил пу-

тешествие в Америку. 2 мая 1497 г. при поддержке короля Генриха VIII покинул Бристоль, а 24 июня наткнулся на острова Кат-Брестон. Вторичное путешествие совершил в 1498 г., посетив Гренландию, Дэвисов и Гудзонов проливы, Ньюфаудлин и юго-восточный берег материка до 38° северной широты.

[4] *Вильгельм III Оранский (William)* (1650—1702) — король Англии с 1689 г. С 1689 по 1694 гг. правил совместно с женой Марией, дочерью свергнутого в 1688 г. английского короля Якова II Стюарта. С 1674 по 1704 гг. штатгальтер (правитель) Нидерландов. Вел активную внешнюю политику, участвуя в многочисленных коалициях и войнах против Франции, Людовика XIV.

[5] *Болинброк (Bolengbroke) Генрих Сент Джон виконт* (1678—1751) — английский государственный деятель и писатель. В 1700 г. избран в палату общин, в которой стал одним из лидеров партии тори. В 1709 г. получил пост военного секретаря в кабинете Мальборо. С 1708 г. министр иностранных дел. В 1712 г. возведен в пэры, в 1715 г. вычеркнут из списков пэров. В 1723 г. получил амнистию.

[6] *Виктория* (1819—1901) — королева Великобритании (1837—1901). В 1876 г. провозглашена императрицей Индии.

[7] *Хейстингс (Hastings) Уоррен* (1732—1818) — английский колониальный деятель. Участвовал в организации завоевания и разграбления Бенгалии. С 1761 по 1764 гг. член Калькуттского совета, с 1769 по 1772 гг. Мадрасского совета. С 1772 г. губернатор Бенгалии. Первый генерал-губернатор Индии (1774—1785).

[8] *Типу*, султан (1750—1799) — правитель (1782—1799) княжества Майсур, возглавил борьбу с английскими завоевателями в Южной Индии.

[9] *Берк (Burke) Эдмунд* (1729—1797) — английский политический деятель и публицист. С 1766 г. член палаты общин, в которой стал одним из лидеров партии вигов. Был главным обвинителем на процессе генерал-губернатора Индии Хейстингса, проходившего в 1786—1795 гг. Наиболее решительно выступал против ост-индийской компании.

[10] *Дилк (Dilke) Чарльз Уэнсворс* (1843—1911) — английский политический деятель. С 1868 по 1886 гг. член палаты общин, в 1880—1882 гг. товарищ министра иностранных дел, в 1882—1885 гг. президент бюро местного самоуправления, в 1892—1911 гг. член палаты общин. Один из знатоков вопросов внешней военной и колониальной политики Англии. Автор работ «Greater Britain» (Т. 2, 1866-67), «The peredent polisition of European politics» (1887), «The British army» (1888) и др.

[11] *Мильнер Альфред* (1854—?) — английский политический деятель. Первоначально был адвокатом, занимался журналистикой, служил в Египте. Верховный комиссар в Южной Африке (1897—1905), а также с 1902 г. губернатор Капской колонии, колонии реки Оранжевой и Трансвааля. В 1902 г. получил титул виконта. В 1916 г. вошел в кабинет Ллойд Джорджа в качестве министра без портфеля, члена Малого военного Совета.

[12] *Леопольд II*, король Бельгии (1835—1909) из Саксен-Кобургской династии. Основал международную ассоциацию Конго. Под прикрытием этой ассоциации захватил обширные территории в бассейне реки Конго. В 1908 г. за большую компенсацию уступил бельгийскому государству свое личное право на владение этой территорией.

[13] *Чемберлен (Cnamberlain) Джозеф* (1836—1914) — английский государственный деятель, фабрикант. С 1873 по 1876 гг. мэр Бирмингема. В 1876 г. избран в парламент, в 1880—1885 и 1886 гг. входит в состав кабинета Гладстона. Выступал против предоставления автономии Ирландии, что привело к расколу либеральной партии. С 1895 по 1903 гг. занимал

пост министра колонии. С 1903 г. развернул активную борьбу за протекционистскую политику.

[14] *Кобден (Cobden) Ричард* (1804—1865) — английский политический деятель, лидер фритредеров. Фабрикант, член палаты общин (1841—1857, 1859—1865). Пропагандируемая им система неограниченной конкуренции была призвана обеспечить как господство английской промышленной буржуазии внутри страны, так и завоевание ею внешнего рынка. В условиях мировой торгово-промышленной монополии Великобритании выступал с позиций пацифизма за сокращение вооружений и международный арбитраж. С 1848 по 1853 гг. участвовал в организации серии всеобщих конгрессов мира в Брюсселе, Париже, Франкфурте, Лондоне, Манчестере, Эдинбурге.

[15] *Пиль (Peel) Роберт* (1788—1850) — английский государственный деятель. В 1908 г. был избран в парламент от партии тори. С 1812 по 1818 гг. министр по делам Ирландии, в 1822—1827, 1828—1830 гг. министр внутренних дел, в 1834—1835, 1841—1849 гг. премьер-министр. В июле 1846 г. осуществил программу фритредеров. Это вызвало резкое недовольство тори-протекционистов и привело к распаду партии тори. Сторонники Пиля вошли в состав преобразованной в середине XIX в. партии вигов, получившей название либеральной.

[16] *Гладстон (Gladstone) Уильям Юарт* (1809—1898) — английский государственный деятель. В 1832 г. избран в парламент от партии тори. В 1843—1845, 1845—1847 гг. министр торговли, в 1852—1855, 1859—1866 гг. министр финансов. В 1868 г. избран лидером либеральной партии. С 1868 по 1874 гг. премьер-министр, в 1880—1885, 1892—1894 гг. возглавил правительство.

[17] *Саужи (Southy) Роберт* (1774—1843) — английский писатель, представитель озерной школы (лекистов). Стихи его переводили А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, А.И.Плещеев, Н.С.Гумилев, Э.П.Багрицкий.

[18] *Кольридж (Coleridge) Самуэль Тайлор* (1773—1834) — английский поэт, один из представителей озерной школы, или лекистов. В молодости был революционером, приветствовал взятие Бастилии. Один из наиболее ярких представителей английского романтизма.

[19] *Карлейль* (правильно *Карлайл*) *(Carlile) Ричард* (1790—1843) — английский критик и публицист. Отстаивал идеи народоправства и просвещения, вел антирелигиозную пропаганду.

[20] *Рескин (Раскин) (Ruskin) Джон* (1819—1900) — английский писатель, историк, искусствовед, публицист. Выступал против капиталистической действительности, враждебной искусству и красоте, преклонялся перед средневековым искусством. Заботился о простоте, ясности и доступности языка.

[21] *Людовик XIV* (1632—1715) — король Франции с 1643 г. Его правление явилось апогеем в развитии французского абсолютизма.

[22] *Людовик XV* (1710—1774) — король Франции. Правил самостоятельно с 1743 г. Его правление ознаменовалось кризисом французского абсолютизма.

[23] *Лист (List) Фридрих* (1798—1846) — немецкий экономист, представитель вульгарной политической экономии. С 1817 г. профессор государственной практики в Тюбингенском университете. Один из организаторов «Всеобщей ассоциации германских промышленников и купцов». Развивал идею протекционизма, требовал активного вмешательства государства в экономическую жизнь. Защищал шовинистическую идею господства Германии в Европе, рассматривал войну как благословение нации.

[24] *Рихтгофен* фон — немецкий государственный деятель. С 1898 г. заместитель секретаря, с 1902 г. статс-секретарь.

[25] *Родс (Rhodes) Сесиль Джон* (1853—1902) — английский колониальный деятель. Вдохновитель и организатор захвата на рубеже 80—90-х годов XIX в. Британской южноафриканской компанией огромных территорий в Южной и Центральной Африке, часть которых составила колонию, названную в 1895 г. в его честь Родезией. Был основателем и совладельцем ряда южноафриканских алмазных и золотодобывающих компаний. С 1890 по 1896 гг. премьер-министр Капской колонии. Один из инициаторов англо-бурской войны 1899—1902 гг.

[26] *Клемансо (Clemenecau) Жорж* (1841—1929) — французский политический и государственный деятель. По образованию врач. В период второй империи участвовал в радикально-республиканском движении. После свержения монархии (1870) мэр 18-го округа Парижа. С 1871 по 1875 гг. советник, а затем председатель муниципального Совета Парижа. В 1876 г. избран в палату депутатов. С 80-х годов лидер буржуазных радикалов. В 1902, 1909 гг. был избран в Сенат. Март-октябрь 1906 г. министр внутренних дел, 1906—1909 гг. председатель Совета министров.

[27] В 1898 г. французский военный отряд капитана Маршана, прибывший из французского Конго, захватил селение Фашоды (совр. Кодок), что давало важные позиции Франции вблизи Египта и Эфиопии. В сентябре 1898 г. Англия потребовала ухода отряда Маршана. Франция отказалась. Англия заняла непримиримую позицию и в октябре 1898 г. стала готовиться к войне. Франция, не готовая к морской войне, отступила. 3 ноября 1898 г. решила вывести отряд Маршана из Фашоды и отказалась от претензий на выход к Нилу. В дальнейшем по англо-французскому соглашению от 21 марта 1899 г. Франция получала некоторые компенсации в Центральной Африке.

[28] *Авелон Федор Карлович* (1830—1917) — военно-морской деятель, адмирал, генерал-адъютант, на флоте с 1857 г., командовал различными кораблями и соединениями. В 1895 г. помощник, с 1896 г. начальник Главного морского штаба. С 1903 г. управляющий морским министерством. В 1905 г. уволен в отставку.

[29] *Пуанкаре (Poincaré) Раймон* (1860—1934) — французский политический и государственный деятель, адвокат по образованию С 1887—1903, 1903—1913 гг. депутат Национального собрания, с 1920 г. сенатор. В 1893 и 1895 гг. министр просвещения, в 1894—1895 гг. министр финансов. 1912 г. — январь 1913 г. премьер-министр и министр иностранных дел. С 1913 по 1920 гг. президент республики.

[30] *Жоффр (Joffre) Жозеф Жак Сезер* (1852—1931) — французский военный деятель, маршал. Участник франко-прусской войны (1870—1871). Заведующий отделом инженерных войск во французском Генеральном штабе (1905—1906), начальник дивизии и командующий корпусом (1906—1908), заведующий учебной частью (1908—1911), начальник Генерального штаба (1911—1914), главнокомандующий союзными армиями на Западном фронте с 1914 по 1916 гг.

[31] 5(23) сентября 1914 г. между Россией, Англией и Францией было подписано соглашение, по которому они взаимно обязывались не заключать в происходившей войне сепаратного мира. Соглашение с французской стороной было подписано чрезвычайным уполномоченным послом Полем Камбоном. (Международные отношения в эпоху империализма. Серия 3. М.—Л., 1935. Т. 6. Ч. 1. № 220).

[32] *Бекендорф Александр Константинович* (1848—?) — дипломат, в министерстве иностранных дел с 1868 г. Первый секретарь и советник по-

сольства России в Вене (1887—1897), посланник в Копенгагене (1897—1902), посол в Лондоне (1902—1917).

[33] *Кристи* (1819—1901) — итальянский политический деятель, участвовал в сицилийской революции, сотрудничал с Гарибальди. В 1864 г. порвал с революционным прошлым. С 1876 г. президент палаты, 1887 г. премьер-министр.

[34] *Шебеко Игнатий Альбертович* — см. гл. VIII, прим. 53.

[35] *Лиман Сандерс Отто фон* — германский генерал, глава германской военной миссии в Турции с 1913 г., генеральный инспектор турецкой армии, во время Первой мировой войны один из руководителей турецких войск.

[36] *Богор-Нубар-паша* — армянский общественный деятель, основатель партии Рамгавар, принимал деятельное участие в выработке проекта армянских реформ 1913 г.

[37] *Голицын Г.С.* — князь, генерал, член Государственного Совета, главнокомандующий на Кавказе (1897—1904).

[38] *Воронцов-Дашков Илларион Иванович* (1837—1916) — генерал-адъютант, министр двора и уделов (1881—1897), председатель Красного Креста (1914—1915), наместник на Кавказе и Главнокомандующий войсками Кавказского военного округа (1905—1915). С 1897 г. член Государственного Совета.

[39] *Абдул-Хамид (Abdülhamit)* (1842—1918) — турецкий султан (1876—1909). Орудием своей политики сделал панисламизм. Внешняя политика отражала возрастающую экономическую и политическую слабость Турции, что привело к установлению международного финансового контроля над ней.

[40] *Маршалл фон Биберштейн (Marschall von Bieberstein) Адольф* (1842—?) — немецкий государственный деятель. С 1875 г. член баденской палаты депутатов. В 1878 г. выбран в рейхстаг. С 1883 г. баденский посол в Берлине, в 1890 г. имперский государственный секретарь по иностранным делам.

[41] *Вангенгейм* фон — барон, немецкий дипломат, посол Германии в Турции накануне и во время Первой мировой войны.

[42] *Рорбах (Rohrbach) Пауль* — германский политический деятель. Был имперским комиссаром по вопросам переселения в юго-западную Африку. Много писал по вопросам германской колониальной политики, один из главных защитников идеи Гамбург — Багдад. Во время Первой мировой войны сторонник немецкой экспансии на Восток за счет России.

[43] *Хедив* (*перс.* государь) — титул египетских правителей в 1867—1914 гг. Турецкий султан Абдул-Азиз дал титул хедива египетскому паше Исмаилу, что ставило его выше других наместников Османской империи. После провозглашения английского протектората над Египтом (1914) египетские правители приняли титул султанов.

[44] *Альберт I (Albert)* (1875—1934) — бельгийский король с 1909 г. В мае 1913 г. одобрил закон о всеобщей воинской повинности. Во время Первой мировой войны верховный главнокомандующий бельгийской армии.

[45] *Перьé, Казимир Перье (Casimir Perier) Жан Поль Пьер* (1847—1917) — французский государственный деятель. С 1876 по 1894 гг. член палаты депутатов, в 1890—1892 гг. ее вице-президент, в 1893—1894 гг. президент. С 1874 по 1879 гг. товарищ министра просвещения, в 1883—1885 гг. товарищ военного министра. С декабря 1893 по май 1894 гг. председатель Совета министров, июнь 1894 — январь 1895 президент Французской республики.

[46] *Леопольд I* (1790—1863) — король Бельгии с 1831 г. Младший сын герцога Саксен Кобургского. На королевский престол возведен после Бельгийской революции (1830) по настоянию правительства Англии.

[47] *Людовик Филипп* (1773—1850) — король Франции (1830—1848).

[48] *Дмовский (Dmowski) Роман* (1864—1939) — польский политический деятель. Один из организаторов польской демократической партии (1897). Во время Первой мировой войны выступал на стороне Антанты, возглавил польский национальный комитет в 1914 г. в Петербурге.

[49] *Лист (Liszt) Франц* фон — см. гл. I, прим. 79.

[50] *Митрофанов Павел Петрович* (1873—1917) — русский историк, ученик Н.И.Кареева, приват-доцент Петербургского университета, профессор высших женских курсов Н.П.Раева и Петербургского историко-филологического института. Занимался преимущественно историей Австрии.

Письма М.М.Ковалевского к А.И.Чупрову

[1] *Богданов Михаил Егорович* — брат жены А.И.Чупрова.

[2] Слухи не оправдались. И.А.Делянов, министр народного просвещения, изгнавший Ковалевского из Московского университета, оставался министром вплоть до 1897 г.

[3] *Любимов Алексей Андреевич* (1866—1898) — врач.

[4] *Юрьевская*, княгиня — *Долгорукова Екатерина Михайловна* (1846—1922). С 18 июля 1880 г. состояла в морганическом браке с Александром II. Указом от 5 декабря 1880 г. ей был присвоен титул светлейший княгини Юрьевской.

[5] *Чупрова Ольга Егоровна*, в девичестве Богданова, жена А.И.Чупрова. По воспоминаниям дочери, О.А.Сперанской, у матери с первых лет замужества сложилось чувство не задавшейся жизни. «Она мечтала о широкой общественной работе, о перевоспитании общества, жизни в кругу избранных людей. С многими из друзей отца она была очень дружна», — писала О.А.Сперанская (ЦГИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 3829. Л. 4).

[6] Имеется в виду работа «Происхождение современной демократии», вылившаяся в четырехтомное исследование, опубликованное в 1895—1897 гг.

[7] Летом 1886 г. во Франции началась агитация генерала Буланже, призывавшего к подготовке реванша. В свою очередь, германское правительство снова стало помышлять о расправе с Францией. В конце января 1887 г. германским правительством было принято решение о призыве 73 000 резервистов на учебные сборы. Они были назначены на 7 февраля и проводились в Лотарингии. По существу, это было началом сосредоточения войск на французской границе. 30 января 1887 г. Бисмарк на заседании прусского министерства объявил о возможности войны в течение ближайших недель. В ответ на запрос французского правительства об оказании Франции «моральной поддержки» на случай войны, Александр III ответил: «Конечно, да». В 1891 г. французское правительство поставило в Петербурге вопрос о союзе. В связи с ухудшением русско-германских отношений Россия пошла на сближение с Францией, результатом которого было заключение 21 августа 1891 г. франко-русского консультативного пакта, а впоследствии и заключения франко-русской военной конвенции. Это приостановило приготовление Германии к войне с Францией.

[8] Участие М.М.Ковалевского в сборнике состоялось. Об этом см. письмо № 8.

[9] Речь идет о статье «Общественный строй Англии в эпоху республики», опубликованной в «Юридическом вестнике» 1891 г., № 12.

[10] Во время полемики, развернувшейся в 1891 г. между газетами «Московские ведомости» и «Русские ведомости» по вопросу борьбы с голодом, первые обвинили газету в желании вырвать из рук государства это дело. В результате московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович в письме к министру внутренних дел обратил его внимание на очевидную тенденциозность и крайнею неуместность полемики, проводимой «Русскими ведомостями». В результате правительство 19 ноября 1891 г. объявило газете вторичное предостережение, что могло привести к приостановке издания газеты. В либеральных кругах распространилась весть о предстоящем закрытии «Русских ведомостей». Спасло газету то возбуждение, которое охватило даже верхние слои общества. (Локшин А.Е. «Русские ведомости» в общественной жизни Москвы в период политической реакции 80-х и первой половины 90-х годов XIX в. // Общественное движение в России в центральных губерниях России во второй половине XIX в. — начале XX века. Рязань, 1981).

[11] Речь идет о статье «Рабочий вопрос во Франции накануне революции», опубликованной в журнале «Русская мысль». 1893 г., № 2.

[12] Речь идет о книге «Происхождение современной демократии», I—III тома были опубликованы в 1895 г.

[13] *Миклашевский Александр Николаевич* (1864—1911) — экономист, специалист по вопросам денежного обращения. С 1896 г. профессор политэкономии Юрьевского университета.

[14] В июле—августе 1894 г. стало известно, что Александр III болен нефритом.

[15] *Вестермарк (Westermarck) Эдвард* (1862—1939) — финский этнограф и социолог. С 1907 по 1930 гг. профессор Лондонского университета, 1918—1932 — в Турку. Главный труд «История человеческого брака».

[16] *Вормс (Worms) Рене* (1869—1926). — французский социолог, представитель органической школы в социологии.

[17] *Теннис (Tonnis) Фердинанд* (1855—1936) — немецкий социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии.

[18] *Карелин Аполлон Андреевич* (1863—?) — экономист. Автор книг «Общинное владение в России» (СПб., 1898), «Краткое изложение политэкономии» (СПб., 1894). Историк общины, стоял за введение обязательных земельных переделов в установленные законом сроки и являлся поклонником круговой поруки.

[19] *Джаншиев Григорий Аветович* (1851—1900) — публицист и историк либерального направления. С 1878 г. начал сотрудничать в газете «Русские ведомости». С 1883 по 1900 гг. один из издателей-редакторов этой газеты.

[20] *Гольцев Виктор Александрович* (1850—1906) — публицист, журналист, литературный критик. Активный участник земского движения с момента его зарождения. Сотрудничал в различных журналах и газетах. Много лет вел ежемесячно политические обозрения в журнале «Русская мысль». С 1885 г. входил в редакцию журнала.

[21] *Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826—1911) — историк, журналист и общественный деятель. Окончил в 1847 г. Петербургский университет, в котором преподавал с 1852 по 1861 гг. С 1858 г. профессор всеобщей истории. Основные работы по истории Древней Греции и западноевропейского Средневековья. Принимал активное участие в образовании городского самоуправления и в деле партийного образования. Основал и редактировал журнал «Вестник Европы» (1866—1906).

[22] Речь идет о работе «Экономический строй России», которая была издана в Париже на французском языке.

[23] Речь идет об Алексее Ивановиче Чупрове, заболевшем в июле—августе 1897 г. Болезнь брата описана в письмах А.И.Чупрова его сестре Марии Александровне Амфитиатровой. (См.: Ф. 2244. Оп. 1. Д. 3787. Л. 1 об., 5 об.).

[24] В начале 1898 г. в 14 губерниях империи крестьяне испытывали острую нужду вследствие неурожая. Помощь голодающим была организована плохо и запоздала. В печати и, в первую очередь «Русские ведомости», заговорили об этом. Министерство внутренних дел было недовольно критикой его мероприятий по борьбе с голодом. 22 апреля 1898 г. «Русские ведомости» получили 3 предостережения, что привело к приостановке издания на 2 месяца и установлению над газетой предварительной цензуры, что крайне затрудняло печатание газеты.

[25] *Лотц (Lotz) Вальтер* — немецкий экономист, профессор Мюнхенского университета, специалист по денежным и банковским вопросам.

[26] *Мышецкая Олимпиада Михайловна* (1804—?) — княгиня. Мать М.А.Загуляева, журналиста, беллетриста, переводчика.

[27] *Ранье Шарль (Ranyer)* — директор народного банка в Ментоне.

[28] *Икскуль Варвара Ивановна* — баронесса, общественный деятель, организовывала сбор средств для поддержки высших женских учебных заведений Петербурга, устройства общежития для слушательниц бестужевских курсов. (См.: ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1601).

[29] *Сипягин Дмитрий Сергеевич* (1853—1902) — государственный деятель. С 1888 г. Курлянский, с 1891 по 1893 гг. Московский губернатор, с 1893 г. товарищ министра государственных имуществ, с 1894 г. товарищ министерства внутренних дел, с 1900 г. министр внутренних дел.

[30] *Соловьев Михаил Петрович* (1842—1901) — государственный деятель, окончил в 1864 г. юридический факультет Московского университета, был мировым посредником, председателем Белостокско-Бельского мировых съездов (1866—1867), член варшавской юридической комиссии (1867—1873). С 1896 г. назначен членом Совета Главного управления по делам печати и до 1900 г. исправлял должность начальника Главного управления по делам печати. Время его управления было насыщено предостережениями и приостановлениями органов печати.

[31] *Шаховской Николай Владимирович* (1856—1906) — государственный чиновник. С 1901 по 1906 гг. начальник Главного управления по делам печати.

[32] *Филиппов Терентий Иванович* (1825—1899) — государственный чиновник. С 1878 г. товарищ государственного контролера. С 1880 по 1899 гг. государственный контролер. С 1884 г. председатель песенной комиссии Географического общества.

[33] *Лобко Павел Львович* (1838—1905) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., затем начальник канцелярии военного министерства. С 1898 г. член Государственного Совета, в 1899—1905 гг. государственный контролер.

[34] *Вяземский Леонид Дмитриевич* (1848—1909) — генерал от кавалерии. С 1888 г. губернатор Астраханской губернии. С 1890 по 1899 гг. начальник Главного управления уделов. С 1899 г. член Государственного Совета.

[35] *Кочубей Виктор Сергеевич* (1860—1923) — князь. Начальник Главного управления уделов с 1899 г.

[36] М.М.Ковалевский был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук в 1899 г.

[37] *Павленков Флорентий Федорович* (1839—1900) — книгоиздатель. Умел значительно удешевить книги без ущерба для ее содержания и внешнего вида. Итог его деятельности: издано свыше 750 названий тиражом более 3,5 млн экземпляров.

[38] *Зибер Николай Иванович* (1844—1888) — экономист, один из первых популяризаторов экономического учения К.Маркса в России. Окончил юридический факультет Киевского университета (1866). Профессор кафедры политической экономии и статистики Киевского университета (1873—1875).

[39] *Сперанский Николай Васильевич* (1861—1921) — историк, преподавал на Высших женских курсах в Москве, зять А.И.Чупрова, муж его дочери Ольги.

[40] *Анненский Иннокентий Федорович* (1856—1909) — поэт. Окончил в 1879 г. историко-филологический факультет Петербургского университета. Был преподавателем древних языков, античной литературы, русского языка и теории словесности в гимназиях и на Высших женских курсах. Его поэзия носила декадентский характер.

[41] В 1900 г. была открыта Международная школа парижской выставки. Школа имел 5 отделений: французское, американское, английское, немецкое и русское. На русском отделении профессорами российских университетов была прочитана 51 лекция. (См.: Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук в Париже // Исторические записки. 107. С. 333).

[42] *Ренар Жорж (Renard)* (1854—1930) — французский писатель, публицист, историк. Работал в разнообразных областях науки как социолог, журналист, критик. Был профессором в ряде высших учебных заведений.

[43] *Уорд (Word) Лестер Фрэнк* (1841—1913) — американский социолог, геолог, палеонтолог, одни из основателей палеонтологии. С 80-х годов XIX в. занялся социологией, профессор социологии в университете Брауна (1906—1913), первый президент американского социологического общества (1906—1908).

[44] *Барт (Barth) Пауль* (1858—1922) — немецкий социолог и философ, профессор Лейпцигского университета с 1897 г.

[45] *Джоржетта (Л.А.Лоренцини)* — гражданская жена М.М.Ковалевского. (См.: Е.К. Черты из жизни Максима Максимовича по семейным и личным воспоминаниям // М.М.Ковалевский ученый, государственный деятель и гражданин. Пг., 1917. С. 22, 32).

[46] *Ковалевский Владимир Иванович* (1844—1930) — государственный чиновник, финансист, директор Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов (1893—1900).

[47] *Скальковский Константин Аполлонович* (1843—1906) — государственный деятель и писатель. С 1867 г. секретарь общества для содействия русской промышленности и торговли. С 1891 по 1896 гг. директор горного департамента Министерства финансов.

[48] *Морозова Варвара Алексеевна* (урожденная Хлудова) (1850—1917) — гражданская жена В.М.Соболевского.

[49] *Морозов Петр Осипович* (1854—1920) — историк литературы, пушкинист.

[50] *Левассер (Levasseur) Пьер Эмиль* (1828—1911) — французский экономист и историк. Член Академии моральных и политических наук. Автор многочисленных работ по экономической истории Франции.

[51] *Кост (Coste) Адольф* (1842—1901) — французский социолог-позитивист, президент Парижского статистического общества.

[52] *Мартин (Martin) Рудольф* (1864—1925) — немецкий антрополог. Профессор Цюрихского (1899—1911), Мюнхенского (с 1917) университетов, создатель современной методики антропологических исследований.

[53] *Карышев Н.А.* (1855—1905) — экономист, статистик, публицист, земский деятель. Профессор Русской школы общественных наук в Париже. Читал курс «Основы политэкономии».

[54] А.И.Чупров собирался приехать в Болье в конце ноября 1900 г. (См.: ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 679. Л. 1).

[55] М.М.Ковалевский достаточно полно описывает студенческие выступления в Киевском университете, начавшиеся 30 октября 1900 г. на лекции профессора Эйдельмана. 7 декабря 1900 г. здание Киевского университета было окружено солдатами, часть из которых вошла в университет. Участники сходки были переписаны и удалены из помещения, а затем отданы под суд. 10 января 1901 г. в «Правительственном вестнике» было опубликовано сообщение, что суд приговорил 183 студента к отдаче в солдаты сроком от года до 3-х лет, а в отношении остальных 217 был применен карцер и другие административные меры. (Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. М., 1971. С. 43—45).

[56] *Новицкий В.Д.*, начальник Киевского губернского жандармского управления (1878—1903), Одесский градоначальник (1907).

[57] *Драгомиров Михаил Иванович* (1830—1905) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, военный историк и теоретик, участник русско-турецкой войны (1877—1878), киевский генерал-губернатор (1897—1903), член Государственного Совета с 1903 г.

[58] *Де Греф* — см. гл. V, прим. 47.

[59] *Остроумов Алексей Андреевич* (1844—1908) — врач, профессор.

[60] Имеется в виду книга: «Происхождение современной демократии». 2 изд. М., 1901. Т. 1. Ч. 1.

[61] *Бойе Поль* — французский профессор Парижского университета.

[62] *Винавер Максим Максимович* (1863—1926) — общественный деятель, занимался проблемой эмансипации российских евреев. Юрист, известный специалист в области гражданского права. С 1904 г. член Союза освобождения. С 1905 г. член ЦК партии кадетов, один из ведущих теоретиков партии и близкий соратник П.Н.Милюкова.

[63] *Венгеров Семен Афанасьевич* (1855—1920) — историк литературы, библиограф, представитель культурно-исторической школы в литературоведении. Составитель историко-библиографического словаря русских писателей и ученых.

[64] А.И.Чупров в письме от 5 ноября 1901 г. сообщает о том впечатлении, которое произвело в России известие об открытии Русской высшей школы общественных наук в Париже. «Масса народу, даже совсем неимущего собирается, как я слышал, ехать в Париж в надежде получить систематическое образование на высших курсах общественных наук в Париже». (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 719. Л. 2).

[65] *Поллок (Pollok) Фредерик* (1845—?) — английский юрист. С 1883 по 1903 гг. занимал кафедру обычного права в Оксфорде.

[66] *Чупров А.И.*, зная о недоброжелательном отношении царского правительства к лицам, читавшим лекции в Русской школе общественных наук в Париже, просил в письме к Гамбарову Ю.С. не называть в программе курсов, читаемых в школе, свое имя. (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 690. Л. 1 об.).

[67] *Волков Ф.К.* (1847—1918) — этнограф, читал курсы «Сравнительная этнография», «Основные начала антропологии».

[68] *Анри В.А.*, профессор Сорбонны, читал в школе курсы «Об ассоциации идеи», «Физиологические функции головного мозга», «Экспериментальная психология», «Развитие основных учений о явлениях природы», «Картезианизм и энергетика».

[69] Отдача 183 студентов в солдаты вызвала взрыв протеста студентов, вылившийся в уличные демонстрации (в Петербурге 19 февраля 1901 г. у Кавказского собора) в Харькове. Эти демонстрации были разогнаны, их участники были избиты и арестованы. Затем выступление студентов перекинулось на улицы Москвы. 23—25 февраля студенческие выступления охватили все города страны, в которых имелись высшие учебные заведения и только в апреле 1901 г. пошли на убыль. (См.: Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. М., 1977. С. 45—61.)

[70] *Куплевский Николай Осипович*, ординарный профессор Харьковского университета по кафедре государственного права. С 1901 г. ректор этого университета.

[71] *Вановский Петр Семенович* (1822—1904) — генерал-адъютант, военный министр (1881—1898). С 1901 по 1902 гг. министр народного просвещения.

[72] *Рафалович Артур Германович* (1853—1921) — получил образование во Франции, директор русского для иностранной торговли банка, видный финансист, агент министерства финансов в Париже в 1894—1917 гг.

[73] 29 июля 1902 г. было совершено неудачное покушение Ф.Кочуры на Харьковского губернатора И.М.Оболенского, организатора массовых экзекуций при подавлении крестьянских выступлений в 1902 г.

[74] Имеется в виду работа «К ранней истории Азова. Венецианские и генуэзские колонии в Тане в XIV в.» // Труды XII археологического съезда в Харькове в 1902 г. Харьков, 1905.

[75] *Ивановский Владимир Николаевич* (1867—1939) — философ, приват-доцент, читал в школе курсы «Из истории философской мысли в XVI в.», «Основные типы метафизической мысли в истории философии».

[76] *Тамашев М.И.*, историк, профессор школы, читал курсы «История религии Востока», «Очерки истории Передней Азии», «Ислам и халифат».

[77] *Гагарин А.А.*, князь, статский советник, прикомандированный к министерству внутренних дел.

[78] *Лопухин Алексей Александрович* (1864—1928) — окончил юридический факультет Московского университета. С 1886 г. служил по судебному ведомству, 1889 г. прокурор Московского окружного суда, с 9 мая 1902 г. и.о. директора Департамента полиции, с 1903 по 1905 гг. директор Департамента полиции.

[79] Речь идет о замужестве дочери Елены. Свадьба состоялась в июне 1903 г.

[80] *Исаев Андрей Алексеевич* (1831—1924) — экономист, статистик и социолог, один из пропагандистов кооперативного социализма. Читал в школе курсы «Мировое хозяйство», «О промышленных кризисах», «Финансовое право», «О социализме наших дней».

[81] Приезд А.И.Чупрова в Париж для чтения лекций состоялся. В письме сестре от 20 декабря 1903 г. он сообщает, что был занят подготовкой лекций, которые обещал прочесть в Париже в Русской высшей школе общественных наук и «завтра отправляется в путь». В письме от 24 января 1904 г. он сообщает о своем возвращении из Парижа. (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 670. Л. 9—10).

[82] А.И.Чупров опасался, что его лекции могут вызвать недовольство слушателей социал-демократов, что приведет к скандалу.

[83] *Кольцов Николай Константинович* (1872—1940) — биолог, основоположник отечественной экспериментальной биологии. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1916).

[84] «Справление Татьяны». 25 января — день Татьяны считался днем открытия Московского университета и торжественно отмечался как студентами, так и лицами, окончившими его.

[85] *Добронович* (псевдоним), настоящая фамилия *Арканданский Константин Васильевич* (1848—1930) — народник, затем эсер, эмигрант с 1881 г., постоянный корреспондент газеты «Русские ведомости» во Франции.

[86] *Трачевский Александр Семенович* (1838—1906) — историк. С 1878 по 1890 гг. профессор Новороссийского университета. Читал в школе курс «Основы истории XX века».

[87] *Франк Семен Людвигович* (1874—1950) — российский религиозный философ.

[88] *Сытин Иван Дмитриевич* (1851—1934) — издатель-просветитель. К началу XX в. его издательство стало крупнейшим в России.

[89] В январе 1904 г. А.И.Чупров читал лекции в школе. Из-за простуды не смог прочитать полностью весь курс и в начале февраля вернулся в Мюнхен «полубольной и до чрезвычайности утомленный». (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 670. Л. 8, 10).

[90] *Лависс (Lavisse) Эрнест* (1842—1922) — французский историк, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук, специалист по истории Пруссии.

[91] *Нелидов Александр Иванович* (1835—1910) — дипломат, посол в Константинополе (1883—1897), в Риме (1897—1903), в Париже (1903—1910), товарищ министра иностранных дел.

[92] Письмо является ответом на письмо А.И.Чупрова от 23 июля 1904 г., в котором он спрашивает, каков объем и состав сборника и когда он должен выйти. «Если сборник будет состоять не из прочитанных лекций, а из статей, то я смогу сократить прочитанное мною, а если пойдут в ход лекции, то я не прочь был бы распространить некоторые отделы. От тех статей и личности авторов зависит, пойдут ли к сборнику мои лекции». (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 719. Л. 3—3об.).

[93] *Эртель Александр Иванович* (1855—1908) — русский писатель.

[94] Только после выхода Е.В. де Робберти из числа вице-директоров и лекторов Высшей русской школы общественных наук он получил разрешение остаться в Париже.

[95] *Львович Григорий Федорович* — издатель, публиковал только книги, которые соответствовали его взглядам и вкусам.

[96] А.И.Чупров написал для сборника статью «Мелкое земледелие и его основные нужды».

[97] *Беджгот (Begehot) Вальтер* (1826—1877) — английский публицист и экономист, знаток денежного обращения и банковского дела. Называл себя «настоящим учеником А.Рикардо». Редактировал журнал «Economist» (1856—1877). В работе «Phisics and Politic» (1869) попытался приложить теорию Ч.Дарвина к развитию общества.

[98] 30 ноября 1904 г. Московской городской Думой было принято Заявление, которое содержало требование демократических свобод, отмены исключительных законов и установления контроля общественных сил «над законностью действий администрации». Это постановление было вручено министру внутренних дел. (Писарькова Л.Ф. Московская городская Дума. 1863—1917. М., 1998. С. 247—248).

[99] *Торквемада (Torquemade) Томас* (около 1420—1498). С 80-х годов глава испанской инквизиции (великий инквизитор). Инициатор изгнания евреев из Испании (1492).

[100] *Неккер (Necker) Жак* (1732—1814) — французский государственный деятель. В 1762 г. основал свою банкирскую контору. Директор финансов (1776—1781, 1788—1789). Писал по экономическим вопросам. Известен своими сочинениями о меркантилизме и похвальной речью в честь Кольбера.

[101] *Штейн (Stein) Генрих* (1757—1831) — государственный деятель Пруссии. С 1804 по 1807 гг. ведал финансами и экономикой. Провел ряд преобразований, провозгласил личную свободу крестьян, выкупил крестьянские повинности у помещиков за уступку им 1/3 или ? надела крестьян, фактически ввел всеобщею воинскую повинность. С 1808 по 1809 гг. глава правительства Пруссии.

[102] *Пыпин Александр Николаевич* (1833—1904) — литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии наук (1898).

[103] В России высшие учебные заведения были охвачены забастовкой.

[104] *Гессен Иосиф Владимирович* (1866—1943) — адвокат, публицист, один из лидеров конституционно-демократической партии. Депутат II Думы.

[105] *Борткевич Владислав Иосифович*, экономист, профессор университета Карлотенбурга.

[106] Речь идет о статьях: «К открытию семестра» (Русские ведомости, 1905, № 24), «Совещание земских и городских деятелей» (Русские ведомости, 1905, № 264).

[107] Речь идет о сборнике «Русская высшая школа общественных наук в Париже: лекции профессоров РВШ в Париже». СПб., 1905.

[108] Письмо является ответом на письма А.И.Чупрова от 12 и 16 августа 1905 г., в которых он предлагает М.М.Ковалевскому оказать помощь в создании высшего общественного учебного заведения и излагает свои взгляды на эту проблему. Высшее общественное учебное заведение должно быть доступно всем желающим. «Новая школа не должна состязаться с университетом. Новая школа должна быть общеобразовательным научным учреждением, не претендовать на сообщение специальной выучки». (К истории народного университета им. А.Л.Шанявского // Российский архив. М., 1999. Вып. 9. С. 431—434).

[109] *Терещенко Михаил Иванович* (1886—1956) — российский предприниматель. Был близок к партии прогрессистов. В 1917 г. министр финансов, а затем министр иностранных дел.

[110] *Морозова Мария Федоровна* (1830—1911) — мать С.Т.Морозова, фактически возглавляла правление товарищества «Никольской мануфактуры».

[111] А.И.Чупров выполнил просьбу М.М.Ковалевского и 19 декабря 1905 г. написал ответное письмо, в котором отмечал, что происшедшее в школе его не удивляет, что его поражает нетерпимость. Он считал, что М.М.Ковалевскому не следовало читать лекцию о событиях, происходивших в России, нужно было читать строго научную лекцию согласно теме лекционного курса. А.И.Чупров предупреждал друга, что став ответственным редактором газеты, он подорвет свое здоровье и истощит свою нервную систему за полгода. (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 719. Л. 4—4 об.).

[112] *Гаррисон (Harrison) Фредерик* (1831—?) — английский историк, юрист, религиозный мыслитель, философ-позитивист. С 1877 по 1889 гг. профессор гражданского и международного права в Юридической Академии.

[113] В ответном письме от 19 октября 1906 г. А.И.Чупров дал оценку событий, происходивших в России. «Я почти уверен, что и будущей Думе не жить. Она сломает себе голову на земельном вопросе, устраниться от которого она не сможет ввиду бедственного положения крестьян и ясно выраженных стремлений и требований последних». Он подчеркивал, что необходимо так организовать крестьян и их хозяйство, «чтобы помещикам не оставалось никакого исхода, кроме передачи земель крестьянам». (ЦИАМ. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 716. Л. 6—7 об.).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абаза А.М. — 408
Абдул-Хамид — 473
д'Абзак — 306, 319
Абу — 141
Августа, императрица — 119
Авдаков Н.С. — 399
Авелон Ф.К. — 466
Авраам — 74
Адамс Г.Б. — 13, 310, 334
Адамс С. — 313, 325
Адан Ж. — 139, 150
Адлерберг — 262
Азеф Е.Ф. — 31, 270, 346, 378, 379
Акимов М.Г. — 360, 394, 397
Аксаков А.Н. — 172
Аксаков И.С. — 10, 56, 153, 173, 205, 206, 224, 227
Аладьин А.Ф. — 368, 369
Александр I — 56, 250, 275, 439
Александр II — 72, 117, 151, 153, 208, 225, 248, 262, 269, 340, 365, 428
Александр III — 11, 152, 220, 239, 270, 340, 353, 408, 437
Александр Македонский — 64, 213, 317, 432, 444
Александр Михайлович, вел. кн. — 407
Алексеев — 61, 62
Алексеев А.С. — 214
Алексеев Е.И. — 408
Алексеев (Станиславский) К.С. — 252
Алексеенко М.М. — 87, 341
Алексей Александрович, вел. кн. — 408
Алексис П. — 253
Алквиад — 55
Алпатов М.А. — 39
Алчевская Х.Д. — 276
Алчевский — 286
Альба, герцог — 522
Альба А. — 296
Альберони, кардинал — 250
Альберт I — 475
Альбони — 58
Алькан — 300
Альфред — 68
Амазис II — 162
Амфитеатров А.В. — 33, 278, 351
Андраши Д. — 408
Андреевский И.Е. — 98
Андрианов — 348
Аникин С.В. — 368, 369
Аничков Е.В. — 33, 278, 339, 440, 496, 505
Анненков П.В. — 151, 199
Анненский И.Ф. — 496
д'Аннунцио Г. — 115
Анри В.А. — 505, 515, 518, 519
Антонович В.Б. — 219
Анучин Д.Н. — 16, 36, 219, 489
Апостол П.Н. — 278, 498, 511
Арапетов — 148, 263
Аргайл, герцоги — 183, 195
Аристид — 369
Аристотель — 307
Арндт К.-Л. — 7, 73
Арно Н. — 137
Арнольди (Арапова) А.А. — 255
Арсенев — 528
Арсений, архиепископ — 398
Арсеньев К.К. — 22, 25, 37, 347, 349, 350, 373, 503
Артур Ч.А. — 322
Арцимовичи — 49
Арч Д. — 181, 182
Асквит Г.Г. — 132, 421
Асурбанипал (Ашшурбанипал) — 74
Аттила — 117
Афанасьев — 378
Афанасьев В.А. — 389

Бабст И.К. — 222
Бабчев — 417
Багалей Д.И. — 27, 125, 388—390, 405
Базар С.-А. — 99
Базен Ф.А. — 116
Байет — 95
Байрон Д.Н.Г. — 212, 213
Бакунин М.А. — 57, 113, 145, 183, 187, 189, 190, 196, 296

Балабанов М. — 206
Бальзак О. де — 214, 254
Балясный — 79
Банерман К. — 372
Барановская К.В. — 485
Барац — 495
Барин — 244
Барк П.Л. — 412
Барон Ю. — 8, 114
Барт П. — 496
Бастиа Ф. — 108
Батби А.П. — 7, 78, 131
Бартхевич — 277
Батюшков — 298
Батюшков К.Н. — 53
Бауэр Б. — 196
Бауэр О. — 12, 291
Бахметева А.Н. — 173
Бахофен И.Я. — 161
Бебель А. — 189, 197
Безелер Г. — 8, 114
Безобразов А.М. — 408
Безиерга — 53
Бейлис М. — 31, 413
Бекендорф А.К. — 468
Бекетов Н.Н. — 71
Беккер — 157
Белинский В.Г. — 63, 144, 145, 148
Белов — 53
Белоголовый Н.А. — 245, 248, 249
Бельгарт — 351
Беляев И.Д. — 98, 222
Бем-Баверк Э. — 112
Бенкрофт Д. — 329, 334
Бенкерсхук — 69
Бенуа — 300
Бергсон А. — 115, 260
Бересфорд — 422
Бермен П. — 193
Берлиц — 68
Бернар С. — 137, 154
Бернард Клервосский — 178
Бернс Д. — 423
Бертело (Бертло) П.Э.М. — 277
Бертен — 313
Бетховен Л. ван — 54, 118, 268, 287
Бехтерев В.М. — 416, 417
Бёрк Э. — 175, 446
Бингерсхук К. ван — 69
Бинер Ф.-А. — 7, 72
Бирилев А.А. — 395
Бисле (Бизли) Э.С. — 178, 179
Бисмарк О.Э.Л. — 95, 103, 116, 118, 119, 120, 197, 225, 468—470, 472
Бичер-стоу Г. — 319
Блек — 144
Блан Л. — 106, 285
Блерио — 433
Блюмберг И. — 486
Боас — 372
Боборыкин П.Д. — 10, 140, 150, 153, 229—231, 245, 248, 252—254, 278, 382, 496, 506
Боборыкины — 486
Бобринский А.А. — 65, 396, 400, 403, 426, 428
Бобринский В. — 426
Бобчев — 426
Богданов М.Е. — 486
Богданова Н.П. — 494
Богданович — 62
Боголепов Н.П. — 164, 220, 232, 233, 276, 376
Богор-Нубар-паша — 471
Богораз В.Г. — 324
Боден Ж. — 100, 123
Боильсен — 306
Боис — 324
Бойе П. — 338, 502
Бойесен — 143
Бокль Г.Т. — 7, 69, 100, 157
Болинброк Г. — 445
Бомарше П.О. — 212
Бомпаре — 279
Бональд Л.Г.А. — 121
Боргман И.И. — 388, 389
Борнер — 114
Бороноев А.О. — 35
Борткевич В.И. — 338, 524
Боссет — 335
Боткин М.П. — 374
Боткин П.П. — 345
Боткин С.П. — 245
Боше — 240
Брайс Д. — 8, 175, 276, 330, 334
Брактон — 211, 212
Брандес Г. — 277, 338
Брантс — 301
Браунер Ф.-А. — 92
Браунинг — 156
Брейгель — 288
Брентано К. — 106, 505

Брентано Л.И. — 8, 105, 106—108, 112, 116
Брессон — 137
Бриджес — 178
Бриссо Ж.П. — 222, 260
Броган М. — 137
Брольи А. — 128, 137, 138
Бруннер Г. — 8, 103, 104
Брут М.Ю. — 250
Брызгалов — 215
Брянчанинов — 415, 417
Бувар — 149
Буилия — 246
Буксгевден А.А. — 378
Булацель П.Ф. — 382
Булыгин А.Г. — 340, 357
Бунге Н.Х. — 6, 74, 109, 203, 214
Бурбоны — 138
Бургарт — 249
Буржуа — 273
Буржуа Л.В. — 276
Буржуа Э. — 275
Бурнье — 181
Бурцев В.Л. — 271
Буслаев Ф.И. — 10, 204, 212, 213, 316
Бутарик — 123, 124
Бутлеров А.М. — 172
Бутми Э. — 8, 115, 121, 456
Бутс У. — 179, 180
Бэджгот У. — 8, 156
Бэк — 118
Бэкон Ф. — 116, 178
Бэн А. — 217
Буффе Л.Ж. — 138
Бюхер К. — 109

Вагнер А. — 8, 104, 105, 194
Вагнер Р. — 118, 185, 286, 287
Вайц (Вайтц) Г. — 103
Ваксвейлер — 299
Валишевский К. — 273, 278, 280
Валлон А. — 122
Валуев П.А. — 225
Валькер — 87
Вальроже Ш. — 131
Вангенгейм фон — 473
Вангольст — 316
Вандаль А. — 275
Вандервельде (Вандервальде) Э. — 12, 245, 267, 283—287, 292, 293, 295, 298, 299, 496, 498, 512, 517
Вандеркиндер — 288
Вандерперебум — 288
Вандик — 118, 286
Ванновский — 66
Вановский П.С. — 507
Ванцетти — 51
Васильев А.В. — 27, 389, 390, 392, 406
Васильчиков А.И. — 72, 210
Васко да Гама — 444
Вашингтон Д. — 313, 320, 325, 337
Ваяйн О. — 281
Вебер — 287
Вейерштрасс К.-Т.В. — 243
Веласкес Р. — 274
Велич — 417
Венгеров С.А. — 503
Венцеслав Святой — 91, 93
Венявский Г. — 286
Верлен П. — 298
Вернадский В.И. — 389, 390
Верхарн (Вергаген) Э. — 115, 298
Веселовский А.Н. — 10, 212, 213, 216, 278, 491, 492
Вестермарк Э. — 492
Вестфален, фон — 196
Вестфален Ф. фон — 196
Вестфален Э. фон — 196
Ветлек Д. — 80, 177
Виан — 122
Виардо П. — 58, 151, 152
Вивиани Р.Р. — 422
Виель-Кастель — 209
Виктория — 445, 463, 476
Виктор-Эммануил II — 51
Викторов — 145
Виллари П. — 249
Виллер — 504
Вильгельм I — 116, 117, 166, 197, 275
Вильгельм II — 408, 409, 418, 420, 430, 433, 458, 461, 166, 472, 474, 476
Вильгельм III Оранский — 445
Вильда В.Э. — 107
Вильмен (Вивьен) А.Ф. — 82
Вильсон Т.В. — 330, 337
Вильчек — 54

Вильямс — 455
Винавер М.М. — 364, 367, 503
Виноградов — 74
Виноградов — 67
Виноградов П.Г. — 103, 126, 167, 176, 177, 211, 212, 245, 389, 492
Виоле ле Дюк Э.Э. — 204, 222
Виолле П. — 123, 163
Вирхов Р. — 118, 264
Висс Г.Э. — 157
Витон Г. — 84
Витте — 508
Витте С.Ю. — 30, 37, 267, 338, 346, 351, 355—361, 363, 377—380, 390, 397, 398, 400, 401, 403—413
Владимир, князь Киевский — 62
Владимиров Л.Е. — 7, 70—72, 98
Владимирский-Буданов М.Ф. — 222, 500, 506
Воейков В.Н. — 428
Волков Ф.К. — 505, 511
Волобуев О.В. — 4, 35
Вольтер — 62, 82, 141, 204
Воробьева Ю.С. — 35, 36, 39, 43
Вормс Р. — 492, 502, 529
Воронцов-Дашков И.И. — 471
Воскресенский — 62
Востоков — 65
Врублевский — 359
Вуст — 292
Вырубов Г.Н. — 8, 16, 80, 82, 134, 135, 136, 153, 174, 183, 207, 253, 262, 271, 284, 293, 295
Вышеславцев — 59
Вяземский Л.Д. — 494

Габсбурги — 90, 93, 95, 97, 425, 426, 430, 438, 477
Гагарин А.А. — 512
Гайдман (Гайндман) Г.М. — 179, 185, 191, 194
Галахов — 53
Галицын Ф.Д. — 344, 353, 354, 386
Галлам Г. — 7, 69, 100, 176
Галлер — 478
Гальден — 423
Гамбаров Ю.С. — 10, 12, 17, 22, 232, 274, 277, 278, 338, 347, 380, 381, 492, 496, 505, 511, 512, 518, 519, 524
Гамбетта Л. — 134, 138, 139, 150, 284, 293
Гамильтон А. — 329
Ганейзер — 348
Ганноверы — 333, 445
Гапон Г.А. — 379—381
Гарди Т.Д. — 176
Гарлах — 95, 119
Гарле — 291
Гармс Ф. — 112
Гаро — 133
Гаррисон Ф. — 8, 135, 154, 158, 174, 175, 178, 179, 529
Гарсон Э.О. — 133
Гартвин Н.Г. — 436
Гартнер — 327
Гаттенбергер К.К. — 7, 70, 86, 98, 108, 167
Гауптман Г. — 10, 35
Гашет — 297
Ге Н.Н. — 225, 226
Геберлин — 103
Гегель Г.В.Ф. — 70, 86, 99, 113, 169, 184, 199, 200, 227, 254
Гезы — 296
Гейден П.А. — 368, 374, 375
Гейзер Г. — 52
Гейне Г. — 149, 184, 195
Гейтерберг — 524
Гекер П.-О. — 302, 303
Гексли (Хаксли) Т.Г. — 266
Геллиус фон — 418
Гельд А. — 8, 105, 108
Гельмгольц Г.Л.Ф. фон — 8, 113, 114, 118
Гельферин — 473
Гельферих — 106
Генрих V — 487
Генрих VIII — 154, 443
Гердер И.Г. фон — 115
Геринг — 100
Герман — 106
Геродот — 218, 219
Герпер Г. — 316
Герье В.И. — 209—212, 235, 394, 395, 398
Герцен А.И. — 7, 31, 80—82, 157, 183, 245, 254, 256, 263, 269
Герценштейн — 264, 374—377
Герцог Р. — 305, 319, 320
Гершель — 64
Гершельман С.К. — 388
Герье В.И. — 66, 103, 366

Гессен И.В. — 523
Гете В. — 65, 115, 143, 147, 153, 201, 306
Гизо — 211
Гизо Ф. — 7, 69, 184, 185, 192
Гильдебранд(т?) Б. — 409, 240, 241
Гильом — 190
Гинденбург П. — 434
Гинцбург — 152
Гиншиус П. — 8, 114
Гиппиус З.И. — 249, 254
Гирш М. — 265
Гиршман Л.Л. — 71
Гис Г. — 179
Гиуева Т.Т. — 43
Гладстон У.Ю. — 117, 179, 205, 206, 224, 342, 455, 456
Глассон Э.Д. — 131, 222
Гнейст Г.Р.Г.Ф. — 100—102, 105, 108, 120, 176, 177
Го — 137
Гоббс Т. — 122
Говоров — 64
Гогенварт К.С. — 90, 94—96
Гогенцоллерны — 102, 450
Гогенштауфены — 102
Гоголь Н.В. — 5, 51, 53, 139, 148
Годвин — 195
Годзяцкий — 61
Голиок — 179
Голицын, кн. — 276
Голицын Г.С. — 471
Голлер И. — 424, 437
Головачев А.А. — 229
Головин — 263
Голубев И.Я. — 398, 403
Голь — 142, 143
Гольцев В.А. — 12, 492
Гомер — 117
Гондатти — 218
Гончаров С.С. — 392
Гопгауз В. — 237
Гопкинс Д. — 314, 317
Гораций — 63
Гордеенко Ст. — 353
Горемыкин И.Л. — 24, 356, 363, 365, 392, 393, 412, 494
Горке О. — 109
Горпер — 314
Горчаков — 246
Горчаков — 225
Горчаков А.М. — 428
Горчаков М.И. — 398
Горький М. — 34, 440
Готфрид Бульонский — 55
Грабовецкий — 24
Градовский А.Д. — 98, 169, 223, 238, 239
Гракхи — 79
Гранжан И.М. — 52
Гранмезон — 132
Грановский Т.Н. — 7, 67, 80
Грант У.С. — 336
Гредескул Н.А. — 355, 356
Грееф (Греф) де Г. — 12, 15, 245, 27, 280—282, 290, 291, 294, 298—301
Грей Э. — 422, 441, 458, 468
Грессер — 225
Григорович — 152, 153
Гримм Д.Д. — 27, 389, 390, 398
Грин — 204
Грин Т.Г. — 8, 156, 178
Грищенко — 385
Гросс — 107
Грот Д. — 162
Грот Н.Я. — 217
Гроции Гуго де Гроот — 81, 84, 472
Грубе В.Ф. — 75
Грузенберг — 382
Грушевский М.С. — 278, 427
Гукасов П.О. — 399
Гуно — 287
Гурвич Г.Д. — 16
Гурко — 400
Гурко В.И. — 372, 377, 382, 383, 403, 404
Гуров В. — 352
Густав II — 437
Гучков А.И. — 339, 345, 373, 403
Гучков Н.И. — 339
Гьюит — 311
Гэр Т. — 177
Гюго В. — 41, 59, 116, 138, 139, 141, 142, 147, 150, 293, 296
Гюисманс Ж.К. — 253

Дайси — 156
Даллвольта Р. — 454—457
Даниельсон Н.Ф. (Николай-он) — 190, 192, 194
Данкварт Г. — 73

Данте А. — 80, 154, 288
Дантон — 368
Дарвин Ч. — 7, 185, 243, 263
Даргун — 163
Дарест де Ла Шаванн — 131
Дарест Р. — 160, 163, 240
Деак Ф. — 90
Декарт — 66
Делагарди Я.П. (де Лагарди) — 241
Делиль Л.В. — 127
Делоне — 137
Дельбе — 496
Делькассе (Delcasse) Т. — 279, 418, 421, 463, 465, 470, 518
Делянов И.Д. — 11, 140, 215, 221, 233
Демонтович — 148
Дени Г. — 12, 41, 280, 282, 290—295, 298, 299, 496
Дернбург Г. — 8, 114
Дерулед П. — 227, 467
Дерюжинский В.Ф. — 234
Дестурнель де Констан (де Естурнель) — 260, 313, 337, 415, 421, 424
Дешанель П. — 36
Джаншиев Г.А. — 245, 492
Дже Д. — 329
Джевонс — 194
Джейм Г. — 143, 306
Джефферсон — 337
Джордж Г. — 13, 195, 330
Джоржетта (Жижетта) (Л.А.Лоренцини) — 496, 498, 499, 506, 510—512, 514 518, 520, 521, 526, 529
Джотто — 79
Дидро Д. — 212
Дизраэли Б. — 179, 191, 206, 225, 456, 483
Диккенс Ч. — 154
Дикс А. — 458, 461, 464
Дилк Ч.У. — 447
Дильк А. — 142
Диман — 432
Дитмар Н.Ф. — 399
Дицген И. — 193
Дмитриев — 409
Дмитриев В.С. — 398
Дмитриев Ф.М. — 98
Дмовский Р. — 477
Добролюбов Н.А. — 63, 231
Добронович (Аркандanский) К.В. — 515
Доде А. — 253
Додленорс — 111
Дойч — 119
Долгорукий П. — 411
Долгоруков Н.А. — 56
Долгоруков Павел Д. — 341, 342, 376
Долгоруков Петр Д. — 293, 335, 344, 353, 373
Долгоруков П.Н. — 25
Доленги — 49
Достоевский Ф.М. — 33, 147, 152, 173, 243
Драгомиров М.И. — 500
Дрейфус А. — 251, 315
Дройзен И.Г. — 8, 114
Дубовик Г. — 58
Дубраво — 228
Дункер М.В. — 101, 193
Дурново П.Н. — 355, 359, 360, 392, 393, 397, 400, 401, 405
Дурново П.П. — 421
Духовской — 501
Дэн — 215
Дюбост — 135
Дюбуа-Реймонд Э. — 8, 113, 114
Дювернуа Н.Л. — 98
Дюдеффан М. (Дюдефан) — 242
Дюма А., сын — 254
Дюпон-Уайт Ш. — 82
Дюпюи Ш.А. — 281
Дюринг Е.К. — 8, 113, 185, 190
Дюрио — 52
Дюркгейм Э. — 9, 164

Ежазаров (Егиазаров) С.А. — 234
Екатерина II — 5, 50, 273
Екатерина Михайловна, вел. кн. — 152
Елена Павловна, вел. кн. — 152
Елизавета I — 80, 166, 178, 443
Елизавета Алексеевна, императрица — 250
Емельянов Ю.Н. — 39
Ермакович Ю.М. — 35
Ермолаев А.С. — 398
Ефремов Н.И. — 26, 37, 375, 416

Жане П. — 8, 121, 337
Жансон П. — 41, 283, 284, 290, 292—295
Жанэ К. — 337
Же — 291
Жез — 132, 315
Жерар — 162
Жид Ш. — 130, 496, 514, 519
Жилкин И.В. — 369
Жирар П.Ф. — 8, 130, 133
Жиро Ш.Ж.Б. — 128, 130, 132
Житецкий — 440
Жорес Ж. — 284, 293
Жорж Санд — 58, 156
Жоффр Ж.Ж.С. — 467

Забелин И.Е. — 209
Заболотный И.К. — 368
Загоскин Н.П. — 390
Залесский Н.Л. — 87
Зарудный М.И. — 7
Заточник Д. — 62
Зверев Н.А. — 398
Зелеа — 101
Зеленицкий К.П. — 404, 405
Зибер Н.И. — 109, 113, 190, 191, 194, 495, 496
Зиновьев А.Д. — 397
Златовратский Н.Н. — 10, 299
Златоут Иоанн — 11
Золя Э. — 149, 253
Зоннеман Л. — 119
Зорге — 198
Зубашев Е.Л. — 27, 390, 399

Иаков I — 358
Иван III — 357
Иван IV Грозный — 59, 274
Ивановский В.Н. — 511
Ивановский И.И. — 3, 357
Иванюков И.И. — 10, 12; 22, 33, 109, 230, 231, 347, 373, 382, 488, 492, 495, 497, 498, 499, 501, 512, 519, 528
Иванюкова М.В. — 499
Иванюковы — 486
Игнатьев А.А. — 428
Игнатьев Н.П. — 270
Иеринг (Илеринг) Р. фон — 7, 63, 74, 104, 163, 203, 221, 290
Изабелла — 247
Изамбер (Иснар) — 319, 150
Извольский — 429, 466
Икскуль В.И. — 356, 494
Икскуль фон Гильденбрант Ю.А. — 398
Илларион Киевский — 62
Ильвайский — 67
Иоанн, апостол — 154
Иоллос Г.Б. — 10, 220, 339, 377, 378, 503
Иохельсон (Ихельсон) В.И. — 324
Ирвинг Г. — 155, 190, 197
Ирмер Г. — 462, 463
Исаев А.А. — 233, 277, 278, 514, 515
Исаий — 286
Ишимова — 59

Кабот (Кобет) Д. — 443
Кавелин К.Д. — 10, 229
Калачев — 234
Каляузек (?) — 97
Камбон П.П. — 422
Кант И. — 112
Каменский И.Г. — 27
Камышанский — 378
Капнист П.А. — 215, 221, 233, 234
Капустин М.Н. — 84
Карамзин Н.М. — 59, 62, 63
Карденас — 185
Кареев Н.И. — 10, 35, 67, 126, 136, 185, 204, 211, 372, 507
Карл II Стюарт — 195
Карл Великий — 68, 114
Карлейль Р. — 178
Карелин А.А. — 492
Карл II — 443
Карлейль Т. — 456
Карнеги Э. — 313, 416
Каролинги — 103
Карпов Г.Ф. — 87, 98
Карт А.В. — 331
Карташев — 348
Карышев Н.А. — 499, 505, 507, 514
Кассо Л.А. — 127, 129, 130, 277, 316, 375, 416
Катков М.Н. — 147, 172, 173, 207, 208, 217, 225, 234, 270, 345, 373
Катошихин — 241
Каульбах — 51
Кауфман И.И. — 94, 100, 191, 194
Кауфман П.М. фон — 363, 388, 389, 398

Кауц Ю. — 7, 74
Качановская В.К. — 71
Качановский Д.И. — 7, 68—70, 72, 75, 76, 78—88, 90—92, 97, 98, 100, 104, 132, 329
Качоровский К.А.Р. — 279, 517, 518
Кашутич — 416
Кебль (Кэбль) Д.В. — 143, 318, 319
Кедрин Е.И. — 33
Кембел — 446
Кембль Д.-М. — 74, 257
Кеммерих — 268
Кент Д. — 329
Кеплер — 64
Керенский А.Ф. — 414
Кетле Л.А.Ж. — 291, 294
Кин Э. — 154, 155
Кинглек А.В. — 205, 342
Кине Э. — 288
Кинэ Ф. — 291
Киреев Н.А. — 205
Кистяковский Б.А. — 229
Клам-Мартинец — 94
Клемансо Ж. — 260, 466
Ключевский В.О. — 10, 22, 134, 209, 210, 212, 216, 222, 233, 316, 352, 357
Кнапп Г.Ф. — 8, 105, 107, 108
Книс К.Г.А. — 70, 108
Кобден Р. — 455
Кобылинский П.П. — 392, 398
Ковалевская Е.И. — 5
Ковалевская Е.Ю. — 51
Ковалевская С.В. — 12, 39, 49, 155, 156, 237—239, 241—243, 264, 265, 520
Ковалевский, химик — 50
Ковалевский, художник — 50
Ковалевский А.О. — 49, 245, 264
Ковалевский В.И. — 494, 497, 513
Ковалевский В.О. — 49
Ковалевский Е.П. — 276 425
Ковалевский И. — 357
Ковалевский М.М. (отец) — 5, 425
Ковалевский П.Е. — 39
Ковалевский Д.М. — 75
Ковальская Е.Н. — 75
Ковальский Я.И. — 75
Кованька — 363
Коклены — 137
Коковцев В.Н. — 393, 395, 398, 412, 413
Кокошкин Ф.Ф. — 21, 366, 370, 528
Кокс Э.-В. — 7, 78
Колер И. — 162
Колумб Х. — 444
Кольридж С.Т. — 456
Кольцов Н.К. — 515
Колыбинский — 405
Кон Б. — 395
Конвяков — 497
Конгрив — 179
Кондорсе М.Ж.А. — 175
Кондратьев Н.Д. — 16
Кони А.Ф. — 27, 28, 71, 374, 390, 396, 398, 402, 404, 503
Консидеран — 58
Константин Константинович, вел. кн. — 260, 506
Конт О. — 7, 14, 65, 70, 101, 113, 135, 153, 170, 178, 217, 227, 271, 281, 294, 295
Корвин-Круковский — 156
Корвин-Милевский И.О. — 397, 399, 405
Корж В.Ф. — 229
Кориест — 134, 135
Коркунов Н.М. — 143, 223
Корменен Л.М. де ла Ге — 82
Королев — 523
Короленко В.Г. — 320
Коротнев А.А. — 248, 252, 495, 500, 506, 507
Корсова — 286
Корш Ф.Е. — 10, 204, 212, 218, 253, 316, 426
Корье П. — 183, 190
Кост (Coste) А. — 499
Косцюшко Т.-А.-Б. — 91
Котляревский Н.А. — 22, 140, 231, 278, 348, 360, 524
Коттер-Мориссон — 178, 182
Кочубей В.С. — 494
Кохер — 500
Кочубинский А.А. — 92
Кошелев А.И. — 10, 205, 223—225
Кошут Л. — 96
Крамарж К. — 34, 93, 426, 429
Крашевский — 153
Крен — 312, 325, 326
Крестовников Г.А. — 399
Кржижановский С.Е. — 386

Кристи — 469, 470
Кромвель О. — 320, 443, 445
Кропоткин (Крапоткин) Д.Н. — 46, 76
Кропоткин П.А. — 190, 196
Круазет — 137
Крумбюгель — 495
Крылов И.А. — 63
Крылов Н.И. — 222
Крюгер — 466
Кугельман — 188, 189, 193
Кудрявцев П.Н. — 7, 67, 80
Кузины — 80
Кузнецовы — 50
Кузумано В. — 101
Кузьмин-Караваев В.Д. — 17, 23, 33, 36, 37, 38, 363, 365, 368, 369, 372, 373, 385
Кук — 171
Кукушкина Е.И. — 35, 36
Куманин — 102
Купер Ф. — 59
Куплевский Н.О. — 507
Куприн А.И. — 34, 440
Куприц Н.Я. — 4, 35
Куропаткин А.Н. — 407, 520
Курциус Э. — 114
Кутлер Н.Н. — 410
Кушнир — 439
Кэй (Кай) — 237, 244
Кюнер — 64

Лабуле Э.Л. — 102, 121, 122, 329
Лавелэ (Лавеле) Э.-Л.-В. — 8, 157, 163, 199, 288, 289
Лависе Э. — 518
Лавров П.Л. (Арнольди, Доленга А.) — 8, 16, 49, 170, 237, 262, 265—272
Лавровские П.А. и Н.А. — 92
Лавровский П. — 62
Лавуазье А.Л. — 264
Лазаревский — 367
Ламартин А. — 148
Ламбер — 277
Ламброзо Ч. — 86
Ламброс С. — 101
Лангтон С. — 167
Ланжале — 134
Ланциозоль (Ланцицолле К.В.) — 103
Лассаль Ф. — 7, 73, 106, 120, 187, 189, 197
Лаферрьер — 222
Лебедев А.С. — 50
Леббок Дж. — 9
Лебон — 290
Лебрен — 210
Лев XIII, папа Римский — 173
Левассер (Levasseur) П.Э. — 499, 530
Леви — 194
Левицкий — 344
Легонин В.А. — 232
Лейбниц Г.В. — 66, 113, 438, 478
Лемонье К. — 288
Ленин В.И. — 4, 35
Леонардо да Винчи — 249
Леонид — 61
Леопольд I — 476
Леопольд II — 292, 450
Лермонтов М.Ю. — 53
Леруа-Болье А. — 277, 338
Лесгафт П.Ф. — 30, 129, 413
Лестер — 496, 529
Летурно — 237
Лефрансе Г.А. — 135
Леффлер А.Ш. — 237
Леффлер-Кайянелло — 241, 244, 264
Лешков В.Н. — 205, 214
Лиар — 273, 276, 277
Либенам В. — 166
Лизиар — 52
Либкнехт В. — 106, 189, 197
Лидваль Л.И. — 382, 383
Лиман С.О. фон — 470, 473
Линиченко — 62
Лионкан — 130
Липман — 505
Лист Франц фон — 81, 478—480
Лист Фридрих — 462
Литтре Э. — 134, 153, 217, 294
Ллойд Джордж Д. — 423
Лобанов — 346
Лобанов-Ростовский А.Н. — 397, 402
Лобко П.Л. — 494
Локк Д. — 122, 123
Лафарги — 190, 197
Лонге — 190
Лонге Ж. — 184, 190

Лопатин Г. — 190
Лопатин Л.М. — 174
Лопухин А.А. — 371, 372, 512, 514
Лоран Ф. — 7, 69, 84, 288, 289
Лоренс — 289, 301
Лориа — 246
Лоример Д. — 83
Лорис-Мельников М.Т. — 221, 248, 249, 263, 270, 340
Лорэн — 237
Лотц В. — 493
Лугинин — 344
Луиза — 287
Лука Жидята — 62
Лукьянов — 174, 206
Лурье О. — 278
Лучицкий И.В. — 8, 10, 35, 125, 136, 137, 204, 490
Львов Н.Н. — 374
Львович Г.Ф. — 520, 522—525
Льюис Дж. Г. — 8, 142, 153—159, 168, 183, 217
Любимов — 172, 173
Любимов А.А. — 480
Любимов Н.А. — 208, 209
Любомирский, князь — 141
Людовик IX — 123
Людовик XIII — 215
Людовик XIV — 460, 476
Людовик XV — 291, 444, 460
Людовик Мор — 249
Людовик Филипп — 476
Лялин П.П. — 56, 57

Мадисон Д. — 329
Мазарини Д. — 139
Майер (Мейер) Р.Г. — 113
Макарий — 62
Макаров А.А. — 359, 427
Макдональд Д.Р. — 425
Макиавелли — 249, 288, 359
Маклаков В.А. — 33, 367, 385
Маке Л. фон — 422
Мак-Ленан Д.Ф. — 9, 159, 161
Мак-Ляфлин — 314
Мак-Магон М. — 134, 135, 192, 209
Маковецкая — 486
Маковский К.Е. — 274
Маковский С.К. — 348
Макреди У.Ч. — 154, 155
Малингер — 118
Малышев — 92
Мальтус Т.Р. — 7, 109, 290
Манефон — 68
Мануилов А.А. — 389, 390, 398, 529
Манухин С.С. — 360, 398
Маргари — 135
Марес — 289
Марин Н.В. — 27
Мария — 445
Марков Н.Е. (2-й) — 208
Маркс К. — 7, 9, 13, 16, 40, 41, 74, 99, 105, 106, 109, 111—113, 119, 163, 170, 171, 179, 182—201, 264, 289, 295, 296, 299, 300, 347, 376, 492
Маркс (Вестфален) Ж. — 183, 187, 195
Маркс Э. — 190
Маркс Эрих — 196, 424
Марлинский — 145
Мармонтель — 5, 51
Мартенс Ф.Ф. — 85
Мартин (Martin) Р. — 499
Маршалл — 194
Маршалл фон Биберштейн А. — 473
Маскулин — 171
Массне Ж. — 286, 287
Матильда — 130
Маурер Г.Л. — 110, 111
Медушевский А.Н. — 35
Мей Э. — 100
Мейер — 407
Мейер А. — 123, 465—467
Мейер фон Кнонау — 157
Мейер Э. — 289
Мейербер — 287
Мелин Ф.Ж. — 409
Мельбу — 286
Мен Г.С. — 446
Менделеев Д.И. — 75, 172
Мережковский Д.С. — 245, 248—250, 254, 298
Мериман — 530
Мериме П. — 148, 149
Меровинги — 103, 240
Мертваго — 351
Метерлинк М. — 115, 288, 290, 424
Метланд Ф.У. — 164, 177, 212, 222
Меттерних К. — 439
Мечников И. — 53
Мечников Иван Ильич — 263

Мечников Илья Ильич — 8, 16, 250, 263—268, 271, 275, 277
Мечников Н.И. — 262
Мечникова О.Н. — 265, 267
Мещерский В.П. — 9, 170, 233
Мигулин П.П. — 410
Миклашевский А.Н. — 491, 492
Миклухо-Маклай Н.Н. — 218
Миллер В.Ф. — 12, 204, 212, 213, 218, 316, 388, 492
Миллер О.Ф. — 62
Милль Дж.-С. — 7, 70, 78, 106, 109, 153, 177, 217, 226, 314, 347
Мильгаузен Ф.Б. — 205, 222
Мильеран А. — 291, 497
Мильнер А. — 447, 448, 451—454
Мильтон Д. — 117, 204
Милюков П.Н. — 3, 21, 27, 342, 343, 366, 414, 416, 492, 524, 527
Милютин Н.А. — 263
Мин Г.А. — 359
Минос — 101
Мирабо О.Г.Р. — 366
Митрофанов П.П. — 483
Миттаг-Леффлер М.Г. — 241, 243, 244
Миттермейер К.И.А. — 7, 72
Михайлов — 222
Михайлов М.М. — 98
Михайловский В.М. — 218, 522
Михайловский Н.К. — 10, 230, 231, 496
Мицкевич А. — 325
Мишле Ж. — 288
Моль Р. фон — 98, 119
Мольер — 204, 212
Мольтке Х.К.Б. — 118
Моммзен Т. — 8, 103, 114, 118, 133
Монтелиус О. (Монтериус) — 41, 240, 241
Монтепен К. де — 141
Монтескье Ш.Л. — 100, 114, 122, 123, 156, 159, 260, 329
Монфор С. — 167
Мопассан Г. де — 149, 226
Морган Л.Г. — 9, 159, 160, 163, 185, 191
Морено, кардинал — 246
Мори Л.Ф.А. — 121, 123
Морлей Д. — 423
Морозов М. — 346
Морозов П.О. — 499
Морозова В.А. — 498, 518
Морозова М.Ф. — 528
Морлей Д. — 175, 179
Моцарт В.А. — 118, 268, 287
Муравьев Н.В. — 408
Муратори Л.А. — 261
Муромцев С.А. — 10, 12, 21, 137, 203, 205, 208, 220, 221, 223, 278, 339, 349, 362, 366, 367, 377, 384, 385, 489, 491, 492, 528
Мышецкая О.М. — 493
Мьюди Ч.Э. — 179
Мэн (Мен, Мейн) Г.С. — 7, 8, 9, 63, 135, 158, 159, 163, 177, 223, 239, 257
Мэстр Ж. де — 121
Мюллер М. — 62, 143, 257
Мюллер Роб. — 431
Мюнстеры — 5, 51
Мякотин В.А. — 384, 414

Набоков В.Д. — 34, 367, 374, 440
Накаэ (Накэ) Токусука — 253
Наперстек В. — 94
Наполеон I Бонапарт — 81, 82, 102, 103, 124, 125, 131, 222, 250, 275, 318, 462
Наполеон III — 52, 79, 84, 301
Нассе Э. — 8, 74, 105, 108, 111, 211
Нахимов П.С. — 5, 50
Невяхович — 262, 263
Нейгарт А.Б. — 394
Нейс — 289, 290
Неккер Ж. — 522
Нелидов А.И. — 518
Немешаев К.С. — 398
Немирович-Данченко В.И. — 245, 252, 255
Немурский, герцог — 476
Нестор — 87
Нечаев В.М. — 234
Нечаев С.Г. — 77
Николай, архиепископ — 398
Николай I — 56, 114, 402, 425
Николай II — 24, 30, 343, 408, 418—420
Николай Михайлович, вел. кн. — 250
Никольский — 400
Ниман — 118
Нитти — 259
Нич К.В. — 8, 104

Нобилинг — 197
Новикова О.А. (О.К.) — 10, 155, 205, 224, 342
Новицкий В.Д. — 500
Новосельцев — 350
Нольде Э.Ю. — 275, 400, 415, 416
Норденшельд Н.А.Э. (Норденшильд) — 241
Носарь Г.С. (Хрусталев) — 361
Ньютон — 64, 174, 175

О. — 145
Ободовский — 52
Оболенский — 368
Оболенский А.Д. — 174
Оболенский А.Д. — 415
Оболенский Н.Д. — 403
Обольянинова (Олсуфьева) А.М. — 225, 226
Овидий — 63
Овсянико-Куликовский Д.Н. — 12, 22, 36, 231, 348
Огарев Н.П. — 254
Озанчевский — 360
Озеров И.Х. — 27, 276, 389, 398, 405
О'Коннел Д. — 321
Олизар — 403
Олсуфьев А.М. — 225
Олсуфьев Д.А. — 228, 399, 400
Олсуфьева Е.А. — 228
Олсуфьевы — 228
Ольденбург С.Ф. — 27, 390
Онегин А.Ф. — 274
Онкен Герм. — 422, 423
Орлов-Давыдов — 383
Оствальд В. — 433
Островский А.Н. — 148, 325
Острогорский М.Я. — 311, 343, 367, 372
Остроумов А.А. — 501
Охеньковский — 168

Павел I — 250, 274
Павленков Ф.Ф. — 282, 297, 494, 495
Павлов — 370
Палатский Ф. — 92, 193
Пальмерстон Г.Д.Т. — 225, 462
Палюмбецкий А.И. — 85, 86, 114
Пан де — 280
Панкас — 92
Пантелеев — 297
Парижский, граф — 138
Парлинг — 275
Пасси И. — 79
Пастер Л. — 265
Пасториус Ф.-Д. — 319
Патера А. — 92, 94, 167
Патканов (Патканян) К.П. — 218
Пахман С.В. — 7, 98, 239
Пашич Н. — 429, 475
Пекюше — 149
Пенн У. — 319
Перийц — 261
Перикл — 55, 79
Перье, Казимир Перье Ж.П.П. — 476
Петенкофер М. — 71
Петр I (Великий) — 67, 118, 250, 273, 367, 437, 438, 483
Петров Н.П. — 398
Петров Г.С. — 381
Петровский С.А. — 222
Петрункевич И.И. — 21, 293, 335, 359, 528
Петрушевский Д.М. — 168
Петти У. — 195
Печчи Д. — 173
Пешехонов — 384
Пешков — 386
Пикар Э. — 12, 282, 283, 286, 288, 290, 294, 298
Пиленко — 276
Пиль Р. — 455, 456
Пильняк — 366
Пирен П.А. — 288, 289
Пирлинг П. — 173
Писарев Д.И. — 59, 231
Писемский А.Ф. — 139, 149, 202, 297, 407
Пискорский В.К. (Пискарский) — 247
Пихно Д.И. — 109
Планиоль М.Ф. — 130
Платон — 70
Платонов — 67
Платонов С.Ф. — 398
Плевако Ф.Н. — 146
Плеве В.К. — 27, 371, 397, 407, 514, 522, 530
Пленер Э. фон — 291
Плеханов Г.В. — 16, 36

Плещеев А.Н. — 245, 248, 249, 490
Плутарх — 52
Победоносцев К.П. — 13, 173, 260, 272, 411
Погодин А.Л. — 34
Погодин С.Н. — 35, 36
Познанские — 5, 51
Познанский — 59
Поливанов А.А. — 398
Поллок Ф. — 211, 212, 503
Полонский — 140
Польман — 101
Поляков — 376
Попов Н.А. — 123
Посников (Постников) А.С. — 22, 112, 264, 267, 347, 349, 350, 376, 410, 504
Пост А.Г. — 162
Потебня А.А. — 7, 70
Право-Парадоль Л. — 82
Прагер — 161
Пратт Ф.Т. — 80
Пржевальский Н.М. — 218, 220
Прудон П.-Ж. — 6, 75, 78, 86, 109, 169, 184, 193, 280, 291, 294, 295, 299, 300
Пуанкаре Р. — 467
Пуатеван — 133
Пуришкевич В.М. — 208, 344
Пушкин А.С. — 5, 51, 53, 65, 146, 147, 187, 248—250, 362
Поральцфейн — 264
Пыпин А.Н. — 522
Пюттер И.С. — 103

Раймер — 261
Ранье (Раньери) Ш. — 493
Рау К.Г. — 104
Рафалович А.Г. — 508
Рачковский П.И. — 379—381
Ревиль А. — 168
Ревилью Э. — 162
Редель — 430
Реклю Ж.-Ж.Э. — 281, 282
Реклю М.-Э. — 12, 282, 295, 296—298, 516
Реклю Э. — 12, 190, 196, 282, 295—298, 496, 516
Реклю П. — 281, 298
Ренан — 87, 278
Ренан Ж.Э. — 115
Ренан Э. — 173
Ренар Ж. — 496
Рено Л. — 8, 132
Рескин Д. — 456
Ржевусский — 254, 255
Ригер Ф.-Л. — 92—94
Рикардо Д. — 109, 128, 191, 290
Рихтогофен фон — 463
Ричард I Львиное Сердце — 166
Ричард II — 167
Ришелье А.Ж. дю Плесси — 82, 125, 138
Ришепен Ж. — 115
Роберти де Е.В. — 17, 30, 262, 265, 272—274, 277, 278, 279, 280, 338, 346, 514, 518—520
Робеспьер М. — 210, 369
Роггэ — 103, 163
Родбертус К.И. — 289
Роденбах Ж. — 290
Роджерс Д.Э.Т. — 223, 257
Родичев Ф.И. — 23, 275, 343, 360, 361, 364, 368, 371—373, 385, 414
Родославов В. — 430
Родс С.Д. — 464
Розанов В.В. — 358
Рокфеллер Д. — 314—316
Ролланд — 115
Роллен Л. — 258
Рольстон — 143, 144
Романов П.М. — 391, 398
Ропп (Роп) Э.Ю. фон дер — 363
Рорбах П. — 474, 476, 478
Рославский-Петровский А.П. — 68
Росс — 163
Россели — 443
Ростовцев — 360
Рот П.Р. — 103
Рошер В. — 194
Ру П.П.Э. — 265
Рубани — 58
Рубенс П.П. — 288, 296
Рубинштейн А. — 54
Рудольф А.-А.-Ф. — 73
Рузвельт Ф.Д. — 407
Руссо Ж.-Ж. — 52, 62, 65, 135, 175, 195, 274, 414, 416
Руфус — 168
Рухлов С.В. — 407
Рыков Е.В. — 27
Рыло В. — 62

Рындовская М.И. — 58, 73
Рындовский — 58, 71
Рындовский Григ. — 54, 59
Рюдорффер — 457
Рюриковичи — 59

Сабашников М.В. — 339
Саблер В.К. — 402
Сабуров А.А. — 180, 398
Савиньи — 163
Сазонов (Созонов) С.Д. — 419, 430
Саладин — 472
Салтыков-Щедрин М.Е. — 47, 56, 148, 229, 248, 250, 269
Сальвини Т. — 155, 197
Самарин Д. — 224, 399
Самарин Ю.Ф. — 205, 210
Самас де Турнемир Е.В. (псевд.: Евгения Тур; урожд.: Сухово-Кобылина) — 84
Самойлов В.В. — 155
Самоквасов Д.Я. — 218, 219
Санки А.Д. — 179
Сан-Мартино — 291
Саужи Р. — 456
Сватиков С.Г. — 36
Свечин — 343
Свечников — 503
Сельби — 167
Сельден Д. — 81
Семевский М.И. — 249, 523
Семенов-Семеновский — 380
Семирадский — 53
Сен-Жюст — 210
Сен-Симон А. — 99, 122, 196
Сергеевич В.И. — 98, 222, 398
Сергиевский Н.Д. — 398
Серков А. — 33, 38
Сеченов И.М. — 243
Сибом (Сэбом; Себом) Э. — 74, 162, 167, 177
Сигизмунд I — 428
Сизов — 219
Сипягин Д.С. — 494
Сисмонди Ж.Ш.Л.С. де — 86
Скалон — 393
Скальковский К.Ап. — 275, 497, 498
Скворцов — 169
Склифосовский Н.В. — 232, 238
Скотт В. — 59
Сладковский К. — 94
Смирнов — 53
Смисс — 308
Смит А. — 7, 109, 246, 290, 510, 511
Смит (Смис) У.Р. — 143
Смитсон Д. — 311
Соболевский В.М. — 245, 492, 499, 501, 504, 506, 507, 518, 525
Сокальский И.П. — 74, 86
Соколов А.С. — 35
Соколовский И. — 486
Солдатенков К.Т. — 270, 489, 490, 540
Солнцева Е.Н. — 6
Соловьев В.С. — 9, 170, 171—174, 205, 209, 212, 224, 227
Соловьев М.П. — 494
Соловьев С.М. — 10, 49, 87, 98, 134, 172, 173, 204, 208, 209, 316, 323
Соломон — 357
Сольвэ — 299
Сорокин П.А. — 16
Сосновский Т. фон — 468
Спасович В.Д. — 97
Сперанские — 511, 515, 516, 520, 522—524
Сперанский Н.В. — 250, 339, 496, 527, 529
Спенсер Г. — 7, 8, 13, 16, 40, 117, 155—157, 159, 185, 186, 2016 217, 225, 237, 294, 300, 335
Спиноза Б. — 11, 122
Стамболов С. — 430
Станиславский А.Г. — 7, 69, 70, 73, 80, 98
Стасов В.В. — 213
Стасюлевич М.М. — 37, 173, 270, 406—492
Стахович А.А. — 363, 383, 390
Стахович М.А. — 27, 174, 399, 400, 404
Стеббе В. (Стопс) — 8, 175—177
Степанов Н.Т. — 263
Стефан Душан — 91
Стишинский А.С. — 398, 403, 404
Столетов — 66
Столон Г.Л.К. — 73
Столыпин П.А. — 25, 27, 259, 363, 370—374, 383, 388, 392, 394, 471
Стопс — 258
Стори Д. — 329

Стороженко Н.И. — 10, 164, 203, 204, 213, 216, 225, 226, 491, 492, 498, 499, 504
Стоянов А.Г. — 73
Стоянов А.Н. — 7, 64, 69, 84, 85, 97, 119
Струве — 112
Струве П.Б. — 26, 339, 427
Струков А.П. — 400, 402
Сытин И.Д. — 516
Стэд У.Т. — 341—343
Стюарты — 308, 333
Суворин А.С. — 251, 275, 361
Сумароков — 63
Сумбатов (Южин) А.И. — 245, 255
Сухово-Кобылин А.В. — 254, 255
Сухотин Н.Н. — 403
Сытин — 519, 520, 526
Сэй Ж.Б.Л. — 108

Таганцев Н.С. — 398, 402
Тайлер У. — 167
Талейран-Перигор Ш.М. — 234
Тамашев М.И. — 511
Танеев А.С. — 393
Танеев В.И. — 10, 169, 231
Танчев — 492
Тарбукет — 519
Тард Г. — 15, 272, 277, 300, 338, 492, 499, 519
Татищев И.Л. — 420
Таубе — 416
Тахтарев К.М. — 16
Тацит — 65, 104
Тейлор Э. — 9, 13, 164, 256, 257, 487, 529
Теккерей У.М. — 154
Тенишев В.Н. — 275, 276, 415, 498
Теннис Ф. — 492
Теннисон — 147
Терещенко М.И. — 527, 530
Тернер Ф.Д. — 331
Терри Э.А. — 155
Тимашев Н.С. — 16
Тимирязев — 217
Тимирязев В.И. — 380, 398
Тимирязев К.А. — 243, 316, 511, 513
Тимофеев А.Г. — 278
Типу, султан — 446
Тирабоски Д. — 261
Тихомиров Л.А. — 269
Тихонравов Н.С. — 212, 316
Токвиль Ш.А.К. — 7, 78, 82, 329, 330, 332, 333, 334
Толен — 188
Толстой А.К. — 139, 140
Толстой А.П. — 27
Толстой Д.А. — 173, 208
Толстой И.И. — 355, 416, 421
Толстой Л.Н. — 47, 56, 141, 148, 173, 200, 202, 217, 225—228, 231, 240, 263, 270, 303, 324, 370, 414, 450
Толстые — 225
Томсен (Томсон) В.Л. — 256
Торквемада Т. — 522
Трачевский — 67
Трачевский А.С. — 277, 278, 346, 515
Трауман Э. — 115
Тревельян Ч.Ф. — 423
Трейчке Г.-Г. фон — 8, 114
Трепов В.Ф. — 392
Трепов Д.Ф. — 30, 342, 343, 357, 359, 527
Триполитов М.Н. — 399
Трирогов П.Г. — 522
Троицкий — 170
Троицкий М.М. — 204, 207
Тролоп — 144
Трубецкой Гр. — 419
Трубецкой Е.Н. — 174, 338, 389, 392, 406, 426
Трубецкой С.Н. — 174
Трюбнер — 157
Туган-Барановский М.И. — 11, 34, 112, 511
Туль Мин-Смис Л. — 106
Тун Л. — 92, 94
Тургенев И.С. — 8, 40, 41, 53, 56, 59, 139, 140—153, 169, 187, 195, 216, 217, 225, 229, 249—251, 255, 262, 269, 273, 274, 297, 306, 310, 318, 404, 485
Тышкевич А.И. — 358
Тьер А. — 82, 116, 134, 138, 192
Тэн И. — 121, 149, 212
Тюдоры — 177, 308
Тюрго А.Р.Ж. — 175

Уваров А.С. — 218—220
Уваров Ф.А. — 399
Уварова П.С. — 218, 509

Уиклиф (Викилиф) Д. — 269
Уильямс (Вильямс) Р. — 332
Уолпол (Вальполь) Р. — 313
Уорд Л.Ф. — 317, 496, 506, 529
Урусов С.Д. — 33, 371
Усов С.А. — 225, 226
Усовы — 229
Успенский Г.И. — 10, 230, 231
Утин Н. — 189
Ушаков — 380
Уэк — 238

Фадеев — 411
Фальк П.Л.А. фон — 119
Фанстретен — 72
Федор, камердинер — 57, 58
Федоров — 378
Федоров М.П. — 418
Федотово Г.А. — 4, 35
Фейербах Л. — 87, 199
Фенелон Франсуа Самильяк де Ла Мот — 53
Фердинанд — 247
Феррарист — 101
Филипп — 102
Филиппов Г.И. — 494
Финк — 72
Фиск Д. — 335
Фихте И.Г. — 115
Флак Ж.Ж. — 162, 222
Флобер Г. — 139, 147, 149, 150
Фогель — 118
Фогенгубер — 118
Фоксъ-Берн — 509
Фома Аквинат — 349
Фонвизин Д.И. — 141
Фортунатов Ф.Ф. — 212
Фохт К. — 245, 326
Фоше Л. — 106
Фразер (Фрезер) Д.Д. — 9, 164
Франк — 122
Франк А. — 8
Франк С.Л. — 515
Франклин Б. — 329
Франс А. — 249, 379
Франц-Иосиф — 426, 440
Франц-Фердинанд — 428, 431, 476
Франциск Ассизскпй — 174
Фрей В. (наст. имя — Гейс В.К.) — 227
Фрер-Орбан Г.Ж. — 283, 301
Фридрих Великий — 114, 432
Фридрих-Карл — 118
Фридъюнг — 97
Фриман Э.О. — 8, 74, 158, 175, 206, 223, 257, 307
Фриш Э.В. — 362, 394
Фукидид — 65
Фулье А. — 157
Фурту М.Ф.О.Б. де — 128
Фурье Ш. — 58, 122
Фюстель де Куланж Н.Д. — 7, 63, 103, 157, 163, 239, 288

Хайлова Н.Б. — 3, 35, 43
Хаммурапи (Гаммураби) — 74
Харузины Н.Н., А.Н., М.Н. — 218, 234
Хвостов А.А. — 402
Хвостовы — 224
Хейстингс У. — 446
Хемницер — 63
Хенарес А. — 250
Ферасков — 62
Хмельницкий Б. — 49
Хоменко — 403
Хомяковы — 224
Хрулев — 528
Хрущов Д.П. — 56

Цанков Д. — 206
Цветаев И.В. — 212
Цезарь Юлий — 63, 163, 444
Целлер Э. — 8, 112
Ценковский Л.С. — 263
Цертелев Д.Н. — 139
Цитович (Цытович) П.П. — 7, 70, 73, 98
Цицерон — 63
Цорн — 459

Чебышев — 143
Чемберлен Г.С. — 441—444
Чемберлен Д. — 448, 451, 454, 456—458
Череп-Спиридович — 365
Черкасский В.А. — 205, 206
Чернышевский Н.Г. — 231, 270
Черняев — 60
Черняев М.Г. — 205, 206, 224
Черчилль У. — 422

Чехов А.П. — 245, 248, 250—252, 255, 324, 500, 501
Чичерин Б.Н. — 78, 98, 99, 162, 200, 209—211, 316
Чупров А.А. — 489, 508—510, 512, 526
Чупров А.И. — 10, 20, 21, 27, 37, 39, 42, 102, 109, 203, 204, 214, 223, 278, 338, 339, 376, 485—530
Чупрова М.А. — 494, 520
Чупрова О.А. — 494, 520
Чупрова О.Е. — 488

Шабельский — 75—77
Шамбор — 138
Шанбелан — 130, 131
Шанявский А.Л. — 17, 35, 129, 338, 339, 527
Шарапов С.Ф. — 214, 215
Шармац Р. — 95
Шатобриан Ф.Р. де — 65
Шауэнштейн (Шайнштейн) А. — 87
Шахматов А.А. — 218, 427
Шахов А.А. — 210
Шаховской Н.В. — 494
Шварц А.Н. — 398, 410
Шварценберг — 94
Шебеко И.А. — 399, 405, 470
Шевалье М. — 121
Шевченко Т.Г. — 31, 325, 427
Шевырин В.М. — 39
Шеин П.В. — 218
Шейниц — 519
Шекспир У. — 80, 117, 155, 175, 204, 223, 224, 286
Шелгунов Н.В. — 10, 229, 231
Шеллинг Ф.В. — 169, 200
Шелохаев В.В. — 38, 43
Шеню — 186
Шерингер — 97
Шеффле (Шефле) А.Э.Ф. — 7, 94, 95, 96, 239
Шиллер — 5, 51, 65
Шимков А.П. — 71
Ширинский-Шихматов А.А. — 401
Шишмарев — 417
Шмерлинг А. — 90
Шмидт Ц. — 157
Шмоллер Г. — 8, 104, 108
Шонберг (Шёнберг) Г. — 8, 108
Шопенгауэр А. — 101
Штаймец — 163
Шталь Ф.Ю. — 100
Штейн Г. — 522
Штейн Л. фон — 7, 94, 99, 184, 186
Штраус — 87
Штраус Д.Ф. — 115
Штудниц — 169
Штюрмер Б.В. — 392
Шуберт Ф. — 54
Шувалов П.А. — 225
Шульгин — 61, 66
Шуман Р. — 154
Шурц К. — 326

Щегловитов И.Г. — 360, 375, 378, 384
Щепкин Н.Н. — 340
Щерак А. — 370, 371
Щербатова — 350
Щукин — 505
Щукин И.И. — 273—275, 278, 511, 518

Э. — 77
Эвальд — 119
Эджворс — 194
Эдиссон — 305
Эдуард III — 9, 166
Эдуард VII — 422, 432, 441—443, 448, 458, 462, 465, 466
Эдуард Исповедник — 166
Эдуарды — 104
Эйхельман — 500
Эйхгорн К.Ф. — 103, 163
Экгут — 290
Экесперре (Екеспаре) О.Р. — 398
Экк Э.В.Э. — 8, 114
Экуд — 288
Элиот Дж. — 142, 143, 153, 155, 156
Эль Греко Д. — 274
Эльенер (Эльснец) — 248, 494, 499
Энгел(ь)с Э. — 94, 106
Энгельгард В.П. — 27, 400
Энгельс Ф. — 8, 13, 113, 163, 182, 184, 185—201
Эразм Роттердамский — 284
Эристов А.М. — 400
Эртель А.И. — 10, 229, 519
Эскирос А.А. — 7, 72
Эсмен Ж.П. — 8, 130—132

Эспинас А.В. — 164
Этвеш Й. — 96

Юм Д. — 170
Юнкер К. — 429
Юрасов — 245, 248, 494, 522
Юрьев С.А. — 10, 216, 223, 224
Юрьевская (Долгорукова) Е.М. — 486
Юсуповы — 344
Юта Л. — 197

Ягов Г. фон — 435
Якоби В.И. — 245, 495
Янжул И.И. (Юренев) — 9, 10, 111, 112, 126, 165, 167, 168—171, 203, 214, 226, 229, 260, 487, 491, 492, 495, 497, 503, 504, 509, 510, 513, 519—522, 527
Янковская М.В. (Яновская) — 242
Bonard — 500
Byuss — 498
Davis — 513
Delbet — 499
Callan — 497
Carles Oi'de — 520
Curere — 498
De Merinis — 506
Havet — 124
Lorenzune — 404, 507
Maraglano — 507
Matin le — 508
Molmenti — 502
Moris — 497
Politicus — 432
Revier — 503
Roiy — 124
Salvioli — 504
Seebohm — 507
Scrafta — 502
Terechenko — 530

Оглавление

Н.Б.Хайлова. М.М.Ковалевский 3

Ю.С.Воробьева. Археографическое предисловие 39

М.М.Ковалевский
Моя жизнь

Вместо вступления 47

Глава I. Детство и юность. Семья и школа. Университет. Первые странствия 49

Глава II. Годы заграничного ученичества и странствий 90

Глава III. Годы заграничного ученичества и странствий (продолжение) 121

Глава IV. Московский университет в конце 70-х годов прошлого века 202

Глава V. Преподавание в Стокгольме, в Оксфорде и в Париже. Научные работы в Болье и летние странствия по архивам и библиотекам 237

Глава VI. По Америке 304

Глава VII. Опять на родине. Земские съезды. Редактирование газеты «Страна». Государственная дума 1-го созыва 338

Глава VIII. Пять лет, проведенные в Государственном Совете ... 388

Глава IX. Война 1914—1918 гг. Ее действительные причины. К психологии германского народа во время войны 441

Письма М.М.Ковалевского к Чупрову Александру Ивановичу 485

Приложение

Поездки по Кавказу 531

В горских обществах Кабарды 533
В Сванетии 572

Комментарии 656

Именной указатель 765